

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

Программа фундаментальных исследований
Президиума Российской академии наук



УДК 572+930.85+39
ББК 28.7+63.3+63.4+63.5+80



Публикуется в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Традиции и инновации в истории и культуре»

Ответственные редакторы:
А.П. Деревянко, В.А. Тишков

Утверждено к печати Отделением историко-филологических наук РАН

Традиции и инновации в истории и культуре / отв. ред. А.П. Деревянко, В.А. Тишков. Отд. ист.-филол. наук РАН, 2015.

ISBN

В книге отражены важнейшие результаты по Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (2012–2014). В реализации программы приняли участие исследователи крупнейших научных центров Российской академии наук и ее региональных отделений. Работа велась по следующим основным направлениям: преемственность и трансформации в древних и средневековых обществах по археологическим и антропологическим данным; модернизация и её влияние на российское общество; традиция, обычай, ритуал в истории и культуре; тексты традиционной культуры в перспективе культурной эволюции; механизмы преемственности в развитии литературы; институциональные изменения в отечественной и мировой науках и в научной политике. В итоговых статьях представлен комплексный анализ традиции, позволяющий раскрыть этот феномен в целостности и многообразии связей, определить место традиции в истории и современной жизни различных социумов, а также в системе методологического инструментария наук об обществе и культуре.

Для археологов, историков, антропологов, социологов, лингвистов и широкого круга читателей.

© Отделение историко-филологических наук РАН, 2015
© Институт этнологии и антропологии РАН, 2015
© Коллектив авторов, 2015

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последних десятилетий в гуманитарных исследованиях возрастала доля междисциплинарных проектов на стыке научных дисциплин и направлений. Совместные исследования позволили вывести эти проекты на новый уровень, интегрируя разносторонние данные и повышая достоверность наших представлений о том или ином сложном общественном явлении и процессе. К числу таких сложных феноменов, имеющих широкое «поле смысла», относится понятие *традиция*. Оно присутствует во многих сферах человеческой жизнедеятельности и активно используется в различных областях знания (говорят о традиции «национальной», «народной», «групповой», а также «культурной», «научной», «художественной» и т.д.).

Философский статус термина «традиция» включает в себя комплекс обладающих ценностью норм поведения, форм сознания и институтов человеческого общения, характеризуя связь настоящего с прошлым. При этом отмечается противоречивость природы традиции, что порождает крайности в ее восприятии и оценке. С одной стороны, традиция выглядит как апология и консервация прошлого, символ неизменности, а порой – синоним отставания и даже отсталости. С другой стороны, традиция выступает как необходимое условие сохранения, преемственности и устойчивости человеческого бытия, предпосылкой и конституирующим началом формирования идентичности человека, группы или целого социума. Существование таких вневременных истин, как «возвращение к истокам» или «новое – хорошо забытое старое», лишь подтверждает важность и актуальность проблемы интерпретации традиции, источника ее жизненной силы.

Понятия *традиция* и *новация* чаще всего используются в некой неразрывной связке, что более чем оправданно, ибо любая традиция когда-то была инновацией, а сегодняшняя успешная инновация – это завтрашняя традиция. Эта связка привлекательна для современной гуманитарной науки, и не случайно она фигурирует в титулах конференций, научных трудов, исследовательских программ. При этом под традицией также нередко подразумевается нечто устоявшееся и даже «отсталое», а под новацией – новое и «передовое». В действительности социальные и этнокультурные традиции органично уживаются с технологическими новациями и даже выступают их опорой. Традиции могут выступать не тормозом, а основой, фильтром, трамплином новаций. Более того, без них новации, особенно из категории внешних заимствований, способны подавить или подчинить культуру. Ценностные и технологические качества традиций, подпитывая инновации, сохраняют важную для культуры преемственность.

Несмотря на то, что различные аспекты выполненной за три года программы были и остаются предметом анализа многих отечественных ученых в разных областях гуманитарной науки, в рамках целевой программы удалось скоординировать усилия целого ряда научных учреждений РАН. Эта задача была реализована как совокупность научных проектов ведущих академических научных центров, наиболее значимые результаты которых представлены в итоговом коллективном труде. Своего рода сверхзадачей программы было раскрыть феномен традиции в целостности и многообразии его связей, определить место традиции в истории и современной жизни различных социумов, а также в системе методологического инструментария наук об обществе и культуре. Исследования по программе были ориентированы на выявление синхронно-диахронных связей между традицией и новацией, изучение мотивов, действий, обстоятельств, сценариев, приводящих в одних случаях к активации новых явлений в истории и культуре, в других – к их исчезновению, подавлению, преобразованию.

Важнейшая составляющая программы – *исследование преемственности и трансформации в развитии древних и средневековых обществ по археологическим и антропологическим данным*. Археология открывает широкие перспективы для изучения процессов развития, в основе которых лежит преодоление традиций путем принятия (или отторжения) внешнего или внутреннего инновационного импульса. Исследование материальных объектов прошлого археологическими методами позволяет проследить появление новых технологий, производственных навыков и культурных явлений, зафиксировать медленное накопление новых признаков, одномоментное включение в культуру новых элементов, дальнейший ход их переработки и трансформации в новой среде. Древность и средневековые обычно рассматриваются в исторической науке как эпохи, в которых процессы технологического и культурного развития протекали замедленно, а системы жизнеобеспечения и общественные отношения были консервативны. Историческая наука способствует преодолению этого одностороннего взгляда, открывая в прошлом как тенденции существования общностей с устойчивыми культурными традициями, остававшимися неизменными в течение длительного времени на значительных пространствах, так и радикальные трансформации культуры, технологий и экономических моделей. Исследования показали, что поступательное развитие цивилизации на ранних этапах ее истории обеспечивалось способностью генерировать новые идеи и закреплять в традициях важнейшие культурные достижения.

Задачей изучения ранних этапов человеческой истории было как можно более точное определение баланса между процессами стабильного развития и взрывного обновления культуры в различные исторические эпохи в различных областях мира, анализ конкретных форм и механизмов «культурных сдвигов» и поддержания традиций в древних и средневековых обществах, выявление внутренних и внешних факторов, вызывавших трансформации древних культур и способствовавших сохранению преемственности в историческом движении. Особое внимание проектов по этому направлению было уделено взаимодействию факторов миграций и внутреннего развития различных групп населения в сложении современной антропологической картины народов Евразии и их социокультурной специфики. Наряду с историческими сюжетами, это направление включает широкий круг новых проблем, связанных с осмыслением современных миграционных, демографических и этносоциальных процессов.

Среди наиболее значимых результатов отметим, что согласно новейшим археологическим, антропологическим и палеогенетическим материалам можно говорить о том, что на территории российского Алтая шел самостоятельный процесс формирования человека современного физического облика *Homo sapiens* и развития технологий обработки камня. При этом наборы каменных и костяных орудий, а также предметы символической деятельности из кости и поделочного камня, свидетельствуют о достаточно высоком уровне материальной и духовной культуры палеолитических обитателей Алтая, получивших название человек алтайский или денисовец. Способы и приемы жизнедеятельности денисовцев не уступали, а в некоторых аспектах превосходили поведенческие характеристики человека современного физического облика, жившего в одно и то же время на других территориях. Значительные результаты достигнуты в исследовании на раннепалеолитических стоянках на Таманском полуострове в Западном Предкавказье. Установлено, что каменные индустрии этих стоянок, возраст которых определяется в интервале 1,6-1,2 млн. л.н., сходны между собой по основным технологическим и технико-типологическим параметрам и относятся к ранее неизвестной индустрии раннего палеолита, создатели которой были не только собирателями съедобных продуктов, но и охотниками на крупных млекопитающих. Проанализированы основные этапы развития раннего города Центральной Азии на протяжении значительного отрезка времени: от первых веков I тыс. до н. э. до конца кушанской эпохи. Это позволило отвергнуть «революционный» подход (в рамках концепции «городской революции») и рассмотреть урбанизацию как медленный эволюционный процесс, а город опреде-

лить как устойчивую полифункциональную форму территориальной консолидации гетерогенного населения, не занятого в сфере сельскохозяйственного производства. Определено, что противостояние понятий «город»/«деревня» для ранних городов Центральной Азии наступает только на очень позднем этапе. Была исследована структура городов Нижнего Поволжья в домонгольский и золотоордынский период (IX–XIV вв.), их планировка и постройки, а также хозяйственная жизнь населения. Анализ архитектуры золотоордынских городов показал, что в ее сложении большую роль сыграли выходцы из Малой Азии. При этом очевидно, что в Золотой Орде происходит не прямой перенос принесенных извне традиций, а их творческая переработка.

Заметное место в проектах программы заняли вопросы, связанные с *модернизацией и ее влиянием на российское общество*. Необходимость теоретического осмысления проблемы российской модернизации во многом обусловлена все более высокими темпами исторической и социокультурной динамики. Взрывное ускорение перемен, вызывающее шок столкновением с новыми реалиями, ценностями и моделями поведения изменяют смысловую непрерывность жизненного мира, требуя творческой интерпретации повседневности. Позитивный рост свобод, открытости социокультурной сферы, возможности более свободной социализации личности, интериоризации новых ценностей, образа жизни, моделей поведения дополняются трудностями, связанными с уменьшением социальной и личной безопасности, социальной дифференциацией общества, с коррупцией и преступностью, с конфликтами между обществом и личностью. Мы видим не только новые проблемы, но и новые возможности, вошедшие в жизнь вместе с модернизационными вызовами начала нового тысячелетия. В повседневную жизнь россиян входят новые ценности, целевые установки, утверждаются новые жизненные практики и модели поведения. Актуальным представляется соотнесение модернизационных процессов с национальной культурной традицией, ценностями, идентификациями.

Впервые в отечественной историографии была дана характеристика основных этапов исторического развития Крыма как поликультурного региона, где с древнейших времен проживали представители разных народов. Особое внимание уделено освещению исторических связей Крыма и России и их развитию на протяжении нескольких веков, прежде всего периодам XVII–XX столетий, когда эти связи, с одной стороны, неуклонно нарастали и расширялись, а с другой – претерпели сложную и противоречивую эволюцию. Представлен научный труд по проблеме казачества юга России, отличавшегося своими особенностями с учетом географического фактора,

многонациональности и многоконфессиональности региона. Разработаны концепты «регион», «социокультурный ландшафт», «ментальное государство» в применении к эмпирическому материалу уральской истории XVII–XIX вв. Выделены универсальные и специфические характеристики регионального развития Урала; предложены критерии периодизации развития региона в контексте российской истории XVI–XX вв. Проведено исследование проблемы интеграции религиозного и светского образования на примере Республики. В рамках структур повседневности с привлечением новых источников были рассмотрены разнообразные стороны жизни карельской семьи в конце XIX–XX в. Впервые на русском языке опубликованы значительные фрагменты полевых записей, осуществленных в разное время российскими и финляндскими исследователями.

Отдельное направление исследований программы было посвящено *традициям, обычаям и ритуалам в истории и культуре*. Одна из ключевых тем – этничность как поле традиций и инноваций. Особый интерес представляет изучение традиций различного типа, их содержания и длительности, равно как новаций в моменты их рождения и утверждения в качестве культурной или технологической нормы. Как показали исследования, на первом плане здесь роли и функции людей – действующих лиц общественного процесса, характер взаимоотношения поколений, направленность и содержание миграций и культурных диффузий. На основании архивных и опубликованных источников исследовано использование знаковых, символических элементов этнической политики в Российском государстве XVI – начала XX в. Показаны проявления этой политики в актах взаимной репрезентации верховной власти и народов страны, сделан вывод об обязательности презентационного компонента во внутренней политике государства. На основании источниковой базы проанализированы различные аспекты культурного наследия народов Северного и Южного Кавказа. Являясь своеобразной, но составной частью восточно-европейского цивилизационного круга, Кавказский регион представляет сочетание традиционных и инновационных черт развития культурных традиций, проникающих в разные бытовые сферы под влиянием процессов модернизации и глобализации. Это прослежено на примере хозяйственных традиций, родственно-семейного быта, урбанизированных форм жизнеобеспечивающей, соционормативной и гуманитарной культуры. Установлена роль идеологического фактора в сохранении и актуализации культурного наследия в глобализирующемся мире. Дан анализ процесса модернизации традиционной правовой культуры в северокавказском регионе в постсоветский период, рассмотрены идеологиче-

ские тенденции реанимации некоторых норм обычного права, определена роль традиционных форм регулирования правовых отношений в современном северокавказском обществе. На основе анализа большого фактологического материала исследованы символические средства и приемы смягчения и преодоления конфликтов. Определены сценарии гостеприимства как формы повседневной деятельности, ориентированные на поощрения и санкции общественного мнения, а также на нормативные принципы, изложенные в художественных текстах.

Ряд проектов программы был посвящен изучению *текстов традиционной культуры в перспективе культурной эволюции*. Выполнено исследование языковых, фольклорных, обрядовых и иных текстов традиционной народной культуры в современном и историческом ракурсах. При этом термин «текст традиционной культуры» понимался достаточно широко: как вербальный текст во всем его многообразии (письменный или устный) и в семиотическом плане – как осмысленная и целостная в содержательном отношении последовательность знаков коммуникации в традиционной культуре (текст-ритуал, текст-предписание и т.д.). Некоторые проекты были ориентированы на изучение архаики и инноваций, в частности, особого внимания заслуживают исследования, в которых применяется ретроспективный подход и используются сравнительно-сопоставительные методы анализа. Современное состояние любого из типов текста рассматривается как сложный, многоступенчатый итог его культурной эволюции; вместе с тем синхронный срез текста, включая форму и содержание, может быть представлен и как промежуточный этап его культурного развития. Наряду с изучением структуры и семантики текстов традиционной культуры учитываются разработки в области прагматики словесного текста (цели, первичная и вторичная функции, время и тип реализации, культурная жизнь текста вне интенций его создателей и др.).

Завершена работа над тридцатым выпуском «Словаря русского языка XI–XVII вв.». Созданы двуязычные (славяно-латинские, старорусско-старопольский и древнерусско-древнееврейский) электронные словники к некоторым старорусским переводам с латинского и старопольского языков и «Книге Есфирь» в древнерусском переводе с древнееврейского. Составлен «Акцентологический словарь восточнославянских говоров. Непроизводные основы мужского рода в карпатоукраинских (галицких) говорах», по регионально-морфо(но)логическому принципу. При изучении историко-культурного и языкового наследия славян-мусульман, живущих в инокультурном и иноконфессиональном окружении на протяжении столетий, выявлены специфиче-

ские языковые и культурные явления в сравнении с соседями (славянами-христианами, албанцами-мусульманами и христианами и др.); обнаружены следы взаимного влияния и интерференции в культурных текстах; определены особенности архаических и заимствованных пластов в народной традиции славян-мусульман. На основании многообразия балканских текстов рассмотрены базовые семиотические коды балканской модели мира, основанные на пяти человеческих чувствах. Исходя из изоморфизма языка и религии как семиотических систем, предложен опыт анализа религиозного синкретизма на Балканах на материале микроареала. Описаны ранее не изученные явления в периферийном славянском диалекте Албании. Восполнен существенный пробел в истории российского академического кавказоведения рубежа XIX–XX вв. – подготовлены к печати работы академика В.Ф. Миллера, посвященные археологии, истории, религиозным верованиям, этнографии и эпиграфике народов Северного Кавказа. В рамках дагестанской историографии открыта и изучена уникальная коллекция арабских рукописей, принадлежавшая известному ученому Ибрагиму Урадинскому (XVIII в.). Дано описание 150 рукописных книг по многим областям знания, переписка которых осуществлена в XII–XVIII вв.

По направлению *«Механизмы преемственности в развитии литературы»* реализованы проекты, исследующие различные типы трансформации, смены и взаимодействия поэтико-стилистических систем, художественных моделей и направлений в процессе развития литературы. Предпринятое фронтальное обследование источников для составления сводной библиографии по истории русской переводной литературы первой четверти XIX в. выявило механизмы синхронизации отечественной литературы с литературой европейской, которая обеспечивала «равновесную» включенность русской культуры в мировое пространство – без культурного «самоуничтожения», характерного для предшествующих этапов, или культурного «высокомерия», обозначившегося впоследствии. Исследован художественный опыт коми литературы, изучены художественные тексты, социокультурный контекст, введен новый материал: новейшая проза, женская поэзия, драматургия. Впервые в научный оборот введены исторические сочинения на аварском языке в арабграфической письменной традиции народов Дагестана, разработана схема описания и работы с рукописями хрониками на местных языках. В энциклопедии «Литературная Якутия» представлен свод научно-познавательной информации о специфике и закономерностях развития литературы Якутии, охватывающей три ее пласта – якутскую, русскоязычную литературу и литературу народов Севера (эвенская, эвенкийская, юкагирская).

Отдельным направлением представлено изучение *институциональных изменений в отечественной и мировой науках и в научной политике*. Предметом исследования здесь стала специфика функционирования отечественной академической науки и профессиональной деятельности ученых, работающих в институтах Российской академии наук в новых социально-экономических условиях. Проведено сравнительное исследование динамики научных кадров в советской и российской (постсоветской) науке. Несмотря на многообразие работ по кадровой динамике в науке, тема комплексного изучения кадрового корпуса науки – в контексте исторического перехода от советской к российской науке – была поставлена и исследована впервые. Показан процесс создания системы управления сетью академических стационаров, позволявших региональным научным учреждениям развивать как фундаментальные, так и уникальные региональные исследования. Сформирована база данных по этнологии и антропологии на основе отраслевых баз данных ИНИОН РАН (свыше 60000 документов) и информационно-поисковый тезаурус по историческим наукам. На основании полевых этнографических исследований и анализа новейших научных публикаций представлено обсуждение методологических и концептуальных инноваций в российских антропологических и этнологических исследованиях по ряду междисциплинарных направлений.

Следует сказать, что выполненная программа сама по себе содержит значительный инновационный компонент и отвечает мировым научным стандартам, обеспечивая российский приоритет в разработке отечественной историко-культурной тематики. Выполненное междисциплинарное комплексное исследование (более ста проектов и несколько сот научных публикаций) представило целостную картину исторического развития на евразийском пространстве в широком временном диапазоне от древнекаменного века вплоть до сегодняшнего дня, позволило выйти на более глубокий анализ актуальных политических и социальных проблем российского общества. В частности, очевидное социально-прикладное значение имеют ответы на вопросы о традициях и новациях в управлении, праве, лидерстве, практике принятия решений, воспитании, гендерных отношениях и пр. В условиях глобализации и информатизации традиция становится связующим звеном с исторической памятью и помогает сохранить национально-культурную идентичность. Немаловажное значение имеет поиск и выделение приоритетных объединяющих ценностей народов, изучение и практическое использование традиций народной дипломатии, направленных на формирование толерантности и культуры мира.

А.П. Деревянко, В.А. Тишков

РАЗДЕЛ 1. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ТРАНСФОРМАЦИИ В ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ ОБЩЕСТВАХ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ

*Дервянко А. П., Шуньков М. В.
(ИАЭТ СО РАН)*

РАЗВИТИЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ НА АЛТАЕ И ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА СОВРЕМЕННОГО ВИДА

В настоящее время на Алтае, расположенном на границе Северной и Центральной Азии, сосредоточены наиболее информативные археологические комплексы, характеризующие древнейшую историю огромного пространства от Урала до Тихого океана и от Монголии до Северного Ледовитого океана. На территории Алтая наиболее интересные результаты в изучении первобытной истории получены для его северо-западной части по материалам междисциплинарного изучения многослойных палеолитических памятников в долине верхнего течения р. Ануй. В отложениях Денисовой пещеры, стоянок Карама, Усть-Каракол и других археологических объектов вместе с многочисленными артефактами зафиксированы массовые палеонтологические материалы, позволяющие проследить процесс развития палеолитической культуры и реконструировать условия обитания первобытного человека на различных палеогеографических этапах плейстоцена. Кроме того, новейшие антропологические открытия в этом районе связаны с основными проблемами происхождения и формирования человека современного физического облика.

Наиболее древний этап проникновения палеолитического человека на территорию Алтая представляют архаичные галечные орудия, обнаруженные в отложениях нижнего неоплейстоцена на стоянке Карама. В толще пролювиально-аллювиальных осадков, вскрытых на участке пологого склона долины Ануй с отметками 50–60 м над урезом реки, зафиксирована культурная последовательность из четырех горизонтов обитания раннепалеолитического человека.

Верхний уровень находок связан с толщей красноцветных осадков, представленных грубокатанным валунно-глыбовым материалом с плохо сортированным суглинисто-песчаным заполнителем, обильно насыщенным гравием и дресвой.

Среди крупнообломочного материала преобладают крупнозернистые гранитоиды и эффузивы с включениями глыб светло-серого гранита. Часть из них подверглась интенсивному выветриванию, а некоторые глыбы разложились до дресвы. Особенности гранулометрического состава указывают на пролювиальный генезис отложений, хотя в подошве толщи отмечены включения сильновыветрелого мелкогалечного и гравийного материала, прошедшего стадию аллювиального транзита.

Нижняя часть разреза, вмещающая три уровня раннепалеолитических находок, представлена толщей переслаивающихся субаквальных супесчаных и глинистых осадков с линзами и прослоями выветрелого галечного и гравийного материала и с хорошо выраженным педокомплексом из двух горизонтов почв типа слитоземов. Почвы подобного типа формируются в условиях теплого климата со среднегодовой температурой 8–12°C. Для плейстоценовых отложений Сибири ископаемые почвы семейства слитоземов не характерны, что косвенно подтверждает относительную древность этого педокомплекса.

Археологические материалы Карама представлены раннепалеолитическими индустриями галечного типа (Рис. 1). В техническом отношении для них характерны приемы бессистемного и параллельного скалывания заготовок. Среди продуктов первичного расщепления представлены обколотые гальки в виде нуклеусов с гладкими или грубо подправленными ударными площадками, а также сколы с субпараллельно ограненным дорсалом и подготовленной площадкой. Самой представительной категорией инвентаря являются скребла на уплощенных гальках с естественным обушком и приостренным лезвием. К другой ведущей группе изделий относятся массивные гальки, оббитые поперец длинной оси как рубящие орудия – чопперы.

Следующую по значению группу образуют зубчатые, выемчатые и клювовидные орудия, оформленные главным образом глубокими широкими выемками. Остальную часть инвентаря составляют галечные изделия с выделенным шиповидным выступом в виде носика, массивные острия с широкоугольным рабочим элементом, ножи на долечных сколах с обушком-гранью, нуклеидные скребки, сколы с локальной ретушью.

По результатам палинологического исследования установлено, что пыльцевые спектры из красноцветов и нижней части разреза Карамы содержат значительное число экзотических элементов дендрофлоры (Болиховская, Шуньков, 2005). В их числе неморальные европейские и дальневосточные таксоны – граб сердцелистный *Carpinus cordata*, грабинник *C. orientalis*, хмелеграб *Ostrya sp.*, дуб черешчатый *Quercus robur*, липа сердцелистная *Tilia cordata*, липа амурская *T. amurensis* и липа маньчжурская *T. mandshurica*, вяз мелколистный *Ulmus pumila* и шелковица *Morus sp.* Наличие пыльцы этих растений и эколого-ценотические особенности обнаруженных экзотических таксонов позволяют определить возраст вмещающих отложений не моложе раннего неоплейстоцена.

Согласно данным палеоботанических исследований, процесс первоначального заселения человеком Алтая проходил в благоприятных климатических условиях. В это время в окрестностях Карамы произрастали березовые и сосновые леса с участием темнохвойных пород и неморальных европейских и дальневосточных таксонов. Основой существования древнейших обитателей стоянки являлись охота и собирательство. Охотились главным образом на мелких и средних млекопитающих, таких как барсук, сурок, суслик, заяц. Кроме того, раннепалеолитический человек постоянно промыслял сбором остатков добычи хищных животных – волка, гиены, медведя.

Результаты климатостратиграфического расчленения разреза и полученные палеоклиматические реконструкции свидетельствуют о формировании этих отложений во время четырех палеогеографических этапов раннего неоплейстоцена, отвечающих сменам двух теплых и двух холодных эпох межледникового и ледникового рангов (Bolikhovskaya, Derevianko, Shunkov, 2006). В совокупности материалы палинологического анализа и другие аналитические данные позволяют предположить, что накопление этих отложений соответствует стадиям 16–19 изотопно-кислородной шкалы, т.е. определить их возраст в диапазоне 600–800 тыс. лет. В настоящее время это наиболее древние культуросодержащие слои с надежным литологи-

ческим и биостратиграфическим обоснованием, выявленные на территории Северной Азии.

Раннепалеолитическая галечная индустрия Карамы свидетельствует о заселении территории Алтая популяциями *Homo erectus*, пришедшими, скорее всего, с первой миграционной волной из Африки (Деревянко, 2009). Первая волна древнейших мигрантов двигалась в двух основных направлениях: первое – через Ближний Восток на юг Европы – на Кавказ и в районы Средиземноморья, второе – через западные районы Азии на восток. Предполагается, что на восток гоминиды двигались двумя путями. Один из них пролегал, видимо, южнее Гималаев и Тибетского нагорья через Индостан в Восточную и Юго-Восточную Азию. Другой северный миграционный путь проходил, скорее всего, через Переднеазиатские нагорья в Центральную и Северную Азию.

Хроностратиграфическая колонка Карамы свидетельствует, что представители первой миграционной волны обитали на Алтае на протяжении почти всей первой половины раннего неоплейстоцена. После холодного максимума, соответствующего изотопной стадии 16, в связи с общим ухудшением природной обстановки ранние гоминиды, скорее всего, ушли в районы с более умеренным климатом. Оставшаяся часть популяции, видимо, не смогла адаптироваться к изменившимся ландшафтно-климатическим условиям и прекратила свое существование.

Следующий документированный период древнейшей истории Алтая представлен археологическими и палеонтологическими материалами из базальных отложений Денисовой пещеры, а также из аллювиальных осадков, выполняющих основание разреза палеолитической стоянки Усть-Каракол. Физическими методами датирования возраст этих отложений определен в пределах 133–282 тыс. лет, что соответствует второй половине среднего плейстоцена.

В начальный период заселения пещеры в окружающих ландшафтах были широко развиты разнотравно-злаковые степи, служившие пастбищем для многочисленных копытных – бизонов, сайгаков, благородных оленей, лошадей. Стада этих животных являлись главным объектом охоты палеолитического человека. Нижнюю часть горных склонов покрывали смешанные сосново-березовые леса с примесью дуба, клена, липы и вяза. В этих местах паслись косуля, марал и медведь. Верхнюю часть крутых склонов занимали каменистые осыпи, прикрытые кустарником и травянистой растительностью. Здесь, у гребней хребтов, обитали архар и сибирский горный козел.

Главным технологическим завоеванием человека среднего палеолита стали особые приемы обработки камня, названные техникой леваллуа. С их помощью от специально подготовленного обломка исходного каменного сырья – нуклеуса – откалывались крупные пластины и острия с симметричными острыми краями (Рис. 2). Эти сколы, тонкие в сечении и очень удобные в работе, использовались в качестве орудий практически без дополнительной обработки. Технические достижения в расщеплении камня позволили значительно усовершенствовать форму и рабочие свойства двух основных типов орудий – остроконечника и скребла.

Из отложений среднего плейстоцена получены типологически устойчивые наборы каменных изделий, которые по морфологии соответствуют ранним этапам среднего палеолита. Для индустрий из нижних слоев Денисовой пещеры характерны признаки леваллуазского расщепления, преимущественное использование отщепов в качестве заготовок орудий, преобладание в орудийном наборе скребел и зубчато-выемчатых форм. В наиболее древней индустрии стоянки Усть-Каракол большинство сколов имеет признаки параллельного расщепления, в составе орудий присутствуют скребла с продольно и конвергентно расположенными лезвиями, шиповидные изделия и выемчатые формы.

Активное заселение среднепалеолитическим человеком Алтая относится к первой половине верхнего плейстоцена, в период 120–50 тыс. лет. Согласно палеогеографическим данным, на протяжении этого периода постепенно сокращались площади лесов и расширялись степные биотопы. В сообществах млекопитающих уменьшалась численность лесных полевок и древесных форм грызунов, а доля степных и луговых видов, напротив, возрастала. В свою очередь, с деградацией лесной растительности была тесно связана возросшая активность первобытного человека. Сокращение лесов, увеличение площади луговой и степной растительности с густым травянистым покровом привело к росту численности крупных травоядных животных – основы охотничьего промысла древнего человека.

Развитие культурных традиций среднего палеолита на Алтае проходило в рамках нескольких индустриальных вариантов – кара-бомовского, денисовского и сибирячихинского (Деревянко, Шуньков, 2002; Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013).

К индустриям кара-бомовского варианта относятся материалы стоянок Кара-Бом, Усть-Каракол, Ануй-3, Усть-Канской пещеры и пещеры Страшная. Для первичной обработки камня в них использовалось главным образом леваллуазское расще-

пление, в основном техника пластинчатого скола. Типологический облик инвентаря определяли леваллуазские остроконечники и удлиненные сколы леваллуа, которые сочетались с разнообразными зубчато-выемчатыми формами и орудиями верхнепалеолитической группы. В рамках этого технического варианта важное место занимают среднепалеолитические индустрии многослойных стоянок Ануй-3 и Усть-Каракол, демонстрирующие хорошо развитую технику леваллуа и совершенство приемов бифасиальной обработки. Присутствие в составе инвентаря ярких образцов листовидных бифасов выделяет эти материалы в особый тип среднепалеолитической индустрии.

Несколько иной технико-типологический характер имеют индустрии денисовского варианта. К ним относятся материалы Денисовой пещеры, а также коллекция местонахождения Тюмечин-1. В индустриях этой группы первичная обработка камня велась главным образом в традициях параллельного и радиального раскалывания. Леваллуазский метод расщепления представлен в достаточно развитом виде, хотя существенного влияния на технологический процесс он не оказал. Подавляющее большинство орудий изготовлено на средних и укороченных сколах. В составе типологически выраженного инвентаря преобладают скребла, в т.ч. диагональных и угловатых форм, а также зубчато-выемчатые орудия. Изделия леваллуа отличаются четкой морфологией, однако их удельный вес относительно невелик.

В отдельный технический вариант выделены среднепалеолитические материалы пещеры Окладникова и Чагырской пещеры. Они отличаются от других алтайских индустрий хорошо выраженной радиальной технологией расщепления, преобладанием орудий мустьерского облика и большим количеством в составе инвентаря угловатых скребел типа *dejele*. Подобные формы скребел присутствуют также в материалах других среднепалеолитических памятников Алтая, но там они относительно малочисленны и не образуют устойчивых серий.

Жизнь среднепалеолитического человека в основном протекала на долговременных поселениях в пещерах и на сезонных охотничьих стойбищах. В сезонных лагерях изготавливался преимущественно специальный охотничий инвентарь в виде треугольных и листовидных остроконечников. В наборах орудий из пещер доминируют универсальные скобящие и режущие инструменты – скребла, а также орудия с выемками и зубчатыми лезвиями.

В период от 50 до 40 тыс. лет назад на территории Алтая на основе местных среднепалеолити-

ческих традиций происходит постепенное становление культурного комплекса верхнего палеолита. Начало этой эпохи отмечено общим смягчением климата, расширением площади лесов и лугов, высокой степенью мозаичности ландшафтов. На склонах речных долин в это время обитали животные разных экологических групп – архар, сайга, дзерен и сибирский горный козел паслись по соседству с шерстистым носорогом, бизоном и маралом. В целом характер природной обстановки в эпоху верхнего палеолита был довольно неустойчивым, а его заключительный этап (24–12 тыс. лет назад) сопровождался прогрессирующим похолоданием, что привело к самому ощутимому за весь период плейстоцена ухудшению природных условий. В это время максимально возросла доля травянистых растений и кустарников, небольшие участки леса состояли в основном из темнохвойных пород. Среди животных преобладали обитатели скал и степей.

Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае происходило по двум самостоятельным линиям развития – усть-каракольской и кара-бомовской – на основе последовательной трансформации технокомплекса среднего палеолита (Деревянко, Шуньков, 2004).

Усть-каракольский вариант развития объединяет индустрии Усть-Каракола, Денисовой пещеры, Ануя-3, Тюмечина-4 и, видимо, пещеры Страшная. В системе первичного расщепления в этих индустриях начинают широко использоваться приемы серийного снятия удлиненных заготовок с призматических, конусовидных и торцовых нуклеусов, в т.ч. клиновидной формы. Прямым следствием прогрессивных технологических процессов явилось зарождение техники микропластинчатого расщепления, применявшейся как для получения собственно микропластин, так и для подготовки специальных форм верхнепалеолитических орудий. В типологических списках этих индустрий самую выразительную часть орудийного набора образуют т.н. ориньякские формы – концевые скребки на пластинах; скребки высокой формы типа карене, оформленные микропластинчатыми снятиями; срединные резцы, в том числе многофасеточные; крупные пластины с регулярной ретушью по периметру, а также микропластины с приглушенным краем. Характерным признаком этих индустрий служат орудия со следами двусторонней обработки, в первую очередь бифасиальные остроконечники листовидной формы.

Другой важной особенностью этого круга индустрий являются орудия и украшения из кости (Рис. 3). В культурных слоях начальной стадии

верхнего палеолита Денисовой пещеры найдены миниатюрные иглы с просверленным ушком, острия-проколки, пронизки с симметричными рядами глубоких кольцевых нарезок, бусины и кольца из бивня мамонта, подвески из зубов марала и лисицы, плоские бусины-колечки из окаменевшей скорлупы яиц страуса. Дополняют коллекцию индивидуальных украшений раковины пресноводных моллюсков с просверленным отверстием в основании, подвески из мягкого поделочного камня, кольцо из белого мрамора и браслет из темно-зеленого хлоритолита (Рис. 4). Трасологическое и технологическое изучение каменных украшений показало, что при их изготовлении использовались шлифовка на абразивах, полировка кожей и шкурой, а также уникальные для палеолитического времени технологии – скоростное станковое сверление и внутренняя расточка инструментом в виде рашпиля (Деревянко, Шуньков, Волков, 2008).

Кара-бомовский вариант развития ранней верхнепалеолитической традиции представлен индустриями стоянок Кара-Бом, Кара-Тенеш и, возможно, Малояломанской пещеры. Их технические особенности носят отчетливо выраженный пластинчатый характер. Большая часть нуклеусов имеет параллельную огранку и предназначена для получения удлиненных сколов, в том числе с помощью техники леваллуа. Вместе с тем отмечены новые технические приемы, характерные для скалывания микропластин, в т.ч. с торцовых разновидностей нуклеусов. Основным продуктом расщепления являются крупные пластины, на которых оформлено более половины орудий. Ведущее положение в составе инвентаря занимают орудия верхнепалеолитической группы, оформленные главным образом на крупных пластинчатых заготовках – концевые скребки, срединные резцы, ножи с ретушированным обушком, удлиненные остроконечники с вентральным уплощением основания и пластины с ретушью продольных краев. В этих индустриях отмечены также единичные образцы бифасиальных изделий и украшений из зубов животных. В целом облик этой индустриальной традиции определяется серийным производством крупных пластин и орудий на их основе.

Относительно ранняя хронологическая позиция алтайских комплексов начальной поры верхнего палеолита позволяет предположить, что выделенные на Алтае технологические тенденции во многом предопределили основные пути развития верхнепалеолитических традиций в Северной и Восточной Азии. Кара-бомовская традиция тесно связана с распространением на этой террито-

рии пластинчатых индустрий. Усть-каракольский технический вариант стимулировал развитие в верхнем палеолите этих регионов индустрий с торцовым микрорасщеплением и производством листовидных бифасов.

Комплексные исследования алтайского палеолита показали непрерывное развитие палеолитических традиций в течение как минимум 280 тыс. лет и автохтонное становление культуры верхнего палеолита на местной среднепалеолитической основе в хронологическом интервале 50–40 тыс. лет назад, без заметных признаков внешних влияний. При этом наборы каменных и костяных орудий, а также предметы символической деятельности, свидетельствуют о достаточно высоком уровне материальной и духовной культуры обитателей Алтая в начале верхнего палеолита.

В этой связи огромный интерес представляют результаты палеогенетических исследований антропологических находок из культурного слоя начальной стадии верхнего палеолита в Денисовой пещере, проведенных в Институте эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге интернациональным коллективом ученых под руководством профессора С. Паабо (Krause et al., 2010; Reich et al., 2010; Meyer et al., 2012). Расшифровка сначала митохондриальной, а затем и ядерной ДНК из костных образцов показала, что они принадлежат ранее не известному науке ископаемому гоминиду, который по месту обнаружения антропологических останков получил название человек алтайский *Homo sapiens altaiensis*, или денисовец. Анализ секвенированного генома представителей новой группы древних гоминидов показал их сестринскую близость неандертальцам, т.е. сначала ветвь их предков отделилась от общего с человеком современного физического вида эволюционного ствола, а потом произошло и их разделение.

Популяция денисовцев сосуществовала в северо-западной части Алтая вместе с наиболее восточной группой неандертальцев, установленной по данным анализа митохондриальной ДНК останков ископаемого человека из пещер Окладникова и Чагырской (Krause et al., 2007), т.е. в период 50–40 тыс. лет назад на этой территории обитали по соседству две разные группы первобытных людей. При этом неандертальцы пришли сюда примерно 50 тыс. лет назад, скорее всего, с территории современного Узбекистана. А корни культуры, носителями которой были денисовцы, как уже упоминалось, прослеживаются в древнейших горизонтах Денисовой пещеры. Способы и приемы жизнедеятельности денисовцев не уступали, а в некоторых

аспектах превосходили поведенческие характеристики человека современного физического облика, жившего в одно и то же время с ними на других территориях.

Новейшие палеогенетические данные показали также, что до 4% генома современного человека «принадлежит» неандертальцам, что свидетельствует о возможном скрещивании этих двух видов на определенном эволюционном этапе. Что касается денисовцев, то 4–6% их генома несут современные жители южного полушария: коренное население Австралии и островов Меланезии. Нужно отметить, что на протяжении плейстоцена уровень мирового океана значительно колебался, и острова Юго-Восточной Азии, Австралия и Папуа-Новая Гвинея периодически представляли собой части протоматериков Сунда и Сахул. Поэтому в период от 60 до 40 тыс. лет назад были этапы, когда человек мог передвигаться из Азии в южном направлении и заселять эти территории вплоть до Австралии, о чем и свидетельствуют современные генетические данные.

Таким образом, и неандертальцы, и денисовцы получили право войти в число предков современного человека. Эти открытия позволяют говорить о новой модели становления человека современного физического облика в противовес теории моноцентризма, согласно которой единственным очагом становления современного человека являлась Восточная Африка, откуда потом и произошло его расселение по территории Евразии.

Новая версия полицентризма или мультирегиональной эволюции человека основана, прежде всего, на данных археологии – если бы коренное население везде замещалось человеком разумным, пришедшим из Африки, то и культурные проявления ранней стадии верхнего палеолита должны были быть достаточно однородными на территории всей первобытной ойкумены. Однако археологические материалы свидетельствуют, что это далеко не так – каменные индустрии начальной поры верхнего палеолита в Африке, в западной части Евразии, на юге Сибири и на востоке Азии принципиальным образом отличаются друг от друга, что подразумевает культурную и, следовательно, генетическую непрерывность у первобытного населения в каждом из этих регионов.

Наглядный пример мультирегиональной эволюции человека представляют палеолитические материалы из восточных регионов Азии, где *Homo erectus*, пришедший с первой миграционной волной, а затем его потомки в течение сотен тысяч лет развивали свои приемы обработки камня, отличные от технологий, характерных для остальной части Ев-

ЛИТЕРАТУРА

разии. Отсутствие внешних инноваций в каменных индустриях так называемой китайско-малайской зоны в период от 100 до 30 тыс. лет назад, когда в других областях первобытной ойкумены происходил переход от среднего к верхнему палеолиту, позволяет предположить, что миграционная волна людей современного типа из Африки не дошла до побережья Тихого океана. На этих территориях происходило автохтонное формирование человека современного физического типа путём эволюции азиатской формы *Homo erectus*. Кстати, это предположение подтверждается и новыми данными о возрасте некоторых палеоантропологических находок с сапиентными чертами в Китае, свидетельствующими, что анатомически современные люди появились здесь не позднее 100 тыс. лет назад (Shen, Michel, 2007).

Согласно археологическим, антропологическим и генетическим материалам из древнейших местонахождений Африки и Евразии можно говорить о том, что на земном шаре существовало несколько зон, в которых шел самостоятельный процесс эволюции популяций *Homo erectus* и развития технологий обработки камня (Деревянко, 2011). В каждой из этих зон складывались свои культурные традиции, свои модели перехода от среднего к верхнему палеолиту и происходило независимое становление ранних форм человека разумного – африканской в Восточной и Южной Африке, ориентальной в Восточной и Юго-Восточной Азии, неандертальской и алтайской на территории остальной части Евразии, которые в разной степени внесли вклад в формирование анатомически современного человека. Неоспоримым подтверждением правомерности этой концепции стали новейшие данные палеогенетических исследований, показавшие наличие в генофонде современного человечества генетического материала, унаследованного как от неандертальцев, так и от денисовцев.

Любин В.П., Беляева Е.В. (ИИМК РАН)

ТРАДИЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ В РАННЕМ ПАЛЕОЛИТЕ КАВКАЗА И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Традиции наиболее кратко определяются как передающиеся от поколения к поколению и длительно сохраняющиеся элементы культуры (Кравченко, 2000. С. 577). В разных традициях выражаются культурные различия между человеческими общностями, а одинаковые или сходные традиции, напротив, предполагают культурное родство. Традиции не исключают развития, однако создают для него определенные рамки и обеспечивают посте-

Болиховская Н.С., Шуньков М.В. 2005. Климато-стратиграфическое расчленение древнейших отложений раннепалеолитической стоянки Карамы // Археология, этнография и антропология Евразии. № 3.

Деревянко А.П. 2009. Древнейшие миграции человека в Евразии в раннем палеолите. Новосибирск.

Деревянко А.П. 2011. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование человека современного анатомического типа. Новосибирск.

Деревянко А.П., Маркин С.В., Шуньков М.В. 2013. Сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. № 1.

Деревянко А.П., Шуньков М.В. 2002. Индустрии с листовидными бифасами в среднем палеолите Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. № 1.

Деревянко А.П., Шуньков М.В. 2004. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. № 3.

Деревянко А.П., Шуньков М.В., Волков П.В. 2008. Палеолитический браслет из Денисовой пещеры // Археология, этнография и антропология Евразии. № 2.

Bolikhovskaya N.S., Derevianko A.P., Shunkov M.V. 2006. The fossil palynoflora, geological age, and dimatostratigraphy of the earliest deposits of the Karama site (Early Paleolithic, Altai Mountains) // Paleontological Journal. Vol. 40.

Krause J., Fu Q., Good J. et al. 2010. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia // Nature. Vol. 464.

Krause J., Orlando L., Serre D. et al. 2007. Neanderthals in Central Asia and Siberia // Nature. Vol. 449.

Meyer M., Kircher M., Gansauge M.-T. et al. 2012. High-Coverage Genome Sequence from an Archaic Denisovan Individual // Science. Vol. 338.

Reich D., Green R.E., Kircher M. et al. 2010. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova cave in Siberia // Nature. Vol. 468.

Shen G., Michel V. 2007. Position chronologique des sites de l'homme moderne en Chine d'après la datation U-Th // L'Antropologie. № 111.

пенность и преемственность. Резкий слом этого механизма, т.е. полный или частичный отказ от существующих традиций в пользу новых, представляет собой культурную трансформацию.

Прилагая данные понятия к раннему палеолиту, следует подчеркнуть, что в эту эпоху специфические формы человеческого поведения, обозначаемые как культура, только зарождались. Соответственно, содержание всех понятий, описы-

вающих культуру раннего палеолита, не может не отличаться от такового, используемого для более поздних эпох. На этой начальной стадии развития культуры традиции передавались, скорее всего, только через практическое обучение и подражание. Судить же об этих традициях можно лишь путем анализа единственной дошедшей до нас составляющей раннепалеолитической культуры – каменных изделий.

На наш взгляд, применительно к раннему палеолиту понятие «традиция» правомерно использовать для обозначения длительного воспроизводства определенных технико-морфологических характеристик каменных индустрий. Количество и качество этих характеристик может варьировать, включая, например, особенности технологии или отдельные типы орудий. Для каменных индустрий, демонстрирующих аналогичные или близкие традиции, логично предположить ту или иную степень их родства. Они могут быть разными стадиями развития единой индустриальной традиции или же иметь общие корни. Поскольку в рассматриваемую эпоху происходило расселение ранних людей в Африке и Евразии, такие традиции могут носить не только локальный характер, но и распространяться в пределах целых регионов. Когда есть основания предполагать резкое изменение традиционного набора характеристик раннепалеолитических индустрий, вполне уместно говорить об их трансформации. Помимо фиксации данных явлений большой интерес представляют вызывающие их причины.

Очевидно, что изучение всех этих вопросов возможно лишь на примере тех раннепалеолитических индустрий, которые существовали в длительном хронологическом диапазоне. Особенно важны многослойные памятники, которые дают возможность проследить развитие конкретной каменной индустрии. Наконец, исследуемые индустрии должны также включать достаточно выразительные типы изделий, анализ которых позволяет оценить устойчивость или изменчивость технологических и морфологических характеристик во времени. В соответствии с этими критериями для обсуждения проявлений традиций и трансформаций в раннем палеолите мы выбрали ашельские памятники Ближнего Востока и Кавказа.

Говоря об ашеле Ближнего Востока, логично начать с древнейшего памятника региона. Это многослойная стоянка Убейдия в Израиле, культурные отложения которой имеют надежно установленный раннеплейстоценовый возраст (Bar-Yosef, Goren-Inbar, 1993). В настоящее время по совокупности данных Убейдию помещают в интервал 1,2-1,6 млн. л.н. (Bar-Yosef, Belmaker, 2011). Основная

часть стратиграфической колонки этого памятника, исключая несколько нижних уровней, содержит одну и ту же индустрию, определяемую как ранний ашель. Состав макро-орудий Убейдии сочетает грубые рубила и пики, с большим количеством чопперов. Характерными формами, встречающимися в разных слоях, являются удлиненные пики, в т.ч. двуконечные, подразделяемые по поперечному сечению на триэдры и квадриэдры, а также рубила с узким лезвием на конце. Это позволяет говорить об определенной традиции. Технология производства макро-орудий, включая главный маркер ашеля – ручные рубила, была основана здесь на обработке подходящих по размеру и форме галек и обломков таких пород, как базальт и известняк.

Исследователи памятника считают индустрию Убейдии сходной с раннеашельскими комплексами из несколько более древней по возрасту верхней части пачки II Олдувайского ущелья в Восточной Африке (Bar-Yosef, Goren-Inbar, 1993), но делают такой вывод, исходя лишь из одновременного наличия в них чопперов, рубил и пиков. На наш взгляд, этот ненадежный критерий, ибо такой набор макро-орудий характерен для раннего ашеля в целом, причем каждый из этих классов демонстрирует широкую внутреннюю вариабельность. Чтобы судить о той или иной степени сходства каменных индустрий, следует, как говорилось, выявлять специфические для них типы орудий или отдельные морфологические и технологические особенности. С этой точки зрения рассматриваемые индустрии объединяют такие довольно редкие и выразительные типы орудий, как округлые нуклевидные скребки (tea-susy scraper) и удлиненные двуконечные пики. В то же время, например, удлиненные копьевидные рубила, включая таковые с узким поперечным лезвием, в ашеле Олдувая, в отличие от Убейдии, не производились. Принципиальное значение для сравнения этих индустрий имеет, наконец, тот факт, что они принадлежат к разным технологическим традициям. Если в Убейдии макро-орудия делались из обломков пород и галек, то в раннем ашеле Олдувая, как и в большинстве ашельских индустрий Африки, основной заготовкой для них были крупные отщепы вулканических пород. Из них изготавливали рубила, а также кливеры (Leakey, 1971; Torge, Mora, 2005). Подобные индустрии в последнее время выделяются как особая разновидность ашеля – Large Flake Acheulian, или LFA (Sharon, 2007).

Итак, мы наблюдаем одновременное сходство и различие раннеашельских индустрий Олдувая и Убейдии. Допустимо предположить, что это отражает трансформацию более древней восточноафриканской раннеашельской традиции при распростра-

нении ее на Ближний Восток и переходе на новые разновидности сырья, потребовавшие перестройки технологий. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимо обнаружить другие раннеашельские памятники, которые отразили бы какие-то этапы такой трансформации.

Намного более очевидны восточноафриканские корни среднеашельской индустрии многослойной стоянки Гешер-Бенот-Йааков в Израиле (Goren-Inbar, Saragusti, 1995), которую относят к концу раннего – началу среднего плейстоцена (около 0,8-0,9 млн. л. н. (Bar-Yosef, Belmaker, 2011)). В этой индустрии имеются многочисленные рубила и кливеры на базальтовых отщепах, что не находит аналогов ни в одной другой ашельской индустрии Ближнего Востока, зато вполне вписывается в восточноафриканские традиции этого периода. Это единственная индустрия типа LFA на Ближнем Востоке. Продолжение же традиции, характерной для Убейдии, можно наблюдать в материалах стоянки Латамна в Сирии. Возраст этого среднеашельского памятника оценивают примерно в 1 млн. л. н. (Bar-Yosef, Belmaker, 2011). В индустрии этой стоянки для изготовления макро-орудий использовались такие же виды сырья и формы заготовок, как и в Убейдии (Clark 1967). В Латамне, правда, чопперы и пики уже не играют важной роли, а на передний план выходят рубила-бифасы. Однако ее роднят с Убейдией очень специфические орудийные типы, среди которых удлиненные пики-триэдры и копьевидные рубила, иногда имеющие на дистальном конце узкое «совковидное» лезвие. Таким образом, несмотря на значительный хронологический разрыв, есть основания полагать, что Латамна является позднейшим продолжением убейдинской традиции. Эта традиция, обнаруживаемая еще в ряде менее крупных ближневосточных среднеашельских памятников, локализована в зоне Аравийского рифта (Мертвое море, долина Иордана). Наряду с ней в среднем ашеле Ближнего Востока фиксируются также традиции с иными технологическими и морфологическими особенностями. В памятниках средиземноморской зоны региона (Израиль, Сирия) в данный период были распространены сердцевидные и овальные формы ручных рубил, а также впервые появилась техника леваллуа, позволяющая получать сколы-заготовки правильной формы. Основным сырьем в этих индустриях был кремний (Muhesen, 1985; Bar-Yosef, 1994).

Поздний ашель Ближнего Востока, к которому относят индустрии второй половины среднего плейстоцена, представляет собой развитие второй из описанных традиций в виде нескольких вари-

антов, которые различаются по наличию и доле различных форм бифасов (Gilead, 1970; Hours, 1981; Bar-Yosef, 1994). В этих позднеашельских индустриях использовались почти исключительно кремневые желваки и гальки, отчего даже самые поздние бифасы являются довольно массивными. В этот период возрастает роль леваллуазской техники, приемы которой использовались и при обработке бифасов: их нередко старались утончить с помощью плоских сколов, снимавшихся со специально подготовленных временных площадок на краях этих орудий. Совершенное прекращение в этот период убейдинской традиции можно объяснить разными причинами, в том числе и исчезновением ее носителей. Однако не исключено, хотя в данном случае и недоказуемо, что имела место трансформация этой традиции вследствие перехода на кремневое сырье. Кремний очень редко встречается в виде достаточно крупных конкреций, которые позволили бы производить характерные для убейдинской традиции типы удлиненных пики и рубил.

Обратимся теперь к ашелю региона, соседствующего с Ближним Востоком. Еще несколько лет назад все данные по хронологии раннего палеолита Кавказа, включая как биостратиграфические критерии, так и немногочисленные абсолютные датировки, говорили о том, что ашельские индустрии появились там относительно поздно и ранние стадии ашеля в этом регионе отсутствуют. Практически все ашельские памятники Кавказа датировались второй половиной среднего плейстоцена. Эти обстоятельства заставляли полагать, что ашельские индустрии распространились на Кавказ со стороны Ближнего Востока, где известны более древние среднеашельские и даже раннеашельские индустрии (Любин, 1989; Любин, Беляева, 2004, 2006). Согласно другой гипотезе родство с ближневосточным ашелем леваллуазской фации имеет только один из двух основных вариантов позднего ашеля Кавказа. Речь идет о позднеашельских индустриях Закавказского нагорья, которые содержат многочисленные рубила-бифасы и леваллуазские продукты расщепления. Нелеваллуазские же индустрии с немногочисленными и в значительной мере неклассическими бифасами и чопперами, подобные ашельской индустрии пещерной стоянки Кударо I, по мнению автора данной гипотезы, формировались на основе местных древних «премустьеерских индустрий», к которым отнесены находки из Треугольной пещеры (Дороничев, 2004; 2007).

Недостатком обеих гипотез было отсутствие весомых доказательств в пользу продолжения ближневосточных традиций на Кавказе. Возмож-

ные источники позднеашельских индустрий Кавказа на Ближнем Востоке до сих пор не выявлены. В то же время обращает на себя внимание тот факт, что в этих регионах доминируют разные технологические традиции. Если на Ближнем Востоке, как говорилось выше, заготовками рубил и других макро-орудий в абсолютном большинстве ашельских индустрий были гальки и обломки пород, то на Кавказе, и в особенности в его южной части (Закавказское нагорье), сопредельной с Ближним Востоком, преобладают позднеашельские индустрии типа LFA, где большая часть рубил изготавливалась из больших отщепов и имеет частичную бифасальную обработку. В памятниках Закавказского нагорья такие рубила сопровождаются леваллуазскими продуктами расщепления. На Ближнем Востоке ашель типа LFA, как мы отмечали, отсутствует, исключая индустрию Гешер Бенот Йааков (Sharon, 2007), где, однако, не развита техника леваллуа и, в отличие от Кавказа, имеется большая доля кливеров. Для объяснения наблюдаемой ситуации было выдвинуто предположение о возможной трансформации ближневосточных традиций при переходе пришлых ближневосточных индустрий от кремневого сырья к вулканическому, распространенному на Закавказском нагорье (Любин, Беляева, 2006). Эта гипотеза в принципе резонна, но до сих пор не подкреплена фактическим материалом.

Интересная сама по себе идея В.Б. Дороничева (2004; 2007) о формировании определенной части позднеашельских индустрий Кавказа (вариант Кударо) внутри региона не выдерживает критики с точки зрения предлагаемого сценария. Во-первых, автор его никак не объясняет, как ашель типа LFA мог развиваться из «премутьерской» индустрии Треугольной пещеры, где нет настоящих рубил и нет производства больших отщепов. Во-вторых, резкое разграничение между поздним ашелем Закавказского нагорья и поздним ашелем кударского типа (стоянки Кударо I, Цона, Азых) проведено не совсем корректно. Действительно, в первом случае рубила многочисленны и сопровождаются продуктами леваллуазского расщепления, а в индустриях кударского типа их немного, и преобладают неклассические формы, а техника леваллуа отсутствует. Однако следует учесть, что поздний ашель Закавказского нагорья представлен преимущественно коллекциями, собранными на местонахождениях (Сатани-дар, Джрабер, Арзни и др.), где обычно происходит селекция материалов. Если же сравнить индустрию Кударо I (Любин, Беляева, 2004) с единственной полноценной позднеашельской индустрией Закавказского нагорья, которая получена на стоянке Даштадем 3 (Kolpakov, 2009), то доля

рубил в них почти не различается – 1% и 2% соответственно. Далее, неклассические бифасы распространены не только в индустриях, относимых к кударскому типу, но и в позднем ашеле Закавказского нагорья. В упомянутой индустрии Даштадем 3 неклассические обушковые бифасы, например, составляют около 12%, что немногим меньше таких форм в Кударо I (16%).

Более справедливо указание В.Б. Дороничева (2004, 2007) на отсутствие в индустриях кударского типа леваллуазской техники и наличие там таких архаичных форм, как чопперы и крупные нуклеидные скребки. Данное обстоятельство, однако, во многом может объясняться архаизирующим влиянием недостаточно качественного местного сырья (Любин, Беляева, 2004, 2006), которое обрабатывается намного сложнее, нежели обсидиан и гиалодацит, используемый в позднеашельских индустриях Закавказского нагорья. Такое сырье, с одной стороны, способствовало сохранению относительно примитивных орудий, а с другой, в отличие от Закавказского нагорья, не позволяло развивать здесь леваллуазские технологии. Иначе говоря, в случае позднеашельских индустрий кударского типа неблагоприятный сырьевой фактор привел, возможно, к консервации более древних традиций вплоть до стадии позднего ашеля.

Выдвигая подобное предположение, мы учитываем тот факт, что наряду с указанными различиями позднеашельские индустрии кударского типа и таковые с Закавказского нагорья имеют ряд общих черт. Во-первых, как уже отмечалось, оба эти варианта позднеашельских индустрий Кавказа содержат рубила-частичные бифасы, изготовленные из больших отщепов, что указывает на тип LFA. Во-вторых, рассматриваемые варианты кавказского ашеля сходны по заметному присутствию неклассических бифасов, среди которых наиболее характерны бифасы с частичной двусторонней обработкой, а также обушковые и подпрямоугольные формы. Последние разновидности практически не известны в сопредельных областях. Все это уже давно заставляло задуматься о вероятности неких местных корней всего кавказского ашеля (Любин, Беляева, 2006. С. 50).

Эта идея долгое время оставалась сугубо умозрительной, но положение изменилось благодаря недавним открытиям на севере Закавказского нагорья, на территории Армении. Эти открытия были сделаны Армяно-Российской археологической экспедицией, которая с 2003 г. ведет исследования раннего палеолита на севере Армении (Лорийское вулканическое плато). Эта область привлекла внимание благодаря наличию пригодного для расще-

пления вулканического сырья, источником которого является Джавахетский хребет, обрамляющий плато с запада.

В начале этих работ в предгорьях Джавахетского хребта было обнаружено более 20 местонахождений с ашельскими изделиями из стекловатой разновидности дацита – гиалодацита (Асланян и др., 2007). На них собрано более трехсот рубил, большинство из которых немассивны, хорошо отделаны и изготовлены в значительной мере из крупных отщепов путем их частичной двусторонней обработки (тип LFA). Преобладают овальные и сердцевидные формы, присутствуют подпрямоугольные рубила и рубила с поперечным лезвием. Среди нуклеусов и сколов доминируют леваллуазские типы (пластины, отщепы). Взаимосвязь этих находок была подтверждена открытием упоминавшейся стоянки Даштадем 3, которая доставила полноценный индустриальный комплекс: разнообразные орудия, включая 49 ручных рубил, нуклеусы и сколы, в том числе леваллуазские, а также отходы производства (Kolpakov, 2009). По характеристикам бифасов и наличию продуктов леваллуазского расщепления данные находки аналогичны коллекциям позднеашельских обсидиановых изделий из ранее известных местонахождений Закавказского нагорья. По таким особенностям, как наличие рубил длиной более 15 см и производство пластин, позднеашельские индустрии Лорийского плато наиболее сходны с материалами местонахождений долины р. Раздан в Армении (Джрабер, Фонтан, Кендарасы) (Любин, 1961).

Главным результатом работ Армяно-Российской экспедиции стало все же не обнаружение нового района распространения позднего ашееля, а выявление более древнего ашельского пласта. Вначале в ряде пунктов Лорийского плато были найдены изделия, имевшие намного более архаичный облик, нежели позднеашельские. Там было собрано несколько таких орудий, сделанных из плитчатых обломков дацита: очень крупноразмерные, массивные и грубо отделанные бифасы, крупные обушковые ножи («цалди») и пиковидные орудия (Асланян и др., 2007; Любин, Беляева, 2010). Это показало, что в данном районе присутствовали некие доверхнеашельские пласты индустрий. Вскоре удалось открыть три памятника со стратифицированным залеганием более древних ашельских индустрий – Мурадово, Карахач и Куртан I (Беляева, Любин, 2013).

Мурадово находится неподалеку от юго-восточной оконечности Джавахетского хребта и представляет собой участок древней речной террасы, прорезанной современным ручьем. Здесь было

вскрыто более 7 м отложений, в которых выделено 9 литологических уровней, содержащих каменные артефакты. Слои 1-2 являются голоценовой почвой, в которой залегают переотложенные ашельские изделия из гиалодацита: уплощенные бифасы и продукты леваллуазского расщепления. Эта индустрия аналогична вышеописанным позднеашельским материалам из Даштадем 3 и окрестных местонахождений Лорийского плато. Слой 3 (карбонатная палеопочва) доставил гиалодацитовую индустрию, которая содержит нелеваллуазские продукты расщепления и разнообразные орудия. Макро-орудия – пять рубил, включая обушковые формы, два чоппера и три пика. Среди мелких орудий наиболее часто встречаются скребла и комбинированные формы. Заготовками как крупных, так и мелких орудий являлись отщепы и плитчатые обломки гиалодацита. Эта индустрия довольно резко отличается от вышележащей и других местных позднеашельских индустрий по техническим характеристикам, набору орудий, среди которых впервые выявлены чопперы и пики.

Особый интерес представляет нижняя пачка слоев 4-9. Это галечно-гравийные супеси и суглинки (около 6 м) пролювиально-делювиального генезиса. Ашельские изделия в той или иной мере окатаны, но не имеют повреждений, указывающих на перенос сильными потоками. Продукты расщепления в этих слоях единичны. Доминируют орудия, изготовленные из не встречавшегося выше сырья (риодацит с флюидалной или порфировой текстурой, андезит, долерит) и преимущественно из плитчатых обломков. Индустрия выглядит единой, хотя в нижних уровнях формы и обработка орудий представляются несколько более грубыми. Чопперы, пики и рубила составляют в общей сложности от 5 % в слое 8 до 17% в слое 4. Среди чопперов выделяются веерообразный и подпрямоугольный (брусковидный) типы, пики представлены в основном короткими триэдрами и квадриэдрами, а для рубил характерно наличие обушковых участков, противолежащая обработка лезвий и пятки, оформленные крутыми сколами-обрубами. Присутствуют также крупные нуклеидные скребки и два варианта макро-ножей. Очень специфичны долота с корпусом в виде массивных четырехгранных стержней, а также орудия с долотовидным лезвием, расположенным под углом к фронтальной плоскости корпуса и др. Среди более мелкоразмерных орудий многочисленны различные острия, долотца и скребки. Приемы обработки и морфология орудий, судя по всему, во многом определялись особенностями сырья. Орудия, включая рубила, нередко имеют двоякоплоские поперечные сечения и гео-

метризованные очертания – подпрямоугольные с субпараллельными краями или же подтреугольные. Такими они получались благодаря использованию естественной формы плиток либо их усечению оконтуривающими сколами-обрубками. Характерны также уплощающие сколы вдоль слоев подобной породы.

Отсутствие материалов для датирования вначале затрудняло атрибуцию данной индустрии и индустрии слоя 3. Однако было ясно, что по стратиграфическому положению они древнее материалов из слоев 1 и 2, которые относятся к распространенному на Закавказском нагорье позднему ашелю типа LFA в его левалуазской фации. Прояснить статус этих двух ранних стадий в культурной последовательности Мурадово позволили два других стратифицированных ашельских памятника этого района – Карахач и Куртан I.

Наиболее древние материалы были найдены при раскопках в Карахачском карьере, который расположен примерно в трех километрах западнее Мурадово, в самом подножии Джавахетского хребта. В стенах этого карьера выделены две пачки отложений общей мощностью до 15 м. Верхняя, более мощная, пачка I содержит супесчаные неслоистые отложения с плохо окатанным валунно-галечным материалом. Пачка II представляет собой агломератовый туф (вулканический пепел, пемза, шлаки). Нижележащая пачка III, которая была впервые обнаружена в шурфе и вскрыта на сегодня на глубину более 7 м, содержит галечно-гравийные отложения с прослоями пепла и валунника (13 литологических слоев). Полученная серия уран-свинцовых датировок (Presnyakov et al., 2012) и результаты палеомагнитного анализа позволяют отнести пачку III ко второй половине палеомагнитного эпизода Олдувай (около 1,85–1,77 млн. л. н.), а пачки II и I – к последующей части обратной палеомагнитной эпохи Матуяма (1,77–0,78 млн. л. н.). Накопление туфа (пачка II) началось сразу после эпизода Олдувай (Трифонов и др., 2014).

Ашельские изделия были встречены в пачке II (туф) и в пачке III. Разведочный раскоп, вскрывший верхи туфовой толщи на глубину около 1,5 м, доставил на сегодня более трехсот изделий из андезито-дацитового сырья довольно низкого качества. Преобладают орудия, встречены также несколько нуклеусов и нуклевидных форм и около полутора десятков отщепов и мелких чешуек. Макро-орудия (около 10% коллекции) представлены преимущественно чопперами и пиковидными формами, но имеется один двуобушковый бифас. Мелкие орудия включают в основном различные острия, скребла, долотовидные орудия и скребки,

изготовленные из сколов и плитчатых обломков породы.

Другой раскоп, вскрывший перекрытую туфом пачку III, доставил уже более двух тысяч изделий, происходивших из всех слоев, исключая слой III.1 (тонкий слой суглинка непосредственно под туфом). Обработка материала еще не завершена, но уже сейчас можно говорить о длительном развитии здесь единой индустрии, ведущими формами которой являются макро-орудия. Пики и пиковидные орудия, грубые рубила и рубильца, а также разнообразные чопперы, составляют около 11 % коллекции. Среди пиков, как и в слоях 4-9 Мурадово, часто встречаются короткие триэдры и квадриэдры, однако имеются и удлиненные пики с подтреугольным сечением. Чопперы разнообразятся, но в их составе присутствуют отмеченные в нижних уровнях Мурадово вееровидный и подпрямоугольный (брусковидный) типы. Сходны в целом и характеристики рубил: в пачке III Карахача также встречены рубила с обушковыми участками, противоположной обработкой лезвий и пятками, сформированными сколами-обрубками. Аналогии с нижними уровнями Мурадово дополняют крупные нуклевидные скребки, макро-ножи, а также такие специфические формы как удлиненные четырехгранные долота и орудия с долотовидным лезвием, расположенным под углом к фронтальной плоскости корпуса. Прочие орудия пачки III Карахача представлены мелкими и средними остриями, скребками, скреблами, долотцами и комбинированными формами. Основными заготовками орудий в индустрии из пачки III являются плитчатые обломки дацита, естественная форма которых и частая слоистость влияли на приемы обработки и форму изделий. Господствует крутая и полукрутая краевая обивка, а нередко сколы наносятся вдоль слоев плитчатой заготовки, упрощая ее корпус или приостряя лезвия. Все эти характеристики также аналогичны тем, что имеют слои 4-9 Мурадово.

Раннеплейстоценовый возраст индустрии пачки III и таковой из пачки II (туф), а также состав макро-орудий (рубила-бифасы, пики, чопперы) позволяют отнести их к раннему ашелю. Связь между этими индустриями не вполне ясна. Они отличаются друг от друга по сырью, общему составу орудий и наличию продуктов расщепления, однако содержат целый набор сходных форм орудий (вееровидные чопперы, небольшие пиковидные орудия с брусковидным корпусом, долотовидные орудия с поворотом лезвия относительно фронтальной плоскости корпуса и др.). Вполне допустимо, что это результат определенной трансформации традиции, наблюдаемой в слоях пачки III в связи с ее адапта-

цией к другому сырью. Сама же индустрия пачки III, как отмечалось, по очень многим характеристикам имеет близкое сходство с индустрией слоев 4-9 Мурадово. Несомненно, они принадлежат к одной традиции и, скорее всего, относятся к одному хронологическому диапазону.

Карьер Куртан I находится в юго-восточной оконечности Лорийского плато, на расстоянии около 30 км от описанных памятников, в подножии древнего риолитового конуса Сурб-Саркис. Местами на стенах карьера высотой 15-20 м подрыхлыми отложениями обнажаются верхнеплиоценовые покровные долеритовые базальты. На них залегает пемзовый песок (U-Pb дата 1.495 ± 0.021 млн. лет (Presnyakov et al., 2012)), над ним супеси с прослоем вулканического пепла (U-Pb дата 1.432 ± 0.028 млн. лет (Presnyakov et al., 2012)), а еще выше – суглинок. Слои 2-3 содержат карбонатные стяжения и представляют собой палеопочвы, причем верхняя из них по типу карбонатизации сходна со слоем 3 в Мурадово (Sedov et al., 2011). Судя по карбонатному цементу, из этих слоев происходят найденные в карьере ранее и хранящиеся ныне в музее села Куртан зубы носорога. Они были отнесены к виду *Stephanorhinus hundsheimensis*, существовавшему в позднем виллафранке–галерии (1.4–0.5 млн. л. н.) (Belmaker et al., in press). Совокупность данных позволяет относить слои 2-3 Куртана I к концу нижнего – началу среднего плейстоцена (Трифонов и др., 2014). Граница Брюнес-Матуяма (около 0,78 млн. л. н.) фиксируется в средней части слоя 3.

Именно слои 2 и 3, вскрытые небольшим раскопом, доставили ашельские изделия, изготовленные из местных пород – риолита, базальта, а также из галек других вулканитов. Заготовками орудий были как плитчатые обломки, так и отщепы. В слое найдено около сорока изделий: небольшой нуклеус, несколько отщепов, три чоппера, три пика, одно рубило, а также скребла, скребки и некоторые другие орудия. Рубило вызывает особый интерес, ибо оно сделано из приносного сырья и представляет собой копьевидный бифас длиной более 24 см с сильно вытянутым острием. Подобные рубила на Кавказе ранее не встречались, а ближайšie аналогии можно найти в среднеашельской стоянке Латамна в Сирии (около 1 млн. л. н.) (Беляева, 2009). Этот бифас отражает, очевидно, наличие неких связей с ближневосточными территориями.

Слой 3 доставил в четыре раза больше находок. Они также включают продукты расщепления (нуклеус и два десятка отщепов), а среди орудий встречены 6 чопперов, 5 грубых бифасов, 8 пиков, нуклевидный скребок, а также скребла, скребки,

клювовидные, долотовидные и другие орудия. Прослежено некоторое нарастание архаичных техникоморфологических характеристик от слоя 2 к слою 3. Изделия из слоев 2-4 Куртана I представляют собой, на наш взгляд, единую индустрию, которая наиболее сходна с индустрией слоя 3 в Мурадово. Оценка возраста ашельских слоев Куртана I, сделанная на основании естественнонаучных данных, и коррелирующая с ней находка характерного типа среднеашельского рубила дает основание рассматривать данную индустрию как средний ашель. Это также позволяет предполагать, что сходная с ней индустрия слоя 3 Мурадово (карбонатная палеопочва) имеет, скорее всего, близкий возраст и также должна определяться как средний ашель.

Итак, индустрии Карахача, а также слоев 4-9 Мурадово принадлежат, судя по всему, к одной и той же раннеашельской традиции. Они характеризуются специфическими типами исходного сырья и заготовок, что отразилось на их техникоморфологических и технологических особенностях. Если ашель с рубилами на отщепках обозначается как LFA (Large Flake Acheulian) (Sharon, 2007), то вполне уместно особо выделять такие индустрии с преобладающим изготовлением макро-орудий из плитчатых отдельностей сырья под названием SBA (Slab-like Blank Acheulian). Макро-орудия в рассматриваемых раннеашельских индустриях Карахача и Мурадово представлены триадой рубилопик-чоппер. Среди мелких орудий преобладают различные острия, скребки и долотовидные формы. Среднеашельские индустрии (Куртан I, слой 3 Мурадово) являются, по всей видимости, развитием описанной традиции, поскольку демонстрируют сходство с ней по некоторым приемам оформления орудий и морфологическим типам (пики, долотовидные, обушковые рубила).

Рассмотрим теперь вопрос о возможной роли этой ранне-среднеашельской традиции в дальнейшем развитии кавказского ашеля. Как уже говорилось выше, версии о проникновении на Кавказ всех или значительной части позднеашельских индустрий со стороны Ближнего Востока пока не подкреплены весомыми аргументами. Разумеется, это не отменяет вероятности неких культурных импульсов с Ближнего Востока, что можно проиллюстрировать двумя единичными, но яркими примерами. Это два удлинённых копьевидных рубила, которые уникальны для Кавказа и находят близкие аналогии в бифасах Латамны (Сирия) (Беляева, 2009). Одно из них – это упомянутое среднеашельское копьевидное рубило из Куртана I (Армения), а второе, имеющее совковидный конец, найдено в Абхазии, в окрестностях Сухума (Любин, Беляева, 2011).

В то же время более широкие аналогии с Ближним Востоком в ашеле Кавказа, как отмечалось, на сегодня не просматриваются. Следовательно, часть корней позднеашельских индустрий региона по меньшей мере должна находиться все-таки в местной почве. Однако, на первый взгляд, выявленная на Закавказском нагорье ранне-среднеашельская традиция не имеет ничего общего с местным поздним ашелем, который, напомним, определен нами выше как вариант Large Flake Acheulian фации леваллуа. В кударском варианте позднего ашеля не развита леваллуазская техника и присутствуют такие архаичные формы, как чопперы и нуклевидные скребки, но он тоже отличен от более древних индустрий региона по технологии изготовления рубил и относится к типу LFA.

Казалось бы, связь между рассматриваемыми ранне-среднеашельской и позднеашельскими традициями отсутствует, тем более, что их разделяет значительная хронологическая лакуна, ибо поздний ашель Кавказа по совокупности данных едва ли старше 0,6 млн. л. н. (Любин, 1998, Любин, Беляева, 2006; Дорони́чев и др., 2007). Однако, если взглянуть повнимательнее, то можно заметить и ряд точек соприкосновения между этими традициями. Так, поскольку в местном раннем и среднем ашеле преобладало изготовление рубил из плитчатых обломков вулканических пород, то особенности формы и приемов обработки такого сырья (краевая оббивка, сколы-обрубы) способствовали появлению здесь бифасов с обушком и других неклассических бифасов, включая подпрямоугольные. Подобные бифасы являются характерной чертой и позднего ашеля Кавказа, что трудно объяснить иначе как наследованием более древней традиции. Отметим, кстати, что среди раннеашельских и позднеашельских рубил встречаются отдельные очень похожие морфологические типы, что демонстрируют, в частности, рубила в форме «домика» из Карахача и Сатани-дара (Рис. 1). Важно отметить также, что при преобладании плитчатых заготовок в исследованных средне- и раннеашельских индустриях все же есть единичные крупные сколы, а в Карахаче найдено даже одно рубило на крупном отщепе. Следовательно, опыт получения крупных сколов существовал, но не был вначале востребован – скорее всего, из-за плохо поддающегося традиционному расщеплению риодацитового сырья. Переход на намного более качественное обсидиановое и гиалодацитовое сырье стал, вероятно, толчком к трансформации прежних традиций в сторону развития на Закавказском нагорье индустрий типа LFA и леваллуазских технологий. Если же носители позднеашельских индустрий обитали за пре-

делами вулканического нагорья, они вынуждены были иметь дело с сырьем худшего качества. По-видимому, следствием этого в кударском варианте кавказского позднего ашеля и стало отсутствие леваллуазских технологий, а также консервация более простых приемов и форм.

Итак, в свете новых данных мы полагаем, что Кавказ можно рассматривать как самостоятельную провинцию формирования и развития ашельских индустрий наряду с такими регионами, как Восточная Африка и Ближний Восток. В каждом из них прослеживаются свои традиции. Как устойчивость, так и трансформации этих традиций предопределялись разными факторами. Одним из главных, на наш взгляд, было влияние доступности и свойств каменного сырья, от которых во многом зависели морфологические и технологические черты конкретных индустрий.

ЛИТЕРАТУРА

- Асланян С.А., Беляева Е.В., Колпаков Е.М., Любин В.П., Саркисян Г.М., Суворов А.В. 2007. Работы армяно-российской археологической экспедиции в 2003-2006 гг. // Записки Института истории материальной культуры РАН. № 2.
- Беляева Е.В. 2009. Уникальное древнекаменное орудие из Северной Армении// Природа. № 4.
- Беляева Е.В., Любин В.П. 2013. Ашельские памятники Северной Армении// Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии. К 70-летию академика А.П. Деревянко. Новосибирск.
- Дорони́чев В.Б. 2004. Ранний палеолит Кавказа: между Европой и Азией// Невский археолого-историографический сборник. К 75-летию кандидата исторических наук А.А. Формозова. СПб.
- Дорони́чев В.Б. 2007. Ранний палеолит Кавказа и Восточной Европы// Дорони́чев В.Б., Голованова Л.В., Барышников Г.Ф., Блэквелл В.А., Гарутт Н.В., Левковская Г.М., Молодьков Г.М., Несмеянов С.А., Поспелова Г.А., Хоффекер Дж. Ф. Треугольная пещера. Ранний палеолит Кавказа и Восточной Европы. СПб.
- Кравченко А.И. 2000. Культурология: Словарь. М.
- Любин В.П. 1961. Верхнеашельская мастерская Джрабер (Армения) // КСИА. Вып. 82.
- Любин В.П. 1998. Ашельская эпоха на Кавказе. СПб.
- Любин В.П., Беляева Е.В. 2004. Стоянка Ното егестус в пещере Кударо I (Центральный Кавказ). СПб.
- Любин В.П., Беляева Е.В. 2006. Ранняя преистория Кавказа. СПб.
- Любин В.П., Беляева Е.В. 2010. Новые данные о раннем палеолите Армении// Древнейшие обитатели Кавказа и расселение предков человека в Евразии. СПб.
- Любин В.П., Беляева Е.В. 2011. Страницы ранней преистории Абхазии. СПб.
- Трифонов В.Г., Любин В.П., Беляева Е.В. Трехунков Я.И., Симакова А.Н., Тесаков А.С., Веселовский Р.В.,

Пресняков С.Л., Бачманов Д.М., Иванова Т.П., Ожерельев Д.В. 2014. Геодинамические и палеогеографические условия расселения древнейшего человека в Евразии (Аравийско-Кавказский регион) // Тектоника складчатых поясов Евразии: сходство, различие, характерные черты новейшего горообразования, региональные обобщения. Мат. 46-го Тектонического совещания. Т.2. М.

Bar-Yosef O. 1994. The Lower Paleolithic of the Near East// Journal of World Prehistory 8.

Bar-Yosef O., Belmaker M. 2011. Early and Middle Pleistocene Faunal and hominins dispersals through Southwestern Asia// Quaternary Science Reviews. 30.

Bar-Yosef O., Goren-Inbar, N. 1993. The lithic assemblages of the site of Ubeidiya, Jordan Valley. Jerusalem.

Belmaker M., Hynek S.A. Belyaeva E., Lyubin V.P., Chauhan P., Jicha B., Singer B. and Aslanyan S. In press. The earliest Acheulian in the Caucasus: New evidence from the site of Kurtan, Lori Plateau, Armenia // Journal of Human Evolution.

Clark, J.D. 1967. The middle Acheulian site at Latamne, northern Syria// Quaternaria 9.

Gilead D. 1970. Early Paleolithic Cultures in Israel and the Near East. Thesis submitted for the Degree "Doctor of Philosophy". Hebrew University, Jerusalem.

Goren-Inbar N., Saragusti I. 1996. An Acheulian biface assemblage from the site of Gesher Benot Ya'aqov, Israel: indications of African affinities // Journal of Field Archaeology, 23.

Hours F. 1981. Le Paleolithique inferieur de la Syrie et du Liban. Le point de la question en 1980// Prehistoire du Levant. Eds. Sanlaville P., Cauvin J. Maison de l'Orient, Lyon.

Kolpakov E. 2009. The Late Acheulian site of Dashtadem 3 in Armenia// Paleoanthropology.

Leakey M.D. 1971. Olduvai Gorge. Volume 3. Excavations in Beds I and II, 1960–63. Cambridge.

Muhsen S. 1985. L'Acheuleen recent evolue de Syrie. BAR International Series 248. Oxford.

Presnyakov S.L., Belyaeva E.V., Lyubin V.P., Rodionov N.V, A.V.Antonov, A.K.Saltykova, Berezhnaya N.G., Sergeev S.A. 2012. Age of the earliest Paleolithic sites in the northern part of the Armenian Highland by SHRIMP-II U-Pb dating of zircons from volcanic ashes // Gondwana Research. № 21.

Sedov S. N., Khokhlova O. S., Kuznetsova A. M. 2011. Polygenesis of Volcanic Paleosols in Armenia and Mexico: Micromorphological Records of Climate Variations in the Quaternary Period// Eurasian Soil Science. Vol. 44. No. 7.

Sharon G. 2007. Acheulian Large Flake Industries: Technology, Chronology and Significance. BAR Intern. Series. 1701. Oxford.

Torre de la I., Mora R. 2005. Technological strategies in the Lower Pleistocene at Olduvai Beds 1&2. ERAUL 112. Liege.

Работа поддержана грантом ПФИ и грантом РФФИ №13-06-12016 офи_м.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

КСИА	Краткие Сообщения Института Археологии АН СССР, Москва;
BAR	British archaeological reports. International series, Oxford.
ERAUL	Études et recherches aecheologiques de l'universite de Liège, Liège/

Щелинский В.Е. (ИИМК РАН)

ОЛДОВАНСКИЕ ТРАДИЦИИ И ИХ РАЗВИТИЕ В РАННЕМ ПАЛЕОЛИТЕ ЮЖНОГО ПРИАЗОВЬЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ СТОЯНОК РОДНИКИ 1 И 4 НА ТАМАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ)

Предисловие

Древнейший ранний палеолит, относящийся к эоплейстоцену (более 800 тыс. л. н.), на территории России мало изучен. Лишь в последние десять лет были сделаны важные открытия очень древних раннепалеолитических стоянок, которые показали, что южные регионы нашей страны (Алтай, Кавказ, Предкавказье) были заселены первобытными людьми уже в самом начале раннего палеолита. Некоторые из этих стоянок имеют возраст около 2 млн. л., и в этом отношении они не уступают не только известной стоянке Дманиси в Южном Закавказье, но и многим другим древнейшим стоянкам Евразии и Африки. Большое количество эоплейстоценовых раннепалеолитических стоянок сосредоточено на Кавказе, в его Северо-Восточной части (в Дагеста-

не) и в Закавказье (в Грузии). Степень изученности их различна. Тем не менее, почти все они отнесены к олдовану (Mode I) (Амирханов, 2007; Justus, Nioradze, 2000; Gabunia et al., 2001; Gabunia, Vekua et al., 2000; Vekua et al., 2002; de Lumley et al., 2005), рассматриваемому как первая технологическая стадия в развитии раннего палеолита. Выделяются также отдельные эоплейстоценовые стоянки с микроиндустриями (Деревянко и др., 2012) и индустрии с более развитой технологией, интерпретируемые как раннеашельские (Любин, Беляева, 2010; Беляева, Любин, 2013).

Особый интерес представляют эоплейстоценовые раннепалеолитические стоянки, открытые на Таманском п-ве в Западном Предкавказье. Эта территория располагается севернее Кавказа в степной умеренной зоне, и наличие здесь следов обитания

столь древних раннепалеолитических людей до недавнего времени трудно было себе представить.

На этой территории в настоящее время выявлено шесть раннепалеолитических стоянок: Богатыри/Синяя Балка, Родники 1-4 и Кермек. Все они располагаются компактной группой в Южном Приазовье на северном берегу Таманского п-ова в 25 км к западу от г. Темрюк у пос. За Родину. Судя по биостратиграфическим и палеомагнитным данным, эти стоянки, бесспорно, имеют эоплейстоценовый возраст и при этом они одновременны в рамках эоплейстоцена (Shchelinsky, Dodonov et al., 2010; Shchelinsky, Tesakov, Titov, 2010). Это очень важное обстоятельство, так как появляется возможность исследовать динамику развития культуры во взаимодействии с природной средой на начальном этапе развития человеческого общества в конкретном палеогеографическом регионе на юге России.

В данной статье будут коротко представлены результаты исследований двух эоплейстоценовых раннепалеолитических стоянок Таманского п-ова – Родники 1 и Родники 4.

Каменная индустрия стоянки Родники 1

Стоянка Родники 1 находится в 300 м к северу от пос. За Родину и в менее чем 100 м к западу от стоянки Богатыри/Синяя Балка. Она располагается на склоне морского берега на высоте около 30 м над уровнем моря и имеет чёткую стратиграфическую позицию. Культуросодержащий слой её сохранился *in situ* и приурочен к базальному слою многометровой толщи прибрежно-морских песков и субаэральных суглинков, представленному переслаивающимся галечником с примесью слабоокатанного щебня и глыб доломита и линзами песка с обломками дрейссен. Пески, перекрывающие культуросодержащий слой, коррелируются с апшеронской трансгрессией (Shchelinsky, Tesakov, Titov, 2010). Уже этот факт определённо указывает на то, что возраст стоянки составляет не менее 1 млн. л. Фауна мелких млекопитающих, обнаруженная в культуросодержащем слое стоянки (с *Allophaiomys cf. pliocaenicus*, *Lagurodon arankaе*, *Lagurini gen.*, *Mimomys cf. savini* и др. таксонами), позволила уточнить и конкретизировать её возраст, определяемый сейчас в хронологическом интервале 1,6-1,2 млн. л. н. (Shchelinsky, Dodonov et al., 2010; Титов, Тесаков, Байгушева, 2012).

Коллекция каменных изделий стоянки достаточно представительна как в количественном отношении, так и в плане состава технико-типологических категорий.

Исходным сырьём индустрии служил местный твёрдый окварцованный доломит, имевший по большей части форму плитчатых отдельностей и их обломков разных размеров. Сырьё собиралось в округе от стоянки в обнажениях грязевулканических отложений, содержащих его в большом количестве, и отчасти на пляже на месте стоянки.

Несмотря на залегание в субаквальных пляжевых отложениях, изделия в большинстве своём совершенно не окатанные и не утратили острые края. Изделия имеют коричневую, светло-коричневую, коричневатую-серую и белёсую с различными оттенками патину, варьирующую в зависимости от структуры и плотности (степени окварцованности) исходного доломитового сырья, а также от условий залегания изделий. Микрорельеф поверхности большинства изделий в той или иной степени сглаженный, и по этой причине следы изнашивания от работы на них обычно смазанные и не вполне определённые, что позволяет сделать лишь общее заключение о функциях орудий.

Соотношение основных групп изделий рассматриваемой коллекции выглядит следующим образом:

Нуклеусы	53 экз.
Отщепы	268 экз.
Орудия с вторичной обработкой	385 экз.
Отбойники	4 экз.
Всего	710 экз.

Наличие этих групп изделий ясно показывает, что целью обработки камня на стоянке было изготовление многообразных по форме изделий – от простых отщепов до сложных орудий, оформленных вторичной обработкой.

Изделия индустрии в основном крупные (5 см и больше). Таких изделий больше половины (375 экз., 52,8%). Остальные изделия мелкие (335 экз., 47,2%). Длина их меньше 5 см.

Для изготовления орудий использовались две категории заготовок – обломки плитчатых отдельностей сырья и отщепы. Из отщепов изготовлено 127 орудий (33%), тогда как из обломков – 258 орудий (67%). При этом большая часть обломков, использованных в качестве заготовок для орудий (79%), имеет искусственное происхождение и была получена намеренной разбивкой более крупных плитчатых отдельностей исходного сырья.

Нуклеусы – 53 экз. (7,5% всей коллекции изделий). Размеры их колеблются в значительных пределах. Большинство нуклеусов (42 экз.) крупных размеров (5 см и больше). При этом 12 экз. имеют особо крупные размеры (больше 10 см). Мелких нуклеусов (меньше 5 см) 11 экз. Длина 7 из них не превышает 4 см. Все нуклеусы изготовлены из об-

ломков плитчатых отдельностей сырья. Выделяются четыре группы нуклеусов.

1. Нуклеусы с одной поверхностью скалывания..... 36 экз.
в том числе:
— плоскостного параллельного расщепления 16 экз.
— плоскостного встречного расщепления 1 экз.
— грубопризматического расщепления 9 экз.
— с негативом одного крупного скола 10 экз.
2. Нуклеусы с двумя поверхностями скалывания..... 10 экз.
3. Нуклеусы с тремя поверхностями скалывания..... 4 экз.
4. Нуклеусы с четырьмя и больше поверхностями скалывания (многогранники)..... 2 экз.

Налицо многообразие нуклеусов. Однако преобладают нуклеусы с одной поверхностью скалывания (одноплощадочные), причём среди них довольно много нуклеусов плоскостного параллельного расщепления. Другие нуклеусы имеют несколько поверхностей скалывания, иногда смежных, но чаще не связанных между собой. Примечательно наличие в индустрии единичных многогранников. Практически все нуклеусы не имеют какой-либо предварительной обработки. Ударная площадка/площадки на них обычно покрыта коркой или является гладкой поверхностью излома плитчатой отдельности сырья. Поверхность скалывания нуклеусов также не подвергалась обработке.

Отщепы составляют весьма значительную часть инвентаря стоянки. Только необработанных отщепов 268 экз. Кроме того, 127 отщепов использованы в качестве заготовок для орудий, в той или иной степени оформленных вторичной обработкой. Размеры отщепов довольно сильно варьируют. Однако, если учитывать только целые и почти целые экземпляры (всего 255 экз., 64,6 %), включая некоторые хорошо определяемые отщепы, превращённые в орудия, то чётко прослеживаются приблизительно в одинаковых пропорциях мелкие (длиной от 1 до 5 см) и крупные (длиной больше 5 см) отщепы. При этом довольно много отщепов длиной 1-3 см. Вместе с тем в составе крупных отщепов отчётливо выделяется также группа особенно крупных изделий (12 экз.), размеры которых варьируют от 10,4 см до 16,5 см.

Показательна ударная площадка, сохранившаяся на 246 крупных и мелких отщепах. На подавляющем большинстве отщепов (205 экз. или 83,3%) она лишена каких-либо признаков обработки и представляет собой остаток поверхности плитки, покрытой выветрелой коркой. В небольшом количестве (31 экз., 12,6%) имеются отщепы с гладкой (прямой

и скошенной) ударной площадкой и единичные отщепы с двугранной (3 экз.), частично фасетированной (1 экз.) и точечной (1 экз.) ударной площадкой.

По признакам огранки спинки отщепы (за исключением неопределимых фрагментов и мельчайших отщепов) разделяются на 6 групп:
— первичные (спинка полностью покрыта коркой)..... 84 экз.
— полупервичные (спинка приблизительно наполовину покрыта коркой)..... 80 экз.
— с негативом одного крупного скола на спинке..... 16 экз.
— с параллельной и конвергентной огранкой спинки..... 31 экз.
— с параллельной встречной огранкой спинки 7 экз.
— с разнонаправленной огранкой спинки..... 42 экз.
Всего..... 260 экз.

По форме различаются отщепы (без учёта первичных):

- треугольные 3 экз.
- подтреугольные 15 экз.
- подчетырёхугольные 86 экз.
- овальные 11 экз.
- округлые 2 экз.
- удлинённый 1 экз.
- бесформенные 58 экз.
- Всего..... 176 экз.

Обращает на себя внимание наличие отщепов более или менее правильной формы. На многих отщепах (48 экз.) хорошо выражены признаки скалывания от края плитки (неподготовленного нуклеуса или орудия из обломка плитчатого сырья). Речь идёт об отщепах с сохранившимися участками обеих поверхностей расщепляемой или обрабатываемой плитки. Одна сторона плитки фиксируется на ударной площадке отщепа, покрытой плитчатой коркой. Другая сторона плитки сохраняется в виде вертикальной или скошенной плоскости с корковым покрытием на дистальном крае отщепа.

В составе инвентаря имеются единичные отбойники (4 экз.). 2 орудия из доломита в виде гальки (длина 7,4 см) и обломка породы (длина 9,5 см). 2 других отбойника представляют собой гальки кварца (длина 6 см) и зеленовато-серой кристаллической породы (сохранился обломок длиной 4,2 см). Износ этих отбойников очень слабый. Гальки из недоломитовых пород, использованные в качестве отбойников, имеют, по всей вероятности, местное происхождение. В качестве отбойника был использован также 1 крупный нуклеус.

Модифицированные орудия. Эти орудия являются самой многочисленной группой изделий в индустрии стоянки. Их 385 экз. или 54,2 % всей

коллекции исследуемых изделий. Они удивительно разнообразны и многие из них представлены выразительными, законченными формами. Чётко выделяется ряд технико-типологических категорий орудий:

– чопперы.....	39 экз.
– чопперовидные скрёбла	15 экз.
– нуклевидные скребки	7 экз.
– скрёбла	37 экз.
– пики	13 экз.
– ножи	3 экз.
– частичные бифасы	2 экз.
– кливер.....	1 экз.
– массивные острия.....	3 экз.
– клювовидные орудия.....	3 экз.
– провёртки.....	7 экз.
– проколки	5 экз.
– орудия с шипом.....	19 экз.
– зубчатые орудия.....	9 экз.
– выемчатые орудия.....	19 экз.
– скребки.....	8 экз.
– комбинированные орудия	6 экз.
– отщепы с частичной обработкой.....	89 экз.
– обломки плитчатых отдельностей доломита с частичной обработкой.....	100 экз.
Всего.....	385 экз.

258 из этих орудий (67%), как отмечалось, изготовлены из обломков отдельностей сырья (205 – из искусственных, 53 – из естественных обломков) и 127 – из отщепов (33%). При этом подавляющее большинство орудий крупные (5-10 см) и особо крупные (крупнее 10 см) (всего 76,3%). Мелких (меньше 5 см) и мельчайших (меньше 3 см) орудий 23,7%. Остановлюсь на некоторых наиболее важных категориях орудий.

Чопперы. В инвентаре стоянки Родники 1 имеется 39 чопперов, изготовленных главным образом из обломков отдельностей доломита (37 экз.) и в отдельных случаях из отщепов (2 экз.). Чопперы в подавляющем большинстве крупные. Длина/ширина некоторых из них достигает 16-18 см. Вместе с тем имеются единичные чопперы длиной 5 см и меньше.

В технико-типологическом отношении чопперы различаются прежде всего пропорциями (соотношением длины и ширины), что, по-видимому, может отражать некоторые функциональные особенности орудий. С учётом этого признака их можно разделить на три группы:

1. Чопперы удлинённых пропорций (удлинённые). Длина орудий превышает их ширину, рабочее лезвие, соответственно, относительно узкое.

2. Чопперы укороченных пропорций (укороченные). Ширина этих орудий превышает их длину, рабочее лезвие у них широкое.

3. Чопперы соразмерные. Длина и ширина у этих орудий приблизительно одинаковые.

В рамках этих групп орудия подразделяются по форме и отчасти по характеру обработки рабочего лезвия. Дело в том, что подавляющее большинство чопперов в Родниках 1 односторонние. Лишь у трёх орудий рабочее лезвие обработано с обеих сторон.

Основными характеристиками чопперов в индустрии стоянки являются:

– полное преобладание односторонних чопперов;

– обилие среди них укороченных широколезвийных и удлинённых узколезвийных типов (соответственно 43,6 % и 35,9 %);

– значительное количество приострённых чопперов (12,8 %);

– намеренное оформление орудий с использованием приёма усечения их боковых краёв и обработки рукояточной части для удобства захвата;

– дифференциация функционального назначения технико-типологических групп чопперов.

Чопперовидные скрёбла сходны с чопперами. Однако обработаны они более тщательно. Для оформления рабочего лезвия у них чаще использовались многочисленные мелкие сколы и ретушь. Выделяется 15 таких орудий. Все они крупные. При этом длина/ширина некоторых наиболее крупных из них составляет от 11,5 до 13,6 см. 12 орудий изготовлены из обломков доломита, 3 – из отщепов.

Орудия имеют различную форму. Вместе с тем обращают на себя внимание два весьма характерных технических приёма, применявшихся при оформлении орудий, независимо от их морфологических особенностей. Один из них – оббивка или усечение боковых краёв орудий вертикальными сколами. С помощью этого приёма, как отмечалось, обрабатывались и некоторые чопперы. Однако для оформления скрёбел он использовался более регулярно. Вторым техническим приёмом, отмеченным на нескольких скрёблах, является утончение рукояточной части продольными сколами с верхней стороны орудия. Такого рода обработка имела аккомодационное значение.

Нуклевидные скребки – это массивные орудия «высокой формы», протяжённость лезвия которых может быть различной, но чаще оно занимает значительную часть периметра орудия (Leakey, 1971; Любин, Беляева, 2004). Нередко эти орудия напоминают нуклеусы, что отражено в их названии.

В индустрии стоянки 7 нуклевидных скребков, изготовленных из обломков доломита, 6 из них крупные, 1 – мелкий.

Скрёбла в индустрии стоянки образуют вторую по численности категорию орудий после чопперов. Однако они не однородны. Выделяются скрёбла из отщепов и из обломков доломита. Далее они группируются по расположению и форме рабочего лезвия и некоторым другим морфологическим признакам.

Скрёбла из обломков – 25 экз., в том числе:

– с выпуклым лезвием – 7 экз.

– с прямым лезвием – 6 экз.

– с вогнутым лезвием – 3 экз.

– скрёбла из обломков с намеренно выделенным выступом на рабочем лезвии – 9 экз.

Многие скрёбла из обломков доломита крупные (16 экз.), хотя размеры их не превышают 10 см. При этом хорошо представлены мелкие скрёбла (9 экз.) размерами 3-4 см. Для оформления скрёбел нередко использовались приёмы усечения боковых краёв и частичного утончения корпуса орудия, отмечавшиеся выше применительно к чопперам и чопперовидным скрёблам.

Скрёбла из отщепов – 12 экз. К этим орудиям вполне применима классификация такого рода орудий среднего палеолита. Вместе с тем надо иметь в виду, что, по сравнению с ними, они имеют гораздо более грубую обработку. В коллекции имеются:

– поперечные скрёбла – 6 экз.;

– простые скрёбла – 3 экз.;

– диагональное скребло – 1 экз.;

– угловатое скребло – 1 экз.;

– скребло с ретушью с нижней стороны – 1 экз.

Пики. В орудийном наборе Родников 1 имеется 13 пиков: 6 – с выраженной рукояточной частью и 7 – с невыраженной рукояточной частью.

Пики с выраженной рукояточной частью довольно разные. В одинаковых пропорциях представлены особо крупные (> 10 см) орудия и орудия несколько поменьше (5-10 см). 2 орудия имеют подтреугольную удлинённую форму, 2 – овально удлинённую, 1 – сердцевидную и 1 – подромбовидную. Из 6 орудий 5 изготовлены из обломков плитчатых отдельных доломита. Причём в четырёх случаях в качестве заготовок были использованы намеренно полученные обломки. 1 орудие изготовлено из крупного отщепа. Большинство орудий (4 экз.) имеет частично двустороннюю обработку. Орудий с треугольным поперечным сечением нет. У четырёх орудий оно подчетырёхугольное, у одного – ромбовидное и ещё у одного – сегментовидное. При этом орудия имеют разную форму рабочего конца. Только у двух пиков рабочий конец заострённый. У других пиков он долотовидный (2 орудия), скребковидный (1 орудие) и клиновидный (1 орудие).

Пики с невыраженной рукояточной частью крупных размеров, изготовлены из обломков плитчатых отдельных доломита (6 искусственно полученные, 1 естественный) и имеют заострённый рабочий конец. Однако форма их различная. 3 орудия подтреугольной формы, удлинённые, 1 – миндалевидное, удлинённое, 1 – овальное, 1 – ромбовидное, 1 – бесформенное. Подтреугольное поперечное сечение имеет только одно орудие. У других орудий поперечное сечение подчетырёхугольное (5) и полигональное (1). 3 орудия имеют двустороннюю обработку (Рис. 1).

Ножи. Их 3 экз. Общими признаками этих орудий являются наличие у них широкого острия, образованного сходящимися лезвиями и обработанного обушка. Изготовлены они из обломков плитчатых отдельных доломита. Примечательно, что орудия имеют законченную форму и сходны типологически, хотя в деталях они различаются.

Частичные бифасы. Такого рода изделий 2 экз. Они имеют мало общего с ручными рубилами. Вместе с тем, изделия не лишены стандартности и напоминают маленькие подтреугольные бифасы или рубильца, представленные в некоторых ранне-среднеплейстоценовых индустриях Южной Европы и Кавказа (Guadelli et al., 2005; Иванова, 2009; Любин, Беляева, 2004).

Кливер. Орудие имеет все признаки настоящего кливера. Оно крупное, подчетырёхугольной формы, изготовлено из отщепа укороченных пропорций. Рабочим лезвием является короткий боковой край отщепа. Оно необработанное. Боковые края орудия прямые, отвесные. От одного из них с нижней стороны сняты два крупных плоских скола, как бы стёсывающих ударный бугорок отщепа-заготовки. Обозначена рукояточная часть орудия. Она выпуклая и обита разнонаправленными сколами.

Весьма показательны и другие категории орудий в индустрии стоянки, такие как массивные острия, клювовидные орудия, провёртки, проколки, орудия с шипом, зубчатые, выемчатые орудия, скребки. Оригинальны так называемые орудия с шипом (шиповидные орудия). Такие орудия нередко в раннепалеолитических комплексах. Однако подробно они не описаны, что затрудняет отличать их от близких к ним по форме орудий. Например, М. Лики не выделяла эти орудия, оставляя их в категориях скрёбел (side scrapers) и шильев (awls) (Leakey, 1971), а А.П. Деревянко и В.Н. Зенин данные орудия включают в группу остроконечных наряду с клювовидными орудиями (Деревянко, Зенин, 2009).

Основным характерным признаком для выделения орудий с шипом является маленький колючий выступ (шип) на лезвии, намеренно получен-

ный обработкой сколами и ретушью. При этом он, как правило, располагается на более или менее широком лезвии, являясь частью его.

В индустрии Родников 1 орудий с шипом 19 экз., 5 из них изготовлены из отщепов, 14 – из обломков доломита. Немного преобладают (11 экз.) мелкие орудия (размеры самых мелких 3–4 см). Внешне эти орудия сходны со скрёблами. Однако наличие у них сделанного шипа указывает на то, что они предназначались для особой функции. Вероятно, это было резание-рассечение мяса/шкур. Следы изнашивания на орудиях согласуются с этим предположением.

На фоне типологически выраженных орудий в индустрии стоянки контрастно выделяются весьма многочисленные простые орудия в виде различных по форме и размерам отщепов и обломков плитчатых отдельностей доломита с частичной обработкой (соответственно 89 и 100 экз.). У этих орудий нет чётко обозначенного рабочего лезвия.

Итак, перед нами довольно яркая индустрия древнейшего раннего палеолита с чёткими характеризующими её технологическими и типологическими признаками.

Технология первичной обработки камня индустрии имела сложный характер. Изготавливались две категории заготовок для орудий: обломки плитчатых отдельностей доломита подходящих форм и размеров и отщепы. При этом обломки были основной категорией заготовок. Из них изготовлено 67 % модифицированных орудий. Из отщепов изготовлено вдвое меньше орудий (33 %), хотя необработанные отщепы составляют значительную часть инвентаря стоянки (37 %). Использовались различные типы нуклеусов: архаичные с двумя, тремя, четырьмя и более поверхностями скалывания, включая единичные многогранники, и более прогрессивные нуклеусы с одной поверхностью скалывания (одноплощадочные). Среди этих последних нуклеусов, преобладающих в индустрии, много нуклеусов плоскостного параллельного и грубопризматического расщепления. Несмотря на разнообразие типов, все нуклеусы стоянки имеют общую архаичную особенность – они лишены какой-либо предварительной обработки.

Изготовление отщепов, несомненно, было осмысленным и нацелено на получение сколов более или менее правильной формы. При этом существовала практика изготовления особо крупных отщепов размером больше 10 см. Такие отщепы не могли быть получены расщеплением обычных нуклеусов. Их откалывали, скорее всего, от крупных глыб доломита, вероятно, за пределами стоянки. Эти отщепы были заготовками для макроорудий, но использовались также как готовые орудия. В индустрии Родников 1

выявлено 12 особо крупных отщепов. Только 2 из них не имеют вторичной обработки. Другие отщепы этой категории превращены в орудия. Из них изготовлены, в частности, 1 чоппер, 2 чопперовидных скребла, 1 пик, 1 кливер, 1 массивное острие и 4 орудия, определяемые как отщепы с частичной обработкой.

По мнению некоторых исследователей, начало изготовление крупных отщепов в древнейшем раннем палеолите знаменует собой существенные изменения в технологии обработки камня и соотносится с зарождением технологии ашеля (de la Torre & Mora, 2005). При этом крупные отщепы в сочетании с изготовленными из них кливерами считаются диагностическими признаками ранней стадии ашеля (Large Flake Acheulian) (Sharon, 2007).

При культурно-стадиальной атрибуции раннепалеолитических индустрий важнейшую роль играют выявленные те или иные особенности модифицированных орудий, а именно соотношение крупных орудий или макроорудий (чопперов и других) и более мелких стандартизированных или нестандартных орудий, а также наличие или отсутствие среди крупных орудий таких технологически значимых категорий, как рубила, пики и кливеры. По этим критериям раннепалеолитические индустрии относятся либо к олдованским (= Mode 1), либо к ашельским индустриям (= Mode 2).

Для индустрии Родников 1 характерно обилие и разнообразие модифицированных орудий (54, 2 %) всех изделий. И это при том, что большая их часть (67 %), как отмечалось, изготовлена из обломков доломита. Крупные орудия существенно преобладают над мелкими (соответственно 76,3 % и 23,7 %).

Весьма показательно, что почти половину общего количества орудий составляют простые неформленные орудия в виде отщепов и обломков доломита с частичной обработкой (всего 49,1 %).

Вместе с тем, другая половина орудийного набора включает в себя более сложные в технологическом и конструктивном отношении орудия, относящиеся к 17 категориям. Причём среди них нередки орудия, имеющие продуманную обработку и законченную форму. Тем не менее, ручные рубила среди орудий отсутствуют.

В составе орудий довольно много чопперов различных модификаций. Однако пропорция их среди других орудий сравнительно невелика и составляет 10,1 %. Близких к ним чопперовидных скребел всего 3,9 %. В большом количестве имеются скребла (9,6 %), среди которых отчётливо различаются несколько подкатегорий (скребла из отщепов и обломков доломита, скребла с выступом на лезвии и др.).

Орудия других категорий не столь многочисленны. Однако наличие их в коллекции и типологи-

ческая выраженность говорят о многом. В первую очередь это касается пиков (3,4 %), представленных сериями законченных, хорошо оформленных орудий. Эти орудия характеризуются сложной технологией изготовления, и неудивительно, что в настоящее время большинством исследователей они рассматриваются как один из важных показателей ашельского технокомплекса. Однако нельзя не отметить, что М. Лики связывала появление их с развитым олдованом Восточной Африки (Leakey, 1971), а Х.А. Амирханов считает эти орудия неотъемлемой частью орудийных комплексов типичного олдована горного Дагестана (Амирханов, 2012). Примечательно наличие в инвентаре стоянки кливера. Эти орудия, как и пики, свойственны многим ашельским индустриальным комплексам.

Не менее интересны орудия и других категорий. Среди них особенно выделяется небольшая группа двулезвийных ножей с обработанным обушком. Эти орудия также имеют выработанную законченную форму и по выразительности мало отличаются от такого рода орудий ашеля и даже среднего палеолита.

Наконец, обращает на себя внимание наличие в коллекции таких хорошо и целесообразно оформленных орудий, как массивные остря, клювовидные орудия, провёртки, проколки, орудия с шипом и скребки, что указывает на сложную и многообразную производственную деятельность обитателей стоянки.

Каменная индустрия стоянки Родники 4

Стоянка Родники 4 находится на высоте 16 м над уровнем Азовского моря в 60 м к северо-востоку от стоянки Родники 1 и всего в 10-15 м к северо-западу от стоянки Богатыри/Синяя Балка. Поэтому сначала казалось, что это местонахождение является частью этой стоянки. Однако выяснилось, что перед нами новый самостоятельный археологический памятник, получивший название Родники 4.

Установлено, что культуросодержащие отложения стоянки залегают в переотложенном состоянии и образуют крупный ксенолитический пакет, заключённый в грязевулканическом массиве. В этом же грязевулканическом массиве, но гипсометрически выше, залегают и культуросодержащие отложения стоянки Богатыри/Синяя Балка (Измайлов, Щелинский, 2013).

Культуросодержащие отложения стоянки представляют собой однородную рыхлую буро-серую брекчию, состоящую из щебня, дресвы, крупных обломков и единичных глыб размерами до 0,5 м, неокатанных и слабо окатанных, и буро-серого, раз-

нозернистого песка с мелкими обломками дрейссен и кардид в качестве заполнителя. Мощность отложений составляет около 3,5 м.

Культурные остатки не образуют выраженных горизонтов и встречаются на разной глубине и во всей толще отложений. При этом они залегают в основном поодиночке. Скоплений находок не выявлено. Изделия имеют очень хорошую сохранность. Лишь некоторые из них (не более 10-15 % от всех изделий) слегка окатанные. Это свидетельствует о том, что при переотложении они не подвергались значительному перемещению. Изделия не различаются ни по исходному сырью, ни по сохранности. Все они изготовлены из местного окварцованного доломита. То есть, это тоже сырьё, какое использовалось и на других раннепалеолитических стоянках Таманского полуострова. Всё указывает на то, что культурные остатки могут происходить из одного некогда разрушенного культурного слоя.

В отложениях вместе с каменными изделиями обнаружены единичные костные остатки крупных млекопитающих (хвостовой позвонок слона и неопределимые обломки костей), а также многочисленная малакофауна, состоящая в основном из представителей рода *Dreissena*. Эта фауна указывает скорее на палеоэкологические условия, чем на возраст вмещающих отложений. Однако раковины этих моллюсков являются наиболее многочисленными в сборах малакофауны на всех эоплейстоценовых стоянках Таманского полуострова, что может косвенно свидетельствовать об эоплейстоценовом возрасте стоянки Родники 4 и хронологической близости её со стоянкой Родники 1, в культуросодержащих отложениях которой также имеются раковины дрейссен.

Археологическая коллекция Родников 4 в настоящее время состоит из 122 каменных изделий. Среди них имеются:

- нуклеусы 9 экз. (7,4 %);
- отщепы 46 экз. (37,7 %);
- отбойники 2 экз. (1,6 %);
- орудия 65 экз. (53,3 %).

Исходным сырьём индустрии служил исключительно местный окварцованный доломит.

Нуклеусы и заготовки для орудий чётко характеризуют технологию первичного расщепления камня. Заготовки для орудий изготавливались двумя способами: простым раскалыванием естественных отдельностей сырья для получения подходящих по форме обломков камня и расщеплением нуклеусов с целью изготовления отщепов.

Нуклеусы (9 экз.). Все неподготовленные. В качестве нуклеусов использовались простые обломки доломита. У некоторых нуклеусов бессистемного

расщепления скальвающие удары наносились по поверхности негативов предшествующих снятий. Только 1 изделие имеет элементарную предварительную обработку. Нуклеусы в основном крупных размеров (больше 5 см). Особенно выделяется очень крупный нуклеус в виде куска толстой (11 см) плиты доломита продолговатой формы (11 × 15,5 × 20,5 см). Скальвание производилось по всему периметру нуклеуса с горизонтальной ударной площадки, представляющей собой естественную поверхность доломитовой плиты, покрытую выветрелой коркой. Другие нуклеусы определяются как плоскостные, параллельного расщепления (4 экз.), грубопризматический (1 экз.), бессистемного расщепления (1 экз.) и двойные (2 экз.).

Отщепы (46 экз.). Размеры их (максимальная длина или ширина):

– 1-3 см 8 экз.;
 – 3,1-5 см 19 экз.;
 – 5,1-10 см и больше 19 экз.

По признакам подготовленности поверхности, с которой они были сколоты, отщепы разделяются на 4 группы:

– отщепы первичные 3 экз.;
 – отщепы полупервичные 16 экз.;
 – отщепы с негативом одного скола, занимающим всю верхнюю поверхность 1 экз.;
 – отщепы оgranённые (26 экз.), в том числе:
 – с разнонаправленной ogranкой 11 экз.;
 – с параллельной и конвергентной ogranкой 15 экз.

У 8 отщепов явные признаки скальвания от края плитки. Они имеют подчетырёхугольную форму и укороченные пропорции. Формы других отщепов весьма различные. Среди отщепов с параллельной ogranкой имеются 2 пластинчатых скола. На многих отщепах сохранились следы изношенности от использования в работе.

Значительное количество отщепов было превращено в орудия с вторичной обработкой (29 экз.). При этом признаки этих отщепов мало отличаются от признаков отщепов, не имеющих вторичной обработки

Следует отметить, что среди отщепов, использованных в качестве заготовок для орудий, имеются особо крупные экземпляры (длина двух из них превышает 14 и 15 см).

Подавляющее большинство отщепов с неповреждённым проксимальным концом, с учётом отщепов, превращённых в орудия (всего 36 экз.), имеет необработанную ударную площадку, покрытую плитчатой коркой. В группу сколов с такой ударной площадкой попадают и единичные пластинчатые отщепы. Сколы с обработанной ударной площадкой составляют ничтожный процент. Среди

них 3 отщепа имеют двух-трёхгранную площадку, у 1 отщепа площадка грубо фасетированная.

В коллекции имеются 2 отбойника. Они представляют собой массивные неправильно шаровидные куски доломита, покрытые почти по всей поверхности хаотично направленными негативами мелких и сравнительно крупных сколов, отколовшихся в результате ударов отбойником по камню. На отдельных выпуклых участках этих предметов имеются также следы забитости, лунки и выбоины, свойственные отбойникам.

Модифицированные орудия (65 экз.). Это самая многочисленная группа изделий в коллекции. При этом обращает на себя внимание разнообразие категорий орудий и наличие среди них законченных и выразительных изделий. В составе орудий имеются:

– чопперы 7 экз. (10,9 %);
 – чопперовидные скрёбла 5 экз. (7,7 %);
 – нуклевидный скребок 1 экз. (1,5 %);
 – скрёбла 8 экз. (12,4 %);
 – пики 9 экз. (13,8 %);
 – массивные острия 3 экз. (4,6 %);
 – провёртка 1 экз. (1,5 %);
 – выемчатое орудие 1 экз. (1,5 %);
 – скребок 1 экз. (1,5 %);
 – отщепы с частичной обработкой 18 экз. (27,7 %);
 – обломки плиток доломита с частичной обработкой 11 экз. (16,9 %);
 Всего 65 экз. (100 %).

Орудия изготовлены как из обломков плиток доломита (55,2 % орудий), так и из отщепов (44,8 % орудий). В большинстве своём они имеют крупные размеры.

Не приводя подробного описания всех категорий орудий, отмечу характерные признаки некоторых наиболее показательных из них.

Чопперы изготовлены главным образом из обломков доломита (6 экз.), для 1 орудия в качестве заготовки использован крупный отщеп. Рабочее лезвие 6 орудий обработано с одной стороны и только у 1 – с обеих сторон. Орудия имеют удлинённую (2 экз.), укороченную (3 экз.) и приблизительно соразмерную (2 экз.) форму. Есть орудия с прямым, выпуклым, вогнутым и приострённым рабочим лезвием. Выделяется несколько орудий с усечённым боковым краем и обитой рукояточной частью.

Чопперовидные скрёбла хорошо выражены и представлены несколькими широколезвийными экземплярами. Выделяется также крупное округлое орудие с почти круговым рабочим лезвием (Рис. 2, 2). Одно из этих орудий изготовлено из крупного отщепа.

Скрёбла. В равных долях представлены скрёбла из обломков доломита и из отщепов. Среди последних имеются скрёбла простое, поперечное, угловатое и с обработкой с нижней стороны.

Пики весьма представительны. Длина их колеблется от 18,5 см до 8,3 см. Все изготовлены из обломков плиток доломита. В большинстве своём они имеют одностороннюю обработку. Однако 2 орудия оформлены двусторонней обивкой (Рис. 2,1). Примерно в одинаковых пропорциях имеются орудия с треугольным и подчетырёхугольным поперечным сечением. 4 орудия относятся к группе пиков с выраженной рукояточной частью, 5 – к группе пиков с невыраженной рукояточной частью. И в той и в другой группах имеются пики с разной формой рабочего конца – заострённой, долотовидной, клиновидной.

Как видим, несмотря на относительно малочисленность инвентаря стоянки Родники 4, каменная индустрия этой стоянки достаточно хорошо выражена по всем основным параметрам. При этом есть все основания прямо сопоставлять её с каменной индустрией стоянки Родники 1, с которой она имеет весьма значительное сходство. Это сходство отчётливо проявляется по исходному сырью, технологии первичного расщепления камня, приёмам изготовления и категориям орудий. Наиболее показательным и общим для индустрий этих стоянок является обилие модифицированных орудий и наличие среди них таких категорий, как чопперы разных модификаций, чопперовидные скрёбла, нуклевидные скребки, разнотипные пики и др., а в технологии первичного расщепления – широкое использование расщепления неподготовленных нуклеусов с целью изготовления отщепов, в том числе особо крупных размеров наряду с простым раскалыванием исходных отдельностей сырья для получения подходящих обломков для изготовления орудий.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что индустрии стоянок Родники 1 и Родники 4, несмотря на имеющиеся между ними некоторые различия, касающиеся в основном состава орудий, представляют собой одну раннепалеолитическую индустрию, имеющую хорошо выраженные технологико-типологические особенности.

Эти особенности индустрии заключаются прежде всего в том, что в ней органически сочетаются технологические и типологические признаки, свойственные как олдовану (Mode 1), так и ашелью (Mode 2).

С олдованом индустрию стоянки сближают:

1. Обработка исключительно местного исходного сырья;
2. Широкое использование обломков сырья для изготовления орудий;

3. Архаичная в целом технология расщепления нуклеусов;

4. Широкое использование в качестве орудий необработанных отщепов;

5. Значительное количество чопперов в составе модифицированных орудий;

6. Отсутствие ручных рубил.

К ашельским признакам в индустрии стоянки могут быть отнесены:

1. Изготовление отщепов разной формы, в том числе особо крупных размеров, больше 10 см, и использование этих отщепов в качестве заготовок для ряда категорий орудий и как готовые орудия для рубки и резания;

2. Обилие и разнообразие модифицированных орудий выработанных форм, в том числе из отщепов;

3. Наличие в составе орудий пиков разных модификаций и кливеров.

Таким образом, всё указывает на то, что перед нами своеобразная каменная индустрия древнейшего раннего палеолита. Назовём её «таманская индустрия». Кажется несомненным, что эта индустрия неолдованская. Она носит как бы переходный характер от олдована к ашелю. В ней достаточно хорошо выражены признаки, свойственные инновационной ашельской технологии (крупные отщепы, пики и др.), при сохраняющихся признаках технологии олдована, однако ручные рубила, являющиеся основным технико-технологическим маркером ашеля, отсутствуют. Исходя из этого, технологический и культурно-стадиальный статус этой индустрии можно определить понятием «пред-ашель» или, точнее, «архаичный ашель».

С таманской индустрией архаичного ашеля (индустрией стоянок Родников 1 и Родники 4) сходны каменные индустрии некоторых других раннепалеолитических стоянок Таманского п-ова. Особенно большое сходство с ней имеет каменная индустрия одновременной стоянки Богатыри/Синяя Балка. Сходство между ними отчётливо прослеживается по ряду технологических и типологических признаков каменных изделий, несмотря на функциональные особенности стоянки Богатыри/Синяя Балка (Щелинский, 2013б). Несомненные аналогии с таманской индустрией просматриваются и в индустрии более ранней стоянки Кермек. Технология обработки камня и орудия в индустрии этой стоянки во многом олдованская. Однако, как и в таманской индустрии, в ней также представлены особо крупные отщепы и пики (Щелинский, 2013а).

Проследить аналогии таманской индустрии с другими эоплейстоценовыми стоянками за пределами Таманского п-ова в настоящее время довольно

трудно. Единственным хорошо опубликованным памятником, с которым возможно сравнение, является более древняя стоянка Дманиси в Южном Закавказье на территории Грузии (de Lumley et al., 2005; Jöris, 2008). Сравнительный анализ показывает, что в индустрии стоянок Родники 1 и 4, по сравнению с индустрией Дманиси, очень много орудий с вторичной обработкой и значительная их часть изготовлена из отщепов. При этом наряду с простыми формами представлены довольно сложные орудия ашельских категорий, такие как пики, ножи, скрёбла разных модификаций и некоторые другие (Щелинский, 2010; 2013а,б). Поэтому таманская индустрия в сравнении с предолдованской индустрией Дманиси, безусловно, выглядит значительно более развитой. Каменные индустрии этих стоянок, несомненно, представляют собой разные культурные традиции раннего палеолита.

Очень интересно было бы сопоставить таманскую индустрию с материалами эоплейстоценовых раннепалеолитических стоянок, ставших известными в последнее время в восточной части Северного Кавказа в горном Дагестане. К сожалению, сейчас это сопоставление в полной мере невозможно по причине отрывочности опубликованных сведений об этих стоянках. Из опубликованных данных известно, что многочисленные культуросодержащие слои стоянок залегают в мощной эоплейстоценовой толще отложений на разных уровнях, и, следовательно, они разновременные (Чепалыга и др., 2012). Каменные индустрии этих стоянок содержат разнообразные изделия, в том числе большое количество чопперов различных модификаций, а также пики, и относятся к олдовану (Амирханов, 2007а,б; 2008; 2012). Судя по имеющимся данным, можно предполагать, что раннепалеолитические индустрии Северо-Восточного Кавказа существенно отличаются от олдованской (предолдованской) индустрии Дманиси в Южном Закавказье.

Вместе с тем нельзя не заметить определённое сходство эоплейстоценовых раннепалеолитических индустрий Северо-Восточного Кавказа, по крайней мере, некоторых из них, содержащих пики, с таманской индустрией архаичного ашеля в Западном Предкавказье, в которой пики также являются важной составляющей набора орудий. Однако уровень сходства между этими индустриями пока неясен. Возможно, речь может идти об индустриях одного технико-технологического круга, переходных от олдована к ашелю, но различных в культурном отношении.

Заключение

Выделенная новая таманская индустрия архаичного ашеля представлена в настоящее время как

минимум тремя стоянками на Таманском п-ове: Родники 1, Родники 4 и Богатыри/Синяя Балка, возраст которых определяется в хронологическом интервале 1,6-1,2 млн. лет назад. При этом не исключено, что к этой же индустрии может быть отнесена и индустрия более древней раннепалеолитической стоянки Кермек (датируется в хронологическом интервале 2,1-1,77 млн. лет назад) (Щелинский, 2013а), каменная индустрия которой имеет все основные признаки архаичного ашеля.

Эти данные ясно показывают, что не только Кавказ, но и Предкавказье являются одними из основных территорий наиболее раннего расселения древнейших людей в Евразии. Впервые люди появились здесь на рубеже палеоплейстоцена и эоплейстоцена в хронологическом интервале 2,1–1,8 млн. л. н., и заселили эти территории практически одновременно. При этом популяции людей, пришедшие на эти территории, судя по всему, имели разные культурные традиции, отразившиеся в их каменных индустриях, которые на данный момент относятся к предолдовану, олдовану, микроиндустриям, архаичному и раннему ашелю. Хронологические рамки существования этих разнокультурных индустрий пока неясны. Однако нельзя исключать, что на протяжении значительного промежутка времени они сосуществовали.

ЛИТЕРАТУРА

- Амирханов Х.А. 2007а. Исследование памятников олдована на Северо-Восточном Кавказе (Предварительные результаты). М.
- Амирханов Х.А. 2007б. Ранний ашель Кавказа в свете новых исследований в Дагестане: проблема истоков и основные типологические характеристики // Х.А. Амирханов, С.А. Васильев, Е.В. Беляева (ред.). Кавказ и первоначальное заселение человеком Старого Света. СПб.
- Амирханов Х.А. 2008. Сравнительная типологическая характеристика инвентаря стоянки Мухкай-1 в Центральном Дагестане (по материалам раскопок 2007 года) // Васильев С.А., Деревянко А.П., Матишов Г.Г. (ред.). Ранний палеолит Евразии: новые открытия. Материалы Междунар. конф., Краснодар–Темрюк, 1–6 сентября 2008 г. Ростов-на-Дону.
- Амирханов Х.А. 2012. Категория пика в технокомплексах олдована и раннего ашеля // РА. 2012. № 2. С. 5–14.
- Беляева Е.В., Любин В.П. 2013. Ашельские памятники северной Армении // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии: К 70-летию А.П. Деревянко. Новосибирск.
- Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анойкин А.А., Рыбалко А.Г. 2012. Проблемы палеолита Дагестана. Новосибирск.

Деревянко А.П., Зенин В.Н. 2009. Раннепалеолитическая стоянка Дарвагчай-1: геохронология и культура // Древнейшие миграции человека в Евразии: Материалы Междунар. (6–12 сентября 2009 г., Махачкала, Республика Дагестан, Россия). Новосибирск.

Иванова С. 2009. Раннепалеолитические ансамбли от пещерата Козарника // Саха lo-quantur: Сб. в чест на 65-годишнината на Николай Сираков. София.

Измайлов Я.А., Щелинский В.Е. 2013. Геологическая ситуация раннепалеолитических местонахождений в Южном Приазовье на Таманском полуострове // Древнейший Кавказ: перекресток Европы и Азии. СПб.

Любин В.П., Беляева Е.В. 2004. Стоянка Homo erectus в пещере Кударо I (Центральный Кавказ). СПб.

Любин В.П., Беляева Е.В. 2010. Новые данные о раннем палеолите Армении // Древнейшие обитатели Кавказа и расселение предков человека в Евразии. СПб.

Титов В.В., Тесаков А.С., Байгушева В.С. 2012. К вопросу об объеме псекупского и таманского фаунистических комплексов (ранний плейстоцен, юг Восточной Европы) // Палеонтология и стратиграфические границы: Материалы LVIII сессии Палеонтологического общества при РАН (2–6 апреля 2012 г., Санкт-Петербург). СПб.

Чепалыга А.Л., Амирханов Х.А., Садчикова Т.А., Трубихин В.М., Пирогов А.Н. 2012. Геоархеология олдувайских стоянок горного Дагестана // БКИЧП. № 72.

Щелинский В.Е. 2010. Памятники раннего палеолита Приазовья // Человек и древности: Памяти Александра Александровича Формозова (1928–2009). М.

Щелинский В.Е. 2013 а. Кермек – стоянка начальной поры раннего палеолита в Южном Приазовье // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии: К 70-летию академика А.П. Деревянко. Новосибирск.

Щелинский В.Е. 2013б. Функциональные особенности олованских стоянок на Таманском полуострове в Южном Приазовье (геологические и археологические свидетельства) // VIII Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода: «Фундаментальные проблемы квартара, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований». Ростов-на-Дону, 10–15 июня 2013 г. Ростов-на-Дону.

Gabunia L., Antón S.C., Lordkipanidze D., Vekua A., Justus A. and Swisher C. 2001. Dmanisi and Dispersal // *Evolutionary Anthropology*. Vol. 10.

Gabunia L., Vekua A., Lordkipanidze D., Ferring R., Justus A., Maisuradze G., Mouschelishvili A., Nioradze M., Sologashvili D., Swisher C. III, Tvalchrelidze M. 2000. Current research on the hominid site of Dmanisi // *ERAUL*. 92.

Guadelli J.-L., Sirakov N., Ivanova S., Sirakova S., Anastassova E., Courtaund P., Dimitrova I., Djabarska N., Fernandez Ph., Ferrier C., Fortugne M., Gambier D., Guadelli A., Iordanova N., Kovatcheva M., Krumov I., Leblanc J.-C., Mallye B., Marinska M., Miteva V., Popov V., Spassov R., Taneva S., Tisterat-Laborde N., Tsanova Ts. 2005. Une sequence du Paléolithique inférieur au Paléolithique

recent dans les Balkans: La grotte Kozarnika à Oreshets (Nord-Ouest de la Bulgarie) // Les premiers peuplements en Europe. Actes du colloque international “Données récentes sur les modalités de peuplement et sur le cadre chronostratigraphique, géologique et paléogéographique des industries du Paléolithique inférieur et moyen en Europe”, Rennes, 22–25 septembre 2003. BAR. International Series, № 1364, Oxford.

Jörís O. 2008. Der altpaläolithische Fundplatz Dmanisi (Georgien, Kaukasus). Mainz.

Justus A., Nioradze M. 2000. Neun Jahre Ausgrabungen in Dmanisi (Georgien, Kaukasus. Ein Überblick // Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Bd. 2. Berlin.

Leakey M. D. 1971. Olduvai Gorge. Excavations in Beds I and II, 1960–1963. Vol. 3. Cambridge.

Lumley de H., Nioradze M., Barsky D., Cauche D., Celiberti V., Nioradze G., Notter O., Zvania D., Lordkipanidze D. 2005. Les industries lithiques préoldowayennes du début du Pléistocène inférieur du site Dmanissi en Géorgie // *L'Anthropologie*. Vol. 109 (1).

Sharon G. 2007. Acheulian Large Flake Industries: Technology, Chronology, Significance. Oxford.

Shchelinsky V. E., Dodonov A. E., Baigusheva V. S., Kulakov S. A., Simakova A. N., Tesakov A. S., Titov V. V. 2010. Early Palaeolithic sites on the Taman Peninsula (Southern Azov Sea region, Russia): Bogatyri / Sinyaya Balka and Rodniki // *QI*. Vol. 223–224.

Shchelinsky V., Tesakov A., Titov V. 2010. Early Palaeolithic sites in the Azov Sea Region: stratigraphic position, stone associations, and new discoveries // Quaternary stratigraphy and paleontology of the Southern Russia: connections between Europe, Africa and Asia: Abstracts of the International INQUA–SEQS Conference (Rostov-on-Don, June 21–26, 2010). Rostov-on-Don.

Torre de la I. & Mora R. 2005. Technological strategies in the Lower Pleistocene at Olduvai Beds I & II // *ÉRAUL*. 112.

Vekua A., Lordkipanidze D., Rightmire G. P., Agustí J., Ferring R., Maisuradze G., Mouschelishvili A., Nioradze M., Ponce de Leon M., Tappen M., Tvalchrelidze M., Zollikofer C. A. 2002. New skull of Early Homo from Dmanisi, Georgia // *Science*. Vol. 297..

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БКИЧП	Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода АН СССР, Москва;
ЗИИМК	Записки Института истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург;
РА	Российская археология, Москва;
BAR	British archaeological reports. International series, Oxford.
ERAUL	Études et recherches aecheologiques de l'universite de Liège, Liège;
JHE	Journal of Human Evolution. London; New York; San Francisco;
QI	Quaternary International, Amsterdam.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА ЕВРОПЫ

Общие положения

Умозрительные представления о неуклонном прогрессивном развитии от простого к сложному – во всех без исключения сферах человеческой культуры – уже давно и заметно сдали свои позиции в мировой этнологии и социальной антропологии. Однако интерпретация археологических данных по палеолиту нередко и сейчас производится в однолинейно-эволюционистском ключе, по схемам, заложенным в сознание (или, скорее, подсознание!) учебной и популярной литературой конца XIX – середины XX века.

Между тем, переход с собственно источниковедческого уровня на уровень палеоисторических и социально-антропологических обобщений является одним из ключевых моментов археологического исследования. Именно он определяет итоги и реальный «научный выход» произведённых работ. Профессионализм на этом этапе не менее важен, чем на стадиях добывания, оформления и анализа источников. Поэтому, на наш взгляд, знакомство с новыми разработками теории социокультурной эволюции необходимо археологу-первобытнику никак не меньше, чем знание последних достижений в области палеогеографии или методов абсолютного датирования.

В противном случае происходит «короткое замыкание». Информация, которая реально может быть извлечена из археологических источников, не находит адекватного описания на языке общеисторических/социальных дисциплин. На практике это означает, что археологи в своём кругу гордо оперируют «чисто-археологическими» понятиями и терминами, понятными лишь «посвящённым». А при попытках связно изложить, что же именно они раскопали, выдают порой откровенные банальности, на уровне старого школьного учебника. С другой стороны, коллеги, не сведущие в области археологического источниковедения, оказываются перед необходимостью интерпретировать эти данные самостоятельно. И нередко попадают в ловушку собственного непрофессионализма, предлагая наивные или попросту превратные трактовки археологического материала.

Последнее необходимо учитывать, когда встаёт вопрос об общих концепциях палеоистории человечества. Увы, современной наукой пока не выработана такая система взглядов на палеолит, которая была бы свободна от предрассудков и упрощений старого, доброго однолинейного эволюционизма. Реше-

ние накопившихся противоречий мыслится учёным по-разному. Возникают всё новые умозрительные глобальные конструкции. Что ж, попытки гипотетического обобщения накопленной информации необходимы; даже спорность многих из них, в принципе, не беда. Но желательно всё же отдавать себе отчёт: что в этих построениях действительно основано на фактах? Что домысливается по общим соображениям, в рамках привычной научной и мировоззренческой парадигмы? Наконец, какие гипотезы подтверждаются современной археологической наукой, а когда можно с уверенностью говорить об их несостоятельности?

Осознавая всё это, мы постарались, в меру возможностей, произвести ревизию доступной нам информации об археологических фактах, лежащих в основе современных общих концепций палеоистории. Ведь именно археологические источники – и, в сущности, они одни – несут *прямую информацию о палеолитическом человеке*. Особенно важны в этом плане результаты функционально-трасологических исследований артефактов и экспериментально-технологические опыты. Отметим: таким путём ещё полвека назад было установлено, что, вопреки мнению классиков марксизма и эволюционизма, человек каменного века отнюдь не был «заложником непосильного труда». Ни изготовление каменных орудий, ни работа ими вовсе не являлись столь сложными и трудоёмкими процессами, как это мыслилось кабинетным учёным XIX – середины XX вв. (Семёнов, 1957; Семенов, 1959 и др.).

Впрочем, старые представления оказались на деле очень живучими. Многие коллеги-археологи, работавшие в ЛОИА АН СССР бок о бок с основоположником трасологии С.А. Семеновым, десятилетиями умудрялись «не замечать» самых очевидных выводов, вытекавших из его исследований палеолитического инструментария. Подобная картина отнюдь не была привилегией только отечественной науки. Во введении к своей «Экономике каменного века» М. Салинз писал: «Почти все без исключения учебники, безоговорочно принимая априорную установку, что жизнь в палеолите была чрезвычайно тяжёлой, как будто соревнуются в стремлении создать у читателя ощущение неминуемой гибели, заставляя его задаваться вопросом не только о том, как охотники умудрялись выживать, но и о том, было ли это вообще жизнью...» (Салинз, 1999 [Sahlins, 1972]. С. 19).

В настоящее время исследования в области археологической трасологии ушли далеко вперед. На их основе уже ведётся разработка экспериментальных методик, способствующих выявлению, фиксации и интерпретации различных *стереотипов мышления и поведения* древних людей. Результаты по-прежнему резко контрастируют с априорными умозрительными представлениями о примитивности палеолитического человека и «беспросветной» жизни охотников-собираателей (Волков, 2000; Волков, 2013). Появление большого количества новой, принципиально важной информации заставило наш коллектив произвести собственный аналитический обзор данных, полученных в ходе экспериментальных исследований по ряду направлений. Первоначальные результаты этой работы нашли отражение в целом ряде публикаций (Платонова и др., 2011; Аникович и др., 2011; Аникович, Платонова, 2011). В самом сжатом виде полученные выводы можно сформулировать так:

1) Орудийная деятельность раннего/среднего палеолита неизбежно предполагает *творческое начало*. Вопреки целому ряду безосновательных утверждений она категорически не может быть сведена к «имитативному рефлексу».

2) Успешная охота на крупных млекопитающих является твёрдо установленным археологическим фактом, по крайней мере, начиная с ашеля (~400 тыс. л. н.). То же самое можно сказать об овладении огнём и его целенаправленном использовании человеком. Для более ранних периодов и то, и другое вполне может рассматриваться как правдоподобная гипотеза.

3) Широкое применение самых разнообразных приёмов деревообработки повсеместно и вполне достоверно прослеживается уже в среднем палеолите (мустье); тогда же появляются данные об изготовлении составных орудий. При этом пиление и скобление дерева фиксируются в значительно более древние эпохи – в ашеле и даже олдоване (Кооби-Фора, ~2-1,8 млн л. н.).

4) Древнейшие следы *сверления* дерева идентифицированы Л. Кили в ашельских материалах, датированных ~400 тыс. л. н. Таким образом, гипотеза о трении дерева о дерево, как первоначальном способе добычи огня, оказывается вполне правдоподобной.

Данный комплекс археологических фактов явно «отодвигает» целый ряд ключевых изобретений и открытий человечества в очень глубокую древность – эпоху ашеля и, возможно, олдована. Это ощутимо противоречит тенденции считать «архаичных людей» (создателей ранне- и среднепалеолитических индустрий) существами, в жизни которых «животная природа» решительно доминировала. Во всяком случае, признаки *собственно человеческого поведения* зримо проявляются не только в эпоху свершившейся «сапиентации» (верхний палеолит), но и значительно раньше (Платонова и др., 2011). Иными словами: человек

стал *человеком* задолго до появления *Homo sapiens*. Хотя невероятно медленные темпы освоения инноваций и развития производительных сил, характерные для палеолита практически на всём его протяжении, оказываются на практике почти недоступными современному пониманию. Поэтому стремление объяснять их биологическим фактором, в принципе, не удивляет. Однако, коль скоро речь идёт о *человеке*, такие попытки как минимум должны быть дополнены поиском в иной области – социальной и социокультурной.

Всё вышеизложенное вполне согласуется с результатами недавних конкретных исследований нашего коллектива, проводившихся в нескольких направлениях. Перечислим только важнейшие из них. Открытие на юго-западе Русской равнины памятников древнейшего раннего палеолита (~1 млн. л. н.) и проведённый технико-морфологический анализ каменных изделий дали Н.К. Анисюткину основания утверждать: уже в этот период там наблюдается стандартизация форм орудий (Анисюткин, 2014а). Детальный аналитический обзор материалов по *Homo neanderthalensis*, произведённый Л.Б. Вишняцким, позволил выработать новые, достаточно взвешенные представления о создателях среднепалеолитических индустрий Европы. В самом сжатом и доходчивом виде их можно свести к следующему: «...на протяжении десятков тысяч лет они [неандертальцы. – авт.] вполне успешно – не менее успешно, чем верхнепалеолитические или неолитические гомо сапиенс – справлялись со всеми задачами, которые ставила перед ними жизнь, и любые тяготы оказывались им по плечу. А всё потому, что они были людьми, и у них, как и у нас, была такая вещь, как культура...» (Вишняцкий, 2010. С. 120).

Наконец, анализ культурной динамики и символической деятельности в верхнем палеолите Евразии, произведённый под новым углом зрения, позволил сформулировать весьма ответственный тезис: менталитет палеолитического человека заметно отличался от менталитета последующих эпох, однако нет ровно никаких оснований считать, что изменения произошли к лучшему (Аникович, 2011). К сходным выводам приходит и Л.Б. Вишняцкий, которым в самое последнее время был произведён весьма объективный и непредвзятый анализ источников по проблеме вооружённого насилия в палеолите. В частности, в его работе, подготовленной в рамках уже настоящего проекта, собраны и сведены в таблицы все доступные сведения о находках костей людей и животных с застрявшими в них фрагментами каменных или костяных наконечников. Как выяснилось, «...все находки такого рода возрастом старше 15 тыс. лет — это кости животных... Напротив, после 15 тыс. лет соотношение резко меняется, и число находок человеческих костей с вонзившимися в них обломками оружия почти сравнивается с числом аналогичных

находок костей животных. Учитывая, что количество раскопанных фаунистических остатков на несколько порядков превышает количество антропологических находок, такое равенство может свидетельствовать о важных изменениях в динамике вооружённого насилия (и жизни общества в целом) в конце палеолита» (Вишняцкий, 2014. С. 311).

В ходе работы по проекту коллективом была поставлена задача исследования особенностей и темпов освоения инноваций в среднем/верхнем палеолите. В настоящей статье мы подробно остановимся на двух аспектах: а) теоретико-методологическом обосновании возможностей социокультурного исследования в палеолитоведении; б) практическом приложении методики социокультурного анализа к материалам среднего палеолита.

Социокультурный анализ в палеолитоведении: проблема подходов

Реализация социокультурной направленности первобытной археологии упирается в проблему выработки адекватной системы понятий и определения исследовательского инструментария. На наш взгляд, игнорирование указанных проблем чревато целым рядом ошибок. Самой распространённой ошибкой служит представление, согласно которому используемые приёмы и понятия должны быть изначально «чисто археологическими», а историческая интерпретация полученных данных (если вообще таковая нужна) совершится когда-нибудь потом. Исследовательская практика показывает: это «потом» не наступает никогда. В нашей работе мы исходим из того, что и методы, и система обобщающих понятий в первобытной археологии *должны быть изначально нацелены на выход в собственно историческую сферу познания.*

Немалым препятствием на этом пути служит распространённое заблуждение, упорно противопоставляющее современное социокультурное направление так называемому «комплексному» или междисциплинарному исследованию палеолита, направленному, в частности, на выявление роли природного фактора (спонтанных трансформаций среды) в развитии человечества. Истоки такого противопоставления в отечественной археологии вполне очевидны. Оно является горьким плодом тотального идеологического диктата 1930-1950-х гг., категорически не допускавшего сосуществования в едином научном поле различных подходов к изучению исторического процесса (в частности, моно- и полифакторных).

Междисциплинарность, стремление обогатить историческое исследование методами других наук – экономических, биологических, географических и пр. – является главным детищем неопозитивистского на-

правления в исторической науке, вступившего в свои права на рубеже XIX-XX вв. За этим подходом стояло убеждение, что «различная степень зрелости тех или иных культурно-исторических циклов *предопределяется попеременным доминированием самых различных факторов общественного развития*: природных, демографических, экономических, духовных и т.д. (курсив наш. – авт.)» (Подоль, 2009). На практике данное направление успешно конкурировало (и одновременно взаимодействовало) в отечественной науке первой трети XX в. с другими концепциями исторического процесса. Их взаимное обогащение в ходе взаимодействия ныне представляется очевидным.

Однако в 1930-х гг. любые варианты полифакторного анализа общественного развития стали квалифицироваться в СССР как буржуазно-реакционные вылазки. Началось безраздельное господство монофакторного подхода – причём исключительно в варианте экономического материализма («советского марксизма»). Это определило особенности сформированного тогда социо-исторического направления в палеолитоведении, надолго запечатлевшиеся в памяти последующих поколений. Тем не менее, постепенное возвращение неопозитивистской методологии анализа в советскую археологию ещё в третьей четверти XX в. достаточно ясно показало, что в нормальных условиях никакой жёсткой альтернативы «социо-исторический – междисциплинарный» не существует. Применение широкого спектра естественно-научных методов уже в 1970-1980 гг. стало обязательным условием работы с материалом в отечественной первобытной археологии и особенно в палеолитоведении.

В свою очередь, социокультурная направленность современных исследований отнюдь не препятствует, а, скорее, предполагает всемерное сотрудничество с учёными-естествоведами. Оба указанных принципа в течение многих лет активно претворялись в жизнь авторами настоящей работы. Впрочем, необходимо оговорить: широкое применение естественно-научных методов вовсе не перемещает палеолитоведение из гуманитарной сферы в сферу естествознания.

Проблематика палеолита никак не может быть сведена ни к ландшафтно-климатическим адаптациям, ни к чисто желудочным проблемам рода Номо. Да и до генетической закодированности ниже- и среднепалеолитических технологий в организме их носителей, кажется, не договаривался ещё никто. Археолог, исследующий палеолитическую стоянку, имеет дело с остатками *культуры*, с материализованными результатами *социальной активности человека*, пусть и очень-очень древнего, – и с их отражением в археологизированных объектах. Всё это, так или иначе, составляет предмет гуманитарного исследования. Прибегать к помощи естественно-научных дисциплин при реконструкциях процессов формирования литологических горизонтов и палеосреды в целом – это одно.

А вот растворение, распрямление собственной дисциплины в потоке смежных – совсем другое. Объективная ценность и информативность исследований природного окружения, в котором жил и действовал палеолитический человек, вовсе не означает, что природный фактор следует абсолютизировать, приписывая ему единственно решающую роль.

На наш взгляд, именно гуманитарная природа первобытной археологии должна определять цели, задачи и характер использования естественно-научных данных. В противном случае эти данные получают самодовлеющее значение, к которому археологическая часть присоединяется лишь как некий довесок, сравнительно малоинформативный на фоне капитальных трудов смежников. Результатом такой установки неизбежно является забвение собственно археологических методов исследования и несогласованность в рассмотрении артефактов и их контекстов.

Конечно, определённое упрощение, редуцирование исторической реальности при построении научных моделей неизбежно. Но следует помнить: любая культура «...строится в треугольнике “человек – природа – общество”. ... *Двухмерная модель* [“человек – природа”. – авт.] *существует только в пространстве науки*, поскольку в реальности даже робинзонада немислима вне социального контекста. ... *Двухмерность удобна в качестве инструмента исследования, поскольку позволяет применять ограниченный набор критериев*. Как только речь заходит о социальном измерении, строгость двухмерной модели уступает место замысловатой трёхмерности... В своё время Б. Малиновский призывал “раз и навсегда покончить” с порождённым в учёных кабинетах образом “первобытного экономического человека”, который занят исключительно “поиском еды для существования” [Малиновский, 2004. С. 178]. Однако “экономический человек” прижился в науке и по-прежнему фигурирует в истории первобытности, подчиня своей желудочной философии мифологию, миграции, искусство... (курсив наш. – авт.)» (Головнёв, 2009. С. 19-20).

Необходимость сломать данный стереотип и работать в рамках «трёхмерной модели», реально включив «социальное измерение» в практику исследований, собственно, и определила основное содержание наших работ по проекту. В него вошли определение адекватной системы понятий и конкретно-исторический анализ археологических памятников, предполагающий их рассмотрение в трёх аспектах – социально-историческом, хронологическом, пространственно-географическом. Для характеристики указанных аспектов, помимо собственно археологических методов, активно использовался междисциплинарный подход. Комплексное применение различных методик направлено на расшифровку информации, которую несут археологические источники об искусственной среде обитания, создававшей-

ся палеолитическим человеком вокруг себя (позднее её назвали «культурой»). Покажем это ниже на конкретных примерах.

Социокультурное исследование среднего палеолита Восточной Европы: методические приёмы и конкретные результаты

3.1. Археологические методы и их возможности

Каждый палеолитовед-профессионал сегодня попросту обязан быть не только грамотным типологом, но и достаточно квалифицированным технологом. Типологический (техничко-морфологический), технологический и трасологический виды анализа каменных орудий являются *взаимно дополняющими, важнейшими собственно археологическими методами исследования источников*. Только комплексное их применение может помочь в разрешении многих накопившихся в науке противоречий.

Современный технико-морфологический анализ кремнёвых изделий среднего палеолита в значительной мере базируется на методике Франсуа Борда. «Система Борда», разумеется, далеко не совершенна, но в ней синтезирован огромный опыт исследований – как собственно морфологических, так и технологических, и экспериментальных. Можно констатировать как факт: никто из оппонентов Ф. Борда пока ещё не создал ничего лучше и эффективнее его «системы». Практика показывает: применение этой методики даёт реальную возможность производить обоснованные подразделения каменных индустрий среднего палеолита во времени и пространстве. Напротив, отказавшись от неё, мы волей-неволей возвращаемся к старому представлению о «единообразии» мустье.

Неоднократно высказывались мнения, что указанная «система», разработанная на материалах Западной Европы, неприменима в должной мере для иных территорий, в частности, для Восточной Европы. Это утверждение, однако, может быть оспорено. Безусловно, средний палеолит Франции специфичен: нигде за пределами Западной Европы нет ни подлинного мустье с ашельской традицией, ни мустье типа кина. Но, с другой стороны, среднепалеолитические индустрии, почти неотличимые от французских, представлены по всей территории Европы и Ближнего Востока. Так, комплекс молодого леваллуа-мустье, выявленный на юго-западе Восточной Европы, практически полностью аналогичен типичному мустье Франции и может быть с полным правом определён как мустье типичное фации леваллуа (Анисюткин, 2013. С. 68).

Точно так же вполне сопоставимы с мустье Западной Европы и среднепалеолитические индустрии из пещер Горного Алтая. Когда обнаруженные там инду-

стриальные ансамбли были обработаны по методике Ф. Борда, оказалось, что они содержат все формы, представленные в тип-листе французского классика (Деревянко, Маркин, 1992). Выявленная специфика характеризуется своеобразным сочетанием типов мустьерских орудий, где особую роль играли сравнительно многочисленные формы *dejetes* (Там же. С. 208). В этом нет ничего удивительного: практически все формы из тип-листа Борда присутствуют в среднепалеолитических индустриях Евразии и Северной Африки.

Некоторым исключением вроде бы является весьма специфический палеолит стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако и здесь применение системы Борда не только возможно, но и необходимо. Одному из авторов настоящей статьи в своё время удалось обработать по этой методике ряд коллекций Юго-Восточной Азии. Полученные индексы техники первичного расщепления оказались более чем необычными, порой не имеющими эквивалентов ни в одном из вариантов среднего/верхнего палеолита Европы и Ближнего Востока. Однако они чётко и объективно фиксировали специфику индустрий – как в технических показателях, так и в типологических. Таким образом, методика Ф. Борда оказалась вполне пригодной для раскрытия упомянутой специфики и перевода её на язык реально измеряемых величин (Анисюткин, 2013. С. 69-70).

На современном этапе исследований индустрий среднего палеолита изучение технологий порой вытесняет интерес к углублённому типологическому анализу коллекций. Об этом можно только пожалеть, ибо, как уже говорилось выше, и тот и другой виды анализа являются необходимыми и взаимосвязанными частями единого исследовательского процесса. При выпадении одной из них страдает конечный результат. Так, в некоторых современных разработках анализ конкретного материала стали заменять «идеальные модели», в которых якобы реконструируются процессы развития палеолитических индустрий (Maillo-Fernandez et al., 2011. Р. 139). Подобную тенденцию можно квалифицировать как возрастание непрофессионализма в исследованиях. Такие «достижения» чреваты возвращением на уровень начала XX века, с опорой на старинный метод «руководящего ископаемого».

Современная ситуация в области морфологического анализа среднепалеолитических индустрий детально рассмотрена в монографии Н.К. Анисюткина, подготовленной в рамках настоящего проекта и посвящённой анализу многослойной стоянки Кетросы в контексте среднего и начального верхнего палеолита Пруто-Днестровского междуречья. Там проанализированы, в частности, конкретные дискуссионные моменты, связанные с вычленением в материале тех или иных технических и типологических показателей (индексов) и даны примеры приложения указанной мето-

дики к конкретным индустриям (Анисюткин, 2013. С. 68-134). Эти последние предлагается рассматривать как некое единство, представленное совокупностью характерных групп орудий. Практика показывает, что элементы совокупности обладают очевидной и достаточно прочной внутренней связью, дающей им возможность развиваться как единое целое. Многие из них обнаруживают тесную связь с рядом технических показателей, включая метрические, поддающиеся количественной оценке. Это позволяет более точно и объективно описывать наблюдаемые изменения.

3.2. Средний палеолит юго-запада Русской равнины: основные характеристики

В указанной монографии и в ряде статей (Анисюткин, 2013; Анисюткин, 2014б; Анисюткин, 2014в) обобщены конкретные результаты исследований среднего палеолита в южной – юго-западной части Восточной Европы на современном этапе. Ниже мы остановимся на двух сюжетах, наиболее показательных с точки зрения постановки и решения задач социокультурного исследования на этих материалах.

Своеобразие среднего палеолита Пруто-Днестровского междуречья во многом обусловлено сосуществованием тут в течение всего верхнего плейстоцена двух контрастных локальных вариантов: 1) леваллуа-мустьерского; 2) своеобразного комплекса, выделенного Н.К. Анисюткиным и названного им дуруитор-стинковским единством (далее: ДСЕ) (Анисюткин, 2011). Об их синхронности вполне надёжно свидетельствует геохронология. Оба блока индустрий соседствовали друг с другом на протяжении около 100 тыс. лет. Для обоих были характерны крайне низкие темпы внедрения культурных инноваций и очень высокая устойчивость технических и типологических показателей. В частности, ДСЕ на раннем этапе демонстрирует практически полное отсутствие всякой динамики во времени. Даже в технике первичного расщепления «спонтанная трансформация» едва прослеживается. Это не развитие, а, скорее, стагнация комплекса технологических приёмов.

Однако на позднем этапе (КИС-4 – КИС-3) в одной из групп ДСЕ – стинковской – неожиданно появляются многочисленные, хорошо выраженные стандартизованные бифасиальные формы, в том числе листовидные острия. Пропадает отчётливое единообразие в технике первичного расщепления камня. Стартует постепенное, хотя и медленное, движение в сторону лептолитизации – целый ряд технических и типологических показателей начинает неуклонно меняться (Анисюткин, 2005; Анисюткин, 2014б).

Особенно существенные отличия выявляются в комплексе верхнего слоя стоянки Стинка-1, где отмечено разрушение группы сопряжённых форм орудий: исчезают ножи с ретушированными обушками, становятся единичными и атипичными клювовидные

орудия. Отмечается рост индекса пластин, который достигает почти 17%. Наиболее существенный прогресс выявляется с появлением в коллекции верхнего слоя Стинки-1 немногочисленных, но достаточно выразительных микропластинок с мелкой ретушью краёв. Данная индустрия, по сути, уже может рассматриваться как примитивно верхнепалеолитическая.

Конечно, можно допустить, что бифасиальные формы, появление которых маркировало начало указанного процесса, развивались спонтанно. Отдельные находки атипичных бифасов на стоянках ДСЕ предшествующего периода имеются. И всё же в коллекциях большинства известных памятников нет даже единичных находок такого рода. Кроме того, обращает на себя внимание полное отсутствие промежуточных вариантов. Везде листовидные бифасы появляются сразу как типичные формы и сохраняют свои особенности на протяжении всего периода последующего бытования индустрий. Нельзя забывать и об отсутствии всякого «спонтанного развития» на предшествующем этапе функционирования ДСЕ.

По-видимому, для того, чтобы описанные перемены реально стартовали, потребовались серьёзные сдвиги в первую очередь в социальной сфере. Ведь за комплексом технологических приёмов, как таковым, в живой культуре всегда стоят определённые *социально-культурные стереотипы* и предпочтения, характерные для данного сообщества. Практическая значимость любой архаической производственной технологии попросту не существует в отрыве от своего культурного оформления. Создатели среднепалеолитических индустрий вряд ли отличались в этом отношении от людей последующих эпох. Особенностью их сообществ можно считать, скорее, то, что механизмы *закреплённости традиций в культуре* работали в среднем палеолите практически без сбоев, обеспечивая их сохранение и воспроизводство в течение периодов, длительность которых вообще трудно укладывается в современном сознании.

Феномен неожиданного появления многочисленных бифасов, вкуче с последующей переориентацией пути развития индустрий ДСЕ, на наш взгляд, логичнее всего связывать с особым вариантом социокультурной адаптации — с аккультурацией. Данный процесс следует воспринимать как пример не «спонтанной», а *стимулированной трансформации* индустрий. То есть имело место некое воздействие извне, спровоцировавшее последующую цепочку очень медленных (возможно, почти незаметных для современников), но неуклонных *системных изменений* в обществе и его культуре. Подобный вариант рассматривается нами как наиболее вероятный способ объяснения наблюдаемой в регионе специфики перехода от среднего к верхнему палеолиту (Аникович и др., 2008. С. 132-136; Аникович, 2013; Анисюткин, 2014).

Не менее важный сюжет связан с леваллуа-мустьерским блоком индустрий. На протяжении десят-

ков тысячелетий развитие носило тут характер *микро-эволюции*: совершенствовалась исключительно техника первичного расщепления (Анисюткин, 2001; Анисюткин, 2013). При этом стоит подчеркнуть: техника леваллуа изменялась во времени весьма заметно, и воспринимать её нужно именно с учётом развития. Однако движение шло отнюдь не в сторону лептолитизации, а в сторону усиления «мустьероидных» черт. Видимо, в дальнейшем именно это обусловило присутствие в регионе так называемого «пережиточного мустье». В целом облик мустьерских индустрий оставался практически неизменным в течение нескольких десятков тысяч лет.

3.3. Стоянки с жилыми структурами из костей и бивней мамонта: археологический и палеогеографический анализ

В описанном культурном контексте особый интерес представляют стоянки с находками структурных объектов (остатками сложных ветровых заслонов и примитивных хижин), где при строительстве использовались специально отобранные кости и бивни мамонта. Памятники с такими жилыми структурами образуют небольшую серию, локализуемую компактно, в пределах небольшого района, и приуроченную к периоду раннего («мустьерского») юрма (Молодова-I и V, Кетросы, Рипичени-Извор). Индустрии указанных памятников соответствуют вариантам типичного мустье и регионального микока, которые в данном случае очень близки между собой, различаясь лишь количеством бифасов.

На материалах стоянки Кетросы можно уверенно сделать вывод, что обнаруженные «строительные материалы» отнюдь не являлись результатом удачных охот, а были собраны и отсортированы на берегу реки. Об этом говорит в первую очередь различная сохранность костей в культурном слое, а также близость поселения к обширной древней отмели. Рассмотрение стоянок в едином контексте позволяет предположить, что в пределах ограниченного региона на территории Пруто-Днестровского междуречья сформировалась устойчивая культурная традиция, носители которой активно использовали собранные кости мамонта для строительства жилых объектов. Для эпохи среднего палеолита она представляет собой уникальный культурный феномен.

Появление сооружений указанного типа мы склонны рассматривать как пример единого *культурного выбора*. Без сомнения, мамонт играл важную роль в идеологии данных среднепалеолитических социумов. Использование его крупных костей и бивней (в том числе и тогда, когда без них вполне можно было обойтись!) явно выражало определённое отношение мустьерцев к этому гиганту. Разумеется, как это зачастую бывает в архаических сообществах, культурный выбор не вступал в противоречие с практическими потребностями, а, напротив, органично с ними увязывался.

Отметим особо: собирая информацию о региональном среднем палеолите, важно следовать правилу рассматривать в качестве опорной единицы не отдельный памятник, а географически определённый регион с разнофункциональными стоянками, который и осваивался популяциями плейстоценовых охотников-собирателей (Васильев, 1997. С. 99). Анализ различных типов памятников среднего палеолита Пруто-Днестровского междуречья, их приуроченности к разным формам рельефа, выявленных на них структур и т.д., оказался весьма результативным с точки зрения реконструкции хозяйственного цикла указанного периода. Можно с уверенностью утверждать, что моделью жизнедеятельности региональных мустьерцев являлась ярко выраженная сезонность, тесная взаимосвязь с особенностями годовой изменчивости природной среды. В зимнее время человеческие популяции вынужденно дробились на небольшие коллективы, используя для жилья естественные скальные убежища. В летний (точнее, тёплый) сезон люди вели относительно подвижный образ жизни, переселяясь в долины крупных рек. Материалы всех известных открытых поселений свидетельствуют, что на них обитали сравнительно многочисленные коллективы.

Стоянки с жилыми конструкциями из костей и бивней мамонта использовались, как свидетельствуют наши материалы, в осенний период. В это время года каньонообразные речные долины региона, ограниченного с юга сравнительно тёплым Черным морем, а с севера и запада – окраиной вюрмского ледника и ледяными вершинами Карпат, пронизывали сильнейшие циклонические вихри. Мустьерцы организовывали свои осенние поселения с учётом указанного фактора, предпочитая укромные боковые долины притоков Днестра и Прута и строя там сложные укрытия от ветра. Исследованные жилые структуры имели небольшие размеры (в Кетросах – около 12 кв. м). Это даёт возможность судить о размерах коллективов, которые вели в осеннее время самостоятельную охотничью и хозяйственную деятельность. По-видимому, они были совсем невелики. Использование при строительстве огромных бивней и крупных костей мамонта (которые вдобавок требовалось доставлять от днестровской отмели на высокий, крутой берег) указывает на существование между людьми прочных взаимных связей. В противном случае такая трудоёмкая, тяжёлая работа была бы неосуществима.

На примере стоянки Кетросы хорошо видно, что при выборе места стойбища учитывался и другой важный фактор. Именно отсюда открывался прекрасный обзор окрестностей на большое расстояние. Последнее позволяло людям, не привлекая к себе внимания, следить за осенними миграциями бизонов и лошадей, проходивших по речной пойме. Специализированный охотничий характер стойбища подтверждается как трасологическим анализом орудий (Щелинский,

1981. С. 53-58), так и составом остеологических находок. В культурном слое обнаружен совершенно определённый набор костных остатков бизонов и лошадей. В нём отсутствуют именно те части скелета, которые связаны с наиболее мясистыми частями туш. Можно предположить: эти последние уносились на места будущих зимовок. Здесь же, на месте, охотники употребляли в пищу части, наименее ценные для зимних заготовок. Скорее всего, бизонов и лошадей добывали рядом, в долине Днестра, где животные переправлялись с низкого левого берега на высокий — правый (стоянка располагалась вблизи брода, активно использовавшегося ещё в старину).

3.4. Социокультурные характеристики среднего палеолита юго-запада Русской равнины: гипотезы и проблемы

Одна из важнейших характеристик среднепалеолитических индустрий региона – крайне низкие темпы внедрения инноваций в области технологий каменобработки и/или направленность микроинноваций в сторону усиления «мустьероидности». Последнее, на наш взгляд, практически исключает спонтанную эволюцию индустрий в направлении лептолитизации и нарастания верхнепалеолитических черт. Собственные пути развития этих индустриальных ансамблей, по-видимому, не допускали движения в подобном направлении. «Стагнация» технологий легко ассоциируется у современного человека с понятием «культурного тупика» или даже вырождения. Но правомерно ли такое заключение применительно к эпохе среднего палеолита?

Рассмотрение археологических материалов и палеогеографических данных в едином контексте позволяет с уверенностью заключить: *среднепалеолитические социумы Пруто-Днестровского междуречья были превосходно адаптированы к сложным природным условиям позднего плейстоцена*. Сравнительная немногочисленность коллективов мустьерцев и создателей индустрий ДСЕ отнюдь не помешала им успешно сохранять своё потомство и свои традиции, выживая в стабильно суровых условиях до 100 тысяч лет. А это уже как-то трудно назвать вырождением. Скорее следует поставить вопрос о *специфических формах социумов и социальных связей*, обеспечивавших: а) особо прочную закреплённость традиций в системе живой культуры; б) низкий уровень «конфликтности» и агрессии как внутри малых групп, обитавших на стоянках осеннего и зимнего периодов, так и в рамках более крупных человеческих сообществ, формировавшихся в тёплый период.

Конечно, о «неконфликтности» неандертальцев мы можем рассуждать лишь сугубо предположительно. Прямых подтверждений тому нет; все обоснования возможны, скорее, «от противного». Но всё же трудно допустить, что высокий уровень агрессии во-

обще совместим с фактом *устойчивого совместного проживания сравнительно немногочисленных человеческих сообществ в небольшом регионе в течение десятков тысячелетий*. Несмотря на пресловутое «единообразие» среднего палеолита, археологические методы позволяют специалисту отчётливо увидеть различия между отдельными группами населения. Не менее очевидным кажется то, что, при наличии частых конфликтных ситуаций, рассмотренные выше культурные «единства» должны были либо исчезнуть, либо трансформироваться. Однако проходили тысячелетия, а этого не случилось.

То же самое следует сказать по поводу объективных трудностей выживания малых групп людей в скальных убежищах в стабильно экстремальных условиях зимнего периода. Можно предположить, что среднепалеолитические социумы умело «канализировали» отрицательные эмоции и агрессию, не давая им вылиться в действия, по-настоящему разрушительные для их сообществ. Данное предположение вполне согласуется с конечными выводами, к которым пришёл Л.Б. Вишняцкий в ходе пересмотра и повторного анализа всех доступных англо- и русскоязычных публикаций, посвящённых вооружённому насилию в палеолите (Вишняцкий, 2014. С. 320-326).

Обобщая все описанные выше данные, можно поставить (пока ещё только поставить!) вопрос о наличии в рассматриваемых среднепалеолитических сообществах таких явлений, как символизм и ритуализация основных направлений человеческой деятельности. Обычно символизм рассматривается в трудах археологов неотделимо от феномена искусства (определяемого М.В. Аниковичем как *попытка создания человеком «другой реальности»*). Единичность и зачастую спорный характер находок, свидетельствующих об искусстве в среднем палеолите, сформировали в учёных кругах устойчивое мнение, что символическая деятельность в ту эпоху отсутствовала или находилась в зачаточном состоянии. Однако не стоит забывать: в человеческом обиходе условно символический смысл могут иметь не только изображения и знаки, выполненные рукой человека, но и обычные предметы естественного происхождения (кость зверя, раковина, птичье перо, камень, цветок и т.п.).

Разумеется, находка предмета такого рода в культурном слое, даже при условии идеальной сохранности, не даёт оснований судить о символической или ритуальной деятельности человека. Тем важнее для нас является установленный факт целенаправленного отбора и использования отдельными группами мустьерцев костей и бивней мамонта для строительства своих осенних охотничьих убежищ.

Выше уже указывалось, что практическая потребность именно в этом материале для изготовления каркасов укрытий кажется нам сомнительной. При желании его вполне можно было заменить другим,

да и доставка огромных бивней и костей на высокий крутой берег являлась предприятием в высшей степени трудоёмким. Не случайно данный обычай получил лишь ограниченное распространение: другие мустьерские сообщества прекрасно без него обходились. Однако для части среднепалеолитического населения региона это стало устойчивой традицией.

Данное явление можно рассмотреть в более широком территориальном контексте. Обычай приносить кости и бивни мамонта в свои гроты практиковали и некоторые группы населения Крыма («аккайская мустьерская культура»). Исследователи крымского палеолита по традиции долго считали эти скопления остатками охотничьей добычи палеоантропов. Но подобную интерпретацию можно принять лишь условно (и то с большой натяжкой!) для скопления костей, обнаруженных на стоянке открытого типа Красная балка. Во всех других случаях подобные объяснения явно непригодны (Аникович и др., 2011. С. 71-72).

Как выяснилось, в скальные убежища Крыма мустьерцы приносили отнюдь не самые ценные в пищевом отношении части туш (скелетов?) мамонтов. Здесь присутствуют бивни, зубы, лопатки, части челюстей и трубчатые кости, пищевая (мясонесущая) ценность которых ничтожна. Таким образом, отбор костей совершенно аналогичен тому, что имел место на описанных выше памятниках юго-запада Русской равнины. Разумеется, мамонтовые остатки находили применение в быту (обустройство жилого пространства грота, запасы топлива и пр.). Но важнее другое: за обычаем использования костей животных сугубо определённого вида (причём не с целью удовлетворения «желудочных» потребностей) явно просматривается традиция, культурный выбор, в конечном счёте – идеологические представления.

Устойчивое предпочтение неким сообществом некоего определённого животного для своих хозяйственных нужд и готовность, к тому же, идти на определённые издержки во имя такого предпочтения с большой степенью вероятности приоткрывает нам комплекс первобытных представлений о связи сообщества с указанным животным. То есть, тут налицо именно символическая деятельность, которая, как и положено, тесно переплетена с практической.

Таким образом, предположение о наличии символизма в среднем палеолите имеет в основе конкретные археологические факты. Можно допустить, что символизм на том этапе имел иные формы выражения и, соответственно, по-иному отражался в источниках, чем символизм верхнепалеолитических сообществ. В частности, он не был связан с изобразительной деятельностью в нашем понимании: мустьерцы довольствовались символиккой уже «готовых» предметов. Однако предположение о высокой степени ритуализации и/или сакрализации основных сторон жизни и деятельности среднепалеолитических сообществ

становится в таком контексте вполне допустимым и правдоподобным вариантом объяснения их уникальной системной устойчивости и слабой (даже по сравнению с верхним палеолитом) восприимчивости к инновациям.

В этой связи напомним: ритуализация считается в этнологии одной из ведущих форм общественного поведения в первобытную эпоху, имеющей, в частности, и социобиологические корни. «Однако сводить ее к этой основе не следует: ритуализация выступает как генетически обусловленная и культурно преобразованная система социальных сигналов, как форма символической деятельности, обеспечивающая групповое единство, выполняющая необходимые для сохранения общества функции. Ритуалы канализируют разрушительные эмоции, иными словами, нейтрализуют их, направляют в безопасное для общества русло... Ту роль, какую в развитии и закреплении ритуалов играла первоначально генетическая наследственность, в социокультурной ритуализации взяла на себя традиция...» (Кабо, 2002).

Заметим попутно, что пресловутое «единообразие» среднего палеолита подразумевает действие определённых социальных механизмов, изначально блокировавших появление всевозможных «культурных псевдообразований» или «микрорэтносов» в рамках одной или нескольких первобытных общин. Этот феномен можно определить как процесс непрерывной интеграции и распада всё новых и новых неустойчивых общностей, объединяемых сознанием единства по комплексу мелких признаков, противопоставляемого остальному окружению («мы – они»).

Данное явление также имеет социобиологические корни (Лоренц, 1969. С. 51). В этологии его называют «ложным видообразованием». Именно оно лежит в основе взгляда на членов «других «псевдовидов» как не вполне полноценных людей, в противоположность собственной группе, считающей себя настоящими людьми...» (Кабо, 2002). Никакие процессы активного развития (в смысле – изменений) в этнокультурной сфере без него попросту немислимы. С другой стороны, наличие социальных механизмов блокирования данного процесса служит важнейшим фактором поддержания стабильности в обществе. Однако это отдельная большая проблема, которая не вмещается в рамки настоящей статьи.

Заключение

Детальный анализ археологических источников, в контексте палеогеографических, палеозоологических, палеоботанических и геологических данных, произведённый на базе среднепалеолитических стоянок юго-запада Русской равнины, выявил достаточно обширные возможности для социокультурных реконструкций на этом материале. Изыскания в ука-

занном направлении позволяют увидеть хорошо известные памятники под совершенно иным углом, перевести исследование на конкретно-исторический уровень и сделать ряд заключений социально-антропологического порядка.

В целом среднепалеолитическое население юго-запада Русской равнины может рассматриваться как достаточно сложно организованное общество охотников/собирателей, структура которого меняется периодически, в зависимости от сезона года. В рамках географически обособленного района Пруто-Днестровского междуречья выявлены серии стоянок, различных в функциональном отношении (зимние пещерные убежища, летние открытые стоянки в долинах, осенние охотничьи стоянки). Социальные ячейки, в рамках которых шла жизнь и деятельность людей в осенне-зимний период, отличались малыми размерами, на летних стоянках собирались более многочисленные коллективы.

Можно предположить, что по образу жизни и хозяйственной деятельности всё население региона составляло единое целое. Однако в рамках этого целого прослеживаются не очень заметные на поверхностный взгляд различия в технологических традициях и приёмах обработки камня. На этой основе выделяются такие блоки индустрий, как ДСЕ, стоянки леваллуа-мустьерской традиции и очень близкий им региональный микок.

Комплексы признаков, характеризующие указанные традиции, отличаются редкостной стабильностью и устойчивостью, позволяя заключить, что носители этих традиций десятки тысячелетий проживали в данном регионе бок о бок, не заимствуя друг у друга никаких технологических приёмов, но стабильно практикуя свои. Нет оснований говорить о процессах агрессивного или какого-то иного воздействия сообществ друг на друга. Важнейшими их характеристиками являются невосприимчивость к чужому, крайне низкие темпы внедрения инноваций в области технологий камнеобработки и/или направленность микроинноваций в сторону усиления «мустьероидности». Последнее делает весьма проблематичной спонтанную эволюцию этих индустрий в сторону нарастания верхнепалеолитических черт.

Одним из возможных объяснений такого феномена могла бы служить высокая степень ритуализации и/или сакрализации основных сторон жизни и деятельности среднепалеолитических сообществ, а также наличие социальных механизмов, блокирующих возникновение и углубление культурных различий между отдельными группами населения. Есть основания считать, что символическое пове-

дение было присуще этим сообществам, однако их символизм не был связан, как в верхнем палеолите, с развитой изобразительной деятельностью, а довольствовался символикой «готовых» предметов. Несомненно, высшей ценностью таких сообществ и основой их мировоззрения должно было являться именно отсутствие каких бы то ни было перемен.

Полученные выводы перекликаются с результатами социально-антропологических исследований архаичных сообществ охотников/собирателей, полученными во второй половине XX века. В ходе ревизии старых и сбора новых этнографических материалов были обобщены данные о специфических особенностях мировосприятия и ценностной ориентации австралийских аборигенов и ряда наиболее архаичных сообществ Южной Африки. Выяснилось, что указанные особенности способствовали сохранению *крайне низких темпов внедрения инноваций в области технологий*. Но это последнее вполне органично уживалось с высоким уровнем развития индивидуального сознания и речевой коммуникации (McCarthy & McArthur, 1960; Woodburn, 1968; Lee, 1969; Салинз, 1999; Кабо, 2002; Коротаев, 2003; Артёмова, 2008).

Подобная специфика архаичных сообществ охотников/собирателей очень долго оставалась непонятной европейским учёным, искренне считавшим, что без совершенствования технологий немислимо «развитие вообще». Со своей стороны, мы рискуем предположить, что аналогичные особенности были присущи (лишь в куда более выраженной степени) и палеолитическим сообществам.

В настоящее время можно предположить, что палеолит представляет собой в истории человечества совершенно особое явление, не вполне соответствующее хрестоматийным представлениям о «первобытном обществе». Существовавшие тогда социумы не имеют системных аналогов в материалах последующих эпох. Об этом свидетельствует в первую очередь степень их социальной устойчивости и малой восприимчивости к инновациям – абсолютно не сопоставимая даже с эпохой мезолита/неолита, не говоря уже о более поздних периодах.

Последующие эпохи истории человечества не стоит рассматривать однозначно, как прогресс всех сторон человеческого бытия. В действительности развивается и усложняется лишь один аспект культуры – производительные силы (что и выразилось в появлении новых технологий и становлении производящего хозяйства). Однако этот прогресс сопровождался явной деградацией в духовной сфере (искусство) и, видимо, в области социальных отношений (роль личности в коллективе; формы контактов между социумами и т.п.). Во всяком случае, регулярные

военные конфликты прослеживаются в материале, лишь начиная с финала палеолита (Аникович, Тимофеев, 1998; Вишняцкий, 2014). То же касается области взаимоотношений человека и окружающей среды. Возникают очень серьёзные сомнения, что, к примеру, в верхнем палеолите они были более примитивными и хищническими, чем в последующие эпохи (Аникович и др., 2010). Инновации такого рода (то есть не ведущие к добру) в социальной антропологии имеют своё отдельное наименование: «антипрогресс» (Коротаев, 2003. С. 11-13).

В современном историческом познании палеолит есть воистину *terra incognita*: это специфический, уникальный период человеческой истории, сущность которого учёным ещё предстоит осмыслить. Для адекватного его понимания необходимо развитие и углубление методов археологического исследования (кабинетных и полевых), направленных на социокультурный анализ археологических источников.

ЛИТЕРАТУРА

- Аникович М.В. 2011. О личности в эпоху верхнего палеолита // Палеолит и мезолит Восточной Европы. Сборник статей в честь 60-летия Хизри Амирхановича Амирханова / Отв. ред. К.Н. Гаврилов. М.
- Аникович М.В. 2013. Ещё раз о происхождении верхнего палеолита или «критика критической критики» // *Stratum Plus*. 1.
- Аникович М.В., Анисюткин Н.К., Платонова Н.И. 2010. Человек и мамонт в Восточной Европе: подходы и гипотезы // *Stratum Plus*. №1.
- Аникович М.В., Анисюткин Н.К., Платонова Н.И. 2011. Человек и мамонт в палеолите Европы: подходы и гипотезы. Вып. 1. Историография, методология, основные проблемы. СПб (ТКБАЭ. Вып. 6/1).
- Аникович М.В., Платонова Н.И. 2011. Первобытное искусство, аутизм и «полумозглый» кроманьонец (Рец.: Куценков П. А. Психология первобытного и традиционного искусства. М.: Прогресс-Традиция, 2007. 231 с.) // Российский Археологический ежегодник. 2010. Т 1 . С.-Пб.: Universities' Publishing Consortium.
- Аникович М.В., Попов В.В., Платонова Н.И. 2008. Палеолит Костёнковско-Борщёвского района в контексте верхнего палеолита Европы. – СПб. (ТКБАЭ. Вып.1).
- Аникович М.В., Тимофеев В.И. 1998. Вооружение и вооружённые конфликты в каменном веке // Военная археология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе. Материалы Международной конференции 2-5 сентября 1998 г. СПб.
- Анисюткин Н.К. 2001. Мустьерская эпоха на Юго-Западе Русской равнины. СПб.
- Анисюткин Н.К. 2005. Палеолитическая стоянка Стинка 1 и проблема перехода от среднего палеолита к верхнему на Юго-Западе Восточной Европы. СПб. (ТКБАЭ. Вып. 2).

Анисюткин Н.К. 2011. Среднепалеолитическое дуруиторо-стинковское единство на юго-западе Русской равнины // *Stratum Plus*. № 1.

Анисюткин Н.К. 2013. Мустьерская стоянка Кетросы в контексте среднего палеолита Восточной Европы. СПб. (ТКБАЭ. Вып. 7).

Анисюткин Н.К. 2014а. Клювовидные орудия в раннем палеолите Приднестровья // *Археологические вести*. СПб. В печати.

Анисюткин Н.К. 2014б. О специфике трансформации среднего палеолита в верхний на территории Восточного Прикарпатья // *Revista Archeologica*. Кишинёв.

Анисюткин Н.К. 2014в. О некоторых особенностях развития индустрий «восточного микрока» на территории Восточной Европы // *Верхний палеолит Евразии и Северной Америки: памятники, культуры, традиции*. СПб.

Артёмов О.Ю. 2008. Десять лет «первобытности» в постсоветской России // *Этнографическое обозрение*. № 2.

Васильев С.А. 1997. Использование этнографических данных для реконструкции верхнего палеолита в современной археологии // *Развитие культуры в каменном веке. Краткое содержание докладов на Международной конференции, посвященной 100-летию Отдела археологии МАЭ*. СПб. С. 98-100.

Вишняцкий Л.Б. 2010. Неандертальцы: история несостоявшегося человечества. СПб.

Вишняцкий Л.Б. 2014. Вооружённое насилие в палеолите // *Stratum Plus*. №1.

Головнёв А.В. 2009. Антропология движения. Древности Северной Евразии. Екатеринбург.

Деревянко А.П. Маркин С. В. 1992. Мустье Горного Алтая. Новосибирск.

Кабо В. 2002. Круг и крест. Размышления этнолога о первобытной духовности. Канберра.

Коротаев А.В. 2003. Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции. М.

Лоренц К. 1969. Эволюция ритуала в биологической и культурной сферах // *Природа*. №11.

Малиновский Б. 2004. Избранное. Аргонавты западной части Тихого океана. М.

Подоль Р.Я. 2009. Теория исторического процесса в русской историософии 1920 – середины 1930-х гг. – Автореф. дисс. ... докт. филос. наук. М.,

Салинз М. 1999. Экономика каменного века. М.

Семенов С.А. 1957. Первобытная техника. М.-Л.

Семенов С.А. 1959. Экспериментальные исследования первобытной техники // *СА*. № 2.

Федорченко А.Ю. 2014. Этнографические источники в археологической трасологии: возможности междисциплинарного подхода при анализе каменных индустрий севера Дальнего Востока // *Вестник археологии, антропологии и этнографии*. № 1(24).

Щелинский В.Е. 1981. Виды использования каменных орудий из мустьерской стоянки Кетросы // *Кетросы. Мустьерская стоянка на Среднем Днестре*. М.

Lee R. 1969. Kung Bushman Subsistence: An Input-Output Analysis // A. Vayda (ed.). *Environment and Cultural Behavior*. Garden City, N.Y.

Maillo-Fernandez J. M., Garralda M. D., Bernaldo de Quiros F., Sanchez-Fernandez G. 2011. The Middle—Upper Palaeolithic transition in the Cantabrian region (a Mosaic Model) // *Characteristic features of the Middle to Upper Paleolithic transition in Eurasia. Proceedings of the International Symposium “Characteristic features of the Middle to Upper Paleolithic transition in Eurasia: Development of Culture and Evolution of Homo Genus”* (July 4—10, 2011, Denisova Cave, Altai). Novosibirsk.

McCarthy F. D., McArthur M. 1960. The Food Quest and the Time Factor in Aboriginal Economic Life // C.P. Mountford (ed.), *Records of the Australian-American Scientific Expedition to Arnhem Land, Vol. 2: Anthropology and Nutrition*. Melbourne.

Woodburn J. 1968. An Introduction to Hadza Ecology // R. Lee and I. De Vore (eds.), *Man the Hunter*. Chicago.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СА Советская археология, Москва;
ТКБАЭ Труды Костёнковско-Борщевской археологической экспедиции, Санкт-Петербург.

Питулько В.В.¹, Павлова Е.Ю.²
(1-ИИМК РАН, 2-Арктический и Антарктический
научно-исследовательский институт)

ЯНСКАЯ СТОЯНКА: ПЛАНИГРАФИЯ И ОРНАМЕНТЫ «ДИАДЕМ» ИЗ БИВНЯ МАМОНТА

Введение

Из раскопок культурных слоёв палеолитических поселений (стоянок) различных регионов Северной Евразии происходит значительное количество предметов, которые относятся исследователями к свидетельствам символической деятель-

ности людей верхнего палеолита. Заметное место среди них занимают личные украшения, прежде всего бусы или нашивные бисероподобные украшения из бивня мамонта и мелких костей, подвески из зубов животных – хищных и травоядных, но также из камня. Существенно более редкими являются находки так называемых «диадем» - налобных

обручей из бивня мамонта и браслетов из того же материала, встречающихся от Западной Европы и Моравии до Русской равнины и Сибири в памятниках, чей возраст составляет в основном 30,000 – 14,000 лет (см., например: Абрамова, 1962; Абрамова и др., 1997; Шовкопляс, 1965; Abramova, 1995; Gvozdover, 1995; Svoboda et al., 1996; Medvedev, 1998; Taborin, 2004 и др.).

В Сибири подобные изделия, хотя и единичные, известны из стоянок Мальта (Medvedev, 1998), Каменка-А (Лбова, 2000) и Сохатино-4 (Окладников, Кириллов, 1980). Несмотря на некоторую разноречивость датировок, полученных для перечисленных памятников, можно считать, что речь идёт о примерно том же хронологическом интервале, хотя его нижняя граница может быть и несколько более древней, достигая в стоянке Каменка-А 40,000 – 36,000 л. н. (Лбова, 2000). Редчайшей находкой такого рода (и, видимо, древнейшей из них) является каменный браслет из Денисовой пещеры, относящийся к начальному этапу местного верхнего палеолита (Деревянко и др., 2008).

В большинстве своём сибирские материалы, относящиеся к сфере символического поведения палеолитического человека, известны на юге региона и долгое время ассоциировались фактически исключительно с находками из Мальты и Бурети. Согласно последней по времени краткой сводке (Medvedev, 1998), их общее количество незначительно превышало 600 предметов. В хронологическом плане большинство предметов искусства принадлежит памятникам, существовавшим после последнего ледникового максимума, однако стоит отметить, что наиболее развитый и разнообразный мальтинско-буретский комплекс предметов искусства относится к началу сартанского криохрона. К тому же времени (22,000 – 21,000 л. н.) относятся и памятники Русской равнины, характеризующиеся расцветом творческой деятельности (Абрамова, 1962; Abramova, 1995).

За последнее десятилетие количество сибирских стоянок, в материалах которых представлены неутилитарные предметы, несколько увеличилось. В основном это памятники, характеризующие ранний верхний палеолит, в том числе его начальные этапы. Древнейший в Сибири комплекс со следами проявления символической деятельности имеет возраст 43300 ± 1800 ^{14}C л. н. (GX-17596) – стоянка Кара-Бом, уровень 5. Наиболее многочисленный из них (31 неутилитарный предмет) происходит из слоя 11 Денисовой пещеры с возрастом $>37\,235$ ^{14}C л. н. (Деревянко, Рыбин, 2003). Так или иначе, подавляющее большинство сибирских находок, связанных с символической деятельностью человека раннего верхнего палеолита, известно из южной

части центральной Сибири и Забайкалья – стоянки Хотык, Каменка, Подзвонкая и др. (Лбова, 2000; Деревянко, Рыбин, 2003; Ташак, 2009).

За пределами этой области до начала работ на Янской стоянке (Pitulko et al., 2004) такие находки были известны лишь из позднейших памятников верхнего палеолита – Ушки I, слой 6 и 7 на Камчатке (Диков, 1977; Диков, 1979), из недатированного нижнего комплекса стоянки Хета в Верхнем Приколывье, предположительно имеющего финально-плейстоценовый возраст (Слободин, 1999) и из Берелёхского геоархеологического комплекса в бассейне Нижней Индигирки (Pitulko, 2011). Результаты исследований Янской стоянки, расположенной в нижнем течении р. Яна на севере Яно-Индигирской низменности под 71° с. ш. (Рис. 1), существенно расширяют этот краткий список как в качественном, так и в количественном отношении (Питулько, 2012; Питулько и др., 2012б; Питулько, 2014).

Общая характеристика материалов Янской стоянки

Коллекция украшений Янской стоянки, рассматриваемая в настоящей работе, происходит из раскопок в пункте Северном, являющемся одним из компонентов пространственной структуры памятника (Питулько, Павлова, 2010; Pitulko et al., 2013). Необходимо напомнить, что культурный слой вмещают многолетнемёрзлые отложения II надпойменной террасы р. Яны. Его возраст определён в интервале 28,500 – 27,000 л. н. серийными ^{14}C датами (Рис. 1), полученными по фаунистическим остаткам, прямым датированием органических артефактов и очажных масс, и контролируется датами подстилающих и перекрывающих отложений (Питулько, Павлова, 2010; Pitulko et al., 2013). На участке стоянки, исследованном в пункте Северный, вскрыто сплошным раскопом и изучено около 2500 м² культурного слоя. Из этого участка происходит вся рассматриваемая ниже коллекция предметов декоративно-прикладного искусства (Рис. 2).

Культурный слой Янской стоянки, залегающий практически с момента его формирования в многолетнемёрзлых условиях, обязан им разобщённостью единой прежде древней обитаемой поверхности на различные по конфигурации и площади полигоны (Рис. 3), образованные вследствие роста повторно-жильных льдов. Ширина жил варьирует по разрезу, а на уровне культурного слоя составляет 2-3 м.

Культурный материал в пределах таких полигонов полностью сохраняет состояние *in situ*, за исключением криогенных деформаций в краевых зонах (Питулько, 2008; Питулько и др., 2011). На Янской

стоянке центральные области грунтовых столбов полностью сохраняют изначальное положение, археологический материал и планиграфию. Как было установлено по материалам Жоховской стоянки, даже в случае существенной переработки культурных отложений в результате термоденудации, изначальные черты планиграфии памятника читаемы, и в них можно видеть отпечаток действий и поведения древнего человека (Питулько и др., 2012а; Питулько и др., 2013). Таким образом, для Янской стоянки, имеющей полностью сохранившийся культурный слой, с высокой степенью вероятности можно ожидать раскрытие смысла планиграфического рисунка памятника.

Здесь получена наиболее значительная по объёму и разнообразию среди сибирских памятников верхнего палеолита и одна из наиболее значительных в Северной Евразии коллекция предметов, отражающих различные проявления символической деятельности палеолитического человека в эпоху, предшествующую последнему ледниковому максимуму. Раскопки, проведённые в 2002-2013 гг. в пункте Северный, доставили как массовые (тысячи предметов), так и уникальные (единичные) находки (Pitulko et al., 2013). Помимо данных категорий, мы выделяем также серийные формы, представленные десятками или первыми сотнями экземпляров. К массовым типам изделий относятся, без сомнения, бусы из бивня и кости (Питулько и др., 2014) и подвески из зубов животных, преимущественно копытных (Питулько и др., 2012в). Категорию уникальных предметов составляют фрагменты двух орнаментированных сосудов из бивня мамонта и один целый сосуд, подвески из камня и янтаря, орнаментированные кости и небольшой фрагмент бивня мамонта с сюжетной гравировкой (Питулько и др., 2012б; Pitulko et al., 2012).

К серийным изделиям отнесены схематизированные зооморфные скульптурные изображения из оснований сброшенных рогов северного оленя (Питулько, 2012), а также украшенные орнаментом изделия из пластинок бивня мамонта с отверстиями на концах, которые, наряду с бусами и подвесками, составляют категорию личных украшений. Целые (или археологически целые) предметы единичны, в большинстве случаев эти изделия представлены фрагментами – как концевыми, так и медиальными, а также заготовками.

Подобные изделия принято называть налобными обручами или диадемами, закреплявшимися на голове с помощью ремешка или волосяной верёвочки, продетой в концевые отверстия. Идентифицировать их впервые удалось, как пишет З.А. Абрамова (Абрамова, 1962), благодаря мальтинским находкам М.М. Герасимова (1931). Как правило, это относи-

тельно узкие плосковыпуклые пластинки из бивня мамонта с параллельными краями, на лицевую (выпуклую) сторону которых нанесён орнамент. Отдельные предметы имеют более сложные очертания в плане, с расширением в средней части. Чаще всего эти изделия находят в обломках, и в этом состоянии облик целого предмета и, что важно, его размер не всегда могут быть уверенно реконструированы. Как справедливо указывала З.А. Абрамова (Абрамова, 1962), среди фрагментов могут быть и фрагменты нашивных украшений (нагрудных пластин), и фрагменты браслетов, тем более, что известно, благодаря находкам из Мезени и Сунгирия, о существовании сложносоставных браслетов, состоящих из тонких орнаментированных полосок бивня мамонта (Шовкопляс, 1965; Бадер, 1998).

Таким образом, за данным термином могут скрываться три категории украшений, во фрагментарном состоянии неразличимых. Помимо этого, как было установлено О.Н. Бадером (Бадер, 1998. С. 90-93. Табл. 18), в результате внимательного изучения топографии находок различных украшений в Сунгирских захоронениях, близкие по форме, размеру и конструкции изделия могли участвовать в композициях из бус, украшавших головной убор, плечи и ноги погребенного. Можно предположить, что подобные пластинки, достаточно длинные и с отверстиями на обоих концах изделий, были технологически необходимы и могли служить своеобразным замком, будучи одновременно частью композиции. Следовательно, мы можем рассматривать все имеющиеся плосковыпуклые линейные предметы, изготовленные из пластинок бивня мамонта, как диадемы, тем более, что функциональное различие (для всех перечисленных выше случаев) представляется принципиальным.

Диадемы

Находки диадем в Янской стоянке весьма многочисленны (Табл. 1). В общей сложности встречено 248 предметов, отнесённых к данной категории, включая заготовки и незавершённые изделия. Целых или почти целых изделий среди них немного (Рис. 4), в основном это фрагменты различного размера, которые в некоторых случаях монтируются в единый относительно крупный фрагмент предмета. Готовые предметы и их фрагменты, будучи довольно разнообразными, имеют, тем не менее, ряд общих главных характеристик, в их числе мы отмечаем заполировку обеих сторон, наличие или отсутствие орнамента, наличие отверстий. Заготовки и их фрагменты отличаются от завершённых изделий отсутствием заполировки и орнамента, а на их

поверхности заметны характерные свидетельства обработки в виде следов резания, строгания, под-резки; в случае окончания изделия сломом – место слома не имеет обработки.

На поверхности готовых изделий, помимо намеренно нанесённых штрихов, линий, точек, образующих орнаменты, встречаются различные по протяжённости и конфигурации углубления, чаще всего криволинейные. Они представляют собой результат деятельности микроорганизмов и корневой системы

растений в период относительно краткосрочного пребывания предметов в области деятельного горизонта и образуют палимпсест, в котором легко различить искусственные линии – они нанесены первыми и перекрываются следами корневой системы; кроме того, следы корешков и микроорганизмов имеют овальное дно и скругленные окончания. Иногда такие «рисунки» могут выглядеть почти осмысленно и, бывает, их интерпретируют в качестве намеренных изображений (см., например, Окладников, Кириллов, 1980).

Таблица 1. Пространственное распространение фрагментов диадем в пределах раскопа Северный Янской стоянки.

Байджарах	Целая диадема	Почти целая диадема	Фрагмент концевой части	Медиальный фрагмент	Фрагмент заготовки	Всего
Бесовский			2	1		3
Шахтерский			3	2	2	7
Нижнеручейный		1	8	21		30
Ручейный			5	12		17
Большой Ручейный		2	34	38	10	84
Малый Ручейный				2		2
Пионерский			1			1
Пионерский 1			6	1		7
Пионерский 2			2			2
Торфяной			3	4		7
Восточный			1	3	1	5
Центральный		1	6	4		11
Центральный 1			1	3		4
Центральный 2	1		3	3		7
Центральный 3			3	4		7
Учительский			3	5		8
Учительский 1			1	2		3
Большой 1		1	2	5		8
Большой 2			3			3
Большой 3			2	1		3
Крайний			3	1		4
Крайний 1			1	7	1	9
Крайний 2			1			1
Дальний			2	4		6
Подъемный материал						
Область 4A27-4G28			3			3
Область 4J19-4R26			3	3		6
Общее число	1	5	102	126	14	248

При работе с коллекцией предметы были классифицированы по их целостности, далее были выделены группы специфических фрагментов, определены метрические параметры предметов. Подавляющее большинство предметов имеет на лицевой стороне орнамент. Орнаменты были классифицированы на основании разнообразия и статистики повторяемости элементов. Результаты наблюдений составляют основу для анализа пространственного распространения предметов.

Необходимо отметить, что и в таблицах, и на рисунках находки диадем, их фрагментов, различных заготовок и незавершённых изделий сгруппированы по участкам раскопанной площади (полигонам/байджарахам), а в двух случаях использовано понятие «область 4A27-4G28» и «область 4J19-4R26». Данные участки обрушились в 2007 г. в результате высокого внутрисезонного летнего паводка, но материал удалось впоследствии спасти из сохранившихся блоков

культурного слоя, захороненных в отложениях прирусловой отмели влекомыми наносами современной реки. Прочие полигоны – именные. Это позволяет избежать избыточной сейчас дробности представления материала. Подчеркнём особо, что выбор размера участка и его конфигурация никак не связаны с прошлым или настоящим действием человеческого фактора, т.е. является случайным.

В той или иной степени находки этих изделий представлены по всей площади раскопа (Табл. 1; Рис. 2, 3). Однако помимо участков, на которых в значительном количестве представлены законченные изделия (Рис. 3), выделяется площадь, связанная с их производством. В этом качестве выступает байджарах (полигон) Большой Ручейный, для которого характерна невероятно высокая плотность находок этих изделий – треть от общего их числа от найденных на участке Северный за все годы работ. Здесь же встречено наибольшее число заготовок (N=10) и предметов без орнамента (N=31), которые мы рассматриваем в качестве незавершённых поделок.

Таблица 2. Метрические показатели диадем Янской стоянки (целые и почти целые предметы).

Параметр	Общее число	Длина (мм) для (¹): мин/ср/макс	Ширина концевой части (мм) для (¹): мин/ср/макс	Ширина медиальной части (мм) для (¹): мин/ср/макс	Толщина концевой части (мм) для (¹): мин/ср/макс	Толщина медиальной части (мм) для (¹): мин/ср/макс
Целая диадема	1	262	5,8/5,9	7,2	1,6/1	3,6
Почти целая диадема ¹	5	113/133,6/157	3,8/5,9/7,5	6,1/7,8/9,8	0,5/0,9/1,7	0,8/1,4/1,9

В коллекции представлено 102 фрагмента концевой части диадем, из них 98 предметов имеют отверстия, среди которых 34 обломлено. В подавляющем большинстве фрагменты концевой части диадем имеют одно отверстие и только у трёх предметов имеется по два отверстия на одном конце. Девять предметов имеют следы переделки в виде пересверленных отверстий. У двух концевых фрагментов вместо отверстий отмечаются зарубки.

Фрагменты диадем разнообразны по размерным характеристикам. При их обилии (N=228) это позволяет достаточно уверенно определить средние значения для целых изделий (кроме длины). Таким образом, можно предполагать, что ширина изделий в средней части изменялась в пределах 3,1 – 23,8 мм, толщина – в пределах 0,4 – 1 мм (по всей длине изделия).

В технологическом отношении производство диадем было довольно простым. Основная заготовка в виде длинной пластины/щепки сни-

Определение метрических показателей изделий (Рис. 5) включало в себя замеры длины диадем и их фрагментов, замеры ширины и толщины в концевых и медиальных частях для целых и почти целых предметов, замеры ширины и толщины в концевых частях и месте слома для концевых обломков диадем, замеры ширины и толщины в местах слома для медиальных фрагментов (Табл. 2, 3), замеры параметров отверстий при их наличии. Следует сразу отметить, что среди диадем и их фрагментов имеются изделия различных размерных классов, грубо их можно определить как крупные, средние и мелкие. Вероятно, разница в размерах подразумевает наличие «взрослых» и «детских» предметов.

Единственное полное изделие имеет длину 262 мм (Рис. 4). Видимо, к тому же размерному классу, судя по имеющимся крупным фрагментам с максимальным размером до 142,5 мм (Табл. 3), принадлежат и некоторые другие предметы, представленные фрагментами, соответствующими примерно половине целого изделия. Однако есть и небольшие, в значительной степени полностью сохранившиеся, предметы (Табл. 2).

малась с бивня в продольном направлении ударом или расслоением. Её получали из материала, образующего тело бивня (дентина) после обязательного удаления участков его внешней поверхности – цемента, твёрдость которого, достигающая, по Верещагину и Тихонову (Верещагин, Тихонов, 1986), ~3-4 единиц по шкале твёрдости минералов, затрудняла дальнейшую обработку предмета и особенно нанесение орнамента на его поверхность.

Дальнейшая обработка выполнялась строгаанием и резанием с созданием конечной формы предмета – плосковыпуклой пластины, в идеальном случае с параллельными краями и скруглёнными оконечностями. Этап создания готовой формы завершался тщательной абразивной обработкой для удаления разнообразных неровностей, возникающих, в том числе благодаря специфической структуре материала, в особенности занозистой фактуры, и полировкой поверхности.

Таблица 3. Метрические показатели фрагментов диадем Янской стоянки.

Предмет Параметр	Общее число	Среднее	Минималь- ное	Максималь- ное
Фрагмент концевой части	102			
Длина (мм)		50,8	3	142,5
Ширина концевой части (мм)		16,6	2,7	6,3
Ширина в месте слома (мм)		7,8	3	23,8
Толщина концевой части (мм)		1,1	0,4	2,6
Толщина в месте слома (мм)		1,2	0,25	2,9
Медиальный фрагмент	126			
Длина (мм)		40	11,4	149,5
Ширина в месте слома ближе к концевой части (мм)		7,3	3	17,7
Ширина в месте слома ближе к средней части (мм)		7,9	3,1	18,6
Толщина в концевой части (мм)		1,3	0,4	2,6
Толщина в месте слома ближе к средней части (мм)		1,5	0,1	2,6
Фрагмент заготовки	14			
Длина (мм)		113,8	40	249
Ширина концевой части (мм)		6,6	4,4	11,7
Ширина медиальной части (мм)		8	6,1	11
Толщина концевой части (мм)		1	0,4	1,9
Толщина медиальной части (мм)		1,6	0,9	2,8

Выполнение концевых отверстий и нанесение орнамента выполнялись на заключительном этапе. Орнамент часто наносили нарезкой, гравировкой или прочерчиванием, однако в ряде случаев применялся существенно более сложный способ, состоящий в нанесении каким-то острым инструментом точечных наколов, которые, будучи расположены близко друг к другу, образуют штрихи, напоминающие гребенчатый керамический штамп; если они располагаются относительно редко, их соединяет прочерченная линия, формирующая штрих.

На этом же этапе высверливались односторонним, или чаще биконическим сверлением, отверстия в концевых участках изделий. Сверление отверстий осуществлялось либо с внешней стороны диадемы, либо с внутренней стороны, либо с той, и с другой навстречу друг другу. На заключительном этапе выполнялась окончательная шлифовка/полировка изделия, которой устранялись последствия выполнения орнамента, заусенцы и выбоины. В отличие от бус (Питулько и др., 2014), готовые изделия не прокрашивались, хотя некоторые из них и имеют следы красителя красного цвета, попавшего на них во время пребывания предметов в культурном слое стоянки.

Возможно, в процессе носки этих украшений они натирались каким-то жиром. Такие действия

вели не только к улучшению внешнего вида изделия, но и служили способом продления его срока службы, совместно с чистовой обработкой поверхности, в результате которой создавался преобразованный слой вещества бивня, консервирующий изделие и предохраняющий его от растрескивания, неизбежного вследствие природы материала. Следует отметить, что образовавшаяся в результате обработки поверхности корочка может отслаиваться от предметов, сохраняя при этом их очертания и нанесённый на поверхность орнамент. Использование этих приемов свидетельствует, на наш взгляд, о глубоком знании свойств материала, характерном для обитателей Янской стоянки.

Технология выполнения отверстий на янских диадемах была довольно своеобразной. С целью её реконструкции были определены и проанализированы метрические показатели отверстий (Табл. 4). Программа промеров включала в себя измерение нескольких параметров: диаметра отверстия, просверленного с внешней стороны диадемы (1), диаметра отверстия, просверленного с внутренней стороны диадемы (2), диаметра внутреннего отверстия (3). Всего отмечено 68 случаев биконического сверления, 18 предметов с отверстиями, сделанными сверлением с внешней стороны диадемы, и 7 фрагментов с отверстиями, просверленными с внутренней стороны диадемы.

Сверление отверстий (или, скорее, их развёртка) выполнялось, по-видимому, углом подходящего по форме отщепа/осколка камня. Никаких инструментов специфической фор-

мы, предполагающей использование орудия для этой цели, в коллекции каменных изделий Янской стоянки не встречается (Pitulko et al., 2013).

Таблица 4. Метрические показатели отверстий диadem Янской стоянки.

Параметр	Общее число	Среднее	Минимальное	Максимальное
Диаметр отверстия, просверленного с внешней стороны диadемы (мм)	87	3,5	2,2	6,5
Диаметр отверстия, просверленного с внутренней стороны диadемы (мм)	75	3,4	1,3	5
Диаметр внутреннего отверстия (мм)	98	2,2	1,2	4,3

Гистограммы распределения диаметров отверстий показывают число находок с диаметрами отверстий, просверленными с внешней стороны диadемы (Рис. 6: 1), большинство которых имеет диаметр 2-3 мм и 3-4 мм, и число находок с диаметрами отверстий, просверленными с внутренней стороны диadемы (Рис. 6: 2), большинство которых лежит в интервале 2,5-4 мм. Гистограмма диаметров внутренних отверстий отражает нормальное распределение числа находок с диаметром внутреннего отверстия в интервале 1-4,5 мм с максимумом 1,5-2,5 мм (Рис. 6: 3). Размеры внутренних отверстий позволяют судить о толщине завязки (ремешка, жилки, нитки), которую пропускали через отверстие и использовали для закрепления диadемы на голове.

Для случаев биконического сверления гистограмма разности значений диаметра отверстия, просверленного с внешней стороны диadемы, и диаметра отверстия, просверленного с внутренней стороны диadемы (Рис. 6: 4), показывает заметный сдвиг числа находок с биконическим сверлением в отрицательную область. Это наглядно демонстрирует тот факт, что при производстве отверстий сверление предпочитали начинать с внутренней стороны диadемы, в результате чего формировалось достаточно широкое и глубокое конусообразное углубление, и завершали оформление отверстия сверлением с внешней стороны предмета. Данное предпочтение, вероятно, связано с тем, что это позволяет скрыть на внутренней стороне изделия узелки, завязанные на конце ремешка или волосяной верёвочки, пропущенной через отверстие.

Коллекция диadem характеризуется заметным разнообразием орнаментов, которые имеют определённую повторяемость. На основании статистики наблюдений сформирована классификационная таблица орнаментов диadem, охватывающая все их разнообразие (Рис. 7), проведен анализ встречаемости орнаментов (Табл. 5) и пространственного рас-

пространения типов орнамента в пределах раскопа (Табл. 6; Рис. 3). Диadемы и их фрагменты по наличию (или отсутствию) орнамента подразделяются на 9 типов, определяющими признаками для которых являются число, расположение, графическое исполнение и конфигурация линий орнамента.

Для каждого типа выделены группы орнаментов с особыми характерными признаками в рамках отдельной группы. Орнамент состоит из штрихов и точек, расположенных линейно, параллельных краю, часто по продольной оси предмета (Рис. 8). Значительно реже встречается линейно-волнистое расположение узора, а также орнамент из поперечных линий, прочерченных или составленных из близко расположенных наколов. В отдельных случаях имеются сложные геометрические композиции, образованные из прямоугольников. Штрихи, составляющие орнамент, нанесены гравировкой или прочерчиванием, или же образованы нанесенными рядом наколами. Встречаются также орнаменты из разреженных точек. Специфическим элементом орнамента являются фигуры, выполненные в виде литеры «А». Это, очевидно, антропоморфный символ, в редких случаях ограничивающий орнаментальное поле. В качестве такого ограничителя могут выступать также парные поперечные линии, прямоугольники и иные знаки (Рис. 9, 10).

Легко видеть, что в количественном отношении выделенные типы орнаментов и/или их группы, составляющие тот или иной тип, далеко не равнозначны. Группировки предметов, отнесённых к типам 1 и 2, исключительно многочисленны в сравнении с прочими. Полная повторяемость рисунка вообще встречается довольно редко (Табл. 5). В отношении орнаментов, отнесённых к типам 4 – 8, можно отметить, что эти изделия в значительной степени индивидуальны. В ряде случаев орнаментация предметов способствует выявлению их подлинного количества в пределах раскопанной части памятника.

Таблица 5. Встречаемость типов орнаментов и количество отдельных (самостоятельных, уникальных) предметов в коллекции диадем Янской стоянки.

Тип	Число орнаментов	Число совпадений	Число отдельных самостоятельных предметов
0	60	0	60
1	91	6	85
2	27	0	27
3	12	3	9
4	19	1	18
5	9	3	6
6	8	1	7
7	13	1	12
8	9	0	9
Всего	248	15	233

Таблица 6. Пространственное распространение типов орнамента фрагментов диадем в пределах раскопа Северный Янской стоянки.

	Тип 0	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Тип 4	Тип 5	Тип 6	Тип 7	Тип 8	Общее число
Байджарах										
Бесовский	1				1			1		3
Шахтерский	1	4	1					1		7
Нижнеручейный	7	9	6	4		2	2			30
Ручейный	5	11	1							17
Большой Ручейный	31	23	9		4	6	5	3	3	84
Малый Ручейный		1	1							2
Пионерский	1									1
Пионерский 1		4	1		1			1		7
Пионерский 2	1	1								2
Торфяной	1	5	1							7
Восточный	1	2			2					5
Центральный	1	5		1	2			2		11
Центральный 1		1		2	1					4
Центральный 2		4	1	1	1					7
Центральный 3	2	2			1				2	7
Учительский	1	3	2		2					8
Учительский 1			2	1						3
Большой 1		6						1	1	8
Большой 2	2							1		3
Большой 3	1						1	1		3
Крайний		1		2	1					4
Крайний 1	1	6			2					9
Крайний 2								1		1
Дальний	1	2	1			1		1		6
Подъемный материал										
Область 4A27-4G28			1						2	3
Область 4J19-4R26	2	1		1	1				1	6
Общее число	60	91	27	12	19	9	8	13	9	248

Тип 0 включает в себя заготовки диадем, их фрагменты и фрагменты готовых диадем без орнамента (N=60). Из 60 предметов, относящихся к данному типу (Табл. 5, 6), четырнадцать изделий определяются как заготовки и их фрагменты; ещё 46 предметов – фрагменты готовых диадем без орнамента (сломанные в процессе производства или

же никогда его не имевшие). В пространственном отношении данные изделия локализируются в пределах полигона Большой Ручейный (Рис. 3), что, совместно с иными материалами, происходящими из этого участка, позволяет интерпретировать находки в качестве свидетельства производства диадем в его пределах.

Наиболее распространенная орнаментация – это самый простой орнамент типа 1 (N=91). Определяющий признак орнамента типа 1 – одна линия орнамента, расположенная по центральной продольной оси диадемы (Рис. 7; Рис. 8). Тип 1 подразделяется на 4 группы, в каждой из которых линия орнамента образована: точками (группа 1.1), перпендикулярными осевой линии (вертикальными) или наклонными штрихами (группа 1.2), горизонтальными штрихами (группа 1.3), сдвоенными точками или сочетанием сдвоенных точек с наклонными штрихами (группа 1.4). К типу 1 отнесен 91 фрагмент диадем (табл. 5, 6), часть из которых являются фрагментами одной и той же вещи. Всего идентифицируется 85 отдельных диадем с орнаментом типа 1.

Тип 2 (N=27) характеризуется одной линией орнамента, расположенной вдоль одного продольного края диадемы. Варианты оформления немногочисленны. Линия может быть образована единичными точками (группа 2.1), сдвоенными точками (группа 2.2), короткими вертикальными или наклонными к краю диадемы штрихами (группа 2.3). Коллекция диадем содержит фрагменты 27 вещей, украшенных орнаментами 2 типа (Табл. 5, 6; Рис. 7, 8).

К типу 3 (N=12), основным признаком которого является организация элементов орнамента в одной волнистой линии, относятся четыре группы изделий, рисунок которых несколько различен. Так, в группе 3.1 волнистая линия образована точками, а в группе 3.2 – вертикальными и субвертикальными короткими штрихами, тогда как в группе 3.3 её образует комбинация точек и вертикальных коротких штрихов. В орнаменте группы 3.4 использованы вертикальные и горизонтальные штрихи. Всего найдено 12 фрагментов диадем с орнаментом типа 3 (Табл. 5, 6; Рис. 7, 8), среди которых 4 фрагмента принадлежат одной вещи. Таким образом, на основании анализа элементов орнаментов уверенно определены 9 отдельных вещей, украшенных орнаментом типа 3.

Орнамент типа 4 (N=19) образован проходящими по краям вдоль продольной оси диадемы двумя линиями (Рис. 7; Рис. 9), которые образованы различными элементами: точками (группа 4.1) вертикальными, субвертикальными и наклонными штрихами (группа 4.2). В группе 4.3 одна линия образована вертикальными штрихами, вторая – горизонтальными. Вариант этого рисунка представлен в группе 4.4, где одну линию образуют вертикальные штрихи, а вторую – строенные точки. В группе 4.5 одна линия образована точками, вторая – горизонтальными штрихами. Всего в коллекции 19 фрагментов с орнаментом типа 4, среди которых 2 фрагмента являются частями одного предмета. Соответственно количество от-

дельных вещей с орнаментом типа 4 составляет 18 изделий (Табл. 5, 6).

Орнаменты, отнесённые к типу 5 (N=9), образованы тремя линиями элементов, среди которых имеются две одинаковых линии по краям диадемы и одна отличительная линия по центральной продольной оси (Рис. 7; Рис. 9). В группе 5.1 обе линии по краям образованы вертикальными короткими штрихами, а средняя линия – горизонтальными штрихами, нанесенными по продольной оси диадемы. В группе 5.2 краевые линии имеют тот же рисунок, что и в предыдущей группе, а средняя линия выполнена точками. В группе 5.3 линии по краям представляют собой пунктир, выполненный горизонтальными штрихами, а средняя линия сформирована короткими вертикальными штрихами. Коллекция содержит 9 фрагментов диадем с орнаментом типа 5 (Табл. 5, 6), часть из них монтируются в одну вещь. Всего уверенно идентифицированы 6 отдельных предметов.

Тип 6 (N=8) выделяется по ориентации линий орнамента перпендикулярно или наклонно продольной осевой линии диадемы (Рис. 7; Рис. 9). Линии нанесены от края до края предмета. В группе 6.1 параллельные регулярные линии образованы точками или очень короткими штрихами и ориентированы перпендикулярно продольной оси. В группе 6.2 параллельные регулярные линии образованы пунктиром штрихов, выполненных набивкой точками, и ориентированы наклонно к продольной оси диадемы. В группе 6.3 наклонные к продольной оси повторяющиеся пары или тройки линий тонко прочерчены от края до края. В группе 6.4 отдельные прочерченные пары линий перпендикулярны оси диадемы. В группе 6.5 наклонные линии, нанесенные пунктиром от края до края, образуют орнамент в виде зигзага. В коллекции имеется 8 фрагментов с орнаментом типа 6 (Табл. 5, 6), два из которых принадлежат одному предмету. Соответственно, уверенно идентифицируются 7 отдельных предметов с орнаментом типа 6.

Диадемы и их фрагменты, характеризующиеся орнаментами от типа 0 до типа 6, довольно многочисленны. Помимо перечисленных, нами выделено два типа оригинальной (своеобразной) сложной орнаментации, подразделенные на тип 7 и тип 8 (Рис. 7; Рис. 9; Табл. 5, 6). К типу 7 (N=13) относятся сложно-скомбинированные, регулярные геометрические орнаменты, в типе 8 (N=9) представлены сложные нерегулярные орнаменты. Предметы, относящиеся к группам этих двух типов, за редким исключением, единичны и уникальны. Коллекция содержит 13 фрагментов с орнаментом типа 7, среди которых два являются частями одного предмета, а остальные – фрагментами отдельных уникальных

диадем. Орнамент типа 8 представлен девятью фрагментами различных предметов.

Если рассматривать коллекцию диадем в целом, то можно говорить о 173 отдельных орнаментированных предметах, 46 предметах без орнамента, 14 заготовках (и их фрагментах) для производства диадем. В коллекции находится одна абсолютно целая диадема и 5 практически целых диадемы, у которых отсутствует один из концов небольшой длины. Таким образом, в коллекции Янской стоянки идентифицировано 219 отдельных самостоятельных объектов (налобных обручей, диадем) и 14 заготовок для их производства.

Планиграфия диадем весьма интересна (Рис. 3). Примерно половина находок рассеяна в пределах изученной площади достаточно равномерно в центральной и южной части раскопа на пункте Северном Янской стоянки. В отдельных случаях можно говорить о том, что находки диадем в определённой степени тяготеют к участкам с очагами (например, в байджарах Пионерском-1, Центральном, Шахтёрском и некоторых других), однако действительно больших концентраций они не образуют и в этих случаях.

В то же время отчётливо заметна необыкновенно высокая концентрация таких находок в северной части раскопа, в пределах полигонов Нижнеручейный, Ручейный, Большой Ручейный (Рис. 3; Табл. 6). Для одного из них (байджарах Большой Ручейный) установлено наличие участка/мастерской, где осуществлялось производство этих предметов. Здесь найден 31 экз. изделий, отнесённых к типу 0 (N=60), который объединяет заготовки, незавершённые изделия и их фрагменты.

На этих полигонах особенно многочисленны находки диадем типа 1. Так, на Нижнеручейном изделий этого типа встречено 9 шт., на Ручейном – 11, на Большом Ручейном – 23 шт. (Табл. 6), т.е. около половины всех подобных изделий, найденных при раскопках (N=91). Аналогичным образом распределяются в пределах этих полигонов изделия типа 2, с той лишь разницей, что их вообще встречено существенно меньше (N=27). Интересно, что лишь немногие участки (полигоны Большой Ручейный и Ручейный) охарактеризованы диадемами определённых типов (типы 5 и 6), при этом предметы с такими орнаментами вообще малочисленны (Табл. 6).

Весьма интересны случаи обнаружения фрагментов орнаментированных изделий, которые монтируются в единый предмет. Таких случаев одиннадцать (Рис. 3), и среди них имеются сборки, принадлежащие к различным типам – 1.1 (1 шт.), 1.2 (3 шт.), 3.3 (1 шт.), 4.2 (1 шт.), 5.1 (2 шт.), 6.3 (1 шт.), 7.5 (1 шт.). Чаще всего это находки из соседних или близкорасположенных квадратов (рис. 3),

однако в нескольких случаях фрагменты одного и того же предмета встречаются на противоположных краях раскопа. Таковы изделия из квадратов 2М42 и 4А38 (тип 1.2, 2 фрагмента), четыре фрагмента из квадратов 2G36, 2J35, 2K36 и R58 (тип 3.3), три фрагмента из квадратов 2N51, X54, 4I16 (тип 5.1). Подобное распределение фрагментов, принадлежащих одному изделию, обычно рассматривают в качестве доказательства одновременности обитания на тех участках поверхности, где они встречены.

Однако наиболее интересной чертой планиграфии находок диадем является отмеченная выше необычно высокая концентрация диадем типов 1 и 2 в пределах полигонов северной области раскопа (Рис. 3). Фактически же максимальная концентрация этих находок приходится на байджарах Большой Ручейный (табл. 6), где имеются и находки других типов – всех, кроме типа 3. Среди законченных предметов, найденных здесь, изделия типов 1 и 2 составляют более половины находок.

Обсуждение материала и выводы

В результате раскопок на пункте Северный Янской стоянки получена наиболее объёмная коллекция диадем и браслетов, которая впервые позволяет провести их сравнительный анализ и реконструировать технологию их производства. Бытование данной категории личных украшений было широким во времени и пространстве. В сибирских памятниках они представлены уже около 40,000 л.н. (Деревянко и др., 2008; Лбова, 2000). Интересно, однако, что на памятниках, например, Русской равнины они в целом немногочисленны, и дело здесь, видимо, не в тафономии, поскольку в тех же памятниках сохранились прекрасные изделия из бивня, достаточно многочисленные.

Сравнение янских находок с прочими известными в Северной Евразии находками диадем (Абрамова, 1962; Елинек, 1982; Abramova, 1995; Gvozdover, 1995; Taborin, 2004 и др.) показывает, что наиболее близкими им технологически и стилистически являются несколько более молодые изделия из Мальты (Medvedev, 1998) и Сохатино-4 (Окладников, Кириллов, 1980); возраст обоих памятников надёжно не установлен, но, по-видимому, может быть уверенно оценён – около 20,000 л. н.

Сходство технологий производства диадем и браслетов, широко проявляющееся во времени и пространстве, к сожалению, вряд ли может послужить основанием для формулировки выводов культурно-исторического характера. Так, технологические стратегии, использовавшиеся для производства бус, за исключением редких случаев, совпадают безотно-

сительно времени и пространства (Питулько и др., 2014), однако же сами изделия оказываются территориально и/или хронологически специфичными.

Для производства диадем, скорее всего, во всех случаях также использовалась идеальная, с точки зрения трудозатрат и результата, последовательность операций, в которой были некие обязательные шаги – например, освобождение поверхности бивня от цементного слоя (на Яне, в Авдеево, Костёнках и Мальте). В технологическом смысле важным, как представляется, могут быть различия в исполнении отверстий на диадемах и способе их крепления на голове. Так, янские изделия крайне редко имеют вместо отверстий зарубки (только два предмета из 102 фрагментов концевых частей диадем). Возможно, они просто представляют собой вариант быстрого восстановления предмета в результате поломки. Все остальные – имеют сверлёные отверстия, чаще всего по одному, в некоторых случаях можно говорить о пересверливании/обновлении изделия.

Таким образом, в янской коллекции сверление, как технический приём оформления отверстий, имеет высокую повторяемость не только в производстве бус и подвесок из зубов животных (Питулько и др., 2012в; Питулько, 2014), но и в производстве диадем. В Авдеево (Абрамова, 1962; Gvozdover, 1995) отверстия в диадемах – прорезные, а в Костёнках встречаются как прорезные, так и сверлёные отверстия (Абрамова, 1962). В моравских (Klíma, 1983; Svoboda et al., 1996) и западноевропейских (Tabořin, 2004) памятниках преобладают, как представляется, варианты со сверлением.

Элементы орнамента сами по себе, равно как и способы их нанесения на предметы, по-видимому, в данном случае не особенно информативны. Однако можно отметить, что, например, в моравских памятниках часто использовались глубокие и широкие нарезки, с клиновидным профилем, напоминающие зарубки, нанесённые встречными движениями в плоскостях, пересекающихся под углом, близким к 45°, или асимметричным профилем, выполненные нарезкой по касательной к плоскости рисунка (Елинек, 1982; Klíma, 1983; Svoboda et al., 1996). Это своеобразный стиль, существенно преобразующий рельеф поверхности изделий, в отличие от геометрических орнаментов, состоящих из точек, штрихов и линий, особенно многочисленных в янской коллекции.

Набор приёмов, которыми могут быть нанесены эти простейшие знаки, довольно ограничен и сводится к резанию, прочерчиванию, наколу (точнее, набивке, как при чеканке) и комбинации двух последних. Насколько можно судить по иллюстрациям, все эти приёмы представлены в материалах памятников, из которых происходят основные кол-

лекции палеолитического «искусства» – в Мальте (Medvedev, 1998), Авдеево (Gvozdover, 1995), Костёнках (Абрамова, 1962; Abramova, 1995). Комбинированный способ нанесения орнамента (накол/набивка + прочерчивание) распространён, вне пределов Сибири заметно реже. Так, в Мезинской коллекции, где он был отмечен Л.Е. Чикаленко ещё в 1923 г., характерно его использование для «не самых совершенных» изделий (Шовкопляс, 1965). Вероятно, тот же принцип нанесения орнамента набивкой применялся при декорировании мальтинских изделий полулунными элементами – например, этого можно достичь, используя кость по сырой или имеющей естественную влажность поверхности.

Гораздо более важным является организация орнаментов. Для янской коллекции характерны преимущественно простые геометрические орнаменты, организованные линейно. Линии состоят из штрихов и точек и параллельны краю, часто нанесены по продольной оси предмета. Линейно-волнистое/зигзагообразное расположение узора, а также орнамент из поперечных линий, встречается заметно реже. Совсем редкими являются сложные геометрические композиции, образованные из прямоугольников. В качестве ограничителя орнаментального поля в сложных орнаментах могут выступать, как и на браслетах (Питулько и др., 2012б), антропоморфные символы – изображения в виде литеры «А», а также парные поперечные линии.

Перечисленные элементы орнамента и способы его организации в целом вписываются в контекст орнаментальных стилей, свойственных памятникам граветта, в особенности моравской группы (Svoboda et al., 1996). В отношении последней можно сказать, что её орнаменты весьма разнообразны и сложны (Farbstein, Svoboda, 2007), при этом наблюдается стремление наносить на изделия сложные криволинейные заполняющие орнаменты. Орнаментацию, напоминающую павловскую, М.Д. Гвоздовер отмечала на диадемах из Авдеево (Gvozdover, 1995).

Улавливается нечто общее и в орнаментике диадем из памятников Русской равнины (Абрамова, 1995; Gvozdover, 1995) – Авдеево, Костёнки, Снопонево (в последнем памятнике помимо диадем представлены звенья наборных браслетов), хотя между предметами из этих памятников гораздо более заметно внутригрупповое сходство. Это, например, орнаментация по краю крестиком или мелкозубчатое оформление края. На Янской стоянке эти приёмы неизвестны, но сам по себе принцип смещения орнаментальной линии к одному из краёв предмета вполне представлен. Имеются в ней и орнаменты из мелких крестиков, образующих линию по оси диадемы. В орнаментах диадем из Ав-

деево (Gvozdover, 1995) можно в то же время видеть сходство с изделиями из Дольни Вистонице, с находками из Ложери-Басс и Истюриц (Tabarin, 2004). Близки к ним и отдельные янские образцы (см., например, Рис. 9: 1, 19 и др.).

В памятниках Русской равнины, Моравии и западноевропейских распространён орнамент в виде уголков или шевронов. На Янских изделиях он отсутствует, хотя сам по себе шеврон в орнаментированных вещах Янской стоянки встречается на отдельных предметах (Питулько и др., 2012б). Уникальными элементами в нашем случае являются антропоморфные символы, используемые в качестве элемента орнамента. В Янской (и в целом в сибирской культуре верхнего палеолита) имеется своеобразие, проявляющееся, в частности, в области производства украшений из зубов животных – в сибирских памятниках эти изделия изготовлены из зубов травоядных, на Русской равнине и в Моравии – хищных, и в этом, разумеется, есть определённый смысл.

К янским диадемам, на наш взгляд, наиболее близкими являются аналогии, которые можно усмотреть в орнаментации диадем из Мальты (Medvedev, 1998). Хотя совпадения между янскими орнаментами и рисунками на изделиях из других регионов не столь рельефны, как в случае сходства между пронизками из Костенок и Денисовой пещеры (Синицын, 2005). Природа этих совпадений состоит в том, что эти удалённые друг от друга комплексы происходят от единого в прошлом корня (Питулько и др., 2012б), и увидеть это можно, по образному выражению Е. Карпентера, через унаследованные стили, которые их связывают (Schuster, Carpenter, 1996). Это наиболее важное свойство этих предметов, которое существенно для постижения круга проблем, обсуждаемых в контексте «искусства» палеолита.

О его смысле, и в частности, о смысле орнаментальных гравировок на диадемах, высказывались различные предположения. К. Абсолон (Absolon, 1938) связывал их со счётно-арифметическими знаниями и действиями. Эта идея была впоследствии воспринята, усовершенствована и развита А. Маршаком (Marshak, 1972) с добавлением предположений о календарно-астрономических знаниях древнего человека, их хранении и передаче. В отечественной историографии развитие подобных взглядов связано в основном с деятельностью В.Е. Ларичева (см., например, Ларичев, 2003). Однако, как было показано, сложное объяснение не является надёжным (Прието, Карденас, 2005-2009).

Информационная сущность этих орнаментов в то же время совершенно очевидна. На наш взгляд, эти изделия, будучи в прямом смысле личными, индивидуальными украшениями, принадлежали кон-

кретным людям и несли какую-то важную для них информацию. В пользу такого предположения говорит разнообразие орнаментов, их высокая степень индивидуализации. С другой стороны, обнаруживается и некоторая стандартизация рисунков, нанесённых на диадемы, преимущественно простейших. Среди последних имеется два наиболее распространённых типа изделий, для Янской коллекции этот типы 1 и 2.

Безусловно, нам не известны ни сроки службы этих изделий, ни поведение, связанное с заменой испорченного украшения, – т.е. заменялось ли оно таким же изделием или просто похожим. В то же время простейших орнаментов – большинство. В связи с этим можно предположить, что, возможно, их повышенное, в сравнении с остальными, количество может быть связано с каким-то специфическим поведением. Одна из его возможных форм может быть связана с необходимостью замены таких украшений при смене его обладателем внутригруппового статуса – например, при переходе из группы «дети» в «юноши» и далее – во взрослое состояние, когда появляется право на подлинно индивидуальный орнамент, говорящий что-то о его хозяине. Данное предположение, как представляется, имеет смысл, поскольку объясняет, с одной стороны, простоту орнаментов, возникающую, в том числе в связи с отсутствием необходимости изготавливать сложный предмет, подлежащий относительно быстрой замене, а с другой – массовость изделий. Интересно, что среди простейших украшений имеется два наиболее распространённых типа, что позволяет предположить и гендерный аспект, который, возможно, также проявляется в орнаментации изделий.

Как отмечено выше, в янской коллекции представлено 173 орнаментированных предмета. Косвенно это указывает на количество людей, побывавших на её участке, раскопанном нами в пункте Северный. Понятно, что это очень приблизительный учёт, по принципу 1 человек = 1 диадема, при этом можно учесть только тех, кто расстался со своим украшением. Безусловно, не может идти речь о том, чтобы оценить таким образом число обитателей стоянки, культурный слой которой, как было неоднократно подчёркнуто, сформировался в результате неоднократных последовательных эпизодов обитания, разделённых, быть может, сотнями лет (Pitulko et al., 2013). Однако можно предположить, что группы, посещавшие её, были численно довольно значительны и включали в себя несколько десятков взрослых трудоспособных членов, а также детей и подростков, на что недвусмысленно указывают размеры диадем.

Эти люди любили и умели украшать себя, и у них было для этого время. Диадемы, рассмотренные в первом приближении в данной работе, а также бусы и подвески из зубов животных (Питулько и др., 2012б; Питулько, 2012в; Питулько, 2014), найденные на Янской стоянке во множестве, наглядно убеждают в этом. Эти предметы украшали обычный повседневный костюм охотников верхнего палеолита, хотя в отдельных случаях богатство таких украшений воспринимают как нарочитое, указывающее на ритуал и/или особый социальный статус индивида, что предполагалось, в частности, для Сунгирских погребений (Бадер, 1998), а также моравских.

В заключение необходимо ещё раз подчеркнуть, что функция данной категории предметов – личных украшений (диадем, подвесок и бус) – была не только и не столько декоративной, сколько информационной. Представляется, что они образуют трёхуровневую систему, в которой орнаменты из бус и подвески из зубов животных составляли наиболее общий уровень, характеризующий принадлежность к группе в целом, орнаментация диадем, возможно, служила индикатором внутригруппового различия (для семейных групп), и, наконец, браслеты (Питулько и др., 2012б) являлись в прямом смысле личными, т.е. индивидуальными украшениями, содержащими информацию о носителе и его социальном статусе. Обладание подобными системами указывает на развитые представления о личности и сложную социальную организацию, присущую людям верхнего палеолита Северной Евразии.

Благодарности

Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН N 33 (проект 1.11), при частичной поддержке РФФИ (проект 13-06-12044). Авторы считают своим долгом выразить признательность руководству Программы за оказанную поддержку и поблагодарить всех, кто принимал участие в очень непростых полевых работах на Янской стоянке, участвовал в обсуждении и обработке материалов. Осуществление значительной части проделанной работы было бы невозможным без многолетней её поддержки в рамках проекта «ЗНОКНОВ-2000» фондом Rock Foundation (Нью-Йорк, США). Отдельная благодарность С.Г. Буршневой (полевая консервация и реставрация), А.О. Машезерской (графика), П.И. Иванову (фотоработы), В.В. Ивановой (статистическая обработка данных), В.Я. Стёганцевой (обработка изображений).

ЛИТЕРАТУРА

- Абрамова З.А. 1962. Палеолитическое искусство на территории СССР // САИ А4-3.
- Абрамова З.А., Г.В. Григорьева, М. Кристенсен. 1997. Верхнепалеолитическое поселение Юдиново. Вып. 2. СПб.
- Бадер О.Н. 1998. Сунгирь. Палеолитические погребения // Позднепалеолитическое поселение Сунгирь (погребения и окружающая среда). М.
- Верещагин Н.К., А.Н. Тихонов. 1986. Исследование бивней мамонтов // Труды ЗИН 149.
- Герасимов М.М. 1931. Мальта, палеолитическая стоянка. Иркутск.
- Григорьева Г.В. 2003-2004. Планиграфия буснашивок верхнепалеолитического поселения Юдиново // *Stratum plus*. № 1.
- Деревянко А.П., Е.П. Рыбин. 2003. Древнейшее проявление символической деятельности палеолитического человека на Горном Алтае // АЭАЕ. Вып. 3.
- Деревянко А.П., М.В. Шуньков, П.В. Волков. 2008. Палеолитический браслет из Денисовой пещеры // АЭАЕ. Вып. 2.
- Диков Н.Н. 1977. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы (Азия на стыке с Америкой в древности). М.
- Диков Н.Н. 1979. Древние культуры Северо-Восточной Азии (Азия на стыке с Америкой в древности). М.
- Елинек Я. 1982. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. Прага.
- Ларичев В.Е. 2003. Преждевременное открытие (к началу изучения древнекаменного века Сибири) // Древние культуры Северо-Восточной Азии. Астроархеология. Палеоинформатика. Новосибирск.
- Лбова Л.В. 2000. Палеолит северной зоны Западного Забайкалья. Улан-Удэ.
- Окладников А.П., И.И. Кириллов. 1980. Юго-Восточное Забайкалье в эпоху камня и ранней бронзы. Новосибирск.
- Питулько В.В. 2008. Основные сценарии раскопочных работ в условиях многолетнемёрзлых отложений (по опыту работ на Жоховской и Янской стоянках, Северная Якутия) // АЭАЕ. Вып. 2.
- Питулько В.В. 2012. Древнейшее искусство Арктики (объёмные изделия из Янской стоянки) // Археология Арктики. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 80-летию открытия памятника археологии «Древнее святилище Усть-Полуй». Доклады. г. Салехард, 27 ноября – 1 декабря 2012 г. Екатеринбург.
- Питулько В.В., Е.Ю. Павлова. 2010. Геоархеология и радиоуглеродная хронология каменного века Северо-Восточной Азии. Санкт-Петербург.
- Питулько В.В., Е.Ю. Павлова, В.В. Иванова. 2014. Искусство верхнего палеолита Арктической Сибири: личные украшения из раскопок Янской стоянки // Уральский исторический вестник. № 2 (42).

Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Басилян А.Э., Крицук С.Г. 2011. Особенности вертикального распределения вещества в краевых областях мерзлотных полигонов и его значение для датирования четвертичных отложений криолитозоны // Корсакова О.П., Колька В.В. (ред.). Материалы VII-го Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода: «Квартер во всем его многообразии. Фундаментальные проблемы, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований». 12-17 сентября 2011 г., г. Апатиты. Апатиты.

Питулько В. В., Павлова Е. Ю., Иванова В. В., Гиря Е.Ю. 2012а. Жоховская стоянка: геология и каменная индустрия (предварительный обзор работ 2000-2005 гг.) // *Stratum plus*. № 1.

Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Никольский П.А., Иванова В.В. 2012б. Янская стоянка: материальная культура и символическая деятельность верхнепалеолитического населения Сибирской Арктики // *Российский археологический ежегодник*. № 2.

Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Никольский П.А., Иванова В.В. 2012в. Символическая деятельность верхнепалеолитического населения Арктической Сибири (бусы и подвески Янской стоянки) // *Историко-культурное наследие и духовные ценности России*. М.

Питулько В.В., Иванова В.В., Каспаров А.К., Павлова Е.Ю. 2013. Тафономия, пространственное распространение, состав и сезонность фаунистических остатков из раскопок Жоховской стоянки, о-ва Де Лонга, Восточно-Сибирская Арктика (сезоны 2000-2005 гг. с добавлением материала 1989 и 1990 гг.) // *Археологические вести*. Вып. 19.

Прието А., Карденас Р.А. 2005-2009. Мальтинская пластинка из бивня: технологический чертёж эпохи палеолита. *Stratum plus*. № 1.

Синицын А.А. 2005. Стилистический аспект анализа. Кремневый инвентарь, орнаменты, нателные украшения // *Актуальные вопросы Евразийского палеолитоведения*. Новосибирск.

Слободин С.В. 1999. Археология Колымы и Континентального Приохотья в позднем плейстоцене и раннем голоцене. Магадан.

Ташак В.И. 2009. Символизм в начале верхнего палеолита Западного Забайкалья // *ЗИИМК*. Вып. 4.

Шовкопляс И.Г. 1965. Мезинская стоянка. Киев.

Abramova Z.A. 1995. *L'art Paléolithique d'Europe Orientale et de Sibérie*. Grenoble.

Absolon K. 1938. *Die Erforschung der diluvialen Mammutjäger-Station von Unter-Wisternitz in Mähren // Arbeitsbericht über das zweite Jahr 1925*. Brünn.

Farbstein R., J. Svoboda. 2007. New finds of Upper Palaeolithic decorative objects from Předmostí, Czech Republic // *Antiquity* 81, 856-864.

Gvozdover M.D. 1995. *Art of the Mammoth Hunters. The Finds from Avdeev. Oxbow Monograph 49*. Oxford.

Klíma B. 1983. *Dolní Věstonice, tábořiště lovců mamutů*. Praha.

Marshak A. 1972. *The Roots of Civilization*. New York.

Medvedev G.I. 1998. *Art from Central Siberian Palaeolithic sites // The Paleolithic of Siberia*. Urbana and Chicago.

Pitulko V.V. 2011. *The Berelekh Quest: A Review of Forty Years of Research in the Mammoth Graveyard in Northeast Siberia // Geoarchaeology* 26, 5-32.

Pitulko V.V., E.Y. Pavlova, P.A. Nikolskiy, V.V. Ivanova. 2012. *The Oldest Art of Eurasian Arctic // Antiquity* 86 (333).

Pitulko V., P. Nikolskiy, A. Basilyan, E. Pavlova. 2013. *Human habitation in the Arctic Western Beringia prior the LGM // Paleoamerican Odyssey*. CSFA, Dept. of Anthropology.

Pitulko V.V., P.A. Nikolskiy, E.Y. Giryа, A.E. Basilyan, V.E. Tumskov, S.A. Kulakov, S.N. Astakhov, E.Y. Pavlova, M.A. Anisimov. 2004. *Yana RHS Site: Humans in the Arctic before the Last Glaciation*. *Science*. №303.

Schuster C., E. Carpenter. 1996. *Patterns that Connect*. H. N. New York.

Svoboda J., V. Ložek, E. Vlček. 1996. *Hunters between East and West. The Paleolithic of Moravia*. New York and London.

Taborin Y. 2004. *Langage sans parole*. Paris.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЗИИМК	Записки Института истории материальной культуры РАН, Санкт-Петербург;
САИ	Свод археологических источников, Москва;
Труды ЗИН	Труды Зоологического института Российской академии наук, СПб.

Гаврилов К.Н. (ИА РАН)

ВЕРХНИЙ ПАЛЕОЛИТ БАССЕЙНА ДЕСНЫ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Введение

Исследования верхнего палеолита Русской равнины в целом и его центральных областей, в частности, в течение последней четверти века были

сосредоточены, с одной стороны, на изучении отдельных памятников и категорий материальной культуры, а с другой – на решении проблем, связанных с необходимостью описания многообразия культурно-исторических феноменов Восточной

Европы в общеевропейском контексте. К середине 1980-х годов завершился предыдущий этап развития отечественного палеолитоведения, символическим итогом которого стал известный том «Палеолит СССР». Это развитие совершалось в рамках концепции археологических культур, сформулированной главным образом работами А.Н. Рогачёва, М.Д. Гвоздовер и Г.П. Григорьева (Рогачёв, Гвоздовер, 1969; Григорьев, 1968, 1970). Главным достижением в изучении древнекаменного века 1960-1980-х гг., пожалуй, можно считать описание и классификацию большинства известных к тому времени локальных проявлений материальной культуры этой эпохи, известных как в Восточной Европе, так и в Сибири, а также в других частях Старого Света.

Однако пристальное внимание к особым чертам материальной культуры памятников, в особенности, верхнепалеолитических стоянок Русской равнины на материалах которых и создавалась концепция археологических культур палеолита, привело к тому, что общие закономерности развития верхнепалеолитической культуры в целом оказались на втором плане исследований. В результате общая картина получалась достаточно мозаичной. При этом значительное число памятников верхнего палеолита Русской равнины не находило полных аналогий среди других позднепалеолитических стоянок Восточной Европы. Ситуация, когда зачастую археологическая культура была представлена одним памятником, осознавалась исследователями, вполне понятно, как неестественная. Выход из этой ситуации был предложен, в частности, М.В. Аниковичем, который предложил использовать понятия «технокомплекс» для объединения памятников в группы, характеризующиеся общими технико-типологическими характеристиками каменных индустрий на высоких таксономических уровнях – тип заготовки, виды вторичной обработки, категории орудий. К концу 90-х годов XX ст., помимо понятия «технокомплекс», среди отечественных исследователей получили признание и другие – «восточный граветт», «эпиграветт», «постграветт», при помощи которых делались попытки провести культурную атрибуцию памятников, избегая крайностей упрощённого понимания как стадиалистского подхода, так и концепции археологических культур (Амирханов, 1998; Аникович, 1998; Лисицын, 1999).

Фактически эти работы вновь выявили фундаментальную проблему учёта факторов преемственности и варибельности в развитии культуры верхнего палеолита. Применительно к Восточно-Европейской равнине эта проблематика в настоя-

щее время разрабатывается преимущественно на материалах Подонья, Среднего Поднепровья, Подесенья и Поднестровья.

Разумеется, изучение таких факторов, как преемственность и варибельность культуры, как, впрочем, и других проблем археологии или любой иной исторической дисциплины, невозможно без определения хронологической позиции объектов исследования. Включение памятников в рамки ранней, средней или поздней поры верхнего палеолита не означает автоматическое признание их синхронности или асинхронности в пределах данного периода. К сожалению, наши знания в этой области применительно к памятникам бассейна Десны всё ещё весьма неполны, несмотря на все усилия, предпринимаемые исследователями для уточнения их возраста.

Ранняя пора верхнего палеолита на территории бассейна Десны пока остаётся почти не изученной. Эта тема в настоящее время только начинает разрабатываться на материалах, полученных при раскопках в окрестностях с. Хотылёво. Вопросов здесь пока больше, чем ответов. Весьма актуальна проблема культурной специфики выявленных памятников, не решена задача определения их возраста. Предварительно пока можно говорить о залегании артефактов, относимых к данному периоду в отложениях брянской ископаемой почвы.

Средняя пора верхнего палеолита на рассматриваемой территории представлена памятниками восточного граветта. В целом время существования восточного граветта Подесенья не выходит за пределы первой половины поздневалдайского оледенения, включая и его максимальную стадию (Гаврилов, 2005). Исследования последних лет позволили получить информацию, в значительной степени меняющую наши представления о длительности существования важнейших граветтских стоянок на территории Русской равнины: Костёнок 1, Авдеево и Зарайска. Результаты сопоставления данных о радиоуглеродном возрасте восточнограветтских памятников Днепро-Деснинского бассейна с особенностями структуры их культурных слоев дают основания предполагать, что период заселения Авдеево в начале совпадал со временем функционирования Хотылёвской, а в конце – Пушкарёвской стоянки. Ко времени непосредственно после брянского потепления относятся стоянки Хотылёво 2 и Октябрьское II (сл. 2). Пушкарёвская 1 и Октябрьское II (сл. 1) обитались позже, в конце первой половины поздневалдайского времени.

К поздней поре верхнего палеолита относится большинство известных позднепалеолитических стоянок центральных районов Русской равнины.

Опираясь на данные геологической стратиграфии, в настоящее время можно только констатировать, что памятники этого культурно-хронологического этапа относятся ко второй половине поздневалдайского времени. Серии имеющихся радиоуглеродных датировок среднеднепровских и деснинских стоянок скорее задают общие временные рамки бытования этих памятников (Радиоуглеродная хронология..., 1997)¹.

Изучение развития культуры верхнего палеолита центральных районов Русской равнины – одна из самых актуальных задач отечественного палеолитоведения. Очевидно, этот процесс должен отражать как общие для данного региона закономерности, так и локальные проявления этих закономерностей на уровне отдельных категорий материальной культуры, памятников и культурно-исторических территориальных объединений.

В данном исследовании объектом изучения стали каменные индустрии, прежде всего – предметы с вторичной обработкой. Сам текст не содержит обзорной характеристики памятников бассейна Десны и Среднего Поднепровья в целом, ввиду ограниченности объема публикации. Основной акцент в работе сделан на изложении результатов типологического анализа каменных индустрий.

Ранняя пора верхнего палеолита

До недавнего времени памятники этого периода в Подесенье были неизвестны. То, что данная ситуация не отражала реального положения вещей, было достаточно очевидно. Об этом свидетельствуют наличие в Верхнем Подесенье мустьерских стоянок (Заверняев, 1978; Тарасов, 1995), а также присутствие на территории бассейнов других великих рек Восточной Европы памятников ранней и начальной поры верхнего палеолита (Аникович и др., 2007; Аникович и др., 2012; Синицын, 2012; Павлов, 2004; Матюхин, 2006; Черныш, 1987; Пясецкий, 1991; Степанчук, 2011; Степанчук, 2013).

К ранней поре верхнего палеолита на территории Подесенья предварительно можно отнести несколько пунктов в окрестностях с. Хотылёво. Это прежде всего многослойный памятник Хотылёво 6, а также культуросодержащие слои, залегающие в погребенных почвах, зафиксированные в пункте Д стоянки Хотылёво 2 и на городище «Кудеярка»

¹ Это замечание не относится к стоянкам поздней поры верхнего палеолита Костёнковско-Борщевского района, а также памятников Посеймья, которые можно на основании радиоуглеродных датировок распределить по двум хронологическим периодам: около 19/18-17 тыс. л. н. и около 16-13 тыс. л. н. (Радиоуглеродная хронология..., 1997; Чубур, 2001; Ахметгалеева, 2007).

(Гаврилов, Воскресенская, 2014; Gavrilov, Voskresenskaya, 2014).

На памятнике Хотылёво 6, расположенном в 300 м к западу от Хотылёво 2, были вскрыты два культурных слоя, относящиеся к эпохе верхнего палеолита, залегающие в лессовидных суглинках и горизонтах погребенных почв позднего плейстоцена. Нижний из культурных слоев залегал на гл. 2.4-2.8 м и был связан с горизонтом брянской (MIS 3) погребенной почвы, профиль которой сильно нарушен мерзлотными процессами. Общий облик каменного инвентаря Хотылёво 6 (Рис. 1: А) более архаичен по сравнению с восточнограветийским комплексом Хотылёво 2. Присутствие в составе кремневого инвентаря Хотылёво 6 кареноидных нуклеусов, наличие пластин с изогнутым винтовым профилем позволяет определить характер его каменной индустрии как ориньякоидный. Наличие в инвентаре ребристых пластин (12 экз.) показывает, что производство пластинчатых заготовок имело целенаправленный характер. Однако необходимо подчеркнуть, что среди изделий из кремня имеются такие предметы, как краевой скол с ножа костенковского типа и пластина с подтеской. При оформлении одного из предметов – ножа с обушком – была использована встречная притупливающая ретушь. Эти признаки, учитывая общий верхнепалеолитический контекст Русской равнины, более характерны для индустрий восточного граветта.

Особенности кремневого инвентаря позволяют сделать вывод о том, что индустрия третьего слоя Хотылёво 6 типологически может быть отнесена к ранней поре верхнего палеолита. Такое определение вполне согласуется и со стратиграфическим положением культурного слоя 3. Ориньякоидный характер кремневой индустрии нижнего слоя Хотылёво 6 хорошо вписывается в общий для заключительного этапа ранней поры верхнего палеолита Русской равнины культурно-исторический контекст, который характеризуется сосуществованием памятников с индустриями ориньякского и позднеселетского облика (Аникович и др., 2007).

Нельзя, однако, исключать и того, что расширение площади раскопок может существенным образом уточнить наши представления о культурной принадлежности этой стоянки.

К востоку от стоянки Хотылёво 2, в небольшом шурфе, заложенном на городище Кудеярка, в погребенной почве (брянской?), на гл. 4.75 - 5.1 м были также зафиксированы находки, относящиеся к верхнему палеолиту. Расщепленный кремень представлен серией из 64 предметов (Рис. 1: В). О культурной принадлежности данного комплекса судить пока довольно затруднительно. Можно только от-

метить, что он отличается от инвентаря нижнего палеолитического слоя Хотылёво 6 полным отсутствием пластин, хотя здесь имеются фрагменты сколов, которые, возможно, относятся к микропластинам. Пока можно констатировать общую архаичность этого комплекса.

Наконец, в новом пункте стоянки Хотылёво 2, получившем обозначение литерой Д, в отложениях, относящихся к брянской ископаемой почве, а также в подстилавших эту почву слоистых песках и линзах древесного угля, были обнаружены предметы из расщепленного кремня. Почва и подстилавшие ее отложения вскрыты пока на незначительной площади в 4 кв. м. Общее количество предметов каменной индустрии, зафиксированных в горизонтах 1-8 невелико. Количественный и качественный состав коллекции отражен в нижеследующей таблице:

категория	кол.	%
галька	4	9,09%
микропластина	1	2,27%
микропластинка	1	2,27%
мппк	1	2,27%
нуклевидный	1	2,27%
нуклеус	2	4,55%
обломок	3	6,82%
осколок	4	9,09%
отщеп	6	13,64%
пластина	1	2,27%
пластина с ретушью	1	2,27%
скол	4	9,09%
скол с прит рет	1	2,27%
чешуйка	14	31,82%
ВСЕГО	44	100,00%

Обращает на себя внимание присутствие среди предметов, залежавших в толще погребенной почвы (к. сл. 2) микропластины с притупленным краем (Рис. 1: С, 1), а также нуклеусов для снятия микропластинок (Рис. 1: С, 5, 6), один из которых может быть отнесен к кареноидным «резцам». Необходимо отметить также присутствие в этом же культурном слое микропластин с изогнутым профилем.

Открытие в окрестностях с. Хотылево верхнепалеолитических памятников, связанных стратиграфически с брянской ископаемой почвой, имеет большое научное значение. До недавнего времени изучение верхнего палеолита Подесенья было ограничено стоянками, хронологическая позиция которых находилась в пределах, выделяемых для Русской равнины средней и поздней поры этой эпохи, то есть примерно от 24 до 14 тыс. л. н. согласно общепринятой радиоуглеродной хронологии. Кроме того, присутствие в инвентаре третьего культурного слоя краевого скола, пластины с подтеской, обнаружение в погребенной почве стоянки Хоты-

лёво 2, пункт Д, микропластинки с притупленным краем, позволяет ставить вопрос о более раннем возникновении на территории Подесенья граветтской традиции, чем это принято считать в настоящее время.

Восточный граветт на территории бассейна Десны

Типологическая характеристика восточного граветта на территории Подесенья и в целом Русской равнины, а также описание его внутренней структуры – это вопросы, которые были и, вероятно, будут оставаться предметом постоянной дискуссии. Причина здесь лежит в самой природе этих определений, поскольку они носят интерпретационный характер. Повторяемость, устойчивость во времени и пространстве морфологии, технических и технологических характеристик ведущих категорий материальной культуры дают все основания считать, что под понятием восточный граветт скрывается реальный исторический феномен, природа которого до конца не понята до сих пор.

К восточному граветту Русской равнины, на основании уже имеющегося опыта изучения памятников, относимых к этому явлению (Grigor'ev, 1993; Гиря, 1997; Григорьев, 1998; Гвоздовер, 1998; Амирханов, 2000), можно причислить стоянки и поселения, чья каменная индустрия характеризуется следующими признаками: 1. Использование крупной пластинчатой заготовки, полученной в результате стадийного расщепления при помощи органического (мягкого) отбойника. 2. Использование притупляющей ретуши для оформления острий, пластин и микропластин с притупленным краем. 3. Применение целого ряда приёмов вторичной обработки (чешуйчатая подтёска, ретуширование, диагональные плоские вентральные резцовые сколы) для оформления ударных площадок, с которых снимались краевые сколы для поджигления режущего края. 4. Применение крупной плоской вентральной ретуши для выравнивания профиля изогнутых пластин. 5. Использование полукрутой и приостряющей ретуши для оформления острий на крупных пластинах. 6. Сочетание таких типов орудий, как граветтские острия, наконечники с боковой выемкой, ножи костёнковского типа, и шире – пластины с подтёской концов, листовидные острия.

Перечисленные признаки каменного инвентаря позволяют отнести к восточному граветту на территории бассейна Десны следующие памятники: Авдеево, Хотылёво 2, Октябрьское II (к.сл. 1), Пушкари I, Клюсы (Рис. 1). К сожалению, степень изученности их материальной культуры весьма

неравномерна. Стоянкам Авдеево, Хотылёво 2 и Пушкари I посвящён целый ряд публикаций, тогда как Октябрьское II (к.сл. 1) и Ключи остаются практически неопубликованными. К тому же, коллекция стоянки Октябрьское II (к.сл. 1) в настоящее время недоступна для ознакомления с нею и представление о памятнике можно получить из отчётов о его раскопках, хранящихся в архиве Института археологии РАН, а также из небольшой статьи С.Н. Алексеева и А.В. Кашкина, монографии А.А. Чубура (Кашкин, 2000; Чубур, 2001).

Анализ опубликованных материалов, посвящённых восточному граветту, показывает, что к категориям, которые позволяют в наибольшей степени охарактеризовать как общие, так и особенные черты каменных индустрий памятников, относятся пластины и микропластины с притупленным краем, острия с притупленным краем (граветтские), листовидные острия, ножи костёнковского типа и пластины с подтёской концов (Grigori'ev, 1993). Их сопоставление помогает определить таксономический характер культурной специфики каменной индустрии каждого восточнограветтского памятника.

Вариабельность каменного инвентаря памятников восточного граветта – достаточно очевидное явление (Otte, 1981; Амиханов, 1998; Noiret, 2007; Nuzhnyi, 2009; Гаврилов, 2014). Проблема состоит в том, что именно отражает эта вариабельность. Она может быть связана с факторами частного порядка, такими, как близость или удалённость от источников сырья, сезонность, хозяйственная или иная специализация конкретного участка или поселения в целом. Вариабельность может отражать и более общие закономерности, например, развитие во времени, этнокультурную специфику.

Типологически каменные индустрии рассматриваемых памятников восточного граветта могут быть разделены на варианты, каждый из которых в пределах бассейна Десны представлен только одним памятником. Исключение составляют лишь Пушкари I и Ключи. Индустрии остальных памятников – Хотылёво 2, Авдеево, Октябрьское II (к.сл. 1) – таксономически располагаются на одном уровне, как и группа Пушкари I – Ключи. Однако Авдеевская стоянка входит в более обширную группу памятников т.н. костёнковско-авдеевской культуры, и на территории Верхнего Поднепровья к этой группе может быть отнесена каменная индустрия Бердыжской стоянки (Калечиц, 1984). Этот факт не позволяет, несмотря на ярко выраженные различия в каменном инвентаре Хотылёво 2 и Авдеево, рассматривать Посеймье и Подесенье как самостоятельные культурно-территориальные единицы. Специфика каменных индустрий этих памятников,

скорее всего, отражает их индивидуальные характеристики. Например, особенности ножей костёнковского типа (Рис. 2: 1-11) Хотылёво 2 и Авдеево частично связаны с близостью к источникам кремня первого и удалённостью от таковых – второго поселения. Частично, поскольку такой памятник костёнковско-авдеевской культуры, как Зарайская стоянка, расположенный у источников сырья, в отличие от Хотылёво 2, демонстрирует широкую представленность предметов данной категории в каменном инвентаре (Лев, 2009). Последний факт может быть объяснён различной функциональной специализацией этих двух видов индустрий. По этой же причине с функциональными особенностями связана, скорее всего, и различная представленность, а также морфология таких категорий, как наконечники с боковой выемкой и листовидные острия Авдеево и Хотылёво 2 (Рис. 3, Рис. 4). Однако особенности пластин и микропластин с притупленным краем обоих памятников, как представляется, не могут быть объяснены только лишь их специализацией. Последняя может отражаться в метрических характеристиках предметов данных категорий. Например, в инвентаре Авдеево нет узких, буквально «игловидных», мппк и ппк, или массивных ппк, обработанных при помощи встречной контрударной ретуши, столь характерных для инвентаря Хотылёво 2. Такие признаки, как характер притупляющей ретуши и способы вторичной обработки концов, могут свидетельствовать о культурной специфике памятников, поскольку они не зависят напрямую от размеров мппк и ппк. Пластины и микропластины с притупленным краем Авдеевской стоянки характеризуются применением односторонней притупляющей ретуши, срезающей не более, а чаще – менее, одной трети от ширины заготовки. Притупленный край, как правило, при этом имеет слабо волнистую поверхность. Способы оформления концов, специфические не только для Авдеево, но и для остальных памятников костёнковско-авдеевской культуры, заключаются в применении подтёски, а также в ретушировании концов таким образом, что они приобретали форму микросребкового лезвия (Лев, 2009). В Хотылёво 2 широко использовалась встречная контрударная ретушь для оформления края как у пластин, так и у микропластин. Специфическим для Хотылёво 2 приёмом оформления концов является плоская вентральная мелкая ретушь, нанесённая с одного или двух краёв, при этом часто конец оформлен в виде острия (Гаврилов, 2008).

Технико-типологические особенности ведущих категорий каменного инвентаря таких памятников восточного граветта, как Пушкари I, Ключи и

Октябрьское II (к.сл. 1), позволяют, с одной стороны, разделить их на две различные с точки зрения культурной специфики группы, а с другой – вычленив общие для этих памятников признаки, отражающие их культурно-хронологическую позицию. Сходство между стоянками Пушкарки I и Ключосы проявляется прежде всего в типологическом единстве таких категорий, как листовидные остряки (Рис. 4: 17, 18), а также пластины и остряки с притупленным краем (граветтские) (Рис. 5: 18-26). Наконечники с боковой выемкой (Рис. 3) имеют меньшую степень соответствия, однако и среди части предметов этой категории обнаруживается сходство в способах вторичной обработки и общих морфологических характеристиках. Каменный инвентарь стоянки Октябрьское II (к.сл. 1) содержит иные типы наконечников с боковой выемкой (Рис. 3: 29-37) и острей с притупленным краем (Рис. 5: 16,17), и не имеет тех форм пластин с притупленным краем, которые характерны для Пушкарей I и Ключосы. Тем не менее, все три памятника могут рассматриваться в рамках одной культурно-хронологической стадии развития верхнего палеолита на территории бассейна Десна. Об этом свидетельствуют несколько признаков. Во-первых, остряки с притупленным краем, найденные при раскопках этих стоянок, характеризуются укороченными пропорциями и значительной шириной по сравнению с граветтскими остряками Авдеево и Хотылёво 2 (Рис. 5). Переход от края к остряку у этих типов орудий оформлен часто в виде тупого угла, необработанный край – выпуклый, основание дорсально ретушировано по прямой линии. Во-вторых, орудия на пластинах с подтёской концов представлены экземплярами с минимальным набором элементов вторичной обработки и не являются серийными. В-третьих, наконечники с боковой выемкой, при всём разнообразии форм, зафиксированных в инвентаре Октябрьского II (к.сл. 1), Пушкарей I и Ключосы, в массе своей представлены иными вариантами, по сравнению с теми, которые известны для более ранних восточнограветтских памятников. Их объединяет более простая схема формообразования, которая может отражать процесс стандартизации заготовок и соответственно упрощения приёмов вторичной обработки. Наконец, имеется статистический признак, который может отражать культурно-хронологическую специфику стоянок Пушкарей I и Ключосы. Это соотношение различных групп орудий внутри категории резцов. Установлено, что для восточнограветтских памятников, которые существовали после окончания брянского времени преимущественно в первую половину поздневалдайского оледенения, характерно преобладание двугранных форм резцов

над ретушными (Гвоздовер, 1998; Амирханов, 2000; Гаврилов, 2008). В инвентаре Пушкарей I и Ключосы доля ретушных резцов возрастает, а двугранных, наоборот, снижается. М. Я. Рудинский отмечал, что в коллекции Пушкарей I 1932 г. большинство резцов является ретушными (Рудинский, 1947, с. 193). По данным П. И. Борисковского, преобладающими являются резцы на сломе заготовки и ретушные - 80 и 50 экз. соответственно, двугранных насчитывается около 30 предметов (Борисковский, 1953, с. 215). Резцы стоянки Ключосы (145 экз., 30,7 %) составляют самую многочисленную категорию инвентаря. Большая их часть относится к ретушным (44 экз.) и двугранным (34 экз.). Среди резцов обоих памятников серийно представлены многофасеточные и нуклевидные формы. По этому показателю Пушкарей I и Ключосы, как и Хотылёво 2, демонстрируют присутствие в своём инвентаре ориньякоидного компонента. Это явление представляется неслучайным, поскольку различные проявления ориньякоидности в каменной индустрии памятников в целом характерны для восточного граветта Русской равнины (Амирханов, 2000).

Восточный эпиграветт Подесенья

Стоянки поздней поры верхнего палеолита, расположенные в бассейне Десны и в Среднем Поднепровье, традиционно рассматриваются как части некоего культурно-исторического феномена. Однако определение его культурной специфики, как в целом, так и применительно к отдельным памятникам, до настоящего времени остается предметом дискуссии, которая уже стала частью научной традиции.

Выделение поздней поры верхнего палеолита Подесенья и Среднего Поднепровья в качестве самостоятельной единицы анализа связано с именем И.Г. Шовкопляса. И.Г. Шовкопляс рассматривал мезинскую культуру скорее как понятие, определяющее специфику историко-культурной области. Для него археологическая культура и историко-культурная область фактически имели одинаковый смысл. В дальнейшем, работами Л.В. Греховой и М.И. Гладких понятие «археологическая культура» стало основным при характеристике деснинского и среднеднепровского верхнего палеолита, тогда как «историко-культурная область» практически перестало использоваться.

В конце 1980-х гг. для обозначения восточно-европейских памятников, датируемых позднеледниковьем, значительную долю инвентаря которых составляли пластинки с притупленным краем было введено понятие «восточный эпиграветт» (Debrosse,

Kozłowski, 1988). Несмотря на употребление в нем термина «эпиграветт», оно не подразумевало для исследователя автоматического признания существования генетических связей с предшествующими памятниками восточного граветта и, по словам М.В. Аниковича, такие связи прослежены не были (Аникович, 1998). М.В. Аникович считает, что под восточным эпиграветтом следует понимать памятники выделяемой им Днепро-Донской историко-культурной области, датируемые временем после поздневалдайского климатического минимума и относящиеся к граветтоидному технокомплексу. По его мнению, «восточный эпиграветт», как и «восточный граветт», - суть условные дефиниции, термины, являющиеся результатом эмпирических обобщений, но не понятия, при помощи которых можно было бы определить специфику определённых памятников (Аникович, 1998. С. 63). С.Н. Лисицыным было высказано мнение, что «термин «эпиграветт» как культурное явление, видимо, несостоятелен», одновременно констатируя «точки соприкосновения граветтоидных и более поздних комплексов» Русской равнины, что указывает на определённую преемственность между ними (Лисицын, 1999. С. 119). Далее С.Н. Лисицын пишет: «Можно говорить о хронологической преемственности, но не продолжении традиции. ...Период позднего Валдая на Русской равнине характеризовался исчезновением граветтских традиций, прежде всего, в кремнёвой индустрии и, лишь во второй степени, в искусстве» (там же). По этому вопросу необходимо заметить, что наличие преемственности и сохранение традиции в неизменном виде не одно и то же. Преемственность допускает развитие. Поэтому отказ С.Н. Лисицына от термина «эпиграветт» нелогичен. Использование термина «восточный эпиграветт» позволяет описать специфику материальной культуры этих памятников, выявляемую при сравнении их не с синхронными западными, а с более ранними восточно-граветтскими комплексами. С другой стороны, для описания специфики материальной культуры стоянок поздней поры верхнего палеолита рассматриваемого региона в широком территориальном контексте использование понятия «восточный эпиграветт» не может быть достаточным. Этим целям в действительности служили хорошо известные «мезинская», «межиричско-добраничевская», «timoновско-юдиновская» и другие подобные им «культуры» или отдельные памятники, обладающие выраженной культурной спецификой, например, Елисеевичи 1. Восточный эпиграветт и локальные варианты культуры, вне зависимости от того, как их именовать - археологические куль-

туры, типы индустрий или иначе, имеют отчетливую иерархическую соподчиненность и могут быть использованы для описания внутренней структуры исследуемой специфики.

Каменный инвентарь восточно-эпиграветтских памятников характеризуется следующими признаками: 1. Стадиальное расщепление кремнёвого сырья, направленное на получение прямых пластин, средняя ширина которых составляет от 12 до 15 мм. Возможно использование посредника, что позволяло применять круговую систему утилизации нуклеусов (Селезнёв, 1996).² 2. Широкое применение техники резцового скола и притупляющей ретуши. 3. Обеднение типологического разнообразия каменного инвентаря, основу которого составили резцы, как правило ретушные³, попеременно- и косо-тронкированные пластины, скребки укороченных пропорций, пластинки и микропластины с притупленным краем. Своеобразие каменного инвентаря эпиграветтских памятников проявляется в сочетании конкретных типов среди таких категорий как пластинки и микропластины с притупленным краем, острия с притупленным краем и/или наконечники, а также проколки.

Памятники поздней поры верхнего палеолита, расположенные на территории бассейна Десны, как, впрочем, и стоянки Среднего Поднепровья, на основании анализа морфологических особенностей предметов с вторичной обработкой могут быть отнесены к эпиграветтским в том смысле, что их кремнёвый инвентарь есть результат развития восточнограветтской традиции изготовления орудий. В пользу этого вывода свидетельствует применение техники нанесения притупляющей ретуши при оформлении вкладышей, острий и наконечников, а также широкое распространение техники резцового скола. По сравнению с восточным граветтом, набор приёмов вторичной обработки редуцируется за счёт вентральной подтёски и вентральной уплощающей ретуши. Однако эти приёмы были известны носителям эпиграветтской традиции и при необходимости применялись. Например, в инвентаре стоянок Елисеевичи 1 (Лисицын, 1999) и Быки 7, сл. 1, (Ахметгалеева, 2004) зафиксированы пластины с подтёской конца. Орудие из комплекса Быков 7, сл. 1, прямо может быть сопоставлено с ножами костёнковского типа (Рис. 6: 17), в этом же инвентаре был обнаружен и краевой скол (Ахмет-

² Использование посредника, очевидно, и было тем технологическим новшеством, которое оказало решающее влияние на облик каменного инвентаря.

³ Исключение из этого правила представляет инвентарь стоянок Быки 1 и Быки 7, о чём подробнее будет сказано ниже.

галеева, 2004). Регулярная уплощающая вентральная ретушь зафиксирована в Тимоновке I на одном из экземпляров мппк, а также на одной проколке. Эпизодичность употребления этого приёма вторичной обработки может быть объяснена тем, что модификация техники раскалывания, в результате которой стало возможным получение более тонких и прямых пластин, сделала ненужной в большинстве случаев подправку заготовок с целью выравнивания их профиля (Селезнёв, 1996).

Общее обеднение состава орудий привело к тому, что различия между памятниками Подесенья, а также между ними в целом и стоянками Среднего Поднепровья, проявляются не столь ярко, как различия между памятниками восточного граветта. Специфика их индустрий выделяется, прежде всего, по таким показателям, как способы обработки концов пластинок и микропластин с притупленным краем (Рис. 6), а также серийность и степень разнообразия проколов (Рис. 7). Кроме того, особенности комплексов подчёркиваются метрическими характеристиками заготовок, использовавшихся при изготовлении тех или иных категорий орудий. Например, скребки Мезинской стоянки оформлены на относительно крупных пластинах и отщепках, и этим отличаются от скребков как остальных деснинских, так и среднеднепровских памятников (Нужный, 2003). Пластинки и микропластины с притупленным краем стоянок Косица и Елисеевичи 1, как правило, имеют большую длину по сравнению с той, которая характерна для аналогичных предметов остальных стоянок Подесенья и Среднего Поднепровья.

В целом каменный инвентарь деснинских стоянок демонстрирует индивидуальные особенности каждого памятника, однако эти особенности не позволяют однозначно разделить их на различные археологические культуры, опираясь только на результаты анализа этой категории материальной культуры (Гаврилов, 2003). В гораздо большей степени культурная специфика деснинских и среднеднепровских памятников поздней поры верхнего палеолита проявляется в произведениях мобильного искусства и орнаментике (Гаврилов, 2009).

Для территории собственно Подесенья можно отметить высокую степень сходства каменного инвентаря стоянок Тимоновка I, II и Юдиново 1, на основании которой в конце 1960-х – начале 1970-х годов Л.В. Греховой была выделена тимоновско-юдиновская археологическая культура (Грехова, 1969; Грехова, 1971). Аналогичным образом тогда же М.И. Гладких для территории Среднего Поднепровья определил круг памятников межиричско-добраничевской культуры (Гладких, 1968; Гладких,

1971; Гладких, 1973; Гладких, 1977). Их отличие от деснинских стоянок состоит в крайней обеднённости форм и категориального состава предметов с вторичной обработкой. Близкую в таксономическом отношении степень сходства демонстрирует каменный инвентарь стоянок Мезин и Бармаки (Нужный, Пясецкий, 2003). Это сходство проявляется не только в особенностях оформления проколов, как это можно наблюдать при сравнении мезинского и супоневского инвентаря, но и по другим показателям: тип заготовки, использовавшийся при изготовлении скребков, соотношение одинарных и двойных скребков, оформление концов пластинок и микропластин с притупленным краем. Однако в настоящее время Д.Ю. Нужный избегает употреблять термин «археологическая культура» по отношению к группе Мезин-Бармаки, предпочитая выражение «тип индустрии» и понятно, почему. В каменном инвентаре поселений поздней поры Подесенья и Среднего Поднепровья отсутствуют ярко выраженные культурно-определяющие типы, подобные тем, которые имеются в индустриях памятников восточного граветта. Для всех без исключения названных стоянок характерно преобладание среди орудий резцов, доминирующим типом среди которых является ретушный резец. Скребки этих памятников – простые концевые, как правило, без ретуши краёв, значительная часть их имеет укороченные пропорции. Среди пластинок и микропластин с притупленным краем (Рис. 6) чаще всего встречаются так называемые «четырёхугольники». Весь этот массив с таксономической точки зрения может быть разделён на три группы и несколько отдельно стоящих памятников. Выделяются три группы: тимоновско-юдиновская, мезинская и межиричско-добраничевская. В них не входят Елисеевичи 1, Косица и Супонево. При этом по отдельным признакам Супонево сближается с Мезиным, а Косица сопоставляется с Елисеевичами 1 (Гаврилов, 2003).

На этом фоне значительно более резко выражена специфика каменного инвентаря расположенных на левом берегу р. Сейм стоянок Быки 1, Быки 7 (сл. 1 и 1а), Быки 5 и Пенская. Характер заготовок, использовавшихся при изготовлении орудий, как и вся система раскалывания кремня, в целом весьма близки тому, что наблюдается при изучении инвентаря деснинских стоянок поздней поры верхнего палеолита (Чубур, 2001; Ахметгалева, 2004). Однако среди предметов с вторичной обработкой названных памятников серийно представлены треугольные острия, наиболее массовые разновидности которых в Быках 1 и Быках 7 (сл. 1) могут рассматриваться в ка-

честве культуро-определяющих. Речь идёт о двух разновидностях острий типа тарденуа, у которых длинный притупленный край срезает заготовку по диагонали, а не вдоль края пластинки. Их присутствие сочетается с почти полным отсутствием в инвентаре пластинок и микропластин с притупленным краем.⁴ Кроме того, в отличие от деснинских памятников, среди резцов Быков 1 и 7 преобладающей формой являются двугранные, а ретушные резцы и вовсе отсутствуют среди орудий стоянки Быки 7 (Ахметгалеева, 2004). Поэтому справедливым представляется заключение Н.Б. Ахметгалеевой как об однокультурности этих памятников, так и о том, что они относятся к самостоятельной археологической культуре. Но последний тезис не отменяет признание того факта, что между этими памятниками и деснинскими стоянками существуют определённые точки соприкосновения. Они выражаются в том, что в инвентаре Мезина, Быков 1 и Быков 7 (сл. 1) присутствуют, во-первых, треугольные острия, у которых длинный притупленный край оформлен ретушью вдоль края заготовки, а, во-вторых, проколки, в том числе и специфических мезинских форм. Эти точки соприкосновения, как представляется, позволяют заключить, что каменная индустрия памятников поздней поры верхнего палеолита двух регионов – Подесенья и Посеймья, обладает близкой хозяйственно-культурной подосновой, которая также может быть подведена под определение восточного эпиграветта. Выше уже говорилось о важности для использования данного термина таких признаков как тип заготовки и способы вторичной обработки, применявшиеся при изготовлении орудий. В дополнение к этому можно привести ещё один аргумент, связанный с совместным нахождением в инвентаре одного памятника типов, характерных для рассматриваемых стоянок. Речь идёт о комплексе т.н. «микроиндустрии» северо-западного участка одного из опорных памятников восточного граветта в Центральной Европе – Павлов 1. Для него характерно сочетание: 1) треугольных острий со скошенным основанием и оформлением длинного края притупляющей ретушью вдоль края заготовки; 2) проколки, в том числе двойных; пластинок и микропластин с притупленным краем, у которых концы ретушированы в виде острий; 3) черешковых наконечников с притупленным ретушью краем. Эта аналогия говорит не о существовании непосред-

⁴ Впрочем, единичные экземпляры мпкк и острия, близкие к типу федермессер, судя по рисункам А.А. Чубура (Чубур, 2001), в инвентаре стоянки Быки 1 всё же имеются.

ственной временной и культурной связи между памятниками восточного эпиграветта центра Русской равнины и стоянкой Павлов 1. В данном случае речь идёт о том, что существовала общая культурно-историческая подоснова для развития сначала восточного граветта, а затем и восточного эпиграветта на Русской равнине, что собственно, и определило в принципе возможность такого развития.

Заключение

Материальная культура верхнепалеолитических стоянок Подесенья, и в целом всех центральных районов Русской равнины, может быть рассмотрена как результат последовательного развития во времени и одновременно взаимного влияния целого ряда сообществ охотников на мамонтов приледниковой зоны Восточной Европы. Большинство известных на территории бассейна Десны памятников верхнего палеолита могут быть отнесены к восточному граветту и восточному эпиграветту. Каждое из этих культурно-исторических явлений, в свою очередь, может быть разделено на различные составляющие части, отражающие как их стадийное положение внутри данного образования, так и локальную, культурную или хозяйственную, специфику. Как общие, так и особенные черты памятников одинаково хорошо проявляются в строении отдельных археологических объектов и общей пространственной структуре стоянок и поселений, в морфологии изделий из расщеплённого кремня и стилистике произведений искусства малых форм. Их анализ показывает, что восточный граветт и восточный эпиграветт являются звеньями одной цепи, существование которой стало принципиально возможным благодаря общей культурной подоснове, формирование которой связано с ранним восточным граветтом Центральной Европы – т.н. павловьеном. Возникновение восточного граветта на Русской равнине, скорее всего, следует рассматривать как результат определённого взаимодействия между центральноевропейскими и местными культурными традициями при доминирующей роли первых и преобразовании вторых.

Синтетический характер восточного граветта может объяснять возникший на последующем этапе процесс его дезинтеграции, начало которого проявляется в культуре финальных восточногограветтских памятников – Пушкари I и Ключсы, с одной стороны, и Октябрьское II (сл. 1) – с другой. Возможно, они маркируют также культурно-территориальное размежевание между Подесеньем и Посеймьем, ко-

торое ярко проявилось уже после поздневалдайского климатического минимума⁵. К этому времени в результате распада восточного граветта возникает восточный эпиграветт, имеющий также неоднородную в культурном отношении структуру, которая максимально ярко проявилась в произведениях искусства малых форм.

Несмотря на обеднённый в типологическом отношении каменный инвентарь, памятники восточного эпиграветта демонстрируют большие с таксономической точки зрения культурные различия между регионами Подесенья и Посеймья. В этом отношении данный период отличается и от предшествующего. Это различие, однако, нивелируется на заключительном этапе поздней поры верхнего палеолита, во время существования курских стоянок (Григорьева, Филиппов, 1978; Чубур, 2001), демонстрирующих в каменном инвентаре прямые аналогии с деснинскими памятниками. Интересно, что это явление примерно в то же время зафиксировано и для более отдалённых территорий. В бассейне р. Оки к этому кругу памятников относятся Шатрищенские стоянки и стоянка Заозерье (Сорокин, Ошибкина, Трусов, 2009). В Костёнковско-Борщевском районе – стоянки Борщевое 1 и 2 (Палеолит Костёнковско-Борщевского района..., 1982; Векилова, 1953; Борисковский, 1941; Борисковский, Ефименко, 1953). Характерно, что в инвентаре третьего слоя стоянки Борщевое 2 П.И. Борисковским были обнаружены орудия из рога северного оленя, украшенные орнаментом в виде косых ромбов, практически не отличающегося от тимоновско-юдиновских образцов. Таким образом, заключительный этап поздней поры верхнего палеолита в Центре Русской равнины характеризуется вновь наступившими процессами культурного синтеза, нивелирующего региональные различия между памятниками.

ЛИТЕРАТУРА

Амирханов Х.А. 1998. Восточный граветт или граветтоидные индустрии Центральной и Восточной Европы? // Восточный граветт. М.

Амирханов Х.А. 2000. Зарайская стоянка. М.

Аникович М.В. 1998. Днепро-Донская историко-культурная область охотников на мамонтов: от «восточного граветта» к «восточному эпиграветту». // Восточный граветт. М.

Аникович М.В., Анисюткин Н.К., Вишняцкий Л.Б. 2007. Узловые проблемы перехода к верхнему палеолиту в Евразии. СПб.

⁵ В литературе, как правило англоязычной, в качестве синонима используется также термин «поздневалдайский максимум» (Soffer, 1985).

Аникович М.В., Дудин А.Е., Левковская Г.М., Лисицын С.Н., Платонова Н.И., Попов В.В., Пустовалов А.Ю., Родионов А.М. 2012. Узловые проблемы становления верхнего палеолита Европы по данным новейших исследований в Костёнковско-Борщевском районе. // Мегаструктура Евразийского мира: основные этапы формирования: материалы Всероссийской научной конференции. М.

Ахметгалеева Н.Б. 2004. Кремнёвый комплекс стоянки Быки 7. // Проблемы каменного века Русской равнины. М.:

Ахметгалеева Н.Б. 2007. О перспективе исследований взаимодействия окружающей природы и верхнепалеолитических коллективов по материалам стоянок Быки в Посеймье // Проблемы археологии каменного века (к юбилею М.Д. Гвоздовер). М.

Борисковский П.И. 1941. Палеолитическая стоянка Борщевое II // Палеолит и неолит СССР (МИА. № 2). М.-Л.

Борисковский П. И. 1953. Палеолит Украины (МИА. № 40). М.-Л.

Векилова Е.А. 1953. Палеолитическая стоянка Борщевое I // Палеолит и неолит (МИА. № 39). М.-Л.

Гаврилов К.Н. 2003. Среднее Поднепровье как историко-культурная область Восточной Европы верхнего палеолита: проблема времени и причин формирования // Горизонты антропологии: Труды Международной конференции памяти академика В.П. Алексеева. М.

Гаврилов К.Н. 2005. О периодизации восточнограветтских стоянок Днепро-Деснинского бассейна. // Каменный век лесной зоны Восточной Европы и Зауралья. М.

Гаврилов К.Н. 2008. Верхнепалеолитическая стоянка Хотылёво 2. М.

Гаврилов К.Н. 2009. Женщина – зверь – орнамент. Культурная специфика в искусстве эпиграветта на русской равнине // РА. № 4.

Гаврилов К.Н, Воскресенская Е.В. 2014. Первый памятник ранней поры верхнего палеолита в Верхнем Подесенье // РА. № 3.

Гвоздовер М.Д. 1998. Кремнёвый инвентарь Авдеевской верхнепалеолитической стоянки // Восточный граветт. М.Гвоздовер М.Д., Рогачёв А.Н. 1969. Развитие верхнепалеолитической культуры на Русской равнине // Лёсс – перигляциал – палеолит на территории Средней и Восточной Европы. М.

Гиря Е.Ю. 1997. Технологический анализ каменных индустрий. Методика микро- макроанализа древних орудий труда. Ч. 2. СПб.

Гладких М.И. 1968. Каменный инвентарь Добраничевской стоянки // АИУ 1967г. Вып. II. К.

Гладких М.И. 1971. Крем'яний інвентар пізньопалеолітичного поселення Межиріч // Археологія. № 3.

Гладких М.И. 1973. Поздний палеолит Лесостепного Приднепровья. Автореф. дис.... канд. ист. наук. Л.

Гладких М.И. 1977. Некоторые критерии определения культурной принадлежности позднепалеолитических памятников // Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы. М.

Грехова Л.В. 1969. Поздний палеолит бассейна Средней Десны // Природа и развитие первобытного общества на территории Европейской части СССР. М.

Грехова Л.В. 1971. Кремнёвый комплекс стоянки Тимоновка II и однотипные памятники деснинского бассейна // История и культура Восточной Европы по археологическим данным. М.

Григорьев Г.П. 1968. Начало верхнего палеолита и происхождение *Homo sapiens*. Л.

Григорьев Г.П. 1970. Верхний палеолит. // Каменный век на территории СССР (МИА, № 166). М.

Григорьев Г.П. 1998. Отношение восточного граветяна к Западу // Восточный граветт. М.

Григорьева Г.В., Филиппов А.К. 1978. Пенская позднепалеолитическая стоянка (Курская область). // СА. № 4.

Ефименко П.П., Борисковский П.И. 1953. Палеолитическая стоянка Боршево II // Палеолит и неолит (МИА, № 39). М.-Л.

Калечиц Е.Г. 1984. Первоначальное заселение территории Белоруссии. Минск.

Кашкин А.В. 2000. Октябрьское. Стоянка 2 // Археологическая карта России. Курская область. Ч.2.. М.

Лев С.Ю. 2009. Каменный инвентарь Зарайской стоянки // Исследования палеолита в Зарайске. 1999-2005. М.

Лисицын С.Н. 1999. Эпиграветт или постграветт? // STRATUM plus. № 1.

Матюхин А.Е. 2006. Многослойные палеолитические памятники в устье Северского Донца // Ранняя пора верхнего палеолита Евразии: общее и локальное (материалы Международной конференции к 125-летию открытия палеолита в Костёнках). С.-Пб.

Нужний Д.Ю. 2002. Верхньопалеолітичні пам'ятки типу Межиріч та їх місце серед епіграветтських комплексів Середнього Дніпра // Кам'яна доба України. Вип. 1. К.

Нужний Д.Ю., Пясецький В.К. 2003. Крем'яний комплекс верхньопалеолітичної стоянки Бармаки на Рівненщині та проблема існування пам'яток мізинської індустрії на Волинській височині // Кам'яна доба України. Вип. 2. К.

Павлов П.Ю., 2004. Ранняя пора верхнего палеолита на Северо-Востоке Европы (по материалам стоянки Заозерье). Сыктывкар, 2004. 36 с.

Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону. 1879-1979. Некоторые итоги полевых исследований. Л., 1982.

Пясецький В.К. 1991. Палеолитическое местонахождение Жорнов: верхний культурный слой. // СА. № 2.

Радиоуглеродная хронология палеолита Восточной Европы и Северной Азии. Проблемы и перспективы. СПб., 1997.

Рудинский М. Я. 1947. Пушкари I. // СА. Т. IX.

Селезнёв А.Б. 1996. Технология первичного расщепления стоянки Пушкари (в сравнительном освещении): Автореф. дис.... канд. ист. наук. М.

Синицын А.А. 2002. Нижние культурные слои Костенки 14 (Маркина Гора) (раскопки 1998 – 2001 гг.) // Особенности развития верхнего палеолита Восточной Европы. С.-Пб.

Синицын А.А. 2012. Формирование верхнего палеолита Восточной Европы: костенковская модель. // Мегаструктура Евразийского мира: основные этапы формирования: материалы Всероссийской научной конференции. М.

Сорокин А.Н., Ошибкина С.В., Трусов А.В. 2009. На переломе эпох. М.

Степанчук В.Н. 2011. Стоянка Мира как источник для реконструкции начального освоения Восточной Европы человеком современного физического облика // Палеолит и Мезолит Восточной Европы. М.

Степанчук В.Н. 2013. Мира: стоянка раннего верхнего палеолита на Днестре // STRATUM plus. № 1.

Тарасов Л.М. 1989. Периодизация палеолита бассейна Верхней Десны // Четвертичный период. Палеонтология и археология. Кишинев.

Черныш А.П. 1987. Эталонная многослойная стоянка Молодова V. Археология // Многослойная палеолитическая стоянка Молодова V. Люди каменного века и окружающая среда. М.

Чубур А.А. 2001. Быки. Новый палеолитический микрорегион и его место в верхнем палеолите Русской равнины. Брянск.

Debrosse R., Kozłowski J. 1988. Hommes et climats a l'age du mammoth. Le Paleolithique superieur d'Eurasie Centrale. Paris.

Gavrilov K. N., Voskresenskaya E. V. 2014. Early Upper Paleolithic near to the Khotylevo village // The Dolni Věstonice Studies. Vol. 20. Mikulov Anthropology Meeting 2014.

Grigor'ev G. P. 1993. The Kostenki-Avdeevoo Archeological Culture and the Willendorf-Pavlov-Kostenki-Avdeevoo Cultural Unity // From Kostenki to Clovis. Upper Paleolithic - Paleo-Indian Adaptations. N. Y. - L.

Noiret P. 2009. Le Paléolithique supérieur de la Moldavie. Essai de synthèse d'une évolution multi-culturelle. Liège.

Nuzhnyi Dmytro Yu. 2009. The industrial variability of the eastern Gravettian assemblages of Ukraine. // Quartär. Vol. 56

Otte M. 1981. Le Gravettien en Europe Centrale. Vs 1-2. Brugge.

Soffer O. 1985. The Upper Paleolithic of the Central Russian Plain. Orlando.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АИУ Археологические исследования на Украине, Киев;
- МИА Материалы и исследования по археологии СССР, М.-Л.;
- РА Российская археология, М.;
- СА Советская археология, М.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ГОМИНИД ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА

Введение

Долгое время происхождение Человека разумного связывали с верхнепалеолитической эпохой. Действительно, около 40 тыс. лет тому назад первые представители *Homo sapiens* появляются и в Европе (Младеч V), и в Азии (Вадыак). Однако палеоантропологические исследования последних десятилетий прошлого века показали большую древность человека современного типа, которая выходит за рамки верхнего палеолита. Ряд находок, происходящих из Африки (Элие Спрингс, Бордер Кейв, Летоли 18, Омо, Мумбва и т.д.), как осторожно пишут исследователи, «человека, анатомически сходного с современным», удрешили его возраст до 120-170 тыс. лет. За пределами Африки наиболее древней находкой сапиентных останков человека является Кавзах 6. По разным источникам она датируется от 92 до 115 тыс. лет назад. Географическое положение находки указывает на возможный восточный вариант миграции *Homo sapiens* с Африканского континента. Представления о становлении «этологически» современного человека строятся, главным образом, на основании резкого скачкообразного усовершенствования орудий и охотничьего снаряжения, возникновения наскальной живописи и скульптуры, явившихся отражением возросшей социализацией общества, что произошло примерно сорок тысяч лет назад. В настоящее время считается установленным, что в разных частях ойкумены процесс сапиентации на разных его стадиях происходил неравномерно, но это было универсальным явлением, приведшим к биологическому видовому единству человечества при значительном культурном разнообразии (Зубов, 2004.С.381). Для верхнепалеолитического человечества при сохранении его видового единства был свойственен ярко выраженный краниологический и остеологический полиморфизм. Авторы настоящей статьи разделяют точку зрения большинства антропологов на то, что *Homo sapiens* является политипическим видом. Но как возникло его огромное внутривидовое морфологическое разнообразие? Какова древность возникновения этой внутривидовой (расовой) дифференциации? На сегодняшний день эти вопросы решаются большинством ученых-антропологов отнюдь не однозначно. Существует обширная лите-

ратура по вопросам, связанным с происхождением, расселением и внутривидовой дифференциацией сапиенсов (обзор ее см.: Зубов, 2004).

Расселение человеческих популяций, их столкновение с новыми условиями обитания, приспособление к новому, иногда экстремальному существованию, способствовали расширению генетических адаптационных возможностей и, соответственно, увеличению диапазона адаптивной изменчивости, характерного для вида *Homo sapiens* в целом. Расселение его происходило под влиянием нескольких факторов. Один из них - возрастание численности популяций и вытеснение одних групп другими в ходе конкуренции за жизненно важные ресурсы. Наиболее существенными были экологические стимулы миграций. Экологические факторы способствовали дальнейшему расселению или, напротив, препятствовали ему и играли роль изолирующих барьеров. Имела значение также величина группы, запас ее генетической адаптивности, от которой зависела судьба отдельных популяций, от расцвета до вымирания. В конечном итоге для объяснения биологической дифференциации вида не стоит пренебрегать и генетико-автоматическими процессами. Еще один важный фактор биологической и социальной дифференциации наряду с географической средой – это положение популяции в системе других соседних групп, подвижность социальной среды, характер взаимодействия с соседними популяциями, выражающийся в периодичности и длительности брачных контактов (Алексеев, 1998). Таким образом, для каждой популяции резерв ее адаптивной изменчивости, ее «запас прочности» при столкновении с неблагоприятными условиями среды, зависел от исходных морфофункциональных особенностей слагавших ее индивидуумов, их опыта пребывания в различных условиях среды, от длительности периода освоения этой экстремальной ниши. Резерв адаптивной изменчивости имеет непосредственное значение для реализации миграционного потенциала, расселения и их конечных результатов (Алексеев, 1985).

Цель настоящей статьи проиллюстрировать на изученных материалах ведущие факторы – биологические и социальные – внутривидовой (расовой), популяционной и адаптивной изменчивости.

Естественно, что речь пойдет о дифференциации в пределах двух больших расовых стволов, европеоидного и монголоидного. Японский генетик Н. Масатоси считает, что человек разумный впервые разделился на две микроэволюционные ветви примерно 100 тыс. лет назад, причем одна ветвь была представлена протонегроидами, а другая – недифференцированным европеоидно-монголоидным стволом, разделившимся по данным этого автора значительно позже, около 60 тыс. лет назад. Одновременно японский исследователь констатирует большую генетическую близость субрасовых таксонов как внутри европеоидной расы, так и в пределах монголоидной (цит. по Зубову, 1995).

Вопрос о преемственности в терминах наличия или отсутствия связи внутривидовых подразделений эпохи верхнего палеолита с эволюционными ветвями, ведущими к современным расовым подразделениям, составляет содержание значительного числа отечественных и зарубежных работ и выходит за рамки настоящей статьи. Анализ литературы, посвященной этой проблеме, показывает, что в известной степени авторы пришли к компромиссному соглашению о том, что формирование современных рас – это длительный многоступенчатый процесс от ранних фаз верхнего палеолита до неолита включительно

В рассматриваемом временном контексте для европеоидной ветви уместно понятие «протоевропейского антропологического типа», (введенное в науку Г.Ф. Дебецем), в который включаются все сходные с кроманьонскими скелетами из Лез-Эйзи и Ментонских гротов костные останки верхнего палеолита. Причем, термин «протоевропейский» подчеркивает генетическое родство этого типа с современными расами европеоидного ствола (Дебец, 1936).

Для монголоидной ветви также может быть введен термин «протомонголоидный недифференцированный антропологический тип», характеризующийся сочетанием специфических черт крупных расовых подразделений современного населения Восточной Сибири (арктической, байкальской и центральноазиатской рас). (Алексеев, Гохман, 1984. С.34). Эти черты, диагностируемые на неолитических черепах из Дириг-Юряха, на р. Лене, Усть-Бельском на р.Анадырь, Родинка II на р. Колыме, совмещены в них в исходной слабо дифференцированной форме (Гохман, 1961, Гохман, Томтосова, 1983, Gochman Tomtosova, 1983).

Материал и методики

Настоящая статья представляет собой публикацию материалов, изученных авторами и иллю-

стрирующих процесс расселения и адаптации Человека разумного по Северной Евразии, начиная со времени его появления здесь в пределах от 40 тыс. лет тому назад. В связи с заявленной темой нами были рассмотрены палеоантропологические материалы верхнепалеолитического и мезолитического времени различных территорий Евразии – Русской равнины и Черноземья Восточной Европы, Юга Западной Европы, Крыма, Русского Севера, резко различающихся в географическом отношении и представляющих собой диапазон экологических ниш обитания раннего сапиенса.

Палеоантропологический материал, к сожалению, не всегда позволяет выявить значимые биологические характеристики особенностей расового или адаптивного типа древнего населения (неполнота находки, плохая сохранность костного материала, дорогостоящие методики и т.д.) Исследования проводились по краниометрической программе, которая составляет традиционно основное содержание палеоантропологических работ, по остеометрической программе, фиксировались также показатели двигательной активности, показатели холодового и алиментарного стрессов, патологии и травмы. В работе представлены реконструкции внешнего облика, выполненные по черепах анализируемых находок.

Итак, нами было рассмотрено верхнепалеолитическое население Восточной Европы, представленное находками в Костенках, Сунгире, Сиделькино (Гора Маяк) и юга Западной Европы (Арене Кандиде); мезолитическое население Крыма (Мурзак-Коба и Фатъма-Коба) и Прионежья (Песчаница), (Герасимова, Пежемский, 2005, Балуева и др., 2007; Герасимова, 2008, Боруцкая, Васильев, 2008, Герасимова, Боруцкая и др., 2010, Жамбалтарова, Герасимова, Васильев, Боруцкая, 2011).

Верхнепалеолитическое население Европы

Практически все европейские верхнепалеолитические останки человека имеют ряд морфологических отличий от предшествующих форм и описываются как «смесь разновидностей» сапиентного типа. Являясь представителями вида человека разумного, они, тем не менее, отличаются целым рядом морфологических характеристик, особенно отчетливо проявляющихся на черепе. Диаметры их мозговой коробки близки к средним величинам современных долихокранных черепов; высота черепного свода больше, чем на черепах доюрмского времени; височная чешуя имеет большой вертикальный размер, соответствуя уров-

ню прохождения первой височной борозды мозга; надбровье - I-II типа, инион расположен низко; контур челюстно-скуловой дуги вогнутый; на передней стенке верхней челюсти имеется клыковая ямка; в симфизе нижней челюсти выделяется подбородочный треугольник (Бунак, 1980). На отдельных черепах верхнего палеолита сапиентный комплекс признаков выражен не полностью, ряд черепов характеризуются сохранением некоторых примитивных особенностей.

Посткраниальный скелет изучен гораздо хуже, но, считается установленным, что его морфометрические характеристики, показатели массивности, пропорции и внутреннее строение хранят память о своем происхождении. Представление о верхнепалеолитическом населении Восточной Европы строится, главным образом, на изучении скелетов из погребений на стоянках Костенки и Сунгирь.

Обычно в качестве отправной точки для изучения процесса заселения Восточно-Европейской равнины в верхнем палеолите рассматривается стоянка **Сунгирь**. Это обусловлено тем, что это было единственным до недавнего времени самым северным восточноевропейским местонахождением костных останков верхнепалеолитического человека. Замечательные сунгирские скелетные материалы были исследованы по целому ряду программ и подробно опубликованы в ряде изданий, поэтому нет необходимости их здесь подробно описывать (Сунгирь, 1984, *Homo sungsirensis*, 2000). Для нашей темы представляет интерес, что сунгирские материалы отличаются чрезвычайной степенью краниологического полиморфизма, спектр которого адекватен изменчивости всех европейских верхнепалеолитических ископаемых людей. Расовые особенности черепов, в современном понимании, выражены неотчетливо: у мужского черепа лицевой скелет и носовые кости несколько уплощены, один из детских черепов – мальчика - имеет узкое носовое отверстие и выраженный прогнатизм, два других – девочки и женщины – также демонстрируют два различающихся краниотипа. Такой череп, как Сунгирь 1, можно найти в любой европейской популяции, если отвлечься от очень больших размеров лица. Г.Ф. Дебец охарактеризовал его как представителя кроманьонского типа в широком смысле этого термина, т.е. охватывающего всех верхнепалеолитических людей Европы. Сочетание признаков на черепе Сунгирь 1 в современных расовых вариантах встречается крайне редко, среди ископаемых черепов ближайšie аналогии мы находим, с одной стороны, с черепом Пшедмости Ш и с другой – с черепом Чжоукоудянь 101 (Бунак, 1973, Бунак, Герасимова, 1984, Герасимова,

2000). Долихокрания женского черепа Сунгирь 5 в сочетании с широким и низким лицом образуют комплекс признаков, отличный от характерного для черепа Сунгирь 1. Дисгармоничность в сочетании лицевого и черепного указателей выражена не менее отчетливо, чем в кроманьонском типе французских находок. Ближайшие аналогии этот череп обнаруживает с черепом Костенки 2 (Герасимова, 1984. С.143, Герасимова, 2000). Детские костяки и черепа из парного погребения 2 морфологически отличаются друг от друга, хотя генетический анализ, как будто бы, говорит об их родственных отношениях (Полтораус и др., 2000). Морфологическое разнообразие облика древних Сунгирцев отчетливо демонстрируют реконструкции, выполненные по их черепам (Рис. 1, 2, 3).

Посткраниальный скелет **Сунгирь 1** в силу полноты представленности послужил в известной мере основой для разработки палеоантропологического аспекта конституции и реконструкции габитуса ископаемых гоминид (Хрисанфова, 1979; Хрисанфова, 1980; Хрисанфова, 1984; Хрисанфова, 2000). Многие особенности морфотипа человека из Сунгирия сближают его с современными арктическими популяциями и отчасти – с неандертальцами. Это исключительная плотность телосложения, резкая брахиморфия верхней части туловища, сильное развитие мезоморфного компонента, очень массивный скелет. Отношение веса к поверхности тела соответствует групповому максимуму современного человека и близко к его величине у классических неандертальцев (Хрисанфова, 1984).

Мы видим на примере сунгирских материалов, что распространение групп современного человека на север предусматривает сформировавшуюся биологическую адаптацию к суровым условиям холодных перигляциальных степей. С другой стороны, с точки зрения этого автора, среди признаков посткраниального скелета имеются специфические, архаические черты, сближающие сунгирца с «сапиентными мустьерцами» Восточной Европы (Романково, Самара, Шкурлат) и «протокроманьонцами» Передней Азии (группы Схул). Это – высокорослость, абсолютное и относительное удлинение предплечья и голени, тенденция к укороченности туловища, т.е. черты, свойственные исходным конституциональным особенностям популяции и присущие в наибольшей степени группам южного происхождения.

Если считать всех погребенных в местонахождении Сунгирь представителями одной популяции, то придется признать необыкновенную, чрезвычайно пестроту ее антропологического состава. Поскольку возраст погребения мужчины и погре-

бения детей значительно различаются, а датировки по ^{14}C костных материалов и угля из культурного слоя колеблются между 25 и 30 тысячами лет, то трудно представить себе существование поселения и «кладбища», функционирующих в течение столь долгого времени. Скорее всего, это было удобное место для охоты на северного оленя при переправе через реку во время сезонных миграций, неоднократно посещаемое различными популяциями древних людей на протяжении нескольких тысячелетий.

Проникнув однажды в северные широты Восточной Европы 34-37 тысячелетий тому назад, о чем свидетельствуют археологические материалы (например, местонахождение Мамонтова Курья), верхнепалеолитический *Homo sapiens* перманентно посещал их, освоив миграционный тип хозяйственно-культурной адаптации (по А.А. Величко). Он не оставил эти территории даже в период максимального плейстоценового похолодания, о чем свидетельствуют археологические материалы. Успешному проживанию верхнепалеолитического человека в условиях перигляциальной степи прежде всего способствовали генетически заложенные широкие адаптационные возможности его организма.

Местонахождение **Костенки** в Костенковско-Боршевском районе на Среднем Дону представляет собой уникальный по концентрации стоянок верхнего палеолита комплекс, включающий памятники ранней, средней и поздней поры верхнего палеолита и имеющий особое значение в формировании представлений об истории верхнепалеолитического общества не только этого региона, но и Восточно-Европейской равнины в целом. Здесь к концу прошлого столетия было открыто и в различной степени исследовано около 60 разновременных и разнокультурных поселений (Палеолит Костенковского..., 1982). В 50-е годы прошлого столетия в Костенках были открыты четыре верхнепалеолитических погребения, связанных с культурными слоями различного возраста и генезиса. Основные палеоантропологические находки были сделаны тогда же. Три находки из них были изучены Г.Ф. Дебецем (Дебец, 1955:43-55, 1961), одна - В.П. Якимовым (Якимов, 1957. С. 515-529). Спустя тридцать лет была сделана еще одна находка (Герасимова, 1997. С. 138-144).

В русле парадигмы того времени изучение костенковских находок было сведено к определению таксономического статуса и реконструкции генезиса отдельной ископаемой формы. В костенковских находках отразилась вся сложность и многогранность проблемы дифференциации и генетических

взаимоотношений различных территориальных, культурных и хронологических вариантов европейского верхнепалеолитического человечества. Реальность существования отдельных морфологических вариантов среди европейского населения эпохи верхнего палеолита, их классификация, генезис, роль этих вариантов в последующем расогенезе – вот круг проблем, которым посвящена обширная литература, в том числе отечественная, даже краткий обзор которой выходит за рамки настоящей статьи. Одни исследователи считали морфологические комплексы, присущие этим находкам, палеорасами, трактуя их как исходные формы для позднейших современных рас (Дебец, 1955; Якимов, 1957. С. 515-527). Другие рассматривали их как мозаичные, часто негармоничные формы, возникающие в процессе формирования типа и лишь на последних этапах развития консолидирующиеся в варианты (расы), имеющие географическую приуроченность (Бунак, 1980; Бунак, 1984). Яркой иллюстрацией подобного утверждения и примером отсутствия такого адаптивного комплекса, который мы обнаруживаем у человека из Сунгира, может служить находка в **Костенках 14** (р.Дон) уникального погребения молодого мужчины (Рогачев, 1955; Рогачев, 1957). Это, так называемый, «негроид с Маркиной Горы», исследованный Г.Ф. Дебецем (1955), реконструкция внешнего облика которого была выполнена М.М. Герасимовым (Рис. 4). Череп удивлял своим необычным для данного региона сочетанием черт (сильно выраженный прогнатизм и чрезвычайно сильное выступание носовых костей), которое позволило назвать его «негроидным» или «папуасообразным». По всем значениям указателей, характеризующих линейные пропорции, скелет из Костенок 14 не выходит за пределы вариаций европейского человека. На основании высчитанных характеристик, таких как условный показатель объема скелета, вес, рост, весо-ростовой индекс Рорера, поверхность тела и отношение веса к поверхности, был охарактеризован конституциональный габитус человека из Костенок 14, отличающийся малым весом, низкорослостью, грацильностью, малой плотностью тела (Герасимова, 2008).

Экстраполируя данные о габитусе человека, погребенного на стоянке Костенки 14, на популяционный уровень, можно предположить, что они могли бы служить маркером среды обитания, более благоприятной, чем среда обитания сунгирского человека (Герасимова, 1982; Герасимова, 1991). Однако современные исследования на стоянке Костенки 14 не дают оснований считать условия проживания сунгирца и маркинца диаметрально

противоположными (Синицин и др., 2004). Не исключено, что находка человека на Маркиной горе представляет собой свидетельство проникновения на Русскую равнину представителя популяции, не приспособленной к жизни даже в условиях мегантерстадиала, оказавшихся слишком жесткими для него – отдельный случайный эпизод далеких миграций (Герасимова, 2008).

Схожесть картин обитания, наблюдаемых в Сунгире на Клязьме и в районе Костенок на Дону, т.е. приуроченности стоянок к довольно ограниченной территории, приводит к мысли о некоем единообразии хозяйственной жизни различных верхнепалеолитических общин. Именно она определяла выбор места поселения на краю широкой поймы при наличии сильно изрезанных береговых возвышенностей, удобных для охоты на мамонтов, северных оленей или лошадей (Величко, Зеликсон, 2006).

Следующая анализируемая находка Арене Кандиде происходит с территории Итальянской провинции Савона. Скелет подростка был найден в пещере, расположенной на высоте 90 м над уровнем моря на склоне горного отрога, на побережье Лигурийского моря возле городка Финале Лигуре (Finale Ligure). Скелет юноши, эффектно украшенный, был найден на глубине 6.70 м в ложе, обильно покрытом красной охрой. Вокруг головы располагались сотни раковин моллюсков и оленьих клыков, с проделанными в них отверстиями. Вероятно, они служили украшением головного убора. Раковины моллюска Кипрея, подвески из бивня мамонта, четыре перфорированных “жезла вождя” из рога лося, на три из которых нанесены радиальные насечки, а также 23-сантиметровый кремниевый нож, зажатый в правой руке погребенного, дополняли уникальное сопровождение этой находки (Рис.5) (Mussi, 2001).

Украшения, выполненные из бивня мамонта, нетипичны для верхнего палеолита Италии, так как в это время на данной территории останки мамонтов практически не встречаются. С другой стороны, в соседней Франции и на равнинах Восточной Европы, мамонты были широко распространены. Таким образом, изделия из бивня мамонта, возможно, имеют не местное происхождение. То же самое можно сказать и в отношении кремниевого ножа. Было установлено, что кремний, который пошел на его изготовление, происходит из района Южной Франции, расположенного приблизительно в 300 км от данного памятника. “Жезлы вождей” также являются экзотической находкой для Верхнего Палеолита Италии, в то время как во Франции они достаточно часты. Интересно, что эти археологические данные, наводящие на размышления о высокой подвижности верхнепалеолитического населения

Италии, подтверждают биологические свидетельства по изучению биомеханических свойств нижних конечностей скелета юноши (Holt, 2003).

Абсолютная датировка скелета по С14 составляет 23440 +/-190 лет до нашей эры, что подтверждает отнесение этого погребения к средней части верхнего палеолита, сделанное на основании археологических исследований (Pettitt et al., 2003).

Скелет принадлежит подростку мужского пола, приблизительно 15–16 лет, и характеризуется массивным телосложением и относительно удлиненными пропорциями тела. Его рост оценивается в 170 см. В конце периода роста он мог бы составить приблизительно 180 см, что является очень высоким показателем для верхнего палеолита (Formicola, 2003). Известная зависимость между качеством питания и размерами тела позволяет предположить, что пищевой рацион, особенно в отношении потребления белка, был сбалансирован и достаточен. Это также подтверждается отсутствием на зубах и костях изменений, указывающих на недостаточное питание и некомфортные условия жизни. Проведенный анализ стабильных изотопов также свидетельствует в пользу высоких пищевых стандартов и большого потребления белков наземных и морских животных (Pettitt et al., 2003).

По многим внешним признакам это захоронение очень напоминает сунгирские погребения – орудия, украшения и предметы культа, изготовленные древним человеком из бивня мамонта и костей других животных, а также обилие охры, покрывающей всю поверхность. Также и антропологические особенности черепа подростка из Арене Кандиде напоминают типологические черты Сунгирского мальчика. Прежде всего обращает на себя внимание сильный альвеолярный прогнатизм на обоих черепах. Противоречивое сочетание довольно сильного выступления носовых костей с низким переносом дополняет схожесть облика обоих мальчиков. На рисунке 6 можно видеть облик подростка, восстановленный с учетом последних разработок метода антропологической реконструкции (Веселовская, Балужева, 2012; Веселовская и др., 2013; Веселовская, 2015, в печати).

В результате проведенного канонического анализа комплексов признаков мозговой коробки и лицевого скелета (Балужева и др., 2007) положение данной находки с поправкой на возраст можно рассматривать как центральное среди ранних верхнепалеолитических сапиенсов. В качестве прогрессивной черты можно отметить относительно большую высоту свода черепа.

Сочетание сильного выступления лица со сравнительно небольшим небом и умеренной шириной

лица при широких глазницах указывает на отсутствие сложившихся расовых комплексов, характерных для современного человечества и свидетельствует о высокой подвижности населения в эпоху раннего верхнего палеолита. Подросток из Арене Кандиде является прогрессивным западноевропейским ранневерхнепалеолитическим неантропом, имеющим несомненное сходство с центральными и восточноевропейскими формами и сродство с позднейшими африканскими сапиенсами, что подтверждает африканское происхождение европейского сапиенса.

Приблизительно 14 тыс. лет назад начинается завершающий этап становления вида *Homo sapiens* и начальный этап современной внутривидовой дифференциации человечества. Своего рода вехой рубежа плейстоцена-голоцена на этом пути может служить сравнительно недавняя находка в Самарском Заволжье на р.Большой Черемшан трех полуразрушенных карьерными разработками грунтовых погребений, содержащих палеоантропологический материал (**Гора Маяк, Сиделькино**). Радиоуглеродный анализ человеческих костей дал некалиброванную дату - 10030 ± 50 л.н.(GIN-11528); калиброванная дата – 11550 л.н. (Кузнецова, Пономаренко, 2003; Сташенков, 2003). Подробное описание скелетов из погребений, содержащих неполные костяки двух взрослых индивидов, можно найти в работе двух авторов настоящей статьи (Боруцкая, Васильев, 2003). Значительное внимание в ней было уделено определению половой принадлежности костяков, поскольку у костяка из погребения 1 отсутствовал череп, а у костяка из погребения 3 отсутствовали кости нижних конечностей, а на груди лежали косточки новорожденного (?).

Сиделькино 1. По признакам тазовых костей, показателям длинных костей конечностей скелет принадлежал мужчине, возраст которого составлял примерно 22-24 года. Изучение посткраниального скелета показало следующее: относительную удлиненность голени по сравнению с бедром, ниже среднего массивность обеих костей конечностей, хорошо развитый мышечный рельеф костей рук, особенно рельеф прикрепления большой грудной мышцы, и мест прикрепления двуглавой мышцы плеча. Следует также отметить значительное развитие рельефа супинатора и квадратного пронатора. Хорошо развиты надмышечки бедра, что предполагает соответствующее развитие икроножных головок трехглавой мышцы голени.

Бедренные кости, особенно правая, сильно расширены и уплощены в верхней части диафиза. Тела костей выгнуты медиально, как будто отражают последствия рахита. Большеберцовые кости

сильно сплющены с боков. Индексы платикнемии свидетельствуют о саблевидной форме (особенно правой кости). Прижизненный рост, определенный по формулам Бунака, Дюпертуйи и Хеддена, составил 180,1 см.

На костях нижних конечностей и тазовых костях зафиксированы следы остеопороза и несильного периостита.

Сиделькино-3. Для снятия вопроса о половой принадлежности индивида была проведена генетическая экспертиза, выявившая принадлежность останков мужчине. Скелет отличается грацильностью костей, относительной укороченностью предплечья. Ключично-плечевой индекс говорит в пользу узкоплечести. Прижизненный рост, определенный по формулам Дюпертуйи и Хеддена, составил 174,4 см. Степень развития мышечного рельефа показывает умеренное развитие мышц верхних конечностей. Зарегистрированные многочисленные остеопорозы и даже остеолиты эпифизов длинных костей рук можно рассматривать как проявления полиартрита, но не в сильной степени. Вопреки ожиданиям, вызванным общим представлением о суровости климата в эпоху верхнего палеолита, костяки не обнаруживают признаков ярко выраженного арктического адаптивного типа, они скорее долихоморфны и узкоплечи. Заслуживает внимания большая длина тела. Однако, следует вспомнить, что время существования этих людей синхронно аллереду (11,8-11 т. л. н.), которому свойственно наибольшее потепление и широкое распространение в умеренной зоне Восточной Европы березово-сосновых лесов (Долуханов, 2008).

Сохранившийся череп взрослого индивида из этого погребения **Сиделькино-3** был описан, как женский (Хохлов, Яблонский, 2003). По данным генетического анализа он принадлежал мужчине. Так или иначе, череп обладает комплексом черт, достаточно специфичных, которые в несколько модифицированном виде свойственны некоторым популяциям лесных и лесостепных территорий Волго-Уральского региона последующих исторических эпох. Этот комплекс - долихокрания, широкое низкое лицо, уплощенное на верхнем уровне и клиногнатное на нижнем, узкий лоб, вогнутый профиль носовых косточек, умеренный прогнатизм. Эти черты не имеют аналогий ни с одним из известных краниологических вариантов западноевропейского верхнепалеолитического населения, ни с населением Русской равнины, ни с известным более поздним мезолитическим населением Русского Севера, Приднепровья или Крыма. Возможно, именно здесь, в особенностях черепа из погребения Гора Маяк (Сиделькино 3), мы находим истоки той

древней формации, в которой В.В. Бунак (1980) видел древние корни уральской расы.

* * *

Итак, нами было еще раз показано на примере находок из Сунгиря, Костенок, Арене Кандиде и Сиделькино, что населению верхнего палеолита Европы был свойственен краниологический (Бунак, 1956; Бунак, 1959; Бунак, 1980) и остеологический полиморфизм. Причиной тому, вероятнее всего, была небольшая численность отдельных популяций. Реальной общественной единицей, по аналогии с охотничьими народами, была небольшая локально-родовая группа, периодически объединяющаяся для совместной охоты или празднеств. Продолжительный контакт между группами, необходимый для консолидации антропологического типа при малом численном приросте, бывал сравнительно редко. Однако в некоторых случаях те или другие комбинации краниологических признаков оказывались более устойчивыми в течение времени, более распространенными или, наоборот, узколокализованными, и прослеживаемыми в краниологических особенностях последующего населения. Именно эти особенности, свойственные уральской расе, прослеживаются в особенностях находки Сиделькино 3.

Мезолитическое население Восточной Европы

В антропологической литературе, во всяком случае, отечественной, мезолитическая эпоха рассматривается как промежуточная между палеолитом и неолитом, как переходный этап к современности (Герасимов, 1955; Зубов, 2004). Между тем, вся сумма наших знаний в настоящее время говорит о том, что в мезолите человечество пережило один из серьезнейших экологических кризисов, хотя общим направлением развития географической среды в постледниковое время было постепенное смягчение климатических условий в результате отступления, департизации и исчезновения Скандинавского ледника. Эти глобальные ландшафтно-климатические изменения привели к сдвигу всех природных зон в Европе к северу, в частности, тундры и лесотундры, к возникновению новых ландшафтных зон, перераспределению фаунистических и флористических комплексов. К началу голоцена человек столкнулся с фактами разрушения эволюционно сложившихся цепочек связей между видовыми сообществами и вымирания отдельных видов макрофауны (шерстистого носорога, мамонта) и ряда видов крупных стадных животных, служивших основным источ-

ником пищи верхнепалеолитического человека. Распад единой гиперзональной области и формирование иных, близких к современным, растительных и фаунистических комплексов привели к разрушению верхнепалеолитических экосоциальных подсистем, бывших достаточно устойчивыми и адаптированными к перигляциальным ландшафтам (Хотинский, 1977). Поиск человеком новых способов добычи пищи и освоения новых экологических ниш выразился в многочисленных локальных подвижках населения. Увеличением площади освоенных территорий на севере, северо-западе и северо-востоке Европы приводило к снижению плотности населения. Последствия расселения мезолитического населения за мигрирующими стадами северного оленя, выявляемые в сфере развития мезолитических культур, должны были сказаться и в сфере биологии человека. Уменьшение плотности населения и возникновение изоляции отдельных подвижных групп населения способствовали антропологической дифференциации. На разных территориях этот процесс происходил по-разному. Где-то генезис населения происходил на местной основе, где-то на базе контактов с мигрантами. Представляется доказанным, что заселение Северной и Восточной Европы осуществлялось населением, культура которого базировалась на постсвидерской и постарембургской традициях (Кольцов, 1989; Ошибкина, 1994; Шумкин, 1993). К кругу постсвидерских памятников относится культура Веретье, в частности стоянка **Песчаница**, на которой нами были изучены остатки полуразрушенного погребения. Самостоятельное таксономическое положение населения Песчаницы по отношению к краниологическим комплексам мезолита и неолита Восточной Европы было показано в литературе различными авторами на фоне различной морфологической изменчивости (Алексеева, Круц, 1999; Герасимова, Пежемский, 2005). Мужской череп из Песчаницы, отличаясь от наиболее близкой территориально и по культурной принадлежности находки из Попово, сближается с одним из краниотипов серии из Южного Оленьего Острова. Это долихокранный вариант с относительно невысоким сводом, с крупным, широким, хорошо профилированным лицом. Это единственная находка по комбинации признаков до некоторой степени сходная с комбинацией их, характерной для Песчаницы. Однако, череп из Песчаницы отличается заметным своеобразием – очень большой высотой превосходящей величину поперечного диаметра мозговой коробки и ширину лицевого скелета, очень большими величинами верхней высоты лица и высоты носа, общей мезогнатностью в сочетании

с некоторой уплощенностью на уровне назиона и клиногнатностью лица на зигомаксиллярном уровне (Герасимова, Пежемский, 2005).

Для Крыма надежно зафиксировано автохтонное развитие населения с начала средней поры верхнего палеолита и появление здесь в его заключительную пору, около 11 тыс. лет назад, свидерского населения. В настоящей статье анализируются опубликованные материалы и рассматриваются новые данные о широко известных мезолитических находках из **Крыма** – из Мурзак-Кобы и Фатьма-Кобы: остеология, маркеры физической активности, палеопатологические изменения на костях.

Костные останки из погребения, обнаруженного в 1927 С.А.Трусовой и С.Н. Бибиковым в гроте **Фатьма–Коба**, были тщательно изучены Г.Ф. Дебецем (1936). По его данным, костяк принадлежал мужчине около 40 лет. Рост по Пирсону был определен в 1,689 м, а по Манувриу - 1,682 м. Череп был описан, как крупный, очень высокий. Никаких затруднений в расовой диагностике черепа Г.Ф. Дебец не видел: «низкое лицо, сильная горизонтальная профилировка, высокое переносье, резкое выступание носовых костей над линией профиля, широкие и слабо суженные в своей средней части носовые косточки – все эти признаки указывают с полной несомненностью на европейский расовый ствол. Исключением является мезогнатность, причем не альвеолярная, а общая». Согласно взглядам того времени, Г.Ф. Дебец пишет, что скелет обладает некоторыми признаками древней стадии развития, общей для всех евро-африканских рас *Homo sapiens*. Особенностью изучаемого индивида кроме мезогнатности, не меньшей, чем у австралийцев, папуасов, камерунских негров, является также удлинённая голень (Дебец, 1948. С. 43-44). Однако в более поздней работе эти евро-африканские особенности он стал рассматривать как результат метисации с негроидами (Дебец, Трофимова, Чебоксаров, 1951. С. 451). С позиции сегодняшнего дня интерес представляет факт определенного совпадения обряда погребения фатьма–кобинца в очень узкой яме в сильно скорченном положении с обрядом погребения мужчины из Костенок 14, также обнаружившего «евро-африканские» особенности (см - выше). Описывая верхнепалеолитический костяк из Костенок 14, Г.Ф. Дебец ставил вопрос о соотношении антропологических типов, свойственных костенковским находкам (Костенки 14 и Костенки 2), и проводил параллели с находками в Ментонских гротах, где «негроиды» Гримальди также предшествовали кроманьонским формам (Дебец, 1955).

Осенью 1936 г. в гроте **Мурзак–Коба**, расположенном всего в 12 км от вышеописанного место-

нахождения, в мезолитическом слое было обнаружено двойное погребение. Оба костяка лежали на спине, в вытянутом положении, головами к выходу грота. Скелет, лежащий севернее - Мурзак-Коба 1, лежащий к югу – Мурзак-Коба 2. Костные останки были исследованы Е.В. Жировым (Жиров, 1940). Пол северного костяка **Мурзак-Коба 1**, по строению черепа и таза был определен как женский. Возраст не превышал 20-25 лет. Значительная стертость зубов в столь ранние годы объяснялась по аналогии с современными народами, сохраняющими традиционный образ жизни, использованием зубов в хозяйственных целях. Женщина Мурзак-Коба 1 отличалась высоким ростом, обладала удлинённым предплечьем и короткой голенью, что находит превосходное отражение в весьма высокой величине луче-берцового указателя. Очень подробное морфологическое описание находки, сделанное Е.В. Жировым, избавляет нас от необходимости его приводить. Однако уточним это описание в рамках категории признаков, предложенных Г.Ф. Дебецем, и вошедших в нашу практику с 1964 г. Мозговой череп для женщины огромен. Очень большая длина его сочетается не с большим, а очень большим поперечником и незначительным, как у Жирова, а с выходящим за групповой максимум высотным диаметром. Отметим также очень широкое и средне-высокое мезогнатное лицо, очень широкие и очень низкие орбиты, среднеширокий и средневысокий нос и большой угол выступания носовых костей. Любопытная особенность этого костяка – прижизненная ампутация средней и ногтевой фаланг обоих мизинцев (Жиров, 1940).

Также очень подробно описан череп **Мурзак-Коба 2**. Его описание, отдаленное от нашего времени семью десятками лет, дает нам в некупированном виде представление об этой находке. Наряду с добротным и полным морфологическим анализом ее интересно прослеживаются различия во взглядах Г.Ф. Дебеца и Е.В. Жирова на относительную древность описываемых форм. Здесь отчетливо является смена парадигмы, произошедшая с того времени, в вопросе о преемственности верхнепалеолитического и мезолитического европейского населения и связи внутривидовых морфологических комплексов с эволюционными ветвями, ведущими к современным расам (Рис. 7).

Костяк Мурзак-Коба 2 менее полон, чем описанный выше. Скелет этот, вне всякого сомнения, мужской. Ко времени смерти субъекту было 40-50 лет. Рост мужчины из грота Мурзак-Коба должен быть оценен как очень большой. Предплечье относительно еще длиннее, чем у костяка 1. Приведем характеристику черепа на основании измерений

и описаний, данных Е.В. Жировым. Продольный диаметр очень велик, поперечный – в категории средних размеров. Скуловой диаметр очень большой, лицо высокое, ортогнатное, с очень широкими и очень низкими глазницами, со средневысоким и узким носом, очень большим углом выступания носовых костей.

Сравнивая между собой оба костяка, Е.В. Жиров, в отличие от других более поздних исследователей, находил в строении их различия, которые, несомненно, не покрываются половым диморфизмом. Все широтные размеры мозгового черепа женщины абсолютно больше таковых мужского черепа. Из этого вытекает огромная разница в черепном указателе (6 единиц!). Женщина отличается прогнатизмом, в то время, как череп Мурзак-Коба 2 ортогнатен. Следует добавить также, что у него очень низкие орбиты и узкий нос. Однако, подчеркивал исследователь, еще разительнее сходство, которое обнаруживается в ряде других признаков, а именно: в больших абсолютно размерах тела, своеобразных пропорциях конечностей, сильно развитом надбровье, необычайной широколицести и достигающей крайних пределов хамэконхии. С его точки зрения, морфологические параллели указать нетрудно. «Рослая, длинноголовая, широколицая, хамэконхная кроманьонская раса является одной из старейших и наиболее популярных категорий палеоантропологии... Кроманьонскую расу следует рассматривать как одну из важнейших стадий эволюции физического типа человека верхнего палеолита Европы, Северной Африки и Передней Азии. Нельзя забывать, однако, что морфологические особенности скелетов из Комб-Капелль, Шанселяд и двойного погребения в Гроте Детей указывают на сложность процессов расообразования и широкий размах вариаций вокруг основной линии, идущей через кроманьонидный комплекс признаков. Изложенные соображения определяют наши взгляды на соотношения костяков Мурзак-Коба с наиболее близкой к ним территориально находкой – скелетом из грота Фатьма-Коба, описанным Г.Ф. Дебецем.

Костяк Фатьма-Коба отличается значительно меньшими размерами тела, относительно более коротким предплечьем и длинной голенью, менее развитым надбровьем, более узким лбом, меньшей шириной и высотой лица, более узкими глазницами. Совокупность этих признаков свидетельствует о меньшей кроманьонидности этого индивида и, следовательно, о более позднем его расогенетическом возрасте» (Жиров, 1940).

Как мы видим, обращение к авторам прошлых лет показывает совершенно противоположные точ-

ки зрения на взаимоотношения и генезис различных вариантов (палеорас) на территории Европы. Мнение о сходстве черепа Мурзак-Коба 2 сверхпалеолитическими черепами Европы высказывалось и другими исследователями, особенно с черепами из Пшедмости. (Дебец, 1948; Якимов, 1956; Бунак, 1959; Алексеев, 1984). Поскольку идея краниологического полиморфизма верхнепалеолитического населения Европы проиллюстрирована более поздними исследованиями и для отдельных его групп, в частности, и для пшедместской (Бунак, Герасимова, 1984. С. 68-70), то это мало что дает в плане происхождения мезолитического населения Крыма. Отличие крымских мезолитических черепов от черепов типичных кроманьонцев значительной высотой черепа позволило В.П. Якимову сближать их с находками из Северной Африки (Якимов, 1961). Этой идее не противоречили существующие тогда представления о существенном импульсе палеолитических культур Северной Африки в мезолитические культуры Крыма (Бибииков, 1959; Бибииков, 1966). Однако, такому «сближению» противоречит отличие крымских черепов от североафриканских по таким важным диагностическим признакам, как вертикальная профилировка лица, большая высота лица и ширина носа. Череп из Фатьма-Коба и женский череп из Мурзак-Коба сближались им с одним из вариантов мезолитического населения Надпорожья, а именно с тем, который был представлен в вытянутых погребениях Васильевки III, где проявлялась тенденция к мезогнатности и альвеолярному прогнатизму. Для мезолитического населения Днепровского Надпорожья прослеживается южное направление связей, скорее всего, с Передней Азией (Гохман, 1966).

Таковы вкратце итоги изучения крымских мезолитических находок. Нами было предпринято повторное их исследование. Как ни странно, но многие исследователи отмечали большое сходство в строении черепа Мурзак-Коба 1 и Фатьма-Коба. В связи с этим возникла идея неправильного определения половой принадлежности первого скелета. Так и Г.Ф. Дебец несколько сомневался в принадлежности этого костяка женщине.

Новое исследование скелетов из Фатьма-Коба и Мурзак-Коба, предпринятое двумя авторами настоящей статьи, С.Б. Боруцкой и С.В. Васильевым, также посеяло сомнение в правильности определения половой принадлежности изучаемых скелетов, поставив под сомнение вывод о принадлежности к женскому полу скелета Мурзак-Коба 1. Исследования посткраниальных скелетов по более полной программе показали, что интермембральные индексы у индивидов Мурзак-Коба 1 и Фатьма-Коба (70,80

и 68,07) очень близки и говорят о среднем соотношении длин конечностей. Они относятся к средним величинам у человека современного типа, хотя индивид Фатма-Коба характеризуется несколько удлинненными ногами. Плече-бедренные индексы у Мурзак-Коба 1 свидетельствуют о несколько увеличенном бедренном отделе по сравнению плечом, у Мурзак-Коба 2 и Фатма-Коба это соотношение отражает значительно удлиненное плечо по сравнению с бедром. Соотношение предплечья и плеча у обоих мурзак-кобинцев очень сходно и указывает на среднее или немного удлиненное предплечье (78,18 и 78,41). У фатма-кобинца это отношение иное, предплечье укорочено (74,25). В то же время можно констатировать сильно удлиненную голень по сравнению с бедром именно у него (индекс 85 против 78). Такому результату соответствует величина и луче-большеберцового индекса. У скелета Мурзак-Коба 1, напротив, укорочена голень (или удлинено бедро).

Предполагаемая ширина плеч у мужчины Мурзак-Коба 2 – довольно большая, у Мурзак-Коба 1 – средняя (для молодого мужчины) или значительная (для женщин). По ширине таза индивиды Мурзак-Коба 1 и Фатма-Коба очень сходны, правда, ширина таза мужчины из Фатма-Кобы немного больше – почти на сантиметр. Однако у первого из названных людей таз очень низкий, не столько сильно развернуты крылья подвздошных костей, сколько коротки по высоте подвздошные и седалищные кости. В этом плане, более «мужским» является таз мужчины из Мурзак-Коба 2. Высота его правой тазовой кости (в том числе подвздошной и седалищной по отдельности) наибольшая. Однако следует указать на тот факт, что длина лобковых костей и ширина крыла подвздошных костей у мужчины из Фатма-Кобы оказались намного больше, чем у «женщины» Мурзак-Коба 1. В то же время у «нее» размер вертлужных впадин больше, чем у мужчины из Фатма-Кобы, а высота «ее» лобкового симфиза – 49,5 см, – более, чем мужская.

По индексам пропорций конечностей можно предположить у всех трех индивидов среднеконтинентальный адаптивный тип. При этом мужчина из Фатма-Кобы выделяется удлиненным медиальным отделом ноги – голенью, что более характерно для людей тропического адаптивного типа. Однако луче-плечевой индекс фатма-кобинца таковому адаптивному типу не соответствует.

Величина прижизненной длины тела определялась по формулам Дюпертюи и Хеддена для бедренных костей (Алексеев, 1966). Рост мужчины Мурзак-Коба 2 оказался высоким – почти 183 см.

Прижизненные длины тела индивидов Мурзак-Коба 1 (если это был мужчина) и Фатма-Коба можно оценить как выше среднего, соответственно: 171,8 см и 173,2 см (по современным масштабам). Если индивида Мурзак-Коба 1 считать женщиной, то по формуле для женских скелетов прижизненный рост получается равным 167,8 см, то есть для женщин – высоким.

К сожалению, оценить степень массивности костей скелета Фатма-Коба не представлялось возможным, и анализ сделан только для мурзак-кобинцев. У индивида Мурзак-Коба 1 средней массивности практически все кости. Немного грацильнее среднего уровня плечевые кости и массивнее средних для человека величин лучевые кости. Кроме того, следует отметить саблевидность левой большеберцовой кости (правая отсутствует). У второго индивида плечевая и локтевая кости средне-массивны, имеющаяся в наличии правая лучевая кость грацильна, единственная правая бедренная кость – массивна и лучше укреплена в верхней части диафиза.

В целом мышечный рельеф обоих индивидов развит средне и практически одинаково. Различия касаются, в основном, бедренных костей. У мужчины Мурзак-Коба 2 лучше, чем у первого индивида, выражен почти весь рельеф бедра, особенно шероховатая линия, межвертельный гребень и надмыщелки. Однако это, скорее всего, связано с разницей в возрасте. Первому индивиду (женщине??) было 23-26 лет, второму (мужчине) – около 45. Следует отметить, что на плечевых костях у молодого индивида Мурзак-Коба 1 дельтовидная шероховатость развита заметно ярче, в то время как у мужчины она почти не видна.

Анализ патологии скелетов из Мурзак-Кобы и Фатма-Кобы выявил, в первую очередь, пороз разных структур концевых отделов длинных костей, иногда позвонков, некоторых участков тазовых костей. Причиной тому могли быть скудность пищевого рациона, недостаток каких-либо веществ, может быть витаминов, инфекции. Другим заметным проявлением заболеваний был небольшой периостит на разных костях (в том числе на некоторых участках ключиц, плечевых, локтевых, лучевых костей; на костях ног периостит выражен сильнее). Инфекции и частые травмы плюс необходимость форсирования холодных вод ручья (см. ниже) провоцировали помимо других болезней и воспалительные процессы в надкостнице.

Основной патологией черепа является мелкоячеистый пороз (типа cribra) надбровных дуг, барабанных частей височных костей, скуловых костей, иногда теменных костей, затылочной чешуи и некоторых других структур. У мужчины Мурзак-Коба 2

отмечаются пороз и опухоль барабанных пластинок и уменьшение размера наружных слуховых проходов. Можно предположить воспаление среднего уха. Следует также отметить пародонтоз у индивида Мурзак-Коба 2 с каверной от, вероятно, кисты над левым верхним первым премоляром. У мужчины из Фатьма-Кобы очень сильно стертые зубы, на резцах и клыках заметна небольшая эмалевая гипоплазия.

В свое время автор раскопок на основании многочисленных кремневых и костяных поделок, а также остатков фауны, найденных в слое, где были обнаружены погребения, датирует его тарденуазской эпохой и сближает с ранее исследованными пещерными тарденуазскими стоянками Байдарской долины. Культурные слои стоянок мезолитического времени содержали значительное количество костей животных: марала, косули, кабана, медведя, лисицы, барсука, зайца. Много костей боровой птицы. Но еще больше костей рыбы. Наряду с охотой и рыболовством огромную роль играло собирательство. В частности, в Крыму широко применялось собирание съедобной улитки *Helix*, о чем свидетельствует наличие на стоянках огромного количества раковин этого моллюска (Бибиков, 1938. С.159-178).

Очевидны тяжелые физические нагрузки мезолитических людей, проживающих в условиях низкогогорья. Поскольку они жили за счет охоты, рыболовства и собирательства, особые силы, по видимому, тратились именно на передвижения по горам, преодоление холодных горных рек и переноску тяжестей, в частности, добычи и орудий. Довольно хорошее развитие рельефа ключиц у обоих индивидов, а также гребней большого и малого бугорков плечевых костей связано со статической нагрузкой на плечевые суставы, и развитием мышц, обеспечивающих силовые движения. Возможно, на это указывает и значительная деформация тел поясничных позвонков у взрослого мужчины из Мурзак-Коба.

В 2004 году авторам работы удалось побывать в гроте Мурзак-Коба, походить по горам и несколько раз преодолеть «ледяную» речку недалеко от грота, которая ныне намного мельче, чем это было в древние времена. Примерно такие же условия были и возле грота Фатьма-Коба. Все патологические изменения, зафиксированные на скелетах, могут рассматриваться как последствия акклиматизации к эпизодическому холодовому стрессу.

Для того, чтобы определить положение крымских черепов среди мезолитических находок с территории Восточной Европы и выявить морфологическую дифференциацию, нами (Герасимова, Пежемский, 2005) был предпринят компонентный

анализ индивидуальных данных 43 мужских черепов из Южного Оленьего острова, с побережья озера Лача (Попово, Песчаница), из Прибалтики (Кирсна), Днепровского надпорожья (Васильевка Ш) и Крыма (Фатьма-Коба и Мурзак-Коба). Для крымских находок выявлено положение черепа Мурзак-Коба 2 в круге форм, характеризующихся гипердолихокранией, очень высокой мозговой коробкой, очень широким и средневысоким лицом с относительно узким носом и очень низкими орбитами. Череп из Фатьма-Коба попадает в круг форм, характеризующихся мезодолихокранией, высокой мозговой коробкой, среднешироким и средневысоким лицом и низкими орбитами. Причем следует отметить, что оба эти комплекса представлены почти в равной степени как на севере (среди черепов из могильника Южный Олений остров), так и на юге (среди черепов из могильника Васильевка Ш).

* * *

Анализ метрических данных черепов мезолитической ойкумены, включающий около 40 могильников с территории Западной, Восточной Европы и Южного Средиземноморья, показал, что население это чрезвычайно пестро в антропологическом плане (Герасимова, 2008). Обращает на себя внимание, как и в европейском верхнем палеолите, отсутствие связи морфологических краниологических и остеологических комплексов с отдельными могильниками или локальными регионами. Это явление неизжитого краниологического полиморфизма было свойственно не только населению Восточной Европы, но мезолитической ойкумены в целом. По уровню внутривидовой дифференциации мезолитическое население Восточной Европы ближе к европейскому верхнепалеолитическому населению, нежели к современному человечеству.

Выводы

1. На примере находок из Сунгирия, Костенок и Арене Кандиде нами было показано, что краниологический и остеологический полиморфизм был свойственен населению верхнего палеолита Европы. Такие сочетания признаков, как на находках из Сунгирия, Костенок и Арене Кандиде, в современных расовых вариантах встречаются крайне редко. Однако в некоторых случаях те или другие комбинации краниологических признаков оказывались более устойчивыми во времени, более распространенными или, наоборот, узколокализованными и прослеживались в краниологических особенностях последующего населения. Именно эти особенно-

сти, свойственные протоуральской расе, прослеживаются в особенностях находки Сиделькино 3.

2. Анализ изучения мезолитических находок в Крыму и на Русском Севере показал, что не только европейское верхнепалеолитическое население не образовывало устойчивых сочетаний признаков, привязанных к определенным территориям и характерных для современных рас, но и мезолитическое население обладало неизжитыми проявлениями краниологического полиморфизма. По уровню внутривидовой дифференциации мезолитическое население Восточной Европы ближе к европейскому верхнепалеолитическому населению, нежели к современному.

3. Наблюдаемое нами разнообразие краниологических характеристик может быть дополнено морфологическим разнообразием скелетной конституции и габитусов изученных находок. Рассмотренные материалы показали как высокую степень адаптации отдельных индивидов и популяций к экологическим условиям существования (Сунгирь - арктический адаптивный тип, Ксизово, Мурзак-Коба и Фатьма-Коба), так и проявления дезадаптации.

4. Фиксация и анализ маркеров стресса, патологий, травм, показателей «двигательной активности» на скелетах отдельных находок и серийных материалах позволяют нам в каждом конкретном случае реконструировать особенности образа жизни и оценить масштаб акклиматизационных эффектов в процессе приспособления к окружающей среде.

ЛИТЕРАТУРА

- Алексеев В.П. 1966. Остеометрия. М.
Алексеев В.П., Гохман И.И. 1984. Антропология азиатской части СССР. М.
Алексеева Т.И., Круц С.И. 1999. Древнейшее население Восточной Европы. // Восточные славяне. Антропология и этническая история. Москва.
Балуева Т.С., Веселовская Е.В., Формикола В., Дробышевский С.В. 2007. Верхнепалеолитическая находка Арене Кандиде (Италия). Этнографическое обозрение. Москва. №3.
Бибиков С.Н. 1966. Раскопки в навесе Фатьма-Коба и некоторые вопросы изучения мезолита Крыма. // МИА. Вып. 3.
Бунак В.В. 1956. Человеческие расы и пути их образования // Советская этнография. №1.
Бунак В.В. 1959. Череп человека и стадии его формирования у ископаемых людей и современных рас. М.
Бунак В.В., Герасимова М.М. 1984. Верхнепалеолитический череп Сунгирь 1 и его место в ряду других верхнепалеолитических черепов // Сунгирь. Антропологическое исследование. М.
Бунак В.В. 1980. Род Номо, его возникновение и последующая эволюция. М.

Васильев С.В. 1999. Дифференциация плейстоценовых гоминоид. М.

Веселовская Е.В., Балуева Т.С. 2012. Новые разработки в антропологической реконструкции // Вестник антропологии. Вып. 22. М.

Веселовская Е.В., Пестряков А.П., Кобылянский Е.Д. 2013. Татьяна Сергеевна Балуева и Российская школа антропологической реконструкции // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. №4. М.

Веселовская Е.В. 2015. Краниофациальные пропорции в антропологической реконструкции // Этнографическое обозрение, № 2. В печати.

Герасимова М.М. 2008. Палеоантропологические данные к вопросу о преемственности, расселении и древних миграциях мезолитического населения Западной и Восточной Европы и Средиземноморья. // Путь на север. Окружающая среда и самые ранние обитатели Арктики и Субарктики. М.

Герасимова М.М. 2000. Верхнепалеолитический череп Сунгирь 1 и его место в ряду других верхнепалеолитических черепов. // Homo sungirensis. Верхнепалеолитический человек: экологические и эволюционные аспекты исследования. М.

Герасимова М.М., Пежемский Д.В. 2005. Мезолитический человек из Песчаницы. Комплексный антропологический анализ. М.

Гохман И.И. 1980. Происхождение центральноазиатской расы в свете новых палеоантропологических материалов // Сб. МАЭ. Т. XXXVI.

Гохман И.И., Томтосова, Л.Ф. 1983. О времени формирования арктической расы // Краткое содержание докладов научной сессии, посвященной основным итогам работ в десятой пятилетке. Л.

Дебец Г.Ф. 1936. Брюн-Пшедмост, Кро-Маньон и современные расы Европы. // Антропологический журнал, №3.

Дебец Г.Ф. 1948. Палеоантропология СССР. Л.

Дебец Г.Ф. 1955. Палеоантропологические находки в Костенках // СЭ. №1.

Дебец Г.Ф., Трофимова Т.А., Чебоксаров Н.Н. 1951. Проблемы заселения Европы по антропологическим данным // Происхождение человека и древнее расселение человечества. М.-Л.

Долуханов П.М. 2008. Эволюция природной среды и раннее расселение человека в северной Евразии // Путь на север. Окружающая среда и самые ранние обитатели Арктики и Субарктики. М.

Жиров Е.В. 1940. Костяки из грота Мурзак-коба. // СА. Вып. 5.

Зубов А.А. 1995. Проблемы внутривидовой систематики рода Номо в связи с современными представлениями о биологической дифференциацией человечества // Современная антропология и генетика и проблема рас у человека. М.

Зубов А.А. 2004. Палеоантропологическая родословная человека. М.

Калмыков Н.П. 2003. Палеогеография и эволюция биоценологического покрова в бассейне озера Байкал. Ростов/Дон.

Кольцов Л.В. 1979. О характере сложения ранне-мезолитических культур Северной Европы // СА. №4.

Кольцов Л.В. 1989. Мезолит Волго-Окского междуречья // Мезолит СССР. М.

Кузнецов Л.В., Пономаренко Е.В. 2003. О времени существования могильника «гора Маяк» // Контактные зоны Евразии на рубеже эпох. Самара.

Ошибкина С.В. 1997. Веретье I. Поселение эпохи мезолита на севере Восточной Европы. М.

Ошибкина С.В. 2006. Мезолит Восточного Приокеанья. Культура Веретье. М.

Сапожников И.В. 2006. Генетические и миграционные процессы в позднем палеолите юга В.Европы. // Археологическое изучение Центральной России. Липецк.

Сташенков Д.А. 2003. Комплекс памятников у с. Сиделькино. // Контактные зоны Евразии на рубеже эпох. Самара, 2003 // Контактные зоны Евразии на рубеже эпох. Самара.

Хотинский Н.А. 1977. Голоцен Северной Евразии. М.

Хрисанфова Е.Н. 1984. Посткраниальный скелет взрослого мужчины Сунгирь I. Бедренная кость Сунгирь 4 // Антропологическое исследование. М.

Якимов В.П. 1961. Население европейской части СССР в позднем палеолите и мезолите // Вопросы антропологии. Вып. 7.

Holt B. 2003. Mobility in Upper Paleolithic and Mesolithic Europe: evidence from the lower limb. American Journal of Physical Anthropology. Vol 122.

Morant G.M. 1927. A biometric study of neanderthaloid skulls and their relationships to modern racial types. // Biometrika. №2.

Mussi M. 2001. Earliest Italy. Kluwer // Plenum Publishers.
Pettitt P.B., Richards M., Maggi R., Formicola V. 2003. The Gravettian burial known as the Prince ("Il Principe"): new evidence for his age and diet // Antiquity. Vol. 77.

Saller K. 1925. Die Cromagnonrasse und ihre Stellung zu anderen jungpalaolithischen Langschadelrassen. // Z. Indukt. Abstammung und Vererbungslehre. Bd. 39. №2.

Formicola V. 2003. La sepoltura del "Principe" a sessanta anni dalla scoperta // Bollettino dei Musei Civici Genovesi. Vol 55-63.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МИА Материалы и исследования по археологии СССР, М.-Л.;

СА Советская археология, Москва.

Леонова Е.В. (ИА РАН)

К ПРОБЛЕМЕ ХРОНОЛОГИИ И КУЛЬТУРНОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КАМЕННЫХ ИНДУСТРИЙ КОНЦА ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА И МЕЗОЛИТА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА (ПО МАТЕРИАЛАМ НАВЕСА ЧЫГАЙ И ПЕЩЕРЫ ДВОЙНАЯ)

Введение

Вопрос о культурной вариативности и хронологической дифференциации материалов верхнего палеолита и мезолита Кавказа поднимался неоднократно (Замятнин, 1957; Kozłowski, 1972; Формозов, 1963; 1977; Бадер, 1984; Бадер, Церетели, 1989; Любин, 1989; Амирханов 1994). Попытки подразделить весь корпус источников по этому периоду Кавказского региона предпринимаются до сих пор (Голованова, Доронищев, 2012). Комплексные полевые исследования стратифицированных памятников, ведущиеся последние десятилетия, новые радиоуглеродные даты, полученные в том числе и для материалов из раскопок прошлого века, критический подход к старым коллекциям позволили к настоящему моменту наметить основные вехи развития верхнего палеолита Кавказа. Но необходимо отметить, что полевые исследования такого значительного по временному охвату периода в масштабах всего Кавказа, в настоящее время

ведутся точно, некоторые материалы до сих пор не опубликованы. Наиболее исследованной остается западная часть региона, несколько памятников изучается на Малом Кавказе (Pinhasi et al., 2006; Montoya et al. 2013; Arimura et al. 2009).

Новые данные, позволяющие расширить и уточнить наши представления о поздней поре верхнего палеолита и эпохе мезолита, были получены в ходе комплексных исследований Губской археологической экспедиции ИА РАН 2007-2014 гг. двух многослойных стратифицированных памятников каменного века навеса Чыгай и пещеры Двойная в Губском ущелье. Губское ущелье находится в предгорьях северного склона Западного Кавказа (Скалистый хребет) (Мостовской район Краснодарского края). Оба памятника расположены на левом борту, на высоте 44 м (навес) и 46 м (пещера) над тальвегом реки Губс (801 и 803 м над у. м.), имеют южную экспозицию. (Леонова, Александрова, 2012; Леонова и др., 2014).

Навес Чыгай

В навесе Чыгай на площади 20 кв. м вскрыты отложения на максимальную глубину 3 м. Вся мощность отложений пока не известна, раскоп законсервирован.

Стратиграфия

За капельной линией навеса (под козырьком) выявлено 14 литологических горизонтов (описание сверху вниз, указана мощность):

1. Бежевато-серая супесь с мелким щебнем – 25-37 см; 2. Более темная, чем слой 1, супесь с мелким щебнем – 0-22 см; 3. Желтоватая супесь с мелким щебнем – 12-30 см; 4. Желтовато-красноватая супесь с углистыми линзочками – 0-18 см. 5. Темно-желтый легкий суглинок с щебнем и раковинами моллюсков – 0-20 см; 6. Коричневатый легкий суглинок с щебнем – 0-15 см; 7. Темно-желтый легкий суглинок с большим количеством камней – 7-23 см; 8. Коричневато-бурый легкий суглинок с щебнем – 7-25 см; 9. Темно-желтый более плотный, чем вышележащий слой, суглинок с щебнем – 3-35 см; 10. Очень плотный желтовато-белесый суглинок с плитчатым щебнем (горизонт обвала- ?) – 14-25 см. 11. Светло-бурый легкий суглинок с щебнем - 0-23 см; 12. Очень плотный белесый суглинок с щебнем - 2-15 см; 13. Буро-серый легкий суглинок с щебнем – 0-29 см. 14. Серовато-бурый суглинок с щебнем, видимая мощность до 34 см.

В верхних двух слоях залежали материалы эпохи энеолита, находки из слоев 3-14 относятся к мезолиту и поздней поре верхнего палеолита (Леонова, 2009; Леонова, Александрова, 2012).

С внешней стороны навеса (до капельной линии) было выявлено всего три горизонта: черный гумусированный суглинок, пронизанный корнями растений с щебнем и крупными обломками известняка - 75-120 см; буро-желтый суглинок с большим количеством щебня и плиточек известняка - до 1 см; трещиноватый слой известняка. На уровне последнего раскопки траншеи 2007 г. были прекращены, поскольку этот слой был принят за скальное основание. Позднее, при расширении раскопа, стало ясно, что это горизонт мощного обвала, который соответствует слою 12. Слой был вскрыт, его мощность доходила до 70 см. а под ним был зафиксирован серовато-бурый суглинок с щебнем (слой 13 или 14).

Даты

По костям животных и раковинам моллюсков *Helix sp.* из навеса Чыгай получено несколько радиоуглеродных дат (Таб. 1).

Даты, полученные для верхних слоев, содержащих материалы эпохи мезолита, колеблются в пределах 9,5-11 тыс. л. н. Не очень точная привязка к глубинам или литологическим слоям связана с рядом обстоятельств отбора образцов. Дата 9560 ± 100 получена по костям из профиля рекогносцировочного шурфа 2006 г., условная реперная отметка которого была утрачена к началу раскопок 2007 г. (отслоилась часть скалы с отметкой), поэтому точную глубину указать невозможно, но слой определяется достаточно точно. Образцы из раковин наземных моллюсков *Helix* требовали значительного количества раковин. Раковины в процессе раскопок собирались поквратно в пределах одного снятия (2-3 см), но литологические слои залегают с довольно большим уклоном, поэтому указана такая большая мощность. Поскольку к моменту отбора раковин еще не было вскрыто ни одного полноценного разреза, указывались глубины, а не слои (определить границы слоев в плане практически невозможно). Проекция же нивелировочных отметок на профиль в пределах квадрата захватывает несколько слоев. Наиболее насыщенные раковинами были слои 4 и 5.

Дата 13250 ± 500 лет была получена по двум смешанным по ошибке в лаборатории образцам, происходящим из разных слоев (минимальный разброс глубин составляет 30 см). Согласно этой дате можно только констатировать, что слои 12/13 должны быть не моложе 13,5 тыс. л.н.

Две последние даты были сделаны по фрагментам костей крупных копытных в новой Новосибирской лаборатории на ускорителе. После первой обработки образцов коллаген не был найден. Повторный анализ образца из слоя 13 дал дату с огромной ошибкой 4857 лет. Дата для слоя 9 вполне укладывается в общую последовательность.

Данные палинологического анализа

Практически не содержали пыльцы и спор образцы из двух верхних слоев 1 и 2, а также из слоя 12. Образцы имеют разную насыщенность микрофоссилиями и разную сохранность последних.

Было выделено 6 спорово-пыльцевых комплексов (Таб. 2):

I спорово-пыльцевой комплекс определен по образцам, отобраным из слоев 13 и 11. В общем составе господствует пыльца травянистых и кустарничковых растений. Реконструируются ландшафты, образованные сухими степями, где было много полыней и маревых. Вдоль речных долин существовали более влажные условия. Возможно,

это основной тип растительности открытых ландшафтов перегляциального комплекса межстадиального потепления. Отсутствие пыльцы (единичные зерна) в образце из слоя 12, почти идентичный состав спектров из подстилающего и перекрывающего слоев, характер отложений (горизонт обвала) позволяет сделать заключение, что формирование этого слоя проходило в очень короткий отрезок времени.

II спорово-пыльцевой комплекс выделяется по образцу, взятому из слоя 10. В общем составе по-прежнему доминирует пыльца травянистых и кустарничковых растений, а споры отсутствуют совсем. В отличие от первого комплекса в составе спектра увеличивается участие сосны, роль древесных пород в общем составе уменьшается. Становится меньше ольхи. Все это свидетельствует о постепенном иссушении климата.

III спорово-пыльцевой комплекс выделяется по образцу, взятому из слоя 9. В общем составе содержание пыльцы древесных пород еще ниже, чем в предыдущих комплексах. По существу это спектр настоящих злаково-разнотравных степей. Если считать первые 3 комплекса частью межстадиального ритма, то комплекс III фиксирует наиболее теплые, степные условия среды. Таким образом, эти три комплекса дают представление о характере растительного покрова исследованной территории первой половины межстадиала и, возможно, его оптимума (комплекс III).

IV спорово-пыльцевой комплекс выделяется по образцу, отобранному из слоя 8. В образце присутствуют угольки, единичные спиккулы губок. От предыдущего и последующего комплексов отделен перерывами. Основные различия описанных комплексов связаны с процентным соотношением участия пыльцы березы (*Betula*) и сосны (*Pinus*) среди пыльцы древесных пород при полном отсутствии пыльцы широколиственных пород и с иным составом пыльцы травянистых и кустарничковых растений.

Представляется, что это один из наиболее холодных в климатическом отношении отрезков стадиала. Все эти деления ледникового плейстоцена для столь южного региона отчасти условны, т.к. арктические и субарктические элементы флоры здесь отсутствуют.

V спорово-пыльцевой комплекс описан по образцам из слоев 7-5. Состав комплекса богаче, чем предыдущий, хотя в общем составе по-прежнему преобладают травянистые и кустарничковые формы, составляя более 90%. Этот интервал также соответствует стадиальному похолоданию, но климатические условия были более влажные.

VI спорово-пыльцевой комплекс описан по образцу из слоя 4. В общем составе преобладают травянистые и кустарничковые растения. По всей вероятности, этот интервал формировался с большим перерывом, поскольку он характеризуется иным флористическим комплексом, отражающим более теплые и влажные условия. Наиболее вероятно, что это уже отложения голоцена, его самых ранних этапов.

Фауна

Фаунистические остатки представлены фрагментами костей млекопитающих, пресмыкающихся и раковинами моллюсков (Таб. 2). Крупные кости сильно фрагментированы, большинство из них определить невозможно.

Среди мелких млекопитающих из нижних слоев (14-10) доминируют виды степной и лесостепной зоны, присутствуют интерзональные типы. Микротериоассоциация этого интервала может быть предварительно отнесена к одной из сухих и прохладных фаз позднего плейстоцена

Для фауны крупных млекопитающих характерно присутствие как лесных, так и степных видов во всех слоях. Небольшое количество определимых остатков не позволяет пока говорить о какой-либо четкой дифференциации составов фауны по слоям. Отметим только, что из нижних горизонтов происходят остатки посткраниального скелета крупных полорогих, отнесенных к группе *Bos-Bison*, единичные зубы определены до рода *Bos* sp. Выше (слои 9, 2, 1) найдены фрагменты костей конечности дикой свиньи *Sus scrofa*. Раковины наземных брюхоногих моллюсков *Helix* spp. в нижних слоях 10-14 отсутствуют, а в слое 9 был найден только один экземпляр. Выше раковины были найдены во всех слоях, наибольшая их концентрация приходится на слои 4-5.

Находки

В качестве сырья на памятнике использовался преимущественно местный серовато-коричневый кремль, несколько меньше изделий из белого и желтого, более высококачественного, кремня, выходы которого находятся в 20-30 км от ущелья. Кроме кремня в мезолитических и верхнепалеолитических слоях найдены единичные предметы из обсидиана, как правило, мелкие осколки, реже – орудия.

Коллекции находок, собранные в слоях 3-9 очень малы (от 5 до 30 артефактов) и невыразительны. В составе ансамблей отщепы, пластинчатые сколы (во всех слоях преобладают пластинки),

единичны нуклеусы и технологические сколы, концевые скребки, резцы. Большинство находок (часть фрагментов керамики и каменные артефакты) из двух самых верхних слоев предположительно отнесено к эпохе энеолита. Среди фрагментов керамики присутствуют обломки сосудов бронзового века и средневековья⁶.

В слое 9 найдена трапеция с ретушированным верхним основанием.

Наиболее представительный и выразительный ансамбль каменного и костяного инвентаря навеса Чыгай происходит из верхнепалеолитического слоя (литологические слои 14-10). Каменный инвентарь отражает полный цикл обработки кремня. Расщепление кремня было направлено на получение пластинчатых заготовок, среди которых абсолютно преобладают пластинки. Ядрища призматические одноплощадочные, как правило, с сильно скошенными площадками. Большинство нуклеусов сильно сработано. Для изготовления орудий применялась преимущественно крутая и вертикальная ретушь, а также техника резцового скола, эпизодически использовалось вентральное уплощение ретушью. Среди орудий преобладают концевые скребки; резцов меньше, доминируют угловые (двугранные) и ретушные. В коллекции много разнообразных острий, в том числе с горбатой спинкой; варианты острий из пластинок с притупленным краем (с прямым, слабо скошенным или выпуклым основанием); обломки острий со сходящимися краями; а также пластинки и микропластинки с притупленным краем, прямоугольнички и пластинки со скребковидным окончанием, скребла, выемчатые орудия, обушковый нож. Кроме каменных артефактов найден фрагмент острия из рога и костяная иголка с прорезным ушком (рис. 1: А).

Пещера Двойная

Пещера Двойная находится в 30 м к востоку от навеса Чыгай. В плане пещера подокруглых очертаний, 15х12 м. Дневная поверхность и подстилающие отложения имеют заметный уклон в сторону выхода (более 1 м на расстоянии 15 м на поверхности). Площадь раскопа около 21 кв. м, глубиной до 2,8 м.

Кроме этого в центральной части пещеры Е.В. Беляевой в 2007 г. был заложен разведочный шурф 1 площадью 1х1,5 м, глубиной до 1,3 м. Расстояние до северо-западной линии раскопа составляет от 1 до 2 м.

Полная стратиграфическая колонка до скального основания пока раскрыта только на небольшом участке в западной части раскопа.

Стратиграфия (описание слоев сверху вниз):

1 - пачка суглинистых и супесчаных отложений с мелким щебнем, разделенных тонкими углистыми, золистыми, ожелезненными прослойками, общая мощность до 1 м; 2 - бурый суглинок с единичными расщепленными кремнями, костями и раковинами моллюсков *Helix* (0-2 см). Предположительно, этот слой образовался в результате «выдавливания» слоя 4 во время мощного обвала свода пещеры (слой 3); 3 - горизонт обвала (Д. I) мощностью до 90 см; 4 - коричневый гумусированный суглинок с большим количеством раковин моллюсков *Helix* и отдельными угольками - 10-60 см; 5 - бурый суглинок с щебнем, с большим количеством раковин *Helix* и обломками костей - 0-30 см; Десквамационный горизонт (Д. II) - не крупный щебень и разложившийся известняк - 0-20 см; 6 - бурый «рыхлый» суглинок, с тонкими углистыми прослойками, большим количеством раздробленных трубчатых костей и раковинами *Helix* - 5-30 см; Десквамационный горизонт (Д. III) - плотный слой «окатанных» обломков известняка около выхода, в глубине - тонкая белесая прослойка суглинка - 0-20 см; 7 - пачка чередующихся более светлых и более темных суглинков коричневых оттенков 0-40 см. На небольшом участке раскопа под слоем 7 вскрыто скальное дно пещеры. В центральной части под аркой входа нижний мезолитический и подстилающий его верхнепалеолитический слои отсутствуют. Вероятно, они смыты в результате эрозии.

Слои 4 и 5 ассоциируются с первым культурным слоем (поздний мезолит), слой 6 соответствует второму культурному слою (ранний мезолит), а слой 7 - третьему культурному слою (поздняя пора верхнего палеолита).

Даты

По образцам из пещеры Двойная получено пока всего 6 радиоуглеродных дат, причем три из них по материалам из шурфа 1 (Таб. 3). Точно соотнести место отбора образцов для радиоуглеродного анализа в шурфе с конкретным слоем в раскопе пока не представляется возможным. Это связано с тем, что уровень залегания и мощность одного и того же слоя по простиранию различны, слои имеют значительный уклон в сторону выхода. Также неизвестно распространение слоев в плане за пределами раскопа. Но в целом стратиграфия, вскрытая в шурфе схожа со стратиграфией, зафиксированной в раскопе, и общим маркером может служить мощный горизонт обвала (слой 3).

⁶ Определения керамики А.Н. Гея.

Два образца из шурфа были отобраны выше обвала, третий – ниже.

Вероятнее всего, полученные даты могут ассоциироваться с материалами из первого культурного слоя, но не исключено, что первые две даты относятся к более позднему эпизоду заселения пещеры. Еще три даты, полученные по образцам из слоя 6 (второй культурный слой) показывают довольно большой разброс – почти 3 тысячи лет. Образец, по которому была получена дата 10020 ± 160 , был отобран из углистого пятна. Дата 8980 ± 280 была сделана по фрагментам костей, залежавших в углисто-золистой прослойке. Указанный большой разброс глубин соответствует перепадам слоя в пределах квадратного метра. Дата 11830 ± 160 получена по костям из сектора того же квадрата, но залежавшим под углисто-золистой прослойкой.

Данные палинологического анализа

В пещере Двойная было отобрано две колонки образцов для палинологического анализа. Одна ближе к центральной части пещеры на западном профиле раскопа. Вторая отбиралась в процессе разборки прирезки в юго-западной части пещеры. В большинстве отобранных проб недостаточное количество пыльцы и спор. Данные, полученные в результате анализа собранного материала, не дают возможности в полной мере охарактеризовать разрез. Все определения сведены в таблице 4. Во всех пробах, кроме пыльцы и спор растений, была найдена стлевшая древесина хвойных пород.

По составу пыльцы и спор, определенных в образце из нижней части слоя 7, отобранном недалеко от входа в пещеру, можно реконструировать, что рядом с пещерой произрастали березняки с травяным ярусом из папоротников и злаково-разнотравных сообществ, открытые участки были заняты злаково-разнотравными лугами. Сохранность пыльцевых зерен и спор в еще трех образцах, отобранных из слоя 7 в центральной части, очень плохая, но во всех пробах много стлевшей древесины сосны.

В образцах из вышележащих слоев 6 и 5 единичные пыльцевые зерна березы, реже сосны. Из травянистых в небольших количествах присутствует пыльца злаков, маревых, полыней. Споры отсутствуют. Много стлевшей древесины хвойных пород.

В образце из слоя 4 сохранность пыльцы лучше. Определены пыльца древесных пород (дуб, рябина, каштан, сосна, береза) и травянистых, среди которых кроме злаков, бобовых, гречишных и полыней, встречена пыльца сорных растений (крапива).

В образцах из слоя завала (Д. I) и слоя 2 над завалом из древесных пород преобладает пыльца березы, но много разнообразной пыльцы хвойных (сосна и пихта, единична пыльца ели). Кроме этого много пыльцы лещины, отмечена также пыльца ольхи, дуба, клена, каштана. Среди травянистых доминируют злаки. Много пыльцы сорных растений семейств мальвовых, гречишных и сложноцветных. Представлены и споровые растения, такие как папоротники (в том числе орляк и гроздовник), есть споры зеленых мхов. Кроме пыльцы и спор в образцах много органических остатков, стлевшая древесина хвойных пород, угольки, кусочки костей, зола.

В самом верхнем образце, отобранном из прослойки темно-коричневого суглинка в слое 1 меняется соотношение количества зерен ранее отмеченных таксонов. По-прежнему много пыльцы березы, содержание пыльцы сосны заметно уменьшилось, но увеличилась роль лещины. Среди травянистых растений преобладают злаки, но почти нет пыльцы сорных растений. Состав споровых растений менее разнообразен, хотя в пробе отмечены многочисленные споры папоротников семейства полиподиевых.

Фауна

Состав фаунистической коллекции из пещеры Двойная довольно разнообразен и состоит из костей млекопитающих (включая мелких грызунов), пресмыкающихся, птиц и раковин моллюсков (Таб. 4). Остатков рыб не найдено. Сохранность костей в культурном различная: от хорошей (в т.ч. обработанная кость) до костного тлена. Кости крупных животных, как правило, очень сильно фрагментированы. Остеологическая коллекция пока полностью не обработана. В коллекции из пещеры определены как лесные, так и лесостепные виды животных. Резкого изменения фаунистического состава по слоям не прослеживается, но можно наметить ряд отличий.

В верхнем мезолитическом слое (слои 3-5) среди крупных копытных преобладают дикий кабан и благородный олень, также определены дикие козел/баран, лошади, крупные полорогие (бык/бизон). Кроме этого относительно много костей зайца и птиц. Среди последних в основном остатки серой куропатки, а также единичные кости, принадлежавшие дубоносу, чекану и серому сорокопугу. Доля остатков хищных млекопитающих незначительна (определены лиса и волк). Кроме этого из первого мезолитического слоя происходит около 10 тысяч раковин моллюсков *Helix*.

Количество определимых костей из нижнего мезолитического слоя (слой 6) несколько меньше. Это отчасти связано с еще не полностью проведенным остеологическим анализом, а также с меньшей площадью распространения второго мезолитического слоя в пределах раскопа. Среди копытных преобладают оленевые (в т.ч. определены благородный олень и лось), есть кости диких кабана, лошади, козла/барана. Костей крупных полорогих не найдено. Хищников немного, но несколько больше, чем в вышележащем слое. Определены волк, лиса и бурый медведь. Относительно много костей птиц, которые за единственным исключением принадлежат серой куропатке. Среди грызунов определены малый суслик, слепыш, обыкновенный хомяк, мыши и полевки. Кроме этого найдены щиток панциря черепахи, кости змеи и ящерицы, а также сотни раковин моллюсков *Helix*.

Из фаунистической коллекции верхнепалеолитического (слой 7) к настоящему моменту определено менее полусотни костей животных. По предварительным данным есть кости оленевых, в т.ч. благородного оленя, дикой лошади, дикого козла/барана. Среди хищников определены волк и бурый медведь. В составе фауны мелких млекопитающих преобладают остатки суслика и слепыша, также есть хомяки (в т.ч. серый хомячок), лесные и полевые мыши.

По таксономическому составу фауны мелких млекопитающих можно сделать заключение о значительном остепнении Северного Кавказа в этот период. Но присутствие в фаунистической коллекции лесной фауны, включая остатки лесных мышей, свидетельствует о значительной площади лесной растительности в районе пещеры.

Кроме костей млекопитающих определены единичные кости ящерицы и рептилий. Раковины наземных моллюсков *Helix* были найдены в самом нижнем горизонте слоя 7, их всего 4. Кроме этого в коллекции верхнепалеолитического слоя найдены раковины речных пресноводных моллюсков *Theodoxus fluviatilis*, большинство из которых имеют искусственные отверстия.

Находки

Артефакты залегают по всей толще отложений. Но в верхней части (слои 1, 2) находки единичны: остатки костей животных, осколки стекла, фрагменты гончарной керамики, фрагмент керамики бронзового (?) века, расщепленные кремни. Последние, вероятнее всего, переотложены из нижележащих слоев, поскольку на площади раскопа

была зафиксирована позднейшая яма, прорезающая горизонт обвала.

В качестве каменного сырья на памятнике использовался преимущественно местный серовато-коричневый кремль, меньше находок из белого и желтого более высококачественного кремня, выходы которого находятся в 20-30 км от ущелья. Кроме кремня в качестве ретушеров и наковаленок использовались сланцевые гальки. Как в навесе Чыгай, во всех трех культурных слоях найдены единичные изделия из обсидиана.

В первом десквамационном горизонте (слой 3) находок мало, залегают в основном в нижней части, на контакте с подстилающим слоем. Несмотря на то, что верхний культурный слой, в отличие от нижележащих культурных слоев, зафиксирован на всей площади раскопа и имеет значительную мощность, коллекция находок верхнего мезолитического слоя наименее представительна и насчитывает чуть более 1,5 тысячи предметов. Нуклеусы все одноплощадочные, в том числе несколько уплощенных и конических ядрищ для микропластинок, появление которых связано с развитием техники отжима. В группе орудий абсолютно доминируют концевые скребки, резцов почти в пять раз меньше – все на сломе или окончании пластин. Кроме этого в составе коллекции выемчатые, долотовидные орудия, обломок лезвия рубящего орудия. Свообразными чертами ансамбля каменного инвентаря являются серия острий из микропластинок и пластинок со срезанным ретушью под 45° концом; несколько фрагментов кремневых «стержней» с клювовидным окончанием; серия высоких симметричных трапеций со слабовогнутыми сторонами и выемкой на верхнем основании (т.н. «рогатые» трапеции), несколько сегментов, высокие трапеции со слабо вогнутыми сторонами и с суженным выпуклым ретушированным верхним основанием. Изделия из кости представлены роговым посредником, несколькими подвесками из зубов животных, а также 4 фрагмента костяных оправ с одним боковым пазом для вкладышей, две из которых имеют сколы утилизации, характерные для метательного вооружения (Рис. 1: Г).

Коллекция каменного инвентаря раннемезолитического слоя насчитывает около 3000 предметов, ансамбль отличает большое количество продуктов первичного расщепления. Среди орудий преобладают скребки, большинство из которых относится к концевым; резцов в два раза меньше – доминируют ретушные. Кроме этого найдены пластины с ретушью, долотовидные орудия, зубчато-выемчатые орудия, разнообразные острия, одно скребло. Гео-

метрические микролиты представлены единичными симметричными трапециями с прямыми и слабоогнутыми краями и трапециями с суженным ретушированным верхним основанием. Яркой отличительной чертой каменного ансамбля является серия из почти 50 сегментов. Изделия из кости единичны: обломки костяных острий и 2 подвески из зубов животных (Рис. 1: В).

В коллекции верхнепалеолитического слоя пещеры Двойная насчитывается около 4000 находок (без учета материалов из раскопок 2014 г.) На вскрытой площади слой 7 исследован на всю мощность лишь на небольшом участке. Это наиболее насыщенный находками слой. В коллекции представлены почти все основные категории каменного инвентаря: орудия для первичного расщепления, продукты первичного расщепления, обломки и технологические сколы изготовления орудий. Среди нуклеусов преобладают одноплощадочные уплощенные, подконические для пластинок и пластин, есть торцевые для микропластинок, а также несколько подпризматических двуплощадочных нуклеусов со встречным скалыванием. Среди пластинчатых сколов преобладают пластинки, пластин вдвое меньше, есть микропластинки. Во вторичной обработке преимущественно применялась притупливающая ретушь (в т.ч. встречающая), в меньшей степени полукрутая и пологая ретушь, включая вентральное уплощение концов заготовок, техника резцового скола, есть единичные микрорезцы. Скребок в два раза больше, чем резцов. В группе скребков доминируют концевые на пластинах и пластинках, в т.ч. дублированные, есть подовальные на отщепах. Среди резцов преобладают ретушные; ретушированные площадки скола в большинстве случаев скошены. Резцы на сломе заготовки, угловые (двугранные) и комбинированные единичны. Также в коллекции есть пластины с ретушью, серия зубчато-выемчатых орудий и орудий с выемками, есть долотовидные. Группа острий многочисленна и включает в себя разнообразные формы: листовидные слабо асимметричные с округлым основанием из пластинок или пластинчатых отщепов; со сходящимися краями; с притупленной спинкой и скругленным основанием; типа граветт; с боковой выемкой; игловидные; с дугообразно притупленным краем и ретушью у основания по противоположному краю. Пластины и пластинки с дугообразно или косо скошенным крутой ретушью концом. Много фрагментов микропластинок и пластинок с притупленным краем, сохранившиеся концы которых оформлены разными способами: скребковидное окончание (как правило, на проксимальной части); скребко-

видное окончание, на котором выделен небольшой выступ («носик»); дугообразно скошенный; с косо срезанным вертикальной ретушью; плоской ретушью на брюшке. Геометрических микролитов относительно немного: прямоугольники удлиненных пропорций; низкие асимметричные треугольники, короткая ретушированная сторона которых в нескольких случаях слабо вогнута. Также в коллекции 7 слоя два низких сегмента и одна высокая трапеция с узким ретушированным дугообразным верхним основанием. Не исключено, что сегменты и трапеция переотложены из верхних слоев по кротовинам, пята и полости которых зафиксированы на площади раскопа. Изделий из кости мало, обломки острий из трубчатых костей млекопитающих и птицы, обломок острия иголки, подвески из зубов животных с биконическим отверстием, плоская круглая пронизка из компакты трубчатой кости. Кроме этого в нижней части верхнепалеолитического культурного слоя найдено более десяти бусин из раковин речных моллюсков *Theodoxus fluviatilis* (Рис. 1: Б).

Обсуждение

Данные, полученные в результате исследования пещеры Двойная и навеса Чыгай, позволяют наметить последовательность смены и/или развития культурных традиций микрорегиона на рубеже плейстоцена-голоцена на протяжении примерно 6-7 тысячелетий. Наиболее ранние материалы, относящиеся к концу верхнего палеолита, представлены коллекциями из навеса Чыгай (слои 10-14) и пещеры Двойная (слой 7). Поскольку пока нет достоверных радиоуглеродных дат ни для одного из комплексов, а данные палинологического и остеологического анализов довольно фрагментарны, возраст верхнепалеолитических материалов из навеса и пещеры можно определить пока примерно от 16 до 13 тыс. л. н. Обе коллекции каменного инвентаря имеют много общих черт, заключающихся в выборе заготовки, приемах вторичной обработки, количественном соотношении групп скребков и резцов, наличии в коллекциях пластинок с притупленным краем и прямоугольников, использовании приема скребковидного оформления концов острий и микролитов. Более архаичными выглядят материалы навеса Чыгай. В отличие от верхнепалеолитических материалов пещеры Двойной в коллекции навеса Чыгай *нет* признаков встречного биполярного расщепления, острий с боковой выемкой, низких асимметричных треугольников; *есть* острия с горбатой спинкой, скребла, среди

резцов преобладают двугранные, пропорции прямоугольников более укороченные.

Ближайшие аналогии каменному инвентарю верхнепалеолитического слоя навеса Чыгай можно найти в материалах первого культурного слоя Губского навеса 1 (Амирханов, 1986. С. 46-51), хотя коллекция Губского навеса 1 намного беднее. Также ряд форм, включая горбатые острия, пластинки с притупленным краем и прямоугольники есть в коллекции Губского навеса 7 (Сатанай), которая содержит механически смешанные разновременные материалы (Амирханов, 1986; Леонова, Александрова, 2012).

Велика степень сходства материалов верхнепалеолитических слоев из пещеры Двойная и пещеры Касожская (горизонт 3), которая находится в этом же ущелье, немного восточнее и чуть выше по склону (Аутлев, 1979, 1981, 1985). Судя по публикации (Голованова, Дороничев, 2012: С. 119, рис. 6) в коллекции из пещеры Касожская присутствуют одноплощадочные и двуплощадочные нуклеусы от пластинок и пластин, разнообразные острия, включая острия типа граветт и с боковой выемкой, пластинки с притупленным краем и, вероятно, асимметричные низкие треугольники, описанные как «транкированные пластинки с косо усеченными дистальными концами и притупленным краем», а также бусины из раковин речных моллюсков *Theodoxus* (Голованова, Дороничев, 2012. Рис. 7, 1-3). Кроме этого необходимо отметить схожую стратиграфическую позицию культурного слоя 7 пещеры Двойная и горизонта 3 пещеры Касожская, которые были перекрыты горизонтом десквамации.

Л.В. Голованова и В.Б. Дороничев, говоря о сходстве коллекций Касожской пещеры (горизонт 3) и Мезмайской пещеры (слой 1-3), отмечают, что в Касожской «отсутствуют геометрические микролиты, представленные разнообразными формами в слое 1-3 Мезмайской пещеры». Объяснение этому авторы находят в несовершенной методике раскопок, применявшейся П.У. Аутлевым (Голованова, Дороничев, 2012. С. 119-120). На наш взгляд, отмеченные различия могут быть связаны с гомогенностью коллекции из Касожской пещеры, а разнообразие форм орудий, происходящих из верхнепалеолитического (эпипалеолитического) слоя Мезмайской пещеры, может отражать механическое смешение разновременных материалов. Однако, необходимо еще раз отметить, что в пещере Двойная в верхнепалеолитическом слое кроме низких асимметричных треугольников найдены одна трапеция и два сегмента, которые, вероятнее всего, были переложены из вышележащих слоев

по ходам землероев. Кроме памятников Северо-Западного Кавказа, сходные индустрии были исследованы на Южном Кавказе, в Гварджилахе Клде и Сакажиа (Бадер, 1984), но материалы этих памятников не гомогенны (Голованова, Дороничев, 2012. С. 125; Мешвелиани и др., 2011).

Низкие асимметричные треугольники и удлиненные прямоугольники характерны для индустрий эпипалеолита Леванта («геометрический кебарьен» и «рамоньен»). По морфологии низкие асимметричные треугольники из пещеры Двойная очень похожи на подтреугольные острия, определяемые О. Бар-Йозефом как негеометрические микролиты с косо усеченным проксимальным концом и притупленной спинкой, найденные при раскопках стоянки Нахал Орен (Nahal Oren) (Bar-Yosef, 1970. P. 36. Fig.15).

Л.В. Голованова и В.Б. Дороничев, проводя аналогии между ансамблем слоя 1-3 Мезмайской пещеры и индустрией геометрического кебарьена, отметили также присутствие не только треугольников, но и симметричных и асимметричных трапеций (Голованова, Дороничев, 2012. С. 129). Однако, в геометрическом кебарьене микролиты, определяемые как трапеции, близки по форме к вытянутым прямоугольникам. Их различает лишь величина угла, сформированного между ретушированными длинной стороной и концами орудия. Иначе говоря, это низкие трапеции с притупленным ретушью верхним основанием, которые разительно отличаются от трапеций из Мезмайской пещеры (Голованова, Дороничев, 2012. Рис. 3: 4-6).

Яркой отличительной чертой индустрии раннеголоценового времени является появление (?) и распространение геометрических микролитов в виде сегментов. Ближайшие прямые аналогии материалам из раннемезолитического слоя пещеры Двойная можно найти в коллекции грота Сосруко (слой М3) (Замятнин, Акритас, 1957). В отличие от пещеры Двойная, где мезолитические слои залегают друг под другом без стерильных прослоек, в гроте Сосруко слой М3 отделен от вышележащего более чем метровой стерильной толщей. Геометрические микролиты из коллекции этого слоя представлены исключительно сегментами.

Прямые аналогии позднемезолитическим материалам (как каменной, так и костяной индустрии) пещеры Двойная можно найти в материалах памятников Баксанского ущелья - слой М1 грота Сосруко, навес Бадыноко (Замятнин, Акритас, 1957; Деревянко и др., 2004; Зенин, Орлова, 2006), а также отмечается сходство ряда отдельных форм геометрических микролитов (вариан-

там трапеций) памятника как к западу (мезолитические стоянки Горного Крыма), так и к востоку (Восточный Прикаспий и Средняя Азия) от Губского ущелья. На относительную синхронность мезолитических слоев памятников Губского ущелья и Приэльбрусья указывают также сходные составы фауны, в которые помимо крупных и мелких млекопитающих входит большое количество раковин моллюсков *Helix*.

Конечно, наличие дальних аналогий отдельных типов орудий или даже групп типов не указывает на прямые миграции древнего населения в том или ином направлении и может отражать как наличие единого информационного пространства в определенный временной отрезок, так и быть результатом конвергенции.

Однако, опираясь на сходство каменного инвентаря как раннемезолитического, так и поздне-мезолитического слоев пещеры Двойная с соответствующими индустриями, исследованными в Баксанском ущелье, а также на наличие в губских коллекциях мелких фрагментов обсидиана, можно с достаточной долей уверенности утверждать, что часть мезолитических поселений Губского ущелья была оставлена древними сообществами, пришедшими из Приэльбрусья. Единичные обсидианы есть и в верхнепалеолитических коллекциях Двойной и Чыгая, но пока памятники этого времени на Центральном Кавказе не известны.⁷

Пытаясь упорядочить и систематизировать материалы памятников поздней поры верхнего палеолита, Л.В. Голованова и В.Б. Дороничев предложили сузить понятие имеретинской культуры, поместив ее в хронологические рамки примерно от 16-15 до 13-12 тыс. л. н. По мнению авторов на Южном и Северном Кавказе существовал пласт индустрий, которые «отличают высокоразвитая микропластинчатая технология расщепления; типы острий на пластинках, характерные для граветта и эпиграветта Европы; геометрические микролиты, развитые в эпипалеолите Ближнего Востока. Специфической формой этих индустрий является имеретийское острие с боковой выемкой». В той или иной степени под это определение подходят материалы из всех трех культурных слоев пещеры Двойная и памятников мезолита Приэльбрусья, если немного раздвинуть хронологические рамки. Попытка описать и дать характеристику культурному явлению опять была сделана с привлечением коллекций, содержащих механически смешанные разновременные материалы (Гварджилась Клде, Сакажиа, Мезмай слой 1-3). На мой взгляд, пока недостаточно данных, чтобы безоговорочно

⁷ И в гроте Сосруко, и в навесе Бадыноко вся толща культурных отложений не исследована.

утверждать о появлении и распространении на Кавказе геометрических микролитов в виде сегментов и трапеций в позднеплейстоценовое время; этот тезис требует перепроверки.

Заключение

Таким образом, пока удалось установить последовательную смену минимум трех (а возможно четырех, если предположить разновременность верхнепалеолитических индустрий из пещеры Двойная и навеса Чыгай) вариантов каменных индустрий, имеющих как ряд общих черт, так и отличия, существовавших на рубеже плейстоцена – начале голоцена на Северо-Западном Кавказе. Хронологическая последовательность трех из них установлена на основании данных стратиграфии и подтверждается радиоуглеродными датами и данными естественных наук. Верхнепалеолитические материалы из навеса Чыгай пока не имеют прямых радиоуглеродных дат, но возраст их по данным фаунистического и палинологического анализа, а также на основании радиоуглеродных дат для вышележащих отложений может быть определен как не моложе 13 тыс. л. н. Направление развития (или смены) каменных индустрий от комплексов с прямоугольниками (или с прямоугольниками и низкими асимметричными треугольниками) к комплексам с сегментами и еще более поздним – с трапециями, имеет сходную тенденцию развития каменных индустрий поздней поры верхнего палеолита (эпипалеолита) и мезолита (протонеолита) от Леванта до Средней Азии и Северного Причерноморья.

ЛИТЕРАТУРА

- Амирханов Х.А. 1986. Верхний палеолит Прикубанья. М.
- Амирханов Х.А. 1994. К проблеме эволюции и периодизации верхнего палеолита Западного Кавказа // Российская археология. № 4.
- Аутлев П.У. 1979. Археологический отчет Адыгейского НИИ за 1979 год // Архив ИА РАН, № 7672+а.
- Аутлев П.У. 1981. Отчет об итогах археологических разведок, проведенных Адыгейским НИИ в 1981 г. // Архив ИА РАН Р-1 8189+а.
- Аутлев П.У. 1985. Отчет об итогах археологических разведок Адыгейского научно-исследовательского института в 1985 г. // Р-1. Архив ИА РАН. № 10804+а.
- Бадер Н.О. 1984. Поздний палеолит Кавказа // Палеолит СССР. Археология СССР. М.
- Бадер Н.О., Церетели Л.Д. 1989. Мезолит Кавказа // Мезолит СССР. М.
- Голованова Л.В., Дороничев В.Б. 2012. Имеретинская культура в верхнем палеолите Кавказа: про-

шлое и настоящее // Первобытные древности Евразии. К 60-летию Алексея Николаевича Сорокина. М.

Деревянко А.П., Зенин В.П., Анойкин А.А., Рыбин Е.П., Кереев Б.М., Виндугов Х.Х. 2004. Бадынок – новое многослойное местонахождение каменного века в Кабардино-Балкарии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири. Том X. Ч. 1 сопредельных территорий. Новосибирск.

Замятин С.Н., Акритас П.Г. 1957. Раскопки грота Сосруко в 1955 году // Ученые записки. Том XIII. Кабардино-Балкарское книжное издательство. Нальчик.

Замятин С.Н. 1957. Палеолит Западного Закавказья // Палеолитические пещеры Имеретии / Сборник музея Археологии и этнографии. Ленинград. Т. 17.

Зенин В.Н., Орлова Л.А. 2006. Каменный век Баксанского ущелья (хронологический аспект) // XXIV Крупновские чтения. Нальчик.

Леонова Е.В., Антипушина Ж.А., Сердюк Н.В., Спиридонова Е.А., Тесаков А.С. 2014. Первобытный человек и природное окружение на Рубеже плейстоцена – голоцена в Губском ущелье // Крупновские чтения. И.Е. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции. Москва.

Леонова Е.В., Александрова О.И. 2012. Динамика культурных процессов в верхнем палеолите – мезолите Северо-Западного Кавказа (по материалам многослойных памятников навес Чыгай и пещера Двойная) // Историко-культурное наследие и духовные ценности России. Москва.

Любин В.П. 1989. Палеолит Кавказа и Северной Азии // Палеолит мира. Л.

Мешвелиани Т., Бар-Йозеф О., Джакели Н., Мацкевич З. 2011. Хронология верхнего палеолита Западной Грузии // Международная научная конференция Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Тбилиси.

Формозов А.А. 1963. Обзор исследований мезолитических стоянок на Кавказе // СА. Издательство Академии наук СССР. № 4. М.

Формозов А.А. 1977. Проблема этнокультурной истории каменного века на территории европейской части СССР. М.

Arimura M., Chataigner C., Gasparyan B. 2009. Kml 2. An Early Holocene Site in Armenia Neo-Lithic // The Newsletter of Southwest Asian Neolithic Research.

Bar-Yosef O. 1970. The Epi-Palaeolithic culture of Palestine. Thesis Submitted for Degree "Doctor of Philosophy". Jerusalem.

Kozłowski J.K. 1972. Górny paleolit w krajach zakaukaskich I na Bliskim Wschodzie. Cz. 2, Periodizacja górnego paleolitu zachodnich krajów zakaukaskich // Światowit 33.

Pinhasi R., Gasparian B., Wilkinson K., Schreve D., Branch N. & Nahapetyan S. 2006. The archaeology of Hovk, north-east Armenia: a preliminary report // Antiquity. Vol 80. No 308.

Montoya, C., Balasescu, A., Joannin, S., Ollivier, V., Liagre, J., Nahapetyan, S., Ghukasyan, R., Colonge, D., Gasparyan, B., Chataigner, C. 2013. The Upper Palaeolithic site of Kalavan 1 (Armenia): An Epigravettian settlement in the Lesser Caucasus // Journal of Human Evolution. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhevol.2013.07.011>

Таблица 1. Радиоуглеродные даты по материалам из навеса Чыгай

Слой	Материал	Координаты	Лабораторный номер	δ13C ‰	Возраст 14C BP±1σ
Низ красно-бурого слоя (низ слоя 4?)	кость	Шурф 2006 г.	Ki – 13465		9560±100
Слои 4/5/6/7	раковины моллюсков Helix	Е-2, Д-2, Д-3 -270/-280	ЛЕ-8314 (IGSB – 1357)	-9,4	11060±190
Слой 5	раковины моллюсков Helix	-280/-290	ЛЕ-8313 (IGSB – 1358)	-8	10300 ± 130
Красноватый золистый слой Слой 4\5	раковины моллюсков Helix	-260/-270 Е-2	ЛЕ-8314 (IGSB – 1356)	-7,9	10545 ± 120
Слои 9-11	кость	Д-3, Е-3 -320/-330	Ле-8317		13250±500
Слой 12\13	кость	-360/-370 Е-3			
Слой 13	кость	Д26 -395	NskA – 99 (дубль)		13522 ±4857
Слой 9	кость	-300/-310 кв. Е-2	NskA– 100 (дубль)		12983±339

Таблица 2. Сводные данные палинологического, фаунистического и радиоуглеродного анализов, полученных по материалам из раскопок навеса Чыгай

слой	период	Данные палинологического анализа			Палинозона	Фауна	Даты некалиброванные	
		% древесные	% травянистые	% спорные				
1		-	-	-	-	<i>Capra aut Ovis, Cervidae, Sus scrofa Canis aureus</i>		
2		-	-	-	-	<i>Arvicola terrestris, Arvicola cf., Cervus sp., Sus scrofa, Spalax cf. Microptalmus, Capra aut Ovis, Panthera sp.</i>		
3					-	<i>Capra aut Ovis, Spalax sp., Spalax cf. Microptalmus, Helix albencens</i> Ross-massler, <i>Pomatias rivulare (1), Monacha sp.juv. (1)</i>		
4	Мезолит	20	70	10	VI	<i>Corylus (30,4%), Carpinus (19,6 %), Betula, Fagus; Polygonum distortae (Bryales) (48%), Polypodiaceae (24%); Equisetum (12%), Lycopodium (8%), Sphagnum (8%).</i>	10300±130	
5		2	95	3	V	<i>Betula, Alnus (7,6-25%), Pinus, Abies, Chenopodiaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Apiaceae, Artemisia</i>	9560±100	
6		4	93	3		<i>Spalax cf. microptalmus Cricetus cricetus, Microtus sp., Spermophilus sp., Chionomys nivalis, Lacertilia, Helix spp.</i>	10545 ± 120	
7		4	93	3			11060 ± 190	
8		4	92	4	IV	<i>Betula, Pinus, Artemisia (33,1%), Chenopodiaceae (17,4%), Cichoriaceae, Asteraceae, Malva, Ranunculaceae, Liliaceae, Polygonaceae, Bryales. Polypodiaceae.</i>		
9		?	9	87	4	III	<i>Betula (26%), Pinus (13%), Corylus (13%). Poaceae (39,3%). Asteraceae, Cichoriaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Polygonaceae.</i>	12983±339
10 Д		14	86	-	II	<i>Pinus (40%), Corylus (40%), Alnus 20%. Poaceae (30,3%), Chenopodiaceae (24,2%), Artemisia (21,2%) Cichoriaceae (18,2%).</i>		
11		21	74	5	I	<i>Martes sp. Capra aut Ovis, Arvicola terrestris, Cricetus cricetus, Cricetulus migratorius, Microtus sp., Microtus ex gr. Arvalis, Ochotona sp., Spalax cf. microptalmus. Spermophilus sp.</i>		
12 Д								
13	Верхний палеолит	21	75	4	I	<i>Corylus (31%), Alnus (17%), Quercus, Fagus, Pinus s/g Diploxylon (~10%), (Betula(~10%); Chenopodiaceae, Artemisia, Poaceae (22%), Fabaceae, Brassicaceae, Cichoriaceae, Asteraceae, Linum, Malvaceae, Bryales, Polypodiaceae.</i>		
14						Пока данных нет		

Таблица 3. Радиоуглеродные даты по материалам из пещеры Двойная

Слой	Материал	Координаты	Лабораторный номер	Возраст 14C BP±1σ
над Д.І	кость	шурф 1, гл. -105/-110	Ki -14484	8330 ± 70
над Д.І	кость	шурф 1, гл. -120/-130	Ki - 14485	8880 ± 60
ниже Д.І	уголь	шурф 1, гл. -150/-170	Ki - 14486	10240±250
6	кость	кв. І-7 Гл. -263/-284	GIN 14704	8980±280
6 углистое пятно № 6	почва с углем	Кв. П-8г Гл. -285	GIN 14706	10020±160
6	кость	Кв. І-7а Гл. -263/-268	GIN 14703	11830±160

Таблица 4. Сводные данные палинологического, фаунистического и радиоуглеродного анализов, полученных по материалам из раскопок пещеры Двойная

Слой	Культурный слой/ период	Данные палинологического анализа	Фауна	Даты
1		<i>Corylus Betula, Pinus. Carpinus, Polypodiaceae</i>	-	
2		<i>Betula, Pinus, Abies, Picea, Corylus, Alnus, Quercus, Acer, Castanea, Sorbus. Poaceae. Malvaceae, Polygonaceae, Compositae. Polypodiaceae, Pteridium, Botryhium, Bryales</i> Волокна древесины (сосна?)	-	
3 (Д I)			<i>Coccothraustes coccothraustes Helix spp.</i>	
4	1 Поздний мезолит	<i>Quercus, Sorbus, Castanea, Pinus, Betula, Poaceae, Fabaceae, Polygonaceae, Artemisia, Urtica.</i>	<i>Cervidae, Bos-Bison, Ovis-Capra (+), Sus scrofa (+), Canis sp., Lepus sp. (+), Myotys sp., Perdix perdix, Lanius excubitor, Helix spp. (+)</i>	
5 Д II		<i>Betula, Pinus, Poaceae, Chenopodiaceae, Artemisia.</i> Волокна древесины (сосна?)	<i>Cervidae (+), Cervus sp., Cervus cf elafus, Bos-Bison, Ovis-Capra Equus sp., Sus scrofa (+), Vulpes sp., Lepus sp. (+), Perdix perdix, Saxicolinae (чекан), Muridae gen., Spalax microphthalmus, Emys sp. (1), Reptilia indet., Helix spp. (+)</i>	
6	2 Ранний мезолит		<i>Cervidae (+), Alces alces, Cervus sp. (+), Cervus elaphus, Ovis-Capra, Equus caballus, Sus scrofa, Canis lupus, Vulpes sp., Ursus cf. arctos, Lepus sp., Perdix perdix (+), Hirundinidae gen. indet., Arvicolidae indet., Cricetus cricetus, Crocidura sp., Microtus sp., Muridae gen., Spalax microphthalmus, Spermophilus pygmaeus, Talpa sp., Lacerta sp., Ophidia gen., Helix spp. (+)</i>	8980±280 GIN 14704 (кость) ----- 10020± 160 GIN 14706 (почва с углем) ----- 11830+/-160 GIN 14703 (кость)
Д III				
7	3 Верхний палеолит	<i>Betula, Corylus, Quercus, Pinus, Alnus; Poaceae, Compositae, Chenopodiaceae, Polypodiaceae.</i> Волокна древесины (сосна?)	<i>Cervus elaphus, Ovis-Capra, Equus caballus, Sus scrofa, Canis lupus, Ursus cf. arctos, Lepus sp., Apodemus sp., Cricetulus migratorius, Microtus arvalis, Spalax microphthalmus, Lacerta sp., Reptilia indet., Spermophilus pygmaeus, Helix, Theodoxus fluviatilis</i>	

**Зах В.А., Еньшин Д.Н., Костомаров В.М., Цембалюк С.И.
(ИПОС СО РАН)**

МЕХАНИЗМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДРЕВНИХ ОБЩЕСТВ ТОБОЛО-ИШИМЬЯ

Территория Западной Сибири, включающая и Тоболо-Ишимское междуречье, во все периоды своей древней истории представляла пространство, на котором происходило взаимодействие и смешение представителей степных и таежных, равнинных и горных областей. Этому способствовали положение в регионе, чередование природных зон и разветвленная речная сеть. Немаловажную роль в подвижках населения играли и палеоклиматические изменения с определенной периодичностью происходившие в Евразии в эпоху голоцена. Все это определяло многие аспекты развития коллек-

тивов древних обществ. В данной работе мы остановимся на рассмотрении процессов и содержания состояний общества в периоды трансформационного развития. Во время трансформаций, которые, как правило, связаны с переходными периодами, происходит бурное, взрывное формирование новых традиций, поиск новых технологий, а в случаях взаимодействия двух или нескольких этнических групп, процесс взаимодействия и гибридизации. Обуславливается такое состояние, на наш взгляд, палеоклиматическими изменениями, связанными со сменой водных режимов и смещениями ландшафтов.

шафтных зон и, как правило, крупными миграциями населения.

В археологии термином «переходный период» обычно обозначается временной отрезок, характеризующийся особыми культурными процессами, вызывающими или отражающими смену культур или эпох (Манзура, 1990). Впервые понятие «переходный период» (энеолит) был введен в 1876 г. венгерским археологом Ф. Пульским, предложившим этот термин, уточняя периодизацию Д. Томпсона, в которой за каменным сразу следовал бронзовый век (Кирюшин, 2002). В 1893 г. А. Браунм введено понятие мезолит – переходный период, занимающий промежуточное положение между палеолитом и неолитом. В советской археологии это понятие было введено в конце 1920-х гг. М.Я. Рудинским, но закрепилось оно лишь в 1950-х гг. благодаря работам М.В. Воеводского (Мезолит..., 1989).

Основным признаком переходного периода, по мнению И.В. Манзуры, можно считать резкое увеличение новых, ранее отсутствующих в определенной системе черт при сохранении пережиточных элементов предшествующей эпохи, что приводит на определенном этапе к нарушению стабильности и поступательному саморазвитию, необходимости «в скачкообразном переходе в новое состояние». При этом различие эволюционной стадии развития системы и переходного периода заключается в усилении в этот период интенсивности, а иногда аритмичности культурных процессов, усилившемся восприятии внешних элементов и трансляции собственных стандартов, когда развитие системы идет не за счет внутренней эволюции, а в результате прямого или косвенного заимствования (Манзура, 1990). Возможность осмысления переходных эпох (периодов) «с помощью категорий материалистической диалектики – качества, количества, меры», – по мнению Г.Б. Здановича и В.К. Шрейбера, дает археологический материал (1990). Так, в сложном вопросе генезиса алакульских и федоровских и соотношения петровских и алакульских комплексов помогает выявление закономерностей в изменениях элементов (признаков) во всей совокупности рассматриваемых материалов. Исследователи отмечают, что одни признаки присущи родственным комплексам, обнаруживающим единую направленность в изменениях элементов, и совершенно другие закономерности выявляются при взаимодействии «двух и нескольких одновременно существующих, но различных по происхождению культур» (Зданович, Шрейбер, 1990).

В некоторых случаях, в частности, наложения элементов родственных комплексов процесс появления нового качества постепенен и проходит

несколько фаз. При соединении разнокультурных элементов не отмечается непрерывных характеристик, а процесс происходит в виде скачка.

Переходный период и его признаки, как правило, рассматриваются в рамках материалистического толкования скачкообразного перехода в новое состояние. Но понимание аритмичности культурных процессов, закономерностей при взаимодействии родственных и различных по происхождению культурных образований требует иных подходов. В исследованиях развития культуры западно-сибирских лесостепных территорий во II – середине I тыс. до н. э. исследователи отмечают три основных подхода к содержанию понятия «переходный период». В первом случае процесс перехода отождествляется с эволюцией предшествующих культур в последующие, во втором – выделяются «переходные» культуры, в третьем – предполагается трансформация культуры с влиянием на нее миграционных процессов (Илюшина, 2011). Развитие культур финала эпохи бронзы и переходного к раннему железному веку времени предлагается рассматривать, применяя синергетический подход, поскольку он позволяет представить все многообразие, противоречивое содержание и динамику лесостепных культур в данные временные отрезки (Илюшина, 2011). Интенсивные археологические и, что очень важно, палеогеографические исследования в Западной Сибири в последние годы дали многочисленные источники, позволившие наметить новые направления и подходы в изучении переходных (трансформационных) периодов (эпох), с одной стороны, и решении вопросов периодизации и этнической интерпретации многих археологических комплексов региона – с другой (например, (Чича, 2004; Зиминова, Зах, 2009)).

Одним из первых исследователей, придававшим большое значение изменениям климата в древности, поставившем вопрос о неравномерности социально-экономического развития обществ, ее причинах и, в частности, переходном периоде от камня к раннему металлу в Западной Сибири, был М.Ф. Косарев (Косарев, 1976). Определяющим, на наш взгляд, был его вывод о влиянии на развитие древнего населения Западно-Сибирской равнины, и прежде всего ее степной части, ландшафтной нестабильности, связанной с периодическим чередованием сухих и влажных климатических фаз в пределах двух с половиной тысяч лет (Косарев, 1976. С. 5). Большое значение исследователю придает тому, что, скорее всего, справедливо, аридизации климата «как стимулу перехода к производящей экономике» не только для Передней Азии, где сложилась критическая экологическая ситуация на

рубеже плейстоцена и голоцена, но и в Западной Сибири, где это произошло на несколько тысяч лет позднее (Косарев, 1976. С. 6).

По имеющимся материалам можно говорить, по крайней мере, о нескольких переходных или периодах трансформаций между крупными историческими эпохами, например, от палеолита к неолиту, которые так или иначе прослеживаются на всей территории Евразии и Африки. Энеолитический период, в связи с неравномерностью исторического развития, как явление существовал в обществах с передовой экономикой, имеющих доступ к сырьевой базе. На территории Западной Сибири прослеживаются переходные периоды, когда, с одной стороны, появляются новые технологии (мезолит – неолит) (Зах, 2009), в южной части равнины – первый металл (Потемкина, Дегтярева, 2008), а несколько позднее – осваивается привнесенное пришлыми юго-запада скотоводами и металлургами производящее хозяйство. С другой стороны, наблюдаются «обратные» процессы: в конце эпохи бронзы таежные мигранты «возвращают» в западно-сибирскую лесостепь элементы присваивающего хозяйства и укрепление устоев родового общества.

Общей чертой трансформационных периодов является их сопряженность, прежде всего с палеоклиматическими и ландшафтными изменениями. Геоморфологические данные расположения древних поселений и палинологические спектры из разрезов торфяников свидетельствуют об аридных фазах в начале атлантического и в середине суббореального периодов голоцена (II тыс. до н.э.), а гумидная фаза наиболее ярко проявилась в конце I тыс. до н.э. В фазы усыхания происходило уменьшение осадков, понижение уровня грунтовых вод и обмеление или исчезновение мелководных водоемов, перестройка ландшафтов, на лесостепных пространствах сокращалось количество и площади березовых колков. С уменьшением площадей, занятых древесными, увеличивались пространства, занятые представителями степных ассоциаций. В гумидные фазы, наоборот, поднимался уровень грунтовых вод, вновь наполнялись озера, происходило увеличение количества древесных видов и уменьшение степных ценозов в южной части лесостепи. Судя по всему, участки леса продвигались в южном направлении, особенно по речным долинам. Увлажнение и избыточная обводненность приводили к заболачиванию межречных водораздельных территорий, что ограничивало комфортное проживание древнего населения дренированными участками долин рек и побережий озер.

Климатические изменения существенно влияли на системы жизнеобеспечения. В аридные периоды

в Западной Сибири оптимальными для проживания были лесостепные и южно-таежные территории, в гумидные фазы – типичная и южная часть лесостепи. Последствиями климатических изменений обуславливается такой признак переходного периода, как миграционная активность. С аридными фазами связано становление в Западной Сибири неолита и проникновение на лесостепные и южно-таежные территории скотоводческого (андроновского) населения, а с увлажнением в конце I тыс. до н.э. – продвижение таежных охотников и рыболовов в лесостепь, вплоть до степных территорий.

Основными механизмами трансформационного развития общества, по крайней мере, на территории Тоболо-Ишимья, по нашему мнению, являются миграционные процессы, вызванные климатическими и ландшафтными изменениями и родовые семейно-брачные отношения, в частности, экзогамия и связанные с ней ассимиляционные процессы в обществе, которые наиболее четко фиксируются в переходные периоды.

Так в начале атлантического периода голоцена южное население принесло в Западную Сибирь навыки изготовления глиняной посуды, некоторые новые технологии в изготовлении жилища и охотничьего снаряжения. Углубленные в землю жилища свидетельствуют об изменениях в системе жизнеобеспечения древних коллективов: на смену хозяйству аборигенных бродячих охотников, рыболовов и собирателей приходит экономика, основанная на оседлом запорном, а затем и сетевом рыболовстве. Уже в конце плейстоцена на территории Северной Евразии начинается потепление. На смену тундровым и лесотундровым пространствам перигляциальной зоны, протянувшейся почти на 1500 км к югу от ледников, приходят лиственные и хвойные леса. Ареал представителей мамонтового комплекса постепенно сдвигается к северу, некоторые виды вымирают или деградируют. Пространство равнины постепенно занимают современные представители животного мира: лось, медведь, косуля, лисица, заяц, соболь и многие другие, ставшие для обществ с присваивающей экономикой основным источником пищи, одежды, а в местах с малым количеством камня – и материала (кость) для производства орудий. Инвентарь мезолитических комплексов от Приисетья до Прииртышья изготовлен из различных пород камня, происходящих с территории Южного Урала и галечников Притоболья и Приишимья (Зах, Скочина, 2010). Преобладает пластинчатая индустрия без геометрических микролитов и наконечников стрел. Отсутствие долговременных, углубленных жилищ, каменная и костяная индустрия свидетельствуют

о подвижном образе жизни как предшествующего, палеолитического, так и мезолитического населения Западной Сибири. Скорее всего, это были небольшие группы охотников, передвигающихся за стадами диких животных в места их сезонного обитания. Лесостепные и южно-таежные мезолитические стоянки Тоболо-Ишимья и Прииртышья, в каменных комплексах которых отсутствуют геометрические микролиты, можно объединить в самостоятельную группу (Зах, 2009).

В развитии и заселении территории Западно-Сибирской равнины на рубеже бореального и атлантического периодов голоцена происходят кардинальные изменения, связанные с появлением и развитием гончарства. Керамическое производство в Западной Сибири, по мнению одних исследователей, появилось самостоятельно, а наиболее древняя местная керамика украшалась узорами в отступающе-накольчатой технике (Косарев, 1991; Молодин 1985, 1995; Старков, 1980; Ковалева, 1989). С точки зрения других, умение делать керамику, было заимствовано у южных соседей (Бадер, 1970. С. 159; Косинская, 2002. С. 222; Тимофеев, 2002. С. 210; Моргунова, 1995. С. 93; Вискалин, 2002). О привнесении керамического производства в лесостепные и лесные районы Восточной Европы и Западной Сибири говорят многие исследователи, но по поводу механизма этого процесса их позиции различны. Предполагается появление гончарства путем диффузии через буферные двуязычные культуры либо в результате миграции населения.

Становление и развитие неолита в Западной Сибири достаточно сложный и продолжительный процесс, начавшийся с аридизацией и прямыми миграциями населения, обладавшего навыками гончарного производства, технологиями изготовления геометрических микролитов, каменных наконечников стрел и тростниковых древков к ним. С группами мигрантов связываются боборыкинские комплексы с отступающе-прочерченной орнаментацией, датируемые по материалам лесостепного и южно-таежного Притоболья в пределах начала VIII – середины VI тыс. до н.э. В пользу предположения о прямой миграции инородного населения в Тоболо-Ишимье может свидетельствовать увеличение численности населения и резкий рост числа поселений и жилищ в них. Появляются долговременные, углубленные в материк жилища (оседлость обеспечивается запорным рыболовством). О прямой миграции может говорить появление в лесостепи и южной тайге в пределах ареала боборыкинской культуры, наряду с керамикой, геометрических микролитов и выпрямителей древков стрел («утюжков») (Усачева, 2007), наиболее ранние из которых обнаружены

на Ближнем Востоке в комплексах натуфийской культуры и докерамических слоях Загроса и Иерихона (Мелларт, 1982). Данные изделия встречаются в Тоболо-Ишимье во всех неолитических комплексах. Наряду с отступающе-прочерченной на территории Западной Сибири появляются новые — гребенчатая и гребенчато-ямочная орнаментальные традиции, что отражает, вероятно, процесс взаимодействия местного и мигрирующего населения. Вероятно, группы переселенцев были немногочисленны и экзогамны. Утратив привычные брачные связи с партнерами из метрополии, мигранты стали вступать в брачные контакты с местным населением. Аборигены, не знавшие керамического производства, постепенно перенимали навыки изготовления глиняной посуды, но орнаментировали ее по-своему, возможно адаптируя к керамике известные им приемы. Например, могли имитировать на глиняных сосудах швы, получающиеся при сшивании, например, емкостей из бересты. Подобный прием использовался в раннем железном веке, когда на глиняную посуду наносились линии раскроя и стежков, аналогичные на кожаных емкостях (Бородовский, 1983). Из бересты изготавливали емкости в этнографическое время (Федорова, 1994. С. 231; Федорова, 2000. С. 228–229), и в древности, так, на р. Конде были найдены четырехугольные сосуды с невысокими стенками, относящиеся к позднему энеолиту, возможно имитирующие форму деревянных или берестяных изделий (Кокшаров, 1991. С. 93–94. Рис. 1, 24). На памятнике Чертова Гора обнаружены берестяные вместилища, близкие к этнографическим берестяным туесам. На стенках одного из туесов охрой нанесены горизонтальные параллельные полосы шириной 2–3 мм, на крышках и стенках следы (отверстия) швов. Предметы, связываются с носителями кошкинской орнаментальной традиции (6400±90 л. н., 6480±65 л. н., 6445±90 л. н.) (Сладкова, 2007). Скорее всего, ряд технологических решений, в частности, наложение швов при изготовлении берестяной утвари, нашли впоследствии отражение в форме и технике нанесения орнамента на керамическую посуду. Швы или соединения на берестяной посуде и других изделиях (лодки) часто напоминают ряды «качалки» на керамике. Похожие технологии (сшивание) употреблялись и при изготовлении крупных изделий, таких как лодки, покрывала жилищ, а также посуды (куженек) чулымскими тюрками (Тюрки..., 1991. С. 68. Рис. 10, 1, 3).

Уже в комплексах боборыкинской культуры появляются сосуды, украшенные оттисками гребенчатой «качалки», на кошкинской посуде процент гребенчатых орнаментов увеличивается,

происходят изменения и в форме сосудов. С внутренней стороны появляется пока небольшой наплыв, с внешней – карнизик (видимо, имитация деревянного обруча, как правило, укрепляющего устья берестяных емкостей). В более позднее, козловское и полуденковское, время наплывы становятся крупнее, а гребенчатые орнаменты постепенно начинают доминировать. Наряду с инновациями (геометрические микролиты, стрелы с каменными наконечниками и древки из тростника и/или камыша), в каменных комплексах боборыкинской культуры отмечаются изделия, характерные для комплексов мезолитического времени (Дрябина, 1995; Зах, 1987). Эти факты, скорее всего, свидетельствуют об ассимиляции местного и пришлого населения и процессах трансформации старой и формирования новой, в Притоболье гребенчатой, в Приишимье гребенчато-ямочной традиций. Развитие в первом регионе шло от боборыкинской культуры к козловским, полуденковским, сосновоостровским и шапкульским комплексам, в Приишимье развиваются боборыкинские, близкие к козловским, кокуйские, близкие к сосновоостровским и далее екатерининские материалы (Зах, 2009). Мы склонны рассматривать шапкульские и екатерининские комплексы как отражение аборигенных культурных традиций, заложенных, вероятно, еще в мезолитическое время. В этом случае кошкинские, козловские, полуденковские, кокуйские и, вероятнее всего, сосновоостровские комплексы являются переходными и относятся к периоду, начавшемуся в регионе с миграцией боборыкинцев и длившемуся более 4 тыс. лет.

Второй крупный трансформационный период (конец III – первая половина II тыс. до н. э.) отмечается в суббореальный период голоцена, когда западно-сибирская лесостепь и южная тайга активно осваивалась проникающими с юго-запада андроновскими (петровское и алакульское население) группами, которые впервые принесли на эти территории скотоводство и развитую бронзовую металлургию. Судя по размерам жилищ отдельных домохозяйств на поселениях, особенно федоровских, количеству содержавшегося в них скота, в этот период происходят дальнейшие изменения в социальной структуре, в частности, формируются большие патриархальные семьи. Аридный климат и проживание федоровского населения в поймах, в поселках у рек и озер, способствовали развитию пастушеского придомного скотоводства и, вероятно, зачатков пойменного земледелия.

С нарастанием аридизации и проникновением скотоводов петровской и алакульской культур в Притоболье мигранты начинают постепенно сме-

шиваться с местными ташковскими коллективами с присваивающей экономикой, основанной на рыболовстве и охоте (Зах, 2009. С. 240). Судя по материалам, гибридационные процессы основанные, скорее всего, на экзогамных брачных отношениях между мигрантами и аборигенами, приводят к сложению в Притоболье коптяковских, с несколькими этапами развития, а затем и федоровских комплексов (Зах, 2012). На раннем этапе коптяковской культуры, при усилившейся интеграции ташковского и петровско-алакульского населения, появляются комплексы, на посуде которых отмечаются черты, присущие как ташковской (желобки, ряды неглубоких ямок или вдавлений), так и алакульской (ребро при переходе к тулову, горизонтальные зигзаги, геометрические узоры) культурам. Металлические изделия относятся к сейминско-турбинскому, самусьско-кижировскому и евразийскому типам (Сериков и др., 2009). Время этого этапа определяется по углю, происходящему из средней и нижней части заполнения котлована жилища 1 поселения Чепкуль 20: 3510±45, 4140±85, 3700±45 л. н. (СОАН 5852, 5854, 5855) (Зах, Иванов, 2007; Зах и др., 2011). К позднему, на наш взгляд, относятся материалы памятника Коптяки 5, посуда с ковровым орнаментом поселения Чепкуль 20, погребения могильника Палатки 1 и два захоронения, исследованные на поселении Чепкуль 5 (Викторова, 2001; Зах, Илюшина, 2011). Посуда по форме и орнаментации ближе к притобольским федоровским комплексам, а бронзовые наконечники стрел чепкульского погребения 6 аналогичным изделиям кургана 7 Смолинского могильника, Межовского и Садчиковского поселений (Сальников, 1967. Рис. 52, 12, 13; Кузьмина, 1973. С. 163. Рис. 4; Аванесова, 1991. Рис. 39). По Н.А. Аванесовой, данные типы (III, IV) наконечников датируются в пределах XIV–VIII вв. до н. э. (Аванесова, 1991. Рис. 39).

Сложно говорить о верхней границе рассматриваемого переходного периода, но, видимо, его окончание совпадает с распадом единого федоровского ареала и началом формирования позднебронзовых культур Западной Сибири. По нашему мнению, этот трансформационный период продлился на территории Притоболья около 1500 лет.

Если с миграцией населения из экономически развитых южных и юго-западных территорий в Западной Сибири появляются новые технологии, скотоводство и зачатки земледелия, то миграции северного населения в гумидные климатические фазы приводят к возвращению в западно-сибирскую лесостепь присваивающего хозяйства, забытых технологий каменного производства, а в социальной сфере – к укреплению родовых отношений.

Переходный период от эпохи бронзы к раннему железному веку (начало I тыс. до н. э.) протекал в климатической обстановке, когда в лесостепи началось увлажнение и производящая экономика носителей позднебронзовых культур стала переживать глубокие кризисные изменения. Так в скотоводстве, по-прежнему доминирующей отрасли, заметно увеличивается роль лошади, что приводит к смене придомного, с заготовкой кормов в пойме, отгонным, полукочевым скотоводством. Климатические изменения и перемены в хозяйстве сопровождаются, на наш взгляд, оттоком части лесостепного населения на юг, в степи и миграцией таежного населения на южно-таежные и лесостепные территории. В результате взаимодействия местных позднебронзовых и носителей посуды с крестовой орнаментацией на южно-таежных и лесостепных территориях Западной Сибири произошло сложение синкретичных культур.

В Приобье сформировалась гибридная завьяловская культура с несколькими этапами развития (Троицкая и др., 1989). С новыми элементами, проявившимися в культуре завьяловского населения (домостроение, хозяйство), в керамическом комплексе, особенно на раннем (линевском) этапе, прослеживаются черты позднебронзовой эпохи (позднеирименские) и присутствуют северные – в виде крестовой орнаментации, – которые на последнем, большереченском (Ближние Елбаны 1) этапе практически исчезают. На смену завьяловским в VI–V вв. до н.э. приходят комплексы бийского этапа – с посудой баночной и горшковидной форм, украшенной одним рядом жемчужин, разделенных оттиском уголка палочки или коротким гребенчатым штампом (Троицкая, 1985).

В Барабинской лесостепи, где речная сеть развилась в широтном направлении (Каргат, Чулым, впадающие в оз. Чаны, Омь – приток Иртыша), а на севере простираются труднопроходимые Васюганские болота, природные условия способствовали изоляции территории. Проникновение в Барабу инокультурного компонента было ограничено, что определило своеобразие культурного развития региона, где, вероятнее всего, продолжался процесс эволюции позднеирименских комплексов.

В Приртышье и Приишимье носители посуды с крестовой и гребенчатой орнаментацией, смешиваясь с позднебронзовым населением сузгунской, (Полеводов, 2003) сформировали красноозерскую культуру, развитие которой приводит к образованию журавлевских, а затем, в Прииртышье, вероятно, богочановских комплексов (Абрамова, Стефанов, 1985; Данченко, 1996). В Приишимье, скорее всего, на основе журавлевских, которые проходят несколь-

ко этапов развития, складываются комплексы с гребенчато-ямочной традицией, аналогичные материалам поселения Озеро Ченчерь 6 (Волков, 2001).

В Притоболье наблюдается аналогичный процесс; так в культуру носителей бархатовской культуры постепенно проникают гамаюнские керамические традиции. Вначале находки гамаюньских сосудов залегают совместно с бархатовскими, например, на Красногорском городище (Матвеев, 1999. С. 111). Впоследствии происходит смешение керамических традиций, что отмечается на городище Усть-Утяк 1, где наряду с бархатовскими и гамаюньскими сосудами встречается посуда с гибридным орнаментом (Кайдалов, Сечко, 2006). Ассимиляция позднебронзового населения и таежных мигрантов приводит к формированию иткульских (восточный вариант) комплексов, которые, пройдя ряд этапов развития, послужили основой для сложения баитовских с посудой, орнаментированной одним рядом жемчужин, уголковыми вдавлениями или оттисками гребенки (Зимица, 2006; Зах, 2007).

Ассимиляционные процессы при взаимодействии автохтонных и пришлых групп населения на всей территории южной тайги и лесостепи обуславливают в течение достаточно короткого времени изменения в материальной культуре, что проявляется в количестве и быстрой смене этапов развития культур в эти периоды. По мнению исследователей, миграция с севера в одних регионах была полномасштабной и продолжительной (Труфанов, 1994), другие считают ее кратковременной и малочисленной (Троицкая, 1985; Бородовский, 1983). В количественном отношении мигрировавшее с севера население распределялось пропорционально проживавшим в Притоболье, Приишимье, Прииртышье и Приобье позднебронзовым аборигенам. Наибольшее количество поселений сосредоточено в Среднем Зауралье, около 50 открыто в Приишимье и Прииртышье, единичные памятники открыты в Барабе и Приобье (Труфанов, 1994). Подобное распределение населения в миграционных потоках объясняется наиболее прямыми путями на юг по долинам Иртыша, Тобола и Ишима, а также большей заселенностью этих пространств, что было немаловажно для экзогамных северных коллективов. По самым грубым подсчетам, с учетом того, что в среднем в керамических комплексах переходного времени посуда с крестовым орнаментом составляет около 15–20%, численность мигрантов могла составлять 1/3 и более населения региона.

Все западно-сибирские лесостепные культуры прошли несколько этапов своего развития, которое закончилось формированием похожих керамических комплексов, распространенных от Приобья

до Притоболья. Так на территориях, где отмечается непосредственное проникновение северного населения, ассимиляционные процессы проходили вплоть до VI – начала V в. до н. э., но около IV–III вв. до н.э. на смену бийским, богочановским и баитовским приходят березовские комплексы большереченской (каменской) в Приобье и саргатской культуры в Прииртышье, Приишимье и Притоболье. Судя по всему, в Барабинской лесостепи ассимиляция пришлого лесного населения заканчивается раньше, чем на остальной западно-сибирской территории и около VII в. до н.э. начинает складываться саргатская культура (Полосьмак, 1987). Таким образом, в Барабе, на наш взгляд, в силу незначительного притока мигрантов имеет место главным образом развитие позднеирменских комплексов и сравнительно раннее формирование саргатской культуры.

Переходный период от бронзы к раннему железному веку на южнотаежной и лесостепной западно-сибирской территории, связан с процессом поглощения и растворения в аборигенной среде инокультурных традиций, в частности, носителей крестовой орнаментации посуды, скорее всего, был растянут на пять столетий – с X–IX по V–IV вв. до н.э.

Таким образом, климатические и ландшафтные перестройки в эпоху голоцена провоцировали экологические и экономические кризисы в обществах, за которыми, как правило, следовала миграция населения, которая «запускала» процессы, во многом определяющие некоторые качественные и количественные показатели переходных периодов. Так миграционные потоки населения приводили к смещению этнокультурных ареалов, а так как, вероятно, мигрировали не полные родовые группы, а, скорее всего, их экзогамные части, – то и к смешению пришельцев и аборигенов и их культурных традиций. Ассимиляционные процессы достаточно хорошо фиксируются по появлению синкретичных форм и орнаментации посуды и ее распределению в жилищах на поселениях, в которых проживали носители взаимодействующих культурных традиций. Наиболее ярко они проявляются на ташковских поселениях Ташково 2 и ЮАО 13, где в одних жилищах преобладала посуда с отступающе-прочерченными, иногда – геометрическими орнаментами, связанная, скорее всего, с петровско-алакульскими комплексами, в других – с местными, гребенчато-ямочными (Зах, 2009. С. 53, 236).

Аналогичный процесс взаимодействия отмечается на поселении иткульской культуры Карагай-Аул 1 с соприкасающимися круглой и овальной площадками, на первой преимущественно встречалась керамика, более близкая к бархатовской, а на второй – гамаюнской посуде (Зах, Зимина, 2005). Взаимодействие

аборигенных и пришлых групп населения представляло собой разной длительности процесс ассимиляции, как правило, многоэтапный, а в некоторых случаях быстротечный. Если рассматривать проникновение в местную среду носителей посуды с отступающе-прочерченной орнаментацией и становление гребенчатой орнаментальной традиции в неолите, то этот процесс, по нашему мнению, был особенно продолжительным и прошел несколько этапов. Гребенчатая орнаментация зародившаяся с восприятием керамического производства аборигенами, уже в боборыкинских комплексах, составляла 2,1 – 5,5 %; в кошкинских ее количество увеличивается от 8,1 до 22,2 %. В козловских и полуденковских комплексах продолжает снижаться доля отступающе-прочерченных элементов орнамента и увеличивается количество гребенчатых узоров – 25 и 50 % соответственно. Практически полное доминирование гребенчатой орнаментации отмечается на сосновоостровской и шапкульской посуде. Судя по этим показателям, данный трансформационный период охватывает более четырех тысяч лет. Причиной может быть диспропорция в численности аборигенного и пришлого населения: возможно, первое на момент начала неолитизации количественно уступало мигрантам. Потребовалось много времени, чтобы местные культурные традиции развились и стали доминирующими. Длительность взаимодействия культур аборигенов и мигрантов сократилась в период становления производящего хозяйства и проникновения в суббореальное время голоцена на восток скотоводов и металлургов, когда местное население количественно превышало или было равно мигрирующим коллективам. Показателем в этом плане переходный период от бронзы к раннему железу, охвативший около пяти столетий при разном количестве населения аборигенов и мигрантов, вступающих во взаимодействие.

Мы уже касались вопроса о хронологической неравномерности процесса ассимиляции лесостепных позднебронзовых и таежных культур на территории Западной Сибири от Притоболья до Приобья и При-салаирья. В Барабе, на наш взгляд, процесс перехода закончился на три столетия раньше и при меньшем числе этапов развития, чем на остальных рассматриваемых территориях (Зах, 2010). Скорее всего, это связано с местоположением региона, «прикрытого» на севере труднопроходимыми Васюганскими болотами и с практически широтным течением рек Чулым и Каргат и правобережных притоков Иртыша, что обусловило незначительное проникновение носителей посуды с крестовой орнаментацией. На других территориях, с меридиональными долинами Иртыша и Оби и их крупных притоков, прослеживается «полноценный» процесс ассимиляции при-

шлого населения, с несколькими этапами развития, более продолжительный, завершившийся появлением саргатской и большереченской (каменской) культур. Так, в Притоболье на основе позднебронзовой бархатовской и гамаюнской культуры формируется комплекс восточного варианта иткульской культуры, в котором выделены усть-утяжский, иткульский, карагай-аульский и вак-куровский этапы (Кайдалов, 2013; Зах, Зимица, 2009). Не исключено, что трансформационный период в Притоболье следует рассматривать шире, с включением в него байтовских и гороховских комплексов (до формирования саргатских на этой территории). В Барабе практически аналогичный процесс до появления саргатской культуры мог занять около двух столетий. С продолжительностью переходных периодов непосредственно связан вопрос определения их хронологических рамок. Он должен решаться в зависимости от того, считать ли данные периоды соответствующими тем отрезкам времени, когда происходит первоначальное взаимодействие разнокультурных комплексов, или же рассматривать их в более широком хронологическом диапазоне.

По нашему представлению, правомернее для времени от начала изменений до их логического завершения или между двумя с достаточно стабильными, со слабо проявляющимися и ограниченными в количестве этапами, культурами ввести новое понятие – трансформационный период. Так для эпохи неолита это период от мезолитических комплексов до формирования шапкульской культуры в Притоболье, екатерининской в Приишимье, Прииртышье и Барабе, ирбинских материалов в Приобье, который протекал около 4500 лет. Для эпохи развитой бронзы Притоболья – период от байрыкской до позднебронзовой бархатовской культуры, охвативший около 1500 лет. Наиболее отчетливо очерчиваются границы трансформационного периода от бронзы к раннему железу в Притоболье. Нижнюю границу здесь определяют бархатовские комплексы, а верхнюю – саргатские.

Переходными в рамках трансформационных периодов, вероятно, следует рассматривать ранние этапы, отражающие процесс начавшегося взаимодействия аборигенных и пришлых культур. В этом случае переходными будут усть-утяжские комплексы в Притоболье, хуторборские в Приишимье и Прииртышье, позднеирменские материалы городища Чича 1 в Барабе и линевского этапа завьяловской культуры в Приобье и Присалаирье.

На примере Притоболья начальный этап трансформационного или переходный период от бронзы к раннему железу представляют синкретичные бархатовско-гамаюнские материалы городища Усть-

Утяк 1 [Кайдалов, Сечко, 2006]. Появление в Притоболье байтовских комплексов, вероятно, свидетельствует о полной ассимиляции пришлых, в данном случае гамаюнских, традиций: байтовская посуда напоминает бархатовскую, правда с достаточно сильно обедненной орнаментацией. Гороховские комплексы, на наш взгляд, свидетельствуют об окончании трансформационного периода и начале формирования новой стабильной саргатской культуры, просуществовавшей, по разным оценкам, от 600 до 800 лет, а сам период продлился около пяти столетий.

ЛИТЕРАТУРА

- Абрамова М.Б., Стефанов В.И. 1985. Красноозерская культура на Иртыше // Археологические исследования в районе новостроек Сибири. Новосибирск.
- Аванесова Н.А. 1991. Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части СССР. Ташкент.
- Бадер О.Н. 1970. Уральский неолит // МИА. № 166. М.
- Бородовский А.П. 2003. К вопросу о городищах переходного времени от эпохи поздней бронзы к раннему железному веку в Новосибирском Приобье. Кн. 1. Барнаул.
- Бородовский А.П. 1983. К вопросу о керамике, имитирующей швы кожаной посуды (по материалам курганной группы Быстровка 1) // Археологические памятники лесостепной полосы Западной Сибири. Новосибирск.
- Викторова В.Д. 2001. Погребальные комплексы на острове Каменные палатки // Охранные археологические исследования на Среднем Урале. Вып. 4. Екатеринбург.
- Вискалин А.В. 2002. Пути неолитизации Волго-Камья (к постановке вопроса) // Тверской археологический сборник. Вып. 5. Тверь.
- Волков Е.Н. 2001. Археологические исследования в Казанском районе Тюменской области в 1998–1999 гг. // ВААЭ. Тюмень.
- Данченко Е.М. 1996. Южнотаежное Прииртышье в середине – второй половине I тыс. до н. э. Омск.
- Дрябина Л.А. 1995. Каменная индустрия поселения Мергень 5 // Древняя и современная культура народов Западной Сибири. Тюмень.
- Зах В.А. 1987. К вопросу о боборыкинской культуре // Роль Тобольска в освоении Сибири. Тобольск.
- Зах В.А. 2007. К вопросу о формировании байтовских комплексов в Притоболье // Вестник археологии, антропологии, этнографии. Вып. 8. Тюмень.
- Зах В.А. 2010. Общее и частное в культурах переходного времени от бронзы к раннему железному веку лесостепи Западной Сибири // Культура как система в историческом контексте: опыт западно-сибирских археолого-этнографических совещаний. Томск.
- Зах В.А. 2012. Периоды трансформаций в истории древних обществ Тоболо-Ишимья в голоцене // Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 4(19). Тюмень.
- Зах В.А. 2010. Скочина С.Н. Каменное сырье комплексов Тоболо-Ишимья // ВААЭ. № 2 (13).

Зах В.А. 2009. Хроностратиграфия неолита и раннего металла лесного Тоболо-Ишимья. Новосибирск.

Зах В.А., Зими́на О.Ю. 2005. О дуальной организации древних обществ Западной Сибири // Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Т.1. Новосибирск.

Зах В.А., Зими́на О.Ю., Рябогина Н.Е. 2011. Радиоуглеродные даты археологических и природных комплексов Тоболо-Ишимья (по материалам Тоболо-Ишимской экспедиции ИПОС СО РАН) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 1.

Зах В.А., Иванов С.Н. 2007. Комплекс эпохи бронзы многослойного поселения Чепкуль 20 на севере Андреевской озерной системы керамикой // Вестник археологии, антропологии, этнографии. Вып. 7. Тюмень.

Зах В.А., Илюшина В.В. 2011. Позднебронзовый могильник Чепкуль 5 в Нижнем Притоболье // Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 1 (14). Тюмень.

Зданович Г.Б., Шрейбер В.К. 1990. Переходные эпохи в археологии: к методике исследования // Археологические культуры и археологическая трансформация. Л.

Зими́на О.Ю. 2006. Иткульская культура в Нижнем притоболье (восточный локальный вариант). Автореф. канд. ист. наук. Новосибирск.

Зими́на О.Ю., Зах В.А. 2009. Нижнее Притоболье на рубеже бронзового и железного веков. Новосибирск.

Илюшина В.В. 2011. Эволюция культуры лесостепной части Западной Сибири второй четверти II – середины I тыс. до н.э. Автореф. дисс. канд. культурологии. Челябинск.

Кайдалов А.И., Сечко Е.А. 2006. Материалы переходного времени от бронзы к железу городища Усть-Утяк 1 (по результатам исследований 2002–2004 гг.) // ВААЭ. Тюмень.

Ки́рюшин Ю.Ф. 2002. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. Барнаул.

Ковалева В.Т. 1989. Неолит Среднего Зауралья. Свердловск.

Кокшаров С.Ф. 1991. Хронология памятников бронзового века р. Конды // ВАУ. Вып. 20.

Косарев М.Ф. 1976. Географическая среда и неравномерность социально-экономического развития разных районов Западной Сибири в первобытную эпоху // Вопросы археологии Приобья. Тюмень.

Косарев М.Ф. 1991. Древняя история Западной Сибири: человек и природная среда. М.

Косинская Л.Л. 2002. Неолит севера Западной Сибири: генезис и связи // Тверской археологический сборник. Вып. 5. Тверь.

Кузьмина Е.Е. 1973. Могильник Туктубаево и вопрос о хронологии памятников федоровского типа на Урале // Проблемы археологии Урала и Сибири. М.

Манзура И.В. 1990. О понятии «переходный период» // Археологические культуры и археологическая трансформация. Материалы методологического семинара ЛОИА АН СССР. Л.

Матвеев А.В. 1999. Зауралье в конце бронзового века и распад андроновского единства // Наука в Тюмени на рубеже веков. Новосибирск.

Мезолит СССР. 1989. М.

Мелларт Дж. 1982. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М.

Молодин В.И. 1985. Проблема мезолита и неолита лесостепной зоны Обь-Иртышского междуречья // Археология Южной Сибири. Кемерово.

Молодин В.И. 1995. Этногенез // История и культура хантов. Томск.

Моргунова Н.Л. 1995. Неолит и энеолит юга лесостепи Волго-Уральского междуречья. Оренбург.

Полеводов А.В. 2003. Сузгунская культура в лесостепи Западной Сибири. Автореф. канд. ист. наук. М.

Полосьмак Н.В. 1987. Бараба в эпоху раннего железа. Новосибирск.

Потемкина Т.М. Дегтярева А.Д. 2008. Металл ямной культуры Притоболья // Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 8. Тюмень.

Сальников К.В. 1967. Очерки древней истории Южного Урала. М.

Сери́ков Ю.Б., Корочкова О.Н., Кузьминых С.В., Стефанов В.И. 2009. Шайтанское Озеро 2: Новые сюжеты в изучении бронзового века Урала // Археология, этнография и антропология Евразии. № 2.

Сладкова Л.Н. 2007. Предварительные итоги полевых исследований 1988, 2003, 2004 гг. на Чертовой Горе в Кондинском районе ХМАО – Югры // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Вып. 4. Екатеринбург; Ханты-Мансийск.

Старков В.Ф. 1980. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М.

Тимофеев В.И. 2002. Некоторые проблемы неолитизации Восточной Европы // Тверской археологический сборник. Вып. 5. Тверь.

Троицкая Т.Н. 1985. Завьяловская культура и ее место среди культур Западной Сибири // Западная Сибирь в древности и средневековье. Тюмень.

Троицкая Т.Н., Зах В.А., Сидоров Е.А. 1989. Новое о завьяловской культуре // Западносибирская лесостепь на рубеже бронзового и железного веков. Тюмень.

Труфанов А.Я. 1994. О специфике миграционных процессов в пределах гамаюно-молчановской общности // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. Барнаул.

Тюрки таежного Причулымья: Популяция и этнос / Львова Э.Л., Дремов В.А., Бирюкович Р.М. и др. Томск, 1991.

Усачева И.В. 2007. «Утюжки» Евразии. Новосибирск. Федорова Е.Г. 1994. Берестяная утварь народов Сибири. Конец XIX — первая половина XX века // Памятники материальной культуры народов Сибири. СПб.

Федорова Е.Г. 2000. Рыболовы и охотники бассейна Оби: Проблемы формирования культуры хантов и манси. СПб.

Чича – городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. – Новосибирск, 2004 (Материалы по археологии Сибири. Т. 2).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВААЭ Вестник археологии, антропологии, этнографии, Тюмень.

РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ГЕНЕЗИСЕ И РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АНАНЬИНСКОГО ВРЕМЕНИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА

С конца 1950-х гг. начинается целенаправленное и планомерное археологическое изучение территории Республики Коми. Уже в первых публикациях Г.М. Булова, В.И. Канивца, В.Е. Лузгина, посвященных интерпретации памятников археологии, выявленных в ходе полевых изысканий конца 1950 – 1960-х гг. на Вычегде, Печоре и Ижме, были предложены первые гипотезы генезиса и культурной принадлежности памятников ананьинского периода на территории ЕСВ. При этом разработка данной темы велась в неразрывном единстве с изучением проблем традиций и новаций в развитии культур, их этнической интерпретацией, этнокультурных связей населения региона, периодизации и хронологии археологических памятников.

Все исследователи, занимавшиеся рассматриваемой проблематикой, признавали и признают значение межкультурных взаимодействий, контактов в развитии культуры населения региона в эпоху раннего железа. Однако в вопросе о том, какую роль они играли, прежде всего в вопросе о генезисе культур, сложилось два противоположных подхода. Одни из них (Г.М. Булов) любые значимые изменения связывали с притоком в регион нового населения, приносившего сюда инновации в культуре. Другие, признавая роль этнокультурных связей, заимствований, миграций, делали упор на роль местного компонента в развитии культуры (В.И. Канивец).

Концепция развития древностей ананьинского времени на ЕСВ, разрабатываемая В.И. Канивцом, наиболее полно изложена в монографии «Печорское Приполярье. Эпоха раннего металла», опубликованной уже после смерти автора. В своей работе он впервые разделяет памятники этого периода на четыре культурно-хронологических типа: Ластва, Перный, Чаркабож и Ямашор. Каждый из них характеризовался керамическими комплексами с характерными, присущими только ему, признаками. Наряду с глиняной посудой учитывались топография поселений и их размеры, кремневый инвентарь, металлические изделия. Был проведен сравнительный анализ с памятниками соседних регионов (Канивец, 1974. С. 52, 129-145).

Взгляды Г.М. Булова на развитие культур ЕСВ в раннем железном веке впервые были изложены в диссертации на соискание ученой степени канди-

дата исторических наук и развиты в ряде монографических исследований и отдельных статей. Окончательное оформление концепции исследователя происходит в монографии «Железный век Крайнего Европейского Северо-Востока (от начала до VIII столетия н. э.)» (Булов, 1989). Для первого этапа раннего железного века он выделяет три культуры – позднелебяжскую (ласта), чаркабож, ананьинскую и ружниковский культурный тип. Чаркабож и ружниковский культурный тип напрямую связаны с археологическими культурами Зауралья и Западной Сибири, памятники ананьинской АК появились на территории ЕСВ в результате переселения из Прикамья. Ластинские (позднелебяжские), чаркабожские и ружниковские памятники исследователь датирует VIII-VI вв. до н. э., ананьинские – VI-III вв. до н.э. (Булов, 1989. С. 2-5).

Л.И. Ашихмина полагает, что основой для формирования культур раннего железного века в Северном Приуралье и Волго-Камье происходило на основе предананьинской общности эпохи бронзы, включавшей и лебяжскую АК. Климатические изменения, появление в бассейне р. Печора зауральского населения (носителей гамаюнской АК) и, возможно, миграция родственного населения из Прикамья привели к переселению некоторых групп северных ананьинцев в Карелию и на территорию Волго-Камья. В середине I тыс. до н. э. в ходе проникновения родственных ананьинских племен из Прикамья формируется культурный тип Перный; культурный тип Ямашор отражает контакты с зауральским населением. Появление выходцев из Зауралья вызвало отток жителей ЕСВ на территорию Северо-Запада лесной зоны, где ананьинцы вместе с дьяковцами выступают в качестве одного из компонентов каргопольской культуры (Ашихмина, Васкул, 1997. С. 332-333).

Наиболее отчетливо фиксируются культурные связи с населением ананьинской культурно-исторической общности (области) Волго-Камья (далее – АКИО). Сравнение керамических коллекций древностей двух регионов позволило исследователям определить направления этих связей – памятники марийского Поволжья, бассейна р. Вятки, верхнего и среднего Прикамья (Булов, 1965. С. 116, 176-177; Булов, 1967. С. 126; Булов, 1989. С. 3-5; Вечтомов, 1968. С. 83; Оборин, 1969. С. 157-159;

Лузгин, 1972. С. 113; Канивец, 1974. С. 134-135, 138; Ашихмина, Верещагина, 1980. С. 69; Ашихмина, 1985. С. 22-23; Мокрушин, 1993. С. 150-151; Марков, 2007. С. 56-57). Общие черты прослеживаются в форме, деталях оформления шейки, орнаментации венчика, шейки и плечиков сосудов. Изучение керамических комплексов послужило основой для ряда культурно- и этногенетических концепций.

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что формирование древностей АКЮ происходило в начале I тыс. до н. э. в ходе взаимодействия носителей лебяжской, маклашеевской, ерзовской АК, культуры сетчатой керамики при воздействии зауральского населения. При этом речь идет о культурных контактах, а не об односторонних миграциях с территории Волго-Камья. Лебяжская керамика отмечена В.Н. Марковым на памятниках нижнего (Марков, 2007. Рис.23-24, 29), А.Ф. Мельничуком, В.А. Обориным – среднего и верхнего Прикамья (Оборин, 1969. С. 157-160; Мельничук, 2002. С.102). Археологи ЕСВ, основываясь на том, что древности ананьинского времени на территории ЕСВ сформировались на лебяжской основе прослеживают преемственность в топографии поселений, типах жилищ, кремневом инвентаре, форме и орнаментации сосудов, примесях к глиняному тесту. В то же время они отмечают в керамических комплексах признаки, характерные для глиняной посуды Волго-Камья, что и позволило отнести северные памятники к ананьинской КЮ. Именно параллели в керамических комплексах Прикамья позволили Л.И. Ашихминой разработать типолого-хронологическую схему развития керамики ананьинского времени в бассейнах рек Вычегды, Мезени и Северной Двины, увязав выделенные этапы с предложенной ею же схемой развития керамики бассейна средней Камы (Ашихмина, 1985. С. 32; Ашихмина, Васкул, 1997. С. 328-329).

В конце 1990-х – 2000-е гг. глиняная посуда, орнаментированная узорами, характерными для керамики ерзовской АК Прикамья, обнаружена во время исследований поселения Мыелдино на верхней Вычегде, сосуды с маклашеевскими чертами, сетчатыми отпечатками – на поселении Сэбъяг I в приустьевой части р. Сев. Кельтма (левый приток р. Вычегда). Последний памятник в целом имеет большое значение для решения вопроса об участии прикамского населения в генезисе культур ананьинского времени в бассейне р. Вычегда. В ходе раскопок этого памятника получена коллекция сосудов с высокой прямой или отогнутой наружу шейкой, четко выраженным переходом от шейки к плечикам. В керамическом тесте содержатся органические примеси. Шейка и плечики сосудов

орнаментированы сочетаниями шнура, зубчатых оттисков, клиновидных вдавлений и ямок. В нижней части ямок имеется рельефный наплыв, образовавшийся по нижнему обрезу ямочных вдавлений. У двух сосудов при переходе от шейки к плечикам прочерчена горизонтальная линия. Обломки глиняной посуды, близкой описанной, найдены также на поселении Шойнаты III на средней Вычегде (Королев, 1997. Рис. 18, 1). Керамика этой группы находит аналогии в раннеананьинских памятниках первой четверти I тыс. до н.э. верхнего и среднего Прикамья типа поселения Загорчим (Вечтомов, 1967. С. 136; Денисов, 1968. С. 56-64, 70, табл. II; Майстренко, Мельничук, 2010. Рис. 2, 15-16) и свидетельствует об участии камского населения в формировании культур ЕСВ. Продвижение северо-приуральского населения в бассейн р. Камы документирует ластинская керамика, обнаруженная на поселениях этого региона (Вечтомов, 1968. С. 83; Оборин, 1969. С. 160. Рис. 1, 3-5). В результате взаимодействия различных групп населения формируется традиция изготовления гребенчато-шнуровой керамики.

Большую роль связям с АК Прикамья исследователи отводят при формировании керамического комплекса типа Перный. В.И. Канивец связывал генезис этого типа памятников с возросшим влиянием населения камского региона, подчеркивая местную ластинскую подоснову перныйских древностей (Канивец, 1974. С. 136-138). Г.М. Буров писал о переселении носителей перныйских древностей с территории Волго-Камья, предлагая называть их собственно ананьинскими (Буров, 1967. С. 122, 126; 1989. С. 4-5). Гипотезу этого исследователя поддержал А.Х. Халиков (Халиков, 1977. С. 258). Эта миграция, по мнению Г.М. Булова, вызвала отток позднелебяжского (ластинского) населения на северо-запад, где в материалах археологических памятников Прибеломорья присутствует ластинская керамика (Буров, 1989. С. 29). Л.И. Ашихмина полагает, что формирование памятников типа Перный связано с проникновением родственного населения из Прикамья (Ашихмина, Васкул, 1997. С. 333). Эту точку зрения разделяет С.В. Кузьминых (Кузьминых, 2007. С. 44). Необходимо отметить, что керамические комплексы ЕСВ, объединенные В.И. Канивцом в культурный тип Перный, отражают усилившиеся связи с камским регионом. Как было отмечено в свое время Г.М. Буловым, увеличивается доля сосудов с примесью раковины в глиняном тесте, на шейках сосудов появляются валик и воротничок (Буров, 1967. С. 122, 125). Л.И. Ашихмина полагает, что исходным районом этих инноваций в керамическом производстве

был бассейн р. Вятки, где потомки постлуговского населения оформляли свою посуду воротничковым налепом и орнаментировали сосуды гребенчатым штампом (Ашихмина, Васкул, 1997. С. 333). А.Ф. Мельничук отмечает, что традиция оформления шейки налепом в виде воротничка известна на керамике ерзовской АК эпохи бронзы в пермском Прикамье (Мельничук, 2002. С. 103).

В то же время при решении этого вопроса необходимо учитывать два фактора. Первый из них – археологический. Проведенное сравнение керамических коллекций поселения Мыелдино, в ходе раскопок которого была получена наиболее статистически представительная выборка глиняной посуды, с поселением Перный показало, что между этими памятниками имеются различия в добавках к глиняному тесту, орнаментации сосудов (Васкул, 2003. С. 41-42). Было установлено, что если для перныйского керамического комплекса характерна зубчато-ямочная орнаментация (Канивец, 1974. С. 138), то для мыелдинской керамики – ямочно-гребенчато-шнуровая. Сравнение глиняной посуды поселения Мыелдино с опубликованными коллекциями других вычегодских памятников показало, что для них характерна ямочно-гребенчато-шнуровая или шнуровая техника орнаментации. Исключение составляют висские поселения, которые по таким признакам, как примеси к глиняному тесту, орнаментация сосудов близки перныйским памятникам. На различия в орнаментации глиняной посуды печорских и вычегодских памятников обращала в свое время внимание и Л.И. Ашихмина (Ашихмина, 1985. С. 25-26, 32). Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что имеющиеся материалы свидетельствуют о локальных различиях между керамическими комплексами памятников типа Перный и поселений верхней и средней Вычегды (прежде всего, поселения Мыелдино). Наличие в коллекции поселения Мыелдино сосудов с примесью дресвы в глиняном тесте, декорированных зубчатым штампом, а также украшенных шнуром и фигурными оттисками, является отражением внутрирегиональных связей населения бассейнов рек Вычегды и Печоры. Это необходимо учитывать при сопоставлении древностей ЕСВ и Прикамья. Также необходимо отметить, что керамические комплексы и печорских, и вычегодских памятников свидетельствуют о связях с культурами Прикамья, что неоднократно отмечалось исследователями. Г.М. Буров в свое время выделял памятники ЕСВ и верхнего Прикамья в северный вариант ананьинской культуры (Буров, 1965. С. 178). К древностям концецгорского типа относит вычегодско-печорские памятники А.Ф. Мельничук

(Мельничук, 2002. С. 103). Все же, как представляется, при сравнении керамических комплексов типа Перный бассейна р. Печоры и глиняной посуды концецгорского типа, несмотря на близость формы и орнаментации сосудов названных типов, необходимо учитывать мнение В.И. Канивца, который при выделении памятников типа Перный отмечал различия в керамических комплексах Прикамья и ЕСВ: для глиняной посуды типа перный нетипична примесь раковины, характерен строгий и прямолинейный орнамент, восходящий к лебяжской культуре, основным элементом узора в отличие от Прикамья являются зубчатые оттиски (до 90% сосудов), имеются оттиски фигурных штампов, отсутствуют резные узоры и др. (Канивец, 1974. С. 138). Сравнение глиняной посуды поселения Мыелдино на верхней Вычегде и Концецгорского селища в Прикамье позволяет говорить о близости керамики этих памятников, что выражается в форме глиняной посуды, преобладающем использовании органических примесей в глиняное тесто, ведущей роли зубчатых, шнуровых и ямочных узоров в орнаменте (Збруева, 1952. С. 254-258). Различия наблюдаются в проценте узоров, выполненных в той или иной технике, отсутствии в керамическом комплексе поселения Мыелдино сосудов, украшенных только ямками или только шнуром, в наличии на Концецгорском поселении (как и на других верхнекамских памятниках) довольно значительного процента керамики, декорированной резными узорами.

Второй фактор – климатический. Исследователи отмечают, что в середине I тыс. до н. э. на севере европейской части России происходит похолодание, что отразилось в материалах археологических памятников (Ашихмина, Васкул, 1997. С. 332; Стоколос, 1997. С. 40-41). На ЕСВ это выразилось в сокращении ареала древностей ананьинского времени. Так, если раннеананьинская керамика встречена по всей территории региона, то материалы середины второй половины I тыс. до н. э., судя по имеющимся данным, на территории Большеземельской тундры практически отсутствуют (Чернов, 1985, табл. 11, 16; табл. 13, 24-29). Похолодание вызвало отток населения в более южные районы, на что указывает и С.В. Кузьминых (Кузьминых, 2000. С. 107). В связи с этим весьма интересной является концепция В.Н. Маркова об участии северо-приуральского населения в формировании культур гребенчато-шнуровой и сложно-шнуровой керамики в Прикамье (Марков, 2007 и более ранние публикации), вызвавшая в свое время оживленную дискуссию. Одни исследователи поддержали концептуальные построения этого ученого (Кузьминых, 2000. С. 107-108;

2007. С. 43-44; Иванов, 2007. С. 31-34; Савельева, 2000. С. 46; Чижевский, 2008; Белавин и др., 2009. С. 123, 259). Другие – подвергли критике (Борзун, 1992. С. 106-107; Ашихмина, Васкул, 1997. С. 320, 333; Голдина, 1999. С. 190, 193; Мельничук, Коренюк, Перескоков, 2009. С. 112-114). Действительно, по форме глиняной посуды, орнаментации шейки и плечиков сосудов шнуровыми оттисками в сочетании с зубчатыми отпечатками отмечаются параллели между ластинской керамикой и керамическими комплексами памятников ананьинского времени на Вятке, Ветлуге, в верхнем и среднем Прикамье (Черных и др., 2002. Рис. 19-28; Марков, 2007. Рис. 21-22, 25-27). К сожалению, В.Н. Марков не учел тот факт, что археологи ЕСВ при выделении ластинской (позднелебяжской) керамики, не имея твердо датированных комплексов, ориентировались на параллели на волго-камских памятниках, принимая датировки, предложенные А.В. Збруевой (Збруева, 1952) и другими исследователями. Передатировка прикамских памятников с гребенчато-шнуровой и сложно-шнуровой керамикой, проведенная В.Н. Марковым (Марков, 2007. С. 54-57), должна привести к изменению датировок ластинских (позднелебяжских) комплексов на территории ЕС.

Открытие К.С. Королевым погребений ананьинского времени на поселениях средней Вычегды (Королев, 1997. С.97-99; 2002. С.60-61, 65), раскопки Шиховского могильника в бассейне р. Печоры дают возможность проследить взаимосвязь древностей Волго-Камья и ЕСВ по данным погребальных памятников. Однако при этом необходимо учитывать, во-первых, статистически незначительное количество погребений ананьинского времени на территории ЕСВ, во-вторых, то, что захоронения на Вычегде и большинство ананьинских некрополей в Волго-Камье датируются IX/VIII – VI вв. до н. э., в то время как погребения Шиховского могильника – VI – III вв. до н. э. (Васкул, 2002).

На поселениях долины средней Вычегды, по данным К.С. Королева, известно шесть одиночных захоронений по обряду кремации. Датируются они раннеананьинским временем. Эти погребения отличаются от захоронений Шиховского могильника большей глубиной могильных ям, наличием на дне каменных вымоستков и зольно-углистого слоя над ними, малочисленностью погребального инвентаря (обломки глиняной посуды, сильно коррозированный железный предмет). Преобладание обряда кремации, отсутствие каменных стел, домиков мертвых, вымоستков на дне могилы, коллективных погребений, меньшие размеры могильных ям отличают его от погребальных памятников ананьинского периода

в Волго-Камье. Наряду с отличиями выделяются и общие черты для прикамских памятников и Шиховского могильника (Васкул, 2002. С. 16-17).

В монографическом исследовании А.А. Чижевского дана исчерпывающая характеристика погребального обряда археологических культур эпохи поздней бронзы (маклашеевская) – раннего железного века (постмаклашеевская, аказинская, ананьинская культура шнуровой керамики, ананьинская культура гребенчато-шнуровой керамики) (Чижевский, 2008). Анализ могильников Волго-Камья позволил ему выделить три группы признаков, характеризующих погребальный обряд: 1) всеобщие, характерные для всех культурных групп; 2) локальные, характеризующие как минимум две рассматриваемые выборки; 3) частные, присущие лишь одной археологической культуре (Чижевский, 2008. С. 85-86, табл. 25). Это дает возможность сравнить имеющиеся данные по погребальной обрядности населения ЕСВ с конкретными культурами, входившими в АКЮ Волго-Камья. Большинство признаков, свидетельствующих о связях погребального обряда населения двух регионов, относится к группам всеобщих и локальных. Наиболее интересны в плане изучаемой темы, выделенные А.А. Чижевским для культур АКЮ, частные признаки (Чижевский, 2008. С. 86). Именно они позволяют сделать выводы о более тесных связях погребальных памятников населения ЕСВ с конкретными археологическими культурами Волго-Камья. Так, в числе частных признаков, характеризующих постмаклашеевскую АК, выделяются антропоморфные фигурки, что отмечено и для Шиховского могильника. Для могильников Аказинской АК, как и для Шиховского, характерно расположение захоронений группами. Кремация погребенных, наличие в составе инвентаря кельтов с шестигранной втулкой указывают на связи с АК шнуровой керамики. Наконец, присутствие в захоронениях Шиховского могильника сосудов, декорированных в гребенчато-шнуровой технике, является свидетельством связей с АК гребенчато-шнуровой керамики. Следует отметить, что приведенные данные отражают норму распределения и тенденцию признаков. Значения ниже порогового не учитываются, хотя, к примеру, обряд кремации на стороне (небольшой процент) присутствует и среди захоронений аказинской АК. В целом же необходимо отметить, что вышеприведенные материалы, несомненно, свидетельствуют о близости погребальных обычаев населения двух регионов. Обращает на себя внимание наибольшее число совпадений признаков с аказинской АК, ананьинской культурой шнуровой и ананьинской культурой

гребенчато-шнуровой керамики. К сожалению, более детальное сопоставление с прикамскими памятниками затруднено отсутствием погребений эпохи поздней бронзы, небольшим числом захоронений ананьинского времени, исследованных на территории ЕСВ.

Наряду с керамикой, контакты с культурами АКМО отчетливо прослеживаются в различных типах изделий из цветных металлов, найденных на памятниках ЕСВ. Подавляющее большинство металлических предметов находит аналогии на памятниках АКМО Волго-Камья. Помимо этого многие предметы, происхождение которых связано с древностями кочевников евразийских степей, античными центрами Причерноморья (бронзовые зеркала, стеклянные бусы и др.), также попадали на ЕСВ через территорию Прикамья.

Изделия из цветных металлов ананьинского времени на территории ЕСВ представлены в основном материалами пещерных святилищ бассейна р. Печоры, Шиховского могильника и реке – поселений. Среди них – бронзовые кельты, секира, чекан, бронзовое копье, наконечники стрел (втульчатые трехлопастные и черешковый листовидный), колчаный крючок, кинжалы с бронзовыми рукоятками, предметы поясной гарнитуры, украшения костюма, культовое литье, бронзовые зеркала. Изучение химического состава свидетельствует, что эти предметы, как и в Волго-Камье, изготовлены из оловянистых и сурьмяно-мышьяковистых бронз, «чистой» меди (Канивец, 1964. С. 88-89; Канивец, 1974. С. 69, 91, табл. 2; Буров, 1967. С. 130; Ашихмина, Васкул, Каликов, 1990. С.97-106). Для ананьинского времени на ЕСВ, так же как и для камского региона, характерно распространение звериного стиля в искусстве, получившего название «ананьинский звериный стиль». В Прикамье пик распространения предметов звериного стиля, подобных найденным на ЕСВ, приходится на VI – IV вв. до н. э. Причем, время расцвета «ананьинского звериного стиля», по мнению С.В. Кузьминых, – V в. до н. э. (Кузьминых, 1983. С. 177-178). Ст. А. Васильев выделяет в развитии «ананьинского звериного стиля» два периода: VII – VI и V – III вв. до н. э. Большая часть находок датируется V – III вв. до н. э. (Васильев, 2004. С. 276). В V в. до н. э., по мнению этого исследователя, происходит смена одних категорий предметов, выполненных в зверином стиле, другими, увеличивается количество местных, оригинальных изделий, мотивов и сюжетов, появляются локальные центры изготовления (Васильев, 2004. С. 279, 281-282). Особенно привлекательным в плане изучаемой темы является предположение Ст. А. Васильева о том, что «с IV в.

до н. э., или даже более раннего времени, в северных районах акмо начинает формироваться новое художественное направление, характеризующееся использованием одинаковых стилистических приемов, элементов декора и форм («перевитая кошечка», ряды круглых или квадратных жемчужин, полые фигурки) для разных категорий украшаемых предметов. Близкие стилистические и сюжетные аналогии этим приемам имеются в пластике позднеананьинских печорских и усть-полуйских памятников Зауралья» (Васильев, 2004. С. 286).

Несомненно, большинство находок предметов из цветных металлов связано своим происхождением с территорией ананьинского металлургического очага в Прикамье. В то же время необходимо отметить, что находки на поселениях на территории ЕСВ тиглей для выплавки предметов из меди-бронзы, сплесков и капель металла, металлического лома, предназначенного для переплавки (поселения Перный I, Сынявом I, Шиховское I, Шиховское VI и др.), формы для отливки кельта (поселение Вис I), склада бронзовых изделий, предназначенных для переплавки (стоянка Синдорское озеро I) свидетельствуют в пользу того, что часть изделий могла производиться на месте по прикамским образцам. Подобное предположение не противоречит известному методологическому положению о том, что в первобытном обществе инновации (утилитарные и престижно-знаковые) «по горизонтали» (территориально) распространялись достаточно быстро (Арутюнов, 1989. С. 177-178).

Не подлежит сомнению, что именно благодаря этнокультурным связям с населением Прикамья жители ЕСВ познакомились, судя по материалам Шиховского могильника, в середине I тыс. н.э., с металлургией железа.

На этнокультурные контакты населения ЕСВ и Северо-Запада европейской части России обратила внимание еще М.Е. Фосс. Она сравнивала глиняную посуду стоянок с территории большеземельской тундры (стоянка на оз. Ярей-ты) с керамикой типа кельмо, писала о проникновении «большеземельских племен в область беломорской культуры» (Фосс, 1952. С. 142, 145). Идеи об этнокультурных связях с территорией ЕСВ в раннем железном веке нашли дальнейшее развитие в работах археологов, изучающих культуры эпохи раннего железа на северо-западе Восточной Европы (Ошибкина, 1975. С. 18-24; Косменко, 1993. С. 162-193; 1997, а-в. С. 238-253; С. 253-257; С. 257-270; 2006. С. 204-219; Манюхин, 1997. С. 220-238; 2002. С. 59-177; Жульников, 2005. С. 35-40, 98-99; 2007. С. 77-81; 2008. С. 34-42). Об участии населения нашего региона в генезисе культур на северо-западе лесной зоны

Восточной Европы неоднократно писали археологи, занимающиеся ананьинской проблематикой в нашем регионе (Буров, 1965. С. 175; Каневец, 1974. С. 133; Ашихмина, 1991. С. 14).

Для рассматриваемой в настоящей работе темы чрезвычайно интересны исследования А.М. Жульникова, посвященные памятникам раннего железного века юго-западного Прибеломорья. Он также исходит из того, что ананьинская КИО оказала существенное влияние на формирование культур эпохи раннего железа на северо-западе лесной полосы Восточной Европы. Среди глиняной посуды ананьинского облика этого региона он выделяет две группы керамики: сосуды типа Красная Гора и сосуды типа Водоба (Жульников, 2007. С.77-80; 2008. С. 40-41). Керамика типа Красная Гора датируется исследователем VI-V вв. до н. э. А.М. Жульников полагает, что население, использовавшее данный тип посуды пришло в юго-западное Прибеломорье по Северной Двине, в верхнем течении которой и в бассейне Вычегды распространены раннеананьинские памятники. С территории Прибеломорья, по его мнению, ананьинское население проникло в районы Водлозеро, Лаче и Воже (Жульников, 2007. С. 79; 2008. С. 40-41). Происхождение керамики типа Водоба А.М. Жульников связывает с верхневолжским районом, датируя ее VII-VI вв. до н. э. (Жульников, 2008. С. 40). Миграция обеих групп ананьинского населения была вызвана внешним фактором. В определенный момент, по мнению А.М. Жульникова, в восточном Прионежье и юго-западном Прибеломорье два потока ананьинского населения пересеклись.

В бассейне Онежского озера и юго-западном Прибеломорье население с ананьинской керамикой контактировало с носителями культуры лууконсары, в результате чего в керамическом комплексе этой АК имеются признаки, указывающие на ананьинское влияние (Жульников, 2007. С. 79; 2008. С. 41). Более сложной была картина этнокультурных взаимодействий в юго-восточном Приладожье, бассейне озер Белое, Лаче, Воже, верховьях р. Сухона, где наблюдается сочетание традиций, характерных для сетчатой и ананьинской керамики (Жульников, 2005. С. 37-38; 2007. С. 80-81; 2008. С. 41). Предположение А.М. Жульникова о том, что население, использовавшее керамику типа Красная Гора, пришло в юго-западное Прибеломорье по Северной Двине из бассейна р. Вычегда (или через бассейн р. Вычегда), находит подтверждение в распространении ананьинских бронзовых парадных секир «пинежского типа». Две из них обнаружены в среднем, одна - в верхнем Прикамье, одна - на Вычегде в с. Слудка и две – на р. Пинеге. Еще две секиры,

отличающихся от «пинежского типа» формой обушка и оформлением втулки, найдены на городище Кара-абыз и под Юрюзанью (Кузьминых, 1983. С. 144; Берлин, 2010. Табл. 3). Карта распространения парадных секир, составленная С.В. Кузьминых (Кузьминых, 1983. Рис. 78), с учетом вычегдской находки (не вошедшей в его сводку), маркирует один из водных путей, по которым ананьинское влияние распространялось на северо-запад лесной зоны Восточной Европы. Рассматривая вопрос о связях культур ЕСВ и северо-запада, необходимо обратить внимание еще на один факт. На поселении Ружникова на Косминских озерах на центральном Тимане в коллекции керамики ананьинского времени присутствует серия сосудов чашевидной формы, содержащих минеральные примеси в глиняном тесте, декорированных ямками, шнуровыми оттисками, рядами и линиями широкой гребенки с приостренными или тонкими зубцами, что является специфическим признаком орнаментации керамики типа Красная Гора, по А.М. Жульникову (Жульников, 2007. С.77-80; 2008. С. 40-41). Связи населения Беломорья с ЕСВ подтверждаются также присутствием в керамическом комплексе поселения Красная Гора сосудов со змеевидными отпечатками в орнаментации (Ошибкина, 1987. Рис.82, 19), которые представлены на ЕСВ, начиная с эпохи бронзы, а в раннем железном веке характерны для культурных типов Ластва и Ямашор (Каневец, 1974. С. 135, 139).

Уже в первых работах, посвященных анализу древностей ананьинского времени, были выделены материалы, свидетельствующие об этнокультурных контактах населения я ЕСВ. Зауралья и Западной Сибири. Эти данные послужили В.И. Каневцу основанием для выделения культурных типов Чаркабож и Ямашор, в материалах которых отчетливо прослеживаются зауральские черты (Каневец, 1974. С. 138-145). Г.М. Буров, согласившись с ним в вопросе о наличии на территории региона древностей культурного типа Чаркабож, выделил также ружниковский тип памятников, обнаруживающий, по его мнению, сходство с наиболее ранними кулайскими материалами (Буров, 1989. С. 4-5). Приходится констатировать, что после выхода этих работ, а также статьи Л.И. Ашихминой, посвященной периодизации памятников с керамикой, декорированной крестовидными оттисками на территории ЕСВ, источниковедческая база по рассматриваемой проблеме практически не пополнилась. Это вызвало разнобой в трактовках исследователями одних и тех же материалов. Так, В.С. Стоколос относит керамику с фигурно-штамповой орнаментацией с поселений центрального Тимана к эпохе

бронзы (Стоколос, 1973. С. 52; 1997. С. 254-256). Г.М. Буров те же сосуды, как было указано выше, выделяет в ружниковский тип раннего железного века, ссылаясь на параллели в кулайских материалах (Буров, 1989. С. 5). В.А. Борзунов высказывает сомнение в правомерности датировки всей керамики с фигурно-штамповой орнаментацией поселений на Косминских озерах эпохой бронзы, сравнивая ее часть с посудой с ямочно-гребенчатой и ямочно-змейчатой орнаментацией белоярской культуры раннего железного века в Сургутском Приобье (Борзунов, 1992. С. 105), которую Ю.П. Чемякин датирует концом VIII/VII – IV/нач. III вв. до н.э. (Чемякин, 2008. С. 74). Керамику памятников (поселения Нижне-Петрушинская, Сотчемель II, Палью I, Антон) отнесенных Л.И. Ашихминой к раннему железному веку (Ашихмина, 1984. С. 121), Ю.В. Паршуков включает во вторую и третью группы глиняной посуды лебяжской археологической культуры (Паршуков, 2000. С. 211).

Существующая в настоящее время источниковедческая база позволяет согласиться с мнением исследователей, полагающих, что проникновение населения с фигурно-штамповой орнаментацией глиняной посуды начинается в эпоху поздней бронзы (или даже развитой бронзы, по Л.И. Ашихминой) (Канивец, 1974. С. 143; Ашихмина, 1984. С. 121; Борзунов, 1992. С. 106; Стоколос, 1997. С. 257, 259). Именно с периода поздней бронзы можно говорить о постоянном присутствии на ЕСВ групп населения в культурном отношении, связанных с Зауральем и Западной Сибирью. Л.И. Ашихмина выделяет в развитии этого процесса переселения три этапа: «в эпоху развитой (?) Бронзы (поселения Ружникова, Кыско), в эпоху поздней бронзы (поселения лебяжское I - II, Пидж – расчистка А, Знаменская, Усть-Волосницкая, Тыбью, Канинская пещера) и в эпоху раннего железа (поселения Усть-Пидж, Нижне-Петрушинское, Сотчемель II – участки В и Д, Палью I, Антон, Мьелдино, Чаркабож, Щельябож» (Ашихмина, 1984. С. 121). По мнению В.А. Борзунова, находки глиняной посуды приобского и зауральского типов на территории ЕСВ являются следами не просто культурных контактов населения двух регионов, а отражают ряд миграций «в системе общего этнокультурного сдвига обского таежного населения конца II – середины I тыс. до н. э. Переселение гамаюнских групп из бассейна Тавды и Лозьвы было только частью этого потока и не самой ранней» (Борзунов, 1992. С. 106). Пик этих миграций приходится на X – VIII вв. до н. э., что было связано с наиболее неблагоприятной обстановкой в северной тайге (Борзунов, 1992. С. 134-135). Северные миграции приуральского населения были в

определенной степени спровоцированы движением приобских и зауральских общин. Со временем, как полагает исследователь, они вызвали подвижку лебяжского населения на юг, в бассейн р. Вятки в том числе. Более осторожно высказываются по вопросу о проникновении носителей гамаюнской культуры на ЕСВ В.М. Морозов и Ю.П. Чемякин. Они полагают, что оно носило эпизодический характер, но следы влияния «гамаюнцев» или контактов с ними прослеживаются в позднелебяжских материалах (Морозов, Чемякин, 1991. С. 100).

В.И. Канивец, выделяя культурный тип Чаркабож, исходя из существовавшей в то время схемы развития культур Зауралья и Западной Сибири, связывал его происхождение на ЕСВ с гамаюнской АК. Зауральские параллели отмечались и для керамики культурного типа Ямашор (Канивец, 1974. С. 139, 142-145). Л.И. Ашихмина полагает, что чаркабожская керамика «отражает смешение разнокультурных черт, свойственных местному ананьинскому и пришлому гамаюнскому населению» (Ашихмина, 1984. С. 122), Г.М. Буров – с гамаюнской и кулайской АК (Буров, 1989. С. 2-5), В.С. Стоколос – с атлымской культурой эпохи поздней бронзы и молчановской АК переходного периода от бронзового к железному веку (Стоколос, 1997. С. 257-259). В.А. Борзунов подчеркивает необходимость выделить в комплексах керамики с фигурно-штамповой орнаментацией на территории ЕСВ признаки, свидетельствующие о связях с атлымской и гамаюнской АК. Воздействие приобского комплекса, по его мнению, выразилось в гребенчатых и змейчатых оттисках, иной группировке круглых ямок, отпечатков фигурно-штампованного крупного креста, в особых вогнутых шейках с приостренными венчиками. Гамаюнское влияние проявилось в таких деталях формы и орнаментации сосудов, как резко отогнутая плоская шейка, со скосом наружу венчиком, выпуклые плечики, прокатанные волнистые узоры, ямки в шахматном порядке и пояски мелких крестов (Борзунов, 1992. С. 105-106). О связях с гамаюнской АК свидетельствуют также наплывы (отворотики) под ямками при переходе от шейки к плечикам, надрезы, удлиняющие ямку (Ашихмина, 1984. С. 116), зафиксированные на керамике верхней и средней вычегды, верхней и средней Печоры. Исследователи отмечают, что наиболее близок древностям ЕСВ северный, вагильский вариант гамаюнской АК (Ашихмина, 1984. С. 120; Борзунов, 1992. С. 106). Следствием взаимодействия местного и пришлого населения и стало формирование керамического комплекса типа Чаркабож (Канивец, 1974. С. 142-144; Ашихмина, 1984. С. 122). Этот вывод подтверждается материалами новейших рас-

копок И.О. Васкула на верхней Вычегде, О.А. Лыскова и И.О. Васкула в низовьях Северной Кельтмы (левый приток средней Вычегды). В ходе полевых исследований здесь получена немногочисленная, но выразительная коллекция керамики, декорированной горизонтальными наклонными рядами, горизонтальными прямыми и волнистыми линиями крупного и мелкого крестообразного штампа в сочетании с ямками, нанесенными в один или два ряда (на некоторых сосудах под ямками имеется характерный наплыв) и шнуровыми отпечатками. В составе керамической массы сосудов содержатся органические и минеральные примеси. На поселении Себъяг I найден фрагмент сосуда с примесью талька в глиняном тесте, что отчетливо указывает на связи с гамаюнкой АК, для большинства локальных вариантов которой эта добавка в глиняное тесто является характерным признаком (Борзунов, 1992. С. 54). Исключение составляет вагильский вариант, для посуды которого характерна примесь песка, дресвы и шамота (Борзунов, 1992. С. 118). Помимо этого в коллекции керамики поселения Себъяг I, как было указано выше, содержится керамика заурчмского типа, в орнаментации которой присутствуют ямки, расположенные в шахматном порядке, с рельефными наплывами (отворотиками) под ними, поверх ямок нанесены насечки. В.П. Денисов считает их наличие в орнаменте заурчмских сосудов (третий этап развития ерзовской АК) отражением влияния зауральских культур (Денисов, 1967. С.45).

Ареал памятников типа Чаркабож включает бассейн верхней и средней Печоры, верхней Вычегды. Один памятник – поселение Вонгода II b (раскопки И.В. Верещагиной в 1972 г., фонды музея археологии европейского северо-востока, колл № 567) известен на нижней Вычегде. Г.М. Буров приводит сведения о наличии чаркабожского поселения в Западной Сибири (Буров, 1989. С. 3), что также является свидетельством взаимодействия населения двух регионов. Между вычегдскими и печорскими памятниками раннего железного века с крестовой керамикой, как представляется, имеются хронологические различия. На Вычегде они датируются первой четвертью I тыс. до н. э., на Печоре, судя по коллекции поселения Чаркабож, присутствию сосудов с «псевдокрестовой» орнаментацией в материалах поселения Перный, они существуют до VI в. до н. э. (Канивец, 1974. С. 102. Рис. 53, 2-4. Рис. 65, 1-10).

Население, принесшее с собой из Зауралья и Западной Сибири традиции изготовления фигурно-штампованной керамики, оказало влияние на формирование керамического комплекса культурного типа Ластва (позднеялбужская культура по Г.М. Бу-

рову), датирующегося раннеананьинским временем. В орнаментации ластинских сосудов, наряду с ямками, шнуровыми и зубчатыми отпечатками, присутствуют змеевидные оттиски, волнистые линии, являющиеся отличительной чертой данной посуды (Буров, 1965. С. 112; Канивец, 1974. С. 135), выделяющей ее из других керамических комплексов культур АКЮ.

В VI – III вв. до н. э. связи с культурами Западной Сибири документируются прежде всего керамическими комплексами культурного типа Ямашор (Канивец, 1974. С. 139). В орнаментации сосудов присутствуют волнистые линии и фигурные оттиски (в виде шевронов короткого вертикального зигзага, вопросительного знака, запятой, русской буквы б, латинской s, подковообразных и серповидных вдавлений), характерные для западносибирских археологических культур (Чиндина, 1984. Рис. 1-3; Чемякин, 2008. Рис. 54, 1-4, 7, 9, 10, 12, 13; 56, 6, 11, 14, 16). Л.И. Ашихмина связывает появление этих элементов в орнаментации ямашорской керамики с притоком нового населения из-за Урала. Она также полагает, что появление населения с керамикой типа Ямашор могло вызвать отток ананьинцев с территории ЕСВ на Северо-Запад европейской части России (Ашихмина, Васкул, 1997. С. 333). Точку зрения этой исследовательницы в целом поддерживает В.А. Борзунов. Однако, по его мнению, установить причины переселения из Северного Приуралья в VI в. до н. э. более сложно. Возможно, оно было частью общих миграций конца VI в. до н. э., вызванных скифо-персидской войной 514 г. до н. э. На Вятке северные мигранты встретились с ананьинским населением, отошедшим на север из районов Среднего Поволжья. В.А. Борзунов подчеркивает, что, несмотря на локальные своеобразия, материалы свидетельствуют о культурном единстве вятского, волжского и камского населения (Борзунов, 1992. С. 107).

В целом создается впечатление, что глиняная посуда типа Ямашор носит гибридный характер. Наряду с отмеченными признаками, для нее характерна такая деталь шейки как воротничок, шнуровые и зубчатые отпечатки в орнаментации, что типично для керамических комплексов АКЮ на всей территории ее распространения. На ямашорских памятниках фиксируется перныйская керамика, а в комплексах типа Перный – ямашорская. На Шиховском могильнике в погребениях имеются сосуды культурных типов Перный и Ямашор. Следует также отметить, что короткий вертикальный волнистый штамп присутствует в орнаменте глиняной посуды древностей ЕСВ, начиная с эпохи бронзы (Стоколос, 1973. Рис. 3, 1,2, 6, 9-10; 5, 1).

Подобная орнаментация керамики, по мнению В.С. Стоколоса, является свидетельством миграций западносибирского населения на крайний северо-восток Европы в бронзовом (атлымская АК) и на рубеже бронзового и железного веков (молчановская АК) (Стоколос, 1997. С. 254-255). Волнистые (змеевидные) линии и короткий вертикальный зигзаг имеются в орнаментации керамики типа Ла-ста (Буров, 1967. Табл. XXV, 3, 6, 9, 11; XXVI, 1, 7-8, 12, 15; XVII, 5; Канивец, 1974. Рис. 31, 10-12; 34, 3, 6; Ашихмина, Васкул, 1997. Рис. 8, 6, 9-10). Присутствие их в декоре ямашорских сосудов является свидетельством традиций, сложившихся в керамическом производстве на территории ЕСВ в результате взаимодействия местного и пришлого населения и восходящих к кругу зауральских культур позднебронзового века в Зауралье и Западной Сибири. В целом же наличие «фигурных» штампов в ямашорской керамике является отражением устойчивых связей с археологическими культурами Приобья, откуда глиняная посуда с фигурно-штамповой орнаментацией распространялась на территорию ЕСВ.

В.И. Канивцом в орнаментации керамики поселения Перный выделены три типа отпечатков фигурных штампов: «двуглавый», или «волно-подобный»; «псевдокрестовый»; зубчатый, напоминающий «змеевидный» (Канивец, 1974. С. 102). Исследователь полагает, что «вещественный инвентарь перныйского поселения, судя как по керамике, так и по кремню, представляет собой чистый комплекс и не содержит включений других периодов или культурных типов» (Канивец, 1974. С. 108). На поселении Питюяг I, относящемуся к культурному типу Перный, найден сосуд, украшенный волнистыми линиями и s-видным штампом, характерными как было показано выше, для ямашорской керамики. Фигурные оттиски отличают перныйский керамический комплекс как от ананьинской керамики Пикамья (Канивец, 1974. С. 138), так и бассейна р. Вычегды (Васкул, 2003. С. 40-41). Л.И. Ашихмина полагает, что подобные штампы свидетельствуют о зауральских чертах в орнаментации керамики, что послужило исследователю основанием для исключения памятников типа Перный (как и более ранних ластинских) из разработанной ею схемы хронологического развития памятников ЕСВ ананьинского времени (Ашихмина, 1985. С. 25-26, 32). Как представляется автору этих строк, выделенные В.И. Канивцом типы фигурных отпечатков, несомненно, отражают влияние орнаментальных традиций, связанных своими истоками с Западной Сибирью, что для псевдокрестовых оттисков отмечал и сам исследователь (Канивец, 1974. С. 102). Однако по-

явление их в декоре перныйской керамики можно объяснить внутрорегиональными контактами с носителями культурных типов Чаркабож и Ямашор, в глиняной посуде которых зауральские элементы выражены наиболее рельефно.

Как уже было отмечено, Г.М. Буров выделяет также ружниковский культурный тип, видя в нем аналогии керамике раннего этапа кулайской АК (Буров, 1989. С. 4), о возможности датировки части сосудов с фигурно-штампованной орнаментацией ранним железным веком писал В.А. Борзунов (Борзунов, 1992. С. 105). Представляется, что в данном случае более правы те исследователи, которые относят материалы поселений с водораздельных озер центрального Тимана к эпохе бронзы или рубежу бронзового и железного веков (Ашихмина, 1984. С. 121; Стоколос, 1997. С. 254-255). В то же время в керамических комплексах ЕСВ действительно присутствует глиняная посуда, имеющая аналогии в раннекулайской керамике в Сургутском Приобье. Например, на поселении Вис I найден глиняный сосуд (Буров, 1967. Табл. XXV, 4), орнамент которого имеет практически полные соответствия в орнаментации первой группы кулайской керамики по Л.А. Чиндиной (Чиндина, 1984. Рис. 38, 1-2).

В плане изучения этнокультурных контактов населения ЕСВ и Западной Сибири особый интерес представляют керамические комплексы перегребнинского типа в нижнем Приобье, датирующиеся предварительно серединой – третьей четвертью I тыс. до н. э. Маркируют керамику этого типа карнизники под венчиком и значительное преобладание гребенчатого штампа в орнаментации керамики. Еще одним признаком, характеризующим перегребнинскую глиняную посуду, являются горизонтальные шнуровые линии. При переходе от шейки к плечикам нанесены ямки круглой, изредка треугольной или ромбической формы. Использовались также мелкоструйчатый и гладкий штампы (Морозов, Чемякин, 2008. С. 217-218). В.М. Морозов и Ю.П. Чемякин подчеркивают, что карнизники под венчиком и оттиски шнура в орнаментации сосудов имеют аналогии в ананьинской керамике (Морозов, 2002. С. 64; Морозов, Чемякин, 2008. С. 217). Предположительно, перегребнинские древности сформировались на основе нижнеобского варианта памятников кульминского типа (Морозов, Чемякин, 2008. С. 217-218). Сравнение глиняной посуды перегребнинского типа и керамики культурных типов Перный и Ямашор позволяет расширить список общих признаков у названных керамических комплексов. Прежде всего необходимо отметить, что перныйская и ямашорская керамика, как и перегребнинская, по оформлению верхней части

тулова подразделяется на сосуды с воротничком (карнизиком) или без него. В керамическом тесте содержатся минеральные примеси (песок, дресва). В орнаменте перегребнинских и ямашорских сосудов имеются ямки ромбической формы (Морозов, Чемякин, 2008. Рис. 9, 2,7; Канивец, 1974. Рис. 39,3; 40, 5). Орнаментация перегребнинской и перныйской керамики характеризуется преобладанием узоров, выполненных зубчатым штампом, причем на сосудах обоих типов имеются узоры, нанесенные зубчатыми отпечатками, напоминающими мелкоструйчатый и змеевидный штампы (Морозов, Чемякин, 2008. С. 217; Канивец, 1974. С. 98, 102). Приведенные факты говорят о тесных контактах носителей культур Печорского края и нижнего Приобья в середине – второй половине I тыс. до н.э.

Таким образом, первый период раннего железного века характеризуется интенсивными культурными контактами населения региона с окружающими территориями. Определяющими были связи с АКЮ Волго-Камья, оказавшей мощное воздействие на этнокультурные процессы, происходившие в IX/VIII – III вв. до н.э. в лесной зоне Восточной Европы. Связи с населением Волго-Камья прослеживаются во всех компонентах культуры охотников и рыболовов ЕСВ. Именно с этим регионом связаны основные инновации, например, такие как внедрение железных орудий и оружия. Наиболее близки древностям ЕСВ памятники среднего и верхнего Прикамья, с которыми они образовывали единую культурную общность, о чем неоднократно писали исследователи. С другой стороны, североприуральское население, как свидетельствуют имеющиеся данные, в свою очередь активно участвовало в формировании культур верхнего и среднего Прикамья. На памятниках этого региона, начиная с эпохи поздней бронзы, фиксируется глиняная посуда, характерная для территории ЕСВ. Своеобразие культурам региона придавало постоянное взаимодействие с носителями археологических культур Зауралья и Западной Сибири, что выразилось в формировании таких культурных типов, как Чаркабож и Ямашор, наличии зауральских элементов в декоре ластинского и перныйского керамических комплексов, черт, характерных для орнаментации глиняной посуды памятников АКЮ в культурах Западной Сибири. Керамические комплексы типа Красная Гора указывают на западное – северо-западное направление культурных связей населения ЕСВ. Наряду с внешними контактами отчетливо фиксируется внутререгиональное взаимодействие носителей различных культурных типов, что отразилось в керамических комплексах памятников.

Подобная интенсивность и разнонаправленность этнокультурных контактов свидетельствуют о миграционной активности населения, обусловленной климатическими изменениями, происходившими на протяжении рассматриваемого периода, хозяйственно-культурным типом обитателей региона, предполагавшим его достаточно высокую подвижность, брачными связями. Переселение на Север из более южных районов АКЮ объясняется набегами южных кочевых племен на районы средней Волги и нижнего Прикамья (Марков, 1997. С. 14; Коренюк, 2000. С. 79), событиями скифо-персидской войны, вызвавшей передвижки населения (Борзунов, 1992. С. 107). При этом, как представляется автору данной публикации, более правомерно говорить не о широкомасштабных миграциях, а об инфильтрации отдельных групп населения в родственную среду, диффузии культурных элементов. В итоге, в результате взаимодействия различных групп населения и связанных с этим процессом влияний и заимствований, происходила интеграция различных культурных элементов (Массон, 2006. С. 5-6), стимулировавших дальнейшее развитие культуры населения ЕСВ в I тыс. до н.э.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнов С.А. 1989. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.
- Ашихмина Л.И. 1984. Культуры эпохи раннего железа в этногенезе народа коми // Проблемы этногенеза народа коми. Сыктывкар, 1984.
- Ашихмина Л.И. 1985. Генезис ананьинской культуры в среднем Прикамье (Научные доклады. Коми филиал АН СССР; Вып. 119). Сыктывкар.
- Ашихмина Л.И. 1991. Этнокультурная ситуация в Северном Приуралье в эпоху бронзы и раннего железа // Проблемы историко-культурной среды Арктики. Международный симпозиум. Сыктывкар, 16-18 мая 1991 г. Тезисы докладов. Сыктывкар.
- Ашихмина Л.И., Верецагина И.В. 1980. Раннеананьинские поселения в бассейне Северной Двины // Древние памятники Северного Приуралья. Сыктывкар.
- Ашихмина Л.И., Васкул И.О., Каликов В.Н. 1990. К проблеме смены культур эпохи железа на Европейском Северо-Востоке (по результатам лазерного микроспектрального анализа цветных металлов) // Взаимодействие древних культур Урала. Пермь.
- Ашихмина Л.И., Васкул И.О. 1997. Памятники ананьинской культурной общности // Археология Республики Коми. М.
- Белавин А.М., Иванов В.А., Крыласова Н.Б. 2009. Угры Предуралья в древности и средние века. Уфа.
- Берлин А.В. 2010. Ритуальные топоры раннего железного века из Приуралья // Археологическое наследие как отражение исторического опыта взаимодействия

человека, природы, общества (XIII Бадеровские чтения). Ижевск.

Борзунов В.А. 1992. Зауралье на рубеже бронзового и железного веков. Екатеринбург.

Буров Г.М. 1965. Вычегодский край. Очерки древней истории. М.

Буров Г.М. 1967. Древний Синдор. М.

Буров Г.М. 1989. Железный век Крайнего европейского северо-востока (от начала до VIII столетия н. э.). Симферополь, 1989.

Васильев Ст. А. 2004. Ананьинский звериный стиль. Истоки, основные компоненты и развитие // Археологические вести. № 11. СПб.

Васкул И.О. 2002. Шиховской могильник раннего железного века (первые результаты исследований). Сыктывкар.

Васкул И.О. 2003. Поселение Мыедино и проблемы культурной принадлежности древностей Европейского Северо-Востока в ананьинское время // Чтения, посвященные 100-летию деятельности Василия Алексеевича Городцова в Государственном историческом музее. Тезисы конференции. Ч. II. М.

Вечтомов А.Д. 1968. К вопросу о племенной организации населения среднего Прикамья в эпоху железа // Труды камской археологической экспедиции. Вып. IV. (Ученые записки Пермского государственного университета. № 191). Пермь.

Голдина Р.Д. 1999. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск.

Денисов В.П. 1967. Культуры эпохи поздней бронзы в верхнем и среднем Прикамье и их роль в формировании ананьинской культуры // Труды IV Уральского археологического совещания. (Ученые записки Пермского государственного университета. № 148). Пермь.

Денисов В.П. 1968. Заюрчимское VI поселение – памятник раннего железного века в среднем Прикамье // Труды камской археологической экспедиции. Ученые записки Пермского государственного университета. № 191. Пермь.

Жульников А.М. 2005. Поселения эпохи раннего металла юго-западного Прибеломорья. Петрозаводск.

Жульников А.М. 2007. Ананьинские памятники на территории южного Прибеломорья // Пермские финны: археологические культуры и этносы. Сыктывкар.

Жульников А.М. 2008. Западное Беломорье в эпоху раннего железа: динамика межкультурного взаимодействия // РА. № 4.

Збруева А.В. 1952. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху. – М.

Иванов В.А. 2007. Сравнительно-типологическая характеристика предананьинской и ананьинской культурно-исторических общностей Прикамья и Приуралья // Пермские финны: археологические культуры и этносы. Сыктывкар.

Канивец В.И. 1964. Канинская пещера. М.

Канивец В.И. 1974. Печорское Приполярье. Эпоха раннего металла. М.

Коренюк С.Н. 2000. Ананьинская культура в трудах А.П. Смирнова и новые данные в ее изучении // Научное наследие А.П. Смирнова и современные проблемы археологии Волго-Камья. М.

Королев К.С. 1997. Население средней Вычегды в древности и средневековье. Екатеринбург.

Королев К.С. 2002. Угдымский археологический комплекс на средней Вычегде (эпоха железа). Сыктывкар.

Косменко М.Г. 1993. Археологические культуры периода бронзы – раннего железа в Карелии. СПб.

Косменко М.Г. 1997а. Культура лууконсаари // Археология Карелии. Петрозаводск.

Косменко М.Г. 1997б. Культура с керамикой «арктического» типа // Археология Карелии. Петрозаводск.

Косменко М.Г. 1997в. Позднебеломорская культура // Археология Карелии. – Петрозаводск.

Косменко М.Г. 2006. Проблемы изучения этнической истории бронзового века – раннего средневековья в Карелии // Проблемы этнокультурной истории населения карелии (мезолит – средневековье). Петрозаводск.

Кузьминых С.В. 1983. Металлургия Волго-Камья в раннем железном веке. М.

Кузьминых С.В. 2000. Археологическое изучение ананьинского мира в XX веке: основные достижения и проблемы // Российская археология: достижения XX и перспективы XXI вв. Ижевск.

Кузьминых С.В. 2007. Этно- и культурно-генетические процессы на севере Восточной Европы в финале бронзового и раннем железном веке // Пермские финны: археологические культуры и этносы: материалы всероссийской научной конференции. Сыктывкар.

Лузгин В.Е. 1972. Древние культуры Ижмы. М.

Майстренко Д.А., Мельничук А.Ф. 2010. Новые памятники эпохи бронзы в среднем течении р. Вишеры // Археологическое наследие как отражение исторического опыта взаимодействия человека, природы и общества. Ижевск.

Манюхин И.С. 1997. Позднекарогпольская культура // Археология Карелии. Петрозаводск.

Манюхин И.С. 2002. Происхождение саамов. Петрозаводск.

Марков В.Н. 2007. Нижнее Прикамье в ананьинскую эпоху (об этнокультурных компонентах ананьинской общности). Казань.

Массон В.М. 2006. Культурогенез древней Центральной Азии. СПб.

Мельничук А.Ф. 2002. Этнические процессы и освоение северного Прикамья в эпоху раннего железного века – позднего средневековья // Исторические истоки, опыт взаимодействия и толерантности народов Приуралья. Ижевск, 2002.

Мельничук А.Ф., Коренюк С.Н., Перескоков М.Л. 2009. Шнуровой орнамент – этнический индикатор в культурах железного века среднего Приуралья? // Пермские финны и угры в эпоху железа: Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. Вып. VI. – Пермь.

Мокрушин В.П. 1993. Керамика Пермского Прикамья VI в. до н. э. – V в. н. э. // Археологические культуры и культурные общности большого Урала. Екатеринбург.

Морозов В.М. 2002. Нижнее Приобье в эпоху железа (о перегребнинском типе памятников) // Северный археологический конгресс. Тезисы докладов. Екатеринбург-Ханты-Мансийск.

Морозов В.М., Чемякин Ю.П. 1991. Культуры нижнего Приобья эпохи железа и их связи с европейским северо-востоком // Проблемы историко-культурной среды Арктики. Сыктывкар.

Морозов В.М., Чемякин Ю.П. 2008. Керамика перегребнинского типа с поселения Низямы 9 // Вопросы археологии Урала. Вып. 25. Екатеринбург-Сургут.

Оборин В.А. 1969. Культурные связи племен верхнего Прикамья и северо-востока Европы в эпоху железа // Древности восточной Европы. М., 1969.

Ошибкина С.В. 1975. Краткая характеристика позднекаргопольской культуры // КСИА. Вып. 142. М.

Ошибкина С.В. 1987. Энеолит и бронзовый век Севера Европейской части СССР // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. Археология СССР. М.

Паршуков Ю.В. 2000. Территориально-хронологические комплексы лебяжской культуры // Коренные этносы Севера европейской части России на пороге нового тысячелетия: История, современность, перспективы. Сыктывкар.

Савельева Э.А. 2000. Коми археология на рубеже веков // Российская археология: достижения XX и перспективы XXI вв.: материалы научной конференции. Ижевск.

Стоколос В.С. 1973. Стоянки бронзового века на водораздельных озерах Центрального Тиммана // Археологические исследования на Печоре и Вычегде. Сыктывкар.

Стоколос В.С. 1997. Энеолит и бронзовый век // Археология Республики Коми. М.

Федорова Н.В., Гусев А.В. 2008. Древнее святилище Усть-Полуй: результаты исследований 2006 – 2008 гг. // Усть-Полуй – древнее святилище на полярном круге. Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. Вып. 9 (61). Салехард.

Фосс М.Е. 1952. Древнейшая история Севера Европейской части СССР. М.

Халиков А.Х. 1977. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа. М.

Чемякин Ю.П. 2008. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Древность. Сургут-Омск.

Чижевский А.А. 2008. Погребальные памятники населения Волго-Камья в финале бронзового – раннем железном веках: предананьинская и ананьинская культурно-исторические области. Казань.

Чернов Г.А. 1985. Атлас археологических памятников Большеземельской тундры. М.

Черных Е.М., Ванчиков В.В., Шаталов В.А. 2002. Аргыжское городище на реке Вятке. М.

Чиндина Л.А. 1984. Древняя история среднего Приобья в эпоху раннего железа. Томск.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

КСИА	Краткие Сообщения Института Археологии, Москва;
РА	Российская археология, Москва.

Атаев Г. Д. (ИИАЭ ДНЦ РАН)

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ТРАНСФОРМАЦИИ КУЛЬТУР ЭПОХИ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА

Настоящая статья посвящена исследованию проблемы преемственности и трансформации культур эпохи средней бронзы Северо-Восточного Кавказа, и в частности, этнокультурного развития местного населения в рассматриваемое время. Целью работы является систематизация и анализ археологического материала, на основе чего предполагается отразить общее и специфическое в развитии материальной культуры Северо-Восточного Кавказа в эпоху средней бронзы, выделить как этнодифференцирующие ее признаки и особенности культуры местных племен, так и основные линии в их взаимоотношениях с инородными племенами.

Вдоль западного побережья Каспийского моря пролегает так называемый Дербентский проход – наиболее удобный путь, ведущий из степей Юго-Восточной Европы в Закавказье и более южные об-

ласти. Данная область, начиная с эпохи каменного века и вплоть до позднего средневековья, была зоной активных контактов и культурно-исторических взаимодействий оседло-земледельческого населения Кавказа, Передней Азии и подвижных кочевых племен каспийско-черноморских степей. Поэтому вполне понятен интерес исследователей, который они придают памятникам эпохи бронзы Северо-Восточного Кавказа. Их изучение имеет большое значение не только для воссоздания общей картины культурно-исторического развития народов Дагестана, Чечни и Ингушетии, но и является большим подспорьем в исследовании характера и динамики этнокультурных контактов местного населения с племенами степей Юго-Восточной Европы.

Исследование проблемы преемственности и трансформации в развитии культур эпохи ранней и

Особенности культурогенеза Северо-Восточного Кавказа на рубеже эпох ранней и средней бронзы (закат куро-аракской культурно-исторической общности и формирование археологических образований Северо-Восточного Кавказа эпохи средней бронзы)

средней бронзы Северо-Восточного Кавказа имеет большое значение для выяснения исторических судеб археологических культур Кавказа эпохи ранней бронзы и формирования здесь на их основе новых образований эпохи средней бронзы. С другой стороны, изучение памятников рубежа эпох ранней и средней бронзы Северо-Восточного Кавказа позволяет исследовать проблемы так называемых комплексных обществ Евразии, выявить общие закономерности и многообразие конкретно-исторических путей развития оседло-земледельческих и степных подвижно-скотоводческих племен в рассматриваемое время. Эти вопросы освещались в работах Р.М. Мунчаева, В.Г. Котовича, В.М. Котович. Более детально и всесторонне они исследовались в работах М.Г. Гаджиева на основе новых археологических памятников – стратифицированных поселений и могильников Дагестана (Гаджиев, 1985. С.104-105; Гаджиев, 1991. С. 236-239). Он указывал, что на заключительном этапе существования северо-восточнокавказского локального варианта куро-аракской культуры «произошли коренные изменения, приведшие к отчетливому культурному переоформлению этой территории. Эти явления протекали постепенно. Изменился не только облик материальной культуры, но также снизились темпы культурного и экономического развития общества, наметились определенные признаки застоя и даже упадка. Гинчинская, присулакская и сменившая их каякентско-хорочоевская культуры не свидетельствуют о культурном прогрессе общества по сравнению с предшествующей ранне-бронзовой эпохой» (Гаджиев, 1991. С. 238).

В конце эпохи ранней и в начале эпохи средней бронзы (конец первой половины III - вторая половина III тыс. до н. э.) в культурно-историческом развитии Северо-Восточного Кавказа произошли кардинальные изменения и сдвиги качественного характера. Стабильное поступательное развитие местного общества, происходившее на протяжении около 4 тысячелетий было прервано. На Северо-Восточном Кавказе сложился ряд новых археологических образований среднего бронзового века, и он превратился в весьма пестрый в этнокультурном отношении регион. Эта пестрота сохраняется здесь и в эпоху поздней бронзы (Гаджиев, 1991. С. 238).

Появление на Северо-Восточном Кавказе в эпоху средней бронзы множества новых археологических образований (ряда культур и отдельных групп памятников) вместо предшествовавшей им единой и в целом монолитной куро-аракской культуры эпохи ранней бронзы, как считают многие исследователи, свидетельствует о начале активного процесса этнокультурной и языковой дифференциации населения рассматриваемого региона.

При исследовании проблемы преемственности и трансформации в развитии культур Северо-Восточного Кавказа от конца эпохи ранней бронзы и до начала эпохи средней бронзы основное внимание уделялось проблеме заката северо-восточнокавказской культуры куро-аракской культурно-исторической общности эпохи ранней бронзы и сложению на её основе новых археологических образований эпохи средней бронзы: гинчинско-гатынкалинской, присулакской, великентской культур, манасской, гентальской, утамышской групп памятников.

В этом плане интерес представляют памятники эпохи ранней бронзы Чечни и Дагестана. В восточной части Чечни исследованы Серженьюртовские поселения, относящиеся к куро-аракской культурно-исторической общности, в западной части Бамутский – курганный могильник, относящийся к майкопско-новосвободненской общности. В горной части Ингушетии на Луговом поселении открыты синкретические (майкопско-куро-аракские) комплексы (Мунчаев, 1975. С. 286-307). Следует отметить, что в горных районах западной Чечни, Ингушетии и Осетии встречаются комплексы куро-аракской культуры, а в предгорных районах распространены памятники майкопской культуры. Отмеченные территории являются зоной стыка указанных двух культур, где они пришли в активное взаимодействие друг с другом (Мунчаев, 1994. С. 30). Если раньше считалось, что майкопские памятники были распространены до территории Чечни включительно, то сейчас уже комплексы этой культуры выявлены как в приграничных районах Дагестана с Чечней, так и на территории равнинно-предгорной зоны Приморского Дагестана вплоть до г. Дербента. Это свидетельствует о том, что на позднем этапе развития майкопско-новосвободненской общности происходит продвижение части её племен на юго-восток.

С другой стороны, интерес представляют и памятники равнинной части Чечни – Мекенские курганы, где наряду с майкопскими комплексами открыты комплексы древнеямной и катакомбной культур, которые указывают об активных взаимосвязях этих культур и проникновении носителей последних на

данную территорию (Крупнов, Мерперт, 1963. С. 40-42). В западной Чечне в Бамутском могильнике выявлены комплексы майкопско-новосвободненской общности эпохи ранней бронзы и северокавказской общности эпохи средней бронзы, а также несколько погребений катакомбной культуры (Мунчаев, 1965. С. 92-96).

Традиции предшествующей раннебронзовой эпохи в культурах эпохи средней бронзы Северо-Восточного Кавказа сохранились в разных компонентах материальной культуры: в технике каменного домостроительства, в деталях интерьера жилищ, в бытовании круглоплановых склепов; в керамическом производстве: некоторые общие формы горшков, миски и др., черное лощение, тесто с преобладанием шамота, общие формы ручек, орнаментальных мотивов и композиций и т.д.

Но, с другой стороны, необходимо отметить о коренных изменениях, происшедших в материальной культуре, которые привели к отчетливому культурному переоформлению на территории горного Дагестана и Юго-Восточной Чечни. В середине III тыс. до н. э. на территории северокавказской культуры куро-аракской культурно-исторической общности стали происходить кризисные явления, затронувшие все стороны материальной культуры. В начале перемены коснулись строительного дела и архитектуры, где происходит смена строительной традиции: круглоплановая техника строительства домов и устройства погребальных сооружений постепенно уступает место прямоугольной. Этот процесс первоначально прослеживается в архитектуре Сигитминского поселения, относящегося к концу эпохи ранней бронзы. На поселении зафиксированы сооружения из прямых стен, но с закругленными углами. Основным типом домостроения первоначально был свободно стоящий дом из жилого помещения и примыкающего к нему двора-площадки, которые на позднем этапе поселения в результате перестроек впервые в горном и предгорном Дагестане сменяются на смежные двух-трехкамерные постройки (Гаджиев, 1991. С. 238; Атаев, 1986. С. 10-11).

В последующее время в горном Дагестане распространяются многокамерные жилища прямоугольной формы, которые хорошо документируются на материалах Верхнегунибского II слоя, Ирганайского I и др. поселений горного Дагестана. Поселения горного Дагестана подразделяются на постоянные и сезонные. Постоянные поселения характеризуются двумя типами: так называемые скальные и горнодолинные.

Для первых большое значение играл оборонительный фактор. Расположены они на труднодоступных, крутых горных склонах (Верхнегуниб-

ское) или на плоских вершинах скальных кражей (Усишинское) в естественных укрепленных местах и дополнительно были окружены, судя по раскопкам Верхнегунибского поселения, оборонительными стенами (Котович, 1965. С. 13-78). Горнодолинные поселения обычно располагались на ровных легкодоступных участках древних речных террас и не имели оборонительных стен. Так, Ирганайские поселения I, II, III расположены на речной террасе у подножия южных склонов горы, у входа в ущелье (Атаев, Мирзоев, 2012. С. 22-23; Атаев, Будайчиев, Сайпудинов, 2013. С. 123-125). На поселениях в горных районах выявлена каменная архитектура ступенчатой и горизонтальной планировки в виде прямоугольных, преимущественно многокамерных жилищ с углубленными в скалу или земляной склон основаниями. Стены их сооружались из хорошо подогнанных камней без скрепляющего раствора. Помещения имели плоскую кровлю, образованную из подпорных столбов, балок, перекрытых каменными плитами, и засыпанную сверху плотно утрамбованной землей. Соединены они были между собой и с улицей дверными проемами. Внутри жилищ сооружались специальные лежанки. У стен были расположены глинобитные сводчатые двухкамерные печи - «коры» (Котович, 1965. С. 13-78; Магомедов, 1998. С. 43-53; Атаев, Мирзоев, 2012. С. 22-23). В интерьере жилищ, характере дверных проемов, лежанки, устройстве глинобитных печей и т.д. много общего с традиционным горским жилищем. Значительные перемены фиксируются в горном Дагестане и на примере погребальных сооружений и обряда. На могильнике Гоно конца эпохи ранней бронзы обнаружены склепы прямоугольной формы (Котович, 1961. С. 25-28). На памятниках гинчинско-гатынкалинской культуры прямоугольные склепы сосуществуют с круглоплановыми вплоть до конца эпохи средней бронзы (Магомедов, 1998. С. 54-70). Так как погребальный обряд считается консервативным элементом культуры, то и круглоплановая архитектура погребальных сооружений сохраняется значительно дольше, чем жилая.

Перемены явственно прослеживаются и по другим компонентам культуры. Так, в керамическом производстве это проявилось в появлении и распространении в последующем новых форм сосудов с рельефной или валиковой орнаментацией, сосудов обмазанных жидкой глиной. Прием обмазки сосудов жидкой глиной получил позже большое распространение в памятниках каякентско-хорочоевской культуры. Выразительные изменения происходят в производстве каменных орудий труда, в частности, кремневой индустрии, удельный вес которых силь-

но уменьшился в связи со значительными успехами в металлургии и металлообработке, что выразилось в увеличившемся применении в производстве и в быту металлических изделий.

Коренные изменения и сдвиги, происходившие почти во всех сферах материальной культуры, на заключительном этапе существования раннебронзовой куро-аракской культуры наглядно отражают процесс постепенного затухания данной культуры и формирование в ее недрах новой гинчинско-гатынкалинской культуры эпохи средней бронзы. Новая гинчинско-гатынкалинская культура, как и другие археологические образования Северо-Восточного Кавказа эпохи средней бронзы, имеет ряд преемственных черт с предшествующей культурой, но уже обладает самобытными и яркими признаками других культурных традиций. Северный и Средний Дагестан подверглись интенсивному влиянию степных культур, что видоизменило его культуру, в то время как Южный Дагестан развивался еще в контексте куро-аракса Юго-Восточного Кавказа.

Что касается других культур, в частности, присулакской культуры, которая была распространена в предгорных районах северного Дагестана, укажем на следующие моменты. Исследование материалов памятников конца эпохи ранней бронзы и начала эпохи средней бронзы данного региона, а также их анализ и сравнительно-типологическая характеристика инвентаря позволили сделать ряд новых и интересных выводов. Изучение керамики Чиркейского и Сигитминского поселений эпохи ранней бронзы, а также керамики из памятников раннего этапа эпохи средней бронзы (могильники - Миатли, Чиркей, Гертма I,II,III, Саласу, Хунтуп), относящихся к присулакской культуре, свидетельствует, что она развивалась на базе местных керамических традиций предшествующей эпохи (Гаджиев, 1974. С. 16-18; Атаев, 1986. С. 15-20; Атаев, 1987. С. 145-157). С другой стороны, в ранних погребениях представлены совершенно новые, не характерные для Дагестана формы керамики и орнаменты степного и северокавказского происхождения. Они часто орнаментированы шнуровым узором, хотя отдельные экземпляры сосудов, украшенных шнуровым орнаментом, относятся к местным типам. Своеобразной чертой присулакской культуры следует считать отсутствие среди глиняных сосудов мисок. Другой своеобразной чертой, которая отличает присулакскую культуру, является найденная в ранних погребениях керамика, орнаментированная шнуровым узором (Атаев, 1986. С. 15-20; Атаев, 1987. С. 145-157). Металлические изделия в инвентаре рассматриваемой культуры, так же как

и керамика, с одной стороны, имеют местное происхождение (пластинчатые височные подвески, полусферические колпачки, браслеты, булавки с плоской головкой и др.), но встречаются и предметы явно северокавказского происхождения (украшения в виде литого шнура, подвески со шнуровым орнаментом) (Атаев, 1986. С. 15-23).

Северного, степного происхождения песчаниковые выпрямители древков стрел. На связи с племенами Северного Кавказа и Юго-Восточной Европы указывают некоторые детали погребального обряда. Степного происхождения курганный обряд захоронений. Привнесенным с севера следует считать обычай оставлять в могиле красную и желтую краску – охру – и посыпать ею покойника. Все эти факты убедительно свидетельствуют не просто о тесных связях населения Северного Дагестана с племенами Юго-Восточной Европы, но и о проникновении последних на эту территорию (Атаев, 1986. С. 15-23; Атаев, 2008 С. 14-17).

С этим связано, по мнению исследователей, оставление долговременных поселений – Сигитминского и Чиркейского, вследствие чего здесь произошло изменение облика местной культуры: за счет внедрения пришлых иноэтнических элементов возникла этническая пестрота, увеличилась подвижность населения, появился курганный обряд погребения. Все это позволяет утверждать, что отмеченные находки, в частности, каменные боевые полированные топоры и песчаниковые выпрямители древков стрел, костяные зооантропоморфные фигурные пряжки, керамика и металлические изделия со шнуровой орнаментацией, по-видимому, могли появиться здесь в результате инфильтрации с севера степных и северокавказских племен. Обитатели вышеназванных поселений вынуждены были внезапно забросить свои поселения.

Эти находки фиксируют закат раннебронзовой культуры Северного Дагестана, которую сменила новая культура раннего этапа эпохи средней бронзы, представленная в бассейне р. Сулак погребениями из курганных могильников. Их найдено около 1200. Присулакская культура представляет собой образование, основанное на подвижном скотоводстве, в составе населения были как пришлые степные племена, так и местные, автохтонные, перешедшие к подвижно-скотоводческому типу хозяйства. Значительная часть населения пришлого и местного, скорее всего, ушла. Одна часть населения распространилась на юг, в район Манаскента, и дальше в приморскую часть Южного Дагестана и в Азербайджан. Другая часть населения проникла в горы, в район Ирганайской котловины, и еще глубже – в высокогорные районы (Атаев, 2010. С. 39-44).

Здесь, в Ирганайской котловине, впервые на территории горного Дагестана были выявлены следы тесных контактов местного населения со степными племенами в эпоху средней бронзы, что выразилось в открытии курганного обряда захоронений, в находках керамики со шнуровым орнаментом, костяных фигурных пряжек, каменных боевых топоров кабардино-пятигорского типа (Атаев, 2010. С. 39-44; Гаджиев, Магомедов, 1988. С. 3-4).

Великентская культура. В южной части Приморской низменности, в районе Дербента и к северу от него, были распространены памятники великентской культуры. К великентской культуре относятся следующие памятники: материалы верхних горизонтов поселений Великент I, Геметюбе I, Мамай-кутан, а также поздние катакомбы эпохи средней бронзы Великентского могильника I и II (Гаджиев, Корневский, 1984. С. 7-27; Гаджиев, 1991. С. 237-238; Магомедов, 2000. С. 32-98). На поселениях Великент I, Геметюбе I выявлены прямоугольные землянки и наземные легкие постройки из плетня, обмазанного глиной. В строительном деле широко используются сырцовый кирпич, которым обкладывают стенки землянок. Из кирпичей возводились и несущие стены наземных построек (Гаджиев, 1991. С. 164-168). Погребальные памятники великентской культуры характеризует такой яркий памятник – Великентский катакомбный могильник I. Катакомбы были вырыты в естественном всхолмлении. Они представляли собой округлые камеры диаметром от 3 до 6 м со сводчатым потолком, в которые вели четырехугольные входные колодцы-дромосы. Входы закрывались каменной плитой. В катакомбах совершалось большое число захоронений (более 100), что указывает на долговременное их использование и на то, что они служили семейно-родовыми усыпальницами (Гаджиев, Корневский, 1984. С. 79; Гаджиев, Магомедов, 1990. С. 14-15; Марковин, 1994. С. 311-312; Магомедов, 2000. С. 32, 87-98).

Великентская культура в отличие от присулакской более тесно связана с предшествующей местной раннебронзовой культурой – сохранение катакомбного обряда захоронений, некоторых типов керамики. Керамика великентской культуры во многом (формы сосудов, орнаментация, обработка поверхности) сохранила традиции гончарного производства эпохи ранней бронзы. М.Г. Гаджиев и С.Н. Корневский считают, что она генетически связана с керамикой северо-востока Кавказа варианта куро-аракской культуры. В памятниках великентской культуры обнаружены импортные сосуды так называемой беденской культуры (Гаджиев, Корневский, 1984. С. 9. Рис. 1, 11; Магоме-

дов, 2000. С. 103-111. Рис. 1-2). Помимо керамики для данной культуры характерны полированные каменные навершия булавы, изящные полированные каменные боевые топоры, бусы и подвески из сердолика, горного хрусталя, гагата, стекловидной пасты и др.

Металл великентской культуры заметно отличается своим своеобразием от бронзового инвентаря, происходящего из памятников эпохи ранней и средней бронзы горного Дагестана. С предгорно-равнинными памятниками (Миатли, Манас, Утамыш) бронзовые предметы данной культуры сближаются по таким типам вещественного инвентаря: долото с кованой втулкой, браслеты с круглым сечением, якоревидные подвески и манжетовидные пронизи. Наибольший интерес представляет огромная коллекция металлических предметов из бронзы, серебра, найденных в великентских катакомбах. Они в большинстве случаев являются весьма оригинальными и не известны за пределами великентской культуры. Бронзовые предметы представляют своеобразные секироподобные топоры, а также обычные листовидные ножи, тесла, долото, четырехгранные шилья, украшения в виде спиральных пронизок, пронизок-трубочек, височных подвесок, медальонов, бляхи, имевшие широкое распространение на Кавказе и в сопредельных областях. Оригинальными являются прямостержневые и изогнутые в виде ручки посоха головные булавы с отверстиями на стержне, богато орнаментированные якоревидные подвески, браслеты с утолщениями на концах и в середине стержня, не имеющих точных аналогов (Гаджиев, Корневский, 1984. С. 9-26; С. 50-52, 57-59, 69-82; Гаджиев, Магомедов, 1990. С. 14-16; Магомедов, 2000. С. 103-111. Рис. 1-2; Марковин, 1994. С. 311-312. Рис. 97). Материалы великентской культуры еще полностью не опубликованы, но из того, что издано, можно заметить некоторые общие черты с материалами других синхронных памятников Дагестана.

Манасская группа памятников. Южнее присулакской и севернее великентской культуры, в центральной части Приморского Дагестана были распространены памятники манасской группы памятников. Поселения на этой территории плохо изучены. Так, Карабудахкентское поселение располагалось в ложине между гор, возле воды и реки. В.И. Марковин и М.Н. Погребова наблюдали на Карабудахкентском поселении развалы глинобитных зданий и массу камней (Марковин, 1969. С. 90). Для манасской группы памятников характерны в основном подкурганые катакомбы, грунтовые ямы и каменные гробницы (Мунчаев, Смирнов,

1956. С. 184; Федоров, 1977. С. 22-25). Главный памятник данной культуры – курганный могильник в урочище Каркома-хола возле ст. Манас, в долине р. Манас-озень (Мунчаев, Смирнов, 1956. С. 186-197). К манасской группе памятников относятся также подкурганные катакомб, открытые в конце XIX в. в с. Дешлагар (ныне Сергокала) и др. (Руссов, 1882. С. 582-584; Марковин, 1994. С. 311).

Манасские курганы не отличаются большими размерами – диаметр их 15-16 м, высота до 1,5 м. Под насыпями курганов были сооружены кромлехи. Лучше всего сохранились захоронения в двух курганах. В одном из них выявлены две катакомбы, соединенные переходом, в другом – одна. В катакомбы вели почти вертикальные колодцы-дромосы глубиной 2,8 и 3,6. Входные отверстия были прикрыты каменными плитами, а проход между катакомбами забит сырцовыми кирпичами и камнями. Одна из двойных катакомб – почти круглой формы с прочным сводом (2,3 x 2,4 x 1,5 м); другая – близка к овальной (3,3 x 2,95 x 2,2 м); отдельная катакомба овальной формы (3,6 x 2,9 x 2,06 м) расположена несколько ниже входного колодца. Дно могил земляное. Но у одиночной катакомбы дно выложено сырцовыми кирпичами. Здесь мы дали характеристику конструктивных особенностей катакомб Манасского могильника, опубликованных Р.М. Мунчаевым и К.Ф. Смирновым (Мунчаев, Смирнов, 1956. С. 184-203). А случайно найденная при строительных работах катакомба, которая была вскрыта Г.С. Федоровым, имела круглую форму (2,52 x 2,47 x 2,27 м). В камеру от входа вели три ступеньки. Пол камеры вымощен каменными плитами (Федоров, 1977. С. 22-25).

В катакомбах костяки, обсыпанные красной охрой, были сильно истлевшие, находились в скорченной и вытянутой позе. Скелеты лежали на подстилке из камыша, морской травы (водорослей) и на досках. В двух гробницах выявлено по пять скелетов, в двух других – по три. Данные погребальные сооружения являлись семейно-родовыми усыпальницами.

Укажем также на специфичность инвентаря из Манасских подкурганных катакомб. Наряду с обычными для всего Дагестана сосудами в этих памятниках найдены своеобразные миски с желобком под бортиком, неизвестными на других территориях. Только памятникам манасской группы памятников присуща орнаментация сосудов желобчатым, ямочным и штампованным узорами. Отличается манасская группа и тем, что здесь найдены очевидные привески из бронзы, неизвестные пока на других памятниках эпохи средней бронзы Дагестана. Другой металлический инвентарь распростра-

нен и на других памятниках. Поэтому считать его характерным только для манасской группы памятников нельзя (Мунчаев, Смирнов, 1956. С. 193-203; Гаджиев, 1974. С. 15).

Отличительные особенности в погребальном обряде проявляются в Манасских курганах в том, что здесь открыты захоронения в подкурганных катакомбах, отличающиеся от великентских бескурганных катакомб, вырытых в холме. Исследователи Манасских катакомб Р.М. Мунчаев и К.Ф. Смирнов указывают на местную погребальную традицию, сильно усложненную в результате несомненного проникновения сюда степных этнических элементов. Местными чертами они считают вытянутость погребенных, следы расчлененности отдельных костяков, наличие кромлехов. К степным чертам относятся захоронения в катакомбах и древесно-камышовая подстилка дна могил. Культура, представленная в Манасских курганах, «имеет яркие черты преемственности по отношению к местной культуре как предшествующего, так и последующего времени».

Гентальская группа памятников. К северо-западу от манасской группы у г. Буйнакск в местности «Гентал» (бассейн реки Шура-озень в 1 км к югу от сел. Кафыр-кумух) открыты массивные гробницы, близкие к склепам (Магомедов, 1977. С. 14-21). Исследованные здесь две прямоугольные гробницы (внутренние размеры их 3,40x1,60 м при высоте 2,15x2x1,10 м при высоте 1,30 м) были перекрыты огромными плитами (толщиной до 0,30 м), щели между которыми оказались забитыми камнями и глиняным раствором. Каждая из гробниц размещалась в специальной яме, вырытой в материке, кладка довольно тщательная, причем наиболее крупные камни положены у основания. В одном из склепов подмечены следы применения глины, в качестве раствора. Галечный пол в ней также был промазан жидкой глиной. Меньшая гробница сложена насухо. Внутри гробницы найдены остатки деревянных колод, в которых лежали, вытянуто на спине одиночные костяки (Магомедов, 1977. С. 14-18. Табл.1). Несмотря на некоторые различия в размерах и устройстве этих погребальных камер, они сооружены под одной курганной насыпью, что свидетельствует об их синхронности. Керамика состоит из следующих сосудов: 1) двух удлиненно-круглой формы с хорошо выделенной шейкой; 2) одного – с сильно вздутым корпусом, к которому приделаны с одной стороны два выступа с вертикальными отверстиями; 3) двух двуручных мисок с орнаментом, близким к сосудам из Манасских подкурганных катакомб (Магомедов, 1977. С. 17-20. Табл. II, 8-12). Керамика, как по формам, так и по орнаментации, напоминает манасские сосуды, а

также сосуды присулакской культуры. Другой инвентарь представлен следующими находками: навершия булавы, бронзовый черешковый клинок листовидной формы, четырехгранное шило, подвески в полтора оборота из золота и серебра (Магомедов, 1977. С. 19. Табл. II).

Интерес представляет найденное недалеко от описанных гробниц подкурганное захоронение в гробнице у с. Кафыр-кумух, которое было совершено в деревянной повозке-кибитке, от нее сохранились деревянные дуги (Гаджиев Давудов, Шихсаидов, 1996. С. 77). Данные памятники могут быть выделены в отдельную группу памятников.

Утамышская группа памятников. Другую очень интересную группу памятников в предгорном Дагестане характеризуют обнаруженные к юго-востоку от ст. Манас Утамышские курганы. Они расположены на левом берегу р. Инчхе-озень, в урочище Токачи у с. Утамыш Каякентского района (Котович, Котович, Магомедов, 1980. С. 47-62). В погребальной яме кургана 1, окруженной каменным кольцом-кромлехом, была обнаружена деревянная конструкция в виде сруба, перекрытая бревенчатым накатом. Внутри нее находилась деревянная четырехколесная повозка с помещенным на ней саркофагом. Один из срубов имел не менее шести венцов и был собран из расколотых пополам бревен. Их затесанные, плоские стороны обращены внутрь (длина сооружения 3 м, ширина 2,6 м). Сохранились колеса погребальной телеги. Они изготовлены из трех массивных брусьев, соединенных внутренними шипами, и обладают сильно выступающими ступицами. Саркофаг представляет собой колоду длиной около 2 м. Сделана она из двух половинок ствола (диаметром не менее 1,2 м), выдолбленного изнутри. В другом кургане (№ 3) также был найден сруб с колодой – саркофагом (длина ее 2,25 м), положенной на дно могильной камеры. В колоде первого кургана находились останки женщины, лежавшей головой на запад. Ноги у нее были согнуты в коленях и приподняты вверх. В другом кургане колода содержала вытянутый мужской костяк, лежавший на спине и так же обращенный головой на запад (Котович, Котович, Магомедов, 1980. С. 48-53).

Инвентарь Утамышских курганов отличается богатством находок. Он состоит из золотых двухлопастных подвесок, серебряного височного кольца, бронзовых браслетов с заходящими друг на друга концами, булавы с двуволотным навершием, серебряных трубочек – пронизок с рельефным (чеканным) геометрическим узором, бронзовых подвесок крестообразной формы, бронзового шила, бронзового клинка, навершия булавы, костяного стержня,

точильных брусков, бусы их горного хрусталя, пасти, бронзы, морских раковин (Котович, Котович, Магомедов, 1980. С. 51-54). Керамика представлена одним сосудом – это лошенный горшок с уступом, отделяющий шейку от тулова с орнаментом в виде трех наклепанных шишек на уступе (Котович, Котович, Магомедов, 1980. С. 53). Находки в Утамыше погребальных конструкций типа срубов, не находящих аналогии в Дагестане, а также разнообразие погребальных сооружений, по мнению В.Г. Котовича, В.М. Котович, С.М. Магомедова, могут отражать «с одной стороны, этническую пестроту обитавшего здесь в ту пору населения, а с другой – доказательством определенных связей местного населения с ранними памятниками срубной культуры Поволжья» (Котович, Котович, Магомедов, 1980. С. 54-55).

В.И. Марковин отрицательно относится ко второму предположению о связях со срубной культурой и считает более вероятным первое предположение, что «Утамышские курганы отражают этническую особенность какой-то племенной группировки, жившей по среднему течению р. Инчхе-озень» (Марковин, 1994. С. 306). Представленные в Утамыше некоторые черты погребального обряда – земляные насыпи курганов, глубокие ямы прямоугольных очертаний, заполненные большим количеством камня, перекрытие могил плахами и бревенчатым накатом, широтная ориентация погребенных – находят себе параллели в погребальном обряде курганов майкопско-новосвободненской общности и в меньшей степени северо-кавказской культурно-исторической общности (Мунчаев, 1975. С. 310-311; Нечитайло, 1978. С. 49-51). Перечисленные элементы погребального обряда и захоронения с повозками более всего сближаются с погребальным обрядом недавно выделенной новотиторской культуры Северо-Западного Кавказа (степное Прикубанье) (Гей, 2000. С. 208-230). Как видно, погребальный обряд Утамышских курганов перекликается с рядом северокавказских и степных культур (курганы, срубы, захоронения с повозками). Повозки обычно устанавливались на краю могилы и редко в центре, в целом или разобранном виде и служили, по-видимому, для доставки тела умершего к месту захоронения.

Изучение археологических материалов конца эпохи ранней и средней бронзы свидетельствуют о коренных изменениях и сдвигах в культурно-историческом развитии Северо-Восточного Кавказа, что выразилось в трансформации раннебронзовой куро-аракской культуры, приведшей в конечном итоге к ее закату и распаду культурного единства данного региона, формированию но-

вых археологических образований эпохи средней бронзы, которые имеют лишь некоторые черты преемственности с предшествующей культурой. Коренные изменения привели к отчетливому культурному переоформлению данной территории, и он превратился в очень пестрый в этнокультурном отношении регион. Следует указать на сложный характер этнокультурного развития населения Северо-Восточного Кавказа. Об этом свидетельствует также большое разнообразие погребальных сооружений и погребальных обрядов. На данной территории в эпоху средней бронзы известны подкурганные захоронения в каменных гробницах и грунтовых ямах (Миатли, Чиркей, Гертма, Саласу, Манаскент), подкурганные захоронения в срубках с деревянными саркофагами на повозках (Утамыш); подкурганные захоронения в гробницах с деревянными саркофагами («Гентал» в Буйнакске); подкурганное захоронение в кибитке (Кафыр-Кумух); подкурганные захоронения в катакомбах, грунтовых ямах и каменных гробницах (Манас, Ярти-Тюбе); подкурганные захоронения в грунтовых ямах и катакомбах (Дербент, Дешлагар); подкурганные захоронения в каменных ящиках (Тарки, Кяхулай); бескурганные захоронения в катакомбах на холме (Великент). Многообразие погребальных обычаев свидетельствует об этнокультурной пестроте населения Северо-Восточного Кавказа. Наряду с причинами природно-климатическими и экономическими одной из главных причин культурной трансформации является постоянно усиливающееся давление степных скотоводческих племен на оседло-земледельческие центры и их инфильтрация на территорию Северо-Восточного Кавказа. Эти процессы не стоит рассматривать как единовременное проникновение.

Курганы эпохи ранней бронзы также выявлены в Дагестане и Чечне. К концу эпохи ранней бронзы в равнинно-предгорном Дагестане уже известны комплексы майкопской культуры: в форме культурных оградок с керамикой майкопской культуры, свидетельствующие о проникновении майкопских племен далеко на юг вплоть до Дербента.

В результате проникновения с севера степных племен произошло изменение культуры вначале в Северном Дагестане, в зоне стыка степей и гор. И несколько позднее – в южных районах приморского Дагестана. Северные районы все теснее включаются в орбиту связей со степными и северокавказскими областями.

Изучение материалов культур ранних этапов эпохи средней бронзы Северо-Восточного Кавказа показывает, что на финальном этапе их развития, начиная с XVIII в. до н. э. в недрах культур эпохи

средней бронзы начинают вызревать элементы новой археологической культуры. На могильниках начинают распространяться погребальные сооружения, объединяющие черты склепов, гробниц и каменных ящиков. При совершении детских погребений чаще стали использоваться миниатюрные каменные ящики. Что касается погребального обряда, то и здесь происходит эволюция: коллективные захоронения постепенно сменяются одиночными, в редких случаях парными. Заметные изменения появляются, и в керамике и в металлических изделиях.

Следует указать, что коренные изменения и этнокультурные сдвиги произошли в начале на севере Дагестана в присулакском районе, где памятники куро-аракской культуры сменила новая культура эпохи средней бронзы – присулакская культура синкретического характера. Наряду с чисто местными признаками в ней присутствуют элементы культуры, свойственные степным и северокавказским племенам. Развиваясь вначале в Северном Дагестане, она постепенно распространяется на юг на территорию центральной части Приморского Дагестана, в район Манаскента (Манаскент, «Ярти-тюбе», Урцек 2). Определенное время носители присулакской культуры сосуществовали с племенами великентской культуры. Но в дальнейшем они начинают постепенно прессинговать и углубляться на территорию великентской культуры, свидетельством чего является появление на этой территории погребальных конструкций смешанного типа: гробниц-ящиков (Мамайкутан) и каменных ящиков с инвентарем, характерным для эпохи средней бронзы (круглодонные сосуды и сосуды с выпуклым туловом и раструбным горлом) (Каякент и др.). В результате давления носителей присулакской культуры, по-видимому, происходит затухание великентской культуры. На этой территории появляются курганные захоронения в гробницах с сосудами со шнуровым орнаментом. С течением времени многие элементы культуры степного и северокавказского населения исчезают, что, по-видимому, свидетельствует об их ассимиляции автохтонным населением. Это проявилось в появлении смешанных, промежуточных погребальных сооружений, сочетающих элементы гробниц и каменных ящиков с представленными в их погребальном инвентаре с круглодонными сосудами и двуручными сосудами с выпуклым туловом и горлом в виде раструба, типичными для культуры ранних этапов эпохи средней бронзы. На этой территории уже отсутствуют погребальные конструкции типа великентских катакомб, но зато повсеместно начинают появляться захоронения в

каменных ящиках с индивидуальными или парными захоронениями (Берикей, Каякент, Маджалис, Мамайкутан и др.) и с инвентарем, типичным для новой каякентско-хорочоевской культуры (Атаев, 2007. С. 97-99).

Примерно в конце 1-й половины II тыс. до н. э. начинает формироваться каякентско-хорочоевская культура. В ее сложении наряду с другими культурами большую роль сыграла присулакская культура, в которой присутствовал значительный степной компонент, что не могло не наложить большого отпечатка на ее культурный облик.

Подытоживая, следует еще раз отметить, что пришлое иноэтническое население сыграло значительную роль в этнокультурных процессах, происходивших на территории Северо-Восточного Кавказа. Впоследствии в конце 1-й половине II тыс. до н. э. этнокультурные различия между отдельными группами исчезают в результате ассимиляции пришлых племен местным населением. На это указывает тот факт, что уже поздние погребения курганных могильников Миатли, Чиркей, Манаскент, Гертма I, II, III, Саласу и т.д. вполне определенно свидетельствуют о культурном единстве.

В настоящее время все ученые-кавказеды признают тесную генетическую связь каякентско-хорочоевской культуры с археологическими образованиями эпохи средней бронзы Северо-Восточного Кавказа. После издания монографии В.И. Марковина в 1969 г., посвященной изучению каякентско-хорочоевской культуры, были открыты и введены в научный оборот материалы ряда памятников Северо-Восточного Кавказа. В Дагестане это могильники Мискинбулак, Тахиркала, Гюхрак, Нижний Дженгутай, Янгикент, Новый Дейбук, Манаскент, Канабур-ауз, находки из Инчхе, Кафыркумуха, Карацана и др. В Чечне – могильники Бачиюрт 1-3, каменный ящик из сел. Дай, верхний слой поселения Харбузи-Дук 3 у сел. Курчалой.

Изучение материалов вышеназванных памятников позволяет подойти к решению таких важных и сложных вопросов, как выявление преемственности и инновации между культурами раннего этапа эпохи средней бронзы и каякентско-хорочоевской культурой.

Каякентско-хорочоевская культура возникла на основе предшествующих культур Северо-Восточного Кавказа, в особенности таких, как гинчинско-гатынкалинская, присулакская, и в меньшей степени других культур и групп памятников. Преемственная связь с предшествующими археологическими образованиями наиболее четко проявляется в дальнейшем развитии некоторых характерных элементов материальной культуры: ар-

хитектура поселений и жилищ, строительное дело, гончарство, металлообработка, а также в планировке некрополей и некоторых деталей устройства погребальных сооружений (Марковин, 1969. С. 60-90; Атаев, 2007. С. 98; Магомедов, 1998. С. 173-180).

Поселения каякентско-хорочоевской культуры слабо изучены. Они открыты на высоких речных террасах (Курчалой, Харбузи-Дук 3, Нижняя Сигитма, Бачазул-шоб), на платовых поднятиях (Новолакское) и по склонам гор. К этим памятникам добавим Верхнегунибское и Ирганайское III поселения, соответственно расположенных на высокогорном плато и в горной долине. Топография этих памятников мало отличается от предшествующих, хотя и здесь уже наблюдаются некоторые различия. Для поселений каякентско-хорочоевской культуры оборонительный фактор не играл такой значительной роли, как в памятниках предшествующего времени. В конструкции и планировке жилищ каякентско-хорочоевской культуры нет особых изменений в сравнении с предшествующим периодом. Об этом говорят данные раскопок Нижнесигитминского и Верхнегунибского (I слой) поселений (Котович, 1965. С. 27-98; Марковин, 1969. С. 90-92)

Представляется, что те памятники, которые содержат как погребения ранних этапов эпохи средней бронзы, так и каякентско-хорочоевские, и где наблюдается преемственная связь ранних и поздних комплексов, и прослеживается непосредственный переход от культуры раннего периода эпохи средней бронзы к смешанным промежуточным погребениям (гробница-ящик, склеп-ящик, яма-ящик) и далее в каякентско-хорочоевскую, должны датироваться заключительным этапом эпохи средней бронзы или иначе переходным периодом от средней бронзы к поздней. Эти памятники составляют, на наш взгляд, наиболее ранний этап каякентско-хорочоевской культуры. Такой вывод основывается на материалах типологического изучения вещественного инвентаря Миатлинского, Чиркейского и Манаскентского курганных могильников и подтверждается стратиграфией погребений этих хорошо исследованных памятников (Атаев, 1986. С. 15-22; Пятых, Салихов, Шишлина, 1986. С. 5-32).

Указанных погребений переходного типа исследовано в данных памятниках около шестидесяти. К сожалению, эти памятники Дагестана не рассматривались в последних работах В.Г. Котовича и В.И. Марковина. Между тем, Миатлинский, Чиркейский, Манаскентский и другие могильники являются важнейшими и очень яркими опорными памятниками, где представляется исключительно интересная и ценная возможность

проследить трансформацию культур ранних этапов эпохи средней бронзы, в данном случае присулакской культуры в каякентско-хорочоевскую. Вокруг вышеназванных трех могильников сейчас концентрируется ряд одиночно исследованных в разных местах погребений в гробницах-ящиках или склепах-ящиках и в каменных ящиках, но с инвентарем, относящимся к предшествующим культурам эпохи средней бронзы, а именно с круглодонными сосудами или с двуручными гладкостенными сосудами с выпуклым туловом и раструбным горлом. Указанные погребения открыты в Мамай-кутане, Каякенте, Урцеки II, Урма, «Айдильго», Тарки, Кафыркумухе, Ирганае, Бельты 2 и др. Материалы вышеприведенного круга памятников переходного типа или самого раннего этапа каякентско-хорочоевской культуры имеют принципиально важное значение для разработки вопросов, связанных с определением периодизации и хронологии рассматриваемой культуры.

Погребальные комплексы в могилах смешанного типа (гробница-ящик, склеп-ящик) и каменных ящиках с описанными сосудами относятся к переходному периоду от средней бронзы к поздней и даже концу средней бронзы и могут датироваться от XVII в. до XV в. до н. э. Здесь сразу следует уточнить, что указанные памятники в равнинной и предгорной зонах Северо-Восточного Кавказа являются более древними, лет на 100-150, чем аналогичные памятники, расположенные в горных районах. В этих памятниках наряду с чертами, присущими культурам раннего этапа эпохи средней бронзы Северо-Восточного Кавказа, уже появляются элементы новой каякентско-хорочоевской культуры, что знаменует переходный период от средней бронзы к поздней. Предложенной датировке не противоречит вещественный инвентарь, сохраняющий генетическую, преемственную связь с предшествующими культурами, что отмечено исследователями, занимавшимися изучением каякентско-хорочоевской культуры и более ранних культур эпохи средней бронзы Северо-Восточного Кавказа. В.И. Марковин и В.Г. Котович убедительно обрисовали преемственную связь на примере керамики между культурой памятников раннего этапа эпохи средней бронзы и каякентско-хорочоевской культуры (Марковин, 1969. С. 2-60; Котович, 1982. С. 55-59).

К этому следует добавить выявление большого сходства и другого инвентаря каякентско-хорочоевской культуры и предшествующих культур эпохи раннего этапа эпохи средней бронзы Северо-Восточного Кавказа (украшения, предметы вооружения, орудия труда из бронзы и из другого материала). Еще одним подтверждением указан-

ной датировки является радиоуглеродная дата для кафыр-кумухской гробницы – 1740±60 гг. до н. э. (Котович, 1982. С. 70).

В глубинных районах Дагестана и Чечни описанные выше маркирующие сосуды встречаются, но не в такой массовой серии как в памятниках присулакской культуры, где они составляют характерную специфическую форму как ранних, средних, так и поздних погребений, и которые отличают ее от других синхронных культур. Хотя следует подчеркнуть, что довольно широко эта форма встречается в памятниках гинчинско-гатынкалинской культуры (Ирганай, Бельты 2), расположенных в горных районах, непосредственно граничащих с предгорьями, где как раз и распространены памятники присулакской культуры. Симптоматично и очень показательно, что именно в этих памятниках открыты погребальные конструкции смешанного типа – склеп-ящик или гробница-ящик с индивидуальными или парными погребениями (Атаев, 2007. С. 98-99).

Представляется, что и на территории Чечни генезис каякентско-хорочоевской культуры проходил более сложно и многопланово. Чтобы всесторонне и во всей полноте представить процесс трансформации гинчинско-гатынкалинской культуры в каякентско-хорочоевскую, потребуются дополнительные исследования памятников эпохи бронзы. Имеющиеся свидетельства позволяют проследить на памятниках эпохи бронзы в Чечне процесс появления смешанных погребальных конструкций склеп-ящик и каменных ящиков с инвентарем, присущим для гинчинско-гатынкалинской культуры. Таким образом, и на территории Чечни, как и в Дагестане, выделяется группа памятников смешанного, промежуточного типа, которые могут относиться к переходному этапу или к самому раннему этапу каякентско-хорочоевской культуры. К этим памятникам, по мнению В.И. Марковина, следует отнести отдельные погребения могильников 2-4 у сел. Бачи-юрт, средние (условно) слои зольника в Курчалое, Согунты, Гуни, Ведено (отдельные находки). Он также считал возможным говорить о «присутствии элементов каякентско-хорочоевской культуры в таких поздних памятниках гинчинско-гатынкалинской культуры, как могильники Дай, Бельты 2и Дуба-юрт и, что «таким образом, выстраивается ряд памятников, подводящих к возникновению каякентско-хорочоевской культуры, они могут являться тем несколько условным «недостающим промежуточным звеном» (Марковин, 1994. С. 226.)

Как представляется, с XVIII в. до н. э. в недрах культур эпохи средней бронзы начинают вызревать элементы новой каякентско-хорочоевской

культуры. На этом этапе носители присулакской культуры, проникшие до этого на территорию центральной части Приморского Дагестана, в район Манаскента, Зеленоморска, начинают постепенно прессинговать и углубляться на территорию великентской культуры, свидетельством чего является появление на этой территории погребальных конструкций смешанного типа с инвентарем, характерным для раннего этапа эпохи средней бронзы. В результате давления носителей присулакской культуры, по-видимому, происходит затухание великентской культуры.

Изучение культур эпохи ранней и средней бронзы Северо-Восточного Кавказа позволяет раскрыть многие проблемы, связанные с преемственностью и трансформацией местных культур указанного отрезка времени. Исследования имеют большое значение для решения проблем формирования и развития на Кавказе культур эпохи средней бронзы, выявления закономерностей развития местных культур в эпоху бронзы, их специфики на фоне других регионов Кавказа, этнокультурных процессов в регионе, определения роли и участия степных племен в формировании культур эпохи средней бронзы Северо-Восточного Кавказа.

ЛИТЕРАТУРА

Атаев Г.Д. 1986. Бассейн реки Сулак в эпоху ранней и средней бронзы: Автореф. дис... канд. ист. наук М.

Атаев Г.Д. 1987. Чиркейские курганы бронзового века // СА. № 1.

Атаев Г.Д. 2007. О преемственности и инновациях в культурах эпохи средней и поздней бронзы плоскостных районов Северо-Восточного Кавказа // Археология, этнология и фольклористика Кавказа: Материалы Международной научной конференции «Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе». Махачкала.

Атаев Г.Д. 2008. Процессы этнокультурного развития Северо-Восточного Кавказа в эпоху ранней и средней бронзы // Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредельных территорий. Юбилейные XXV «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Владикавказ.

Атаев Г.Д. 2010. О связях населения горного Дагестана со степными племенами в эпоху средней бронзы // Известия Вузов. Северо-Кавказский регион. № 6. Ростов-на-Дону.

Атаев Г.Д., Будаичев А.Л., Сайпудинов М.Ш. 2013. Исследования поселений горнодолинного типа эпохи бронзы в зоне строительства Ирганайской ГЭС // IV Абхазская международная археологическая конференция:

Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа. Материалы конференции. Сухуми.

Гаджиев М.Г. 1974. Дагестан и Юго-Восточная Чечня в эпоху средней бронзы // Древности Дагестана. Махачкала.

Гаджиев М.Г. 1985. Изучение стратиграфии прикаспийских поселений эпохи бронзы // Всесоюзная археологическая конференция. Достижения советской археологии в XI пятилетке. Баку.

Гаджиев М.Г. 1991. Раннеземледельческая культура Северо-Восточного Кавказа (эпохи энеолита и ранней бронзы). М.

Гаджиев М.Г., Корневский С.Н. 1984. Металл Великентской катакомбы // Древние промыслы, ремесло и торговля в Дагестане. Махачкала.

Гаджиев М.Г., Магомедов Р.Г. 1988. Новые данные о культурных связях населения степей и гор в бронзовом веке // Тезисы докладов научной сессии, посвященных итогам экспедиционных исследований Института ИЯЛ в 1986-1987 гг. Махачкала.

Гаджиев М.Г., Магомедов Р.Г. 1990. Великентские катакомбы // Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической общности. Тез. докл. Всесоюзного семинара. Запорожье.

Гаджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. 1996. История Дагестана с древнейших времен до конца XV в. Махачкала.

Гей А.Н. 2000. Новотиторовская культура. М.

Котович В.Г. 1961. Археологические работы в горном Дагестане // МАД. Т.2.

Котович В.Г. 1982. Проблемы культурно-исторического и хозяйственного развития населения древнего Дагестана. М.

Котович В.Г., Котович В.М., Магомедов С.М. 1980. Утамышские курганы // Северный Кавказ в древности и средние века. М.

Котович В.М. 1965. Верхнегунибское поселение – памятник эпохи бронзы горного Дагестана: К истории дагестанских племен в конце III-II тыс. до н. э. Махачкала.

Крупнов Е.И., Мерперт Н.Я. 1963. Курганы у ст. Мекенской // Древности Чечено-Ингушетии. М.

Магомедов М.Г. 1977. Гробница эпохи средней бронзы в урочище «Гентал» // Древние памятники Северо-Восточного Кавказа. Махачкала.

Магомедов Р.Г. 2007. Магистраль в будущее – сохраняя прошлое: Археологические исследования в зоне строительства газопровода-отвода к с. Ботлих Ботлихского района республики Дагестан. Махачкала.

Марковин В.И. 1969. Дагестан и Горная Чечня в древности: Каякентско-хорочоевская культура // МИА № 122. М.

Марковин В.И. 1994. Северо-Восточный Кавказ в эпоху бронзы // Археология. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии ранняя и средняя бронза Кавказа. М.

Мунчаев Р.М. 1965. Катакомбная культура и Северо-Восточный Кавказ // Новое в советской археологии. М.

Мунчаев Р.М. 1975. Кавказ на заре бронзового века: неолит, энеолит, ранняя бронза. М.

Мунчаев Р.М. 1994. Куро-аракская культура // Археология. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии, ранняя и средняя бронза Кавказа. М.

Мунчаев Р.М., Смирнов К.Ф. 1956. Памятники эпохи бронзы в Дагестане (Курганная группа у станции Манас) // СА. Вып. XXVI.

Магомедов Р.Г. 2000. Материалы к изучению культур эпохи бронзы в Приморском Дагестане. Махачкала.

Нечитайло А.Л. 1977. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке. Киев.

Пятых Г.Г., Салихов Б.М., Шишлина Н.И. 1986. Отчет о работах ДАЭ в 1985 г. // РФ ИИАЭ Ф.3. Оп. 3. Д.627. М.

Русов А.А. 1882. Отчет о летних и осенних археологических работах в Южном Дагестане // Труды предварительных комитетов. V археологический съезд. М.

Федоров Г.С. 1977. Еще одна манасская катакомба // Древние памятники Северо-Восточного Кавказа. Махачкала.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СА	Советская археология, Москва;
МАД	Материалы по археологии Дагестана. Махачкала;
МИА	Материалы и исследования по археологии СССР, Москва-Ленинград.

Шаров О.В. (ИИМК РАН)

КУЛЬТОВЫЙ КОМПЛЕКС «ТАРАКТАШ» В ВОСТОЧНОМ КРЫМУ

Культовый комплекс Таракташ расположен на склонах одноименного горного хребта в 0,5 км к северо-востоку от с. Бийюк-Таракташ (тюрк. Большой Таракташ, совр. Дачное), в 3 км к северу от г. Судак, на юго-восточном побережье Крымского полуострова (Рис. 1-3). Таракташ (тюрк. – «каменный гребень») является названием главной западной вершины и общим названием всей западной части скальной гряды Сары – Кая (тюрк. Желтые скалы), входящей в Южнокрымскую горную систему. Горный массив Сары-Кая, на склоне которого расположен вновь выявленный археологический объект, представляет из себя останец рифовых верхнеюрских известняков, залегающий на подстилающих его горных породах таврической серии. Отмечены также многочисленные выходы конгломератов. Склоны массива сильно эрозированы, испещрены глубокими оврагами и балками, покрыты редкой древесной растительностью. Горы относятся к области альпийской складчатости Средиземноморского пояса, сложены глинистыми сланцами с прослойками песчаников и известняками с характерными карстовыми формами рельефа.

Обращает на себя внимание, что место у подножия западной вершины Таракташского хребта, выбранное в древности для места строительства святилищ и обширного горного поселения римской эпохи, имело выгодное стратегическое положение. Это самое узкое место Судакской долины, зажатое между горными хребтами, которые венчают две главные вершины – Бакаташ (тюрк. «гора-лягушка») и Таракташ (Рис. 2). Отсюда прекрасно просматривается Судакская бухта с близлежащими

долинами и контролируется главная дорога, ведущая на север, вглубь Крымского полуострова.

Если говорить об истории археологических исследований этого микрорегиона, то до середины 90-х гг. XX века планомерные археологические раскопки здесь не проводились. В 1908 году в районе с. Кучук-Таракташ, на восточном склоне г. Бакаташ, был найден 1-й Таракташский клад, содержащий около 2000 боспорских статов и позднеримских монет, самая поздняя из которых относится к 328 г. н. э. (Стевен. 1908; Харко, 1968; Джанов, Юрочкин, 2001. С. 70). В 1959 году вблизи с. Каменка (бывш. с. Бийюк-Таракташ, ныне с. Дачное) найден второй клад, содержащий около двухсот боспорских монет III в. н. э., (Судакский клад) (Фролова, 1983). С этого времени в окрестностях горного массива Таракташ стали фиксироваться многочисленные грабительские раскопы.

В 1995 году на южном склоне Таракташской гряды Горно-Крымской экспедицией Крымского филиала ИА НАНУ (начальник экспедиции В.Л. Мыц) на месте глубокой грабительской ямы было открыто и исследовано святилище римского времени, получившее название Таракташ-I. В пределах раскопа, площадь которого составила 130 кв. м, были изучены остатки двух храмовых построек и погребение, составляющие единый культовый комплекс, существовавший с начала I в. н. э. по вторую половину IV в. н. э. (Мыц, Лысенко, 2001. С. 96-100). Основная часть культового комплекса – это храм № 1 по обозначению авторов раскопок (Рис. 3-1). Он имеет подпрямоугольную форму, ориентирован длинными сторонами по линии запад-восток с небольшим отклонением к северу. Вход в храм № 1

расположен с восточной стороны, к западной стене пристроены два выступа. Его размеры по внешнему контуру: 5.2 x 7.6 м. В районе дверей и вдоль западной стены прослежены следы столбовых конструкций. Напротив входа, у западной стены, располагался каменный алтарь подпрямоугольной формы высотой 0.5 м. В центре храма было зафиксировано овальное углубление, служившее жертвенником. К западной и южной стенам были пристроены каменные скамьи шириной 0.6 м. В кладке алтаря, скамьи и в основании фундамента стен были найдены несколько трехлопастных железных черешковых наконечников стрел, бронзовые смычковые фибулы I в. н. э., фрагменты стеклянных бальзамариев и кубков типа «Riepschale», стеклянные и фаянсовые бусы (Мыц, Лысенко, 2001. Рис 2, 1-7, 18-24). В яме-жертвеннике найдены кальцинированные кости петуха, барана, маленькие лепные кубки с ручками-упорами и курильницы (Мыц, Лысенко, 2001. Рис 2, 8-10, 13, 16-17). Особый интерес представляют находки 270 краснолаковых сосудов II–IV вв. и фрагменты 2-х стеклянных кубков III–IV вв., найденные между скамьями и южной стороной алтаря (Мыц, Лысенко, 2001. С. 97. Рис. 2, 25). К сожалению, керамика до сих пор не опубликована. Авторы считают, что находки 270 сосудов являются следами коллективного жертвоприношения и ритуальной трапезы. Храм № 2 располагался в 3.5 м к ЮЗ от храма № 1. Общий размер строения 4.9 x 3.2 м, но помещение имеет квадратную форму 2.1x2.1 м (Мыц, Лысенко, 2001. С. 97. Рис. 1). Храм № 2 ориентирован четко по сторонам света. С северной и южной стороны зафиксированы столбовые ямки. В северо-западном углу были обнаружены три лепных антропоморфных статуэтки из слабо обожженной глины (Рис. 4; 7-2). Они лежали головой на запад, вплотную друг к другу, лицом вверх (Мыц, Лысенко, 2001, рис 1, 2-3). Низ всех фигурок был преднамеренно отбит, у двух не сохранились и личины. Из заполнения храма № 2 происходят также фрагменты алтариков, курильниц и лепных чашечек (Мыц, Лысенко, 2001. Рис 2, 11-12, 14-15). Алтарики имеют подпрямоугольное основание с подквадратными неглубокими резервуарами, а курильница – выступы по краям резервуара и подквадратный резервуар. Авторы считают, что храм № 2, на основании находок фрагментов краснолаковой посуды и данных стратиграфии, был возведен несколько позднее, чем храм № 1 (Мыц, Лысенко, 2001. С. 97).

В 2000 году в средней части Таракташского хребта, в самом высоком его месте, называемом Сары-Кая (Желтые скалы – с тюрк.) на высоте около 530 м над уровнем моря), местными «любителями

древностей» был обнаружен еще один Таракташский клад, находящийся ныне в одной из частных коллекций. В состав клада входили: 25 серебряных денариев Антония Пия и Фаустины Старшей, золотые серьги-подвески, серебряные браслет, фибула, пряжка, перстень и 5 золотых монет Феодосия II (408-450 гг.) (Джанов, Юрочкин, 2001. С. 70). Появление такого представительного и яркого комплекса в очередной раз привлекло внимание исследователей к Судакской долине.

В течение 2000-2001 гг. сотрудники Славяно-Сарматской Археологической экспедиции Государственного Эрмитажа (М. Б. Шукин, О. В. Шаров) совместно с сотрудниками Горнокрымской археологической экспедиции КФ ИА НАНУ (В. Л. Мыц, А. В. Лысенко) провели археологические разведки в окрестностях с. Таракташ. Были осмотрены места находок монетных кладов, в том числе и третьего Таракташского клада, который находился в районе укрепленного поселения позднеримского времени, уже сильно потревоженного грабительскими раскопками. Итогом разведок стало обнаружение поселенческих комплексов на западном и южном склонах горного хребта Сары-Кая.

В 2002 году прямо под гребнем горы Таракташ Славяно-Сарматской экспедицией Государственного Эрмитажа было открыто и исследовано еще одно святилище римского времени, получившее название *Таракташ-II*. (Шукин, Шаров, Шувалов, Соколова, Гарбуз, 2002. С. 54-60; Шаров, 2009а). В одном метре к западу от основания гребня скалы, на крутом склоне, была сделана подрубка, и на образовавшейся прямоугольной площадке был заложен фундамент подпрямоугольного сооружения (Рис. 5). Хорошо сохранилась восточная стена, протянувшаяся вдоль скалы на 1.85 м и в высоту 0.7 м. Северная стена имела длину 0.8 м и высоту 0.6 м, южная стена сохранилась в длину 1 м и в высоту 0.6 м. Следов четвертой стены выявлено не было. В центре помещения находился алтарь высотой 0.5 м подтреугольной формы. На нем лежали фрагменты 6 краснолаковых мисок с загнутыми внутрь венчиками (Рис. 6, 1-2, 8-11). Между северной стеной и алтарем на полу были найдены фрагменты еще 10 краснолаковых сосудов, часть из которых можно отнести к понтийской сигилляте, к форме VI по Дж. Хейсу (Hayes, 1985. Tav. XXII; Шаров, 2007. Рис. 19) (Рис. 6, 5, 6). Часть сосудов является имитацией формы I и формы V понтийской сигилляты (Шаров, 2007. Рис. 41, 78) (Рис. 6, 14, 15). С уровня пола, вблизи алтаря, происходят фрагменты двух лепных курильниц на высоких ножках с выступами по краям резервуара. У основания алтаря найдены фрагменты трёх стеклянных сосудов, а между

южной стеной и алтарем зафиксировано скопление кальцинированных костей. Антропоморфные идо­лы лежали в одном метре к югу от южной стены святилища. Они были разбиты и сохранились лишь две личины (Рис. 7-5,6), там же лежали составные части маленьких лепных антропоморфных статуэток (руки и ноги) и части еще двух курильниц с подквадратными резервуарами. Перечисленные категории находок в целом аналогичны вещевому и керамическому комплексу Таракташ-I, но есть и некоторые отличия: часть курильниц и обе антропоморфные статуэтки, происходящие из святилища Таракташ-II, были выброшены за пределы святилища, в то время как антропоморфные идо­лы и курильницы с выступами по краю резервуара лежали внутри храма № 2 святилища Таракташ -I. В составе находок святилища Таракташ-II нет изделий из металла, бус и маленьких лепных сосудов. Эти типы вещей, нужно отметить, встречены только в кладке алтаря, скамей и в яме-жертвеннике, а не в заполнении храма № 1 святилища Таракташ-I.

В 2006 году Таракташской археологической экспедицией ИИМК РАН совместно со Славяно-Сарматской экспедицией Государственного Эрмитажа было открыто еще одно культовое сооружение на западном склоне горы Таракташ, которое получило название *Таракташ-III*. Оно было открыто на поселении римской эпохи, в центре второй террасы. Стены культового сооружения *Таракташ-III* находились прямо под стенами жилого помещения 1 постройки № 7 первой половины III в. н. э. (Шаров, Щукин, Палагута, 2007). В нем были найдены многочисленные краснолаковые и лепные сосуды, кости жертвенных животных, а на 16 уровне фиксации – две глиняные антропоморфные статуэтки (Рис. 7-7,8).

Также на поселении, на южном склоне горы Таракташ, была найдена в отдельном, вероятно, также культовом помещении, фигурка антропоморфного глиняного идола (далее: «ТРШ-IV») (Рис. 7-4).

Хронология культовых сооружений.

Культовое сооружение «Таракташ-I» (далее: КСТ-I). Материал святилища Таракташ-I, раскопанного в 1995 году Горно-Крымской экспедицией КФ ИА НАНУ под руководством В. Л. Мыца, говорит о периоде его длительного использования в течение середины I – конца IV – начала V века н. э. Найденный там материал можно разделить на три периода. Весь немногочисленный материал середины – второй половины I века н. э. происходит только с уровня строительства или из кладки фундамента алтаря, скамей или основания каменного фундамента храма № 1 святилища Таракташ-I. Слой функционирования постройки №1 говорит об

их очень незначительном использовании в течение второй половины II – первой половины III вв. н. э. Лишь на позднем этапе функционирования постройки № 1, в конце III–IV в. н. э., можно говорить о более активном использовании святилища Таракташ-I. Об этом свидетельствуют 270 краснолаковых сосудов, глиняные алтарики и курильницы. Среди краснолаковых сосудов представлены фрагменты двух тарелок, относящихся к поздней группе африканской сигилляты (группа «ARSW» по Д. Хейсу), которые свидетельствуют о том, что данное святилище использовалось вплоть до самого конца IV в. н. э. Эти фрагменты лежали поверх других краснолаковых сосудов и являются самыми поздними находками в святилище. Датирующие материалы, происходящие из постройки 2, говорят о ее одновременном использовании с постройкой 1 лишь на самом позднем этапе ее функционирования – в конце IV – начале V века н. э. Находки краснолаковых тарелок группы «ARSW» по Дж. Хейсу из верхнего слоя святилища Таракташ, скорее всего, фиксируют время оставления культового комплекса Таракташ-I, когда были разобраны деревянные конструкции, заложен вход и все помещение храма № 1 было забросано камнями (Мыц, Лысенко, 2001. С. 97, 100), а также осуществлена «ритуальная порча» антропоморфных идолов в храме № 2 святилища Таракташ-I.

Культовое сооружение «Таракташ-III» (далее: КСТ-III). Ранние материалы происходят также из культовой постройки Таракташ-III, зафиксированной при раскопках многослойного поселения римской эпохи Таракташ-I. В заполнении постройки было найдено 55 археологически целых краснолаковых сосудов, которые датируются первой половиной – серединой II века н. э. Из этой постройки происходят и два глиняных антропоморфных изваяния, найденных на 16 уровне фиксации, на уровне второго пола культовой постройки.

Культовое сооружение «Таракташ-II» (далее: КСТ-II). Представленный на святилище Таракташ-II керамический материал относится главным образом к первой половине III века, но отдельные типы сосудов, имитирующие форму V понтийской сигилляты по Дж. Хейсу (Рис. 8-15), могут относиться и к первой половине IV в. н. э. и имеют аналогии в керамике из погребений № 18, № 58 некрополя Дружное (Храпунов, 2002; Шаров, 2007. Рис. 41, 78). Также типы краснолаковых высоких мисок, напоминающих форму VI понтийской сигилляты по Дж. Хейсу, со слегка отогнутым наружу венчиком и двумя прорезными линиями на нем, не характерны для комплексов первой половины III века и морфологически напоминают керамику херсо-

несского производства IV в. н. э., выделенную С.В. Ушаковым (Ушаков, 2004. Рис. 1-2; Шаров, 2007. Рис. 27). Стекланные кубки на высоком поддоне (Мыц, Лысенко, 2001. Рис. 2, 25) также датируются в пределах второй половины IV в. н. э.

Таким образом, материал святилища Таракташ-II дает нам, при преобладании материалов первой половины III века, и отдельные находки, которые можно отнести ко второй половине IV в. н. э. Был ли перерыв между этими периодами или святилище Таракташ-II существовало в течение длительного времени, сказать пока трудно.

Попытаемся найти истоки происхождения лепных антропоморфных статуэток в римскую эпоху, т.е. проанализируем комплексы с находками антропоморфных идолов, которые относятся к узкому временному срезу I в. до н. э. – рубежу IV/V вв. н. э. (Шаров, 2013). Этот подход определен самим материалом культового комплекса Таракташ, так как в святилищах, отстоящих друг от друга на расстоянии не более 150-200 м и практически не пересекающихся во времени, зафиксированы различные по своей иконографии антропоморфные идолы.

Наиболее ранние и достаточно хорошо датированные находки антропоморфных глиняных лепных статуэток известны на памятниках меотов в Прикубанье – это находки из слоев Елизаветинского, Краснодарского, Подазовского, Роговского городищ, Воронежского городища №3, Пашковского городища №6 и т. д. Они происходят из слоев II/I вв. до н. э. – I/II вв. н. э. и изготовлены в самой примитивной манере (Емец, 2000. С. 18-19, Таб. IV).

С эпохи позднего эллинизма (конец II–I вв. до н. э.) до рубежа II–III вв. н. э. находки примитивных глиняных статуэток известны также и на памятниках «поздних» скифов нижнего Поднепровья и Крыма. Лепные статуэтки известны на городище Чайка, Гавриловском городище, на поселении Золотая Балка I в. до н. э. – I в. н. э., в жертвеннике одного из помещений Неаполя Скифского второй половины II – начала III вв. н. э. и в комплексах жилых помещений I в. н. э. городища Кара-Тобе (Шапцев, 2013. С. 309-311, Рис. 1).

Антропоморфные статуэтки известны и в культуре тавров горного Крыма, они происходят из материалов святилищ, но, к сожалению, датируются лишь в очень широких рамках: Ялтинском святилище I–IV вв. н. э., святилище «Гурзуфское седло» I–III вв. н. э.

В комплексах второй половины II – первой половины III века н. э. примитивные глиняные статуэтки были найдены на сельских поселениях и в

городах европейского Боспора (Кругликова, 1970; Емец, 2000. С. 18, Таб. I-II): Мысовке, Семеновке, Тасуново, Киммерике (Рис. 1-3), Илурате, Зеноновом Херсонесе.

Самые поздние находки морфологически близких антропоморфных статуэток, которые датируются в диапазоне III–VI вв. н. э., происходят из центральноазиатского региона (Кругликова, 1977. С. 87-89; Емец, 2000. С. 19-20). Это идолы из Дильберджина III в. н. э. (Рис. 7-9, 10), идолы, найденные на поселениях джетыасарской культуры IV–VI вв. н. э. (Рис. 7-1), идолы из святилища Кайрагач в Ошской долине IV–V вв. н. э. и т. д.

Таким образом, если исходить только из данных хронологии, то для самых ранних статуэток Таракташа первой половины – середины II в. н. э. («КСТ-III»), можно говорить об их возможной связи с более ранними антропоморфными позднескифскими и меотскими статуэтками. Для статуэток («КСТ-II») конца II – первой половины III в. н. э., исходя из хронологии комплексов, существует ряд аналогий, происходящих из региона европейского Боспора. Для наиболее поздних статуэток второй половины IV в. н. э., происходящих из «КСТ-I», возможны все пути их генезиса, включая Центральную Азию.

Иконография статуэток. Я полагаю, чтобы сравнивать антропоморфные статуэтки различных эпох и различных территорий, необходимо выделить основные морфологические признаки, по которым возможен сравнительный анализ:

1. Форма статуэтки: цилиндрическая, конусовидная.
2. Наличие/отсутствие головного убора.
3. Наличие, отсутствие рук.
4. Форма, положение рук.
5. Наличие, отсутствие ног.
6. Форма, положение ног.
7. Наличие или отсутствие половых признаков.
8. Форма лица: широколицый, среднелицкий, узколицкий.
9. Нос: защипом; вылеплен специально.
10. Форма носа: широкий уплощенный; средний прямой, средний горбатый, узкий прямой, узкий горбатый.
11. Глаза: вдавления за счет защипа, налепы, прочерчены, проткнуты.
12. Наличие, отсутствие рта.
13. Декор статуэток.

Кратко проанализируем наиболее ранние таракташские статуэтки из «КСТ-III» первой половины – середины II в. н. э. По большинству признаков – выделение головного убора, наличие рук, широкое лицо, налепы глаз, высокий прямой нос,

наличие рта, богатый декор фигур – они не могут сравниваться с более ранними или синхронными им примитивными меотскими и позднескифскими статуэтками, ввиду того, что все перечисленные выше признаки отсутствуют у последних. Таракташские статуэтки несут сугубо индивидуальный образ, который в более позднее время был известен лишь на территории европейского Боспора и Центральной Азии. Таракташские идола из «КСТ-II» и «ТРШ-IV» (Рис. 7-4-6) конца II – первой половины III в. н. э. обладают также сугубо индивидуальными признаками: головной убор, широколицость, высокий нос, глаза – которые указывают на ряд близких по морфологии и хронологии параллелей, происходящих из Дильберджина (Рис. 7-9,10). Антропоморфные статуэтки, происходящие из «КСТ-I» второй половины IV в. н. э., также обладают рядом индивидуальных признаков: головной убор, широкое лицо, широкий плоский нос, налепы глаз, руки. По ряду признаков (широколицость, плоский нос) параллели можно найти лишь среди находок из Киммерика (Рис. 7-3) и материалов джетыасарской культуры Приаралья IV-VI вв. н. э. (Левина, 1996. Рис. 168-2) (Рис. 7-1). Большинство из фигурок джетыасарской культуры выполнено весьма примитивно, черты лица обозначены защипами или налепами, руки часто подняты вверх, что нехарактерно для всех типов северопричерноморских статуэток, но некоторые из них очень индивидуальны по типу лица, форме глаз, носа, рта и передают местный этнический тип (Левина, 1996. Рис. 168).

На основании морфологического анализа можно сделать предварительный вывод о том, что все таракташские антропоморфные статуэтки имеют акцент, сделанный на личину. Подчеркнутая индивидуальность каждой личины антропоморфных статуэток говорит, по моему мнению, о неразрывной связи с культом предков, конкретным для каждой семьи, общины, рода. Статуэтки олицетворяли конкретных людей или персонажей. И при большом сходстве каждой из скульптур со всеми остальными каждая из них имеет свои индивидуальные, лишь ей присущие черты. Скульптуры передают не только портретное сходство с прототипом, но и физический тип населения Таракташа. Все статуэтки изображают широколицых людей с плоскими или высокими прямыми носами.

Таракташские статуэтки были найдены в культовых постройках, поэтому можно предварительно рассматривать культовые постройки с идолами с индивидуальными личинами как *родовые святилища, связанные с культом предков*. Святилища существовали практически на одном месте,

но в разное время, не пересекаясь между собой. Возможно, этим объясняется отсутствие единого канона в создании образа идола или же данное обстоятельство может объясняться приходом различного населения в разное время на склоны Таракташа. Остается открытым вопрос о генезисе ранних антропоморфных идолов, происходящих из «КСТ- III» первой половины – середины II в. н. э. Анализ иконографии антропоморфных фигурок, найденных на памятниках, относимых к культуре меотов и поздних скифов, показал отрицательный результат. Близкие по морфологическим признакам идола встречены в более позднее время на территории европейского Боспора и в Центральной Азии. Вероятно, прототипы ранних таракташских статуэток еще не открыты.

Обратимся к вопросу о функциональном назначении лепных антропоморфных статуэток.

И.Т. Кругликова полагает, что они воплощают образы Верховных божеств варварского населения (Кругликова, 1966; 1970. С. 108–110). Следует отметить, что подобным образом одно время было принято интерпретировать все аналогичные статуэтки, которые встречаются у различных народов в разные исторические эпохи (Чайльд, 1952. С. 96; Mellaart, 1965. P. 124). Позднее их стали определять более разнообразно, как изображения домашних божеств, семейных героев, апотропеи и т.п. (Массон, Сараниди, 1973).

Обратимся к обстоятельствам их находок. На поселении у дер. Семеновка три статуэтки находились в жилых помещениях возле очагов, одна – возле зернотерки, а еще две – вблизи амфор с зерном (Кругликова, 1970. С. 109). В Илурате две статуэтки были встречены внутри каменного прямоугольного алтаря, засыпанного золой (Шургая, 1975. С. 105). В Таракташе все находки антропоморфных статуэток связаны со специальными культовыми постройками, а не с хозяйственными или жилыми помещениями.

Можно предположить, что они имели различное смысловое назначение. Часть из них явно тяготеет к местам скопления золы или к очагам, что может указывать на их связь с культом домашнего очага, другие — присутствуют в местах хранения и переработки зерна, что, видимо, можно рассматривать как указание на их связь с культом плодородия, с символами воспроизводящей силы природы. Одним из них был и фаллический культ. Фаллос – символ производящей силы природы. И все образы, связанные с ним, имели целью обеспечить плодородие полей и благополучие природы. Атрибутами этого культа можно считать статуэтки и налепные изображения с подчеркнутыми признаками

пола. Вероятно, эти культы часто совмещались и были неразрывно связаны между собой. О связи с культом плодородия может говорить и рельефное изображение на сосуде, происходящем из комплекса первой половины III века поселения Таракташ-II и таракташские антропоморфные статуэтки с их вертикальной направленностью и нерасчлененностью объема. В то же время акцент, сделанный на личину, и подчеркнутая индивидуальность каждой личины антропоморфных статуэток говорит о неразрывной связи с культом предков, конкретным для каждой семьи и общины. Я думаю, что можно предварительно рассматривать культовые постройки Таракташ-I и Таракташ-II с идолами I типа как *родовые святилища, связанные именно с культом предков*. Отсюда их ярко выраженный индивидуализм.

Находки антропоморфных идолов в жилых постройках меотских и позднескифских городищ можно рассматривать иначе: в качестве семейных домашних божеств – апотропеев, призванных способствовать благополучию в семье и защите от злых сил.

Предварительные исторические выводы. КСТ-I возник около середины – второй половины I в. н. э. и существовал приблизительно до рубежа IV-V вв. н. э. Заложен памятник был, скорее всего, боспорскими военными поселенцами, размещенными на западном рубеже государства после римско-боспорского конфликта 49 г. н. э. Покинуто святилище было, видимо, вскоре после нашествия гуннов на рубеже IV-V вв. н. э. Этническую принадлежность этого населения однозначно определить сложно. Возможно, это были представители какого-то варварского племени, переместившиеся на Боспор из районов Центральной Азии.

КСТ-III возник в первой половине – середине II в. н. э. и просуществовал очень недолго. Оставлен памятник был также переселенцами с востока, вероятно, также прибывшими для охраны западных рубежей Боспора, но уже в более позднюю эпоху Котиса II-Римиталка-Тиберия Евпатора. Судя по всему, данное святилище существовало очень недолго, так как весь материал укладывается в рамки первой половины – середины II в. н. э. Речь идет, вероятно, о первой волне переселенцев с востока, появившихся в 30-50 гг. II в. н. э. на западных окраинах Боспора. С.Ю. Внуков пишет, что продвижение новых кочевников на запад в 40-х годах II в. имело большие политические последствия. Его результатом было разрушение Танаиса. При восстановлении города произошли серьезные изменения в организации городской общины и в ее этническом составе. По всей ви-

димости, новыми кочевниками были подчинены и нижнедонские сарматы. С ними связаны также слои разрушений на ряде крымских памятников и появление воинских кочевнических погребений в некоторых регионах (Внуков, 2007. С. 67). Мы также знаем, что на Боспоре в 131-133 годах вместе с бездетным Котисом II чеканит монеты его соправитель Римиталк, а с 155 года начинает править Тиберий Евпатор. Любопытно, что начало правления двух последних боспорских царей почти четко совпадает по хронологии с крупными выступлениями аланов в 134 г. (Римиталк утвержден Адрианом в 133 году) и сарматов в 155 году (Евпатор утвержден Антонином Пием в 154 году). Мы предполагаем, что это тонкий дипломатический ход римской политики, когда для упрочения буферного государства, прикрывающего римские владения в Крыму, призываются правители другой, иранской или «позднесарматской» династии. В таком случае многие изменения в погребальной обрядности, которые хорошо прослеживаются по материалам позднеримского некрополя Пантикапея (Шаров, 2009в. С. 229; Шаров, 2011) вполне объяснимы, и это как раз и свидетельствует дополнительно о появлении новой волны кочевников с востока.

Появление КСТ-II связано с теми же процессами – появлением волны кочевников с востока и началом позднесарматской эпохи. Представленный на святилище Таракташ-II керамический материал относится главным образом к концу II – первой половине III века, но отдельные типы сосудов, имитирующие форму V понтийской сигилляты по Дж. Хейсу, могут относиться и к IV в. н. э. (Ушаков, 2004. Рис. 1-2; Шаров, 2007. Рис. 27). Таким образом, материал святилища Таракташ-II дает нам, при явном преобладании материалов первой половины III века, и ряд находок, которые можно отнести к IV в. н. э. Был ли перерыв между этими периодами или святилище Таракташ-II существовало в течение столь длительного времени, сказать пока трудно.

Полученные при раскопках материалы указывают, по моему мнению, на достаточно перспективное направление поисков генетических корней отдельных сарматских племен, появившихся в Крыму в начале позднесарматской эпохи, – на регионы Приаралья и средней Сырдарьи. Материалы всех трех святилищ Таракташа указывают на некоторые центральноазиатские параллели: «широколицый» тип личин всех идолов, курильницы с квадратными основаниями и выступами по бокам резервуара на высоких ножках, подквадратные алтарики, лепная керамика с антропоморфными налечами на стенках (Рис. 8). Это выразилось также

в инокультурной строительной традиции: на крутых горных склонах вырубались террасы, которые укреплялись каменными стенами на известковом растворе. На террасах возводились саманные постройки на каменных фундаментах, сложенных из необработанных или слегка подтесанных камней на известковом растворе.

Проведенные исследования в значительной степени расширяют наши представления о духовной и материальной культуре сарматоаланского населения западных окраин Боспорского царства.

ЛИТЕРАТУРА

Внуков С.Ю. 2007. Время и политические последствия появления племен позднесарматской культуры в Причерноморье // РА. №3.

Джанов А.В., Юрочкин В.Ю. 2001. Новый Таракташский клад (предварительное сообщение) // 175 лет Керченскому Музею Древностей. Материалы международной конференции. Керчь.

Кругликова И.Т. 1966. О культе верховного женского божества на Боспоре в I—III вв. н. э. // КАМ. М.

Кругликова И.Т. 1970. Терракоты из сельских поселений европейской части Боспорского государства // ТСП. 4. II. М.

Кругликова И.Т. 1977. Идолы из Дильберджина // ИКАМ. М.

Левина Л.М. 1996. Этнокультурная история восточного Приаралья. I тысячелетие до н. э. – I тысячелетие н. э. М.

Массон В.М., Сарияниди В.И. 1973. Среднеазиатская терракота эпохи бронзы. Опыт классификации и интерпретации. М.

Мыц В.Л., Лысенко А.В. 2001. Позднеантичное святилище Таракташ в Крыму // Боспорский феномен: колонизация региона, формирование полисов, образование государства. Материалы международной научной конференции. Ч. 2. СПб.

Стивен А.Х. 1909. Таракташский клад // Известия Таврической Учёной Архивной Комиссии. № 43. Симферополь.

Ушаков С.В. 2004. Херсонесская сигиллята (к постановке проблемы) // Херсонесский сборник. Вып. XIII. Севастополь.

Харко Л.П. 1968. Монеты из Таракташского клада 1908 г. // Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Л.

Храпунов И.Н. 2002. Могильник Дружное (III-IV вв. нашей эры) // Monumenta Studia Gothica. Т. II. Люблин.

Фролова Н.А. 1983. Клады позднебоспорских монет как источник по истории Боспора III в. н. э. // Нумизматические Памятники Исторического Музея. Нумизматический Сборник. Ч. 8. М.

Чайльд В. 1952. У истоков европейской цивилизации. М.

Шапцев М.С. 2013. Лепные антропоморфные статуэтки рубежа эр из раскопок городища Кара-Тобе в северо-западном Крыму // Боспорский феномен: греки и варвары на евразийском перекрестке. СПб.

Шаров О.В. 2007. Керамический комплекс некрополя Чатыр-Даг. Хронология комплексов с римскими импортными. СПб.

Шаров О.В. 2009а. Святилище на склонах горы Таракташ в восточном Крыму // Боспорский феномен. Искусство на периферии античного мира. СПб.

Шаров О.В. 2009б. Боспор и варварский мир Центральной и Восточной Европы в позднеримскую эпоху (середина II – середина IV вв. н. э.). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. СПб.

Шаров О.В. 2011. К вопросу о «сарматской знати» на Боспоре в позднеримскую эпоху // Погребальный обряд ранних кочевников Евразии. Материалы VII Международной научной конференции, Ростов-на-Дону.

Шаров О.В. 2013. Антропоморфные глиняные статуэтки из раскопок культового комплекса Таракташ в восточном Крыму // Боспорский феномен: греки и варвары на евразийском перекрестке. СПб.

Шургая И.Г., 1975. Центральный район Илурата // КСИА. Вып. 143.

Щукин М.Б., Шаров О.В., Шувалов П.В., Соколова Л.А., Гарбуз И.А. 2002. Исследования поселения и святилища Таракташ 2 у с. Дачное Судакского района // Отчётная археологическая сессия за 2002 год. Государственный Эрмитаж. СПб.

Hayes, J.W. 1985. Sigillate Orientali // Ceramica Romana nel Bacino Mediterraneo. Enciclopedia dell'arte antica, classica e orientale. Rome.

Mellart J. 1965. Earliest Civilizations of the Near East. London.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АСГЭ	Археологический Сборник (Государственный Эрмитаж), Санкт-Петербург;
ГИМ	Государственный Исторический Музей, Москва;
ИА НАНУ	Институт Археологии Национальной Академии Наук Украины, Киев;
ИИМК РАН	Институт Истории Материальной Культуры Российской Академии Наук, Санкт-Петербург;
ИКАМ	Искусство и культура античного мира, Москва;
КАМ	Культура античного мира, Москва;
КСИА	Краткие Сообщения Института Археологии АН СССР, Москва;
РА	Российская археология, Москва;
СПбГУП	Санкт-Петербургский Государственный Университет Профсоюзов;
ТСП	Терракоты Северного Причерноморья, М.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СТЕКЛА I ТЫС. Н. Э.: ДАННЫЕ ИСТОЧНИКОВ И СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Одной из важнейших технологических инноваций, ознаменовавшей рубеж эр в Восточном Средиземноморье и римской Европе, является изобретение и последовавшее за ним широкое распространение стеклодувной техники. Оно оказало решающее влияние как на саму отрасль стеклоделательного производства – и с технической, и с экономической точки зрения, так и на материальную культуру населения античного мира. Бывшие ранее предметами роскоши, изделия из стекла становятся привычным атрибутом повседневной жизни населения Римской империи.

Большинством исследователей признается, что первыми выдувать стекло начали в мастерских восточного побережья Средиземного моря в середине I в. до н. э. (Israeli, 1991. P. 47). Начиная с I в. н. э., стекольные мастерские стали активно распространяться на территории Европы. Самые ранние из них, зафиксированные археологически, относятся к середине столетия (Лион, Франция; Аванш, Швейцария; Кельн, Германия; Таррагона, Испания). Находки более ранних ремесленных комплексов на сегодня не известны, однако свидетельства письменных источников позволяют предположить, что они могли появиться уже эпоху Августа. В этот период в Европе известны уже и первые находки выдувных сосудов – в первую очередь бальзамариев, хотя их доля еще очень скромна (Fou, Nenna, 2001. P. 76; Nenna, 2007. P. 132).

Одним из самых ранних свидетельств-предвестников применения стеклодувной техники считается находка, сделанная в центре Иудейского квартала Старого города в Иерусалиме. Здесь в археологическом контексте первой половины I в. до н. э. были обнаружены отходы стекольной мастерской, среди которых – миниатюрные сосудики, выдутые из стеклянных трубочек, один конец которых закрывался при помощи щипцов или тепловой обработки (Рис. 1). Это не было еще применением стеклодувной техники в полном смысле: сосудики изготовлены без использования стеклодувной трубки, изобретение которой привело к революции в ремесле. Однако данная находка позволяет заключить, что к мастерам-стеклоделам уже пришло понимание свойств стекла, сделавшее возможным изобретение техники дутья (Israeli, 1991. P. 47-53).

Изучая происхождение и распространение стекла в позднеантичное время, исследователи ори-

ентировались на модель организации, отличающую европейское стеклоделие эпохи развитого Средневековья. В это время мастерские работали на местном сырье, осуществляя полный цикл работ – начиная от варки стекла и заканчивая производством из него готовых изделий. Поэтому продукция различных производственных центров различается по химическому составу стекла. Исходя из этого, исследователи римского стекла, картографируя различные формы посуды, пытались увязать их морфологию с особенностями химического состава: сочетание этих признаков должно было отличать продукцию разных производственных центров. Однако на практике оказывалось, что римское стекло первых веков нашей эры имеет достаточно однородный химический состав, независимо от форм изделий (Freestone, 2005). Ключевыми для понимания особенностей организации стеклоделательного производства I тыс. н. э. явились открытия археологов 1990-х гг., послужившие существенным импульсом к изучению позднеантичного – раннесредневекового стеклоделия. Проблема происхождения стекла данного периода стала рассматриваться под иным углом зрения, а спектр методов его изучения был расширен. Исследования в данной области вышли на качественно новый уровень. Состоянию проблемы организации стеклоделия I тыс. и определения происхождения стекла на сегодня посвящена данная публикация.

Открытием, послужившим отправной точкой в новом этапе изучения позднеантичного – раннесредневекового стеклоделия, стали раскопки в Бет Элизере, недалеко от Хадеры (Израиль). Здесь был обнаружен комплекс из 17 стекловаренных печей VI-VII – начала VIII в., свидетельствующий о наличии здесь крупномасштабного стекловаренного производства. Печи с прямоугольным варочным бассейном больших размеров – 2 x 4 м, выложенным из сырцового кирпича, позволяли изготавливать за один цикл плиту стекла массой около 8-10 тонн (Рис. 2а). Всего же в мастерской за время ее существования могли быть изготовлены несколько сотен тонн стекла. Вероятно, производство функционировало здесь короткий промежуток времени, возможно, один сезон, пока горючие материалы в округе не были израсходованы (Gorin-Rosen, 1995. P. 43).

Целая плита стекла, подобная тем, что могли быть изготовлены в Бет Элизере, предположи-

тельно раннеисламского времени, была обнаружена ранее в Бет Шеариме в Израиле (Рис. 3); ее вес составил 8,8 т (Brill, 1967. P. 88–95). Ее изучение позволило установить несбалансированность химического состава стекла. Это обстоятельство, вероятно, и стало причиной того, что плита осталась невостребованной. Исследователи предположили, что находка явилась результатом неудачного эксперимента стеклоделов в процессе перехода от содового сырья к зольному, происходящему на Ближнем Востоке в период между концом VIII и X вв. н. э. (Freestone, Gorin-Rosen, 1999; Freestone et al., 2000. P. 70).

Реконструировать принцип работы подобных сооружений (Рис. 2б) и оценить масштабы продукции центра помогают этнографические параллели ванн стекловаренных печей, применение которых зафиксировано в Индии еще в середине 1990-х годов. Процесс варки стекла в подобных конструкциях может занимать до 30 дней, еще около 2 недель нужно для того, чтобы печь остыла. После этого она разбирается, а получившаяся стеклянная плита прямо в печи раскалывается на куски, имеющие размеры, пригодные для транспортировки (Sode, Kock, 2001. P. 158–163).

На территории Израиля стекловаренный комплекс с ванными печами изучен в Аполлонии (Арзуфе), в 17 км от Яффы; он датируется VI–VII вв. (Tal et al., 2004. P. 51–66). Недавно подобная мастерская первой половины I в. н. э. была зафиксирована также на территории Ливана, в Бейруте (Kowalti et al., 2006). Более поздний производственный центр X–XI вв. открыт также в Тире, там производилось стекло уже на зольном сырье. Обнаруженные здесь печи позволяли сварить за один производственный цикл от 13 до 37 тонн стекла. (Aldsworth et al., 2002. P. 51–66). Остатки ванн печей исламского времени (VIII–IX вв.) были зафиксированы и в Ракке в Сирии (Henderson, 2000. P. 81–83). Две зоны локализации стекловаренных мастерских изучаются в настоящее время и на территории Египта: три из них (Закик, Бир Хукер, Бени Салама) расположены в Вади Натруне, который является одновременно местом добычи природной соды, использовавшейся в качестве сырья в античном стеклоделии. Они датируются I–II вв. н. э. (Nenna et al., 2005; Nenna, 2007). На сегодня, наряду с последними находками из Бейрута, это самые ранние из известных ванн печей (Рис. 2в). Как предполагает раскопавшая их М.-Д. Ненна, появление ванн печей явилось результатом технологической революции начала эры, следовавшей следом за изобретением стеклодувной трубки. Объем производимых стеклянных изделий

резко вырос, возрос и спрос на сырцовое стекло (Nenna, 2008. P. 62; 2007. P. 127). Еще две мастерские позднеантичного времени (Мареа, Тапосирис Магна) были найдены недалеко от Александрии, в районе озера Мареотида (Nenna et al., 2000) (Рис. 4). Печи из некоторых мастерских Вади Натруна отличаются от левантийских по конструкции, предполагая отличия в технике изготовления стекла (Nenna et al., 2005. P. 60), однако они имеют аналогичное назначение. Их продукцией является стекло-сырец, служившее в дальнейшем сырьем для производства готовых изделий.

Высокая степень сходства левантийского стекла с тем, что происходит с территории Европы первых веков н. э., позволила ученым выдвинуть гипотезу: большая часть европейской продукции была произведена не на местном сырье, а на привозных полуфабрикатах, происходящих из сиропалестинского региона. В мастерских европейской части Римской империи они лишь разогревались до температуры, необходимой для производства готовых изделий. Подавляющее большинство печей, находимых в европейских мастерских, отличается от ванн стекловаренных по размерам и конструкции – это округлые в плане сооружения диаметром до 1–1,2 м (Рис. 5) (Amrein, 2001; Foy, Nenna, 2001. P. 40–60). Различается и характер отходов стекловаренных первичных и стеклообработывающих вторичных мастерских: из первых происходят лишь фрагменты конструкций печей и куски стекла-сырца, в то время как для вторых типичными находками являются обрезки нитей, колпачки, производственный брак и прочие признаки изготовления и декорирования посуды и др. изделий. Вторичные мастерские известны и на территории Египта и Леванта, что подтверждает гипотезу о разделении производственного цикла на два этапа, осуществлявшихся в разных мастерских. Данная практика была очень древней: существование торговли сырцовым стеклом на дальние расстояния фиксируется и по находкам затонувших кораблей, грузом которых оно служило. Наиболее ранняя из находок – судно, перевозившее необработанное стекло, датируется XIV в. до н. э. К римскому времени относятся 11 комплексов, происходящих с кораблей и из портовых зон в Средиземном море, содержащих сырцовое стекло или полностью из него состоящих. Наиболее яркой находкой является судно, обнаруженное у о. Лез Амбье (Франция) конца II – начала III в., содержавшее около 10–15 т сырца (Foy, Nenna, 2001. P. 100–112; Nenna, 2007. P. 130: Fig. 3; обзор на русском яз. см. Румянцева, 2011; Румянцева, Ольховский, в печати, там же ссылки на литературу).

Чем же могла быть обусловлена столь необычная система организации производства? Стеклоделие не случайно считается обособленной отраслью, которая не только требует специальной квалификации мастеров, знакомых с технологией варки и обработки стекла. Крайне важно было правильно подобрать пригодное сырье, число источников которого было ограничено. Примерно до середины IX в. н. э. в Европе и Восточном Средиземноморье было распространено стекло, для производства которого использовалось два основных компонента: песок и природная сода. Выбор источника песка для подобного стекла наиболее сложен. Если природная сода имеет относительно чистый состав (Freestone, 2005), то песок содержит определенный набор примесей, присутствие которых не могло напрямую контролироваться древними стеклоделами. Среди них – как необходимые для получения химически устойчивого соединения стабилизаторы кальция и магний, привносимые в стекло с раковинами моллюсков или известняками, так и вредные, избыток которых неблагоприятно отражался на свойствах стекла, затрудняя его обработку и придавая ему нежелательные оттенки, – алюминий, железо, титан (Fouy et al., 2003. P. 79). Мастера вынуждены были подбирать песок, подходящий для изготовления качественного стекла, эмпирически. Об особом значении этого подбора свидетельствует тот факт, что сведения о пригодном для стеклоделия сырье фигурируют в трудах античных авторов. В сочинениях Страбона, Плиния Старшего и Иосифа Флавия в этом качестве упоминается песок из устья реки Бел и с побережья между Акко и Тиром. Страбон говорит, что «годная для приготовления стекла земля» есть и в Египте, а в качестве центра изготовления стекла упоминает также Рим. Плиний Старший упоминает европейские регионы: песок, «приносимый рекой Италии Волтурно» с побережья Кампании между Кумами и Литерном, а также из Галлии и Испании (Страбон, География, XVI.2.25; Плиний Старший, Естественная история, 7.36.65-66, Иосиф Флавий, Иудейская война, 2.X.2). Стекловаренные центры, очевидно, располагались в большинстве случаев вблизи источников сырья, пригодного для изготовления стекла.

Экспериментальное исследование, проведенное недавно на современных песках побережья Испании, Франции и Италии, показало, сколь ограничены были источники сырья, пригодные для производства античного содового стекла. Из 178 изученных образцов лишь 13, происходящих с 6 береговых участков небольшой протяженности, могли быть использованы с этой целью (Рис. 6).

Один образец (Базиликата, ЮВ Италия) позволяет получить стекло, аналогичное типично римскому (в целом однородному по составу), на основе только песка и природной соды; на основе еще двух образцов (Апулия, ЮВ Италия, Тоскана, Западная Италия) получается стекло, отличающееся от римского лишь по содержанию одного из компонентов. Восемь образцов из Хуелвы (СЗ Испания), Мурсии (ЮВ Испания) и Прованса (ЮВ Франция) подходят, если в добавление к песку и природной соде ввести в шихту карбонат кальция (на основе трех получается «римское» стекло, на основе 5 – стекло, отличающееся от римского по концентрации одного из компонентов). Однако существование такой практики в античное время сомнительно. Среди песков из устья Волтурно, на побережье между Кумами и Литерном, упоминаемых Плинием Старшим, ни один из отобранных образцов не может быть сырьем для изготовления античного стекла. Более ранние исследования показали, что песок Волтурно можно использовать только после специальной обработки, полезный выход при этом не превышает 20% (Vrems et al., 2012, там же см. ссылки на литературу).

Изучение химического и изотопного состава позволяет выделить для содового стекла I тыс. н. э. ограниченное число групп, большинство из которых увязываются с определенными регионами производства. Критериями для их выделения стали соотношения элементов, содержащихся в песке и характеризующих, соответственно, разные его источники. Датировки групп получены на основе анализов стекла посуды определенных форм с разработанной хронологией; материалов датированных комплексов мастерских; исламских весовых гирек для монет. Среди этих групп:

- левантийская I, выделенная на основе стекла из мастерских сиро-палестинского региона IV-VII вв. (Freestone et al., 2000; Freestone, 2005);

- левантийская II, к которой относится продукция Бет Элизера. Стекло этой группы достаточно близко левантийской I, отличия между ними говорят, вероятно, о локальной смене источников песка. Стекло подобного состава датируется раннеисламским или, возможно, поздневизантийским временем (Freestone et al., 2000; Freestone, 2005);

- египетские I и II, выделенные на основе состава стекла исламских гирек для монет. Группа I объединила гирьки VIII в., группа II – конца VIII–IX вв. (Gratuze, 1988; Gratuze, Barrandon, 1990. P. 159). Стекло египетской I группы близко по составу серии, характеризующей продукцию Вади Натруна, который являлся одновременно местом

добычи природной соды, использовавшейся, судя по данным античных источников, для производства стекла (Sayre, Smith, 1974; Freestone et al., 2000). Стекло данной группы, однако, несколько отличается по составу от материалов, происходящих из стекловаренных мастерских первых веков н. э., изученных в данном регионе. Как и в случае с левантийским стеклом, данные различия могут быть обусловлены локальными сменами источников песка, используемого в разное время стеклоделами;

- 6 групп, выделенных для продукции мастерских Вади Натруна в Египте, I-II/III вв. н. э. (группы wna-wnc) (Nenna et al., 2005; Nenna, 2007);

- стекло из позднеантичных стекловаренных центров Северного Египта, расположенных недалеко от порта Александрии, на берегах озера Марейотида, также представляет собой особую группу, отличаясь от прочих египетских, перечисленных выше. Оно изготовлено на основе местного песка, имеющего свои специфические геохимические характеристики (Nenna et al., 2000. P. 103);

- группа "НИМТ", или стекло с высоким содержанием железа, магния и титана. Неоднородное по составу стекло "НИМТ" исследователи подразделяют на подгруппы по концентрации перечисленных элементов (Foy et al., 2003; Foster, Jackson, 2009). Стекловаренные центры, производящие подобное стекло, не известны, однако комплекс признаков, включающий особенности химического и изотопного состава, а также данные о зонах наибольшего распространения стекла "НИМТ" позволяют предположить, что оно происходит из Юго-Восточного Средиземноморья, возможно, из Северного Египта или с Синая (Foy et al., 2003; Freestone et al., 2005).

Происхождение двух групп стекла римского времени, получивших распространение в Европе в первые века нашей эры, остается предметом дискуссий.

В первую очередь это т.н. римское стекло, датирующееся I-III вв. н. э. и широко известное на территории Римской империи, в первую очередь западной ее части (Jackson et al., 1991; Nenna et al., 1997; Freestone, 2005, там же см. ссылки на литературу; Foster, Jackson, 2009 и многие другие). Гипотеза о его возможном левантийском происхождении была высказана исследователями на основе близости со стеклом из мастерской в Джаламе (Палестина). Предполагалось, что едва ли не большая часть европейских мастерских I-VII вв. н. э. работала на привозных полуфабрикатах стекла из Леванта, изготовленного на основе песка реки Бел и египетской природной соды (Nenna et al., 1997;

Foy et al., 2000; Picon, Vichy, 2003). Однако если сравнить «римское» стекло I-III вв. с более поздними палестинскими материалами левантийской I группы (IV-VII вв.), то становятся очевидны различия на уровне содержания оксидов кальция и алюминия – основных характеристик источника песка (Freestone et al., 2000. P. 73). Учитывая разницу в хронологии данных групп, исследователи не исключали вероятность локальной смены источника песка в конце III – начале IV в., аналогичной тому, что происходит позднее, на рубеже византийского и исламского периодов. Возможность того, что европейское стекло I-III вв. также имело левантийское происхождение, таким образом, не исключалась (Freestone et al., 2000. P. 73). Однако данные изотопного анализа – новейшего метода изучения происхождения стекла – позволяют лишь отчасти подтвердить эту гипотезу.

Одним из наиболее продуктивных методов определения происхождения стекла в последние годы является изучение изотопов неодима ^{143}Nd и ^{144}Nd , содержащегося в песке, из которого варилось стекло. Для разных регионов Средиземноморского бассейна ϵNd потенциального сырья стеклоделов может варьировать от -10,1 на западе (Гибралтар) до -3,3 на востоке (в устье Нила), достигая максимальных значений +4,6 у побережья Греции и Турции (Degryse, Schneider, 2008. P. 1994). Если принять, что стекловаренные центры располагались вблизи источников песка, то изотопы неодима позволяют определить возможный регион производства стекла.

Для понимания происхождения «римского» стекла важно, что значения ϵNd прибрежных осадочных отложений Юго-Восточного и Восточного Средиземноморья отличаются от тех, что характеризуют отложения Испании, Франции и в большинстве случаев Италии – регионов, упоминаемых древними авторами как источники песка, пригодного для стеклоделия. Это обусловлено особым влиянием Нила на отложения в прибрежной зоне Средиземного моря между дельтой Нила и г. Акко (Freestone et al., 2009. P. 32). Значение ϵNd у песков, происходящих из района залива Хайфы и р. Бел (Израиль), а также стекла из первичных мастерских данного региона, варьирует от -6 до -1,0, в то время как для большинства западносредиземноморских и североевропейских песков значение ϵNd ниже, чем -7 (Degryse, Shneider, 2008. P. 1997. Tabl. 2; Freestone et al., 2009. P. 37). В Европе они сопоставимы лишь со значениями, характеризующими материалы побережья Сицилии (-5,0-6,8) и образцы песка из района р. Волтурно (от -4,4 до -9,9). Среди последних,

однако, те два из них, что пригодны по составу для производства стекла, характеризуются более низким ϵNd , чем сиро-палестинские (-6,9 и -9,9). Среди же образцов «римского» стекла, происходящих с территории Юго-Западной Турции, Нидерландов, Словакии и Бельгии, встречены как те, значения ϵNd которых типичны для Восточного Средиземноморья (до -6), так имеющие более низкие значения (от -6,4 до -10,8). Эти данные дают возможность предположить, что близкое по составу «римское» стекло могло происходить одновременно из разных географических регионов – с сиро-палестинского побережья; из Западного Средиземноморья (Апеннинского полуострова, французского или испанского побережья) или Северо-Западной Европы ((Degryse, Schneider, 2008. P. 1998). Нельзя, правда, полностью исключить, что разница в значениях ϵNd обусловлена не только регионом производства, но и характером источников песка – изотопный анализ как метод изучения происхождения стекла начал активно применяться относительно недавно, и накопленная база данных еще очень мала (Freestone et al., 2009. P. 38). Однако разница между левантийским и европейским «римским» стеклом фиксируется и по изотопам кислорода (Leslie et al., 2006). Кроме того, если сопоставить изотопный и химический состав песка из района Сицилии – ЮВ Италии, по геохимическим характеристикам близкого сырья, использовавшемуся для изготовления античного стекла (см. выше), то данный регион представляется наиболее вероятным местом производства стекла в римской Европе (Vrems et al., 2012).

Синхронно с «римским» в Европе получает распространение стекло еще одной серии, отличающееся более низким содержанием кальция, алюминия и железа, а также содержащее иной тип обесцвечивателя – сурьму, а не марганец, как «римское» стекло (Thirion-Merle, Vichy, 2007. P. 267). Группа известна по материалам II–III вв. н. э. (табл. 1, 24-26), или, возможно, немного ранее (Foy et al., 2000. P. 80). Высказывалось предположение, что относящееся к ней стекло имеет ближневосточное происхождение (Pison, Vichy, 2003. P. 18). Впоследствии, однако, очень близкое по составу стекло было зафиксировано в стекловаренных центрах египетского Вади Натруна синхронного периода (группа wnc). Стекло группы wnc сильно отличается по составу от всех прочих материалов Вади Натруна; по соотношению элементов, характеризующих геохимию песка, оно не типично для данного региона. Исследователями даже ставился вопрос о возможном импорте сырья в Вади Натрун для производства

стекла подобного состава (Thirion-Merle, Vichy, 2007. P. 267).

Из перечисленных групп на европейской части Римской империи получили распространение следующие: «римское» (I–III вв. н. э.); синхронное ему стекло, обесцвеченное сурьмой; стекло левантийской I группы (IV–VII вв.); стекло «НМТ» (вторая треть/середина IV–VIII вв.) (Foy et al., 2003; Freestone, 2005; Foster, Jackson, 2009 и другие). Единичны находки из стекла левантийской II группы (Freestone et al., 2003. P. 23; Foy et al., 2003. P. 75, 76). Данными о массовом импорте стекла прочих групп, в первую очередь египетских, мы на сегодня не располагаем.

В связи с проблемой происхождения римского стекла первых веков н. э. необходимо упомянуть еще один письменный источник – эдикт Диоклетиана 301 г., фиксирующий максимальные цены на различные товары. В нем фигурирует 6 или 9 видов стекла, продающегося на вес. Считается, что речь идет именно о необработанном стекле-сырце, т.к. цена за либру указывалась в нем для сырья или полуфабрикатов. В эдикте, среди прочего, фигурируют стекло иудейское (зелено-голубое) и александрийское (бесцветное), причем последнее стоит почти в 2 раза дороже (соответственно 13 и 24 динария за либру) (Foy, Nenna, 2001. P. 116). Исследователи не исключают, что географические эпитеты могут указывать как на происхождение, так и на качество стекла. Однако в любом случае они подтверждают факт изначального существования двух регионов, где производилось или откуда поступало стекло (Nenna et al., 2005. P. 62; Nenna, 2007. P. 130). «Иудейское» стекло с восточного побережья Средиземного моря было, вероятно, хорошо известно жителям Империи. Сложнее соотнести с данными археологии «александрийское» стекло. Информации об экспорте продукции египетских стекловаренных центров за пределы Египта нет. Не ясна, правда, ситуация с группой wnc, стекло которой близко по составу распространенному в Европе в I/II–III вв.; происхождение последнего остается, однако, дискуссионным (Nenna et al., 2005. P. 62).

Данные комплекса источников – письменных, археологических, «археометрических» – позволяют реконструировать для рассматриваемого периода следующую модель производства. Стекло варилось в немногочисленных стеклоделательных центрах, снабжавших разветвленную сеть «вторичных» стеклообрабатывающих мастерских Римской империи, в которых из него производились готовые изделия – в первую очередь посуда и оконное стекло. Место производства стекла I–III вв. н. э. остается неизвестным. Оно могло проис-

ходить как из левантийских, так и из европейских производственных центров. Если данные письменных источников, итоги изучения состава стекла и результаты экспериментальных исследований говорят, скорее, в пользу существования крупных стекловаренных центров на территории Западной Европы, то прямых археологических свидетельств этого пока найти не удалось: европейские стекловаренные мастерские, вероятно, еще ждут своего исследователя. Прямоугольные печи размерами около 1 x 0,7-0,8 м, напоминающие левантийские и египетские конструкции, использовавшиеся для варки стекла, встречены в ряде европейских мастерских последней четверти I/II – IV вв., однако их назначение остается дискуссионным. Значительная их часть имела плохую сохранность или была неполно документирована в результате старых раскопок. Подобные конструкции зафиксированы в Аугсте (Швейцария), Кельне, Бонне, Гамбахе (Германия), Отене, Лионе, Бурже, Плодрене (недалеко от г. Ванн), Безансоне (Франция), Лондоне. В Отене, Безансоне и Гамбахе в печах этого типа зафиксированы остатки стекла, принадлежащего по составу хорошо известным на сегодня группам, в Бонне и Безансоне отсутствие следов стекла на дне и стенах конструкций позволяет предположить, что они использовались для отжига готовой продукции (Nenna, 2007. P. 135, 136). Соседство в одних и тех же мастерских одновременно круглых и прямоугольных печей со следами стекла позволили предположить, что они использовались для производства различных типов продукции, например, столовой посуды и архитектурного стекла (Nenna, 2008. P. 63).

В IV в. центры, снабжавшие полуфабрикатами стекла европейские вторичные мастерские, сменяются новыми: на смену «римскому» и синхронному ему стеклу с низким содержанием кальция, алюминия и железа приходит стекло левантийской I и «НИМТ» групп, поступавшее в Европу из Восточного и Юго-Восточного Средиземноморья. Причины и характер происходящих перемен – социальные, экономические, политические или технологические – остаются неясны (Freestone, 2005; Foster, Jackson, 2009 и др.). Как полагают исследователи, производители стекла последних двух групп были конкурентами, и большую часть рынка завоевало в итоге стекло «НИМТ». Изготовленное из песка более низкого качества, оно содержало больше соды и, очевидно, легче поддавалось обработке, требуя более низких температур. По этой же причине оно могло быть и дешевле. Не исключено также, что более популярным был его цвет с желтовато-оливковым оттенком, в противовес левантийско-

му зелено-голубому (Foy et al., 2003. P. 75; Foster, Jackson, 2009. P. 194, 195).

Представленная модель организации производства, реконструированная в ходе исследований последних 20 лет, является, очевидно, доминирующей для I тыс. н. э. Имеющиеся данные не позволяют полностью исключить возможность локального стекловарения, однако его масштабы, вероятно, были несопоставимы с объемом продукции крупных центров, которая распространялась интеррегионально, питая сеть вторичных мастерских Римской империи.

Итоги исследований, проведенных на материалах Восточного Средиземноморья и западной части Римской империи, позволяют иначе рассматривать свидетельства стеклоделательного производства, обнаруженные на территории Восточной Европы. Проведенное с учетом новых данных комплексное изучение материалов Северного Причерноморья и Среднего Поднестровья позволило установить следующее. Результаты анализов химического и изотопного состава стекла-сырца, происходящего из подводного раскопа Фанагории (Рис. 7, 1), говорят о том, что оно происходит из сиро-палестинского региона и, возможно, Юго-Восточного Средиземноморья. Это дает возможность предположить существование в Фанагории вторичных мастерских, работавших на привозных полуфабрикатах стекла. Данный результат важен для реконструкции экономических отношений античных городов Северного Причерноморья и Римской империи: стеклообрабатывающие центры азиатского Боспора, очевидно, были включены в единую средиземноморскую систему торговли полуфабрикатами стекла (Румянцева, Ольховский, в печати).

На привозном сырье работала и мастерская в Комарове – поселении черняховской культуры, расположенном на Среднем Днестре. На сегодня это – единственный стеклообрабатывающий комплекс римского времени, известный за пределами Римской империи. Происходящие из него материалы типичны для вторичной мастерской, одним из основных видов продукции которой была посуда, изготовляемая в технике выдувания: круглая печь (Рис. 7, 3), сложенная из кирпича, небольшие (до 7 см в наибольшем измерении) куски стекла-сырца, колпачки, стеклянные капли, нити и прочие отходы, а также уникальные формы для изготовления сосудов с рифленой поверхностью (Рис. 7, 2) (Румянцева, 2014). Анализ состава происходящего из мастерской сырцового стекла показал, что оно сварено на основе песка с разными геохимическими характеристиками, и

имеющего, следовательно, различное происхождение. По содержанию элементов, характеризующих источники сырья, значительная его часть достаточно близка, хотя и не идентична, стеклу «римской» и левантийской I групп. Выделяется также группа образцов сырца, обесцвеченного сурьмой, близкого по большинству признаков аналогичной европейской группе римского времени. Не исключено, что различия между материалами из Комарова и группами, известными по средиземноморским материалам, обусловлены использованием в производстве стеклообоя, выраженные признаки которого фиксируются по составу изученного стекла.

ЛИТЕРАТУРА

Румянцева О.С. 2011. Стеклоделательное производство в римское время и эпоху раннего средневековья: источники, факты, гипотезы // РА. № 3.

Румянцева О.С. 2014. Стекольная мастерская в Комарове: характер и особенности производственного комплекса // Черняхівська культура: до 120-річчя з дня народження В.П. Петрова / ОІУМ. Київ. №4.

Румянцева, Ольховский, в печати. Импорт стекла на Тамань в позднеимское время: первые результаты и проблема интерпретации // РА.

Aldsworth F., Haggarty G., Jennings S., Whitehouse D. 2002. Medieval glassmaking at Tyre, Lebanon // JGS. 44.

Amrein H., 2001. L'atelier de verriers d'Avenches: l'artisanat du verre au milieu du Ier siècle apres J.-C. // Cahiers d'archéologie romande. 87. Lausanne.

Brems D., Degryse P., Hasendoncks F., Gimeno D., Silvestri A., Vassilieva E., Luybaers S., Honings J. 2012. Western Mediterranean sand deposits as a raw material for Roman glass production // JAS. Vol. 39.

Brill R.H. 1967. A great glass slab from ancient Galilee // Archaeology. Vol. 20. № 2.

Degryse P., Schneider J. 2008. Pliny the Elder and Sr-Nd isotopes: tracing the provenance of raw materials for Roman glass production // JAS. Vol. 35. P. 1993-2000.

Foster H.E., Jackson C.M. 2009. The composition of "naturally coloured" late Roman vessel glass from Britain and the implications for models of glass production and supply // JAS. Vol. 36. P. 189-204.

Foy D., Vichy M., Picon M. 2000. Les matières premières du verre et la question des produits semi-finis. Antiquité et Moyen Age // Arts du feu et productions artisanales. XXe Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes (21-23 octobre 1999) ed. APDCA. Antibes.

Foy D., Nenna M.-D. 2001. Tout feu, tout sable. Mille ans de verre antique dans le Midi de la France. Aix-en-Provence.

Foy D., Picon M., Vichy M., Thirion-Merle V. 2003. Caractérisation des verres de la fin de l'Antiquité en Méditerranée occidentale: l'émergence de nouveaux

courants commerciaux // Échanges et commerce du verre dans le monde antique. Actes du colloque de l'AFAV. Aix-en-Provence et Marseille, 7-9 juin 2001 Montagnac.

Freestone, I. C. and Gorin-Rosen, Y. 1999. The Great Glass Slab at Bet She'arim, Israel: An Early Islamic Glassmaking Experiment? // JGS. Vol. 41.

Freestone I. C., Gorin-Rosen Y. and Hughes M. J. 2000. Composition of primary glass from Israel // La route du verre: Ateliers primaires et secondaires de verriers du second millinaire av. J.-C. au Moyen-Age Travaux de la Maison de l'Orient Méditerranéen. 33. Lyon.

Freestone I. C., Leslie K. A., Thirlwall M., Gorin-Rosen Y. 2003. Strontium isotopes in the investigation of early glass production: Byzantine and early Islamic glass from the Near East // Archaeometry. Vol. 45.

Freestone I. C. 2005. The Provenance of Ancient Glass through Compositional Analysis // Materials Issues in Art and Archaeology VII / ed. Pamela B. Vandiver, Jennifer L. Mass, Alison Murray. Materials Research Society Symposium Proceedings. 852. Warrendale.

Freestone I. C., Wolf S., Thirlwall M. 2005. The production of HIMT glass: Elemental and Isotopic evidence // Annales du 16e Congrès de l'AIHV.

Freestone I. C., Wolf S., Thirlwall M. 2009. Isotopic composition of glass from the Levant and south-eastern Mediterranean Region // Isotopes in Vitreous Materials. Leuven.

Gorin-Rosen J. 1995. Hadera, Bet Eli'ezer // Excavations and surveys in Izrael. Vol. 13.

Gratuze B. 1988. Analyse non destructive d'objets en verre par des methods nucléaires. Application à l'étude des estampilles et poids monétaires islamiques. Thèse d'Université, Orleans.

Gratuze B., Barrandon J.-N. 1990. Islamic glass weights and stamps: analysis using nuclear technics. Archaeometry. Vol. 32.

Henderson J. 2000. The science and archaeology of materials. An investigation of inorganic materials. London, New-York.

Israeli Y. 1991. The Invention of Blowing // Roman Glass: Two Centuries of Art and Invention. London.

Jackson C.M., Hunter J.R., Warren S.E., Cool H.E.M. 1991. The analysis of blue-green glass and glassy waste from two Romano-British glass working sites // Archaeometry'90 Basel.

Kowalti I., Curvers H.H., Sturt B., Sablerolles Y., Henderson J., Reynolds P. 2008. A pottery and glass production site in Beirut // Bulletin d'Archéologie et d'Architecture Libanaise. Vol. 10.

Leslie K.A., Freestone I.C., Lowry D., Thirlwall M. 2006. The provenance and technology of Near Eastern glass: Oxygen isotopes by laser fluorination as a complement to strontium // Archaeometry. Vol. 48.

Nenna M.-D., Picon M., Vichy M. 1997. L'atelier de verrier de Lyon et l'origine des verres "romains" // Revue d'archéométrie. Vol. 21.

Nenna M.-D., Picon M., Vichy M. 2000. Ateliers primaires et secondaires en Égypte à l'époque gréco-romaine // La route du verre : ateliers primaires et secondaires. Travaux de la Maison de l'Orient. Vol. 33. Lyon.

Nenna M.-D., Picon M., Thirion-Merle V., Vichy M. 2005. Ateliers primaires du Wadi Natrun : nouvelles découvertes // Annales du 16e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre (Londres, 2003). Nottingham.

Nenna M.-D. 2007. Production et commerce du verre à l'époque impériale: nouvelles découvertes et problématiques // Facta. № 1.

Nenna M.-D. 2008. Nouveaux acquis sur la production et le commerce du verre antique entre Orient et Occident // Amrein H., Deschler-Erb E., Deschler-Erb S., eds. Congrès International Crafts 2007: Artisanat et Société dans les provinces romaines (Zurich, 2007). Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunst geschichte. Vol. 65.1-2.

Picon M., Vichy M. 2003. D'Orient en Occident : l'origine du verre à l'époque romaine et durant le haut Moyen Âge // Échanges et commerce du verre dans le monde antique. Actes du colloque de l'AFAV, Aix-en-Provence et Marseille, 7-9 juin 200. Montagnac.

Sayre E.V., Smith R.W. 1974. Analytical studies of ancient Egyptian glass // Recent advances in the Science and Technology of Materials / A. Bishay, ed. Vol. 3. New York.

Sode T., Kock J. 2001. Traditional Raw Glass Production in Northern India: The final stage of an ancient technology // JGS. Vol. 43.

Tal O., Jackson-Tal R.E., Freestone I.C. 2004. New Evidence of the Production of Raw Glass at Late Byzantine Apollonia-Arsuf, Izrael // JGS. Vol. 46.

Thirion-Merle V., Vichy M. 2007. Annexe: Note sur la composition chimique des verres de l'épave des Embiez // Fontaine S., Foy D. L'épave Ouest-Embiez 1, Var, le commerce maritime du verre brut et manufacturé en Méditerranée occidentale dans l'Antiquité // Revue archéologique de la Narbonnaise. Vol. 40.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

PA	Российская археология, Москва;
JGS	Journal of Glass Studies, Corning NY;
AFAV	Association Française pour l'Archéologie du Verre;
AIHV	Association Internationale pour l'Histoire du Verre;
JAS	Journal of Archaeological Science.

Зиливинкая Э.Д. (ИАЭ РАН)

ХРИСТИАНСКИЕ ХРАМЫ КРЫМА ПЕРИОДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Золотую Орду принято воспринимать как мусульманское государство, в то же время современники всегда отмечали веротерпимость монголов. Будучи изначально язычниками или, скорее шаманистами, монголы не отдавали предпочтения ни одной из мировых религий. Такая же ситуация наблюдалась и в Улусе Джучи в ранний период. Здесь мирно сосуществовали буддизм, различные ветви христианства (несторианство, православие, католицизм) и ислам. Ханы Золотой Орды до Узбека были приверженцами разных религий: Бату, Менгу-Тимур, Токта исповедовали традиционное тенгрианство, Сартак был христианином, скорее всего, несторианином, Берке, Туда-Менгу – мусульманами. Золотоордынские правители оказывали покровительство православной церкви, и духовенство было полностью освобождено от всех видов дани. В 1261 г., при мусульманине Берке, была учреждена православная епископия. Православная церковь должна была обеспечивать духовные потребности достаточно многочисленного русского населения Золотой Орды, а также влиять на политические отношения, с одной стороны, между ханской властью

и русскими князьями, а с другой стороны – между Ордой и Византией. После провозглашения ислама государственной религией при Узбеке христианская церковь не утратила своих привилегий.

Достаточно активными были и попытки распространения католичества в Золотой Орде. Они осуществлялись через многочисленных миссионеров, наиболее известными из которых являются Плано Карпини, Гильем Рубрук, Бенедикт Поляк и Юлиан, оставившие интереснейшие записки. В 1315 г. в Сарае было учреждено католическое епископство. Религиозной ситуации в Золотой Орде посвящены многочисленные исследования (Полубояринова, 1978. С. 22-34; Федоров-Давыдов, 1998. С. 28-39; Малов, Мальшев, Ракушин, 1998; Белозеров, 2000; Васильев, 2007; История..., 2009. С. 381-383; Крамаровский, 2009 и др.), поэтому не имеет смысла останавливаться на ней подробно.

Как следствие распространения христианства в Золотой Орде, в ее городах должны были строиться христианские храмы. На присутствие в золотоордынских городах христианского населения указывают достаточно частые находки крестов и

иконок (Полубояринова, 1978). Культовые церковные вещи, такие как фрагменты хоросов, косвенно свидетельствуют о наличии храмовых построек, но сами эти постройки в золотоордынских городах центральной части государства (Дешт-и-Кипчак) пока почти не исследованы. Тем не менее, на территории Золотой Орды, в регионах с традиционно оседлым населением, имеются христианские церкви золотоордынского периода.

Территорией Золотой Орды, на которой христианство имело наиболее длительные традиции, являлся Крымский полуостров. На протяжении многих веков Крым полностью или частично находился в сфере влияния сначала Римской империи, а затем – Византии. Первые христианские миссионеры появляются в Крыму при императоре Диоклетиане в самом начале IV в., а в 325 г. здесь была создана особая Херсонская епархия. В IV в. возникает христианская община на Боспоре, где проживали потомки пленных христиан, выведенных из Малой Азии во время готских походов (Якобсон, 1964а. С. 12). В V-VI вв. в результате политики пропаганды и насаждения христианства Византией в Крыму начинается массовое строительство храмов в виде базилик. Базилики строились не только в крупных городах, но и в поселениях. Остатки их обнаружены в Доросе, Эски-Кермене, на Чуфут-Кале, в Партенитах, Тиритаке. Крупным политическим и религиозным центром того времени был Херсонес, на территории которого открыто десять базилик V-VI вв. (Якобсон, 1959. С. 152-297). Исследователи подчеркивают однотипность этих построек, которая должна свидетельствовать о том, что строительство их осуществлялось по указанию и под руководством центральной власти (Якобсон, 1959. С. 30). Кроме базилик в Херсонесе строились крестообразные поминальные храмы и центрические крещальни (баптистерии). А.Л. Якобсон подчеркивает, что в архитектурном плане все эти храмы не находят прямых аналогий в центре Византийской империи, то есть в Константинополе. Их архитектурные формы почерпнуты на Византийском Востоке, прежде всего в Малой Азии (Якобсон, 1959. С. 30, 186, 207, 212; 1964а. С. 24).

Религиозно-политический кризис VIII-IX вв. в Византии, известный как иконоборчество, нашел свое отражение и в Крыму. В результате уничтожения монастырей огромная масса монахов была вынуждена бежать из центральной Византии. Эта эмиграция шла в нескольких направлениях – на юг Италии, в Малую Азию, Сирию, Палестину и Северное Причерноморье, прежде всего в Крым. Увеличение численности христианского населения привело к возникновению новых епархий. Наряду с уже существовавшими Херсонесской и Боспор-

ской епархиями появляются Готская и Сугдейская (Якобсон, 1964а. С. 33-34).

В IX-X вв. в строительстве христианских храмов происходит смена традиций: на смену базилике приходит здание крестово-купольного плана. Самым ранним памятником переходного типа является Храм Иоанна Предтечи в Керчи, возведенный в VIII в. (Якобсон, 1964а. С. 53).

XI – начало XIII в. характеризуются в Крыму периодом феодальной раздробленности. Здесь существуют несколько феодальных княжеств. В это время происходит и усиление церковной организации, и Крымские епархии (кроме Фулльской) превращаются в метрополии, подчиненные непосредственно константинопольскому патриарху. Метрополии соответствуют княжествам. На западе – это Херсонесская, к северу от нее – Готская и Фулльская, а на востоке – Сугдейская и Боспорская (Якобсон, 1964а. С. 82).

Вторжение монголов в Восточную Европу и возникновение улуса Джучи в XIII в. мало повлияло на жизнь крымских городов. Формально Крым входил в состав Золотой Орды, но монголы занимали только его степную часть. Города горного Крыма и побережья находились в номинальной зависимости от монголов, и их правители выплачивали монголам дань (Егоров, 1985. С. 29, 46). В XIII в. в Крыму появляются итальянцы. В 60-е гг. генуэзцы основали в Каффе торговую факторию, несколько позже в Солдае обосновались венецианцы. Победив в шестилетней войне, генуэзцы вытеснили венецианцев из Крыма. В 1365 г. они захватили Солдаю и посадили там свою администрацию, подчиненную Каффе. В XIV в. Крым продолжает считаться одним из улусов Золотой Орды, но фактически здесь существует только один золотоордынский город – Солхат или Крым. Южный берег занят генуэзскими городами-колониями, подчиняющимися администрации Каффы. В 1380-1381 гг. между представителями генуэзской и золотоордынской администраций были заключены договоры, по которым территории Южного берега Крыма перешли под власть Генуи. Однако вскоре, в 1385-1386 гг., ордынские аристократы попытались вернуть власть над этими территориями. Разразился вооруженный конфликт, названный Солхатской войной, который закончился заключением нового договора, закреплявшего права Генуи (Бочаров, 2004. С. 187). В западной части полуострова также существует автономное княжество Феодоро со столицей на горе Мангуп (Егоров, 1985. С. 56; Мыщ, 2009).

Значительную часть населения Крыма в XIII-XIV вв. составляют христиане – греки, армяне и итальянцы. В золотоордынское время здесь про-

должают существовать православные митрополии, подчиненные Константинополю. Также возникают церковные и миссионерские католические организации. В 1286-1287 гг. была учреждена Северная Татарская Викария Францисканского ордена, которая делилась на две кустодии (округа). Кустодия Газария включала в себя Крым, Подунавье и Приднепровье. Центром ее являлась Каффа (Мальшев, 2006. С. 183). В XI в. Крым начинают заселять армяне. Массовая эмиграция их связана с нашествием сельджуков, а также с захватом страны Византией. Следующие волны миграций приходится на XIII-XIV вв. В это время Армения страдает от монгольских завоеваний и дальнейшего захвата страны персами и туркменскими племенами. В результате в Крыму возникают многочисленные армянские колонии (Микаэлян, 2004; Яковсон, 1956. С. 166-169). Таким образом, в золотоордынское время в Крыму проживали христиане, относящиеся к трем церквям – восточной (православной), западной (католической) и армяно-григорианской. У каждой церкви были свои храмы, и хотя эти здания имеют мало отношения к собственно золотоордынской архитектуре, так как построены в городах, обладающих достаточной автономией, без них взгляд на культуру Золотой Орды был бы не полон.

Собрать и проанализировать архитектурные особенности всех христианских храмов Крыма золотоордынского периода в рамках данного исследования вряд ли возможно. Тому имеется несколько причин. Прежде всего, этих построек очень много, степень исследованности их различна, далеко не все они подробно напечатаны, публикации разбросаны по различным сборникам, и в настоящее время нет ни одной обобщающей работы по этой теме. Кроме того, у многих памятников часто нет четких датировок; различные исследователи по-разному оценивают время их возведения, что также усложняет задачу. Тем не менее, даже такой неполный обзор может дать представление о тенденциях развития христианского культового зодчества Крыма времени Золотой Орды.

В золотоордынское время большее значение приобретают города юго-восточного Крыма. Тем не менее, строительство, в том числе и культовых зданий продолжается и в **Херсонесе**. Здесь исследовано четыре церкви, которые можно датировать концом XIII в. (Яковсон, 1950а. С. 237-248; 1964а. С. 96-98). Две из них имели крестово-купольную композицию со свободно стоящими устоями. Храм № 21 (Рис. 1.1) имел размеры 11,4 x 6,5 м. В западной части находился узкий нартекс, который был отделен от наоса стенками и соединялся с ним узким проходом. К центральному квадрату здания

примыкают три граненые абсиды. Соединение с центральной абсидой оформлено в виде трех уступов, переходивших выше в перспективно сокращающиеся арки. Купол опирался на четыре крещатых столба. Стены центральной части имеют не только внутренние членения (опорные пилоны напротив столбов), но и внешние – пилястры трехступенчатого профиля. Таким образом, создается система архитектурного скелета, состоящая из 16 опорных столбов сложного профиля, поддерживающих купол и сводчатые перекрытия. Пространство между столбами во внешних стенах заполнено стенками небольшой толщины. Такая конструкция стен в сочетании с гранеными абсидами и ступенчатым переходом к ним, по мнению А.Л. Яковсона, характерна для столичной константинопольской школы и зодчества Болгарии и Сербии XIII-XIV вв., но не встречается в греческих провинциях (Яковсон, 1950а. С. 238; 1964. С. 97).

Аналогичную структуру имела церковь № 6 в Херсонесе (Рис. 1.3). Это тоже небольшое крестово-купольное здание размерами 10 x 6 м. Нартекс отделялся не стенами, а двумя колоннами. Церковь имела подземную усыпальницу. Стены построек сложены из бутового камня, подтесанного с лицевой стороны, и облицованы гладко отесанными каменными плитами. Такая кладка с облицовкой совершенно не характерна для Византии и Балканских стран, зато, начиная с XII в., повсеместно применяется в Закавказье и Малой Азии (Яковсон, 1964а. С. 97). Как видим, в постройках Херсонеса сочетаются архитектурно-конструктивные решения константинопольской школы с закавказско-малоазийской строительной техникой.

К XIII в. относятся и две небольшие часовни в Херсонесе. Оба здания прямоугольные в плане с апсидой в восточной части. Одна часовня, расположенная возле башни Зинова, почти полностью разрушена. Сохранился только угол постройки и часть пятигранной апсиды, каждая грань которой украшена неглубокой филенкой (Рис. 1.4). Стены из бута были облицованы тщательно пригнанными отесанными плитами. Внутри стены покрыты штукатуркой с фресковыми росписями. Часовня возле «восточной» базилики была прямоугольной в плане размерами 9,2 x 6,4 м с одной сильно выступающей апсидой (Рис. 1.2). Апсида соединялась с основным помещением при помощи двух уступов, переходивших в верхней части в арки. Пол был вымощен мраморными плитами, стены внутри оштукатурены, а снаружи покрыты облицовочными плитами.

Крестово-купольные храмы Херсонеса стилистически близки к храму Троицы в **селе Лака** возле Бахчисарая (Яковсон, 1950а. С. 248-252; 1964а.

С. 98). Эта постройка датируется концом XIII – началом XIV в. по датам на надгробиях. Небольшое (6,5 x 6,4 м) квадратное в плане здание внутри имеет четыре свободно стоящие восьмигранные колонны, поддерживавшие купол (Рис. 1. 5). Ветви креста были, скорее всего, перекрыты цилиндрическими сводами, а пониженные угловые помещения – плоскими сферическими. С восточной стороны к основному объему здания примыкают три апсиды. Средняя имеет пятигранную форму, а боковые – полукруглые в плане. Грани средней апсиды имеют филанчатые углубления. Стены здания внутри и снаружи расчленены выступающими пилястрами прямоугольного сечения, которые как бы образуют столбовой каркас стен. Техника кладки храма в Лаках аналогична херсонесским церквям: здесь также применена облицовка стен плитами. Анализ планировочных особенностей и строительной техники позволяет связать храм в Лаках с херсонесскими крестово-купольными церквями, построенными в византийских традициях с сильным влиянием зодчества Малой Азии.

На Гераклейском полуострове, на мысе Виноградный, расположен монастырь, в котором имеются пещерная и наземная церкви. Небольшой одноапсидный храм был открыт в 1896 г. К.К. Косцюшко-Валюжиничем. Современные исследования позволили датировать монастырский комплекс XIII-XIV вв. (Яшаева, 1994. С. 250).

Восточнее Херсона, на берегу Балаклавской бухты, находится селение **Чембало**, возникшее во второй половине XIII – начале XIV в. (Дьячков, 2004. С. 246). В 40-50 гг. XIV в. здесь была возведена крепость, в которой находилась резиденция генуэзского консула (Джанов, Майко, Фарбей., 2009. С. 151-152). В пределах крепости исследовано несколько христианских храмов. Небольшая зальная церковь расположена в северо-западной части крепости на искусственной террасе. Ее внешние размеры составляют 7,7 x 4,3 м, внутренние – 6,5 x 2,8 м. Стены ее сложены из грубо обработанных камней. Здание имеет сильно выступающую полукруглую апсиду с четко выраженными плечами. Вход в помещение храма находится в центре западной стены, к южной стене изнутри примыкает каменная скамья. Датируется храм первыми десятилетиями XIV в. (Адаксина, Мыщ, Ушаков, 2010. С. 46-60).

К более позднему времени относится так называемая «консульская церковь», которая является частью комплекса сооружений консульского замка. Это постройка зального типа представляет собой прямоугольное в плане здание с выступающей апсидой (Рис. 1.9,11). Внутренние размеры храма составляют 11,5 x 6,1 м. Два пилон делят прямоугольный

объем здания на притвор и наос. Стены сложены из грубо отесанного камня на известковом растворе, фасады стен изнутри и снаружи были оштукатурены. Интерьер украшали фресковые росписи. К северо-восточной стене здания снаружи примыкали два помещения – предположительно дарохранительница и костница (Дьячков, 2004. 247-251).

На южном берегу Крыма, недалеко от **Ореанды**, исследован небольшой однокамерный храм XIII-XIV вв. (Паршина, 1968. С. 65-70). Здание состояло из прямоугольного в плане помещения с апсидой с северо-северо-восточной стороны (Рис. 1.6). Внутренние размеры храма: ширина – 2 м, длина – 4,5 м без апсиды и 4,9 м с апсидой. Диаметр апсиды – 1,3 м. Дверной проем шириной 75 см находился в южной стене храма. Стены постройки сложены из известняка и песчаника на известковом растворе, пол выложен плитами. Храм был перекрыт цилиндрическим сводом, сложенным из туфовых камней клинчатой формы. Крыша была черепичной. Вокруг постройки находились погребения, одна могила была внутри помещения храма.

Горный массив **Аю-Даг** также чрезвычайно богат археологическими памятниками (Лысенко, Тесленко, 2002. С. 59-89). Среди средневековых памятников значительное место занимают монастырские комплексы с храмами и отдельно стоящие церкви. Небольшой одноапсидный храм исследован в пределах поселения на северо-восточном «плече» Аю-дага (Рис. 1.7). Длина постройки 7,4 м, ширина – 3,8 м. Апсида внутри и снаружи полукруглая, выступает за линию стены на 1 м. Ширина плеч апсиды – 0,7 и 0,6 м. Внутри по углам сохранились остатки пилястр, служивших основаниями подпружных арок. Вход в здание находился в западной части южной стены постройки. Стены сложены из необработанных камней на известковом растворе панцирной кладкой, пол церкви земляной.

Одноапсидная часовня находится в пределах укрепленного поселения в том же районе массива. Размеры основной части здания 6,0 x 3,3. Апсида снаружи и внутри полукруглая, выступает на 1 м за линию стен. Вход расположен в западной части южной стены. Стены постройки сложены из местного камня на известковом растворе, перекрытие было сводчатым, сложенным из туфовых блоков. Оба храма датируются XIV в. (Лысенко, Тесленко, 2002. С. 79-80). В пределах Аю-Дага известно еще пять малых одноапсидных храмов, которые не имеют точной датировки, но, по мнению исследователей, по внешним характеристикам соответствуют постройкам XIV в. (Лысенко, Тесленко, 2002. С. 69).

Два храма конца XIV – начала XV в. исследованы на склонах горы **Ай-Тодор** (Тесленко, Лысенко,

2004. С. 261-277). Первый храм находился на юго-восточном склоне одного из юго-восточных отрогов горы. Он представлял собой прямоугольную в плане постройку с апсидой, ориентированной на юго-восток (Рис. 1.8). Ширина здания – 4,25-4,5 м, длина – 7,25 м. Стены сложены панцирной кладкой из бута на известковом растворе с заполнением внутреннего пространства мелкими камнями. Полукруглая внутри и снаружи апсида выступает за линию стен на 1,7 м. Ширина плеч около 50 см. Вход находился в торцевой юго-западной стене. Крыша здания предположительно была деревянной. Храм был построен на кладбище и, по предположению исследователей, мог являться мемориальным сооружением, в котором похоронен один из священников (Тесленко, Лысенко, 2004. С. 262). На северном склоне горы Ай-Тодор раскопано основание одноапсидного храма, ориентированного алтарем на северо-восток. Размеры его – 4,5 x 6,9 м. Стены сложены из диабазовых глыб на известковом растворе. Притвор храма находился с южной стороны, вход – возле юго-западного угла. Вокруг храма находились могилы.

Для Сугдеи золотоордынский период был тяжелым. В конце XIII – начале XIV в. город неоднократно захватывался монголами. В 1322 г., во время правления Узбека, здесь начались гонения на христиан, которые имели, скорее всего, политическую подоплеку. В это время были разрушены многие христианские храмы Сугдеи и разобраны крепостные стены (Джанов, Майко, Фарбей, 2009. С. 106-113). Тем не менее, некоторые церковные постройки возводились и в это время. В западном секторе портовой части Сугдеи исследован одноапсидный храм размерами 7,8 x 6,7 м. Стены его сложены из бута. Вход в помещение находился в западной стене. Вдоль северной стены была сделана лестница. Вокруг храма и внутри него находились захоронения. Постройка датируется предположительно XIII-XV вв. В восточном секторе портовой части найдена сильно разрушенная церковь такого же плана. В одном из погребений, сопутствующих храму, находилась монета первой половины XIV в. (Джанов, Майко, Фарбей, 2004. С. 87).

Недалеко от Судакской крепости, на одном из южных отрогов горы Перчем, расположен монастырь XIV-XV вв. Центром его является зальный храм, сложенный из песчаниковых камней на глиняном растворе, что предполагает наличие стропильного перекрытия. Пол храма был выложен плиткой, а алтарная часть оштукатурена и расписана (Джанов, Майко, Фарбей, 2004. С. 89).

Воспользовавшись смутой 60-80-х гг. в Золотой Орде, генуэзцы присоединяют Сугдею к сво-

им владениям, строят крепость, получившую название Солдайя, восстанавливают старые храмы и строят новые. В генуэзский период, в 60-е или 70-е гг., внутри крепости на крутом склоне возводится двухапсидный «Храм на консолях» (Джанов, Майко, Фарбей, 2004. С. 86; Кирилко, 2012. С. 193). Храм представляет собой прямоугольное в плане здание с двумя полукруглыми апсидами разной величины (Рис. 1.10, 12). Северная апсида его, нависавшая над склоном, снаружи поддерживалась кронштейнами, что и дало храму его название. Размеры его 7,4 x 4,2 м. Вход расположен по центру западной стены, в северной стене сделано узкое окно. Пол храма выстлан каменными плитами, стенки апсид были оштукатурены и, вероятно, расписаны (Кирилко, 2012. С. 191-194).

Важнейшим политическим и административным центром Крыма золотоордынского времени являлась **Каффа** – крупнейший город и порт в Крыму, центр транзитной торговли между Востоком и Западом. Главенствующую роль в этой торговле играли генуэзцы, которые основали в Каффе торговую факторию еще в 60-х гг. XIII в. В течение XIV в. они окончательно вытеснили из Крыма греческих купцов и венецианцев, базировавшихся до этого в Солдайе. Постепенно под властью генуэзской администрации оказалась большая часть городов, расположенных на побережье (Бочаров, 2004).

Ибн Баттута, посетивший Каффу в 1334 г., пишет о том, что «это большой город, который тянется вдоль берега морского», в котором есть «прекрасные базары». Также путешественник и его спутники «увидели чудную гавань: в ней (было) до 200 судов военных и грузовых, малых и больших. Это одна из известных гаваней мира», – отмечает автор. О населении Каффы Ибн Баттута говорит, что город «населяют христиане, большая часть которых генуэзцы» (Тизенгаузен, 1884. С. 280). В уставе Каффы 1449 г. упоминаются греки, армяне, евреи, русские купцы и ремесленники. Также было некоторое количество валахов, поляков, грузин, черкесов, мингрельцев (Якобсон, 1964а. С. 110).

Так как большая часть этого разноплеменного населения исповедовала христианство, в Каффе существовало большое количество различных храмов. Большинство из них были католическими. Список латинских храмов приведен в регистрах Массарии Каффы 1381 и 1386 гг. Это две церкви, посвященные Деве Марии (Святой Марии у базара и Успения Девы Марии), два храма Св. Доминика, храм и часовня Св. Георгия, церкви Св. Лаврентия, Св. Анны флагеллантов, Св. Николая, Св. Катерины, Св. Даниила, Св. Антония, Св. Креста, Св. Иерихона, Св. Ангела, Св. Св. Лазаря, Св. Симона,

Св. Кириака, Св. Христа. За пределами города упоминаются церкви Св. Михаила, Св. Франциска, Св. Иоанна (Айбабина, 2001. С. 59).

В Уставе Каффы 1449 г. упоминаются 17 римско-католических церквей, кроме дворцовой. Кроме перечисленных там приводятся названия храмов Св. Агнессы, Св. Марии Магдалины, Св. Иакова, Св. Клары и Св. Марии de Cogonato (Устав..., 1863. С. 704-706). До 1318 г. Каффа принадлежала Пекинской епархии, а после этого года была сделана папой Иоанном XI столицей особой епархии, простиравшейся от г. Верое в Болгарии до Сарая и от Черного моря до русских пределов. Этим же папой церковь св. Агнессы в Каффе переименована в кафедральную. В источниках отмечается, что кафедральная церковь отличалась особым богатством и великолепием благодаря сбору с моряков и подношениям частных лиц. Также известны греческие и даже русские церкви. В городе находился греческий монастырь св. Георгия, а под городом – монастырь св. Петра. Армяне, жившие в Каффе еще до появления генуэзцев имели своего епископа, а в армянском квартале было три церкви (Устав..., 1863. С. 827). Неудивительно, что Ибн Баттута и его спутники, находясь на молитве в мечети Каффы, «услышали со всех сторон звуки колоколов». Эти неслыханные доселе звуки сильно напугали мусульманского паломника, и он «приказал товарищам... взойти на башню, прочитать Коран, помянуть Аллаха и совершить призыв к молитве» (Тизенгаузен, 1884. С. 280).

Латинские храмы в настоящее время в Каффе не сохранились, существуют только предположения об их местонахождении (Бочаров, 2000). Наиболее хорошо изучены некоторые сохранившиеся армянские церкви (Якобсон, 1956; Якобсон, Таманян, 1992). Армянская церковь Иоанна Предтечи, построенная в 1348 г., расположена за стенами средневекового города, возможно, на территории старого армянского посада (Рис. 2.1-5). Здание этой небольшой церкви, прямоугольное в плане, имеет внешние размеры 5,0 x 3,5 м. Стены возведены из бутового камня на известковом растворе. Интерьер разделен на две части прямоугольными пилонами, стоящими вплотную к северной и южной стенам. На эти выступы опираются четыре арки, идущие вдоль меридиональных стен. В западной части на них опирается цилиндрический свод, в следующей центральной части – граненый барабан с куполом. К этой части через узкую бему примыкает полукруглая апсида, перекрытая конхой с окном. Апсида не выступает наружу, она вписана в прямоугольный план здания. Снаружи фасады стен никак не разработаны, в центральной части выделены невысокие щипцы, в одном из кото-

рых (северном) находится окно с полукруглым верхом (Рис. 2.3). Над двускатной крышей возвышается стройный восьмигранный барабан, облицованный гладкими каменными плитами. Каждая грань его декорирована простой прямоугольной филенкой, внутри граней на их половине (через одну) сделаны узкие оконца.

Интерьер церкви достаточно прост и аскетичен (Рис. 2.4-5). Капители пилонов украшены фризами из череды мелких сталактитов, такой же узкий сталактитовый пояс имеется в основании барабана. Восточная часть церкви декорирована интересными каменными рельефами. Алтарное полукружие фланкируют фигуры Иоанна Крестителя и св. Георгия с нимбами над головами. По верху апсиды над простым карнизом сделан рельеф, изображающий двенадцать апостолов с Христом посередине. А.Л. Якобсон подчеркивает, что передача евангельских сцен в резном рельефе не встречается ни в византийской, ни в древнерусской церковной традиции, зато достаточно типична для культовых памятников Армении (Якобсон, 1956. С. 183-185; Якобсон, Таманян, 1992. С. 21-23).

Западный вход, выходящий в гавит, имеет богато украшенный резьбой наличник. Вход обрамлен крупной выпуклой «сельджукской цепью», которую охватывает широкий пояс резного орнамента. Он включает в себя пальметки, соединенные между собой стебельками и широкими листьями с «глазком», чередующиеся с плетенкой. Этот орнамент стилистически близок мотивам резьбы на портале мечети Узбека в Солхате.

С западной стороны несколько позднее к церкви был пристроен прямоугольный в плане гавит⁸. Внутренние размеры его 4 x 3,5 м. Внутри его находятся два квадратных в сечении столба, на которые опираются две пары стрельчатых арок, перекинутых с запада на восток. В широтном направлении опоры соединяются со стенами и между собой короткими подпружными арками, которые поддерживают три цилиндрических свода, перекрывающих трехнефное помещение гавита. Планировка его тождественна планировке гавита в монастыре Сурб-Хач. А.Л. Якобсон указывает, что такой же план имеют многие аналогичные постройки в позд-

⁸ Притворы или гавиты появляются в монастырской архитектуре Армении в XII-XIII вв. Они представляют собой большое прямоугольное здание с четырьмя массивными столбами, которые поддерживают арки центрального квадрата, к которому сводятся полуциркульные своды боковых частей здания. Гавиты обычно пристроены к храму с запада. Они являлись церковными, полугражданскими постройками, так как во время богослужений в них находились верующие, не поместившиеся в церкви, а в другое время гавиты использовались для собраний и совещаний (Якобсон, 1950б).

несредневековых монастырях Армении (Якобсон, 1956. С. 185; Якобсон, Таманян, 1992. С. 23).

Чрезвычайно интересно архитектурно-планировочное решение армянской церкви Михаила и Гавриила, расположенной возле городской стены, но внутри города (Якобсон, 1956. С. 185-191; Якобсон, Таманян, 1992. С. 24-27). Церковь построена в 1408 г., о чем говорится в строительной надписи. Здание почти квадратное (без выступающих апсид) в плане (Рис. 3.1-4). Размеры его 13 x 12 м⁹. Здание состоит из двух объемов: просторного зала в западной части и трансепта с тремя апсидами в восточной. Зал с юга и севера ограничен широкими арками слегка стрельчатого очертания, которые опираются на западную стену и выступы северной и южной стен, которые отделяют зал от трансепта. На эти арки опирается высокий цилиндрический свод с двумя подпружными арками также стрельчатого очертания. В восточной части находится узкий трансепт, высота которого значительно превышает высоту зала. Он отделен от остального объема здания аркой, также опирающейся на выступы широтных стен. Трансепт, в свою очередь, делится высоко поднятыми арками на три части. Две боковые (северная и южная) перекрыты крестовыми сводами с выраженными гуртами, над средней возвышается восьмигранный барабан с четырьмя узкими окнами. Венчает барабан купол на четырех гуртах. В основании барабана находится слегка нависающий карниз, состоящий из сильно профилированных кронштейнов, соединенных арочками трехлопастного очертания. По мнению А.Л. Якобсона, этот карниз имитирует пояс машикулей, которые венчают башни Кафы.

К трансепту примыкают три апсиды полукруглой формы. Средняя из них имеет больший диаметр и больше выдвинута на восток. Апсиды перекрыты конхами. Вход в церковь находится в западной стене. Проем окружен профилированной рамой, над которой сделан глухой, без проема люнет стрельчатого очертания. Интерьер церкви почти лишен декора. Только ниша в северной стене имеет наличник в виде «сельджукской цепи».

Здание выстроено из бутового камня на известковом растворе; углы кладки и своды выполнены из отесанных блоков. Фасады здания лишены какого либо декора, однако объемная его композиция снаружи хорошо передает внутреннюю структуру (Рис. 3.3). Свод западной части перекрыт двускатной крышей, которая возвышается над односкатными боковыми кровлями, перекрывающими

пониженные боковые арки. Благодаря этому вся композиция получает трехчастную структуру, которая как бы имитирует снаружи форму трехнефной базилики.

Перекрытие трансепта сильно возвышается над всем объемом здания. Оно также трехчастно, причем средняя часть, увенчанная барабаном с куполом, несколько выше, чем боковые. С востока трансепт ограничивает глухая стена с одним окном. Перекрытие апсидальной части находится гораздо ниже. Полукруглая апсиды выступают за пределы массива здания. Средняя апсида снаружи также имеет полукруглые очертания. Боковые апсиды ограничены с востока прямой стеной, которая переходит в грани, соединяющую ее с широтными стенами.

Суровый лаконичный облик храма несколько оживляет миниатюрная ротонда-колокольня на четырех ажурных колоннах, поставленная над северо-западным углом здания (Рис. 3.4). С южной стороны к церкви примыкает пристроенная позднее капелла в виде трапециевидной удлиненной камеры с апсидой с восточной стороны. Капелла перекрыта полуцилиндрическим сводом на трех подпружных арках, который покрыт односкатной крышей.

Церковь Михаила и Гавриила интересна прежде всего тем, что будучи построенной армянскими ктиторами, она не несет ни одной черты архитектуры армянских храмов. Напротив, как подчеркивают исследователи, здание построено в канонах западноевропейской, а именно итальянской архитектуры (Якобсон, 1956. С. 190-191; Якобсон, Таманян, 1992. С. 26-27). По мнению А.Л. Якобсона, смена архитектурных форм связана с новой политической ориентацией армянской денежной аристократии Каффы, с ее стремлением к объединению с генуэзцами. Стремление это привело к унии армянской и католической церквей, официально принятой в 1438 г.

К XIV в. предположительно относится армянская церковь Св. Сергия (Саркиса), правда, существует и другая точка зрения, согласно которой церковь построена в XII в. (Якобсон, 1964а. С. 116; Якобсон, Таманян, 1992. С. 36-37). К сожалению, архитектура этого храма пока не стала предметом специального исследования. А между тем, она очень интересна. В настоящее время церковь состоит из двух пристроенных друг к другу зданий (Рис. 4). Северная и, вероятно, более древняя ее часть состоит из небольшого прямоугольного в плане сводчатого зала с апсидой, смещенной к югу относительно центральной оси (Рис. 4.3). Алтарная часть перекрыта крестовым сводом с выступающими нервюрами

⁹ Размеры даны приблизительно по плану. В публикациях размеры в тексте и на плане не совпадают. В тексте они сильно уменьшены.

(Рис. 4.4). Пяты свода опираются на граненые колонны с капителями, резьба которых выполнена в сельджукских традициях и состоит из нескольких рядов сталактитов (Рис. 4.6). В северной стене находится ниша для крещения, обрамленная прямоугольной рамой (Рис. 4.5). Ниша имеет треугольное завершение, заполненное сталактитами. Выполненная в сельджукских традициях, она напоминает завершение портала или михраба мечети.

Южная часть храма имеет большие размеры. Вход, расположенный по центру западной стены, ведет в просторное помещение гавита, перекрытое низким сводом. Наос имеет более высокое сводчатое перекрытие стрельчатого очертания на подпружных арках (Рис. 4.2). В восточной части храма находится алтарная часть, состоящая из широкой полукруглой апсиды, которую с двух сторон окружают две малые апсиды. Крещальная ниша в южной части церкви имеет такое же строение, как и в северной.

Фасад здания украшен каменной резьбой, в основном разнообразными хачкарами, вставленными в кладку стены (Айбабина, 2001. С. 62-98). Среди них выделяется мраморная плита с гербом Генуи. Таким образом, в этом храме одновременно прослеживаются черты армянской, западной романской и восточной сельджукской архитектурных традиций. Церковь св. Сергия известна также тем, что после пожара 1888 г. она была восстановлена на средства И.К. Айвазовского.

Остальные церкви Каффы и ее окрестностей имеют более простую планировку. Это зальные постройки с апсидой в восточной части. В некоторых случаях с западной стороны пристроен гавит. Такова, например, Церковь Иоанна Богослова (Рис. 5.1-2), расположенная в крепости Каффы на Карантине (территории крепости). Она датируется XIV-XV вв. (Якобсон, Таманян, 1992. С. 37-38). Постройка прямоугольная в плане размерами 4,5 x 4 м. Выступающая на востоке апсида имеет полукруглую форму. Здание перекрыто цилиндрическим сводом и двускатной крышей. В помещение ведут два входа, один из которых находится в северной стене, другой – в западной. Проем в западной стене имеет рельефную раму, на верхней перемычке которой вырезаны хачкары. Над перемычкой сделана глухая арка люнета стрельчатого очертания. Северный вход оформлен таким же образом, но несколько проще.

С западной стороны к церкви примыкает притвор, размеры которого составляют 5,8 x 5,2 м. Северо-западный угол притвора скошен. В притворе найдены базы четырех колонн, поддерживавших крышу. Так как стены здесь не имеют выступающих пилонов, перекрытие, скорее всего, было не сводча-

тым на арках, а плоским, балочным. Первоначально гавит имел два входа в южной стене, а в настоящее время проем сделан в северной стене. Здание сложено из плитняка на известковом растворе, наличники выполнены из известняка.

К востоку от церкви Иоанна Богослова, почти в центре Карантинного холма, находится небольшая церковь простого плана, которая представляет собой зальную постройку с выступающей апсидой полукруглой формы (Рис. 5.3-4). Некоторые исследователи считают, что это армянская церковь св. Стефана XIII в., упоминающаяся в генуэзских нотариальных актах (Якобсон, Таманян, 1992. С. 38-39). Однако Е.А. Айбабина и С.Г. Бочаров атрибутируют ее как греческую церковь Св. Дмитрия Солунского (Айбабина, Бочаров, 2000). Размеры основного объема здания составляют 9 x 8,2 м. Здание перекрыто полуциркульным сводом, который защищает двускатная черепичная крыша. В церковь ведут два входа с западной и южной сторон. С западной стороны над входным проемом сделан глухой люнет стрельчатой формы. В интерьере церкви на стенах сохранились фрески восточновизантийского письма с греческими надписями, которые вызывают споры о принадлежности церкви.

К этому же типу построек относится греческий храм Святого Георгия Победоносца, расположенный к востоку от цитадели Каффы (Рис. 5.5). Известно, что в XIV в. он был частью православного монастыря, который упоминается в грамоте Константинопольского патриарха 1395 г.

В юго-восточном участке города раскопана еще одна церковь простейшей планировки (Рис. 5.6). Исследователи атрибутируют ее как армянский храм Св. Стефана (Айбабина, Бочаров, 1997). Это небольшая прямоугольная в плане постройка с выступающей апсидой в восточной стене. Размеры церкви 7,7 x 5,9 м, диаметр апсиды 4,7 м. Два входа в здание сделаны в южной стене. С запада был пристроен гавит, но он не сохранился. Стены храма сложены из блоков известняка с подтесанной лицевой стороной.

Внутри храм разделен алтарной преградой на основное помещение и полукруглую апсидальную часть. В обоих углах преграды были сделаны ступеньки, а в центре ее – небольшая ниша. Перед преградой сохранился участок пола из каменных плит. В северной стене находились две ниши для купелей, и еще одна – в южной. Купель в северной стене, вытесанная в известняковом блоке, имела дно в форме квадрифолия. Две другие – прямоугольные в плане.

При раскопках были найдены каменные резные архитектурные детали. Среди них – база и часть

ствола колонны, резные фрагменты фронтонов кивория, рельеф с изображением крылатого льва, обломки хачкаров.

Княжество **Феодоро** или Готия, занимавшее горную часть Крымского полуострова, также формально находилось на территории Золотой Орды, но при этом сохраняло значительную автономию. Политическое значение его возросло в начале XV в. В это время правитель его Алексей Старший занимается активной строительной деятельностью. Наряду с возведением крепостей большое внимание уделяется восстановлению и реконструкции христианских храмов. В частности, восстанавливается культовый комплекс храма Константина и Елены (Большой базилики) в Мангупе, построенной в VI–IX вв. (Якобсон, 1964а. С. 126; Мыц, 2009. С. 141–142). Раннее здание храма представляло собой трехнефную базилику размерами 31,6 x 19,2 м с одной апсидой. Вход в молитвенный зал осуществлялся через нартекс. Впоследствии с двух сторон здания были пристроены две галереи. В начале XV в. на место утраченных мраморных колонн были поставлены колонны из известняка восьмигранного сечения. Наличник входа в базилику получил новую облицовку, украшенную резьбой в виде «сельджукской цепи» и сложного растительного орнамента (Айбабина, 2001. С. 162; Мыц, 2009. С. 142).

Восстановление храмов происходило не только в столице княжества. С деятельностью митрополита Дамиана В.Л. Мыц связывает реконструкцию базилики VIII в. в Партенитах (Мыц, 2009. С. 147).

По мнению В.Л. Мыца, в 1427 г. в **Мангупе** был построен центрический храм, так называемый «октагон» (Мыц, 2009. С. 134–140). В плане он представляет собой восьмигранник размерами 8,0 x 8,5 м. Вход в храм был сделан в западной стене. Внутреннее пространство здания представляло собой крестообразную фигуру (6,6 x 6,2 м): квадрат, открытые на четыре стороны широкими лоджиями. Восточная лоджия заканчивалась апсидой. Размеры квадрата, перекрытого куполом, – 3,7 x 3,7 м. Стены храма сложены из тщательно отесанных известняковых блоков панцирной кладкой на известковом растворе. По мнению В.Л. Мыца и В.П. Кирилко, мангупский «октагон» построен армянскими мастерами и представляет собой здание, аналогичное центрическим церквям Армении (Кирилко, Мыц, 2001. С. 354–375).

Небольшие церкви центрического плана составляют важную группу в церковной архитектуре Армении (ВИА, 1966. С. 235–238). Такие постройки появляются там уже в VII в. и продолжают существовать до позднего средневековья. Обычно они состоят из двух ярусов. Нижний ярус может быть

квадратным, многогранным или круглым в плане. Второй ярус представлен многогранным или круглым высоким барабаном с шатровым куполом. Часто такие храмы были двухэтажными и выполняли функции усыпальниц: на первом этаже находился семейный склеп, а на втором – церковь. К этой группе относятся церковь Григория рода Абугамренц X в., Спасителя XI в. в Ани, Церковь Саркиса в Цконхе XI в., Пастушья церковь в Ани XI в., а также церкви XIII в. – Рипсима в Девичьем монастыре, Марине в Аштараке, Главная церковь в Ариче (Якобсон, 1950б. С. 67–74; 123–129; 1987. С. 169–181; ВИА, 1966 С. 235–238; 255–260).

Однако исследователи «октагона» А.Г. Герцен и В.Е. Науменко не согласны с этой гипотезой (Герцен, Науменко, 2009. С. 424–466). Прежде всего, раскопки показали, что церковь имела притвор прямоугольной формы (3,4 x 4,0 м) с четырьмя колоннами, поддерживающими перекрытие. Таким образом, храм представлял собой вытянутый по оси восток-запад комплекс, состоящий из нартекса, наоса и алтарной части. Также они считают малообоснованной гипотезу В.Л. Мыца и В.П. Кирилко об армянском происхождении правителей Феодоро и армянских элементах в архитектурном облике церкви. По их мнению, композиционно «октагон» близок мусульманским дюрбе Бахчисарая Салачика и Чуфут-кале, построенных под явным влиянием Малой Азии, где в свою очередь происходила трансформация христианской архитектурной традиции при строительстве мусульманских культовых зданий. В связи с этим исследователи считают возможным связать мангупский «октагон» с византийским зодчеством и сравнивают его с крестово-купольными октагональными церквями Греции и Константинополя (Герцен, Науменко, 2009. С. 451–453).

Известно, что в Мангупе были и другие церкви, более скромные. Три церкви высечены в скале. Одна из них, относящаяся, вероятно, к XIII в., имела фресковую роспись, выполненную художником-греком (Якобсон, 1964а. С. 126).

В Феодоро строились церкви не только в столице. Алексей Старший построил небольшую крепость для защиты порта Каламиты. Внутри нее был храм, который не сохранился. В скале, на которой стоит крепость, имеется множество рукотворных пещер. Среди них есть пещерные церкви, украшенные фресками, остатки которых позволяют датировать их XIII–XIV вв. А на стене одной из них сохранилась надпись 1272 г. (Якобсон, 1964а. С. 121–122). Еще один скальный монастырь св. Софии находился в горной местности **Уч Баш**. По предположению исследователей, ктиторами этого монастыря были представители правящей элиты Феодоро (Мыц,

2009. С. 215-216). Главный храм этого монастыря имел крестообразный план, нетипичный для скальных построек.

Интересный по планировке двухапсидный храм был раскопан Е.А. Айбабиной на территории могильника феодоритской крепости **Фуна** (Айбабина, 1987, 1991). Время постройки храма датируется XIV в. Размеры постройки 4 х 6 м, абсиды имели ширину 1,08 и 1,3 м. Храм ориентирован абсидами на юго-восток, вход с широким порогом находится в южной стене. Стены храма сложены из бутового камня с подтесанной лицевой поверхностью в два панциря с забутовкой на известковом растворе. На стенах внутри сохранилась штукатурка, в абсидах – со следами фресковой росписи. В завале найдено много архитектурных деталей из туфа от арочного перекрытия, наличника, оконного проема. Вокруг храма и внутри него находились погребения, совершенные по христианскому обряду. В то же время в могилах присутствовал погребальный инвентарь, в том числе сосуды с заупокойной пищей, что является пережитком язычества. Аналогичные погребения XIV-XV вв. известны на территории Адыгеи. Некрополь Фуны, а также подобные погребальные памятники на территории Мангупа, Сюйрени, Пампуккая, Лусты и др. – позволили исследователям сделать вывод о присутствии в горном Крыму групп адыгов (Мыц, 2009. С.226).

Ранее на фунском некрополе была исследована небольшая одноапсидная часовня, построенная в XIII-XIV вв. (Кирилко, 2010. С. 311-321). Размеры основного объема здания 3,1 х 4,3 м, вынос апсиды – 0,8 м. Ширина плеч – 30-40 см. Стены здания сложены из камней на известковом растворе. Вход был сделан в южной стене, у юго-западного угла. Внутренняя поверхность апсиды была оштукатурена и расписана. В центре алтарного полукружия располагался престол. Часовня, скорее всего, была перекрыта сводом и могла иметь кровлю из сланца.

Солхат, возникший в золотоордынское время, являлся одним из крупнейших городов в Крыму и выполнял функции административного центра. По сведениям автора второй половины XIV в. ал-Калкашанди, здесь находилась ставка главы правого крыла Золотой Орды (Григорьев, Фролова, 2002. С. 269, 287). Население Солхата было полиэтничным и поликонфессиональным. Здесь жили христиане – греки, армяне, аланы, славяне, христианизированные кипчаки; мусульмане – турки и монголы, принявшие ислам, сельджуки, выходцы из Малой Азии; иудеи – караимы и евреи (Крамаровский, 2009. С. 395-431). Солхат известен в основном своими постройками, связанными с мусульман-

ской религией. До наших дней здесь сохранились три мечети и медресе. Гораздо меньше археологических данных, характеризующих христианские общины Солхата. Различные артефакты позволяют проследить присутствие несториан, православных греков, армяно-григориан, латинян (Крамаровский, 2009. С. 420-427).

О существовании в Сохате католической церкви известно из отчета, посланного кустодием Каффы Ладиславом генеральному министру Ордена Францисканцев Маттео д'Аквапарта в 1287 г. В послании рассказывается о конфликте францисканцев с правителем Солхата, который не желал слушать звон колоколов и изгнал проповедников из города. Но благодаря успешным переговорам брата Моисея с ханом Тула-бугой и Ногаем францисканская церковь в Солхате была восстановлена, и колокола возвращены на прежнее место. Значительную роль в разрешении конфликта сыграла жена Ногая по имени Яйлак, которая пожелала принять крещение от настоятеля францисканского монастыря Каффы брата Стефана (Хаутала, 2012. С. 37-38).

Без сомнения, в Солхате было несколько (возможно, несколько десятков) христианских храмов, но археологически исследован только один (Рис. 6.1-4). Храм находился в северо-западной части города, в греческом квартале (Крамаровский, 2004. С. 68-76; 2005. С. 125). Здание имело нартекс размерами 4,1 х 5, 1 м. Основной объем представлял собой прямоугольник с внутренними размерами 4,6 х 6,7 м. С востока к нему примыкала полукруглая апсида, диаметр которой равен ширине здания. В южной стене были сделаны два аркосолия со стрельчатыми завершениями, в которых находились склепные ниши. Склепы использовались как фамильные усыпальницы. Храм был построен на кладбище и, вероятно, служил часовней.

Армянская община Солхата была довольно многочисленной, но армянские церкви на территории города не найдены. Зато известны два армянских монастыря золотоордынского времени в окрестностях Солхата. Самый известный и наиболее сохранившийся монастырь **Сурб Хач** (Святой крест) находится примерно в 5 км от Солхата в горах, поросших лесом (Рис. 7.1-4). Он представляет собой комплекс разновременных построек, включающих церковь, двухэтажное жилое здание, трапезную с кухней и хозяйственные помещения (Якобсон, 1956. С. 173-181; Якобсон, Таманян, 1992. С. 12-19). Церковь с притвором (гавитом) построена в 1338 г., остальные здания относятся к XVIII в.

Храм Святого Креста имеет размеры 12 х 8 м. С западной стороны к нему пристроен обширный

притвор (гавит) размерами 10,3 x 8,8 м (Рис. 7.1). Храм представляет собой крестово-купольную постройку с удлиненной западной ветвью креста и укороченными северной и южной. К восточной ветви креста через бему¹⁰ примыкает широкая полукруглая апсида, вписанная в объем здания. Четыре боковых помещения, приделы (хораны), также имеют апсиды с восточной стороны. Западные помещения удлиненные соответственно западной ветви креста. Они открываются в нее широкими пролетами высоких стрельчатых арок. Восточные помещения короткие с низкими проходами в бему и высокими до основания сводов проходами в северную и южную ветви креста. Устои, поддерживающие барабан с куполом не являются свободно стоящими. Западная пара устоев соединяется с северной и южной стенами, а восточная пара является частью северной и южной стен восточной ветви креста. Ветви креста завершаются полуциркульными сводами слегка стрельчатого очертания. На них покоится круглый внутри и 12-гранный снаружи барабан с четырьмя узкими щелевидными окнами. Венчает барабан полусферический купол.

Внутренний декор храма достаточно скромнен (Рис. 7.2). Капители пилонов и пилястров украшены рядом мелких сталактитов. Узкий сталактитовый фриз опоясывает основание барабана. Практически идентичный поясик мелких сталактитов у основания барабана купола можно видеть в Анатолии, в караван-сараях Султан-хан в Кайсери 1232 г. постройки (Stierlin, 1998. P. 75). В северной стене находится ниша для крещения, которая имеет треугольное завершение, заполненное сталактитами. Снаружи ниша окружена прямоугольной рамой, образованной двумя жгутами полукруглого сечения. Над рамой в центре помещен рельефный круг в виде венка с фигурой в центре и пальметкой наверху. По бокам от нее находятся две такие же полупальметки. Эта ниша выполнена совершенно в сельджукских традициях и представляет собой сильно упрощенный вариант сельджукского портала или михраба. В частности, исследователи отмечали ее сходство с михрабом мечети Узбека в Солхате (Якобсон, 1956. С. 177; Якобсон, Таманян, 1992. С. 16).

Наиболее богато декорирован западный портал храма, выходящий в гавит (Рис. 7.3). Проем входа заключен в профилированный наличник, по бокам которого стоят полуколонны с двухъярусными капителями, украшенными тонкой резьбой в виде сплетенных цветов и побегов. Такие капители также весьма типичны для сельджукской резьбы по камню. В частности, они почти идентичны ка-

¹⁰ Промежуточное пространство между подкупольным объемом и алтарным полукружием.

пителям портала мечети Узбека. Над рамой входа сделана глубокая ниша стрельчатого очертания, на плоскости которой находится фреска с изображением Богоматери. Нишу фланкируют с двух сторон прямоугольные резные панели, от которых по верху ниши проходит резной фриз в виде выпуклой «сельджукской цепи». Над нишей помещен резной рельеф, изображающий агнца и знамя с крестом (лабарум). По сторонам от этого рельефа находятся две выпуклые шишки, украшенные мелкой резьбой. Такие резные детали также являются типичным элементом декора в сельджукском и завказском зодчестве. Вся эта композиция заключена в широкую и высокую профилированную раму со стрельчатым верхом.

Снаружи сложенное из бутового камня здание представляет собой не расчлененный массив (Рис. 7.4) с тремя небольшими окнами с каждой стороны (кроме западной). Ветви креста завершаются слабо выделенными щипцами, боковые помещения не выделены и подведены под общую двускатную крышу. Над этим простым и аскетичным зданием возвышается изящный 12-гранный барабан, облицованный небольшими гладко отесанными плитами. На каждой грани барабана находятся две концентрически сужающиеся арки с полукруглым верхом. Контур их выделен жгутом-полуваляком в виде полукруглой арки, опирающейся на тонкие полуколонки. Над арочками барабан опоясывает карниз, также выделенный полуваляком. Над ним идет надпись, в которой в частности, присутствует год возведения храма и приводится имя основателя монастыря инок Ованеса (Якобсон, 1956. С. 176; Якобсон, Таманян, 1992. С. 14). Над барабаном находится пирамидальное покрытие купола.

Пристроенный с западной стороны гавит представляет собой просторный трехнефный зал, перекрытый тремя продольно ориентированными полуциркульными сводами, разделенными арками. Арки опираются на прямоугольные столбы, стоящие посередине помещения и пилоны восточной и западной стен. Перекрытие помещения плоское, двускатное. Вход в придел находится в западной стене.

Церковь монастыря Сурб Хач построена в армянских архитектурных традициях. Связь устоев со стенами, а также вписанная в объем здания апсида – приемы, не встречающиеся в архитектуре Византии, но характерные для храмов Армении и Грузии. Также для армянской архитектуры типично размещение приделов не только по сторонам алтарной апсиды, но во всех угловых секциях (Якобсон, 1950б. С. 126). В то же время А.Л. Якобсон отмечает, что филанчатая разработка граней барабана не встреча-

ется в Армении, но характерна для зодчества Византии (Якобсон, 1956. С. 180; Якобсон, Таманян, 1992. С. 18). С этим утверждением трудно согласиться. Абсолютно аналогичны по своему облику украшенные ложной аркатурой многогранные барабаны собора в Гегарде 1215 г. и церкви Тиграна Онеца в Ани 1215 г. (Якобсон, 1950б. С. 131, 142). Правда, А.Л. Якобсон отмечает, что прием этот встречается в зодчестве Армении довольно редко (Якобсон, 1950б. С. 139). Зато в Малой Азии мы можем видеть многогранные башенные мавзолеи, удивительно напоминающие барабаны этих армянских церквей. Очень часто грани их разработаны в виде филенок с арочным завершением. Таковы, например, Хатуние тюрбе 1237 г. постройки и Дёнер-кюмбет 1275 г. в Кайсери (Stierlin, 1998. P. 42, 50). Таким образом, в архитектонике барабана храма монастыря Сурб Хач можно видеть влияние малоазийской архитектуры. Как уже отмечалось, это влияние отчетливо проступает также в оформлении крещальной ниши и западного портала, а также в сталактитовых деталях капителей и основания барабана.

В 3 км к югу от монастыря Сурб Хач находится еще один монастырь, который в армянских публикациях называется **Сурб Стефанос**, а в русских – монастырь св. Георгия (Домбровский, Сидоренко, 1978. С. 109-115; Бабаян, 1997. С. 36-37). Постройку монастыря можно отнести к концу XIII или началу XIV в. На самом раннем хачкаре, вмонтированном в стену церкви, имеется надпись, датирующая его 1331 г. (Бабаян, 1997. С. 37). Постройки монастыря св. Георгия, сложенные из песчаника, сохранились гораздо хуже, нежели в монастыре Сурб-Хач. Здесь были проведены археологические раскопки в 1973 и 1994 гг., однако полностью храм вскрыт не был, и в трактовке его плана имеются разночтения. Основное помещение храма квадратной формы размерами 8,6 x 8,4 м (Рис. 7.5) С северо-восточной стороны его находятся три апсиды. Средняя апсида шириной 3,1 м, пятигранная в плане, облицованная отесанными плитами, выступает наружу, за пределы стены. Небольшие боковые апсиды вписаны в основной объем здания. О. Домбровский и В. Сидоренко считают, что храм имел крестово-купольную планировку (Домбровский, Сидоренко, 1978. С. 110). Ф.С.Бабаян, напротив, пишет о трехнефной постройке со сводчатым перекрытием (Бабаян, 1997. С. 37). При раскопках 1994 г. был открыт пол церкви, выложенный плоскими булыжниками и две прямоугольные в плане базы колонн, которые отстояли от южной и северной стен на 1,5 м и на 3,6 м от центральной апсиды. Таким образом, ширина центрального нефа составляла 4,2 м. Если колонны не были смещены в результате поздних перестро-

ек, то еще две колонны, необходимые для поддержания купола, должны стоять непосредственно у западной стены. В то же время квадратная форма здания предполагает именно крестово-купольную композицию. Вероятно, для окончательного определения плана здания необходимы дальнейшие исследования.

В помещении церкви вели три входа. Центральный вход шириной 1,5 м находился в западной стене. Еще два были в северной и южной стенах. Возможно, эти проемы не одновременны. С юго-западной стороны к церкви примыкает обширное помещение, которое О. Домбровский и В.Сидоренко определяют как открытый внутренний дворик. В центре его находился небольшой прямоугольный колодец. К колодцу вели гончарные керамические трубы, по которым вода поступала из источника.

Еще один армянский монастырь Св. Ильи находится у **с. Богатое**, к юго-востоку от Белогорска (Карасубазар) (Якобсон, 1964а. С. 116; Якобсон, 1964б; Якобсон, Таманян, 1992. С. 27-31). Из всех построек лучше всего сохранилась церковь (Рис. 8.1-4). Она представляет собой удлиненное прямоугольное в плане здание (18,8 x 8,5 м). Стены его сложены из плитняка на известковом растворе, углы и другие конструктивно важные элементы выполнены из тесаных квадров, свод облицован гладкими плитками. Снаружи и внутри здание было оштукатурено. Перекрывала его двускатная крыша.

В церковь ведут три входа. Западный проем в плоскости стены имеет стрельчатое завершение, украшенное «сельджукской цепью» (Рис. 8.2). По сторонам от проема сохранился наличник, декорированный сложными резными розетками в круге. Два других входа, расположенные в западной части северной и южной стен, обрамлены небольшими порталами. Арки порталов имеют стрельчатое завершение, а в боковых стенках имеются небольшие ниши с подтреугольным верхом, заполненным сталактитами. Такие порталы типичны для малоазийской сельджукской архитектуры и встречаются в Крыму в мусульманских постройках, таких как мечети и мавзолеи.

Внутреннее помещение размерами 6,15 x 11,9 м делится на три части подпружными арками (Рис. 8.1). Узкие западная и восточная части перекрыты сводами стрельчатого контура, над средней частью возвышается крестовый свод, грани которого выделены широкими гуртами. Апсида с бемой, расположенная в восточной части, не выступает за пределы здания. Но она и не находится в массиве восточной стены, как это принято в армянских церквях. За апсидой сделан узкий (менее 1 м в ширину) проход,

который ведет в небольшие помещения, расположенные по сторонам апсиды – жертвенник и дьяконник. Попасть в них можно было не из основного помещения церкви, а из пристройки, расположенной с восточной стороны. Проход за апсидой исследователи трактуют как упрощенную обходную галерею, характерную для романской культовой архитектуры (Якобсон, Таманян, 1992. С. 29).

Внутри помещения церкви находились многочисленные рельефы на евангельские сюжеты. В основном они размещены в восточной части здания в нишах по сторонам апсиды. По мнению А.Л. Якобсона, рельефы эти характерны для армянской монументальной архитектуры XIII-XIV вв. В северной стене над купелью сделана сталактитовая ниша вполне сельджукского облика, над которой расположен фриз из трех кругов и херувимов между ними. Декор в виде «сельджукских» мелких сталактитов присутствует также на висячих капителях подпружных арок и на капителях угловых пилястр по сторонам апсиды.

Таким образом, архитектурный облик этой небольшой церкви отражает влияние различных культур народов, населявших Крымский полуостров. Вытянутый прямоугольный план с вписанной в объем здания апсидой, а также рельефное изображение евангельских сюжетов типичны для армянских церквей. Порталы со сталактитовыми нишами, ниша над купелью, сталактитовое оформление капителей, рама входа в виде «сельджукской цепи» и наличники с розетками говорят о малоазийском влиянии. И, наконец, крестовый свод на гуртах, заменяющий купол, и обходная галерея за апсидой напоминают о канонах романской архитектуры.

Кроме обычных «наземных» церквей в Крыму в золотоордынский период было много пещерных церквей, как отдельных приходских, так и входящих в состав монастырей. Их возникновение и особенности архитектуры неоднократно рассматривались различными исследователями Крыма (Герцен, Могаричев, 1996; Могаричев, 1997; Могаричев 2010), поэтому в настоящей работе данная тема не затрагивается. Следует упомянуть лишь о том, что ранее массовое возникновение пещерных церквей связывалось с эпохой «иконоборчества», то есть с VIII-IX вв. (Якобсон, 1964. С. 33-34). Согласно современным данным большая часть из известных в настоящее время 60 скальных церквей относится к XIV-XV вв. (Могаричев 2010. С. 23), то есть к золотоордынскому периоду.

Таким образом, в Крыму в золотоордынское время существовало огромное количество храмов, возведенных для адептов различных ветвей христианской религии. Архитектура этих церквей являет-

ся отражением полиэтничного состава населения Крыма. Среди греческих храмов есть небольшие крестово-купольные постройки (Херсонес, Лака, Каффа). Но большинство церквей представлено зальными постройками или так называемыми «однонефными базиликами». Крестово-купольные и зальные храмы Крыма построены под влиянием не столько Византии, сколько Малой Азии и Балкан. Зальные одноапсидные церкви вообще не характерны для столичной византийской архитектуры и строились преимущественно в провинции (Ионесян, 2013. С. 71).

Довольно интересным типом культовых построек являются двухапсидные храмы, представленные в золотоордынский период «храмом на консолях» в Судаке и двухапсидной церковью Фуны. Появление построек этого типа некоторые исследователи склонны связывать с армянскими переселенцами (Мордвинцев, Кисиль, 2002. С. 189). Однако здания этого типа встречаются на огромной территории, причем наибольшее их количество известно в Армении, Малой Азии, островной Греции и Италии (Кирилко, 2012. С. 221). По поводу архитектурных особенностей этих храмов исследователи не пришли к единому мнению. По утверждению О. Халпахчяна, двухапсидные церкви возникли в результате эволюции одноапсидных (Халпахчян, 1954. С.60). Ю.Г. Лосицкий считает этот тип сооружений «не вполне сформировавшимся с архитектурной точки зрения», так как «механическое соединение двух объемов однонефных часовен не привело к образованию качественно нового типа сооружений, поскольку в нем не выделился общий центр композиции и отсутствует четкое соподчинение главных и второстепенных элементов» (Лосицкий, 2002. С. 132). Ряд исследователей связывают различные части храмов с определенными функциями. Так, большая часть могла служить для литургии евхаристии, а меньшая использоваться для крещения или поминания. Подробно различные точки зрения на этот интересный и относительно редкий тип храмов приводятся в работе В.П. Кирилко (Кирилко, 2012. С. 219-223). О.М. Ионесян считает наиболее вероятным предположение П.Хезеринга о том, что возникновение таких храмов связано с особенностями общественного развития островных поселений, жители которых принадлежали к двум конгрегациям христианства – православной и римско-католической. По его мнению, такие храмы, объединяющие в себе культовые учреждения двух разных конфессий, возникают в условиях ограниченных возможностей небольших замкнутых общин. Именно такая ситуация наблюдается в поселках и крепостях Крыма (Ионесян, 2012. С. 98).

Среди сохранившихся зданий Крыма большой процент составляют армянские церкви, также представленные крестово-купольными композициями и простыми зальными церквями. Следует отметить, что многие армянские церкви Крыма имеют выступающую апсиду, в чем, вероятно, сказалось греческое влияние. В церквях Армении апсида снаружи обычно не выделена. Католические церкви до нашего времени не сохранились, однако в архитектуре некоторых армянских церквей (Михаила и Гавриила, Св. Сергия в Каффе, Св.Ильи у с. Богатое) отчетливо прослеживается влияние латинского Запада.

Анализ архитектурного декора, который представлен в Крыму почти исключительно резным камнем, показывает, что наряду с западной и армянской традициями достаточно явно прослеживается и малоазийская (Айбабина, 2001). Так же как и в мусульманских постройках, элементы малоазийского сельджукского стиля присутствуют почти во всех христианских храмах Крыма.

Как уже отмечалось, золотоордынский центр слабо влиял на внутреннюю жизнь городов Крыма. Тем не менее, приток населения из Армении и Малой Азии, а с ним и новых строительных традиций, во многом явился результатом монгольских завоеваний. Что касается тенденций в строительстве культовых христианских сооружений, то они были совершенно идентичны, как на территориях подвластных Генуе, так и на собственно золотоордынских землях.

ЛИТЕРАТУРА

Адаксина С.Б., Мыц В.Л., Ушаков С.В. 2010. Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2008-2009 гг. СПб. – Симферополь.

Айбабина Е.А. 1987. Двухабсидный храм средневековой Фуны // АО, 1985. М.

Айбабина Е.А. 1991. Двухабсидный храм близ крепости Фуна // Византийская Таврика. Киев.

Айбабина Е.А. 2001. Декоративная каменная резьба Каффы XIV-XVIII вв. Симферополь.

Айбабина Е.А., Бочаров С.Г. 1997. Новые материалы по истории средневековой армянской колонии Каффы // Византийский временник. Т. 57.

Айбабина Е.А., Бочаров С.Г. 2000. Об атрибуции одной из средневековых церквей Феодосии // Stratum Plus. №5.

Бабаян Ф.С. 1997. Об археологических исследованиях средневековых монастырей Сурб Хач и Сурб Стефанос // Археологические исследования в Крыму. 1994 год. Симферополь.

Белозеров И.В. 2000. К вопросу о восприятии чужих религий монголами времен империи (XIII в.) // Про-

блемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии. Улан-Уде.

Бочаров С.Г. 2000. Историческая топография Каффы (конец XIII -1774 г.) Фортификация, культовые памятники, система водоснабжения): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.

Бочаров С.Г. 2004. Заметки по исторической географии Генуэзской Газарии XIV-XV вв. Южный берег Крыма // «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических». Сборник научных трудов (по материалам конференции в честь 210-летия со дня рождения П.И. Кеппена). Киев.

Васильев Д.В. 2007. Ислам в Золотой Орде. Историко-археологическое исследование. Астрахань. Всеобщая история архитектуры (ред. Ю.С. Яралов). Т.3. Л.-М., 1966а.

Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. 1996. Пещерные церкви Мангупа. Симферополь.

Герцен А.Г., Науменко В.Е. 2009. Октагональная церковь // Античная древность и средние века. Вып. 39. Екатеринбург.

Григорьев А.П., Фролова О.Б. 2002. Географическое описание Золотой Орды в энциклопедии ал-Кашканди // Тюркологический сборник. 2001. Золотая Орда и ее наследие. М.

Джанов А., Майко В., Фарбей А. 2004. Христианские храмы Сугдеи // Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції «Софійски читання». Київ.

Джанов А., Майко В., Фарбей А. 2009. Генуэзцы в Крыму. Исторический путеводитель. Киев.

Домбровский О., Сидоренко В. 1978. Солхат и Сурб-Хач. Симферополь.

Дьячков С.В. 2004. «Консульская церковь» крепости Чембало (XIV-XV вв.) // «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических». Сборник научных трудов (по материалам конференции в честь 210-летия со дня рождения П.И. Кеппена). Киев.

Егоров В.Л. 1985. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. М.

Иоанесян О.М. 2013. Однонефные храмы в архитектуре Армении и Византии // Византия в контексте мировой культуры. Труды Государственного Эрмитажа LXIX. СПб.

История татар с древнейших времен в семи томах. Т. III. Волжская Булгария и Великая Степь. Казань, 2009.

Кирилко В.П. 2010. Фунская часовня № 1 // Древняя и средневековая Таврика. Археологический альманах № 22. Сборник статей, посвященный юбилею О.А. Махневой. Донецк.

Кирилко В.П. 2012. Двухабсидные храмы Таврики // Древняя и средневековая Таврика. Археологический альманах № 28. Сборник статей, посвященный 1800-летию Судака. Донецк.

Кирилко В.П., Мыц В.Л. 2001. Октагональный храм Мангупа // Античная древность и средние века. Вып. 32. Екатеринбург.

Крамаровский М.Г. 2004. Ранние Джучиды: хронология и проблемы культургенеза // Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотровского. СПб.

Крамаровский М.Г. 2009. Религиозные общины в истории и культуре Солхата XIII-XIV вв. // *Archeologia Abrahamica*. М.

Лосицкий Ю.Г. 2002. Реконструкция храма в Сотере // Алушта и Алуштинский регион с древних времен и до наших дней. Киев.

Лысенко А.В., Тесленко И.Б. 2002. Античные и средневековые памятники горы Аю-Даг // Алушта и Алуштинский регион с древних времен и до наших дней. Киев.

Малов Н.М., Малышев А.Б., Ракушин А.И. 1998. Религии в Золотой Орде. Саратов.

Малышев А.Б. 2007. Сообщение анонимного миссионера о миссионерских пунктах францисканцев в Золотой Орде в XIV в. // *Археология восточно-европейской степи*. Вып. 4. Саратов.

Микаэлян Э.В. 2004. История крымских армян. Киев.

Могаричев Ю.М. 1997. Пещерные церкви Таврики. Симферополь.

Могаричев Ю. 2010. Крым. «Пещерные города». Киев.

Мордвинцев В.Л., Кисиль И.А. 2002. Двухапсидные храмы Крыма // Сурож, Сугдея, Солдайя в истории и культуре Руси-Украины. Материалы научной конференции. Киев-Судак.

Мыц В.Л. 2009. Каффа и Феодоро в XV в. Контакты и конфликты. Симферополь.

Паршина Е.А. 1968. Средневековый храм в Ореанде // *Археологические исследования на Украине в 1967 г.* Киев.

Полубояринова М.Д. 1978. Русские люди в Золотой Орде. М.

Устав для генуэзских владений в Черном море, изданный в Генуе в 1449 г. 1863. // *ЗООИД*. Т. V. Одесса.

Тесленко И.Б., Лысенко А.В. 2004. Средневековый христианский храм на южной окраине с. Малый Маяк и его археологическое окружение // «О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических». Сборник научных трудов (по материалам конференции в честь 210-летия со дня рождения П.И. Кеппена). Киев.

Тизенгаузен В. 1884. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. I. Арабские источники. СПб.

Федоров-Давыдов Г.А. 1998. Религия и верования в городах Золотой Орды // *Историческая Археология. Традиции и перспективы*. М.

Халпахчян О. 1954. Двухапсидные базилики Армении // *Известия АН АрмССР*. № 8.

Хаутала Р. 2012. Исламизация татар, согласно латинским источникам конца XIII- 1-ой пол. XIV в. // *Ислам и власть в Золотой Орде*. Казань.

Якобсон А.Л. 1950а. Средневековый Херсонес (XII-XIV вв.) // *МИА*. № 17.

Якобсон А.Л. 1950б. Очерк истории зодчества Армении V-XVII веков. М.-Л.

Якобсон А.Л. 1956. Армянская средневековая архитектура в Крыму. 1956. Т. VIII.

Якобсон А.Л. 1959. Раннесредневековый Херсонес // *МИА*. № 63. М. – Л.

Якобсон А.Л. 1964а. Средневековый Крым. М.-Л.

Якобсон А.Л. 1964б. Армянский монастырь XIV века близ Белогорска в Крыму // *Историко-филологический журнал*. № 4. Ереван.

Якобсон А.Л. 1985. Закономерности в развитии средневековой архитектуры. Л.

Якобсон А.Л. 1983. Закономерности в развитии раннесредневековой архитектуры. Л.

Якобсон А.Л. 1987. Закономерности в развитии средневековой архитектуры IX-XV вв. Л.

Якобсон А.Л., Таманян Ю.А. 1992. Армянская архитектура в Крыму. Ереван.

Яшаева Т.Ю. 1994. Средневековый монастырь на мысе Виноградный // *Крымский музей*. № 4. Симферополь.

Stierlin H. 1998. Turkey from the Selçuks to the Ottomans. Köln.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО	Археологические открытия, М;
ЗООИД	Записки Одесского общества истории и древностей;
МИА	Материалы и исследования по археологии СССР, М.-Л.

Беляев Л.А., Глазунова О.Н. (ИА РАН)

МАРКЁРЫ ЗАПАДА: НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ НОВО-ИЕРУСАЛИМСКОГО МОНАСТЫРЯ

Два года назад, начиная работу над этим проектом Программы фундаментальных исследований РАН, мы оказались перед необходимостью начать с обзора обширной серии открытий, сделанных

при исследованиях в Ново-Иерусалимском монастыре. Эти материалы позволили под новым углом увидеть проблему соотношения преемственности и трансформаций и, одновременно, стали важным

шагом к сложению в России археологии финального Средневековья и начала Нового времени (Беляев, 2012в. С. 307-320). Представляется логичным, завершая работу, представить в итоговом сборнике те результаты, которые получены за истекшее трехлетие именно на этом направлении, предварительно коснувшись и других направлений нашего проекта.

Тема соотношения преемственности и трансформаций (индуцированных внутренней необходимостью или запущенных извне) как главного стимула прогресса имеет особое значение для истории России. То, что формирование единого государства, его расширение и отстраивание оказались основаны на постоянной работе механизма взаимодействия традиции с инновациями – одна из базовых особенностей русской культуры. В XIX в. эту реально существовавшую культурную дихотомию отчетливо осознали и отразили позиции западников и славянофилов в спорах о дальнейшей модернизации страны. Важно, что эта особенность – не плод дискуссий русских культурфилософов. Она имманентна механизму развития мировой цивилизации, а в отдаленной, слабо связанной коммуникациями с внешним миром России, её значение оказалось гипертрофированным. Даже социальные разломы XX в., чуть не погубившие страну, в значительной мере порождены изначальной разбалансированностью традиционной и инновационной составляющей, бурно нараставшей в течение XVIII-XIX вв.

Но до какой степени работа этого механизма свойственна средневековому и переходному периоду России? Отражен ли он в материалах Московского периода? Эти вопросы давно стоят перед историками материальной и художественной культуры. Нам представляется, что ответ может быть только положительным. Особый механизм восприятия трансформирующих импульсов на основе устойчивой культурной преемственности не только сложился на Руси гораздо раньше, чем наступила эпоха Петра I, когда ситуация конфронтации нового со старым обострилась. Его корни лежат на значительной хронологической и стадийной глубине, а становление заняло по меньшей мере полтысячелетия (XII-XVII вв.), определив не только ментальность русского человека позднего средневековья и сознание обеих «суперстрат» общества XVIII – начала XX вв., но во многом и социальную психологию советского периода, явственно продолжаясь в нас и наших современниках, невзирая на коренным образом изменившиеся условия, обеспеченные прогрессом западной цивилизации.

Конечно, изучение исторически сложившейся психологии народа – вне сферы наших исследований. Но дело в том, что именно археология (в том

числе, как сказали бы в XIX веке, «художественная археология») оказалась в состоянии обнаружить наглядные, убедительные следы работы особого механизма восприятия и усвоения «чужого», толкающего к ускоренному заимствованию и развитию элементов «лексики материальной культуры» при сохранении в сфере её «грамматики» общей стабильности, «своего» и традиционного.

Этот механизм имеет свои, пока немногочисленные, законы, которые выявились при детальном анализе в самых разных сферах. Прежде всего – в усвоении технологий и элементов иконографии с их последующим наследованием, превращением в традиционные и уже не осознаваемые как недавно заимствованные. Пример, давно ставший классическим – русская матрешка, возникшая посредством имплантирования профессиональными художниками «дизайнерской» куклы в среду крестьянской игрушки Центральной России (послужили прототипом японские модели, пасхальные яйца с подарком внутри или то и другое – в данном случае не так важно). Но этот пример относится к рубежу XIX-XX веков, он ясен нам, пусть и не до конца, благодаря обилию письменных и изобразительных источников. Однако для тех периодов, когда в документах и нарративах не отражали не только такие «мелочи», как изготовление игрушек, но и гораздо более серьезные вопросы (например, элементы народной традиции благочестия, детали церковной иконографии), – у историков культуры не так много шансов разглядеть рождение подобных гибридов, роль которых для развития образа русского народа в глазах иноплемеников и национального самосознания очевидна и не может быть переоценена.

Собрать доказательства работы национального механизма «консервативной трансформации» в области художественной археологии и тесно связанной с нею истории технологий – непростая задача, поскольку работать приходится с каждым элементом в отдельности, причем сам набор этих элементов не очевиден, они нуждаются в обнаружении, в выявлении, причем взятый след подчас оказывается ложным.

Мы уже пытались сформулировать наблюдаемые закономерности в работе механизма и определили для них терминологию. Так, механизму усвоения свойственна трехстадийность. На первом этапе импульс воспринимается целиком, но вносится в культуру прежде всего его носителями, которые только работают на русской почве, по обучению же остаются частью своей (восточной или западной – несущественно) культуры. На втором этапе из этой цельной картины активно отбирают элементы, пригодные для воспроизведения (их определяет

технологическая доступность; возможность примириться с чуждой иконографией или иной частью традиции – например, системой летоисчисления). Третий этап – время широкого распространения импульса, уже пригнанного к местным условиям, возможностям, вкусам (модам). Формальные особенности импульса могут при этом оказаться предельно размыты, а семантика в процессе усвоения утрачена или подменена новой.

Такое движение оказывается, по сути дела, попятным, это род возвращения к почве, на которой вызревают отнюдь не все семена. Дальнейшая судьба импульса зависит от общего развития государства: в ряде случаев его развитие прерывается изменившимися обстоятельствами и взглядами, часто даже усилием государственной воли, в других – он постепенно изживает себя, полностью сливается со средой или совсем уходит. Классический пример первого варианта наблюдаем в допетровской, московской традиции XIV-XVII вв. – это надгробные камни с их формами и декорацией, пережившие несколько периодов подобных трансформаций и, в конце концов, практически отмененные указом Петра I (Беляев, 1996). Отчасти тот же путь пройдут некрополи в церковных интерьерах, которые сохранятся до наших дней как своего рода рудименты традиции (в Архангельском соборе и др. памятниках: Беляев, 2011. С. 68-79.), но в массе получают оформление, отвечающее нормам западной традиции скульптурного надгробия (сюжет разобран в рамках программы и отражен в монографии о семейной усыпальнице князей Пожарских: Беляев, 2013а; в 2014 г. в развитие той же темы начаты исследования усыпальницы братьев Никитичей, основателей рода Романовых, в Новоспасском монастыре).

Хороший образец привлечения традиции с последующим угасанием в силу утраты семантики – иконография гробница Иисуса Христа и храма Гроба Господнего в резной каменной пластике Руси XIII-XVI вв. (Беляев, 2003. С. 482-512). Другой широко известный пример – тип шатрового храма, внесенный в пространство московской архитектуры в 1530-х гг. из Европы (Баталов, Беляев, 2013), переработанный и широко распространившийся в XVI в., но в XVII веке оказавшийся неприемлемым (форма сохранилась как завершение колоколен).

Другие примеры из области не столько археологии, сколько иконографии и истории архитектуры, наглядно показывают действие механизмов отбора, запасаения, вторичного использования имплантов, до поры до времени не оказавших воздействия на художественную среду, как церковь Вознесения в Коломенском (обращение к которой как к образцу отложили на четверть века), и особенно,

собор Высоко-Петровского монастыря, формы которого оказались востребованными примерно через два столетия (Беляев, 2010).

Подобные экскурсии разработаны в последние годы и для других больших общностей производства Московской Руси (благодаря в значительной степени поддержке в виде грантов РГНФ, программ ОИФН и Президиума РАН). Прежде всего они ведутся в области истории гончарства как базовой «индустрии» Средневековья (например: Glazunova, 2012. P. 143-140). Ее значение как цивилизационного показателя упало только после широкого и почти одновременного внедрения в быт металлов (чугунная, оловянная, медная посуда), стекла, фарфора и его деривата – фаянса.

Вторая абсолютно массовая область в «археологии потребления» – текстильные изделия, их изготовление (от производства тканей до шитья одежды и художественной вышивки) и торговля ими – также прошла этап детального изучения. Ее развитие ограничено сложностью лабораторного исследования и сравнительно немногочисленными примерами сохранения текстиля в культурном слое (см.: Ёлкина, 2011. С. 163-165 и др. работы автора).

Не меньшее значение имеют исследования развития керамики строительной – в этой области, как и в случае с текстильными изделиями, речь идет не только о технологиях, но и о своеобразном смысловом послании, которое в монументальной архитектуре, будь она культовая, дворцовая или фортификационная, всегда присутствует уже в силу статусного характера сооружений. В настоящее время разработана в основном тема знаков и надписей на кирпиче (Беляев, 2006. С. 67-88), и особенно полно, история изразцового производства, включая интерпретацию историко-культурного значения изделий (Баранова, 2011а; Она же, 2013).

Особую роль в археологии, изучающей механизмы трансформации в культуре Руси Московского периода, играют цельные, продолжающие существование и в наши дни, комплексы, сосредоточившие в своих стенах и культурном слое большой, хронологически структурированный и подчас соотнесенный с историческими событиями объем материальных носителей художественной и технологической информации. Этими комплексами являются не только и не столько города, сколько их церковные версии, крупные монастыри, такие как Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский, Соловецкий. Не менее интересными оказываются и малые обители, в том числе городские. Все они в настоящее время изучаются и дают материал для характеристики цивилизационных особенностей многих археологических общностей, включая бы-

товую керамику и текстиль, памятники некрополей и архитектурный декор (особенно изразцы).

Новый Иерусалим выделяется даже среди этих перспективных проектов. Он дал в период работы по программе исключительно яркий и свежий материал для наблюдения особенностей развития технологий, искусства и в целом духовной культуры Московской Руси. Не пытаюсь аккумулировать здесь весь материал огромных работ, заострим внимание на важном приеме анализа: выявлении индикативных элементов, маркирующих импульсы в процессе их имплантации. Это покажет, насколько значительно (в том числе в количественном отношении) и разнородно может оказаться пространство таких импульсов, огромное количество которых мы не наблюдаем в сохранившихся памятниках уже в силу того, что механизм усвоения избрал для них путь забвения: они не были приняты традиционной средой и почти мгновенно выпали из оборота, или даже не были до него допущены.

Ново-Иерусалимская археологическая экспедиция ИА РАН (с 2009 г.) изучила к настоящему времени тысячи квадратных метров, ввела в науку несколько десятков неизвестных ранее сооружений (в том числе производственных) и собрала обширные коллекции, включающие готовые предметы, заготовки, отходы производства (брак), инструменты и даже письменные свидетельства мастеров о своей деятельности, то есть образцы вещевой эпиграфики (предварительные публикации материалов: Беляев, 2012а. С.30-42; Беляев, 2012б. С. 23-30; Беляев Л.А., Глазунова, 2014. С. 341-350; Воронова, 2012а. С. 34-36; Воронова, 2012б. С. 53-58; Глазунова, 2012а. С. 68-77; Глазунова, 2012б. С. 31-33; Капитонова, 2012. С.42-52; Бадеев, Русаков, Майорова, 2012. С. 59-67).

Это позволило наглядно представить технологические процессы и прежде всего такие важные для Средневековья производства, как бронзолитейное (отливка колоколов) и керамическое (архитектурные изразцы, печная облицовка, бытовая посуда). Артефакты несут неожиданно много оригинальных иконографических композиций, что позволяет начать процесс оценки их генезиса. Наконец, открыты остатки архитектурных сооружений, воспринимавшихся в XVII веке как инженерные и функциональные новинки: «Колодец с ангелом» (который, видимо, работал как артезианская скважина), конструкции укреплений склонов и ограждение монастырской территории да, собственно, и части самого собора Воскресения. Все перечисленные элементы представляют очевидную амальгаму местной и европейской традиции, а в некоторых случаях демонстрируют прямой перенос на почву

Московии бытовых и художественных элементов Запада.

Остановимся на них в первую очередь. В контексте восприятия Московской культуры Нового времени интерес представляет столпообразный Скит патриарха Никона Богоявленская или Отходная пустынь и ряд связанных с ней находок. Сам вынос скита за ограду монастыря и размещение на искусственно созданном острове в старице р. Истра (Иордан) позволяет вспомнить о системе европейских сакро монте и кальвариев – ландшафтно-художественных «тематических парков» для паломников с десятками таких же отдельно стоящих небольших сооружений, игравших роль смысловых узлов в достаточно развитой системе евангельской (подчас и библейской) топографии. Открытый в скиту необычный элемент устройства быта, ретирада (подземный канал со сводом из белого камня с восточной стороны «столпа»), то есть гигиеническое устройство для отвода нечистот, в XVII в. редкое, также позволяет задуматься о несвойственном столь раннему времени комфорте, возможно, европейском. В целом, этот необычный для русского монастырского строительства объект не раз заставлял задуматься, например, над массовым вторичным использованием надгробий XVI-XVII вв. в кровле (см.: Горячева, 2006. С.180-186; об архитектуре скита: Горячева, 2002. С. 23-36).

Впрочем, архитектурные и ландшафтно-семантические особенности скита еще можно пытаться объяснить через опыт других больших монастырей (так, островные скиты особенно распространены в архипелаге Соловецкого монастыря, а изобретения тамошних монахов позволяют привлечь немало технических аналогов). Однако в ретираде обнаружен и предмет, бесспорно доставленный с Запада, причем не в готовом виде, а как выполненное на месте экспериментальное керамическое изделие, неизвестное русской традиции (Рис. 1).

Это глазуванная емкость, копирующая форму церковной книги со всеми присущими ей атрибутами (корешком, панелями крышек и даже застегками), интерпретируемая как фляжка-обманка (описание и первичная интерпретация: Беляев, Глазунова, 2014. С. 341-350; Беляев, 2014; позже в одном из горнов найдены фрагменты еще одной, очень похожей, «книги» – возможно, бракованной). Она несет аббревиатуры, указывающие, видимо, на производство изделия в Воскресенском монастыре, возможно, по заказу патриарха или даже им самим (или при его участии). Образцы «чертовых служебников» и «водочных Библий» (традиция их изготовления жива на Западе до сего дня), очень похожих на истринский образец и выполненных в

технике каменной массы («рейнский каменный товар») родилась в XVI веке и наиболее распространена к середине XVII столетия, особенно в Голландии и Фландрии, Германии, Швейцарии и Венгрии (Köster, 1975. S. 136-150, библиография; Schäfke, 1990. S. 328).

Появление в Новом Иерусалиме фляжки, имитирующей священный предмет, наглядно выражает новый тип отношения к действительности, где шуточное отношение к книге сочетается с игрой слов по поводу *spiritus vini* или не менее сакральной субстанции — крови Христовой. Создатель и/или владделец фляжки демонстрирует принятие новых правил, свойственных Новому времени и аналогичных «играм разума», которые отражены и в русской силлабической поэзии второй половины XVII в. Они апеллируют к цепи архетипических оппозиций, противопоставляющих благочестивое и греховное, труд и безделье. Их бесчисленные варианты были в употреблении в Могилянской академии Киева, да и в монастырях Москвы, где в XVII в. было уже немало выходцев из Восточной Европы. Эти уникальные для России находки прямо связаны со смеховой культурой Западной Европы и напоминают о близкой уже эпохе Петровских реформ с ее «всешутейшим собором».

Не менее яркие примеры откровенного «импорта иконографии» обнаруживаются в области декоративной архитектурной керамики. Таков небольшой изразец с несколько вытянутой лицевой поверхностью, узкой рамкой и утопленным относительно нее полем, в котором простейшими цветами эмали обозначена живая композиция: красноватого цвета рак, наполовину вскарабкавшийся на лист кувшинки (вариант: блюдо в форме раковины, зеленоватого цвета), плавающий на темно-синей «воде». Эту очень реалистическую сценку только некоторая схематическая грубость работы отличает от штудий живущих в реках созданий, столь свойственных Бернару Палисси и его школе «рустики». Конечно, символику «Рака» можно раскрыть через один из водных знаков Зодиака или толкование Евангелия, в котором это земноводное выступает символом самого Иисуса Христа и Воскресения, сбрасывания «ветхого Адама». Но в Московии выбор сюжета и манера исполнения остаются без объяснения, представить себе подобное изделие вне строительной площадки Нового Иерусалима крайне трудно. Этот случай нуждается в детальной проработке и сопоставлении, например, с рельефными изображениями раков, встречающихся на изразцах белорусских земель Великого княжества Литовского, но в качестве маркера европейского стиля важность этого изделия несомненна (Рис. 2).

Участки производства изразцов, включая зоны выброса брака в Новом Иерусалиме, изобилуют находками, непосредственно связанными с участием европейски обученных мастеров (Рис. 3а, б). В их числе — знакомые Московии, но обладающие западными стилевыми чертами керамические иконы. Нужно отметить, что иконы из керамики, так же как и каменные монументальные образы, хотя и встречаются в России в XV-XVII вв., но очень редки и всегда связаны с работой пришлых мастеров. Примерами может служить серия поливных рельефных панно из Старицы и Дмитрова XVI века. Однако затем этот тип икон не воспроизводится до середины XVII века, и обнаруженные в Новом Иерусалиме крупные изразцы, на которых изображен лик Иисуса Христа, — несомненное нововведение (Рис. 4).

Этих икон, видимо, было сделано немного. Собранные фрагменты принадлежат по крайней мере к трем «типовым» (хотя оттиснутым в разных формах) образам Христа (Пантократор?) и к одному с изображением Распятия; сочетание обоих типов в композиции «Христос во Гробе/Не рыдай мене, мати» возможно, но не особенно вероятно. Хотя сам по себе образ Пантократора, как и Распятие, имеет общехристианское распространение, манера исполнения с предельной убедительностью подтверждает именно западное происхождение мастера или мастеров: в экспрессивном и достаточно высоком рельефе ярко выражены черты галичско-волынской (белорусско-украинской) школы иконописи XVII – XVIII вв., в частности, преувеличенно большие уши и роскошно вьющиеся пряди волос (см.: Беляев, 2014. С. 48-61) (Рис. 5).

Возможно, что эти образы предназначались для вставки в каменные оклады на внешних стенах храмов или над воротами (подобные примеры известны в украинских памятниках конца XVII – начала XVIII в., а сами по себе надвратные иконы хорошо известны и на Руси). Помещение их в иконостасы маловероятно — во всяком случае, следует подождать появления и других сюжетов, выполненных в керамике. Рамы керамических иконостасов, как известно, в Новом Иерусалиме довольно многочисленны, и в их декоре встречаются символы, близкие иконным (например, ангельские лики). Как показывает археология, далеко не все типы керамических иконостасов сохранились, и среди находок есть достаточно необычные примеры.

Следует обратить внимание и на включение в эти иконостасы дат: на сохранившихся рамах их нет, неизвестны датированные изразцы и в материале Московского периода в целом. Однако изразцы с датами вполне обычны в практике Западной Европы, в том числе — в восточных и южных землях

Речи Посполитой. В материале Нового Иерусалима уже известны по меньшей мере две колонны иконостаса, где под капителью, над роскошной гирляндой из цветов и плодов, проставлен кириллическими буквами год: ЗР ЧΘ г[о]. Знаки 7000 и 100 отнесены на правую сторону колонки, так что при чтении слева направо получается: ЧΘ г (гирлянда) ЗР; это можно объяснить тем, что при нарезке формы мастер пытался учесть зеркальный характер будущего оттиска, но не сумел добиться верной последовательности). Над четырьмя буквами титло, над «глаголем» его нет, так что это не цифра, а аббревиатура от слова «году». Дата – 1690 (менее вероятно: 1689) – хорошо соотносится с историей монастыря: это годы завершения второго этапа строительства и возведения новой каменной стены. Вероятно, были выполнены и все интерьерные работы по иконостасам, в силу чего одна из колонок с датой осталась среди архитектурных элементов, не извлеченных после обжига из горна и не прошедших стадию глазурования (Рис. 6б).

В связи с этой находкой стоит напомнить о том, что в Новом Иерусалиме, как ни в одном другом монастыре или храме России, широко использованы памятные, учительные и иные надписи, как традиционно высеченные на камне или написанные аль фреско (такой фреской обведен по кругу алтарь Воскресенского собора – она расчищена реставраторами в 2014 году), так и изразцовые, которые образуют начало короткой, но вполне самостоятельной линии монументальной эпиграфики (в числе образцов есть и рельефные буквы на плоскости изразца (вероятно, иконного), и даже граффито гончара на одной из мисок для разведения эмали перед обжигом (читается: «Зделал ... плошку»)) (Рис. 6а). Само по себе это не следует воспринимать как «западный след» – надписи в древнерусских храмах, как и в византийских, составляли важную часть программы любого убранства, а граффити на кирпичах, посуде и других гончарных изделиях встречаются в Московии много раньше XVII в.

Но в самом содержании монументальных текстов явно отражено промежуточное состояние культуры москвичей второй половины XVII в., уже знакомящихся с традициями западной церковной учености, в том числе – с сакральной хронологией. Так, известная посвятельная надпись в ротонде Воскресенского собора («Отдадим образу прообразное...») включает сразу две даты: и от Сотворения мира, 7174 (– 5509 = 1665), и от Воскресения Христова, 1632 (+ 33 = 1665), хотя обе написаны кириллицей (реконструкция надписи: Баранова, 2002. С. 133–139; Она же, 2011б. С. 81–87; Она же, 2011в. С. 195–208, см. также общие работы этого

автора). Вести хронологию от Воскресения Христа не было принято в России, но ее использовали иногда в католической Европе, в том числе Центральной и Восточной. Ново-Иерусалимский пример предстоит рассмотреть на ее фоне в будущем.

Аналогичным образом ждут проработки технологические элементы производственных строительных площадок 1650-60-х и 1690-х годов. От этих конструкций сохранились части, изначально заглубленные в землю, однако для таких сооружений как обжигательные горны для изразцов и других керамических изделий, а также для отливки колоколов, это означает возможность реконструкции технологического процесса и сопоставления с другими примерами.

Горны близки по конструкции: в плане прямоугольные, со сводчатыми топочными нижними камерами, из которых в обжигательную камеру вели небольшие квадратные продухи; топили горны через арочный затоп. Но они не идентичны. В одном случае горн рубежа XVII-XVIII вв. стоял, видимо, на открытом воздухе, под навесом, в глубокой яме с приямком для спуска к топке, и имел небольшую площадь. Другой горн несколько больше и сильно вытянут по оси, но приямок неглубок и напоминает благоустроенный дворик, огражденный кирпичными стенками с каменным порогом; этот горн мог работать в помещении(?) Солодовых палат, под которыми обнаружено много и других печных сооружений технического назначения, включая кузнечную печь и ряд круглых печей с неясной функцией (надворные варочные печи?). Наконец, в третьем случае крупный горн включает две обжигательные камеры, соединенные в единую конструкцию (разделены небольшой стенкой), с общим уровнем двух же отдельных топочных камер. Эта конструкция довольно высока и врезана в склон холма за оградой монастыря (две предыдущие стояли внутри, в северной части монастыря, на ровной поверхности), так что доступ к топкам был со склона, а по сторонам горна имелись ямы для золы и бракованных изделий. К этому горну со временем пристроили еще один, гораздо меньшего размера, занявший место прежней ямы для отходов (Рис. 7, 8, 9).

Впервые, сколько нам известно, при горнах обнаружен печной припас для размещения изразцов в обжигательной камере (подставки-рогульки и треугольные клинышки из обожженной глины), а также куски изначально сырой глины, которой изделия укрепляли перед обжигом, а затем выбрасывали (Рис. 10-11). В слоях горнов встречено несколько глиняных матриц для оттиска рельефных изображений на изразцах и специальные штампы-патрицы для оттискивания в глине более сложных

изображений, обычно фигурных – это как бы небольшие части рельефных изразцов, обрезанные еще по сырому, точно по контуру композиции, или выточенные из уже обожженных пластин. Исключительный интерес представляет возможность проследить ход экспериментов, направленных на выработку наиболее экономной технологии, приспособленной к местным, российским источникам материалов, и в то же время позволяющей добиться высокого художественного эффекта. Так, для выполнения достаточно высоких рельефов на архитектурных изразцах, требовавших огромного количества качественной глины, было постепенно подобрано сочетание глин, при котором только лицевая часть пластины оттискивалась из дорогой беложгущейся «гжельской» глины, а тело пластины и румпа – из обычной красной. Материала для технологических сравнений в России XVII- XVIII вв. крайне мало, и необходимость привлечь аналогичные горны Европы, где они известны по крайней мере с XIII в., очевидна (Eames, 1992. P. 11-17).

Показательно, что подобным образом удалось характеризовать и бронзолитейный комплекс («колоколенную яму») – через сравнение с гравюрами к «Энциклопедии» Д'Аламбера и Дидро. Это двухкамерное сооружение, формовочная камера которого образована двумя циркульными кирпичными стенами, концентрически расположенными. Внешняя ограждала камеру от грунта, а внутренняя использовалась как основание глиняного формовочного «болвана» и одновременно небольшой печи, на которой сушили и обжигали глиняную модель. Основание формовочной камеры было очень прочным (четыре слоя монолитной кирпичной кладки), в его центре сохранилось отверстие со следами сгоревшего деревянного шеста, на котором крепился и вращался шаблон для придания поверхности колокола необходимой кривизны. Расплав бронзы заливался через край внешней стенки из соседней плавильной камеры – от нее исследован только квадратный высокий колодец и уходящий далее, под более поздние постройки, сводчатый коридор, ведущий в топочное помещение. В заполнении содержалось много древесного угля, прокаленного песка и глины, выплески бронзы. Интересно, что колокольная мастерская располагалась всего в нескольких десятках метров от ротонды собора, напротив его колокольни (с юга). Вероятно, учитывалась необходимость транспортировки колоколов и их развески по мере возведения самой колокольни (Рис. 12).

Найдены небольшие фрагменты готовых колоколов, в том числе один не отполированный (сырье для переплавки или остатки бракованных изделий). Наибольший интерес представил, однако, более крупный фрагмент верхней трети колокола, на котором

сохранилась часть рельефной иконной композиции, определяемой как «Сошествие во Ад» (Рис. 13). Это единственная версия образа Воскресения Христова, воспроизводимая в православной иконографии. До нас дошла примерно четверть (правая нижняя) композиции: три Жены-мироносицы и/или выводимые из Ада женщины, над которыми видна часть фигуры Иоанна Предтечи, и в центре нижняя половина образа Иисуса, попирающего врата Ада (изображены очень условно). Вся композиция заключена в простую рамку-картуш, в свою очередь охваченную снаружи лавровым венком. Учитывая значительный вес фрагмента (22 кг), сюжет иконы и то, что иконографические композиции на колоколах – явление сравнительно позднее, можно допустить, что перед нами часть иконы самого крупного из первого набора колоколов, отлитых в монастыре еще при Никоне, вероятно, Большого Воскресенского колокола (около 500 пудов). Рисунок иконы, несомненно, барочный по стилю; поиск конкретных аналогов продолжается.

Археологический обзор вновь появившихся «маркёров Запада» важен для культурно-исторической интерпретации замысла Нового Иерусалима не только как увеличивающий их объем. Совершенно очевидно, что они помогают понять роль патриарха Никона как заказчика и его исполнителей как соавторов концепции, не только владевших европейскими технологиями и работавшими в западной иконографической традиции, но и знакомых с практикой монашеских орденов (особенно активных миссионеров-иезуитов и «кустодиев» Святой Земли францисканцев – создателей традиции сакро монти и кальвариев). Важнейшей задачей становится и архивное изучение биографий этих мастеров, часть которых известны нам по именам (изредка – вместе с городом или страной происхождения). Такое изучение требует, конечно, тесного сотрудничества с историками Белоруссии, Украины, Литвы, Польши (возможно, и более дальними – Германии, Нидерландов, Франции). Известным шагом в этом направлении следует считать саму постановку задачи изучения концепции Нового Иерусалима как особого рода международного проекта середины XVII века, уже заявленную нами в ряде докладов и тезисов (Беляев, 2013б. С. 5-6; Беляев, Археология Нового Иерусалима и францисканская идея в Центральной Европе XVII века // Доклад на Лазаревских чтениях 2014 года. МГУ).

ЛИТЕРАТУРА

Бадеев Д.Ю., Русаков П.Е., Майорова Е.В. 2012. Старый деревянный дворец и Каменные палаты Ново-Иерусалимского монастыря: археологические исследования 2009-2011 гг. // РА. № 4.

- Баранова С.И. 2002. Керамическая надпись из Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря // Никоновские чтения. М.
- Баранова С.И. 2011 а. Русский изразец. Записки музейного хранителя. М.
- Баранова С.И. 2011б. Керамическая надпись из ротонды Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря // Вестник РГГУ. Вып.12. М.
- Баранова С.И. 2011в. Керамические «надписи» в декоре московских храмов XVII в. // Российская археология № 2. М.
- Баранова С.И. 2013. Московский архитектурный изразец XVII века в собрании МГОМЗ. Каталог. М.
- Баталов А. Л., Беляев Л.А. 2013. Церковь Вознесения в Коломенском: архитектура, археология, история. М.
- Беляев Л.А. 1996. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы и Северо-Восточной Руси XIII – XVII вв. М.
- Беляев Л.А. 2003. Пространство как реликвия: о назначении и символике каменных иконок Гроба Господня // Восточнохристианские реликвии. М.
- Беляев Л.А. 2006. Маркировка древнерусского кирпича как культурно-историческое явление // София. Сборник статей к 70-летию А.И. Комеча. М.
- Беляев Л.А. 2010. Древние монастыри Москвы (конец XIII – XV вв.) по данным археологии. М.
- Беляев Л.А. 1911. Архангельский собор и боярские усыпальницы XVI-XVII веков // Архангельский собор и колокольня «Иван Великий» Московского Кремля. 500 лет. Т. II. М.
- Беляев Л.А. 2012а. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь как памятник археологии начала Нового времени // РА. № 4.
- Беляев Л.А. 2012б. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь: археология и вопросы реставрации // Реставрация и исследования памятников культуры. М.
- Беляев Л.А. 2012в. Историческая археология России Нового и Новейшего времени: шаг к формированию // 1150 лет Российской государственности и культуры. Материалы к Общему собранию РАН, посвященному Году российской истории (Москва, 18 декабря 2012 г.). М.
- Беляев Л.А. 2013а. Родовая усыпальница князей Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля: 150 лет изучения. М.
- Беляев Л.А. 2013б. Новый Иерусалим и другие эталонные памятники Нового времени в России // От Смуты к Империи. Новые открытия в области археологии и истории России XVI-XVIII вв. Тезисы докладов научной конференции. М.
- Беляев Л.А. 2014а. Керамические иконы Христа в Ново-Иерусалимском монастыре. Предварительная публикация находок 2014 года // В созвездии Льва. Сборник статей по древнерусскому искусству в честь Льва Исааковича Лифшица. М.
- Беляев Л.А. 2014б. Фляжка из Нового Иерусалима и ее европейские параллели // Живая старина. № 4 (в печати).
- Беляев Л.А. 2015. Встреча на Истре: археология Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря // Монашество как трансконфессиональная культура. М.-Киль (Германия) (в печати).
- Беляев Л.А., Глазунова О.Н. 2014. Вино и чернила: керамические «книги» из Подмосковья (предварительная публикация) // «По любви, в правду, безо всякие хитрости». Друзья и коллеги к 80-летию Владимира Андреевича Кучкина. М.
- Воронова О.А. 2012. Колоколитейный комплекс на территории Ново-Иерусалимского монастыря // Реставрация и исследования памятников культуры. М.
- Воронова О.А. 2012. Фундаменты Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря // РА. № 4.
- Глазунова О.Н. 2012. Изразцы в культурном слое Нового Иерусалима: планиграфия, статистика, атрибуция // РА. № 4.
- Глазунова О.Н. 2012. Печные изразцы Ново-Иерусалимского монастыря по данным археологии // Реставрация и исследования памятников культуры. М.
- Горячева М.Ю. 2002. Отходная пустынь патриарха Никона: Материалы исследований // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим»: Сборник статей / Составитель и научный редактор Г. М. Зеленская. М.
- Горячева М.Ю. 2006. Надгробие в архитектуре. Гульбище скита Патриарха Никона в Новоиерусалимском монастыре // Русское средневековое надгробие XIII-XVII века. Материалы к своду. Вып. 1. М.
- Ёлкина И.И. 2014. Текстиль в России XVI-XVIII веков (археология и реставрация) // Материалы IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Т.3. М.-Казань.
- Капитонова М.А. 2012. Архитектурно-археологическая стратиграфия и конструкции ограды Ново-Иерусалимского монастыря // РА. № 4.
- Glazunova O.N. 2012. Lithuanian's roots in the pottery of the Western suburbs of Moscow of the 17th and 18th centuries // Archaeologia Baltica. Klaipeda. T.16.
- Eames E. 1992. English Tilers. L.
- Köster K. 1975. Schnapsbibeln und Teufelsgebetbücher // Festschrift für Peter Wilhelm Meister zum 65. Geburtstag am 16. Mai 1974. Hamburg.
- Schäpfke Werner. 1990. Zum Lesen ungeeignet // Archäologie in Nordrhein-Westfalen. Geschichte im Herzen Europas Koln.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- | | |
|--------------|--|
| Вестник РГГУ | Вестник Российского государственного гуманитарного университета, Москва; |
| РА | Российская археология, Москва. |

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ВООРУЖЕНИЯ В ПОГРЕБАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ ТАРСКИХ ТАТАР: К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРЯДА (ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ)

Погребальная обрядность является одним из важнейших элементов культуры, поскольку связана с решением самой великой и страшной загадкой человеческого существования – переходом в смерть. Данное обстоятельство обуславливает, с одной стороны – устойчивость погребальных ритуалов, а с другой – их синкретичность: они обобщают тот априорный опыт социума, который в принципе не может быть верифицирован, но в то же время абсолютно необходим для организации остальных социальных практик. В самом схематичном виде погребальный обряд может рассматриваться как комплекс действий, реализация которых призвана решить две главные задачи – во-первых, отправить душу умершего в то место, где ей надлежит пребывать, а во-вторых, защитить оставшихся в живых от ее вредоносного воздействия. Серьезность решаемого вопроса требует минимизации фактора случайности при совершении каждого из действий, поэтому вообще присутствие любого из элементов обрядности обусловлено существованием других элементов. В рамках этой мифоритуальной социальной практики применение привычных бытовых предметов наделяет их специфической семантикой, отличной от той, которая определяет их смысл в хозяйственно-бытовой, практически-прикладной сфере. Следовательно, есть все основания полагать, что изучение черт, характеризующих использование вещей в погребальных ритуалах, позволит выявить путь интерпретации семантического кода обряда. Особое значение такой подход имеет для археологии в силу специфики ее источника: для реконструкции духовной составляющей ритуала исследователь вынужден довольствоваться разрозненными, зачастую фрагментированными материальными уликами. В настоящей работе мы попытаемся выявить некоторые особенности использования в погребальном обряде коренного населения Тарского Прииртышья эпохи позднего средневековья такой категории предметов, как вооружение, опираясь на археологические материалы. Рассматриваемый регион в указываемую эпоху являлся контактной зоной таежного, северного, и лесостепного, южного, миров связанных, соответственно, с угорскими и тюркскими культурными традициями. Как полагают исследователи, итогом

этого взаимодействия стало формирование одной из этнотерриториальных групп сибирских татар – тарских, которое завершается в основном в начале XVII века (Томилов, 1981).

Использование оружия в погребальных ритуалах, отмеченное уже в эпоху неолита, можно рассматривать как один из наиболее распространенных архетипов, о чем свидетельствуют находки предметов вооружения или их остатков в могилах различных археологических культур. Однако археологические материалы, подтверждая сам факт применения оружия при совершении погребений, чаще всего не дают ответа на вопрос, в каком качестве оно употреблялось. При интерпретации этой детали обряда используют, как правило, две концепции, доминирующие в современной науке:

1) Трансцендентного функционализма, согласно которому оружие необходимо умершему в другом мире для использования в тех же целях, что и в этом. Такие представления могли сопровождаться специальными обрядами, призванными «перевести» предмет в потусторонний мир: сожжение, повреждение и др., что нередко фиксируется в археологических остатках.

2) Социальной семантики, по которой предметы вооружения должны отражать общественное положение человека при его жизни, определенные заслуги и достижения. В ритуале эти представления могли отражаться двояко – использованием богатых, парадных образцов, или, напротив, вотивных моделей, непригодных в реальной жизни, но вполне способных служить знаком-атрибутом. Оба эти объяснения находят свое подтверждение в данных этнографии, а потому могут считаться достаточно убедительными и обоснованными. Кроме того, в одном и том же случае могут действовать и обе версии одновременно.

Данные этнографии показывают бытование подобных обрядов у многих народов, в том числе и сибирских, отмечая при этом, что в одной и той же культуре, в одно и то же время предметы вооружения могли выступать в различных ипостасях. Барабинские татары, например, помнят о существовании в прошлом обычая хоронить умершего в лучшей одежде, с луком и кинжалом, что должно было отражать его прижизненный статус (Очерки

культурогенеза... , 1994. С. 352). Существовал обычай «откупать» землю для покойного, особенно если человек умирал не на своей земле, для чего могли использоваться, по этнографическим данным, монетки или топор (Очерки культурогенеза... , 1994. С. 357), который выступал в этом случае в роли жертвы. Оружие могли использовать и с магическими целями – для защиты живых от вредоносных влияний умершего, от посягательств его на души родственников и т.д. Многие народы (ханты, эвенки и др.) повреждали оружие, помещаемое в погребальную камеру, для того, «чтобы покойным мог им пользоваться» (Очерки культурогенеза народов Западной Сибири, 1994. С. 369). Ритуальный смысл данного действия очевиден: оружие использовано в качестве сопроводительного инвентаря, оно посылается покойному в иной мир, и в соответствии с законом зеркальности того мира должно подвергнуться порче (то, что цело здесь, там повреждено, и наоборот). Таким образом, существует достаточно оснований полагать, что помещение в могилу оружия могло не только предназначаться для дальнейшего использования в мире ином, демонстрировать социальную принадлежность человека при жизни, но и выполнять магические функции. Разумеется, простая экстраполяция этнографических данных на археологические материалы недостаточна для выяснения роли и специфики использования предметов вооружения в погребальном обряде этнических групп, не доступных непосредственному наблюдению. Приблизиться к решению поставленной задачи, как нам представляется, позволит принцип «герменевтического круга», входжение в который может быть обеспечено комплексным использованием археологической и этнографической информации.

Источниковую базу исследования составили коллекции могильников Черталы – 3,4, Чеплярово – 27, Окунево – 7, Бергамак – 2, Кыштовка – 1, 2, Садовка – 2, 4, расположенных на р. Тара – правом притоке р. Иртыш, которая является своеобразным рубежом ландшафтных зон: правый берег – южная тайга, левый – северная лесостепь. Перечисленные памятники, за исключением Окунево – 7, расположены на правом берегу реки. Почти все использованные материалы уже публиковались ранее, что позволяет избежать подробного описания привлекаемых комплексов (Молодин, 1979, Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, Матющенко, Полеводов, 1994, Матющенко, 2003). Нами изучены почти 600 погребений, датировка которых в целом укладывается в рамки конца XVI – XVII веков. Некоторые предварительные выводы, полученные при анализе ряда упомянутых комплексов, уже публиковались нами

(Герасимов, 2008. С. 443-445; Герасимов, 2009. С. 138-144; Герасимов, 2008. С. 274-278).

Понятие «предметы вооружения», используемое в настоящей работе, охватывает следующие категории инвентаря: наконечники стрел, луки, ножи, топоры. Строго говоря, все они являются полифункциональными орудиями, поэтому их нельзя рассматривать исключительно как предметы вооружения. В то же время следует учесть, что и нож, и топор, и стрела обладают способностью наносить раны, расчленять целое и превращать таким образом живое в неживое, что семантически и является основной функцией оружия. Кроме того, как нам представляется, эта номенклатура артефактов соответствует реальному положению дел: фольклорные богатыри используют такой же набор. Вероятно, возможно выделение групп ножей по гендерным критериям, однако это не входит в круг наших задач на настоящем этапе исследования, поэтому ножи мы рассматриваем как единую группу артефактов, наделенную гипотетически общим семантическим смыслом.

В этнической и культурной истории сибирских татар рассматриваемая эпоха занимает важное место. Культура населения Прииртышья подвергается значительной трансформации, в материальной сфере – под влиянием русской, принесенной сюда переселенцами из-за Урала, а в духовной – ислама, носителями которого являлись казанские татары и выходцы из Средней Азии. Результатом стала исламизация коренного населения, повлекшая значительные изменения как прагматики, так и семантики погребального ритуала. Этнографии не удалось зафиксировать не только самого ритуала с использованием предметов вооружения, но даже памяти о его бытовании. Таким образом, археологические данные являются основным свидетельством применения оружия в погребальных практиках тарских татар до принятия ими ислама.

Для ответа на вопрос о возможности и особенностях использования предметов вооружения в погребальном ритуале следует подробно рассмотреть особенности расположения их в пространстве могил. В принципе, пространство могилы сакрально, ибо оно представляет собой измерение иного мира, мира мертвых (некротферы). Поэтому внутри его действуют определенные закономерности, которые накладывают отпечаток на действия людей при совершении ритуала.

Охарактеризуем присутствие предметов вооружения в могилах рассматриваемых комплексов с учетом особенностей их расположения в пространстве погребения.

Садовка – 2. В составе погребального инвентаря присутствует сабля, разломанная на куски вме-

сте с ножнами и размещенная в ногах умершего. Расположение некоторых фрагментов, позволяют предположить, что обломки сабли были помещены в могилу после тела (Молодин, Соболев, Соловьев, 1990. С. 117).

Садовка – 4. Из общего числа погребений доля захоронений с предметами вооружения составляет 20%, а среди инвентарных ~ 35%. Судя по расположению в могильных ямах, предметы были уложены без предварительной порчи и с учетом местоположения в снаряжении живых. В одном случае (к.3 п.1) положение находок, в том числе колчанного крюка, позволяет предполагать, что стрелы были уложены в могилу в колчане (Молодин, Соболев, Соловьев, 1990. С. 134-138).

Кыштовка – 1. В этом некрополе доля могил с оружием составляет 55%, а если учесть степень сохранности комплексов, то этот показатель возрастет до 80%; состав комплекса включает железные и костяные наконечники стрел при численном преобладании первых, ножи, топор. Характеризуя размещение предметов вооружения в погребальной камере, следует отметить, что какая-либо стандартная схема отсутствовала, но прослеживается тенденция тяготения предметов к области ног. В одном случае нож был обнаружен в насыпи могилы, но поскольку отмечены следы ограбления, остается неясным, была ли находка зафиксирована «in situ», или она перемещена грабителями. Любопытной представляется и находка в могиле 1 кургана 8 бронзового наконечника с костяным держателем и обломка костяного, расположенных в районе грудной клетки, в то время как остальной набор размещен в ногах погребенного. В одном случае (мог. 1 кург. 5) костяной наконечник стрелы лежал на голеностопных суставах поперек ног, а в мог.1 кург. 6 – у левого предплечья острием вверх (Молодин, Соболев, Соловьев, 1990. С. 123-128).

Бергамак – 2. Из общего числа могил предметы вооружения обнаружены в 16 захоронениях, что составляет 20 %, а с учетом возможного культурно-хронологического разрыва этот показатель возрастает до 45% от их общего числа. Номенклатура их обычна: ножи, наконечники стрел, топоры; выделяются лишь два предмета: палаш (мог. 33) и копье (мог. 41), причем последнее было воткнуто во втулку кельта, прислоненного к стенке могильной ямы в головах погребенного. В мог. 69 наряду с расположенными компактной группой у правой руки костяными наконечниками стрел найдена серебряная копейка Алексея Михайловича (Тихомиров, 2000. С. 23), что позволяет предполагать ее датировку не ранее второй половины XVII века. Следует отметить два случая использования предметов воору-

жения как магических артефактов: в мог. 35 нож найден в насыпи, а в мог. 40 – на деревянной плахе, перекрывавшей могильное пятно. Кроме того, в некоторых могилах положение наконечников позволяет предположить, что стрелы были помещены в яму в качестве жертвоприношения или поминального дара. Возможно, заслуживает упоминания и помещение в могилу обломка железного ножа (мог. 33), хотя остальные предметы не имеют следов умышленной порчи (Корусенко, 2003. С. 21-41).

Окунево – 7. Из общего количества раскопанных к настоящему времени погребений этого многослойного памятника предметы вооружения обнаружены в 11 могилах, что составляет 15%, или 44% с учетом безынвентарных захоронений. Среди найденных предметов выделяется только находка панциря (мог. 267), во всех остальных случаях набор не отличается от остальных могильников: наконечники стрел, ножи, топоры. В одном случае помещенный в погребение нож был сломан (м. 260), единичны случаи обнаружения в насыпи могил ножа (м. 220) и топора (м. 267). Внимания заслуживает, на наш взгляд, помещение бронебойного наконечника стрелы в женское погребение (м. 33). Судя по его расположению в могиле, стрела была помещена туда после тела острием вверх, к черепу. Интересно так же размещение предметов вооружения в могиле 267: погребенный был уложен на железный панцирь, у его левой руки лежал нож, а вдоль левой ноги – наконечники стрел и детали колчана. Пять наконечников лежали плотной группой остриями вверх, а остальные – по одному-два остриями вниз на всем протяжении от тазобедренного сустава до стоп костяка (Матющенко, 2003). Учитывая разную глубину залегания указанных находок, можно предполагать следующий порядок их помещения в могильную яму: вначале был уложен колчан с пятью костяными наконечниками стрел, причем в перевернутом виде, а затем были брошены несколько стрел с железными и костяными наконечниками.

Кыштовка – 2. Самый представительный комплекс как по количеству вскрытых погребений, так и по степени изученности: это единственный памятник рассматриваемого времени в Тарском Прииртышье, раскопанный полностью. Вскрыто 140 насыпей, содержащих 145 захоронений, большинство из которых содержали различный инвентарь. Предметы вооружения содержатся в 64 могилах, что составляет 45%; при учете безынвентарных комплексов этот показатель становится еще выше. Ни по составу, ни по особенностям расположения оружия в могильных ямах он не отличается от вышеописанных – здесь встречены топоры, ножи, на-

конечники стрел тех же типов. В ряде случаев в могилах одновременно присутствовали серебряные копейки Алексея Михайловича и предметы вооружения (кург. 98. мог. 1; кург. 124, мог. 1) (Молодин, 1979).

Чеплярово – 27. Предметы вооружения обнаружены только в пяти погребениях из 100, исследованных раскопками. Состав инвентаря, типы и принципы размещения его в могилах в целом идентичны вышеописанным памятникам. Следует отметить случай обнаружения в мог. 36 серебряной копейки Алексея Михайловича и предметов вооружения – ножа и топора. Обращает на себя внимание и необычное расположение последнего: он был воткнут в дно могилы у левого локтя и перекрыт сверху берестяной крышкой, или помещен в берестяной футляр.

Черталы – 3,4. Из числа исследованных погребений предметы вооружения зафиксированы в 9 захоронениях, что составляет 30 %. Это, как и в других случаях, ножи, топоры, наконечники стрел. Следует отметить, что практически все ножи имеют повреждения, отражающие ритуал «убийства» вещи.

В культурах многих народов, как традиционных, так и современных, оружие часто используется не только по его прямому назначению, в качестве инструмента войны, но и как магический артефакт в ритуалах перехода. Символический удар мечом в культуре европейского средневековья переводил молодого сквайра в рыцари; в древних Афинах юноша получал меч и щит, становясь гражданином полиса и принимая на себя обязанности по его защите. Материалы фольклора разных народов также свидетельствуют о важной роли оружия при переводе в иной социальный статус. В хантыйской сказке лук помогает мальчику получить имя (Старик Лампак... С. 138); русский Илья Муромец получает от Святогора меч, знаменующий его переход в статус богатыря (Шуклин, 2001. С. 144, 297).

Можно привести и другие примеры использования оружия как медиатора при переходе человека из одного состояния в другое, в том числе и в погребальном обряде – ритуале перевода человека из мира живых в мир предков, в мир мертвых. Традиция эта имеет глубокие корни и распространение в различных, не связанных друг с другом культурах, что позволяет говорить о ее конвергентности. Археологические находки свидетельствуют, что уже в эпоху неолита оружие отправлялось вместе с воинами и охотниками в последнее путешествие. Египетских фараонов и китайских императоров сопровождали целые отряды воинов, полностью экипированных и вооруженных, хотя и вотивным

оружием. В бронзовом веке обычай сопровождать умерших предметами вооружения распространяется в Евразии повсеместно: археологи находят его в курганах андроновской и карасукской культур, захоронениях самусьско-турбинского круга, гробницах Передней Азии и т.д. Эта традиция сохраняется и в последующие эпохи, вплоть до окончательного утверждения в погребальных ритуалах догматики монотеистических религий, причем так же безотносительно к культурным особенностям этноса: оружие присутствует в захоронениях степных кочевников, земледельцев, лесных охотников и рыбаков. Конечно, нельзя говорить о том, что данный ритуал соблюдался всеми народами, поскольку погребальные комплексы некоторых археологических культур не содержат предметов вооружения, но приведенных примеров, на наш взгляд, вполне достаточно, чтобы утверждать его транскультурный характер.

Этнографические наблюдения подтверждают бытование обряда сопровождения оружием погребенных у различных народов Сибири, подчеркивая при этом этническую дифференциацию деталей. В частности, эвенки «слегка повреждали» оружие, оставляемое покойному (Очерки культурогенеза...1994. С.361), так же поступали ханты и манси, «чтобы покойник мог ими пользоваться» (Очерки культурогенеза...1994. С.369), а вот селькупы оставляли оружие целым (Очерки культурогенеза...1994. С. 356). Некоторые группы северных хантов не клали погребенному оружие, чтобы он «по неопытности» не стрелял в людей того мира (Очерки культурогенеза...1994. С. 369). Кроме того, в погребальном ритуале оружие могли использовать и для защиты живых от посягательств мертвых: шорцы клали на порог дома топор, кумандинцы использовали для этой цели железные предметы, тубаларский шаман, сопровождая душу умершего, держал при себе топор, чтобы с его помощью отделять души живых (Очерки культурогенеза...1994. С. 338 – 341). Таким образом, существует достаточно оснований полагать, что помещенное в могилу оружие не просто демонстрировало социальную принадлежность человека при жизни в этом мире, или предназначалось для дальнейшего использования в мире ином, но и выполняло магические функции.

На основе изученного материала можно сформулировать следующие выводы. Нумизматический материал изученных комплексов, в том числе, полученный из захоронений, содержащих предметы вооружения, свидетельствуют о сохранении традиции сопровождения погребенного предметами вооружения у населения Тарского Прииртышья,

как минимум, до второй половины, а, возможно, и до конца XVII века.

Рассмотрим вероятные варианты интерпретации использования предметов вооружения в археологических некрополях региона, привлекая этнографические сведения. Применение оружия в погребальном ритуале засвидетельствовано у многих народов Сибири (Очерки культуургенеза...1994. С. 369). Так, некоторые народы (ханты, эвенки и др.) помещая в погребальную камеру оружие, повреждали его, «чтобы покойный мог им пользоваться». Ритуальный смысл данного действия очевиден: оружие использовано в качестве сопроводительного инвентаря, оно посылается покойному в иной мир, и поэтому должно быть умерщвлено, т.е. подвергнуться порче. В то же время известно, что селькупы оставляли оружие целым (Очерки культуургенеза...1994С. 356). Зафиксирован обычай «откупать» землю для покойного, особенно если человек умирал не на своей земле, для чего могли использоваться, по этнографическим данным, монетки или топор (Очерки культуургенеза... 1994. С. 357), который выступал в этом случае в роли жертвы. У барабинцев в прошлом существовал обычай хоронить умершего в лучшей одежде, с луком и кинжалом, что должно было отражать его прижизненный статус (Очерки культуургенеза... 1994. С. 352). Кроме того, в погребальном ритуале оружие могли использовать и для защиты живых от посягательств мертвых: шорцы клали на порог дома топор, кумандинцы использовали для этой цели железные предметы, тубаларский шаман, сопровождая душу умершего, держал при себе топор, чтобы с его помощью отделять души живых (Очерки культуургенеза... 1994. С. 338-341). Таким образом, существует достаточно оснований полагать, что помещенное в могилу оружие могло не только демонстрировать социальную принадлежность человека при жизни в этом мире или предназначаться для дальнейшего использования в мире ином, но и выполнять магические функции.

Помещенные в погребения ножи, как правило, предназначались для использования в ином мире. Они укладывались в составе поясного набора, от которого в некоторых случаях сохранились железные пряжки. Нередко изделия подвергались преднамеренной порче: отломаны острия, сломаны рукояти, один из ножей согнут. Наряду с этим, более половины ножей следов ритуальных повреждений не имеют. Зафиксированы единичные случаи использования ножей в ритуале «запирания» покойника, когда нож вонзали в насыпь или подкурганную площадку. Топоры в большинстве случаев так же, вероятно, отражали концепцию трансцендент-

ного функционализма; следов порчи на предметах не зафиксировано. В единичных случаях можно утверждать использование топора в качестве артефакта, «запирающего» погребенного. Использование топора в одном случае (м. 36 из состава Чеплярово-27), на наш взгляд, связано с обрядом выкупа земли. Это предположение объясняет необычное положение предмета, врубленного в дно ямы; в таком случае берестяная крышка может рассматриваться как дополнительный атрибут перевода платы в мир иной.

Наконечники стрел, как костяные, так и металлические, могли использоваться в различных ипостасях – как сопровождающий инвентарь, предназначенный для использования в ином мире, как атрибут социального статуса и как магический артефакт. Следов повреждений на самих наконечниках не зафиксировано, но в ряде случаев планиграфия их расположения в могиле такова, что заставляет предполагать сломанные древки стрел. В нескольких случаях стрелы использовались для «запирания» покойного магическим выстрелом из лука. Интересно наблюдение за расположением железных наконечников в погребении 38, один из которых был уложен на дно могильной ямы до помещения туда покойного, а два других – после, и, скорее всего, по отдельности. Первый наконечник стрелы, возможно, является «платой за землю», а остальные – приношением погребенному. Следует отметить, что в погребальном ритуале использовались повседневные, бытовые вещи. Вотивные предметы вооружения в могилах являются исключением, хотя материалы поселений свидетельствуют об использовании населением изучаемой культуры магических наконечников в виде треугольных бронзовых пластинок. Вероятно, магия мира живых и некротферы строятся на различающихся принципах, что предполагает определенные требования к используемым предметам. Некротфера предмета наделяла его особыми свойствами, отличными от присущих ему в бытовой, и уже эти свойства определяли специфику бытования артефакта в пространстве инобытия.

ЛИТЕРАТУРА

Герасимов Ю.В. 2008. Использование предметов вооружения в погребальном обряде сибирских татар: к постановке проблемы // II Всероссийский археологический съезд. М.

Герасимов Ю.В. 2009. Оружие в погребальном обряде тюркского населения Барабы в эпоху позднего средневековья // VII исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Омск.

Герасимов Ю.В. 2008. Предметы вооружения в погребальных комплексах населения долины р. Тара XVI – XVII вв. // *Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных сообществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции.* Томск.

Герасимов Ю.В., Корусенко М.А. 2013. Военное дело средневековых народов Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск.

Конилов Б.А. 1995. Позднесредневековые памятники лесного Прииртышья // *Средневековые древности Западной Сибири.* Омск.

Корусенко М.А. 2007. Отчет об археологических раскопках курганно-грунтового могильника Чеплярово – 27 (Муромцевский район Омской области) в 2006 году. Омск. Архив МАЭ ОмГУ, ф. II, д. 206 – 2.

Корусенко М.А. 2003. Погребальный обряд тюркского населения низовьев р. Тара в XVII – XVIII вв. // *Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культуры и социума.* Т. 7. Новосибирск.

Матющенко В.И. 2003. Могильник на Татарском увале у д. Окунево (ОМ VII). Раскопки 1998, 1999 годов // *Новое в археологии Прииртышья.* Вып. 3. Омск.

Матющенко В.И. 2005. Отчет о раскопках могильника Окунево – 7 у с. Окунево Муромцевского района Омской области полевого сезона лета 2003 года. Омск. Архив МАЭ ОмГУ, ф. II, д. 194 – 1.

Матющенко В.И., Полеводов А.В. 1994. Комплекс археологических памятников на Татарском увале у деревни Окунево. Новосибирск.

Мельников Б.В. 1991. Поздние погребальные памятники таежного Прииртышья. // *Древние погребения Обь-Иртышья.* Омск.

Молодин В.И. 1979. Кыштовский могильник. Новосибирск.

Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. 1990. Бараба в эпоху позднего средневековья. Новосибирск.

Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 2. Мир реальный и потусторонний. Томск, 1994.

Старик Лампаск и его внук // *Мифы, предания, сказки хантов и манси,* М., 1990.

Тихомиров К.Н. 2000. Отчет о раскопках могильника Бергамак -2 в Муромцевском районе Омской области в 1991 году. Омск. Архив МАЭ ОмГУ, ф. II, д. 152 – 1.

Томилов Н.А. 1981. Тюркоязычное население Западной Сибири в конце XVI – начале-первой четверти XIX в. Томск.

Томилов Н.А., Бережнова М.Л., Корусенко М.А., Корусенко С.Н., Матвеев А.В., Смирнова Е.Ю., Татауров С.Ф., Татаурова Л.В., Тихомиров К.Н., Тихомирова М.Н., Тихонов С.С. 2006. Этноархеологические исследования русских и татар Тарского Прииртышья // *Интеграция археологических и этнографических исследований.* Красноярск, Омск.

Шуклин В.В. 2001. Русский мифологический словарь. Екатеринбург.

Дэвлет Е.Г. (ИА РАН)

О НЕКОТОРЫХ СЮЖЕТАХ И ОБРАЗАХ ПЕТРОГЛИФОВ ПЕГТЫМЕЛЯ

Среди антропоморфных образов Пегтымеля – самого северного в Азии памятника наскального искусства – наиболее своеобразны фигуры в грибообразных головных уборах (или с ярусными прическами), представленные анфас, хотя есть и одно уникальное профильное изображение (Рис. 1). Это одиночные или включенные в композиции фигуры, которые интерпретировались как изображения персонажей чукотской мифологии – антропоморфных грибов, которые являются к одурманенным людям (Богораз-Тан, 1939; Симченко, 1993. С. 50-52). Фигуры с грибовидным силуэтом над головой в искусстве Пегтымеля преимущественно рассматривались в контексте чукотской традиции ритуального (и не только) употребления галлюциногенных грибов, указывались и другие направления интерпретации (Диков, 1971; Питулько, 2002; Кирьяк, 2003; Дэвлет, Дэвлет, 2005; Дэвлет М., 2009, 2012). Изображения мифологических человеко-мухоморов рассматривались как составляющая обрядовой жизни, получившая отражение

в искусстве петроглифов, представляющих собой своего рода каменные реплики мифов и ритуалов. В результате исследований 2000-х годов коллекция подобных изображений существенно дополнена (Дэвлет, 2014 а, б; Дэвлет, Миклашевич, Мухарева, 2009, 2012; Devlet, 2008, 2012). Многие человечки представлены в позе, напоминающей танец или движение. Грибообразное расширение различной формы находится над головой или на голове антропоморфной фигуры, иногда заменяет ее, в некоторых случаях «шляпки» показаны ярусами, головные уборы\прически могут иметь разные детали. Ноги персонажей бывают обозначены ступнями вовнутрь, в некоторых вариантах их заменяет как бы расширяющаяся книзу ножка. Судя по деталям изображенных фигур, большинство из них женские. По бокам головы наиболее нарядных персонажей проработаны косы или подвески, некоторые одеты в меховые комбинезоны-керкеры с широкими штанами (Рис. 2, 3), однако одежда может быть и вовсе не проработана.

Анализируя композиции с участием антропоморфных грибов в наскальном искусстве Пеггымеля, следует отметить, что этим образам могут сопутствовать изображения других по иконографии антропоморфных персонажей, знаки (окружности, следы и их цепочки, раскрытая ладонь с предплечьем), фигуры северных оленей и сцен охоты на них с каяка, двухлопастных весел, байдар, изображения других копытных (в том числе парциальные и неоконченные), а также волков/собак, медведей (?), китов и прочих обитателей моря. Большинство изображений антропоморфных персонажей в грибовидных головных уборах тщательно детализировано, но выявлены также парциальные или, возможно, незавершенные изображения; один подобный антропоморф помещен горизонтально. Поскольку единственное одиночное изображение глубоко прорезано, тщательно выполнено и располагается на широкой вертикальной патинированной поверхности, то отсутствие сопутствующих мотивов представляется неслучайным.

Н.Н. Диковым были проведены новаторские параллели между чукотскими антропоморфными изображениями и центральноамериканскими каменными фигуративными изображениями в форме гриба, ножка которого может иметь антропоморфные черты (Диков, 1971). Эта параллель получила развитие в работах по наскальному искусству Сибири и Центральной Азии, хотя и не всегда мнения относительно интерпретации этого сюжета были единодушными (обзор см.: Дэвлет, Дэвлет, 2005; Дэвлет М., 2012). Тем не менее, интересно вернуться к анализу центральноамериканского материала, не ограничиваясь приведенными в публикации Н.Н. Дикова изображениями. В Гватемале известно несколько десятков каменных грибов, это, как правило, изображения небольшого размера, высотой 20-40 см, выполненные в большинстве случаев из базальта (Ohi, Torres, 1994). Подобный выбор материала характерен для доклассического периода, и каменные грибы относят преимущественно к его позднему этапу (400 г. до н. э. – 200 г. н. э.). Многие из них связаны с важнейшим в высокогорной области Гватемалы городищем Каминалуью, но немало подобных изделий из камня выявлено и на других памятниках, тяготеющих к югу страны. Известны каменные грибы, но в меньшем количестве, и на территории Мексики. Проработка различна: некоторые экземпляры лишены сложных деталей, другие декорированы орнаментом, большинство имеет ножку в форме зооморфного, орнитоморфного или антропоморфного существа (Рис. 4). Подобную круглую скульптуру связывают с существующей

и по сей день практикой употребления галлюциногенных грибов.

Тем не менее, нельзя игнорировать и другие аналогии «антропоморфным грибам» Чукотки, которые просматриваются в арктическом искусстве западного полушария. Сходные варианты проработки женской прически иногда встречаются в скульптуре культуры дорсет (500 г. до н.э. – 900 г. н.э.), существенно многочисленнее они в мелкой пластике туле (900-1500 гг. н.э.) – отличительным признаком антропоморфных фигур этой культуры, вырезанных из кости и бивня, является отсутствие рук. Обширный синонимичный материал происходит из традиции эскимосов-инулитов севера Канады и Гренландии (Mathiassen, 1934; Malaurie, 1955; Swinton, 1972; Kaalund, 1979). Разнообразные варианты изображения традиционной женской прически представлены в резьбе эскимосов Гренландии (скульптура, маски), европейских изображениях эскимосских женщин, фотодокументах (Рис. 5-10) (Olearius, 1666. S. 9. Tab. 3; Hansen, Meldgaard, Nordqvist, 1991; Дэвлет, 2014в).

В описаниях, относящихся к XVII–XVIII вв., отмечено сходство мужского и женского костюмов, который в дальнейшем, к XIX в., претерпел существенные трансформации в деталях. Однако изначально костюмы различались преимущественно лишь размером капюшона, поскольку у женских вариантов они были длиннее, чтобы закрыть традиционную высокую прическу. На полотне XVII в. изображены четыре пленных эскимоса: датская экспедиция Д. Дэннела, торговавшая с западным побережьем Гренландии по указу короля Фредерика III, в 1654 г. захватила в плен четырех инулитов. Все персонажи изображены в летней одежде, не исключено, что некоторые компоненты костюма были утрачены во время плавания. На пути в Данию корабль зашел в Берген, где, по-видимому, и был написан этот замечательный коллективный портрет (Рис. 7, слева). На пути из Бергена в Копенгаген мужчина умер, женщины были отосланы к королевскому двору, который из-за эпидемии чумы помещался на юге Дании. Оттуда они отбыли в княжество Готторф, где и стали объектом описания Адама Олеария, посвятившего им целую главу в переиздании своего труда 1656 г. В числе прочих существенных деталей Олеарий описывает костюм, отмечая, что и мужчины, и женщины носят капюшон, но у мужчин он плотно прилегает к голове, в то время как в женской одежде он на фут выше из-за того, что женщины закрепляют пучки волос так, что они торчат вверх. Олеарий также приводит в книге гравюры, про-

тотипом которых послужило упомянутое живописное полотно, но несколько изменены ракурс и местоположение персонажей (Рис. 8). Поскольку описание Олеария несколько отличается от деталей изображения, высказывалось мнение, что он пытался на основании устного рассказа восполнить недостающие детали костюма.

Олеарий упоминает намерение короля отослать выучивших язык и обращенных в христианство инулитов обратно в Гренландию, принадлежавшую и принадлежащую и по сей день Дании, однако корабли в царствование Фредерика III больше не снаряжались. Инулитов изобразил и королевский мастер Якоб Йенсен Нордмен, который, несколько пренебрегая достоверностью деталей мужских и женских костюмов, представил пленников в золотом и серебряном декоре бокалов и кружек. Другой живописный портрет выполнен Матиасом Блюменталем, изобразившим женщину, известную под именем Мария, которая в 40-х гг. XVIII в. добровольно покинула Южную Гренландию с норвежским священником. В дальнейшем она жила в Дании и Норвегии, стала ключевым информатором при составлении словаря языка гренландских эскимосов. Сохранилась лишь копия полотна 1747 г., относящаяся к 1753 г., на которой прекрасно переданы костюм, татуировка лица и высокая «грибообразная» прическа (Рис. 7, справа) (Hansen, Meldgaard, Nordqvist, 1991). Отраженные в этих уникальных изобразительных произведениях особенности причесок женщин эскимосов-инулитов, их облика и костюма, подкрепленные изученными археологически важнейшими материалами мумифицированных погребений *Qilakitsoq*, относящихся к последней трети XV в., имеют продолжение в более поздних этнографических свидетельствах. Именно прическа как отличительный признак женских образов встречается в разнообразных изобразительных материалах: например, карикатурно острый рисунок в 1920 г. был выполнен для К. Расмуссена жителем Восточной Гренландии, представившим лишенных плоти вредоносных духов (Рис. 11) (Handbook of the North American..., 1984; Hansen, Meldgaard, Nordqvist, 1991. Fig. 40).

Многочисленные фотографии представителей коренного населения Гренландии, а также женские персонажи, воплощенные в местной резьбе по кости и дереву, позволяют сопоставить форму прически на изображениях эскимосов-инулитов с возможными «прическами» антропоморфных образов на скалах Пегтымеля. В то же время разница в костюме не позволяют безоговорочно поставить знак равенства между изображениями эскимосских женщин и детализированными многоярусны-

ми вариантами трактовки пегтымельских антропоморфов. Костюм антропоморфных персонажей с «грибообразной» прической/головным убором в петроглифах Пегтымеля в большей степени позволяет соотносить его с традиционной чукотской (меховой комбинезон-керкер), а не эскимосской женской одеждой.

Сравнивая репертуар образов петроглифов Пегтымеля с другими северными памятниками наскального искусства американской Арктики, Скандинавии, Кольского полуострова, можно было бы говорить о весьма ограниченном, если не скудном наборе образов и сюжетов в наскальном искусстве Чукотки. Однако это компенсируется значительным стилистическим разнообразием в изображении северных оленей, среди которых преобладают силуэтные профильные фигуры, одиночные и в стаде духов (Рис. 12). Существует огромная вариативность поз (плывущие, пасущиеся с опущенными головами, отдыхающие олени с подогнутыми ногами, с опущенными копытами и др.), многочисленны сцены охоты на оленей в воде и на суше (Дэвлет, 2013). Изображения оленей послужили Н.Н. Дикову основанием для анализа проблемы возникновения домашнего оленеводства на Чукотке, которое он отодвигал до эпохи неолита. Затруднительно проанализировать эту позицию, поскольку она требует основательного, осуществленного на современном научном уровне, анализа всего археологического материала Берингии и сопредельных районов, включая аналитику происхождения металлических изделий. По-видимому, образы петроглифов все же не дают возможности сделать достоверный вывод, показан дикий или одомашненный олень. Кроме того, стада диких и одомашненных оленей могли сосуществовать, составить представление об этом мы можем, обратившись к этнографическим материалам начала XX века. По свидетельству Богораз, главным объектом охоты на суше является дикий олень, который в одиночку и небольшими стадами встречается преимущественно в лесной глуши, на высоких склонах, в районах неудобных для домашнего оленеводства. «Ростом он крупнее, чем все породы домашних оленей, шаг его шире, след длиннее, так как копыта его более эластичны, рога похожи на рога ламутского оленя, но на концах более извилисты и ветвисты, а также резче различие рогов самца и самки...» (Богораз, 1991. С. 70).

Охота на оленей – прерогатива не только людей; в сюжетах наскального искусства Пегтымеля представлены сцены преследования оленей волками или собаками. Надо отметить, что подобные

сцены обычно окрашены особым настроением, авторам петроглифов удавалось в позах животных показать и обреченность жертвы, и кровожадность преследователей. Подобных композиций несколько, они существенно разнятся по числу представленных персонажей. Одна из лучших в эмоционально-художественном плане композиция, изображающая сцену охоты волков на оленя, представляет существенный интерес тем, что дает возможность рассмотреть вопрос, одновременно ли и одной ли рукой выполнены петроглифы на одной плоскости (Рис. 13). Богораз описывает многочисленных преследователей оленей: «Немало вреда причиняют стадам оленей дикие звери. Росомаха и черный медведь нередко убивают заблудившегося оленя. Весьма опасен для оленя полярный волк, так как в местах, где имеются многочисленные чукотские стада, он следует всюду за ними и вообще живет при них. Туземцы утверждают, что существует два различных вида полярных волков. Один – меньше ростом и легок на бегу. Он охотится на дикого оленя и никогда не приближается к стадам домашних оленей, потому что боится запаха человека. Другой вид волка – более крупный, а так как он недостаточно быстр на бегу, чтобы догнать дикого оленя, то он набрасывается исключительно на одомашненного. В зимнее время волки избирают для своих нападений темные ветреные ночи или ночи с сильным снегопадом. Часто несколько волков нападают сразу из различных пунктов. В этом случае они могут убить несколько десятков оленей и, что еще хуже, рассеять стадо так сильно, что многих оленей, особенно молодых, невозможно найти. Чукчи считают волка шаманом, который среди прочих вещей владеет заколдованным капюшоном из заячьей шкуры, белой как снег. Чтобы сделать свое нападение успешным, он надевает его на голову пастуха во время снегопада и таким образом погружает его в сон. В летнее время волки иногда становятся так смелы, что бросаются на оленей среди дня и в присутствии пастухов. Возможно, что все это происходит вследствие того, что чукчи имеют табу против употребления огнестрельного оружия на волков и употребляют против них только арканы и капканы» (Богораз, 1991. С. 19). Соблазнительно трактовать в качестве изображения капкана или другой ловушки загадочный знак, представленный на Пегтымеле под сценой морской охоты в верхней части титульной плоскости с антропоморфными мухоморами, хотя найти его конструктивный прототип в предметах материальной культуры пока не удалось (Рис. 3). Не менее любопытно описано приспособление для охоты на волка. Со-

гласно Богоразу, ловческое приспособление на волка – это особый предмет из китового уса «чукотски он называется wa'pak, что дословно значит «мухомор». Чукчи и коряки очень любят этот гриб и, находя его в лесу, срывают так же быстро, как волк заглатывает намазанный жиром кусок китового уса. Более того, чукчи верят, что мыши, собирая корни на зиму, приносят в нору какие-то ядовитые растения, которые они используют в своих обрядах. Эти растения служат также для предохранения запасов от незваных гостей, так как они ядовиты для всех остальных животных и человека. Название этих растений происходит от названия ядовитого гриба – ê'łhi-wa'pak «белый мухомор». Такое же название дано описанию приспособления для добычи волков, так как оно также убивает проглотившее его животное» (Богораз, 1991. С. 78).

Другие, более редкие, охотничьи сцены в петроглифах Пегтымеля – пешая охота с копьем, пикой, рогатиной на медведя, лося и других животных; участниками сцен преследования могут быть собаки. Изображение сцены добычи лося в Кайкуульском обрыве лишь одно, в этой сцене также показаны собаки(?), у одной из них хищно оскаленная пасть, расположенное ниже животное показано перевернутым (по-видимому, так изображались убитые персонажи), так что собака могла стать жертвой могучих копыт лося. Охотника и лося соединяет линия, в спине торчат два копыта\дротика. Помимо лося и оленя изображался также в репертуаре петроглифов Пегтымеля горный баран, но такие фигуры единичны, различить их можно по характерной форме рогов. Это были достойные охотничьи трофеи, хотя охота на них существенно отличалась от той, которая описана и изображена для северного оленя. «Горный баран очень осторожен, он живет на малодоступных горах. Если он попадается на открытом месте, то тотчас же спасется на ближайший холм. Собаки обычно ему хода не дают, и охотник может поймать его даже арканом» (Богораз, 1991. С. 74).

Интересна сцена охоты на медведя, описанная еще в монографии Н.Н. Дикова и несколько дополненная в ходе наших работ. Существенно размещение петроглифов: мастер использовал имеющий перепады поверхности скального выхода таким образом, что участникам сцены отведены отдельные, ограниченные природным рельефом уступы. Небольшая композиция изображает сцену охоты на медведя с собаками. При первом копировании за спиной зверя в левой части плоскости было показано три собаки, но при повторном копировании на силикон был обнаружен еще

один преследователь (Рис. 14). Интересно, что небольшие минеральные отложения на поверхности и живописный разноцветный лишайник не скрывали крайнюю слева фигуру собаки, но отвлекали внимание, и это изображение удалось различить только на копии, выполненной после обеспыливания поверхности без снятия обрастателей. Из спины медведя торчат два копыта/дротика, животное еще живо и полно сил, фигуру охотника в своеобразном головном уборе с объектом добычи соединяет линия. Возможное объяснение раздвоения на макушке головного убора охотника находим у Богораза: «Более тяжелые шапки, употребляемые при зимних переездах, шьются из толстых оленьих шкур или из головных частей волчьей шкуры. Причем шапка из волчьего меха шьется так, что волчьи уши оказываются на макушке. Эти уши часто украшены маленькими кистями из окрашенной в красную краску тюленьей кожи или из материи малинового цвета» (Богораз, 1991. С.176)

Интересные описания охоты находим у Богораза, который свидетельствует, что и белых, и черных медведей убивают копьем преимущественно в берлоге. «Белого медведя преследуют по морскому льду с помощью собачьей упряжки. Когда зверь замечен, на него пускают двух или трех лучших собак. Собаки быстро настигают его и не дают ему хода. Затем является охотник и поражает его копьем или стреляет из ружья» (Богораз, 1991. С.78). Он же далее указывает, что «на лесных окраинах оленные чукчи иногда убивают черных медведей посредством особого приспособления: на небольшой тонкой деревянной плашке укрепляются острые крючковидные шипы, плашка кладется на пути, по которому проходит обычно медведь. Когда медведь ступит на плашку, шипы вонзаются ему в подошву и застревают в ней своими крючьями. Все усилия оторвать плашку приводят только к увеличению раны, отчего он быстро слабеет и делается добычей для охотника» (Богораз, 1991. С.79).

Во многих из указанных сцен охотничий трофей и добытчика соединяет линия, в большинстве случаев она выбита, редко для нее использован природный рельеф камня. Трудно сказать, является ли она изображением аркана. Например, в одной из центральных групп в комплексе петроглифов Пентымеля показаны сцены приморской жизни: обитатели моря, крупные многоместные лодки, фигура белого медведя, которого с многоместной байдарой соединяет линия. Подобным образом в сценах морской охоты бывает показан лень гарпуна. Однако с гарпуном на медведя не ходили, а сама линия, весь-

ма возможно, природного происхождения, хотя и преднамеренно использованная автором петроглифов этой группы. Аналогичные сцены, когда лодка и белый медведь соединены линией, известны в петроглифах северо-запада.

Еще одно изображение медведя, заставляет обратиться не только к промысловой теме, но и к мифологическим представлениям чукчей. В группе, состоящей из копытного и двух антропоморфных мухоморов, показано животное, корпус которого совершенно медвежий, но хвост длинный, тонкий, загибающийся кверху (Рис. 15). Такое изображение могло бы поставить в тупик, если бы не описания духов-хозяев местности, составленное Богоразом. Он свидетельствует, что такие духи (*келе*) имеют разнообразный облик, часто сочетая в себе черты, не встречающиеся в реальной жизни, у них может быть общий антропоморфный облик, но полтела, собачьи уши, рыбе, тюлень или лисье тело, один из *келе* имеет вид белого медведя с огромными ушами (Богораз-Тан, 1939. С. 9-15).

ЛИТЕРАТУРА

- Богораз-Тан В.Г. 1939. Чукчи. Ч. II: Религия. Л.
- Богораз В.Г. 1991. Материальная культура чукчей / Авт. пер. с англ. М. Диков Н.Н. 1971. Наскальные загадки древней Чукотки: Петроглифы Пегтымеля. М.
- Дэвлет Е.Г. 2013. «Люди» и олени в наскальном искусстве Чукотки // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии. Новосибирск.
- Дэвлет Е.Г. 2014а. К вопросу о технико-технологических особенностях петроглифов Пегтымеля // Российская археология. № 3.
- Дэвлет Е.Г. 2014б. О работах по археологическому изучению наскального искусства Чукотки // Тр. Отдел. историко-филолог. наук РАН 2008–2013. М.
- Дэвлет Е.Г. 2014в. Трансокеанские аналогии антропоморфным изображениям Сибири и Дальнего Востока // Архаическое и традиционное искусство: проблемы научной и художественной интерпретации: материалы Всероссийской научной конференции. Новосибирск.
- Дэвлет Е.Г., Дэвлет М.А. 2005. Мифы в камне: Мир наскального искусства России. М.
- Дэвлет Е.Г., Миклашевич Е.А., Мухарева А.Н. 2009. Новейшие полевые исследования петроглифов Чукотки // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. № 3 (56).
- Дэвлет Е.Г., Миклашевич Е.А., Мухарева А.Н. Материалы к своду петроглифов Чукотки (изображения в скоплениях I-III на Кайкуульском обрыве) // Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. (Труды САИПИ. Вып. IX). М., Кемерово, 2012.
- Дэвлет М.А. 2009. Об изображениях человечков в грибовидных головных уборах в наскальном искусстве

Центральной Азии // Центральная Азия и Южная Сибирь. Альманах I. М.

Дэвлет М.А. 2012. Человек и его место в системе мироздания (по материалам петроглифов бассейна Верхнего Енисея) // Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. (Тр. САИПИ; Вып. IX). М.; Кемерово

Кирьяк М.А. 2003. Древнее искусство Севера Дальнего Востока как исторический источник (Каменный век). 2-е изд., испр. и доп. Магадан.

Питулько В.В. 2002. Пегтымельские петроглифы: датировка и события // II Диковские чтения. Мат-лы конф. Магадан.

Симченко Ю.Б. 1993. Обычная шаманская жизнь. Этнографические очерки. (Российский этнограф; Вып. 7). М.

Devlet E. 2008. Rock Art Studies in Northern Russia and the Far East, 2000–2004 // Rock Art Studies. News of the World III. Oxbow.

Devlet E. 2012. Rock Art Studies in Northern Russia // Rock Art Studies. News of the World IV. Oxbow.

Handbook of the North American Indians. 1984. Vol. 5: Arctic. Washington, DC.

Hansen J., Meldgaard J., Nordqvist J. 1991. The Greenland mummies. London.

Kaalund B. 1979. The Art of Greenland. Berkeley.

Mathiassen T. 1934. Contribution to the Archeology of Disko Bay. København.

Malaurie J. 1955. Les derniers Rois de Thulé. Paris.

Swinton G. 1972. Sculpture of the Eskimo. L.

Ohi K., Torrs M.F. (eds.) 1994. Piedras-Hongo. Museo de Tabaco y Sal.

Olearius A.: Gottorffische Kunst-Cammer/ Worinnen Allerhand ungemeyne Sachen/ So theils die Natur/ theils künstliche Hände hervor gebracht und bereitet ; Vor diesem Aus allen vier Theilen der Welt zusammen getragen / Adam Olearius. [Electronic ed.]. Schließwig: Holwein, 1666. [Electronic resource]. Mode of access: <http://diglib.hab.de/drucke/24-1-2-phys/start.htm>.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Труды САИПИ *Труды Сибирской Ассоциации исследователей первобытного искусства, Кемерово, Барнаул.*

РАЗДЕЛ 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО

Сенявский А.С. (ИРИ РАН)

СОВЕТСКАЯ И ИМПЕРСКАЯ МОДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Проект «Советская и имперская либерально-консервативная модели модернизации: сравнительный анализ. Историко-теоретические проблемы» был направлен на сопоставление (прежде всего в теоретическом ракурсе) дореволюционного и советского опыта модернизации, воплощенного в двух исторических моделях XIX – XX вв. При этом решался комплекс теоретико-методологических и конкретно-исторических задач, ключевые из которых: раскрытие причин модернизации как магистрального процесса; выявление общего и особенного в модернизационном процессе в дореволюционной и советской России в контексте революций, реформ и трансформаций, моделей модернизации на конкретных этапах развития, роли в обществе, влияния на исторические судьбы государства и народа; определение причин аналогичного катастрофического завершения двух моделей модернизации, несмотря на все их различия, и др. Такой подход позволяет по-новому осмыслить как логику самой российской модернизации, так и российский исторический процесс в новое и новейшее время.

Актуальность проблемы для исторической науки определяется ключевым местом модернизации в истории России XIX – XX вв. В условиях новых исторических вызовов – очередной смене технологических доминант, глобализации, а главное, претензий США на мировую гегемонию и построение однополярного мира, в котором России как самостоятельному субъекту не будет места, учет исторического опыта дореволюционной и советской модернизаций необходим при разработке долгосрочной стратегии развития.

Практическая актуальность темы обусловлена современной ситуацией в России, за последние двадцать лет не только не прогрессирующей в технологическом плане (за редчайшим исключением отдельных производств), но и утратившей большую часть своего научно-технического, производственного и кадрового потенциала. Катастрофическое

отставание страны не только от лидеров, но и ряда бывших стран «третьего мира» вновь обрекает Россию на путь «догоняющего развития», теперь уже с нарастающим разрывом от «авангарда».

События на Украине в 2014 г. (в общем контексте мировых событий последних лет) и реакция на них Запада во главе с США полностью выявили принципиальную враждебность западного мира к России на фундаментальном, ценностно-цивилизационном и геополитическом уровнях. Маски сброшены, и теперь для всех стало предельно ясно: Россия Западу не нужна, а нужно окончательное решение геополитического «русского вопроса» – устранение России как самостоятельного центра силы, полное «освоение» (присвоение) советского наследия, территориальных, природных и др. ресурсов. Россия откровенно названа президентом США Обамой врагом, ей брошен вызов, фактически объявлена война на уничтожение, и от прямого вооруженного нападения сдерживает лишь наличие ракетно-ядерного потенциала – усеченного, растраниженного в годы «перестройки» и вакханалии «реформаторов» 1990-х, но все еще грозного наследия советской сверхдержавы.

Для характеристики современной ситуации достаточно отметить, что «реформаторами» 1990-х (в гротескном виде) от советского марксизма был унаследован «экономический детерминизм», примененный для апологетики буржуазных «рыночных» отношений, которые якобы способны решить все проблемы. Результатом квазилиберальных реформ стало разрушение вполне процветающей (по мировым меркам) советской экономики, а в постсоветской России – советского экономического наследия. Произошло беспрецедентное, катастрофическое сокращение промышленного производства, всего за 1990-е годы – на 68% (для сравнения: во времена Великой депрессии в США – на 46%, в Великобритании – лишь на 15%). Причем объем выпуска машиностроительной продукции упал почти на 80%, а высокотехнологичных и наукоемких из-

делий на 90% (Андрианов, 2002. С. 63-64). Регресс произошел по всем ключевым направлениям, отражением чего явилось и резкое падение ВВП в России на душу населения, особенно в сравнении с развитыми странами: в 1970 г. этот показатель относительно США составил 46%, а в 1993 г. – лишь 22%, а далее разрыв только увеличивался (Россия в мировой экономике начала 1990-х гг., 1995 г. С. 14). В рамках новой квазилиберальной модели Россию в 1998 и 2008 гг. потрясли экономические кризисы, а в 2014 г. в условиях объявленных Западом санкций ее экономика вступает в полосу затяжной рецессии. Несмотря на выдвинутый в начале XXI в. курс на удвоение ВВП и некоторые попытки скорректировать экономическую систему, российская экономика до сих пор по ряду ключевых позиций не достигла уровня 1990 г.

В этой ситуации (внешней и внутренней) задача модернизации современной России становится не просто актуальной (что наконец-то было понято и продекларировано властью несколько лет назад), а вопросом жизни и смерти. Такого исторического цейтнота и жестких негативных обстоятельств у страны не было уже по крайней мере три столетия, даже в 1930-х гг. (в условиях враждебного окружения). У нас военно-экономический потенциал несопоставимо мал по сравнению с потенциалом противника, нет значимых союзников, хотя бы потенциальных, тогда как «оппонент» имеет мощную систему коалиций (военных, экономических, политических). В условиях мировой техногенной цивилизации за последние четверть века мы катастрофически отстали в развитии ключевых перспективных технологий (в позднесоветское время по многим направлениям опережали, иногда сами того не зная – насколько!), разрушили производственную базу, свой кадровый научный и инженерно-технический потенциал, систему подготовки и переквалификации; изменили экономическую систему, которая теперь ориентирована преимущественно на вывоз энергоресурсов и сырья, и вывоз, большей частью криминальный, капитала. Перечислять невосполнимые потери можно долго. Но, главное, общество было дезориентировано и дезинтегрировано, расколото в социальном, экономическом, этнокультурном и др. отношениях. В массовое сознание была внедрена потребительская ментальность, заменившая созидательную, доминировавшую на взлете советской эпохи, что означает изменение ценностных основ, отказ от цивилизационных кодов, которые ранее были способны мобилизовать народ на преодоление любых внешних угроз и внутренних трудностей.

Вопрос сегодня стоит ребром – «быть или не быть», и решать его необходимо в кратчайшие сро-

ки. Уникальна тяжесть задачи, беспрецедентны жесткость условий, внутренняя неготовность страны, но не сама проблема, которая в истории России возникала не раз – как преодолеть ставшие смертельно опасными отставание и ослабление. Очевидно, что решать задачу придется при огромных внешних «помехах», и, вероятно, при серьезном внутреннем сопротивлении.

И здесь без учета исторического опыта российских модернизаций – и позитивного, и негативного – не обойтись. Конечно, ценность его требует поправки на иные исторические реалии. Но если его проигнорировать, то можно неоправданно упустить уже наработанные эффективные стратегии, технологии, инструменты и даже модели модернизаций, и в то же время вновь повторить многие, в том числе роковые, ошибки, допущенные реформаторами в разное историческое время. При этом особую ценность имеет не только (и не столько) подробное описание самого хода модернизационного процесса в России со всеми его зигзагами и катастрофическими прерываниями, сколько теоретический анализ, вскрытие самих сущностей явлений, проявившихся в конкретных исторических условиях и формах.

* * *

Здесь нет возможности освещать огромный пласт зарубежной и российской научной литературы, посвященной модернизационным проблемам. Отметим лишь, что тема «модернизации» «неожиданно» стала популярной среди российских историков, хотя еще недавно ею занимались немногие (уральская школа акад. В.В. Алексеева, да отдельные ученые Москвы, Петербурга и др.; автор данной статьи также посвятил различным аспектам российских модернизаций более полусотни публикаций). Она приняла оттенок конъюнктурности после запоздалого и вынужденного признания постсоветским руководством необходимости нового витка модернизации, без которого Россия, превратившаяся в энерго-сырьевой придаток развитых стран, находится в позорной и опасной зависимости от мировой конъюнктуры и в любой момент может оказаться в катастрофическом кризисе, чреватом социальными катаклизмами и новым распадом. В любом случае толчок «сверху» к изучению модернизации полезен и для науки, и для практики. Причем желательно, чтобы они шли «рука об руку», иначе все может завершиться так же печально, как закончились пути двух российских моделей модернизации в XX веке: системным кризисом, социальной и политической катастрофой, распадом геополитического образования под именем «Рос-

сия», и т.д. А в случае третьей модернизационной катастрофы – и концом самой российской цивилизации.

Историческая наука, извлекая модернизационный опыт из российской истории последних двух (а частью – и трех) столетий, может предостеречь общество и власть от необдуманных решений. Конечно, и мир, и Россия живут в принципиально иных условиях, нежели сто, двадцать и даже десять лет назад: темп истории стремительно набирает обороты. Иные перед страной стоят и модернизационные задачи. Однако есть и нечто общее в логике модернизационного процесса, на какой бы стадии он не находился и в рамках какой бы модели не развивался, и крайне важно понять сильные и слабые стороны этих реально действовавших, уже проявивших себя в российской истории моделей, их достоинства и недостатки, успехи и просчеты.

Исторической наукой уже накоплен огромный массив материалов и фактов по многочисленным аспектам модернизационного процесса, но необходим выход на уровень теоретического осмысления, а есть определенный дефицит продуктивных концепций.

Причина в том, что лишь четверть века назад произошел отказ от монополии формационного подхода, начался поиск иных научных парадигм, среди которых модернизационная оказалась в ряду продуктивных. Но освоение зарубежного багажа и адаптация к российской специфике требовали времени. Большой частью попытки теоретического осмысления делались не историками, а философами, социологами, экономистами (См.: Ерасов, 1995; Поляков, 1998; Вишнеvский, 1998; Иноземцев, 2000; Красильщиков, 2001), причем в этих попытках присутствовала значительная идеологическая (как правило, либеральная) компонента, что может ставить теорию за грань науки, а отсутствие собственно исторической базы в анализе (или ее недостаточность) нередко делало такие попытки оторванными от исторических реалий.

Историки тоже внесли определенный вклад в теоретическое осмысление различных аспектов модернизации. Этой проблематике в России посвящена уже весьма значительная литература – десятки книг и сотни статей, в том числе и теоретического плана. (См.: Лейбович, 1996; Опыт российских модернизаций XVIII–XX века. 2000; Каспэ, 2001; Проскуракова, 2005. С. 153–165; Побережников, 2006; и др.) Здесь можно привести лишь малую часть историографии, констатируя рывок в разработке тематики за последние годы. Эти исследования ценны для осмысления опыта российской модернизации, хотя многие носят вторичный характер,

адаптируя западные разработки к российской специфике.

Вместе с тем, как правило, теоретические работы по проблеме российских модернизаций, во-первых, касаются ее отдельных (пусть и важных) аспектов и/или периодов; во-вторых, абсолютизируют ту или иную грань проблемы (источники, механизмы, движущие силы, и т.д.), в-третьих, строятся на какой-либо яркой метафоре или опираются на оценки, имеющие идеологическую основу («псевдомодернизация», «контрмодернизация», «деархаизация» и др.).

* * *

В проекте был предложен иной ракурс историко-теоретического исследования, который позволил целостно рассмотреть модернизацию в совокупности ее ключевых проблем на том или ином этапе исторического пути России:

- во-первых, *модельный* подход (рассмотрение двух реализовавшихся в российской истории моделей модернизации – как относительно цельных, сложившихся, но эволюционировавших модернизационных систем, решавших свои исторические задачи, со своими концептуальными и идеологическими основами, социальными акторами, системами общественных отношений и собственности, ведущими направлениями, экономическими отраслями, и т.д.);

- во-вторых, *компаративный анализ* этих моделей – как они реализовались в российской истории XIX – XX вв. (именно сравнение позволяет провести глубинную аналогию и в достигнутых ими успехах, и в сложности эволюции, и в причинах конечного неутешительного результата, приведшего как к кризису самих моделей, так и к системному кризису всего общества с последующим распадом «общественной ткани» и краху государственности в прежней форме).

Здесь нет возможности вдаваться в общетеоретические рассуждения о модернизации. Однако обозначить ключевые теоретические позиции необходимо. Опуская развернутую аргументацию, приведем лишь конкретные исходные теоретические установки, которыми руководствовался автор. Модернизационная парадигма имеет ряд ограничений, связанных с ее происхождением (в контексте «холодной войны» как антипод марксизму): 1) неприменимость к историческому процессу в хронологической и проблемной полноте; 2) идеологическая нагрузка («пробуржуазный пафос основателей»); 3) цивилизационный аспект субъективизма, связанный с евроцентризмом (отождествление модернизации с вестернизацией, рассмотрение Запада

как образца для подражания и конечной цели движения). Между тем ряд западных же исследователей пришел к выводу, что модернизация не равнозначна вестернизации, приводя примеры Японии, Сингапура, Саудовской Аравии как современных, процветающих, но отнюдь не вестернизированных обществ. Однако очищенная от идеологических наслоений теория модернизации обладает немалым исследовательским потенциалом. Не претендуя на универсализм, она может рассматриваться как теория «среднего уровня» для изучения процессов на этапе, когда доминантным оказалось влияние западной, либерально-технократической цивилизации.

Автор видит суть модернизационного процесса в становлении и эволюции техногенного (порожденного техническим прогрессом) общества, в котором решающую роль играет совокупность последовательно происходящих переворотов в технике и технологиях, формирующих соответствующие уклады в экономике, «доминантные» уклады на каждой из стадий модернизации. Не «надстроечные» процессы, а смена технологических доминант – главные показатели стадий модернизации, а они уже определяют совокупность фундаментальных общественных трансформаций, включая уровень производительных сил общества, структуру экономики, структуру размещения производства и расселения, социально-экономическую систему, структуру занятости населения, его качество (уровни профессионально-квалификационный, образования и др.) и др. При этом технологии и модели общественного развития *относительно* автономны. Радикальные технологические сдвиги, смена «технологических доминант» могут обеспечиваться разными социальными способами в обществах с разными цивилизационными кодами, социальными структурами, отношениями собственности, политическими и правовыми институтами, господствующими идеологиями и т.д., хотя между ними существует и существенная зависимость.

Ключевым показателем «современности» и эффективности стран с самодостаточным потенциалом является соответствие доминантного технологического уклада передовому на данный момент или даже его опережение.

Модернизация в проекте рассматривается как переход от аграрного к индустриальному (и далее – постиндустриальному или, точнее, «сверхиндустриальному») обществу. Модернизация – явление нового и новейшего времени, порожденное в немногих странах Запада, но далее повлившее на развитие мира. Технологическое превосходство являлось основой военного могущества, неравно-

мерность развития выдвигала новые центры силы (как правило, центры технологических инноваций). Поэтому модернизация для стран, стремившихся сохранить свою историческую субъектность, избежать превращения в инструмент процветания государств-лидеров, являлась «категорическим императивом». Все великие державы раньше или позже вступили на этот путь. Существенно отставшие, даже великие цивилизации, процветавшие еще в XVI – XVIII вв., либо превращались в колонии (Индия), либо скатывались к зависимому состоянию (Китай), либо уступали свои позиции под натиском силы и шли к распаду (Турция).

Однако модели успешных модернизаций в XIX – XX вв. отнюдь не заключались в вестернизаторском эпитонстве: успех сопутствовал странам, сумевшим, опираясь на традиционные институты, ценности, трансформируя их, инкорпорировать в современную жизнь (Япония). Насильственное разрушение метрополиями традиционных институтов и навязывание силой западных ценностей подрывали модернизационный потенциал «цивилизуемых» стран.

* * *

Модернизация действительно являлась *стержнем* всего российского исторического процесса, по крайней мере, второй половины XIX и всего XX в. А потому и проблема модернизации – одна из ключевых для понимания практически всех аспектов российской истории.

Сравнительный анализ дореволюционной и советской модернизаций показал, что, несмотря на радикальные различия (разное историческое время, состояние общества и экономики, системы власти и собственности, решавшиеся модернизационные задачи), российский модернизационный процесс имел и некоторые относительные константы. Прежде всего, константами являлись условия модернизированной страны:

- огромная территория с многообразием климатических зон, но преобладанием «северных» холодных и иных малозаселенных, трудно осваиваемых территорий, что обрекало страну на огромные издержки на транспорт и отопление, и по определению делало многие производства неконкурентоспособными на мировом рынке. Доминирование сырьевой, и особенно топливно-энергетической составляющей в экспорте страны на протяжении столетий – не случайность, не прихоть, а закономерность (по крайней мере, до эпохи «высоких технологий»). Альтернативой может быть только экспорт уникальной, высокотехнологичной и трудоемкой продукции, в частности, вооружений (но

последнее направление страна активно использовала недолго – в послевоенные советские десятилетия, а также активизировала в последние годы);

- социокультурные особенности (этноисторические установки в психологии, коллективистские устремления, распространенное негативное отношение к частной собственности и тем более к богатству, идущие частью от крестьянско-общинного мировоззрения и традиций, частью от православия, частью от исторического опыта, убеждавшего крестьянское население в условиях постоянного риска неурожаев и голода, в тщете «избыточных» трудовых усилий, и др.). Они, хотя и менялись, но были – а частью и остаются – весьма устойчивыми. Даже в 2009 г. (по социологическим опросам) они оставались очень сильными.

Определенной «константой» на протяжении XIX – XX вв. было отставание России, и существенное, от «авангардных» западных стран – сначала Англии, Франции, затем США, Германии. Следствие – объективно стоявшая перед страной потребность в модернизации. То есть, модернизационные процессы в России – в виде или на основе разнообразных по задачам реформ – были преимущественно не порождены внутренними условиями, а стимулированы давлением внешних факторов. Отказ от модернизации означал бы упадок и крах российской государственности.

Эта потребность периодически, как правило, вынужденно осознавалась властью и элитой, а далее реализовывалась в реформаторских планах и политике, в деятельности субъектов экономической жизни – предпринимателей, банкиров, но главное – государства.

Оно всегда играло решающую роль в модернизационном процессе (основной инициатор, вдохновитель, организатор, финансист, инноватор и т.д.). Сам вопрос о модернизации мог быть поставлен в России только государственными структурами из-за, с одной стороны, явной неготовности общества к инновациям, самодостаточности натурального хозяйства, и даже преимущественно автаркического характера развития экономики многих регионов огромной страны до конца XVII в., слабого соприкосновения населения с окружающим миром; с другой стороны – в силу необходимости обеспечения военной безопасности.

Модернизационные (а ранее – протомодернизационные) задачи выдвигались преимущественно в результате внешнего – негативного и позитивного – «стимулирования» (внешняя угроза, особенно проигранные войны; проникновение в страну, особенно в элитарные и властные слои, достижений техники, науки, идей, предметов быта, и др.) При-

чем если негативные стимулы становились толчком к преобразованиям, то «позитивные» – подкреплением при принятии решений и распространении инноваций.

Государству почти всегда в случае кардинальных перемен приходилось в той или иной степени преодолевать сопротивление «социального материала» («европеизация» и мобилизация элиты, ограничение влияния и подчинение церкви светской власти, мобилизация экономических ресурсов при петровской протомодернизации; сопротивление дворянства отмене крепостного права при пассивности и недовольстве крестьянства, инертность общества при введении гражданских институтов при городской, земской и других частях Великих реформ Александра II; сопротивление крестьянской общины в реформах Столыпина; крестьянский саботаж в начальный период советской индустриализации и коллективизации – наиболее яркие, но далеко не единственные примеры).

Россия явилась «вторым эшелонem» модернизации, и путь этот основывался на заимствовании технологий, институтов, идей, ценностей, теорий и т.д. Причем если идеи и политические формы Запад охотно экспортировал в Россию (например, масонство), то экспорту технологий, квалифицированных кадров активно препятствовал (Алексеева, 2007. С. 96-98, 198). Пройдя протомодернизационную стадию ко второй половине XIX в. (в том числе – начало промышленного переворота с 1830-х гг.), Россия получила очередной внешний «модернизационный импульс» со стороны ведущих стран Запада – Англии и Франции, потерпев поражение в Крымской войне. Стало ясно, что не сделав решительного рывка в индустриализации и в изменении ряда социальных институтов, Россия безнадежно отстанет и станет добычей западных держав. В очередной раз перед единственным субъектом инициирования и проведения реформ остро встает вопрос о необходимости модернизации. Уже утвердившееся рыночно-крепостное хозяйство, пришедшее на смену натурально-крепостному в начале XIX в., хотя и не исчерпывает к его середине свой потенциал и экономическую эффективность, а главное, выгоду для помещика (Струве, 1913), но уже является тормозом для индустриализации, что наряду с ростом социальной напряженности становится внутренним стимулом для отмены крепостного права.

Колоссальной проблемой было преобразование России в современное государство с индустриальной экономической основой и соответствующим ей населением и общественными институтами. В стране еще ранее сформировалось два идеологических

направления, разделившихся по вопросу « как преобразовывать Россию» – опираясь на ее самобытность или присоединиться к западному миру, подражая ему и заимствуя наработанные на его почве ценности, достижения, образцы, что отразилось и в споре «западников» и «славянофилов». Власть еще со времен Петра I во многом приняла западническую модель мировосприятия, приспособив ее к имперским задачам – оборонным и охранительным. Александр II впервые делает ставку на либерализм как идеологическую основу реформ в целях укрепления империи. Симбиоз имперства и либерализма – с некоторыми рецидивами наступления консерватизма, чередованием реформ и контрреформ (при Александре II, Александре III и Николае II) – явился организационно-идеологическим и политическим оформлением индустриальной модернизации вплоть до революционной катастрофы 1917 г. Среди оппозиции два течения общественной мысли представляли западников в России к концу XIX в. – либерализм и марксизм.

После Крымской войны вновь была избрана стратегия догоняющего развития, основанная на подражательном заимствовании не только технологий, но и ценностей, и институтов стран-лидеров Западной цивилизации. Такая стратегия предопределила целый комплекс негативных социальных явлений: зарождение революционного движения, неспособность государства реализовать даже ключевую цель, которая ею преследовалась – сделать военную силу достаточной для противостояния потенциальным противникам, что показали неудачи (как на полях сражений, так и в дипломатии) в Русско-турецкой и в Русско-японской войнах, военно-техническая, материальная, организационная, социальная неготовность к I мировой войне. Закономерным был и «маятниковый» характер преобразований (реформы – контрреформы), который был предопределен перенесением из чужой среды готовых, но не всегда дееспособных на российской почве социальных, культурных, политических институтов и форм. Контрреформы оказывались не только (а часто – и не столько) проявлением активности и реваншем реакционеров, сколько реакцией отторжения самим обществом и своеобразным механизмом его самозащиты от избыточного вторжения в единый социальный организм чужеродных элементов. Особенно провальной была политика в области крестьянско-земельного вопроса. Способ освобождения крестьян на полвека запрограммировал деградацию крестьянского хозяйства. Реформы Витте повысили дееспособность имперской модели при сохранении прежней хозяйственной системы на основе мощного государственного влияния на эко-

номическую жизнь, но не учли необходимость разрешения коренного для России аграрного вопроса, а столыпинские реформы, вновь пытавшиеся решить его за счет крестьянства в угоду сохранению помещичьего землевладения, грубо ломавшие вековые устои общинной жизни насильственным насаждением частной собственности, вызвала сопротивление основной крестьянской массы. Характер и сила революционного взрыва 1917 г. во многом определялись нерешенностью именно аграрного вопроса и теми способами его квазирешения, которое навязывалось властью в рамках столыпинских реформ.

Буржуазный прогресс города на основе индустриализации также нес в себе взрывоопасные противоречия. Ранняя стадия индустриального развития и урбанизации с неизбежностью создавали предпосылки для социального взрыва, которые накладывались на комплекс специфически российских противоречий (социальных, регионально-этнических и т.д.). Осуществление индустриального и урбанизационного переходов в этих условиях требовало от властей чрезвычайной осторожности и политического такта, но власть постоянно совершала грубые ошибки и во внутренней, и во внешней политике.

Сочетание противоречий между социокультурными качествами населения России и либерально-консервативным курсом преобразований с дестабилизирующими ситуационными факторами (I мировая война) – привели к краху вестернизаторской модернизации и к победе по сути крестьянско-общинной (а отнюдь не пролетарской) революции 1917 года. Вступление в 1914 г. в мировую бойню предопределило ход дальнейших событий. Ни лица, ни партии, ни идеи с тех пор решали участь России, а состояние социальной почвы, «вспаханной» модернизацией (в т.ч. урбанизацией) и «засеянной» мировой войной. Большевики лишь «собрали урожай», но кто-нибудь да должен был это сделать. Реальной (но провалившейся) альтернативой им была правая (генеральская) диктатура, а отнюдь не российские «либералы» и «демократы».

Итог имперской стратегии догоняющего развития в контексте либеральных реформ второй половины XIX – начала XX вв.: она не решила главных проблем России – не преодолела отставания от стран-лидеров и не разрешила аграрного вопроса в преимущественно крестьянской стране. Реализация этой модели не только сопровождалась откатами, рецидивами консерватизма, но и провоцировала социальную напряженность и политические потрясения.

В результате первой, дореволюционной модернизации, старую Россию сокрушил револю-

ционный взрыв – следствие целого комплекса стечения объективных условий, закономерных факторов и случайных обстоятельств. История показывает, что неорганичные и несвоевременные, и особенно насильственно насаждаемые реформы отторгаются российским обществом. В лучшем случае, они не дают того результата, на который рассчитывают реформаторы, в худшем – приводят к социальному взрыву.

Провал либерально-консервативной модернизации в начале XX века на базе охранительных реформ (с крахом империи, а затем и «демократической республики») привел к победе леворадикальных сил. Политические маргиналы – большевики – отнюдь не случайно оказались у власти: их маргинальная идеология оказалась созвучна социальной маргинализованной почве страны. В условиях общественного распада Россия приняла большевизм как адекватную своему состоянию политическую силу, способную заново структурировать образовавшийся социальный хаос, причем на гораздо более жестких, чем старая империя, но принципиально иных государственных основаниях.

Революция 1917 г. прервала имперскую модернизацию, но альтернативы индустриальной модернизации не было. При смене доминирующих идеологий и политического устройства, форм организации социально-экономической жизни, сохранился основной вектор «базовых» для российского общества перемен. «Модернизационный императив» – объективная необходимость в модернизации, в преодолении отставания для выживания страны, модернизация и урбанизация оказались «сквозными» для XX века факторами (Сенявский, 2003).

Вопрос заключался лишь в том, какие социальные силы будут осуществлять модернизацию, какую модель выберут, какие инструменты социальной мобилизации задействуют. Парадоксальным образом прозападнические политические силы, спровоцировавшие свержение монархии и социально-политический взрыв, в результате гражданской войны оказались выброшены из России, а другие «западники», леворадикальные марксисты, пришедшие к власти, стали реализовывать свою модель модернизации, вестернизаторскую по форме, но во многом «традиционалистскую» по существу (этатистскую, с опорой на коллективистское начало в массовом сознании и формах организации жизни, «зеркальную» относительно дореволюционной либеральной модели Витте – Столыпина). Этой модели были присущи элементы насилия и страха, но не они были главными. Левые радикалы включили в преобразования подавляющее большинство населения страны, сделали беспрецедентной гори-

зонтальную и вертикальную мобильность, открыв социальные перспективы для широчайших слоев, устранив социально-экономические, религиозные, этнические барьеры.

Если имперская модернизация была модернизацией буржуазно-аристократической элиты, то советская – модернизацией социальных низов, то есть 9/10 общества. Большевики смогли опереться не только на малочисленные пролетарские слои города, но и на большинство населения страны – крестьянство. При этом предложили как немедленное разрешение давно перезревших противоречий прошлого (земельный вопрос), так и стратегию продвижения в будущее. Можно сказать, что в тот период это была партия будущего, опиравшаяся на прошлое, на традиционализм – для обеспечения прогресса.

После гражданской войны, в 1920-е годы многое, и прежде всего в экономике, пришлось начинать заново, почти с нуля, но уже больше учитывая социальные и социокультурные факторы. Советское общество на протяжении всего своего существования – в большей или меньшей степени – развивалось в экстремальном режиме. И далеко не только и не столько из-за особенностей идеологии. Скорее идеология оказалась отражением общественных реалий, и пусть и в определенных, специфических категориях, словах, мифологемах, но воплощала вполне прагматические задачи выживания, стоявшие перед страной на протяжении большей части XX века. Следствием экстремальности жизни был мобилизационный характер развития, главный вектор которого был направлен на модернизацию страны. Именно фактор внешней, военной угрозы вновь обусловил то, что можно назвать «модернизационным императивом», действовавшим столетиями, но в 1920-е – 30-е годы приобретшим невиданную остроту. «Догнать и перегнать» стало не только лозунгом, но и центральным звеном всей политики.

Советская экономика с момента ее становления ориентировалась на укрепление позиций государства, и в связи с этим решала модернизационные задачи, однако иными методами, в иных формах, нежели рыночные модели. Допущение рыночных механизмов в период нэпа, обеспечив восстановление хозяйства на примерно предвоенном уровне, было сменено курсом на предельную централизацию и огосударствление, что с одной стороны, связано с идеологией, а с другой – с внешней ситуацией, в т.ч. мирового экономического кризиса. Концентрация ресурсов государством обеспечила использование международной конъюнктуры конца 1920-х – 1930-х гг. («великой депрессии»): от

прорыва экономической блокады страна перешла к радикальному обновлению, наращиванию производственных фондов, к индустриальному рывку.

Именно в советской форме, с опорой на собственные силы, практически без внешних инвестиционных источников, России удалось осуществить индустриальный рывок 1930-х гг., победить во Второй мировой войне, сохранив не только независимость, но и само существование СССР, российской цивилизации. Затем удалось в рекордные сроки восстановить разрушенное народное хозяйство.

Успех советской модернизации в 1930-е - 1950-е гг. был определен во многом тем, что государственная и коллективная (колхозная) собственность вполне соответствовали передовому в тот период технологическому укладу, предполагавшему в организации производства (в городе – фабрично-заводском, преимущественно конвейерном) большую концентрацию людей, техники, материальных ресурсов. Госсобственность обеспечила мобилизационный форсированный вариант модернизации на основе концентрации ресурсов на «направлениях прорыва».

Новые управленческие решения в сочетании с социальной мобилизацией и возможностями сверхцентрализации ресурсов дали впечатляющие результаты. Советская мобилизационная модель индустриализации продемонстрировала высочайшую эффективность, за три десятилетия превратив преимущественно аграрную страну в индустриальную и городскую. В результате второй, советской, модернизации Россия стала сверхдержавой, второй по экономической мощи, и держала эти позиции почти полвека.

Россия в форме СССР являлась главным субъектом, владевшим «исторической инициативой» на протяжении большей части XX века: от влияния на мировую общественную мысль и мировой «политический ландшафт», от решающей роли во Второй мировой войне – к становлению «сверхдержавы», формированию «социалистического лагеря», разрушению колониальной системы, развертыванию наступления вплоть до конца 1970-х гг. (последний, роковой шаг – ввод войск в Афганистан). При этом соотношение сил (изначально и до конца) было отнюдь не в пользу СССР.

Приняв вызов Запада, СССР сам представил для него угрозу, гораздо более опасную, нежели Российская империя. XX век прошел «под знаком России» в том смысле, что она своим социальным экспериментом потрясла, расколола и изменила капиталистический мир, стала стимулом его изменения, в том числе путем заимствования многих инноваций, порожденных социализмом (плановые

инструменты в экономике, социальная составляющая развития и др.). До начала 1980-х гг. позиции страны укреплялись по большинству направлений, так что еще в 1970-е годы многие западные политики и политологи предсказывали поражение Запада и победу мирового коммунизма. И эти прогнозы имели под собой весьма серьезные основания. Реальное развитие СССР доказывало, что он способен «догнать и перегнать» лидера западной цивилизации – США, т.е. решить задачу, поставленную еще И.В. Сталиным. Эта задача была тем труднее, что США имели колоссальную фору в уровне развития к моменту рождения советской модели, а затем – еще большую после окончания Второй мировой, от которой США вновь, как и от Первой, только выиграли, тогда как СССР лежал в руинах. Одним из ярких показателей этой возможности было достижение в 1970-е годы военно-стратегического паритета с США. В марте 1978 г. американский журнал «U.S. News and World Report» сообщал, что из 33-х основных технологических характеристик 8-ми видов вооружения мы имели качественное превосходство по 12-ти характеристикам, США – по 18-ти, по 3-м было примерное равенство.

Прогнозы не реализовались по многим причинам, но главное заключалось в стратегических просчетах советских руководителей и одновременно, в способности западных лидеров извлекать уроки и корректировать политику. Так, в 1960-е – 1970-е гг. США, осознав отставание от СССР в области технического образования, существенно изменили свою образовательную систему. Целевая лунная программа позволила США совершить мощный научно-технический рывок.

Советская модель дала сбои лишь при новом историческом вызове – необходимости перехода к постиндустриальной стадии в 1970-е – 1980-е гг., когда были допущены грубые просчеты в экономической стратегии, внешней и оборонной политике.

Острое экономическое, военное, геополитическое, идеологическое соперничество требовало перенапряжения сил, превышало возможности страны, подрывало ее потенциал. Будучи вынужденно втянут в гонку вооружений, СССР на военные нужды использовал до 20% ВВП, тогда как США – 5-10%. В 1985 г. ВВП на душу населения в СССР был в 4 раза меньше, чем в США, а военные расходы на человека в денежном выражении – практически равны. Даже в США гонка вооружений имела негативные последствия, ослабив конкурентные позиции на мировых рынках, а для СССР – гораздо серьезнее (Рязанов, 1998. С. 51, 125).

Грубой ошибкой было вовлечение страны в экспортно-сырьевую зависимость: «подсев на не-

фтегазовую иглу», а заодно бездарно растратив нефтедолларовые поступления, СССР потерял внешнеэкономическую автономию и в условиях сознательно организованного Западом обвала цен на нефть оказался в тяжелом положении. Резко возросшие потребительские потребности населения, с одной стороны, неспособность обеспечить их, а также накопленную денежную массу товарной массой, с другой, необходимость модернизировать экономику на новой научно-технической основе в условиях недостатка финансовых средств, с третьей – все это и многое другое привело к дестабилизации советской экономической системы (которая еще ранее была разбалансирована непоследовательной реформой 1965 г.). Планово-директивный механизм по мере разрастания народнохозяйственного комплекса породил механизмы торможения (в т.ч. за счет абсолютизации интересов ведомств).

Но соревнование с западной системой проиграла все же не советская модель: причины ее краха преимущественно субъективные и кроются в неадекватных политических и экономических решениях. Еще в 1950-е – 1960-е годы допускались ошибки в научно-технической политике, усугубившиеся в дальнейшем (Артемов, 2006 г.). Экономика «наслаивала» пласты новых, современных технологических укладов на расширенное воспроизводство устаревших.

В «первом мире» шли радикальные сдвиги к постиндустриализму (экономике знаний, высоких технологий, преобладанию «человеческого капитала»), а советские идеологи мыслили категориями раннеиндустриальной эпохи (объемами производства угля, металла и т.д.). Доктринальные установки, возникшие на заре индустриализации, догматически сохранялись и стали препятствием для необходимых трансформаций. КПСС в начале 1980-х гг. по-прежнему звала не в индустриальное будущее, как в 1930-е, а назад, в индустриальное прошлое.

К середине 1980-х гг. страна на полтора десятилетия запоздала со структурной перестройкой экономики, упустила исторический шанс остаться в числе мировых научно-технических лидеров. Если в 1960-х годах можно было говорить о параллельном существовании двух мировых экономик, то к 1980-м годам ситуация уже стала иной (Бокарев, 2007. С. 110-111).

Именно прорыв к новым технологическим уровням и структурная перестройка экономики, а не радикальный передел собственности и изменение социально-политической системы отвечали интересам экономического развития и всего общества. Но развитие пошло иначе. Горбачевская

«перестройка», а после развала СССР квазилиберальные реформы, довершили кризисный сценарий развития.

С крахом СССР рухнула не только экономическая модель, но и подконтрольное России геополитическое пространство, система безопасности, единый народнохозяйственный комплекс, экономический потенциал, наработанный поколениями. Два десятилетия оказались потерянными для экономического развития России, к тому же усеченной в своих территориальном, природном, демографическом потенциалах, обрушенной в геополитическом, экономическом и оборонном.

* * *

Исследование показало, что какие бы радикальные общественные трансформации ни происходили в XIX – XX вв., индустриальная модернизация оставалась историческим императивом развития, недоучет которого приводил к кризисным явлениям и вел к отставанию от лидеров. Самодостаточность огромного потенциала России (территориально-природного, людского, экономического) позволяла ей существовать относительно автономно. Хотя и приходилось на всех этапах заимствовать научно-технические достижения Запада, степень такой зависимости быстро снижалась еще в имперскую эпоху (удалось сформировать современную систему образования, свои научные и инженерные школы), а в советское время удавалось самостоятельно решать задачи радикального прорыва в технологиях и организационных формах, что обеспечивалось различными формами и инструментами, в том числе в мобилизационном режиме. Вместе с тем происходившие на основе достижений модернизации общественные изменения приводили к дисгармонии и социальным напряжениям, которые не всегда успевали осознаться властью, а противоречия – адекватно разрешаться. Обе модели модернизации, хотя и по-разному, находились также в противоречии с более глубинными социокультурными основаниями российской жизни, что удавалось компенсировать давлением государственной власти, но лишь до тех пор, пока государство оставалось сильным и стабильным.

Вся история России, по сути, представляла собой сочетание постоянно действующих экстремальных условий природного характера с бесконечной чередой накладывающихся дополнительно экстремальных ситуаций социальной природы, внешнего и внутреннего порядка. К внешним относятся: угроза войн и собственно военные периоды, жесткость внешнеэкономической среды при слабой конкурентоспособности российской экономики по

объективным, а также и субъективным, ситуационным причинам; к внутренним – периодические обострения социальной напряженности, перерастающие в катаклизмы – смуты и революции, порожденные рассогласованием изменившихся параметров общества с его «внешними» формами; «трансформации», вызванные неадекватными требованиями ситуации действиями власти и т.п. Отсюда доминирование этатизма – и в практике государства, и в массовом сознании. Важным объективным свойством российской экономики на протяжении всего ее существования была значимость внеэкономических приоритетов в экономическом развитии, а в советский период – даже их доминирование. В этом – одна из причин решающей роли государства в имперской и всеобъемлющей в советской модернизационных моделях.

В начале XX века экономическая модель С.Ю. Витте – П.А. Столыпина рухнула не столько потому, что она была плоха сама по себе, сколько из-за «неорганичности», неадекватности социокультурным характеристикам страны и исторической ситуации, и была отторгнута крестьянско-общинным большинством. Имперская либерально-консервативная модель модернизации столкнулась с жестким сопротивлением «социального материала» российского традиционализма. Революция 1917 г. явилась реакцией отторжения традиционным российским обществом модернизационных процессов, осуществлявшихся на основе «прозападнических» схем (в том числе – столыпинской реформы, конституционализма и др.). По сути, это была не революция пролетариев, а бунт села – не только против непонятной мировой войны, но и против «города», ломавшего устои крестьянской жизни, за землю, за сохранение общины, за восстановление традиционализма. Западники-большевики, вся доктрина которых была нацелена на слом российского традиционализма, сумели гибко и прагматично опереться на него, предложив свою леворадикальную модель модернизации сверху, с опорой на широчайшие слои города и деревни. В советское время этатистские установки населения были подкреплены социальной практикой государственного патернализма, а общинные установки низов деревни были использованы при коллективизации, сопротивление которой оказало преимущественно зажиточное крестьянство, еще ранее, при Столыпине ориентированное на выход из общины.

Имперская модель носила преимущественно догоняющий и подражательный характер, советская модель по ряду ключевых параметров сумела перейти от догоняющей к опережающей стратегии,

к прорыву на новые технологические уровни, но не смогла удержать эту планку в 1970-е – 1980-е годы. Имперская модель имела в основе либерально-консервативную идеологию, чуждую абсолютному большинству, крестьянского – на селе и мещанского – в городе, населения; советская модель опиралась на квазимарксистскую идеологию, адаптированную к условиям страны и в целом созвучную настроениям городской и сельской массы (до определенной стадии «транзита», когда произошел разрыв между изменившимся качеством общества и закосневшими идеологическими догматами).

Таким образом, советская модель индустриальной модернизации (решавшая задачи, оставленные в наследство от имперского периода) оказалась более успешной, нежели имперская. Она обеспечила жизнеспособность страны, пройдя испытание Второй мировой войной, противостоянием в «холодной войне» с сильнейшим противником, в основном, реализовала индустриальный модернизационный цикл (имперская была в начале пути). Она создала базу для эволюционного перехода к постиндустриальной стадии, не реализованной в силу ситуационных политических, во многом субъективных, причин.

Несмотря на то, что российская модернизация осуществлялась в рамках двух очень разных моделей, обе из них в XX веке завершились тупиком развития, системным кризисом и общественным крахом. Возникает вопрос: лежат ли причины катастрофического итога вроде бы успешных десятилетиями модернизаций в их моделях или в более глубоких общественных структурах и механизмах, которые сами обусловили кризис моделей модернизаций (хотя и каждой – по-разному). Кумулятивный эффект негативных и кризисных проявлений в обеих моделях модернизации, дестабилизирующих общество факторов, в том числе ситуационных, исторически «случайных» (будь то внешних или внутренних) и ослабления власти приводил к катастрофическим последствиям. Это случалось, когда власть теряла ориентиры в реализации модернизационного курса, не замечая разрыва между ним и состоянием общества (в том числе произошедшими ранее фундаментальными изменениями).

Насилие в разных масштабах и формах применялось в обеих моделях преобразований, однако в имперской оно было направлено преимущественно на подавление недовольства низов, революционных проявлений, политической оппозиции, тогда как в советской доминанта насилия прошла ряд этапов – от подавления «бывших» (1920-е гг.) к подавлению собственной элиты, сопротивлявшейся изменениям политического курса (репрессии 1930-х – нача-

ла 1950-х гг.) и далее – в основном к подавлению малочисленных групп «диссидентов». Советская модель повысила степень контроля над обществом, что явилось реакцией на постреволюционный хаос, беспрецедентные внешние и внутренние угрозы, но его эффективность упала к концу советской эпохи из-за девальвации главного инструмента – ценностно-смысловых мотивов поведения как элит, так и масс. Закоснелость устаревших ценностей и установок власти стала проявлением кризиса обеих моделей. Однако их крах способствовали крайности – как отсутствие диалога власти с обществом (Николай II), так и заигрывание с радикальной оппозицией, демонтаж систем социального контроля при невнятности политического курса (Горбачев).

Характерно, что окончательный крах моделей сопровождался кратковременными приходами во власть либералов (декларативно провозглашавших модернизационные цели), что всегда оборачивалось национально-государственными катастрофами и прерыванием модернизационного процесса, а также резким откатом к демодернизации. Так было в 1917 г. (Временное правительство), так случилось и в 1991 г. Действительные успехи российской модернизации достигались тогда, когда торжествовал прагматический, во многом консервативный курс, ориентированный на реальные внутренние, прежде всего социокультурные, и внешние условия, а также системный подход.

ЛИТЕРАТУРА:

- Алексеева Е.В. 2007. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII – начало XX в.) М.
Андрианов В.Д. 2002. Россия в мировой экономике. М.

Артемов Е.Т. 2006. Научно-техническая политика в советской модели позднеиндустриальной модернизации. М.

Бокарев Ю.П. 2007. СССР и становление постиндустриального общества на Западе. 1970-е – 1980-е годы. М.

Вишневский А.Г. 1998. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. М.

Ерасов В.С. 1995. Одномерная логика российских модернизаторов // *Общественные науки и современность*, № 2.

Иноземцев В.Л. 2000. Пределы «догоняющего» развития. М.

Каспэ С. 2001. Империя и модернизация: Общая модель и российская специфика. М.

Красильщиков В.А. 1998. Вдогонку за прошедшим веком: Развитие России в XX веке с точки зрения мировых модернизаций. М.

Лейбович О.Л. 1996. Модернизация в России. К методологии изучения современной отечественной истории. Пермь.

Опыт российских модернизаций XVIII-XX века. М.: Наука, 2000.

Побережников И.В. 2006. Переход от традиционного к индустриальному обществу. Теоретико-методологические проблемы модернизации. М.

Поляков Л.В. 1998. Путь России в современность: модернизация как деархаизация. М.

Проскурякова Н.А. 2005. Концепции цивилизации и модернизации в отечественной историографии // *Вопросы истории*. № 7.

Рязанов В.Т. 1998. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX – XX вв. СПб.

Сенявский А.С. 2003. Урбанизация России в XX веке: роль в историческом процессе. М.

Струве П. 1913. Крепостное хозяйство: Исследование по экономической истории России в XVIII – XIX вв. М.

Булдаков В.П. (ИРИ РАН)

МОДЕРНИЗАЦИЯ В РОССИИ: ГИРИ НА НОГАХ ПРОГРЕССА?

Модернизацию понимали и понимают по-разному (Smelser. 1973. P. 268–284): и как чисто экономический прорыв, и как общий прогресс под воздействием соответствующих культурных изменений (Sjoberg. 1966. P. 52–53), образцом которого является западное общество. Подобные подходы давно обнаружили свою ограниченность (См.: McLelland. 1968; Hagen. 1962). Было показано, что модернизация – это вовсе не общая схема перехода от традиционного общества к представительской демократии и рыночной экономике (См.: Харрисон, Хантингтон (ред.) 2002), а широкий спектр инновационных системных действий (Гудков. 2011.

С. 377). Тем не менее, в России под модернизацией обычно понимают достижение эффективной, конкурентоспособной экономики за счет новейших технологий.

Подобное представление о модернизации утопично: ставка делается не на человека, действующего «инновационно», а на «высшие» силы, способные осуществлять прогресс для него и за него. Отголоски патерналистской скованности сознания не случайно сказываются и на этатизации российского прогресса.

Обычно модернизацию в России ведут с Великих реформ XIX в. Это не совсем точно. По-

пытки подстегнуть экономику предпринимались еще до Петра I (Нефедов. 2004. С. 33–52). Как правило, они осуществлялись волонтаристски-мобилизационными методами во имя усиления обороноспособности империи. Заинтересованность населения не учитывалась. В сущности это были попытки «модернизировать» государство, а не социальное пространство, которое, в свою очередь, могло обеспечить необратимость инноваций. Не удивительно, что бывшие попытки российской «модернизации» не только не приносили устойчивого результата, но и оборачивались болезненными, в том числе революционными, срывами.

По современным понятиям успешная модернизация призвана увенчаться не только созданием гражданского общества, но и появлением креативного класса, обеспечивающего непрерывность инновационных изменений. К сожалению, в современной России не учитывается, что подлинная модернизация требует качественного обновления всей культурной среды.

Конечно, причины модернизационных неудач запряты в глубине веков. Не приходится сомневаться, что российская система инерционна по самим условиям своего геоклиматического существования. Она ориентирована на *стабильность*. Между тем, всякий успешный модернизационный рывок подспудно связан со способностью экономики адекватно реагировать на вызовы времени. Напротив, хронический застой рано или поздно оборачивается против хозяйственной системы, которая не выдерживает конкуренции с ближайшим своим окружением. По этой причине в России в начале XX века системный кризис обернулся развалом империи, который был выдан за невиданную по своей «прогрессивности» революцию (Булдаков. 2007. 107–115).

Всякий системный кризис означает не просто развал и распад, но и возникновение психосоциальной потребности в его преодолении на качественно новой социокультурной базе. Но в России синергетика обновления системы то ли не проявила себя то ли не была использована. Возникает вопрос: почему?

Некоторые исследователи не устают сетовать на слабость цивилизационного наследия России или ущербность воспринятого ею византийского пути развития. (Последнее, впрочем, не мешает горделиво вспоминать про Третий Рим). Но как известно, всяким наследием нелегко эффективно воспользоваться, но легко промотать. Заимствования эффективно работают только в соответственно подготовленной, отформатированной под тот или иной вариант модернизации, культурной среде.

Строго говоря, всем народам некогда пришлось начинать «с нуля». А потому бессмысленно жаловаться на недостаток «цивилизованности», следует осознать, с чем это было связано. Важно понять, каковы были объективные потребности в тех или иных инновациях, какова была степень осознания их необходимости управленческими структурами и элитами, каковы были особенности восприятия их в массе населения. Для этого требуется, прежде всего, анализ *субъективных* представлений о потребностях и задачах модернизации. Только на его основании можно составить адекватное представление как о реальных масштабах и параметрах модернизационных задач в России, так и психосоциальных возможностях их реализации.

Порой все цивилизационные «несчастья» России связывают с обширностью ее территорий. Отчасти это верно. Но верно и то, что безграничность пространств и ресурсов может стать подарком исторической судьбы. Вместо сетований на природное изобилие, следовало бы разумно им пользоваться.

Нет сомнения, что в России утвердился экстенсивный тип развития еще до того, как она взяла за образец византийско-православную систему. В основе его лежало «мигрирующее земледелие», стимулирующее коллективный способ хозяйствования и исключавшее необходимость интенсификации производства на ограниченной территории. Кроме того, трудно было ожидать появления устойчивых производственно-торговых анклавов на российских сухопутных пространствах. В любом случае слабые транспортные возможности, связанные как с обширностью территорий, так с относительной недостаточностью водных путей (не говоря уже о сезонных трудностях передвижения), делали бесполезным всякий продовольственный избыток. Сложилась система, а вместе с тем и психология анклавного стабильного существования, а не инновационного развития. Независимого социального взаимодействия снизу также не складывалось, власть становилась иносоциальным элементом. Монгольское завоевание «помогло» ей тем, что утвердило «маршрутный» способ овладения пространством. Вслед за тем законсервировалась система «внешнего» силового управления, парализующая инициативу снизу. Можно сказать, что византийско-православная государственность обрела неадекватную ей монгольско-кочевническую систему управления, причем со временем место баскака занял другой «чужак» – немец-бюрократ. В свою очередь, вотчинно-поместная система хозяйствования, нацеленная на совместное выживание, допускала лишь примитивно-мобилизационный способ интенсификации производства. В результа-

те в русском крестьянстве утвердился общинный природно-потребительский тип хозяйствования, всякий раз сдерживавший инновационные порывы, но зато периодически генерирующий недовольство внешней «эксплуатацией».

На это наложился еще один фактор. На протяжении многих веков власть контролировала лишь незначительную часть совокупного прибавочного продукта (превратить его в общенародное достояние было невозможно в силу недостаточности коммуникаций). А между тем, господство над необъятными территориями требовало концентрации в руках государства весьма значительных «свободных» средств. В поисках выхода из положения власть постаралась совместить пространство территории с пространством населения с помощью института крепостничества – насильственного патернализма, исключавшего свободное индивидуальное творчество (точнее, допускавшее его лишь по повелению сверху).

Так возникла «идеология» Домостроя, по своему подкрепившая утопию «социальной Правды» (Клибанов. 1977. С. 12). Главными его принципами стало такое отношение к труду и богатству, которое обеспечивало стабильность замкнутого хозяйствования. Всякому накоплению противостояла идея разумного достатка за счет собственного труда и самоограничения. Этому сопутствовало отрицательное отношение к добыванию денег как самодовлеющей цели, негативное отношение к несправедливой эксплуатации, и тем более, к ростовщическому проценту. Внешне это похоже на приближение к нравственному идеалу. На деле «идеальное» слишком часто противостоит «рациональному». Идеал в принципе недостижим, а прогресс неизбежен как способ выживания в постоянно меняющемся мире.

Впрочем, все это в России так или иначе сознавалось. Со времен П.Я. Чаадаева было известно, что на отставании России сказались такие факторы, как география, православие, крепостное право, отсутствие потребности культурной преемственности и связи времен, социальный патернализм, патриархальность быта, наконец, политический произвол. В свою очередь, И.А. Ильин полагал, что россиянин был исторически «переобременен». Над ним тяготело «бремя пространства», которое следовало «заморить силой оружия и государственной власти». Называл он, конечно, и «бремя природы», имея в виду климатический фактор, вспоминал и «бремя народности», связанное с полиэтничностью осваиваемых территорий (Ильин. 2004. С. 428–429). Со всем этим можно согласиться. Но нельзя забывать, что для подтверждения своей убежденности

человек всегда отыщет массу причин, причем этому помогут соответствующие депо исторической памяти.

К тому же россиянину, вынужденному двигаться «вширь» по пространствам Евразии, всегда недоставало самодисциплинирующего начала – отсюда и множественные «домостроительные» предписания власти. Однако государственно-религиозное «дисциплинирующее» насилие никогда не носило планомерного характера, способствующего тотальному форматированию социального пространства. Между тем, всякие цивилизационные достижения связаны с уровнем социальной дисциплины (лишь поначалу насаждаемой сверху!), складывающейся в определенное социокультурное единство, а вовсе не уникальной интеллектуальной одаренностью населения. Именно в отформатированном социальном пространстве новые технологии ведут к тотальности модернизационных процессов.

Разумеется, антимодернизационную роль сыграла и российская автаркия. Это закономерно: только кросс-культурные контакты превращают человека традиционного общества, стреноженному примитивными формами коллективизма, в «разумного» индивидуалиста, способного к модернизации своего ближайшего окружения (См.: McLelland; Hagen). Вместе с тем нельзя не заметить, что избавление от автаркии создает условия для «эпидемии подражательства», отнюдь не бесполезной в инновационном отношении. Всякая историческая слабость может обернуться грядущим преимуществом (пример Японии или «азиатских тигров»).

Принято считать, что развитие европейского капитализма связано с протестантской этикой (Макс Вебер), а равно и апологией богатства времен Ренессанса и Реформации (Васильев. 2011. С. 7). Это верно лишь для Европы. Так, японский модернизационный рывок был связан с традицией самурайской «нерыночной» социотехнологизации первичных социумов (Murakami. 1987. P. 65–88). Во всяком случае, для начального этапа модернизации важен не только особый дух, но и *тот или иной* способ форматирования социальной среды. Низшие уровни организации создают предпосылки для рационализации, последняя, закрепившись на бытовом уровне, становится невидимым двигателем технологизации – причем не только производства. Разумеется, это само по себе еще не обеспечивает инновационного развития. Но этим создается социальная предрасположенность для технологических заимствований, что особенно важно на ранних стадиях модернизации.

На трудностях модернизации сказывался и религиозный фактор. Не приходится сомневаться, что

в деле поощрения хозяйственной оборотистости православие, сконцентрированное на божественном в ущерб человеческому, заметно отличается от католицизма, не говоря уже о протестантизме. Но дело вовсе не в психологии нестяжательства, которая имплицитно пронизывает православную культуру. Старообрядцы обнаружили завидную способность к предпринимательству (Керов. 2004). Это связано вовсе не с их верой, а с их внутренней организацией, заметно отчужденной от официальной.

Конечно, в России (и не только) решающую роль в модернизационных процессах могла сыграть государственность. Но особенности ее складывания привели к тому, что власть признавала только один «авторитет» – божественный, что было равносильно перманентному самовосхвалению. При этом она, изначально не доверяя собственному населению, всякий раз предпочитала наемников, а не доморощенных управленцев. В известной мере это было характерно для определенной стадии развития всех европейских народов. Но в России практика насаждения «нукеров прогресса» упрочилась настолько, что власть стала предпочитать иностранные заимствования вместо развития собственных производств. Это в полной мере сказалось и на промышленном развитии.

Тот факт, что государство привыкло само задавать характер экономического развития, понимая его в мобилизационной, а не в модернизационной парадигме, привело к тотальному деформированию представлений о способе движения вперед. По существу в России оказалась элиминирована *гражданская* идеология модернизации, зато восторжествовал этатистский ее дискурс («Круглый стол». 2012. С. 46–71). Как результат, нынешние «теоретические» разговоры о модернизации ведутся в стилистике «надо», «следует», «должно быть» (Волков. 2011). В общем, это риторика преподавателей научного коммунизма. И это тоже не случайно: в России воображаемое обычно опережало реальное.

Строго говоря, всякая «правильная» гражданская политика (не только этимологически, но и по существу) возможна только в урбанизированной социальной среде. В России, в отличие от Запада, городская культура постоянно подавлялась миграционными потоками из сельской местности. По этой причине российский тип администрирования противостоял любым модернизационным интенциям. «Политика» концентрировалась вокруг проблемы управления «рурализованной» социальной средой. Власть, будь то самодержавно-патерналистская или псевдодемократическая, всегда воспринималась как самоцель, а не средство преобразования социаль-

ного пространства. Российское превдо/представительство и суррогатная многопартийность служили скорее упрочению этатизма, а не самоорганизации общества. «Демократические» институты были и остаются выпрошенными интеллигенцией и работающими вхолостую органами поддержания существующей (и при этом мимикрирующей) власти. Отсюда невольная деструктивность *всякой* оппозиции. В таких условиях сама идея модернизации превращается для «народных избранников» в предмет отвлеченной риторики, а не реальных забот.

Следует также учитывать, что российская власть, некогда взвалив на себя бремя патернализма, не может «заботиться» о благе подданных иначе, как постоянно подстраиваясь под их представления о «своей» власти. Это вынуждает государство имитировать реформы, а не усложнять себе жизнь модернизацией (за исключением «модернизации» самой себя). Ей постоянно приходится «выбирать» между инновационностью и самосохранением. Последнее, в свою очередь, заставляет консервировать архаику массового сознания и самосознания.

Отсюда постоянные «потемкинские деревни», возводимые властью. Им соответствуют интеллигентские «говорильни» всех уровней – от парламента до кружковых сплетен. В любом случае имитационная демократия способна вос/производить лишь декоративную модернизацию. Проблема также в том, что массовое сознание готово поверить в эффективность реформ управления, ибо горизонты его представлений о прогрессе искусственно заужены.

Задача модернизации в России весьма проблематичным образом связана с феноменом взаимопредставлений власти и интеллигенции. Эти два контрагента русской действительности совершенно по-разному смотрели на характер возможных изменений: для власти они были необходимы для укрепления своего положения в пространстве «застоя», для интеллигенции они мыслились исключительно как средство собственного освобождения от опеки государства. При этом проблема капиталистического прогресса, как неперемного условия не только роста благосостояния масс, но и укрепления государственности, была обозначена лишь в 1890-х гг., что было историческим запозданием. В результате в России было реанимировано уже устаревшее в Западной Европе представление о революции как о скорейшем способе достижения прогресса. В свое время прогресс (модернизация) понимался двояко: как возвращение к «поврежденному» идеалу прошлого (в Европе такие представления держались до Великой французской революции) и как решительный разрыв со

всем «старым миром». В сущности, в России не ко времени столкнулись эти две утопии. Сомнительно, что из их вынужденного симбиоза мог получиться инновационный результат.

Следует учитывать, что к началу XX в. в связи с резким уплотнением жизненного пространства и интенсификацией информационных связей идеологическая составляющая в жизни народов приобрела качество былых религиозных «эпидемий». В этих условиях марксизм, будучи адресован массам, все более основательно приобретал элементы мессианских надежд и хилиастических ожиданий, что отнюдь не способствовало избавлению от реликтов патерналистского сознания. Поэтому не случайно, что в России до сих пор преобладает «революционное» понимание реформ как неких одномоментных акций. Соответственно этому новейшие технологии имплицитно воспринимаются как своего рода чудодейственное средство, которое само по себе, без креативных людских усилий обеспечивает «прогресс».

В пространстве такой «политики» вовсе не случайно, что в современном массовом сознании Петр I превратился в главного «модернизатора» России, эстафету от которого принял монархист П.А. Столыпин (См.: Шелохаев. 2012), и даже практика сталинизма воспринимается в русле «модернизационных» изменений. Строго говоря, само понятие модернизации подверглось эмоционально-смысловой деформации. В модернизации видят «чудодейственное» средство, спущенное сверху, а не выход на самостоятельно-инновационный способ существования. Поэтому либеральные доктринеры оказываются заиклены на идее демократии, якобы автоматически решающей (под их просвещенным руководством) все проблемы России, включая модернизацию.

В современной России подобное представление о путях модернизации практически законсервировалось. Одновременно, наряду с сетованиями в адрес государства, не выполняющего своей модернизационной миссии, раздаются и упреки в адрес современных российских элит, уклоняющихся от своих исторических задач. К примеру, звучат заявления о том, что нынешний управленческий аппарат «весьма далек от современных моделей “отзывчивой” бюрократии, но даже от классической веберовской модели рациональной бюрократии» (Гаман-Голутвина. 2010. С. 21). Для историка такие инвективы звучат странно: такого аппарата не могло быть *sui generis*. А между тем, как было замечено, один вид растущей беспомощности существующих политических элит подпитывает даже в граждански зрелом обществе

чувство бессилия, апатии и бессмысленности (Хабермас. 2012. С. 151).

Российская вера во власть сформировалась исторически. Но власть – вовсе не устойчивая сакральная величина. Она отражает свойства подвластного «человеческого материала». Существование слоя зависимых людей – всеобщий закон общественного развития на его начальных ступенях. Проблема в том, чтобы вовремя от него избавиться. Крепостничество в «рыхлой» социально-демографической среде было необходимо для самого существования государства. Без него слой служилых людей попросту не мог прокормиться. Но всему свое время. Активные социальные действия могли бы изменить в России природу власти (Розин. 2011. С. 13). Всякий прогресс можно представить как способность рационально, без потерь, избавляться от всего «мешающего». В то же время исторический опыт подсказывает, что надежнее следовать «преданьям старины», обеспечивающим стабильность. Ничего удивительного: до Великой французской революции едва ли не все инновационные изменения в Европе производились во имя возвращения к старому, «нормальному» миропорядку.

Для модернизаторского перелома в сознании требовался социальный слой, который бы на практике доказал, что отказ от устаревшего – благо. В России этот слой (который можно условно назвать протобуржуазным) был заведомо слаб. Его развитие требовало свободного обмена прибавочным продуктом. В России это было затруднительно – и в силу недостатка последнего, и по причине отсутствия соответствующего законодательства, не говоря уже о слабостях транспортного сообщения.

Возникновение и последующее разрастание вездесущей «реакционной» бюрократии также было явлением неизбежным. В силу слабости самоорганизационных потенций и интенций общества, государству, во избежание «своеволия» мест, приходилось навязывать и утверждать «порядок» сверху. Постепенно это превратилось в систему силового подавления всякой «излишней» инициативы. В конечном счете, государственный патернализм оказал парализующее и вместе с тем, развращающее влияние на общество, приучив его к «застойному» существованию.

Сложившийся «перекосяк» между управлением и самоуправлением стал столь силен, что попытки государства выработать оптимальное (вновь для самого себя) соотношение между управлением и самоуправлением приводили к появлению декоративных городских и земских институтов. Иными они не могли и быть: во второй половине XIX в.

самоуправленческие низы были, по преимуществу, материально несамостоятельными. И вся последующая бюрократическая политика вела к упрочению государственно-патерналистских начал. Так или иначе, «патерналистская» государственность со временем стала видеть свою основную задачу в «самообслуживании», в «самомодернизации» (Межуев. 2012. С. 22); с другой стороны, в глазах большинства населения власть уподобилась сакральной величине, которой в любом случае принадлежало «последнее слово».

Такая конструкция власти исключает появление управленцев, обеспечивающих модернизационные процессы. Напротив, она ведет к упрочению «номенклатурного» принципа: власти требуются то баскаки, то современные назначенцы, «полезные» только своей преданностью очередному властителю. Это отнюдь не «менеджеры», а люди, посаженные «на кормление» (вплоть до нынешних олигархов). И конечно, они призваны обеспечивать *стабильность* системы, а не ее эффективность. Поэтому не удивительно, что коррупция всегда пронизывала «застойную» систему. Обратной стороной стадного коллективизма является индивидуальное или мафиозное жульничество: люди убеждены, что выгоднее действовать в обход законов, заточенных под власть, нежели следовать им. Между тем, всякое беззаконие – враг поступательного развития. В России об этом было известно, по меньшей мере, со времен гоголевского «Ревизора». Однако положение почти не меняется.

Не случайно всякий кризис российской патерналистско-приказной системы связан с растущей беспомощностью, а затем и распадом имманентно несамостоятельных управленческих структур. Его острота определялась как внешними воздействиями (неумением реагировать на изменившиеся обстоятельства), так и внутренними сбоями (связанными поначалу с моральным истощением властного начала (Булдаков. 2007. С. 81–85). Люди воспринимают бюрократию как нечто не просто чуждое, но и враждебное их «естественному» существованию. Организационный развал закономерно оборачивался территориальным распадом державы.

Историческая психология россиянина применительно к его модернизационным способностям – наиболее сложный вопрос. Совершенно очевидно, что в России сложился несамостоятельный, зависимый тип личности. Такой социальный типаж не привык действовать за пределами привычного социума. В общем, это своего рода «жертва» общинной психологии. При этом русский человек – отнюдь не тот «коллективист», которым его и по

сей день изображает официальная пропаганда. Напротив, он антиколлективист и этатист (что в совокупности противоположно идеалу гражданственности), ибо признает лишь два типа социальных взаимоотношений: подавление и бунт. Поскольку в России в ходе спонтанной модернизации давление на личность как со стороны привычного социума («общины»), так и государства (бюрократии) становится невыносимым, накопление элементов взрывоопасного ресентимента становится необратимым. Как результат, основные поведенческие практики *homo rossicus'a* все более отдаляются от принципов согласия ради прогресса.

Наиболее болезненная часть психоментальности россиянина связана с тем, что он, подобно доисторическому существу, не склонен замечать водоразделов между реальным, воображаемым, символическим. Он предпочитает жить мифами, легендами, слухами и дарованным (заведомо скудным) достатком. У него нет иммунитета к социально-утопической демагогии, ибо миф противостоит идее изменения, прогресса. *Homo rossicus*, как и в советские времена, пребывает в ожидании «чуда», причем «информационная революция» усилила иллюзорность сознания.

Российское государство явно или скрыто, сознательно или бессознательно насаждало идеологию застоя. Соответственно этому народ готов был терпеть только «дающую» власть. В результате в критических обстоятельствах власть теряла сакральный ореол и представляла беспомощной и ненужной. Отсюда склонность к «революционным» прорывам вместо модернизирующей эволюции, тяготение к мифу, который становится основным маркером, ориентирующим человека в окружающем пространстве.

Россиянин по-прежнему сомневается в том, что успех может быть результатом индивидуальных творческих усилий. Очевидно, что российское социальное пространство само по себе не predisposed к модернизационным изменениям. Как результат, функции «модернизации» всякий раз брало на себя государство, которое в процессе самообслуживания подгоняло под себя «общество». Недаром А.С. Пушкин увидел в нем «единственного европейца» на всю Россию. Отсюда феномен периодических мобилизационных «авралов», практикуемых государством, которые по своей сути противоположны естественной модернизации. Поэтому неудивительно, что в России до сих пор путают мобилизацию с модернизацией, технологизацию с инновационностью, «скачок на месте» с прорывом вперед. «Все беды нашего народа происходят от въевшегося в нас за всю тяжелую тысяче-

летнюю российскую историю холопства», – писал в свое время В.О. Ключевский (Ключевский. 1990. С. 975). Наблюдая современную ситуацию, трудно с этим не согласиться.

Исследователи, сравнивая представление о судьбе у русских и французов, приходят к выводу, что в первом случае оно пассивное, во втором – активное, а «целостное и образно разработанное понятие неудачи является специфически русским и не находит аналога во французском языке» (Головановская. С. 104, 125). Значит ли это, что русский – природный «лузер»? Трудно поверить, ибо оказывается, что он, в отличие от француза, любит опасность, тогда как последний предпочитает страховать. Наконец, для французов характерно единство рационального и эмоционального, у русских, напротив, чувство отделяется от рационального (Головановская. С. 141, 321). В общем, уместнее допустить, что русский скорее готов поверить в собственную неудачливость, нежели вытеснить подобные интенции из своего сознания.

Но в данном случае важнее другой вопрос – способность россиянина к инновациям в принципе. Можно определенно сказать, что по причине упоминавшейся нерасчлененности реального, воображаемого и символического ему определенно не приходится занимать способности к творчеству. Можно даже сказать, что россиянин «избыточно талантлив» для организационного совершенствования собственной жизнедеятельности. Разумеется, при этом фантазийное будет не случайно преобладать над практическим, а изобретательство над совершенствованием достигнутого.

Ныне массы признают только те «инновационные» подвижки, которые дают моментальные выгоды. Однако расчет на подобную модернизацию подобен детской вере в чудо.

Едва ли не самым наглядным примером срыва модернизации является ситуация в России в период Первой мировой войны. Предвоенный бюджет базировался на косвенном налогообложении, в особенности – на акцизах. Жесткий «золотой стандарт» обеспечивал приток иностранных капиталов, а сельскохозяйственный экспорт создавал положительное внешнеторговое сальдо. Частично это использовалось для индустриализации. Но прекращение вывоза хлебов и введение сухого закона изменили финансово-экономическую ситуацию.

На этом фоне поражают настроения, с которыми образованное общество ожидало войну. Еще в 1894 г. финансист И.С. Блюх утверждал, что потери от нее будут велики лишь в технологически развитых странах по причине свертывания международной торговли. В России же не приходится опасаться ни

особых народных бедствий, ни социализма – отсталость выручит! (Блюх. 1894. С. 288–289, 314). Со своей стороны, подполковник Генерального штаба А. Гулевич уверял, что «хозяйственный организм России не может быть поколеблен... бедствиями будущей войны». Ему казалось, что от затянувшейся войны «неразвитая» Россия выиграет (Гулевич. 1898. С. 179).

Эти заявления удивительно контрастировали с предвоенными заявлениями бывшего министра внутренних дел П.Н. Дурново. Конечно, последний, был сторонником прочного союза с Германией во имя сохранения стабильности в России. Тем не менее, он отлично видел слабость российской экономики – прежде всего, ее зависимость от германской промышленности. Положение следовало сохранять, иначе грозит менее выгодная зависимость от Англии и Франции. Дурново напоминал, что сеть железных дорог в России недостаточна, подвижной состав в состоянии обслуживать только нужды мирного времени. А главное, война требует новой техники, а «техническая отсталость нашей промышленности не создает благоприятных условий для усвоения нами новых изобретений» (Дурново. 2014. С. 64). Разумеется, записка Дурново была крайне тенденциозна. Но не менее пристрастны были и его оппоненты.

Тем временем в обществе уже сложилось легкомысленное отношение к войне, формировались шапкозакидательские настроения. Перед самой войной российский «геополитик» А.Е. Едрихин уверял: «Россия велика и могущественна. Моральные и материальные источники ее не имеют ничего равного себе в мире...». Он полагал, что если эти источники «будут организованы соответственно своей массе, у нас не будет причин опасаться наших соседей, ибо самый сильный – Германия – великолепно понимает, что, если ее будущее зависит от ее флота, то существование последнего зависит от русской армии» (Вандам. 2002. С. 185). Рождались картины нового мира, гегемоном которого становилась Россия. Композитор А.Н. Скрябин считал, что поскольку европейская культура «уже сказала свое слово, проснутся Азия и Африка», произойдут «величайшие потрясения», «весь земной шар будет представлять кипящий котел», изнутри «нельзя будет даже ничего понять», но после этого то ли весь мир, то ли одна лишь Россия на короткое время «станут социалистическими» (Сабанеев. 2003. С. 284–285). Эти грезы соответствовали российской психоментальности того времени.

Перед самой войной высказывались новые надежды. Известный экономист И.Х. Озеров, выступая 9 июня 1914 г. на Государственном совете,

говорил: «Наша промышленность... обставлена массами пут», в результате чего возникает «промышленный маскарад»: русские предприятия регистрируются за границей, так как у нас, чтобы открыть предприятие требуется «6, 9 месяцев или год». В результате товары вывозятся во Францию или Германию, «там иностранцы ставят свой штемпель и к нам их же везут». При этом иностранцы опасаются вести дела в России из-за множества ограничений. Всей своей деятельностью бюрократия «наносит тяжелый удар русским производительным силам». «На Западе совершенствуются технологии, идет интеграция промышленности», в Англии «подходный налог дает 400-450 млн. поступлений в бюджет, наследственный – 250 млн.; у нас наследственный – 12-13 млн., подходный – 0, т.к. его нет». В России бюджет пополняется за счет питейных сборов, налогов на сахар, таможенных ставок. Между тем, предстоят «крупные расходы на государственную оборону и культурные потребности». Если промышленность не избавится от бюрократических пут, «если мы не дадим свободы творчества русскому населению, то мы производительных сил у нас не разовьем». Озеров призывал «направить нашу молодежь в экономическое творчество, в промышленную жизнь» (Озеров. 1915. С. 286–291).

Протесты против бюрократии звучали со всех сторон. «Россия должна очистить Авгиевы конюшни бюрократизма», избавиться от взяточничества и административной волокиты, заявляли еще в 1907 г. правые деятели (Карцов. С. 3). Но вряд ли это было возможно: потенциал общественной самоорганизации был недостаточен. Разумеется, с началом войны либеральная общественность встрепенулась. Однако Земский и Городской союзы (в значительной степени существующие на правительственные субсидии) залатать все прорехи народного хозяйства не могли.

В принципе, проблема «возрождения» экономики России, о которой в начале войны заговорили все, решалась на путях соединения теории с практикой. По уровню развития фундаментальной науки Россия не отставала от Запада. В январе 1915 г. В.И. Вернадский предложил создание Комиссии по изучению естественных производительных сил страны (КЕПС), призвал к мобилизации ученых-естественников и даже гуманитариев для работы на нужды обороны по примеру инженеров, химиков, врачей и бактериологов (Вернадский. 1922. С. 131–132, 5). Но проделать это оперативно вряд ли было возможно.

Слабости российской промышленности стали объяснять «немецким засильем» (Дурново. С. 64).

На деле внутреннее производство было настолько несбалансированным, что российская экономика не выдерживала автаркии. В августе 1914 г. российские предприниматели признали, что зависимость от промышленно-технологического импорта грозит обернуться остановкой производства (Новорусский. 1915. С. 466–468). Пугала и слабость инфраструктуры.

В правительственных верхах нарастала паника. «Входим в сумасшедший дом», – заявлял А.В. Кривошеин в сентябре 1915 г. Другие министры отмечали «хаос на железных дорогах», констатируя, что «бедствует не только столица, но и легион уездных городов» (Совет министров... 1999. С. 271–272, 277, 284). Неспособность разобраться в реальной ситуации породила истерию борьбы против «внутреннего немца», которая еще более усложнила положение в народном хозяйстве. В полной мере сказались и слабости системы управления, усугубленные подчинением прифронтовых губерний военным властям.

Всякая патерналистская система тяготеет к использованию «методов» запрета, а не поощрения. В экстремальных условиях это было чревато катастрофой.

Уже к осени 1914 г. обнаружилась нехватка винтовок. В конечном счете, в России было произведено менее половины необходимых для армии винтовок, остальные были 10 различных зарубежных систем. Нехватка пулеметов была еще острее: их производить мог только Тульский завод. (В Германии увеличение выпуска пулеметов было достигнуто за счет размещения заказов на мелких предприятиях; в России это было невозможно из-за их технологической отсталости). Зависимость от импорта усиливалась. «Окончательно отдаемся в руки добрых союзников, – иронизировали в Совете министров в марте 1916 г. – Переходим из огня в полымя, из немецкого засилья экономического в английское» (Совет министров... С. 325).

Сразу стала ощутимой слабость инфраструктуры. В ноябре 1914 г. отмечали, что на железных дорогах творится «настоящий грабеж», «развито взяточничество с поставщиков со стороны железнодорожных служащих», «воровство пересылаемых вещей» (ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 979. Л. 47). А 21 декабря 1916 г. руководитель оборонного предприятия (20 тыс. рабочих) из Перми писал А.В. Кривошеину: «...На Урале, который... дает почти треть государственной обороны... и половина не делается того, что должно быть сделано...». Возник «паралич перевозок»: «рожь и пшеница не доходят до мельниц, ...горючее не попадает к домне...». Автор письма считал, что все это вызвано

«чрезмерной централизацией распоряжений» (ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1067. Л. 1736).

Война «машин против машин» требовала не просто наращивания вооружений. Даже в технологически передовой Германии в 1916 г. ощутили, что она перешла в новую стадию, «фронт превратился в пылающий котел, который нужно было поддерживать в рабочем состоянии». При этом признавалось, что разработка вооружений «отставала от технического прогресса» (Юнгер. 2008. С. 34). В России, напротив, предприниматели рекламировали увеличение примитивного «вала» на своих предприятиях.

Война показала, что модернизация должна носить *системный характер*. К 1917 г. стал особенно заметен врожденный порок государственной производственно-распределительной политики. Хлеба в стране было достаточно, однако города оказались на грани голода. Там, где продовольствия было достаточно, ощущалась нехватка сахара и керосина (ГА РФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1060. Л. 1081). Продуктообмен между городом и деревней был окончательно разрушен. Это усилило социальную нестабильность в городах (Булдаков. 2014. С. 82–97).

В российских верхах не замечали, что империи выгоднее обороняться. Но бюрократы, как всегда, упивались магией валовых показателей, «ведомственное мышление» противостояло объективной оценке ситуации. А тем временем народ устал от тягот войны и окончательно разуверился во власти.

Временное правительство ожидала та же участь, но «ведомственное мышление» порождало иные представления. Так, некоторые снабженцы заявляли, что «начало революции было концом успешной работы по снабжению армии» (ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 110. Л. 128). Это далеко не так. Процесс распада хозяйственного организма стал необратимым. Правительство уже не могло управлять экономикой, приходилось заниматься выпрашиванием новых кредитов у союзников для закупки буквально всего. Участие России в мировом конфликте становилось для нее губительным. Впрочем, и страны, преуспевшие в создании новых вооружений, были истощены во всех отношениях.

К началу XX в. эпоха Просвещения приблизилась к пику самодовольства. Война представлялась выходом в метаисторию Прогресса. Только после полосы войн и революций, стало заметно, что неупорядоченный экономический рост может стать дестабилизирующей силой (Olson. 1963. P. 529–552). «Успехи модернизации» следует оценивать системно.

Нет смысла анализировать модернизационные сбои в России на протяжении всей ее истории. До-

статочно обратиться к периоду, когда потребность в ней была особенно велика, а причина неудач особенно очевидна.

Всякая критическая ситуация обнажает слабости управления. В годы Первой мировой войны искусственно консервируемая самодержавная власть показала свою историческую немощь. Будучи настроена на самосохранение, она оказалась неспособна к взаимодействию с представительными учреждениями, взявшимися (пусть неумело) за организацию обороны страны. Финансируемая властью в видах собственной подпорки общественная самодеятельность стала разрушать госструктуры.

Недавний организационный коллапс был связан с крахом псевдо/патерналистской «распределительной экономики», чудовищно деформированной и отягощенной военно-промышленным комплексом. Распад СССР был подготовлен неспособностью центра «накормить» регионы. Архаичная политическая система вновь спровоцировала утопию. Последняя одержала очередную пиррову победу (Булдаков. 2007. С. 145–159).

Из этого следует, что предстоит поменять это, а равно и саму концепцию модернизации. Но возможно ли это в современной России?

Некоторые исследователи отмечают, что наиболее важным фактором, «тянущим» модернизацию вниз, являются неэффективность работы представительных институтов и падение доверия им населения. «Процессы модернизации блокируются центральными, символическими институтами социальной системы» (Гудков. С. 410). Но дело не только в этом. Несмотря на свои несомненные инновационные возможности, россиянин психологически и организационно не готов к подлинной модернизации. После 75 лет антикапиталистической и антибуржуазной пропаганды люди «опасаются неопределенностей рынка и уповают на скуку государственного попечения» (Ландес. С. 40). В связи с этим некоторые указывают на сложившийся (наряду с генетическим) поведенческий «социокод» россиянина, который и препятствует торжеству рыночной экономики (Степин. 2008. С. 145). Но кто его изменит?

С какой же стороны подходить к перспективам модернизации в России? Некоторые авторы, не мудрствуя, ставят знак равенства между модернизацией и «ловкой» финансовой политикой (См.: Травин, Маргания). И лишь немногие догадываются, что «для запуска реальной модернизации необходимо вовлечение в него общества с помощью демократических механизмов» (Гринберг. С. 177). А это вновь предполагает самоограничение государства. Остается надеяться, что оно когда-нибудь придет к этой спасительной мысли.

ЛИТЕРАТУРА

Блиох И.С. 1894. Экономические затруднения в среднеевропейских государствах в случае войны. СПб.: Общественная польза. – 317 с.

Бессонова О.Э. 2006. Раздаточная экономика России: эволюция через трансформации. М.: РОССПЭН. – 144 с.

Булдаков В.П. 2007. Quo vadis? Кризисы в России: пути переосмысления. М.: РОССПЭН. – 204 с.

Булдаков В.П. 2014. Первая мировая война и городское бунтарство в России: 1914–1916 гг. // Петербургский исторический журнал. № 2. С. 82–97.

Вандам Е.А. [А.Е. Едрихин] 2002. Геополитика и геостратегия. М.: Кучково поле. С. 185. – 269 с.

Васильев Л.С. 2011. Модернизация как исторический феномен (о генеральных закономерностях эволюции). М.: Фонд «Либеральная миссия». С. 7. – 184 с.

Вернадский В.И. 1922. Очерки и речи. Т. 1. Пг.: Науч. хим.-техн. изд-во. – 132 с.

Волков Ю.Г. 2011. Российская модернизация как путь развития креативного общества. Ростов-на-Дону: Антей. – 34 с.

Гаман-Голутвина О.В. 2010. Роль элиты в модернизации страны // Модернизация России как условие успешного развития в XXI веке. М.: РОССПЭН. – 317 с.

Головановская М.К. 2009. Ментальность в зеркале языка. Некоторые базовые мировоззренческие концепты французов и русских. М.: Языки славянской культуры. – 372 с.

ГА РФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. 102. Оп. 265 (Департамент полиции. Материалы перлюстрации).

ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 110. Л. 128 (Воспоминания ген. Н.И. Богатко).

Гудков Л.Д. 2011. Абортивная модернизация. М.: РОССПЭН. – 629 с.

Гулевич А. 1898. Война и народное хозяйство. СПб.: Тип. Гл. упр. уделов. – 188 с.

Дурново П.Н. 2014. Записка // Свет и тени Великой войны. Первая мировая война в документах эпохи. М.: РОССПЭН. С. 58–73.

Ильин И.А. 2004. Основы христианской культуры. СПб.: Штиль. – 351 с.

Керов В.В. 2004. «Се человек и дело его...». Конфессионально-этические факторы старообрядческого предпринимательства в России. М.: Экон-Информ. – 658 с.

Клибанов А.И. 1977. Народная социальная утопия в России. М.: Наука. – 432 с.

Ключевский В.О. 1990. Соч. Т. IX. М.: Мысль. – 523 с.

«Круглый стол»: Модернизация в России и Китае в сравнительной перспективе // Российская история. 2012. № 3. С. 46–71.

Ландес Д. 2002. Культура объясняет почти все // Харрисон Л., Хантингтон (ред.) С. Культура имеет зна-

чение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. М.: Московская школа политических исследований. – 315 с.

Межуев В.М. 2012. Культурные предпосылки российской модернизации // Модернизация России: Информационный, экономический, политический, социокультурный аспекты. М.: Издательство Московского гуманитарного университета. – 382 с.

Нефедов С.А. 2004. Первые шаги по пути модернизации России: реформы середины XVII века // Вопросы истории. № 4. С. 33–52.

Новорусский М.В. 1915. Война и новые отрасли русской промышленности // Вопросы мировой войны. Пг.: Право. – 675 с.

Озеров И.Х. 1915. На Новый путь! К экономическому освобождению России. М.: Богуславский. – 336 с.

Розин В.М. 2011. Метаморфозы русского менталитета: Философские этюды. М.: URSS. – 159 с.

Сабанеев Л.Л. 2003. Воспоминания о Скрябине. М.: Классика XXI. С. 284–285. – 389 с.

Степин В.С. 2008. Российская ментальность и рыночные реформы // Экономика и общественная среда: неосознанное взаимовлияние. М.: Институт экономических стратегий. – 439 с.

Травин Д., Маргания О. 2011. Модернизация: от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара. М.: АСТ: Астрель. – 764 с.

Хабермас Ю. 2012. Ах, Европа. Небольшие политические сочинения, XI. М.: Весь мир. – 155 с.

Харрисон Л., Хантингтон (ред.) С. 2002. Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. М.: Московская школа политических исследований. – 315 с.

Шелухаев В.В. 2012. Столыпинский тип модернизации России // Российская история. № 2. С. 18–37.

Юнгер Э. 2008. Националистическая революция. Политические статьи. 1923 – 1933. М. Изд. группа «Скимен». – 362 с.

[Яхонтов А.Н.] 1999. Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова. СПб.: Дмитрий Буланин. – 559 с.

Hagen E.E. 1962. On the theory of Social Change: How Economic Growth Begins. Homewood: Dorsey Press. – 557 p.

Murakami Ya. 1987. Modernization in Term of Integration: the Case of Japan // Eisenstadt S.N. (ed.) Patterns of Modernity. Vol. 2: Beyond the West. N.Y.: New York University Press. – 233 p.

McLelland D.C. 1968. The Achieving Society. NY: Free Press. – 512 p.

Olson M. 1963. Rapid Growth as Destabilizing Force // The Journal of Economic History. Vol. 23. No 4. P. 529–552.

Sjoberg G. 1966. Folk and “Feudal” Societies // Political Development and Social Change / Ed. by J.L. Finkle and R.W. Gable. N.Y., L.: Wiley. – 685 p.

СОВЕТСКИЙ МЕГАПОЛИС: ЛЕНИНГРАД В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

Понятие «модернизация», которое в обычном понимании слова трактуется как усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, в научной среде приобрело не одно толкование. Наряду с использованием этого термина как синонима улучшения, повышения качества чего бы то ни было (Г.Я. Белякова, Л.Р. Батукова, 2013; Г.П. Беляков, С.В. Еремеева), существует точка зрения на модернизацию как на политическое реформирование (Т.С. Болховитина, 2013) или как на экономико-технологическое развитие общества. Более того, неопределенность понятия вызвала к жизни ряд теорий, развивающих, уточняющих теорию самой модернизации. Об этом свидетельствует появление теорий: неомодернизации (Э. Тирикьян), постмодернизации (Д. Александер), экологической модернизации (У. Бэк, Е. Гидденс), альтернативных вариантов модернизации – по западному образцу – «контрмодернизация» (А. Турен) и антимодернизация; наконец, в научном обороте в 1990-е гг. появились (уже в рамках анализа посткоммунистических трансформационных процессов) понятия «ложная модернизация» (П. Штомка), «рецидивирующая модернизация» (Н. Наумова), «неорганическая модернизация», как навязанная извне или сверху, «догоняющая», «форсированная» и «запаздывающая»; фрагментарная, неполная, частичная, прогрессивная, прерванная, догоняющая модернизация (Р. Войтович), Е. Холмогоров ввел понятие «надмодернизация», характеризуя ее как попытку достичь преимущества над цивилизацией-лидером, М. Милова – понятие «реставрационного транзита».

Авторы проекта, понимая модернизацию в общем плане как явление усовершенствования, улучшения, вместе с тем, вслед за сотрудниками Института современного развития И. Пономаревым, М. Ремизовым, Р. Каревым и К. Бакулевым – авторами доклада «Модернизация России как построение нового государства» (Пономарев, Ремизов, Карев, Бакулев, 2011), склонны рассматривать ее более конкретно. Модернизация, фактически построение нового государства, предполагает процесс формирования (реформирования) в конкретных обстоятельствах места и времени базовых социальных институтов, образующих каркас общества модерна.

(В данном случае мы намеренно не касаемся такой стороны, присущей фактически всем концепциям модернизации, как идеологическая. В определенной степени эти концепции были призваны стать своего рода идеологической альтернативой марксистской парадигме (Поляков, 2011)). К упомянутым институтам прежде всего относятся административная система, система массового образования, армия и суд, институционализируемая наука и иные структуры, позволяющие исследовать весь спектр модернизационных характеристик. Далеко не все направления модернизации обуславливались коммунистическим экспериментом: часть из них была характерна не только для Советской России, она не зависела от социально-политического строя.

«Колыбели Октябрьской революции», как писали в советское время, – Петрограду (Ленинграду) пришлось пройти весь путь социалистического города, испытать на себе все плюсы и минусы социалистического эксперимента, участвовать в проходящих волнами по стране модернизационных процессах. Эти процессы оказывали влияние на жизнь города и горожан, изменяли облик самого мегаполиса. Не всегда это влияние было непосредственным, порой его можно выявить только через опосредованные связи. Как модернизировался Ленинград через градостроительные проекты и планы и какие волны иных модернизаций (явных и надуманных) изменяли или пытались его изменить?

В первые годы советской власти Петроград представлял собой «затухающий город»: предельно обветшавший жилищный фонд, пришедшая в упадок промышленность, втрое сократившееся население. Как итог – исходившие от центральной власти решения о полном закрытии основных промышленных производств, грозившие «выпадением» города из планов реформирования страны. Однако усилиями местной власти этого удалось избежать и начать длительный процесс восстановления промышленного производства. Фактически оно восстанавливалось на прежней технологической базе и старом оборудовании, только к началу 1930-х гг. ленинградской промышленности удалось начать процесс технологического обновления, модернизировать некоторые производства (Купайгородская, 2003, 492-493). В значительной мере это было предопределено наличием в Ленинграде именно военных производств,

расширением сети военно-исследовательских институтов и бюро, а также началом в 1924 г. военной реформы. Особое значение имел и тот факт, что Кронштадт являлся базой Балтийского флота, а в Ленинграде находились научно-производственные структуры, задействованные в разработке и испытаниях приборов и вооружения для флота. Вместе с тем, попытки внедрения новых технологий длительное время не давали необходимого эффекта, только к концу 1930-х гг. удалось достичь более или менее значимых результатов (Щерба, 2012, 220-297).

Восстановление городской инфраструктуры осуществлялось очень медленно, градостроительное проектирование находилось в зачаточном состоянии. Дискуссия о том, что должен из себя представлять именно социалистический город, не имела реальных последствий в виде воплощения на практике. Реальные шаги, направленные на модернизацию всей городской инфраструктуры, начало массового жилищного строительства, предполагавшего новые подходы к решению проблем социально-культурной сферы, были предприняты только в середине 1930-х гг. Однако эта первая попытка выработки перспективного генерального плана развития города оказалась не вполне удачной, так же, как и вносимые в него в 1938-1939 гг. корректировки.

Процессы модернизации охватили в основном сферу образования и предусматривали полную и бесповоротную модернизацию старой школы, разрушение ее традиционных основ и создание совершенно новой образовательной системы, в фундамент которой должны быть положены, с одной стороны, идеологические принципы коммунистической партии, а с другой – последние достижения западной педагогики (Балашов, 2003, 20-30). «Новый человек» по-иному воспринимал город, его облик и его будущее.

В предвоенное десятилетие темпы роста крупных городов стали вызывать беспокойство политического руководства страны. Практически неконтролируемый рост их населения и территории способствовал не только обострению и без того крайне тяжелой ситуации с материальными и финансовыми ресурсами, но и нарастанию социальных проблем. Достижение неоднократно декларируемой цели – появления идеального города будущего, комфортного для проживания и деятельности человека – все более отдалялось. Однако даже директивное ограничение размеров территории и численности населения фактически не реализовывалось. Напротив, комплекс объективных и субъективных причин делал процесс их разрастания, в том числе и Ленинграда, перманентным и хаотичным. В данном случае следует также учитывать следующие факторы. Во-первых, почти полное отсутствие

градостроительного законодательства, каких бы то ни было правовых механизмов градорегулирования (так называемые «Правила и нормы планировки и застройки городов. СН41-58» были утверждены Государственным комитетом по делам строительства при Совете министров СССР только 1 декабря 1958 г. (Правила и нормы..., 1959)). Стоит заметить, что подготавливавшиеся Институтом градостроительства и планировки населенных мест Академии архитектуры СССР материалы, например, книга Я.П. Левченко (Левченко, 1947), носили исключительно рекомендательный характер, поскольку и Академия, и Комитет по делам архитектуры при СНК/СМ СССР не имели в своем распоряжении каких-либо властных рычагов, способных повлиять на процессы принятия и реализации градостроительных проектов. Во-вторых, то, что «трансформации содержания градостроительной концепции определялись не только интенциями культуры того времени, политической обстановкой в стране, характером функционирования экономики и уровнем развития технической базы строительства», но и «внутренним устройством архитектурно-строительного комплекса, теми организационными рычагами, с помощью которых предстояло воплощать в жизнь творческие замыслы архитекторов» (Косенкова, 2009, 117).

Помимо объективных причин (необходимость ускоренного роста промышленного производства, детерминировавшая обострение проблем с жилищным строительством и развитием сферы «сокультбыта», ущербность транспортной инфраструктуры, трудно восполняемый дефицит электроэнергии и газа, печное отопление и др.) важным стимулом для городских властей не предпринимать мер, препятствовавших дальнейшему разрастанию города, было стремление не допустить сокращения своего политического веса в структуре власти. Последний зиждился именно на промышленном потенциале города, и это обстоятельство диктовало, по меньшей мере, необходимость нейтрального отношения к действиям органов центральной власти (наркоматов/министерств), регулировавших всю сферу крупного промышленного производства, значительную часть сферы социально-культурного обслуживания населения и жилищного строительства, а также сферу высшего и среднего специального образования, и далеко не всегда считавшихся с местными властями. Кроме того, «сложившаяся в СССР «поселковая» идеология, при которой город воспринимался как нечто вторичное в процессе индустриального развития, а сам человек являлся лишь средством реализации экономических целей, оказалась глубоко укорененной в советской действительности» (Косенкова, 2009, 117), что, в свою очередь, неизбежно

сказывалось на любых направленных на модернизацию проектах в перспективном проектировании и в градостроительной сфере в целом.

В послевоенные годы ситуация оказалась усугубленной тем, что решение проблем восстановления Ленинграда, потребовавшее резкого наращивания трудовых ресурсов, особенно в сфере строительства, с неизбежностью вынуждало ограничиваться паллиативами в решении широкого круга градостроительных и социальных проблем. Так, массовое малоэтажное строительство во второй половине 1940-х гг. было обусловлено необходимостью расселения быстро возрастающего количества жителей, крайним дефицитом квалифицированных кадров строителей и строительных материалов. Последнее обстоятельство не только влекло использование низкокачественных строительных материалов, но и обуславливало специфическую планировку квартир, вселяться в которые даже в условиях жилищного кризиса соглашались не все. Не скрывалось, что основными причинами особого внимания к малоэтажному строительству являлись простота конструкций и широкая возможность стандартизации элементов дома, обеспечивающие максимальную индустриализацию строительства, снижение стоимости, возможность применения разнообразных форм организации строительных работ – от полукустарных до высокоиндустриальных, поточно-скоростных. Впрочем, среди форм организации такого строительства преобладали именно полукустарные, выполнявшиеся «шабашниками». Предусмотренные в некоторых кварталах малоэтажной застройки земельные участки для разведения огородов, выдававшиеся за один из способов обеспечения комфортного проживания, в действительности преследовали еще одну цель – частичное решение проблемы снабжения продовольствием. С точки зрения перспектив развития города малоэтажное строительство оказывалось тяжким бременем. Под двух-трехэтажными зданиями исчезали значительные городские территории, более подходящие для многоэтажной застройки. Фактически аккумулировался новый клубок проблем, связанный с намечавшейся в перспективе полной газификацией Ленинграда и заменой печного отопления центральным, прокладкой новых транспортных магистралей, оздоровлением окружающей среды.

В послевоенные годы старания тех, в компетенцию которых входило городское планирование, не привели к выработке сколько-нибудь последовательных принципов сосуществования города и промышленности. Общим местом в их рассуждениях звучал тезис о «выносе» предприятий за городскую черту. Решиться на подобный шаг городские вла-

сти не могли: колоссальные затраты по «выносу», даже если на них могли согласиться общесоюзные и республиканские министерства, потенциально для города оборачивались еще одним путем к обострению социальных проблем. Вплоть до распада СССР каких-либо серьезных мероприятий в этом направлении так и не было осуществлено.

Несмотря на негативное отношение городского руководства к тем или иным способам решения имевшихся проблем, применение новых методов затягивалось во времени из-за отсутствия необходимых ресурсов. Перспективные планы развития города в силу этого претерпевали не только серьезные, но иногда и радикальные изменения. Судя по всему, уровень проработки генерального плана развития Ленинграда, завершённой в 1948 г., был таков, что участвовавший в этой работе институт ЛЕННИИПРОЕКТ предпочитает не упоминать о ней на своем официальном сайте (ЛЕННИИПРОЕКТ, 2014), при этом не забывая о генпланах 1939, 1966 и 1985 гг. Иными словами, видение перспективы, предвосхищение тенденций развития если и не отсутствовало, то наличествовало в самых скромных масштабах. Главная градостроительная идея фактически сводилась к следующему: «при сохранении огромных материальных ценностей – существующих зданий и сооружений – планировочными средствами обеспечить решение на высоком уровне социально-экономических, гигиенических, технических и эстетических задач, связанных с дальнейшим развитием Ленинграда» (Ленинград. Планировка и застройка, 1958, 21). Однако реализация столь общего замысла буквально растворялась в конкретике воплощения, а внесение изменений в генеральный план становилось неким непрерывным процессом, не способствовавшим формированию представления образа города будущего. Решение сиюминутных задач, во многом обусловленных объективными факторами, создавало неустранимые препятствия для выработки такого представления. Плодом сосредоточения внимания проектировщиков и архитекторов на «элементах» оказывалась странная мозаика, в центре которой был фактически не меняющийся исторический центр города.

Следует признать, что в дискурсе советских архитекторов и проектировщиков присутствовали как пылкий интерес к зарубежному опыту, так и отсылки к трудноразрешимым проблемам модернизации городов в капиталистическом мире, основу для которых создавала частная собственность, в СССР изжитая. Однако на неизбежно возникавший вопрос, чем было обусловлено явное отсутствие прорывов в реализации задач модернизации советского мегаполиса, ответа стремились избежать,

хотя, судя по всему, имелось понимание фундаментальных причин этого, но придавать огласке критические реплики в отношении плановой экономики, с помощью которой пытались регулировать все и вся, никто не решался. Остается неясным вопрос, как коррелировались разрабатывавшиеся на несколько десятилетий генеральные планы развития с практикой пятилеток (и единственной семилетки)? Насколько местные проектировщики оказывались прозорливыми в учете итогов развития советской экономики и в предсказании вероятных результатов научно-технического прогресса?

Только проектировщики ленинградских транспортных узлов оказались способными выстраивать перспективные модели, не завязанные исключительно на решение сиюминутных задач. Так, уже в 1947 г. М.С. Фишельсон обращал внимание на необходимость разработки для Ленинграда схемы скоростного кольца, глубоких вводов пригородных магистралей с основными вылетными направлениями, изоляции жилых улиц от транзитного движения (Фишельсон, 1947, 30) (хотя в целом предлагавшиеся им идеи не были оригинальными).

Реальные подвижки в процессе создания современного города стали происходить в середине 1950-х гг. После прошедшего в декабре 1954 г. Всесоюзного совещания строителей и архитекторов, в Ленинграде были существенно изменены планы, касавшиеся перепланировки ряда территорий старой застройки. Были отклонены планы пробивки новых улиц – через Академическую капеллу, с моста им. Лейтенанта Шмидта к Андреевскому рынку, через Флотский экипаж, создание дублера ул. Шкапина и др. Отказались и от создания площади на территории Апраксина двора, и от сноса жилых домов при строительстве моста Строителей (Биржевого) и т.д. Акценты в развитии города были переставлены: расширение сети теплофикации и вынос ТЭЦ за пределы города, полная газификация, санация рек и каналов, расширение сети обслуживающих учреждений, реконструкция и развитие городского и пригородного транспорта (строительство нового морского и двух речных вокзалов, реконструкция всех железнодорожных вокзалов, полная электрификация железнодорожного узла, развитие метрополитена). Перестановка акцентов прямо свидетельствовала о необходимости выработки нового генерального плана развития.

Еще в 1950 г. в Ленинграде приступили к проектированию крупнопанельных жилых домов каркасно-панельной конструкции. Эта новая фаза строительства жилых зданий предполагала значительные изменения конструкционных и отделочных материалов. В качестве утеплителя те-

перь предлагалось использовать пеносиликат или сланцево-золеный пенобетон, а полы делать из паркета, уложенного на звукоизоляционном слое (из песка или асбоцементных плит) на асфальт (З.В. Каплунов, 1950). Новый этап в строительстве сделал очевидным тот факт, что наработки в планировании городских кварталов не только перестают отвечать перспективам развития города, но и служат серьезным препятствием на пути этого процесса. При этом бывшее акцентирование внимания на, так сказать, самодостаточности городского квартала постепенно вытеснялось пониманием того, что «жилой квартал не должен создаваться по установившемуся в практике образцу чисто жилого изолированного объединения различных зданий, имеющего собственную обслуживающую сеть. Наоборот, он должен формироваться на базе межквартальных связей и быть широкодоступным для постановки общественных зданий» (Наумов, 1956, 14). Укрупнение кварталов должно было значительно улучшить архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение жилого сектора, разнообразить приемы застройки, образовать композиционный центр, сочетать зеленые насаждения с архитектурой, а наличие центра-сада стало бы «соответствовать сущности социалистического города, задачам активной организации общественной жизни и отдыха коллектива» (Наумов, 1956, 16).

Наращивание масштабов крупноблочного строительства в 1950-е гг. снимало отчасти социальное напряжение (временные деревянные бараки исчезли в Ленинграде только в середине 1960-х гг.). Вместе с тем, дефицит жилой площади, несмотря на резкое изменение темпов типового строительства, оставался настолько существенным, а «требования советских граждан к дальнейшему улучшению их жилищных условий» росли настолько быстро, что, как признавалось, если бы даже удалось полностью остановить рост численности населения, то и при таких условиях строительство в этих городах должно было бы длительное время продолжаться усиленными темпами (Каменский, 1956, 2).

Наращивавшая темпы в мире научно-техническая революция, означавшая настоящий переворот во многих отраслях промышленности и влекущая серьезные социальные изменения, не обошла стороной и СССР, потребовав совершенствования управления производством и организации труда, технического перевооружения экономики. В свою очередь это обусловило поисковых подходов к подготовке квалифицированных кадров и расширению сети научно-исследовательских и проектных организаций. В 1950-е гг. чрезвычайно актуальным для власти стал вопрос внедрения достижений научно-

технического прогресса и связанная с этим проблема резкого повышения уровня научно-технических знаний широких масс населения. Это сказалось и на постановке задач перед проектными организациями: требовалось рациональное размещение в городе ряда новых культурно-образовательных центров, особенно в районах новостроек (Ярмолич, 2013, 45-51). Городские власти предпринимали усилия для создания условий для пропаганды и популяризации среди населения достижений научно-технической мысли.

Дополнительным стимулом к разработке новых планов развития Ленинграда послужило упоминание в отчетном докладе ЦК КПСС XX съезду партии о необходимости создания небольших городов-спутников вокруг ряда крупнейших городов, в том числе и под Ленинградом. А priori считалось, что размеры этих городов уже перешли нормальные границы, что сказывалось на качестве градостроительства. Воплощение этой потенциально плодотворной идеи в действительности могло способствовать своего рода «модернизационному скачку» в развитии города. Относительно Ленинграда решение проблемы городов-спутников выдвинулось через развитие Гатчины (с ростом населения до 50 000 человек) – в основном через перенесение в этот город научно-исследовательских, учебных и проектных институтов. С подбором места для второго города-спутника, в котором можно было бы разместить «промышленно-складские помещения», возникли осложнения. Предполагалось, что таким местом может служить территория бывшего поселка Красный Бор у ст. Поповка Московской железной дороги. Третий город-спутник намеревались создавать у поселка Отрадное на левом берегу Невы. Исходили из того, что 50 % трудового населения городов-спутников будет работать в Ленинграде. При этом считалось, что основными объектами строительства станут двух-четырёхэтажные дома. Судя по всему, властями было осознано, что сама идея подобного рода специализации городов-спутников чревата негативными социальными последствиями. Властями четко осознавалась взаимосвязь комплекса градостроительных проблем, задач повышения благосостояния и социальной стабильности (Стенографическая запись... 2003, 397-412).

Создание городов-спутников осталось только в проектах, хотя в 1960-е гг. идея продолжала прорабатываться. Перейти к так называемому рассредоточению (децентрализации) города (считалось, что децентрализация города может осуществляться двумя путями – через «полукомпактное развитие» (создание обособленных районов, примыкающих к зеленому кольцу) или дисперсное развитие, т.е. стро-

ительство городов-спутников), предусматривавшему «расчленение компактной территории города на части, ограниченные по своим размерам, между которыми должны пролегать свободные от застройки озеленяемые пространства» (Иконников, 1956, 29) и на этот раз не удалось в силу комплекса объективных и субъективных причин, присущего и предшествующему периоду развития города. Неизменно в дискурсе советских архитекторов и проектировщиков присутствовали как пылкий интерес к зарубежному опыту, так и отсылки к проблемам модернизации городов в капиталистическом мире, основу для которых создавала частная собственность, в СССР изжитая. Однако на неизбежно возникавший вопрос, чем было обусловлено явное отсутствие прорывов в реализации задач модернизации советского мегаполиса, ответа стремились избежать, хотя, судя по всему, имелось понимание фундаментальных причин этого, но предавать огласке критические реплики в отношении плановой экономики, с помощью которой пытались регулировать все и вся, никто не решался.

Одной из серьезных проблем советского общества, тормозивших процесс модернизации, являлась система управления. Попытка через создание системы совнархозов разрешить частично эту проблему довольно быстро доказала, что централизованная система планирования вступает в противоречие с насаждаемыми принципами территориального управления. В Ленинграде, как и в других экономических центрах страны, проводились экономические эксперименты, велся поиск новых решений (Ваксер, 2005, 249-257). Одним из шагов, предпринимавшихся для модернизации системы управления в Ленинграде, стало разделение партийного, советского, комсомольского и профсоюзного аппаратов на промышленные и сельские. Само решение центральных властей о такой «перестройке» оказалось для местного руководства неожиданным и непонятным. Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС В.С. Толстиков на собрании актива Ленинградской партийной организации был вынужден откровенно признать, что и у него нет какой-либо ясности в этом вопросе (Стенограмма собрания... 1962, 211-212). Вскоре, не отвергая саму идею разделения, ленинградское партийное руководство предложило создать только сельский обком, а вопросы промышленности передать в горком, учитывая, что почти 90 % производства валовой промышленной продукции было сосредоточено в Ленинграде. Однако эта идея, так же как и образование промышленного обкома с одновременной ликвидацией горкома, Москвой была отвергнута. Искусственное разделение управления при наличии многообразных и не всегда четко вы-

раженных связей между городом и деревней внесло организационную сумятицу в управленческие структуры, что, безусловно, сказывалось на состоянии города как такового. Впрочем, введенное в ноябре 1962 г. разделение существовало недолго и вскоре после отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. всё вернулось на круги своя.

За половину столетия, прошедшую со времени потрясений 1917-1920 гг., Ленинград действительно изменился настолько, что только архитектурными красотами центра оказывался связан с далеким прошлым. Насколько он стал городом современным, ответ однозначный дать затруднительно в силу неопределенности самих оценок, которые могут быть использованы для этого.

ЛИТЕРАТУРА:

Айзенштадт Ш. 1999. Революция и преобразование обществ: сравнительное изучение цивилизаций. М.: Аспект пресс.

Балашов Е.М. 2003. Школа в российском обществе 1917-1927 гг.: Становление «нового человека». СПб.: Дмитрий Буланин.

Беляков Г.П., Еремеев Д.В. 2011. Исследование содержания понятий: техническое перевооружение, техническое переоснащение, модернизация // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. № 3. С. 177-182.

Белякова Г.Я., Батукова Л.Р. 2013. О логической взаимосвязи понятий «инновационное развитие экономики», «модернизация экономики», «инновационная модернизация экономики» // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. № 11-2. С. 76-77.

Болховитина Т.С. 2013. Классический опыт политических модернизаций: история и современность // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. № 3-1. С. 143-149.

Ваксер А.З. 2005. Ленинград послевоенный. 1945-1982 годы. СПб.: Остров.

Иконников А.В. 1956. Пути развития больших городов за рубежом // Архитектура и строительство Ленинграда. № 3 (12).

Каменский В.А. 1956. Вопросы рассредоточения крупного города // Архитектура и строительство Ленинграда. № 3 (12).

Каплунов З.В. 1950. Жилой дом каркасно-панельной конструкции // Архитектура и строительство Ленинграда. № 13. С. 17-22.

Косенкова Ю.Л. 2009. Советский город 1940-х – первой половины 1950-х годов. От творческих поисков к практике строительства. Изд. 2-е, доп. М.: URSS.

Купайгородская А.П. 2003. Начало восстановления народного хозяйства (1921-1928 гг.) // Санкт-Петербург. 300 лет истории. СПб.: Наука.

Левченко Я.П. 1947. Планировка городов. Технико-экономические показатели и расчеты. М.: Издательство Академии архитектуры СССР.

Ленинград. Планировка и застройка. 1945-1957 / Г.А. Байков, Г.Н. Булдаков, М.Е. Вайтенс и др. Л., 1958.

ЛЕННИИПРОЕКТ // <http://www.lenproekt.com/company/history/> (дата обращения – 06.09.2014).

Наумов А.И. 1956. Пути формирования жилых районов и кварталов в Ленинграде // Архитектура и строительство Ленинграда. № 2.

Поляков Л.В. 2011. Осмысливая модернизацию // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 1[101]. С. 180-191.

Пономарев И., Ремизов М., Карев Р., Бакулев К. (дата обращения – 16.12.2011). Модернизация России как построение нового государства // http://www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=25026.

Стенограмма собрания актива Ленинградской партийной организации, 26 сентября 1962 г. // Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга. Ф. 24. Оп. 119. Д. 236.

Стенографическая запись заседания Президиума ЦК КПСС «О проекте Программы КПСС», 14 декабря 1959 г. // Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Т. 1. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы / гл. ред. А.А. Фурсенко. М.: РОССПЭН. 2003.

Фишельсон М.С. 1947, октябрь. Транспортные узлы Ленинграда // Архитектура и строительство Ленинграда.

Щерба А.Н. 2012. Военная индустрия Санкт-Петербурга–Ленинграда в 1900-1940 годы. М.; СПб.

Ярмолич Ф.К. 2013. Лекционная пропаганда естественнонаучных и научно-технических достижений в конце 1940-х – начале 1950-х гг. (на материалах Ленинграда) // Новейшая история России. № 3.

Бехтерева Л.Н. (УИИЯЛ УрО РАН)

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА В ЭПОХУ НЭПА

Двадцатые годы XX в. – первое постреволюционное десятилетие, в котором «старая» российская традиция в будничном бытовом поведении, ментальности, ценностных ориентациях, образе

жизни, нормах и представлениях различных социальных групп продолжала сосуществовать с нарождавшимся новым в политике, экономике, культуре. На примере Ижевска – одного из ти-

пичных уральских провинциальных городов-заводов, удаленных от «столичного стандарта жизни» и отличных от губернских центров, можно проследить трансформацию социокультурного пространства, эволюционировавшего в рассматриваемый период от традиционной к новой социетальности.

Датой основания Ижевска считается 1760 г., когда при железоковательной фабрике графа П.И. Шувалова, выдающегося российского государственного деятеля, фаворита императрицы Елизаветы Петровны, появился небольшой рабочий поселок. С 1874 г. началась борьба за получение сельским поселением статуса заштатного города. И только 21 февраля 1918 г. (Ижевск: документы и материалы, 2010. С. 345–346) на основании постановления местного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов самое крупное село в мире с населением до 150 тыс. человек (Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии, 1957. С. 37) было преобразовано в город¹. В июне 1921 г. Ижевск стал административным центром Удмуртии (с ноября 1920 г. по январь 1932 г. – Вотской автономной области, ВАО). В 1923 г. в городе насчитывалось 153 различных государственных административно-хозяйственных учреждения и организации, подведомственных Наркомтруду, Наркомзему, Наркомюсту, Наркомпросу, Наркомздраву и другим наркоматам. Здесь трудились 2 442 из 5 880 служащих, составлявших по данным Всесоюзной городской переписи населения 1923 г. 24,1 % жителей (Обзор деятельности областного исполнительного комитета Вотской автономной области, 1925. С. X, XXI. Приложения (из материалов Обстатбюро).

Стратегическими предприятиями федерального значения являлись оружейный и сталелитейный заводы (Ижевские или Ижзаводы), на основном производстве которых была занята значительная часть горожан – 15 696 (34,7 %) в 1920 г., 17 396 (33,2 %) – в 1923 г., 18 935 (20,4 %) – в 1929 г. (Бехтерева, 1999. С. 127). На Ижевских заводах изготовлялось около 15 % всей военной продукции страны: трехлинейные пехотные винтовки С.И. Мосина образца 1891 г. и запасные части к ним, обоймы, стволы и ствольные коробки, трехдюймовочные снаряды, мартеновская, тигельная и обоймочная сталь, охотничьи ружья системы Х. Бердана и А. Пипера, инструменты, сельскохозяйственный инвентарь и др. (Дмитриев, Куликов, 1992. С. 7). Из цензовых промышленных заведений местного значе-

ния выделялись лесопильный и два кирпичных завода, государственная фабрика охотничьих ружей, чугунолитейный завод – предприятия бывших частных владельцев А.Н. Евдокимова, В.И. Петрова и Н.И. Березина. В ведении Ижевского промкомбината находился пивоваренный завод, производивший помимо пива фруктово-ягодные воды и квас, пользовавшиеся большим спросом на рынке.

Действовали учреждения здравоохранения, образования и культуры: областная (городская) больница и приемный покой, заводской приемный покой и лазарет, четыре амбулатории, два зуболечебных кабинета, туберкулезный и венерологический диспансеры, бактериологическая лаборатория, две аптеки, детский санаторий, дом матери и ребенка, консультации; совпартшкола, рабочий университет, три техникума, школа фабрично-заводского ученичества, две вечерних школы для взрослых, 22 школы 1-й и 2-й ступени, шесть школ-семилеток, пять детских домов и две трудкоммуны для подростков, четыре детских сада, 10 клубов и 14 библиотек, включая клубные; кинотеатры, издательство и типография, музей местного края (ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 719. Л. 35).

По мере расширения нэповских преобразований Ижевск превратился в крупный в масштабах страны населенный пункт. Покупательную способность стремительно растущего населения (с 45 228 человек в 1920 г. до 92 790 в конце 1929 г. – 10 лет Удмуртской автономной области, 1931. С. 127) и увеличивающийся спрос на промышленные товары призваны были удовлетворить промышленная кооперация, кустарная промышленность, стационарная и периодическая торговля. Из предприятий промышленной кооперации наибольшую известность получили областное кооперативно-промышленное товарищество охотников, кустарно-промышленные артели «Оружейник», «Универсал», «Труженик», «Личный труд» и др. В целом в 1927 г. из 234 кустарно-ремесленных заведений города часть была занята изготовлением одежды, обуви и пищевых продуктов, другая – охотничьих ружей и выполнением заказов Ижевских заводов (ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 719. Л. 34). Важное место в производственной сфере отводилось частному капиталу, сосредоточенному в кузнечном, слесарном, столярном бизнесе, легкой и пищевой промышленности.

Ижевск являлся центром одного из трех существовавших в ВАО районных союзов потребительских обществ. Однако основной организацией, снабжавшей население города продуктами питания и предметами первой необходимости,

¹ официально статус города Ижевск получил 6 июля 1925 г. (Ижевск: документы и материалы, 2010. С. 425).

стало Единое рабочее потребительское общество (ЕРПО), преобразованное в 1923 г. в Центральный рабочий кооператив (ЦРК), насчитывавший в 1926 г. 16 000 членов, в 1928 г. – 36 105 (Отчет о работе Ижевского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов с 1 марта 1927 года по 1 октября 1928 года, 1928. С. 52; 10 лет Удмуртской автономной области, 1931. С. 77). В 1926 г. в структуре ЦРК значились 33 торговые единицы: четыре специализированных магазина по продаже изделий мануфактуры – обуви, готового платья и галантереи, один универсальный магазин, один дежурный, восемь продуктово-бакалейных, а также 10 ларьков, семь палаток, буфет, две хлебопекарни и столовая.

С декабря 1924 г. возобновилась нарушенная прежде дореволюционная традиция проведения ежегодных народных Екатерининских ярмарок, получивших статус областных, участие в которых принимали до 230 государственных, кооперативных и частных торговых организаций и индивидуальные предприниматели из Казани, Свердловска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Ульяновска и других городов (ЦГА УР. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 49. Л. 28 об.). Здесь же функционировала образованная в августе 1925 г. областная товарная биржа.

В середине 1920-х гг. в Ижевске было сосредоточено 39 % всего торгового оборота области и 35 % всех торговых заведений. В их числе 26 предприятий государственной торговли, а также филиалы и отделения (в виде разного рода контор, агентств, уполномоченных пунктов и т.д.) иногородних государственных и кооперативных организаций: товариществ, союзов, акционерных обществ, трестов, синдикатов, чьи правления находились в Москве, Казани, Вятке, Свердловске: «Сельпромторг», «Хлебопродукт», «Госсельсклад», «Госшвеймашина», «Госторг», «Центроспирт», «Татторг» и др. Они активно занимались как торговой, так и закупочной деятельностью.

Определенное развитие, наряду с государственной и кооперативной, получила частная торговля. На 25 октября 1924 г. в городе было зарегистрировано 501 частное торговое предприятие (ЦГА УР. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 1. Л. 115). Преобладающая часть наиболее крупных из них размещалась на центральной Коммунальной улице. В универсальных и специализированных оптовых и розничных магазинах Д.Н. Домрачева, С.Г. Гатиатуллина, братьев З. и Г. Уразаевых, М.И. Кожевиной, А.А. Галевой, А.М. Дикова, О.К. Толстых, Ф.П. Килина, И.Л. Наравцевича, И.Ф. Бера, Н.К. Каца, Н. Минагулова, Г. Нигматуллина, А. Ярулина, И. Глушкова, С. Когана, А. Рахматуллина, Т. Евдокимовой, П. Тугае-

ва, П.В. Исуповой и др. продавали мануфактурные, бакалейные и хозяйственные товары, галантерею, кожаную обувь, скобяные изделия. Там же можно было приобрести даже в кредит модные и дорогие вещи: парфюмерию, шелковые чулки, духи и мыло, оправы для очков, украшения, галстуки, красивые зонты и мебель. Увеличению оборотов рынка, оживлению строительства и местного хозяйства в целом способствовало появление ряда финансовых учреждений: банков и Общества взаимного кредита (1926 г.).

Однако, несмотря на городской статус, Ижевск, как и другие поселения Урала, сформировавшиеся при заводах, долгое время сохранял черты пограничной между городом и деревней цивилизации. Это отчетливо проявлялось в его структуре и ландшафте, транслировалось в повседневных практиках и менталитете большинства жителей, которые, будучи коренными заводчанами и потомственными кадровыми мастерами, являлись носителями традиционной социокультурной модели поведения.

Особой традиционностью отличалось городское пространство. В силу объективных обстоятельств здесь не сложилось чисто урбанистических форм и понятий: сквер, проспект, бульвар, площадь. Производственную направленность поселения, социально-бытовую и духовную жизнь ижевцев отражали названия улиц, изначально нумеровавшиеся цифрами, удобные и легко запоминающиеся: Первая, Вторая, Третья... (всего 17). Те же улицы, которые именовались по функциональному признаку, хранили память о становлении города-завода – Угольная, Куренная, Пробная... В 1924 г. 98,5 % из 6 411 частновладельческих домов были деревянными и в основном одноэтажными; 60 из 73 существовавших в городе кирпичных строений занимали государственные учреждения и предприятия (Отчетный доклад о работе Ижевского горсовета за период с 20 октября 1924 г. по 20 января 1925 г., 1925. С. 19; Статистический сборник за 1927 г., 1928. С. 76–77). Зажиточная часть коренных жителей имела собственные, даже двухэтажные пяти- и шестистенные дома дореволюционной постройки с кирпичными фундаментами, преимущественно железной кровлей и печным отоплением. Дом, как правило, состоял из одной избы с тремя окнами на улицу и второй избы во двор, соединенных сенями. Худшие по виду и меньшие по размерам строения, жилая площадь которых не превышала 18–25 кв. м, сосредотачивались на окраинах и принадлежали малоимущим рабочим. Только 144 из 372 домов, находившихся в муниципальной собственности, использовались

под квартиры для рабочих и служащих. В 1925 г. в них проживали 2 260 человек, на каждого из которых приходилось всего 2,47 кв. м жилой площади (Вотская автономная область (Природа – Культура – Хозяйство), 1926. С. 268–269).

Все частные дома имели приусадебные участки (огороды), надворные постройки и расположенные неподалеку колодцы и бани. Поэтому услугами единственной общественной бани с пропускной способностью 600 человек в день пользовались в основном приезжие. Помимо этого домовладельцы выращивали на своих участках овощи, а также содержали мелкий и крупный рогатый скот. В 1928 г. в хозяйствах ижевцев насчитывалось более 3 300 коров и около 700 лошадей (Русанов, 1979. С. 20). После 1917 г. по решению местных органов власти всем желающим жителям Ижевска распределялась и сдавалась в долгосрочную аренду (до 20 лет) часть земельной площади. Практически все предлагавшиеся наделы были покрыты лесом и кустарником. В течение первых пяти лет владелец обязывался расчистить не менее 3/4 участка. В случае нарушения данных условий он передавался другому лицу. За делянки, заросшие лесом на 3/4 и более, арендная плата не взималась до 3-х лет. Таким образом, арендатор, пользуясь бесплатно покосом, получал дешевое топливо. Одновременно на него возлагалась ответственность за сохранность пространства от порубок, самовольных сенокосений, пожаров, уничтожения граничных столбов и т.д. (Ижевская правда. 1924. 30 сентября). В 1925 г. из выделенных 3 096 участков под сенокосы использовалось 4 905,5 га земли, пашни – 654,9 га, пасеки – 213,4 га, для выгона скота – 2 956,6 га (Вотская автономная область (Природа – Культура – Хозяйство), 1926. С. 270). В сенокосную пору рабочие заводов получали традиционный оплачиваемый двухнедельный отпуск. Подсобное хозяйство, не являясь основным источником существования, служило заметным подспорьем к заработку. Оно обеспечивало горожан молоком, яйцами, картофелем и в известной степени – мясом. С целью получения дополнительного дохода домовладельцы реализовывали излишки продуктов на рынке, сдавали часть жилплощади внаем и организовывали столование.

Многие коренные ижевские рабочие владели собственными мастерскими и совместно с членами семьи и наемными работниками во внеурочное время изготавливали и ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь, предметы бытового назначения. Так, в мастерских ижевцев К.И. Мезрина и И.Н. Мотявина семь наемных рабочих занимались выработкой охотничьих ружей. На кузнице Н.И. Ма-

лых, открытой еще в 1899 г., выполняли заказы Ижевских заводов по производству возовых телег, для учреждений и частных лиц – различного рода экипажей (тарантасов, саней и санок, кошовок), а также скоб, болтов, навесов, лестниц, ковали лошадей и т.д. С 1924 г. по 1929 г. на кузнице, помимо трех сыновей хозяина, трудились четыре наемных рабочих. В 1925 г. ими было изготовлено 65 возовых телег для Ижевских заводов. В 1928 г. Н.И. Малых сделал для областной ветлечебницы повально-операционный станок по немецкому образцу № 4690 фирмы Граупнер, ставший в 1930 г. обладателем диплома 3 разряда на выставке, посвященной 10-летию Вотской области. Кузнечный профиль имели также мастерские М.Е. Анисимова, А.К. Кузнецова, Н.П. Мичкова, Ф.И. Малых и др. (Стрельцов. Л. 168–170).

Извечной оставалась проблема благоустройства заводских поселений. Ощущался острый дефицит зеленых насаждений. Существовавшая в Ижевске до 1917 г. практика коллективной посадки деревьев в дальнейшем не нашла широкого распространения. Состояние коммунального хозяйства не соответствовало потребностям жителей. Недостаток специальных фургонов и контейнеров приводил к скоплению твердых отходов и мусора и загрязнению территории. Отсутствие канализации ухудшало санитарное состояние улиц. Большинство домовладений не имело надлежащим образом устроенных отхожих мест. Их хозяева вместо очистки по привычке ограничивались засыпкой ям землей и переносом в другое место. Построенная на территории Ижевских заводов водонапорная башня обеспечивала водой не только оружейное производство, но и близлежащие улицы. Однако значительная часть жителей продолжала пить ключевую и колодезную воду. Между тем качество питьевой воды различных источников не всегда соответствовало требуемым нормам. Все вышеперечисленные факторы, а также низкая санитарно-гигиеническая культура населения способствовали распространению многочисленных заболеваний. В 1920-е гг. в Ижевске свирепствовали страшные болезни: трахома, туберкулез, сифилис... Из зафиксированных в 1927 г. 36 408 заболеваний первые строчки занимали трахома – 7 488 случаев, малярия – 4 122, туберкулез – 3 312, сифилис – 1 436, коклюш – 971, дизентерия – 861. По данным за 1926–1928 гг. сохранялся высокий процент смертности – 2,5 %, а среди детей в возрасте до пяти лет – свыше 9 % (Статистический сборник за 1927 г., 1928. С. 69).

Немногим в повседневном быту было доступно электричество. В 1923 г. почти две трети

населения Ижевска вынуждено было довольствоваться керосиновым освещением. В 1921 г. пользователями местных телефонных сетей являлись всего 90 абонентов, в 1927 г. – 188, в 1929 г. – 236. Оснащение сетью проводного вещания началось лишь с 1925 г., когда при Клубе металлистов был организован радиоузел. В начале 1929 г. в почти 90-тысячном городе числилось только 179 радиоустановок (10 лет Удмуртской автономной области, 1931. С. 152; Ижевская правда. 1929. 15 февраля). Радио как наиважнейший канал информации оставалось недостижимым для провинциального горожанина.

Существенную проблему составляло отсутствие уличного освещения (первые фонари появились лишь в 1927 г., а фонарные столбы установлены только на въезде в город) и низкое качество дорог: разбитые мосты, непроходимая грязь на улицах, ухабы, промоины и ямы, зимой – огромные сугробы снега. Осушение болотистых переулков заречной и южной части города не производилось. Деревянное покрытие тротуаров в его центре было временным и часто выходило из строя. В 1923 г. в этой связи указывалось: «Ижевск представляет собой почти непроезжее болото... Всякое грузовое движение становится невозможным... Без дорог Ижевск обречен на дальнейшее разрушение» (Шумилов, 1998. С. 276). А в 1929 г. один из очевидцев авто-мотопробега Ижевск–Нижний Новгород отмечал: «Грязь страшнейшая. Вязкая глина наматывается на колеса, проникает внутрь машины, связывает движение стальных коней. Маленький, юркий «Нами» под управлением Росса, разбрасывая тучи грязных брызг, черепашьям шагом взбирается на гору. На реке Карлутке копошится по колено в грязи первый водитель... Через каждые 2–3 километра мы вынуждены, утопая в грязи, вытаскивать затонувшие машины» (Кобзев, 2000. С. 24). Возникло емкое понятие «ижгрязь». К концу 1930 г. город имел всего 18,2 км замощенных улиц, что равнялось 8,3 % их общей протяженности. По этой причине главным средством передвижения долгое время оставались гужевые повозки. Извозом занимались как частные лица, так и члены транспортных артелей. В собственности, например, артели «Красная звезда» в 1929 г. находилось 409 лошадей, 452 саней и 398 телег (Стрельцов. Л. 174). Первые автобусы в городе появились лишь в 1932 г., трамвай – в 1935 г.

Не находила широкого отклика у жителей идея организации системы общественного питания. Услугами открывшихся в начале 1920-х гг. частных ресторанов, кафе, трактиров, чайных, закусочных, предлагавших своим посетителям раз-

нообразные и вкусные блюда, пользовалась только незначительная часть наиболее состоятельных горожан. Причиной этого, помимо высоких цен (средний обед в столовой стоил 40 коп.), являлся консерватизм населения и следование традициям. Промышленные рабочие предпочитали домашнюю пищу. Обед они, как правило, брали с собой, либо пользовались услугами домочадцев, приносящих продукты своим мужьям, отцам, братьям непосредственно на производство. На первом месте по потреблению в рабочих семьях стояли ржаной хлеб, молоко, овощи – картофель, капуста, свекла, морковь, репа, брюква, привозимые из деревни или выращиваемые на собственных участках. В 1924 г. на одного едока в Вотской области приходилось лишь 139,2 кг овощей при норме 368, необходимых для правильного и полноценного питания (Экономическое развитие Вотской автономной области за 1916–1928 гг. Л. 74). Большинству населения заготовленных овощей хватало только на первую половину зимы. Мяса, рыбы, растительных и животных жиров потреблялось мало. В октябре 1926 г. среднестатистическое потребление рыбы в год в городах области составляло всего 3,84 кг (ЦГА УР. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 138. Л. 2 об.). Из всех сортов мяса предпочтительнее отдавалось свинине, что закономерно для города, в структуре которого главным этническим компонентом (91,1 % в 1923 г.) являлись русские. Многие виды продуктов для основной части горожан оставались дефицитом. Только в 1923 г. в их рационе начали появляться крупы (пшено, гречка, манка...), которые продавались преимущественно в частных торговых заведениях, постоянно повышавших цены. Например, в июне 1924 г. в Ижевске килограмм пшена-дранца стоил 8 коп., в июне 1925 г. – 16, в июне 1926 г. – уже 24 коп., гречки соответственно – 10, 17 и 25 коп. (Статистический сборник за 1924–1926 гг., 1927. С. 338–339, 372–373). Появившиеся в коммерческих магазинах мясные и рыбные деликатесы, изобилие кондитерских изделий и фруктов, сыры, кофе, какао, шоколад были недоступны рядовому обывателю. Таким образом, можно говорить об относительно скудном и достаточно однообразном питании городских жителей. Данная ситуация соответствует общеуральской и подтверждается выводами ведущих исследователей (Постников, Фельдман, 2009. С. 155–156). Между тем нельзя сбрасывать со счетов и традиции прежнего православного государства, в котором значительную часть годового цикла составляли так называемые «постные» дни, соблюдавшиеся прежде всего людьми старшего поколения независимо от социального статуса.

Основную часть своего дохода городская семья тратила на питание. После проведенной в 1924 г. денежной реформы стоимость бюджетного набора в Ижевске в августе 1926 г. составляла 18 руб. 14 коп., а средняя заработная плата промышленных рабочих (включая высококвалифицированных специалистов Ижзаводов) – 25–30 руб., служащих госучреждений – 30–35 руб., учреждений образования и здравоохранения – 18 руб., в целом по городу – 27 руб. (ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 9. Д. 459. Л. 45; Д. 479. Л. 182; Статистический сборник за 1924–1926 гг., 1927. С. 102–105, 407). Пенсия по утрате трудоспособности и студенческая стипендия равнялись в среднем 10 руб., пособие по безработице – 6 руб. (ЦГА УР. Ф. Р-89. Оп. 1. Д. 146. Л. 131 об.; Д. 268. Л. 275).

Долгое время не выходили за рамки традиционных досуговые практики большинства ижевцев. Так, членами десяти функционировавших в городе клубов, делившихся на рабочие, партийные, профсоюзные, национальные и комсомольские, в 1924 г. являлись только 1 967 человек преимущественно молодого возраста (ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 9. Д. 477. Л. 320). Преобладание в деятельности клубов мероприятий политической направленности, репертуар и содержание спектаклей театральных кружков и студий не могли не отталкивать горожан, критически либо индифферентно настроенных к власти. Надо подчеркнуть, что в конце 1928 г. среди жителей Ижевска значились 4 234 человека, находившихся прежде в «Народной Армии» и «белогвардейских» отрядах и прибывших из Сибири, куда они отступили вместе с колчаковцами в 1918–1919 гг. (Русанов, 1979. С. 20).

В число любимых мест отдыха входили плотина, городской сад, близлежащие леса, загородные площадки: Воложка, Важнин ключ, Петровская дача, куда горожане, главным образом служащие и интеллигенция, выезжали на природу во время отпуска и в выходные дни, где купались, собирали ягоды, грибы, просто общались. Часто здесь организовывались народные гуляния. Участникам предлагались выступления самодеятельных и профессиональных коллективов, оркестров духовой музыки, сеансы игры в шахматы и шашки, борцовские поединки, качели, аттракционы, конкурсы на лучшего баяниста, гармониста, плясуна. В импровизированных буфетах продавались сладости, легкие спиртные напитки. Кроме того летом на берегу Ижевского пруда можно было видеть ежедневно по 20–30 человек за ужином рыбы. Многие рабочие вместе с семьями предпочитали проводить время у родственников в деревнях, оказывая им помощь в заготовке дров, сена,

посадке и копке картофеля или отмечая народные праздники.

Значительное влияние на культуру горожан продолжала оказывать религия. Будучи глубоко верующими людьми, сохраняя определенный консерватизм и не изменяя традициям, они регулярно посещали одну из восьми действовавших в Ижевске православных церквей, лютеранскую кирху или заводскую мечеть. Важное место занимали религиозные праздники. Ежегодно с размахом ижевцы отмечали считавшиеся официально «особыми днями отдыха» православную Пасху, Вознесение, Духов день, Петров день, Рождество. Большинство городских торжеств проходило на основе праздников, сложившихся в крестьянской среде. Они сопровождалась народными гуляниями и развлечениями, в которых принимали участие сотни жителей. Многие бытовавшие традиции восходили к старорусской практике кулачных боев, существовавшей в Ижевске и до революции. Общность с традициями и атрибутикой народных, в том числе и религиозных, календарно-обрядовых праздников, красочность и пышность определяли их притягательность и востребованность в обществе. Отличительной особенностью такого рода гуляний была их ярко-эмоциональная выразительность, импульсивность и стихийность, обусловленные сформировавшимися стереотипами поведения, связанными с культурой потребления алкоголя.

Самогоноварение, несмотря на разнообразные формы цивилизованного времяпровождения, оставалось бичом повседневной жизни Ижевска. Самогон (или «кумышка» как его называло местное удмуртское население) изготавливался кустарным способом из свеклы, зерна, картофеля, патоки и сахара, реализовывался нелегально, из-под полы и пользовался большим спросом ввиду относительно низкой стоимости, составлявшей на черном рынке 2 руб. за бутылку (3,08 л) при цене 0,5 л водки 1,90 руб. (ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 514. Л. 27). С 23 февраля по 15 декабря 1925 г. из 2 510-ти преступлений, зафиксированных городской милицией, 1 199 были связаны с производством и сбытом спиртных напитков, включая помимо самогона также пиво и брагу. В результате организованных в этот период облав и обысков оказалось изъято 640 ведер суррогатов спирта и 28 самогонных аппаратов (ЦГА УР. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 186. Л. 61).

Употребление спиртных напитков увеличивалось из года в год. Так, за октябрь–декабрь 1925 г. в г. Ижевске было выпито 351 639 ½ бутылок: водки – 80 180, вина – 13 780 ½, бальзама – 173, пива – 257 506 бутылок, в январе–марте 1926 г. – уже 396 052 бутылки. В среднем на каждого жите-

ля города старше 14 лет приходилось 7 ½ бутылки в месяц, не считая самогона (Ижевская правда. 1926. 21 сентября). Разраставшееся пьянство становилось одной из главных причин должностных и хозяйственных преступлений, прогулов, краж, грабежей и разбоев, хулиганства, убийств и самоубийств. Если в 1925 г. за различного рода должностные, имущественные преступления и преступления против личности и порядка управления было осуждено по городам ВАО 754 человека, то в 1927 г. – уже 1 298. Этот рост, как отмечали эксперты, шел исключительно за счет Ижевска (Куликов, 1928. С. 135–136). На почве употребления алкоголя возникали семейные ссоры и бытовые конфликты. Один из таких случаев, происшедших 30 июля 1922 г., описывался в «Ижевской правде»: «В самом центре города, напротив кинотеатра «Одеон», около 3-4 часов вечера, раздались неистовые крики: «Кар-р-раул!.. режут!.. помогите!..». Это кричал какой-то гражданин, выбежавший из дома гражданки Пиккеринг. Огромная толпа, собравшаяся вокруг просящего помощи, из бессвязных его объяснений узнала, что к гражданину Страхову, проживающему в доме Пиккеринг, пришли в гости двое товарищей. При беседе хозяин и гости что-то не поладили между собой, началась перебранка, скоро перешедшая в жаркий бой. Один из собеседников не выдержал схватки и бежал с поля битвы, призывая на помощь» (Ижевская правда. 1922. 3 августа).

Между тем усиливавшиеся темпы индустриализации и формирование нового политического пространства способствовали трансформации городского социального и культурного ландшафта. Начался процесс активного его маркирования. Стали исчезать с уличных указателей имена крупнейших ижевских предпринимателей и домовладельцев Бодалева, Моклецова, Телегина, Батенева, Голубева, Старкова... К октябрю 1927 г. большинство улиц Ижевска получило новые унифицированные названия, частично сохранившиеся до наших дней: Береговая стала Милиционной, Старая – Карла Маркса, Церковная – Ленина, Госпитальная – Красноармейской, 7-я – Свободы, 8-я – Пролетарской, 9-я – Революционной и т.д. (ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 672. Л. 129–130).

Важное место в создании образа советского социалистического города занимали памятники. На смену разрушенным символам старого времени (например, Михайловская колонна) должны были прийти новые. Так, в 1922 г. на Красной горке на месте захоронения жертв антибольшевистского восстания был открыт по подобию Мавзолея на московской Красной площади мемориал, представ-

лявший собой сложный комплекс светлых тонов с лаконичными формами: широкие марши лестницы, оригинальная трибуна, решетки фигурного литья, витой вензель «РСФСР», доколь и восьмиметровый обелиск, расписанный в духе времени «под мрамор».

Нараставший жилищный кризис вызвал активное строительство, благодаря которому стал преобразоваться центр Ижевска, изменяя частное жизненное пространство горожан. В 1927–1928 гг. силами местных предприятий здесь были возведены восемь трехэтажных каменных домов, а за 1921–1931 гг. в целом – более 106,1 тыс. кв. м жилой площади (ЦГА УР. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 321. Л. 197; 10 лет Удмуртской автономной области, 1931. С. 135). В их числе и два краснокирпичных школьных здания. Первую школу заложили 17 апреля 1923 г. на углу площади Свободы. Место прежних серебряных рублей с царскими орлами на каждом углу фундамента заняли вырезанные из жести пятиконечные звезды. Революционная символика была размещена и на фасадах. Город превращался в огромную строительную площадку. Помимо центра производилась массовая застройка Нагорной части, Зареки, Рабочей Слободы, возникали новые районы.

Начавшийся рост городского населения привел к изменению его структуры. В апреле 1930 г. доля потомственных рабочих на Ижевских заводах сократилась с 87 до 52 %. Значительную часть новых пополнений, прибывших в Ижевск из населенных пунктов ВАО и прилегающих к ней территорий Урала, составляла молодежь как крестьянского, так и рабочего происхождения. Темпераментность, бескомпромиссность, отсутствие сомнений – психологические качества рабочей молодежи, поднявшейся на революционной волне. Молодые люди обладали огромным запасом энергии, энтузиазма, выносливости, легче переносили бытовые неудобства. Не знакомые с идеалами досоветского прошлого, они легко и просто воспринимали новый стиль жизни, элементы нового быта, проявляя нетерпимость к «пережиткам прошлого», мешавшим, на их взгляд, дальнейшему продвижению вперед. Чертой психологического облика рабочей молодежи 1920-х гг., развитой и гипертрофированной последующими поколениями, был и коллективизм. Этим объясняется их инициативность и поддержка различных производственных починов, активность в клубной и кружковой работе. Именно эта категория горожан в рамках создававшейся новой социально-этической матрицы стала основой формирования «нового» гражданина – идеолога социалистических ценностей.

В устройстве досуга населения огромную роль стали играть многочисленные общественные организации и общества: «Долой неграмотность», МОПР, Доброхим и др. Особое место в этом ряду занял комсомол. В 1926 г. на Ижевских заводах насчитывалось 2 015 членов этой молодежной организации, которые активно участвовали в проводимых во внеурочное время мероприятиях (беседы, лекциях, докладах по политическим и хозяйственным вопросам) и гражданских акциях (массовых выездах в деревни, работе в детских домах и приютах, сборе средств и пожертвований) (ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 10. Д. 31. Л. 297).

Политически ориентированная рабочая молодежь, учащиеся и служащие с большим энтузиазмом воспринимали появившиеся в календаре революционные и советские праздники: Память 9 января и память В.И. Ленина (22 января), низвержение самодержавия (12 марта), День Парижской коммуны (18 марта), День Интернационала (1 мая), День пролетарской революции (7 ноября) с ярко выраженной идеологической направленностью и интегративной функцией, оказывавшие сильнейшее социально-психологическое воздействие, обязательный церемониал которых включал демонстрации, митинги, парады, шествия и т.д. Центральным местом проведения праздничных торжеств стала триумфальная арка («Красные ворота»), установленная ко второй годовщине Октябрьской революции в 1919 г. на пересечении улиц Советской и Коммунальной. Деревянная арка освещалась гирляндами электроламп, украшалась пролетарскими эмблемами и ветками хвои – символом жизни, труда и защиты от темных сил у многих народов России, портретами К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого и других вождей революции, напоминавшими церковный иконостас.

Сохранив название как альтернативу религиозным, начали отмечать по-новому «старые» духовные праздники. Комсомольские организации для «увеселения молодежи, отвлечения ее от традиционных христианских “отрыжек” и разного рода обывательских развлечений» (ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 9. Д. 306. Л. 6) устраивали празднование комсомольского Рождества, включившего в себя, например, в г. Ижевске в 1923 г. костюмированный карнавал, постановку спектаклей («Поповский и знахарский дурман», «Суд над богом» и др.), чтение докладов, лекций на антирелигиозную тему и другие мероприятия. В первый день Рождества, вечером карнавал с плакатами и факелами обошел ряд улиц города. У здания облисполкома состоялся митинг, на котором выступавшие разъясняли происхождение и сущность христианского Рождества,

значение и смысл комсомольского. Подверглось сожжению чучело религии. В тот же день в Клубе металлистов ставились инсценировки агитационного антирелигиозного характера.

Пропагандировались и активно внедрялись в быт новые советские обряды: традиционные крестины сменились «октябринами». Среди городского населения наибольшей популярностью для новорожденных пользовались имена лидеров международного пролетариата: Карл, Лев, Роза, Клара, Нинель. 13 августа 1925 г. газета «Ижевская правда» сообщала о состоявшихся в Вотском клубе «октябринах» у работницы магазинно-коробочной мастерской Ижевских заводов Наталии Ивановой. В торжественной обстановке в присутствии многочисленных приглашенных гостей: представителей РКП и РКСМ, ячеек Ижрайзавкома, под звуки «Интернационала» произносились поздравления, приветственные речи. Новорожденная и ее родители по сложившейся традиции получили подарки. В их числе особое место стали занимать «Книжки политграмоты» и членские комсомольские билеты. Заканчивались подобные мероприятия ужином, чаепитием и увеселительными играми.

Начали входить в моду и светские свадьбы, без благословения и венчания в церкви. Проводы в Красную армию призывников также превращались в грандиозные политические шоу с демонстрациями, пением революционных песен, напутственными речами партийных и советских работников.

Любимым культурным развлечением ижевцев являлся кинематограф, оказывавший колоссальное влияние на сознание массового зрителя. Регулярными местами просмотра фильмов были кинотеатры «Одеон», «Отдых», «Гигант», «Заря», а также киноустановки при клубах, пользовавшиеся огромной популярностью. С 15 августа по 15 сентября 1924 г. кино при Клубе металлистов, например, посетило свыше 700 человек (ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 4. Д. 3. Л. 239). Продукция большинства кинотеатров полностью состояла из зарубежных фильмов, имевших грандиозный успех у горожан. Судя по рекламным объявлениям, помещенным на страницах газеты «Ижевская правда», в городе демонстрировались такие картины, как «Привидение» с участием Дороти Гиш, «В огне» с Астой Нильсен, «Буря в долине» с Луизой Вильсон, «Буйная дорога» с Теодором Робертсом, «Обездоленные» с Энид Беннет, «Юбки Джона» с Уильямом Хартом, «Свет во тьме» с Мэри Пикфорд, «Интеграл профессора Синклея» с Розитой Рич... Множество германских, французских, американских фильмов, психологических мелодрам, комедий, детективов, приключений и боевиков обрушилось на обывателей, от-

ражая вкусы и киноинтересы различных категорий зрителей. Из отечественных картин «классового» содержания можно назвать «Дворец и крепость», «Убийство на мельнице», «Шестая часть мира», «Минарет Смерти», «Падение династии Романовых», «Броненосец Потемкин», «Мать». В период проката идеологических фильмов в кинотеатрах для части населения (детей из школ, приютов, садов...) организовывался бесплатный просмотр, рабочим заводов предоставлялась возможность посмотреть картины в кредит, проводилась также продажа билетов по сниженным ценам. Часто показ кинокартин предварялся либо заканчивался выступлениями гастролирующих артистов из Москвы, Ленинграда, Казани и других городов. Так, весной 1927 г. в кинотеатрах и клубах Ижевска прошли концерты популярной исполнительницы цыганских романсов и таборных песен К.Д. Паниной, балалаечника П. Смирнова, певцов-сатириков В.А. Чужбина и А.Н. Сарматова (Ижевская правда. 1927. 14 апреля, 24 апреля).

В формировании общественной психологии заметную роль сыграло развитие физкультуры и спорта, ставших неотъемлемой частью досуга и эффективным способом воздействия на широкие слои населения. Массовое физкультурное движение символизировало их энтузиазм и оптимизм и выражало идею народного патриотизма. При нехватке финансовых и материальных средств, отсутствии спортивных залов и стадионов открывались военно-спортивные клубы, секции и кружки, возникали первые спортивные общества. Для координации их работы в 1924 г. был создан областной совет физической культуры, на который возлагались задачи организации и проведения спортивных праздников. Первоначально они проводились в рамках международного юношеского дня. В 1928 г. этим праздникам был придан статус областных. Кроме митингов и лекций между клубами, школами ФЗУ, производственными коллективами и профессиональными союзами устраивались состязания по легкой атлетике, футболу, баскетболу и т.д. В 1925 г., например, программа праздника включала также толкание ядра, прыжки в высоту и длину, бег на различные дистанции, метание диска, копья и молота (Ижевская правда. 1925. 5 сентября). Несколько сотен болельщиков наблюдали за происходившим. В том же году в средствах массовой информации был объявлен конкурс на звание чемпиона Вотской области в игре на бильярде. Многие посещали ставшие популярными конные бега и скачки. Традиционно в июле в рамках «Недели обороны» проводился водный праздник. Так, в 1927 г. в соревнованиях по

гребле и плаванию на Ижевском пруду приняли участие шесть клубных спортивных кружков. В 1928 г. в праздничные мероприятия вошло также массовое катание на пароходe, моторных лодках. В зимнее время кружками физкультуры при клубах организовывались лыжные пробеги и походы. Получает распространение новая спортивная игра – хоккей. С февраля 1926 г. в г. Ижевске начали проводиться первые командные соревнования, вызывавшие большой интерес молодежи.

Новой формой организации отдыха в 1920-е гг. являлся туризм, рассматривавшийся возникшим в этот период экскурсионно-краеведческим движением как перспективное направление культурно-просветительской деятельности среди населения. Экскурсии проводились профсоюзными органами, отделами народного образования для рабочих и служащих, учащейся молодежи и подразделялись на местные и дальние. Так, в образованном в 1926 г. Областном экскурсионном бюро были разработаны производственно-экономические, общественно-политические, культурно-художественные и «природоведческие» экскурсии по Ижевску. Число их участников, по данным союзных организаций, в этом году составило более 15 тыс. человек. Дальние экскурсионные маршруты пролегали в основном в главные революционные центры – Москву и Ленинград, а также на юг (Баталова, 2008. С. 94).

Таким образом, природа заводских поселений, каковым является Ижевск и многие другие современные уральские города, наложила отпечаток на их социокультурную среду и повседневные практики населения, имевшие одновременно общероссийские и характерные только для данного региона черты, трансформировавшиеся по мере расширения и модернизации индустриального пространства, изменения политико-экономической ситуации в стране.

ЛИТЕРАТУРА

Баталова Л.В. 2008. Туристско-экскурсионное дело в Удмуртии в 1920-е годы // Вестник Челябинского государственного университета. № 35 (136). История. Выпуск 28. – С. 92–96.

Бехтерева Л.Н. 1999. Рабочие оборонной промышленности Удмуртии в 1920-е годы. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН. – 150 с.

Вотская автономная область (Природа – Культура – Хозяйство). 1921–1926. Ижевск: Удкнига, 1926. – 416 с.

10 лет Удмуртской автономной области. Хозяйственное и культурно-социальное строительство. 1921–1931. Ижевск: Удкнига, 1931. – 191 с.

Дмитриев П.Н., Куликов К.И. 1992. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе. Ижевск: Удмуртия. – 388 с.

Ижевск: документы и материалы, 1760–2010 / Комитет по делам архивов при Правительстве УР. Ижевск, 2010. – 900 с.

Ижевская правда. 1922. 3 августа.

Ижевская правда. 1924. 30 сентября.

Ижевская правда. 1925. 5 сентября.

Ижевская правда. 1926. 21 сентября.

Ижевская правда. 1927. 14 апреля.

Ижевская правда. 1927. 24 апреля.

Ижевская правда. 1929. 15 февраля.

Кобзев И. 2000. «Ижгрязь» // Ижевские картинки. Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет». – 40 с.

Куликов К. 1928. Преступность населения Вотской области в 1925–27 гг. // Труды научного общества по изучению Вотского края. Выпуск 5. – С. 135–145.

Обзор деятельности областного исполнительного комитета Вотской автономной области. 1923–24 хозяйственный год. Ижевск: Удкнига, 1925. – 479 с. + прилож.

Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии. Сборник документов и материалов (1917–1918 гг.). Ижевск: Удмуртское книжное издательство, 1957. – 395 с.

Отчет о работе Ижевского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов с 1 марта 1927 года по 1 октября 1928 года. Ижевск: Удкнига, 1928. – 59 с.

Отчетный доклад о работе Ижевского горсовета за период с 20 октября 1924 г. по 20 января 1925 г. Ижевск: Типография газеты «Ижправда», 1925. – 23 с.

Постников С.П., Фельдман М.А. 2009. Социокультурный облик промышленных рабочих России в 1900–1941 гг. М.: РОССПЭН. – 367 с.

Русанов В.И. 1979. Энтузиасты первой пятилетки. Ижевск: Удмуртия. – 76 с.

Статистический сборник за 1924–1926 гг. Ижевск: Удкнига, 1927. – 520 с.

Статистический сборник за 1927 г. Ижевск: Удкнига, 1928. – 228 с.

Стрельцов Ф.В. Ижевск и его промышленность за 170 лет // Научно-отраслевой архив Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук (НОА УИИЯЛ УрО РАН). Рукописный фонд (РФ). Оп. 2Н. Д. 21.

Центральный государственный архив Удмуртской Республики (ЦГА УР). Ф. Р-89. Оп. 1. Д. 146.

ЦГА УР. Ф. Р-89. Оп. 1. Д. 268.

ЦГА УР. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 1.

ЦГА УР. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 49.

ЦГА УР. Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 138.

ЦГА УР. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 186.

ЦГА УР. Ф. Р-177. Оп. 1. Д. 321.

ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 672.

ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 4. Д. 3.

Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики (ЦДНИ УР). Ф. 16. Оп. 1. Д. 514.

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 1. Д. 719.

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 9. Д. 306.

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 9. Д. 459.

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 9. Д. 477.

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 9. Д. 479.

ЦДНИ УР. Ф. 16. Оп. 10. Д. 31.

Шумилов Е.Ф. 1998. Город на Иже. 1760–2000. Ижевск: Свиток – 400 с.

Экономическое развитие Вотской автономной области за 1916–1928 гг. // НОА УИИЯЛ УрО РАН. РФ. Оп. 2Н. Д. 99.

Побережников И.В. (УрО РАН)

УРАЛ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ XVI – НАЧАЛА XX В.: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Прошлое уральского региона по меньшей мере с XVI–XVII вв. неразрывно связано с историей российской цивилизации. Складывание последней в XV–XVII вв. совпало с присоединением к Московскому государству восточных территорий – Урала, Сибири, которое имело ключевое значение для оформления цивилизационного портрета страны. В дальнейшем уральский регион развивался уже в контексте цивилизации, опираясь на цивилизационные традиции и переживая цивилизационные трансформации, что актуализирует, с одной стороны, тему регионального вклада в формирование цивилизационной сущности страны, а, с другой стороны, проблему

регионального преломления цивилизационной природы страны.

При кажущейся внешней простоте постановка проблемы региональной истории в цивилизационно-страновом контексте на самом деле требует углубленного теоретического осмысления и поиска адекватных методологических приемов анализа. Традиционная региональная история, сродни традиционной страновой истории, ориентируется на использование историко-генетического или хронологического («исторического») подхода, реконструкцию последовательности событий, процессов, выявление причин и следствий. Подобный подход имеет прочную легитимацию,

обеспеченную длительной практикой его применения, однако возможности его не безграничны. В частности, не следует преувеличивать порождающую силу историзма, поскольку генезис объекта еще не дает понимания сути самого объекта. Как остроумно заметил известный русский литературовед А.П. Скафтымов, «из желудя не поймем дуба, из динамо-машины и проводов не увидим электрического света, из органической химии не узнаем живых организмов, из знания нервных и мозговых процессов не получим живого душевного переживания, из условий наследственности, воспитания и среды не узнаем живого человека и его конкретности, – хотя между всем этим есть причинная связь» (Скафтымов, 2007. С. 23). Данное рассуждение вполне применимо к историческим процессам, которые нельзя сводить лишь к временному измерению и цепочкам каузальных зависимостей. Предлагаемый нами подход, напротив, в первую очередь ориентирует на определение сути изучаемого явления (в данном случае, уральского региона в его историческом выражении), его «функции», «места», исторического и субъективного «смысла». В этой связи данный подход, в противоположность традиционному историческому, можно квалифицировать «теоретическим».

В целом в качестве теоретического фундамента при изучении истории Урала в контексте российской истории может быть использован структурационный подход (учитывающий диалектику структур и действий, позволяющий внятно объяснить взаимодействия между общественными процессами разных уровней, в том числе историческими макро- и микропроцессами в глобальном, цивилизационном, страновом, региональном, локальном масштабах) и модель «центр – периферия» (предоставляющая познавательный инструмент для выявления взаимодействий центра и территорий, позволяющая органично инкорпорировать историю региона в общестрановую историю на партнерских правах), что было обосновано в предшествующих исследованиях (Артемов, 2012. С. 6–12; Побережников, 2012. С. 118–126). Структурационная и центр-периферийная модели дают теоретический «трамплин» для разработки ряда теоретико-методологических проблем, связанных с тематизацией региональной истории в общестрановом и цивилизационном контексте.

Интеграция. Значимой представляется проблема интеграции региона в страновое пространство: институционализация его взаимоотношений с центром, в конечном итоге гомогенизация пространства по меркам страны. При этом интеграция должна пониматься как многоуровневый и многоаспектный процесс, естественно, не сводимый к

институционально-политическому измерению, но включающий и хозяйственно-экономические, и социокультурные аспекты. Интеграция не исчерпывается моментом политического присоединения той или иной территории; напротив, данный момент служит зачастую лишь начальным рубежом длительного социоинтегративного процесса.

Основы интеграции Урала в состав России были заложены русской колонизацией края в XV–XVII вв., миграционными процессами, которые резюмировались складыванием в регионе многоэтничного по составу населения, формированием единого историко-культурного ареала. Возникшие на Урале группы русского народа: горнозаводские жители, оренбургские и уральские казаки, локальные отряды крестьянства – длительное время сохраняли местные особенности (Миненко, 1995. С. 50–54; Чагин, 1991). Включение Урала в состав России осуществлялось как насильственными, так и мирными методами при общем доминировании последних, что в целом создавало благоприятные условия для межэтнических и межкультурных взаимодействий. Особенностью интеграции Урала в страновое пространство являлся интенсивный контакт народов, принадлежавших к различным языковым семьям (финно-угорской, тюркской, славянской) и конфессиональным мирам (исламскому и христианскому, в первую очередь), который с конца XVI в. осуществлялся в интервале «длительной исторической протяженности» и стал постоянным и существенным фактором истории региона, основой формирования регионообразующего межэтнического согласия, этнических и локальных самоидентификаций (Головнев, 2011. С. 429–444). Межэтнические взаимовлияния и заимствования охватывали широкий круг явлений материальной и духовной жизни народов Урала, носили обоюдный для вступающих в контакт этносов характер и способствовали взаимообогащению их культур, оптимальной адаптации народностей к условиям своеобразной природной и социокультурной среды. Ярким свидетельством межэтнических взаимосвязей стало распространение в зонах тесного этноконтакта двуязычия. В XVII–XIX вв. на Урале в результате активных контактов между народностями складывались своеобразные симбиозные этнические группы (тептяри и бобыли, кряшены, нагайбаки) и синкретические этнические культуры (например, у уральских марийцев, на основе синтеза язычества, христианства, ислама (Побережников, 1999. С. 238–246).

Важнейшим фактором интеграции выступает развитие транспортной сети, охват территории коммуникациями, включение ее в транспортную

систему страны. В этом плане на старте в конце XVI в. огромное значение для интеграции Урала имела прокладка прямой сухопутной дороги от Соликамска до верховьев Туры (Бабиновская дорога), в 7 раз сократившей путь в Сибирь, пролежавший ранее по водным артериям в северных, малодоступных районах Урала. Результатом этого стал значительный рост потока переселенцев на Урал и в Сибирь. Создание же в конце XIX в. общеуральской железнодорожной сети содействовало развитию рынка промышленного сырья и топлива, совершенствованию внутрирегиональных экономических связей (Гаврилов, 2005. С. 205–214).

Интеграции содействовало аграрное и торгово-промышленное освоение региона. XV – начало XVII в. в истории Урала – время первичной колонизации, военно-промысловой и аграрной, на протяжении XVII столетия. Аграрная колонизация продолжалась и в последующие столетия. В XVIII в. в условиях незавершенной аграрной начинается интенсивная промышленная колонизация, создаётся сеть крупных металлургических заводов, поставивших продукцию на мировой рынок.

Свидетельством успешности интеграционных процессов является то, что уже в ранний период регион начинает «работать» не только на себя, но и на соседние регионы, на страну в целом. Благодаря созданию в XVII в. в Зауралье мощного хлебопроизводящего района, была решена проблема продовольственного обеспечения сибирских городов. В XVII в. приобрели всероссийское значение уральские центры солеварения и торговли, такие как Соликамск и Новое Усолье, Ирбитская слобода (Устюгов, 1957). Начиная с первой четверти XVIII в. горнозаводской сегмент уральской промышленности становится ведущим и стратегически значимым для всей Российской империи.

Ярким, рельефным индикатором степени интегрированности территории в российских условиях выступала организация местного управления, схема институционализации взаимоотношений с Центром, призванная обеспечивать согласование локальных (региональных) и общегосударственных интересов. Сам по себе административно-управленческий фактор играл заметную роль в процессах присоединения и освоения восточных регионов России (Роль государства, 2007; Региональные процессы, 1998). При этом колонизационная специфика накладывала сильнейший отпечаток на развитие административно-территориальной системы на востоке страны. «Периферийность» Урала в XVI–XVII в. подчеркивалась подчиненностью его территории, входившей тогда в состав обшир-

ной Сибири, специальным центральным органам управления с региональной компетенцией: Посольскому приказу (1580–1590-е гг.), приказу Казанского дворца (в начале XVII в.), наконец, учрежденному в 1637 г. Сибирскому приказу.

С начала XVIII в. административно-территориальное устройство осуществлялось в контексте проведения политики модернизации, предусматривавшей в перспективе рационализацию и унификацию системы управления, замену в конечном счете исходного многообразия и специфики административных форм внутренне усложненной моновариантной моделью, предполагавшей рост централизации и бюрократизации управления. Однако недостаточно глубокая интегрированность большинства территорий на востоке России вносила существенные коррективы в общий курс административного благоустройства. Управленческие структуры Востока России длительное время сохраняли черты особенности, отличности от соответствующих структур центральных регионов России. Причем эта особенность возрастала по мере движения на восток.

Что касается Урала, то признаком «незавершенной» интегрированности, пограничности выступало, в частности, запоздалое распространение на регион общероссийских институций. Так, земства, как органы местного самоуправления, введенные в стране в 1864 г., появились в Вятской губернии в 1867 г., в Пермской – в 1870, в Уфимской – в 1875, а в Оренбургской – лишь в 1913 г. Столь поздние сроки организации земского общественного самоуправления в двух последних губерниях были обусловлены их нетипичностью на фоне остальных земских губерний России: наличием значительной доли инородческого населения в Уфимской и казачьего – в Оренбургской.

В контексте фронтальной модернизации. С начала XVIII в. Урал включается в общероссийские модернизационные процессы, хотя основы для их развертывания в регионе возникли в более ранний период. Огромные рудные богатства Урала создавали предпосылки для промышленного роста региона. Русская колонизация края включала как аграрное, так и торгово-промышленное освоение. Поиски руд и других полезных ископаемых активно велись с XVII в. (Курлаев, Манькова, 2005).

При анализе истории региона на протяжении XVIII – начала XX в. можно опираться на модель фронтальной модернизации (Побережников, 2010. С. 308–310; Побережников, 2011. С. 191–203; Побережников, 2011б. С. 305–330; Побережников, 2013. С. 246–274). Дело в том, что характер модернизации существенно зависит от пространствен-

ного измерения: особое значение при этом имеют такие параметры как размер страны, ее природно-географические условия, геополитическое положение, пространственная динамика. Специфические условия для модернизации возникали в странах фронта, которые продолжали осваиваться в современную эпоху. К их числу можно отнести и Россию. Следует подчеркнуть, что исторически формировавшиеся в первичном русско-православном ядре и в зонах освоения регионы различались административно-управленческими, хозяйственными, социально-сословными, этнокультурными ландшафтами, что создавало предпосылки для вариации степени их проницаемости для импульсов модернизации.

Представляется, что Урал, в основном включенный в состав России к XVIII в., может рассматриваться как региональный вариант фронтальной модернизации. Для России как страны фронтальной модернизации был характерен освоенческий синдром, что выразилось в подвижности населения; дифференциации пространства страны на центр (ядро) и периферию, различавшиеся по демографическим, социальным, экономическим, административным, культурным признакам; в наличии доступных пограничных областей, богатых ресурсами и служивших клапаном для разрядки социальных проблем более плотно заселенных регионов; в возможности для лиц и групп, считавших себя незаслуженно обиженными, не сумевших обеспечить себе удовлетворительных условий существования, мечтавших культивировать нетрадиционные представления, переселиться в пограничные области; в потребности в дополнительной рабочей силе, необходимой для разработки избыточных ресурсов; в проблеме адаптации и ассимиляции, возникавшей вследствие притока мигрантов на периферийные территории; в растянутости по времени колониционных процессов (заселение, аграрное, промышленное освоение); в экстенсивном характере аграрной экономики; в региональных, этнокультурных контрастах и диспропорциях, в различной степени заселенности и освоенности территорий; в социально-сословной и этноконфессиональной мозаике и т.п. Колонизация тормозила переход от экстенсивных к интенсивным методам освоения пространства, закрепляла низкотехнологичные уклады в центре страны, транслировала их на периферию, ослабляя таким образом целый ряд модернизационных по своей природе процессов, таких как урбанизация, индустриализация и т.д. Освоение новых пространств, как ведущий региональный процесс, сближало Россию с переселенческими странами, в частности, со странами Нового света (Супоницкая,

2007. С. 134–143; Супоницкая, 2010; Побережников, 2009. С. 25–30).

Земли, которые присоединялись или относительно недавно присоединенные территории, к которым, в частности, можно отнести восточные регионы России – Урал и Сибирь, продолжали осваиваться в эпоху модернизации, когда страна в целом проходила ее прото- и раннеиндустриальную стадии. Так, только с середины XVIII в. началось мощное земледельческое освоение Южного Урала (Оренбуржье). Большие массивы свободной земли были распаханы в Башкирии, Предуралье и Зауралье во второй половине XIX – начале XX вв. Аграрное освоение региона создавало базу для обеспечения местной промышленности собственным хлебом и другими сельскохозяйственными продуктами. Кроме того, интенсивное развитие на Урале получила промышленная колонизация, развернувшаяся в первой половине XVIII в. Характерным признаком «фронтальных» территорий являлась заметная милитаризация, проявлявшаяся в размещении фортификационных сооружений, регулярных воинских частей, поселенных иррегулярных формирований (Яицкое (Уральское), Оренбургское казачество, Башкиромещеряжское войско на Урале) (История казачества, 1995; Кузнецов, 2008), установлении особых военизированных форм администрации (военный губернатор, генерал-губернатор, наместник; пост оренбургского генерал-губернатора был упразднен лишь в 1881 г. после того, как край утратил значение пограничного).

Диффузия технологий, организационных форм, культурных ценностей. В условиях пространственного (фронтальность) и темпорального (переходные эпохи социальных трансформаций, в частности, длительный модернизационный переход) пограничья колоссальную значимость приобретает деятельность, связанная с переносом и заимствованиями технологий, организационных форм, культурных ценностей. Один из способов внедрения инноваций связан с их переносом из одних обществ, обычно более продвинутых, в другие, обыкновенно менее развитые. Данный способ получил отражение в моделях диффузии инноваций. Диффузию, то есть распространение артефактов, технологий, практик, институтов, идей, следует считать универсальным механизмом не только социального развития, но и самого существования и функционирования общества. В ее основе лежит естественная способность человека подражать, действовать по образцам. Можно, вероятно, говорить о вертикальной (диахронной, транстемпоральной, исторической – от одного момента вре-

мени к другому, от эпохи к эпохе, от поколения к поколению) и горизонтальной (пространственной, географической – от места к месту, региона к региону, от общности к общности и т.д.).

Уже проведенные исследования свидетельствуют о значимости диффузии инноваций в контексте российских модернизаций как на страновом (Алексеева, 2007; Роль, 2014), так и на региональном уровнях (Диффузия, 2011; Курлаев, Корепанов, Побережников, 2011). Уральский материал свидетельствует против восприятия диффузии как элементарного механического процесса. В действительности инновации, если они приживались, сопровождалась адаптацией к местным условиям, переосмыслением, вызвали подъемы творчества, дальнейшего технологического развития уже в определенной степени на местной основе. Естественно, многое при этом зависело от личности, таланта местных жителей. Ярким примером мощного творческого всплеска может служить деятельность доменщика М. Орловского, благодаря которому в 1730-е гг. сложилась оригинальная школа уральских доменных мастеров, имевшая в качестве прототипа «олонецкую» школу, которая, в свою очередь, восходила корнями к «шведской» (Диффузия, 2011. С. 83; Курлаев, Корепанов, Побережников, 2011. С. 102–117).

Осуществлена реконструкция истории Урала в контексте диффузионных волн XVII–XIX вв. (Алексеева, Нефедов, 2013. С. 28–34). В качестве рабочей модели использована идея реципрокной, взаимосвязанной сети узлов – инновационных центров, соединяющих множеством связей разные страны, всевозможные органы управления, производства, людей во всех их социальных и человеческих ипостасях и взаимоотношениях. Предложенная сетевая модель диффузии инноваций представляется эффективной для изучения распространения модернизационных процессов из стран Западной Европы на Россию в целом и ее регионы, в частности на Урал. Участники проекта Е.В. Алексеева и С.А. Нефедов на протяжении XVII–XIX вв. выделяют четыре основные диффузионные волны, докатившиеся из Европы до Урала и вызвавшие ответный отклик на региональном и общестрановом уровнях: первая европейская диффузионная волна Нового времени была обеспечена распространением технологий доменной металлургии и улучшением качества медного литья; вторая диффузионная волна, пришедшая в Россию в конце XVII в., была обусловлена новыми достижениями в железодельном производстве, позволившими улучшить качество металла; следующая, третья, диффузионная волна была обязана своим возникновением

созданию первых точных металлообрабатывающих станков; наконец, начавшаяся в конце XVIII в. в Англии промышленная революция породила четвертую диффузионную волну, намного превосходившую диффузионные волны прошлого – промышленная революция принесла с собой целую серию фундаментальных инноваций. Доказано, что очевидные изъяны социальной организации труда, объективные и субъективные технические сложности, ограниченный уровень понимания и решения сложных логистических и технологических задач чиновниками российского правительства привели к растянутым темпам модернизации военного производства на Урале, ее нестабильным и недостаточным – по сравнению с промышленными лидерами второй половины XIX в. – результатам. При этом оказалось, что история России в XVII–XIX вв. в значительной мере формировалась под воздействием диффузионных волн, исходивших от различных стран Европы и вызванных масштабными технологическими и военно-техническими инновациями. Промышленность уральского региона чутко реагировала на мировые инновационные тренды, заметно преобразовалась под их действием, влияя на российскую, а через нее и на мировую историю.

Конгломератность как отражение цивилизационной и модернизационной специфики. Естественно следствие пограничности региона в контексте фронтальной цивилизации, продолжения на его территории освоенческих процессов, межэтнической миксации, – конгломератность, т.е. длительное сосуществование и устойчивое воспроизводство пластов разнородных моделирующих элементов и основанных на них отношений (согласно концепции А.Д. Богатурова и А.В. Виноградова, данные пласты образуют внутри общества анклав, эффективная организованность которых дает им возможность выживать в рамках обрамляющего общества-конгломерата) (Богатуров, Виноградов, 2002. С. 109–128). Множества социально-сословных, этноконфессиональных, профессиональных групп создавали конгломератный ландшафт региона.

Конгломератность была существенно усилена в ходе модернизации, импульсы которой Урал, как регион, ощутил с начала XVIII в., времени активной промышленной колонизации края. Протоиндустриальная модернизация XVIII в. сопровождалась интенсивной диффузией западноевропейского опыта – технологического и организационного, даже буквальным переселением на Урал приглашавшихся для работы иноземных специалистов (Алексеева, 2009. С. 46–54). Очаговый характер модернизации резюмировался созданием промышленных

анклавов, окруженных сохранявшейся традиционной аграрной периферией (Голикова, Миненко, Побережников, 2000). Даже в конце XIX в., хотя уральская горная промышленность и захватывала Пермскую, Уфимскую, Оренбургскую и отчасти Вятскую и Вологодскую губернии, но в наибольшей степени она была развита в Пермской губернии (составлявшей центр «горнозаводства» на Урале), в гораздо меньшей – в Уфимской и Оренбургской.

Более того, анклавность составляла суть самой модернизации, поскольку в ее процессе широко применялись традиционные институты и социальные технологии – в частности, внеэкономическое принуждение для мобилизации трудовых ресурсов и феодальные привилегии и монополии для обеспечения экономической элиты необходимыми производственными ресурсами. Успехи уральской металлургии на протоиндустриальной стадии развития во многом достигались за счет привлечения принудительного труда мастеровых и работных людей в основном производстве и приписных крестьян на вспомогательных работах. В первой половине XIX в. была упрочена и консолидирована окружная организация горнозаводской промышленности, построенная на крепостной основе; горнозаводское производство наделялось монопольными правами, а вся система ставилась под военно-административный контроль и государственную опеку.

Рыночные отношения отвоевывали свои экономические и социальные ниши еще до буржуазных реформ середины XIX в., но с другой стороны, последние не привели к моментальному и повсеместному внедрению в экономику рыночных механизмов хозяйствования. Элементы внеэкономического принуждения длительное время сохранялись после отмены крепостного права. Условия освобождения крестьян на долгое время прикрепили их к земле, вынуждая трудиться на основе полуфеодальных «отработок». То же самое можно сказать о мастеровых Урала, прикрепленных системой «отработок» к заводам. На Урале, к тому же, длительное время сохранялась практически в неприкосновенности окружная система организации горнозаводского производства, крепостническая в своей основе.

Региональная идентичность. Под региональной (территориальной) идентичностью, отличной от идентичности этнической, понимается «солидарность с земляками по причине совместного проживания на одной территории в данный момент или в прошлом». Данный вариант идентичности находит выражение в причислении себя к жителям определенной местности, региона, района, города, его части и т. д. Идентичность обладает мощным потенциалом сплачивания людей в устойчивые

группы, объединенные общими системами ценностей, схожей реакцией на социальные процессы, единой волей к социальному действию, она может выступать основой для мобилизации общественных сил как созидательных, так и разрушительных (Смирнягин, 2007. С. 84, 87).

На первый взгляд формирование региональной идентичности слабо связано с тематизацией региональной истории в страновом контексте и скорее выступает индикатором региональной самоизоляции, герметизации, «окукливания». На самом деле это не так. Региональная идентичность формируется как следствие далеко зашедших процессов территориальной интеграции, резюмирующихся региональной специализацией, профилизацией. Сама региональная идентификация осуществляется различными способами и предполагает как объективный фундамент, так и субъективное осознание. Формирование регионального самосознания – кульминация в развитии региональной идентичности, означающая трансформацию исторического пространства, заданного «извне», то есть сконструированного наблюдающим независимо от представлений исторических акторов, в пространство, сконструированное самими участниками социального взаимодействия, наделенное ими особыми смыслами, выраженными посредством символического универсума системы культуры (социальных мифов об особых качествах местообитания, мистических компонентов традиции, примет «малой родины», дизайна места обитания), поддерживаемыми коллективной памятью, сложившимися ценностями и нормами, сконструированными самообразами, созданными специфическими чертами быта (одежды, диеты, словаря и т. п.). При этом сильное субъективное осознание региональной идентичности характерно прежде всего так называемым «вернакулярным» районам (т.е. «обыденный, идущий как бы снизу, не связанный с научной или художественной рефлексией, а рожденный словно по наитию, интуитивно») (Смирнягин, 2007. С. 104), обычно не слишком большим по размерам (например, Мещера, Полесье, Поморье).

Для «больших» регионов, к числу которых относится и Урал, региональная идентичность скорее обеспечивается формированием некоей территориальной общности под воздействием длительного совместного проживания людей на определенной территории. Если воспользоваться терминологией этнологов, такую идентичность можно трактовать как своего рода «примордиалистскую». На Урале очевидно складывается территориальная общность людей с самобытной системой ценностей, весьма целостная общественная структура, располагаю-

щая особой системой ценностей, широким спектром как хозяйственных отраслей, так и социальных ролей. Данный процесс был ускорен довольно ранним (уже в XVIII в.) формированием профиля региона как горнозаводского.

В этой связи представляется перспективной идея о смене исторических форм пространства, теоретически обоснованная участником проекта К.И. Зубковым. Им установлено, что в целом история Урала в составе Российского государства (XVI–XX вв.) вписывается в эволюционный порядок развития социального пространства, который сводится к превращению колонизируемого пространства сначала в территорию, а затем территории – в регион (Зубков, 2013. С. 161–169). Пространство в контексте этой типологии – это не только физическая протяженность, но и заполняющая каждый ее фрагмент среда, созданная силами природы и предшествующей социальной деятельности. «Пространство-среда» еще не имеет четких границ – как не имеет фиксированных границ свободное течение природных процессов (применительно к истории Урала это период XV–XVI вв.). Территория – это пространство, начинающее обретать границы. На «пустых» колонизируемых пространствах свойство граничности, по мнению К.И. Зубкова, скорее, возникает не в связи с политическими притязаниями, а в соответствии с эмпирически устанавливающимися границами деятельности тогда, когда освоитель начинает соизмерять пространственный горизонт своих инструментальных возможностей с полнотой присвоения тех или иных полезных свойств «пространства-среды» (конец XVI – начало XVIII вв.). Превращение территории в регион происходит на следующем этапе освоения, когда системное давление извне, а отчасти и ход эволюции самой территории, стимулируют возникновение в ее пределах более сложной производственной функции, которая требует уже не простого присвоения ресурса, но и соединения различных природно-материальных, социальных, технологических и культурных факторов с целью производства определенного продукта. Системная организация разнообразных факторов производства и порождаемые ею эффекты регулярных социальных взаимодействий, в сущности, и выступают важнейшим критерием региональности как качественно нового (по сравнению с территориальностью) этапа эволюции пространства. Урал петровской эпохи, как полагает К.И. Зубков, – это уже быстро формирующийся регион, в основе генезиса которого лежала усложняющаяся территориальная организация производственной функции, потребовавшая и создания особых систем управления.

Существенное влияние на процесс региональной идентификации Урала оказало складывание здесь параллельно становлению уральской крупной горнометаллургической промышленности в XVIII в. системы местной горной администрации (Уральское горное управление) (Территориально-экономическое, 2008). Сфера компетенции Уральского горного управления охватывала предприятия, расположенные в Сибирской, Казанской, Оренбургской губерниях. На протяжении второй и третьей четверти XVIII в. оно еще не было чисто уральским учреждением. Ему подчинялись горнометаллургические хозяйства Западной и даже Восточной Сибири. Надрегиональный характер института отразился в его наименованиях (например, «канцелярии Главного правления сибирских, казанских и оренбургских заводов»). Тем не менее, уже в данный период создание территориально-отраслевой системы управления с центром в Екатеринбурге способствовало ускорению региональной консолидации Урала; обозначился и центр ее – Екатеринбург, замкнувший центростремительные силы, стягивающие Средний и Южный Урал, Приуралье и Зауралье. Функционирование региональной системы управления горнозаводской промышленности ускорило выделение уже в XVIII в. Уральского горнопромышленного региона, окончательно обретшего самостоятельный административно-территориальный облик во второй половине XIX в. (Азиатская Россия, 2004. С. 319–357).

Индикатором динамики регионоформирования служит и выделение определенной территории в качестве сложившегося региона в схемах районирования, которые предпринимались учеными-современниками. Так, уже в 1818–1819 гг. известный географ, историк, экономист К.И. Арсеньев в своем основном труде «Начертание статистики Российского государства» идентифицировал как особый регион – «Уральское пространство» (Арсеньев, 1818. Ч. 1. С. 19, 22–26; 1819. Ч. 2. С. 157–208). Существенный вклад в развитие отечественной экономической географии внес великий русский ученый Д.И. Менделеев. Выделенная Менделеевым Восточная область включала Вятскую, Казанскую, Уфимскую, Оренбургскую, Пермскую и Самарскую губернии. Перспективу экономического развития Восточной области Д.И. Менделеев связывал с удачным сочетанием в ней богатых сырьевых запасов с удобной системой коммуникаций (Волга и Кама) (Основы, 1991. С. 42–43).

Впрочем, Уралу повезло и с рефлексивной региональной идентификацией, той самой, которая обретается путем исследования литературных и визуальных источников самого широкого спектра

– путеводителей, записок путешественников; глубоко научных работ по фольклору, диалектам, этнографии, истории; художественной литературы; разумеется, и вообще произведений искусства. С художественным освоением Урала в русскую культуру вошла новая модель геопространства, доминирующим началом которой стала неистощимая глубина земли (П.П. Бажов, Алексей Иванов, Ольга Славникова и др.).

Предложенный нами подход, базирующийся на взаимодополняющих друг друга теоретических перспективах – цивилизационной парадигме, теории структуризации, центр-периферийной модели, модели фронтальной модернизации, модели диффузии инноваций, позволяет проанализировать историю уральского региона в тесной взаимосвязи с историей российской цивилизации, рассмотреть вклад региона в ее становление и развитие, выявить механизмы взаимодействий между центром и регионом, трансформации позиции региона в страновой структуре. Урал, составляя длительное время своеобразное пограничье российской цивилизации, воплощал в полной мере черты, в целом ей присущие. Географическое положение Урала благоприятствовало широким этнокультурным контактам на его территории. Многоэтничный состав населения Урала способствовал этноцивилизационным взаимодействиям, которые обогащали культуры вступающих в контакт народов, служили дополнительным фактором их адаптации к условиям окружающей среды. В результате активных контактов между народностями на Урале сложились своеобразные симбиозные этнические группы и синкретические этнические культуры. Особенностью края была своего рода фронтальность, большая подвижность населения, сохранявшее свою значимость освоение в разнообразных проявлениях, особая роль военного элемента. Включение еще недостаточно освоенного региона в модернизационные процессы способствовало усилению его гетерогенности в социальном, экономическом, культурном отношениях, формированию конгломератной пространственной структуры.

ЛИТЕРАТУРА

Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике XVI–XX века / Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Зубков К.И., Побережников И.В. 2004. / Отв. ред. В.В. Алексеев. М.: Наука. 600 с.

Алексеева Е.В. 2007. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII – начало XX в.). М.: Наука.

Алексеева Е.В. 2009. Роль экзогенных факторов в формировании индустриальных цивилизаций // Циви-

лизационное своеобразие российских модернизаций: региональное измерение: материалы Всероссийской научной конференции, 2-3 июля 2009 г. Екатеринбург. С. 46–54.

Алексеева Е.В., Нефедов С.А. 2013. Россия и Урал в мировых диффузионных волнах XVII–XIX вв. (военно-технологический аспект) // Уральский исторический вестник. № 1 (38). С. 28–34.

Арсеньев К.И. Начертание статистики Российского государства. СПб., 1818. Ч. 1: О состоянии народа. 248 с.; 1819. Ч. 2: О состоянии правительства. 290 с.

Артемов Е.Т. 2012. Урал в структуре российской государственности: проблемы исторической реконструкции // Экономическая история. Саранск. № 2 (17). С. 6–12.

Богатуров А.Д., Виноградов А.В. 2002. Анклавно-конгломератный тип развития. Опыт транссистемной теории // Восток-Запад-Россия. М. С. 109–128.

Гаврилов Д.В. 2005. Горнозаводский Урал XVII–XX вв.: Избранные труды. Екатеринбург: УрО РАН. 616 с.

Голикова С.В., Миненко Н.А., Побережников И.В. 2000. Горнозаводские центры и аграрная среда в России: взаимодействия и противоречия (XVIII – первая половина XIX века). М. 261 с.

Головнев А.В. 2011. Оттенки этничности на Урале // Антропология социальных перемен: сб. ст. М.: РОС-СПЭН. С. 429–444.

Диффузия технологий, социальных институтов и культурных ценностей на Урале (XVIII – начало XX в.). Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 405 с.

Зубков К.И. 2013. Урал в составе российского государства XVI–XVIII вв.: от пространства к региону // Гуманитарная академическая наука Урала: приоритеты и перспективы исследовательского поиска: материалы Всероссийской научной конференции. 17–18 июня 2013 г. РАН, УрО РАН, ИИиА, ИФиП. Екатеринбург: АМБ. С. 161–169.

История казачества Азиатской России. Екатеринбург: УрО РАН, 1995. Т. 1: XVI – первая половина XIX века. 319 с.; Т. 2: Вторая половина XIX – начало XX века. 255 с.

Кузнецов В.А. 2008. Иррегулярные войска Оренбургского края. Самара-Челябинск. 480 с.

Курлаев Е.А., Корепанов Н.С., Побережников И.В. 2011. Техно-технологические инновации в горно-металлургическом производстве Урала в XVII–XVIII вв. Екатеринбург: Банк культурной информации. 204 с.

Курлаев Е.А., Манькова И.Л. 2005. Освоение рудных месторождений Урала и Сибири в XVII веке: у истоков российской промышленной политики. М. 323 с.

Менделеев Д.И. 1991. С думою о благе российском: Избранные экономические произведения. Новосибирск: Наука. Сиб. Отд-ние. 231 с.

Миненко Н.А. 1995. Русская этнокультурная традиция на Востоке России (XVIII – первая половина XIX века) // Региональная структура России в геополити-

ческой и цивилизационной динамике. Доклады / УрО РАН. Екатеринбург: БКИ. С. 50–54.

Побережников И.В. 1999. Традиционная культура уральских марийцев второй половины XIX в. // Этнокультурная история Урала XVI–XX вв. / Материалы международной научной конференции. г. Екатеринбург, 29 ноября – 2 декабря 1999 г. Екатеринбург: УрГУ. С. 238–246.

Побережников И.В. 2009. Канадский и сибирский фронт: общее и особенное (XVI – начало XX в.) // Уральский исторический вестник. № 2 (23). С. 25–30.

Побережников И.В. 2010. Урал в XVIII–XIX вв. (пример фронтальной модернизации) // Восьмые Татищевские чтения. Доклады и сообщения. / Екатеринбург, 27–28 мая 2010 г. Екатеринбург: УМЦ УПИ. С. 308–310.

Побережников И.В. Азиатская Россия: фронт, модернизация // Известия УрГУ. 2011а. Сер. 2: Гуманитарные науки. № 4 (96). С. 191–203.

Побережников И.В. Фронтиры в контексте цивилизационного развития России // Цивилизационное своеобразие российских модернизаций XVIII–XX вв.: пространственно-временной аспект / В.В. Алексеев, Е.В. Алексеева, Е.Т. Артемов и др.; Ин-т истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург, 2011б. С. 305–330

Побережников И.В. 2012. Урал в истории Российского государства: постановка проблемы // Уральский исторический вестник. № 2 (35). С. 118–126.

Побережников И.В. 2013. Фронтальная модернизация как российский цивилизационный феномен // Россия реформирующаяся. Вып. 12: ежегодник / отв. ред. М.К. Горшков. – Москва: Новый хронограф. С. 246–274.

Региональные процессы в Сибири в контексте российской и мировой истории: Материалы всерос. науч. конф., Новосибирск, 3–4 марта 1998 г. / Отв. ред. Л.М. Горюшкин. 1998. Новосибирск: Изд-во Ин-т истории СО РАН. 224 с.

Роль государства в хозяйственном и социокультурном освоении Азиатской России XVII – начала XX века: Сб. материалов региональной научной конференции. Новосибирск: РИПЭЛ, 2007. 319 с.

Роль эндогенных и экзогенных факторов в развитии российской цивилизации (XVIII – начало XX в.) / Отв. ред. Е.В. Алексеева. Екатеринбург, 2014. 248 с.

Скафтымов А.П. 2007. Поэтика художественного произведения. М.: «Высшая школа». 535 с.

Смирнягин Л.В. 2007. О региональной идентичности // Пространство и время в мировой политике и международных отношениях: материалы 4 Конвента РАМИ. В 10 т. / под ред. А.Ю. Мельвиля; Рос. ассоциация междунар. исследований. М.: МГИМО-Университет. Т. 2: Идентичность и суверенитет: новые подходы к осмыслению понятий / под ред. И.М. Бусыгиной. С. 81–107.

Супоницкая И.М. 2007. Опыт освоения земель: Сибирь и Запад // Российско-американские отношения в прошлом и настоящем: Образы, мифы, реальность / Материалы международной конференции, посвященной 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США, РГГУ (Москва), 21–22 февраля 2007 г. М. С. 134–143.

Супоницкая И.М. 2010. Равенство и свобода. Россия и США: сравнение систем. М. 302 с.

Территориально-экономическое управление в России XVIII – начала XX в.: Уральское горное управление / Зубков К.И., Корепанов Н.С., Побережников И.В., Тулисов Е.С. 2008. / Отв. ред. И.В. Побережников. М.: Наука. 355 с.

Устюгов Н.В. 1957. Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII веке. К вопросу о генезисе капиталистических отношений. М.: Изд-во АН СССР. 336 с.

Чагин Г.Н. 1991. Культура и быт русских крестьян Среднего Урала в середине XIX – начале XX века (этнические традиции материальной культуры). Пермь: Изд-во Томского ун-та. Пермское отд-ние. 112 с.

Кальмина Л.В., Плеханова А.М. (ИМБТ СО РАН)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ В 1900 – 1920-Е ГГ.: ПРОЦЕСС ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ?

Термин «модернизация», постоянное упоминание которого все еще считается сегодня чуть ли не хорошим тоном, грозит из-за частого повторения утратить свой смысл. Но уж коль авторы взяли на себя смелость дать оценку экономическому развитию Забайкальского региона с точки зрения включения его (или, напротив, исключения) в модернизационный процесс в указанный хронологический период, они должны хотя бы обозначить свое понимание сути этого процесса во избежание научных кривотолков. Тем более, что модернизацию как явление не охарактеризовал уже только ленивый в меру своего понимания масштабности

процесса: от поистине космических преобразований всех сторон жизни общества до единичной замены подуставшей от вращения колеса лошадиной силы примитивным механизмом на одной отдельно взятой фабрике.

Частично наши взгляды были уже изложены в предыдущих статьях (Кальмина, 2013; Плеханова, 2013; Кальмина, 2014). Данный материал – в некотором роде их продолжение, хотя мы не рассчитываем поставить точку в дискуссии, что в принципе можно считать модернизационными процессами и насколько в них вписываются обозначенные нами тенденции экономического раз-

вития Забайкальского региона в указанный хронологический отрезок.

Большинство отечественных исследователей сходится во мнении, что модернизация – это макропроцесс перехода от традиционного общества к современному (в иной интерпретации – от аграрного к индустриальному) с высокой динамикой социально-экономических процессов; комплексное обновление общества с трансформацией различных его секторов; множество одновременных изменений на различных уровнях, сопровождающихся расширяющейся дифференциацией экономической, организационной, политической и культурной сфер (Арсентьев, 2010. С. 5–6; Зиновьев, Особенности перехода Сибири...; Побережников, 2006. С. 59). Однако далеко не всегда она являет собой всеобъемлющий процесс инновационных мероприятий (Сенявский, Индустриальная модернизация в России, 2007. С. 14). А «почерк» модернизации в России как раз и отличается неравномерностью развития разных сфер жизни и некомплексностью модернизационных усилий. Военная составляющая и отрасли экономики, с ней сопряженные, всегда опережали и даже игнорировали остальные стороны жизни общества (Мау, 2010. С. 31, 32). «Однобокость» и непоследовательность модернизационных процессов в Забайкалье при акценте на военных целях экономического развития в исследуемый период служит хорошей иллюстрацией этого тезиса.

С началом XX в., когда процесс модернизации в России практически исчерпал стимулы, данные реформами второй половины XIX в. (Модели общественного переустройства России, 2004. С. 119), в Забайкалье он делал лишь первые шаги. Четыре этапа индустриальной эволюции Сибири, начавшейся еще в XVII в., содержанием которых было движение от скромных опытов частного предпринимательства до старта промышленного переворота начала 1890-х гг. (Зиновьев, Особенности перехода Сибири...), в Забайкалье совпали с колонизацией на ее «грабительской» стадии. Идея получения баснословных прибылей без особых затрат была понятна и близка представителям различных социальных слоев общества. На рубеже XIX – XX вв. Забайкалье все еще имело неразвитую экономику, нацеленную главным образом на форсированное выкачивание природных богатств: торговлю, хоть и интенсивную, но с устаревшими формами, неразвитую инфраструктуру и слабое промышленное освоение, когда целые отрасли находились в руках феодальных предпринимателей. В условиях дефицита трудовых ресурсов активно использовались внеэкономические способы рекру-

тирования рабочей силы, тем более что штрафная колонизация давала ее постоянный приток (Зиновьев, 2003. С. 36).

Транссибирская магистраль, ставшая первой крупной акцией в модернизации Сибири, была призвана вдохнуть новую жизнь и в Забайкалье. Однако существенной трансформации забайкальского экономического пространства поначалу не произошло. Быстрый рост получили лишь отрасли, которые не создавали конкуренции европейской России и углубляли специализацию края как сырьевого придатка: по переработке сельхозсырья (мукомольная, кожевенная) и по производству строительных материалов (цементная, кирпичная и лесопильная). В отраслях, которые содействовали бы формированию промышленного комплекса, Забайкалье проиграло конкурентную борьбу не только европейской России, но и другим районам Сибири. С проведением железной дороги сюда хлынул поток товаров более дешевых, чем могла предложить местная промышленность. Металлургические заводы, выполняя заказы железной дороги, первоначально увеличили производительность до максимальной в своей истории, но затем зачахли, не имея возможности конкурировать с более дешевым уральским металлом. Петровский чугунно-литейный и железоделательный завод, принадлежавший Кабинету и впоследствии сданный в аренду частной компании, в 1909 г. прекратил работу с большими убытками (Солдатов, 1912. С. 268).

Хотя официальная статистика показала рост численности промышленных рабочих и увеличение объема выпускаемой продукции в забайкальских городах (всего за три года с 1901 по 1904 гг. то и другое, к примеру, в Верхнеудинске выросло почти втрое) (ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1681. Л. 41; Д. 2745, Л. 50), сами по себе эти цифры не столько служили показателем промышленного подъема в регионе, сколько исправляли огрехи слабого учета. Существенных изменений в организации производства на фабриках не произошло: в большинстве своем они оставались примитивно оснащенными кустарными мастерскими с низкой производительностью, которые назвать «фабриками» можно лишь с изрядной долей условности. Такая же ситуация была характерна и для других городов Восточной Сибири. Хотя за 20 лет, начиная с конца 1890-х гг., количество фабрично-заводских предприятий в Красноярске увеличилось примерно в 5 раз, а в Иркутске – в 6,4 раза, большинство из них имело ярко выраженный кустарный характер (Дружина, 2001. С. 139).

Промышленность в Забайкалье ограничивалась самыми необходимыми видами производств

– кожевенное, свечно-сальное, мыловаренное, кирпичное, – число которых к тому же неуклонно сокращалось. Более сложные производства – спичечное, стекольное, ткацкое, фарфоровое, бумажное, металлообрабатывающее – были представлены единичными заведениями даже в масштабах Сибири из-за недостатка оборудования, нехватки сырья, квалифицированных кадров, узости рынка сбыта (Сибирь в составе Российской империи, 2007. С. 252).

Главной составляющей забайкальской торговли даже после проведения Транссибирской магистрали оставалась ярмарка – архаичная форма оптовой торговли, обычная для окраинной территории с сдерживающей ролью в модернизации экономики и социальной сферы (Щеглова, 2003. С. 16). В Верхнеудинске, экономическом центре Западного Забайкалья, вплоть до революции 1917 г. она продолжала претендовать на главную роль и в экономической специализации города, и в формировании городского экономического пространства. Именно с ярмаркой связывалось будущее города, его перспективы и благополучие. С точки зрения пользы для ярмарки оценивались крупные экономические проекты правительства в регионе. Новые формы оптовой и розничной торговли (склады, аукционы) в регионе находились в зачаточной стадии развития, а биржевые операции не имели широкого распространения во всей Сибири в силу развитых традиций непосредственной торговли (Андрющенко, 2003. С. 216). Содержание региональной торговли также осталось прежним: обмен ввозимых продуктов обрабатывающей промышленности на вывозимые продукты местной добывающей промышленности.

Модернизация процесса золотодобычи в Западном Забайкалье задерживалась, прежде всего, в силу отдаленности от заводов европейской России, выпускавших оборудование для золотых промыслов, и отсутствия местных предприятий, которые могли бы выполнить подобные заказы. Второй причиной стал тот факт, что успех золотопромышленности в наибольшей степени зависел от содержания золота в песках, поэтому владельцы приисков не желали рисковать капиталами для реконструкции производства – даже при существенном удешевлении перевозки оборудования для золотодобычи, обеспеченном законом о беспощинном ввозе техники в Россию. К тому же техническое совершенствование золотодобычи было не под силу новым хозяевам приисков – мелким и средним предпринимателям из числа бывших приисковых служащих, пришедшим на смену золотопромышленным компаниям, которые раздробили и продали свои прииски после

выработки верхних золотоносных площадей. Гораздо проще для владельцев было сдать золотоносные участки в аренду старателям – золотничникам (т.е. получающим плату с каждого добытого золотника) и продолжать получать прибыль, освободив себя от всяких забот о модернизации производства. В Восточной Сибири даже в 1911 – 1913 гг. на долю старательских и золотничных работ приходилось 64,2 % золоторазработок – выше, чем в целом по России, где уровень добычи золота старательским способом тоже был достаточно высок – около 59,8 % (Лысков, 1999. С. 119). По мере истощения приисков золотодобыча перемещалась на восток.

Таким образом, Транссибирская магистраль закрепила процесс развития регионального рынка не столько за счет местной промышленности, сколько в результате экономических связей с промышленностью европейской России. Тем не менее, мы относимся к сторонникам «оптимистического варианта» дореволюционной модернизации, позволяя себе усомниться в ее трактовке как провале буржуазно-либеральной модели раннеиндустриальной модернизации в России, удачной лишь в смысле «обусловившего революционную альтернативу в обеспечении дальнейшей модернизации страны социального материала» (Братченко, 2007. С. 64). Начавшаяся с большим опозданием, по сути «проскочившая» раннеиндустриальную стадию, модернизация в Забайкалье не успела полностью использовать свой потенциал, определенный выгодным геополитическим положением. Однако впоследствии она шла более высокими, чем на других территориях, темпами, как бы стремясь наверстать упущенное. (Это касается только экономической стороны жизни при значительном отставании социальной, культурной и политической сферы). Для иллюстрации ее результатов вновь обратимся к традиционным для региона отраслям экономики. В торговле наблюдался процесс «мирного сосуществования» архаичных и модернизационных форм посредничества. Резкое снижение оборотов крупнейшей в Восточной Сибири Верхнеудинской ярмарки – с 1,7 млн. руб. в 1886 г. до 580 тыс. руб. в 1901 г. (ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 520. Л. 12, 42; Сибирский торгово-промышленный календарь на 1904 г., б.г. С. 193) – стало следствием легкости приобретения товаров из первых рук и отсутствия необходимости их закупки сразу на год, поскольку оптовые склады открылись во многих городах вдоль железной дороги. Оптовая ярмарка перестала играть роль главного посредника между Сибирью и промышленными центрами. Магистраль дала жизнь массе мелких ярмарок по селам и деревням, резко выросло число торгующих, поскольку соб-

ственную торговлю теперь можно было открыть с капиталом менее 1 тыс. руб. Увеличилась мобильность торговли, росло умение торгующих быстро оценить рыночную конъюнктуру.

В начале XX в. стартовали, пусть единичные, опыты по механизации процесса золотодобычи. Первая в Западном Забайкалье самодельная драга на деревянном понтоне заработала в 1900 г. на Иоанно-Кронштадском прииске «Мензинского товарищества» в Верхнеудинском округе. В 1909 г. на Николаевском прииске Х.Р. Новомейской, Королонских приисках Я.Д. Фризера, Еленинском прииске по Витиму и Ивановском по Витимкану стартовал гидравлический способ промывки золота. Самая современная на тот период драга, доставленная из Лондона, была установлена на прииске А. Новомейского на Ципикане (Патронова, 1972. С. 70; Раднаев, 1987. С. 61; Кальмина, 1999. С. 80).

Технического переворота в отрасли, тем не менее, не произошло. Модернизация отдельных приисков состоятельных владельцев и крупных золотопромышленных компаний обеспечила незначительную часть производственного процесса. Лишь несколько крупных золотопромышленников стремились обставить свои прииски как капиталистические предприятия. Но начало промышленному перевороту в отрасли было положено.

Мощные каменноугольные месторождения Западного Забайкалья – Танхойские и Тарбагатайские копи (на последних в 1907 г. работали 1600 чел., давших продукции на 368,6 тыс. руб.) (ГАРБ. Ф. 10. Оп. 2. Д. 530. Л. 5) – с самого начала развивались как крупное капиталистическое производство, где темпы роста обеспечивались усиленной механизацией. За последующее десятилетие добыча угля в Западно-Забайкальском горном округе возросла более чем в три раза. Стремительными темпами развивалась цементная промышленность, получившая возможность сравнительно дешевой и надежной доставки оборудования для собственного технического перевооружения. Особенно динамично развивался Брянский завод. (Вольский, 1908. С. 410; Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь на 1905 г., 1905. С. 177). Процесс урбанизации, являющийся составляющей модернизации, стремительно набирал обороты: за период с 1899 по 1907 гг. численность городского населения Забайкальской области выросла с 39,5 тыс. до 112,9 тыс., население областного центра Читы в 1897 – 1904 гг. увеличилось с 11,5 тыс. до 41 тыс. чел., уездного Верхнеудинска – на 15 %. (Обзор Забайкальской области за 1899 г., 1900. Введ. 9; Обзор Забайкальской области за 1907 год, 1908. Введ. 5; ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 2265. Л. 55;

Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года, 1904. С. 2–3; Обзор Забайкальской области за 1904 год, 1905. Введ. 5).

Необходимость хоть запоздалых, но достаточно решительных опытов по модернизационному преобразованию Забайкалья в начале XX в. диктовалась геополитическим фактором. Неудачно окончившаяся русско-японская война наглядно продемонстрировала слабость экономического развития восточных рубежей империи. А объявление независимости граничащей с Забайкальем Монголией привели к осознанию ее важности для реализации российских политических и экономических интересов в Центральной Азии, что сулило Забайкалью перспективы мощной экономической базы. В сознании российского правительства произошел поворот относительно роли и назначения региона, превратившийся в политические установки и тем способствовавший активизации его хозяйственной жизни. С включением Забайкалья во внешнеполитические интересы оно стало играть все большую роль в государственных программах переселения крестьян. В регионе разрабатывались проекты создания крупных промышленных предприятий не только добывающей, но и перерабатывающей промышленности, создания надежной транспортной инфраструктуры. В частности, предполагалось соединить приграничный город Кяхта, бывший ранее центром русской торговли с Китаем, с одной из станций Забайкальской железной дороги и при первой возможности продолжить ее по Монголии до Урги с перспективой проведения до Пекина. Началась модернизация мышления местных предпринимателей. Процессы, начатые «сверху», подкреплялись частной инициативой.

Конечно, до 1917 г. проектов было больше, чем реальных действий, но недавно начавшаяся модернизация в регионе еще не успела накопить запаса прочности. На масштабные преобразования в дореволюционный период властным структурам просто не хватило времени. К 1917 г. раннеиндустриальная модернизация не была завершена даже в крупной горнозаводской промышленности Урала (Опыт российских модернизаций XVIII–XX века, 2000. С. 59). Однако планы самодержавия по созданию в Забайкалье точки экономического роста были положены в основу дальнейшего развития на базе иного общественного и идеологического потенциала.

Прерванный революционными событиями 1917 г. модернизационный переход после завершения гражданской войны в регионе был возобновлен в условиях новой экономической политики. И хотя сам термин «модернизация» не встречался в офи-

циальных документах советской власти, его смысл содержался во многих неологизмах советской эпохи: «социалистические преобразования», «социалистическое строительство», «социалистическое обобществление» и др. Модернизационные процессы в 1920-е гг. облекались в идеологическую формулу нового общественного строя.

Фактором, подтолкнувшим модернизацию региона, стало совпадение региональных интересов и общегосударственных задач. Руководство страны, иницируя социально-экономическую модернизацию Западного Забайкалья, преследовало несколько целей.

Во-первых, политическую. Предоставив национальную автономию коренному этносу Западного Забайкалья – бурятам, обеспечив компактность территории и экономическую целостность Бурят-Монгольской республики, правящий режим, субсидируя экономику региона, рассчитывал на политическую лояльность руководства молодой советской республики и его всемерную поддержку в проведении социалистических преобразований.

Во-вторых, идеологическую. Подъем экономики национальных окраин должен был демонстрировать угнетенным в царской России инородцам преимущества нового – социалистического – строя.

В-третьих, военно-стратегическую. В связи с высокой вероятностью военных конфликтов в условиях конфронтации с мировыми державами требовалось обеспечить защиту восточных границ.

В-четвертых, геополитическую. Республика, являясь «воротами» во Внутреннюю Азию, должна была демонстрировать народам Востока успехи строительства социализма и тем самым не только втягивать их в орбиту советского экономического и политического влияния, но и служить «плацдармом мировой революции на Буддийском Востоке». Советская внешнеполитическая доктрина, обусловленная в 1920-е гг. идеей мировой революции, заключалась в экспорте революции в страны Внутренней Азии и дальнейшем присоединении их к будущей «Всемирной республике Советов». Бурят-Монгольская АССР в этой политике отводилась особая роль, поскольку республика должна была выступить ярким примером советского варианта Востока, своеобразной витриной российской политики в отношении восточных этносов и цивилизаций.

В-пятых, экономическую. Октябрьская революция произошла в стране, отличавшейся разнообразием национальных регионов, прошедших неодинаковые стадии исторического развития. Осознавая, что экономическое положение нацио-

нальных окраин будет оказывать существенное влияние на их дальнейшее развитие, новая власть стала стремиться к единообразию и выравниванию различных ступеней развития регионов. Уже в постановлении X съезда РКП(б) отмечалось, что первой задачей пролетарской революции является «последовательная ликвидация всех остатков национального неравенства во всех отраслях общественной и хозяйственной жизни и, прежде всего, планомерное насаждение промышленности на окраинах...» (КПСС в резолюциях..., 1970. С. 560). В апреле 1923 г. в резолюции XII съезда РКП(б) подчеркивалось, что преодолеть неравенство, фактическое отставание ранее угнетенных народов в области экономического и культурного развития «...можно лишь путем действительной и длительной помощи русского пролетариата отсталым народам Союза в деле хозяйственного и культурного преуспеяния. Помощь эта должна, в первую очередь, выразиться в принятии ряда практических мер по образованию в республиках ранее угнетенных национальностей промышленных очагов с максимальным привлечением местного населения» (КПСС в резолюциях..., 1970. С. 714).

Руководство республики, учитывая неразвитость промышленной основы в регионе, отсутствие капиталов для освоения богатых природных ресурсов, отдаленность от крупных промышленных центров, отсутствие развитой транспортной инфраструктуры, наличие слабых коммуникативных связей в условиях разреженной дисперсной зоны стало строить планы социально-экономического развития Бурятии, основанные на «преодолении хронически дефицитного крестьянского состояния» за счет «всемерной индустриализации и урбанизации» (Козьмин, 1926. С. 58–59).

Реализация концепции выравнивания уровня социально-экономического развития отсталых в дореволюционный период территорий, ежегодно увеличивающиеся объемы государственных дотаций наряду с допущением многообразия форм собственности, разрешением свободы торговли, арендных отношений и других мер, привнесенных новой экономической политикой и направленных на либерализацию советской хозяйственной системы, дали положительные результаты. Капиталовложения в промышленность Бурятии за 1923–1928 гг. составили 943,7 тыс. руб., из которых 72,6 % было выделено на расширение и переоборудование предприятий и 27,4 % – на капитальный ремонт. Это позволило увеличить объем валовой продукции республики в 1,5 раза по сравнению с 1913 г. В 1927/28 г. промышленными предприятиями, число которых увеличилось с 16 до 20, было выпущено

валовой продукции на сумму 5 975 тыс. руб., что составляло 230 % от уровня 1923/24 г. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 562. Л. 329). Общая стоимость имущества промышленных предприятий выросла с 1 401 тыс. руб. до 2 899,6 тыс. руб., т.е. более чем в 2 раза, а стоимость основных фондов составила 2 489,6 тыс. руб. (Социалистическое строительство Бурятии..., 1933. С. 14, 34). Тем не менее, финансовые ресурсы были очень ограничены. Руководство республики сетовало на то, что «центр средств на усиление капитала промышленности отпускает в недостаточной степени» (Бурят-Монгольская правда, 1927), что свидетельствовало о перманентно возрастающем региональном «индустриальном самосознании».

С реконструктивными сдвигами в промышленности заметно менялся средний размер промышленного предприятия Бурятии. Если в 1910 г. в среднем на одно предприятие приходилось 43 рабочих (Козьмин, 1926. С. 41), то в 1926/27 г. – 52 (Бурятия в цифрах..., 1931. С. 82–83). В 1927/28 г. 63 % рабочих ценовой промышленности было занято на предприятиях с количеством рабочих свыше 50 (ГАРБ. Ф. Р-192. Оп. 1. Д. 17. Л. 4). Например, на Верхнеудинском стеклозаводе в 1913 г. работало 55 чел., в 1924 г. – 429, на винокуренном заводе 70 и 116 соответственно (Козьмин, 1926. С. 47).

Показательны модернизационные изменения в торговой сфере. Для легализованной нэпом свободной торговли в 1920-е гг. было характерно видовое многообразие торговых предприятий: от архаичных (развозно-разносные и периодические – ярмарки и базары) до развитых (стационарные – магазины, лавки, склады), поступательное развитие форм товарообмена – от меновых до биржевых. Товарная биржа в республике была учреждена постановлением Бурревкома 27 октября 1923 г. На 1 октября 1924 г. участниками биржи были 17 государственных торговых организаций, 6 кооперативных и 14 частных (Бурят-Монгольская АССР. Очерки и отчеты..., 1925. С. 201). Рыночный старт, взятый республикой в 1923 г., положительно отразился и на степени плотности стационарной торговой сети: в 1927 г. в республике насчитывалось 1553 торговых предприятия с оборотом в 51401 тыс. руб. (ГАРБ. Ф. Р-475. Оп. 1. Д. 341. Л. 217).

Слабое развитие градообразующих отраслей экономики в регионе имело следствием малое количество городских форм расселения. Несмотря на это, в 1920-е гг. были возобновлены урбанизационные процессы, прерванные революционными событиями и гражданской войной. Безусловно, на этом этапе происходило лишь постепенное накопление

качественных изменений, создающих предпосылки роста городов, увеличения численности городского населения, «распространения городского образа жизни на сельскую округу». В то же время нельзя не заметить ощутимого роста городского населения, которое за три года увеличилось на 37,8 % – с 33 071 чел. в 1923 г. (7,4 % от общего количества населения) до 45 566 чел. в 1926 г. (9,3 %) (Всесоюзная перепись населения 1926 г., 1929. С. 345; ГАРБ. Ф. Р-196. Оп. 1. Д. 228. Л. 11).

Результатами модернизационных возможностей новой экономической политики стали складывание единой денежной системы, учреждение банков, восстановление, переоборудование и расширение промышленных предприятий, увеличение объема выпускаемой промышленной продукции, широкое развитие кооперации, прежде всего в сфере финансов (кредитная) и товарного обращения (потребительская), в меньшей степени – в кустарных промыслах (производственная), видовое многообразие промышленных и торговых предприятий, возрастающая степень плотности стационарной торговой сети. Однако дефицит финансовых средств не позволил – как до революции, так и в период нэпа – существенно трансформировать внутрирегиональное экономическое пространство. В 1929 г. в отраслевой структуре промышленного производства по-прежнему преобладающее место занимали кожевенная отрасль (32,4 % от общей стоимости произведенной продукции), лесобрабатывающая (24 %), пищевая (19,3 %), стекольная (17,9 %), в то время как на долю металлообрабатывающей приходилось лишь 0,8 % (Бурят-Монгольская АССР. Материалы к отчету..., б.г. С. 86).

Камнем преткновения на пути модернизации в рамках нэповской экономической модели стало ограничение государством действия рыночных механизмов. С одной стороны, советская власть, сделав ставку на частный капитал, с его помощью вызволила экономику из кризиса, с другой – регламентировала его работу в пользу государственно-кооперативного сектора настолько жестко, что дальнейшая частнопредпринимательская деятельность стала невозможной. В 1927/28 г. в промышленности республики государственный сектор по объему валовой продукции занимал 92,29 %, кооперативный – 7,64 %, частный – 0,07 % (ГАРБ. Ф. Р-753. Оп. 1. Д. 666. Л. 2); в торговле по размеру товарооборота – соответственно 23; 71; 6 % (ГАРБ. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 1243. Л. 21).

При всех своих «экономических достижениях» Бурятия к исходу 1920-х гг. оставалась районом с крайне низким уровнем развития про-

мышленности. Если к концу 1928 г. в целом по СССР объем валовой продукции промышленности составлял 48 %, а сельского хозяйства – 52 %, то в Бурятии соответственно 14 и 86 % (ГАРБ. Ф. Р-195. Оп. 6. Д. 44. Л. 5). Доля валовой продукции промышленности республики в экономике РСФСР выражалась в 0,04 %, тогда как сельскохозяйственная продукция составляла 0,45 %, а население – 0,52 % (Самойлович, 1933. С. 70). В 1920-е гг. в республике практически не велось нового промышленного строительства, только восстанавливались, переоборудовались и расширялись старые предприятия. Промышленность по-прежнему была представлена небольшими предприятиями добывающей и в основном пищевкусовой промышленности, а предприятий тяжелой промышленности совершенно не было.

Таким образом, и в 1920-е гг. не удалось заметно модернизировать экономику региона, причиной чего стали не только дефицит финансовых средств, но и дуалистический (административно-рыночный) характер нэповского курса. Разрешительно-регулирующие меры государства, характеризующие институциональные условия реализации нэпа, выступали неэффективным инструментом модернизации. Государственный контроль всех составляющих экономического пространства, преференции государственно-кооперативному и ущемление частного секторов – факторы, не только нарушавшие хрупкую систему хозяйственных связей, но и сдерживавшие модернизационные процессы. Вместе с тем следует заметить, что в последующие, 1930-е, годы именно государственная собственность позволила обеспечить форсированный вариант модернизации на основе концентрации ресурсов на ключевых «направлениях прорыва» (Сенявский, Модернизационный процесс, 2007. С. 51). При самой покровительственной политике в отношении частного капитала (слабого в дореволюционной экономической модели, еще более ослабленного в результате социальных потрясений начала XX в.) вряд ли он был способен (при любом политическом режиме) стать основным мотором масштабной модернизации.

Таким образом, модернизация экономики и социальной сферы Забайкалья в 1900-1920-е гг. не охватывала всю совокупность процессов, которые позволили бы говорить о ней как о масштабном явлении. По результатам она была несопоставима даже с другими сибирскими территориями, «за плечами» которых был опыт, накапливаемый десятилетиями. Являясь «воротами» во Внутреннюю

Азию и обладая огромным экономическим и геополитическим потенциалом, Забайкалье ни до революции, ни в 1920-е гг. так и не стало экономически самодостаточным регионом.

Так можно ли считать попытки трансформации забайкальской экономики в указанный период модернизационными преобразованиями? Если судить по конечному результату, то с очень большой натяжкой. Однако модернизационные трансформации не являются одномоментным актом. Модернизационный переход, будь то переход от индивидуального производства к кооперации или от мануфактуры к фабрично-заводскому производству, это длительный процесс, состоящий из нескольких этапов или стадий. Классифицируя стадии модернизации, исследователи выделяют «традиционную» – «стадию создания предварительных условий», которая обязательно предшествует «стадии непрерывного роста» (Гавров, 2010. С. 23). Модернизационные опыты самодержавного, а впоследствии молодого советского государства, проведенные в течение без малого трех десятилетий в Западном Забайкалье, пусть робкие и непоследовательные, обеспечили подготовку и дали старт созданию экономической базы для проведения полномасштабной успешной социалистической модернизации 1930-х гг., беспрецедентной по темпам, масштабам и результатам.

ЛИТЕРАТУРА

Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ).

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).

Андрющенко Б.К. 2003. Сфера обмена Сибири как показатель уровня модернизации // Сибирское общество в контексте модернизации. XVIII-XX вв.: Сб. мат-лов конф., Новосибирск, 22-23 сент. Новосибирск. С. 212–218.

Арсентьев Н.М., Доленко Д.В. 2010 (11). Российская модернизация: развитие капитализма и проблема цивилизационного выбора в XVIII – начале XX века // Экономическая история. № 4. С. 4–19.

Братченко Т.М., Сенявский А.С. 2007. От протоиндустриализации к раннеиндустриальной модернизации дореволюционной России // Модернизационные парадигмы в экономической истории России: материалы Всерос. науч. конф., г. Саранск, 20-21 июня 2007 г. Саранск: Изд. Центр Историко-социол. ин-та им. Н.П. Огарева. С. 50–65.

Бурятия в цифрах: стат.-экон. справочник. 1927–1930. Верхнеудинск: Госплан БМАССР, 1931. 508 с.

Бурят-Монгольская АССР. Материалы к отчету IV съезда Советов. 1926/27 – 1927/28. Изд. ЦИК и СНК БМАССР, б.г. 238 с.

Бурят-Монгольская АССР. Очерки и отчеты. 1923–1924. Верхнеудинск: Госплан БМ АССР, 1925. 380 с.

- Бурят-Монгольская правда. 1927. 14 янв.
- Вольский З. 1908. Вся Сибирь. Справочная книга по всем отраслям культурной и торгово-промышленной жизни Сибири. СПб. 582 с.
- Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. XXIII: Сибирский край. Бурят-Монгольская АССР. М.: ЦСУ Союза ССР, 1929.
- Гавров С.Н. 2010. Модернизация России: постимперский транзит. М.: МГУДТ. 269 с.
- Дружинина А.В. 2001. Промышленная структура и занятость населения губернских городов Восточной Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск. С. 138–141.
- Зиновьев В. П. Особенности перехода Сибири от аграрного общества к индустриальному. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mion.tsu.ru/display_analyticsitem?id=300599991438. Дата обращения 24.03.14.
- Зиновьев В.П. 2003. Особенности становления индустриального общества в Сибири в XIX – начале XX вв. // Проблемы истории, историографии и источниковедения России XVIII – XX в. Томск: Том. гос. ун-т. С. 35–48.
- Кальмина Л.В., Курас Л.В. 1999. Еврейская община в Западном Забайкалье (60-е годы XIX века – февраль 1917 года). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 172 с.
- Кальмина Л.В., Плеханова А.М. 2014. «А был ли мальчик?» или можно ли считать забайкальские экономические опыты 1900-х–1920-х гг. модернизационными преобразованиями? // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. № 2 (14). С. 85–96.
- Кальмина Л.В., Плеханова А.М. 2013. Забайкальские экономические опыты 1900-х – 1920-х гг. как начальный этап модернизационных преобразований // Власть. № 3. С. 130–133.
- Козьмин Н.Н. 1926. Основы капитального строительства Бурятии. Верхнеудинск: Госплан БМ АССР. 144 с.
- КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 3. М., 1970.
- Лысков В.М. 1999. История и состояние старательской добычи в Восточной Сибири // Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск. С. 118–122.
- Мау В.А. 2010. Сочинения: В 6 т. М. Изд-во «Дело» АНХ. Т. 1. 712 с.
- Модели общественного переустройства России / отв. ред. В.В. Шелохаев. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 608 с.
- Обзор Забайкальской области за 1899 г. Чита: Типография Забайкальского Областного Правления, 1900.
- Обзор Забайкальской области за 1901 год. Чита: Типография Забайкальского Областного Правления, 1902. 51 с. с прилож.
- Обзор Забайкальской области за 1904 год. Чита: Типография Забайкальского Областного Правления, 1905.
- Обзор Забайкальской области за 1907 год. Чита: Типография Забайкальского Областного Правления, 1908. 98 с. с прилож.
- Опыт российских модернизаций XVIII-XX века / отв. ред. В.В. Алексеев. М.: Наука, 2000. 246 с.
- Патронова А.Г. 1972. Особенности развития золотопромышленности в Забайкалье в конце XIX – начале XX в. // История экономического развития Забайкалья в конце XIX – начале XX века. Забайкальский краеведческий ежегодник. Чита. С. 57–76.
- Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. LXXIV. Забайкальская область. СПб.: Издание Центрального статистического комитета МВД, 1904.
- Плеханова А.М., Кальмина Л.В. 2013. Концепция модернизации экономики Забайкалья в первой трети XX века: кощунственная идея // Преподавание истории в школе. № 5. С. 49–55.
- Побережников И.В. 2006. Переход от традиционного к индустриальному обществу. М.: РОССПЭН. 240 с.
- Раднаев Б.Э. 1987. Формирование рабочего класса в золотодобывающей промышленности Забайкалья конца XIX – начала XX в. // Социально-экономическое развитие Бурятии XVII – начало XX в. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние. С. 57–71.
- Самойлович П. 1933. Бурят-Монгольская АССР. М.: Изд-во «Власть Советов» при Президиуме ВЦИК. 120 с.
- Сенявский А.С. 2007. Индустриальная модернизация в России: теоретические проблемы // Модернизационные парадигмы в экономической истории России: материалы Всерос. науч. конф., г. Саранск, 20-21 июня 2007 г. Саранск: Изд. Центр. Историко-социол. ин-та им. Н.П. Огарева. С. 13–28.
- Сенявский А.С. 2007. Модернизационный процесс в XX веке: общероссийские и региональные аспекты // Индустриальное развитие Сибири в контексте модернизационных процессов. Улан-Удэ. С. 32–57.
- Сибирский торгово-промышленный календарь на 1904 г. Томск: изд. Ф.П. Романова, б.г.
- Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь на 1905 год. Томск: изд. Ф.П. Романова, 1905.
- Сибирь в составе Российской империи / под ред. Л.М. Дамешека и А.В. Ремнева. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 368 с.
- Солдатов В. 1912. Железнодорожные поселки по Забайкальской линии. Статистическое описание и материалы по переписи 1910 года. СПб. Вып. II. Т.V, ч. 1.
- Социалистическое строительство Бурятии за десять лет: экон. обзор и стат. справочник (1923 – 1932). Верхнеудинск: Бургосиздат, 1933. 149 с.
- Щеглова Т.К. 2003. Ярмарочная торговля в северных регионах Западной Сибири (Тобольская губерния) // Проблемы экономической и социальной истории Сибири XVIII – начало XX вв. Сб. науч. ст. Вып. 4. Омск: Изд-во ОмГПУ. С. 4–20.

РЕЛИГИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Возвращение религии в социокультурные практики постсоветской России является объектом внимания отечественных и зарубежных исследователей. При этом ученые занимаются поисками ответов на вопросы: возможно ли столь стремительное восстановление позиций религии после десятилетий ее пребывания на периферии общественного сознания; являлся ли коммунизм формой вероисповедания, вследствие чего после краха советской идеологии «настоящие» религии заняли освободившуюся мировоззренческую нишу; были ли советские граждане латентно верующими на всем протяжении истории СССР и, следовательно, их постсоветская религиозность лишь приобрела манифестные формы?

Другой круг вопросов связан с социальными функциями религии в условиях специфической для нашей страны ситуации перехода от официальной идеологии атеизма к практикам десекуляризации, носящей характер идеологической кампании. Собственно постсоветская десекуляризация согласуется с тезисом П. Бергера о том, что хотя модернизация оказывала некоторое секуляризующее воздействие, она не обязательно связана с секуляризацией на уровне индивидуального сознания (Berger, 1999. Р. 2-3). Сторонники противоположной точки зрения, а именно связанной с доказательством неминуемой утраты религией того значения, которое она имела в традиционном обществе, полагают, что «в условиях научно-индустриального общества религиозная вера и обряды приходят в упадок. Интеллектуалистское объяснение этому состоит в том, что доктрины религии находятся в конфликте с научными доктринами, которые, в свою очередь, наделены невероятным престижем и составляют основу современных технологий, а потому и современной экономики. Вследствие этого религиозная вера снижается. Ее престиж падает, тогда как престиж ее соперника возрастает» (Gellner, 1992. Р. 4).

Концепция десекуляризации, в отличие от точки зрения модернистов, подразумевает устойчивость религиозных представлений, не зависящих от уровня образованности и включенности в модернизацию, поскольку они базируются на эмоциональных потребностях. При этом религиозное и светское (священное и мирское) вполне способны сосуществовать и в условиях рационализированно-

го общественного и индивидуального сознания. Это качество современной духовности объяснил американский социолог Дуглас Мэсси следующим образом: «Люди *не только* рациональны. Людми нас делает *добавление* рациональной составляющей к уже существующей эмоциональной основе, а фокусом нашего внимания должно стать взаимодействие рациональности и эмоциональности, а не теоретизирование по поводу рациональности, оставляя без внимания эмоциональность, и не противопоставление их друг другу» (Massey, 2002. Р. 2).

Десекуляризация в России имеет конкретный смысл, состоящий в переворачивании понятия секуляризации. Так выделяется несколько взаимосвязанных уровней: 1) сближение между государством и церквями; 2) соединение религии с образованием, начиная с базового; 3) возвращение религиозно-духовным ценностям приоритетов в воспитании нравственности; 4) стремительное введение религии с периферии общественного сознания в центральную позицию при формировании национальной идеологии; 5) изменение повседневности вследствие неуклонного возрастания религиозного компонента в идентификационных предпочтениях и включенности населения в ритуально-обрядовые практики.

Десекуляризация, происходящая по такому сценарию, неминуемо влечет за собой противоположную, казалось бы, тенденцию, а именно секуляризацию церкви. Религиозные институты идут на сотрудничество с государством, охотно модернизируются, что выражается, в первую очередь, в институализации по образцу государственного аппарата. По этому поводу Эмиль Дюркгейм заметил, что наивно полагать, что светская власть скопировала свою сакральность у власти религиозной. Скорее наоборот: религиозная власть успешно следовала примеру правителей, наделяя себя особыми знаками сакральности для отделения себя от профанного большинства (Durkheim, 1964. Р. 340-344, 406).

Другие характеристики постсоветского обновления церковью включают в себя модернизацию в соответствии с современным состоянием общественного сознания. Наиболее очевидной является коммерциализация, однако скрытые и явные трансформации представляют собой больший исследовательский интерес. Одной из значимых харак-

теристик современного радикального изменения общественного климата является взаимодействие государства и церквей. И в этом смысле важен анализ формирования взаимоотношений между религиозными институтами и светским государством, которое стремится, с одной стороны, сохранить полный контроль над ситуацией в своих границах, а с другой стороны, готово делегировать религии ряд важнейших социальных функций. Для официальных церквей взаимодействие с государством – это *conditio sine qua non* существования, развития и расширения своего влияния. Одновременно на основании вечных, по выражению Э. Дюркгейма, качеств религии², она вполне способна составить конкуренцию государству в сфере общественного сознания и практик, в том числе и стать мощным мобилизующим фактором в противостоянии государству. В Республике Бурятия демонстрация такого потенциала религии состоялась в связи с общественным негодованием в 1998г. из-за вывоза за рубеж «Атласа тибетской медицины», на защиту которого встала Буддийская Традиционная Сангха и лидеры Конгресса бурятского народа при сочувственном отношении бурятского населения (вследствие слухов о том, что Атлас на родину может и не вернуться) (Батомункуев, 2004. С. 55-64).

Происходящие на протяжении постсоветского периода перемены в области этнизации общественного сознания нашли отражение, возможно даже прежде всего, в духовно-религиозной сфере. Качественные характеристики взаимоотношений между церквями и общинами можно определить следующим образом: в современной Бурятии сформировалась определенная диспропорция в гуманитарно-географическом образе духовного пространства. Позиции православия, являющегося главной религией России и номинально исповедуемого большинством населения республики, уступают в общественной значимости буддийско-шаманскому комплексу, являющемуся основной культурной характеристикой региона. Различие в социальном статусе определяется и тем, что Бурятия является буддийским центром России: здесь сосредоточен институализированный буддизм, который в настоящее время переживает реформуацию. Попыткой преодоления дисбаланса явилось создание в 2009 г. самостоятельной Улан-Удэнской и Бурятской епархии во главе с епископом (с 2014 г. – архиепископ) Савватием. Это событие способствовало активизации деятельности православной церкви, поскольку статус епархии дает возможность выходить на уровень прямого диалога с властями, по-

² «Что в религии вечно, так это культ и вера» (Durkheim, 1964. P. 430).

лучения государственной поддержки, публикаций религиозной литературы и периодики, открытия воскресных школ и т.д. Формируется региональная православная идеология, создателем и проводником которой является Савватий. Для упрочения позиций православия он ставит перед Патриархией вопрос о создании в Бурятии митрополии, вследствие чего «Архиереи (священнослужители высшей степени церковной иерархии: епископы, архиепископы) станут ближе к народу» (Данилов, 2014). В целом одобряя традиции межэтнической стабильности в республике, он стремится внедрить в сознание православных идею «ограниченной толерантности», которая позволит преодолеть сложившийся в республике религиозный синкретизм и восстановить позиции православной идентичности: «Люди, живущие в Бурятии, приветливы и относятся с большим пониманием и доброжелательностью друг к другу, но в этом же кроется и опасность. Испокон веков люди живут здесь и принимают людей другой веры. Готовы выслушать, перенять. <...> Нужно так строить отношения, чтобы человек имел свой внутренний стержень, понимал, кто он, откуда, какую исповедует религию, какие у него корни» (Баторова, 2012).

Точка зрения главы буддистов Хамбо ламы Дамбы Аюшеева на межрелигиозные взаимоотношения иная: при том, что он неодобрительно относится к буддийским религиозным общинам вне Буддийской Традиционной Сангхи России, он не проводит границы между конфессиями, определяя в качестве буддиста всякого, кто верит на 60% силам свыше (Махачкеев, 2010. С. 144).

Однако и для Хамбо ламы очевиден факт культурно-пространственных характеристик религии, когда православное христианство и буддийско-шаманистский комплекс очерчивают границы русской и бурятской культурной этносферы по отдельности и а priori по принципу идентификационной аскрипции. Соответственно, такое прочтение религии неминуемо трансформируется в представления о «своем» и «чужом» пространстве. В такой ситуации не только официально признанные религиозные институты, но и само государство обязаны способствовать установлению паритетных взаимоотношений. Для постсоветского периода решение этой задачи стало для государственных органов одним из важных направлений социокультурного развития, осуществляемых посредством регулирования всей сферы религиозных практик. Одним из аспектов деятельности законодательных и исполнительных органов власти стало разделение конфессий на *традиционные* и *нетрадиционные*, а также выделение религиозных организаций, их

представляющих. При этом легитимизация такого разделения осуществлялась при участии руководителей некоторых религиозных объединений (получивших в результате статус традиционных), а функционирование обеспечивается комплексом норм, определяющих рамки государственно-церковных отношений.

Институты государственного регулирования религии существуют как в формальном, так и в неформальном выражении. При этом с течением времени нормы переходили из одного состояния в другое. В сущности, формальные и неформальные правила тесно взаимосвязаны, и существование неформальных институтов государственного регулирования религии обусловлено состоянием формальных.

Регулирование религиозной сферы в Бурятии в начале 1990-х гг. осуществлялось в рамках законодательно-нормативной базы, сформированной еще в Советском Союзе. Главную роль играл закон РСФСР 1990 г. «О свободе вероисповеданий» (Закон РСФСР, 1990). Он закрепил право на свободу вероисповедания, санкционировал создание религиозных организаций в свободном порядке, их право обладать материальной собственностью, освободил от налогов, уравнил священнослужителей в правах с другими категориями граждан. В то же время закон определил первые критерии, которым религиозные объединения должны были соответствовать: наличие устава (положения), а также их регистрация. Данная нормативная система способствовала бурному росту количества религиозных объединений. По состоянию на 11 января 1994 г. в Бурятии было зарегистрировано 56 (Из истории религиозных конфессий, 2001. С. 175) религиозных организаций³. К 1995 гг. количество религиозных объединений выросло еще на 45% (Бураева, 2002. С. 200).

Первые формальные нормы, регулирующие религиозное пространство на уровне республики, появились в 1994 г. с принятием Конституции Республики Бурятия (Конституция, 1994). Она содержала противоречивые формулировки, и долгое время ее положения не конкретизировались в нормативно-правовых актах более низкого ранга. Например, Конституция гарантировала равенство прав человека, независимо от религиозной принадлежности и отношения к религии, свободу совести, а также запретила любые формы ограничения по религиозному признаку. С другой стороны, Конституция запретила создание и деятельность общественных объединений, разжигающих религиозную рознь, пропаганду, возбуждающую религиозную нена-

висть и вражду, и пропаганду религиозного превосходства. При этом конкретные индикаторы, позволяющие определить, какая деятельность является разжиганием религиозной розни или пропагандой религиозной ненависти, прописаны не были.

В 1996 г. появился первый республиканский нормативно-правовой акт, специализированный на религии – Концепция государственно-церковных отношений в Республике Бурятия (О Концепции, 1996). В нем впервые официально была закреплена система разделения конфессий на традиционные и нетрадиционные. «В Республике Бурятия представлен широкий спектр религиозных объединений как традиционных, так и нетрадиционных вероучений». К традиционным отнесли буддизм, шаманизм, православие и древлеправославие (или старообрядчество). В Концепции был обоснован статус традиционности для каждой из указанных конфессий. Традиционность буддизма выводилась из даты распространения на территории Бурятии (XVII-XVIII вв.), укорененности – «буддизм <...> стал частью этой (бурятской. – авторы.) культуры, национальной психологии, образа жизни бурятского народа», – и наличием стабильной и развитой организационной формы. «Буддийская церковь в республике представлена в виде широко разветвленной иерархической системы со своим штатом духовенства, учебными заведениями и органом управления – Центральным Духовным Управлением буддистов России (ЦДУБ РФ)». Традиционность шаманизма также была обоснована интеграцией в культуру бурят и непрерывающимся на нее влиянием. Статус православия в документе выводится в первую очередь из положения этой религии в целом в России, а не конкретно в Бурятии. «Имея тысячелетнюю историю, будучи глубоко интегрированной в общественно-политическую жизнь и культуру, русская православная церковь (РПЦ), последователи которой составляют до 80% всех верующих в стране, объективно обладает значительно более высоким социальным статусом по сравнению с другими религиозными организациями». Только после этого приводится аргумент о времени появления православия в Бурятии – XVII в. Временной критерий является также основой придания древлеправославию статуса традиционной для Бурятии религии. «К традиционным вероучениям Бурятии следует отнести и древлеправославие, также имеющее глубокие исторические корни в республике. Появление древлеправославия относится к середине XVIII века».

Авторы Концепции не ограничились перечислением традиционных для республики конфессий, они также указали и нетрадиционные. К ним были

³ В 1987 г. в регионе действовали 3 зарегистрированные и 1 незарегистрированная религиозные общины.

отнесены баптисты, пятидесятники, Церковь Христиан Адвентистов Седьмого дня, церковь Божией матери Преображающей, поместная христианская церковь «Слово Жизни», Новоапостольская церковь, общество сознания Кришны, Апостольская православная церковь, общины последователей веры Бахаи и церковь «Полное Евангелие».

«Концепция государственно-церковных отношений в Республике Бурятия», опубликованная в 1996 г., впервые заявила о ведущей роли государства в формировании религиозного пространства республики: «В сфере государственно-церковных отношений государство имеет свои имущественные, правовые, идеологические и внешнеполитические интересы и является самостоятельной и ведущей силой, обеспечивающей интересы всех верующих и неверующих граждан».

В 1997 г. был принят Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», в котором была прописана особая роль некоторых религий в истории народов России (О свободе совести, 1997). В Бурятии вскоре был принят закон «О религиозной деятельности на территории Республики Бурятия» (О религиозной деятельности, 1998), фактически дублирующий федеральный. Он также содержал указание на исключительность положения отдельных конфессий: «В Республике Бурятия исторически сложившимися конфессиями и верованиями являются Буддийская традиционная Сангха России, древлеправославие, православие и шаманизм». Необходимость выделения среди прочих направлений позиции буддизма, проповедуемого Буддийской традиционной Сангхой России, обусловила упоминание в тексте закона названия организации, а не религии в целом.

Для первой редакции этого закона характерны не просто номинация определенных конфессий и религиозных организаций, но и закрепление конкретных различий между процедурами взаимодействия с органами власти религиозных организаций традиционных и нетрадиционных конфессий. В частности, это касалось процедуры государственной регистрации и правил осуществления миссионерской деятельности. Государственная регистрация религиозных организаций, принадлежащих к нетрадиционным конфессиям, согласно данному закону, требовала наличия положительного заключения Экспертно-консультативного Совета по делам религий при Правительстве Республики Бурятия.

В 2000г. Конституционный суд Республики Бурятия признал положения Закона «О религиозной деятельности на территории Республики Бурятия», устанавливающие различия в положении традиционных и нетрадиционных религиозных организа-

ций, противоречащими Конституции Бурятии. Закон подвергся соответствующей редакции, однако система традиционности/нетрадиционности конфессий, упорядочивающая религиозное поле Бурятии, не была упразднена. Она перешла на уровень неформальных практик, а официальный дискурс по-прежнему опирался на категории традиционности. Это давало возможность натурализовать институты религиозной политики в культурный и исторический контексты.

В итоге с начала 2000-х гг. поддержание системы упорядочивания религиозного пространства республики с помощью классификации по признаку традиционности осуществляется преимущественно с помощью неформальных институтов государственного регулирования религии. Органы государственной власти начинают активно включать традиционные религиозные организации в политическую деятельность. В основу этого взаимодействия положены заключенные между ними договоры и соглашения.

Представители традиционных объединений включаются в политическую систему республики на правах представителей общественных объединений, гражданского общества, выразителей мнения определенной части населения. Таким образом, они проникают в различные советы при органах государственной и муниципальной власти, играют роль экспертов при обсуждении каких-либо вопросов, проектов нормативно-правовых актов и пр. Широкое распространение приобретают совместные мероприятия, носящие публичный характер и широко освещаемые в средствах массовой информации. Обычно они направлены на решение каких-либо острых социальных проблем: воспитание молодежи, борьба с наркоманией, преступностью, аварийностью на дорогах и пр.

Большой масштаб социально полезной деятельности, осуществляемой религиозными организациями в рамках такого сотрудничества, инициировал новую тенденцию к закреплению классификации религиозных организаций на формальном уровне. В 2012 г. заместитель Председателя Правительства Бурятии выступил с докладом о необходимости оказания финансовой помощи религиозным организациям, занимающимся решением социальных проблем, т.е. фактически предложил финансировать традиционные религиозные организации. В июне 2012 г. были приняты соответствующие поправки в Закон Бурятии о религиозной деятельности. Согласно им, государство финансирует благотворительную деятельность религиозных организаций, предоставляет им налоговые льготы, оказывает финансовую и материальную помощь в реставрации,

содержании и охране зданий и прочих объектов, являющихся памятниками истории и культуры.

Государственная политика по разграничению религиозного пространства республики по признаку традиционности в конечном итоге нацелена на придание ему большей контролируемости и управляемости в условиях существования разнообразных конфессий и непрекращающегося роста числа религиозных организаций. После неупорядоченности начала 1990-х гг., когда отсутствовали многие нормы, а местным органам власти и религиозным объединениям предоставлялась большая свобода действий, пришли 2000-е гг., для которых характерно усиление государства и его централизация. Это отразилось и на отношениях государства и церкви. Отношения с группой традиционных религиозных объединений основываются на их лояльности к государству и одновременно поддерживают ее. Это повышает предсказуемость религиозной ситуации. Государство как агент в таком случае получает лояльность и готовность религиозных организаций участвовать в мероприятиях, составляющих религиозную политику. Традиционные религиозные организации, в свою очередь, получают поддержку государства, некоторые материальные выгоды, а также возможность влиять на решения, принимаемые и законодательной, и исполнительной властью.

Эти нормы государственного регулирования религиозной сферы находят свое воплощение в формальном выражении, а когда это становится невозможным, они становятся неформальными. Еще в Концепции государственно-церковных отношений в Республике Бурятия были введены правила, ставшие впоследствии основой неформальных институтов государственного регулирования религии. Речь идет о констатации необходимости строить отношения между органами государственной власти и религиозными организациями на правовой основе путем заключения договоров и соглашений. Концепция предлагала строить на договорной основе взаимоотношения религиозных объединений, государственных и общественных организаций, в том числе попечительских и опекунов советов, что станет прообразом социальной деятельности религиозных организаций в системе неформальных институтов государственного регулирования религии. Государство возлагает на традиционные религиозные организации определенную миссию: от укрепления межнационального согласия и воспитания толерантности до социальной защиты уязвимых категорий населения. В итоге это требует оказание религиозным организациям государственной поддержки. Таким образом, классификационная система традиционности/нетрадиционности поддерживается и развивается.

В общественном сознании республики духовно-культурное пространство, вне всякого сомнения, отмаркировано, в первую очередь традиционными религиями, несмотря на активность новых (нетрадиционных) церквей. При этом *этническое, этнокультурное* во многих случаях уступает гуманитарно-географическому пониманию *своего* пространства, поэтому складывавшийся на протяжении столетий религиозный синкретизм продолжает существовать и в современных условиях рационализованного мироощущения. Нивелированию культурных различий в различных областях способствовал советский период, на протяжении которого буряты в значительной мере урбанизовались и европеизировались посредством русификации. Как в большинстве других этнонациональных субъектах России, в Бурятии межкультурное взаимодействие вполне логично приводило и приводит к доминированию русской культуры, особенно в городах. Исключение составляет религиозная сфера: именно в ней доминантой регионального культурного текста остаются бурятские традиции буддизма и шаманизма, в той или иной степени воспринимаемые как *свои* большинством жителей республики без этнического и этнокультурного различия. Немаловажную роль в этом играет сакрализация пространства посредством обогащения концепта «Бурятия – родная земля» идеологией десекуляризации, т.е. внедрением в светское общественное сознание религиозных мировоззренческих установок.

Этническая Бурятия входит в пространство огромного буддийского региона. В этой связи чрезвычайно важными сакральными знаками, широко распространенными в Центральной Азии, являются символы буддийской культуры. К ним относятся буддийские монастыри, дуганы, ступы, статуи божеств и другие материальные символы, маркирующие духовно-культурное пространство⁴. Особенно возрастает значимость символов буддийской культуры на фоне процесса «буддийского обновления», активно развивающегося как в Бурятии, так и в соседней Монголии. Сакрализация пространства занимает одно из важных мест в религиозной деятельности буддийской церкви. На территории

⁴ К таковым относятся разнообразные чудесные проявления божественных ликов, фигур на камнях. В Бурятии известным культовым местом стал камень в Курумканском районе, где проявился образ божества, в котором буддийские монахи распознали богиню Янжиму. Подобное этому изображение Будды существует в пределах Мурочинского дацана Кяхтинского района РБ. Увидеть образ божества на камне могут не все: согласно объяснениям буддийских священнослужителей, увидеть лик бога может только безгрешный человек.

Республики Бурятия при активной ведущей и посреднической деятельности буддийской церкви в контексте модернизации церковью осуществляется процесс «возвращения» бурятского, и не только бурятского, населения к буддизму через передачу, реставрацию или воссоздание утраченных в период воинствующего атеизма буддийских святынь, храмов, воспроизводство ритуальных практик. Особое место в изменении религиозного статуса Бурятии занимает Хамбо лама Даши-Доржо Итигэлов, чье Драгоценное и Неиссякаемое Тело с момента отыскания в 2002 г. и вплоть до сегодняшнего дня символизирует становление Бурятии в качестве духовного центра России.

Подчеркивая активную деятельность буддийской церкви в сакрализации пространства, следует отметить, что значимость продолжают сохранять знаки-символы шаманской и дошаманской культуры, популяризация которых сегодня осуществляется современными шаманскими организациями и отдельными лидерами – авторитетными шаманами, старейшинами.

С древних времен концептуальное освоение пространства достигалось посредством осмысления всех объектов, заполняющих пространство номадов и всех зон обживаемого пространства. В качестве полифункциональных знаков-ориентиров, выражающих архетипы человеческого сознания, могли функционировать как природные, так и рукотворные объекты, формируя сакральную карту пространства освоения монгольских народов. При этом культовые сооружения значимы для всего полиэтничного населения исследуемого региона. Это культ *обо*, *бариса*⁵. У бурят и монголов считается большим грехом проехать мимо *бариса* или *обо* и не почтить это место. Люди уверены, что тем самым можно накликать беду в дороге. Поскольку мобильность стала характерной чертой современного общества, культ религиозных объектов, связанных с дорогой, сегодня чрезвычайно актуален не только для бурят, монголов, эвенков. Местное русское население также строго придерживается традиционных правил, которые должны соблюдаться в дороге. Проезжая мимо таких священных мест, люди бросают монетки, конфеты. При этом мотивы такого поведения разные: одни наши информаторы имели опыт негативных последствий, проигнорировав ритуал почитания *обо*,

⁵ Обо или бариса – место поклонения хозяевам местности – культовые сооружения, в традиционной форме представляющие собой кучи из камней или дерева, украшенные ленточками или флажками. Обычно обо располагаются у дорог, на горных перевалах и на вершинах, у озер, источников, на берегах рек. Производное понятие барисан означает ритуал подношения духам.

другие считают, что проживая на бурятской земле (священной, охраняемой разными духами), обязательно следует соблюдать традиции бурятского народа, чтобы здесь «жилося хорошо».

Таким образом, и буддизм и шаманизм сегодня в равной степени принимают активное участие в конструировании священного (необыкновенного, чудесного) континуума пространства всей этнической Бурятии, при этом импортерами ряда идей становятся соседние Монголия и Китай. В пространстве этнической Бурятии наблюдается феномен вторичной сакрализации пространства, который является неотъемлемой частью процесса возрождения традиционной культуры и религии как базового элемента культуры, начавшегося с перемен в мировоззрении населения, сменой идеологического курса в государственной политике в постсоветский период.

Представления о сакральном пространстве и его элементах, о соотношении священного и мирского, о личности и человеческом естестве реализуются в комплексе обычаев, запретов, примет и специальных обрядов, нацеленных на позитивное взаимодействие с силами, управляющими жизнью, здоровьем и благополучием. Среди населения России в целом и Бурятии в частности растет число людей, убежденных в том, что их здоровье, счастье, успехи в трудовой деятельности могут быть подвержены воздействию негативной «энергетики» окружающих, в обыденных терминах – «сглазу». При этом нельзя сказать, что такие взгляды исходят только от людей с низким уровнем образования, поскольку и образованные люди часто придерживаются таких же воззрений, находя им рациональное объяснение. Подобное восприятие и понимание жизненных реалий способствует реконструкции и расширению религиозных практик, магических приемов, направленных на профилактику и избавление от последствий иррациональных негативных влияний. Значительная часть охранительных религиозных практик пронизывает повседневный быт человека и связана с предметами вполне обычными, например, с одеждой, с пищей.

На фоне ряда негативных процессов, характеризующих современное состояние здоровья населения страны, в частности, ухудшения качества медицинских услуг, недоступности для большинства населения услуг коммерческих медицинских учреждений и многих других причин, таких как поздняя диагностика сложных и трудноизлечимых заболеваний, растет популярность так называемой «нетрадиционной»⁶ медицины. В этой сфере дея-

⁶ В действительности именно народные средства и методы лечения следовало бы называть традиционной медициной.

тельности, в настоящее время признанной незаконной⁷, услуги населению предоставляют шаманы, лекари-костоправы, буддийские священнослужители, владеющие знаниями и методами тибетской медицины и др.

Так, например, одним из популярных методов лечения является «лечение кладями». Такой метод в большей степени относится к сфере магической медицины, хотя, вероятно, имеет и определенное рациональное содержание. Этот древний метод лечения у кочевников был эффективен при лечении тяжелых форм определенных заболеваний – воспалении легких, при укусе ядовитых змей, гинекологических заболеваниях и др. В настоящее время этим методом пытаются лечить даже разного вида раковые болезни.

В числе распространенных причин заболеваний является осквернение *бузаартаха*. Оскверниться человек мог в результате контакта с нечистыми людьми, предметами, животными, отведав нечистой пищи или посетив нечистое место. Все эти представления сохраняют свою актуальность и сегодня. При этом перечень мест, людей, которые могут быть нечистыми, расширился. В современной интерпретации традиционных понятий в качестве «нечистого места» рассматриваются больницы, поликлиники, поскольку там аккумулируются человеческие несчастья, болезни. Соответственно, нечистыми являются и люди, чья профессия связана с постоянными контактами с больными, – медики. Исправление ситуации достигается посредством разных очистительных обрядов, практикуемых как в шаманской, так и в буддийской традициях.

Вновь актуальными стали воззрения, что причиной возникновения заболевания стало проявленное «неуважение», «невнимание» со стороны людей к божествам и духам (особенно в случае заболеваний, не поддающихся лечению, часто именуемых кармическими). В этой связи востребованными стали умиловительные и благодарственные обряды, адресованные разным божествам и духам.

И в буддийской, и в шаманской практиках в качестве одного из методов лечебной магии исполняются обряды «призывания души», «выкупа души». Главная задача такого обряда – умиловить, обмануть злые силы с вручением им условной жертвы вместо живого человека. Примечательно, что подобное целительство в полной мере обуславли-

⁷ Согласно проекту закона РФ, с 2014 г. на осуществление такого рода деятельности целитель должен иметь специальную лицензию, которой на данный момент в Бурятии не обладают ни шаманы, ни тибетские монахи-целители, ни лекари-костоправы.

вается процессами десекуляризации и охватывает в Бурятии значительную долю полиэтничного населения.

Позитивный и более социально значимый пласт современной культуры, в значительной мере связанный с религиозно-культурными традициями, – это народные праздники, реанимированные в период всплеска национально-культурного возрождения и воспроизводимые сегодня при активной поддержке местных властей. Одной из причин, по которым властные элиты обращают внимание на сферу традиционной культуры и способствуют ее воспроизводству и модернизации, является стремление развивать в Бурятии внутренний и международный туризм в условиях растущего во всем мире интереса к этническим культурам. На фоне исчезновения прежних праздников советской эпохи и появления новых официальных праздников, непопулярных в обществе, одобрение и поддержку местного населения получили постсоветские народные праздники, восходящие к религиозным традициям. При этом народным праздникам – Масленице, Сагаалгану⁸, Пасхе⁹ – уже не присущи конкретные этнические черты: они в действительности стали территориально-культурными, включающими все население полиэтничной Бурятии. Одним из успешных коммерческих проектов является проект «Сказочный Сагаалган»: он уже получил статус общероссийского и даже международного проекта, в котором ежегодно принимают участие зимние сказочные персонажи из регионов России и разных стран мира.

Размыванию этнических границ в праздновании календарных праздников способствует и растущее число межнациональных браков. Согласно социологическим исследованиям, Рождество наряду с русскими, идентифицирующими себя в качестве православных, отмечают и 32,17 % бурят, столько же бурят отмечают Пасху. Сагаалган отмечает 51,74 % русских, Сурхарбан¹⁰ – 28,57 % (Рандалов, 2004. С. 55). Укоренению в жизни местного населения праздников других народов способствует возросшая мобильность населения, позволяющая сегодня многим выезжать за рубеж. Высокая мобильность, соответствующие ей доходы населения обуславливают закрепление в жизни людей и других инона-

⁸ Сагаалган (Саган Сар) – Новый год по лунно-солнечному календарю, главный буддийский праздник монгольских народов.

⁹ В меньшей степени известны эвенкийский Болдер, татарский Сабантуй.

¹⁰ Сурхарбан – бурятский спортивный народный праздник, восходящий к традиции «Трех игрищ мужей» («Эрын гурбан наадан»).

циональных праздников, например, католического Рождества, с празднованием которого в мире связаны самые большие праздничные скидки в магазинах. Как считают социологи, народные праздники – это тот компонент традиционной культуры народов Республики Бурятия, который не только устойчиво сохраняется, но и имеет тенденцию к росту и расширению (там же).

Конечно, религиозный компонент культуры для современного общественного сознания выступает лишь в латентной форме и по-прежнему находится на периферии социальных практик. Главной причиной является факт отсутствия религиозной веры в границах определенной религии, хотя феномен личной веры и вытекающая из него склонность к мистицизму характерна для мировоззрения большинства россиян. При всем уважении к религии, наши современники все же проводят достаточно выраженную границу между мирской повседневностью и областью духовно-религиозных практик. Более того, подавляющее большинство людей, регулярно или окказионально участвующие в религиозных обрядах, трактуют эту свою деятельность исключительно с прагматических позиций. Следствием, как правило, является некоторое знакомство с религиозными праздниками и обрядами в сочетании с невежеством в области догматических основ религии, а потому воспитательная функция религии в современных условиях не становится основой социальной жизни мультикультурного сообщества. Между тем, религиозное просвещение способно противостоять натиску политизированного религиозного фундаментализма, апеллирующего к фанатической вере в правоту собственного сообщества взамен обучения культуре, в том числе и религиозной культуре.

Современное религиозное возрождение в России характеризуется укреплением институализированных религиозных организаций, а не сближением населения с культурно-воспитательным комплексом религии. Более того, для религиозных деятелей, нацеленных в первую очередь на получение от государства разнообразной помощи и льгот, раскол населения по конфессиональным границам является условием поддержания стабильной социальной базы, которая тем основательнее, чем более выраженным будет конфессиональное разделение. В этом смысле *банальная* религиозность¹¹ значи-

¹¹ Под банальной религиозностью мы предлагаем понимать отсутствие корреляции между религиозной этикой и мирской практикой, окказиональное посещение храмов, скудные знания о догматике и смысле обрядов, упрощенное и прагматичное отношение к религии.

тельно послушнее и легче поддается манипулированию, чем религиозная вера.

Гражданское общество в России и в большинстве других постсоветских странах остается пока не более чем декларацией. Этническая и расовая дифференциация продолжает играть едва ли не решающую роль в торможении формирования общенациональной государственной идеологии, а множество предрассудков по отношению к «другим» формируют новую, хотя и уходящую в глубь истории, мифологию, укрепляющую взаимное недоверие и нетерпимость. Этнизированная и политизированная религиозная принадлежность становится наиболее доступным инструментом манипулирования общественным сознанием, делая вопрос о диалоге культур практически неразрешимым.

Таким образом, религиозность и религиозная вера – это взаимосвязанные, однако все же отдельные феномены. Для специфических условий религиозного возрождения их сближение вплоть до исчезновения различий обусловлено не столько социокультурными изменениями и реализацией свободы вероисповедания, сколько процессами укрепления доверия к государству и церкви как важнейшему социальному институту. Даже если восстановление мировоззренческих функций религии является вопросом весьма спорным, то второстепенные функции религии – идентификационная, регламентирующая, адаптационная, воспитательная, образовательная и иные – остаются действенными инструментами поддержания стабильности в обществе.

ЛИТЕРАТУРА

Батомункуев С.Д. 2004. Знаковое событие и этническая общность (что кампания против вывоза Атласа тибетской медицины рассказала нам о социально-политических предпочтениях современных бурят) // Вестник Евразии. № 1. С. 55-64.

Баторова Д. «Нужна не поголовная толерантность», – заявил епископ Савватий на встрече со Всеволодом Чаплиным // Буряад Үнэн, 10.08.2012 – <http://burunen.ru/articles/detail.php> (7.11.2012).

Бураева О.В. 2002. Религиозные организации в Бурятии // Россия и Восток: взгляд из Сибири в начале тысячелетия. Иркутск: Изд-во «Оттиск». С. 199-204.

Данилов О. Архиепископ Савватий о церкви, о вере и московской стрельбе // Газета РБ 17.02.2014 – <http://gazetarb.ru/news/section-society/detail-177083/> (17.02.2014)

О свободе вероисповеданий: Закон РСФСР от 25 октября 1990 г. № 267-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 21. Ст. 240.

Конституция Республики Бурятия: принята Верховным Советом Республики Бурятия 22 февраля 1994 г. // Бурятия. 1994. 9 марта.

Махачкеев А. 2010. Портрет иерарха: XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев. Улан-Удэ: типография «НоваПринт». 204 с.

О религиозной деятельности на территории Республики Бурятия: Закон Республики Бурятия от 23.12.1997 № 610-I (в ред. от 23.12.1997) // Бурятия. 1998. 16 января.

О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26.09.1997 №125-ФЗ (в ред. от 26.09.1997) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4465

Рандалов Ю.Б., Прокопьев В.Б., Матвеева Е.В., Татарова С.П., Жалсанова В.Г., Молошик М.В. 2004. Культурные процессы в Республике Бурятия: оценки в глазах населения (опыт социологического изучения). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 300 с.

Из истории религиозных конфессий Бурятии. XX век: Сб. документов / сост. Аюшеева С.Г., Бухаева М.Г.,

Сафонова Н.К. и др. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского государственного университета, 2001. 260 с.

О Концепции государственно-церковных отношений в Республике Бурятия: Указ Президента Республики Бурятия от 21 мая 1996 г. № 183 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.buryatlaws.ru/index.php?ds=999660> (20.08.2014)

Berger P. The Desecularization of the World: A Global Overview // The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics. Washington, D.C., 1999. Pp. 1- 18.

Durkheim E. The Elementary Forms of the Religious Life. London: George Allen & Unwin Ltd., 1964. 456 p.

Gellner E. Postmodernism, reason and religion. London & NY: Routledge. 1992. 108 p.

Massey D. A Brief History of Human Society: The Origin and Role of Emotion in Social Life // American Sociological Review, 2002, Vol. 67. P.2. Pp. 1–29.

Тураев В.А.

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Модернизация российского общества (переход в качественно новое состояние), как свидетельствуют исследования (Симонян 2013; Тихонова 2005; 2006; 2008; Изменяющаяся Россия... 2004 и др.), встречает известные трудности. Это связано, прежде всего, с незавершенностью процессов социокультурной модернизации, которую принято понимать как формирование определенного (модернистского) типа сознания и вытекающих из него поведенческих практик граждан. Особенно сложно протекает она на селе, переживающем сегодня самые глубокие потрясения со времен 30-х годов XX века, а также в таких специфических сообществах российского социума, как коренные малочисленные народы.

В целом ментальное состояние коренных народов во многом продолжает воспроизводить сознание традиционного общества. Вместе с тем, как показывают исследования, в ментальности коренного населения в последние годы происходят и определенные сдвиги, что в корне меняет традиционные представления об аборигенных сообществах как глубоко статичных, практически не реформируемых социальных образованиях. Растет число тех, кто предпочитает решать возникающие проблемы самостоятельно, не обращаясь за помощью к государству, традиционный коллективизм начинает уступать место индивидуальному творчеству, растет степень доверия к частной форме собственности и можно говорить о начале формирования

принципиально новой формы идентичности – собственной.

К сожалению, эти тенденции не стали пока объектом изучения, хотя представляют большой научный интерес и практическую значимость. Восполнить в той или иной мере этот пробел и призвано исследование проблем социокультурной модернизации у коренных народов Дальнего Востока. К настоящему времени полевые этносоциологические исследования проведены на трех территориях Дальнего Востока – в Чукотском автономном округе, Камчатском крае и Сахалинской области. В настоящей статье речь пойдет о некоторых результатах исследований на Чукотке и в Камчатском крае.

Вначале несколько слов о методике исследований. При определении выборки совокупности (200 чел.) использовался один из видов неслучайного отбора – целевой. Отбирались респонденты в возрасте 40 лет и старше, как отвечающие наиболее важному для целей исследования критерию (метод типичных представителей) – возрастному. К началу рыночных реформ они представляли собой типичных представителей советского общества с соответствующими тому времени представлениями о жизни и обществе. Именно они оказались на острие рыночных реформ, на их долю пришлось основная ломка сложившихся представлений и стереотипов.

В силу определенной субъективности метод типичных представителей, конечно, ненадежен для выводов о количественных распределениях в

генеральной совокупности, однако он экономен, удобен для осуществления и вместе с тем позволяет обнаружить определенные тенденции. Выборочная совокупность дополнительно репрезентировалась по типу поселений. Выдержать репрезентативность по полу не удалось, в выборке преобладают женщины. На основе таких критериев на Чукотке исследования проводились в городе Анадыре, селах Канчалан и Марково.

В Анадыре сосредоточена значительная часть коренных народов, имеющих высшее образование, современные профессии, занятых в различных сферах экономики и государственного управления. Здесь созданы достаточно благоприятные условия для жизни, во многом приближающиеся к условиям крупных городов. Село Канчалан – одно из немногих чукотских сел, которое за годы реформ подверглось коренной перестройке и воспринимается сегодня как образцово-показательное. Село практически мононациональное: из 590 жителей 558 чукчи. В Канчалани работает муниципальное сельхозпредприятие, созданное на базе бывшего совхоза. Всестороннее обновление жизни канчаланцев не могло не отразиться на их сознании, на отношении к реформам и их результатам. В Марково, в отличие от Канчалана, 20 лет реформ почти не оставили на облике села сколь-нибудь видимых изменений. Основанное в середине XIX века потомками первых русских казаков и обрусевшими аборигенами, оно, безусловно, самое известное село на Чукотке. Его этнический состав представлен четырьмя этническими группами: русскими, чуванцами, эвенками и чукчами. Для Марково характерно наличие всех основных проблем, с которыми сталкиваются сегодня жители национальных поселений Дальнего Востока.

В Камчатском крае исследования проводились в селах Карагинского района Тымлате, Караге, районном центре Оссоре, а также в селе Анавгай Быстринского района. Карагинский район Камчатки в настоящее время, пожалуй, больше всех других территорий бывшего Корякского автономного округа вписан в систему рыночных отношений. Здесь располагается больше половины всех предприятий рыбной промышленности округа, продолжающих работу в современных условиях. Через развитие индустрии туризма вписался в рыночные отношения и Быстринский район Камчатки. Все это не могло не повлиять на отношение жителей к действительности, а, следовательно, и на их сознание.

Обобщенный социальный портрет респондентов выглядит следующим образом: средний возраст – 45 лет, 38% опрошенных – мужчины, 62% – женщины, 28% респондентов имеют высшее об-

разование, 32% – среднее специальное, 29% – среднее общее, 11% – неполное среднее.

Традиционалистские или модернистские установки в сознании человека во многом являются производными от его материального положения. Марксистский тезис «бытие определяет сознание» трудно оспорить. Для оценки материального положения респондентов их совокупные доходы (зарплата, пенсия и т.п.) в денежном выражении мало подходят. Зарплата в 35 тыс. рублей, вполне приличная во Владивостоке, на Чукотке или на Камчатке, где булка хлеба зашкаливает за сотню, воспринимается по-другому. В этом отношении гораздо интереснее самоощущение респондентов в сравнении с советским периодом их жизни.

Как показывают результаты опроса, число тех, чье материальное положение по сравнению с советским периодом стало значительно или несколько лучше составляет на Чукотке 29%, еще 13% определили его как «примерно такое же». Аналогичные цифры по Камчатке – 30 и 18 процентов соответственно. В совокупности 42% опрошенных на Чукотке и 48% на Камчатке чувствуют себя в материальном отношении не хуже, чем в СССР, и в то же время практически такое же число (45% на Чукотке и 49% на Камчатке) убеждены, что при советской власти им бы жилось лучше. Доля тех, кто убежден в обратном, незначительна (6-7%). Правда, велико число затруднившихся с оценкой – 47%. Особенно много таких в Анадыре (59%).

Убеждению в том, что при советской власти жилось бы лучше, совершенно не соответствует желание вернуться в СССР. Вернуться к тому, что было до реформ 1990-х годов, готовы менее трети (27%) респондентов. Число тех, кто не хочет возвращения, больше числа тех, кто предпочитает вернуться, во всех населенных пунктах Чукотки, где проводился опрос, причем, в Канчалани и Анадыре их в 2 раза больше. На Камчатке противники возвращения преобладают в Тымлате и Анавгае. В целом, ориентированность на прежнюю жизнь у коренных народов выражена гораздо в меньшей степени, чем у сельского населения некоторых русских областей, где доля тех, кто хотел бы вернуться к прежней жизни, в начале 2000-х годов составляла 70% [Арутюнян 2003: 157].

В том, что желание вернуться в СССР обусловлено в значительной мере материальными трудностями, переживаемыми респондентами, сомневаться не приходится, но дело не только в этом. Показательно такое сравнение. Число тех, чье материальное положение по сравнению с советским периодом ухудшилось, составляет 34%. Однако тех, кто хотел бы вернуться в СССР, как уже го-

ворилось выше, всего 27% (категорически не хотят возвращения 39%, примерно треть респондентов не смогла определиться в этом вопросе). Получается, что возвращения не желает даже часть тех, чье материальное положение в постсоветский период стало хуже. Как не вспомнить здесь известную поговорку: не хлебом единым жив человек. Есть в постсоветской действительности что-то притягательное, чему не может противостоять даже бедность.

Число тех, чье материальное положение улучшилось, оказалось выше тех, у кого оно ухудшилось только в двух селах: на Чукотке в Марково, на Камчатке в Анавгае. Ситуация в Анавгае, скорее всего, – результат стечения обстоятельств: повышенного внимания к селу со стороны краевой и местной власти, усилиями которых Анавгай постепенно превращается в своеобразную витрину аборигенной жизни на Камчатке, и специфических природных условий, превративших Быстринский район в туристскую «Мекку». Редкая группа иностранцев не побывает в селе, чему не в малой степени способствует его транспортная доступность и созданная здесь соответствующая инфраструктура. Активно работает с туристами этнокультурный центр «Мэнэдэк, в орбиту работы которого вовлечены многие сельчане.

Чем объясняется рост материального положения в Марково, однозначно сказать трудно. Казалось бы, объективных обстоятельств к тому нет никаких. Скорее всего, сказывается человеческий фактор – в селе сильны традиции хозяйственной самостоятельности жителей, идущие от первых поселенцев этих мест. В отличие от восточной Чукотки, где в лихие 90-е пришлось учить людей отыскивать подножный корм, чтобы не умереть с голоду, марковцам такая учеба не требовалась. Здесь неплохие возможности для развития овощеводства. Если бы не отдаленность села, оно могло бы закрывать до половины потребностей Анадыря в овощной продукции. Подсобное хозяйство многих жителей (огороды и рыбалка) дает к официальным зарплатам, пенсиям и пособиям до половины дополнительных доходов. Интервью с марковцами на эту тему весьма показательны: «если бы государство мне пенсию вообще не платило, то и в этом случае я прокормил бы свою семью самостоятельно» (В.И. Созыкин); «денег не хватает тем, кто не хочет «шевелиться», кто живет на пособие по безработице» (Н.В. Коломывцева).

Безусловно, степень материальной обеспеченности во многом зависит от инициативы и настойчивости самих людей, но есть и объективные обстоятельства. Ликвидация советской производственной инфраструктуры оставила без работы сот-

ни людей. В наиболее сложной ситуации оказались села, где основу производства составляло оленеводство. Возникшие на базе совхозов альтернативные источники занятости не идут в сравнение с государственными хозяйствами. В производственном объединении «Камчатоленпром», объединившим все ныне существующие муниципальные оленеводческие хозяйства края, в настоящее время работает в общей сложности едва ли 300 человек. Таково было штатное расписание каждого из десяти корякских оленеводческих совхозов в конце 1980-х гг. В условиях тотальной безработицы падение жизненного уровня населения стало неизбежным.

Там, где исчезнувшему оленеводству нашлась альтернатива, ситуация не столь критическая. Примером может служить Тымлат на Камчатке. Доля тех, кто в материальном отношении чувствует себя не хуже, чем в СССР, в этом селе одна из самых высоких (58%) и уступает только Анавгаю (60%). Своим относительным благополучием тымлатцы обязаны рыбному промыслу – самой рыночной отрасли Камчатки. В селе построен рыбозавод, добычей рыбы заняты несколько общин. Важным источником доходов является «теневая» экономика (нелегальный промысел рыбы). В вездеходе, в котором я возвращался из села, милиция обнаружила с десятков контейнеров с браконьерской икрой, никак не меньше 500 кг. Хозяина ее так и не установили.

Степень обеспеченности респондентов характеризует таблица 1.

Таблица 1
Оценка своего материального положения, %

	Чукотка	Камчатка
Денег не хватает даже на еду	8	4
Хватает только на еду	19	12
Можно купить кое-что из жизненно необходимого	25	35
Денег хватает, но покупка дорогих вещей затруднительна	30	46
Ни в чем себе не отказываем	1	3
Не учтены затруднившиеся с ответом на Чукотке		

Как видим, тех, кто ни в чем себе не отказывает, ничтожно мало как на Чукотке, так и на Камчатке. Из семи сел, где проводились исследования, в четырех таких вообще не оказалось. Самая многочисленная группа – те, которым денег на жизнь хватает, но покупка дорогих вещей вызывает затруднения, причем, если на Чукотке таких менее трети, то на Камчатке почти половина – сказывается большая вовлеченность населения в рыночную

экономику. Заметно больше на Камчатке и тех, чьи доходы позволяют купить кое-что из жизненно необходимого. Разница между территориями по этим показателям была бы еще более существенной, если бы практически все респонденты в Анадыре не отнесли себя к числу относительно обеспеченных. В целом же уровень бедности повсеместно очень высок. Почти треть респондентов на Чукотке (28%) и чуть меньше на Камчатке живут сегодня за чертой бедности. В реальности ситуация наверняка хуже. Просто для коренных народов не характерны жалобы на бедность, они не стремятся выставлять ее напоказ, на всеобщее обозрение. Показательно, что свое материальное положение назвали откровенно плохим чуть более 4% респондентов, хотя, как видно из таблицы 1, это далеко не так.

Незавидное материальное положение не смогло не сформировать отрицательного отношения к экономической политике правительства. Число тех, кто поддерживает реформы или видит в них больше плюсов, составляет 31% на Чукотке и 24% на Камчатке (таблица 2). В административных центрах число сторонников реформ несколько больше: в Анадыре 36%, в Оссоре 35%. Сторонников реформ не намного больше их противников только на Чукотке. Число тех, кто относится к реформам резко отрицательно или видит в них больше минусов, составляет соответственно 27 и 29 процентов. 20 лет назад это соотношение было похожим с той лишь разницей, что противников реформ было меньше. Число противников за минувшие годы увеличилось на Чукотке на 4%, на Камчатке на 13%. Число сторонников реформ выросло только на Чукотке, но прирост этот опять же обусловлен социально-профессиональным составом респондентов в Анадыре, среди которых преобладают управленцы различного уровня.

Таблица 2

Соотношение противников и сторонников реформ, %

	20 лет назад		В настоящее время	
	Чукотка	Камчатка	Чукотка	Камчатка
Сторонники реформ	26	24	31	24
Противники реформ	23	16	27	29
Не учтены затруднившиеся с ответом				

Своего рода лакмусовой бумажкой отношения к реформам может служить оценка итогов приватизации. За их пересмотр выступает примерно половина респондентов – 52% на Чукотке, 49% на Камчатке. В административных центрах их больше: в Оссоре – 75%, в Анадыре – 55%. Следует иметь

в виду, что приватизация отразилась на жизни коренных народов достаточно опосредованно. Никто из аборигенов, по их собственному признанию, в тот момент, когда она происходила, не представлял себе, что это такое. Ею воспользовалась часть управленцев из приезжего населения. Да и сегодня негативные последствия приватизации воспринимаются не через личное восприятие, а как расстройство системы общественных отношений.

Число тех, кто проиграл от реформ на Чукотке и Камчатке одинаково – 19%, но это в два с лишним раза больше тех, кто выиграл (8%). Треть респондентов не выиграла и не проиграла. Затруднились с оценкой почти 40%. Было бы неверным рассматривать эти цифры через призму трудного материального положения. Картина более многозначная. Любопытно прокомментировал ее респондент в Марково: «*В материальном отношении я выиграл, проиграл в ощущениях*». Именно ощущения и определяют отношения людей к окружающей реальности и ощущения эти отнюдь не радостные. 93% респондентов периодически не покидает чувство несправедливости всего происходящего, собственную беспомощность повлиять на происходящее ощущает 82%, практически столько же испытывает чувство стыда за нынешнее состояние страны. Близкие цифры были зафиксированы Институтом социологии РАН в общероссийском опросе в 2011 г. [Двадцать лет... 2011: 64]. Разница лишь в том, что у коренных народов показатели пессимизма выражены более осязательно. Если доля тех, кто считал, что так дальше жить нельзя, составляла в общероссийском опросе 29%, то у коренных народов – 66%. Подобные цифры Институт социологии фиксировал у россиян только в 1990-е годы. Совершенно очевидно, что коренные народы пережили в постсоветский период, пожалуй, самую глубокую нравственно-психологическую травму из всех, которые выпали на их долю в XX веке.

Негативность жизненных ощущений во многом обусловлена общественной невостребованностью, ненужностью людей, что в конечном счете лишает человека смысла жизни. В национальных селах, по преимуществу депрессивных, эти настроения проявляются особенно остро. Ушли в прошлое времена, когда люди осознавали свою необходимость для страны, получали за свой труд награды, общественное признание. Сегодня не за что награждать, к людям обращаются только с призывом идти на выборы.

Сложное эмоциональное состояние в конечном счете определяет и отношение людей к недавней истории – своей и страны в целом. Почти 40% респондентов наиболее плодотворным периодом

в истории страны (и своей тоже) считают эпоху Брежнева, хотя, казалось бы, именно в эти годы этнокультурное развитие коренных народов понесло наибольшие утраты (для сравнения: за эпоху Горбачева высказалось 8%). Вспоминая СССР, люди не считают его идеалом государственного устройства и вовсе не стремятся к его возрождению (этого хотела бы четверть опрошенных). Ностальгию питает не только больший материальный достаток и социальная справедливость тех лет, но и внимание к человеку труда.

Среди потерь, понесенных страной за годы реформ, чаще всего называют жизнь значительной части населения за чертой бедности – так считает 76% опрошенных на Чукотке и 70% на Камчатке. Следующей по значимости потерей называют исчезновение в стране межнационального мира – 38 и 43% соответственно. К утрате страной международного авторитета отношение довольно равнодушное – в качестве потери это обстоятельство расценили на Чукотке всего 6%, на Камчатке 12%.

Не совсем адекватной представляется признанная в качестве потери утрата самобытности культуры (33 и 36% соответственно). Культурная самобытность была утрачена коренными народами в советские годы. За прошедшие 20 лет в этой области произошли даже положительные сдвиги – возрождаются многие элементы традиционной культуры. Видимо, на значительную часть населения все это не оказало заметного воздействия. Более осознанно в этот процесс вовлечены главным образом представители интеллигенции. Что же касается основной массы населения, то под утратой самобытности люди, скорее всего, подразумевают исчезновение того культурного комплекса, который сформировался в годы советской власти и определял жизнь населения в гораздо большей степени, чем этническая традиция.

Важным признаком традиционных обществ являются установки на патерналистские ожидания. В российском обществоведении сложилось стойкое убеждение, что патернализм – важнейшая сущностная черта коренных малочисленных сообществ, избавиться от которого они не в состоянии. С первой частью этого утверждения трудно спорить. 66% респондентов на Чукотке и 57% на Камчатке считают, что без помощи государства им не обойтись. Это, безусловно, высокие цифры, но аналогичные показатели всего российского общества еще выше: в том, что без материальной поддержки государства не выжить убеждены 69% россиян [Тихонова 2008: 8].

Доля тех, кто в состоянии самостоятельно обеспечить свою семью составляет у коренных на-

родов 36%. Это несколько выше общероссийских показателей (31%). На наш взгляд, это связано с особенностями нынешнего состояния коренных народов. В 1990-е годы они были брошены на произвол судьбы. Государственное участие в их жизни сократилось до минимума. В таких условиях «спасение утопающих стало делом рук самих утопающих». Отстраненность государства побуждает людей к поиску самостоятельного выхода из критических ситуаций, а всякая практика, как известно, не может не отражаться и на особенностях сознания.

Важным фактором, способствующим ослаблению патерналистских ожиданий у коренных народов, стала, безусловно, и их ориентация на возрождение традиционного образа жизни, всемерно поддерживаемая государством. Подобный тренд уже сам по себе предполагает опору на собственные силы. То, что доля респондентов с патерналистскими ориентациями все еще высока, во многом обусловлено экономической ситуацией в национальных селах, где возможностей для самостоятельности (автономности от государства) по определению гораздо меньше. Возможности людей самостоятельно решать свои проблемы объективно тормозит высокий уровень безработицы.

О том, что пресловутый патернализм коренных народов довольно успешно преодолевается, несмотря на все сложности современной жизни, свидетельствуют данные о характере их адаптации к переменам (Таблица 3).

Таблица 3

Характер адаптации к переменам в жизни, %

Варианты адаптации	Чукотка	Камчатка
Не смогли приспособиться к новой жизни	6	10
Смирились с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни	11	5
Живут, как раньше, ничего не изменилось	18	18
Используют любую возможность, чтобы заработать	32	39
Добились большего в жизни	25	25
Прошлая жизнь не известна	3	3

Как следует из таблицы, число тех, кто не смог приспособиться к новой жизни, смирился с тем, что пришлось отказаться от привычного образа жизни, во всех случаях невелико – меньше одной пятой. Гораздо больше тех, кто начал жить по известной поговорке «На Бога (государство) надейся, но сам не плошай». Почти треть опрошенных на Чукотке и еще больше на Камчатке используют любую воз-

возможность, чтобы заработать, а еще по 25% заявили о том, что им удалось добиться большего в жизни (явно не благодаря государству). Получается, что примерно две трети респондентов в той или иной мере уже сделали ставку на самостоятельность. Согласитесь, что такое распределение как-то не очень вяжется с устоявшимся мнением о неспособности коренных народов отказаться от приверженности к патернализму. Тем не менее, надежда на государство (установка на патернализм) еще жива в сознании. Число ориентированных на самостоятельность было бы, на наш взгляд, значительно больше, если бы не депрессивная экономическая ситуация в национальных селах и большое число неполных семей и одиноких женщин.

О неадекватности сложившихся представлений об иждивенчестве коренных народов, как основополагающей черте их мировосприятия, может свидетельствовать и таблица 4.

Таблица 4

Представления о функциях государства в жизни, %

Варианты ответов	Чукотка	Камчатка
Государство дает понемногу, но всем поровну	13	19
Государство должно помогать только слабым и беспомощным	24	24
Государство гарантирует минимум, хочешь большего – добивайся сам	48	45
Каждый должен рассчитывать на себя	6	4
Не учтены затруднившиеся с ответом		

Как видим, сторонников потребительского отношения к государству и уравнилельного распределения (государство дает понемногу, но всем поровну) не так уж много. Правда, тех, кто готов вообще отказаться от государственной помощи, еще меньше – 6 и 4% соответственно. Большинство рассматривают государство не как дойную корову, а через призму его социальных функций. Почти половина опрошенных убеждена, что государство должно давать только минимум, хочешь большего – добивайся сам. Еще примерно четверть считает, что государство должно помогать только слабым и беспомощным. Таким образом, абсолютное большинство показало себя сторонником социального государства, но такой выбор вряд ли можно назвать иждивенчеством.

Интересны оценки приоритетности жизненных целей коренных народов. Их ориентации в этом отношении в целом отражают представления традиционного общества. Главная цель, к которой следует стремиться по убеждению большинства, – это

вырастить и воспитать хороших детей. Так считает 75% респондентов на Чукотке и 80% на Камчатке. Соответственно, наличие семьи и детей представляется важнейшим мерилем жизненного успеха для 87% респондентов. На втором месте в шкале приоритетности жизненных целей забота о сохранении здоровья – 57%, что вполне естественно. Явно не вписывается в систему приоритетных ориентаций образование, хотя оно и занимает третье место. На необходимость хорошего образования указало менее трети респондентов. Такое отношение, на наш взгляд, обусловлено не низкой ценностью образования как такового, а прагматизмом сельской жизни. В национальных селах людям с высшим и средним специальным образованием по большей части нечего было делать даже в советские годы^{12*}, что уж говорить о сегодняшнем дне.

Среди других целей, к которым следует стремиться, называют работу, соответствующую способностям (29%), желание «жить так, как хочется» – 17%. Такие понятия, как богатство, известность, высокооплачиваемая должность, обладание властью, практически не входят в представление о жизненном успехе. Их показатели колеблются повсеместно от одного до 4%. Занятие бизнесом представляется значимым для десятой части опрошенных.

Важным показателем процессов социокультурной модернизации являются ориентации населения на демократические ценности. Рейтинг демократических ценностей, разделяемых коренными народами, отражает таблица 5. Первые три строчки в ней занимают позиции, с которыми обычно и ассоциируется степень демократичности общества: «равенство граждан перед законом», «свободные выборы власти» и «независимость суда». При этом отношение к равенству граждан и свободным выборам у респондентов на Чукотке и Камчатке практически одинаковое, что может свидетельствовать о фундаментальности этих понятий для коренных народов. Отношение к другим демократическим ценностям уже заметно различается и зависит как от типа поселений, так и от социального статуса респондентов. Так, например, такое понятие как «независимость суда» у респондентов Анадыря в шкале демократических ценностей (68%) оценивается почти в 2 раза выше, чем в Канчалане. Примерно такое же соотношение между достаточно «продвинутым» Анавгаем и другими селами на Камчатке.

¹² * В Чукотском автономном округе в середине 1970-х гг. дипломы о высшем и среднем специальном образовании имели 400 человек из числа коренных народов, а работали по специальности лишь 200 [ГАЧАО. Ф.1, оп.1, д.694, л.66].

Значимость этой демократической ценности для большей части респондентов, судя по всему, навеяна средствами массовой информации.

Таблица 5
Рейтинг демократических ценностей

	Чукотка	Камчатка
Равенство граждан перед законом	88	90
Свободные выборы власти	66	67
Независимость суда	54	41
Наличие частной собственности	45	31
Свобода вероисповедания	39	43
Свобода печати	33	43
Наличие политической оппозиции	16	20
Сумма ответов не равна 100%, можно было выбрать несколько позиций		

Другие демократические ценности большинством респондентов таковыми не воспринимаются. Почти безразлично отнеслись они к значимости политической оппозиции. В качестве демократической ценности ее признало менее пятой части опрошенных. Низок рейтинг, особенно на Чукотке, такой общепринятой демократической ценности, как свобода печати. Возможно, разгадка кроется в специфике местных средств массовой информации, весьма далеких в своей работе от какой-нибудь оппозиционности, а также в недоступности для основной массы коренного населения общероссийских оппозиционных изданий и интернет-форумов. На Чукотке регулярно пользуется интернетом лишь пятая часть респондентов, на Камчатке – треть. В таких условиях свобода печати вполне может восприниматься как абстрактное понятие, весьма далекое от реалий жизни.

В целом основную массу коренного населения вряд ли можно считать приверженцами демократии. 73% респондентов убеждены, что твердая власть в стране важнее демократии. На Камчатке эта цифра даже несколько больше. Странников противоположной точки зрения менее 20%. Думается, что в реальности их гораздо больше. То, что большинство предпочитает твердую власть, связано не с отсутствием демократических убеждений, а с характером власти (точнее будет сказать с градусом безвластия) в селах. Уровень компетентности и профессионализма местных органов власти повсеместно чудовищно низок. Их неспособность решать проблемы местной жизни оборачивается откровенной анархией и соответственно порождает определенную тоску по «крепкому» руководителю. Подобный комплекс характерен и для страны в целом. До середины 2000-х годов до 80% россиян, напуганных разгулом «демократии» в 90-е годы,

считало, что стране, прежде всего нужны твердая власть и порядок [Пути России 2014: 503].

Впрочем, сторонников демократических убеждений не так уж и мало. Треть респондентов на обеих территориях не склонна разменивать демократические свободы на материальное благополучие – и это в условиях откровенной бедности. Пожертвовать демократическими свободами ради материального благополучия готова на Чукотке лишь пятая часть опрошенных, на Камчатке и того меньше – 16%. Это как раз те, у кого денег хватает только на еду (см. таблицу 1). Весьма показательно и то, что половина респондентов в общей сложности затруднилась с ответом на этот вопрос. Думается, если экономическая ситуация в селах изменится к лучшему и число тех, у кого «денег не хватает даже на еду» уменьшится, сторонников демократических убеждений будет значительно больше.

С другой стороны, важность многих демократических принципов по-прежнему не осознается. Гражданские права и свободы не воспринимаются в качестве ценности. Обеспечение личных свобод граждан в рейтинге приоритетности задач, стоящих перед правительством, занимает во всех случаях последнее место (Таблица 6). В некоторых селах число осознающих важность такой задачи стремится к нулю: в Канчалане – 8%, в Оссоре – 5%. В Анадыре, где много респондентов с относительно высоким уровнем материального достатка, доля осознающих важность этой задачи сопоставима с общероссийскими показателями (36%) и в целом соответствует ценностной иерархии россиян в этом вопросе.

Таблица 6
Рейтинг приоритетности задач, стоящих перед правительством России, %

	Чукотка	Камчатка
Повысить качество жизни граждан	67	72
Навести порядок во всех сферах жизни	66	65
Превратить Россию в великую державу	48	50
Создать эффективную рыночную экономику	42	35
Создать равные возможности для всех	38	33
Обеспечить личные свободы граждан	16	20
Сумма не равна 100%, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов		

В рейтинге неудовлетворенности отдельными сферами жизни респонденты на Чукотке и Камчатке на первое место поставили жилищно-коммунальное

хозяйство – 62% и 79% соответственно. Цифры эти отражают как состояние этой сферы вообще, так и стоимость жилищно-коммунальных услуг, для многих запредельную. На Камчатке особенно много недовольных в Тымлате и Анавгае – 88% и 80%, на Чукотке в Канчалане – 76%. История ЖКХ этого села по-своему поучительна. В свое время, как уже говорилось, оно попало в программу обновления жилищно-коммунального хозяйства, которая осуществлялась в округе губернатором Абрамовичем. В основу обновления положили канадские технологии. Они-то и обернулись сегодня проблемами. Вышедшее из строя оборудование на месте не могут отремонтировать, надо ждать канадцев, которые приезжают далеко не сразу. Вот и в дни моего пребывания в селе не работало два котла, и я наслушался много интересного в отношении «наследия Абрамовича». Как тут не вспомнить известную притчу про благие намерения.

Показатели неудовлетворенности системами образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения на Камчатке и Чукотке сопоставимы, колеблются от 23 до 38% с некоторыми вариациями по отдельным селам. Неудовлетворенность питают повсеместно в основном кадровые проблемы. Работать в школах и медицинских учреждениях зачастую просто некому. Новые стандарты в образовании непривычны ученикам и учителям. Дети с трудом усваивают программу. Низкий профессионализм медиков и учителей порождает дополнительные проблемы: современное оборудование, а оно появилось в медицинских учреждениях, зачастую не используется, на нем не умеют работать. Изменилось отношение учеников к учителям. Размер пенсий на этих территориях выше, чем в целом по стране. На Чукотке, например, средняя пенсия составляет 16 тыс. руб., но надо учесть и соответствующую разницу цен на продукты и товары.

Экономическое будущее России половина участников опроса видит в рамках смешанной экономики с сильной регулирующей ролью государства. Такая экономическая модель представляется приоритетной и для большинства россиян [Тихонова 2008 (2): 14]. Доля тех, кто выступает за государство с господством государственной экономики, но с широкими экономическими возможностями для граждан, составляет на Чукотке 58%, на Камчатке – 47%. По-прежнему значительно и число сторонников советской экономической модели – 27% и 36% соответственно. Число тех, кто выступает за максимальную свободу частной инициативы и минимальное вмешательство государства в экономику, составляет в совокупности менее 5%.

В то же время отношение к основным институтам рыночной экономики у коренных народов преимущественно толерантное. Частная собственность вызывает положительные ассоциации у 77% респондентов, рыночные отношения у 70%, в т.ч. на Камчатке у 63%, прибыль у 85%. Более осторожное отношение к конкуренции. Ее присутствие в своей жизни положительно воспринимает 56% респондентов, в т.ч. на Чукотке – 51%. Не исключено, что часть респондентов рассматривает конкуренцию не как стимул к более качественной и производительной работе, а как дополнительное препятствие при осуществлении тех или иных личных целей.

О незавершенности процессов социокультурной модернизации в сфере экономического сознания может свидетельствовать и отношение коренных народов к природным ресурсам. На Чукотке 47% респондентов убеждены, что право пользования природными ресурсами должно принадлежать только коренному народу. Особенно много таких в чукотском селе Канчалане – 56. На Камчатке сторонников исключительного права коренных народов на природные ресурсы значительно меньше – 25%.

Одной из важных задач исследования было выявление у коренных народов носителей модернистского типа сознания. Для определения такой категории предусматривался ряд вопросов. В каком обществе предпочитает жить человек – индивидуальной свободы или социального равенства? Подходит ли для нашей страны западный путь развития? На инициативность или следование традициям ориентируются респонденты? Что важнее для нашей страны – хорошие законы или хорошие руководители? Может ли государство ограничивать свободу прессы или влиять на правосудие, если этого требуют интересы государства и общества?

Как показывают результаты опроса, носители модернистского типа сознания у коренных народов Камчатки и Чукотки явно уступают в численности традиционалистам. Тех, кто предпочитает жить в обществе социального равенства (49%), почти в 3 раза больше сторонников индивидуальной свободы (17%). Число тех, для кого материальное благополучие важнее индивидуальной свободы составляет на Чукотке 67%, на Камчатке – 56%. Однако цифры эти вряд ли стоит рассматривать как равнодушные к свободе. Стремление жить в обществе социального равенства обусловлено бедностью и отражает воспоминания о советской жизни, когда различия были не столь шокирующими. Во всяком случае, постановка этого же вопроса, но в другой интерпретации дала совершенно другие результаты. В дилемме «жизнь без свободы теряет смысл»

и «главное – материальное благополучие» 49% на Чукотке и 46% на Камчатке выбрали «жизнь без свободы теряет смысл». Во всех случаях это больше тех, для кого главным является материальное благополучие. Правда, надо иметь в виду, что свобода нередко понимается своеобразно. Более 40% опрошенных на обеих территориях трактует ее как возможность быть самому себе хозяином. В таком понимании свобода воспринимается как «воля», что характерно для традиционного общества. Однако тех, кто воспринимает свободу как совокупность политических прав и свобод граждан, все-таки больше – почти 50%.

Не менее показательны и отношение к таким понятиям, как бедность и богатство. С суждением о том, что «различия между бедными и богатыми справедливы» согласны лишь 16%, несогласных во всех случаях больше половины. В некоторых селах их число достигает 80%. Число тех, кто рост числа богатых людей в стране рассматривает как положительное явление, почти в три раза меньше тех, кто относится к этому плохо. Но отношение к бедности и богатству не так уж однозначно, во всяком случае, оно не носит, как это было в СССР, классовой подоплеку. 78% опрошенных приветствовали бы рост числа богатых, если бы не росло число бедных.

Своеобразной пуповиной, связывающей коренные народы с постулатами традиционного общества, является чувство коллективизма. Представление о том, что добиться успеха в жизни можно только, действуя сообща, разделяет большинство опрошенных на обеих территориях (60%). Тех, кто убежден, что для достижения успеха надо ориентироваться исключительно на собственные силы, значительно меньше – 36%. На Камчатке сторонников коллективизма даже больше – 77%, хотя ориентация на инициативность и самостоятельность здесь выражена в большей степени (55% респондентов ориентируются на поиск нового в жизни и работе, доля тех, кто предпочитает следовать традициям, составляет 40%). Социально-экономические реалии не могут пока убедить человека, что жизненный успех зависит от собственных усилий. Пример односельчан, которые сделали ставку на самостоятельность и добились на этом пути успехов, а такие есть в каждом селе, казалось бы, – лучший аргумент для перемен в сознании, однако он не срабатывает. «Матрица коллективизма» оказывается сильнее. Понимание того, что в современной жизни важнее опираться на собственную инициативу, никак не отражается на отношении к традиции как таковой. В том, что традиции – основа жизни, что их надо возрождать и развивать, повсеместно убеждены более 80% респондентов, на Камчатке даже больше

– 88%. В дилемме «жить как все» или «быть яркой индивидуальностью» большинство респондентов во всех случаях выбирают первое. Подобное «раздвоение» общественного сознания весьма характерно и для других жизненных ситуаций.

Характерная особенность российского общественного сознания – желание видеть Россию «великой державой». Об этом в 2011 г. заявили 42% респондентов Левада-Центра [Общественное мнение 2012: 20-21]. У коренных малочисленных народов сторонников великодержавности России еще больше. Среди приоритетных задач, стоящих перед правительством, задача «превратить Россию в великую державу» стоит на третьем месте (см. таблицу 5). На Чукотке так считает 48%, на Камчатке – 50%. Современная российская действительность, казалось бы, не дает для такого желания достаточных оснований. Видимо, поэтому на помощь призываются события прошлого. Великодержавную идентичность россиян, по мнению экспертов, подпитывает память о победе в Великой Отечественной войне, ставшей главным опорным символом российского настоящего и будущего [Пути России 2014: 502]. Подобное отношение характерно и для коренных народов. Доля тех, кто считает победу в Великой Отечественной войне важнейшим достижением СССР, в селах Чукотки и Камчатки колеблется от 78 до 95%.

Память о достижениях СССР (кроме победы в войне, это еще достижения советской космонавтики, успехи советского спорта, атмосфера дружбы народов и др.) поддерживает в сознании людей уверенность в самодостаточности своей страны, ее высокой жизнеспособности и даже ее особой миссии в мире. Абсолютное большинство считает, что западный путь развития не подходит для России. Жить по западным принципам готовы менее 4%. Немного и тех (5%), кто хотел бы, чтобы страна дистанцировалась от мировых проблем, жила исключительно своими интересами. Большинство же (64%) занимает прагматичную позицию: развивать сотрудничество с Западом, не жертвуя своими интересами. При этом более трети респондентов считают, что Россия ни с кем не должна объединяться.

Антизападные настроения у коренных народов присутствуют, но не они определяют их отношение к западному миру (Таблица 7). Около половины опрошенных на обеих территориях убеждены, что в западной цивилизации много как хорошего, так и плохого. Это мнение, однако, теряет свою нейтральность, когда речь заходит об отношениях Запада с Россией. С утверждением, что страны Запада хотят помочь нашей стране, согласна лишь десятая часть респондентов. Больше тех, кто убежден, что Запад – вечный противник России. На Чукотке так

думает 44%, на Камчатке – 28%. Около 40% респондентов на обеих территориях придерживаются прагматической точки зрения, считая, что Запад во взаимоотношениях с Россией преследует свои цели («решает у нас свои проблемы»).

Таблица 7
Отношение к западной цивилизации, %

	Чукотка	Камчатка
Западная цивилизация – образец для всех	2	4
В западной цивилизации много хорошего и плохого	48	45
В западной цивилизации больше плохого	17	16
Затруднились с ответом	33	35

Иногда может показаться, что социокультурная модернизация (либерализация) сознания у коренных народов в некоторых случаях идет более успешно, чем в целом по стране. Так, например, число тех, кто считает, что индивидуализм, либерализм и западная демократия не подходят для России в общероссийском опросе составляет 46% [Тихонова 2005: 38], а на Чукотке всего 25%. Не думаю, однако, что эта цифра отражает истинное мнение. Многие, скорее всего, не совсем поняли, о чем идет речь. Не случайно число затруднившихся с определением позиции в этом вопросе колеблется в разных селах от 51% до 64%. На Камчатке число согласных с такой постановкой вопроса (44%) в целом соответствует общероссийскому показателю, но и здесь число затруднившихся с ответом очень велико – более 40%.

В то же время не подлежит сомнению, что в некоторых случаях у коренных народов правовой нигилизм проявляется в меньшей степени. Так, например, 58% россиян убеждены, что государство имеет право ограничивать свободу прессы в случае, если ее деятельность вредит интересам общества [Тихонова 2005: 40]. У коренных народов согласны с такой постановкой вопроса менее 8%. Если убеждение, что руководителям нужно подчиняться только в том случае, если ты согласен с их требованиями, разделяет 64% россиян, то на Чукотке и Камчатке менее половины. С утверждением «правительство должно влиять на правосудие, если того требуют интересы государства» в общероссийских опросах согласилось 55% опрошенных, на Чукотке и Камчатке – 23%. Большинство россиян убеждено, что в современной России «хорошие руководители» важнее «хороших законов», у коренных народов ситуация обратная: 55% считают, что важнее именно «хорошие законы». В то же время, как уже отмечалось, в дилемме «твердая власть» или «полная демократия» предпочтение безоговорочно отдавалось твердой власти.

Большинство россиян убеждено, что права и интересы народа должны быть приоритетнее прав и интересов человека. Между тем, 74% респондентов на Чукотке и 80% на Камчатке считают, что права человека должны быть приоритетнее прав народа. При этом более 40% в обоих случаях убеждены, что интересы своего народа надо отстаивать только на основе российских законов. Те, кто считает, что для защиты интересов своего народа хороши любые средства, в откровенном меньшинстве – всего пятая часть. Доля откровенных «этнических экстремистов», считающих, что представителей других национальностей надо ограничить в праве проживания на территории коренных народов, составляет в обоих случаях 4%. Нелишне напомнить, что численность сторонников подобных взглядов в России («Россия для русских») социологи определяют в 10-15% [В России...].

Многие само собой разумеющиеся для либерально-демократического сознания аксиомы не являются таковыми для большинства коренных народов. Постулат «каждая политическая партия должна иметь шанс возглавить правительство» на Чукотке разделяет лишь 13% респондентов, на Камчатке – 19%. С другим постулатом – «настоящая демократия невозможна без политической оппозиции» – согласны соответственно 22% и 15%. По этим позициям демократическая убежденность коренных народов в два раза ниже общероссийских замеров, кстати, тоже очень невысоких [Тихонова 2008, №3: 7].

По оценке специалистов Института социологии РАН, группа носителей акцентированного модернизированного сознания в стране невелика – примерно 25% населения в возрасте от 16 до 65 лет. Среди коренных народов, по нашим оценкам, эта доля не превышает 15-18%, но примерно еще столько же можно отнести к пограничным группам, сознание которых можно охарактеризовать как маятниковое. Надо иметь в виду и то, что исследование проводилось среди лиц старших возрастов. Привлечение к опросу молодежи однозначно значительно изменит картину.

В заключение несколько слов об особенностях идентификации коренных народов Чукотки и Камчатки. В иерархии их идентичностей четыре первые строчки выглядят следующим образом: житель своего края (округа) – 76%, гражданин РФ – 63%, представитель своего народа – 42%, житель своего села (города) – 40%. Все прочие варианты несут существенны. На профессиональную идентичность (11%), судя по всему, указали главным образом учителя и медики, других сколь-нибудь значимых профессиональных групп в национальных селах

среди коренных народов нет. Очень незначительно отождествление себя с дальневосточным регионом – 3% на Чукотке и 12% на Камчатке. Этот вид региональной идентичности в массе своей заменяется осознанием принадлежности к Чукотке и Камчатке, которые, являясь частью Дальнего Востока в географическом отношении, в восприятии их жителей представляют собой вполне самостоятельные и даже во многом отличные административные территории. Историко-культурную составляющую региональной идентичности заменяет административная принадлежность, что в условиях отдаленности и труднодоступности территорий вполне естественно. Как показывают наши предыдущие исследования [Тураев 2009], на юге Дальнего Востока ситуация прямо противоположная.

Данные всероссийских опросов свидетельствуют, что самоидентификация респондентов с современной Россией (гражданская идентичность, осознание себя гражданином РФ) характерна менее чем для трети опрошенных [Тихонова 2005: 40]. На этом фоне можно утверждать, что процесс разгосударствления сознания человека (термин Ю.А. Левады) затронул коренные народы Чукотки и Камчатки в меньшей степени. При этом для 57% респондентов быть гражданином своей страны важнее, чем быть представителем своего народа. Вместе с тем осознание себя гражданином своей страны выражено в настоящее время в меньшей степени, чем во времена СССР. На это указали 44% респондентов.

Как мы видели выше, этническая идентичность в иерархии самоидентификаций занимает у коренных народов третье место (42%). На Чукотке в большей степени она выражена лишь в Анадыре, где среди респондентов преобладают представители интеллигенции, а на Камчатке – в Анавгае, жители которого в последние годы привыкли демонстрировать свою этническую принадлежность перед иностранными туристами. Самые низкие показатели этнической идентичности в Марково (21%), но это, судя по всему, вообще в традициях марковцев. Определить их этническую принадлежность исследователи затруднились и в конце XIX века.

Заметно уступая другим видам идентичности, этническая принадлежность, тем не менее, не потеряла своей значимости почти для половины респондентов. 45% опрошенных на Чукотке и 48% на Камчатке никогда не забывают о том, что они являются представителями своего народа. Любопытную ремарку оставил по этому поводу респондент в Анадыре: «Я и рад бы забыть свою этническую принадлежность, да мне не дают этого сделать».

Среди факторов, формирующих этническую принадлежность, в наибольшей степени объединя-

ющих людей в этническое сообщество (таблица 8), респонденты чаще всего называют чувство родной земли, малую Родину, без которой многие просто не мыслят своего существования. 45% респондентов не хотят менять место жительства даже ради значительного улучшения своего материального положения. Среди факторов, формирующих этническую идентичность, привязанность к родной земле стоит на первом месте у респондентов во всех селах, кроме Анавгай на Камчатке.

Таблица 8
Факторы, формирующие этническую принадлежность, %

	Чукотка	Камчатка
Родная земля	81	79
Культура/обычаи	66	76
Общее историческое прошлое	56	46
Язык	41	57
Черты характера, психология	29	29
Внешний облик	16	10
Религия	7	15
Сумма не равна 100%, можно было выбирать несколько вариантов		

Вторым по значимости объединяющим признаком для всех групп респондентов является культурный комплекс. Значимость этого фактора выше средних показателей среди лиц с высоким уровнем образования (в Анадыре), а также в Анавгае и Тымлате. В Анавгае это объясняется включенностью культурного комплекса в систему экономических отношений, о чем уже говорилось выше. В Тымлате повышенная значимость культурного комплекса, скорее всего, воображаемая. Абсолютное большинство жителей этого села – переселенцы с западного побережья Камчатки. Память о закрытом властями в начале 1980-х гг. селе Реккиники с его этнокультурными особенностями не исчезла до сих пор. Больше того, в культурном отношении бывшие реккинцы, преимущественно оленеводы, явно или неявно продолжают противопоставлять себя коренным тымлатцам, всегда бывшими оседлыми жителями.

В рейтинге факторов, формирующих этническую идентичность, язык, на котором обычно и строится этническая идентификация, занимает лишь четвертое место. В качестве определяющего этническую идентификацию его не назвали даже в Канчалане, где чукотскую речь еще можно услышать на улице. Такая ситуация, безусловно, является отражением тех проблем, с которыми сталкиваются языки коренных народов в последние десятилетия. Любое явление культуры, в т.ч. и язык, прекращая свое бытование, перестает определять и этнокуль-

турную принадлежность. В то же время память о языке, как этнообъединяющем факторе, все еще жива в сознании людей, которые продолжают разделять его этими функциями, но теперь уже лишь в качестве символа этничности.

Подведем некоторые итоги. Анализ результатов проведенных исследований дает основания для следующих выводов.

Общественное сознание коренных народов, как и у всех россиян, продолжает оставаться традиционалистским, однако приверженность традиции постепенно разрушается. Наиболее заметен этот процесс там, где население активнее втягивается в новые социально-экономические отношения.

Многие само собой разумеющиеся для либерально-демократического сознания нормы не являются таковыми для большинства коренных народов. Результаты исследований свидетельствуют, что права и свободы человека в ценностной иерархии коренных народов, как и всех россиян, занимают низкие позиции. О приверженности респондентов к демократическим ценностям (наличию демократических институтов, политической конкуренции, политических свобод и др.) можно говорить с большими оговорками. Однако во многом критическое отношение к демократическим институтам можно рассматривать не как отсутствие демократических убеждений, а скорее как результат слабости этих институтов, низкого качества их работы. Как тут не вспомнить известную английскую поговорку: чтобы газон был ровным, его нужно стричь 100 лет.

Проведенные замеры не дают возможности оценить динамику изменений в ментальности коренных народов. Подобные исследования раньше не проводились. Вместе с тем, они свидетельствуют, как говорил один очень известный политик, что «процесс пошел». В этом отношении ситуация у коренных народов Чукотки и Камчатки ничем не отличается от общероссийских тенденций. В некоторых случаях изменения происходят даже более интенсивно, чем

в целом по стране. Этому во многом способствует ориентация коренных народов на возрождение традиционного образа жизни, предполагающего и большую автономию от государства, наличие природных ресурсов, сопряженных с потребностями формирующегося рынка, отказ государства от прямого участия в развитии северной экономики.

Результаты исследования выявляют некоторое «раздвоение» общественного сознания по целому ряду жизненных ситуаций. Такие противоречия, думается, отражают переходный характер эпохи, когда в сознании людей причудливо переплетаются старые и новые представления.

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнян Ю.В. Трансформация постсоветских наций. М.: Наука, 2003.

В России возросло число сторонников идеи «Россия для русских» // <http://www.newsru.com/russia/21dec2006/russlanp.html>. Дата обращения 7 июля 2014.

Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров). М.: Ин-т социологии, 2011.

Изменяющаяся Россия в зеркале социологии. М., 2004. Общественное мнение. М.: Левада-Центр, 2012.

Пути России. Новые языки социального описания. М.: Новое литературное обозрение. 2014.

Симонян Р.Х. 2013. Россия после реформ: истоки формирования массового сознания // Политические исследования. №5. С. 100-111.

Тихонова Н.Е. 2005. Россияне: нормативная модель взаимоотношений общества, личности и государства // Общественные науки и современность. №6. С. 34-45.

Тихонова Н.Е. 2006. Россияне на современном этапе социокультурной модернизации // Общественные науки и современность. №1. С. 33-45.

Тихонова Н.Е. 2008. Социокультурная модернизация России // Общественные науки и современность. № 2. С. 5-23; № 3. С. 5-20.

Тураев В.А. 2009. Современное эвенкийское село (итоги этносоциологических исследований // Россия и АТР. №4. С.52-66.

Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. (ИФПР СО РАН)

ФЕНОМЕН ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМА

Унификация культур и этнокультурная фрагментация как эффекты глобализации

Для современного этапа развития мирового общества характерны две отчетливо наблюдаемые и внешне противоположные тенденции: с одной стороны, развертывание процессов глобализации, углубление интеграции, взаимозависимости стран и народов, с другой – усиление этнической иден-

тификации и этнокультурной фрагментации. Одни исследователи сосуществование этих тенденций воспринимают как парадокс, как неразрешимую теоретическую проблему, другие рассматривают указанные тенденции как самостоятельные и независимые друг от друга или, по крайней мере, не придают значения их взаимосвязи.

На самом деле действительность реализуется через взаимосвязь и взаимообусловленность двух

отмеченных тенденций. Будучи противоречивым процессом, глобализация имеет разнообразные последствия, порой существенно отличающиеся по характеру своих проявлений. Реальное противоречие состоит в том, что в ответ на унифицирующие тенденции глобализации растет стремление представителей разных этнокультурных сообществ возрождать традиции и поддерживать своеобразие.

Современный мир переживает своеобразный этнический ренессанс, конкретными проявлениями которого являются рост значимости этнической идентичности, повышение интереса людей к своим этническим корням, традициям, культуре, истории. Для отражения связи традиции с современностью исследователи все чаще используют термин «неотрадиционализм». Возрождение традиционной культуры разных народов в новых условиях выступает в форме этнокультурного неотрадиционализма. Его возникновение стало ответом традиционных обществ на вызовы модернизации, демонстрацией возможности достойно участвовать в глобальном диалоге культур на основе эффективного использования потенциала этнических традиций.

Неотрадиционализм как социокультурное явление имеет принципиально этническую природу. Этнический характер неотрадиционализма объясняется тем, что традиции необходимо имеют локальное этносоциальное происхождение и только в последующем в результате межэтнических взаимодействий и интернационализации получают международную известность, приобретая, казалось бы, вне- и наднациональное содержание. Но по своей сути они остаются этническими и при ассимиляции культурными элитами вступают во взаимодействие с локальными этническими традициями. В локальном сообществе возникает сложная композиция этнических традиций: одни традиции становятся господствующими, другие – функционально подчиненными или элиминируются.

Культурная нерелевантность этнических традиций, усвоенных путем подражания и заимствования, приводит в конечном счете к кризису, который стимулирует возрождение локальных этнических традиций. По-видимому, не случайно в современной России были выдвинуты программы русского неотрадиционализма и неотрадиционализма других, населяющих ее коренных народов.

Информационно-семиотическая интерпретация этнокультурного неотрадиционализма

Феномен этнокультурного неотрадиционализма выделяется в результате социальной рефлексии. Очевидно, что каждое исследовательское

направление расставляет собственные акценты в описания феномена традиции. Это находит отражение как в содержании понятия «традиция», так и в содержании производных от него понятий «традиционализм», «неотрадиционализм» и т.п. Поэтому характеристику феномена этнокультурного неотрадиционализма необходимо осуществлять в широком парадигмальном контексте. Это позволит обеспечить фиксацию тех аспектов изучаемого феномена, которые могут оставаться в тени с точки зрения других подходов.

Информационно-семиотическая интерпретация этнокультурного неотрадиционализма определяет его как ревитализацию культурных символов, традиций, ритуалов (Анжиганова, 2012. С. 439). Данная интерпретация, основанная на информационно-семиотической концепции культуры, проблемна в ряде следующих моментов.

Во-первых, понимание этнокультурного неотрадиционализма как ревитализации культурных символов, традиций, ритуалов тавтологично и основано на неясном различении культурных и некультурных символов, традиций и ритуалов.

Во-вторых, этнокультурный неотрадиционализм рассматривается как частная форма этнического неотрадиционализма, существующая наряду с неотрадиционализмом этнополитическим, этноэкономическим, этноконфессиональным и др. (Анжиганова, 2012. С. 439). Данный способ выделения этнокультурного неотрадиционализма подразумевает исключение культурных явлений из политики, экономики, религии и пр., что расходится с устоявшимися положениями культурологии и истории культуры, выделяющими и описывающими политическую, экономическую, религиозную и другие виды культур.

В-третьих, в рамках предложенной Л.В. Анжигановой классификации возникают пересечения различных видов этнического неотрадиционализма с этнокультурным неотрадиционализмом. Так, этнополитический неотрадиционализм описывается на примере республиканских символов власти, т.е. через символы политической культуры (Анжиганова, 2012. С. 439).

В-четвертых, в связи с констатацией факта того, что этнокультурный неотрадиционализм присутствует в сознании народа в основном как символическая ценность, указывается на неполноту и фрагментарность реставрации этнокультурного наследия, поверхностный, усредненный и обедненный характер его освоения, не раскрывающий его сакральное ядро (Анжиганова, 2011. С. 95). Но если культура понимается как символический пласт человеческой деятельности, то этнокультурный неот-

рационализм необходимо должен существовать не более чем в символической форме.

В-пятых, поскольку символ есть фрагмент целого или знак иного, то этнокультурное наследие неизбежно будет реставрироваться «символически» (как знак знака), но не в полном историческом объеме, что практически и невозможно как в силу исторической вариабельности этого наследия, его значительного объема, так и прагматической нецелесообразности его тотальной актуализации.

Эти проблемные моменты обусловлены использованием информационно-семиотической концепции культуры. Мы полагаем более правильным основываться на понимании культуры не как отдельной сферы общества или мира символов, а как определенного измерения отдельного социального организма, т.е. общества в его конкретном бытии. В рамках социокультурного подхода этнокультурный неотрадиционализм интерпретируется как духовно-практическое движение, актуализирующее потенциал традиционной культуры этноса на всех ее уровнях – от культурного ландшафта и хозяйственно-бытовой культуры до политико-правовой и духовной культуры.

Неотрадиционализм как духовно-практическое явление

Большинство исследователей под неотрадиционализмом понимают комплекс представлений, мировоззренческих или идеологических ориентаций. Так, по мнению Л. Д. Гудкова, русский неотрадиционализм включает ностальгию по недавнему прошлому, идею «возрождения» России, антизападничество, упрощение и консервацию сниженных представлений о человеке и социальной действительности (Гудков, 2002. С. 129).

Некоторые авторы связывают неотрадиционализм с политикой. Например, известный исследователь коренных малочисленных народов Севера А.И. Пика рассматривает неотрадиционализм не только как умонастроение, но и как опирающуюся на него экономическую политику. «Неотрадиционализм предполагает возвращение коренных северян к своим исконным занятиям, которые могут их прокормить (охота, рыболовство, оленеводство, ремесла), – писал он. – Не следует бояться и противостоять нарастанию элементов натуральной экономики, так как они прямо или опосредованно постепенно трансформируются в живую “этничность”, стимулируют сохранение и возрождение культурной самобытности, национальных традиций, образа жизни, хозяйства и природопользования малочисленных народов» (Пика, 1996. С. 53).

Трактовка неотрадиционализма как феномена, выделяемого исключительно в сфере духовной жизни общества, основывается на соответствующей онтологической интерпретации традиционализма, которая представлена, например, в «Новой философской энциклопедии», где И. И. Кравченко определяет традиционализм как ориентацию индивидуального, группового или общественного сознания в прошлое, а также как умонастроение и идеологию, приближающуюся к консерватизму (Кравченко, 2010. С. 86). Традиционализм здесь описывается как многоуровневое явление (от психологии до идеологии), представленное у различных социальных субъектов, но не выходящее за рамки сознания.

На наш взгляд, данная трактовка является ограниченной, так как приверженность традициям заключается не только в определенном умонастроении, но и в практическом следовании традициям (Мадюкова, Попков, 2011). Поясняя значение термина «традиционализм», авторы соответствующей статьи из толкового словаря «Политика» приводят такой пример: «Об англичанине, который живет на севере страны, содержит гончих собак и голубей, говорит на своеобразном диалекте, ест кровяную колбасу, пироги с картошкой и гороховую кашу, можно сказать: “Он большой приверженец традиций”» (Традиционализм, 2001). В данном описании традиционализм рассматривается как необходимо выражающийся в практической деятельности. Да и бессмысленно проповедовать традиционализм или неотрадиционализм, если эти ориентации не реализуются в общественной практике. Поэтому мы полагаем, что традиционализм (как и неотрадиционализм) есть общественное движение, практически преобразующее историческую действительность на основе избранной ценностной ориентации на традицию.

Традиционализм и неотрадиционализм

Выявленная связь интерпретаций понятий «традиционализм» и «неотрадиционализм» показывает, что существует понятийный ряд с парадигмально релевантным содержанием. Очевидно, что этот ряд открывается понятием «традиция» и включает, по меньшей мере, еще два понятия. В настоящее время понятия рассматриваемого ряда соотносятся, как правило, непосредственно. Вместе с тем, неявным логическим основанием введения понятия «неотрадиционализм» является понятие «традиционализм».

Традиционализм возникает как реакция на процессы модернизации, характеризует возрождение и

реконструкцию традиции, которая уже не выступает в исторически первоначальной форме. В связи с этим возникает вопрос: в чем состоит различие между традиционализмом и неотрадиционализмом, если эти общественные движения обращаются к традициям?

Рассмотрим эмпирическую характеристику этнического традиционализма, данную Ю.А. Орешковой на примере хакасов (Орешкова, 2013. С. 139). Этническому традиционализму, на ее взгляд, присущи:

- абсолютизация и консервация этнических ценностей, форм общественной жизни;
- отказ от принятия инноваций;
- бережное сохранение природного ландшафта, одухотворение явлений природы;
- этноцентризм с локальностью и замкнутостью культурного развития;
- высокий уровень коллективизма, с приоритетной ценностью семьи, рода и этноса;
- высокий уровень нормативности, неукоснительное следование традициям, обычаям, ритуалам, различного рода запретам;
- устойчивость быта, хозяйственного уклада, житейской психологии;
- размеренный и неспешный ритм жизни, совпадающий с естественным циклом сельскохозяйственных работ;
- приверженность к традиционным религиям вероучения (шаманизм, тенгрианство).

Ю.А. Орешкова не указывает, к какому периоду в истории хакасов принадлежит данная характеристика. На наш взгляд, эти признаки относятся к различным эпохам и описывают различные модели следования традиции – и в традиционном обществе, и в условиях начинающейся модернизации. К последней модели можно отнести первые два признака, так как подразумевается наличие потенциальных инноваций и угроз релятивизации ценностей. В условиях конфликта с начинающейся модернизацией, несомненно, возникает момент рефлексии.

Если при различении традиционализма и неотрадиционализма обращаться к критерию рефлексивности, то, с теоретико-конструктивной точки зрения, логично утверждать сравнительно меньшую рефлексивность традиционализма и сравнительно большую рефлексивность неотрадиционализма. Если же утверждается рефлексивность традиционализма, то необходимо определить специфику неотрадиционалистской рефлексии на основе дифференцированной шкалы уровней рефлексивности. В данном случае возникает и задача понятийной идентификации нерелексивного следования традиции, отличного от релексивного традиционализма.

На наш взгляд, вопрос о различии между традиционализмом и неотрадиционализмом является не только теоретико-конструктивным, но и эмпирическим вопросом. По каким бы критериям мы не противопоставляли эти явления, их теоретически фиксируемое содержание должно соответствовать исторически фиксируемым фактам. А общепризнанным фактом является то, что традиционализм как направление общественного движения возник на закате традиционного общества как ответ на вызовы модернизации.

Традиционалисты, будучи приверженцами традиций, усматривают такую же приверженность и в традиционном обществе. На основании этого заключается, что традиционализм господствует в традиционных обществах древности и средневековья. Однако следование традициям в традиционализме Нового времени по существу отличается от приверженности традициям в более ранние эпохи. Апелляция «классического» традиционализма к традиции опосредована опытом разрыва с традицией, происшедшим в новых исторических условиях. Такой традиционализм, безусловно, отличен от приверженности традициям, существующей в рамках традиционного общества.

Поэтому представляет интерес предложение различать два значения термина «традиционализм» (Ачкасов, 2004. С. 179). В первом значении традиционализм понимается как феномен дописьменных и традиционных обществ; во втором же значении – как комплекс идей, направленных на критику современного общества в связи с его отклонением от традиций. Традиционализм в первом значении предлагается характеризовать как «дорелективный», «примитивный», «традиционализм без традиционалистов», а традиционализм во втором значении – как «релективный» или «идеологический».

На наш взгляд, дифференциация значений терминов требует дифференцированного терминологического закрепления. Различение ступеней развития традиционализма логически и терминологически допустимо, но с точки зрения выявления соотношения содержания понятий «традиционализм» и «неотрадиционализм» проведенное различение по критерию рефлексивности представляется не вполне убедительным. Вводя критерий рефлексивности, мы предполагаем, что общественное движение возникает стихийно и только затем приобретает сознательный характер. Такое движение характеризуется исторической непрерывностью и постепенным повышением уровня организованности и сознательности. При сопоставлении традиционализма и неотрадициона-

лизма (или «традиционализмов» в разных смыслах) мы такой непрерывности не наблюдаем. Наоборот, эти явления возникают вследствие исторических разрывов, а следовательно не могут описываться по параметру неуклонного роста сознательности в следовании традиции. Таким образом, бинарная шкала «нерефлексивный – рефлексивный» для фиксации качественного различия в эволюции отношения к традиции недостаточна. Необходимо введение другой шкалы, обобщающей исследования исторически различных форм следования традициям.

Поскольку речь идет о шкале, то приверженность традиции в ее различных исторических формах в первом приближении можно дифференцировать по включенности в историческую последовательность «традиционализмов». По аналогии с историко-философской периодизацией эволюции позитивизма («первый» позитивизм – «второй» позитивизм (эмпириокритицизм) – «третий» позитивизм (неопозитивизм)) традиционализм традиционных обществ можно было бы обозначить условным термином «первый» традиционализм, традиционализм Нового времени – как «второй» традиционализм, а неотрадиционализм современности – термином «третий» традиционализм.

Использование шкалы натурального ряда для обозначения типов традиционализма представляет неудобство в виду того, что этот ряд бесконечен. Между тем исследовательская практика не фиксирует бесконечное число «традиционализмов». Более того, оперирование понятием «неотрадиционализм» выражает неоднородность исторических типов традиционализма, их качественную специфику, не допускающую уход в дурную бесконечность «традиционализмов». Поэтому числовое обозначение «традиционализмов» хотя и практикуется, по формальным соображениям должно быть оставлено и замещено более приемлемой терминологией.

В связи с поиском «нечисловых» терминов для обозначения различных «традиционализмов», привлекает внимание предложение С. Уилсона обозначить следование традиции в традиционном обществе термином «традиционизм» (цит. по: Макаров, Пигалев, 2008. С. 1100). Принимая это предложение, мы избавляемся от двусмысленности термина «традиционализм» и конструируем терминологический ряд: традиционизм – традиционализм – неотрадиционализм.

В перспективе посттрадиционализма

Опыт описания философских традиций подсказывает, что данный ряд не завершен. Так, традицию позитивизма продолжает и завершает

постпозитивизм. На смену неомарксизму пришел постмарксизм. Поэтому терминологический ряд «традиционализмов» может быть дополнен термином «посттрадиционализм»: традиционизм – традиционализм – неотрадиционализм – посттрадиционализм. Накопленный опыт исследования традиций позволяет полагать, что данный ряд является завершенным, так как выражает определенные фазисы развития приверженности традиции.

Построение терминологического ряда «традиционизм – традиционализм – неотрадиционализм – посттрадиционализм» позволяет более точно и дифференцированно охарактеризовать неотрадиционализм. Для первоначальной характеристики неотрадиционализма достаточно указать его абстрактно-общие признаки, выявляемые при анализе конкретного неотрадиционализма как объекта исследования. Важно отметить, что при данном подходе неотрадиционализм интерпретируется не столько как перспективная социальная ориентация, сколько как хорошо известное из истории общественное движение, завершившее свое развитие. С точки зрения теоретико-методологического анализа безразлично, какой пример неотрадиционализма, выражающего приверженность к конкретной традиции, будет выбран для анализа.

На примере неомарксизма можно утверждать, что неотрадиционализм характеризуется:

- возникновением в ситуации социально-практического кризиса традиционализма,
- оппозицией к ортодоксальной традиции и традиционализму, ориентированному на канон;
- дифференциацией положительных и отрицательных элементов традиции, избирательное отношение к ней;
- ориентацией на возрождение аутентичной традиции;
- интересом к возникновению традиции, дифференциации раннего и позднего традиционизма;
- стремлением к обновлению традиции на основе ее дополнения соперничающими традициями и последующего синтеза с ними (например, фрейдомарксизм);
- формированием на основе разнообразных синтезов спектра течений неотрадиционализма;
- установкой на творческое развитие традиции, ее адаптацию к социокультурному ландшафту.

Наиболее ярким признаком неотрадиционализма считается деканонизация ортодоксальной традиции, ее пересмотр с целью использования заложенных в ней скрытых возможностей для обновления и расширения сферы действия.

С учетом уровня и характера развития конкретного типа неотрадиционализма, следует признать,

что перечисленные признаки универсальны, инвариантны по отношению к любой традиции и могут рассматриваться как абстрактно-общие характеристики неотрадиционализма. Это действительно и по отношению к духовным традициям, и по отношению к традициям социально-практической жизни.

Этнокультурный неотрадиционализм и этнокультурный ландшафт

Каждая традиция выражает оптимум действия в конкретном хронотопе. Эффективность традиции не абсолютна и определяется состоянием ресурсов культурного ландшафта, характеристиками воспроизводства этносоциальной общности, а при экспорте традиции – ее релевантностью местным условиям. Вследствие этого традиция конкретно исторична и ограничена в пространстве и времени.

Феномен этнокультурного неотрадиционализма возникает вследствие кризиса практики жесткого следования этнокультурным традициям. В этом отношении традиционализм утопичен. Л.В. Анжиганова представляет этнический традиционализм как тотальное возвращение к традиционным, т.е. устойчивым, исторически апробированным ценностям, формам жизнедеятельности, социальным отношениям этноса в полном их объеме (Анжиганова, 2013. С. 181). Но вернуться к прошлому нельзя, так как условия его существования исчерпаны: истощены ресурсы, изменился демографический потенциал, трансформировалась историческая среда. Вследствие этого традиционализм располагает ограниченными возможностями для реализации, что стимулирует переход к неотрадиционализму.

В конструкции феномена этнокультурного неотрадиционализма существенны два момента: во-первых, культура как среда существования традиции и неотрадиции, и, во-вторых, этнос как субъект-носитель культуры и традиции. В составе этнокультуры этнос занимает подчиненное место, поскольку культура – здесь мы следуем евразийской точке зрения – представляет собой месторазвитие, т.е. взаимообусловленное развитие этноса и ландшафта. Конкретный ландшафт своими особенными природно-климатическими условиями конституирует этническую общность, которая преобразует ландшафт, – и это устойчивое взаимодействие составляет культуру.

В системе культурного ландшафта сосуществуют различные по хозяйственно-культурному типу этнические общности. Устойчивые модели поведения по освоению и культивированию ландшафта составляют содержание этнокультурной традиции. Последняя этноспецифична и адаптирована к кон-

кретному ландшафту. Таким образом, сохранение и возобновление этнокультурной традиции привязано к месторождению (исторической родине и прародине) и последующему месторазвитию этноса.

Поэтому важное место в этнокультурном неотрадиционализме занимает культивирование ландшафта – местообитания коренного этноса. Наиболее известным примером ориентации на культурный ландшафт как основание этнокультурного неотрадиционализма является сионизм – политическое движение за возвращение еврейского народа на историческую родину и образование еврейского государства. Символом сионистского движения стала священная гора Сион. С точки зрения социокультурной интерпретации этнокультурного неотрадиционализма важен тот исторический факт, что до конца XIX в. сионизм развивался как практическая деятельность, направленная на создание еврейских сельскохозяйственных поселений в Эрец-Исраэль.

Другим примером этнокультурного неотрадиционализма, возникшего на основе социокультурного движения за охрану священных природных территорий, является интерэтнический культ Алтая (Иванов, 2011). Правда, он не столь тесно увязан с этнополитическими движениями коренных народов данного региона, но эти народы, тем не менее, рассматривают сохранение Алтая как важнейшее условие поддержания своей идентичности.

В Ханты-Мансийском автономном округе в начале 2000-х гг. в рамках региональной этнонациональной политики сформировался настоящий культ Югры. Он включает заботу о спасении обских угров, защиту родовых угодий и священных мест, поддержку этносохраняющих промыслов и отраслей хозяйства, интерес к традиционным отношениям, культивирование Югорской земли (Тюгашев, Выдрин, Попков, 2004. С. 165-197).

В качестве перспективной формы этнокультурного неотрадиционализма рассматривается создание экомузеев (Кимеев, Терентьев, 2013).

На приведенных примерах можно видеть, что этнический неотрадиционализм соотносится не только с этносом, но и с сакральным ландшафтом. Этнический неотрадиционализм является этнокультурным неотрадиционализмом, поскольку предполагает воспроизводство культуры в ее целостности – от этноса до этнокультурного ландшафта.

Интерэтнокультурный неотрадиционализм

Со временем уходящая традиция утрачивает своих носителей, подвергается критике и рефлексии со стороны разных социальных субъектов, ко-

торые признают ее историческую ограниченность и требуют ее обновления. Поскольку традиция имманентна этнокультуре, то реальная возможность иной модели поведения дана только в иной этнокультуре. Поэтому обновление традиции совершается не столько на внутренней, сколько на внешней этнокультурной основе. Этнокультурный неотрадиционализм опосредствуется иноэтничной традицией и по существу есть интерэтнокультурный неотрадиционализм.

Так, в понимании А.И. Пика северный неотрадиционализм – это обращение к историческим традициям Российского государства и СССР (до 1930-х годов) во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами Севера (Пика, 1996. С. 50). Подчеркнем, что субъекта-носителя неотрадиционализма А.И. Пика видит в Российском государстве, а не в самих народах Севера. Неотрадиционализм последних рассматривается, скорее, как вынужденный под влиянием условий кризиса и стимулированный отказом от политики государственного патернализма.

Приведем другой характерный пример. В возникновении феномена неоиндеанизма большую роль играла деятельность этнологов и других «белых друзей» индейцев, обучавших последних принятым в современном обществе моделям организации деятельности.

Инициаторами этнокультурного неотрадиционализма становятся представители этнокультуры, интегрированные в смежную этнокультуру. Так, теми, кто способствовал формированию неоиндеизма стали индийские интеллигенты, включенные в англосаксонскую культуру и нацеленные на интеграцию христианских ценностей в индуизм.

Следовательно, обновление этнокультурной традиции совершается путем интеграции в нее иноэтничной традиции. Это один из существенных составляющих механизма развития этнокультурного неотрадиционализма.

Этнокультурная неотрадиция как результат синтеза автохтонной и иноэтничной культурных традиций амбивалентна, вследствие чего она представляет ценность не только для этнокультуры-реципиента, но и этнокультуры-донора. Поэтому еще одним существенным моментом механизма развития этнокультурного неотрадиционализма является распространение неотрадиции и ее развитие в этнокультуре донора.

Следовательно, рефлексия этнокультур является неотъемлемой составляющей, закономерностью формирования и этнокультурного неотрадиционализма. С учетом этого, этнокультурный неотрадиционализм можно определить как общественное

движение, направленное на обновление этнокультурной традиции путем межэтнической рефлексии.

В результате этнокультурный неотрадиционализм является системным эффектом, возникающим в межэтнических отношениях. В современной России подобная тенденция наблюдалась в среде некоторых региональных элит, представители которых становились промоутерами локальных этнических традиций.

По оценке Д. Кирилюка, для политиков Ханты-Мансийского автономного округа «поговорить о проблемах ханты и манси, во-первых, считается, по меньшей мере, модным, так как это с лучшей стороны демонстрирует их как знающих проблемы региона и имеющих набор положительных личных качеств людей. Во-вторых, это повод лишний раз заявить о себе в обществе. И, в-третьих, возможность попасть в органы городской и окружной власти. Внимание, уделявшееся в округе угорским народам, было настолько велико, что вызывало определенное раздражение даже среди коренного населения» (Кирилюк, 2002).

Ссылаясь на своего знакомого манси, Д. Кирилюк утверждает: «Манси не хочет жить в чуме, а хочет жить в городе Сургуте. Он вообще не понимает, зачем ханты и манси отделяют от остального населения ХМАО. А наши современные политики хотят именно этого – законсервировать, затормозить развитие коренных народов Севера, чтобы они продолжали жить традиционным укладом и время от времени радовали бы высоких чиновников и их гостей своими песнями и плясками в разукрашенных одеждах (как средневековые шуты) на сценах дворцов культуры округа» (Кирилюк, 2002).

Разумеется, не всех представителей коренных народов удовлетворяет статус «сувенирных народов». Спектр принимаемых ими жизненных решений достаточно широк, но общая тенденция к оседанию кочевого населения и перехода к общению на русском языке подтверждают вывод о стремлении к современному образу жизни при частичном сохранении отдельных элементов традиционной культуры, прежде всего культуры жизнеобеспечения.

Итак, этнокультурный неотрадиционализм не ограничен рамками автохтонной этнокультуры. Он имеет не только международный, но и «транснациональный» характер, что следует учитывать при анализе его детерминации и оказываемого им влияния. Рефлексия этнокультур с необходимостью ведет к рефлексии этнокультурного неотрадиционализма в себя, его поляризации и самоотрицанию. В его рамках возникают альтернативные неотрадиционалистские движения, утверждающие ортодоксальную этнокультурную традицию нетрадиционными

средствами. Благодаря этому движению традиция может возвращаться к своей ортодоксальной форме, изменяя свое содержание. Так, в рамках неотрадиционализма возникают фундаменталистские движения (например, в христианстве: Реформация – Контрреформация).

Успехи этнокультурного неотрадиционализма определяются, с одной стороны, масштабом интегрируемых ресурсов, а с другой стороны – адаптивностью неотрадиции. Иницируется неотрадиционализм, как правило, маргинальными, т.е. метисными и краевыми группами этнической общности. Субъектность неотрадиционализма определяет конкретное содержание этнокультурной неотрадиции, которое может оказаться нерелевантным для основного этнического массива.

Примером подобной нерелевантности этнокультурного неотрадиционализма является эффект «языкового разрыва» (Диканский, 2005. С. 225–233). Известно, что многие литературные языки коренных народов Сибири и Дальнего Востока, разработанные в ходе языкового строительства на базе диалектов наиболее ассимилированных групп, постепенно утрачивали своих носителей, оставаясь непонятными для носителей других диалектов. В результате возникал разрыв между родным языком и литературным языком. Представителям коренных народов приходилось изучать литературный язык как иностранный. Поэтому успешность распространения популяризуемой этнокультурной неотрадиции определяется ее доступностью и эффективностью для «материковой» части этноса, определяющей в исторической перспективе его численность.

В целом достигаемое неотрадицией расширение ресурсного поля укрепляет этничность, чувства достоинства и самоуважения этнической общности. Как следствие, могут возникать этнокультурный мессианизм и прозелитизм, универсализирующие ценность конкретной этнокультурной традиции для других этнокультур.

Так, индейский опыт бытия стал в последние десятилетия объектом особого интереса в США (Хокси, 1996). Множество людей, потерявших веру в европейскую культурную традицию, стремятся быть посвященными в духовный мир индейцев, включаются в индеанистское движение евроамериканских «ваннаби» (дословно: «хочу быть индейцем»). Для удовлетворения потребностей приверженцев индейских традиций в американских вузах предлагаются курсы по изучению «хорошего красного пути жизни».

Движение «ваннаби» является наглядным примером того, как локальный этнокультурный

неотрадиционализм приобретает глобальную перспективу, поскольку ориентирует мировое общество на актуализацию и освоение архаичной, примордиальной традиции как наиболее глубокой основы единства человечества и взаимопонимания его народов.

Модернизационный потенциал этнокультурного неотрадиционализма

В целом рефлексия этнокультур является неотъемлемой составляющей, закономерностью формирования этнокультурного неотрадиционализма. С учетом этого этнокультурный неотрадиционализм можно определить как социокультурное движение, направленное на обновление и прогрессивное развитие традиционной культуры путем рефлексии внутренних и внешних условий развития этноса.

Одной из ключевых проблем этнического неотрадиционализма является выбор канона, архетипической традиции, репрезентирующей аутентичную этнокультуру. Как отмечает Е.Н. Николаева, современный русский неотрадиционализм актуализирует диахронически различные культурные пласты – от славянского язычества до предреволюционной России (Николаева, 2007. С. 234). Возможность актуализации традиций исторически различных эпох с точки зрения социокультурного подхода определяется многоукладностью социального организма, сосуществованием в его структуре субкультур прошлого.

Актуализация русской традиции генерирует спектр вариаций неотрадиции, каждая из которых осуществляет свободную интерпретацию «русской темы». Неотрадиция иницируется веером знаковых творений, проблематизирующих ортодоксальную культуру и обозначающих варианты ее обновления. В данных творениях не задается новый канон, который требуется воспроизвести; они представляют собой образцы пересмотра ортодоксальной традиции по тем или иным параметрам, что выступает вдохновляющим стимулом для выявления ее скрытых возможностей и дальнейшего их использования в освоении социокультурных ресурсов. В результате традиция не только обновляется, но и мультиплицируется и диверсифицируется, что позволяет ей расширить свой ареал.

По отношению к различным вариациям неотрадиции необходимо отметить, что ни одна из них не воспроизводит традицию аутентично, в чистом виде. Это определяется тем, что традиция актуализируется средствами современной культуры, так и тем, что данная актуализация направлена на удовлетворение потребностей со-

временности. Так, в эстетическом плане неорусский стиль характеризуется, в частности, эклектичностью, обобщенностью, подчеркнутостью и усилением отдельных элементов, стилизацией и «модерновостью».

Поэтому нельзя согласиться с мнением о том, что этнокультурный неотрадиционализм упрощает и обедняет этнокультурное наследие. Этнокультурный неотрадиционализм открывает и мобилизует живую традицию в культурно-историческом разнообразии, позволяет обобщить и интегрировать ее, выразить ее существенную специфику в вариациях, актуальных для современности.

Заключая, можно сказать, что в отличие от этнокультурного традиционализма этнокультурный неотрадиционализм ориентирован на будущее, на воспроизводство собственных этнических традиций не в аутентичных, а в обновленных формах. Для этнокультурного неотрадиционализма характерны отсутствие апологии прошлого, наличие критичности и открытости в отношении других этнокультур, восприимчивости к традициям других народов и готовности к межкультурной коммуникации.

ЛИТЕРАТУРА

Анжиганова Л.В. 2011. Этнокультурный неотрадиционализм как ресурс развития региона: проблемы и противоречия // Новые исследования Тувы. № 2–3. С. 95–96. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tuva.asia/journal/issue_2-3/3780-tezisy.html (Дата обращения к ресурсу: 14.08.2013).

Анжиганова Л.В. 2012. Этнический неотрадиционализм в условиях социокультурных трансформаций // Мир науки, культуры, образования. № 6. С. 438–440.

Анжиганова Л. 2013. Этническая культура в условиях глобализации: неотрадиционалистский дискурс // Пограничья Евро-Азии. *Debaty artes liberales*. Т. VII. Warszawa: Wydział «Artes Liberales», Uniwersytet Warszawski. С. 169–191.

Ачкасов В.А. 2004. Трансформация традиций и политическая модернизация: феномен российского традиционализма // Философия и социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России (от истоков до современности). СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета. С.173–191.

Гудков Л.Д. 2002. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам // Мультикультурализм и

трансформация постсоветских обществ. М.: Институт этнологии и антропологии РАН. С. 124–147.

Диканский Н.С. 2005. Образование для коренных народов Сибири: социокультурная роль Новосибирского государственного университета / Н.С. Диканский, Ю.В. Попков, В.В. Радченко, И.В. Свиридов, Е.А. Тюгашев, В.Я. Шатрова. Новосибирск: Нонпарель. 360 с.

Иванов А.В. 2011. Сакральные территории как хранительницы традиционных ценностей евразийских народов (на примере плоскогорья Укок на Алтае и долины Эрдэнэбурэн в Западной Монголии) // Новые исследования Тувы. № 4. С. 103–116.

Кимеев В.М., Терентьев В.И. 2013. Этнокультурный неотрадиционализм шорцев в социокультурном пространстве Саяно-Алтая // Социальные процессы в современной Западной Сибири. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ. С. 75–78.

Кирилук Д. 2002. Резервация для ханты и манси // Сургутская трибуна. 14 марта.

Кравченко И.И. 2010. Традиционализм // Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Т. 4. С. 86–87.

Мадюкова С.А., Попков Ю.В. 2011. Феномен социокультурного неотрадиционализма. СПб.: Алетейя, 132 с.

Макаров А.И., Пигалев А.И. 2008. Традиционализм // История философии. Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. С. 1099–1102.

Николаева Е.Н. 2007. Неотрадиционализм в российской культуре рубежа XX – XXI веков // Медиакультура новой России: методология, технологии, практики М.; Екатеринбург: Академ. проект. С. 230–238.

Орешкова Ю.А. 2013. Мифологическое сознание этноса в условиях этнического неотрадиционализма // Теория и практика общественного развития. № 6. С. 138–140.

Пика А.И. 1996. Неотрадиционализм на российском Севере: идти в будущее, не забывая прошлого // Социологические исследования. № 11. С. 47–53.

Традиционализм // Политика. Толковый словарь. М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». 2001 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/4284/ТРАДИЦИОНАЛИЗМ> (Дата обращения к ресурсу: 14.05.2012.)

Тюгашев Е.А., Выдрин Г.А., Попков Ю.В. 2004. Этноконфессиональные процессы в современной Югре. Новосибирск: Изд-во «Нонпарель». 224 с.

Хокси Фр.Э. 1996. Индейский опыт бытия, открываемый в современной Америке // Американские индейцы: новые факты и интерпретации. Проблемы индеанистики. М.: Наука. С. 48–68.

РАЗДЕЛ 3. ТРАДИЦИЯ, ОБЫЧАЙ, РИТУАЛ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ

Трепавлов В.В. (ИРИ РАН)

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛИКИ И РИТУАЛОВ В ЭТНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ XVI–XIX ВВ.

Различные символы сопровождали историю российской государственности уже на ранних этапах ее существования. В завершённом проекте исследовались визуальные, наглядные проявления власти и подданства в России XVI–XIX вв. В центре внимания находились два аспекта. Во-первых, рассматривалось осуществление репрезентации власти в контактах с неславянским населением; во-вторых, было изучено и явление обратного свойства: репрезентация народов России по отношению к верховной власти. Обе эти репрезентации были формами межэтнических отношений в Московском государстве и Российской империи. При этом нужно учитывать, что в «царской России» не велось целенаправленной этнической политики (и тем более не возникало вопроса об учреждении особого центрального бюрократического ведомства для ее проведения). Идеологические установки и их материальное (символическое) воплощение складывались по большей части исторически, стихийно, в ходе развития государственности.

Наиболее распространённые объяснения, что такое репрезентация, разработаны в отношении коммуникативных практик. По классификации С.Холла, они сводятся к трем подходам: отражающему (*reflective*), когда идея в уме отражает реальное явление; понятийному (*intentional*), когда говорящий выражает словами свои уникальные представления о мире; конструкционистскому, когда мы придумываем языковые значения и обозначения для предметов и явлений, которые сами по себе не имеют их (*Representation*, 1997. P. 24, 25). Хотя данная градация создана применительно к сфере языка, но если воспринимать процесс межэтнического контакта как текст, то она в общем применима и к его анализу. В таком случае предмет нашего исследования, т.е. взаимная репрезентация власти и подданных, более всего соответствует «отражающему», рефлексивному подходу.

Применительно к верховной власти понятие «репрезентация» ввел немецкий исследователь П.Э. Шрамм, который пришел к обобщению власт-

ных символов через анализ монарших инсигний, одеяний, титулов, ритуалов, приветственных жестов и т.п. (см.: *Российская империя*, 2011. С. 587, 588.). Вопрос о том, каким образом верховная власть старается представить себя в глазах подданных, привлекал и продолжает привлекать многих ученых. Постоянный интерес к этой проблеме вызывается не только исследовательским интересом, но и ее животрепещущей актуальностью. Меняются формы репрезентации правящей элиты, увеличиваются ее технические возможности (через средства массовой информации, интернет), но суть остается прежней: власть стремится обеспечить лояльность подданных не только через удачные результаты своей политики, но и посредством создания позитивных представлений о себе. Делается это как за счет реальных политических, социальных и экономических акций, так и путем демонстрации, подчеркивания властью ее привлекательных качеств – могущества, справедливости, гуманности, щедрости (как производной от богатства государственной казны), внимания к нуждам народа и проч.

Патернализм, миссия покровительства и защиты всегда были присущи государственной власти. В России эта миссия укоренилась в коллективных представлениях о том, как должно быть устроено государство, и почти не меняется за последние столетия. От политических лидеров народ ожидает заботы, опеки, любви, интереса к его жизни, удовлетворения потребностей, строгого соблюдения законов и пресечения их нарушений (для чего соглашается с применением властью силы).

В нашем государстве с вековыми монархическими традициями любые формы репрезентации власти в конечном счете замыкались на верховном правителе, подразумевали его незримое присутствие. Оно проявлялось в царских портретах и статуях, гербах и девизах, молениях за государя и др. Среди образов власти важное место занимают смысловые и пространственные топосы, т.е. идеологемы и связанные с властью предметы (короны, троны, дворцы), а также «сцены» – места и обстоятельства

предъявления этих образов. При этом публичная форма презентации власти (официоз) соседствовала и далеко не всегда совпадала с ее восприятием в частной жизни подданных («кухонными» образами власти) (Габдрахманов, 2010. С. 75). Целью властей предержащих всегда было стремление достичь по возможности более тесного сближения официоза и народных представлений о правителях, а в идеале и совпадения этих двух форм, когда подданные идентифицировали бы себя с правящей элитой. При этом, наряду с содержательными и психологическими аспектами, очень важна эмоциональная составляющая образов власти. Она выражается на уровне массового и индивидуального сознания в отношении к власти, сравнении ее идеального, ожидаемого образа с реальной политикой, прошлых правителей – с нынешними, оценке ее действий как соответствующих социально одобряемым принципам или нарушающих их. Поддержка со стороны населения необходима для успешного функционирования любой политической системы, которая нуждается не просто в лояльности, но в солидарности, психологическом содействии (сочувствии) со стороны управляемого народа.

Способы воспитания верноподданических чувств изобретались и находились самые разные. Нельзя сказать, что в Российском государстве XVI–XIX вв. существовала стройная система такого воспитания. Однако в процессе присоединения все новых народов и территорий выработался определенный набор мер воздействия на сознание подданных с целью убедить их в том, что правительство способно обеспечить их благоденствие.

Для характеристики этих явлений удобно применить разработанную в юриспруденции концепцию правовых символов, преобразовав ее в систему символов потестарных. Тогда эти символы можно разделить на вербальные (фиксируемые прежде всего в официальных документах и на денежных знаках – титулатура, имена в нарицательных значениях типа «август», «цезарь» и т.п.), предметные (властные регалии, облачение) и процессуальные (возведение на трон, передача титула и т.п.) (Санников, 2011. С. 58–65). Не менее важное место в утверждении образа власти в представлениях подданных занимали письменные тексты: царские грамоты, патенты на должности, указы и вообще любые документы с царской подписью или резолюцией. В условиях неграмотности большинства подвластного населения большое значение имел внешний вид документов, церемониал их вручения.

Важнейшим условием успешной взаимосвязи власти и народа является характер коммуникации между ними: существует ли обратная связь, как

часто и каким образом правящая элита общается с народом, насколько она открыта для этих интеракций.

Проект посвящен изучению образов власти. Они находятся в поле зрения двух взаимосвязанных научных дисциплин – имагологии и иконологии. Первая из них берет начало (вместе с термином) от книги американского писателя и журналиста Уолтера Липпмана «Общественное мнение» (1922 г.) (Lippmann, 1922) и изучает возникновение, восприятие и отражение образов «Других», «Чужих». Понятие имагологии стало широко применяться с 1950-х гг. сначала в филологии, а затем и в других науках. Постепенно это направление стало практиковаться в социологических, политологических и исторических исследованиях для изучения восприятия власти. М.А. Бойцов предложил для образов власти ввести такое подразделение имагологии, как потестарную имагологию. Она занялась бы анализом визуальных, акустических и речевых образов, сопряженных с действиями управляющих инстанций и их отражением в сознании подданных (Бойцов, 2010. С. 5–37).

Иконология как направление в искусствоведении, рассматривающее сюжеты и изобразительные мотивы в художественных произведениях, имеет несколько более длительную историю – с конца XIX в. Она тоже распространилась на социальные науки. Интересна классификация художественных образов, предложенная профессором Чикагского университета Томасом Митчеллом. Он предложил разделить образы восприятия на графические (картины, гравюры, статуи), ментальные (идеи, воспоминания, фантазии) и вербальные (описания, нарратив) (Mitchell, 1986. P. 10). Для нашей темы в эту иконологическую триаду нужно бы еще добавить образы визуальные (не ограниченные графическими формами).

В целом интерес к семантике и символике управления в последние десятилетия заметно вырос. Очевидно, эта линия развития научного знания находится в одном ряду с распространением междисциплинарных исследований. Ведь такое изучение власти возможно лишь при синтезе методик различных дисциплин: собственно истории, политологии, культурологии, искусствоведения, социологии, психологии и др.

Однако политико-антропологическая сторона имагологии и иконологии, т.е. знаково-символическое проявление межэтнических отношений на уровне «правитель – подданные», нечасто привлекает внимание исследователей. В области русистики их интересует участие главным образом «инородцев» в придворных церемониях. В данном

отношении заметна прежде всего книга американского историка Р. Уортмана «Сценарии власти», посвященная церемониалу российского императорского двора. В ней, в частности, описывается привлечение представителей российских народов к обряду царской коронации (Уортман, 2002–2004). Уортман попытался выявить культурный код самодержавия, в котором ритуальная, знаковая составляющая порой преобладала, по его мнению, над реальными политическими действиями.

Из последних работ отметим основательные монографии А. В. Белякова по XVI–XVII вв. (Беляков, 2011) и О. Г. Агеевой по XVIII в. (Агеева, 2012). В первой затронут участие татарских выезжих царевичей в дворцовых мероприятиях, во второй описывается дипломатический протокол, который действовал в отношении посольств из других государств, а также от вассальных и зависимых правителей.

Впрочем, высочайшие аудиенции или приемы при дворе представителей от населения «национальных окраин» были нечастым, эпизодическим и бессистемным событием. Об этом можно судить, в частности, по хроникальным записям о событиях придворной жизни в камер-фурьерских журналах.

Обоснованные, хорошо фундированные заключения по данным сюжетам содержатся в книге казахстанского историка Ж. Б. Кундакбаевой о символическом компоненте в русско-калмыцких и русско-казахских отношениях XVIII в. (Кундакбаева, 2005) Насколько мне известно, данная работа является пока единственной монографической разработкой в области потестарной имагологии на российском материале, изучения потестарных символов в межэтнических отношениях.

«Внутренняя дипломатия» как часть этнической политики России XVI–XIX вв. и олицетворявшие ее потестарные символы рассмотрены в проекте с двух противоположных точек обзора: «сверху» – со стороны высшей правящей элиты, и «снизу» – со стороны нерусских подданных. Первый взгляд предполагает рассмотрение символических приемов и способов вовлечения народов в сферу действия государственности, обеспечения их преданности и лояльности. Это высочайшие аудиенции и приемы у провинциальных управленцев, царственные поездки по местам расселения народов, награды и пожалования. Вторая позиция требует анализа символов обратной связи – каким образом народы преподносили себя власти, как они демонстрировали свою особость и ценность для государства с целью привлечения внимания столичных и региональных властей к жизни неславянского населения. Здесь мы обратились к составу и статусу депута-

ций в Москву и Петербург, этническим сюжетам путешествий августейших особ по стране, участию представителей народов в торжественных придворных церемониях (коронации, свадьбы, похороны, юбилеи и т. п.), самопрезентации этнических регионов на общеимперском уровне (в частности, в ходе торгово-промышленных выставок), разновидностям даров и подношений самодержцам и членам их семей от иноэтничных подданных.

Собрание разноэтничной массы в Москве или Петербурге на официальных торжествах знаменовало не только многообразие национального состава государства, но и должно было продемонстрировать единение всех его жителей вокруг государя, без различия языков и религий. Последним общеимперским празднеством такого масштаба перед мировой войной и революцией было 300-летие Дома Романовых.

Вместе с тем участие в череде ритуалов было важно и для самих подданных-«инородцев». Это была возможность репрезентовать себя, свой народ, напомнить о нем. С особенной остротой и наглядностью подобные намерения проявлялись на рубеже XIX–XX вв., в период отчетливой этнической консолидации и национального подъема в регионах. В то время явных сепаратистских устремлений пока не просматривалось, и в подцензурной печати господствовали лозунги общероссийского монолитного сплочения вокруг царя. Так, крымско-татарские интеллектуалы и духовные лица оживленно обсуждали, кому надлежит ехать на коронацию Николая II, «ведь этот представитель явится всенародно в Москве вывеской развития и правоспособности развития татарского народа к единению его с русской национальностью на празднике всей русской земли» (От редакции, 1883. С. 2).

Важной частью исследования стал разбор отношений с представителями «инородческих» элит, в том числе с носителями квазимонархического ранга в составе России – ханами, князьями (и «князцами»), султанами, эмирами. Эти отношения принимали разнообразие формы: описано, каким образом организовывалось введение таких правителей в должность, какие ритуальные явления иллюстрировали формальные связи между ними и российским правительством.

Символический ресурс власти, которым обладал самодержец, нуждался в периодическом обновлении и пополнении. Это достигалось, в том числе, в процессе посещения им провинций империи. В атмосфере всеобщего казенного преклонения и обожания, которая окружала царственных путешественников на просторах России, происходила регенерация этого ресурса. При раздаче милостей и

наград во время таких поездок царь как бы передавал облагодетельствованным подданным частицу своих властных прерогатив. Этот властный ресурс в общем совпадает по значению с мистическим явлением, которое называлось божественной благодатью (приобретаемой правителем в результате миропомазания при коронации). Щедрость императора и его приветливое отношение к людям из всех без исключения социальных слоев носили некоторый налет самолюбования. В нем укреплялась убежденность в процветании и бесконфликтности подданных (Николай I: «В России все молчит, ибо благоденствует».) Это было результатом в том числе и умелой «режиссерской» работы организаторов путешествий.

Смысл и замысел продолжительных вояжей заключались в нескольких аспектах. Во-первых, демонстрировалась забота о провинциях империи, а если учитывать тему нашего исследования, то и об их неславянском населении. Эта забота формально могла носить вид инспекции. Но действительную и жесткую оценку работы региональных властей проводили, пожалуй, только Павел I и (иногда) Николай I; Александр I же в своих длительных разъездах более напоминал туриста, чем ревизора. Конечно, полноценной проверки деятельности управленцев на местах не получалось. Но все-таки при иллюзии высочайшего контроля само присутствие монарха побуждало устранять некоторые неполадки и ограничивать злоупотребления. Как выразилась Екатерина II, раскрывая мотивы своих разъездов: «L'œil du maître engraisse les chevaux» (хозяйский глаз зорек) (Сегюр, 1865. С. 155).

Во-вторых, создавалась очевидная картина единения царя с его верноподданным народом. Проявления их взаимных любви и согласия скрупулезно отмечались и умилительно описывались в официозах и стараниями литераторов и публицистов (в большинстве своем убежденных патриотов-монархистов). При этом создавалась уникальная возможность, пусть и для ничтожного количества россиян, пробиться с прошениями к вершителю судеб империи. Екатерина объясняла своему французскому собеседнику, графу Л.-Ф. де Сегюру: «Я путешествую не для того, чтобы осматривать местности, но чтобы видеть людей... Мне нужно дать народу возможность дойти до меня, выслушать жалобы и внушить лицам, которые могут употребить во зло мое доверие опасение, что я открою все их грехи, их нерадение и несправедливость» (Сегюр, 1865. С. 154–155).

В-третьих, в процессе путешествий происходило как бы обновление владычества России над ее землями. В историографии отмечалось, что это

было повторное, символическое завоевание территорий и повторное изъявление покорности их жителями. Впрочем, такая трактовка не кажется бесспорной.

В-четвертых, в некоторых случаях, в обстановке сложных политических обстоятельств, целесообразны были личное присутствие монарха и исходящие от него объяснения важных вопросов. Особенно наглядно это проявилось в правление Александра II. В 1861 г. он отправился на Кавказ. Время и место были значимыми: шла к завершению Кавказская война и начиналась крестьянская реформа. Император встретился с представителями горских народов, выслушал их видение ситуации и изложил свое. В Кутаиси на встречу с ним собрались почти все дворяне Закавказья. Александр обратился к ним с речью о смысле Манифеста 18 февраля, о целях и методах отмены крепостного права. «Дворянство христианских Грузии, Имеретии, Мингрелии и Гурии и магометанских провинций края, услышав из уст своего обожаемого монарха о необходимости подчиниться им уже совершенной реформе в России, беспрекословно и с полной готовностью приступило к делу освобождения крестьян» (Щербаков. 1883. С. 381).

В-пятых, объезд подвластных земель обозначал суверенитет России над ними. Это было принципиально и для Александра II в его появлении на Кавказе после недавно проигранной Крымской войны, и ранее для Екатерины II при посещении Новороссии и Крыма, отвоеванных у турок. Помимо демонстрации незыблемости русского правления в новообретенных владениях, требовалось расположить к себе их завоеванные народы, убедить в терпимости и снисхождении верховной власти к их жизненным устоям и верованиям.

Наконец, участие региональных, в том числе инородческих, начальников в мероприятиях, связанных с встречей и пребыванием высоких гостей вовлекало глав завоеванных земель и местную знать в церемониальные представления имперской элиты, т.е. в систему государственных ритуалов, объединявших социально близкие страны империи.

Что касается визитов в регионы престолонаследников, то их предназначение состояло в знакомстве с народами, над которыми им предстоит царствовать в будущем (знакомство неизбежно беглое и поверхностное). Уже не по книгам и рассказам преподавателей, а воочию цесаревич убеждался в огромных размерах, богатстве и разнообразии России. Кроме того, лицемерие его подданными способствовало укреплению среди них монархических убеждений.

Власть проявляла себя и через разветвленную систему пожалований (офицерские чины, жалованные и похвальные грамоты, ордена и медали, денежное вознаграждение, именное оружие и др.). Все это имело важное символическое значение. Самопрезентациями она преследовала несколько целей: продемонстрировать подданным свое могущество и богатство, обнадежить их своим расположением и вниманием к их нуждам. Через провинциальные органы управления и посредством многообразных милостей осуществлялось «удаленное присутствие» монарха на всем пространстве огромного государства. Взаимное вручение различных вещественных и нематериальных ценностей, своего рода обмен символами солидарности являлся зримым проявлением обоюдной репрезентации власти и народа. Со стороны подданных они принимали вид даров и подношений. Выстраивание системы поощрений «инородцев» было важнейшим компонентом этнической политики. В этом заключались как практический смысл (заинтересовать подданных выгодой от лояльности правительству), так и репутационный подтекст (продемонстрировать богатство казны, неисчерпаемость государственных ресурсов, незыблемость Российской державы). Во многих регионах практика взаимных подношений соответствовала местному обычаю дарения-отдаривания.

Пожалования выступали важным фактором отношений и внутри «инородческого» социума. Государева милость служила гарантией благодетельствованного владельца от посягательств на его полномочия как со стороны местной российской власти, так и от единоплеменных соперников. Кроме того, борьба вокруг царских даров нередко возбуждала в среде туземных элит соперничество в борьбе за расположение русских начальников.

Но здесь важно было не перестараться с награждениями, ведь их нужно было каждый раз действительно заслуживать. Характерна ситуация на Северном Кавказе в период Кавказской войны. В отношении правительства с высшими социальными стратами Северного Кавказа проявлялись черты, знакомые по современному состоянию дел. Местным правителям щедро раздавались от высочайшего имени чины, медали, денежное жалование и т.п. Но эти знаки внимания рассматривались горцами не как высочайшая милость, а в качестве скрытой формы дани, как плата за лояльность. Это являлось элементом политической культуры региона. Такое отношение к могущественным покровителям сформировалось задолго до российско-кавказских контактов XIX в., еще в эпоху взаимодействия кавказцев с Османами и Сефевидами. Тем не менее сочетание пожалований с огромной властью русских

кавказских наместников во второй половине XIX – начале XX в. в целом позволяло поддерживать в крае лояльность населения и стабильность.

Непосредственный, пусть и эпизодический, контакт власти с «инородцами» представлял собой дополнительный канал информации о положении в провинциях, средство получения сведений от самого нижнего социального слоя подданных, через голову стоящего над ними многочисленного и многоступенчатого начальства. Теоретическая возможность пробиться во дворец или приблизиться к государю во время его путешествий по стране и рассказать о своих нуждах являлась, кроме того, своеобразным амортизатором протеста. В условиях произвола местных властей перед тем, как пойти на крайние меры – мятеж или бегство, жители «национальных окраин» имели шанс попробовать донести свои нужды до всемогущего «белого царя», который только один и способен был одернуть своих наместников. Свой интерес в таких контактах был и у высшего руководства империи. Оно получало еще один канал для собирания сведений о ситуации на местах и, таким образом, еще один инструмент контроля над управленческими органами в регионах.

Одним из способов обеспечения лояльности этнических элит и одним из принципов российской этнической политики было использование в отношениях с ними традиционных, привычных для них символов и ритуалов. Правительство не возражало, чтобы до издания императорского указа о назначении хана Младшего или Среднего жуза, или Букеевской Орды казахи провели свой древний обряд поднятия его на белой кошме; не гнушалось наделять тарковских шамхалов перьями на шапки, исходя из персидской традиции, укоренившейся в Дагестане, и т.п. Терпимость к институтам традиционной политической культуры позитивно воспринималась в среде «инородческого» населения, примиряла его с административными нововведениями российских властей.

Периодически ко двору, на аудиенции и представления, допускались посольства от вассальных правителей, покорных царю, и депутации от «инородцев», полностью инкорпорированных в структуру государства. В XIX в. частым элементом торжеств общегосударственного значения стало присутствие представителей разных народов. Редкая возможность увидеть своими глазами русскую столицу и самого государя порождала сюжеты, насыщенные вымышленными подробностями и небылицами. Главной же мифологемой становились рассказы о даровании царских милостей народу и его посланцам.

В составе Российской державы на протяжении четырех столетий существовали территориальные

подразделения с неодинаковым юридическим статусом. К концу имперской истории, в XIX – начале XX в., наряду с губернско-уездным делением, в ней имелись казачьи войска, горные и пограничные округа, протектораты. Ранее существовали еще и «царства» на месте завоеванных татарских ханств, а также различные вассальные владения. Подобная «многослойность», очевидно, характерна вообще для имперской государственности. Взойдя на престол или получив грамоту на княжение, вассальные правители принимали обязанности по управлению подвластным населением, брали на себя ответственность за его благоденствие и лояльность к российской верховной власти. Можно заметить, что такие владения с течением времени постепенно – одни быстрее, другие медленнее – утрачивали степень автономии, остатки бывшего суверенитета. Неизмеримо более слабые по сравнению с гигантской империей, они были обречены на полное поглощение ею. Однако, даже имея «техническую» возможность полностью присоединить их к основной территории России, правительство не торопилось с этим. Сохранение местных правящих элит и их традиционных административных структур зачастую представлялось более рациональным во внутриполитическом, геополитическом и финансовом отношениях:

- облегчалась адаптация присоединенных народов к жизни в пределах России, к ее государственным устоям, налоговой системе, объективному доминированию русского этноса, русской культуры и православной религии;

- путем включения этнических элит в состав дворянского корпуса и офицерства, в разные уровни управленческой системы достигалось слияние этих элит с общероссийским полиэтничным правящим классом;

- господство над покорными правителями повышало престиж царя внутри и вне государства, свидетельствовало о его влиянии и могуществе, оправдывало статус «великого государя» в XVII в. и императорский ранг в дальнейшем;

- правительство было избавлено от расходов на повседневное поддержание порядка и спокойствия в вассальных владениях, утихомиривание недовольства и усмирение мятежей, передоверяя это местному владельцу;

- некоторые присоединенные регионы находились на довольно низкой стадии социально-экономического развития. Чтобы обеспечить модернизацию их хозяйственных и общественных укладов, требовались большие средства, а такая перспектива не вызывала энтузиазма у столичных политиков. Они признавали более практичным,

чтобы вассальные монархи сами инициировали и проводили преобразования, не перекладывая расходы на имперскую казну;

- с тех пор, как Россия «прорубила окно в Европу», ее экспансия в Евразии вызывала настороженность и неприятие у тех, на кого смотрело это «окно». Особенно негодовали англичане, которые в XIX в. вступили в соперничество с Российской империей при разделе Азии. Поглощение Россией независимых государств грозило обернуться тяжелыми конфликтами. Поэтому завоеванные страны предпочитали оставлять под властью прежних правителей, поставив их в полную зависимость от русского правительства.

Большинство подобных политических образований просуществовало в разных формах долгое время – достаточное для привыкания новых подданных к нормам жизни в государстве. Эта адаптация сопровождалась кооптацией, т.е. включением этнических элит в общий корпус российской элиты, в том числе в ее высший слой – дворянство. У очень немногих «иностранцев» в XVI–XIX вв. открыто проявлялась ностальгия по утраченной независимости (собственно, и возможностей для публичного выражения таких настроений практически не было). Основная масса традиционных верхов умела кооперироваться с российскими дворянами и чиновниками и вместе с ними участвовала в управлении империей. Некоторые авторы склонны приписывать вовлечение туземных элит к управлению стойким византийским и золотоордынским традициям. Думаю, однако, что практическая целесообразность, необходимость удержания в повиновении населения колоссальных пространств оказывались не менее значимыми стимулами для изобретения этнополитических парадигм, чем абстрактный опыт чужих государств многовековой давности.

Формулой политики по отношению к этническим элитам можно считать высказывание кавказского наместника М.С. Воронцова: «Здесь на Кавказе надлежит не только не посягать на права высшего сословия, но и всеми мерами стараться об ограждении и укреплении оных» (Очерки, 1967. С. 280).

Из материалов, представленных в нашем исследовании, явствует, что в межэтнических межэлитных отношениях абсолютно господствовали вертикальные связи: «снизу вверх», от периферии к Центру. Это тоже была закономерность внутренней политики. Требовалось сохранять репутацию монарха как арбитра, заступника, охранителя привилегий, карателя отступивших от установленных норм жизни в государстве. При этом упования на пресечение несправедливостей обычно не связывались с царским сановным окружением: боярами,

министрами, высшими генералами. Горизонтальные же межэлитные связи были гораздо слабее – ввиду своей малой полезности в условиях самодержавного правления и всевластия бюрократии. Так выстраивалась четкая и жесткая пирамидальная структура отношений, принижающая все уровни управления, социальной жизни и даже культурно-религиозную сферу.

В конце XX – начале XXI в. многие механизмы взаимодействия с этническими (национальными) элитами оказались утрачены. Эти механизмы выстраивались веками и в целом действовали успешно. В современной России и на пространстве бывших Российской империи и Советского Союза, в условиях периодического обострения межэтнических и межгосударственных отношений, необходим учет исторического опыта – в том числе в символической и ритуальной сфере этнической политики.

Исследование выполнено на основе архивных материалов (фонды РГАДА, РГИА), многочисленных публикаций в газетной и журнальной периодике XVIII – начала XX в., протокольных хроник придворной жизни (дворцовых разрядов, камер-фурьерских журналов), а также опубликованных источников и исследований по проблеме.

ЛИТЕРАТУРА

Агеева О.Г. 2012. Дипломатический церемониал императорской России. XVIII век. М.: Новый хронограф. 936 с.

Беляков А.В. 2011. Чингисиды в России XV–XVII веков. Просопографическое исследование. Рязань: Рязань. Мир. 512 с.

Бойцов М.А. 2010. Что такое потестарная имагология? // Власть и образ: очерки потестарной имагологии. Отв. ред. Бойцов М.А., Успенский Ф.Б. СПб.: Алетейя. С. 5–37.

Габдрахманов П.Ш. 2010. Образы власти в зеркале антропонимии алтарных трибутариив Фландрии XII–XIII веков // Власть и образ: очерки потестарной имагологии. Отв. ред. Бойцов М.А., Успенский Ф.Б.. СПб.: Алетейя. С. 74–80.

Кундакбаева Ж.Б. 2005. «Знаком милости Е.И.В.». Россия и народы Северного Прикаспия в XVIII веке. М.: АИРО-XXI; СПб.: Дмитрий Буланин. 304 с.

Очерки истории Карачаево-Черкесии. Т. 1. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. Отв. ред. Невская В.П., Романовский В.А. 1967. Ставрополь: Ставропольское книжное изд-во. 600 с.

Российская империя от истоков до начала XIX века. 2011. Очерки социально-политической и экономической истории. Ред. колл.: Аксенов А.И. и др. М.: Русская панорама. 880 с.

От редакции // Севастопольский листок. 1883. 24 апреля. № 33. С. 2.

Санников С.В. 2011. Образы королевской власти эпохи Великого переселения народов в западноевропейской историографии VI века. Новосибирск: Изд-во НГТУ. 212 с.

Сегюр Л.-Ф. 1865. Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785–1789). СПб.: тип. В.Н.Майкова. 396 с.

Уортман Р.С. 2004–2006. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. М.: ОГИ. Т. 1. 608 с.; т. 2. 800 с.

Щербakov А. Император Александр II на Кавказе в 1861 году // Русская старина. 1883. Т. XL. С. 381–390.

Lippmann W. 1922. Public Opinion. N.Y.: Macmillan. 320 p.

Mitchell W.J.T. 1986. Iconology. Image, Text, Ideology. Chicago: The University of Chicago press. 326 p.

Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. Ed. by S.Hall. L.: The Open University, 1997. 406 p.

Головнев А.В., Павлов П.Ю., Широков В.Н.
(ИИиА УрО РАН,
ИЯЛИ Коми научного центра УрО РАН)

ИСТОКИ И ТРАДИЦИИ УРАЛЬСКИХ КУЛЬТУР: ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА

Уральская горная страна – одна из немногих в мире с отчетливо выраженной субмеридиональной складчатостью, опоясывающая две трети евразийского континента: вместе с Мугоджарами её протяженность около 2000 км. Этот «Земной» или «Каменный пояс», как называли Уральские горы в Средние века и Новое время, характеризуется во многом уникальными природными условиями. На Урале прослежи-

вается поясная и высотная зональность ландшафтов от тундры до полупустыни. Преобладают хвойные леса, вклинивающиеся в лесостепь и степь; монотонность горно-лесной зоны прерывается реликтовой красноуфимско-месягутовской лесостепью в пределах Среднего и Южного Урала. Сопряженность различных географических зон позволяла человеку на протяжении тысячелетий гибко приспосабливаться

к изменениям среды обитания и вести многоотраслевое хозяйство. Среди природных условий Уральского края выделяется водное богатство рек и озер, служивших не только для промысла, но и путями сообщений, евроазиатскими «голубыми дорогами»: через притоки Камы – Вишеру, Чусовую и Уфу – Европа связана с Северным, Средним и Южным Уралом, откуда открываются выходы в Азию через притоки Тавды, Туры и реку Исеть. По рр. Уралу и Каме ведут пути в Казахстан и Прикаспий. Уникальный Кыштымский озерный край более чем из 200 озер, вытянутый непрерывной цепочкой на 300 км вдоль восточных отрогов гор, также служил не только важным резервуаром промысловых угодий для древнего человека, но и связывал Север с Югом, Восток с Западом. Благоприятные природные условия предопределили богатство животного мира. На Урале известно более 70 видов млекопитающих, более 200 видов птиц и около 40 видов рыб; многие из этих видов имели и имеют промысловое значение. Природные ресурсы Урала включают и значительные запасы горных пород, минералов и руд, среди которых высококачественные яшма и кремень, драгоценные и полудрагоценные камни, медь и легирующие к ней добавки, железо, драгоценные металлы, уже в древности служившие «стратегическим» сырьем для производств и обмена.

Благоприятные природно-географические факторы предрешили важную роль Урала в общем культурном пространстве Евразии с глубокой древности, когда хребет играл роль рубежа или перехода, особенно в широтном измерении, между бассейнами Волги и Двины – на западе, и Иртыша и Оби – на востоке. Вместе с тем Урал был не только пограничьем, но и трансграничьем – пространством контактов различных степных, таежных и тундровых культур. Здесь контакты всегда преобладали над изоляцией, а если и складывались автономные сообщества, то не обширные, как в долинах больших рек, а малые, располагавшиеся в горных и предгорных нишах. Ландшафтное и ресурсное многообразие предрешило, с одной стороны, контактный характер Урала, с другой – аккумуляцию различных культурных традиций и генерацию новых культурных импульсов. В разные эпохи направления и характер культурных связей менялись, но общее значение Урала как этноперекрестка и трансграничного узла для всей Северной Евразии сохранялось на всем протяжении древней и поздней истории.

Инициальное движение

По современным данным, древнейшая колонизация человеком Урала в плейстоцене началась

не позднее 250 тыс. лет назад и носила волнообразный характер. Эти волны, хронологически совпадающие с интерстадиалами среднего и позднего плейстоцена, в стадиалах сменялись длительными интервалами, в течение которых север Уральского региона не был заселен человеком. Превращение ранее необитаемых территорий в обитаемые включает несколько этапов: проникновение, освоение и заселение [Павлов, 1991. С. 109–111; Павлов, 2008а. С. 69–72, 76; Павлов, 2009а. С. 30–31]. На первых порах Урал могли посещать небольшие группы с разными навыками промысла и передвижения, спорадически сталкиваясь друг с другом в ходе сезонных миграций. На этапе освоения эти перемещения принимают устойчивый характер, образуя сеть путей и промысловых угодий. На заключительном этапе в колонизируемом регионе складывается постоянное население и взаимодействие между различными группами внутри вновь заселенной территории, начинается процесс внутрирегиональной культурной дифференциации [см.: Соффер, 1997. С. 116–126; Павлов, 2008а. С. 70–71]. Для эпохи палеолита можно ожидать открытия на Урале стоянок, относящихся к новым культурам, неизвестным на сопредельных территориях. В этом случае важно определить их принадлежность к более крупным культурным подразделениям палеолитической эпохи – историко-культурным областям.

Самые ранние находки на Урале, возраст которых в основном не превышает 100 тысяч лет, относятся к среднему палеолиту. Памятники Среднего и Южного Урала неоднородны. Местонахождение Пещерный Лог и нижний культурный слой стоянки Гарчи I (бассейн р. Чусовой, западный склон Урала) представлены выразительными комплексами бифасиальных изделий, среди которых двусторонне обработанные остроконечники («рубильца», или острия типа «лист тополя»), ножи, а также орудия с выделенным противлежащей ретушью носиком. Верхнепалеолитические формы изделий, как и галечные орудия, в этой индустрии отсутствуют. Наибольшее сходство прослеживается с индустриями среднепалеолитических стоянок Крыма – Заскальная V и VI, Киик-Коба, Пролом, Чокурча, Сухая Мечётка на Русской равнине и некоторыми другими. В более широком плане эти комплексы можно охарактеризовать как восточно-микокские, или псевдо-микокские индустрии с двусторонне обработанными изделиями.

На восточном склоне Южного Урала стоянка Богдановка демонстрирует иную техническую традицию изготовления орудий с односторонней обработкой, с элементами луваллузского расщепления и преобладанием в орудийном наборе простых про-

дольных скребел, что по схеме Ф. Борда соответствует мустье типичному. Возможно, эта же линия развития индустрии среднего палеолита на Урале представлена и на Голом Камне в черте Нижнего Тагила. Резко отличны от вышеназванных материалы ст. Мысовой на Южном Урале, где наряду с леваллуазскими ядрищами встречены бифасы и чоппинги. По мнению Г.Н. Матюшина, это характеризует комплекс как мустье с ашельской традицией. Сходные материалы обнаружены в Центральном Казахстане в области Сары-Арка, в Северном Прибалхашье в горах Семизбугу. А.Г. Медоев считал характерной чертой индустрий этого района сочетание односторонних форм с двусторонними, сопряженность бифасов и чоппингов с клетонскими и леваллуазскими отщепами. Близкий тип индустрии обнаружен и на памятниках в Мугоджарах. Таким образом, первооселенцы на Урале появлялись как с юго-востока, так и с юго-запада, принося с собой различные технические традиции обработки камня (Широков и др., 2011. С. 111–125).

Памятники верхнего палеолита на Урале более многочисленны и разнообразны. Известны стоянки под открытым небом, в пещерах, а также пещерные декорированные святилища. На стоянках первой половины верхнего палеолита отмечают отбор сырья в виде конкреционного кремня, обычно серого цвета и кремнистого сланца, галечное сырье использовано незначительно. Расщепление связано с применением плоских нуклеусов, реже призматических и радиальных. Ведущая категория скола – отщеп, на стоянке Заозерье – пластина. Широко представлены орудия мустьерского технокомплекса – остроконечники, конвергентные и угловатые скребла, в том числе с двусторонней обработкой. Имеются бифасы листовидных и треугольных форм, в том числе типичные костенковско-стрелецкие наконечники. Есть скребки высокой формы, сердцевидные, веерообразные, треугольные с суженным основанием, часто с подтёской с брюшка. Единичны проколки, пластины с краевой ретушью, резцы. По своему происхождению индустрии ранней поры верхнего палеолита Урала связаны с разновозрастными стоянками центра Русской равнины, а наиболее значительные элементы сходства имеют со стоянками костенковско-стрелецкой культуры. Основные памятники этого периода – Мамонтова Курья, Бызовая, Гарчи I (верхний слой), Заозерье.

В конце среднего валдая (27–24 тыс. л. н.) происходит существенное изменение всей археологической картины на территории Восточной Европы: исчезают культуры ранней поры верхнего палеолита и распространяются развитые ориньякоидные и граветтоидные индустрии средней поры верхнего

палеолита (Аникович и др., 2008. С. 172; Аникович, 1998. С. 35–66). Эти изменения нашли свое специфическое отражение на Урале. В конце среднего валдая в регионе также исчезают индустрии ранней поры верхнего палеолита. Однако это не сопровождалось, как в центре Восточноевропейской равнины, появлением в регионе стоянок средней поры верхнего палеолита, что следует частично связывать с крайне неблагоприятными для жизни человека природно-климатическими условиями, существовавшими в первой половине позднего валдая на севере Урала (Астахов, Свендсен, 2008. С. 102–103). Не исключено, что в конце среднего – первой половине позднего валдая произошла депопуляция территории региона, о чем свидетельствует отсутствие палеолитических стоянок на Урале в хронологическом интервале от 27 до 19 тыс. л. н. (Павлов, 2008б. С. 44).

Позднепалеолитические и финальнопалеолитические стоянки Урала относятся к уральской позднепалеолитической культуре (Павлов, 2007а. С. 73–85; Павлов, 2008б. С. 43). Для инвентаря памятников этой культуры характерна первичная обработка с использованием параллельных способов расщепления – объемного и плоскостного. Нуклеусы представлены призматическими, уплощенно-призматическими с продольно-поперечным скалыванием, коническими и торцовыми формами; использовались вторичные ядрища, применявшиеся для отделения пластин и микропластин. В больших комплексах обязательно имеются плоские ядрища. В качестве заготовок приблизительно в равной пропорции использовались отщепы и пластины (крупные пластины и микропластинки). В составе орудийного набора представлены: небольшие округлые скребки на отщепах и концевые скребки на удлиненных отщепах и фрагментах пластин, в том числе и высокой формы; боковые, поперечные и угловые резцы, преимущественно на отщепах; долотовидные орудия; усеченные пластины, пластины с выемками и пластины с притупленной спинкой; шиповидные и зубчатые формы; проколки с плечиками. В инвентаре присутствуют микропластины с ретушью (вкладыши) и группа галечных орудий. Характерны также унифасы и скребла с прямым, выпуклым и вогнутым лезвием. Яркой отличительной чертой комплексов является присутствие в них двусторонних вкладышевых орудий, древнейших на Европейском континенте (Bosinski, 2009. P. 55).

По основным характеристикам комплексов каменного инвентаря позднепалеолитические стоянки Урала близки к памятникам средней поры верхнего палеолита южной Сибири. Эти сибирские стоянки

характеризуются появлением мелкой пластинчатой индустрии (Лисицын, Свеженцев, 1997. С. 67–108; Vasil'ev, 2000. Р. 173–196; Зенин, 2002. С. 22–44). Вопрос о генетической подоснове уральской позднелепалеолитической культуры в настоящее время нельзя считать решенным. На современном уровне наших знаний более предпочтительной и обоснованной кажется гипотеза о её генетической связи с мелкопластинчатыми индустриями средней стадии позднего палеолита Сибири.

Ранние памятники культуры в настоящее время известны в бассейне Камы: это стоянка Талицкого, Широфаново II и, вероятно, местонахождения Драчево и Ганичата III. В Южном Зауралье к ранней группе может относиться стоянка Троицкая I. Возраст этой группы памятников составляет 19–16 тыс. л. н. (Щербакова, 1994; Мельничук, Павлов, 1985. С. 7–14; Павлов, 2008б. С. 39; Макаров, Павлов, 2007. С. 5–15; Широков и др., 2005. С. 21). Стоянки второго этапа культуры (15–12,5 тыс. лет назад) распространены уже по всему Уралу от Северного до Южного (рис. 1). Это Медвежья пещера, Усть-Койвинская пещера, пещера Котёл, Кумышанская, Гари, грот Бобылек, пещера Кульюрттамак, пещера Байсланташ, Капова пещера и ранний комплекс Игнatieвской пещеры (Павлов, 1997. С. 57–62; Сериков, 2007; Сериков, 2009б; Волокитин, Широков, 1997. С. 8–15; Нехорошев, Гирия, 2004. С. 12–35; Котов, 2004. С. 36–55; Петрин, 1992. С. 106–116). Стоянки позднего, или финальнопалеолитического, этапа (12,5–9,5 тыс. л. н.) найдены в бассейне верхней Камы, на Южном Урале и в Большеземельской тундре (гряда Чернышова). Это стоянка Горная Талица, грот Столбовой, Усть-Пожва II–VI, Горка, Рязановский Лог, третий культурный слой грота Большой Глухой, поздний комплекс Игнatieвской пещеры и стоянка Пымва-Шор I (рис. 1) (Мельничук, Павлов, 1987. С. 5–18; Щербакова, 2001. С. 157–159; Макаров, 1997. С. 102–117; Макаров, 2001. С. 45–49; Павлов, 1988. С. 16; Павлов, 1996. С. 60–61; Петрин, 1992. С. 117–131; Свендсен и др., 2008. С. 91–93).

В течение второй половины позднего валдая, позднеледниковья и, вероятно, в раннем голоцене, памятники уральской культуры распространяются вдоль всего Урала, от Южного до Приполярного (Павлов, 2008б. С. 43). Ареал памятников уральской культуры и их количество увеличивается к среднему и позднему этапам её существования, что очевидно отражает возрастающую плотность населения.

Стоянки уральской культуры представлены в регионе различными типами памятников: охотничьими лагерями (Талицкого, Широфаново II), пе-

щерными святилищами (Капова, Игнatieвская и Серпиевская 2 пещеры) и стоянками на природных кладбищах мамонтов (Гари) (Павлов, 2008б. С. 44). Пространственное и хронологическое распределение стоянок, внутрирегиональные культурные взаимодействия свидетельствуют о существовании в Уральском регионе во второй половине позднего валдая и позднеледниковье постоянного населения. На это прямо указывает появление около 15 тыс. лет назад в регионе пещерных святилищ (Капова, Игнatieвская и Серпиевская 2 пещеры) – по справедливому мнению Ю. Б. Серикова; культовые памятники свидетельствуют о существовании в регионе постоянного населения (Сериков, 2009а. С. 315). Традиция использования пещер в культовых целях продолжается на Урале вплоть до эпохи средневековья (Викторова и др., 2004).

Таким образом, важнейшей особенностью второй половины позднего палеолита является возникновение региональной уральской позднелепалеолитической культуры, генетически связанной с североазиатским палеолитом. В конце палеолита в Евразии формируется уральская историко-культурная область. Её население сыграло определенную роль в освоении обширных пространств севера Восточной Европы, освободившихся от покрова материковых льдов в финальном плейстоцене и раннем голоцене (Жилин, Кольцов, 2008. С. 108–109).

Истоки пещерного искусства палеолита Урала

Уникальное явление на территории России представляют собой, так называемые, украшенные верхнелепалеолитические святилища в пещерах Каповой, Игнatieвской и Серпиевской 2 на Южном Урале (Петрин, 1992; Scelinskij, Širokov, 1999).

Набор тем в них включает изображения плейстоценовых видов животных, в первую очередь мамонта и лошади, а также бизона, носорога, фантастических и композитных животных (Игнatieвская), композитного зоо-антропоморфа (Капова), рисунков в стиле *pars pro toto* – голов животных или безголовых туловищ, символических знаков. Все эти мотивы аналогичны многочисленным фигуративным и нефигуративным рисункам пещерных святилищ верхнего палеолита Западной Европы, как и способ интеграции в изобразительные ансамбли стеновой основы. Некоторые стилистические особенности изображений животных – мамонтов с животом в виде «вентральной арки» и лошадей с головой в «капоре и мордой в виде клюва утки» – связаны с граветтской традицией (Широков, Петрин, 2013).

Вероятно, в конце плейстоцена Урал не являлся существенным барьером для перемещения людей и вещей по обе стороны от него. С.В. Васильев видит подтверждение этому в европейских чертах комплекса стоянки Черноозерье II в Прииртышье, где господствует техника «скальвания призматических пластинок... Доминируют скребки, пластинки с ретушью, резцы, выемчатые орудия. Не находит аналогий в материалах и специфический набор орудий и украшений из кости». Этот комплекс «носит ярко выраженный европейский характер и резко контрастирует с известными на Алтае, Енисее и Ангаре комплексами» (Васильев, 1990. С. 83–84). Согласно мнению Г.П. Григорьева, «Урал... был не границей между верхнепалеолитической Европой и Сибирью, а областью, где (видимо, в разное время) обитали и носители сибирского палеолита и проникавшие туда группы европейского населения». Среди характерных черт палеолита Сибири исследователь называет «плоские ядрища и признаки, выраженные количественно. В сибирском палеолите мало памятников с резцами и мало памятников с пластинками с притупленным краем» (Григорьев, 2001. С. 120–121).

С начала сартанского периода от Приуралья (стоянка Талицкого, Постников овраг в Поволжье) до Прибайкалья (стоянка Мальта) появляются памятники, сходные между собой мелкими размерами орудий, преобладанием призматической техники расщепления, использованием широкой сырьевой базы, связанные с мамонтовой фауной. Многие исследователи сближают такие памятники, как Мальта и Буреть, с восточным граветтом. На европейский облик сибирских стоянок указывали П.П. Ефименко в 1953 г. и А.П. Окладников в 1968 г. Позднее об этом писал М.В. Аникович (Аникович, 1999. С. 81), убедительно обосновывая сходство памятников мальтинской археологической культуры с костенковско-виллендорфской культурой (или поздней фазой граветта) по таким признакам, как домостроительство, структурные элементы поселения, костяной инвентарь, украшения, искусство, включающее знаменитых «венер». Эту точку зрения поддерживал Н.Ф. Лисицын, по мнению которого, стоянки Мальта, Ачинская, Тарачиха, Афанасьева гора и Шленка возрастом около 20–18 тысяч лет образуют единство, отличное от палеолитических памятников Сибири: «В основе каменной индустрии стоянок лежит техника отделения с небольших галечек мелких тонких пластинок, из которых изготавливались орудия. Инвентарь: мелкие пластинки с притупленной спинкой, пластинки с усечённым и ретушированным концом, пластинки с выемками, атипичные острия, проколки, кон-

цевые и округлые скребки. Есть группа скребков высокой формы на небольших массивных отщепках. Резцы немногочисленны, единичны скребла, галечные орудия. Нет крупных остроконечников, долотовидных форм. Енисейские стоянки с мелкой пластинчатой индустрией вместе с Ачинской, Островской стоянками образуют круг памятников, отражающих поздний этап мальтинско-буретской культуры. В эту группу следует включить и Томскую стоянку, материалы которой близки стоянке Талицкого. Аналогии подобным комплексам можно найти на Русской равнине среди инвентаря поселений “граветтоидного” пути развития» (Лисицын, 1999. С. 123–124).

В Зауралье известна стоянка Шикаевка II со специфическим набором артефактов, включающих геометрические изделия, в том числе и микролиты. Многие специалисты истоки этой индустрии склонны были видеть в материалах янгельской культуры. Однако имеющаяся C14 дата 18050±95 (СОАН – 2211) свидетельствует скорее о граветтских истоках этой традиции. Ещё в павловскую фазу близкие изделия составляют устойчивую серию. Геометрические микролиты отмечены и на верхнепалеолитической стоянке в пещере Байсланташ на Южном Урале (Широков, 2014. С. 165–179).

Как считает исследователь Каповой пещеры В.Е. Щелинский, «Культурная атрибутика археологического комплекса святилища Шульган-Таш вполне отчетливая. Это типичный верхний палеолит, какой можно встретить, например, к западу от Урала на Восточно-Европейской равнине. В комплексе представлены орудия на нормальных пластинах, хорошо выражен микроинвентарь в целом позднеграветтского облика. Факт наличия в комплексе украшений из раковин ископаемых моллюсков, больше всего известных в Поволжье и Прикаспии, позволяет думать о возможных связях верхнепалеолитических культурных традиций святилища Шульган-Таш в первую очередь с этими регионами» (Щелинский, 1997. С. 34.).

В этой связи следует напомнить о находках в гроте Безымянном, где обнаружена представительная коллекция изделий из кости: обломок или часть браслета; три обломка овального в сечении стержня, изготовленного из бивня мамонта; крупная цилиндрическая бусина; проколка, а также стилизованная фигурка животного из тонкой пластинки мамонтового бивня, напоминающая изготовившегося к прыжку хищника семейства кошачьих. О.Н. Бадером и В.Т. Петриным это изделие сопоставлялось в самом общем плане со скульптуркой льва, происходящей с Павловской стоянки. Радиоуглеродная дата для этого комплекса – 19240±265 (СО

АН – 2212) близка по времени ранним эпиграветтийским памятникам. К востоку от Урала костяная скульптура в технике *contouré decouvé* не известна. Не известны и крупные цилиндрические бусины, подобные найденным в Каповой пещере и гроте Безымянном. А вот к западу от Урала на граветтийских памятниках известны и плоская скульптура *contouré decouvé*, и цилиндрические бусы (стоянки Павлов, Долни Вестонице и некоторые другие).

Это означает, что в период верхнего палеолита в Европе на протяжении 20 тысяч лет существовала традиция создания и использования декорированных пещер, с огромной степенью вероятности отражающая первый в истории человечества религиозно-мифологический континуум, напоминающий распространение мировых религий в исторический период. Ранее А. Леруа-Гуран сравнивал палеолитические украшенные пещеры с религиозными храмами позднейших эпох, с чем, несомненно, следует согласиться. Распределение по планете храмов мировых религий – это цивилизационный феномен, охватывающий огромные по площади территории с разными народами и культурами. На наш взгляд, украшенные пещеры также представляют транскультурный религиозно-мифологический феномен ледникового века. Можно с большой долей вероятности предполагать, что в определенные периоды верхнего палеолита на огромных просторах Северной Евразии существовали благоприятные условия как для передвижения людей, так и для передачи или обмена технологий, идей и стилей, и уральский центр пещерного палеолитического искусства имеет в своих истоках западноевропейскую изобразительную традицию (Широков, 2014. С. 69–88).

Технологии голоцена

После таяния и отступления ледника на север изменился состав животного мира – исчезли мамонт, шерстистый носорог, пещерный медведь и некоторые другие виды. Человек расселился по всей территории Урала, оставив сотни мезолитических стоянок разного характера – кратковременные, сезонные и долговременные, стоянки-мастерские. Строй общественной жизни людей мезолита во многом отличен от верхнепалеолитического. На смену коллективной охоте на крупных стадных животных пришла индивидуальная охота на зверей и птиц. Возросла роль рыболовства и собирательства, вошли в обиход лук и стрелы, распространились орудия пассивного промысла – силки, верши, сети и другие. Все эти изделия известны по находкам в торфяниках – Висском в Северном Приуралье,

Шигирском и Горбуновском в Среднем Зауралье. Близ источников сырья располагались стоянки-мастерские для отбора сырья и его первичной обработки: такова, например, стоянка Голый Камень близ Н. Тагила.

Производство орудий из камня, кости и дерева осуществлялось обычно на сезонных стоянках. Развитие техники в тот период заключалось главным образом в широком распространении каменных орудий, изготовленных из тонких и узких пластинок. Из них делали резцы для прорезания пазов в костяных вкладышевых изделиях, острия для проколки шкур, сверла для перфорации, наконечники стрел, скребки для обработки шкур, дерева и кости. Для передвижения зимой использовали лыжи и сани, для сплава по рекам – лодки и весла (их остатки также найдены в торфяниках). В ранний период мезолита стоянки имели небольшую площадь без долговременных жилищ, что свидетельствует о подвижном образе жизни населения, занимавшегося в основном охотой.

В позднем мезолите отмечается тенденция к большей оседлости. Наряду с легкими переносными жилищами появляются долговременные, площадью 40–80 кв. м; возрастают и размеры поселений. Большинство мезолитических стоянок в Среднем Зауралье обнаружены группами по берегам озер. Их обитатели занимались преимущественно озерным рыболовством и жили относительно оседло. Мезолитические памятники Среднего и Северного Зауралья выделены в среднеуральскую культуру Ю.Б. Сериковым. Эта культура, по мнению исследователя, формировалась на основе местного палеолита, испытав на поздних этапах воздействие южноуральского мезолитического населения (Широков, Волков, Нестерова, 2005).

Начало неолитической эпохи в лесной зоне ознаменовалось появлением глиняной посуды – керамики. На ранних этапах она распространяется повсюду и как бы внезапно, причем технологически уже совершенная с устоявшимися системами декора. Наряду с остро- и круглодонной посудой встречается и плоскодонная. Господствуют разные варианты орнаментации «палочкой» – ямочные вдавления, наколы, отступающая палочка, прочерчивание, но используются и зубчатые (гребенчатые) орнаменты. Узоры часто разрежены и не покрывают полностью внешнюю сторону сосудов. Позднее, с середины неолита, почти всюду исчезают плоские днища, а в орнаментации все большую роль играет гребенчатая техника. Аналогии ранней посуде обнаруживаются в южных, степных и лесостепных районах – в Северном Причерноморье, Украине, Поволжье, Прикаспии, Казахстане и

Средней Азии. Одно из самых простых объяснений этого – миграции южного населения на север, однако многие факты расходятся с этим представлением. Ранняя лесная керамика нигде не повторяет буквально исходные образцы; значит, южные гончарные традиции дошли на север переработанными, при этом их источник не узко локализован, а рассредоточен по всему поясу евразийских степей.

Неолит степной зоны на тысячу лет старше лесного. Со времени «неолитической революции» на Ближнем Востоке, когда появились первые образцы глиняной посуды в раннеземледельческих обществах, это ремесло постепенно и неуклонно распространялось оттуда и из Средиземноморья на север. Появление керамики в таежной зоне – последний этап в этом процессе. Скорее всего, лесостепное население, служившее «буфером» между степью и лесом, передавало культурные новшества в глубь таежной зоны. Действительно, ареалы многих «лесных» культур в Прикамье и Среднем Зауралье охватывают не только современную подтаежную, но и лесостепную зоны, а собственно лесостепной неолит сочетает как лесные, так и степные черты в керамике и каменном инвентаре. По мнению Л.Л. Косинской, процесс распространения навыков гончарного производства в лесную зону сравним с принципом домино. Пути проникновения новых заимствований со стороны европейской части могли идти из Северного Причерноморья по Днепру и Днестру на Верхнюю Волгу и далее на север и восток по Каме и ее притокам. Еще один путь – из Прикаспия и волжских степей по Волго-Камской дороге. Тоболо-Иртышская водная артерия соединяла Прикаспий и Казахстан с восточными склонами Урала (Чаиркина, Широков, Шорин, 2011. С. 116–123).

Население Урала использовало богатые ресурсы камня и минералов: наряду с яшмой и кремнем употреблялись кварц, кварцит, гранит, туфопофрит, тальк, сланец, халцедон, горный хрусталь и другие. Каменная индустрия была преимущественно пластинчатой, в Северном и Среднем Зауралье она сочеталась с отщеповой. Наиболее характерным приемом вторичной обработки была отжимная ретушь, достигшая большого совершенства. Широко распространились новые приемы обработки камня – шлифование, пиление, сверление. Повсеместно внедряются новые орудия для обработки дерева – топоры, тесла, долота, стамески. Эти орудия во многом облегчили обработку стволов деревьев для постройки жилищ, различных средств передвижения (лодок, саней, лыж, нарт, остатки которых найдены в уральских торфяниках).

Каменный инвентарь тайги отличается от индустрий степных районов, где господствует микро-

литойная техника с разнообразными орудиями геометрических форм, а шлифованных изделий почти нет. Не было и веских климатических причин в VI–IV тыс. до н. э. для смены людьми открытых ландшафтов на глухие лесные дебри.

Хозяйство и образ жизни неолитических людей были сходны по обе стороны Урала. Промысловое хозяйство не предполагало образования крупных производственных коллективов, поэтому размеры поселений и жилищ, за редким исключением, были небольшими, рассчитанными на 10–20 человек. Охотились преимущественно на лося, северного оленя, бобра, косулю, медведя и других зверей и птиц, приемы рыболовства были многообразны, сочетавшие активные и пассивные способы (Чаиркина, Широков, Шорин, 2011. С. 116–123).

В конце каменного века формируется новая изобразительная традиция – создание наскальных рисунков под открытым небом: всего сейчас известно около 90 пунктов. Анализ и обобщение их материалов характеризует наскальное искусство как часть сложной обрядово-ритуальной практики древнего населения Урала, связанной с мифологическими представлениями и календарной обрядностью древних уральцев (Чернецов, 1971; Широков, Чаиркин, 2011).

Эпоха кочевников и металлургов

Археологические данные свидетельствуют, что южноуральские и казахстанские степи и лесостепи были составной частью Евразийского региона, первичной доместики лошади уже в энеолите (III тыс. до н. э., ботайская культура). В эпоху бронзы (II тыс. до н. э.) урало-казахстанские степи сыграли важную роль в развитии комплексного хозяйства с акцентом на различные формы животноводства, создав к концу этой эпохи (рубеж II–I тыс. до н. э.) предпосылки для зарождения кочевничества как важнейшей социально-экономической и политической системы, предопределившей в раннем железном веке в этом регионе возникновение предгосударственных образований. Степные пространства Урала и Казахстана сыграли в бронзовом и раннем железном веках важную роль в культурогенезе народов Евразии и мировых цивилизаций, являясь частью пространства воинственных ираноязычных и тюркоязычных племен. Так, в начале и середине II тыс. до н. э. степи и лесостепи Южного Урала и Казахстана сыграли значительную роль в культурогенезе индоарийских народов, оставивших памятники Синташта, Аркаим и другие укрепленные поселения Южного Урала (всего около 20). Изобретение индоариями в этом регионе принципиаль-

но нового вида боевого транспорта и новой тактики ведения боевых действий – боевой колесницы и тактики колесничего боя – позволили этим группам евразийского населения совершать обширные и длительные миграции и дойти до Индостана, всколыхнув при этом многие центры ближневосточных цивилизаций II тыс. до н. э.

Во второй половине II тыс. до н. э. Урал входил в зону формирования на степных и лесостепных просторах Евразии от Дона до Енисея огромных культурно-исторических общностей – срубной и андроновской, за которыми большинство исследователей видят предков народов индоиранской языковой группы. Лесные пространства Урала и сопредельных территорий в энеолите и бронзовом веке, а может быть и ранее, сыграли существенную роль в этногенезе финно-угорских и самодийских народов.

С бронзовым веком связано внедрение в экономику ранних обществ металлургии и металлообработки бронзы. Урал сыграл заметную роль в освоении человеком навыков создания первых не встречаемых в природе в естественном виде материалов. Рудные богатства региона привлекали внимание не только уральцев. Уже в энеолите (III тыс. до н. э.) медные рудники Южного Урала эксплуатировались племенами ямной культурно-исторической общности – огромного образования волжско-донских и уральских степей и лесостепей, которые, кстати, первыми в мировой практике стали использовать курганный способ захоронения (курганы в последующие археологические эпохи маркировали в поясе степей Евразии пребывание многочисленных кочевых орд). В средней бронзе (вторая четверть II тыс. до н. э.) уральские медные рудники оказались объектом эксплуатации таких крупных общностей, как абашевская, синташтинско-петровская и других, векторы культурно-генетических связей которых имеют, наряду с местными, восточноевропейское направление. В последующие периоды бронзового века уральские металлурги являлись поставщиками бронзы и изделий как в западные (вплоть до Дона), так и восточные (Западная Сибирь) регионы Евразии. Под влиянием восточных (сибирско-алтайских?) инкорпорантов (явление, получившее в литературе название сейминско-турбинского трансконтинентального феномена) уральские бронзолитейщики освоили в начале третьей четверти II тыс. до н. э. принципиально новую технологию металлообработки тонкостенного литья в закрытых формах с сердечником.

В раннем железном веке на Среднем и Южном Урале появляется иткульская общность, с которой связан так называемый иткульский очаг металлур-

гии и металлообработки. Устойчивая техника, технология и литейные формы, высокая специализация и масштабы производства изделий позволили иткульцам занять важное место в экономической и политической жизни лесостепных и степных кочевых племен. Соседний скифо-сарматский мир в свою очередь был мощным стимулом развития иткульского металлургического очага, так как испытывал постоянную потребность в оружии. Подавляющая часть знаменитых скифских наконечников стрел была продуктом импорта в кочевнический мир изделий иткульских металлургов.

Наиболее существенным событием в Северной Евразии периода II в. до н. э. – II в. н. э. было продвижение сарматских племен из волго-урало-казахстанских степей в Скифию и ее разгром. Утверждение сармат в Причерноморье имело серьезные последствия в европейской истории. Многочисленные воинственные ираноязычные племена (сначала сираков, роксоланов, аорсов, языгов, затем алан) полвека держали в постоянном напряжении северо-восточные границы Римской империи и города Причерноморья.

Великое переселение народов – кочевников Центральной Монголии – по уральским степям в Причерноморье и далее на юг Западной Европы приходится на III–V вв. н. э. На Урале процессы макро- и микро- миграций растянулись до VI в., а в некоторых районах до VIII–IX вв. Степи Урала послужили коридором, по которому вслед за гуннами прошли волны кочевников: авар, сарагулов, угров, савыров, печенегов, огузов, кипчаков (Чаиркина, Широков, Шорин, 2011. С. 116–123).

Средневековая этнопанорама

Урал – перекресток культур с глубокой древности и на протяжении всей своей истории, колыбель многих культур и народов (прежде всего угорских и самодийских), очаг формирования ряда магистральных и локальных культур Евразии. Многообразие региона выражается в том, что он связывает Европу и Азию, Юг и Север; здесь открытые пространства (степь, тундра) сочетаются с магистралями великих рек (от Волги до Оби) и изолированными горно-таежными нишами. В этом ключевом регионе Евразии нашли место все основные феномены и тренды этнокультурного развития.

Будучи перекрестком разных потоков колонизации, Урал в средние века, как и в предшествующую и последующую эпохи, переживал обновленные этно-ландшафта. Наиболее ощутимым было встречное воздействие крупнейших североевра-

зийских очагов экспансии – центральноазиатского и североевропейского. С началом гунно-тюркской экспансии с востока степи и южные леса Урала вошли в сферу миграций и контроля алтайских кочевников, северо-западный («финский») ареал – в орбиту движения северных германцев (готов, свеев). В эпоху викингов варяго-славянская колонизация охватила водные магистрали Прибалтики, Беломорья, Подвинья и Поволжья, при этом в миграциях участвовали западные финны и известные по скандинавским сагам бьярмы.

Тем самым на Урале возник этнокультурный круговорот: южноуральские степи и леса оказались в зоне колонизации тюркских каганатов и монгольского улуса, приуральский север – в орбите движения викингов, ладожан, бьярмов (перми). Южный степной поток нес на Урал с востока кочевников тюрков и монголов; в его русле движение мадьяр от Урала к Паннонии в IX в. завершилось «обретением родины» (*honfoglalás*) и превращением прежней родины (*Nagy-Magyarország, Magna Hungaria*) в страну башкир. Северными путями с запада двигались к Уралу новгородцы и пермяне. В монгольскую и ордынскую эпохи юг уральского пространства вошел в сферу военно-административного контроля тюрко-монгольских орд и ханств, будучи разделенным на *даруги/дороги* (Арская даруга в удмуртских землях, Сибирская, Ногайская, Казанская и Осинская дороги в землях башкир). Одновременно север Урала оказался в орбите влияния и колонизации Новгорода. На рубеже I–II тыс. н. э. на Урале пересеклись магистральные культуры Великого Булгара и Великого Новгорода, позднее – Орды и Москвы. Новгородская и московская экспансии, различные по культурной и политической природе, стали основанием последующей российской колонизации севера Евразии, включая большую часть уральского мира.

В эпоху каганатов на юге Урала преобладали кочевые и полuosедлые тюрки и угры, из которых сложилась общность башкир. К северу, в уральских лесах, жили пермь и югра, а у Студеного моря – самоеды. При этом кочевники открытых пространств, степняки-коневоды и тундровики-оленеводы, охватывали Урал с юга и севера, а с запада и востока его окружали «речные люди» бассейнов Волги и Двины (на западе) и Иртыша и Оби (на востоке). До русской промышленной («строгановской») колонизации у этой огромной страны не было выраженного центра; напротив, Урал служил трансграничем окружающих метрополий – прежде всего степных орд юга (в разные периоды улусов Джучи и Чагатая, Ак-Орды и Кок-Орды, Ногайской орды и Сибирского юрта) и государств запада (Волжской

Булгарии, Великого Новгорода, Казанского ханства, Московии). В эпоху Средневековья он представлял собой не самостоятельную метрополию, а «украину» нескольких метрополий и территорию транзита и преобразования различных колонизационных потоков.

На севере Урала московской колонизации предшествовала новгородская, на юге – болгарская и ордынская, что не позволяет сконструировать удобную для историографии картину последовательных этапов колонизации. А.А. Дмитриев различал в русской колонизации Урала новгородский (XI–XV вв.) и московский (XV–XVII вв.) периоды (Дмитриев, 1901. С. 71–77), М. В. Талицкий считал период X–XIV вв. «булгарской эпохой» в Верхнем Прикамье (Талицкий, 1951. С. 59–64); при этом за недостатком письменных свидетельств речь обычно не заходит об ордынской колонизации, хотя со времен обзора Н. Витсена конца XVII в. Урал относится к «Гартарии», что само по себе указывает на его геополитическую привязку. В свое время (XIII в.) И. де Плано Карпини эффектно обрисовал установление ордынской власти в пространстве от Волги до Оби и от степи до страны самоедов:

«[После разорения Венгрии] Возвратившись оттуда, они [татары] пришли в землю мордванов, которые суть язычники, и победили их войною. Продвинувшись отсюда против Билеров, то есть Великой Булгарии, они и ее совершенно разорили. Продвинувшись отсюда еще на север, против Баскарт, то есть Великой Венгрии, они победили и их. Выйдя отсюда, они пошли дальше к северу и прибыли к парроситам, у которых, как нам говорили, небольшие желудки и маленький рот; они не едят мяса, а варят его. Сварив мясо, они ложатся на горшок и впитывают дым и этим только себя поддерживают; но если они что-нибудь едят, то очень мало. Подвинувшись оттуда, они пришли к самоедам, а эти люди, как говорят, живут только охотами; палатки и платья их также сделаны из шкур зверей. Подвинувшись оттуда далее, они пришли к некоей земле над Океаном, где нашли неких чудовищ, которые, как нам говорили за верное, имели во всем человеческий облик, но концы ног у них были, как у ног быков, и голова у них была человеческая, а лицо, как у собаки; два слова говорили они на человеческий лад, а при третьем лаяли, как собака, и таким образом в промежутке разговора они вставляли лай, но все же возвращались к своей мысли, и таким образом можно было понять, что они говорили. Отсюда вернулись они в Команию, и до сих пор некоторые из них пребывают там» (Плано Карпини, 1993. С. 42).

С того времени целая цепь народов Евразии, подчиненных Великому улусу, от Алтая до Крыма,

получила название «татары». Этноисторическая траектория этого этнонима столь же богата событиями и неожиданными поворотами, как и вся средневековая история отношений монголов и татар. Основные ее вехи-сцены: (1) татары – одно из могущественных племен Халхи; (2) монгол Есугей нарекает сына именем пленного татарина Темучжина, но вскоре татары губят Есугея, отравив его ядом; носитель татарского имени Темучжин (Чингис-хан) мстит татарам за отца и борется с ними за власть в степи; (3) Чингис-хан устраивает массовую резню татар; слово «татарин» становится нарицательным в значении «противник» – отныне монголы так называют покоряемые племена; (4) используя «татар» в качестве живого щита, монголы делают их авангардом завоеваний; «татары» стяжают славу ударных ханских войск; (5) завоевания придают Орде смешанный облик «татаро-монголов» или «монголо-татар» (см.: Головнёв, 2009. С. 357–419). Тем самым, именно с эпохой Чингис-хана и его преемников связано распространение имени татар в Северной Евразии и на Урале.

В свою очередь татары, уже в роли ордынской элиты, давали свои определения окружающим народам, в том числе образующим таежный пояс Евразии. Например, название *остяк* (*уштек*, *уштек*), означающее по-татарски «язычник, неверный, нечистый», было распространено ими на разноязыких жителей лесов по оба склона Урала – в Западной Сибири вплоть до Енисея (под этим наименованием соседствовали предки хантов, селькупов и кетов), а также Приуралья, где остяками назывались предки башкир и некоторые группы волго-уральских татар (не принявшие или позднее других принявшие ислам).

В то же время жители северного Урала, этнически родственные остякам, назывались в новгородской традиции югрой. При этом новгородцы, хотя и различали югру и самоядь, использовали название «Югра» для обозначения страны вокруг северного Урала, «у гор» – Югорского полуострова и живущей там «югорской самояди». Таким образом, не собственные различия, а номинации разных метрополий, Орды и Новгорода, обусловили разграничение югры и остяков – один и тот же массив североуральского населения назывался с юга (от Орды) остяками, с запада (от Новгорода) – югрой.

С выходом на геополитическую арену Москвы обозначился еще один генератор идентичности, впервые проявивший себя на востоке при крещении Перми Вычегодской Стефаном Пермским в конце XIV в. Запечатленная диалогом святителя Стефана и кудесника Пама, эта драма вызвала раскол приуральского сообщества на покладистых но-

вокрещенов и упорных язычников (см.: Головнёв, 2010).

Неподалеку от приуральской Югры, на р. Вычегде, где располагалась Пермь Вычегодская, в 1380-е гг. развернулась кампания христианизации, которую проводил с благословения московских властей иеромонах Стефан Храп (в 1547 г. причислен к лику святых и известен ныне как Св. Стефан Пермский). Ему противостоял кудесник Пам, возглавивший тех, кто отверг крещение и покинул «освященную» землю. В 1384 г. старый волхв увел непокорных язычников на Удору и Пинегу. Пять лет спустя, в 1389 г., «идолопоклонники» с Удоры и Пинеги напали на Еренский городок, «монастырское Пречистые Богородицы пожгли, пограбили, людей монастырских посекали». В годы религиозной войны появился новый народ – «безверные вогуличи», сражавшиеся во главе с «окаянным» Пам-сотником против вымских христиан. Первое летописное известие о них в 1392 г. гласит: «Пришедшу на владычный город на Устьвым погаными вогуличи, а с ним Пан-сотник окаянный. Стояли вогуличи станом на Юруме на месте зовемый Асыкояг неделю, к городку не приступали, а погосты около тех мест разорили. Узнав те вогуличи из слухов устюжский полк идет на вогуличов, сели в лады и утекли вверх Вычегдоюрекою» (ВВЛ, 1989. С. 25).

В языке коми-зырян словосочетание *лэзь вогыль* означает человека с косматыми волосами (Лашук, 1972. С. 61), а название *вогул*, имеющее в коми языке значение «дикий» (Бахрушин, 1955. С. 86), связывается ивдельскими манси (хотя и не вполне отчетливо) с язычниками, некогда бежавшими от крещения (Федорова, 1996. С. 11–13). В сочетании этих сведений рисуется картина явления «нового народа» среди Пермской чуди: принявшие христианство и московское подданство жители Перми (в большинстве коми) выступили проводниками миссии Стефана, а мятежники и беглецы стали зваться «дикими», «косматыми», «язычниками» – вогулами.

Волхв Пам, несмотря на более чем преклонный возраст, совершил переход через Югорские горы (Урал) на реку Обь. В конце XVII в. предание о крещении и переселении «остяков» было известно Н. Витсену:

«Говорят, остяки вышли из Перми и Зыряни. Они до сих пор все были язычниками. Но были крещены набожным священником по имени Прокопий. Рассказывают, что эти люди, прежде чем принять христианскую веру, захотели увидеть чудо, чтобы узнать, святой ли он, после чего признали бы истину его учения. Дело происходило зимой; они сде-

лали несколько прорубей во льду и протащили его, связав веревками, от одной проруби до другой. Он остался жив, и они стали считать его слова святыми и истинными и добровольно подчинились. Но часть из них остались язычниками и ушли, покинув свое отечество, и поселились на Оби, Иртыше, вблизи Сургута и Кети, оставаясь в своем неверии, почему и получили название остяки, что на народном языке значит как бы «сбежавшие варвары» (Витсен, 2010. С. 794).

Версию о появлении в Коде беглецов-язычников из Перми записал в начале XVIII в. Г. Новицкий:

«Юрты некия, нарыцаемая Атлым, его же мнять от повествования древних тамошних жителей быти населенна Пансотником, кудесником неким, иже со святым Стефаном, епископом Пермским, препирашеся от зловерия своего; последи же побежден в злостии своем убежа с Перму за Камень, в Сибирскую страну и ту поселися» (Новицкий, 1884. С. 75).

Подобные сведения приводят Г.Ф. Миллер и И.Г. Георги. Остяки Б. Атлыма и в XIX в. хранили память о своих предках-коми, пришедших из-за Урала во главе с вождем Памом (Абрамов, 1857. С. 346).

Очевидно, старый волхв шел не наобум. Кодские городки, в том числе Атлым, издавна служили местом торгово-промысловых походов и миграций пермян из-за Урала. Их селения на Перегребном и в Шеркалах существовали с XII в. «Зырянская дорога» за Камень не отдыхала, о чем свидетельствует обилие коми топонимов в Приобье, включая большинство названий городков Коды (и само слово Кода/Куда может происходить от имени легендарного коми богатыря Кудым-Оша). Пам перешел в места, давно обжитые его соплеменниками (Морозов и др., 1995. С. 60–68). Возможно, не чуждый ордынской политики пермский «сотник» видел спасение от Московии не только в таежных буреломах Приобья, но и в Тюменском ханстве, где в те годы правил разоритель Москвы хан Тохтамыш.

За пару десятилетий конца XIV в. в религиозной войне Пама и Стефана зародились, по меньшей мере, три этногенных импульса: (1) общности коми-христиан; (2) мятежной пермско-угорской вольницы язычников-вогулов; (3) Кодского княжества, ставшего позднее военно-политическим ядром язычников-остяков. Во всех случаях магистральную роль сыграли духовные лидеры, а обстоятельствами и факторами нароодообразования стали колонизация и религиозная война. По оценке Дж. Ланцева и Р. Пирса, Стефан превратился в держателя границы, посредника между крестившимися зырянами и московскими властями, подгото-

вившим последующее покорение Сибири (Lantseff, Pierce, 1973. С. 38).

В ходе этих событий на месте Югры появились вогулы и остяки, а этноним *югра* к концу XVI в. вышел из употребления, но не по причине исчезновения народа, а потому что новгородская традиция, в которой это имя бытовало, сменилась московской с новыми обозначениями: западную часть бывшей югры московиты стали называть по-зырянски *вогулами*, а восточную – по-татарски *остяками* в одинаковом значении «язычники», «дикие» (см.: Головнёв, 1998).

Сходная этноистория произошла с пермянами. Как показал С. К. Белых, до XV в. удмурты не фигурировали в письменных источниках. Первое свидетельство об этом народе, точнее о «Вотятцкой земле», появляется в русских документах при описании похода Ивана III на Казань в 1469 г. Прежде предки удмуртов, наряду с коми-зырянами и коми-пермяками, обозначались русскими источниками «как нечто единое» под названием *Пермь* (об этом же свидетельствуют синхронные археологические и лингвистические данные). Решающую роль в разделении пермян и появлении сообществ коми и удмуртов сыграла христианизация предков коми в XIV–XV вв. (Белых, 2009. С. 98–121).

Колонизация не всегда ограничивается диалогом «метрополия-колония». Часто в нее включаются союзники-попутчики или поле колонизации само превращается в очаг вторичных миграционных волн. В уральской среде примером попутной колонизации служит движение коми-зырян, которые при викингах включились в международную торговлю по двинско-вымскому, печорскому и волго-камскому путям (в ту пору под именем *бьярмы* или *перми*, как звали бродячих торговцев), позднее участвовали в новгородских и поморских торгово-промысловых рейдах, а также подвизались в роли проводников русских отрядов на Урал и в Сибирь. Зыряне вели за Урал казачьи дружины, строили Тюмень, Тобольск, Томск и дошли до Тихого океана с отрядами Дежнева и Хабарова. В глазах енисейских кетов образы русских и зырян слились настолько, что русских они звали *сирэ* – букв. ‘зыряне’ (см.: Хелимский, 2000. С. 351–352).

Как видно, появление новых народов или исчезновение прежних часто связано не с миграциями или демографическими катаклизмами, а с обновлением геополитической ситуации, появлением новых метрополий или изменением конфигурации перекрестных воздействий. Новые этнические сообщества нередко вырастали из старых, обновленных внешним воздействием. Всякая агрессивная метрополия непременно практиковала прозелитизм, распространяя

не только власть и религию, но и переименовывая покоренные земли и обитающие на них народы (или их части). Для локальных сообществ явление новой метрополии далеко не всегда ограничивалось переименованием, но и служило стимулом к обновлению элиты и «этнического лица».

ЛИТЕРАТУРА

Абрамов Н.А. 1857. Описание Березовского края // Зап. РГО. СПб. Кн. 12.

Аникович М.В. 1999. О миграциях в палеолите // *Stratum plus*. № 1.

Аникович М.В. 1998. Днепро-донская историко-культурная область охотников на мамонтов: от «восточного граветта» к «восточному эпиграветту» // Восточный граветт. М.

Аникович М.В., Попов В.В., Платонова Н.И. 2008. Палеолит Костенковско-Борщевского района в контексте верхнего палеолита Европы. СПб.

Астахов В.И., Свендсен Й-И. 2008. Природная обстановка времени первоначального заселения приуральского Севера // Путь на Север. Окружающая среда и самые ранние обитатели Арктики и субарктики: матер. Междунар. конф. М.

Бахрушин С.В. 1955. Научные труды. Т. 3. Ч. 2. М.

Белых С.К. 2009. Проблема распада прапермской языковой общности. Ижевск.

Васильев С.А. 1990. Поздний палеолит Урала и Зауралья: к вопросу о границах Европейской и Североазиатской зон развития культуры // Методология, историография и источники изучения исторического опыта регионального развития. (Тезис. докладов и сообщений Всесоюзной научной конференции). Свердловск.

ВВЛ (Вычегодско-вымская летопись) // Документы по истории коми. Историко-филологический сборник. Вып. 4. Сыктывкар, 1958.

Викторова В.Д., Федорова Н.В., Широков В.Н. 2004. Культурные памятники горно-лесного Урала. Екатеринбург.

Витсен Н. 2010. Северная и восточная Тартария. Пер. с голл. Трисман В.Г. Т. I–II. Амстердам.

Волокитин А.В., Широков В.Н. 1997. Верхнепалеолитическая стоянка в гроте Бобылек (Средний Урал) // Охранные археологические исследования на Среднем Урале. Екатеринбург.

Головнёв А.В. 2009. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург.

Головнёв А.В. 2010. Этнод из угорской этноистории // Этнокультурное наследие народов Севера России. К юбилею доктора исторических наук, профессора З.П. Соколовой. М.

Головнёв А.В. 1998. Югра и Самоядь // Сибирь в панораме тысячелетий. Т. 2. Новосибирск.

Григорьев Г.П. 2001. Относится ли стоянка Талицкого к сибирскому палеолиту? // Проблемы первобытной культуры. Уфа.

Дмитриев А.А. 1901. Следы русских поселений в Перми Великой до появления Строгановых // Труды Пермской ученой архивной комиссии. Вып. 6. Пермь.

Жилин М.Г., Кольцов Л.В. 2008. Финальный палеолит лесной зоны Европы (культурное своеобразие и адаптация). М.

Зенин В.Н. 2002. Основные этапы освоения Западной Сибири палеолитическим человеком // Археология, этнография и антропология Евразии. № 4 (12).

Котов В.Г. 2004. Исследования палеолитического слоя в пещере Байсланташ (Акбутинская). Предварительные итоги // Уфимский археологический вестник. Вып. 5.

Лашук Л.П. 1872. Формирование народности коми. М.

Лисицын Н.Ф. 1999. О европейско-сибирских контактах в позднем палеолите // *Stratum plus*. №1.

Лисицын Н.Ф., Свеженцев Ю.С. 1997. Радиоуглеродная хронология верхнего палеолита Северной Азии // Радиоуглеродная хронология палеолита Восточной Европы и Северной Азии. Проблемы и перспективы. СПб.

Макаров Э.Ю. 2001. Местонахождение Горка – новый мезолитический памятник в Пермском Приуралье // Археология и этнография Среднего Приуралья. Березники.

Макаров Э.Ю. 1997. Финальный палеолит Прикамья в свете новейших данных // Коми-пермяки и финно-угорский мир: матер. I Междунар. практ. конф. Кудымкар.

Макаров Э.Ю., Павлов П.Ю. 2007. Стоянка Широново II – новый памятник позднего палеолита в бассейне верхней Камы // Каменный век севера Восточной Европы. Сыктывкар.

Мельничук А.Ф., Павлов П.Ю. 1985. Новое палеолитическое местонахождение в Среднем Прикамье // Археологические памятники Северного Приуралья (МА-ЕСВ. Вып. 9). Сыктывкар.

Мельничук А.Ф., Павлов П.Ю. 1987. Стоянка Горная Талица на р. Чусовой и проблема раннего мезолита в Прикамье // Проблемы изучения древней истории Удмуртии. Ижевск.

Морозов В.М., Пархимович С.Г., Шашков А.Т. 1995. Очерки истории Коды. Екатеринбург.

Нехорошев П.Е., Гиря Е.Ю. 2004. Некоторые итоги исследований верхнепалеолитической стоянки Кульюрт-Тамак (Южный Урал) // Уфимский археологический вестник. Вып. 5.

Новицкий Г. 1884. Краткое описание о народе остячком. СПб.

Павлов П.Ю. 1997. Палеолит // Археология Республики Коми / отв. ред Э.А. Савельева, П.Ю. Павлов, К.С. Королев, А.М. Мурыгин. М.

Павлов П.Ю. 1988. Палеолит северо-востока Европейской части СССР: автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Л.

Павлов П.Ю. 2008б. Палеолит северо-востока Европы: новые данные // Археология этнография и антропология Евразии. № 1 (33).

Павлов П.Ю. 2007а. Поздний и финальный палеолит северо-востока Европы // Свообразие и особенно-

сти адаптации культур лесной зоны Северной Евразии в финальном плейстоцене – раннем голоцене. М.

Петрин В.Т. 1992. Палеолитическое святилище в Игнатьевской пещере на Южном Урале. Новосибирск.

Плано Карпини И. 1993. История монгалов, именуемых нами татарами // Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Гильома де Рубрука. Алматы.

Свендсен Й-И., Павлов П., Мангеруд Я., Хегген Х., Хуфтхаммер А-К., Робрукс В. 2008. Природные условия плейстоцена и палеолитические стоянки на севере западного склона Уральских гор // Путь на Север. Окружающая среда и самые ранние обитатели Арктики и субарктики: матер. Междунар. конф. М.

Сериков Ю.Б. 2007. Гаринская палеолитическая стоянка и некоторые проблемы уральского палеолитоведения. Нижний Тагил.

Сериков Ю.Б. 2009а. О времени и характере освоения пещер палеолитическим населением Урала // Вузовская научная археология и этнология Северной Азии. Иркутская школа 1918–1937 гг.: Матер. всерос. сем., посвящ. 125-летию Б.Э. Петри. Иркутск.

Сериков Ю.Б. 2009б. Пещерные святилища реки Чусовой. Нижний Тагил.

Талицкий М.В. 1951. Верхнее Прикамье в X–XIV веках // МИА. № 22. М.

Федорова Е.Г. 1996. Обские угры: этнокультурная ситуация в период с XI по XVI в. // Сибирь: древние этносы и культуры. СПб.

Хелимский Е.А. 2000. Компаративистика, урало-стика: Лекции и статьи. М.

Чаиркина Н.М., Широков В.Н., Шорин А.Ф. 2011. Археологические памятники Урала в контексте древнего культурного наследия Евразии. Вестник Уральского отделения РАН, № 2, (36). Екатеринбург.

Чернецов В.Н. 1971. Наскальные изображения Урала. САИ. В4-12(2). М.

Широков В.Н., Волков Р.Б., Косинцев П.А., Лаптева Е.Г. 2011. Палеолитическая стоянка Богдановка (Южный Урал) // Российская археология, № 1.

Широков В.Н., Чаиркин С.Е. 2011. Наскальные изображения Северного и Среднего Урала. Екатеринбург.

Широков В.Н. 2014. Палеолитические подземные «художественные галереи» Урала и Западной Европы // Вестник УрО РАН. № 1 (47).

Широков В.Н. 2014. Пещерное палеолитическое искусство Урала и Франко-Кантэбрии: опыт сопоставления // От Балтики до Урала: изыскания по археологии каменного века. Сыктывкар.

Широков В.Н., Волков Р.Б., Нестерова Г.М. 2005. Палеолит и мезолит Урала: учеб. пособие. Екатеринбург.

Широков В.Н., Петрин В.Т. 2013. Искусство ледникового века. Игнатьевская и Серпиевская 2 пещеры на Южном Урале.

Щелинский В.Е. 1997. Палеогеографическая среда и археологический комплекс верхнепалеолитического святилища пещеры Шульган-Таш (Каповой) // Пещерный палеолит Урала. Уфа.

Щербакова Т.И. 2001. Каменный инвентарь гротов Столбового и Близначева на фоне палеолитических индустрий Урала // Проблемы первобытной культуры. Уфа.

Щербакова Т.И. 1994. Материалы верхнепалеолитической стоянки Талицкого (Островской). Екатеринбург.

Bosinski G. 2009. The Hafting Backed Bladelets in the Late Magdalenian / ed by J. M. Burdukiewicz [et al.] Understanding the Past. Papers offered to Stefan K. Kozlowski. Warsaw.

Lantseff G.V., Pierce R.A. 1973. Eastward to Empire: Exploration and conquest on the Russian open frontier, to 1750. L., Montreal.

Scelinskij V.E., Širokov V.N. 1999. Hohlenmalerei in Ural. Kapova and Jgnatievka. Die altsteinzeitlichen Bilderholen im Sudlichen Ural. Deutschland, Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag.

Vasil'ev S. 2000. The Siberian Mosaic: Upper Palaeolithic adaptations and change before the Last Glacial Maximum // Roebroeks W., Mussi M. (eds.). Hunters of the Golden Age. The Mid Upper Palaeolithic of Eurasia 30.000–20.000 BP. Leiden.

Бгажноков Б.Х. (КБИГИ РАН)

ВОПРОСЫ КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДЫГОВ С ДРЕВНИМИ НАРОДАМИ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Сравнительный материал археологических культур свидетельствует о том, что преемственность этнического развития адыгов на Северном Кавказе сохранялась в течение последних 5–6 тыс. лет. В эпоху раннего бронзового века материальной базой объединительных процессов стали две культуры – майкопская и дольменная, а также занимающая промежуточное положение между ними новосвободненская, или майкопско-новосвободненская культура.

В работах Е.И. Крупнова и его последователей показано, что по всем, в том числе и лингвистическим, данным создателями и носителями майкопской культуры являются родственные адыгские родо-племенные группы. Единство языка и культуры этих групп, по словам Е.И. Крупнова, «не прерывалось никогда, даже в эпоху Средневековья, когда самобытное развитие адыгских обществ протекало в условиях частичного включения в местную среду инородных для Кавказа этнических

элементов – ираноязычных» (Крупнов, 1957. С. 67, 79). О том же пишет Р.М. Мунчаев. В майкопском населении он видит, с одной стороны, местный этнический массив, говоривший на западнокавказских (абхазо-адыгских) языках, а с другой – тесно с ним связанные группы малоазийцев, возможно, хаттского племени кашков, живших в это время на северо-востоке Понта (Мунчаев, 1975. С. 413). Скептически отзываясь о новейших гипотезах этноязыковой принадлежности майкопцев, Р.М. Мунчаев пишет: «...получается, что в эпоху ранней бронзы на Северном Кавказе обитали и тюрки, и семиты, и индоевропейцы, т.е. представители всех крупных языковых семей, кроме кавказской. Действительно, где же жили в это время коренные народы Северного Кавказа, в частности абхазо-адыгские племена? Или они тогда вообще не существовали? В таком случае, когда они появились на Кавказе и откуда?» (Мунчаев, 1994. С. 165-166).

В связи с распространением на Кавказе дольменной культуры о прочной связи с ней абхазо-адыгских племен высказывались Л.И. Лавров, Л.Н. Соловьев, В.И. Марковин, Я.А. Федоров и другие известные кавказоведы. По словам В.И. Марковина, «с конца III – начала II тыс. до н. э. и позже, несмотря на ощутимое влияние скифской культуры, сарматское воздействие и даже греческое внедрение на территорию Западного Кавказа, можно говорить о местном (абхазо-адыгском. – Б.Б.) населении как об общем монолите» (Марковин, 2011. С. 52).

Согласно последним данным, майкопская культура охватывает значительную часть Восточного Причерноморья и Северного Кавказа в пространстве от Туапсе и Таманского полуострова до Дагестана. Хронологически ее определяют обычно в пределах конца IV – третьей четверти III тыс. до н. э. (Мунчаев, 1994. С. 171). В представлении С.Н. Корневского майкопская культура уходит еще дальше в глубь веков и охватывает период с 3900 по 2800 гг. до н. э. (Корневский, 2004. С. 64). Что касается дольменной культуры, или культуры испунов¹, то она возникла на Западном и Северо-Западном Кавказе позже, чем майкопская культура, но длительное время развивалась синхронно и в тесном взаимодействии с ней. Например, В.А. Трифонов считает, что бытование культуры дольменов

¹ Существует цикл сюжетов черкесского нартского эпоса, в котором дольмены представлены как дома, в которых живут странные, маленького роста люди под названием *испы/исп*. Широкое распространение имеет вследствие этого местное обозначение дольменов: *испун/испыун* – «дома испов». Его используют часто археологи (В.А. Марковин, Н.Г. Ловпаче и др.), что позволяет, следуя сложившейся традиции, называть дольменную культуру Кавказа *культурой испунов*.

охватывает период от 3200 до 1800 гг. до н. э. (Трифонов, 2001. С. 79); по данным В.А. Марковина – от 2700 до 1400 гг. до н. э. (Марковин, 1997. С. 398).

Культура новосвободненского, или майкопско-новосвободненского типа особенно ярко представлена группой памятников в верховьях реки Фарс (левый приток Большой Лабы). Она соединяет в себе черты «майкопского» и «дольменного» стилей и датируется, по данным радиоуглеродного анализа, 3700–3400 гг. до н.э. При этом Долинское поселение вблизи Нальчика, по мнению А.Д. Резепкина, также относящееся к Новосвободненской культуре, занимает период 3700–3000 гг. до н. э. (Резепкин, 2012. С. 90-92).

В целом перед нами три последовательно и закономерно сменяющиеся и пересекающиеся культуры. Связанные причудливым образом не только временем, но и пространством, они позволяют представить, каким образом, когда и в каких районах Кавказа формировалась общность протоабхазо-адыгских, черкесских племен, какие факторы обуславливали специфическое содержание их взаимодействия с другими народами. В любом случае, невозможно отрицать, что пересекаясь во времени и в пространстве, дольменная культура и культура майкопа своеобразно дополняли друг друга. Состояние такой, можно сказать, дополнительной дистрибуции в равной степени характеризует специфику каждой из них.

Но при этом «майкопский стиль» формировался преимущественно во взаимодействии с народами Передней Азии. В то же время дольменная культура и культура новосвободненского типа сложилась под влиянием контактов с народами Европы, у которых на юге Франции, и особенно на Пиренеях и ближайших к ним островах, практика захоронения в дольменах широко и разнообразно представлена со времен неолита. Вслед за этим в ходе развития кобанской культуры (на рубеже II и I тыс. до н. э.) вновь активизируется воздействие на Центральный и Западный Кавказ народов Передней Азии, и в особенности касситов (луров), достигших больших высот в изготовлении изделий из бронзы. В раннем железном веке возникает на этой почве колхидо-кобанская культура с ее локальными вариантами, включая сюда протомеотскую и каменноостско-березовскую (западно-кабанскую) (Куфтин, 1949; Анфимов, 1971; Воронцов, 1978; Членова, 1984).

Таким образом, определяя майкопскую, дольменную и затем протомеотскую и кобанскую культуры как материальную основу общности древних адыгских племен, необходимо не только признать, но и сделать предметом специальных исследований

особое место как в культурогенезе, так и в этногенезе черкесов различных по содержанию миграционных процессов и контактов в центре евразийского континента.

Одной из причин движения переднеазиатского населения на Кавказ была аридизация – истощение земель, густо заселенных народами с высокой скотоводческой и земледельческой культурой. Но были, конечно, и другие причины. Большое значение имела, как видно, культурно-языковая близость древнейшего населения Кавказа и Передней Азии. При этом майкопская культура, впитавшая в себя богатую культуру Передней Азии, стала, несомненно, своего рода материальным выражением и подтверждением хаттско-адыгского присутствия и влияния на Кавказе.

В начале II тыс. до н. э. северокавказско-малозападные связи ослабевают, так как около 1900 гг. до н. э. страна хаттов пала под ударами индоевропейских племен (лувийцев, ликийцев и др.), и на ее руинах образовалась хеттская держава, ориентированная больше на восточные и западные страны, чем на Кавказ. Видимо, не случайно в этот период майкопская культура угасла и прекратила свое существование. В то же время хетты переняли многие черты хаттской культуры, сохранили ее даже в названии своей страны – Хатти, а также в названии главного города – Хаттуса.

Как язык письменных текстов функционировал некоторое время и язык хаттов, хотя из общего употребления он был вытеснен (Герни, 1987. С. 19, 117). В дальнейшем, в середине II тыс. до н. э., хаттский язык стал мертвым. Но смена языка не повлекла за собой уничтожения хаттской культуры. По всем данным она была сохранена, поддержана и «перевоспещена на хеттском языке» (Иванов, 1977. С. 8). Поэтому об уничтожении или забвении хаттского языка можно говорить лишь с известной долей условности. Значительный слой общепотребительной лексики остался хаттским. Произошло, иначе говоря, своего рода скрещивание двух языков, при котором, по словам О. Герни, «индоевропейский хеттский язык народа-завоевателя наложился на неиндоевропейский язык хаттов» (Герни, 1987. С. 19).

С другой стороны, политическую самостоятельность, и, по всей вероятности, родной хаттский язык, родственные абхазо-адыгским языкам, сохранили жители страны касков на севере Хеттской империи в окрестностях современного Самсуна (Меликишвили, 1962. С. 63), В XVI в. до н. э., усилившись, они полностью преградили путь хеттам к Черному морю и угрожали самому существованию Хеттского царства. В одной из войн они настолько

продвинулись на юг, что захватили и разорили столицу хеттов Хаттусу (История Древнего Востока, 1979. С. 201).

И в дальнейшем, несмотря на тесное и плодотворное культурно-языковое взаимодействие, отношения между хеттами и касками оставались напряженными. В хеттских текстах XV в. до н. э. имеются сообщения об актах неповиновения касков. Отмечается, что «они отказываются платить дань, которая им положена, и начинают сами нападать на страну Хатти (Луна, упавшая с неба, 1977. С. 104). Богатую информацию о сложных отношениях хеттов с касками мы узнаем из летописи хеттского царя Мурсилиса II (ок. 1343–1313 гг. до н. э.). Например, сообщается о стране каскайцев, где не было правления одного человека до тех пор, пока хетты не стали там править по обычаю царской власти (Луна, упавшая с неба, 1977. С. 178, 304). По-видимому, сохраняя самостоятельность и родной хаттский язык, каски поддерживали культурную связь и контакты не только с хеттами, но и со своими соплеменниками на Кавказе, с древними абхазо-адыгскими племенами. Такое положение Страны касков продолжалось длительное время и после того как в XIII – начале XII в. до н. э. сама Хеттская держава рухнула под ударами коалиции народов Восточного Средиземноморья, трансформировавшись в относительно слабые и раздробленные позднехеттские царства.

Реликты хаттско-адыгского родства и хаттохеттского влияния сохраняются у черкесов по сей день. Поэтому в настоящее время принадлежность хаттов к кавказской и прежде всего к абхазо-адыгской культурно-языковой общности стала не только предметом дискуссий и специальных трудов по истории Малой Азии и Кавказа, но и «общим местом» вузовских учебников по истории Древнего мира. В одном из таких учебников прямо сказано, что древнейшим этническим субстратом, на основе которого сложился хеттский народ, были «хаты или протохетты, говорившие на языке абхазо-адыгской группы и по всем данным, тесно связанные с Кавказом» (История Древнего мира, 1989. С. 185-186).

Хаттский язык, стоящий особняком от других древневосточных языков, относят сейчас к абхазо-адыгской подсемье кавказской большой семьи языков (Дьяконов, 1967. С. 176; Старостин, 1988). Прежде всего обращают внимание на близость грамматического строя хаттского и абхазо-адыгских языков (Дунаевская, 1960. С. 73-77), на многочисленные фонетические соответствия (Иванов, 1985. С. 51). На фоне структурного сходства важными дополнительными признаками генетиче-

ских связей хаттского языка с абхазо-адыгскими считают обнаруженные лексические соответствия. Их число достигает сейчас более сотни единиц.

Согласно данным В.В. Иванова, сходными или сопоставимыми оказались такие слова, как *пить, есть, сидеть, говорить, видеть, варить, мясо, очаг, сердце (душа), зло, добрый (хороший, благой), черный (темный), луна, земля, лиса, дерево, арфа (цитра, зурна), пальцы, обувь* и т.д. В недавно опубликованной новой работе В.В. Иванова прежний список пополняется еще целым рядом слов: *подобный (такой же), восклицание-призыв маржэ, черный, давать (дарить), одеваться (одежда) и др.* (Иванов, 2008. С. 634, 637).

Вслед за Г.А. Меликишвили В.В. Иванов указывает также на общность хаттского *Washav/Washab* (Бог, Божество) и адыгского *Уашхо* в значении «небесный свод», Бог Неба, Царь Богов (Иванов, 2008. С. 621-622). Р.Ж. Бетров аналогичным образом трактует созвучие названий хаттской богини грозы Анцили и древнеабхазского небесного божества Анца – творца мироздания (Бетров, 1998. С. 91). А в названии одного из царей страны Хатти – Пиуста усматривает возможность его соответствия сванскому *пуст* – «господин», «владыка», которое в свою очередь заимствовано из адыгского *пцы* – князь (Бетров, 1998. С. 84). В дополнение к этому В.В. Иванов пишет, что из хат. *wa-tuh-kante* (царевич) следует, что *tuh* – имело значения, достаточно близкие, как к адыг. *Тхьэ* – «Бог», так и к греч. *теос* (Иванов, 2008. С. 662).

Одним из аргументов родства хаттского и абхазо-адыгских языков считают сохранившиеся в местах обитания хаттов географические названия, в частности, названия населенных пунктов и рек с элементом *псы* – адыг. «вода»: *Ахьпс, Акампис, Арунса, Ансареа* и др. (Гиоргадзе, 1961; Меликишвили, 1965. С. 74-76; Анчабадзе, 1978. С. 19-20). К числу этих аргументов можно отнести также сохранившиеся в адыгских языках этнические и социальные термины с корневой морфемой *хат*.

Но с хаттской эпохой истории адыгов связаны не только элементы языка. О многом говорят отложившиеся в фольклоре воспоминания об Анатолии как о благодатном крае, Золотой долине, почитаемой как божество. Я имею в виду традиционный зачин адыгских гимнов, молитв и здравий, ср.:

О наш Бог, Великий Бог,
Анадола, Золотая долина!

Уэ ди Тхьэ, Тхьэшхуэ,
Анэдолэ, дыщэ кьуэладжэ!
(Кабардинские здравия, 1985. С. 67).

Вообще Анатолия предстает в языке и фольклоре адыгов как хорошо знакомый край, в котором они живут, где сбываются мечты человека о счастье. Сопоставив эти реминисценции с утверждениями, согласно которым жителями г. Хатгуса, столицы Страны хаттов, могли быть представители абхазо-адыгских или картвельских племен, следует усомниться в том, что взаимодействие народов Передней Азии и Кавказа протекало механистично в форме односторонней миграции с юга на север. Миграция могла быть взаимной.

Следует учесть, что в течение II тыс. до н. э. индоевропейцы из предкавказских степей переселялись большими группами в Переднюю Азию и Индию (Грантовский, 2007. С. 18-35), увлекая за собой часть кавказского, в том числе и адыгского населения. В числе этих групп были и протохетты (Mallory, 2010). Контакты хатто-абхазо-адыгских народов с ними поддерживались, возможно, еще в пределах Кавказа и продолжились в Анатолии. Отсюда, по всей вероятности, весьма употребительное и в настоящее время черкесское выражение *хьэт жегьылэ* – «будь таким, чтобы о тебе могли сказать «хетт». Оно донесло до нас пиитет, с которым относились древние жители Кавказа к хеттам.

Но в случае с абхазо-адыгами и хаттами мы имеем сверх того принципиально иную картину взаимных связей, predeterminedенную родством языка и древней культуры этих народов. Причем само это родство предстает не столько как итог миграции, сколько как данность, обусловленная самим фактом территориальной и этногенетической близости. Даже одно только слово *хатт* – адыг. *хьэт* в черкесской культурной традиции приобретает высокую психологическую и социальную значимость – особенно в составе личных имен, фамилий и кланов, ср.: *Хьэтлыжь* – «Славный хатт», *Хьэтлыгу* – «Хаттское сердце», *Хьэтлыкьуэ* – «Сын хатта», *Хьэтэжьыкьуэ* – «Сын славного хатта» и др.

Многие другие подобные элементы черкесской культуры еще ждут своего привлечения и осмысления. Но и тот материал, который уже известен, позволяет сказать, что, возможно, Западный и Северный Кавказ были центрами, а не периферией хатто-абхазо-адыгского древнего единства, своего рода метрополией некоторых древних народов Передней Азии, и прежде всего хаттов. Общие черты, следуя этой логике, являются следами генетического родства, а различия – итогом или результатом географических и хронологических разрывов. Ибо, как говорил Антуан Мейе, пространство и время уже сами по себе порождают различия (Мейе, 1954. С. 61).

Концепция принадлежности хаттов и касков к кавказской культурно-языковой общности приобретает еще более убедительный характер, если учесть, что, хатты в свою очередь были тесно связаны с народами хурро-урартского круга. Выясняется, что на общем фоне сближения с индоевропейским праязыком в языке хурритов имеются большие совпадения с картвельскими, абхазо-адыгскими и нахско-дагестанскими языками (Джаукян, 1967; Старостин, 1988; Nikolajev, Starostin, 1994).

Хатты и хурриты в свою очередь имели тесные политические и культурно-языковые контакты с касситами. Отсюда высказывавшаяся неоднократно мысль о возможности внутренней связи касситского языка с хаттским и соответственно с каскским языком (Fogger, 1930. P. 230; Jaritz, 1957. P. 852), что неизбежно ставит вопрос о характере взаимодействия касситского языка с иранскими и иберийско-кавказскими языками, об участии касситов в культурогенезе и этногенезе древних народов Кавказа. Здесь мы сразу наталкиваемся на целый ряд любопытных фактов.

В персидском языке слово *kas* ассоциируется с понятием «некто», «люди», «человек вообще» (Justi, 1895. S. 495). Вместе с тем это слово лежит в основе названия черкесского народа – *carikas* и Черкесии – *Saharkas* (Justi, 1895. S. 495), что означает буквально «Четыре (племени) каса». Аналогично этому в лезгинском языке слово *кас* является обозначением понятий «человек», «мужчина», «муж». При этом одним из главных персонажей лезгинских сказаний и притч является мифический прародитель лезгин и кавказцев *Касбуба* – «дед Кас» (Предки северо-восточно-кавказских народов, 2013). С другой стороны, прародителем черкесской династии Иналидов и всего черкесского народа считается, согласно известной и широко распространенной легенде вождь по имени *Кес*, *Кису*, *Серакис* (Ellias, 1788. P. 31; Эвлия Челеби, 1979. С. 57, 71-78 и др.). Таким образом, по крайней мере два кавказских народа – лезгины и адыги, ассоциируют себя с касами или касситами, что уже само по себе свидетельствует о длительных контактах этих народов с касситами (каспиями). В любом случае следует признать, что у истоков этнонимов *кас/акас/акасара/каскон/касаг/касог/чаркас/джаркас/черкес* на Северном Кавказе лежит, с одной стороны, культурно-языковая близость адыго-черкесов с касситами, каспами, с северо-восточно-кавказскими народами, а с другой их родство с *хаттами* и хаттским племенем *касков/кашков*.

Много внимания уделял этим вопросам Б. Грозни. Считая язык касситов одним из древних кавказских языков, он усматривал прямую связь между

касситами Передней Азии и касогами Кавказа (Hrozny, 1953. P. 2). В том же духе высказывались некоторые другие специалисты по истории Передней Азии и Кавказа – Г.А. Меликишвили, И. Алиев и др. Так, И. Алиев, касаясь данной гипотезы и фактически поддерживая ее, писал: «Кашков, сближаемых с касситами, нередко в научной литературе связывают с северокавказским народом – черкесами, называемых грузинами *kasag* (древнерусск.: касоги)» (Алиев, 1960. С. 81).

По мнению ряда ученых, первоначальный центр касситов находился не в горах Загроса, как принято думать (Бауэр, 2011. С. 216), а на северо-востоке Малой Азии (Jaritz, 1960), недалеко от того места, где во второй половине XV в. до н. э. располагалась, сохраняя свою самостоятельность и самобытность, область касков. Начиная с XVIII в. до н. э. именно отсюда двигались они на юг и затем, спускаясь с гор Загроса и пересекая Тигр, совершали набеги на Вавилон. К такой же точке зрения склонялся Б. Грозни, судя по составленной им карте, где касситы (*kashshites*) располагаются в среднем течении Тигра, а *каска* (*kashkites*) – в верхнем течении Ефрата, у самого Черного моря. Дополнительно к этому Б. Грозни подчеркивает, что, по всей вероятности, каски, называемые *gashgash* на хеттском языке и *какава* на ассирийском языке, являются одной из касситских народностей. Занимая территорию между верхним Евфратом и рекой Галис, каски, по его словам, угрожали своими набегами хеттам, а позднее – даже Ассирийской державе (Hrozny, 1953. P. 2).

Этноним *каска*, как установлено, является общим, собирательным обозначением племен, проживавших к северу и северо-востоку от хеттов. По данным Г.Г. Гиоргадзе, само название *каска* восходит к хаттскому *каска*. Это слово было заимствовано у них хеттами со значением «луна», «бог луны» (Гиоргадзе, 1961. С. 199). «Поэтому, – считает Гиоргадзе, – допустимо, что употребляемое в хеттских источниках название «каска» означает «почитающий луну народ» (Гиоргадзе, 1961. С. 200). С другой стороны, название касситов, как полагают многие исследователи, восходит к *Кауш* – главному божеству касситов (Алиев, 1960. С. 80). Это наводит на мысль о том, что название касков является производным от названия касситов, которые, в свою очередь, заимствовали слово для своего самообозначения из индийского, где *кас* означает «сверкать, сиять», а *касих* – «солнце, свет, сияние» (König, 1930. P. 62).

Все это в соединении с множеством других аналогичных данных почти неопровержимо свидетельствует о том, что культурно-языковое родство

абхазов и адыгов с хаттами и касками преломляется через их близость и тесные контакты с древними касситами и их потомками. И отсюда следы корневой морфемы *кас/каш* в древних и средневековых названиях адыгов, в дошедшем до наших дней этнониме *черкес*.

Проясняются некоторые другие особенности взаимодействия народов Передней Азии с народами Кавказа, в частности, процессы воздействия луристанской художественной бронзы на развитие кобанской культуры, возникшей на Кавказе в XIII-XII вв. до н. э. В IX в. до н. э. следы этого влияния становятся особенно заметными, что обусловлено, быть может, проникновением северокавказцев в Переднюю Азию, в том числе и в Луристан, который с прилегающими районами Загра оставался основной областью обитания касситов (Jaritz, 1957. P. 850-852; Алиев, 1960. С. 78). С другой стороны, вполне возможно отдельные группы лурского населения оседали в районах Центрального Кавказа. По-видимому, кобанская культура стала промежуточным звеном или посредником воздействия Луристана на скифский звериный стиль. А походы самих скифов в Переднюю Азию в VII в. до н. э. ознаменовались появлением в скифском зверином стиле новых, дополнительных черт и мотивов, навеянных традициями и стилем поздней луристанской бронзы (Nansar, 1934; Погребова, Раевский, 1992).

Касситы и затем их потомки каспии всегда тяготели к Кавказу, к кавказскому культурному пространству. Правильно замечено, что взаимодействие кассито-каспиев и эламитян с кавказским этноязыковым миром следует рассматривать «не только в связи с малоазиатско-кавказскими языковыми параллелями, но и независимо от последних» (Алиев, 1960. С. 81). В первом тысячелетии до н. э. кассито-каспии, воспринявшие индоиранскую культуру, стали фактически одним из восточнокавказских народов. Границы страны Каспиана простирались до Главного Кавказского хребта вплоть до горы, получившей название Каспий (нынешний Казбек). Культурно-языковые связи между потомками касситов и северо-кавказскими народами стали в этот период еще более тесными, сопровождаясь, как видно, переселением отдельных групп касситского населения на Северный Кавказ.

Особо следует сказать в данной связи о кавказско-касситских и в том числе абхазо-адыго-касситских культурно-языковых параллелях. Например, заслуживает внимания тот факт, что, как правило, имена касситских царей, божеств, земель имеют сложную внутреннюю форму, которая образует в итоге законченное высказывание. Это ха-

рактерно в целом для полисинтетических языков, к которым относятся и абхазо-адыгские языки. Другая характерная черта – наличие формантов *s/as* и *ак/ик/ок* в именах касситских эламских и затем мидийских, ахеменидских царей, напоминая аналогичные суффиксальные морфемы черкесских личных имен и фамилий.

Известно, что в абхазо-адыгских языках формант «*и*» со значением «кровь», «кровное родство», «потомство» широко и разнообразно используется у абхазов и адыгов в личных именах и фамилиях, и еще чаще в терминах родства, о чем писал еще Н.Я. Марр (Марр, 1912; См, также: Бгажноков, 2010. С. 9). Таковы распространенные среди черкесов и абхазов в настоящее время фамилии *Уэрыш*, букв. «происходящий из ариев», *Транш*, *Мэш*, *Мэмрэш*, *Быкгыш*, *Пахъуш*, *Ахъумаш*, *Мэхъуэш* и др., а также термины родства: абх. *ааниа* – «дядя», «брат матери», *аашда* – «братья», черк. *шы* – «брат», *шыпхъу* – «сестра», *анэш* – «ближайшие родственники по материнской линии», *адэш* – «ближайшие родственники по отцовской линии», и др.

Следует думать, что с аналогичным значением, но уже с несколько иной смысловой доминантой – престижности, превосходства над носителями других родовых имен – включался данный элемент в названия кассито-эламских князей и мидийских царей. Вероятно, он служил символом святости, родовитости, знатности. Таковы касситские, эламские и новоэламские царские имена: Гандаш (1741-1726), Каштилиаш I (1704-1683), Уршигурумаш (конец XVII в до н. э.), Бурна Буриаш (Burnaburiaš – первый полновластный вавилонский царь с касситским именем – начало XVI в. до н.э.), Халидуш Иншушинак (Halludus Inšušinak, 1185-1180 до н.э.), Шутрук Нахунте I (Sutruk Nahhunte I, 1180-1160), Шилхак Иншушинак I (SilhukInšušinak I, 1155-1136), Хутелюдуш Иншушнак (Huteluduš Insusnak, 1135-1130), Халунаш Иншушнак (Hallunaš Inšusnak, 699-693), Шутрук Нахунте II (šutruk Nachhunte II, 717-699) и др. (König, 1977. P. 7; Husing, 1916. P. 19-20).

Продолжают эту «антропономическую» традицию имена ахеменидских царей и правителей: *Kuraš* – Кир, первый царь государства Ахеменидов, 530 гг. до н. э.; *Darejos* или *Darijamuš* – Дарий I, ахеменидский царь, 522-486 гг. до н. э. (König, 1977. P. 41).

По тем же причинам и на тех же основаниях выстраивается взаимное соответствие окончаний *ак/ик/око/ика*, часто встречающихся как в кассито-эламских, так и в адыгских личных именах. Не случайно многие ученые, в том числе Ф. Кенниг, Дж. Камерон исключают переднеазиатские

имена на – ук, -ука, – укку типа *Амицадук, Шилхак, Иншушинак, Ашпахтатаук, Маисдайукку, Дейокка, Ханасирука, Хардука* и др. из числа иранских и относят их к «субарийским» (хурритским), «загро-кавказским», а в конечном итоге к кавказским именам. По мнению Дж. Камерона, большинство имен Северо-Западного Ирана, известных по ассирийским источникам остаются кавказскими на протяжении IX и VIII вв. до н. э. (Cameron, 1936). Показательно, что И.А. Джавахишвили, обращая внимание на наличие подобных имен в античном Причерноморье, также относит их к многочисленной группе неиранских, определенно черкесских имен. В качестве примера он приводит множество черкесских, главным образом княжеских и знатных дворянских фамилий и имен: *Батоко, Богарсоко, Болотоко, Докиуко, Каншоко, Кургоко, Мафоко, Шогеноко, Ахерако, Атажуко, Безруко, Дударуко, Эльжеруко* и др. (Джавahiшвили, 1939. С. 33-36).

В кассито-эламской культуре подобные имена приобретали иногда статус божественных. Для этого названия царей соединялись с названиями богов или полубогов. Таковы имена, соединенные со знаком святости, представленным в слове *Inšušinak*. Это слово означает буквально чистый, истинный, святой, поэтому эламские правители *Шилхак Иншушинак, Халлидуш Иншушинак, Хутелидуш Иншушинак, Халлупаш Иншушинак* и др. носили титул *gīr*, устанавливающий их место в табели о рангах между богами и царями (König, 1977. P. 30). В то же время за самим *Иншушинаком* (Иншушнаком, Инсушнаком) оставался титул Истинного, Святого царя (*Lauterer König*) (König, 1977. P. 30-31), великого господина и прародителя царей (König, 1977. P. 113).

Практиковалось также соединение имени касситских и эламских царей с именами каких-либо божеств – Бога грома, ветра и бури – *Бурияша*, Бога света *Нахунте* (*Nachhunte*), ср.: *Бурна Бурияш, Шутрук-Наххунте, Шутрук-Наххунте II* и др.

Отсюда высокопарное высказывание Шилхака-Иншушнака о себе: *Я Шилхак-Иншушинак, сын Шутрука-Наххунте, подданный (Бога) Наххунте, избранник (любимец) (Бога) Иншушинака, получив титул полновластного правителя от Богов Элама, расширил империю* (König, 1977. P. 113). При этом обращает на себя внимание само слово *Наххунте* как название Бога Света у касситов, оно почти буквально повторяет черкесские слова *нэху* – «свет, нэхульэ» – «рассвет», *нэхунэ* – «отблеск», что, быть может, является свидетельством формирования названия кассито-эламского Бога Света через взаимодействие с черкесским обозначением света.

То же самое следует сказать о двух других божествах в пантеоне касситов: *Худха* и *Бурияш*, соотносимых с вавилонским *Ададом* – Богом грома, ветра, дождя и бури (Delitzsch, P. 24-25]. По оценке И. Алиева, эти и многие другие имена касситских богов, содержащиеся в вавилонских источниках, «чужды индоевропейским именам, имеют местный характер и самобытны» (Алиев, 1960. С. 81). Поэтому неоднократно предпринимались попытки связать касситский язык с языками хаттов, кашков, а также с кавказскими языками. Но, однако, не привлекались в достаточном объеме данные абхазо-адыгских языков, что и сделало проблематичным сам вопрос о близости кассито-эламского и хаттского языков. В частности, в отношении *s/as* и *ak/uk/ukka* в кассито-эламских и каспийских именах высказывались различного рода другие предположения (Грантовский, 1970. С. 68-71, 204-209, 249, 271-285), а возможность их соответствия абхазо-адыгским аналогам не рассматривалась.

О взаимовлиянии переднеазиатских и кавказских языков и культур свидетельствуют и такие, условно говоря, «исторические» адыгские имена и фамилии как *Лэурсан* (Лосанов, Лаурсанов), *Ло* (Лоов), *Лю* (Люев), *Мыд* (Мидов), *Мадай* (Мадаев – у чеченцев), *Даукъуэ* (Дауков, Дуков), *Къурашэ* (Кураш), *Къурашын* (Курашинов), *Ахъумаиш* (Ахумашев), *Маргъуиш* (Маргушев), *Марыиц* (Марышев), *Дахэ* (Дахов), *Ашабэ* (Ашабов), *Ашабоко* (Ашабоков), *Ашэмэз* (Ашамез), *Амыцокъуэ* (Амшоков), *Емышэ* (Емишев), *Ахъэмын* (Ахаминов), *Зыракъуиш* (Заракуш), *Алборэ* (Альборов), *Индрокъуэ* (Индароков), *Идар*, *Ендар*, *Индрей* (Индреев).

Видимо, эти имена так или иначе связаны с реалиями древней Передней Азии и Индии: *Луристан*, *луры* – жители Луристана, *лулубеи* – племенная группа, находившаяся в близком родстве с касситами, *Мидия*, *Дейокка* – первый царь Мидии, *Кир* (Кураш) – первый царь государства Ахеменидов, *Ахурамазда* – верховный бог в зороастризме, *Маргуиш*, др.греч. *Маргиана*, совр. *Мары* – царство в Мидии, *дахи* – скифское племя в Средней Азии, тесно связанное с Мидией, *Амешаспенты* – небесные святые или ангелы в зороастризме, *Аша* – один из Амешаспентов, олицетворяющий Праведность и Мировой порядок, *Ахемене* (Хакхаманиш) – родоначальник Ахеменидов, *Заратуиш* (Заратуштра) – пророк, положивший начало зороастризму, *Альбордж* – мифическая гора выше солнца и звезд, где пребывает сам Ахура-Мазда, *Индра* – в ведической религии царь богов.

С некоторыми из этих хорошо известных и громких имен и названий прямо перекликаются аналогичные имена в «Истории адыгейского на-

рода» Шоры Ногмова. Это сюжеты, связанные с адыгским князем *Лавристаном* и его сватовством (Ногмов, 1958. С. 99-105), а также с вавилонским уроженцем ханом *Ларуном* (Там же, С. 109], с памятником в честь *Дауковых* – «Даукъуэхэ я сын» (Ногмов, 1958. С. 105). Особенно показателен состав *уаса* (калыма), который по преданию затребовала от Лавристана девушка из рода *Коготлоко*: *Сто человек мидийского и дакского племени, сто одежд египетских из светлосинего сукна, сто сирийских налокотников, сто кольчуг с золотыми кольцами. Вот моя цена* (Ногмов, 1958. С. 104).

IV

Кассито-абхазо-адыгские культурно-языковые связи, как мы убеждаемся, складывались под влиянием и на фоне более масштабного арийско-кавказско-переднеазиатского взаимодействия. Если в эпоху неолита и ранней бронзы эти контакты были обусловлены во многом аридизацией и переселением значительных масс переднеазиатского населения на Кавказ, то во втором тысячелетии до н. э. наблюдается движение в обратную сторону. В этот период северокавказские племена, и прежде всего черкесы, соединившись с индоиранскими племенами, с которыми они длительное время находились в одной контактной зоне, устремились на юг и заняли Индию и Переднюю Азию.

К числу иранских племен, соединившихся с черкесами, относят в первую очередь киммерийцев – скотоводов и земледельцев Северного Причерноморья, носителей локального северокавказского варианта позднеархейской культуры. На рубеже II–I тыс. до н. э. киммерийцы стали связующим звеном между населением Кавказа и Юго-Восточной Европы. По всем данным, причиной их переселения на Северный Кавказ явилось увеличение засушливости и уменьшение продуктивности южнорусских степей (Махортых, Иевлев, 1991). Связывая киммерийцев северо-западного Каказа с каменноостско-березовской группой памятников, Н.Л. Членова сближает ее с кобанской культурой Центрального Кавказа (Членова, 1984). Иначе говоря, фактически это протомеотские племена, образовавшиеся в результате смешения с местным, адыгским населением. Некоторые исследователи прямо указывают на то, что киммерийцы схожи во многом с черкесами. А.Б. Башмаков допускает, что со временем они приняли язык и культуру протоадыгских племен (Baschmakoff, 1937. Р. 140). Одним словом, не случайно древние писатели называли киммерийцев гимирами (*gimir*), включая тем самым в число местных, кав-

казских народов, ведущих свое происхождение от библейского Яфета и его сына Гомера.

В период раннего Средневековья потомки киммеро-меотских племен вошли в состав Черкесии под названием *кЭмгуйи* – кемгуй (Л.Я. Люлье) или темиргойцев. Согласно преданиям, затем князь Болеток разделил владение кемгуев на три удела: собственно Темиргой, Хатукай и Хегак (Люлье, 1927. С. 12). Вместе с Кабардой, объединившей меотские, или касские племена Центрального Предкавказья, эти уделы вошли в состав раннесредневековой Черкесии, которая стала преемницей Касахии Константина Багрянородного. Считая эту преемственность вполне естественной и очевидной для Северного Кавказа, Ф. Брун подчеркивал, что в черкесах «нельзя не узнать потомков обитателей Касахии императора Константина, кешехов арабских писателей и касогов Нестора» (Брун, 1879. С. 120).

Все это свидетельствует еще и о том, что в течение длительного времени Кавказ оставался «страной», с которой индоевропейцы щедро делились своими культурными находками и достижениями, получая взамен не менее щедрые дары и уроки восточной цивилизации. Можно сослаться в данной связи на большое число закрепившихся в черкесском языке индоиранских заимствований. В числе этих заимствований такие слова, как *уэркъ* – «сословие профессиональных воинов-всадников», *мазэ* – «луна», *махъсымэ* – национальный хмельной напиток, *жъэгу* – очаг; *быгу* – название быка-производителя у шапсугов, *ажэ* – «козел», *шы* – «лошадь», *нысэ* – «сноха, невестка», *шэ* – «стрела», *уэц* – «топор» и много других.

Во взаимодействии с индоевропейцами северокавказцы приручили лошадь. Об этом свидетельствуют древнейшие находки домашней лошади в Северном Причерноморье и в ареале от Дона до Заволжья (Гамкрелидзе, Иванов, 1984. С. 558-559). Отсюда индоевропейское происхождение названия лошади (Джаукян, 1967. С.112; Старостин, 1988; 114-115) и культ коня почти у всех северокавказских народов. В индоиранско-северокавказской контактной зоне сформировалась всадническая культура, которую во второй половине II тыс. до н. э. племена Юго-Восточной Европы и Северного Кавказа привнесли (в ходе миграции) в Переднюю Азию и Индию. По мнению И. Алиева, в их числе были «конеvodческие подвижные и активные племена белозерской культуры», господствовавшие в южнорусских степях и на Северном Кавказе (Алиев, 1973). С движением этих племен в Закавказье и в Переднюю Азию связывает он вслед за Р. Гиршманом (Ghirshman, 1964)

близость археологических комплексов (прежде всего металлических изделий) северо-западных областей Ирана и Северного Кавказа.

Концепция миграции иранских племен в Закавказье в доскифскую эпоху поддержана другими авторитетными иранистами, и они также связывают этот процесс с развитием всадничества у северокавказских народов (Кузьмина, 1973; Погребова, 1977).

Известно, что у черкесов всадническая культура была доведена до совершенства и сохранялась вплоть до середины XX столетия, а черкесская конница была признана одной из лучших в мире. Но здесь нужно сказать еще и о том, что такое всадническая культура. На наш взгляд, это особая, разветвленная ценностно-нормативная система использования верховой езды, включавшая в себя множество взаимосвязанных компонентов. В их числе: методика вскармливания будущих скакунов, традиции выращивания особых пород, приспособленных к условиям повседневного, прежде всего военного быта, забота о сохранении чистоты этих пород, выездка и тренировка скакунов, приближенная к условиям боевых действий, высокое искусство изготовления конской амуниции – сбруи, седла, украшений в виде бляшек, культ коня и его посвящение и захоронение вместе с умершим или погибшим всадником и т.д.

Большие требования предъявлялись к самому наезднику. А именно к его амуниции (включающей неизменно богатый пояс из набора бляшек, наколенников и пряжки), к манере держаться в седле, к освоению всех видов и приемов верховой езды и управления боевым конем; отработке специфических приемов, позволяющих одержать верх над противником (См. об этом: Бгажноков, 1991; Бгъэжьнокъуэ, 1990).

Особого внимания заслуживает и всаднический этикет. У черкесов он был хорошо, во всех деталях, разработан как совокупность наполненных нравственным содержанием правил поведения всадников в обществе во всех типовых социальных ситуациях. Например, желая вступить в разговор с женщиной или старшим по возрасту или рангу мужчиной, всадник обязан был сначала спешиться (как минимум, – привстать на стременах). Встретив в пути женщину (пожилого мужчину), всадник также спешивался – обычно за 30–40 метров до приближения к ней.

Большое место занимала в системе всаднической культуры крепкая и трогательная дружба всадника и коня. Этой дружбе посвящались исторические рассказы, легенды, героические песни. В многочисленных песнях и преданиях воспет *Жа-*

маншэрык – верный конь и сподвижник Андемыркана, самого известного рыцаря Кабарды, жившего в первой половине XVI века. Рассказывают, что многочисленные враги и завистники Андемыркана сумели одолеть его, только заманив на охоту без его верного коня, которого предусмотрительно крепко заперли. Андемыркан умер стоя, опершись на меч с именем Жаманшэрыка на устах (Адыгский фольклор, 1969. С. 285-286).

Добавим к сказанному, что у черкесов, как и у алан и осетин, в состав похоронно-поминальных обрядов включался неизменно обряд посвящения коня. Во время похорон этот обряд исполнялся вплоть до 50–60-х годов прошлого столетия, воспринимаясь обычно, как театрализованная форма прощания усопшего (его души) с боевым конем и всадническим прошлым. К. Кох, известный ученый-естественник XIX в., рисует следующую картину погребения одного шапсугского воина: «Над могилой палат из ружей, и самый храбрый из присутствующих вынимает из ножен шашку покойника и несколько раз взмахивает ею над ним. Любимую лошадь покойника трижды проводят вокруг могилы и часто в качестве жертвоприношения или в память об этом дне отрезают ей ухо» (Кох, 1974. С. 622). Через год во время поминок устраивалось еще более пышное представление. В таких случаях, как утверждают жители Причерноморской Шапсуги, лошадь покойника наряжали в специальную рубашку – *шыджанэ*; она ниспадала ниже живота и обычно закрывала даже голову коня, лишь для глаз и ушей оставляли отверстия. В таком виде боевого коня покойника трижды обводил вокруг могилы кто-либо из ближайших родственников. После каждого круга мужчины давали из ружей залп. Затем кто-либо из юношей садился на этого, условно говоря, жертвенного коня (в седло, положенное поверх «рубашки») и скакал прочь. За ним устремлялись другие всадники, пытаясь догнать его и сорвать с коня покойного его «рубашку». Тот, кому удавалось завладеть рубашкой, торжествовал.

Традиции, связанные с разведением лошадей и всаднической культурой черкесов еще плохо исследованы [9; 8; 6, с. 3], и особенно в сравнительном плане, в связи с различными этапами древнейшей истории народов Юго-Восточной Европы, Кавказа, Передней Азии. Между тем, нельзя исключать, что еще в период первых тесных контактов с индоевропейцами, на рубеже III–II тыс. до н. э., была выведена адыгская порода лошадей. Получив впоследствии название кабардинской, она заслужила славу одной из лучших в мире боевых, походных коней (Бгажноков, 2006. Р. 3). В словаре-справочнике по коневодству, изданном в 1991 году, имеется крат-

кое описание кабардинской лошади: «Горбоносая голова, невысоко поставленная шея, длинные холка, спина и поясница, спущенный круп, часто саблистые задние конечности, очень крепкие копыта. Легкие и хорошо координированные движения, поворотливость, смелость и прекрасная память» (Гуревич, Рогалев, 1991. С. 73).

Суммируя сказанное, можно предположить, что еще во времена первых тесных контактов черкесов с племенами Юго-Восточной Европы у адыгов наметились контуры социальной организации, в которой особая роль отводилась культу коня и всадничеству. Видимо, уже тогда сформировалось также особое сословие профессиональных воинов-наездников – *уорков*, закрепивших благодаря такому названию свое индоарийское происхождение и особое место в иерархии адыгского общества.

В наследство от той далекой эпохи остались в языке и культуре черкесов названия рек, эпических героев, патронимий: река *Аруан* (Урвань), фамилии *Аруан*, *Уэрыш*, *Уэрыкъуэ*, *Вэрмахуэ* (*Уэрмахуэ*), *Уарий Дада* – верховный судья Кабарды. Некоторые другие слова в черкесском языке, возможно, также связаны с периодом тесных контактов с ариями, ср.: *уарэ* – междометие, выражающее удивление и восхищение, *уардэ* – «могучий», «статный», «величественный», *уэр/уэру* – «бурный/бурно», «масштабный/масштабно», «неукротимый/неукротимо».

Эти и многие другие подобные примеры заставляют думать, что зона индоевропейско-северокавказских контактов позволяла различным группам индоевропейцев свободно проникать на Кавказ, оказывая существенное влияние на быт и культуру местных племен, в том числе на быт и культуру проточеркесов.

ЛИТЕРАТУРА

Адыгский фольклор (Адыгэ IуэрыIуатэ). Нальчик, 1969.

Алиев И. 1960. История Мидии. Баку.

Алиев И. 1970 Рец.: Грантовский Э.А. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М. // Вестник древней истории, 1973, № 3.

Анфимов Н.В. 1971. Сложение меотской культуры и ее связи с степными культурами Северного Причерноморья // Проблемы скифской археологии. М.

Бауэр С.У. 2011. История Древнего мира. От истоков цивилизации до падения Рима. М.

Бгажноков Б.Х. 2006. Кабардинская лошадь – взгляд с укоризной // Кабардино-Балкарская правда. 7 октября.

Бгажноков Б.Х. 2014. Кассито-абхазо-адыгские культурно-языковые параллели // Вестник КБИГИ. № 1.

Бгажноков Б.Х. 2010. Социальная организация семьи. Нальчик.

Бгажноков Б.Х. 1991. Черкесское игрище. Нальчик.
Бгъэжънокъуэ Б. 1990. Шыр лым и гъуджэщ // Газ. «Адыгэ щIэнгъуазэ». № 1–4.

Бетров Р.Ж. 1978. Адыги: Возникновение и развитие этноса. Нальчик.

Брун Ф. 1879. Следы древнего речного пути из Днепра в Азовское море // Черноморье: Сборник исследований по исторической географии Южной России (1852–1877). Ч. I. Одесса.

Воронов Ю.Н. 1978. Западно-кавказская этнокультурная общность Эпохи поздней бронзы и раннего железа (Колхидо-Кобанская культура). Нальчик.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. 1984. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси.

Герни О.Р. 1987. Хетты. М.

Гиоргадзе Г.Г. 1961. К вопросу о локализации и языковой структуре каспских этнических и географических названий // Переднеазиатский сборник. Вопросы хеттологии и хурритологии. М. Вып. 1.

Грантовский Э.А. 1970. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М.

Грантовский Э.А. 2007. Ранняя история иранских племен Передней Азии. М.

Джавахишвили И.А. 1939. Проблемы истории Грузии, Кавказа и Ближнего Востока древнейшей эпохи // Вестник древней истории. № 4.

Джаукян Г.Б. 1967. Взаимоотношение индоевропейских, хуррито-урартских и кавказских языков. Ереван.

Дунаевская И.М. 1960. О структурном сходстве хаттского языка с языками Северо-Западного Кавказа // Исследования по истории культуры народов Востока. М.; Л.

Дьяконов И.М. 1967. Языки древней Передней Азии. М.

Дьяконов И.М., Старостин С.А. 1988. Хуррито-урартские и восточно-кавказские языки // Древний Восток. Этнокультурные связи. М.

Иванов В. Вс. 2008. Индоевропейские и древнесеверокавказские (хаттские и хурритские) этимологии. М. Т. 2.

Иванов В.Вс. 1985. Об отношении хаттского языка к северокавказским // Древняя Анатолия. М.

Иванов В. Вс. 1977. Предисловие к книге «Луна, упавшая с неба/ Пер. с древнемалоазиатских языков Вяч. Вс. Иванова..М.

История Древнего Востока. М., 1979.

История Древнего мира. М., 1979. Ч. 1.

Кабардинские здравницы (Адыгэ хъуэжъухэр) / Сост. З.П. Кардангушев. Нальчик, 1985.

Корневский С.Н. 2004. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья (Майкопско-новосвободская общность. Проблемы внутренней типологии). М.

Кох К. 1974. Путешествие по России и в кавказские земли // Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов X II I-X I X вв. Нальчик.

- Крупнов Е.И. 1957. Древняя история и культура Кабарды. М.
- Кузьмина Е.Е. 1973. Навершие со всадниками из Дагестана // ВДИ. № 2.
- Куфтин Б.А. 1949. Материалы к археологии Кавказа. Т.1. Тбилиси.
- Луна, упавшая с неба/ Пер. с древнемалоазиатских языков Вяч. Вс. Иванова..М., 1977.
- Люлье Л.Я. 1927. Черкесия. Историко-этнографические статьи. Краснодар.
- Марковин В.И. 1997. Дольменные памятники Прикубанья и Причерноморья. М.
- Марковин В.И. 2011. Курган Псынако – памятник дольменной культуры Кавказа. Нальчик.
- Марр Н.Я. 1912. Яфетическое происхождение абхазских терминов рода. СПб.
- Махортых С.В., Иевлев М.М. 1991. О путях и времени формирования раннекочевнических образований на юге Европейской части СССР в позднейший предскифский период // Древности Северного Кавказа и Причерноморья. М.
- Мейе А. 1954. Сравнительный метод в историческом языкознании. М.
- Меликишвили Г.А. 1962. К изучению древней восточно-малоазиатской этнонимии // Вестник древней истории. № 1 (79).
- Мунчаев Р.М. 1975. Кавказ на заре бронзового века. М.
- Мунчаев Р.М. 1994. Майкопская культура // Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ч. 1. М.
- Ногмов Ш. 1958. История адыгейского народа. Нальчик.
- Погрелова М.Н. 1977. К вопросу о миграции ирано-язычных племен в Восточное Закавказье в доскифскую эпоху // Вестник древней истории. № 2.
- Погрелова М.Н., Раевский Д.С. 1992. Ранние скифы и Древний Восток. М.
- Предки северо-восточно-кавказских народов, 2013 // <http://alpan365.ru>.
- Резепкин А.Д. 2012. Новосвободненская культура (На основе материалов могильника «Клады»). СПб.
- Старостин С.А. 1988. Индоевропейско-северокавказские изоглоссы // Древний Восток: этнокультурные связи. М.
- Трифонов В.А. 2001. Поправки к абсолютной хронологии культур эпохи энеолита – средней бронзы Кавказа, степной и лесостепной зон Восточной Европы (по данным радиоуглеродного датирования) // Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. Самара.
- Членова Н.Л. 1984. Оленные камни как исторический источник (На примере оленных камней Северного Кавказа). Новосибирск.
- Baschmakoff A. 1937. Cinquante siecles d evolution ethnique autour de la Mer Noire. Paris. P. 140.
- Cameron G. 1936. History of Early Iran. Chicago.
- Delitzsch F. 1884. Die Sprache der Kossäer. Leipzig.
- Ellias J. 1788. Memoir of a map of the countries comprehended between the Black Sea and the Caspian with an account of the Caucasian nations and vocabularies of their languages. London. P. 28-30.
- Forrer E. 1930. Stratification des Langues et des peuples dans le Proche-Orient prehistorique // Journal Asiatique, CCXVII.
- Ghirshman R. 1964. Persia from the Origins to Alexander the Great, L.
- Hancar Fr. 1934. Kaukasus – Luristan // Eurasia-Septentrionalis antiqua. Helsinki. IX.
- Hrozný B. 1953. Ancient history of Western Asia, India, and Greece. New York.
- Husing G. 1916. Die einheimischen Quellen zur Geschichte Elams. Leipzig.
- Jaritz K. 1960. Die Kulturreste der Kassiten // Anthropos. Bd. 55. Wien.
- Jaritz K. 1957. Kassitischen Sprachreste // Anthropos. Bd. 52. № 5-6. Wien.
- Justi F. Iranisches Namenbuch. Marburg, 1885.
- König Fr.M. 1977. Die Elamischen Königsinschriften. Osnabrück.
- König Fr.W. 1930. Der Burgbau zu Susa. Nach dem Bauberichte des Königs Darius I. Leipzig.
- Mallory J.P. 2010. The Indo-European Homeland and the Steppe Hypothesis: Research Agenda // Индоевропейская история в свете новых исследований (Сб. трудов конференции памяти проф. В.А. Сафронова). М.
- Nikolajev S.L., Starostin S.A. 1994. A North Caucasian etimological Dictionari. Moscow.

Бабич И.Л., Мартынова М.Ю., Ямсков А.Н. (ИЭА РАН)

КАКОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ОПЫТ «УПРАВЛЕНИЯ ГОРАМИ И ГОРЦАМИ» МЫ МОЖЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ?

В 2012-2014 гг. группа российских ученых ИЭА РАН работала над проектом Президиума РАН по теме «Модернизация экономики Северного Кавказа». В ходе работы мы обратились к швейцарскому опыту «управления горами и горцами», к которому невольно приходишь из-за явного сходства географических условий между этими двумя реги-

онами, с одной стороны, и абсолютного несходства сложившейся к настоящему времени социально-экономической и культурной инфраструктуры. Нам хотелось понять, каковы причины такой ситуации, и сформулировать возможные пути развития «горной жизни» на Северном Кавказе (Бабич, Мартынова, Вирт, 2013).

Северный Кавказ является одним из регионов Российской Федерации и обладает целым рядом специфических характеристик в области политической, экономической и культурной жизни. Эти особенности Северного Кавказа сложились постепенно, в течение XV–XX вв., благодаря следующим факторам: культурным традициям горских народов, проведению Российской империей в регионе военных и общественно-политических мероприятий, и наконец, специфической советской национальной политики, сформировавшей в национальных регионах СССР особую экономику и социальную среду (1917 - 1980-е гг.) (Бабич, Бобровников, 2007).

Традиции землепользования и местного самоуправления на Северном Кавказе являются неотъемлемыми составляющими жизни коренных народов, сложившимися исторически под воздействием различных экологических, социальных и экономических условий. Тем не менее, современные экономические преобразования, осуществляемые по всей России, в том числе и на Северном Кавказе, воздействуют на традиционное хозяйство, землепользование, систему самоуправления. Результаты данного воздействия носят как позитивный, так и негативный характер.

Можно ли вообще проводить научно обоснованные сравнения Швейцарии и Кавказа? Эта тема стала ключевой в ходе российско-швейцарских дебатов о будущем Северного Кавказа, которые были проведены в рамках проекта по программе Президиума РАН (28 июня 2012 г. Москва, Институт этнологии и антропологии РАН, 23 мая 2013 г., Москва, Общественная палата РФ, 8 октября 2014 г., Майкоп, Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований).

Представляет несомненный интерес швейцарский опыт кантональной системы организации общества и хозяйства, место в этой системе этнорегиональных культур (Мартынова, 2013; Мартынова, 2009, Мартынова, 2000), специфика организации землепользования и особенности его эволюции. Швейцария – высокоразвитая индустриальная страна с интенсивным высокопродуктивным сельским хозяйством, две трети территории которой занимают горы. При размышлении об экономическом будущем республик Северного Кавказа, о возможностях модернизации экономики и общества заслуживают внимания особенности организации жизни швейцарских горцев. Среди них система расселения в горных районах Швейцарии с развитым скотоводством, с традиционным зимним выпасом скота горцами в предгорьях и на предгорных равнинах, современные формы поддержки

фермеров-скотоводов в горных районах, наличие или отсутствие миграции населения с гор.

С одной стороны, для того, чтобы наши дебаты имели глубокий научный уровень, была приглашена швейцарская сторона – специалисты из Высшей школы менеджмента Арк, для которых поставленные в ходе проекта вопросы являются ключевыми в их практических компетенциях в сфере управления территориями Швейцарии вообще, и горными и горцами, в частности. Это позволило нам по-новому взглянуть на уже знакомые объекты, например, на территориальную организацию Швейцарии или роль традиционных институтов на Кавказе.

С другой стороны, нам хотелось бы соединить научные изыскания и практическую сферу горной экономики на Северном Кавказе, поэтому мы выбрали в качестве первого полигона внедрения научных рекомендаций в жизнь *Республику Адыгея*. Выбор данной республики обусловлен многими причинами, среди которых ключевыми стали: 1) наличие горных территорий, требующих «обустройства», 2) относительное спокойствие (политическое, религиозное и иное) проживания в республике, 3) готовность Правительства Республики Адыгея учитывать научные рекомендации и внедрять по возможности в развитие горной экономики.

Швейцарская Конфедерация и ее история являются собой яркий пример того, как можно сочетать в рамках одного политического союза интересы единого союзного государства со значительной самостоятельностью его регионов во многих сферах жизни. Швейцария – федерация (хотя формально называется по-прежнему конфедерацией), созданная в 1848 г. в результате перерастания союза независимых государств (конфедерации), возникшего в 1291 г., в федерацию как единое государство. Более века в стране действовала конституция 1874 г. С 1 января 2000 г. в Швейцарии действует новая конституция - «Федеральная конституция Швейцарской конфедерации», которая, как и прежние основные законы страны, поддерживает баланс силы центра и возможностей регионов, разделяя их полномочия. Ее статья 3-я гарантирует 20-ти кантонам и 6-ти полукантонам, на которые разделена Швейцария, все права самоуправления, за исключением тех, которые являются прерогативой федерального правительства. К ним относятся объявление войны и заключение мира, подписание международных договоров и вступление в союзы, учебная подготовка, материальное обеспечение вооруженных сил и руководство ими, регулирование внешней торговли. Единство и целостность государства обеспечивают и другие законодательные нормы. В частности, кантоны не имеют права выхода из конфедерации. Гарантируется

приоритет федерального права над кантональным. В то же время кантоны обладают не только собственными конституциями, но и имеют свое гражданство, законодательство, равное представительство в Совете кантонов – верхней палате парламента (Федерального собрания), право законодательной инициативы в нем и т.д. Кантоны вправе самостоятельно создавать свои органы власти, иметь свою полицию, свой бюджет и собственные источники доходов. Кантональные конституции часто определяют кантоны как «суверенные государства», «суверенные республики».

Одной из сфер самостоятельности кантонов является положение, согласно которому эти структуры независимы в земельной политике, налоги на землю традиционно полностью поступают в местный кантональный бюджет. Во многом самостоятельно организованы системы учета и регистрации земельных владений и форм их использования.

В силу политического устройства и системы государственного управления особенностью Швейцарии является то, что роль государства в аграрной сфере проявляется главным образом не на уровне конфедерации, а на уровне кантонов и общин. В то же время на уровне конфедерации обеспечиваются общие правовые условия, осуществляется стимулирование тех или иных сфер деятельности, регулируются отношения в области охраны окружающей среды, экологической и энергетической политики. На конфедеративном уровне законодательно закреплено правило о том, что каждый кантон обязан установить границы территорий сельскохозяйственного использования, территорий под застройку и земель, где строительство запрещено (охраняемые и резервные), в сбалансированном соотношении.

Нам хотелось бы остановиться на наиболее острых моментах этих дискуссий, которые вызывают наибольший научный, а главное – практический интерес. Что близко и что можно адаптировать на уровне государственной политики на Северном Кавказе из представленного нам за годы совместной работы со швейцарскими коллегами швейцарского опыта «освоения гор и управления горцами»?

«Особенность» как черта этнического самосознания

По мнению швейцарских коллег, Швейцария – это особый случай. Что под этим понимается? Это осознание местным населением своего особого случая, особой модели, особой судьбы не только в рамках европейского, но и в рамках мирового сообщества. Для Кавказа тоже характерно осознание своего особого положения и в большей степени

– осознание драмы своего особого положения. И это, безусловно, роднит эти два региона и два типа самосознания народов. Как нам представляется, и Российская империя, и СССР отчасти понимали эту особенность народов Кавказа и во время периода «освоения» региона российские власти выработывали отдельную политику по отношению к кавказским народам. В современных условиях становления новой экономики и нового государства на территории Российской Федерации это не всегда учитывается, что оборачивается «пробуксовкой» на Кавказе тех реформ, которые власти проводят и в других регионах страны.

Кооперация как основа жизни

То, что имеет глубочайшую значимость в рамках швейцарской политики – это концепция кооперации, концепция координации усилий, это совместность, это глубоко укоренная высококультурная коллективность, это наличие у швейцарцев коллективных устремлений.

Подобное чувство кооперации во многом было успешно использовано советской властью в ходе создания колхозов и совхозов и на Кавказе. Советские колхозы в сочетании с частными (подсобными) хозяйствами в данном регионе представляли собой хорошо развитый комплекс, позволявший развивать экономику с учетом региональных особенностей (Бабич, 1995).

Развал колхозной и совхозной системы для жизни народов Северного Кавказа стал настоящим бедствием. Колхозы или традиции кооперации (как их принято называть на Кавказе, традиции взаимопомощи), действительно хорошо работали как до революции, в XIX веке, так и в советские годы. Современные российские тенденции к индивидуализму и развитию частной собственности во многом уже разрушили и продолжают разрушать традиционный общественный и культурный быт северокавказцев. И в этом контексте *гармоничное соотношение частной собственности и индивидуализма, свойственного европейским системам, и сохранившиеся и развивающиеся традиции кооперации в Швейцарии представляют позитивный опыт, который вполне может быть применен на Кавказе.*

«Земли традиционного животноводства» и проблема регулирования землепользования на территориях сезонных пастбищ Северного Кавказа

В ходе дискуссий вопрос об урегулировании землепользования на Северном Кавказе был поднят

нашим коллегой - *Т.И. Интигриновой*, которая обоснованно назвала его одним из главных для современного Северного Кавказа. Речь идёт прежде всего о землях, ранее использовавшихся в качестве летних высокогорных и зимних равнинных пастбищ отгонного скотоводства, которые в значительной своей части из-за упадка скотоводства в последние десятилетия были либо заброшены (в горах), либо незаконно заняты самовольно построенными селениями с пахотными угодьями (на равнинах). Не вдаваясь в исторические или современные детали, отметим только один аспект проблемы – кто же фактический собственник этих земель в настоящее время и насколько эффективно он ими распоряжается? Ответ очевиден – эти «земли отгонного животноводства», юридически находящиеся в государственной собственности, фактически перешли в бесконтрольное самовольное распоряжение (практически во владение) субъектов хозяйственной деятельности, которые по закону должны были бы использовать их только и исключительно в качестве сезонных пастбищ для выпаса скота. Эта проблема по сути уже зашла в тупик и провоцирует острые межэтнические конфликты, например, в равнинном Дагестане и в восточной части Ставропольского края, так как горцы, которые исторически являются пользователями сезонных зимних пастбищ, с одной стороны, и с другой стороны, местные жители равнин, принадлежали и принадлежат к разным народам (Ямсков, 2013, 23-40).

Вопрос о собственности и, следовательно, возможных путях урегулирования данной проблемы незаконного использования пастбищных угодий под строительство поселений и распашку может быть решен и в рамках сохранения нынешней государственной собственности на эти земли. В этом случае требуется лишь переход органов власти к реальному на деле решению вопросов землепользования в соответствии с существующим или в большей или меньшей степени измененным, в плане учета сложившихся реалий, законодательством. Но теоретически можно предположить и движение в сторону коллективной (сохраняющиеся выпасы) и частной (дома и приусадебные участки) собственности на эти земли, формально передаваемые фактическим пользователям, либо даже полный переход к ним, то есть превращение того, что есть *de facto*, в *de jure*. В обоих случаях, однако, весьма вероятно проявление социально-экологического феномена «трагедии общинных ресурсов», который впервые описал американский эколог Г. Хардин именно на примере пастбищ, находящихся в коллективном владении или пользовании. Эта гипотеза получила признание специалистов в области социальных и экологических наук и вошла практически во все

учебники экологии. Упрощенно её суть в том, что если нет эффективного контроля за нагрузкой на пастбища (т.е. количеством выпасаемого скота) и за экологическим состоянием пастбища, то скотоводы в итоге неминуемо придут к краху вследствие перевыпаса (т.е. выпаса избыточного количества скота, превышающего естественную ёмкость пастбища) и деградации почвенно-растительного покрова пастбища (Ямсков, 2012, 231-247).

В этом отношении для Северного Кавказа может быть весьма поучительным опыт Швейцарии, где, как известно, тоже широко практиковалось и поныне сохраняется горное отгонное скотоводство и сезонные пастбища, коллективно используемые скотоводами, объединяющими свои стада для выпаса. В Швейцарии исторически и сейчас существует как коллективная (общинная) собственность на пастбища, когда владельцем выступает вся определенная община как юридическое лицо (жители сельского поселения или нескольких ферм в долине реки), так и частная, если жители села или нескольких хозяйств разделили бывшие общинные пастбища на отдельные участки.

В дебатах о возможности сопоставления опыта Швейцарии и Северного Кавказа в сфере регулирования землепользования на пастбищных землях и недопущения социальных конфликтов и экологических проблем в данной области очень ценный пример привёл швейцарский коллега *О. Кубли*. Он подчеркнул, что в его стране теперь нередко встречаются ситуации, когда владельцы частных пастбищных участков вновь объединяют их вместе под единое пастбище для оптимизации выпаса скота. То есть практика доказывает, что не всегда и не везде частная форма владения пастбищами более экономически и экологически эффективна, чем коллективная (общинная). Поэтому в условиях современной Швейцарии имеют место случаи частичного возврата к принципам общинного землепользования на пастбищах. Хотя, конечно, частный владелец всегда юридически и фактически может вновь вывести свой участок из общего пастбища.

С одной стороны, Швейцария – это обнадеживающий пример того, что само по себе коллективное пользование пастбищными землями, безотносительно их правового статуса, теоретически может быть эффективным и на Северном Кавказе. С другой стороны, для этого необходимо, чтобы пользователи пастбищами демонстрировали те культурные нормы и ценности, которые отличают современных жителей горных районов Швейцарии, то есть умение и желание сочетать частные и общественные интересы, кооперироваться с соседями, согласовывая свои интересы с интересами других жителей

данной местности. Вопрос лишь в том, как придти к этому и что надо сделать для того, чтобы люди могли проявлять именно такие черты. Ответа пока найдено не было. Но, повторимся, раз в Швейцарии такой вопрос был решен, то, теоретически рассуждая, и на Северном Кавказе тоже может быть найдено его решение.

*Проблема формирования северокавказской
(кавказской) идентичности.
Территориальные и социо-культурные
общности против этнических*

Народы Кавказа и Швейцарии объединяет стремление к независимости, чувство независимости. У швейцарцев, как известно, сильно развито это чувство независимости. Для народов Кавказа это тоже характерно. Но встает вопрос, который требует анализа: как швейцарцам при всех кантональных и региональных различиях удалось объединиться и создать единое государство с единой этикой, экономикой и социальными гарантиями при сохранении языковых и традиционных культурных особенностей регионов, а народам Северного Кавказа не удастся и никогда не удавалось объединиться даже в рамках культурных объединений? Если мы обратимся к кавказской истории, то увидим, что народы часто были разъединены, и даже под угрозой внешнего врага и необходимости обороны им не удавалось создать если не политический, то хотя бы военный союз.

Для нас важно понять, можно ли в настоящее время создавать территориальные объединения на Северном Кавказе для более успешного развития экономики вне и поверх республиканских границ? Или же речь может идти лишь об этнических объединениях? В Швейцарии в настоящее время создаются новые социально-экономические территориальные образования для более успешного развития экономики и социальной сферы, которого требуют нынешние условия жизни. Причем эти новые образования, или, как их называют в Швейцарии, «агломераты», не связаны с кантональными границами.

В России вопросы иных территориальных образований, не привязанных к границам территориально-административных единиц, практически не рассматриваются. Единственным исключением являются наши, своего рода тоже «агломераты», – 52 агломерации на всю Россию, т.е. территории с миллионным населением и с центром свыше 250 тыс. жителей. Это, безусловно, позитивная тенденция. Имея миллионное население в своих границах, можно привлекать больше инвестиций, и таким образом на территории России

было выбрано несколько агломераций в качестве объектов территориального планирования. Однако нынешние российские законы практически сводят на нет эту позитивную тенденцию. Закон РСФСР № 131 сформулирован таким образом, что территориальные образования как субъекты местного самоуправления не могут между собой взаимодействовать по хозяйственным вопросам. Таким образом, данный закон не только не предполагает координацию, кооперацию и взаимодействие, наоборот, – лишает муниципальные образования этих возможностей. И с этим надо, безусловно, что-то делать.

Швейцарский опыт показывает, что территориальные образования вне существующих административных границ и рамок не только возможны, но и весьма перспективны в плане социально-экономического развития (*М. Ламбер*), и этот опыт для развития экономики Северного Кавказа бесценен. Хороший пример по этому вопросу приводила *О. Глезер*. Она подчеркнула, что Дагестан, который делится на равнинную, предгорную и горную зоны, в плане территориального планирования должен рассматриваться не как единый субъект, а как четыре различных территории, внутри которых и нужно развивать координацию и кооперацию. Но для этого нужны новые законодательные меры, которые позволили бы осуществлять данное развитие. *И.М. Сампиев* привел другой пример. В программе Приволжского федерального округа есть планы территориального планирования по-новому – вне границ республик, областей и т.д., исходя только из экономического успеха. И вроде название то же самое, что и в Швейцарии – «территориальное планирование», а на самом деле речь идет о «квазипланировании», что на практике осуществить невозможно.

И.М. Сампиев подчеркивал, что в российском случае никакого согласования интересов жителей существующих и объединяющихся территориально-административных единиц, как это имеет место в случае агломератов в Швейцарии, при территориальном планировании не предполагается. А предлагается следующее: якобинское «нарубить по живому», а дальше посмотреть, что будет. В полиэтничном обществе при таком подходе ничего хорошего быть не может. Причем дело даже не в том, что в России есть республики, и их статус объективно мешает новым территориальным объединениям, но даже если бы не было республик, все равно программа «территориального планирования» в России не предполагает процесса «общественного согласования». А мы все сводим к этническому фактору. Но не в нем дело, подчеркивает *И.М. Сампиев*. Россия должна быть феде-

ративным государством не потому, что в стране проживает много народов, а потому, что размеры государства не позволяют управлять государством по-другому.

Система местного самоуправления на Северном Кавказе и швейцарские кантоны

Еще в начале 1990-х годов член-корр. РАН А.С. Арутюнов поднял вопрос о создании кантонов на Северном Кавказе наподобие швейцарских. Кантональная система в Швейцарии складывалась веками и существует уже столетия. И. Петров, специалист по Швейцарии, считает, что для Кавказа это неприменимо. Что такое кантонизация в Швейцарии? Это долгий путь создания либерального политического и экономического порядка на местном уровне в рамках процесса так называемой «Регенерации», который шел в 1820-1830-е гг. в Швейцарии. Тогда, в XIX в., первым принял у себя либеральную конституцию кантон Тургау, затем за ним пошли все остальные кантоны. И только потом, в 1848 г., после Гражданской войны, между прочим, появилась возможность образовать либеральную швейцарскую федерацию в том виде, в каком она существует сейчас уже более 160 лет.

Естественно, мы можем задать себе вопрос – возможна ли такая либерализация на основе регионов Кавказа, возможно ли сейчас рождение на Кавказе либеральной экономической и политической культуры? Многие участники коллоквиума высказались за то, что это невозможно. Можно ли представить себе, что в Чечне принимается конституция, которая на деле гарантирует все либеральные буржуазные свободы? Нельзя. Поэтому здесь можно решать вопрос только в общероссийском масштабе. Только общая либерализация России в целом сможет вытащить и Кавказ за собой. Здесь, собственно говоря, делать особо ничего не нужно – нужно только соблюдать Конституцию. Но первый шаг – это создание нормального Закона о референдуме. Мы должны иметь не тот «урезок», который есть сейчас, а такой Закон, какой есть в настоящее время в Швейцарии. В этом смысле швейцарский опыт может быть успешно перенесен и в Россию, но только на неё всю, а не на часть – Северный Кавказ. Между тем, если мы обратимся к историческому опыту северокавказских народов и к опыту управления ими российско-имперской властью, то мы видим, что регулярные *общественные сходы*, своего рода референдумы, являлись тогда важным институтом общественного управления и основой взаимоотношений российского государства с населением региона. Система общественных сходов

имела несколько уровней: от сельского до национального. Мы знаем, например, историю общественных сходов Кабарды, Балкарии и т.д. (Бабич, 1990, 80-90)

И.М. Сампиев подчеркивает, что Кавказ в прежние века имел демократические формы правления, поэтому идеи демократии в традиции и культуре народов Кавказа существуют поныне. Между тем, для их сохранения и развития в настоящее время следует создать определенные условия, при которых эти традиции могли бы возродиться и в общественной жизни. Если в целом российская система будет противоположна этим демократическим принципам, то принципы традиционной демократии не будут работать и на Кавказе.

Проблема конституционного патриотизма

Что такое Швейцария? Это нация политической воли. Это означает, что в основе всех кантонов и в основе Федерации лежит единое понимание того, куда должна идти страна, что она должна развивать, чего добиться в итоге, что получить. Женева, как подчеркивал И. Петров, отличается от Берна, как Марс от Земли, но у них есть единое политическое самосознание, в основе которого – верховенство права и гарантии собственности. Что нужно делать России на Кавказе? Нужно было бы провести процесс «строительства политической нации» (nation building). Определить, что мы хотим в итоге получить? Между тем, как подчеркивали некоторые участники международного коллоквиума, Кавказ сейчас движется по пути, по которому Швейцария двигалась в XVI веке, – он отделяется постепенно от Империи, то есть от России, так же, как в XVI веке Швейцария дрейфовала в сторону от Священной Римской империи. Как остановить этот процесс? И надо ли останавливать? Или как его можно канализировать в позитивную сторону? Это большой вопрос! Что может стать основой для сплочения кавказских регионов? Идея, которая лежит в основе Швейцарской Конфедерации и которая в принципе переносима на кавказскую почву, – это идея конституционного патриотизма.

Это означает, что Дагестан или Чечня должны научиться осознавать себя через призму принципов конституционного права, а не посредством «средневековых норм». Именно отсутствие конституционного патриотизма привело Югославию к страшному конфликту, отсутствие *конституционного патриотизма* привело и Кавказ к ряду очень жестких конфликтов. Как запустить процесс перехода от «средневекового» понятия патриотизма к конституционному на Северном Кавказе? Или

можно научиться сочетать эти два вида патриотизма и правовой культуры? Этот вопрос еще требует своего анализа.

*Социальные конфликты на Северном Кавказе
как основное препятствие на пути развития
этнографического, экологического,
спортивного туризма и агротуризма
(сельского туризма)*

Условия для развития туризма – это та сфера, где парадоксальным образом Северный Кавказ и Швейцария крайне близки друг другу с точки зрения природных условий и хозяйственно-культурных традиций населения, но представляют при этом полярные противоположности в плане современной социально-политической обстановки и реальных возможностей принятия туристических потоков. Напомним, что Швейцария – это страна, где фактически родился туризм в его современном понимании (включая альпинизм, экологический туризм и т.д.). Её исторический опыт показывает принципиальную возможность перехода сельского населения горной страны от традиционной экономики, основывавшейся на сельском хозяйстве, к современному экономическому укладу с высокой ролью сервисных услуг и других сфер занятости, прямо или косвенно связанных с развитием туризма.

Современное альпийское сельское хозяйство горных районов Швейцарии, в основе которого лежит отгонное скотоводство благодаря массивным субсидиям от правительства сохраняет свои позиции в сфере занятости. Однако эти субсидии, что главное, направлены не только и не столько на поддержку производства сельскохозяйственной продукции в альпийской (высокогорной) зоне, но прежде всего на решение ряда других взаимосвязанных задач. Это, во-первых, сохранение силами местных фермерских хозяйств культурного ландшафта горных районов с их мозаикой лесов, пастбищ и сенокосов, то есть недопущение зарастания открытых луговых пространств лесом или кустарниками, что неминуемо происходит в случае прекращения выпаса или сенокосения. Не менее важно и то, что благодаря субсидированию альпийского скотоводства фермеры сохраняют также традиционные швейцарские горные пейзажи с типичными для них пасущимися стадами и перезвоном колокольчиков на шеях коров, ведь без этого виды Швейцарии тоже лишились бы своих привычных черт и значительной доли привлекательности в глазах туристов.

Если же говорить собственно о сельскохозяйственной продукции, то в альпийской зоне теперь

в основном производятся «экологически чистые» продукты, преимущественно сыры. Правда, из-за высокой себестоимости они даже при условии субсидирования правительством не смогли бы успешно конкурировать с аналогичной продукцией сельского хозяйства, производимой в лежащих ниже и гораздо более благоприятных по природным условиям зонах страны. Однако движение за «органическое сельское хозяйство» и готовность очень многих туристов и граждан Швейцарии покупать пусть и гораздо более дорогие, но зато «экологически чистые» продукты питания, оказалось поистине спасительным для альпийского скотоводческого хозяйства. Наконец, развитие агротуризма, или сельского туризма, когда отдыхающие приезжают на горные фермы и живут там в качестве гостей, питаются производимыми в этих же хозяйствах на их глазах экологически чистыми продуктами и наблюдая за жизнью и традиционным хозяйством горцев, стало ещё одним из важнейших источников доходов для сельских жителей горных районов Швейцарии. Как мы видим, возник новый хозяйственный комплекс альпийской зоны, уже далеко не только сельскохозяйственный в своей основе, а скорее туристический, если исходить из ведущего источника денежных доходов у местных фермеров.

Очевидно, что все эти предпосылки для трансформации горной экономики из преимущественно сельскохозяйственной в новую, современную и основанную на обслуживании туристических потоков, есть и на Северном Кавказе. Это и прекрасные горные пейзажи, и сохранившиеся навыки местных жителей в сфере горного сельского хозяйства и скотоводства, в том числе производства местных и уже давно популярных в России продуктов питания (адыгейский сыр, сулгуни, айран, кефир, шашлык и т.п.). Прекрасно узнаваемы и бренды «Кавказ» или «горцы Кавказа», так что никакой пропаганды этого региона среди потенциальных туристов не требуется. Да, конечно, транспортная и экономическая инфраструктура крайне плохо развиты в горах Северного Кавказа, но их можно было бы постепенно совершенствовать по мере развития туристического сектора экономики горных районов, да и вообще в России это слабое место почти всех регионов, исключая мегаполисы. Понятно, что реальная проблема, препятствующая масштабному развитию различных видов туризма в горах Северного Кавказа, лежит совсем в другой плоскости – в социально-политической конфликтности и криминогенности в его регионах, а в конечном счете, в неработающих или плохо работающих законах.

К сожалению, далее констатации этого очевидного факта наши дискуссии не продвинулись, так как пути эффективного решения социально-политических проблем Северного Кавказа пока не очень видны. Некоторым утешением и позитивным добавлением к сказанному может служить лишь тот факт, что в не столь уж давнем позднем Средневековье и ранее швейцарцы отличались повышенной воинственностью и активно вербовались наёмниками почти во все европейские армии. Правда, помимо сведений исторических хроник об их подвигах или зверствах, единственным свидетельством этих прошлых традиций остались наёмные гвардейцы Ватикана, исстари набираемые только из швейцарцев. Экономический рост Швейцарии и превращение её в XIX в. в мировой центр горного туризма и альпинизма сопровождался ростом законопослушности населения и снижением числа правонарушений, что, собственно говоря, было всего лишь двумя сторонами одного процесса успешной социо-культурной модернизации этой страны. Повторим ли такой путь в других горных регионах мира и, главное, можно ли его стимулировать извне, а если да, то как именно, остаётся открытым вопросом.

Проблема не работающих должным образом законов проявляет себя и в собственно экономической сфере. Так, *Р.Г. Грачева* указала, что на Кавказе понятие «кооперации» действительно есть и оно заложено всем ходом общественно-исторического развития региона. Можно работать с семьей, фамилией, где часто работает не столько российское, сколько обычное право (Бабич 1997; Бабич, 2001, Бабич, 2002). Российские географы и экономисты уже пытались в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии активизировать механизмы производства продукции в горных районах, между тем это не получилось. Почему? В то время как шел процесс создания «горных хозяйств», появилась идентичная продукция с равнинных частей республик, которая по себестоимости ниже, и горная продукция тут же стала неконкурентоспособной. В нынешних условиях оказалось довольно трудно контролировать процесс «происхождения продукции». Как представляется, в основе данного негативного результата оказалось недоверие и законопослушание населения республик. На Кавказе ключевую роль играет следующее обстоятельство: как говорят сами кавказские люди – «Кавказ любит силу».

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости и принципиальной возможности сочетания традиций горской демократии, общинного управления, кооперации и государственной

власти, государственной воли, закона. Именно это сочетание положено в основу швейцарской модели, или «швейцарского чуда», и оно в исторической перспективе потенциально возможно на Северном Кавказе. Наряду с этим считаем принципиально важным применительно к Северному Кавказу шире и фундаментальнее использовать такое понятие, как «региональная экономика». Учет особенностей региональной экономики позволит сформулировать грамотный подход к развитию столь важного региона для Российской Федерации, как Северный Кавказ.

ЛИТЕРАТУРА

- Бабич И.Л. 1990. Традиции взаимопомощи во второй половине XIX – начале XX вв. // Проблемы изучения традиции в культуре народов мира. Отв. ред. О.И. Бруссина, Н.А. Дараган. М. С.80-90.
- Бабич И.Л. 1995. Народные традиции в общественном быту кабардинцев. М.
- Бабич И.Л. 1997. Эволюция обычного права адыгов в советские и постсоветское время // Этнографическое обозрение. № 3.
- Бабич И.Л. 2001. Правовая культура осетин // Этнографическое обозрение. № 5.
- Бабич И.Л. 2002. Соотношение адата и шариата в правовой истории кабардинцев и балкарцев // Человек и общество на Кавказе. Ставрополь.
- Бабич И.Л., Бобровников В.О. 2007. Северный Кавказ в составе Российской империи. М.
- Бабич И.Л., Мартынова М.Ю., Вирт Ю.В. 2013. Модернизация экономики и самоуправления в республиках Северного Кавказа и швейцарский опыт организации общества и экономики. М.
- Мартынова М.Ю. (отв. ред.). 2009. Европейская интеграция и культурное многообразие. Т.1 -3. М.: ИЭА РАН.
- Мартынова М.Ю. (отв. ред.). 2000. Европа на рубеже третьего тысячелетия: народы и государства. М.: ИЭА РАН.
- Мартынова М.Ю. 2013. Введение в изучение европейской идентичности и многокультурности // Очерки о европейской идентичности и многокультурности. Редакт. М.Ю. Мартынова. М.: ИЭА РАН.
- Ямсков А.Н. 2012. Дефиниция и этноэкологические аспекты феномена «трагедии общинных ресурсов» // Этнос и среда обитания. Сборник статей по этноэкологии. Вып. 3. Редакция: Н.А. Дубова (отв. ред.), Н.И. Григулевич, Л.Т. Соловьёва, А.Н. Ямсков. – М.: ИЭА РАН. С. 231-247
- Ямсков А.Н. 2013. Варианты решения проблемы землепользования на отгонных пастбищах Северного Кавказа (социально-экологический аспект) // Модернизация экономики и самоуправления в республиках Северного Кавказа и швейцарский опыт организации общества и экономики. Редакт. И.Л. Бабич, Ю.В. Вирт, М.Ю. Мартынова. – М.: ИЭА РАН. С. 23-40

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПОИСКАХ ТРАДИЦИИ: НАРОДЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В ГОСУДАРСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ

В этнополитическом и социокультурном дискурсе в Кабардино-Балкарии рубежа XX – XXI вв. апелляция к традиции становится общим местом. В культурной памяти народов Кабардино-Балкарии доминируют разнохарактерные мифологемы, вобравшие в себя множество традиций, от патриархальных до советских, их упоминанием перенасыщены печатные и электронные средства массовой информации. Их неразрывность в массовом сознании требует научного осмысления множественности традиций, их дифференциации по хронологическому принципу и политико-идеологическому контексту. Еще с XIX в. на территории Кабардино-Балкарии сложились устойчивые формы этнокультурного и конфессионального пространства, сохранялась функциональность традиционного соционормативного регулирования, а формировавшиеся в условиях полиэтничности традиции толерантности стали одним из ключевых принципов региональной этнокультурной идентичности.

*Пространство жизнедеятельности:
представления и практики в контексте
этнокультурных трансформаций*

В XIX – начале XX в. в Кабарде и соседних с нею горских (балкарских) обществах происходила реорганизация хозяйственного землепользования, обусловленная интеграцией региона в состав Российской империи. Традиционные механизмы регулирования поземельных отношений сохранились только на уровне сельских обществ, тогда как регламентация и координация межобщинного и межэтнического землепользования перешли в руки царской администрации, которая использовала налоговые, регламентационные и надзорно-правоохранительные методы.

Различные аспекты земельного вопроса находили отражение в интеллектуальной культуре кабардинцев в XIX – начале XX в. Если до 1860-х годов проблема сокращения пространства жизнедеятельности, и, прежде всего, территории хозяйственного землепользования, оставалась одной из центральных в «публичном дискурсе» кабардинского общества и кавказской администрации, то впоследствии земельные проблемы все больше

переходят на уровень частных обращений. Обсуждение юридических аспектов землевладения постепенно уступает место дискуссиям о принципах организации землепользования и методах урегулирования поземельных конфликтов. К началу XX в. земельный вопрос постепенно утрачивает актуальность в публицистических работах интеллектуальной элиты кабардинцев. Его обсуждение все больше сводится к обсуждению технологических аспектов землепользования, не подвергая критике сложившиеся отношения землевладения. В то же время земельный вопрос заметно актуализируется в общественном сознании балкарцев благодаря работам М. Абаева и Б. Шаханова.

Анализ изменчивости пространства жизнедеятельности в XIX – начала XX в. выявил большую устойчивость традиционного хозяйственного уклада населения балкарских обществ. В сравнении с кабардинцами они сохранили и даже несколько расширили пространство хозяйственного землепользования. Развитие товарно-денежных отношений для жителей кабардинских, главным образом предгорных и равнинных селений, повлекло за собой ослабление традиционных принципов организации производственного процесса, пренебрежение устоявшимися нормами рационального землепользования и сдвиги в отраслевой структуре культуры первичного производства. Последствиями этого в начале XX в. стали качественный кризис кабардинского коневодства, упадок большинства традиционных ремесленных отраслей и в то же время существенное расширение товарного производства зерновых культур, особенно в Малой Кабарде, и активное распространение крупных форм организации хозяйственной деятельности в виде кредитных товариществ.

В определенной мере состояние хозяйственных отношений являлось отражением большей устойчивости пространственной организации сельской общины в балкарских горских обществах. К началу XX в. только четверть балкарцев проживала в новообразованных селениях, тогда как после укрупнения кабардинских аулов в 1865 г. более двух третей населенных пунктов Большой и Малой Кабарды были «слиты» в более крупные, сохранив некоторые элементы прежней социально-пространственной организации лишь на уровне кварталов. Тем не менее,

именно община оставалась важнейшим социорегулятивным институтом, традиционным социальным пространством, обеспечивавшим условия воспроизводства этнокультурной идентичности кабардинцев и балкарцев вплоть до начала первого этапа социалистической модернизации в 1920-х гг.

Еще со второй половины XIX в. интенсифицируется взаимодействие городского и сельского социокультурного пространства, что оказало определенное влияние на традиционную культуру кабардинцев в XIX – начале XX в. Несмотря на отсутствие в Кабарде городов и незначительную численность постоянного кабардинского населения в региональных городских центрах (Владикавказ, Пятигорск, Кисловодск, Ставрополь) проникновение в этнокультурное пространство Кабарды городских социокультурных традиций способствовало определенным сдвигам в системе жизнеобеспечения, освоению общегосударственной политической и правовой культуры, восприятию новых идеологических и праздничных традиций, а также формированию новых гуманитарных потребностей. Одной из них стала фотография, как символ городской культуры и документальная форма исторической памяти, которая формировала новые образы кабардинцев как для потомков, так и для контактирующего с ними полиэтничного этнокультурного ландшафта. Северокавказские города, пока еще эпизодически принимающие кабардинцев, становятся пространством межкультурных коммуникаций, где происходило восприятие новых соотечественников «большим» российским обществом. Таким образом происходил обратный процесс узнавания кавказских подданных, основанный на формировании позитивных представлений, преодолевающих недавние образы исторической памяти, которые сложились в ходе длительного и напряженного покорения Кавказа.

Значительное влияние на процесс интеграции Кабарды в административно-политическую систему Российской империи оказывал идеологический фактор, обусловленный завершившейся во второй половине XVIII в. исламизацией кабардинского общества. В частности, в идеях религиозной несовместимости с условиями вхождения в социокультурное пространство Российской империи находили обоснование как военное сопротивление, так и иные формы проявления неприятия интеграционных преобразований.

Введение Родовых судов и расправ в 1793 г. привело к всплеску т.н. «шариатского движения» в конце XVIII – первой четверти XIX в., в ходе которого в качестве альтернативы условиям, предложенным имперскими властями, была заявлена про-

грамма реформирования социально-политического уклада. Однако невозможность ее реализации, ввиду утраченной независимости, побудили часть кабардинских владельцев переселиться за Кубань, руководствуясь в немалой степени и религиозными мотивами. Таким образом, впервые используется новая форма ухода от социально-политических перемен интеграции. Религиозная обусловленность этого процесса наглядно проявлялась даже в определении переселенцев как «хаджиретов», а области их проживания, как Хаджиретовой Кабарды (к 1830-м гг. здесь сосредотачивалось 25 - 30% кабардинцев).

После пленения Шамиля в 1859 г. и с началом земельных, административно-судебных и сословных преобразований в Кабарде начинается наиболее массовый и далекий религиозно мотивированный исход в пределы Османской империи, известный как мухаджирство. На протяжении последней трети XIX – начала XX в. сохранялась высокая степень готовности определенной части кабардинцев к новым актам переселения.

В то же время, к началу XX в. воздействие ислама парадоксальным образом несло в себе как дезинтеграционный, так и интеграционный потенциал, который проявлялся в вовлечении кабардинцев в систему административного регулирования религиозной жизни и культурно-идеологических связей в рамках новометодного просвещения, под влиянием которого развивалось социокультурное сообщество российских мусульман.

С середины 1920-х гг. советскими властями начал проводиться комплекс мероприятий, которые директивно реорганизовывали традиционное этнокультурное пространство кабардинцев и балкарцев. Разукрупнение и расселение населенных пунктов пространственно разрывали устоявшиеся родственные связи и нарушали систему общинного землепользования. Социализация земли, имущественные экспроприации и начавшаяся коллективизация переворачивала все прежние традиции организации хозяйственного процесса на селе. В совокупности с другими социокультурными трансформациями, «отрицавшими» традицию, это подрывало основы традиционной этнокультурной идентичности и нарушило ее воспроизводство. Реакцией на эти деструктивные перемены стали восстания 1928-1931 гг., подавление которых положило начало массовым репрессиям в Кабардино-Балкарии.

Соционормативные аспекты идентичности кабардинцев

Соционормативная культура наряду с языком, религией, исторической памятью выступала одним

из основных маркеров этнокультурной идентичности кабардинцев. В разное время в зависимости от тех факторов, которые влияли на динамику соционормативной культуры кабардинцев (Кавказская война, интеграция в политико-правовое и этнокультурное пространство дореволюционной России, установление советской власти и формирование единой советской правовой системы, смена государственно-политического режима в начале 90-х гг. XX в. и т.п.), менялась и ее удельная доля в структуре этнокультурной идентичности народа. Это дает возможность выявить особенности такого изменения в зависимости от реальной исторической обстановки.

Так, в последней трети XVIII – первой половине XIX в. под влиянием внешних политических факторов произошла существенная трансформация традиционной соционормативной культуры кабардинцев. Политика Российской империи по установлению контроля в сфере нормативно-регулятивных отношений среди кабардинцев в этот период привела к формированию соционормативного плюрализма, в рамках которого сосуществовали обычное право, шариат и российское законодательство. Санкционированные российскими законами обычаи и традиции кабардинцев стали существенно отличаться от тех норм и институтов, которые функционировали у них в XVI– первой половине XVIII вв. В этом плане соционормативный фактор этнокультурной идентичности кабардинцев является одним из самых значимых в их этнической истории, так как соционормативная культура выступает важным средством передачи из поколения в поколение не только их культуры, языка и обычаев, но и форм традиционного образа жизни и менталитета.

Строительство военных крепостей и административно-территориальные преобразования на Центральном Кавказе в последней трети XVIII – первой половине XIX в. оказали существенное влияние на изменение этнической карты региона. В связи с этим исследование поставленной проблемы следует проводить с учетом дисперсности проживания основных субэтнических групп кабардинцев на Северном и Северо-Западном Кавказе в указанный период. В этих условиях кабардинцы оказались разделенными на несколько локальных групп. Это, собственно, кабардинцы – жители Большой и Малой Кабарды, моздокские кабардинцы и «хаджереты».

В конце XVIII – первой половине XIX в. обычное право как элемент соционормативной культуры кабардинцев, проживавших в Большой и Малой Кабарде, представляло сложный динамичный феномен. На протяжении всего этого периода менялась

удельная доля норм обычного права в системе регулирования общественных отношений. Политика российской администрации была направлена на максимальное приспособление кабардинских адатов к российским законам. В общественно-бытовой практике кабардинцам разрешалось применять только те их обычаи и традиции, которые не противоречили законам Российской империи. На этом фоне многие традиционные общественные институты (кровная месть, система композиций, барантование, изгнание из общества, перевод преступника в низшую категорию по сословной лестнице, продажа в рабство и т.п.) подверглись существенной трансформации и перестали существовать в прежнем виде. Несмотря на это, в условиях происходивших в Кабарде в XIX в. социальных и политических трансформаций обычное право кабардинцев не утратило своих регулятивных функций. В повседневной жизни кабардинцы отводили обычному праву важную значимую роль, что являлось одним из значимых факторов их этнокультурной идентичности.

Субэтническая группа моздокских кабардинцев (мэздэгу адыгэ) начала формироваться после строительства крепости Моздок в 1763 г. Ее в основном составляли крепостные крестьяне, бежавшие от своих владельцев. В результате этих переселений в окрестностях Моздока возникли целые поселения кабардинцев. Помимо Моздока, они расселялись по рр. Кума и Золка, при Георгиевске. На новых местах поселения они принимали христианство и получали от российских властей вольность. Помимо смены конфессиональной идентичности, трансформации основ традиционной сословной структуры, стал качественно меняться язык моздокских кабардинцев, что привело к появлению моздокского диалекта кабардино-черкесского языка. Кроме того, выделение субэтнической группы моздокских кабардинцев проходило в условиях формирования полиэтничного населения в окрестностях Моздока. Это в определенной мере послужило основой зарождения новой нормативно-регулятивной системы, которая сочетала элементы традиционной соционормативной культуры как кабардинцев, так и других народов, а также – христианской культуры и российских законов. Смена конфессиональной идентичности и постоянные контакты с представителями других народностей создали условия для появления новых обрядов. Некоторые обряды получали свои обозначения в кабардинском языке (например, «хъуромэ» – рождество). Несмотря на это обособившаяся часть этноса не переставала идентифицировать себя кабардинцами.

Нормативно-регулятивная система Хаджиретовой Кабарды представляла собой обособленную

модификацию традиционной соционормативной культуры кабардинцев. Однако при исследовании этого вопроса следует учитывать ряд обстоятельств. С одной стороны, эта часть кабардинского этноса на некоторое время оказалась за пределами тех процессов, которые обусловили кризис традиционных институтов общественной саморегуляции у кабардинцев, проживавших на включенных в состав Российской империи территориях. С другой – их жизнедеятельность протекала в сложных условиях, не позволявших поддерживать нормативно-регулятивную систему в неизменном состоянии.

В целом социальные и политические трансформации на Севером и Северо-Западном Кавказе в последней трети XVIII – первой половине XIX в. не повлекли за собой утрату этнокультурной идентичности ни одной из субэтнических групп кабардинцев. В этих условиях происходила лишь ее реструктуризация. Не наблюдалось качественных изменений в этой сфере и во второй половине XIX – начале XX в. Все это привело к формированию у них множественной идентичности, в основе которой наряду с лингвистическим продолжал доминировать этнокультурный элемент.

В советский период на динамику этнокультурной идентичности кабардинцев в определенной мере оказали происходившие в то время политико-правовые процессы: установление советской власти, борьба с «преступлениями, составляющими пережитки родового строя», депортация и репатриация балкарцев (1944–1957), начало национального общественного движения в середине 80-х гг. XX в. и т.п. Соционормативная культура кабардинцев продолжала оставаться одним из основных факторов сохранения этнокультурной идентичности. В ее структуре, как и в дореволюционный период, сочетались обычное право, шариат и официальное законодательство. Однако с течением времени удельная доля каждой из этих нормативных систем в системе регулирования общественных отношений постоянно менялась. Так, например, с установлением советской судебной системы существенным изменениям подверглось обычное право кабардинцев. Это обусловлено изменением социальной значимости определенной группы общественных отношений, появлением новых разновидностей конфликтов, принятием затрагивающих эту сферу нормативно-правовых актов всесоюзного значения и т.п.

В настоящее время памяти о различных элементах традиционной соционормативной культуры кабардинцев придается большое общественное значение. В свою очередь, у кабардинцев значительный корпус знаний о прошлом связан с семейно-

брачной и похоронно-поминальной обрядностью, а также обычаями сельскохозяйственного цикла. В кабардинском обществе и сейчас в определенной форме продолжают функционировать обычаи гостеприимства, приветствия и прощания, почитания старших, обычаи уважительного отношения к женщине, некоторые обычаи избегания (например, между супругами в присутствии старших) и т.п. Многие из них с течением времени приобретали силу морального долга.

Этнокультурный ландшафт

Кабардино-Балкарии:

практики межэтнического взаимодействия

Развитие этнокультурного ландшафта Кабардино-Балкарии со второй половины XVIII в. отличалось формированием полиэтничной среды и достаточно интенсивным межкультурным взаимодействием, способствовавшим трансформации идентичности всех его субъектов. К середине XIX в. этнокультурное пространство Кабарды продолжало расширяться: наряду с русским и казачьим в него вливаются немецкое и горско-еврейское население.

Согласно ожиданиям кавказской администрации, немецкие колонисты должны были стать примером для горцев в развитии хозяйства, быта и через это повлиять на их национальный характер. Однако активному взаимодействию переселенцев и местного населения препятствовало замкнутое проживание немецкого населения. В то же время, обособленная форма проживания в колониях способствовала сохранению и воспроизводству аутентичной этнокультурной идентичности немцев. В начале XX в. с распространением в российском обществе антинемецких настроений, связанных с ухудшением российско-германских отношений, в отношении немцев были приняты различного рода запретительные и ограничительные законодательные меры. Запрещалось употребление родного языка, были переименованы все немецкие поселения. В 20-х гг. XX в. немецкое население Кабардино-Балкарии привлекается и вовлекается в формирование новой советской гражданской идентичности.

Репрессивные меры накануне и депортация военного периода, разрушили экономическую жизнь немцев, т.е. базу материальной культуры, и ограничения в употреблении родного языка, соблюдении религиозных обрядов, некоторых обычаев и традиций, крайне негативно сказались на воспроизводстве этнокультурной идентичности немцев. «Хрущевская оттепель» способствовала началу в 1957 г. возвращения в Кабардино-Балкарию де-

портированных немцев. В последепортационный советский период в среде немцев Кабардино-Балкарии широкое распространение получают ассимиляционные процессы, чему способствовало дисперсное расселение, в основном, в городской местности. Увеличение доли смешанных браков, распространение стандартных форм культуры, урбанизационные процессы разрушительно действовали на все еще сохранявшиеся базовые элементы этнокультурной идентичности немцев и механизмы их воспроизводства. В постсоветский период к тому же получают распространение эмиграционные процессы. В результате немецкое население Кабардино-Балкарии значительно сокращается.

В ходе работы над проектом уточнена датировка появления в Кабарде горских евреев. Согласно выявленным документам, первая группа горских евреев поселилась в Кабарде в 20-х гг. XIX в. В поселке Вольный Аул обосновались выходцы из аула Эндери, но получили лишь временный вид на жительство. Есть основания предполагать, что горские евреи проживали на временной основе в Кабарде еще с более раннего периода. На постоянной основе горские евреи поселились в Кабарде в 1847 г. около укрепления Нальчика и с этого времени история горско-еврейского поселка неразрывно связана с историей Нальчика. Компактная форма проживания горских евреев в Кабарде способствовала сохранению и воспроизводству аутентичной этнокультурной идентичности. Особым фактором в этом процессе выступала их религия. Органичному сосуществованию горских евреев с коренным населением способствовала схожесть их образа жизни и элементов этнической культуры с кабардинцами.

В 20-х гг. XX в. в период складывания нового политического режима и переустройства всего уклада жизни населения страны, советская власть привнесла в их жизнь болезненные перемены. Ограничение занятий кустарными промыслами и ремеслами и, в особенности, запрет в конце 20-х гг. частной торговли, практически уничтожили основы традиционных занятий горских евреев, что негативно сказалось на воспроизводстве этнокультурной идентичности горских евреев.

Появление первых промышленных предприятий на территории современной Кабардино-Балкарии в конце XIX в. связано в основном с представителями иноэтничного населения, в первую очередь русского и немецкого. В конце XIX в. основными торговцами становятся горские евреи и немцы, имевшие давние традиции развития этой отрасли хозяйства. Это объяснялось благоприятными условиями для воспроизводства особенностей и компонентов этнокультурной идентичности и

плодотворным этнокультурным взаимодействием в процессе хозяйственной специализации разных этнических групп в конце XIX - начале XX в.

Этнические особенности и типологические черты хозяйственной культуры русских, немцев, горских евреев и др. адаптировались и трансформировались при контакте с новой природно-географической и этнокультурной средой. Это происходило в процессе повседневного существования со всем, что составляет жизнь человека – окружающим миром, бытом, культурным фоном, языковой средой. Реальный быт для большинства переселенцев складывался из общения с соседями, обмена товарами, совместной работы в том или ином виде деятельности. При этом важно отметить, что этнические группы переселенцев сохранили базовые элементы этнокультурной идентичности.

Этнокультурное взаимодействие в Кабардино-Балкарии оказало заметное влияние на процесс трансформации типологических особенностей материальной культуры народов региона. Переселенцы на первых порах старались сохранить этнические традиции в планировке, строительстве жилища, выборе одежды, системе питания. Но многие традиционные особенности в новых условиях оказывались непригодными. В таких случаях использовался опыт и знания соседних народов.

*Историческая политика:
управление историческим сознанием
и проблемы преодоления прошлого*

Одним из проявлений изменчивости и управляемости социально-политических идентичностей стали образы прошлого, отражавшие интерпретации отношений кабардинцев и балкарцев с российским государством. Одним из ярких персонифицированных примеров служит Темгрюк Идаров, с которым принято связывать начало регулярных отношений кабардинцев с Россией.

В историческом сознании народов Кабардино-Балкарии он предстал как забытый правитель в период «независимости» кабардинских княжеств (70-е гг. XVI в. – 20-е гг. XIX в.), верный союзник Ивана Грозного в имперский период (20-е гг. XIX в. – 1917 г.), сторонник царизма на Кавказе в довоенный период (1917–1941 гг.), союзник Ивана Грозного в борьбе с крымско-турецкой агрессией в период Великой Отечественной войны и позднего сталинизма (1941–1953 гг.), выдающийся полководец и дипломат в период деградации коммунистического тоталитаризма (1953–1991 гг.) и национальный герой в современную эпоху. В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что память

о Темгрюке Идарове в Кабарде, КБАССР и КБР никогда не прерывалась, в зависимости от социально-политического контекста, он служил различным элитам средством фиксации коллективной идентичности, хотя множество раз менялось символическое значение и ранг этой фигуры. С 1950-х гг. произошел настоящий ренессанс его образа в культурной памяти кабардинцев. Из правителя удельного княжества он стал символом нерушимого союза Кабарды с Россией в имперский период. Из второго эшелона исторических героев он в середине XX в. вознесся на вершину национального пантеона. В этом качестве образ Темгрюка Идарова конструировался и использовался в государственной исторической политике и в немалой степени повлиял на выработку современной гражданской идентичности населения Кабардино-Балкарии.

Историческая политика Российской Федерации в конце XX – начале XXI в. и ее реминисценция республиканскими элитами прямо способствовала политизации этничности Северного Кавказа. Реальная практика предоставляет нам многочисленные примеры того, как социальные группы с определенными целями, ценностями и мировоззренческими подходами соревнуются в создании и продвижении собственных версий прошлого, трансляции своего символического капитала, манипулировании историческим сознанием сограждан, что неминуемо ведет к обострению «конкуренции между жертвами» практически во всех северокавказских республиках. Курируемая правительством новейшая российская историография до сих пор не в состоянии предложить конструктивных предложений для преодоления развернувшейся еще с начала 1990-х гг. «войны историографий» на Северном Кавказе: разнохарактерных этноцентристских обоснований взаимных территориальных претензий.

Этническая мобилизация народов Кабардино-Балкарии на рубеже XX-XXI вв. труднообъяснима без учета тесной, неразрывной взаимосвязи травматического опыта Кавказской войны (1817-1864 гг.) и сталинских депортаций с развитием национального самосознания. В исторической памяти кабардинцев поражение в Кавказской войне и мухаджирство остаются наиболее болезненной травмой, которая легко актуализируется и переживается как своего рода современность, влияет на этнополитический процесс на Северном Кавказе. В настоящее время черкесский вопрос заключается в стремлении черкесов мира возродить нацию, воссоединиться на исторической родине в рамках единого субъекта Российской Федерации, где будут обеспечены благоприятные условия для исторического, демогра-

фического и культурного развития народа. В этой связи вполне объясним процесс мифологизации черкесской истории, носящий преимущественно социально-компенсаторный характер. Вместе с тем, актуализация черкесского вопроса в начале XXI в. во многом обусловлена фактически полным отсутствием публичной позиции федеральных властей в отношении противоречивой истории включения народов Северного Кавказа в состав Российской империи.

Современные адыгские властные элиты и интеллектуальные сообщества, так или иначе втянутые в обсуждение «черкесского вопроса», никоим образом не ставят под сомнение исторические результаты Кавказской войны в плане покушения на территориальную целостность Российской Федерации. Рассмотрение проблемы «черкесского геноцида» на российском законодательном уровне остается для адыгов, в первую очередь, морально-нравственной, гуманитарной проблемой.

Социальная история Северного Кавказа начала XXI в. наглядно демонстрирует наличие гигантского разрыва между массовым идеологизированным восприятием истории и острым частным интересом к индивидуальному опыту ее современников. В условиях тотального дефицита в большом российском нарративе достоверной информации о том, как разворачивались события Кавказской войны, какие факторы спровоцировали репрессивную реакцию советского тоталитарного государства в отношении балкарцев, и что, собственно, происходило на Северном Кавказе в 1942–1944 гг., травматический опыт прошлого продолжает свое деструктивное воздействие на этническое самосознание народов Кабардино-Балкарии.

*Женщины Кабардино-Балкарии:
социальные роли и новые вызовы*

Достаточно высокой степенью динамичности отличаются гендерные идентичности. Взаимоотношения между мужчинами и женщинами в традиционном кабардинском и балкарском обществах характеризовались полным и беспрекословным подчинением мужчине, и в то же время уважительным и справедливым отношением к женщине. Мужчина в семейной иерархии стоял выше женщины. Об этом говорят и адаты, которые на протяжении веков регулировали все стороны жизни общества, четко дифференцируя социально-правовые статусы в обществе, в том числе и с учетом гендерного аспекта.

Со второй половины XIX в. в положении полов стали появляться новшества, которые не были

органичны народным традициям. Российское завоевание Северного Кавказа сопровождалось проникновением гендерной идеологии, выразившейся в первую очередь «пренебрежением к местным «имиджам маскулинности» и их постепенным низвержением.

Кардинальные же трансформации гендерных отношений, связанные с социальными ролями женщин и мужчин, произошли после установления советской власти в регионе в 20-30-х гг. XX в. Новая власть, решая проблемы эмансипации женщин, начала с корректировки «части традиционных и обрядовых пережитков, так или иначе затрагивавших статус женщины: калым, многоженство, выдача замуж несовершеннолетних и т.д.». Первым мероприятием в этом процессе стало принятие законодательных инициатив по запрету калыма и умыкания девушек. Одним из важных составляющих эмансипации женщин является их вовлечение в общественную жизнь. Но женщина-горянка оказалась совершенно не готова к такому повороту своей жизни. Традиционные стереотипы не допускали женщину к активному участию в общественной жизни, ограничивая ее деятельность стенами дома. Понимая и учитывая это местные партийные организации в начале 20-х гг. XX в., как правило, проявляли особую сдержанность и пассивность в отношении признания прав женщин на публичную деятельность. Амбивалентность такого положения требующего от руководителей – коммунистов с одной стороны проведения политики «решения женского вопроса», и с другой – являясь мужьями, братьями, глава семей, где особо сильны были, в том числе традиции гендерных отношений и статусов затрудняло модернизационные процессы в повседневной жизни.

Экстремальные условия Великой Отечественной войны только увеличили социальную и политическую активность женщин, на плечи которых легли все тяготы тыла, перестройки различных отраслей экономики на нужды фронта. Отсутствие мужчин вынуждало женщин брать в свои руки и успешно справляться с непривычными и, более того, неприемлемыми для кавказской гендерной ментальности занятиями. Работа властных структур по вовлечению женщин в общественное производство встречала понимание и инициативу со стороны самих женщин. Тысячи «горянок» пришли в промышленность и сельское хозяйство, освоили тяжелые и вредные для женского организма специальности. Любовь к родине, патриотизм стали сильными моральными стимулами, вызвавшими к жизни героизм, возможность преодолеть трудности военного времени.

В современной жизни кабардинцев и балкарцев взаимоотношения полов не вполне одинаковы в семье и за стенами дома. Это относится как к существу дела, так и особенно к сопровождающему его этикету общения. В семье положение жены укрепилось, уважение к ней возросло, при обсуждении неординарных семейных дел супруги стремятся к единодушию, а бывает, что решающим является именно мнение жены. Власть мужа в большинстве семей стала намного менее авторитарной, и уж совсем редко деспотичной. Но при этом в широких слоях населения формализация главенства в семье мужа. Жена почти всегда принимает фамилию мужа, как и дети — фамилию отца. Принято, чтобы жена, по крайней мере, на людях, щадила самолюбие главы семьи и подчеркивала его превосходство. Не забылись, хотя и заметно ослабели, обычаи избегания между супругами. За стенами дома новое положение кабардинок и балкарок, в прошлом полностью отстраненных от общественной жизни, можно сказать, создавалось на пустом месте. Поэтому долгое время они занимали предназначенные им посты (по большей части депутатов в Советах всех уровней) по разнарядкам, требовавшим представительства не только мужчин, но и женщин. Подобного рода «показуха» усугублялась переоценкой достигнутых результатов. В частности, уже в 1930-х гг., когда вовлечение женщин в общественную жизнь еще только набирало силу, в Кабардино-Балкарии, как и на всем Северном Кавказе, были ликвидированы комитеты по улучшению труда и быта женщин, упразднены клубы горянок, перестали собираться отдельные жестокие конференции и съезды. Но и при этих обстоятельствах немало кабардинок и балкарок использовало открывавшиеся им возможности. Постепенно из их среды выделялись хорошие специалисты и хозяйственные руководители, получившие признание, общественные и политические деятели. Деловые качества таких женщин в новых для них областях жизни снискали им подлинное уважение мужчин. Это уважение не имеет ничего общего с былыми традициями рыцарского снисхождения к женщине. Да и принятый в современной общественной жизни стиль общения полов, его этикет — совсем не тот, что в семейном быту.

Несмотря на декларирование «равных возможностей» для мужчин и женщин в приобретении той или иной профессии, исторически сложившиеся стереотипные представления о «мужских» или «женских» специальностях довлеют среди значительной части населения. Положение женщин Кабардино-Балкарии в середине 1990-х гг. характе-

ризовалось более низкой по сравнению с мужчинами квалификацией, более скромной оплатой труда, преимущественно горизонтальной профессиональной мобильностью, отчуждением женщин от участия в высших управленческих структурах.

В обстановке экономического кризиса крайне обострились все социальные проблемы. Кризис, становление рыночных отношений породили в Кабардино-Балкарии, как и по всей стране очень сложную проблему – безработицу. По мере перехода всех хозяйств на рыночные отношения, естественно, увеличивалось число безработных, большинство которых составляют женщины, к тому же хозяйственники, при сокращении штатов, старались, в первую очередь избавиться от женщин с детьми. Причем, сами женщины напуганные угрозой безработицы и нищетой соглашались на любые условия труда, даже более тяжелые и низко оплачиваемые. С момента легализации безработицы (июль 1991 г.) в обществе стало принято считать ее преимущественно женской проблемой.

Сегодня в Кабардино-Балкарии, как и в России в целом, нет целенаправленной гендерной политики, которая бы поддерживала женщин в различных сферах народного хозяйства. Активизацию женщин в области предпринимательства можно объяснить растущей в последние годы безработицей, которая имеет «женское лицо», она подтолкнула процесс женской самозанятости. В то же время женщина вынуждена действовать без поддержки государства в преимущественно мужской предпринимательской среде.

В условиях научно-технической революции политика, наука, промышленность и другие сферы общественной жизни открыли широкий простор для профессиональной деятельности женщины. Между тем, гендерные стереотипы создают противоречивые условия для ее профессиональной самореализации. Вопрос о трансформации женской гендерной идентичности в современном культурном пространстве Северного Кавказа – это, прежде всего, вопрос о степени интеграции северокавказских народов в мировую культуру, о степени влияния этой культуры на жизнь и сохранение самобытности традиционных форм культуры в национальных сообществах Северного Кавказа.

Современная этнокультура между традицией и модернизацией

Одним из маркеров состояния этнокультурной идентичности остаются проявления этнической традиции в современной народной и профессиональной культуре народов КБР. Проблемы

этнической идентичности актуализируются в связи с достаточно высоким уровнем устойчивости локальных традиционных культур, стремящихся к сохранению национальной самобытности в условиях глобализации, что находит выражение в поиске новых форм и способов пропаганды этнокультурных ценностей. Изменения этнокультурной идентичности народов КБР нашли широкое отражение в современных художественных процессах в контексте влияния различных культурно-религиозных традиций.

Атеизм советского общества способствовал вытеснению религиозных традиций из общественной и культурной жизни народов СССР. Противоречия в современной этноконфессиональной ситуации связаны с тем, что процессы этнического возрождения нередко сопровождаются ростом националистических настроений, а также появлением и пропагандой новых религиозных течений.

Коды мифологического и религиозного сознания наиболее сильно сохраняются в генетической памяти народа. В современном искусстве Кабардино-Балкарии религиозная традиция понимается прежде всего как способ национальной самоидентификации и социального самовыражения. Безусловно, в современном художественном процессе не следует искать прямого отражения теологических и мистических категорий религиозного искусства, очевидно другое – философизация творчества, повышение роли созерцательных форм мышления и детализации в национальной эстетике, столь характерные для мусульманского искусства, в целом.

Формирование нового художественного кода в литературе и искусстве народов КБР обостряет интерес к этнокультурным феноменам на уровне как личной, так и коллективной идентичности, а развитие различных идентичностей в современном мире (в том числе и этнокультурных) проявляется в переориентации с устойчивой фиксации идентификационных матриц на возможность их трансформации в условиях формирования новой транснациональной культуры.

В коллективном сознании народов КБР исламская культура не противопоставлена традиционной, но реализуется не в качестве ортодоксальной догмы, а как духовная и мировоззренческая модель, формирующая своеобразие национальной культуры. Современные социокультурные трансформации способствуют обостренному чувству национальной самобытности и вместе с тем осознанию, что национальный культурный опыт является составляющей мирового культурного пространства. В настоящий период развиваются новые виды и

формы пропаганды этнических традиционных ценностей, что приводит к содержательно-ценностным изменениям в культуре и формированию нового типа этнокультурной идентичности.

Развитие культуры как формы социальной наследственности невозможно без сохранения и передачи историко-культурного опыта, без изучения наследия, формирующего культурно-историческую ориентацию общества и личности. В современных дискуссиях по проблемам культурного наследия наиболее важной является ориентация на тщательное поддержание и освоение культурного наследия в его целостной совокупности.

В художественной культуре Кабардино-Балкарии тенденции к мобильности и коммерциализации наиболее ярко проявились в развитии изобразительного искусства. Это обусловлено рядом факторов, но в первую очередь тем, что к началу глобализации в республике сформировалась достаточно сильная группа высокопрофессиональных художников, которые в советский период были скованы жесткими рамками социалистического реализма и невозможностью участвовать в зарубежных коммерческих проектах.

Под влиянием глобализации в литературе Кабардино-Балкарии происходит стилистическое, структурное и ценностно-нормативное слияние

и смешение, снимаются грани между различными типами культур. Если в доглобальную эпоху противостояние Востока и Запада представлялось достаточно «прозрачным», то в современный период границы Востока и Запада размываются, несмотря на различное, а подчас и противоположное понимание роли и места человека в окружающем пространстве. Под действием глобального электронного общения проблематика идентичности переживает второе рождение, так как виртуализация культурного пространства ведет к «программной перезаписи» тех или иных культурных оснований. Под влиянием информационного шквала формируется новый художественный код в современной литературе, рождаются различные стилевые направления постмодернизма. Особенно ярко данные тенденции отражены в русскоязычной прозе и поэзии Кабардино-Балкарии (Б. Чипчиков, К. Елевтеров, В. Мамишев, А. Балкаров, М. Хакуашева, А. Макоев и др.). Влияние глобализации сказывается не только в размывании, но и в расширении этнокультурных границ. Современные социокультурные трансформации нередко содействуют появлению оригинальных культурных синтезов, что приводит к содержательно-ценностным изменениям и формированию нового типа этнокультурной идентичности.

Гимбатова М.Б. (ИИАЭ ДНЦ РАН)

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ У НАРОДОВ ДАГЕСТАНА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Дагестан представляет собой край резких контрастов, большого числа естественно-географических макро- и микро-зон, это уникальный регион, состоящий из четырех основных физико-географических зон: низменной, предгорной, горной и высокогорной, что предопределило разнообразие форм хозяйства и занятий для населения этих районов (Гаджиева, 1985.С. 10).

Основными занятиями дагестанцев издавна являлись земледелие и скотоводство. Для равнинной части Дагестана характерно обилие пахотных и пастбищных угодий, что позволило жителям плоскостных районов (кумыкам, дагестанским азербайджанцам и терекеменцам, ногайцам) успешно заниматься земледелием и животноводством. Следует отметить, что в XIX – начале XX века земледелие на плоскости достигло таких широких масштабов, что зерновое хозяйство здесь приобрело товарное значение. Помимо земледелия и животноводства занимались садоводством, виноградар-

ством, разведением бахчевых культур, мареноводством, шелководством и хлопководством.

В горах наблюдалась нехватка земли. В XIX веке на долю целого хозяйства приходилось лишь 0,16 – 0,2 десятины земли. Притом и эта пашня была распределена между хозяйствами далеко неравномерно. Большое число хозяйств оставалось безземельным.

Горцы старались рационально использовать имеющуюся землю. В условиях малоземелья в горных районах Дагестана была распространена террасная форма земледелия. Упорным трудом жители гор создавали многоступенчатые искусственные террасы, которые засеивались хлебом без применения севооборота, так как земли было мало. Но, несмотря на это, большинство жителей Дагестана, как в горах, так и на плоскости, занимались земледелием, относительно меньше животноводством. Обе эти отрасли хозяйства – земледелие и животноводство – находились преимущественно в руках

мужчин, а работа по дому и домашние промыслы возлагались на женщин. Однако женщины принимали активное участие в некоторых видах работ, связанных с основными отраслями хозяйства. Так, горские женщины, в отличие от равнинных, много трудились в поле, но наиболее трудоемкие и ответственные работы, такие как пахота, сев, полив, веяние обмолоченного зерна, все же выполнялись мужчинами (Гаджиева, 1985.С. 10).

Хозяйственная специализация региона, обусловленная его природными условиями, повлияла на ход общественного разделения труда, согласно которому мужскими отраслями хозяйства у народов Дагестана являлись пахота, полив (в районах поливного земледелия), жатва хлебов, молотба, сенокосение, выпас скота, разные работы в садах, на виноградниках (в районах виноградарства и садоводства), работы на бахче, заготовка и завоз топлива.

Женскими считались работы по дому (приготовление пищи, доение коров, переработка продуктов животноводства, стирка, обеспечение водой, уборка и обмазка дома, починка и шитье одежды) и домашние промыслы (Гимбатова, 2014. С. 71).

В виду нехватки пахотных земель особое развитие домашние промыслы и ремесла получили в горных районах, этому способствовало и наличие здесь широкой сырьевой базы (шерсть, овчина, конопля, глина, дерево и др.).

В осенне-зимний период хозяйственного цикла женщины занимались прядением, изготовлением ворсовых и безворсовых ковров, паласов, мешковины, сукна, хлопчатобумажных и шелковых тканей, полотна, валянием войлоков, кошм с цветными аппликациями. В целом ряде районов в обязанность женщины входили и обработка овчин для обуви и головных уборов, а также изготовление шерстяных носков, чулок и уличной обуви из шерсти для членов семьи. Изделия этих домашних промыслов нередко имели товарное значение. Так, например, южнодагестанские ковры пользовались спросом на восточных и европейских рынках, кубачинские и кумухские оружейники и ювелиры поставляли свою продукцию на рынки Кавказа, России, стран Передней Азии и Ближнего Востока, жители аварского селения Унцукуль стали известны как лучшие мастера по изготовлению изящных деревянных и костяных изделий с инкрустацией и получали заказы от зарубежных фирм.

Малоземелье способствовало и появлению отхожего промысла, вызванного трудными экономическими условиями жизни в горных районах. Так, в 1903 г. число отходников составляло 63 612 человек, в 1913 г. – 83 317 человек. По данным 1913 г.

наибольшее число отходников давали Гунибский (15 967 человек), Даргинский (11 763 человек), Кази-Кумухский (12 069 человек) и Самурский (23 183 человек) округа. Кроме отходников, отправлявшихся на заработки в одиночку, ежегодно, особенно из горных округов западного и южного Дагестана (Андийский, Гунибский и Самурский округа), «с осени жители целыми семьями и со своим скотом «перекочевывали» в Тифлисскую, Елисаветпольскую и Бакинскую губернии и Закавказский округ и др., где оставались до начала лета следующего года (Гаджиева, 1985.С. 16). Следует отметить, что женщины самостоятельно на заработки в соседние губернии выезжали крайне редко.

Итак, можно констатировать, что у народов Дагестана существовала традиционная регламентация межполового разделения труда.

Включение Дагестана в орбиту общероссийского рынка, особенно его равнинной части, существенно изменило жизнь жителей плоскостных районов, активно развивалось товарное земледелие, все больше применялись сельскохозяйственные машины, что подрывало экономическую основу натурального хозяйства.

Распространение фабричных тканей и других фабрично-заводских изделий послужило началом свертывания целого ряда домашних женских промыслов. В итоге женщина на плоскости была отстранена от общественного производительного труда, она не принимала активного участия ни в полеводстве, ни в животноводстве, ее труд все более ограничивался работой по дому – «домашним частным трудом», что поставило ее в экономическую зависимость от мужчины.

В горах женщина продолжала принимать активное участие во всех отраслях хозяйства, круг ее обязанностей был неизмеримо шире, чем на плоскости – жатва хлебов, сенокос почти полностью были делом женщин, которые принимали участие также в молотбе, в перевозке зерна, сена и т.д.

После установления советской власти в Дагестане женщина стала активно включаться в общественное производство. Появились сельскохозяйственные артели, колхозы, фабрики, заводы, на которых женщины трудились наравне с мужчинами.

Советская власть стала уделять большое внимание росту трудовой и общественно-политической активности женщин Дагестана. Неуклонно проводя в жизнь ленинские указания о том, что социализм нельзя построить, не привлекая к этому строительству женщин, партийные и советские организации Дагестана целенаправленно вовлекали женщин в хозяйственную, общественно-политическую и культурную жизнь (Гаджиева, 1985.С. 346).

Постепенно традиционная регламентация межполового разделения труда начала утрачивать свое былое значение. Женщины начали осваивать новые специальности, в том числе и мужские, и в 30-40-е годы XX столетия их можно было увидеть за станком, за трактором и т.д.

В Дагестане быстрее, чем в центральных регионах страны, увеличилась численность работниц в народном хозяйстве. Последнее было обусловлено значительными темпами развития народного хозяйства, созданием условий для применения труда женщин в общественном производстве (Абдусаламова, 1991. С. 7).

Работницы в ДАССР, как и в среднем по РСФСР, составляли более половины рабочих и служащих народного хозяйства. В предгорных и равнинных районах женский труд использовался на промышленных предприятиях, а также в сфере быта. Большинство женщин трудилось в сфере здравоохранения, просвещения, культуры, общественного питания, которые считались женскими, меньшинство – в строительстве, транспорте, материально-техническом снабжении и заготовках, так как эти сферы производства считались мужскими. Кстати, мужскими специальностями считались те, что требовали определенных знаний и навыков работы с машинами, электронным оборудованием, станками. К примеру, работницы инженерно-технических специальностей в промышленности с 1965 по 1985 гг. составляли наименьшую долю – 27%, а женщины-работчие – наибольшую – 68%. В сельской местности работницы выполняли значительную часть немеханизированных сельскохозяйственных работ. К примеру, 87% рабочих по овощеводству, выполнявших работу ручную, составляли женщины.

Большую работу женщины вели в животноводстве, особенно по выращиванию крупного рогатого скота, там, где требовался ручной труд: доярки, скотницы составляли 92%, телятницы – 74%, рабочие по птицеводству – 98% (Абдусаламова, 1991.С 17). А механизированные сельскохозяйственные работы, такие как комбайнер, тракторист, водитель выполнялись мужчинами. Следует отметить, что на предприятиях, где требовался малоквалифицированный и ручной труд, а также на вредных производствах использовался женский труд, как только происходило резкое обновление техники и ручной труд вытесняли автоматы, станки, совершенствовались условия труда, повышалась его производительность, увеличивались заработки, складывалась тенденция к вытеснению женщин с многих рабочих мест и замене их мужчинами (Абдусаламова, 1991.С. 33–34).

Любопытны данные и о выполнении мужчинами и женщинами руководящей и квалифицирован-

ной работы. Женщины представляли более трети (39%) руководящих работников, это нормировщицы, инженеры-нормировщицы, инженеры, экономисты, плановики, статисты, но мало женщин среди руководителей самостоятельных предприятий и их заместителей, в основном руководителями или заместителями были мужчины. Следует отметить, что чем выше был статус должности и обязанности, тем меньше там было женщин.

90-е годы XX века ознаменовались новыми испытаниями. Распался СССР, произошла смена общественно-экономической формации, закрывались фабрики и заводы, распадались колхозы, вместо них создавались кооперативы, частные предприятия, фермерские хозяйства, стремительно развивался челночный бизнес. Необходимо отметить, что наибольшую активность в новых экономических условиях проявили именно женщины. Произошла нивелировка многих стереотипов, исчезли штампы и запреты. Жизнь заставила пересмотреть и переосмыслить традиционные установки, в том числе и взгляд на гендерное разделение труда. Необходимо отметить, что новые экономические условия создали равные возможности для мужчин и женщин в реализации трудового и материального потенциала. Многие профессии, считавшиеся мужскими, стали осваиваться женщинами. Таким образом, грани между мужскими и женскими профессиями постепенно стали стираться, на рынке труда появились специальности унисекс, и для некоторых женщин стали довольно привлекательны занятия, которые еще до недавнего времени считались мужскими, такие как полицейский, спасатель МЧС.

Сегодня женщины успешно возглавляют фермерские хозяйства, которыми не так давно руководили мужчины, ездят на сезонные работы в соседние республики, что в Дагестане считалось исконно мужским занятием.

Женщины, имеющие высшее образование и высокую квалификацию, устраиваются на работу по специальности в крупных мегаполисах, занимаются челночным бизнесом, отправляясь за товаром, как по стране, так и за ее пределы.

Много женщин заняты в сфере мелкого и среднего бизнеса, крупный бизнес по-прежнему остается в руках мужчин – это крупные строительные фирмы, банки, производственные предприятия. Так, например, Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан возглавляет мужчина (Махмудов А.Д.), а заместителем до недавнего времени являлась женщина (Гамидова М.С.).

В новых экономических условиях женщины содержат свои мини-пекарни, кондитерские цеха, ателье, магазины по продаже брендовой одежды,

рестораны, кафе, аптеки, салоны красоты, лечебно-оздоровительные комплексы. Ежегодно дагестанские бизнес-вумен принимают участие во всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех».

Сегодня в Махачкале можно встретить женщин, занимающихся частным извозом, что всегда считалось мужским делом.

Не остались в стороне и мужчины, они начали осваивать новые сферы и успешно заниматься самореализацией в областях, которые до недавнего времени считались исключительно женскими. Современные популярные мужские профессии достаточно необычны, при этом достойное место среди них занимают не специальности для активного физического труда, а творческие профессии. Так, например, в некоторых салонах красоты в качестве парикмахеров, визажистов работают мужчины. Новой для дагестанского мужчины считается и работа дизайнера. Это не всегда дизайн интерьеров, строений, ландшафтов, нередко речь идет о дизайне одежды, в котором мужчинам удалось добиться определенных успехов. Так, одним из лучших дизайнеров мужской одежды на Северном Кавказе считается Шамхал Алиханов. Сегодня его имя известно не только в Дагестане, но и далеко за его пределами. Ещё в 2007 году Ш. Алиханов был признан одним из самых талантливых дизайнеров мужской одежды на показе Недели Высокой моды в Москве.

В наше время в Дагестане можно встретить мужчин молодого возраста, которые заняты в модельном бизнесе. Немало среди мужчин и поваров. Большая часть ресторанов стремится пополнить штат именно поварами-мужчинами. Мужчины также освоили и совершенно новую для них профессию – официанта. Во многих кафе, ресторанах, барах официантами работают молодые ребята. Существует и целая бригада «Тимур и его команда», обслуживающая свадебные торжества. Следует отметить, что этот вид трудовой деятельности не характерен для дагестанцев и где-то идет вразрез с традиционной ментальностью мужчины-горца. Однако, привнесенный гастарбайтерами из соседнего Азербайджана, он стал популярен у определенной части дагестанской молодежи.

Несмотря на то, что грани между мужским и женским трудом стираются, все же остались специальности, которые женщинам пока не подвластны. Так, например, женщины до сих пор не освоили профессию сварщика, плотника, столяра, механика.

Изменения в хозяйственной специализации не могли не сказаться на внутрисемейных отношениях дагестанцев. Если в традиционном обществе главой

семьи считался отец, как добытчик и кормилец семьи, то в нынешних условиях главой семьи считается тот из супругов, кто больше приносит денег в семью, и не всегда им бывает мужчина. Произошла так называемая смена гендерных ролей, если жена зарабатывает больше мужа, то мужчина больше занимается домашними делами, детьми, тем, что раньше было ему не свойственно. Теперь мужчина и женщина распределяют между собой домашние обязанности, это заключается, например, в том, кто заберет детей из детского сада, школы, кто пойдет на родительское собрание, кто сделает необходимые покупки, кто отвезет ребенка в поликлинику, в секцию или кружок и т.д.

Существенные изменения произошли и в сознании людей. В последние десятилетия в дагестанском обществе наметилась тенденция к безбрачию. Обычно в брак не хотят вступать успешные мужчины и женщины. К сожалению, современные мужчины и женщины в погоне за личными успехами позабыли о своем главном предназначении – создании семьи (Гимбатова, 2014. С. 4). Все меньше становится мужчин и женщин, состоящих в браке, и соответственно увеличилась численность никогда не состоявших в браке мужчин и женщин. Так, согласно ВПН за 2010 год по РД на 1000 человек населения мужчин в возрасте 16 и более лет «никогда не состоявших в браке» было отмечено 295 чел., женщин – 212 (Социально-демографический портрет России: По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., 2012. С. 206). Если брать в целом по СКФО, то доля мужчин и женщин в возрасте 16 лет и старше никогда не состоявших в браке выше, чем в среднем по стране (29,7% мужчин и 21,2% женщин против 25,2% мужчин и 17,0% женщин соответственно) (www.kavkaz-uzel.ru/articles/210723/ Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в Северо-Кавказском федеральном округе. Кавказский узел).

Одной из причин является рост женской эмансипации и феминизации. В конце XX века брак для женщин оказался менее привлекательным, чем для мужчин. Изменилось и само отношение женщин к мужчинам, они стали предъявлять к ним более высокие требования. Чем независимей, успешней, обеспеченней становится женщина, тем больше требований она предъявляет к мужчине, находящемуся рядом. В ее понимании он должен быть ответственным, порядочным, сильным, преуспевающим, наделенным исключительной жадой к созиданию, с сильнейшей мотивацией на успех, хорошо образованным и ухоженным. Как писал И.С. Кон: «Социально эмансипированные и образованные женщины предъявляют к мужчинам повышен-

ные требования психологического характера, которые многим мужчинам трудно удовлетворить. Это способствует развитию у мужчин более сложных и тонких форм саморефлексии, расшатывая образ монолитного мужского «Я» (Кон, 2001.С. 11).

Другой причиной нежелания вступать в брак и иметь детей является социальная защищенность мужчин и женщин. «Государство благосостояния», или «социальное государство», взявшее на себя ответственность за социальное обеспечение своих граждан, создало ситуацию, когда у людей отпала экономическая заинтересованность в родственниках, детях, близких людях, что привело к увеличению одиночек (single) в обществе и изменению демографического мышления (Остроух, 2001.С. 188–187).

К сожалению, с каждым годом увеличивается и число разводов, так только в 2013 г. в РД было зарегистрировано 4 186 разводов (www.moidagestan.ru/society/24622), а с января по ноябрь 2014 г. зафиксировано 4 594 развода (www.dagstat.gks.ru Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РД).

Таким образом, на протяжении XX века на фоне глобальных перемен в обществе произошли гендерные изменения в сфере профессиональной занятости и в сознании народов Дагестана, что не могло не отразиться на их хозяйственной специа-

лизации, а точнее на гендерном разделении труда и гендерной стратификации.

ЛИТЕРАТУРА

Абдусаламова Т.А. 1991. Женщина Дагестана: Проблемы труда, быта и культурно-образовательного развития. Махачкала: Даг.кн.изд-во.

Гаджиева С.Ш. 1985. Семья и брак у народов Дагестана в XIX – начале XX в. М.: Наука.

Гимбатова М.Б. 2014. Мужчина и женщина в традиционной культуре тюркоязычных народов Дагестана (XIX - начало XX в.). Махачкала: Эпоха.

Кон И.С. 2001. Маскулинность как история // Гендерные проблемы в общественных науках. М.

Остроух И.Г. 2001. Трансформация института отцовства в постиндустриальном обществе на примере ФРГ // Гендерные проблемы в общественных науках. М.

См.: Социально-демографический портрет России: По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. М., 2012. С. 206; www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis/2010. (Дата обращения 8.04.2014г.).

www.kavkaz-uzel.ru/articles/210723/ Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в Северо-Кавказском федеральном округе. Кавказский узел. (Дата обращения 8.04.2014г.)

www.moidagestan.ru/society/24622 (Дата обращения: 4.04.2014).

www.dagstat.gks.ru Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РД (Дата обращения: 9.02.2015).

Рамазанова З.Б. (ИИАЭ ДНЦ РАН)

ВЕСЕННИЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА (XIX – XX В.)

Календарные обряды народов Дагестана, сосредоточенные в основном в весенних, весенне-летних, летне-осенних и зимних праздниках – это обряды, главным образом относящиеся к производственному циклу. Сохранившиеся в быту до начала XX в., а некоторые – до 40-х–50-х годов XX века, в трансформированном виде дожившие до наших дней, они представляют собой набор реликтовых явлений, сложившийся путем напластований религиозных представлений разных эпох.

Обряды и обычаи, занимающие некогда большое место в производственной сфере, сохранились до наших дней лишь как «культурные пережитки», как приверженность к традиционному, ко всему, что несет в себе элементы народной культуры. В данной статье речь идет о традиционных обычаях и обрядах производственного цикла в XIX–XX вв. как об источниках для изучения духовной сферы земледельцев. Следует отметить, что в рассма-

триваемый период бытовали лишь пережиточно сохранившиеся элементы таких обрядов, которые в основном носили развлекательный, игровой характер. Мы позволим себе осветить степень пережиточного бытования тех или иных обрядов, и поэтому нам придется достаточно подробно остановиться на истоках этих пережитков, т.е. на традиционных обрядах – новогодних (начало весны), связанных со стремлением воздействовать на получение хорошего урожая.

Выяснению степени бытования элементов традиционных обрядов и верований, связанных с проведением праздника весны, и посвящена настоящая статья.

В основу статьи легли полевые этнографические материалы автора, собранные в разных районах Дагестана.

Обряды и обычаи народов Дагестана, связанные с хозяйственной деятельностью выпадали в

основном на весенне-летний цикл, так как весна и лето – наиболее ответственный период для земледельцев. Весной совершались главные сельскохозяйственные работы – вспашка поля и посев, от которых зависело благополучие всей жизни горца на протяжении года. Поэтому именно в весенний период люди еще более тщательно, чем зимой, наблюдали за явлениями окружающей природы, старались приспособиться к ним, чтобы сделать год более успешным.

Начало сельскохозяйственных работ предполагало окончание посиделок – обычая сельской молодежи, повсеместно бытовавшего в исследуемый период, проводить вместе долгие зимние вечера за пряжей и рукоделием, в атмосфере шуток и веселья.

Первые весенние обряды, связанные с пробуждением природы и началом сельскохозяйственных работ у народов Дагестана, совершались в марте. Внимательно наблюдать за мартовской погодой принуждала дагестанца, прежде всего, зависимость от нее результатов полевых работ (См.: Покровская Л.В., 1977. С. 32).

С приближением весны, когда пора было готовиться к предстоящим полевым работам, у дагестанцев начинался весенний цикл обрядов, которые, по их представлениям, сопутствовали изгнанию зимы и встрече весны, несущей свет, тепло, пробуждение природы.

Как уже отмечалось, сельскохозяйственный год у народов Дагестана начинался после праздника весны, отсчет которого велся с 20-х чисел марта, т.е. весеннего равноденствия, а некоторые полевые работы начинались намного раньше – вывоз удобрения (навоза) на поля и т.д. Достаточно забот было и в садоводческих хозяйствах. Необходимо отметить, что садоводство, виноградарство, а в некоторых регионах и земледелие у дагестанцев было поливным, и поэтому большое значение придавали весеннему ремонту оросительной системы и рациональному распределению воды между всеми хозяйствами того или иного населенного пункта. Например, поливали пшеницу, несколько раз поливали кукурузу, несколько раз (3 раза) старались полить сады и виноградники, если даже был дождливый год.

Как отмечает А.Г. Булатова, «Весной, до начала полива ботлихцами производился обряд так называемого подъема воды – *«лъен этий»* (ботл.), который состоял в том, что воду отведенную в конце осени из оросительной системы в реку, снова пускали по отремонтированным каналам на садовые или пашенные участки. К месту пуска воды в головной канал собиралось все селение. Каждый шедший сюда взрослый нес с собой что-либо из еды, чаще хлеб или вареное мясо, или фрукты: сушеные

груши, абрикосы, орехи и т.д. Один из представителей духовенства читал определенную молитву и обращаясь к небесным силам, произносил заклинания, прося для сельчан благоприятных метеорологических условий и хороших хозяйственных результатов. После этого присутствующие сталкивали будуна или дибера в воду, а они должны были там бороться, «чтобы был дождливый год». Это, вероятно, как и в некоторых других случаях – трансформация, пережиток древнего обычая человеческих жертвоприношений водным стихиям. После совершения этого обряда все собравшиеся выкладывали на общий стол принесенные с собой продукты и совершалась коллективная трапеза, завершавшаяся танцами, весельем» (Булатова А.Г., 1999. С. 138).

Далее, в конце зимы – начале весны во многих сельских обществах Аварии, у даргинцев и лакцев производились магические обряды, целью которых было уберечь людей, скот и посевы от неблагоприятных стихий. Аварцы Местеруха с этой целью плели из гибких прутьев плетенки овальной формы и после прочтения над ними духовными лицами молитв вешали на кустах или специально вбитых жердях на границах сельской округи. Чамалинцы на длинные жерди, установленные вокруг земель, принадлежавших селу, вешали *«Сабабы»* – бумажки с молитвами, запечатанными в тряпицу. Каратинцы сел. Анчих писали молитвы на скальных выходах у северной и южной оконечности села. У лакцев после окончания посевной компании мулла обходил сельские угодья с бумагами, написанными арабскими письменами, и закапывал их в разных местах (Булатова А.Г., 1999. С. 140).

Для магической защиты молодых всходов от болезней и стихийных бедствий у даргинцев также принято было весной писать молитвы на дощечках айвового дерева и закапывать их во многих местах вокруг сельских угодий. Видимо все перечисленные действия имели целью оградить, спасти свой будущий урожай от болезней и стихийных бедствий. У многих народов Дагестана весной перед началом нового хозяйственного года выполнялся магический обряд «очищения» путем прохождения каждого жителя через туннель, вырытый специально для этой цели, и всех мулла кропил с помощью специальной метелочки водой, над которой предварительно была прочитана молитва (Булатова А.Г., 1999. С. 140).

В общественной жизни народов Дагестана в исследуемое время значительное место занимал праздник наступления весны, который у лакцев назывался *интнил хъхъу* (буквально «ночь весны»); лезгин *яран сувар* (дословно «праздник солнца»), та-

басаранцев эверчин, эбельцен, рутульцев эр, агулов эвелчан, Навруз или Бахар байрам (терек.), Навруз (азерб.). Его праздновали также аварцы и даргинцы некоторых селений.

Весьма интересно встречали праздник весны у дагестанских терекменцев. Как отмечает проф. С.Ш. Гаджиева «из праздников и обрядов весеннего цикла наиболее популярным являлся новогодний праздник Навруз (*Багар байрамы*), посвященный проходам зимы – *гышы яндыран байрам* (букв. «праздник, сжигающий зиму»). Праздник отмечался обычно в день весеннего равноденствия, 21 марта, или в последнюю среду старого года. День праздника обычно устанавливали по солнцу. Перед праздником во всех домах проводили большую уборку, белили стены, мазали пол, подметали дворы, улицы, устраивали большую стирку, мылись, одевались во все чистое, нарядное (по возможности новое), готовили праздничные кушанья. Для детей пекли обрядовые булочки треугольной формы, булочки в виде куропатки, человеческой фигуры, бублики и т.д. Полагалось готовить также к этому празднику сладкое кушанье типа повидла – *сементи*. Для этого густо проросшую в домашних условиях пшеницу толкли, выжимали из нее сок, а затем, добавив в него муку, варили. Это блюдо готовилось в больших медных котлах сразу для нескольких семей, которые потом его делили, исходя из внесенных долей. Каждая семья, в свою очередь, должна была поделиться им со своими родственниками. Готовя зерно для *сементи*, хозяйка приговаривала: «*Сементи, сахла мени, илде досужерттерем сени*» («Сементи, береги меня, каждый год буду тебя выращивать»).

Под Новый год всюду зажигали огни – в домах лампы или светильники, на крышах – факелы на длинных шестах. Зажигая огни, приговаривали: «*Илден иле гырагымыз янсын*» («Пусть из года в год горит у нас огонь»). Огонь рассматривали и как очистительную силу. Рано утром зажигали костры у ворот домов, на площадях – «*мал аягына*» («для скота»). Перед выгоном скота на пастбу хозяева также проводили его мимо зажженных огней. Через огонь прыгали дети, а иногда и взрослые, приговаривая: «*Азарымыз – безеримиз гетсин*» («Пусть уйдут болезни»).

В первый день праздника юноши ходили в лес, заготавливали из боярышника материал для деталей аробного или плужного ярма, для ручек лопат. Кроме того, они приносили ветки дикой айвы, чтобы вырезать из них фигурные женские бусы, которые считались талисманом (Гаджиева С.Ш., 1990. С. 220–203).

Этот же праздник у народов Передней и Средней Азии носит название *навруз байрам* и считает-

ся встречей нового года (Народы Передней Азии, 1957). В день празднования *интнил хьху* разводили ритуальные огни в виде костров, особенно у лакцев. Разведение ритуальных огней в определенные календарные сроки восходит, несомненно, к далеким доисторическим временам и прослеживается у всех европейских народов (Рыбаков Б.А., 1981. С. 212; Календарные обычаи и обряды..., 1977; Календарные обычаи и обряды..., 1976; Соколова В.К., 1979. С. 24), что хорошо документировано в четырехтомном коллективном издании «Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы» (Календарные обычаи и обряды..., 1977; Календарные обычаи и обряды..., 1976; Календарные обычаи и обряды... Летне-осенние..., 1978; Календарные обычаи и обряды... Исторические корни..., 1983). Существенным признаком ритуальности костров в честь солнца является их разжигание на возвышенностях – своеобразное стремление поднять огонь выше. Тем самым считали, что можно приблизить огонь к солнцу, «соединить земной и небесный огонь и ускорить тем наступление тепла». Древний праздник весны праздновали в дни весеннего равноденствия, 21–23 марта. В каждом селении обычно раскладывали один большой костер: по возможности его разводили на холме, где он должен был гореть высоко и ярко. Костры устраивались коллективно. За несколько дней до праздника дети ходили по домам, собирая топливо для костра, в чем им никто не отказывал. В основе этого праздника, как и всех других, связанных с народным календарем, лежала трудовая деятельность людей. Это положение выдвинуто и обосновано в работах В.И. Чичерова и В.Я. Проппа (Чичеров В.И., 1957; Пропп В.Я., 1963).

За несколько дней до праздника у лакцев мололи на ручной мельнице зерно в крупу – *хьувхьу* для приготовления ритуальной каши *хьурунхьусса*, которая являлась обязательной составной частью церемонии встречи весны и варилась в первый вечер праздника. Блюдо это называлось иначе – *кьатта тату* («чтобы дома было густо»). В остальные две ночи принято было готовить пельмени с яичной начинкой. Рутульцы в качестве одного из основных блюд варили кашу из пшена – «*табаг*». Рутульцы также праздновали праздник весны «эр». Праздник отмечали 18–20 марта, и он являлся не только праздником весны, тепла и солнца, но и новогодним праздником. Как и у других народов Дагестана и мира, новогодний праздник рутульцев сопровождался хождением по домам ряженных и колядовщиков. Обходы эти совершались молодыми людьми, подростками и детьми, которые ходили группами, возглавляемыми ряженными. Группа подходила обычно к дому и начинала петь благо-

пожелания в адрес хозяев, заканчивая их просьбой дать «садакъа» за здоровье членов семьи, проживающей в этом доме. Ряженые входили в дом и начинали там танцевать, а колядовщики забрасывали в это время в дом мешок, куда хозяйка клала им продукты: яйцо, сухофрукты, хлеб, сыр, мясо и т.д. Собранные продукты несли в дом одного из участников колядования, готовили из них еду, угощались, веселились, остатки продуктов делили между собой и уносили домой (См.: Булатова А.Г., 2003. С. 237). Табасаранцы готовили в этот вечер кашу «кьюяр» из пшеничной крупы или же кашу «дангу» из цельных зерен, злаков, гороха, сухого мяса, приправленную орехами. Это же блюдо – «гит» готовили у лезгин в надежде обеспечить хороший урожай. Существовала примета: насколько увеличатся в объеме разваренные зерна, настолько должен быть выше урожай по сравнению с посеянным зерном, поэтому в это время старались не готовить кушаний из сушеных или жареных зерен, чтобы не допустить уменьшения урожая. Полагалось готовить в этот праздник жирную пищу (Трофимова А.Г., 1961. С. 144).

По народным представлениям цели изобилия и умножения пищи служили кушанья, отличающиеся множественностью: орехи, бобовые, зерна злаков и др. они должны были увеличить урожай и, следовательно, достаток семьи. Как пишет исследователь традиционных праздников народов горного Дагестана А.Г. Булатова, «В лезгинских селениях на «*яран сувар*» принято было подавать семь блюд (число «семь» фигурировало и в праздничной новогодней трапезе у Сасанидских персов). Готовились лучшие блюда лезгинской кухни, такие как плов, голубцы, кебаб (шашлык из молодого мяса), пироги из молодой зелени – афарар, суп из кислого молока – «довгъа», напиток «*тIач*», «*ахтарма*». «*Ахтарма*» считалась лучшим угощением на «*яран сувар*». В этот праздничный день именно с нее начинали обычно еду» (Булатова А.Г., 1988. С. 20). «*Ахтарма*» заготавливали еще с лета из овечьего молока и хранили в бурдюке, добавив разнообразные дикорастущие душистые травы.

У табасаранцев тоже праздновали праздник весны «*эбелцен*», «*эвелцен*». Данный праздник состоял у табасаранцев из комплекса обрядов и обычаев. Празднику предшествовал обряд «*яйцебиения*», который проводился за месяц до наступления праздника. В этом празднике участвовало только мужское население (старики, подростки, дети). Обряд проводился на квартальных и общесельских «*гимах*» (ток для молотбы). Он заключался в следующем: каждый желающий принять участие в игре приносил с собой по несколько штук сырых

яиц и стороны били их острыми концами, стараясь сохранить свое яйцо целым. Проигравший свое яйцо отдавал своему сопернику, который считался победителем. Обряд с яйцами продолжался до тех пор, пока останется одно целое яйцо. Нет никаких сомнений, что в основе обряда лежит идея плодородия: кто собирал больше яиц, мог надеяться на изобилие в своем доме. Вечером 21 марта (начало весны) мужчины села устраивали на кладбище поминки: представитель каждого дома приносил с собой по три пирога с начинкой из различных трав. Все пироги складывали в одно место, разрезали их на восемь равных частей и раздавали присутствующим. Эту процедуру всегда вел самый старший по возрасту и уважаемый человек из числа присутствующих. Здесь же назначали пастухов, надсмотрщиков полей, договаривались с ними об оплате. Вновь назначенные пастухи также приносили с собой орехи, фрукты и раздавали участникам обряда. По завершении обряда все возвращались в село. По пути в селение их встречали женщины, дети, которым мужчины передавали свое угощение.

На наш взгляд, главная идея обряда заключалась в обеспечении жизненных благ (изобилие пищи, плодородия скота, многодетности) путем принесения жертвы предкам. После возвращения с кладбища, вечером, на возвышенности разжигали костер – это поручалось самому влиятельному, уважаемому и благополучному мужчине села, кандидатура которого утверждалась на кладбище старейшинами. Помимо общесельского костра устраивали и общеквартальные костры. Например, в с. Зильдик костер разжигали на главном годекане. Из каждого дома сюда приносили «афрар» из свежей травы и творога, складывали их вместе, а в конце угощали присутствующих. Здесь же назначали пастухов (См.: Алимова Б.М., 1992. С. 196). В нижнем Табасаране, кроме перечисленных моментов, накануне праздника вся молодежь села с факелами поднималась на крыши. До этого женщины на свои крыши бросали по горсти пшеницы. Зерно всегда являлось символом изобилия и плодородия. В данном случае зерно на крыше преследовало ту же цель (См.: Алимова Б.М., 1992. С. 198). А ритуалы с горящими факелами, т.е. магические обходы селений с горящими факелами, позже превратились в веселые шествия молодежи.

Итак, у табасаранцев в день праздника весны в каждом доме обязательно готовили молочные блюда, пироги с начинкой из рисовой каши на молоке – традиционное блюдо «дангу» («*ттангу*») – каша из пшеницы, гороха и т.д.). Обязательно в каждом доме готовили «кьюйир» («*кьюяр*»), состоящий из семи компонентов. Блюдо это состояло из сушеных

ножек, толченой пшеницы, гороха, орехов и других продуктов. Всех, кто приходил вечером, угощали пирогами (*афарар*). Каждая хозяйка должна была угостить «*кьюяр*» семь семей (разумеется, здесь имеется в виду и магия числа «7»).

Праздник весны «*интнил хьхьу*» ярче и красочнее всех народов Дагестана, в частности горцев, праздновали лакцы.

Перед праздником весны девушки ходили в поле отыскивать корень какой-то травы – «*турлан*», чтобы положить его ночью под голову, вместе с жареными зернами голозерного ячменя (разновидность ячменя, которая является эндемичной для горного Дагестана), обмотав в зеленый кусок шелковой материи и через то увидеть во сне свою будущую судьбу (См.: Омаров А., 1870. С. 24). Перед началом праздника деревенская детвора исправляла свои пращи для бросания туршей, молодые люди приготавливали ружья и пистолеты, чтобы стрелять из них.

В день встречи весны, «с наступлением вечера, дети бегали по аулу, отыскивая бурьян или солому для образования костра» (Дубровин Н., 1871. С. 529). Все собранное топливо складывалось посреди площади, образовав огромный стог, который «поджигали с четырех сторон. Пламя быстро охватывало весь стог сухого бурьяна и соломы и подымалось высоко, толпа шумела, кричала: «Ура!»... Молодые люди, желавшие показать свою ловкость, начинали прыгать с одной стороны костра на другую сквозь огонь» (Омаров, 1870. С. 25; Трофимова А.Г., 1961. С. 144), как бы тем самым «очищаясь» огнем. При этом они приговаривали примерно следующие слова: «*Шал цуцлаву цларахьхьун, цулулишеву чурххяхьхьун*», т.е. «Здоровье моему телу, болезни огню». В это же время раздавались повсеместно ружейные выстрелы на вершинах соседних холмов, взрывались большие камни, которые заранее начинались порохом. По воздуху летали туршии, с огненными хвостами, описывая в воздухе различные линии» (См.: Омаров А., 1870. С. 25). В эту ночь зажигали огни общеквартирные или даже общесельские и семейные. Каждый квартал или селение старались сделать свой костер ярче, чем другие.

У даргинцев праздник пахоты в селениях нижнего предгорья в какой-то степени заменял праздник весны (*Глегла байрам*). Непременной принадлежностью этого праздника были костры, через которые прыгали дети и молодежь. Разжигая костры, говорили «подожжем хвост зиме» (Гаджиева С.Ш., Османов М.О., Пашаева А.Г., 1967. С. 59).

Наиболее убедительным нам кажется определение, рассматривающее главную функцию ритуальных огней как «очистительную» силу, способ-

ствующую росту хлебов, благополучию людей и скота.

Зажигание костров в день весеннего равноденствия помимо магической функции имеет еще и весьма реальную практическую основу. Как отмечал академик Б.А. Рыбаков, «Материал для костра, по этнографическим данным, складывался из двух категорий горючего: во-первых, это солома, мякина, обмолоченные снопы, а во-вторых, – всевозможный мусор со дворов, всякое старье, хлам, старые метлы» (Рыбаков Б.А., 1981. С. 315). Обычай сжигать на кострах всякий хлам и мусор существовал и у многих народов Западной Европы (Кашуба М.С., 1977. С. 250; Серов С.Я., Токарев С.А., 1978. С. 46, 144; Соколова В.К., 1979. С. 143). Был смысл в этом, потому что подвергался уничтожению весь хлам, который не годился в дело и только загромождал дворы. «Хлам подлежал уничтожению еще и ради «изгнания нечистой силы», ...рациональное смешивалось с ритуальным: источник болезней – гнилая, перепрелая солома, гнездовище мух, оводов и слепней уносилась, «чтобы сохранить скот от нечисти», за околицу и там, на огромном общесельском костре сгорали во славу благодетельных весенних божеств» (Рыбаков Б.А., 1981. С. 316).

У лакцев при подготовке праздника встречи весны пекли особый ритуальный хлеб – «*барта*», с запеченным внутри яйцом и утыканным орехами, изюмом, горохом и т.д. *Барта* мог быть самых разнообразных видов – в виде антропоморфного или зооморфного изображения, где вместо живота запекалось яйцо; в виде какого-нибудь зверька или домашнего животного, например, барана с загнутыми рогами и пр. Необходимо отметить, что в представлении «древних народов козлу и овце приписывалась большая оплодотворяющая и плодоносящая сила» (Рухадзе Д., 1966. С. 26), которая и воплощалась в обрядовых выпечках и их образах. А яйцо, как постоянный компонент почти всех весенних праздников, символизировало собой плодородие полей, что сулило всем благополучие и обилие. Об обрядовых выпечках Г.Ф. Чурсин писал, что «изображением божественного существа или покровителя можно считать прежде всего те приготавливаемые в виде человеческой фигуры обрядовые хлебы» (Чурсин Г.Ф., 1930. С. 19).

К концу XIX в. господствующим обрядом встречи весны, например, у русских было выпекание «жаворонков» – печенья в форме птичек, позже потерявшее свое обрядовое значение: его стали печь для детей (См.: Соколова В.К., 1979. С. 82).

Магическое назначение имеют те новогодние печения, которым придаются формы домашних животных – для обеспечения благополучия и обилия

этих животных в наступающем году. Изготавливая из теста те или иные предметы, человек, проникнутый магическими воззрениями, рассчитывал тем самым воздействовать на естественный ход явлений в желательном для себя смысле (Чурсин Г.Ф., 1930. С. 20). В прошлом эти фигурные хлебы рассматривались как продукт или тело божества плодородия – обряды эти известны в этнографической литературе под названием *теофагов* (богоедание). Посредством вкушения тела божества человек как бы приобщается к атрибутам и силам божества (Фрззер Дж., 1980. С. 21, 227). «*Барта*» пекли на каждого члена семьи и несколько штук сверх этого, поскольку был обычай хождения детей по домам и выпрашивания барта.

Праздник встречи весны – это пробуждение природы, весеннее равноденствие, горящие колеса, спускаемые с горы в честь разгорающегося солнца.

Подводя итоги сказанному, отметим, что в земледельческой обрядности народов Дагестана, охватившей, в основном, весенний календарный цикл, начиная с периода пробуждения природы, и начала весенних полевых работ идея плодородия выражена наиболее полно и красочно. Символика плодородия, применяемая в обрядах этого периода, как уже отмечалось, отличалась богатством и разнообразием.

В обрядах весеннего цикла многие символы плодородия определили особенности земледельческой обрядности, сюда относятся хлеб и всякие обрядовые печения. Особое место в земледельческой обрядности, как и при начале сельскохозяйственных работ, так и в комплексе весенних праздников занимало яйцо, воплощающее в себе идею плодородия. Яйцу, благодаря его роли в магических действиях, приписывались сверхъестественные свойства, в т.ч. и сила плодородия. Оно выступало в роли основных компонентов в составе ритуальной пищи на празднике встречи весны: запекалось в ритуальном хлебе «*барта*», «*барта-гурга*» (лакск.), служило основой для начинки пельменей. Яйца служили подарком и предметом праздника встречи весны. При начале сельскохозяйственных работ совершались магические действия, где яйцо выступало как символ плодородия: в первую борозду клали ритуальный хлеб с запеченными яйцами и т.д. Магическая сила яйца выводилась из того, что оно содержало в себе зародыш будущей жизни, что якобы «способствовало ее постоянному возрождению (круговорот: жизнь–смерть–жизнь)» (Листова Н.М., 1983. С. 164).

Ритуальные хлебы украшались орехами, изюмом и т.д., что преследовало цель изобилия и умножения пищи, чему служили по народным

представлениям «кушанья, отличающиеся множественностью: орехи, бобовые, зерна злаков») (Листова Н.М., 1983. С. 164).

При подготовке к началу сельскохозяйственных работ значительное внимание уделялось очистительной, предохранительной и продуцирующей магии, что достигалось с помощью огня, воды и др. Разведением ритуальных костров отмечалось начало нового и открытие сельскохозяйственного года. Для подобных ритуальных огней характерен был общественный характер, т.е. какой-то определенный коллектив сооружал костер и собирался вокруг него. Как уже отмечалось выше, костры бывали общесельские, квартальные, даже семейные. Важным моментом для них являлся тот факт, что место для разведения костров специально готовилось и старались выбрать его на возвышенности, чтобы костер «осветил» как можно большую площадь (Рыбаков Б.А., 1981. С. 314).

Разжигание костров было связано с изменением солнечных фаз, как и в данном случае – в день весеннего равноденствия. Обрядовое очищение достигалось с помощью огня, которому приписывали апотропейные свойства. Приемы продуцирующей магии, включавшиеся в обряды с огнем, проявлялись в характерных для празднования начала весны зажиганиях ритуальных костров и перепрыгивании через них. В земледельческой обрядности народов Дагестана немалое место занимает обрядовая пища и жертвоприношения. Например, при проведении символической «первой борозды» земледелец кладет баранью тушу в свежепроведенную борозду, что должно было содействовать получению обильного урожая и благополучию их исполнителя.

Велика была также роль хлеба – как дара или жертвы, объясняющаяся его порожденным значением главного, наиболее «действенного» средства повышения плодородия земледелия магическим путем. Семантика хлеба включала в себя представления о жизни, воскресении, живом существе (Рикман Э.А., 1983. С. 183). Хлебу приписывались способности отгонять болезни, придавать силу, вследствие чего хлеб так активно циркулировал в роли дара и жертвы во время календарных обрядов. Здесь необходимо отметить, что пища в «ночь начала весны», праздника весны – это ритуальная пища, потому что ей придавалось особое магическое значение, полагали, что она способна содействовать долголетию людей, богатому урожаю. Все здесь имело сакральный смысл, обилие пищи соответствовало проведению, обеспечению плодородия урожая. Отдельные блюда, например, пельмени с яичной начинкой, каша с голозерным ячменем, фасолью, черными бобами («*хьхьахьхьари*» (лакск.) «*мугь*»

(авар.), «шабши» (дарг.), «гит» (лезг.) и т.д., призна- ны были обеспечить благополучие и плодородие.

Праздничная пища включает такие компонен- ты, которые не являлись составной частью повсед- невной пищи. Здесь же следует отметить опреде- ленную зависимость от хозяйственно-культурных типов в различных блюдах и хлебах, по особому оформленных к празднику начала весны.

Для проведения праздника весны и начала сель- скохозяйственного года в советский период задол- го до его наступления организовывался оргкомитет из авторитетных представителей партийных, хо- зяйственных, профсоюзных, комсомольских работ- ников района с широким привлечением опытных передовиков производства, победителей социали- стического соревнования, своей добросовестной работой прославляющих социалистический труд в общественном хозяйстве. Для придания празднику национального колорита в комиссию включались представители старшего поколения, хорошо знаю- щие народные традиции, ветераны войны и труда, кавалеры правительственных наград и т.д. Под не- посредственным руководством оргкомитета празд- ника и отдела пропаганды и агитации райкома КПСС, отдела культуры, совместно с домами куль- туры сел и райкомом комсомола разрабатывался и составлялся подробный сценарий предстоящих торжеств. Особое внимание здесь уделялось теа- трализации праздника, призванного эмоционально, эстетически и психологически воздействовать на людей, поднимать их трудовой энтузиазм.

Оргкомитет разрабатывал подробную програм- му проведения праздника весны, где основное место отводилось подведению итогов хозяйственного года и задачам на предстоящий год, поощрению победи- телей соцсоревнования, передовиков производства района, веселью и развлечению, последовательности выступлений коллективов художественной самодея- тельности и т.д. Одним словом, оргкомитет состав- лял программу праздника таким образом, чтобы все мероприятия символически и наглядно воплощали высокие и благородные идеалы коммунистического мировоззрения, чтобы их эффективность была обу- словлена идеологическим воздействием.

Безусловно, праздник весны начинался вечером 21 марта. С наступлением темноты дети развлека- лись разведением своих костров, через которые прыгали, но совершенно не знали первоначального смысла этих действий и никто не интересовался этим. Время от времени взрослые принимали пас- сивное участие, подсказывая детям отдельные де- тали праздника, которые они исполняли в детстве.

В основном праздник проходил 22 марта. В районные центры съезжались представители тру-

довых коллективов, передовики производства, ру- ководители партийных, советских, хозяйственных организаций.

На главной площади райцентра на трибуну поднимались руководители партийных, хозяй- ственных органов, передовики производства, по- бедители соцсоревнования, ветераны войны и т.д. Митинг, посвященный празднику весны, откры- вал один из руководителей района, который по- здравлял всех с началом весны. Здесь же выступал с докладом об итогах минувшего года и задачах предстоящего года один из руководителей передо- вого хозяйства. Затем приходили пионеры в алых галстуках и поздравляли всех с праздником. После начинались выступления смотров художественной самодеятельности, а с наступлением вечера в цен- тре площади разжигался большой костер, который придавал торжеству традиционную окраску.

Из данного описания видно, что проведение праздника весны в советский период вполне соот- ветствовал образу жизни своего времени.

ЛИТЕРАТУРА

- Алимова Б.М. 1992. Табасаранцы. XIX – начало XX в.: Историко-этнографическое исследование. Ма- хачкала.
- Амиров Г. 1873. Среди горцев Дагестана // ССКГ. Тифлис. Т. 1.
- Асиятилов С.Х. 1967. Историко-этнографические очерки хозяйства аварцев (XIX – первая половина XX в.). Махачкала.
- Булатова А.Г. 1982. Идеологические представления аварцев, нашедшие отражение в празднике первой бо- розды (XIX – нач. XX в.) // Мифология народов Дагеста- на. Махачкала.
- Булатова А.Г. 1971. Лакцы. Махачкала.
- Булатова А.Г. 1974. Сельскохозяйственный кален- дарь и календарные праздники у лакцев // Вопросы исто- рии Дагестана (досоветский период). Махачкала.
- Булатова А.Г. 1988. Традиционные праздники и обряды народов горного Дагестана в XIX – начале XX века. Л.
- Булатова А.Г. 1999. Сельскохозяйственный кален- дарь и календарные обычаи и обряды народов Дагеста- на. СПб.
- Булатова А.Г. 2003. Рутульцы в XIX – начале XX в.: Историко-этнографическое исследование. М.
- Бутаев Д. 1912. Из жизни нагорного Дагестана. Да- гестанские областные ведомости. Темир-Хан-Шура.
- Васильев А.Г. Казы-Кумухцы // ЭО. 1899. № 3.
- Гаджиева С.Ш., Османов М.О., Пашаева А.Г. 1967. Материальная культура даргинцев. Махачкала.
- Гаджиева С.Ш. 1990. Дагестанские терекеменцы. XIX – начало XX вв.: Историко-этнографическое иссле- дование. М.

Дубровин Н. 1871. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб. Т. I. Кн. I.

Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники. М., 1976.

Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы. Конец XIX – начало XX в. Весенние праздники. М., 1977.

Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год. М., 1985.

Кашуба М.С. 1977. Народы Югославии // Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы. Весенние праздники. М.

Листова Н.М. 1983. Пища в обрядах и обычаях // Календарные обряды и обычаи в странах зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. М.

Материальная культура аварцев. Махачкала, 1967.

Народы Передней Азии. М., 1957.

Никольская З.А. 1959. Религиозные представления и земледельческие обряды аварцев (к вопросу о синкретизме религиозных верований аварцев) // Вопросы истории религии и атеизма. М. Вып. VII.

Омаров А. 1870. Как живут лаки // ССКГ. Тифлис. Вып. 3.

Покровская Л.В. 1977. Народы Франции // Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы. Весенние праздники. М.

Пржецлавский П.Г. 1867. Дагестан, его нравы и обычаи. Вестник Европы. СПб. № 9.

Пропп В.Я. 1963. Русские аграрные праздники: опыт историко-этнографического исследования. Л.

Рамазанова З.Б. 1979. Праздник первой борозды у лакцев в конце XIX – начале XX в. // III Научно-практическая конференция молодых ученых Дагестана

«Молодежь и общественный прогресс» (Тезисы докладов). Махачкала.

Рухадзе Д. 1966. Грузинский народный праздник. Тбилиси.

Рикман Э.А. 1983. Место даров и жертв в календарной обрядности // Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. М.

Рыбаков Б.А. 1981. Язычество древних славян. М.

Серов С.Я., Токарев С.А. 1978. Народы Пиренейского полуострова // Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы. Летне-осенние праздники. М.

Соколова В.К. 1979. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М.

Сумцов Н.Ф. 1889. Символика красного цвета // ЭО. № 3.

Трофимова А.Г. 1961. Обряды и празднества лезгин, связанные с народным календарем // СЭ. № 1.

Фрэзер Дж. 1980. Золотая ветвь. М.

Харузина В.И. 1911. Об участии детей в религиозно-обрядовой жизни // ЭО. № 1–2.

Чибириков Л.А. 1976. Народный земледельческий календарь осетин. Цхинвали.

Чичеров В.И. 1957. Зимний период русского земледельческого календаря (XVI–XIX в.). М.

Чурсин Г.Ф. 1927. Праздник «выхода плуга» у горских народов Дагестана // Оттиск из известия Кавказского историко-археологического института. Тифлис. Т. 5.

Чурсин Г.Ф. 1930. Фигурные обрядовые печения у кавказских народов. Бюллетень Кавказского историко-археологического Института в Тифлисе. Л.С. 19.

Алимова Б.М. (ИИАЭ ДНЦ РАН)

ТРАДИЦИОННАЯ ПЕСЕННАЯ И МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА (НА МАТЕРИАЛАХ КУМЫКОВ)*

Традиционная песенная и музыкальная культура народов Дагестана представляет собой интересную, но до последнего времени слабо изученную в этнографическом аспекте область музыкального и песенного творчества народов Дагестана.

Известно, что во все времена музыка и песни сопровождали дагестанцев на различных народных праздниках, во время застолий, за работой, (уборка урожая, различные работы при строительстве и обмазке дома), даже во время болезни.

Значительную часть музыкальной и песенной культуры народов Дагестана составляли обрядовая музыка и песни, связанные с календарными и семейными праздниками и ритуалами.

Надо отметить, что большинство песен, за исключением йыров (род мужских песен импровизационного характера) и ашугских песен (ашуг – народный певец и музыкант), исполнялось без музыкального сопровождения, хотя исследователи пишут о многообразии музыкальных инструментов у народов Дагестана. Это – зурна (духовой тростевой музыкальный инструмент), барабан, бубен (перепоночный ударный музыкальный инструмент), пандур (струнный щипковый музыкальный инструмент), дудук (духовой тростевой музыкальный инструмент), кеманча (народный струнный смычковый музыкальный инструмент), чуьнгур (струнный щипковый музыкальный инструмент), саз (струнный щипковый музыкальный инструмент), кларнет, позже – агач кумуз (наиболее древний струнный щипковый музыкальный

инструмент), саратовская гармонь (с середины XIX в.). До появления саратовской гармони, по сведениям информаторов, на свадьбах северных и центральных (срединных) кумыков танцам сопровождали на агач-кумузе и накъыра-барабане. Музыковед М. Якубов также пишет, что некогда кумыки «танцевали под аккомпанемент инструментальной музыки – двух агач-кумузов и ударного инструмента, а вероятно, барабана без палочек». Он отмечает, что на старинных свадьбах состоятельных людей играли на четырех гармониках (кумуз), одном бубне (теп) и барабане (накъыра) (Якубов, 1974. С. 27.).

По материалам искусствоведа А.М. Умахановой, на «свадьбах привилегированной верхушки общества ритм отбивался не только барабаном и хлопками присутствующих, но и маленькими литаврами» (перепоночный ударный музыкальный инструмент) (Умаханова, 1991. С. 25.).

На свадьбах же южных кумыков (Каякентский, Кайтагский р-ны) танцевали под аккомпанемент двух зурн и барабана. После появления саратовской гармони, начиная с 40-х гг. XIX в., танцы в доме невесты сопровождалась на этом инструменте.

У турецкого ученого и путешественника Эвлия Челеби (XVII в.) имеются интересные данные о музыкальных инструментах кумыков, игру на которых он наблюдал во время встречи двух дагестанских правителей – Шамхала Тарковского и хана Эндиреевского в с. Эндери (ныне с. Эндирей): «И вослед Улу-бей-хану [музыканты] играли на рогах, зурнах, ханских литаврах, карнаях Афрасиаба, барабанах Искандера, на эмирских тамбурах и бубнах. И когда Улу-бей-хан со своей огромной свитой подошел вплотную, [все] спешили и пали ниц у копыт коней обоих падишахов, а затем приветствовали их, вскочив, без помощи стремян, на своих быстроногих коней. Потом снова к нам подошел воинский эскорт, и все войско, рядами и волнами, вступило в город Эндери. Было устроено великое угощение. Мы вместе с его светлостью ханом, поместившись в просторном дворце, предались наслаждениям и удовольствиям» (Челеби, 1979. С. 112-113).

Исследователи отмечают, что до появления гармони на Северном Кавказе и в Дагестане, в частности у кумыков (кум. – аргъан), исполнителями-аккомпаниаторами на свадьбах (тоях) были мужчины. С появлением гармони это стало и профессией женщин. Так, с конца XIX в. у осетин, кабардинцев, чеченцев танцевальные мелодии исполняли преимущественно женщины. Это явление распростра-

нилось с начала XX в. и среди кумыков (Умаханова, 1991. С. 26).

Гармонь у южных кумыков обычно сопровождала танцы в доме невесты, тогда как в доме жениха, как об этом мы отмечали, танцевали под инструментальную музыку и под зурну. В отличие от зурны, агач-кумуз у кумыков (северных, южных и центральных), как отмечается в исследованиях, «использовался как солирующий и как аккомпанирующий инструмент. Как правило, он сопровождает мужское сольное и ансамблевое пение. Реже сопровождает свое пение агач-кумузом женщина. Игрой на гармонике сопровождается чаще всего женское сольное или ансамблевое пение и только иногда мужское, хотя виртуозами игры на гармонике являются обычно мужчины» (Агагишиева, 1976. С. 155-156). Видимо, эти данные относятся к северным и центральным кумыкам. Что касается южных кумыков, наш полевой материал, собранный в южнокумыкских селениях, свидетельствует о том, что среди южных кумыков не было ни только мужчин-гармонистов, но совершенно отсутствовало и мужское сольное или ансамблевое пение под сопровождение гармони.

Что касается агач-кумуза, то как в прошлом, так и теперь он сопровождает пение сольных йыров. Это – песни эпического исторического и героического содержания, исполняемые обычно мужчинами на специальные мелодии (иногда и собственного сочинения). В репертуаре дагестанских ашугов помимо исторических и героических песен имеются лирические и шуточные песни импровизационного характера, исполняемые в декламационной манере.

В 60-е гг. XX в. в Дагестанском книжном издательстве впервые были изданы три небольших сборника со стихами ашугов: Ж. Саларова, С. Саидова и А. Капланова, составителем которых был автор настоящей статьи. Песенный материал этих изданий был собран также нами во время этнографических экспедиций. К сожалению, эти издания больше не переиздавались и стали библиографической редкостью.

Манера исполнения кумыкских йырчы и южнодагестанских ашугов отличается. По нашим наблюдениям, ашуги Южного Дагестана во время исполнения песни играют на сазе (струнный щипковый музыкальный инструмент) стоя, поют и одновременно танцуют, а йырчы играют на агач-кумузе и поют, сидя на стуле. В целом и йыр и песни южнодагестанских ашугов представляют собой «импровизированную речитацию» (Агагишиева, 1976. С. 156).

В йрах (как и в ашугских песнях вообще) вокальная мелодия является главной, а роль агач-кумуза, чунггура, саза и т. д. «состоит в краткой тональной поддержке – отсюда звучание его имеет чисто фрагментарный характер» (Агагишиева, 1976. С. 156).

Инструментальная музыка у кумыков использовалась и в лечебных целях. З. Агагишиева отметила одну из областей ее применения: «Примером врачевательной мелодии у кумыков может служить так называемый «чартлама-кюй». Этот наигрыш, исполняемый обычно на агач-кумузе, имел целевое назначение: он должен был успокоить боль от нарыва на кости в том случае, если всякие лекарственные средства были уже бессильны» (Агагишиева, 1976. С. 159; См.: Приложение. Мелодия № 1).

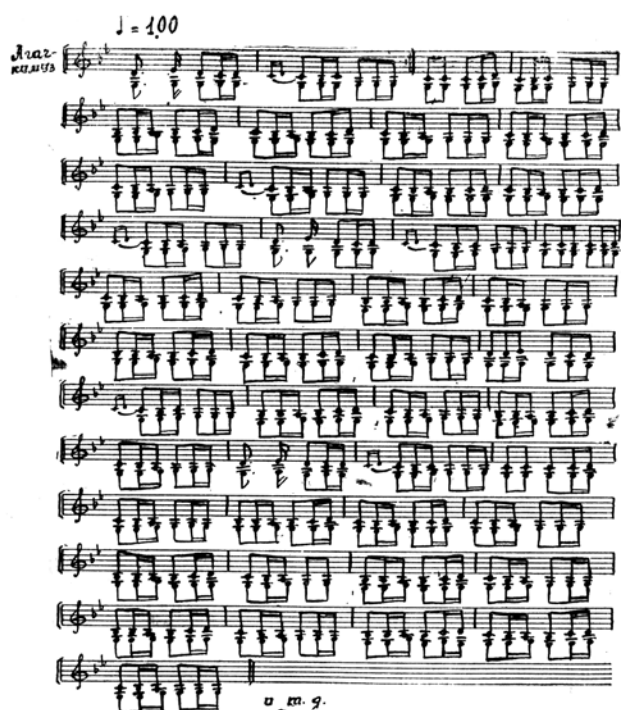


Рис. 1: «Мелодия 1»

При лечении музыкой панариции «лика кЯкъ ургъан» (досл. «кость трещину делает») кайтаги (этническая группа даргинцев) к больному приглашали кумузиста, который садился у изголовья больного и играл тихую мелодию. Больной отвлекался и засыпал (Алимова, 1998. С. 205).

Профессор С.Ш. Гаджиева также пишет, что в «лечебной практике, особенно при лечении ран, переломов, радикулита, панариции, иногда и других болезней, в народе широко применялись как успокоительные, так и отвлекающие средства – музыка, танцы и песни» (Гаджиева, 1976. С. 376). Еще в середине XIX в. обращал внима-

ние на этот способ отвлечения больного, особенно когда ранен был молодой человек, военврач П. Попов: «У горцев существует еще престран- ный обычай: к тяжелораненому товарищу своему, в особенности с переломом кости, собирают они из аула молодых девиц и мужчин, те и дру- гие садятся возле него *vis-a-vis*, начинают петь, плясать, вообще предаваться разным невинным играм, чтобы веселить больного и не позволяют ему спать» (См.: Гаджиева, 1976. С. 376). С.Ш. Гаджиева также отмечала, что у кумыков при па- нариции – «чартлама», т. е. гнойном воспалении тканей пальца, прибегали к игре особой мелодии на музыкальном инструменте – кумузе или чун- гуре. Мелодия эта называлась «яндым-гюйдюм» (горю, сжигаюсь). Считали, что музыка (имен- но такая мелодия) положительно, успокоитель- но действует на психику больного и облегчает его положение, несколько отвлекая его от боли» (Гаджиева, 2005. С. 376).

Интересно отметить, что лечение му- зыкой различных болезней (особенно нерв- ных) широко применяется в современной медицине.

Особое место в песенной музыкальной куль- туре народов Дагестана занимали обрядовые пе- сни и мелодии, сопровождающие все семейные праздники. Именно обрядовая культура в семей- ном быту отличалась удивительным многообра- зием и включала в себя музыкальный и песенный фольклор, без которого не мыслилось ни одно торжество.

Наиболее насыщенным музыкальным и пе- сенным фольклором у всех народов Дагестана отличался свадебный обряд. Например, у лезгин и табасаранцев это были песни «Пери-заде» и «Манияр» на специальные мелодии, у рутулов и цахуров (лезг. группа народностей) – «Пери- заде» и «Зари-зари», у даргинцев – «Лилли», у кумыков – «Гьалалайлар». Песня «Гьалалайлар» частично бытовала и у лакцев, предгорных дар- гинцев и других народов (Гаджиева, 1985. С. 229).

У всех народов Дагестана были специаль- ные мелодии, которые исполнялись во время вывода невесты из родительского дома и ввода ее в дом жениха. Так, например, когда невеста выходила из родительского дома, музыканты у азербайджанцев, терекеменцев, табасаранцев, лезгин и кумыков играли «Ёл гьавасы» (у ку- мыков эта мелодия называлась «Ёл-кюй») – до- рожную мелодию. Под наигрыш «Ёл-кюй» («Ёл гьавасы») завершалась свадьба, под эту мело- дию и провожали гостей (Агагишиева, 1976.

С. 161; См.: Приложение. Мелодия № 2). Под эти мелодии исполнялись песни «Гьалалай», «Пери-заде» и др.



Рис. 2: Мелодия 2 «Ел-кюй»

Был известен кумыкам (северным и центральным) наигрыш, исполняемый во время приглашения гостей на свадьбу. Исследователь З. Агагишиева приводит подробное описание этого ритуала: «Во двор, где должна была состояться свадьба собирались родители, ближайшие друзья и родственники жениха (или невесты). Выводили празднично убранных коней (обычно не менее двух, трех). Кони, как правило, были самыми лучшими, красивыми и «учеными». Под определенный наигрыш, исполняемый на гармонике, эти кони «танцевали» (ходили по кругу на задних ногах)... Затем кто-либо из друзей или родственников на этих конях совершал объезд села и соседних сел с объявлением о предстоящей свадьбе и приглашением гостей, после чего кони опять «танцевали» во дворе, и начиналась свадьба» (Агагишиева, 1976. С. 158; См.: Приложение. Мелодия № 3).

Обряд с участием коня исполнялся и в других моментах свадьбы. Так, например, по материалам профессора С.Ш. Гаджиевой, у южных и центральных кумыков, когда процессия с невестой приближалась к дому жениха, гиев-нукеры (друзжки из



Рис. 3: «Мелодия 3»

свиты жениха) «как только поезд невесты подъезжал к его дому, тут же совершали на конях традиционный танец – круг почета. Рядом со всадниками с распростертыми руками, в нарядной одежде ритмично двигались родственницы жениха. После обрядового танца на лошадях один из всадников, обычно главный нукер, должен был совершить другой сложный ритуал – заехать на коне в помещение, иногда по лестнице на веранду второго этажа дома. Тренированный конь входил в дверь, низко опуская голову и приседая, а наездник пригибался к спине лошади. Хозяйка дома должна была завязать на шею лошади полотнище из дорогой ткани, а всадника одарить ценным подарком» (Гаджиева, 1985. С. 233).

Следует отметить, что у некоторых народов Дагестана (кумыки, предгорные даргинцы с.с. Урахи, Муги и др.) в похоронном обряде в случае насильственной смерти мужчины, известного в обществе храбростью и авторитетом, также был задействован конь хозяина.

Особым разнообразием отличается музыкальная и песенная культура южных кумыков (с. Маджалис). Южная Кумыкия находится в зоне контактов нескольких народов – кайтагов, даргинцев, табасаранцев, дагестанских азербайджанцев и терекменцев – и достаточно далеко от центральных и северных кумыков, что безусловно сказалось на специфике духовной и материальной культуры населения этого микрорегиона.

Музыкальная и песенная культура с. Маджалис до сих пор еще не изучена. Песни кумыков этого селения впервые были записаны нами на магнитофонную ленту в 1973 г., а позже (1974 г.) нотированы.

Так как автор данной статьи – уроженка с. Маджалис, при сборе полевого материала в основном использовался метод многократного наблюдения. Такой метод позволил проследить всю цепочку свадебного обряда как бы изнутри. Дополнительно были проведены беседы со знатоками свадебно-песенной культуры данного села. Это были женщины и мужчины в основном пожилого возраста, активно участвовавшие в свадьбах.

Ни у одного другого народа Дагестана свадебно-обрядовые песни не представлены так богато, как у кумыков с. Маджалис. Каждый этап свадьбы обязательно сопровождается песней на специальную мелодию, которая не исполняется в других случаях. Мелодии эти связаны с началом и окончанием свадьбы, с отправкой послов за невестой и встречей свадебного «поезда» невесты и многими другими моментами свадьбы. На свадьбах исполнялись обычно песни «Гьалалай», «Гьалилей», «Чибил-

дирыкъ йыр», «Вайталлай», «Гъи-ванай-десем ванай», «Айнанай», «Гъай-гъай», и как правило, без инструментального сопровождения.

Тексты песен, помещенные в приложении к данной статье, приведены на кайтагском диалекте кумыкского языка. Мы старались, по возможности, точно передать содержание оригиналов, их своеобразный колорит, особенности диалекта. Записанные нами свадебные песни и мелодии являются уникальными и своеобразными образцами культуры данной группы кумыков.

Исследование свадебных песен с. Маджалис частично нашло отражение в наших статьях и монографии (Алимова, 1989; Она же, 1984; Она же, 2008. С. 64-80; Она же, 2012. С. 51-62.)

Записанные нами свадебные песни можно классифицировать на сольные и хоровые со специфическими мелодиями. Распространено как двухголосное, многоголосное, так и одноголосное пение, которое украшено своеобразными музыкальными орнаментами, повторами, сложными и оригинальными формами, рефренами типа «гъай-гъай», «гъи-ванай-десем ванай», «вайталлай-анай десем айнанай» и др., которые придают песням специфический колорит.

В исполнении хоровых песен обращают на себя внимание традиционные приемы чередований партий солиста и хора. Иногда два-три солиста последовательно исполняют свои партии на фоне хора, как бы соревнуясь между собой. Например, песни, исполняемые на мелодии «Гъалалай», «Гъалилей», «Айнанай», «Гъай-гъай». Во всех этих песнях многоголосное хоровое исполнение сочетается с сольным исполнением каждого участника в отдельности. Получается непрерывная цепочка единого целого.

Собранные нами материалы свидетельствуют о том, что есть песни, исполняемые только пожилыми мужчинами или женщинами. Есть одна песня, в исполнении которой принимают участие и мужчина, и женщина и песня, исполняемая только молодыми вдовами.

Таким образом, в свадебном фольклоре отбор исполнителей свадебных песен происходит не только по гендерному признаку, но и по возрастному.

Свадьба у маджалисских кумыков, как и других народов Дагестана, отмечалась весьма торжественно и длилась обычно 3 дня. В первый день утром на свадьбу приходили преимущественно близкие родственники и соседи и обязательно музыканты: два зурниста и один барабанщик, а в дома состоятельных людей – четыре зурниста и два барабанщика, которые играли поочередно. В доме девушки танцам аккомпанировала гармонистка. Зурначей и барабанщиков обычно приглашали из Верхнего Табасарана.

Услышав издали мелодию «ёл-кюй», пожилые родственницы жениха медленно, но широким шагом, раскинув руки в стороны, подняв их выше плеч, двигаются навстречу музыкантам, исполняя величальную песню под специально предназначенную для этого момента свадьбы мелодию «гъалалай».

Обычно песню начинает тетка невесты по отцовской линии, а остальные ее подхватывают (См.: Приложение. Песня № 4).

Гун-гун экен, гун экен (соло)
 Бу гун хадир гун экен, гъалалайу (соло)
 Ва-а-а-а, гъа-а-а-лай, гъа-а-лай-гъей (хор)
 Мени атамны юртуна (соло)
 Бу гун къайдан тувдукен, гъалалайу (соло)
 Ва-а-а-а, гъа-а-а-лай, гъа-а-лай-гъей (хор)

ГЪАЛАЛАЙ

Сторона жениха:

Ай тувганда, ай тувсун
 Гун тувганда, гун тувсун.
 Мени атамны юртуна
 Айда хадиргун тувсун.

Так поет сестра или тетя жениха по отцу, когда свадебный поезд с невестой подходит к дому жениха.

Гелин-гелин, гел чечек.
 Гелтиганинг беш тошек.
 Бешсинда толтугур
 Улан тавуп олтугур.

Башимнаги гулмеллим
 Денгизни устун япсун.
 Гелеген йыл шу чакъга
 Гелиним улан тапсун.

Сторона невесты:

Гелин алип гелипбиз.
 Чачма къозунгуз барму?
 Биз гелтиган гелинга
 Айтма созунгуз барму.

Бизга гелген дамчилар
 Турлу йырларын сокъду.
 Сиз гелтиган гелинга
 Айтма созуммиз ёкъду.

ПЕСНЯ № 4

Медленно, педуче

Соло
 Гун - гун э- кен гун э- кен бу - гун ха-дир гун э-

Хор
 -кен гъа-ла- лай - у Ва га -
 - лай гъа - лай гъей!

Рис. 4: «Гъалалай»

(«День сегодня, день. Сегодня день радости и счастья. Откуда такой радостный день пришел в мой отцовский дом»). Исполняются и другие куплеты. Песни на эту мелодию, в основном, шести-семи-одиннадцатислоговые (шести-семислоговая – первая, четвертая строфы и одиннадцатислоговая – вторая, третья, четвертая и пятая строфы).

Что касается мелодии, то она очень протяжная, украшена своеобразными музыкальными орнаментами, повторами, другими сложными и оригинальными формами. Обращают на себя внимание традиционные приемы чередования партий солиста и хора. Иногда два-три солиста последовательно исполняют свои партии на фоне хора, как бы соревнуясь между собой. При этом они ни разу не сбиваются. Мелодия в куплете при вступлении нового солиста повторяется с незначительными вариациями. Весь куплет (четыре строфы) исполняется в спокойном умеренном темпе. В целом мелодия этой песни протяжная и очень лиричная, она отличается особой красочностью, праздничностью и олицетворяет символ радости и счастья. Обращает внимание то, что сама мелодия имеет многообразные мелодические варианты в концовке каждой строфы, связанные с индивидуальным творчеством каждой исполнительницы. Это только украшает мелодию.

Все это время, пока женщины пели, музыканты играли дорожную мелодию, которая постепенно уже во дворе дома жениха переходила в быструю лезгинку. Исполнителями песен на эту мелодию в основном были пожилые родственницы. Присутствие мужчин на данном этапе свадебного торжества воспрещалось. Мужчины обычно

стояли в стороне и наблюдали все происходящее со стороны.

Во встрече музыкантов не принимали участие и молодые женщины, а тем более девушки и очень старые женщины. Отклонение от нормы порицалось. Среди женщин, встречающих музыкантов, не должно было быть вдов, разведенных и бездетных. Исполнителями должны были быть женщины, которые прожили счастливую жизнь в браке и у которых благополучно сложилась семейная жизнь их детей. Лишь счастливые в браке и в семье женщины имели положительную семантику. Предполагалось, что именно такие женщины могут благотворно повлиять на создание новой благополучной семьи.

К этой песне близко примыкает другая песня, исполняемая также только женщинами на мелодию «Гялилей» (См.: Приложение. Песня № 5). В отличие от песни «Гялалай» ее исполняли и молодые женщины, т. е. для исполнения этой песни возраст не имел определяющего значения. Хотя, слишком активное участие молодых девушек не поощрялось.

За невестой обычно отправлялись с наступлением сумерек второго дня свадьбы. Когда свадебный поезд подходил к воротам дома невесты, представители дома жениха исполняли песни именно на мелодию «Гялилей». Куплеты песен посвящались отцу, братьям и дяде невесты. В основном это были величальные песни. Шуточные, корильные куплеты в данном случае не исполнялись ни той, ни другой стороной. Вот куплет этой песни:

Гялилей-гялилей гьей-вай, анай десем айна-най (хор)

Гялилей-гялилей гьей-вай, элден элге гелин-биз (соло)

ПЕСНЯ №2

Оживленно

Соло
Гя-ли-лей гья-ли-лей гьей эл-ден эл-ге ге-лип-биз

Хор
Гья-ля-лей гья-ли-лей гьей-вай а-най де-сем ай-на-най

Соло
Гья-ли-лей гья-ли-лей гьей вай бе-тин-гиз-ни бу-рун-гуз

Хор
Гья-ли-лей гья-ли-лей гьей-вай а-нам де-сем ай-на-най

ГЯЛИЛЕЙ

Элден элге гелипбиз
Башингизни бурунгуз.
Гелий алип гелипбиз
Ерингизга турунгуз.

Бир манат, эки манат
Кисамна хирли манат.
Бизга кьизин сакълаган
Юз яшасин Магъаммат.

Рис. 5: «Гялилей»

ПЕСНЯ №

Чибилдырык

Ва Гьел-ден-гиз гьел-ден-гиз
 Ва ер кьа-за-ган бел-ден-гиз.
 Ва ба-ши-на теп-си са-лип а-ман ва Па-ти-мат-га гел-ден-гиз

Ва гьелденгиз, гьелденгиз
 Ва ер кьазаган белденгиз.
 Ва башина тепси салип
 Ва Патиматга гелденгиз.

Ва кьудалар, кьудагьызлар,
 Ва менне айтайм тинглангиз.
 Ва аллагьисен, кьудалар, аман,
 Ва кьатунлани кьавлангиз.

Рис. 6: «Чибилдырык йыр»

Гьалилей-гьалилей гьей-вай, анай десем айнанай (хор)

Гьалилей-гьалилей гьей-вай, бетингизни бурунгуз (соло)

Гьалилей-гьалилей гьей-вай, анай десем айнанай (хор)

Гьалилей-гьалилей гьей-вай, гелин алма гелипбиз (соло)

Гьалилей-гьалилей гьей-вай, анай десем айнанай (хор)

Гьалилей-гьалилей гьей-вай, ерингизга турунгуз (соло)

Гьалилей-гьалилей гьей-вай, анай десем айнанай (хор)

(«Мы из аула в аул пришли, повернитесь лицом к нам, пришли мы за невестой, поднимитесь со своих мест»).

На эту же мелодию уже у ворот дома жениха исполнялись песни в форме диалога между сторонами невесты и жениха. Если до сих пор в песнях звучала тема невесты и тема жениха и их родителей, то в куплетах, исполняемых той и другой стороной, присутствовало много остроумия, юмора, создающих атмосферу веселья и праздничности. Представители дома невесты и дома жениха вступали здесь в настоящее поэтическое состязание, которое составляет одну из лучших традиций народной культуры южных кумыков (Алимова, 1989. С. 36). Каждая из сторон этого увлекательного и своеобразного состязания прилагала все усилия для того, чтобы одержать верх.

Надо отметить, что во время этих состязаний, мужчины всегда наблюдали за происходящим со стороны, не вмешиваясь. В противном случае они

подвергались осуждению со стороны женщин, которые считали, что они выходят за рамки дозволенного.

Самая торжественная часть свадьбы началась в доме жениха после ввода невесты с ее свитой в отведенную для них комнату. Свиту невесты, состоящую из подруг невесты «кьудагьызлар» и молодых мужчин («кьудалар»), приветствовала главная родственница жениха песней на мелодию, которая называется «Чибилдырык йыр»:

Ва хошгелдингиз, кьудалар,
 Ва гелгенсиз бизин учун.
 Ва олдесенгиз олербиз, аман
 Ва бу гече сизин учун.

(«С приездом, кьудалар. Вы сегодня пришли к нам ради нас. И мы, если вы пожелаете, готовы умереть за вас») (См.: Приложение. Песня № 6).

Все куплеты на эту мелодию – речитативного (декламационного) характера.

Крайне специфична мелодия «Гьи-ванай-десем-ванай», которую поют с наступлением темноты пожилые женщины, расположившись полукругом на полу. Начинается песня с припева. Его сначала исполняет солистка. После нее этот же припев повторяет хор. Потом та же солистка исполняет четверостишие, после чего опять припев. Каждая новая солистка повторяет все сначала (См.: Приложение. Песня № 7).

Вот текст этой песни:
 Гьи-ванай-десем-ванай
 Анайдесем, айнанай. соло
 Гьи-ванай-десем-анай
 Айнанайдесем анай

Сдержанно

Соло
Гы- ванай- де- сем ва- най
Гы- ванай- де- сем ва- най

Хор
такъ- та- дан ко- пур эт- син
ус- тун- нан о- туп гет- син
Гы- ванай де- сем а- най
Ай- на- най де- сем а- най

ГЫ ВАНАЙ ДЕСЕМ, ВАНАЙ

Солист:
Такътадан копур этсин.
Устундан отуп гетсин.
Вай мени жан къардашым
Гъар негетина етсин.

Хор:
Гы-ванай десем анай
Анай десем-айнанай.
Гы-ванай десем анай
Айнанай десем анай.

Припев:
Къазанда бишган ашин
Жийилганлар ашасин.
Вай мени къардашларим
Юз йиллага яшасин.*

Рис. 7: «Гы-ванай-десем-ванай»

Гы-ванай-десем-анай
Анай десем, айнанай.
Гы-ванай-десем-анай хор
Айнанай десем анай
Далее поет солистка:
Гы ванай-десем ванай, такътадан копур этсин,
Гы ванай-десем ванай, устуннан отуп гетсин
Гы ванай-десем ванай, вай мени жан къарда-
шим соло
Гы ванай-десем ванай, гъар негетина етсин
(«Пусть из досок построят мост, а по мосту
пройдут люди. Пусть у моего дорогого брата сбудут-
ся все мечты»)

Обычно куплеты женщины посвящают отцу, братьям, сыновьям сидящих женщин. Куплеты исполнялись под хлопки присутствующих. Это была своеобразная манера исполнения многих хоровых песен южных кумыков. Что касается мелодии, то она – спокойного и умеренного темпа. Звучит она на одних и тех же нотах.

Сугубо женской является песня на мелодию «Айнанай», которую поют на свадьбе после полуночи молодые вдовы (тул къатунлар). В отли-

чие от других песен в «Айнанай» каждая вдова поет о себе, о муже, о времени, проведенном с ним и без него. Это – песни-исповеди. Им соответствует и мелодия – медленная, протяжная, грустная, спокойная и очень лирическая со своеобразными мелодическими оборотами, повторами. Обычно одна женщина запеваает, а все остальные подхватывают. Поют женщины час, другой, сменяя по очереди друг друга. Мелодия навевала грусть и одновременно своей искренностью, нежностью успокаивала женщин (См.: Приложение. Песня № 8).

На свадьбе выступает и мужской хор. Одна из многоголосных мужских хоровых песен называется «Гъай-гъай». Песня эта удивительно красива. Исполняется она преимущественно пожилыми мужчинами. Молодые мужчины эту песню не поют. Они стоят в стороне и слушают. Песня эта пользуется большой популярностью и в настоящее время, но ее поют теперь в основном женщины.

Особо следует отметить, что мужчины никогда не исполняют величальные песни. В их исполне-

Певучо

Соло
Ай- на- най а- най де- сем ай- на- най
Ай- на- най а- най де- сем ай- на- най

При повторении поет хор
Ай- на- най а- най де- сем ай- на- най

АЙНАНАЙ

Бизин уйну артинна
Кокан терек бав босун
Жан къардашим Мугъитдин
Гелин Алип уй болсун.

Мени атамни абзари
Абзаринна къазлари
Орте шагъарли болсун
Уланлари, къызлари.

Рис. 8: «Айнанай»

нии всегда звучат любовные песни (См.: Приложение. Песня № 9).

Например:

Айтаймукен ярап,
Къояймукен сонгъунса соло
Ярып яш юрегингни
Гъай-гъай-й, гъай-гъай-гъай хор
Гираймукен ичина соло
Талай, талали-лай-Ваталлай
Талай-й-й, къаранастин къабалай хор
Яллагъ ялалай-й-й

(«Сказать мне тебе сейчас или оставить на после. Разорвать твое молодое сердце и войти мне туда?»).

лога – понизить самооценку противоположной стороны. Поэтому партию мужчины и женщины исполняют обычно разведенные молодые женщины и мужчины.

Обычно в круг выходит мужчина или женщина со специальной украшенной палочкой в руках. Он (она) исполняет куплет песни, обращенный непосредственно к кому-нибудь из присутствующих. Затем дотрагивается до него палочкой, приглашая тем самым выйти в круг и исполнить ответный танец и песню. Солистов поддерживают все присутствующие, подтягивая рефрен куплетов (гъей-гъей-гъей гъейагъа, гъей-агъа-гъа Вайталлай) и хлопая в ладоши. Что ка-

ГЪАЙ-ГЪАЙ

Айтди не, айтмади не,
Къой сана халивадан.
Сени созларинг татли
Бал къошган гъаливадан.

Айтаймукен ярап,
Къояймукен сонг уна.
Ярып яш юрегингни
Гираймукен ичина.

Улан деп къойуп эдим,
Бийик атга минганна
Нечеде янним, гуйдум
Гъалинг-гунунг билганна.

Рис. 9: «Гъай-гъай»

Надо сказать, что в этой песне, как и в других хоровых песнях, важную роль играет запева. Остальные присутствующие исполняют только традиционный припев. Запевалы обычно меняются, поддерживая друг друга и не прерываясь.

Обращает внимание то, что запевалы часто позволяют себе импровизировать, каждый раз менять начало или концовку мелодии. Это делают обычно мужчины-запевалы, женщины-запевалы почти всегда стараются сохранить традиционную мелодию.

Как раньше, так и теперь у южных кумыков популярны танцы с частушками. Единственная песня, где участвуют и мужчина, и женщина – песня-танец на мелодию «Вайталлай» (См.: Приложение. Песня № 10). Это – куплеты-диалоги мужчины и женщины. Молодые девушки и замужние женщины исполняют «Вайталлай» редко, т. к. состязание часто принимает крайне острый характер. Тексты куплетов бывают иногда насыщены откровенными двусмысленными намеками. Для этой цели используются самые разнообразные поэтические сравнения, сопоставления, параллели. Цель участников диа-

сается танца, то основной рисунок его «состоит из проходок легким лезгиночным шагом по кругу и движений на месте обычного соло (у мужчин), кружении по отведенной площадке с разведенными в стороны (выше уровня плеч) руками и оборотов вокруг себя на месте также с поднятыми руками (у женщин)» (Умаханова, 1991. С. 60). Чаще партнеры не смотрят друг на друга («не замечают» друг друга), но иногда они двигаются навстречу друг другу. Надо сказать, что мелодия «Вайталлай» живая и энергичная и от начала до конца держится на интонации и сопровождается хлопками всех присутствующих.

Иногда такое поэтическое состязание длится долго. Если одна из сторон чувствует, что начинает проигрывать, она быстро передает палочку другому. Для примера приведем одно восьмиистишие:

Вайталлай, къара кастумунг гийип, (соло)

Гъей-гъей-гъей-гъейагъа, гъей-агъа-гъа Вайталлай. (хор)

Вайталлай, къарамай барамусан (соло)

Гъей-гъей-гъей-гъейагъа, гъейагъа-гъа Вайталлай (хор)

Вайталлай, бараган еринг айтмай (соло)

ВАЙТАЛЛАЙ

Къара кастумунг гийип
Къарамай барамусан.
Бараган еринг айтмай
Юрегим ярамусан.

Алты-етти юмуркъа,
Ашамайли тояму.
Я элтурмай, я олмей,
Сюйген къязин къояму.

Сюйген досун къояму,
Тасмалардай тилинмай.
Тас болуп гетгин улан
Гетген еринг билинмай.



Рис. 10: «Вайталлай»

Гъей-гъей-гъей-гъейагъа, гъей-агъа-гъа Вайталлай (хор)

Вайталлай, юрегим ярамусан (соло)

Гъей-гъей-гъей-гъейагъа, гъей-агъа-гъа Вайталлай (хор)

(«Ты надел свой черный костюм и идешь не оглядываясь. Почему ты не говоришь, куда ты идешь ирываешь мне сердце!?)» (Полевой материал Б.М. Алимовой)).

Анализ традиционной песенной и музыкальной культуры народов, перечисленных выше, позволяет сделать следующее заключение. Сегодня песенная и музыкальная культура народов Дагестана претерпела значительные изменения. Социально-экономические изменения и преобразования (особенно в последние годы) сильно повлияли на обрядовые системы в целом. Некоторые свадебные обряды трансформировались, упростились или утратились совсем. Вместе с обрядами утрачены и свадебные песни и мелодии. Еще до 90-х гг. XX в. свадебные обряды сохраняли этнический характер и отличались наличием локальных вариантов. Сегодня, к сожалению, характерное для традиционной свадьбы гармоничное соединение песни и обряда, превращавшее ее в красочное действо, разрушено. На современных городских свадьбах, например, свадебные песни исполняются редко, а в сельской местности сохранились лишь песни («Гьалалай», «Гьалилей» «Ел-кюй»), связанные с началом и завершением свадьбы и встречей свадебного «поезда» невесты у ворот дома жениха.

Использование в современной городской и сельской свадебной обрядности отдельных элементов традиционной дагестанской свадьбы, содержащих положительный жизненный опыт поколений, остается сегодня проблематичным (Алимова, Мусаева, Магомедханов, 2013. С. 196-197).

Люди старшего возраста отмечают, что в их время в сельской местности свадьбы проходили

гораздо интереснее, содержательнее и объясняют это тем, что развлекательная сторона свадьбы была богаче, ярче (песни-соревнования, шутки, присутствие на свадьбе ряженных и т. д.). Они считают, что сегодня отказ от традиционных элементов народной свадьбы ничем не оправдан. Это относится и к отказу от традиционного свадебного наряда невесты и жениха.

В этнографической литературе женщина обычно рассматривается как основная носительница традиционной культуры. Собирая полевой материал о свадьбе, свадебных песнях, мы обратили внимание на то, что и сегодня, как и в прошлом, в исполнении свадебных песен и в целом свадебного обряда у всех народов Дагестана наблюдается женская доминирующая роль. Именно женщины показывали свою осведомленность в знании песенного фольклора лучше, чем мужчины. И это в первую очередь связано с тем, что женщины имели менее широкую среду межэтнических контактов, чем мужчины. Женщины больше привязаны к дому, семье. Разумеется, это объясняется общественным разделением труда в прошлом. Мужчины уходили на заработки, а женщины всегда оставались дома с детьми, стариками (Алимова, 1989. С. 80-86). И не удивительно, что роль женской субкультуры состоит в сохранении и передаче существующей традиции следующим поколениям. Женщина не только передает существующие традиции новому поколению, но и осуществляет контроль над «правильностью» их исполнения, следит за культурой их использования.

Если роль женской субкультуры состоит в сохранении и передаче следующим поколениям существующих традиций, то у мужчин больше возможности создавать что-то новое в силу того, что мужчины имеют более широкую среду межэтнических контактов, чем женщины. Именно мужчины привозили из дальних поездок разнообразные шелковые и шерстяные платки, украшения

и т. д. для невест. Привозной платок, например, «особенно шелковый или шерстяной, в горном Дагестане был признаком достатка в семье. Он бережно хранился долгие годы и переходил от бабушек к внукам» (Гаджиева, 1981. С. 106). Из восточных стран (Персии, Турции, Средней Азии) и из России мужчины привозили большие набивные шелковые платки с вытканым узором – «хара явлукъ» с длинной бахромой, газовые платки с золотой каймой и узорами «газ явлукъ», махровые шали с небольшими петельками типа искусственного каракуля – «керпе явлукъ» и т. д. (Гаджиева, 2005. С. 92).

В целом, как отмечалось, как сама свадьба, так и свадебная музыкальная культура претерпели значительные изменения. К сожалению, утрачены не только некоторые обряды, которые сопровождали свадебное торжество, но и те, которые были в числе лучших традиций народной культуры.

При наших беседах с информаторами, почти все они выразили отрицательное отношение к упрощению предсвадебной и послесвадебной практики, а в целом всего свадебного обряда.

Общество беспокоит нарастающее значение материальной составляющей свадьбы, что, по нашему мнению, свидетельствует не столько о росте благосостояния дагестанцев, сколько о доминировании в общественной психологии неадекватных национальным традициям установок об успешности, престиже, материальном благополучии (Алимова, Мусаева, Магомедханов, 2013. С. 196-197).

На наш вопрос: «Какие элементы из традиционного свадебного ритуала Вам бы хотелось включить в новые свадьбы?», почти все информанты отвечают, что в современные свадьбы желательно включить обрядовые песни, танцы, досвадебный и послесвадебный церемониал. Они не исключают и шуточные представления, привычные и любимые национальные блюда и национальные свадебные костюмы. Кроме того, большинство опрошенных подчеркивает необходимость соблюдения сдержанного отношения между женихом и невестой (не проявлять своих чувств при людях, избегать открытого ухаживания), которые ассоциируются в народе с достоинством человека.

ЛИТЕРАТУРА

*Кумыки – один из коренных народов Республики Дагестан и наиболее крупный из тюркских этносов Северного Кавказа.

Агагишиева З. 1976. Некоторые сведения об инструментальной народной музыке кумыков // Дагестанское искусствознание (тематический сборник научных сообщений). Махачкала.

Алимова Б.М. 1977. К проблеме традиций и инноваций в кумыкской свадьбе // Хозяйство, материальная культура и быт народов Дагестана в XIX – XX в.в. Махачкала, Даг. ФАН СССР. С. 102-117.

Алимова Б.М. 1984. Традиционные свадебные песни в современной свадьбе кайтагских кумыков // Современные культурно-бытовые процессы в Дагестане. Махачкала. С. 92-102.

Алимова Б.М. 1989. Брак и свадебные обычаи в прошлом и настоящем (Равнинный Дагестан). Махачкала.

Алимова Б.М. 1998. Кайтаги. XIX – начало XX в. Историко-этнографическое исследование. Махачкала.

Алимова Б.М. 2008. Народные песни и мелодии в свадебных обрядах южных кумыков // Вестник ИИАЭ. Махачкала. № 3. С. 64-80.

Алимова Б.М. 2012. К проблеме традиций и инноваций в Дагестанской свадьбе // Вестник ИИАЭ. Махачкала. № 4. С. 51-62.

Алимова Б.М., Мусаева М.К., Магомедханов М.М. 2013. Современная дагестанская городская свадьба // Кавказский город. Потенциал этнокультурных связей в урбанистической среде. Кунсткамера: Санкт-Петербург.

Гаджиева С.Ш. 1981. Одежда народов Дагестана. М.

Гаджиева С.Ш. 1985. Семья и брак у народов Дагестана в XIX – начале XX в. М.

Капланов А. 1963. «Агъач хомуз булан» (С агач-хомузом). Махачкала. (на кум. яз.)

ПИМА – Полевые материалы Б.М. Алимовой, собранные в ходе экспедиционных поездок по районам Дагестана в 1974-2013 г.г.

Попов П. 2005. Лечение ран у кавказских горцев // Военно-медицинский журнал. Ч. XV, № 2, июнь, СПб., 1855. Цит. по: Гаджиева С.Ш. Кумыки. Историческое прошлое. Культура. Быт. Книга вторая. Махачкала. С. 375-376.

Саларов Ж. 1963. «Чуьнгурь Дин Симер» (Струны чунгура). Махачкала. (на лезг. яз.)

Саидов С. «Зи чуьнгурь» (Мой чунгур). Махачкала, 1966 (на лезг. яз.)

Умаханова А.М. 1991. Хореографическое искусство кумыков. Махачкала.

Челеби Эвлия. 1979. Книга путешествия (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века). Вып. 2. М.

Якубов М. 1974. Очерки истории дагестанской советской музыки. Махачкала.

МУЗЫКА ШАМАНСКОГО КУЛЬТА ЗАПАДНЫХ БУРЯТ

В последние десятилетия появляются многочисленные исследования зарубежных и отечественных ученых, посвященные весьма сложной, но интересной теме – шаманизму. В настоящее время в шаманизме сибирских народов, в том числе бурятском шаманизме, происходят сложные процессы возрождения и трансформации, связанные с кардинальными экономическими, политическими и культурными изменениями в современном российском обществе. Безусловно, важную роль в сохранении этнической и культурной идентичности приобретает традиционная культура и культурное наследие народа, в котором музыка шаманского культа занимает особое место. Кроме того, процессу возрождения шаманских традиций во многом способствует атмосфера социальной активности и толерантности бурятского общества. По сей день во всем Байкальском регионе ежегодно проходят родовые и племенные шаманские *тайлганы*, проводятся семейные и индивидуальные шаманские обряды, в которых транслируются традиции религиозной культуры. В этой связи исследование шаманских обрядов, зачастую уже утраченных или модифицированных, и музыки шаманского культа западных бурят приобретает очевидную актуальность. Кроме того, углубленному исследованию шаманских обрядов, традиций и шаманской музыки бурят, безусловно, способствует тщательное изучение архивных материалов из рукописного наследия бурятских ученых, религиоведов, лингвистов, фольклористов и собирателей, хранящихся в рукописном отделе ЦВРК ИМБТ СО РАН (далее – Центр восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук) (Шагланова, Конаяга, 2009).

В реализации данного проекта, посвященного шаманской музыке западных бурят, большое значение имела работа по поиску информантов, владеющих сакральными знаниями поющей шаманской поэзии. В ходе полевой работы были проведены и записаны беседы с двенадцатью посвященными западнобурятскими шаманами. Большинство информантов, в возрасте от 52 до 65 лет, начали шаманскую деятельность сравнительно недавно (90-е гг. XX в. – 2000-е гг. XXI в.) и, к сожалению, не владеют музыкальной информацией. Некоторые вспоминают имена ушедших из жизни родовых шаманов, отличавшихся прекрасным знанием шаманских песнопений и призываний, красивым и сильным голосом и умением завораживать публику магией

своего пения. Очевидно, в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Качугском и других районах Иркутской области живая традиция поющей шаманской поэзии уже не сохранилась. В этой связи уникальную ценность представляют аудио- и видеозаписи призываний *дурдалга*, заклинаний *шэбшэлгэнүүд* и песнопений, расшифрованные и записанные автором проекта от шаманов бөө Владимира Емельяновича Харханова (1929-2008) из села Кутанка Осинского района Иркутской области, Ивана Васильевича Ермоева (1938-2014) из села Корсаково Кабанского района Республики Бурятия, шаманок *одёгон* Софьи Фадеевны Трофимовой (1935 г.р.) из села Аляты Аларского района Иркутской области и Галины Андреевны Балюевой (1943 г.р.) из поселка Усть-Ордынский Иркутской области.

Материалом для исследования являются авторские нотировки шаманских песнопений, призываний и заклинаний, записанных во время музыкально-этнографических экспедиций (далее – МЭЭ) ИМБТ СО РАН в Иркутскую область в 2008-2012 гг. Также исключительный интерес представляют нотировки и аудиозаписи поющих жанров шаманского фольклора западных бурят, записанные во время МЭЭ в 1960-1976 гг. сотрудниками БКНИИ СО АН СССР (Бурятский комплексный научно-исследовательский институт Сибирского отделения Академии наук СССР) в Иркутскую область и хранящиеся в фонде ЦВРК ИМБТ СО РАН (инвентарные № 3086, № 3212, № 3214, № 3247, № 3357).

В исследовании впервые поставлены и решены (некоторые лишь частично) проблемы, связанные с жанровой типологией, реконструкцией шаманских обрядов, семантикой шаманских песнопений, интонационно-акустическим изучением звука и звуковых кодов шаманской музыки и др. Используя методологию комплексного и системного подходов, выработанных в отечественной науке и успешно апробированных в современной этномузыкологии, представлены результаты целостного анализа, включающего этнографический, семиотический, музыкально-синтаксический параметры анализа произведений шаманского фольклора бурят.

Исследование позволило решить одну из ключевых проблем бурятского этномузыказнания – проблему жанровой типологии шаманского фольклора бурят, учитывающей музыкальную составляющую. Предлагаемая типология жанров шаманской музыки западных бурят представляет собой первую попытку систематизировать поющиеся

произведения шаманской обрядовой поэзии (Дашиева, 2012-2013).

Опираясь на жанровые классификации шаманского фольклора бурят Т.М. Михайлова (Михайлов, 1987), саяно-алтайских народов Г.Б. Сыченко (Сыченко, 2006), предлагаем выделить две жанровые группы: обрядовые и необрядовые (шаманские нарративы) жанры шаманской музыки западных бурят. Первая группа включает жанры, тесно связанные с шаманскими ритуалами в обрядовой жизни западных бурят. Она представлена многообразными произведениями шаманского культа: песнопения *бөө-удаганай дуунууд*², призывания *бөөгэй дурдалга*, заклинания *бөөгэй шэбиэлгэнүүд*, гимны, заянские песнопения *заяанай дуунууд* и *бөөлөөшэны*³ или *найгурские* песнопения. Особую группу составляют найгурские (*бөөлөөшэны*) и заянские песнопения *заяанай дуунууд*, которые исполнялись во время *найгуура* – религиозного шествия молодых шаманистов, сопровождавшегося пением, ритуальным кривлянием, тряской тела и рыданием (Манжигеев, 1978.С. 59).

Вторая жанровая группа включает необрядовые шаманские песнопения, входящие в состав шаманских нарративов и не связанные с обрядовыми действиями.

Кроме того, разработана типология шаманских легенд и песнопений из рукописного наследия бурятских ученых, публикаций шаманских легенд в трудах исследователей конца XIX – начала XX в., а также шаманских легенд, записанных автором проекта во время МЭЭ ИМБТ СО РАН в Иркутскую область (ПМА; Дашиева, 2013). Весь материал можно разделить на две типологические группы: в первую входят шаманские легенды и необрядовые песнопения в структуре шаманских нарративов, вторую группу составляют шаманские легенды, отражающие семантику бурятского шаманского бубна *хэсэ*.

В особую группу входят легенды о шаманских чудесах, состязаниях, подвигах, которые соотносятся с основной формой шаманских ритуалов – с камланиями и соревнованиями шаманов в силе. Шаманские

² *Бөөгэй, бөө-удаганай* – «шаманские» от *бөө* – «шаман», *удаган* – «шаманка» (*одигонили одёгону* западных бурят), *дуунууд* – «песни» (ед.ч. *дуун* – «песня»). Термин принадлежит известному бурятскому ученому этнографу, фольклористу и этномузыковеду Д.С. Дугарову, автору монографии «Исторические корни белого шаманства (на материале обрядового фольклора бурят)», М.: Наука, 1991 (Дугаров, 1991).

³ *Бөөлөөшэн* (от *бөөлэхэ* – «шаманить») – групповое камлание обычно молодых шаманистов для поиска и обнародования (признания) культа нового духа-покровителя (заяна) (Манжигеев, 1978. С. 27). *Бөөлөөшэн* или *найгуур* (от *найгаха* – «покачиваться»), происходил среди шаманистов обычно в годы кризисных явлений (массовые эпидемии и др.) и напоминал массовое умпомешательство (там же).

легенды западных бурят о сильных и могущественных шаманах *бөө* и шаманских состязаниях объединяются в особую группу, в которой ключевым является мотив воскрешения умершего ребенка или создания ребенка для бездетных родителей, подтверждающий магическую силу и способности шаманов. Причем во всех вариантах легенд говорится о шаманском камлании и жертвоприношении как главном средстве достижения цели. Безусловно, в шаманском фольклоре бурят многочисленные легенды с таким семантическим ядром маркируют локальную западнобурятскую традицию. Изучение семантического аспекта западнобурятских шаманских легенд и песнопений в значительной степени способствует осмыслению закономерных связей шаманского культа западных бурят. Безусловно, применение семиотического метода в изучении проблемы соотношения и связей между бурятскими шаманскими легендами и обрядами необходимо продолжить в дальнейших исследованиях.

Наше внимание, прежде всего, привлекают жанры обрядовой традиции, такие как шаманские призывания, заклинания и заянские песнопения.

Шаманские призывания *бөөгэй дурдалга*⁴ – ритуальное обращение и призывание духов и божеств шаманского пантеона, исполняющиеся во время больших общеплеменных и родовых тайлганов *Ехэ тайлган* и частных семейных ритуалов. По сведениям бурятского религиоведа Т.М. Михайлова, призывания *бөөгэй дурдалга* отличаются от заклинаний и гимнов своей масштабностью (состоят из несколько сотен стихотворных строк) и композиционными особенностями, заключающимися в строгом следовании четырех разделов: зачин, эпическая часть, в которой дано описание и восхваление божеств и духов; просьбы и заключительного раздела, завершающегося восклицанием *Сөөг* (*сөөк*). Причем, отмечает исследователь, разные формы исполнения шаманских призываний включали в себя пение, речитацию, удары в бубен *хэсэ*, мимику и жестикуляцию (Михайлов, 1987. С. 125-126).

Приведем текст шаманского призывания *дурдалга*, посвященный покровителям западнобурятского рода *шоно*, записанный автором во время МЭЭ ИМБТ СО РАН в селе Корсаково Кабанского района РБ в 2012 г. Родовой шаманский *тайлган эхиритов* проводил *бөө* Ермоев Иван Васильевич (1938-2014) из рода *Ехэ шоно* (*шоно* – «волк», *ехэ* – «большой»). Расшифровка текста и перевод на русский язык выполнены Л.Б. Бадмаевой.

⁴ *Дурдалга* – «обрядовое призывание небожителй и духов, состоящее из обращения к ним, упоминание их собственного имени ... и просьбы содействовать молящемуся человеку в чем-либо, например, в избавлении от болезни» (Манжигеев, 1978. С. 46).

Шоно үг мургэл

Зулаехэ Заяаша,
Галехэгуламта,
Гурбанулаандүли,
Гушанулаан сусал.
Гараан (гараһан) ехэгарбали
Тураанехэтоонто

Мүргэлэйэзэнсолынь – Шоно
Сохобнэрэнь – ...
Баруунерэнхашаа, юһэнбуудал,
буудал (метеоритов),
Зүүнидүрбэнтүгэд.
Алтаншаргатуяабарижа,
Аямаһарынгэрэлбарижа,
Дабгэһэндалайнһүмэлөөр,
Досидгэһэндайдынһүмэлөөр.
Юһэнсагаан Хэлэнгынэсибарижа,
Ехэсагаан Хударыннюргабарижа
дурнабди!

Гушантолгойхадай,
Гурбантолгойбулаг Амни Хүбүүн
Барлаг,
Дурдахадандуулажа,
Дуһалгаданхүртэгты!

Хуһанмодоорүлгыматаһан,
Хониной арһаар манды оёһон,
Барбагайнһэнээхүбүүе
Баабайболгоош!
Элэбшаангараһанбасагые
Эжыболгоош, Нилхантөөдэй!
Нилхан!
Үргэнехэбүхэтэр,
Үргэншэлдэн Сагаан Арал,
Һэрхэнхүбүүн Бирюхай.
Үргэнехэбүхэтэр,
Үргэншэлдэнһээг,
Төөдэйнхүбүүн Олостой.
Үргэнехэ Галуута,
Үндэрсэлдэн Бадахай,
Нютагайүбгэд.
Үргэнсэлдэн Хулпина,
Үндэрһудаал Шэрээтэ,
Манайнхүбүүн.
Сагааехэбарижа,
Сасалиүргэһэн,
Ягаанхүбүүн Васили.
Ашанадаадлихаралдааш,
Зээнэдээзэргэхаралдааш.
Байрын баянмонголнууд,
Үтэгэнүнэрмонголнууд!

Призывание предков рода Шоно

Заяаша с великой лампадой,
Очаг с великим огнем,
Три красных камня очага,
Тридцать красных головней.
Высокого происхождения
Великий тоонтоТураан.

Имя хозяина обряда – Шоно
Точное имя – ...
Западных девяносто заборов, девять
Восточных четыре полных.
Взяв золотистый луч,
Взяв серебристый свет луны,
Через морской проход,
Через проход в пространстве
С девяти белых истоков Селенги,
С высокого белого Кударинского
хребта призываем!

Тридцать голов хадай,
Трех истоков родника сын Амни
Барлаг,
Услышь наши призывания,
Прими наши возлияния!

В колыбели из березы,
В пеленках из овчины,
Мальчика с лодыжку
Воспитала ты до отца!
Девочку, выросшую из пеленок,
До матери воспитала ты, бабушка

Великий широкий горбатый
Широкий твердый Белый остров,
Сын ҺэрхэнБирюхай.
Великий широкий горбатый,
Широкий твердый Һээг,
Сын бабушки Олостой.
Великая широкая местность Гусиная,
Старики из местности Бадахай.

Великий широкий Хулпина,
Наш сын с высоким седалищем.

Белую пищу преподнесший,
Совершивший окропление,
Василий, сын Ягаана.
Воспитал ты внуков – детей своих сыновей,
Воспитал ты внуков – детей своих дочерей.
Высокие по положению монголы,
Многодетные монголы! (ПМА, 2012).

Шаманские заклинания *бөөгэй шэбшэлгэнүүд* – магические формулы, через которые шаман или шаманисты «пытались воздействовать на сверхъестественные силы, на окружающий мир. У бурят заклинания произносились во многих случаях: перед охотой или рыбной ловлей, поездкой ..., во время свадебных и других церемоний, при обрядах возвращения в тело ушедшей души, изгнания нечистых сил из дома или юрты» (Михайлов, 1987. С. 124-125). Обычно форма заклинаний была небольшой, состояла из двух-трех до десятка стихотворных строк.

Заянские песнопения *заяанай дуунууд* – песнопения, посвященные *заянам*⁵ – духам рано ушедших из жизни молодых женщин и девушек, погибших в мучительных страданиях или покончивших жизнь самоубийством, испытавших жестокость и издевательства людей, а после своей смерти превратившихся в мстительных духов-*заянок*. В частности, в песнопении *Хориин хоёр заяан* («Две хоринские-заянки») повествуется о трагической судьбе двух хоринских девушек, изгнанных из родной земли Хори, странствующих по свету и нашедших пристанище в Алари и Бохане (*Тунке* – Л.Д.), а после смерти ставших *заянками*, мстивших людям за испытанные мучения и страдания. С целью их задобривания и умилоствивления ежегодно устраиваются шаманские обряды жертвоприношений (Балдаев; Михайлов; Намсараев; Хадаханэ; Хаптаев).

К числу таких духов-*заянок* относятся Тарасинские девушки *Тарсайн басагад* и Улейские девушки *Улезе басагад*. *Тарсайн басагад* ведут происхождение из местности Тараса Боханского района Иркутской области, издавна славившегося сильными шаманами и шаманками, а Улейские девушки – из села Улей Осинского района Иркутской области. Тарасинским девушкам, насылающим болезни и смерть исключительно женщинам, устраивают жертвоприношения женщины и девушки (Балдаев, 1947. С. 10). *Улезе басагад* причислены к шаманскому культу *Улезе олон* (Улейские многие), распространенного среди осинских (западных) бурят. По преданию, культ *Улезе олон* возник вследствие родового проклятия, наложенного Улейской девушкой⁶, и коллек-

⁵ *Заян (заяан)* – 1. по анимистическим воззрениям бурят, демиург, создающий зародыши людей и домашних животных; 2. по шаманистической мифологии, дух – защитник подопечных ему людей; 3. грубое схематическое изображение почитаемого духа в форме деревянной фигурки или рисунка на лоскутке материи (Манжигеев, 1978. С. 52-53).

⁶ Известно, что родовое проклятие касается улейских мужчин, живущих до сорока лет, а после сорока они либо спиваются, либо с ними происходят трагические события (умопомешательство, аварии, убийство), в результате которых они преждевременно умирают. Возможно поэтому, по словам информатора С.Г. Балтухаевой (1942 г.р.),

тивного суицида (сумасшествия молодых девушек и юношей, покончивших жизнь самоубийством) и включал более трехсот шестидесяти почитаемых духов или заянов. В настоящее время западные осинские буряты проводят довольно дорогостоящий родовой *тайлган*, посвященный культу *Улезе олон*. Для проведения этого *тайлгана* требуется большое количество жертвенных животных, вина и молочных продуктов для того, чтобы ублажить и умилоствивить триста шестьдесят заянов и заянок.

Считаем необходимым привести пример заянского песнопения *заяанай дуун* – песнопение Улейской девушки, записанное автором статьи от Е.В. Егоровой в селе Бахтай Аларского района Иркутской области и в селе Кутанка Осинского района Иркутской области от шамана В.Е. Харханова⁷. Он рассказал легенду об Улейской девушке и спел песнопение, услышанное им во сне от своего дяди, большого родового шамана, от которого он унаследовал шаманское происхождение. В комментариях информант особенно подчеркнул, что это песнопение нельзя петь ни при каких обстоятельствах. См. нотный пример № 1 (нотировка и расшифровка текста выполнены автором статьи).

Улейская девушка из шаманского рода вышла замуж и уехала жить в Мольку. Там ее обижали, садили в колодку, и она, не выдержав истязаний мужа и тестя, убежала, сев на необъезженного коня. За ней погнались, но увидев, что она скачет без седла на необъезженном коне, испугались и отстали от нее. Дома в улусе Улей родители не приняли дочь, а в колхозе имени Ворошилова жила ее сестра, которая пожалела и приютила на время. На второй день после ее приезда в этом селе состоялась свадьба, на которую были приглашены сестры. Улейская девушка была очень красивой, с длинными косами до земли, и на свадьбе все обратили на нее внимание. Молодые парни предлагали ей выйти замуж, но она отказывалась, рассказав о том, что уже была замужем, о своей горькой судьбе и жестокости мужа и тестя. Она спела песню, в которой выразила всю свою обиду. Затем пошла в лес, обмотала шею своими косами и повесилась (ПМА, 2008).

Эта удивительная легенда основана на реальных событиях, произошедших с одной девушкой из села

девушки других родов боялись выходить замуж за улейских парней, опасаясь за свою жизнь и потомство.

⁷ Харханов В.Е. (1929-2008) – западнобурятский шаман *ёдоото бөө* из рода *онгой*, начал шаманскую деятельность в 1980 году. *Ёдоото бөө* или *жодоото бөө* (досл. «шаман, имеющий пихтовую кору») – «одна из жреческих степеней шамана, дающая ему право исполнять религиозные требы верующих жертвоприношением духам животных, с применением зажженной пихтовой коры» (Манжигеев, 1978. С. 24, 51). К сожалению, смерть информанта нарушила планы дальнейшего экспедиционного исследования.

Улей Осинского района Иркутской области, ставшей после трагической смерти *заянкой*. Из рукописи С.П. Балдаева узнаем её настоящее имя – Дүүхэй Баршутханова (вариант – Бойлой) (Балдаев, 1947. С. 48-49, 50-52). Её трагическая судьба стала источником различных шаманских легенд, записанных известными бурятскими фольклористами С.П. Балдаевым (Балдаев, 1947. С. 48-49, 50-52), М.Н. Хангаловым (Хангалов, 1958. С. 495), И.А. Манжигеевым (Манжигеев, 1978. С. 30, 79-80) и др.



Пример 1

Арюуханши, сэбэрхэншишараймаанилдөө,
шараймаанилдөө,
Алтанайшье, мүнгэнэйшьебэшэемөөлдөө,
бэшэемөөлдөө.

Талгантайштунгалаг(оо) шараймаанилдөө,
шараймаанилдөө,
Талахашитаряанайхибэшэемөөлдөө,
бэшэемөөлдөө.

Талаантайшиябаһан(өө) бэемаанилдөө,
бэемаанилдөө.
Таалгандааманайхибэшэемөөлдөө,
бэшэемөөлдөө.

Прекрасное красивое мое лицо, мое лицо
Ни золотом, ни серебром не оценивается,
не оценивается.

Загадочное чистое мое лицо, мое лицо
Ни зерном, ни урожаем не оценивается,
не оценивается.

Моя счастливая жизнь (*девичья жизнь до свадьбы* – Л.Д.).

Больше мне не принадлежит, мне не принадлежит.

Все варианты легенды об Улейской девушке отражают генезис шаманского культа *Улезе олон*. По данным И.А. Манжигеева, этот культ «появился в начале XIX века после коллективного самоубийства 17 девушек во главе с насильно выданной замуж прославленной красавицей *Буржухайн дүүхэй*... С тех

пор, по поверью местных шаманистов, каждая трагически умершая красивая девушка, имевшая хороший голос, считалась призванной в число «Улейского множества» (Манжигеев, 1978.С. 79-80). Согласно преданию, они целой толпой ночью ходили из улуса в улус с песнями и призываниями, уводили людей в лес и издевались над ними (там же). Вероятно, в недрах культа *Улезе олон* возник один из самых сакральных жанров шаманского фольклора бурят как *Найгуур* или *Бөөлөөшэн*, о котором упоминалось выше.

Кроме того, заянские песнопения *заянай дуунууд* исполнялись в честь добрых и сильных шаманок *одегон* (*удаган*), после своей смерти ставших родовыми духами-покровительницами *төөдэй*⁸. Например, в Прибайкалье известны шаманские культы *Балаганской төөдэй*, *Аля төөдэй*, *Юнхэр төөдэй* и др. В рукописи К. Хадаханэ «Сборник шаманских произведений кахинских, бильчирских бурят», хранящейся в ЦВРК ИМБТ СО РАН, присутствует крупное шаманское призывание *дурдалга*, состоящее из 437 стихотворных строк, посвященное Балаганской бабушке *төөдэй*. Ей молятся и приносят большие жертвы боханские, бильчирские, кахинские (*осинские* – Л.Д.) и аларскиеунгинские буряты (Хадаханэ, 1926.С. 26-42). Из полевых материалов автора приведем шаманскую легенду о *Балаганской төөдэй*.

Одна девушка вышла замуж за богатого бурята, жившего на левом берегу Ангары (*Ангарай зүнби*). Ее там обижали, и она сбежала на правый берег Ангары. За ней погнались вдогонку на лошадях. Стояла летняя жара. Обладая шаманскими способностями, она заморозила реку и по льду перебралась на другой берег. Выйдя невредимой, разморозила Ангару и все, кто гнался за ней на лошадях, утонули. По словам информанта Хогоевой Александры Кирилловны (1956 г.р.), с. Ново-Ленино Нукутского района Иркутской области, эта шаманка поселилась в Балаганске, а после своей смерти стала покровительницей всех балаганских бурят *Балаганской төөдэй*. Особенно ей поклоняются бездетные женщины и девушки [ПМА, 2012].

Таким образом, заянские песнопения *заянай дуунууд*, посвященные различным шаманским культам, являются одним из редких сохранившихся жанров шаманской музыки западных бурят.

Другой ключевой проблемой нашего исследования является реконструкция шаманских обрядов, в том числе уже утраченных. На базе семиотического анализа шаманских обрядов жертвоприношений западных бурят *эхиритов* и *булагатов* проведено исследование, результатом которого стала реконструкция родового шаманского *тайлгана*. Анализ базируется

⁸ *Төөдэй* – «бабушка, мать отца» (Шагдаров, Черемисов, 2008.С. 252).

на авторском материале МЭЭ ИМБТ СО РАН в Иркутской области и в Кабанском районе РБ и трудах известных бурятских этнографов, по крупицам собравших уникальный материал по шаманству бурят (Хангалов, Банзаров, Санжеев, Балдаев, Михайлов). Сравнительный анализ включает структуру шаманского *тайлгана*, семантическое содержание обрядов, шаманскую атрибутику и др. с точки зрения семиотического анализа (акциональный, агентивный, предметный, звуковой коды традиционной культуры).

Известно, что в системе шаманской обрядности бурят до сих пор самой популярной формой общественного праздника является *тайлган*. *Тайлган* (*тайлаган*), жертвоприношение божествам и духам – хозяевам местных гор, рек, озер и ключей, по традиции проходят весной, летом и осенью. Весенний и осенний назывались *тайлганами* Земли-Воды (*Газар-Уханай тайлган*, а летний – *тайлганом хатов* (*хаһы* тайлган), т.е. духов (Дугаров, 1991.С. 152). Кроме того, *тайлган* был «праздником, сопровождавшимся состязаниями между представителями различных родов или групп в стрельбе из лука, в борьбе, а также в лошадиных бегах и скачках» (Манжигеев, 1978.С.69).

В описании шаманского *тайлгана* важное значение имеют структура обрядового действия и семантическое содержание обрядов. На первый взгляд, мозаичность и многоплановость структуры *тайлгана* создают впечатление пестрой и яркой картины, неясной для непосвященного зрителя. Однако, несмотря на редуцированную форму проведения шаманского *тайлгана* в современной обрядовой культуре бурят, необходимо отметить строгую последовательность и цикличность шаманского *тайлгана* западных бурят, что подчеркивает стройность и целостность его формы.

В соответствии с традицией шаманский *тайлган* условно делится на три части:

подготовка к жертвоприношению;

главная часть – обряд жертвоприношения божествам и духам;

заключительная часть – обряд приманивания счастья, общая трапеза и закрепление достигнутого результата.

Подготовка главного обряда жертвоприношения включает ряд ритуальных действий: обряд призвания божеств, покровителей родов *эхиртов* и *булагатов*, в котором центральное место занимает шаманское призвание *дурдалга* (см. текст выше); разжигание костров (по количеству жертвенных животных); разделывание туши барана и приготовление ритуальной жертвенной пищи (мяса, бульона бухэлэр, саламата⁹ и т.п.); украшение цветными

лентами *зала* священных березок *түүргэ* и коновязи *сэргэ*.

Самый главный обряд жертвоприношения и выпрашивание у божеств и духов предков-покровителей для всех членов рода земных благ (здоровья, потомства, долголетия, благополучия, счастья и т.п.) является ключевой составляющей шаманского *тайлгана*. Костер, на котором варилось мясо жертвенных животных, тушат и разжигают другой ритуальный костер – специальный жертвенник *шэрээ*¹⁰, в котором сжигают кости жертвенных животных, а шкуры вместе с головой и копытами раскладывают рядом (после обряда жертвоприношения их также сжигают в *шэрээ*). Шаман со своими помощниками бросает в огонь кусочки мяса и бараньего жира и произносит шаманское заклинание. См. нотный пример № 2 (нотировка выполнена автором, расшифровка текста Д.С. Дугаровым).

Завершается тайлган общей трапезой и обрядом приманивания или призвания счастья *даланга хурьлха* («засывание благодати, счастья»), когда участники тайлгана ходят вокруг жертвенника слева направо, хором восклицая «*Хурый!*» или «*Ай Хурый!*» (магический возглас приманивания к себе всех земных благ). Священное мясо жертвенных животных на *тайлгане* получило название *даланга*, которое затем съедали на общей трапезе, и некоторую долю *хуби* обязательно привозили домой для тех, кто не принимал участие в *тайлгане*.

Сөөг, сөөг! Хайр - хан тэн - гэрин Хан гэр-жэ хай-хир-даг хан бэ-лэй лэ, хөөр-хы!

Тоо - бэй ми-ни мэ - г(с) лэй Ба - руун хой - то зү - гэ - гэ

Тоо ме-ний, ме-ний бү - тээ лэй зүүн - тэ - (эй) хой - то зү - гэ - гэ

Мэн-тээ бэ-ри зан-да-да Хаан ту-хай Хөөр-хы!

А - мар мэн - дэ һуу-хэн ту - хай ү - бэ - шэ, зо-бо-лон ү - гы ту - хай

Ган-ди үр-гэн мэр-гэн бай-наб-ди Хүр-гэн-гы, э-дин-гы! Сөөг: Хайр - хан!

Пример 2

По традиции шаманский *тайлган* завершается праздничным пиром и исполнением обрядового кругового танца *ёхор* (*ёхор*) (см. нотный пример №3. Нотировка выполнена автором, перевод текста Н.Н. Николаевой). Необходимо отметить заключительную функцию *ёхора*, закрепляющего сакральную целостность социума. Ведь в прошлом

⁹ Саламат зөөхэй – ритуальное блюдо, приготовленное из сметаны, обжаренной с мукой.

¹⁰ *Шэрээ* – зап. уст. накрест сложенная куча дров для сжигания жертвенной пищи в шаманском ритуале.

все шаманские обряды завершались танцами, играми, спортивными состязаниями (стрельба из лука, борьба) и конными скачками. Однако в настоящее время спортивные состязания, называемые *Эрын гурбан наадан* («Игры трех мужей») проходят отдельно на ежегодном летнем спортивном празднике *Сурхарбан*, Международном фестивале бурятского искусства *Алтаргана* и национальном празднике *Ёрдын наадан* (Ёрдынские игры).

Таким образом, в настоящее время изменилась сама модель шаманского *тайлгана*, в котором утрачена традиция молодежных игр и спортивных состязаний. Однако, как было отмечено выше, одной из сохранившихся форм закрепления родовой целостности стало исполнение обрядового кругового тан-

Пример 3

ТүлиҺэнгалимтүүхэлдаа,
ТүмэрсаяурхоёрҺоондаа.
ТүрэхэнгараҺантүүхэмнайлдаа
Эхэрэд-БулагадхоёрҺоондаа.

Дабталга:

Эй-эйдүүсэй, оо-ой дүүсэй,
Ээлэрьюулаась.

ХүрэнгэйндээдэхөөҺэндаа,
ХүхэнгоонойхүшэнҺөөндаа.
Хүбүүшынэхэнагасанууддаа,
Эхэрэд-БулагадхоёрҺоондаа.

Дабталга:

Эй-эй дүүсэй, оо-ой дүүсэй
Ээлэрьюулаась.

Эхирит-булагатский обрядовый круговой танец представляет жанровую разновидность западнобурятского *ёхора* – *Һайгуур*. Его особенностью является наличие инициальной мелодико-ритмической формулы, стабильно повторяющейся в начале каждой строки *ёхорной* песни. По-видимому, эта припевная формула, утратившая смысловое значение слов *дүүсэйи элэрьюулаась*, имеет ранние корни происхождения. Архитектоника данного напева представляет типичную для бурятских народных песен четырехстрочную строфу с припевом. Результатом исследования бурятского *ёхора* стала монография автора статьи «Бурятский круговой танец *ёхор*: историко-этнографический, ладовый, ритмический аспекты» (Дашиева, 2009).

В изучении агентивного кода необходимо отметить социально-дифференцированные функции шамана бөө, его помощников и простых участников тайлгана. По традиции на *тайлгане* шаман имел девять, иногда семь помощников. В частности, в шаманском *тайлгане Дархан удха*, посвященном

ца *ёхор* западными бурятами в Иркутской области. Что касается потомков *эхиритов*, проживающих в Республике Бурятия, то в настоящее время они уже не танцуют *ёхор* на *тайлганах* (ПМА, 2012).

Музыкальный пример 3. Мелодия в 3/4 такта. Текст на бурятском и русском языках.

Разожженный огонь наш –
От железа и кремня.
История происхождения нашего –
От Эхирита и Булагата.

Припев:

Эй-эй дуусэй, оо-ой дуусэй,
Ээлэрьюулаась.

Пена на курунге –
От силы зеленой травы.
Великий материнский род сыновей –
От Эхирита и Булагата.

Припев:

Эй-эй дуусэй, оо-ой дуусэй
Ээлэрьюулаась.

культу белых кузнецов *сагаани дархан* (первых кузнецов на земле), самое активное участие принимали девять молодых людей, избранных шаманом и олицетворявших девять сыновей Божинтоя или девять *эжсинов* (духов) кузнечного культа¹¹.

¹¹ В мифологическом представлении бурят кузницы (*дарханы*) имеют своих *заянов*, от которых ведут происхождение (*удха*). Бурятский этнограф и фольклорист Г.Д. Санжеев в своей замечательной статье «Тайлган бурятских кузнецов» приводит удивительную легенду о происхождении первых кузнецов на земле (Санжеев, 1980.С.101-105). По его сведениям, «когда-то девять сыновей небесного кузнеца Божинтоя вместе со своей старшей сестрой Эйлик-Мулик (Ээлик-Муулиг) спустились на землю, чтобы научить людей кузнечному ремеслу. У горы Сахидаг, где-то в Саянах (иногда под этим топонимом разумеют и сами Саяны), они и научили людей добывать железо, производить из него ножи, топоры и другие вещи» (там же). Вероятно, именно этим *эжсилами заянам* кузнечного культа посвящены шаманские обряды, направленные на умилостивление и просьбы помогать, оберегать и защищать людей кузнечного рода от злых духов, способствовать их благополучию и счастью.

Их функции были строго определены: разводить и следить за огнем, готовить жертвенную пищу, проводить обряд *дуһаалга* (брызгание молоком или тарасуном), помогать шаману во время главной части *тайлгана* – обряда жертвоприношения богам (ПМА, 2008). По сведениям Г. Д. Санжеева, присутствовавшего на *тайлгане* кузнецов в 1927 г., функции помощников шамана были расширены и включали спортивные состязания: бег с препятствием (перепрыгивание через жердь), конные скачки, так называемых *ёһөн сагаан дархан хүбүүһы урилдаан* («бега девяти белых парней-кузнецов») и национальная борьба (Санжеев, 1980. С. 112-114).

В изучении предметного кода шаманского *тайлгана* особое значение имеет шаманская атрибутика, т.е. культовые предметы, маркирующие сакральное пространство *тайлгана*.

Важными обрядовыми объектами, возле которых происходит обрядовое действие и моление, являются священные березки *түүргэ* и коновязь *сэргэ*. На них вешают разноцветные ленты *залаа*, кладут серебряные монеты, брызгают молоком, чаем и *архи* (молочная водка, приготовленная особым способом). Сакрализация пространства на шаманском *тайлгане* *Дархан удха* отмечена четырьмя объектами (коновязь *сэргэ*, шаманское дерево, три священные березки *түүргэ*, символическая кузница). В центре находится огонь, причем один небольшой костер разведен между коновязью и деревом, другой – внутри символической кузницы, а три костра с тремя котлами, в которых варится мясо жертвенных животных, – напротив каждой священной березки. Обязательными атрибутами *тайлгана* *Дархан удха* были семь железных предметов кузнечного культа (молот, клещи, наковальня, кузнечные меха, долот, топор, гвозди), аккуратно разложенных в специально огороженном месте, вероятно, символизирующем кузницу. Эта «кузница» находится в 10-12 метрах к югу от шаманского дерева, и все ритуальное действие проходило в сакральном пространстве между ними. Известно, что каждый железный предмет имеет своего *эжина* (духа), покровителя кузнечного ремесла в образе небесного кузнеца Божинтоя и его девяти сыновей, для которых предназначено специальное угощение (Дашиева, 2009. С. 38-42).

Кроме того, в изучении предметного кода необходима атрибуция всех обрядовых предметов, в том числе ритуальной пищи (мясо жертвенных животных, молочные продукты *сагаан эдеэн*, *архи*, саламатзөөхэй и др.).

Обобщая семиотический анализ, необходимо остановиться на одной важной проблеме, впервые поставленной автором статьи в данном проекте, – проблеме изучения звука и звуковых кодов в по-

ющихся жанрах шаманского фольклора западных бурят. Изучение закодированного музыкального языка шаманского обряда как особой знаковой системы, построенной на средствах музыкальной выразительности, осуществляется путем характеристики ее важнейших элементов: интонационно-акустических особенностей, ритмической, звуковысотной и тембровой организации шаманских песнопений. Однако в комплексном анализе шаманской музыки необходимо сконцентрировать внимание на интонационно-акустическом и звуковысотном параметрах и попытаться рассмотреть семантическое содержание звуковых кодов в шаманской музыке западных бурят (Дашиева, 2014).

В решении обозначенной проблемы необходимо на базе методов семиотического и музыкально-лингвистического анализа, позволяющих сегментировать музыкальные тексты шаманских песнопений, призываний и заклинаний, изучить феномен звука в многомерном пространстве шаманского космоса.

Музыка шаманского обряда, реализованная в синтезе звука голоса шамана со звучанием шаманского бубна *хэсэ*, сопровождающего шаманские ритуалы, образует особый канал информационной связи, недоступный и далеко небезопасный для непосвященных в сакральный мир шаманских духов и божеств.

В поисках ключа обратимся к вербальной составляющей шаманского текста, где слово «зачастую несет в себе информацию, понятную только для посвященных в язык кода шаманских символов» (Дампилова, 2005. С. 143). Безусловно, расшифровка каждого слова, формулы требует особых знаний, на наш взгляд, налагающих ответственность на исследователя, избирающего определенный метод, исключающий возможность неправильной интерпретации и ошибок.

В большинстве шаманских текстов призываний и заклинаний часто присутствует сакральное слово *Сөөг*, звучащее в начале и в конце каждого фрагмента призывания *бөөгэй дурдалга* или шаманского заклинания *бөөгэй шэбишэлгэнүүд*, обращенного к божеству шаманского пантеона. Это восклицательное слово в начальном и заключительном сегментах шаманского призывания сопровождается ритуальным действием брызгания молочной водкой (*архи*) и означает – «принимай призыв (или молитву), принимай жертвоприношение!» (Манжигеев, 1978. С. 68).

Вследствие того, что весь текст *дурдалга* речитируется или пропевадается, большое формообразующее значение имеет его звуковысотная организация. В этой связи в проанализированных образцах шаманской музыки слово *Сөөг* всегда совпадает с верхними звуками звукоряда. Вероятно, такая позиция вполне оправдана тем, что в прямом обращении

к божеству реализована магическая функция уми- лостивления и заклинания, требующая от шамана бөө большой концентрации сил и умений. Причем инициальный и заключительный звуки, совпадаю- щие со словом Сөөг, идентичны друг другу и об- разуют своеобразную интонационно-акустическую арку в структуре шаманского призывания.

Таким образом, начатое исследование следует про- должить и, думается, в будущем необходимо изучать семантику звука с позиции его психоакустического и нейропсихологического влияния на человека, уточняя вопрос корреляции слова и звука в шаманских песно- пениях, призываниях и заклинаниях западных бурят.

Результаты работы по изучению шаманской музыки западных бурят могут быть задействованы в сравнительно-исторических и типологических ис- следованиях музыкальных культур народов Сиби- ри. Полученные результаты могут быть полезными в области традиционной медицины вследствие пси- хоакустического влияния шаманских песнопений, заклинаний, заговоров на человека и, вероятно, позволят наметить дальнейшие пути комплексных исследований. Кроме того, материалы исследова- ния могут найти практическое применение в об- разовательных программах – специальных курсах «История музыкальной культуры народов Сиби- ри», «История сибирского шаманизма» и др.

ЛИТЕРАТУРА

Балдаев С.П. 1947. Шаманство осинских и бохан- ских бурят. Рукопись // ЦВРК ИМБТ СО РАН. Инв. № 1066, фонд 36, опись 1. Улан-Удэ.

Балдаев С.П. Хориинхоёрэяан. Рукопись // ЦВРК ИМБТ СО РАН. Инв. № 1077, фонд 36, опись 1.

Балдаев С.П. 1886-1962 гг. Заговоры. Тарнидалга – шэбшэлгэ. Рукопись // ЦВРК ИМБТ СО РАН. Инв. № 472, фонд 36, опись 1.

Дампилова Л.С. 2005. Шаманские песнопения бу- рят: символика и поэтика. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 249 с.

Дашиева Л.Д. 2009. Бурятский круговой танец ёхор: историко-этнографический, ладовый, ритмический аспекты. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 210 с.

Дашиева Л.Д. 2009. Шаманский тайлган Дархан удха западных бурят // Музыковедение. М. № 5. С. 38-42.

Дашиева Л.Д. 2011. Шаманские песнопения запад- ных бурят (на материале рукописи С.П. Балдаева «Ша- манство осинских и боханских бурят») // Этническая история, этнография, фольклористика и язык бурят: Ма- териалы межрегиональной научно-практ. конференции, посв. 120-летию со дня рождения выдающегося ученого С.П. Балдаева. Улан-Удэ-Бохан: Изд-во БГУ. С. 28-37.

Дашиева Л.Д. 2011. Музыкально-культурные традиции и связи бурятских улигеров и шаманских песнопений // Исторический опыт взаимодействия на-

родов и цивилизаций: к 350-летию присоединения Бу- рятии к России. Сб. науч. статей. Улан-Удэ-Иркутск. С. 460-464.

Дашиева Л.Д. 2012. Музыка шаманского культа за- падных бурят: к вопросу жанровой типологии // Materialy VIII mezinarnodnivedecko-praktickaconference Dnyvėdy. – Dil 64, Administrativa. Hudba a zivot: Praga. Publishing House Education and Science s.r.o. – 80 stran. С. 67-69.

Дашиева Л.Д. 2013. Шаманский тайлганэхиритов // Materialy IX mezinarnodnivedecko-praktickaconference Modernivymozenostivedy-2013. – Dil 51, Administrativa. Hudba a zivot: Praga. Publishing House Education and Science s.r.o. – 80 stran. С. 66-68.

Дашиева Л.Д. 2013. Шаманские легенды как источ- ник изучения шаманского фольклора западных бурят // Локальное наследие и глобальная перспектива. «Тра- диционализм» и «революционизм» на Востоке: Тезисы докладов XXVII Международной научной конференции по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. СПб. С. 195-196.

Дашиева Л.Д. 2013. Шаманские легенды и песнопения западных бурят: к вопросу типологии // Вестн. Челяб. Гос. акад. культуры и искусств. № 1 (33). С. 139-144.

Дашиева Л.Д. 2014. Звуковые коды музы- ки шаманского культа западных бурят // Materialy X mezinarnodnivedecko-praktickaconference: Vedaatechnologie: Krokdbudoucnosti – 2014. – Dil 24, Administrativa. Hudba a zivot: Praga. Publishing House Education and Science s.r.o. – 80 stran. С. 76-77.

Дугаров Д.С. 1991. Исторические корни белого ша- манства (на материале обрядового фольклора бурят). М.: Наука. 300 с.

Манжигеев И.А. 1978. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины. М.: Наука. 128 с.

Михайлов В.А. 1996. Религиозная мифология. Улан-Удэ: Соел. 112 с.

Михайлов Т.М. 1987. Бурятский шаманизм: исто- рия, структура, социальные функции. Новосибирск: Наука. 288 с.

Михайлов Т.М. 1980. Найгурские песнопения о хо- ринских двух заянах // Традиционный фольклор бурят. Улан-Удэ. С. 141-154.

Намсараев Ф.Х. Хориинхоёрхүүгэд. Рукопись // ЦВРК ИМБТ СО РАН. Инв. № 46, фонд 9, опись 1. С. 79-81.

Подгорбунский В.И. 1923. Материалы для изучения шаманских бубнов туземцев Сибири. Иркутск. 34 с.

Поппе Н.Н. 2011. Шаманская мифология западных бурят (по материалам В.А. Михайлова) // Аннотирован- ное описание архива Н.Н. Поппе. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. С. 51-90.

ПМА–Полевые материалы автора, 2008-2012.

Санжеев Г.Д. 1980. Тайлган бурятских кузнецов // Быт бурят в настоящем и прошлом. Улан-Удэ. С. 100-120.

Сыченко Г.Б. 2006. К проблеме жанровой типоло- гии шаманского фольклора // Вестник Томского госу- дарственного университета. Бюллетень оперативной научной информации «Сибирское музыковедение: акту- альные аспекты исследования». № 100. С. 6-23.

Хадаханэ К. 1926. Сборник шаманских произведений хакинских, бильчирских бурят. Рукопись // ЦВРК ИМБТ СО РАН. Инв. № 121-122: В двух тетрадах. Верхнеуединск. 135 л.

Хаптаев П.Т. 1941. Заметки о заяне, найгуре. Рукопись // ЦВРК ИМБТ СО РАН. Инв. № 421. Верхнеуединск.

Хангалов М.Н. 1958. Собр. соч.: В 3-х т. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во. Т.1. 551 с.

Шагдаров Л.Д., Черемисов К.М. 2008. Буряад-ород толи. Бурятско-русский словарь: В 2-х томах. Улан-Удэ. Т. 2. 708 с.

Шагланова О.А., Юки Конагая. 2009. Аннотированный каталог архивных материалов по бурятскому шаманизму Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии. Осака. 333 с.

Васильев А.Д. (ИВ РАН)

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА И ПРОБЛЕМЫ ОСМАНСКОГО НАСЛЕДИЯ

Проблемы османского культурного, политического и экономического наследия – предмет активных дебатов в современной Турции. Этот вопрос постоянно поднимается турецкими интеллектуалами и политическими деятелями в газетных статьях и публикациях, а пик подобных публикаций пришелся на 2000-е годы (Findley, 2000. P. 29).

События последнего десятилетия обострили вопрос об идентичности населения Турции. Это, во-первых, ярко выраженное и настойчивое желание политической и деловой элиты стать частью Европы и полноправным членом Европейского союза. Это устремление сделало турецкое общество чрезвычайно чувствительным к реальным или номинальным попыткам политических деятелей ЕС определить европейскую идентичность в рамках религиозных и культурных понятий и исключить таким образом из интеграционного проекта мусульманские страны.

Во-вторых, рост происламских настроений и подъем религиозности народных масс поколебал заложенные Атаюрком в начале 20-х годов XX в. идеологические принципы. Когда выступавшая за смягчение государственной политики в отношении ислама Партия Благополучия (Refah Partisi) выиграла выборы глав муниципалитетов в 1994 г. и выборы в парламент в 1995 г., светскость как один из постулатов политики Атаюрка оказалась под угрозой. Хотя впоследствии армия при поддержке крупных республиканских СМИ, кемалистских НКО и судебной системы сумела восстановить порядок, уже после 2007 г. и победы Партии Справедливости и Развития на выборах в Парламент светские силы потеряли существенную часть своих политических позиций.

В-третьих, напряженные отношения между курдами и органами государственной власти привели к открытой войне между турецкой армией и боевиками Рабочей партии Курдистана между

1984 и 1999 гг. Постоянная вялотекущая партизанская война на востоке и юго-востоке Турции сделала вопрос о турецкой идентичности крайне взрывоопасным. Сам по себе этот конфликт стал катализатором подъема национального самосознания таких национальных меньшинств Турции, как черкесы (под названием «черкес» в Турции понимаются все выходцы с Северного Кавказа, осевшие в Османской империи в XIX в.), лазы, туркмены. Развитие курдской проблемы на территории Турции в начале 90-х гг XX в. повлияло на позицию самого крупного религиозного меньшинства в Турции – алевитов. В девяностых они также начали подчеркивать свою особую культурно-религиозную идентичность, начав активную борьбу за религиозную и культурную автономию. Зачастую их утверждения о том, что именно они являются истинными потомками пришедших в Малую Азию тюркских племен, вступали в противоречие с официальной концепцией истории турок. Распад СССР и участие мусульман в конфликтах в Боснии, Чечне, Нагорном Карабахе и Косово пробудили в турецком социуме воспоминания об имперском прошлом и заложенных в ходе распада Османской империи предпосылках межнациональных конфликтов.

Пытаясь анализировать конфликты современности, зачастую турецкая общественная мысль обращается к переоценке османского прошлого, пытаясь осмыслить происходящее как столкновение вековых традиций и происшедших за последние 70-80 лет социальных инноваций и модернизации. Приобретающие все большее влияние исламистские круги, оказавшиеся в новой внутренней и внешнеполитической ситуации, инициировали дебаты о «неоосманизме». Под «неоосманизмом» понимается не только новая внешнеполитическая доктрина, направленная на возвращение влияния Турции на бывших территориях Османской империи с помо-

щью новых инструментов – культуры и экономики. Это понятие включает и пересмотр сложившихся в течение XX в. в Турции представлений о неизбежности краха Османской империи и необходимости радикальных реформ «сверху». Пересмотру подвергаются не только идеологические концепции Ататюрка, но и представления об общественных ценностях. (Karpat, 2000. Pp. vii-xxii; 1-28).

Ревизия исторических оценок и идеологических установок спустя более чем 90 лет республиканского правления – доказательство того, как важно снова рассмотреть проблему османского наследия для понимания исторического развития современной Турции, ее достижений и нерешенных проблем. Однако, говоря о непрерывности развития и преемственности между Османской империей и Республикой Турция, необходимо отметить, что напрямую сравнивать возможно только Османскую империю позднего периода ее существования, прежде всего в так называемый «второй конституционный период» (*ikinci meşrutiyet*), и ранний период существования республиканской Турции. То есть временной интервал между империей после 1908 г. и республикой до начала 1950-х гг., рассмотрение которого и ляжет в основу сравнения в данной работе.

Для иностранных наблюдателей появление турецкого этнического государства на месте Османской империи в 1923 г. было новым и неожиданным, что отразилось в большом количестве публикаций, посвященных Турции, и появившихся после создания республики. Многие из них схожи даже по своей тематике: старым порядкам противопоставлялись достижения нового режима. Вот, например, наиболее известные и значительные публикации: «Современная Турция: политико-экономическая интерпретация» (Mears, 1924), «Новая Турция» (Georges-Gaulis, 1924); «В новой Анатолии» (Hartmann 1928); «Новая Турция» (Ziemke, 1930); «Турецкая трансформация» (Allen, 1935); «Старая Турция и новая» (Luke, 1936); «Аллах, смещенный с трона» (Linke, 1937); «Страна Кемалья Ататюрка. Появление современной Турции» (Ritter von Kral, 1937); «Новая Турция» (Schopen, 1938). Опыт Турции привлекал внимание и отечественных исследователей того периода: «Идеология новой Турции» (Гордлевский, 1962); «Десять лет Турецкой Республики» (Енукидзе, 1933); «Политика возрожденной Турции» (Кабульский, 1926); «Современная европейская Турция» (Казимирский, 1927); «Путь новой Турции, 1919-1927» (Путь новой Турции, 1934).

В 50-х гг., когда интерес к Турции на Западе усилился с вхождением ее в НАТО, последовала новая волна публикаций, все также подчеркивавших «новизну» турецкой специфики: «Современ-

ная Турция» (Lewis, 1955); «Новые турки» (Bisbee, 1956); «Феникс возрождается. Появление современной Турции» (Orga, 1958); «До свидания, феска!» (Karabuda, 1959). Интересно, что исследователи в СССР рассматривали и оценивали возможность экспорта турецкого опыта в Китай, например: «Что такое кемалистский путь и возможен ли он в Китае?» (Годес, 1928); «Китайская революция не должна идти по пути кемализма» (Ферди, 1927).

Причины популярности «Новой Турции» у европейских, советских и американских авторов были обусловлены интересом к тому, как молодая энергичная азиатская держава сумела преодолеть интриги европейских держав, одержать над ними и их союзниками военную победу и вынудить их признать свой равноправный статус. Стремление Мустафы Кемалья Ататюрка и его соратников открыто и решительно отказаться от османского наследия и провозгласить курс на модернизацию страны диктовало европейским и советским ученым и публицистам необходимость изучения турецкого общества.

Становление новой Турции сопровождалось становлением новой официальной историографии, которая по политическим и идеологическим причинам подчеркнула разрыв с османским прошлым и, в частности, с непосредственно предшествовавшим Республике периодом правления младотурок. После того, как при поддержке Ататюрка в 1931 г. было официально принято «Положение о турецкой истории» («Тюрк Тарих Тезиси»), Османская империя изображалась в учебниках и исторических концепциях как только одно из основанных тюрками государств. Республика же преподносилась как полностью новое государство, возникшее в результате национально-освободительной борьбы. Таким образом, новый режим пытался изменить национальную идентичность, разорвав ее связь с восточной, исламской традицией. Такая идеология должна была заретушировать тот факт, что первыми сопротивлением иностранной интервенции в Турции оказали младотурки, и только опираясь на созданный ими военно-политический базис, Мустафа Кемаль смог одержать победу. Многие соратники Ататюрка, которые, несмотря на совместную борьбу с интервенцией, находились в оппозиции к нему, были устранены с политической сцены в 1925-1926 гг. Необходимость обосновать законность нового режима требовала, чтобы память о них была стерта. Эта историческая традиция, которую заложил Ататюрк, представив собственную версию событий в произведении “Нутук” (речь, зачитанная им в течение 6-и дней перед Меджлисом о его роли в национально-освободительной борьбе), домини-

рует в турецкой учебной и научной литературе по сей день (Zürcher, 1984. P. 27-31).

В 50-х гг. турецкие историки Т.З. Туная, Н. Беркес и Шериф Мардин разработали другой подход, впоследствии развитый в исследовании Б. Льюиса «Появление современной Турции» (B. Lewis, 1961). Этот подход предлагал рассматривать республику как кульминацию процессов модернизации и секуляризации, которые начались в Османской империи в первой половине XIX в. Эпоха правления младотурок особенно рассматривалась как «лаборатория для республики». Этот подход, несомненно, будучи более плодотворным и менее анахроничным, чем официальная историография, имел тенденцию рассматривать светскую и национальную республику как единственный и неизбежный заключительный этап истории развития Турции. Зачастую многие последователи этого подхода преуменьшали значение последних годов Османской империи до своего рода «предшественницы» республики. Еще один недостаток работ 50-х и 60-х гг. заключался в том, что они имели тенденцию твердо придерживаться концепции модернизации, которая позволяла рассматривать историю поздней Османской империи и Турецкой Республики с точки зрения борьбы между просвещенными модернистами и «традиционным» обществом, структуры которого постепенно разрушаются. Республика и ее политика интерпретируются как решающая победа модернистов, в то время как «традиционное» общество, сопротивляющееся реформистским принципам Танзимата, младотурок и кемалистов, обозначается как религиозная реакция. В 1990-х и 2000-х гг. борьба между исламистами и сторонниками светского пути привела к новым попыткам интерпретации событий первой половины XX в. Один из наиболее ярких примеров этого – исследование Ф. Ахмада (Ahmad, 1993), полагавшего, что восстание против младотурок в Стамбуле в апреле 1909 г. имело характер религиозного движения.

С точки зрения своих границ новая республика очень отличалась от империи даже после потери части европейских территорий в 1912 г. Арабские области, которые являлись частью империи в течение четырехсот лет, были потеряны. Были отторгнуты территории юга Балканского полуострова («Румелия»), которые были в составе Османской империи с XIV-XV вв., и которые являлись родиной для большой группы военной и политической элиты в империи. Потеря этих важных областей была болезненной для турецкого общества. Важно подчеркнуть, что новые границы Турецкой Республики не были определены естественными географическими рубежами, а были установлены в результате военного поражения Османской империи в 1918 г.

Попытка сохранить наиболее приемлемые национальные государственные границы была принята в «Национальном обете» (Misak-i Milli) – по сути это была декларация о территориальной целостности турецких территорий – принятом последним османским парламентом в феврале 1920 г. Указанные в нем границы совпадали с линиями перемирия по состоянию на октябрь 1918 г. (Zürcher, 2000. P. 170). Лидер национального движения сопротивления Мустафа Кемаль-Паша признавал, что республика формировалась на тех территориях, которые удалось защитить Османской империи к 1918 г. (Zürcher, 2000. P. 169). Важно отметить, что в 1918-1919 гг. воинственно настроенные военные и чиновники (в том числе и Мустафа Кемаль) возражали не против условий Мудросского перемирия как такового, а против нарушения союзниками, прежде всего британцами, его сроков и условий. (Zürcher 1998; Unan, 1959. P. 60). Несмотря на то, что перемирие вошло в силу с полудня 31 октября 1918 г., часть османских территорий была уже после этого срока захвачена союзниками. Самыми важными из занятых в нарушение условий перемирия территорий были область вокруг Мосула на севере Ирака и территория вокруг Искендеруна (Александрия) в Средиземноморье. Турецкая делегация в 1922-1923 гг. на мирном конгрессе в Лозанне опубликовала резюме, в котором настаивала на проведении новой границы к юго-западу от Искендеруна на средиземноморском побережье, вдоль Евфрата и затем к иранской границе, включая район Мосула в границы Турции. Эта попытка закончилась неудачей. Граница с французским протекторатом в Сирии была определена в соответствии с франко-турецким соглашением от 1920 г., к югу от предполагавшегося маршрута Багдадской железной дороги. Арбитраж Лиги Наций передал район Мосула Ираку в 1926 г. Для арабских областей, оккупированных Британией, Национальный обет требовал плебисцита по вопросу о дальнейшем государственном устройстве. В тот момент правительство в Анкаре было разочаровано нелояльностью арабов во время Первой мировой войны, но отчетливо понимало, что силовой захват этих территорий был невозможен. Возвращение прежних арабских областей Дамаска, Багдада, Басры, Хиджаза серьезно никогда не рассматривалось. В ходе военно-политической акции в 1939 г. Турции удалось вернуть себе район Искендеруна (ныне провинция Хатай), что стало предметом постоянных трений с Сирией (Киреев, 2007. С. 227-229).

На севере Национальный Обет потребовал плебисцита населения для областей Карса, Ардагана и

Батума. Они были переданы России в 1878 г. и возвращены после Октябрьской революции и последовавшего коллапса российской армии в Восточной Анатолии. Турецкий генерал и активный идеолог турецкого национализма Кязим Карабекир захватил в 1918-1920 гг. Карс и Ардаган, по сути дела лишив смысла процедуру плебисцита в этих двух областях. Угроза столкновения с Красной армией в Батуме и потребность в советской военной и финансовой поддержке привела к компромиссу в 1921 г. с Советской Россией, которая оставила Батум в руках Грузинской советской республики (Орешкова, Ульченко, 1999. С. 181-182).

На Западе Национальный Обет требовал проведения плебисцита в Западной Фракии (Garbi Тракуа), учитывая значительное количество турецкого и мусульманского населения. На переговорах в Лозанне турецкая делегация также поребовала от Греции уступки части островов Эгейского моря у берегов Анатолии. Эти требования также были отклонены. В итоге лозаннский мирный договор вызвал резкие споры в Турции, так как закреплял фактическое отторжение от Турции важных территорий, населенных турками и мусульманами (Zürcher, 1999b).

Таким образом в основном границы 1918 г., которые в целом были подтверждены в Лозанне в 1923 г., не отличались в принципе от установленных в 1878 или в 1913 гг. Они олицетворяли собой ту территорию, которую Османской империи удалось защитить, и являлись фактической линией соприкосновения турецких и союзнических войск. В результате общество в Турции было все еще многоэтническим, многоязычным, однако с преобладающим большинством турок и существенными меньшинствами курдов, арабов и некоторых других групп. Эта ситуация, однако, не устранила угрозы этнического сепаратизма и попыток внешних сил использовать межнациональное напряжение в Турции.

Состав населения нового государства очень сильно отличался от такового в последние годы Османской империи даже на тех же территориях. Эти изменения произошли в результате крупномасштабных перемещений населения накануне и в ходе Первой мировой войны. Смертность среди анатолийского населения была невероятно высока. Османская армия включала в свои ряды значительное количество мусульман из Анатолии, что привело к существенному опустошению и обезлюдению ряда районов. Необходимо также принять во внимание высокий уровень потерь на всех фронтах – в Галлиполи, на Кавказе, в Палестине, Месопотамии, Румынии и Галиции (около 1 млн. человек убиты-

ми, умершими от ран и болезней). Кроме того, с весны 1915 г. Восточная Анатолия стала театром военных действий, а большое количество беженцев привело к жестоким эпидемиям сыпного тифа зимой и холеры летом. Движение войск стимулировало распространение эпидемий, особенно сыпной тиф зимой и холера летом (Zürcher, 1996. P. 235-258). Великая война, перешедшая в национально-освободительную борьбу и приведшая к социально-политической нестабильности в Анатолии в середине 20-х гг. XX в., стала временем упадка и исчезновения древних христианских сообществ в Анатолии, прежде всего греков и армян. Пострадали и переселявшиеся с 1878 г. в северо-восточную Анатолию молукане.

Национально-освободительная война сопровождалась широкими партизанскими действиями на юге, востоке и западе Анатолии, гражданской войной между сторонниками и противниками национального правительства в Анкаре, которые велись с крайним ожесточением и суровыми репрессиями против мирного населения с обеих сторон.

По предварительным подсчетам, в результате войны, эпидемий и голода погибло приблизительно 2.5 млн. анатолийских мусульман, от 600 тыс. до 1 млн. армян, до 300 тыс. греков. В целом население Анатолии уменьшилось на 20%, а уровень смертности по сравнению с Францией, которая понесла одни из самых тяжелых потерь в Первой мировой войне, вырос в 20 раз. Последствия войны и болезней были распространены неравномерно по территории страны. В некоторых восточных областях полностью погибла почти половина населения, четверть стала беженцами. В западных областях Турции более 30% взрослого населения составляли вдовы. Турция после войны была опустошена. Журналисты, посещавшие Турцию в 20-х и 30-х гг., отмечали безлюдность сельской местности в Турции (Hartmann, 1928. P. 86; Linke, 1937. P. 278; Zürcher, 2002. P. 187-195).

Помимо высокой убыли населения, турецкое общество столкнулось с широкой иммиграцией из-за границы на рубеже XIX-XX вв. Множество мусульман переселились из России, Румынии, Болгарии, Сербии и Греции в Анатолию (часто их селили на территории хозяйств, покинутых прежними христианскими владельцами). Потеря преобладающего числа христианских областей и иммиграция мусульман означали, что впервые в истории Турции большинство населения составляли турки и мусульмане.

В течение и сразу после Первой мировой войны почти все выжившие армяне эмигрировали в Россию, Францию или США. После балканской войны до 200 тыс. греков (из 450 тыс., проживавших на

Эгейском побережье), были вынуждены уехать из Западной Анатолии. Три четверти их возвратились вслед за греческим вторжением в Анатолию в 1923 г. Когда греческая армия в Анатолии была разбита в 1922 г., почти все греческое население побережья Эгейского моря бежало в Грецию. Последовал обмен населением в соответствии с мирным договором в Лозанне. В соответствии с ним последние оставшиеся греческие ортодоксальные сообщества Анатолии, главным образом на Черноморском побережье (понтийские греки) и караманлисы (греческое население из Центральной Анатолии), были обменены на мусульманское население из Греции. Всего приблизительно один миллион греков уехали из Анатолии в 1922-1924 гг., и приблизительно 400 000 мусульман прибыли из Греции. Миграционные движения укрепили этническую и религиозную гомогенность населения Малой Азии, однако увеличили людские потери Турции еще примерно на 7-8 % (Engin, 1997. S. 317-330; Şenşekerci, 2000. S. 35-38).

С точки зрения развития культуры и господствовавших традиций Анатолия также совершенно изменилась. Теперь абсолютно преобладало мусульманское население. Сократилось количество городских жителей – до 18% по сравнению с 25 % перед войной. Страна стала более сельской и аграрной. Эти показатели отражали убыль христианского населения, которое было в большей степени городским. Христиане также полностью доминировали в секторах обрабатывающей промышленности и экспорте: им принадлежали хлопкопрядильные фабрики в районе Чукурова, шелкопрядильные производства Бурсы, экспорт сухофруктов и изюма на Запад, транспорт, банковское дело, отели, рестораны и почта; все было почти исключительно в руках христиан перед войной. В 1923 г. Турция была не только страной почти без квалифицированных управленческих кадров и инженеров – это была страна почти без обучаемых официантов, сварщиков или электриков (Engin, 1997. S. 57-70). Потребовалось бы, по крайней мере, поколение, чтобы восстановить навыки, которые исчезли.

Республика, созданная на руинах Османской империи с центром в Анатолии в октябре 1923 г., была формально новым государством. Это было одно из целого ряда новых государств, которые были созданы на территориях бывшей Османской империи и переняли так или иначе часть ее территорий и часть ее политического, культурного или иного наследия. Новая Турция была создана доминировавшей этнической группой и унаследовала интеллектуальный, административный и военный центры империи. Одновременно в структуры но-

вого государства было кооптировано значительное количество бывшей имперской военной и гражданской бюрократии и интеллектуальной элиты.

Этот факт обусловил своеобразие формирования новой идентичности. Если ранее население ощущало себя подданными мусульманской империи, то теперь им необходимо было переосмыслить себя как этнос – турок.

С юридической точки зрения переход от империи к республике также проходил не сразу, а поэтапно. Республикой Турция был объявлена 29 октября 1923 г. Но султанат был отменен почти годом ранее 1 ноября 1922 г. Делегация, представлявшая Турцию на конференции в Лозанне в 1922-1923 гг., представляла правительство Великого Национального Собрания Турции. Это создало двойственную ситуацию, когда западным дипломатам и политикам было вначале не совсем ясно, кто ведет переговоры от имени Турции (Sonyel, 2014. S. 26-27). С юридической точки зрения можно говорить, что это была Османская империя, потому что имперская конституция 1876 г. с изменениями, принятыми в 1908-1909 гг., оставалась в силе до обнародования новой республиканской конституции в 1924 г. И при этом династия султанов не была уничтожена и не исчезла, хотя султан и бежал из Стамбула в ноябре 1922 г. После бегства султана его племянник Абдулмеджит был объявлен халифом. Халиф в позднем понимании значения этого титула обладал полнотой как светской, так и религиозной власти. Поэтому в глазах населения Абдулмеджит являлся таким же султаном, как его предшественник Вахидеддин. Многие офицеры и чиновники ощущали также чувство лояльности по отношению к династии, которой они и их предки служили. Эти обстоятельства и стали причиной отмены халифата в марте 1924 г. (Atatürk, 1967. S. 684).

Уже в январе 1921 г. национальное собрание в Анкаре приняло «Закон об организационных основах» (Teşkilât-ı Esasiye Kanunu). Он был расценен турецкими историками как пролог первой республиканской конституции. Впоследствии этот закон являлся дополнительным источником законности. Например, к нему апеллировали при переходе страны к многопартийности в 1946 г., а также на него ссылались лидеры военного переворота 1960 г., обосновывая свои действия. И хотя в 1921 г. османская конституция еще действовала, а данный закон создавал правовые основы для деятельности анкарского правительства, в то время как Стамбул (где находился султан) был оккупирован европейскими войсками. Это было в соответствии с Оттоманской конституцией (Akin, 2001. S. 197-217). В то же самое время нельзя отрицать, что закон, с его

акцентом на неограниченный народный суверенитет, наделял национальное собрание от имени нации выражением республиканизма в радикальной традиции Французской революции и выглядел несовместимо с существовавшей системой конституционной монархии (Tunaya, 1957. S. 225-247).

В период между отменой султаната и провозглашением республики Мустафа Кемаль-паша в своих публичных заявлениях утверждал, что сторонники республики основали новое государство, хотя и отмечал, что оно не было похоже ни на монархию, ни на республику. Термин «Türkiye» (Турция), который использовался в качестве синонима для Османской империи, теперь стал единственным термином, обозначающим страну (Unan, 1959. P. 70, 92). В итоге, с юридической точки зрения, переход от империи до республики проходил постепенно с февраля 1921 г. по апрель 1924 г.

Политическое руководство среди движения Сопротивления в 1918-1922 гг. и республики, начиная с 1923 г., состояло из четко определенной группы людей, которых объединяли общие черты биографии. Почти все они сделали карьеру на государственной службе, преимущественно офицеры. Их средний возраст – от 38 до 45 лет, они были мусульманами, но не обязательно этническими турками, большинство из них – родом из Стамбула или балканских вилайетов Турции. Они не являлись выходцами из определенной социальной группы, среди их родителей были как крупные землевладельцы, так и мелкие служащие. Большинство из них – горожане, но их самая существенная особенность заключалась в том, что они окончили современные образовательные учреждения Османской Империи, созданные реформаторами эпохи Танзимата в XIX веке (Zürcher, 2005. P. 14-27).

Помимо всего вышеперечисленного, эти люди играли определенную роль в политике второго конституционного периода (1908-1918 гг.) и до 1908 г. участвовали в общественно-политической жизни, создавая тайные революционные общества, стремившиеся к установлению конституционной монархии. Почти все без исключения были бывшими членами Комитета Единения и Прогресса (İttihad ve Terakki Cemiyeti, далее - КЕП). Многие имели опыт совместного участия в конституционной революции 1908 г.; подавлении контрреволюции в апреле 1909 г. «армией действия»; добровольческого участия в организации бедуинского сопротивления итальянцам в Триполитании в 1911 г.; в балканских войнах 1912-1913 гг.; в мировой войне и борьбе за независимость. Для типичного турецкого политического деятеля 20-х гг. XX в. эти события были неотъемлемой частью биографии.

В последнее время получает распространение такая концепция национально-освободительной борьбы в Турции, согласно которой фактически борьба с интервентами была организована Комитетом Единения и Прогресса, а Мустафа Кемаль и его соратники смогли возглавить сопротивление не сразу (Zürcher, 1984). Изучение подпольной деятельности членов КЕП в Стамбуле в 1918-1922 гг. (Criss, 1999. P. 9) и действий самых ранних провинциальных организаций сопротивления, которые провели в общей сложности 28 организационных конгрессов между 1918 и 1920 гг. (Tanöğ, 1992. S. 52), предоставило в распоряжение исследователей значительный массив детальной информации о центральной роли Комитета в национально-освободительной борьбе. Об этом же свидетельствует ряд советских документов внешней политики о ранних контактах Советской России и младотурок (Казанджян, 1996).

Крупная военная победа в августе-сентябре 1922 гг. сделала Мустафу Кемаль бесспорным лидером сопротивления. В ходе подавления внутренней оппозиции в 1925-1926 гг. оставшиеся на своих постах бывшие члены КЕП, которые зачастую еще до появления Мустафы Кемаль в Анатолии руководили сопротивлением интервенции на местах, были либо устранены физически, либо подвергнуты судебному преследованию и перестали представлять опасность как внутривнутриполитические оппоненты (Zürcher, 1991; Tunca, 1981). С тех пор Мустафа Кемаль-паша управлял без боязни получить неконтролируемую оппозицию. Постепенно в политику приходили молодые кадры, однако даже до 50-х гг. XX в. в состав высшего руководства страны входили люди, начавшие и сделавшие свою военно-политическую карьеру в эпоху правления младотурок (например, премьер-министр, а затем президент И. Иненю).

При осуществлении своей политики на практике республиканское политическое руководство могло рассчитывать на поддержку значительного бюрократического и военного аппарата, который начал формироваться еще в Османской империи в 40-х гг. XIX в. Нельзя однако сказать, что республика автоматически включила имперские кадры в свою структуру. Еще при младотурках имели место крупные чистки аппарата: много государственных служащих, которые скомпрометировали себя коррупцией или шпионажем и доносом в правление султана Абдулхамида, были отстранены младотурками от занимаемых постов. Многие чиновники, получившие повышение при старом режиме, были сняты со своих постов Энвер-пашой в 1913-1914 гг. и заменены офицерами – выпускниками современных турецких военных училищ. Кемалисты также прибегали к чисткам. Закон

№ 347 от 25 сентября 1923 г. разрешал увольнение офицеров, которые не присоединились к движению национального сопротивления. Три года спустя, 26 мая 1926 г., подобный закон принят (№ 854) для государственных служащих. Но впоследствии размах чисток ограничились, и уже 24 мая 1928 г. законом № 1289 была создана апелляция комиссия для офицеров и государственных служащих, которые считали себя несправедливо уволенными (Jaeschke, 1929. P. 73).

В основном армия и жандармерия республики состояли из наследников силовых структур поздней Османской империи. Усиление армии и жандармерии и уменьшение территории страны позволили республиканскому режиму расширить свой контроль над населением и даже над самыми удаленными и труднодоступными населенными пунктами, которые ранее подчинялись империи лишь номинально (Zürcher, 2002a. P. 359-369). Можно утверждать, что установление эффективного контроля над территорией было не менее важным, чем известные реформы Ататюрка (одежды, алфавита, права или календаря). Во многом именно благодаря установлению прочного контроля в Анатолии смогло появиться современное вестернизированное государство. Бюрократия, вообще говоря, была наследницей имперской бюрократии. В первые годы национальной борьбы националисты избавлялись от членов провинциальной бюрократии, которых считали ненадежными из-за их связей со Стамбульским правительством. Под подозрение попадали прежде всего губернаторы и уездные руководители, которых назначали из центра. На более низком управленческом уровне прежнее провинциальное руководство оставалось на своих местах, и это позволило сторонникам анкарского правительства проводить дополнительные рекрутские наборы, а также повышать налоги и собирать их. Примечателен факт, что рядовые служащие «Османского телеграфа» в большинстве своем оказались лояльными сторонниками независимости и оказали ряд услуг анкарскому правительству. На мирной конференции в Лозанне в 1922-1923 гг. турки сначала сопротивлялись требованиям союзников об общей политической амнистии после заключения мира, но в конце концов уступили, выторговав право выслать из страны и запретить въезд в нее 150 нелояльным мусульманам. Цифра эта была абсолютно произвольна, и требуемое количество неблагонадежных лиц набрали с трудом лишь через год после заключения мира (Soysal, 1985). Среди этих 150 лиц были офицеры и чиновники, скомпрометировавшие себя сотрудничеством с интервентами, но по сравнению

с общим числом офицеров и чиновников в стране это количество было незначительным.

В области финансов республика унаследовала две отдельных бюрократических структуры от империи. Первая – организованное по европейскому образцу Министерство финансов, которое было полностью модернизировано новым министром финансов младотурок Джавид Беем. Вторая – Администрация Оттоманского Публичного долга (далее – АОПД), которая с 1881 г. от имени европейских кредиторов Османской империи взяла под свой контроль сбор налогов, акцизные сборы с продаж табака, соли, рыболовство для покрытия внешнего долга империи. АОПД не подчинялась бюрократии империи и частично контролировала османскую экономику. Однако благодаря ее деятельности по упорядочиванию финансов и прекращению коррупции отдельные отрасли османской экономики из убыточных превратились в доходные. Новая Турция взяла на себя выплату части османского долга в результате Лозаннского мира в 1923 г., а независимое от турецкого правительства существование администрации Оттоманского Государственного долга было прекращено. Тем не менее, существовавшие в рамках АОПД монополии были сохранены турецким государством и в 1932 г. объединены под названием «Управление Монополий». Монополии обеспечили жизненно необходимый доход для нового государства в 1920-1930-х гг. Выплата долга продолжалась до начала 1950-х гг., и впоследствии все архивы АОПД, связанные с деятельностью в Турции, были уничтожены по указанию турецкого правительства (Черниченкина, 2011. С. 29-47, 150-192, 230-239).

Из всех ветвей государственной бюрократии наибольшие изменения в республиканский период претерпели религиозные учреждения. Закон об унификации образования в 1924 г. и введение семейного права по образцу итальянского гражданского кодекса в 1926 г. означали, что светское государство теперь напрямую контролирует эти важные сферы, соответственно желая изменить и роль религиозных учреждений. В результате отмены Халифата и одновременной замены Шейхульислама и его аппарата особым управлением при премьер-министре Турецкой республики руководители религиозных учреждений потеряли большую часть своей власти. С другой стороны, реформы 1916 г., когда Шейхульислам был выведен из состава правительства и потерял контроль над шариатскими судами, вакфами, медресе, уже строго ограничились его функции. Тот факт, что после проведения радикальных реформ Мустафы Кемаль-паши в стране вспыхнуло восстание курдов под лозунгами защиты ислама

свидетельствует о том, что ислам сохранял сильные позиции в османском обществе, несмотря на желание еще имперских властей максимально его бюрократизировать (Киреев, 2007. С. 159-164, 476; Гасанова, 2002. С. 73-80).

Члены Комитета Единения и Прогресса попытались также преобразовать медресе включением науки в их учебные планы, но кемалисты посчитали, что их невозможно реформировать и закрыли их в 1924 г. С этого времени подготовка духовных и религиозных кадров велась на Кафедре богословия Стамбульского университета в Стамбуле и нескольких школах имамов-хатипов, но прежний был закрыт в 1935 и последний за эти годы 1930-31 (Киреев, 2007. С. 161). Снижение уровня религиозного образования и знания стало очевидным только, когда в начале 40-х гг. начало уходить более старое поколение, получившее образование в Османской империи.

Не только структуры государственной власти были унаследованы Турецкой республикой от Османской империи. Методы воспроизводства власти также были переняты практически в неизменном виде. Крупные школы империи, смоделированные по образцу французских учебных заведений, которые готовили чиновников и государственных служащих эпохи Танзимата, Абдулхамида и младотурок, продолжили свою деятельность и при республике. Когда военное училище в Стамбуле было закрыто державами Антанты, его временно переместили в Анкару во время национальной борьбы. В 1923 г. его вернули в Стамбул, но в 1936 г. снова перевели в Анкару, где оно с тех пор и находится. Его функции и методы работы оставались неизменными. То же самое верно для турецкого аналога Академии Государственной службы (Mekteb-i Mülkiye), которая функционировала в Стамбуле и была воссоздана в 1935 г. в виде Факультета политических наук в Анкаре в 1935 г. (Baskıcı, 2009. S.1-43). Она продолжает поставлять государству кадры для административных и дипломатических должностей.

Новым инструментом режима для распространения своей власти стала Народная партия (Halk Fırkası, Halk Partisi), которая с 1925 г. за исключением небольших периодов в 1925-1926 и 1930 гг. была единственной легальной политической партией в Турции.

В Турции имелся опыт существования многопартийной системы в начале XX в., еще во времена Османской империи. В республиканский период партия была создана Мустафой Кемалем, имела места в Национальном собрании (меджлис), и функционировала в большой степени как часть госаппарата. Между 1925 и 1929 гг. находившееся в силе чрезвычайное законодательство означало,

что парламентская партия отказывалась от всех своих полномочий в пользу кабинета министров. Таким образом, по иронии судьбы парламентская партия не имела вообще никакой власти в момент, когда проводилось большинство радикальных реформ Ататюрка. В эти годы законы о тех или иных реформах обычно принимались единогласно или абсолютным большинством голосов, однако число голосов зачастую составляло меньше половины общего количества депутатов меджлиса (Tunçay, 1981. S. 178). С 1930 г. Народная партия и ее образовательные отделения – «Народные дома» (Halk Evleri) – стали оружием идеологической обработки и мобилизации населения. И партия, и подчиненные ей организации находились под строгим государственным контролем. Слияние партии и госаппарата достигло своего апогея в 1936 г. В Османской империи КЕП также пытался воздействовать на общественные настроения через «Тюркские очаги» (Türk Ocağı), но они никогда не находились под сильным централизованным государственным контролем, в отличие от народных домов в республиканский период (Çavdar, 1984. S. 878).

Османское идеологическое наследие имеет определенные связи с модернизацией и социальными трансформациями в республиканской Турции, однако проследить преемственность и наследственность в данном вопросе гораздо сложнее. Перед началом Первой балканской войны в 1912 г. младотурки, озабоченные поисками путей спасения империи, вели активные дебаты по двум основным идеологическим вопросам. Первый, затрагивавший степень вестернизации, необходимой для укрепления общества и государства, особенно способы и пути интеграции западной науки и образования и турецкой культуры и исламской цивилизации (Dumont, 1984. P. 25-44). Как показал Ш. Ханиоглу, большинство османских интеллектуалов полагали еще с середины XIX в., что европеизация была единственным способом достичь материального благополучия и обеспечить политическую и военную силу Османской империи. Имело место негодование относительно способов вестернизации, но не имелось сильного интеллектуального лидера, чтобы дать ответ на попытки вестернизации (Hanioglu, 1995. P. 7-18). Дебаты среди элиты затрагивали степень необходимой европеизации и желательность синтеза заимствований из Европы с исламской системой ценностей. Одинаково широко распространенной была вера в современную науку и биологический материализм. Относительно большинство младотурок и их соратников стояли на позициях позитивизма и веры в научно-технический прогресс. Вместе с тем, младотурки защищали идею, что «настоящий» Ислам (который они противоп-

ставляли мракобесию современных им клерикалов) был совместимым с наукой и восприимчивым к технологическим новшествам. Даже если часть из младотурок не являлась чрезвычайно религиозными людьми, они расценивали религию как цементирующий нацию элемент (Zürcher, 2005a. P. 14-27).

Вторым вопросом, который волновал младотурок, было совместное проживание различных этносов и религиозных общин на территории Османской империи. Дебаты разворачивались вокруг того, должно ли государство существовать на основе единственной национальности, на добровольном союзе национальностей или на основе религиозной общности. К началу XX в. вера в союз (этнических) элементов (*ittihad-i anasır*) поддерживалась греческими, арабскими и албанскими интеллектуалами и “Либеральной” политической группой во главе с Принцем Сабахаттином (Киреев, 2007. С. 79).

Огромное большинство, преимущественно члены Комитета Единения и Прогресса, уже перед революцией 1908 г. придерживалось своего рода османского мусульманского национализма, в котором доминирующее положение турок считалось само собой разумеющимся. Имелось и растущее понимание турецкости как принадлежности к единой нации, но для самих молодых турок идентичность являлась сложным феноменом, в котором принадлежность к Османской империи и религиозная мусульманская идентичность играли практически одинаковые роли. С самого начала организаторы революции 1908 г. приглашали к участию в ее подготовке мусульман, не являвшихся турками. Однако это приглашение не касалось (или по крайней мере автоматически не распространялось) немусульман (Karabekir, б.д. P. 176). Пантюркизм постепенно набирал популярность среди интеллектуалов османской элиты, при этом российские эмигранты играли там доминирующую роль. Исламистские или панисламистские чувства использовались с политическими целями членами Комитета Единения и прогресса (См. например, об идеологии в Османской империи в начале XX в.: Mardin, 1964; Parla, 1985; Arai, 1992; Geogon, 1986; Hanioğlu, 1981).

Однако с внезапным началом первой балканской войны теоретические вопросы отошли на второй план. Чрезвычайное положение в стране выдвинуло на первый план мобилизацию всех имперских и национальных ресурсов. Сомнения внутри элиты были отброшены к 1912 г. Империя подверглась нападению коалиции христианских стран Балканского полуострова, надежность христианских общин Османской империи была сомнительной. Великие державы не предпринимали ничего, чтобы облегчить положение Османской империи. Когда мла-

дотурки стали переводить экономику страны на военные рельсы, основывая множество экономических и социально-политических организаций, все эти структуры имели в своем названии термин *millî* («национальный»). Ни у кого больше не вызывало сомнения, что подразумевалось под этим термином. Подразумевалось, что они были организованы османскими мусульманами для османских мусульман. Эта тенденция продолжалась в течение Первой мировой войны (которая была также специальным султанским фирманом объявлена джихадом, который частично включал и внутренние этно-религиозный конфликты в Османской империи в Анатолии). Провозглашение национального движения Сопrotивления в Анатолии после 1918 г. характеризовалось его участниками как борьба за полную независимость и единство османских мусульман. Религиозные церемонии сопровождали каждое крупное событие, и это был единственный период в новой турецкой истории, когда был введен полный запрет на продажу алкоголя (Zürcher, 1999. P. 53-59).

После того, как война была выиграна в 1922 г., идеологическая ориентация изменилась очень быстро. После отмены чрезвычайного положения в стране исчезла и необходимость в мобилизации масс на военную борьбу. Дискуссии, имевшие место до 1912 г., снова становились актуальными. И здесь республиканское правительство сделало важный выбор. В дебатах о степени европеизации Мустафа Кемаль и его соратники ассоциировали себя со сторонниками радикальной вестернизации эпохи младотурок, которые считали европейскую цивилизацию неделимой и указывали на необходимость принять вестернизацию как единое комплексное явление. Однако не было предпринято никаких попыток осуществить синтез достижений европейской цивилизации и турецкой культуры (Heud, 1950. P. 63). Фактически кемалисты готовили культурную революцию, в ходе которой традиционная турецкая, и преимущественно мусульманская культура, должна была уступить место заимствованной из Европы цивилизации. Мустафа Кемаль разделял точку зрения младотурок, что ислам являлся рациональной религией и может адаптироваться к современному миру, однако он не предпринял попыток превратить «истинный» Ислам в главный элемент республиканской идеологии. Вместо этого светскость (*lâiklik*, полученный из французского *laïque*) стала одним из главных постулатов идеологии кемалистов. Вера в конечное торжество науки, дарвинизм и материализм были характерны для кемалистов даже в большей степени, чем для младотурок.

Очевидно, что идеология османства как единого гражданства всех жителей империи вне за-

висимости от вероисповедания, больше не подходила в качестве государственной идеологии. Однако идея исламского единения также не нашла поддержки у Ататюрка, поскольку ее трудно было увязать с выбором радикальной вестернизации и светскости. Вместо них огромные усилия были затрачены для создания и развития идеи «турецкой страны». Хотя турецкий национализм был явлением локальным, основанным на общем турецком языке, культуре и обычаях, романтизированная идеализация турецкого национального характера с расистскими элементами стала неотъемлемой частью идеологии в 30-х гг. XX в., отчасти под влиянием европейских тенденций того времени. Практически принятие идеологии турецкого национализма привело к принудительной ассимиляции примерно 30% населения, для которого турецкий язык не являлся родным.

Важный аспект идеологии, имевший место и у кемалистов, и у младотурок, состоял в их устойчивом отрицании наличия в Турции классов и классовой борьбы. И политика младотурок, и политика кемалистов была направлена на создание национальной буржуазии и отклонение любых изменений в имущественных отношениях. Комитет Единения и Прогресса реагировал на волну забастовок после конституционной революции 1908 г. принятием репрессивного законодательства, и его «Программа Народного хозяйства» после 1913 г. была ориентирована на формирование класса мусульманских торговцев и промышленников под покровительством государства (Toprak, 1982, 1977a. S. 13-31). Эти меры правительства снизили популярность среди политической элиты в 1913-1918 гг. и в первые годы существования республики. Создание обществ торговцев и ремесленников КЕП после того, как были расформированы старые цеха и цеховые организации, демонстрировало, что младотурки осознавали важность подобных организаций. Эти структуры и этот же подход унаследовала и республика. Альтернативные предложения З. Гёкальпа сделать данные структуры основой государственной власти и опираться на них во внутренней политике были отклонены (Georgon, 1980. P. 109). Вместо этого республика приняла не совсем понятное «народность» (*halkçılık*), интерпретированное властями как солидарное стремление всего турецкого народа к построению независимой национальной экономики. Частично это название появилось под влиянием российских народников, частично под влиянием националистического турецкого движения «*Halka doğru*» («К Людям»), основанного в Измире в 1916 г. (Toprak, 1977. S. 92-123; Tekeli, Saylan, 1978. S. 44-110). Практически респу-

бликанский режим поддержал крупных и средних капиталистов и оставил и крестьян и рабочих во власти правящей коалиции чиновников, бюрократов и крупных землевладельцев и «национальной» буржуазии, которая постепенно увеличивалась при поддержке государства. Социалистические движения, профсоюзы и забастовки были запрещены в ранний период республиканского правления, и перераспределение земли и социальные изменения стали возможными только после 1945 г.

Более важным вопросом, чем идеологическое наследие, является преемственность менталитета, унаследованного республиканской элитой от Османской империи. Младотурки были молоды в буквальном смысле этого слова (большинству из них было около 25-30 лет во время революции 1908 г.), и они полагали, что, будучи молодыми и образованными, поняли происходящее в мире намного лучше, чем старшее поколение. Они попытались провести решительные изменения существовавших османских традиций, которые всегда считали возраст и опыт предпосылками власти и авторитета, и сделать своей опорой на юность и молодежь, которую они рассматривали как предпочтительную характеристику. (Tunaya, 1989. P. 214).

Это чувство было также распространено среди основателей республики. Именно поэтому Мустафа Кемаль Ататюрк подчеркнул свою связь с молодежью Турции (тема, поднятая в бесчисленных школьных книгах республики до настоящего момента), и в заключение своей 6-дневной речи обратился к турецкой молодежи, призывая ее стоять на страже республики и ее достижений в 1927 г.

От Османской империи был унаследован и ряд понятийных установок, включавший в себя идею о необходимости сильного государства и его ведущей роли в общественной жизни; представления о важности образования как внутривластного инструмента и контроля государства над ним; элитарность верховной власти и недоверие к широким массам населения; оппортунизм во внешней политике и поспешность, когда требовалась монотонная и длительная работа; веру в научно-технический прогресс. Все эти элементы османского наследия, несмотря на попытки радикальной вестернизации, и поныне сохраняются в турецком обществе.

ЛИТЕРАТУРА

- Гасанова Э.Ю. 2002. Лаицизм и ислам в республиканской Турции. Баку.
- Годес М. 1928. Что такое кемалистский путь и возможен ли он в Китае? Л., «Прибой».
- Гордлевский В.А. 1962. Идеология новой Турции // Избранные сочинения. Т. III. М. С. 492-506.

- Енукидзе Д. 1933. Десять лет Турецкой Республики // *Мировое хозяйство и мировая политика*. № 10. С. 86-93.
- Кабульский С. 1926. Политика возрожденной Турции // *Международная жизнь*. № 3. С. 18-27.
- Казанджян Р. 1996. Большевики и младотурки. Новые документы о советско-турецких отношениях (1920-1922 гг.). М.
- Казимирский К. 1927. Современная европейская Турция // «Новый Восток». Кн. 16-17. С. 178-189.
- Орешкова С.Ф., Ульченко Н.Ю. 1999. Россия и Турция: проблемы формирования границ. М., ИВ РАН.
- Путь новой Турции, 1919-1927. Гос. соц.-экон. изд-во, (б.м.), 1934.
- Ферди Б. 1927. Китайская революция не должна идти по пути кемализма // «Ком. интернационал». № 24. С. 33-37.
- Черниченкина Н.И. 2011. Османское наследие в истории Турции (на примере урегулирования проблемы государственного долга, 1920-1950-е гг.) // *Дисс. на соискание уч. степени к.и.н.* М.
- Ahmad, Feroz. 1993. *The making of Modern Turkey*. London: Routledge.
- Akın, Rıdvan. 2001. *TBMM Devleti (1920-1923). Birinci meclis döneminde devlet erkleri ve idare*. İstanbul.
- Akşin, Sina. 1970. 31 Mart olayı. Ankara.
- Allen, Henry Elisha. 1968. *The Turkish Transformation. A study in social and religious development*. Chicago, 1935. Reprinted – Chicago.
- Arai, Masamı. 1992. *Turkish nationalism in Young Turk era*. Leiden: Brill.
- Atatürk, Mustafa Kemal. 1967. *Nutuk*. İstanbul.
- Baskıcı, Murat. 2014. *Mekteb-i Mülkiye'den siyasi bilgiler fakültesine 150 yılın kronolojisi* // <http://www.politics.ankara.edu.tr/MM-Kronoloji.pdf> - режим доступа - 30.09.
- Berber, Engin. 1997. *Sancılı Yıllar. İzmir 1918-1922. Mütareke ve Yunan işgali döneminde İzmir sancağı*. Ankara: Ayraç.
- Bisbee, Eleonor. 1956. *The new Turks*. Philadelphia.
- Çavdar, Tevfik. *Halkevleri // Cumhuriyet dönemi Türkiye ansiklopedisi*. İstanbul. 1984-1985.
- Criss, Nur Bilge. 1999. *Istanbul under Allied occupation, 1918-1923*. Leiden.
- Dumont, Paul. 1984. *The Origins of Kemalist Ideology // Atatürk and the modernization of Turkey*. Boulder Col.
- Findley, Carter Vaughn. 2000. *Continuity, innovation, synthesis and the state // Ottoman past and today's Turkey*. (ed. Kemal Karpat.) Leiden.
- Georgeon, Francois. 1980. *Aux Origines du Nationalism Turc: Yusuf Akçura (1876-1935)*. Paris.
- Georgeon, Francois. 1986. *Türk Milliyetçiliğın kökenleri. Yusuf Akçura. (1876-1935)*. Ankara.
- Georges-Gaulis, Berthe. 1924. *La nouvelle Turquie*. Paris.
- Hanioglu, M. Şükrü. 1981. *Bir siyasal düşünür olarak doctor Abdullah Cevdet ve dönemi*. Ankara: Üçdal.
- Hanioglu, M. Şükrü. 1995. *The Young Turks in Opposition*. Oxford.
- Hartmann, Richard. 1928. *Im neuen Anatolien*. Leipzig.
- Heyd, Uriel. 1950. *Foundations of Turkish Nationalism. The life and teachings of Ziya Gökalp 1871-1924*. London: Luzac.
- Jäschke, Gotthard. Pritsch, Erich. *Die Türkei seit dem Weltkrieg. Geschichtskalender 1918-1928. Die Welt des Islams 10 (1927-1929)*.
- Karabekir, Kazım. *İttihat ve Terakki'nin kuruluşu ve Osmanlı Devleti Hakkında bildiklerim*. İstanbul, б.д.
- Karabuda, Barbro. 1959. *Goodbye to the fez*. London.
- Karpat, Kemal. 2000. *Ottoman past and today's Turkey*. Leiden.
- Lewis, Bernard. 1961. *The emergence of modern Turkey*. London and New York.
- Lewis, Geoffrey. 1935. *Modern Turkey*. London.
- Linke, Lilo. 1937. *Allah dethroned. A journey through modern Turkey*. London.
- Luke, Sir Harry. 1936. *The old Turkey and the new*. Б.м.
- Mardin, Şerif. 1964. *Jön Türklerin siyasi fikirleri (1898-1908)*. Ankara, İş Bankası.
- McCarthy, Justin. 1983. *Muslims and Minorities. The Population of Ottoman Anatolia and the end of Empire*. New York, NY University Press.
- Mears, Elliot Grinnel. 1924. *Modern Turkey: a politico-economic interpretation*. New York.
- Orga, İrfan. 1958. *Phoenix Ascendant. The rise of Modern Turkey*. London.
- Parla, Taha. 1985. *The social and political thought of Ziya Gökalp 1871-1924*. Leiden, Brill.
- Ritter von Kral, August. 1937. *Das Land Kemal Atatürks. Der Werdegang der modernen Türkei*. Vienna.
- Schopen, Edmund. 1938. *Die neue Türkei*. Leipzig.
- Sonyel, R.S. 2014. *Gizli belgelerinde Lozan konferansı'nın perde arkası*. TTK: Ankara.
- Soysal, İlhami. 1985. *Yüzellilikler*. İstanbul.
- Şenşekerci, Erkan. 2000. *Türk devriminde Celal Bayar. (1918-1960)*. İstanbul.
- Tanör, Bülent. 1992. *Türkiye'de yerel kongre iktidarları (1918-1920)*. İstanbul.
- Tekeli, İlhan. Şaylan, Gencay. 'Türkiye'de halkçılık ideolojisinin evrimi' // *Toplum ve Bilim*, 6-7 (1978), S. 44-110.
- Toprak, Zafer. 1977. 'Halkçılık ideolojisinin oluşumu' // *Atatürk döneminin ekonomik ve toplumsal sorunları. 1923-1938*. (ed. Reşat Kaynar). İstanbul. 13-31.
- Toprak, Zafer. 'II Meşrutiyet'te solidarist düşünce : halkçılık' // *Toplum ve bilim (1977)* 92-123.
- Toprak, Zafer. 1982. *Türkiye'de 'milli' iktisat. 1908-1918*. İstanbul.
- Tunaya, Tarık Zafer. *Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin kuruluşu ve hukuki karakteri // İstanbul Hukuk fakültesi mecmuası 23 (1957)* 227-247.
- Tunaya, Tarık Zafer. 1989. *Türkiye'de siyasi partiler III: İttihat ve Terakki*. İstanbul.

Tunçay, Mete. 1981. Türkiye Cumhuriyetinde tek parti yönetiminin kurulması (1923-1931). Ankara.

Unan, Nimet. 1959. Atatürk'ün söylev ve demeçleri II (1906-1938). Ankara.

Ziemke, Kurt. 1930. Die Neue Türkei. Stuttgart.

Zürcher, Erik-Jan. 1984. The unionist factor. The role of the Committee of Union and Progress in the Turkish national movement (1905-1926). Leiden.

Zürcher, Erik-Jan. 1991. Political Opposition in Early Turkish republic: The Progressive Republican Party (1924-1925). Leiden.

Zürcher, Erik-Jan. Between Death and desertion. The experience of Ottoman Soldier in World War I // Turcica, 28 (1996), 235-258.

Zürcher, Erik-Jan. 1999. The borders of the Republic reconsidered. Bilanço 1923/1998. International Conference on History of the Turkish Republic: a reassessment. Vol. 1: Politics, Culture, International Relations. Ankara. P. 53-59.

Zürcher, Erik-Jan. 2000. Young Turks, Ottoman Muslims and Turkish Nationalists: Identity politics 1908-1938 // past and today's Turkey. (ed. Kemal Karpat.) Leiden. Pp. 150-179.

Zürcher, Erik-Jan. Two Young Ottomanists discover Kemalist Turkey: The travel Diaries of Robert Anhegger and Andreas Tietze // Journal of Turkish studies 26: 1 (2002(a)) 359-369.

Zürcher, Erik-Jan. 2002. Ottoman Labour Battalions in world war 1 // Hans-Lukas Kieser and Dominik Shaller (ed.) Der Völkermord an den Armeniern and und die Shoah. Zurich. Pp. 187-195.

Zürcher, Erik-Jan. Ottoman Sources of Kemalist Thought // Late Ottoman Society. The intellectual legacy. (ed. Elizabeth Özdalga). London, 2005(a). Pp. 14-27

Zürcher, Erik-Jan. How Europeans adopted Anatolia and invented Turkey // European review, 13: 3(2005) . Pp. 379-394.

Кляус В.Л. (ИМЛИ РАН)

МИКРОЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРЯДОВОЙ ЖИЗНИ РУССКИХ ТРЕХРЕЧЬЯ (КНР)

Обрядовые традиции русского населения Трехречья, небольшого региона на севере Маньчжурии, административно входящего в Хуйлуцзянский аймак Автономного района Внутренняя Монголия Китайской народной республики, представляют собой локальный вариант русской ритуально-обрядовой культуры с той лишь разницей, что в течение всего XX века, и особенно в первые десятилетия нынешнего, в ней на уровне заимствований, параллельного сосуществования и мировоззренческого синкретизма нарастало использование китайской обрядности. Иноэтническое окружение, с одной стороны, способствовало консервации отдельных элементов русской народной и православной обрядности, а с другой стороны, одновременное бытование русской и китайской обрядовых традиций в условиях гегемонии китайской культуры вело к постепенному исчезновению первой и ее замещению второй.

В качестве «законсервированного» обрядового комплекса, который в российском, левобережном Приаргунье, территории, откуда произошел исход русской культуры в этот регион Китая, уже исчез, можно привести традицию почитания «китайскими русскими» т.н. «крестовых» сопок, посещаемых на праздники св. Петра и Павла, 9-ю Пятницу и особенно – на Вознесение Христова [см. (Кляус 2012a)]. Параллельно сосуществующие ритуально-обрядовые комплексы – праздники Нового Года/Рождества и Китайского нового года, отмечающегося по лунному календарю; обычаи и

обряды почитания умерших предков при посещении кладбища в Родительский день во вторник после Пасхи, на Китайский новый год и другие поминальные дни, принятые в китайской культуре; свадебные обычаи и обряды. Пример замещения – обряды, связанные с установкой нового дома и его заселением; ритуальная практика, определяемая верой в магию слова.

В процессе полевых исследований в Трехречье в 2007-2014 гг. на видео мне удалось зафиксировать разнообразные формы обрядовой жизни китайских русских – празднование Пасхи, Вознесения, Троицы, поминальные обычаи, заговорно-заклинательные обряды. Относительно других, а именно о похоронном обряде, свадьбе, праздновании Рождества, я получил представление из видеоматериалов коллег-исследователей, домашних видеотек китайско-русских метисов, а также документальных фильмов, передач и репортажей китайского телевидения. Особенно активно поиски дополнительного аудиовизуального материала осуществлялись три последних года, когда мои исследования были поддержаны программой Президиума РАН¹². Визуальные данные не только подтверждают сведения по традиционной обрядности, полученные от китайско-русских метисов

¹² Проект «Русские и китайские обрядовые традиции в культуре метисов Северной Маньчжурии: взаимовлияние и трансформации» (рук. В.Л. Кляус). Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре».

во время многочисленных интервью, но и значительно дополняют их целым рядом значимых деталей [см. (Кляус 2012b)].

Понятно, что картина «русской» обрядовой жизни метисов Трехречья вместе с определенной константностью обладает и существенной динамикой во времени и пространстве, что, с одной стороны, позволяет видеть ее преемственность от «русского дерева», с другой – фиксировать ее трансформацию и новообразования. В качестве фона, или точнее «исходной» точки для нее, является ритуально-обрядовая культура русского населения российского Приаргунья и шире – Восточного Забайкалья, как XIX – нач. XX вв, которая была зафиксирована благодаря усилиям Н.И. Кашина, К.Д. Логиновского, П.Т. Толмачева (Кашин 1858, 1860а, 1860b; Логиновский 1898, 1903; Толмачев 1911-1912, изучавших культуру казаков этого региона. За годы советской власти, в постсоветский период обрядовые традиции русского Приаргунья также оказались подверженными трансформации, но они все же не были под мощнейшим влиянием китайской народной культуры.

За редким исключением русская обрядность, бытовавшая в Трехречье, на территории Китая с 1920-х гг., имеет прямые аналоги с родственной культурой русских насельников Восточного Забайкалья. В этой статье мне бы и хотелось обратить внимание на эти исключения. Их, как минимум, три. Первый представляет собой один из элементов традиции почитания обетных крестов на так называемых крестовых сопках, посещение которых в Трехречье происходит на ряд праздников православного календаря. Второй – один из обычаев свадьбы трехреченских метисов. Третий относится к группе мантических ритуалов, когда-то широко бытовавший в китайском Приаргунье.

Пелены на обетных крестах

Некоторые крестовые сопки в Трехречье с характеристикой того, что на них происходит в дни Вознесения, Петра и Павла и 9-й Пятницы, уже описаны мной в статье (Кляус 2012а). Кресты на сопках устанавливаются по обету – во исполнение пожеланий, связанных с жизнью и благополучием поставивших их людей. Одна из ярких особенностей этих крестов – они обвешены *пеленами*, что также делается по обету (фото 1). Год от года *пелен* становится на крестах все больше и больше, и они оказываются похожими на человеческие фигуры. Традиция этого своеобразного подношения, как

я отмечал в своей статье, издавна существовала у русских и других восточнославянских народов (Там же, 104).

Китайские этнологи Трехречья также обратили внимание на этот обычай китайских русских, о чем подробно рассказывается в статье (Лян Чжэ 2014). В ней, в частности, отмечается, что «нельзя однозначно утверждать об исключительно русских, православных истоках данной традиции в целом и/или ее отдельных элементов» (Там же, 35). В качестве аргумента приводятся следующие соображения – функциональная близость шаманских *обо* и крестов на горах; внешнее сходство *обо*, которое складывается из камней, и груды камней, которые поддерживают крест; внешнее сходство обычая занесения камней к *обо* и крестам; сходство в использовании ткани: и на кресты повязывают *пелены*, и на веточки ивы, которые вставляют в камни *обо*, повязывают ленты. В качестве доказательства той точки зрения, что традиция повязывания *пелен* на кресты у китайских русских могла появиться под влиянием культуры коренных народов Забайкалья: приводится тот факт, что «у некоторых православных эвенков, проживающих недалеко от Трехречья», на «кладбищах устанавливаются православные кресты, на которых обычно навязаны тканевые ленты светло-зеленого и светло-голубого цвета» (Там же, 39). Китайские исследователи полагают, что «сходство можно объяснить или общим происхождением или заимствованиями: либо они имеют общие истоки и в какой-то исторический момент стали развиваться независимо; либо они не имеют общих истоков, однако в какой-то исторический момент между двумя культурами (скотоводческой культурой монгольской степи и православной культурой земледельцев России) произошел обмен» (Там же, 40).

Судя по всему, китайские этнологи не готовы объяснять сходство традиций почитания *обо* и крестов общностью истоков – дохристианские верования предков современных русских также имели формы, близкие шаманизму. Вероятнее всего, они склоняются к точке зрения того, что на территории Трехречья, куда эмигрировали русские в XX веке, на их культуру оказали влияние тунгусы и монгольские народы, что, в частности, проявилось в обычае повязывания *пелен* на кресты, установленные на горах.

Можно привести еще один факт, который, на первый взгляд, подтверждает эту гипотезу китайских этнологов: хотя полевые исследования в российском Приаргунье убедительно доказывают, что традиция установки крестов на горах имеет много-

вековую историю, как минимум с XVIII столетия, и здесь она сегодня, как и в китайском Приаргунье, возрождается (кресты установлены на сопках возле Нерчинского Завода, пос. Заргол Приаргунского р-на, пос. Чингельтуй и Нижний Калбукан Калганского р-на Забайкальского кр., там, где они стояли до 1920-1930-х гг.), обычая повязывать на них *пёлены* не зафиксировано. Опросы жителей приаргунских поселений пока также не позволили однозначно выявить его активное бытование в прошлом. Но обетные, поклонные кресты, обвешанные отрезами тканей, полотенцами и др., хорошо известны, к примеру, на Русском Севере [см.: (Окладников 2003)]. Не только внешне, но и функционально они абсолютно аналогичны тому, что бытует в китайском Трехречье, но подозревать влияние «скотоводческой культуры монгольской степи» на эту традицию не приходится.

Что же касается того, что живущие в отрогах Хинганских гор православные эвенки, которые, как известно, перекочевали на территорию Китая из России в конце XIX – начале XX века, на крестах повязывают ленты, то и в Забайкалье на некоторых кладбищах можно встретить полотенца на крестах и памятниках. В 2008 г., к примеру, я это видел на кладбище пос. Нерчинский Завод. Данная традиция является совершенно обыденной для некоторых западных регионов России, Украины и Белоруссии (Валенцова, Узенева 2009, 147-149), и в Забайкалье она проникла с переселенцами с этих территорий. Конечно же, влияние восточнославянской культуры на обычаи тунгусо-маньчжуров Приаргунья в данном конкретном случае могло быть «поддержано» повсеместно существующей традицией у коренных народов Сибири вешать на священные деревья или *обо* в качестве подношения цветные тряпичные ленты, нити, конские волосы и проч., но никак не наоборот.

Первые православные кресты на правобережье Аргуни появились еще в начале XX века, задолго до времени массовой миграции русских из Забайкалья в Китай. В 1907 г. Сун Сяолянь, заместитель военного губернатора Хулунбуира, который проводил инспекцию китайской пограничной службы, сообщил, что «На невысокой вершине одной из гор на южном берегу реки Аргунь есть *обо*, поставленное русским, на нем стоит крест» [цит. по (Лян Чжэ 2014, 39)]. Хозяйственное освоение забайкальскими казаками Трехречья началось еще в XIX веке, и данный процесс сопровождался и такими символическими актами, как установка крестов на возвышенностях. В этом казаки придерживались традиции. Уже в 1920-1930 гг., когда было основано большинство трехреческих поселений, крестовые сопки появились, видимо, практически

возле каждого из них. Но в годы Культурной революции и после нее православные – и метисы, и те этнические русские, которые не уехали отсюда, – не могли посещать кресты на сопках и совершать возле них соответствующие ритуалы, т.е. более чем двадцать лет длился период их «забвения». В 1990-е гг., когда правительство КНР признало православие как национальную религию китайских русских, началось возрождение и крестовых гор. Активное использование *пёлен* в качестве обетных подношений кресту, видимо, был дан толчок именно в этот момент каким-то одним или группой духовных авторитетов, проживавших в Эньхэ (Караванная) или Саньян (Ерничное), так как именно возле этих двух поселков сконцентрировано более половины всех «действующих» крестовых гор Трехречья (они, кстати, находятся недалеко друг от друга). А вот откуда ими была принесена данная традиция в Трехречье, – это требует дополнительных изысканий, в том числе на территории Восточного Забайкалья. Во всяком случае, это может и не быть казачьей традицией, так как память о ней в какой-то степени сохранилась бы в бывших приаргунских станицах Забайкальского казачьего войска. Многие русские девушки, выходящие замуж за китайцев, были из приисковых поселков, население которых не было однородным. Фольклорные и обрядовые традиции забайкальских приисков остаются белым пятном на карте народной культуры края, и даже обобщенная картина их бытования вряд ли будет уже восстановлена, так как большинство приисков были закрыты в 1930-1950 гг., а поселки расселены.

В любом случае, обычай повязывать *пёлены* на кресты территориально ограничен Трехречьем. Актуализация традиции произошла в момент возрождения, точнее даже «выхода из подполья» народного православия трехреченцев. И при сохранении общерусских черт приобрела и специфические формы, к примеру, использование *хадаков* в качестве *пёлен*, т.е. шелковых шарфов синего или белого цвета, которые преподносят буддисты Будде и божествам.

Свадебный обычай рвать одежду на родителях

Русская свадьба в Трехречье долгое время сохраняла традиционную структуру. Если в российском Приаргунье в настоящее время невозможно записать какой-либо рассказ о том, как она игралась в старину, то в Трехречье это сделать относительно несложно. Разница объясняется тем, что слом традиционной жизни казачества и крестьян-

ства в советском Забайкалье наступил намного раньше, чем в граничном Китае. Основная группа респондентов в России, с которыми проводились интервью, выходила замуж/женилась в 1940-1950 гг., когда свадьбы как таковых вообще не устраивали, люди просто сходились и жили, максимум что было – это небольшое застолье, на которое собирались самые близкие люди. В предвоенные 1930-е гг. в условиях социального слома и экономической нестабильности свадьбы тоже не играли. В Трехречье же это были еще достаточно благополучные времена, свадьбы игрались в 1930-е гг., о чем свидетельствуют публикации В. Кормазова (Кормазов 1929, 41), и в 1940-е гг., судя по рассказам моих респондентов. К сожалению, из тех, с кем мне приходилось общаться, лишь единицы участвовали в свадебном действе в качестве сестры невесты или т.н. «смотрельщиков», или были среди тех, кто перекрывал дорогу свадебному поезду, прятал сбрую у коней, которые были запряжены в везущие невесту сани. Но, тем не менее, от многих собеседников-метисов, прежде всего женщин, удавалось получать достаточно подробные описания свадьбы, которых в российском Приаргунье уже не услышишь.

Одной из характерных особенностей русской свадьбы, по мнению метисов, является обычай рвать на второй день одежду родителей жениха, если они женят самого младшего, последнего из своих сыновей: у отца – брюки, у матери – юбку:

«Здесь же у нас полукровок много. Оне с нами привыкли. Гуляют с нам по-русски, танцуют, песни поют. Да вот свадьбы. Сын малый женится. На папке, на мамке рвут. <Что делают?> Но вот сейчас самый малый же сын женится, мать юбку шьет, и отец чё-нить приготавливает. Порвут юбку и порвут брюки ему. Самый малый сын женится. <Это у русских так раньше было?> Да, у русских. А потом жених с невесткой уж приготовят, надеют [новую одежду – ВК]. У нас здесь так. Самый малый приженится, всё прервут. Всё прервут. По-русски». (Т.Н. Петухова, 1931 г.р., русская, ПМА 2007, Эньхэ).

Яркой чертой свадебного ритуала китайско-русских метисов данный обычай считают и китайские этнологи:

«На свадебных торжествах существует еще один особенный обычай, которого нет ни в ханьской культуре, ни в культуре других нацменьшинств. А именно – если жених является младшим ребенком в семье, то старшие гости, улавливая момент, срывают юбку или брюки с родителей жениха и все раздражаются дружным смехом. Таким образом, молодоженам в первую очередь желают уважать старших и не обижать и любить млад-

ших, желают трудолюбия и бережливости, а так же умеренности и экономии. Во вторых, им желают гармонии и счастья, счастливого супружества до глубокой старости и уважения друг друга, и в третьих, это показывает, что большое празднование по случаю женитьбы младшего сына состоялось. В некоторых районах такая традиция только еще больше набирает силу в наши дни. Вплоть до того, что юбки и брюки скидывают братья и сестры и друзья жениха»¹³ (Хроника 2007, 137).

Это же мнение переключалось в популярные тексты о современных русских Трехречья. В новой церкви-музее п. Эньхэ на двух стендах, по-русски и по-китайски можно прочитать об «эргунской русской национальности». Полный русский текст был мной опубликован в (Кляус 2010). Приведу здесь только отрывок, который касается свадьбы: «<...> В настоящее время эти люди сохранили русский фольклор и обычаи в своем первоначальном виде. <...> Что касается брачных и погребальных обрядов, то они в основном китаезированы, но еще сохранились русские обычаи. Так, например, в брачном обряде рвать брюки старших <...>».

В качестве визуального примера, приведу кадр видеозаписи (фото 2) свадьбы, сделанной в 1996, где жених был метисом, на котором видно, что у отца порвали низ старенького халата, который был специально надет на второй день свадьбы для того, чтобы его порвали.

В то же время исследователями русской свадебной традиции Восточного Забайкалья ни во 2-й пол. XIX – нач. XX вв., когда свадьба имела хорошо сохранившуюся традиционную форму [см.: (Кашин 1860а; Логиновский 1898)], ни в более позднее время, когда от традиционного свадебного действия остались лишь воспоминания и отдельные элементы [см.: (Потанина 1981)], обычай рвать одежду на родителях жениха не зафиксировано. Наши собственные изыскания, фактически сплошные опросы в соседних с китайским Трехречьем Нерчинско-Заводском¹⁴, Приаргунском¹⁵, Калганском¹⁶, Александрово-Заводском¹⁷ районах Забайкальского края России, откуда происходил массовый исход русского населения в Трехречье, также не позволили пока обнаружить не то что бытование, а даже какого-либо упоминания об обычае рвать на свадьбе младшего сына одежду отца и матери.

¹³ Перевод А.А. Острогской.

¹⁴ Поселки Нерчинский Завод, Горбуновка, Аргунск, Дамысово, Ишага (все – 2008).

¹⁵ Поселки Зоргол (2008), Дурой (2010).

¹⁶ Поселки Доно (2007, 2013), Чингельтуй, Средняя Борзя, Бура, Верхний Калбукан, Нижний Калбукан (все – 2014).

¹⁷ Поселки Шара, Шаракан (все – 2013).

Но, тем не менее, в Трехречье этот обычай у живших там когда-то русских действительно бытовал. Более того, он был перенесен ими на те территории СССР, куда русские трехреченцы были вынуждены выехать из Китая в конце 1950-х гг., и сохранялся довольно долго. Так, по словам П.Е. Кокухина, трехреченца по рождению, проживающего сейчас в Омске: *Не только женили младшего, последнего сына, но и выдавали дочь последнюю, на родителей на завтра или там через два дня рвали одежды верхние. Это. Это соответствует действительности. Это дей-, действительно русский обычий и он именно забайкальский обычий.*

На мой вопрос, был ли он свидетелем его исполнения, Павел Ефимович ответил: *В семьдесят четвертом году родители выдавали замуж свою дочь, вот о которой я говорил, сестрёнка младшая. Значит. Ну, даже вот в Казахстане в семьдесят четвертом году, вот этот обычай... Ну, он так не натурально, а какие-то попытки были вот там порвать платье на маме... Ха-ха-ха [смеется].* (П.Е. Кокухин, 1939 г.р., русский, ПМА 2014, Омск).

Павел Ефимович родился в станице Драгоценка, в административном центре Русского Трехречья (сейчас это п. Саньхэ). Его дед, забайкальский казак, был родом из с. Кузнецово, которое сейчас входит в Александро-Заводской р-н Забайкальского края. В этом селе мне не доводилось бывать, лишь в соседних с ним – Шаре, Шаракане того же района и в Доно Калганского р-на. Но об этом обычае там услышать мне так и не довелось.

Таким образом, можно предположить, что исследователями свадьбы в Забайкалье (К.Д. Логиновским, Н.И. Кашиным и др.) этот обычай просто не был замечен. Этому есть несколько причин. Во-первых, второй или третий день, когда он проводился, видимо, редко попадали в их поле зрения. Во-вторых, учитывая, что семьи были, как правило, большими (нередко число детей доходило до десяти), он соблюдался далеко не на каждой свадьбе. Кроме того, бытуя в Забайкалье в конце XIX – начале XX в., сам обычай не имел той значимости, которую впоследствии приобрел в Трехречье, и при опросе он мог не сообщаться исследователям забайкальской свадьбы.

Уменьшение числа детей в трехреченских семьях метисов, потомков русско-китайских браков, на которое повлияла политика ограничения рождаемости в Китае, начавшаяся, как известно, с 1970-х гг., привело к увеличению частоты «последних» свадеб для родителей к 1990-м и в последующие годы. Неожиданно обычай стал более массовым, а игровой характер способствовал росту его

популярности, при том, что улучшение материального благосостояния китайских русских вследствие их включения в список малочисленных народов Китая сказалось на увеличении размаха свадебного празднества. В начале XXI века обычай рвать на родителях младшего ребенка одежду на второй день стал одним из символов «русской» трехреченской свадьбы, оставаясь в целом уникальным для русской свадебной традиции. Но при этом, видимо, на второй план несколько ушла вторая часть обычая, не менее символическая, когда молодые, после того как на родителях жениха порвут одежду, должны надеть на них все новое, специально приготовленное для этого случая.

Функциональную суть данного обычая можно определить следующим образом – знак завершения детородной функции отца и матери, при котором совершается символическое разрушение их телесного низа; знак перехода родителей в возрастную группу «стариков», когда они уже выполнили перед обществом свои обязанности воспитания детей, которые стали его самостоятельными членами со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями; знак того, что теперь дети будут заботиться о родителях. Гендерная специфика обычая – рвут одежду преимущественно на родителях сына, а не невесты – общее для русской традиции, как, впрочем, и для большинства других, приоритетность мужского в социально-экономическом плане. Кроме того, она объясняется и тем, что на забайкальской свадьбе после того, как жених увозил невесту, ее родители не принимали участие в свадебном застолье.

На территории Восточного Забайкалья и, в частности, Приаргунья, как я уже указывал, в настоящее время данный обычай уже не бытует. Но учитывая определенную консервативность свадебных традиций, особенно в таком знаковом ключе, я все же надеюсь, что на других территориях компактного расселения русских трехреченцев, появившиеся после их исхода из Китая (Омская обл., Казахстан, Австралия и др.), будут обнаружены новые следы его бытования до недавнего времени.

Открытие книги

Еще один трехреченский ритуал, который условно можно назвать как «открытие книги», относится к мантическим обрядовым практикам. В отличие от свадебного обычая рвать одежду на родителях жениха он уже ушел из живого бытования и известен лишь по отдельным воспоминаниям русских Трехречья. Но, как и в предыдущем случае, мне пока не удалось обнаружить «следы» его

бытования в жизни русского населения Восточного Забайкалья.

Судя по рассказам трехреченских респондентов, к «открыванию книги» прибегали в том случае, когда необходимо было узнать будущее. Насколько часто делалось это, точно выяснить не удалось, но, видимо, все же редко. «Гадание», как следует из некоторых сообщений, было приурочено к Пасхе, что в определенной степени противопоставляет его той ворожбе, которое проводилось на Рождество.

Использование книги как инструмента гадания – довольно распространенная практика в русской культуре, и она имеет давние корни. Гадание основано на случайной выборке текста, и было, как считается, известно еще древним грекам, которые использовали для этой цели папирусные свитки. Гадают по книгам и в наши дни. Способ весьма простой – человек, который хочет получить ответ на какой-либо волнующий его вопрос, называет номер страницы книги и номер строчки (сверху или снизу) – и ему читают «ответ». Гадание носит игровые формы, но, несмотря на это, обращающиеся к нему люди нередко достаточно серьезно относятся к полученным «ответам».

В Трехречье мне удалось поговорить с несколькими непосредственными участниками ритуала «открывания книги». Их сообщения свидетельствуют о его определенной вариативности, что в свою очередь указывает на активное бытование данного гадания несмотря на то, что в жизни каждого человека он мог использоваться, скорее всего, не более одного раза. Книгу могли «открывать» и над мужчинами, и над женщинами, хотя последних, в силу понятных причин, было больше.

По сообщению одной респондентки, это могли сделать в любой день:

<А это в любой можно день открывать? Или в какой-то праздник?> Нет. Вот кады вы пожелаєте, вот соберемся в один дом. Вот все по одной, открывает всяк на себя. <...> <И не в праздник? Не на Рождество, не на Пасху?> Не-не-не-не. Это вот мы все собрались. Эту книгу нашли. (Т. Н. Петухова, 1931 г.р., русская, ПМА 2014, Эньхэ).

Но большинство все же говорят о том, что «открывали» книгу на Пасху:

Тама-ка одна баба. Тоже здесь это я ещё дома была. Как раз на Пасху мы тама-ка у моей крёстной эта тама-ка, та эта, Пасху встречать вечером не спим до утра. А потом про-, в три часа встаём, там была часовня, тоже такая всё сделали, всё туды ходили Богу молиться. В леволюцию-то её срубили, всю изрубили. Мы туды ходили молиться. Потом мама пошла, меня: «Подём!» Я пошла. Оне-то книгу читают тама,

а я ле-, на кровать легла спать. Три часа они меня потом разбудили. Она. А эта Нина она уехала в Олдалия [Австралия – ВК.], она, она завсегда как начнёт эту мо-, эту открывать, смотреть <...> <Это на Пасху так открывали?> Нет, которы на кой праздник, которы на Пасху открывают. <...> <Так это именно на какой-то праздник открывали?> Ту я помню на Пасху открывали, то тоже оне говорели на Пасху, <...> (А. Дементьева, 1942 г.р., метиска, ПМА 2013, Эньхэ).

<Так это Вы на Пасху открывали?> Ага, в ночь-полночь, ага, на Пасху сидели. Она. А бабушка, у меня бабушка-то вот. И говорит. Дуня её звали: «Ты, Таня ей открой Евангель и посмотри, посмотри чё, Евангелие». (Е. М. Полникова, 1937 г.р., метиска, ПМА 2013, Эньхэ).

О том, что книгой, которая использовалась в мантическом ритуале предсказания будущего, было действительно Евангелие, говорят и другие трехреченцы:

А Иянгель, Евангель открывали. Книга жа божественна. <...> <А кто открывал?> Дак ну вот, хотя бы я счас грамотна, у меня книжка есь, я тоже могу перед вами открыть. Дак она же заставят. Мне, дескать, открой, посмотри Евангелие – как у меня жизнь будет. Отроешь, там, там жа написано, чё скажешь. <...>. <А кто написал ее?> Дак кто написал? Дак раньше-то от Господа Бога. Библии-та там кто отпущал? <А она была здесь эта книга?> У нас в Тулунтуе была, у русских. Он читал, читал этот старик. Она вот такой толцины, Библия-т. Он всю её прочитал. И всё на свете он знал. <И вот её открывали?> Но нет – тот Иеван-, Евангелие. (М. И. Балябина, 1938 г.р., метиска, ПМА 2007, Эньхэ).

Совершать ритуал, судя по всему, можно было только один раз в жизни:

<А это можно несколько раз в жизни или один раз?> Один раз в жизни. <Один раз?> Один раз в жизни. <То есть не то что каждый год?> Не-не-не-не. Раз. И всё тебе там написано. (Т.Н. Петухова, 1931 г.р., русская, ПМА 2014, Эньхэ).

Хотя одна из собеседниц предположила, что можно и чаще, но все равно только один раз во время самого ритуала:

<А только один раз можно открывать или несколько раз открывали?> Одному человеку – раз. Ага. А ежели охота, то на другой раз так. (А. Дементьева, 1942 г.р., метиска, ПМА 2013, Эньхэ).

Описание проведения ритуала «открывания книги», как я уже отмечал выше, говорит о его вариативности.

Как правило, человек становился на колени перед иконами в красном углу:

Вот только молишься, надо на колени встанешь. Встанешь на колени, она перед твоей головой вот возьмёт и раз, и откроет. <А на колени нужно где вставать?> *Перед, перед Богом.* <Перед Богом нужно встать на колени?> *Да-да-да. Помолись. Вот и встаёшь. Она над твоей головой открывает.* (Т.Н. Петухова, 1931 г.р., русская, ПМА 2014, Эньхэ).

Она [женщина] мне Евангелия открывала. На Пасху мы сидели. И она мне. Я на колени стала, она мне открывала. <...> <А как Вы встали на колени?> *А на колени вот к Богу, к Богу стала на колени.* <Перед иконами?> *Ага, перед иконами. Ага, перед иконами.* (Е.М. Полникова, 1937 г.р., метиска, ПМА 2013, Эньхэ).

Но перед иконами человек мог и просто стоять:

Он там вперёд встане, чё стоял. Но вот. <А он где стоит в центре и в переднем углу?> *Да во народе, всё, где хочешь.* <Так встаёт?> *Ага. Заветит чё, заветит чё будет, потом, потом бросает заветать, потом откроет и это кто читат, ему будет читать, что в его жизни будет. Ну и всё это. Сейчас у нас книги нету уже.* <А где он стоит?> *Где хочешь, по эти открыл, а кто читат-то – везде.* <В центре или в переднем углу?> *Он там есть, в переднем углу.* (П.В. Ведерников, 1939 г.р., метис, ПМА 2013, Эньхэ).

Из рассказов Павла Васильевича следует, что книгу открывал сам человек, который хотел узнать судьбу:

Вот так эт, эта книга. Он заветат. Заветат он. За-, за-, эта, заветил чё был. Откроет. Потом закроет и подал той, той, кто читат. И всё это, там тоже чёй эта в книге, чёй напи-, написано чё в жизни чё будет, всё про-, прописано.

Респондент довольно плохо изъясняется по-русски. И по моей просьбе он просто показал, как становится человек и как над собой он должен открывать книгу (фото 3). Стоит обратить внимание, что он встал спиной к иконам, находящимся в переднем углу.

Но большинство респондентов говорят, что книгу над головой того, кто хотел узнать свою судьбу, открывал другой человек:

А девушка открывала нам над головой. Вот только молишься, надо на колени встанешь. Встанешь на колени, она перед твоей головой вот возьмёт и раз, и откроет. (Т.Н. Петухова, 1931 г.р., русская, ПМА 2014, Эньхэ).

<А кто должен открывать?> *Сечас, ты, ты, так сказать. Вот эта книга, она сечас, ну на про-весь сказать. Но ты счас. Но я открою. Мне эта на голову положишь, потом но заветишь чё тама-*

ка, а потом открыют. (А. Дементьева, 1942 г.р., метиска, ПМА 2013, Эньхэ).

А вот у нас тут одна женщина была, она счас в Олрдария [Австралия – ВК.] уехала, Лида. Она открывала. Кто умет ежли хорошо читать по-русски, тот. Потом вот она вот на голове откроем ему. Возьмёт мне на голову вот так вот положила. Она Богу помолилась и поцеловала это Гевангель, на ём крест, поцеловала его. И она потом мене вот так вот его взяла, положила и вот так открыла на моей голове. На моей голове открыла... (А.А. Михалева, 1932 г.р., русская, ПМА 2009, Эньхэ).

При этом Таисья Николаевна Петухова утверждает, что этот другой может быть только девушка или парнишка, но никак не замужняя женщина или женатый мужчина:

А нам нельзя её в руки взять. Может её девушка взять и паренёк может взять. А нам нельзя. Мы уже... Не полагаться нам. <...> *Девушка, девушка, ага, девушка [открывала]. А девушка эта неграмотна. Одна грамотна. Ей, она откроем, положит, та женщина читала.* (Т.Н. Петухова, 1931 г.р., русская, ПМА 2007, Эньхэ).

И более подробно об этом же в записи 2014 г.:

Тока может девушка её взять в руки, а что женщина взамужем – не полагаться её взять. А у нас читала вот здесь Маня, вот Котина тёща, её сечас нету. Она её в руки не брала, ей вот положит под [на] стол, она читат. <Потому что она не девушка?> *Тока... А девушка открывала нам над головой.* <...> *А вот эта девушка открывала, Дуся её звать. Она нам открывала.* <Она молодая была?> *Молоденька. А откроем, Маня читала.* <Перед Маней положила, а она даже не притрагивалась?> *Нене-не. В руки не брала, не шевелила. Нельзя.* (Т.Н. Петухова, 1931 г.р., русская, ПМА 2014, Эньхэ).

Никто из других респондентов не указывал на этот запрет, хотя каждому из них я задавал о нем соответствующий вопрос. Лишь Анна Антоновна Михалева заметила, что Евангелие не могут брать в руки китайцы, но не в связи с этим конкретным ритуалом, а, видимо, вообще:

<Любой человек эту книгу может брать в руки?> *А много всё время не надо это. Ицо, ицо надо знать кому взять-то её. Грамотный, так грамотный возьмёт. А ежли, ежли-дь эта... китайцы, так вот имя ведь нельзя давать-то в руки. Они же некрещёные! Они же некрещёные. Надо крещёному человеку.* (А. А. Михалева, 1932 г.р., русская, ПМА 2009, Эньхэ).

Участие в ритуале «открывание книги» было, видимо, неординарным событием в жизни любого участвовавшего в нем трехреченца, так практиче-

ски каждый из собеседников, с кем мне довелось говорить и кто сам в нем участвовал, помнит, что ему было предсказано, при этом не только ему самому, но и другим. Ниже даются фрагменты интервью, где собственно предсказания выделены шрифтом, они пронумерованы в квадратных скобках, при этом № 1, № 2 и № 5 представлены в вариантах, из интервью, записанных в разные годы.

Из рассказа Таисьи Николаевны Петуховой:

Я открывала тоже себе. И но. Я думаю про своей жизни как мне. Мы же Богу веруем. Как мне, думаю, Господь скажет, чё мне будет. И мне написано там чё – «Веруй Богу. Не забывай свою братию. Не забывай свою братию, свою веру. Не забывай свою братию. Веруй Господу Богу». Вот. Всё. «Везде Господь поможет» [1-1]. Кто знает. Мы Богу веруем. <...> У меня золовка тоже вот открывала эту книгу. Ей написано что там – «Не надо от людей прятаться. Не надо от людей скрываться. Надо с людям делиться. Будет тебя Бог находить нелепным болезням, неизлечимым болезням» [2-1]. И это действительно. Молода она умерла. Лечили, не смогли её вылечить. (Т.Н. Петухова, 1931 г.р., русская, ПМА 2007, Эньхэ).

От нее же в записи 2014 г.

Маня читала. У нас одной, она открыла – «Дети, гыт, твои просят хлеба, ты даёшь камень. Дети просят мясо, ты даёшь змею. На тем свете су-, дети твои судья». [3] Действительно. Детям она никады не сварит. Дети заплачат, она их начинают ругать: «Змеи!» Ой, такие-рассякие! И она много детей схоронила. У ей, у ей боле десяти было, только двое осталось. И она счас у-, умерла, нету её. <...> Моя золовка открыла. Она у меня скупа была, от людей всё сп-, даже от моих детей, чё кушает хорошо, она дверь заложит. Ей написано: «Не надо, гыт, от людей скрываться! Не надо от людей прятаться! Надо с людям делиться! Будет, гыт, тебя Господь нелепным болезням находить, доктора неизле-». [2-2] Действительно, доктора не могли излечить. Ну вот. А я открыла: «Почитай, гыт, свою веру, молися Господу Богу. Будут, гыт, перед тобой ямы, но ты все их перескочишь!» «Все перескочишь. Но почитай, гыт, Господа Бога. Молися Господу Богу. Будут, гыт, перед тобой ямы. Проси Господа Бога, ты все перескочишь ямы». [1-2] Она у нас тут одна женщина, мы все вместе открывали, ей чё написано: «Не надо, гыт, сплетни таскать из дома в дом. Ты, гыт, грёшина Господу Богу. На тем свете будешь отвечать Господу Богу». [4] Она действительно такая. (Т. Н. Петухова, 1931 г.р., русская, ПМА 2014, Эньхэ).

Из рассказа Анны Антоновны Михалевой:

Я открывала, мне шибко нехорошо. Я, я живу бедно, в бедностЕ. Но мене открылось то, что одна женщина Богу эта... Одна женщина Богу молится и просит детям пропитание у Господа Бога. Господь оглянулся на детей и дал ей пропитанье. И вот всё эта женщина на каждом шагу говорит: «О, Господи! О, Господи! Дай ты мне пропитанье детушкам моим!» [5-1] Своим детям и внучатам просила, гыт, она. Вот мне так и пришлось, верно. У меня были внучаты, внучат я вырастила, и вот своих детей вырастила, сирот внучат я вырастила, сирот. [плачет] Мне всяко пришлось в моей жизни. <...> Ой-и! Правда это всё. И вот я так и жила, мучалась с детушками своими. (А.А. Михалева, 1932 г.р., русская, ПМА 2007, Эньхэ).

Из разговора с ней же в 2009 г.:

Я открывала Гевенгель, и вот мне в этом Гевангеле открылася, что одна женщина есь, женщина, гыт, где-та просит детям пропитанья. Иисус Христос оглянулся на этих детей и дал ей от Господа Бога пропитанье. Дал ей на кажный день, на кажную минуту дал ей пропитанье. Она на кажный день, на кажную минуте: «О, Господи! Да дай ты мне, Господь-то, Батюшка-то, пропитанье детушкам-то!» [5-2] Вот. Это мне открылось. Я ребятишек-то росила всяко. Я вот всё время только и говорела: «О, Господи! Дак когды же я вырастю, да дай ты, Господь-батюшка, имя пропитанья. Эта. Хоть как-то мне их вырастить-то!» Я же их много, всё внучата были. Дак большого парня двое! Второй девки тоже двое! Она покойна. Парень в тюрьме сидел, большой-то. (А.А. Михалева, 1932 г.р., русская, ПМА 2009, Эньхэ).

Из рассказа Анны Дементьевой:

А эта Нина она уехала в Олдалия, она, она за-всегда как начнёт эту мо-, эту открывать, смотреть, её всё написано: «Богу молись. Всё Богу молите. Богу молись». Она открыла, ей тоже, опеть же – «Богу молись». [6] А эта, моя крёстная, её на сын открыл – тюрьма. [7] Он три раз в тюрьме сидел. <...> Каторы, гыт, человек несчастливый, всё ему говорят – «Богу молись». <А, если несчастливый, то «Богу молись»?> Но – «Богу молись, Богу молись». Всё – «Богу молись» [6] (А. Дементьева, 1942 г.р., метиска, ПМА 2013, Эньхэ).

Из рассказа Елизаветы Михайловны Полниковой:

Открыла. Потом давай мне почитала, что «Ты прясла передёшь и плохо жить будешь». А потом – «Богу молись! Богу верь и молись, потом будешь жить хорошо». [8] <...> А по-

том всё думала, како же прясло переду. Потом я вышла за китаеца. Вышла. Вперёд ничё, хорошо жили, потом свекров у меня не-, не-, нехороша была. Вот сына: «Расходись и расходись. Не надо полукровку, надо китаянку. Не надо». Вот не надо, не надо. Каждый день ему какавала, какавала. Он послушал мать, но и разошлись потом и всё. У меня вот этот большой сын сейчас в России. И тока ему было девять месяцев, он ещё не ходил на ногах, мы с ём разошлись. Я приехала, взяла сына и приехала к маме суда. Я в Верх-Урге жила. Приехала. У мамы вот тут потом жила. Жила я, этого сына подросила, четыре, три ли года, четвёртый ему, я вот за этого вышла, он, за Михаила, его Михаил звали тоже. За его. Шенунов Михаил Василеч. (Е.М. Полникова, 1937 г.р., метиска, ПМА 2013, Эньхэ).

Интересны, конечно, сами тексты из Книги, которые помнят трехреченцы. Во-первых, возникает проблема соотнесения с Евангелием. Фактически мы можем указать только на одно «предсказание», которое текстуально совпадает с двумя фрагментами Нового Завета, хотя и не полностью:

№ 3 «Дети, гыт, твои просят хлеба, ты даёшь камень. Дети просят мясо, ты даёшь змею. На тем свете су-, дети твои судья».

От Матфея 7.9-10

Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?

и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?

От Луки 11.11

Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?

Для остальных предсказаний, а это подавляющее большинство, невозможно определить первоисточника – ни в Новом, ни в Старом Заветах. Это означает, прежде всего, то, что действительно открывалось во время ритуала Евангелие (одно все же текстуальное совпадение есть), а во-вторых, «предсказания», если у них и был книжный источник, значительно фольклоризировались.

Обратим внимание на то, что три «предсказания» из восьми записаны в вариантах: № 1, № 2, № 5. Фактически перед нами разновременные записи, и отличия вариантов между собой незначительны, что указывает на устойчивость «текста», который, став устным, приобрел фольклорные черты. «Предсказания», видимо, не раз проговаривались в беседах с родными, друзьями и знакомыми, что, в общем, неудивительно. Интересно другое – два «предсказания» (№ 3 и № 5)

«даны» одному и тому же человеку. Только текст № 3 – это то, что услышал и запомнил сторонний наблюдатель, а текст № 5 – непосредственно тот, кому оно предназначалось. И, несмотря на один адресат, «предсказания» совершенно отличаются друг от друга, хотя были «услышаны» во время одного ритуала. Разница между этими двумя текстами одного «предсказания» позволяет говорить о функциональной роли данного «жанра» в сельской общине.

«Предсказание», услышанное со стороны, выполняет больше оценочную функцию. Говоря о судьбе человеку, в нем одновременно указывается на то, что в своей судьбе виноват он сам: № 2 – женщина был скупой; № 3 – женщина не следила за детьми; № 4 – женщина была сплетницей. «Предсказание», с которым человек живет сам – для него это, прежде всего, психологическое оправдание своей жизни, тех трудностей, с которыми пришлось столкнуться – так уж было суждено (№ 1, № 5, № 8).

Показательно, что все, предсказанное в Книге открывавшему ее человеку, сбывалось. Обобщая зафиксированные материалы об этом ритуале, который, еще раз подчеркну, известен мне только по описанию из Трехречья, можно предположить, что Евангелие, «открытое» над человеком единственный раз в его жизни в одну из ночей на Пасху, при соблюдении сакральной чистоты людьми, которые к нему прикасались, видимо, в представлении трехреченцев, воплощало собой написанную Господом Книгу Судеб.

Обращает на себя внимание, что приведенные описания ритуала относятся к одному месту – Эньхэ, селу, появившемуся в начале 1930-х гг., и носившему первоначально русское название Караванное, хотя, по мнению русских, живших в Трехречье до 1950-х гг., собственно этнических русских в нем не было – жили китайцы (Аргудяева 2006, 122). Все же будет точнее сказать – русско-китайские семьи, переселенные сюда японскими властями из приграничных поселков и деревень.

О том, что «открытие книги» практиковали и в других поселках Трехречья, где «чисто русских», как здесь говорят, было подавляющее большинство, есть только одно свидетельство:

Ага, это русские. Ага. Ха-ха-ха. [посмеивается] Вот эта как у Божину это книгу вот это в голову вот это откроют, там чё написано, но и так и будут говорят. Будет, не будет – не знаю. <А Вы видели как это делают?> Я это в Дубовую заезжала к Таси, тама-ка. Потому-ка одна старуха тоже. <...> Я первый раз даже. Эта старушка, эта бабушка, тётка, грит: «Ну-ка, мне открой.

У тебя книга-то есть, не ищо?» Он говорит: «Есть». «Ну, мне открой-ка!» Он ей открыл.

Старик из Дубовой открыл и самой рассказчице: *И мне вот это открыл. <...> Ага, открыл. Но, я говорю: «Но, мне как?» Он прочитал, я не понимаю каво. «Но ничё, - говорит, - Хорошо, - говорит». Не знаю уж. (А. Н. Первоухина, 1953 г.р., метиска, ПМА 2014, Эньхэ)*

Сама обстановка ритуала не имела той сакральности, которую мы встречали в рассказах о том, как это делалось в Эньхэ, и к нему нет особого отношения и со стороны респонденты:

<А Вы стояли или сидели?> Сидели. <А где сидели?> А на стуле. Ха-ха-ха [смеется] <А стул этот где стоял?> А да так, где сидишь, и где там пускай стоит. <...>. Но он подошёл вот эдак, как будто... Подошёл и вот этак, ага её открыл. Вот. Прочитал.

Произнося последние слова, Анна Никифорова показала, как старик открывал над ее головой книгу (фото 4).

В Дубовой Анна Никифоровна была в молодости, когда большинство русских из поселка уже уехало и когда уже шла Культурная революция, не случайно ее тетка спросила у *Таси* – *У тебя книга-то есть, не ищо?*

Вероятно, именно этим объясняется меньшая сакральность ритуала, его обыденность, что проявилось и в неприуроченности к какому-либо христианскому празднику, и в том, что книгу открывали без ориентации к иконам в доме (возможно, их уже и не было, так как в культурную революцию они прятались хозяевами), и в том, что сами «предсказания» не остались в памяти непосредственной участницы ритуала. Главное условие для его проведения – это наличие Книги, и оно было соблюдено. Но не исключено, что особую сакрализованность ритуал получил именно в Эньхэ, в условиях осознания православными русскими и метисами ценности их веры и Евангелия, как священной книги, которую и прочитать-то могли в их среде буквально единицы.

В монографии Е.А. Мельниковой «Воображаемая книга»: очерки по истории фольклора о книгах и чтениях в России» приведены два описания гадания по книге, аналогичные трехреченскому, которые свидетельствуют, что оно бытовало в Нижегородской обл. и среди коми-зырян – старообрядцев Пермского края до середины XX века. Судя по записям В.В. Власовой и Ю.М. Шеваренковой, в их проведении не было особой сакрализованности (Мельникова 2011, 43).

Более интересен тот факт, что в XIX веке, как пишет Е.А. Мельникова, гадание по книге активно

применялась крестьянами во время обряда елеосвящения больного. Так, по воспоминаниям Н. Троицкого, опубликованных в журнале «Руководство для сельских пастырей», дьякон держал развернутое Евангелие на голове больного, по окончании молитвы подавал больному приложиться, и в этот момент «кто-нибудь из присутствующих при елеосвящении... подходит к дьякону и просит его прочесть те строки Евангелия, к которым приложился больной». Крестьяне верили, «если тут хорошо написано на грамотке, то наш родимый кормилец встанет, а худо – помрет (Троицкий 1866, 231) [цит. по (Мельникова 2011, 43)]. А по свидетельству одного из корреспондентов «Иркутских епархиальных ведомостей», это гадание бытовало на территории епархии, куда, как известно, относилось и Забайкалье: «Всякий священник знает, когда напутствует, оздоровеет больной, али нет <...>, если кому умереть – так священнику попадет в книге мертвый лист, когда он читает над больным» (С-ой 1875, 340) [цит. по (Мельникова 2011: 43)].

В некоторых сельских приходах России до наших дней сохранилась благочестивая традиция, когда священник на вечерних праздничных службах, читая Евангелие, поворачивается к прихожанам, а люди в свою очередь подходят к нему и склоняют головы. Читая Евангелие, батюшка кладет его на головы тех, кто стоит в первых рядах. После прочтения хор поет соответствующие молитвословия, а священник дает Евангелие для целования всем находящимся в храме и подошедшим для слушания (устное сообщение К. Ефимова, преподавателя Владивостокского духовного училища).

Образцом для трехреченского ритуала «открывания книги», на мой взгляд, явилась именно эта практика православных священников.

Интенсивность обрядовой жизни русских Трехречья со времени массового заселения забайкальцами правобережья Аргуни, с 1920-х гг. по настоящее время, способствовало формированию ее микролокальных особенностей. Первое, на что обращают внимание исследователи, – это китаезированность обрядности, особенно в среде современных китайских русских. И в этом они совершенно правы. Но материалы полевых исследований показывают, что и в так называемой «русской» части обрядности трехреченцев происходило не только затухание традиции, что можно было бы ожидать в условиях активизации взаимоотношений с иноэтническим окружением, но и появление «новых» обычаев и ритуалов. Их бытование не фиксируется в российском Приар-

гунье, регионе, с которым русская трехреченская обрядовая традиция связана исторически, но и «новыми» они могут быть названы условно, так как эволюционно они, без сомнения, связаны с русской народной культурой в целом.

ЛИТЕРАТУРА

Аргудяева 2006 – Аргудяева Ю.В. 2006. Русское население в Трехречье // Россия и АТР. № 4. С. 121-134.

Валенцова, Узенева 2009 – Валенцова М.М, Узенева Е.С. 2009. Полотенце // Славянские древности. Т. 4. М. С. 147-150.

Кашин 1858 – Кашин Н.И. 1858. Празднества и забавы приаргунцев // Вестник РГО. ч. XXIV, кн. X, отд. V, с. 7-24.

Кашин 1860а – Кашин Н.И. 1860. Свадебные обычаи приаргунцев // Вестник РГО. Ч. XXX – СПб. С. 147-182.

Кашин 1860б – Кашин Н.И. 1860. Домашние средства, употребляемые жителями при-Аргунского края при лечении болезней и народные врачи при-Аргунцев // Вестник РГО. Ч. 30. С.121-145.

Кормазов 1929 – Кормазов В.А. 1929. Трехречье (Из путевых заметок) // Вестник Маньчжурии. № 5. С. 38-47.

Кляус 2010 – Кляус В.Л. 2010. “Русская” деревня на карте этнотуристического маршрута в Маньчжурии (КНР) // Новый исторический вестник. № 26 (4). С. 60-72.

Кляус 2012а – Кляус В.Л. 2012. Крестовые горы в культурном пространстве Трехречья (КНР) // Традиционная культура. № 3. С. 102-107.

Кляус 2012б – Кляус В.Л. 2012. Видеосъемки обрядовых традиций метисов Трехречья // Визуальная антропология: российское поле. М. С. 84-98.

Логиновский 1898 – Логиновский К.Д. 1899. Свадебные песни и обычаи казаков Восточного Забайкалья // Записки Приамурского отдела РГО. Т. 5. Вып. 2. С. 1-94.

Логиновский 1903 – Логиновский К.Д. 1903. Материалы к этнографии забайкальских казаков // Записки общества изучения Амурского края Владивостокского отделения Приамурского отдела РГО. Т. 9. Вып. 1. С. 1-135.

Лян Чжэ 2014 – Лян Чжэ. 2014. «Крестовые» горы Трехречья: поиск истоков традиции в исследованиях китайских этнологов // Традиционная культура. № 4. С. 35-41.

Мельникова 2011 – Мельникова Е.А. 2011. «Воображаемая книга»: очерки по истории фольклора о книгах и чтениях в России. СПб.

Окладников 2003 – Окладников Н. 2003. Мезенские кресты // Волна. № 5. URL: <http://www.arhpress.ru/volna/2003/2/7/37.shtml>

Потанина 1981 – Обрядовые песни русской свадьбы Сибири / Сост. Р.П. Потанина. Новосибирск, 1981.

С-ой 1875 – С-ой М. Народные суеверия (в Восточной Сибири), требующие уничтожения // Иркутские епархиальные ведомости. 1875. № 25. С. 339-346.

Толмачев 1911-1912 – Толмачев П.М. Заговоры и поверья в Забайкалье // Сибирский архив. 1911. № 2. С.63-75; 1912. № 3. С.136-152.

Троицкий 1866 – Троицкий Н. Суеверные приметы, наблюдаемые народом при совершении таинств крещения, причащения и елеосвящения // Руководство для сельских пастырей. 1866. № 23. С. 228-233.

Хроника 2007 — Вековая хроника жизни русского национального меньшинства (俄 斯 族 百 年 纪). 2007.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2012 г. я и мои коллеги (Е.Ю. Ванина и С.Е. Сидорова) приступили к работе над темой «Движение и покой в истории и культуре Южной Азии». Мы исходили из того, что «движение» является ключевой аналитической категорией в истории и антропологии, перспективной для исследования процессов, приведших к формированию геополитической и культурной общности «Южная Азия» и ее компонентов. Для нашей презумпции было существенно то, что движение / мобильность / циркуляцию мы признали обычным, повседневным, возможно, основным, а не особым, свойством социума и человека как историко-культурного продукта.

Уже на первом этапе мы решили отказаться от лексемы «покой», которая изначально возникла как оттеночное, противоположное по смыслу «движению», понятие, и заменили его на экзистенциально более выверенную идею «простран-

ства»: так выделилось первое направление нашего исследования – «**Движение и пространство**». Это уточнение позволило уйти от концептуальной многозначности «движения» и его метафорической перегруженности и сосредоточиться на физическом перемещении, причем рассматривать его не только как способ освоения / присвоения / преобразования пространства, но и как самостоятельные – экспрессивную и коммуникативную – функции, обусловленные историческими эпохами и их переломами. Такой подход – «жизнь в дороге» (*on move, en route*) – лег в основу конференции «Под небом Южной Азии. Движение и пространство», проведенной нами в октябре 2012 г. **По ее результатам мы подготовили рукопись размером около 30 а.л., которая и является нашим финальным отчетом.**

Другим – экспериментальным и новаторским (для южноазиатского субконтинента) – направлением стало «**Движение и власть**», в котором

мы синтезировали предложенный мною подход к «движению» как к исторической категории [И.П. Глушкова, «Подвижность и подвижничество. Теория и практика тиртха-ятры», 2008] и сформулированную А.В. Головневом теорию магистральных и локальных культур и активности элит [А.В. Головнев, «Антропология движения. (Древности Северной Евразии)», 2009]. Такой ракурс, неожиданный для нас самих, открылся вследствие профессиональных пристрастий участников проекта: каждый из нас осознал, что имеет дело с культурой, обладающей ярко выраженными признаками «магистрально-

сти» / мобильности, носителями которой – поочередно и одновременно, в мирных соглашениях и кровопролитных битвах – являлись моголы (империя Великих Моголов), маратхи (Маратхская конфедерация) и англичане (Британская Индия). Более того, это направление оказалось созвучным складывающемуся в мировой науке междисциплинарному полю *road studies*, и наш «триумvirат» в предлагаемых ниже трех статьях вступил на *terra incognita*, изучение которой мы намереваемся продолжить.

И.П. Глушкова,
руководитель проекта

Ванина Е. Ю.

ИМПЕРИЯ НА МАРШЕ: МОБИЛЬНОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В МОГОЛЬСКОЙ ИНДИИ (XVI–XVIII ВВ.)

Многочисленные туристы, посещающие две главные императорские резиденции Могольской Индии – Красный форт в Дели и Агрский форт, – обнаружив за мощными стенами обеих крепостей лишь скромные одно- или двухэтажные галереи маленьких комнат, нередко задают гидам вопрос: «А где же дворец?». Иностранцы, привыкшие к пышным анфиладам Лувра, Эскуриала, Букингемского или Зимнего дворцов, с удивлением слушают ответ: главными покоями могольских правителей были шатры – огромные, часто из парчи или иной дорогой ткани, украшенные драгоценными камнями; внутри крепости их приставляли к зданию, увеличивая объем жилых помещений и официальных залов в несколько раз. Такой «палаточный» стиль диктовался не столько жарким климатом, сколько самим образом жизни могольских правителей – американская исследовательница Р. Лал с полным основанием назвала его «перипатетическим» (Lal, 2005. P. 103). В отличие от китайских императоров, лишь изредка покидавших Запретный город для переезда в летнюю резиденцию,¹⁸ могольские падишахи проводили в пути большую часть жизни: в дороге они рождались, женились, производили наследников, умирали, а главное – управляли своей империей, завоевывали, обустроивали, окультуривали и защищали подвластное пространство.

¹⁸ То же самое относится и к русским царям от Ивана Грозного до Петра Первого – они обычно циркулировали между Кремлем, подмосковными резиденциями и охотничьими парками (Коломенское, Преображенское, Сокольники и т.д.), а также монастырями.

Могольская империя представляла собой, несомненно, тип культуры, который А.В. Головнев назвал «магистральным» и охарактеризовал как «механизм освоения больших пространств» (Головнев, 2009. С. 22). Она возникла и постоянно расширяла свои владения путем завоевания, и в течение более двух столетий по территории полуострова Индостан двигались ее армии, сами падишахи и вельможи со свитами, чиновники, поэты, художники, архитекторы и религиозные деятели. При всем этом, как ни странно, многочисленные отечественные и зарубежные исследования Могольского государства, рассматривая экономику, культуру, политику крупнейшей державы доколониальной Индии, практически не учитывают этого важного обстоятельства. Выбрав для анализа тот или иной аспект и период, историк, словно в детской игре, командует «замри!» и исследует могольское общество в статике, игнорируя важнейший фактор его развития – физическое продвижение по огромной территории от Гималаев до равнин Тамилнаду. На самом же деле, как будет показано в данной статье, политика и самой империи, и ее врагов творилась в движении.

Завоевание и защита

Основатель Могольской империи Захир уд-дин Мухаммад Бабур (1483–1530) находился в кровном родстве с двумя величайшими завоевателями средневековья: Чингис-ханом и Тимуром. Унаследовав от отца титул правителя Ферганы, Бабур дважды завоевывал Самарканд, но впоследствии, лишив-

шись почти всех своих владений в борьбе с узбекскими ханами и братом-соперником, бежал в Афганистан, где вскоре захватил Герат и Кандагар, а затем и Кабул. С 1519 г. он начал военные вторжения на территорию Делийского султаната, всякий раз увозя богатую добычу. Бабур давно мечтал о покорении Индии, совершил пять набегов, но лишь в 1525 г., узнав о походе своих врагов – узбекских ханов – на Кабул и о готовности недовольных делийским султаном Ибрахимом Лоди раджпутов¹⁹ пригласить среднеазиатского авантюриста, начал свой завоевательный поход во главе 12-тысячного отряда, состоявшего из представителей тюрко- и фарсиязычных народов Центральной Азии. Одержав две решающие победы – над делийским султаном Ибрахимом Лоди при Панипате в 1526 г.²⁰ и коалицией раджпутских князей при Кхануа в 1527 г., Бабур прошел с войсками по Северной Индии до Джаунпура и сделал Агру, ранее неприметный городок, столицей новой империи, которая вошла в историю как империя Великих Моголов.²¹ Южная граница империи проходила через Гвалиор²².

Сын и наследник Бабура Хумаюн (пр. 1530–1556) подобно отцу провел почти всю свою жизнь в движении, но если на долю Бабура выпали и отступления, и победные марши, то Хумаюн вошел в историю как император-беженец и хронический неудачник. Вскоре после вступления на трон ему пришлось отбиваться от собственных братьев, пренебрегших волей отца, еще при жизни объявившего именно Хумаюна наследником, и афганских феодалов во главе с Шер-ханом, вождем осевшего в Бихаре пуштунского клана сур. В этой борьбе Шер-хан и его союзники одержали победу: Шер-хан короновался в Дели под именем Шер-шаха. Хумаюн долго скитался по Северо-Западной Индии, пользуясь

¹⁹ Раджпуты – военно-феодалное сословие Северной Индии (индусы). Раджпутские князья активно сопротивлялись Делийскому султанату. Они рассчитывали, что Бабур вторгнется в Индию, разобьет Делийского султана и, забрав богатую добычу, удалится обратно в Кабул.

²⁰ Это сражение считается в истории Индии Первой панипатской битвой. Вторая состоялась в 1556 г. между армиями могольского падишаха Акбара и претендента на престол Хему. Третья – в 1761 г., между маратхами и афганцами. Панипат – город в 90 км к северу от Дели.

²¹ Такое название дали империи европейцы в XVII в. Как тимурид и выходец из сильно тюркизированного монгольского клана барлас, Бабур претендовал на прямое родство с Чингис-ханом. Моголами (искаженное на индийский лад слово «монгол») в Индии называли всех, кто вторгся в Индию вместе с Бабуrom. Довольно быстро «моголами» стали называть всех североиндийских феодалов-мусульман, но не саму правящую династию.

²² Гвалиор – древний город в 319 км к югу от Дели.

гостеприимством сородичей и вассалов; по дороге он не отказывал себе в удовольствиях, даже успел жениться и произвести на свет сына Акбара, которому было суждено стать величайшим из Моголов. Окончательно разбитый, Хумаюн бежал в Иран, где и жил из милости при дворе шаха до 1555 г., пока вспыхнувшая после гибели Шер-шаха (1545) междоусобная вражда его наследников не открыла Хумаюну путь к возвращению в Дели – но лишь для того, чтобы, едва утвердившись на престоле, упасть и разбить голову о мраморную лестницу.

Акбар, по заслугам называемый Великим (пр. 1556–1605), стал подлинным строителем державы и ее выдающимся реформатором – его политика была направлена на превращение Могольской империи в сильное централизованное государство (Ванина, 1993. С. 33–45, 64–82). За 49 лет правления он распространил власть Моголов, кроме уже завоеванных Бабуrom территорий, на Гуджарат и Раджпутану, Кашмир, Бенгалию и часть Ориссы. Благодаря политике Акбара, направленной на союз с раджпутской знатью, большинство княжеств Раджпутаны вошли в состав империи, а их правители стали верными вассалами и, в результате инициированной Акбаром практики династических браков Моголов и раджпутов, сородичами падишахов. Южная граница державы была зафиксирована при Акбаре на северных рубежах современной Махараштры²³. Преемник Акбара – Джахангир (пр. 1605–1627) – попытался распространить империю дальше на юг и с этой целью начал войну с деканскими султанатами Ахмаднагаром и Бераром. Окончательно покорить их удалось лишь сыну Джахангира – Шах-Джахану (пр. 1627–1657), который далее присоединил к империи еще два крупных султаната – Биджапур и Голконду (Richards, 2000. P. 137-138), впрочем, они вскоре восстановили независимость.

Сын Шах-Джахана Аурангзеб (пр. 1658–1707) продолжил завоевание деканских территорий. Подчинение и удержание под могольской властью крупнейших деканских мусульманских государств Биджапура и Голконды, а также других территорий Южной Индии, борьба с движениями маратхов, восставших под руководством Шиваджи Бхосле, сикхов, фактически отторгнувших от империи Панджаб, раджпутов, выступивших против империи, которой они раньше так преданно служили, стали целью жизни Аурангзеба (Рейснер, 1961. С. 112-177; Richards, 2000. P. 205-252; Глушкова, 2005; Ванина, 2012. С. 144-148). Эта цель достигнута не была: император-долгожитель (Аурангзеб немного не дотянул до 90-летия) сам признал бесплодность

²³ Махараштра – историческая область (с 1960 г. – штат) на Западе Индии.

усилий по сохранению империи и предрек наступление хаоса после своей смерти (Sarkar, 1949. P. 120). После смерти Аурангзеба начался распад империи, и в XVIII в. могольские падишахи управляли, в лучшем случае, столичной областью Агра-Дели, а в худшем – находились в незавидном положении почетных пленников и получали жалкие пенсии от тех, кто реально доминировал в Индии: сначала маратхов (Глушкова, 2008. С.172-242), а затем англичан.

Итак, Могольская империя была создана в результате завоевания и постоянно расширялась за счет аннексии чужих земель. Одним из факторов, толкавших Моголов (как и их предшественников – правителей Делийского султаната) к территориальным захватам, была существовавшая в средневековой Индии военно-ленная система. Единственным способом обеспечить лояльность престолу конфессионально и этнокультурно пестрой элиты (представителей среднеазиатских народов, иранцев, афганцев, индийских мусульман, а также раджпутов, с которыми могольские падишахи, начиная с Акбара, заключали брачные союзы) была раздача государем на условиях службы земельных владений (*джагиров*). Эта практика неизбежно сокращала земельный фонд, находившийся в руках императора, и истощала казну, что делало необходимыми новые территориальные захваты. Попытка Акбара ликвидировать военно-ленную систему потерпела провал, так что единственным способом пополнить фонд коронных земель было завоевание новых территорий (Ванина, 2000. С. 29-31).

При этом регионы, вошедшие в состав империи, нужно было не просто завоевать, а, что еще сложнее, удержать. Местные феодалы, изъяслявшие под давлением могольской армии покорность императору, поднимали сепаратистские восстания при каждом удобном случае, так что карательные экспедиции против мятежников были такой же неотъемлемой частью имперской государственно-политической практики, как и завоевательные походы. Помимо новоприобретенных вассалов, мятежи против имперского центра постоянно поднимали «столпы империи» – старая знать, либо недовольная тем или иным аспектом политики государя, либо просто мечтавшая об отторжении от империи своих владений и независимой власти. Наиболее активными мятежниками были принцы крови – сыновья, братья, иные родичи императоров. На протяжении всей истории Моголов подобных «родственных мятежей», по подсчетам исследователей, было семь (Faguqui, 2012. P. 182). Таким образом, по территории Могольской империи и соседних с ней государств Индостана посто-

янно перемещались возглавляемые самими падишахами или их доверенными полководцами воинские контингенты, отправленные либо с завоевательной, либо с карательной миссией. «Вечное движение» могло бы стать девизом династии, правившей крупнейшим государственным образованием доколониальной Индии на протяжении почти двух столетий.

Могольское «полюдьё»

Американский индолог С. Блейк включил в одну из статей любопытную таблицу, позволяющую определить, какую часть времени своего правления тот или иной могольский падишах, начиная с Акбара, проводил вне официальной столицы. Получилось, что Акбар из 49 лет своего царствования пропутешествовал в общей сложности 10 лет (20%), Джахангир – 6 из 21 (27%), Шах-Джахан – 14 из 31 (45%); Аурангзеб – 34 из 39 (69%). Абсолютным чемпионом (100%) оказался сын и наследник Аурангзеба Бахадур-шах I, проведенный в пути все 5 лет своего правления (1707–1712) (Blake 1997. P. 298).²⁴ Таблица, подчеркнул С. Блейк, не учитывала мелких, кратковременных поездок, иначе процент времени, проведенного падишахами в дороге, был бы еще выше.

Ю.М. Кобищанов сделал темой одной из своих книг «полюдьё» – так в Киевской Руси назывался «ежегодный объезд князем владений для сбора дани и других целей». При этом, как показано исследователем, подобная практика была характерна для многих регионов Европы, Азии, Африки и Океании в эпоху становления раннефеодального общества²⁵ (Кобищанов, 1995. С. 3). Однако, как свидетельствуют другие работы, имеющие отношение к теме «движение и власть», различные варианты «полюдьё» были характерны для государств, особенно крупных, и на более поздних этапах развития – например, Ж. Пушпадас, ссылаясь, помимо прочих, и на книгу Ю.М. Кобищанова, проанализировал практику объезда подвластных территорий не только феодальными правителями Индии, но и колониальными чиновниками в XIX и начале XX в. И диктовалась эта практика, главным образом, «тиранией расстояния», необходимостью управлять подвластными территориями и подтверждать легитимность власти с помощью наиболее доступ-

²⁴ С первого дня Бахадур-шах бился за престол с мятежными братьями, подавлял восстания феодалов и ни разу после коронации не побывал ни в Агре, ни в Дели; лишь на короткое время он заехал в летнюю резиденцию, Лахор, чтобы там и умереть.

²⁵ В рамках своей концепции «большой феодальной формации» Ю. М. Кобищанов относит к феодальным и общества Древнего Востока, и государства XVIII в.

ного инструмента – личного контакта с подданными (Pouchepadass, 2006, P. 240–248).

По справедливому замечанию Б. Андерсона, если в национальных государствах нового и новейшего времени «государственный суверенитет распространяется в полной мере, категорически и равномерно на каждый квадратный сантиметр легально отграниченной территории», то в средневековые «государства определялись их центрами, а границы были пористыми и нечеткими» (Anderson, 1983. P. 26). Могольский падишах являлся живым воплощением имперского центра, то есть он, вслед за французским коллегой, мог бы с полным правом заявить «Государство – это я». Перемещение внутри «пористых и нечетких» границ государства утверждало право Моголов на ту или иную территорию. Оспорить это право можно было только с оружием в руках.

Сам характер Могольской империи – огромного государственного образования, созданного не в результате естественных интеграционных процессов, как это было в ряде европейских государств позднего средневековья, но путем завоевания, – требовал от государя и его приближенных неутомимого перемещения по подвластным землям. Падишах, воплощавший в своей персоне государственную власть, должен был постоянно демонстрировать себя подданным: карать мятежников, вершить правосудие, принимать изъявление покорности от местных элит, посещать те или иные территории под предлогом охоты, паломничества к святыням, наслаждения природными красотами, переезда из одной резиденции в другую (столицей империи был то Дели, то Агра; на лето двор перебирался в более прохладные места, Лахор или Сринагар). Путешествуя по той или иной территории, император «осваивал» и «окультуривал» подвластные земли, заключал союзы, в том числе и брачные, с местной знатью. Так, например, в 1561 г. раджпутский князь Бхармал Качхваха, правитель Амбера, встретил Акбара на пути из паломничества, объявил себя вассалом императора и отдал ему, дабы скрепить союз, в жены свою дочь (Abu-l Fazl Allami, 1977–1978, I, P. 348). Вообще многие браки могольских падишахов и принцев были заключены в дороге.

Среди проанализированных Ю.М. Кобищановым экономических, административно-политических, ритуальных, религиозно-культурных аспектов полюдья для Могольской Индии как государства более развитого, чем древние и раннефеодальные империи, были характерны далеко не все. Например, в отличие от раннесредневековых вождей и царей, могольские падишахи во время своих поездок не собирали

налоги и дань – этим занимался весьма многочисленный административно-бюрократический аппарат империи. Религиозный аспект «могольского полюдья» состоял в посещении падишахом святых мест – главным образом мавзолеев почитаемых суфиев, но, в отличие от объездов своих территорий древними и раннесредневековыми царями и жрецами, никакого ритуального или обрядового значения путешествия могольских падишахов не имели. Вообще могольские правители не «объезжали» по определенной траектории подвластные земли, не ставили целью посетить их все, а просто по мере надобности навещали тот или иной регион.

В противовес древним и раннефеодальным государствам, могольское «полюдье» не осуществлялось регулярно в предписанное традицией время и не приурочивалось к каким-либо календарным ритуалам или религиозным праздникам. Падишахов звали в дорогу самые разные причины: политические и стратегические соображения, диктовавшие определенное время для выступления против внешнего или внутреннего врага, потребность помолиться у той или иной святыни, климатические соображения (наступление летней жары или сезона дождей), просто желание императора посетить какую-либо провинцию империи или прославленное природной красотой место, наконец, – охота, любимое развлечение индийской знати. Причем нередко различные цели сочетались или по воле обстоятельств переходили одна в другую.

Так, в ноябре 1567 г. падишах Акбар охотился близ границ раджпутского княжества Мевар. Вопреки сложившейся практике, правитель Мевара Удай Сингх отказался лично явиться с изъявлением верности падишаху, а наоборот, стал укреплять свою столицу Читтор. Это было воспринято как вызов и, несмотря на то, что Акбара сопровождал лишь немногочисленный воинский контингент, он осадил Читтор и взял его после долгой и кровопролитной осады лишь в начале марта 1568 г., после чего сразу же направился в Аджмер к могиле особо чтимого им суфийского святого (Ванина, 2014. С. 400–401). Так охота перешла в войну, а война – в паломничество. Подобные трансформации были обычными в практике Моголов.

Охота была излюбленным времяпрепровождением, а также и популярным способом военной тренировки индийской аристократии с незапамятных времен. Могольские столицы Агра и Дели находились в безлесной зоне, в окружении густонаселенных деревень и городов, так что своих

«Сокольников» у падишахов не было. «Охотничьи экспедиции» обычно требовали выездов императора с сыновьями, свитой, егерями, псарями, сокольничими, дрессировщиками охотничьих гепардов, многочисленной прислугой, нередко с женщинами из гарема, а также воинскими контингентами довольно далеко от столицы и занимали много времени, иногда месяцы. По приглашению монарха к охоте присоединялись (со своими свитами и воинами) придворные, а также феодалы той местности, где затевалась охота – они, как правило, выступали в роли хозяев, обеспечивали царственных охотников всем необходимым, включая крестьян-загонщиков.

Охота давала правителю возможность неформальных встреч с наиболее влиятельными представителями местных элит, а также необходимую информацию. Абу-л Фазл Аллами, верный министр, друг и историограф Акбара, так описал значение «охотничьих экспедиций» для своего государя: «Его величество использует охоту для того, чтобы, не сообщая заранее о своем прибытии, узнать как можно больше об истинном положении народа и армии» (Abu-l Fazl Allami, 1977–78, I, P. 292). «Охотничьи экспедиции» нередко маскировали мятежи и заговоры: так, в 1600 г. Салим, будущий падишах Джахангир, под видом охоты отправился в окрестности Аллахабада, захватил город и попытался объявить себя падишахом (Банараси Дас, 2000. С. 213-214; Ванина, 2013).

В любом случае, войны, карательные экспедиции, охота, паломничество и просто «экскурсии» по подвластным территориям считались в Могольской империи важнейшей задачей и долгом правителя: именно этим, как уже отмечалось, диктовался «палаточный стиль» могольского двора. Акбар, по оценке хрониста-современника, «завоевал страну, путешествуя по ней» (Qandahari, 1993. P. 61-62; Gommans, 2002. P. 101). Аурангзеб, наставляя своего сына Муаззума (Бахадур-шаха I), сформулировал данный принцип так: «Император ни в коем случае не должен любить покой и быть склонным к отдохновению, ибо именно эти нежелательные привычки являются причиной упадка государств и разрушения монаршей власти. Всегда будь в движении, насколько возможно». И далее падишах привел стих (неясно, было ли это его собственное сочинение или цитата какого-то поэта):

Оставаться на одном месте плохо и для царей, и для воды.

Стоячая вода портится, неподвижный царь теряет власть.

В движении – честь, блаженство и блеск монархов.

Стремление к покою и наслаждению делает их ненадежными (Sarkar, 1949. P. 51; Gommans, 2002. P. 100).

Приближенные могольских императоров также постоянно находились в пути, то сопровождая своего властелина в непрекращающихся поездках, то в составе завоевательных или карательных экспедиций, то по собственной инициативе – подражая падишаху в объездах собственных владений, паломничествах и охотничьих экспедициях.

Логистика и культура имперских походов

Индийские хронисты и европейские путешественники оставили множество описаний могольских императоров на марше. Впереди процессии двигался военный оркестр, состоявший в основном из барабанщиков и трубачей. Сам падишах ехал на коне или слоне в окружении конных гвардейцев своей охраны, выстраивавшихся, по описанию Монсеррате, полумесяцем; еще один отряд прикрывал тыл. Вперед обычно посылался небольшой контингент воинов для того, чтобы разведать безопасность пути и очистить дорогу от любопытных: если в городе передвижение императора привлекало огромные толпы жителей, сбегавшихся посмотреть на пышную процессию и, по возможности, поймать монетку из той мелочи, которую специально назначенные слуги горстями кидали в народ, то марши вне столицы требовали большей осторожности. Жены и дочери государя ехали на слонах в закрытых *хоудах*²⁶, а их служанки и евнухи – на верблюдах. Гарем охраняли отборные отряды из ветеранов-гвардейцев, а также женская стража, набиравшаяся из тюркских и индийских племен. За ними в определенном порядке следовали войска под командой крупных вельмож-военачальников – каждый из них по возможности дублировал устройство императорского марша. На слонах, верблюдах и мулах, а также в многочисленных повозках перевозили (под особой охраной) казну, мебель, кухонную утварь и посуду, императорский гардероб и все необходимые предметы обихода; одна из повозок служила для императора и его семьи «походной баней».

Важнейшей частью императорского обоза были водоносы, снабжавшие лагерь водой; в их обязанность входило пробовать воду и охлаждать ее с помощью селитры, необходимый запас которой также везли с собой. Могольские падишахи предпочитали воду из Ганга, поэтому специально

²⁶ *Хоуда* – сиденье на спине слона, оборудованное в виде павильона.

назначенные люди постоянно находились в местах, где были оборудованы «станции» для забора воды; отсюда она в запечатанных кувшинах направлялась во дворец. Когда Акбар завоевал Кашмир и север Пенджаба, ко двору, даже если он находился в пути, стали доставлять лед (Abu-l Fazl Allami, 1977–78, I. P. 58). Сокольники, псары и дрессировщики гепардов вместе со своими питомцами были обязательными участниками любого марша, ибо, вне зависимости от конечной цели, государю всегда могло прийти в голову развлечься по дороге охотой. Никакой регулярной интендантской службы могольская армия не знала. Для снабжения всего огромного контингента продуктами питания и прочим армию сопровождали «мобильные базары»: купцы везли на волах, верблюдах и повозках все необходимое и на каждой остановке раскидывали свои палатки, продавая все необходимое желающим, от солдат до поставщиков падишахской кухни (ее обслуживал особый «базар»). Снабжение могольской армии зерном часто осуществляли банджары – члены одного из кочевых племен; их запряженные буйволами повозки двигались вместе с войсками. Чтобы добиться дешевых поставок, Акбар, по свидетельству сопровождавшего его в одной из экспедиций иезуита Монсеррате, рассылал по дороге гонцов в окрестные города и селения с извещением, что купцы, которые будут дешево продавать свои товары в лагере, получат освобождение от налогов и пошлин (The Commentary, 1922. P. 78–80; Abu-l Fazl Allami, 1977–78, I, P. 57–59, 285).

Все остановки этой огромной армии готовились заранее. Придворный квартирмейстер (*мир-манзил*) во главе отряда воинов и слуг выбирал подходящее место для стоянки. По сообщению Абу-л Фазла, вместе с *мир-манзилом* для подготовки привала отправлялись 100 слонов и 500 верблюдов с поклажей, 400 запряженных буйволами повозок и около сотни носильщиков, а также уборщики, водоносы, плотники, установщики шатров и т. д.. Воины охраняли будущий лагерь, а слуги устанавливали в центре, желательном на возвышенности, *пейш-хане*, великолепно украшенный императорский шатер, состоявший, по сути, из нескольких огромных, прилегающих друг к другу шатров: один использовался в качестве личных покоев государя, другой – для совещаний, третий – для молитв, четвертый – для омовений и т. д. Самым большим из императорских шатров был «зал приемов», в котором император восседал на покрытом подушками возвышении (*маснад*). Именно здесь он принимал послов и местных феодалов, прибывавших в лагерь для того, чтобы засвидетельствовать падишаху свою верность, а также просителей и ищущих правосудия. Отдельный «палаточный

город» создавался для гарема. Все шатры для императора и его семьи делались из дорогой, высокопрочной, расшитой золотом и серебром материи и покрывались для защиты от дождя вошеной тканью (Ibid, 1977–1978, I. P. 48–49).

Императорский «палаточный город» был центром лагеря; с четырех сторон его окружали «ворота» – пышно украшенные бамбуковые арки. «Город» охранялся с особой тщательностью воинами-гвардейцами, находившимися под командой «дежурного» военачальника. По периметру были расположены легкие пушки, из которых давали залп каждый раз, когда падишах входил в свой «палаточный город» (Bernier, 1916. P. 362–363). Вблизи находились огромный светильник и платформа, на которой восседали музыканты; они будили лагерь трубными звуками, а гром колоссальных барабанов (*наккаров*), которые перевозились на верблюдах или слонах, был слышен далеко вокруг и использовался в качестве сигналов.

Рядом с императорскими устанавливались шатры сыновей падишаха, наиболее доверенных придворных, – в строгом порядке, в соответствии с рангом и заслугами. Нарушение этого правила влекло за собой серьезный конфликт. Так, однажды некий придворный не самого высокого ранга позволил себе установить палатку вблизи императорской, на месте, отведенном для главного министра (*вазир*). Падишах Аурангзеб по какой-то причине отнесся к этому снисходительно. Тогда сын *вазира* публично положил свой меч к ногам падишаха, что в средневековой Индии означало отказ от службы и обязательств вассала, и заявил о невозможности служить падишаху, который не защитил привилегии, заслуженные поколениями этой семьи, и таким образом не выполнил свой долг сюзерена. Конфликт был исчерпан только публичным извинением падишаха, подтверждением привилегий и богатыми подарками оскорбленному вассалу (Mukhia, 2004. P. 74).

К подходу основных сил с падишахом во главе лагерь для стоянки был уже готов. По тому же плану, с шатром военачальника в центре, устраивали лагерь для своих воинских контингентов придворные, из дружин которых и состояла могольская армия. Свои палатки с товарами раскидывали купцы и сопровождавшие армию ремесленники, чинившие и делавшие на заказ оружие, платье, сбрую и т. д. В рядах многочисленной службы находилось место и для «индустрии развлечений»: государь, гарем и вельможи везли с собой музыкантов, танцовщиц и поэтов; к услугам простых воинов были следовавшие за армиями «веселые дома». В общем, по подсчетам французского путешественника Ф. Бернье, совершившего с импера-

тором Аурангзебом поход в Кашмир, окружность лагеря составляла около 10,5 км. При всем обилии народа в лагере, как был вынужден признать весьма критично настроенный к моголам Бернье, царил порядок (Bernier, 1916. P. 367).

Передвижение по стране императоров со свитой и армией требовало обустройства и «окультуривания» территории. Прежде всего это касалось подготовки маршрута – вырубки джунглей, покрывавших значительную часть территории страны, и строительства дорог. Готовясь к военной экспедиции в Пенджаб и далее на Кабул, Акбар поручил Касим-хану, строителю агрского форта, проложить дороги, построить мост через Инд и сделать Хайберский проход²⁷ удобным для повозок (Gommans, 2002. С. 106). Для кашмирской кампании своей армии Акбар повелел задействовать несколько тысяч лесорубов и каменщиков, которые расчищали леса и мостили дорогу для наступающей армии. Это, как сообщил Акбар в письме иранскому шаху Аббасу, сыграло решающую роль в завоевании Кашмира (Naidar, 1998. P. 94). Вообще, строительством многих дорог, включая знаменитый 2500-километровый Великий путь (Sadak-i Azam), соединявший бенгальский порт Читтагонг с Кабулом,²⁸ Индия обязана передвижению по подвластным территориям могольских государей. По приказу Акбара на всех дорогах империи были установлены *косминары* – «путевые башенки», отмечавшие расстояние в *косах* (Qandahari, 1993. P. 65–66).²⁹ Вместе с дорогами возникла инфраструктура – колодцы, караван-сарай, стационарные базары, ими пользовались не только император со свитой, но и рядовые путники.

Разумеется, в сопровождении армии, свиты, «базаров» и многотысячной obsługi император мог продвигаться крайне медленно. Бернье, сопровождавший Аурангзеба в Лахор, отметил, что «это медленный и торжественный марш, который мы называем *à la Mogole*. Лахор расположен в чуть более чем ста двадцати лигах³⁰ или пятнадцати днях пути от Дели, а мы находились в дороге почти два месяца. Король, вместе с большей частью армии, постоянно отклонялся от маршрута в поисках под-

²⁷ Хайберский проход – проход длиной 53 км в горном хребте Сафедкох, отделяющем Афганистан от Пакистана (до 1947 г. – от Индии).

²⁸ В колониальные времена этот огромный тракт стал известен как Великий колесный путь (Grand Trunk Road).

²⁹ Кос – наиболее употребительная единица длины в Могольской Индии, составляла ок. 4 км.

³⁰ 120 французских лиг (времен Бернье) составляли ок. 388 км. На самом деле расстояние между Дели и Лахором – 530 км.

ходящих мест для охоты или для того, чтобы запастись водой из Ганга, в то время как мы развлекались на его берегах, охотясь в траве столь высокой, что скрывала всадников, но зато она изобиловала разнообразной дичью» (Ibid, P. 358–359). Такие «медленные и торжественные» марши с постоянным отвлечением от основного маршрута ради охоты, посещения святых мест или иных целей были обычными для индийских правителей.³¹ Впрочем, истории известны и более быстрые перемещения могольских падишахов: так, в 1573 г. Акбар с небольшими силами (кавалерией) совершил скоростной марш-бросок из своей новой резиденции Фатехпура-Сикри (близ Агры) до Ахмадабада, преодолев 800 км за 9 дней. Обычный же имперский марш происходил со скоростью 10–20 км в день (Gommans, 2002. P. 101).

Роскошный антураж путешествий могольских императоров и многолюдность их сопровождения объяснялись не «изнеженностью восточных тиранов», как полагали европейские наблюдатели. Вместе с падишахом по его владениям перемещалась **сама власть**, которую надлежало демонстрировать подданным, соседям и потенциальным мятежникам во всей ее мощи и блеске. «Палаточный городок», в котором располагался монарх, воспроизводил устройство императорской резиденции, и даже сами шатры носили названия соответствующих дворцов. Вместе с монархом путешествовали казна, чиновники, воины, торговцы, ремесленники, мастера увеселений – вместе с шатрами все это создавало подвижную копию столицы.

Увы, необходимость постоянного движения по стране персонифицированного центра власти была чревата опасностями для всей империи и правящей династии. Территориальное расширение империи неизбежно приводило к потере управляемости. Длительные, иногда многомесячные пребывания двора в одной части империи создавали условия для заговоров и антимогольских выступлений в других. Долговременное отсутствие монарха и двора в том или ином регионе подавало местным элитам сигнал о том, что территория стала «бесхозной» и можно попытаться оспорить суверенитет Моголов. Так, например, в 1564–65 гг., воспользовавшись тем, что Акбар лично выступил против поднявшего мятеж наместника Малвы (Централь-

³¹ Например, в марте 1760 г. войска маратхского государства выступили из Пуны против вторгшегося в Индию афганского правителя Ахмад-шаха Дуррани. До городка Панипат (120 км от Дели), где 14 января 1761 г. состоялась решающая битва, маратхская армия добиралась десять месяцев, по дороге посещая, вместе с присоединившимися паломниками, святые места Северной Индии (Глушкова, 2008, С. 201–208).

ная Индия), узбекские феодалы захватили часть земель к востоку от Дели и попытались возвести на трон сводного брата императора (Richards, 2000. P. 15–16). Аурангзеб, с маниакальной настойчивостью стремившийся удержать завоеванные территории на Юге и, главное, подавить сопротивление маратхов, фактически потерял ряд других важных районов: Пенджаб, Мевар, Бунделкханд и т. д. Восстанием была охвачена даже столичная область Агра-Дели. Пользуясь отсутствием падишаха, местные феодалы, возглавив сопротивление моголам, смогли в той или иной степени отторгнуть свои владения от империи (Рейснер, 1961. С. 178–240; Richards, 2000. P. 177–184). Это, вместе с другими причинами, стимулировало центробежные процессы, которые усиливались при Аурангзебе и приняли лавинообразный характер после его смерти, что и привело в первой половине XVIII в. к распаду империи моголов. Постоянные перемещения падишахов (а вместе с ними армии, двора, самой власти) по субконтиненту, непрекращающиеся попытки захватить и удержать всю Индию привели к потере контроля над подвластным пространством: присущая могольской культуре «мания магистральности» надорвала и в конечном счете превратила в лоскут пространственную и политико-административную ткань империи.

* Авторы проекта «Движение и покой в истории и культуре Южной Азии» (Е.Ю. Ванина, И.П. Глушкова и С.Е. Сидорова) исходили из того, что «движение» является ключевой аналитической категорией в истории и антропологии и обычным, повседневным, а не особым, свойством социума и человека как историко-культурного продукта. В одном из разделов исследования, «Движение и власть», мы синтезировали предложенный И.П. Глушковой подход к «движению» как к исторической категории [«Подвижность и подвижность. Теория и практика тиртха-ятры», 2008] и сформулированную А.В. Головневом теорию магистральных и локальных культур и активности элит [«Антропология движения. (Древности Северной Евразии)», 2009]. Предлагаемые ниже статьи посвящены южноазиатским культурам с ярко выраженными признаками «магистральности» / мобильности, носителями которой – поочередно и одновременно, в мирных соглашениях и кровопролитных битвах – становились моголы (империя Великих Моголов), маратхи (Маратхская конфедерация) и англичане (Британская Индия).

ЛИТЕРАТУРА

Банараси Дас. 2000. Половина рассказа. Семейная хроника XVI-XVII вв. Предисловие и перевод с хинди Е.Ю. Ваниной // *Голоса индийского средневековья*. И.Д. Серебряков, Е. Ю. Ванина (отв. ред.). М.: Эдиториал УРСС.

Ванина Е.Ю. 1993. *Идеи и общество в Индии XVI-XVIII вв.* М.: Восточная литература.

Ванина Е.Ю. 2000. Глава I. Исторический обзор // *Индия: страна и ее регионы*. Е.Ю. Ванина (отв. ред.). М.: Эдиториал УРСС.

Ванина Е.Ю. 2012. Кончина императора – конец империи // *Смерть в Махарашире. Воображение, восприятие, воплощение*. Руководитель проекта и научный редактор И.П. Глушкова. М.: Наталис.

Ванина Е.Ю. 2013. Засада на дороге: история одного политического убийства в Могольской Индии // *Восток*, № 6.

Ванина Е.Ю. 2014. МонуMENT врагу? Раджпутские статуи в могольских столицах // Глушкова И.П. (рук. проекта), Прокофьева И.Т. (отв. ред.). *Под небом Южной Азии. Портрет и скульптура. Визуализация территорий, идеологий и этносов через материальные объекты*. М.: Наука–Восточная литература, 2014.

Глушкова И.П. 2005. Шиваджи: проблемы историографии // *Вопросы истории*, № 6.

Глушкова И.П. 2008. *Подвижность и подвижность. Теория и практика тиртха-ятры*. М.: Наталис.

Головнев А.В. 2009. *Антропология движения (древности Северной Евразии)*. Екатеринбург: УРО РАН, «Волот».

Кобищанов Ю.М. 1995. *Полюдье: явление отечественной и всемирной истории цивилизаций*. М.: РОССПЭН.

Рейснер И.М. 1961. *Народные движения в Индии в XVII-XVIII вв.* М.: Восточная литература.

Abu-I Fazl Allami. *Ain-i Akbari*. Vols. I (tr. by H. Blochmann), II & III (tr. by H.S. Jarrett). Delhi: Munshiram Manoharlal (reprint), 1977 – 1978.

Anderson B. 1983. *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Development of Nationalism*. L., Verso.

Bernier Francois. 1916. *Travels in the Mughal Empire*. L.–N.Y.: Henry Milford, Oxford University Press.

Blake S. 1997. The Patrimonial-Bureaucratic Empire of the Mughals // *The State in India 1000 – 1700*. H. Kulke (ed.), Delhi: Oxford University Press.

Faruqui M. D. *The Princes of the Mughal Empire, 1504–1719*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gommans J. 2002. *Mughal Warfare: Indian Frontiers and Highroads to Empire, 1500–1700*. London: Routledge.

Lal R. 2005. *Domesticity and Power in the Early Mughal World*. Cambridge: Cambridge University Press.

Haidar M. 1998. *Mukatabat-i Allami (Insha-i Abu-I Fazl). Daftar I. Letters of the Emperor Akbar in English Translation. Edited with Commentary, Perspective and Notes*. Delhi: Munshiram Manoharlal.

Mukhia H. 2004. *The Mughals of India*. Malden US – Oxford UK: Blackwell Publishing.

Poucheпадасс J. 2006. *Itinerant Kings and Touring Officials: Circulation as a Modality of Power in India, 1700 – 1947*// Markowitz C., Poucheпадасс J. and Subrahmanyam S. (eds.). *Society and Circulation. Mobile People and Itinerant Cultures in South Asia 1750 – 1950*. Delhi: Permanent Black.

Qandahari Muhammad Arif. 1993. *Tarikh-i Akbari. An Annotated Translation with Introduction by Tasneem Ahmad*. Foreword by Irfan Habib. Delhi: Pragati Publications.

Richards John F. 2000. *The Mughal Empire // The New Cambridge History of India*. Delhi: Foundation Books, Cambridge University Press.

Sarkar Jadunath (tr.). 1949. *Anecdotes of Aurangzib. English translation of AHKAM-I ALAMGIRI Ascribed to Hamid-ud-din Khan Bahadur With Life of Aurangzib and Historical Notes by Sir Jadunath Sarkar*. Calcutta: M. C. Sarkar & Sons.

The Commentary of Father Monserrate S. J. 1922. On His Journey to the Court of Akbar. Tr. by J. S. Hoyland. London: Humphrey Milford.

Глушкова И.П. (ИБ РАН)

КРУГООБОРОТ НОВОСТЕЙ И ОТЛОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ПОЧТОВАЯ ПОЛИТИКА ПРИ ДВОРЕ АХИЛЬЯ-БАИ ХОЛКАР В МАХЕШВАРИ (ПР. 1767–1795)

«Магистральными культурами разного времени и происхождения были созданы все известные истории империи и колониальные сети» (Головнев, 2009. С. 23). Это положение вполне применимо к политике, позже названной Маратхской конфедерацией, которая сформировалась в XVIII в. в результате мощной экспансии маратхязычного этноса за пределы родной среды обитания – Махараштры (Западная Индия). Следствием пространственного захвата и фискального подчинения маратхами индийского субконтинента стал не только вассалитет полуавтономных квази-государств, существовавших в рамках Могольской империи, и признание маратхов официальными защитниками «делийского трона», но и возникновение в чуждой этнорегиональной среде – за счет земельных дарений и грабительских рейдов – маратхских княжеств³².

История одного из них – «государства Холкаров» – начинается с 1730-х годов и завершается в 1948 г. его добровольным вхождением в состав постколониальной Индии. Современные исследователи признают, что в XVIII в. маратхи были единственной политической силой, способной прийти на смену «могольской гегемонии», что англичане получили «жемчужину Британской короны» из рук маратхов, а «историки, занимающиеся маратхами, могут рассматривать XVIII век как маратхский» (Marshall, 2003. P. 1; Ali, 2003.

³² Как и «Маратхская конфедерация» стала таковой для удобства наименования того, что существовало без имени, так и геополитические структуры, созданные маратхскими военачальниками, превратились в «княжества» с князьями во главе уже после утраты ими самостоятельности и частичного или полного признания Ост-Индской компании своим сюзереном.

Р. 90). Этот период прошел мимо отечественных востоковедов, зафиксировавших только его результат, «стоп-кадр» (Головнев, 2009. С.2) – колонизацию³³ – и упустивших приемы присвоения / освоения пространства, к которым прибегали носители трех магистральных культур – моголы, маратхи и англичане. При выборе пространственного движения в качестве аналитической парадигмы кажущийся хаос «лихолетья» обретает логику, и настырные, грубоватые, нацеленные на успех маратхи подтверждают свой статус главной силы переломной эпохи.

В 2006 г. делийский парламент – «сердце страны» – открыл двери новому персонажу – статуе Ахилья-баи (1725–1795)³⁴, вдовы из маратхской династии Холкаров, тем самым на государственном уровне признав ее вклад в

³³ В книгу К.А. Антоновой с говорящим названием «Английское завоевание Индии в XVIII в.» попали две «локальные культуры» – Бенгалия на северо-востоке и Майсур на юге, а маратхи отсутствуют вовсе (Антонова, 1958). В статье «Индия: на переломе» Е.Ю. Ванина рассматривает «на равных» борьбу англичан против Маратхской конфедерации, Майсура и государства сикхов (Ванина, 2013). О движении как категории исторического анализа и создании маратхами в XVIII в. особого «геополитического коридора безопасности» см. мою книгу «Подвижность и подвижничество. История и практика тиртха-ятры» (Глушкова, 2008), в том числе главу «Тактика и стратегия присвоения пространства: военные экспедиции брахманов и тиртха-ятры государственных вдов» (С. 172–242).

³⁴ Инициатором установки стала Сумитра Махаджан, многолетний парламентарий от Индора. 06.06.2014 она была единогласно избрана на пост спикера Нижней палаты индийского парламента, после чего проследовала к памятнику Ахилья-баи, чтобы усыпать лепестками роз ноги статуи в знак благодарности.

формирование общенационального пространства, в 1947 г. ставшего Республикой Индией. Это далеко не первый монумент правительнице, чье имя связывают с двухмиллионным Индором, теперь крупным коммерческим центром в штате Мадхья-Прадеш, куда в 1818 г. была перенесена столица Холкаров. Памятники Ахилья-баи, прославившейся образцовой религиозностью и щедрым патронированием индуистских святынь, уже давно формируют визуальный облик не только Малвы, исторического региона, подпавшего под власть Холкаров, но и Центральной и Северной Индии. В 1915 г. в Индоре был учрежден Комитет по празднованию ее дня рождения, в 1975 г. – к 200-летию Ахилья-баи – выпущена первая марка в ее честь, а в 1996 г., к 200-летней годовщине со дня смерти (1995), – вторая. Тогда же была учреждена награда, носящая ее имя, с ежегодным присуждением выдающимся индианкам. К XXI в. уже Деви (богиня) Ахилья-баи Холкар стала признанным «гением места» и брендом огромного региона, одарив своим именем аэропорт, университет, площади, школы, больницы, парки и прочие территориальные маркеры.

* * *

Супруг Ахилья-баи погиб в 1754 г., однако она не взошла вместе с другими женами и наложницами на его погребальный костер. В этом усматривают влияние ее свекра и основателя княжества Малхар-рава: она была не только его невесткой, но и матерью Мале-рава, его внука и наследника, и в случае нужды – де-юре титул правителя женщинам не передавался – стала бы регентшей. После смерти в 1766 г. Малхар-рава, а затем в 1767 г. и Мале-рава, Ахилья-баи решительно отказалась от усыновления потенциального наследника, но убедил *нешву*, т.е. первого министра и главу Маратхской конфедерации, передать бразды правления в ее руки, и обрела власть де-факто.

В отличие от Малхар-рава, чьим «домом было седло», и Тукоджи Холкара, военачальника холкарской армии, который откликался на любой боевой клич из Пуны, центра Конфедерации в Махараштре, Ахилья-баи выбрала оседлость и назначила столицей древний Махешвар на берегу реки Нармады. Возможно, решение было продиктовано статусом города как «личного пожалования» старшей жене правителя, что позволяло ей распоряжаться всеми доходами. Индор же входил в категорию отчуждаемого военного лена для обеспечения нужд постоянной армии, к тому же находился на расстоянии около 60 км от Удждайна, столицы другого маратхского конфедерата – Махаджи Шинде/

Синдия, с которым Холкаров связывали как общие цели, так и жесткое соперничество. Существенно и то, что наследственные привилегии и титул *субеда-ра*, главы провинции, были официально возложены на Тукоджи Холкара, не родственника, но соплеменника: государственную печать украшало его имя, однако финансовые рычаги держала в своих руках Ахилья-баи, которую он, как и все вокруг, называл «матушкой», и до ее смерти печатью не пользовался.

Устойчивость Махешвара как резиденции Ахилья-баи на протяжении почти тридцати лет превратили его в «Северные ворота Пуны», т.е. Маратхской конфедерации, по замечанию Наны Пхаднависа (Тхакур, s.a. P. 91). Этот влиятельный министр при *нешвах*, также предпочитавший оседлый образ жизни³⁵, фактически определял основные векторы маратхской стратегии в последней трети XVIII в.: его посланники в разных частях Индии, включая *вакилов*, т.е. корреспондентов / репортеров-осведомителей / писателей, в ежедневных депешах на имя Наны излагали – до мельчайших нюансов – увиденное и услышанное ими. 125 посланий, датируемых с 1779 по 1783 г., т.е. периодом Первой англо-маратхской войны, из тома I «Новостные письма из махешварского двора» (Parasnis 1910) стали источником для анализа движения корреспонденции, т.е. организации маратхской почтовой службы, о которой – в отличие от более ранней могольской и более поздней британской – почти ничего неизвестно, и реконструкции управленческих механизмов Ахилья-баи. Авторами этих писем, обнаруженных в начале XX в. в архиве Наны в его доме в Махараштре, были Виттхал Шамрадж и Кешав Бхикаджи, официальные *вакилы* при махешварском дворе: через них проходила официальная – «государева» почта (*sarkari dak*), в том числе в отдельных конвертах (*lakhota*) распоряжения (*adnyapatra*) в адрес Ахилья-баи. Они обладали правом на более или менее свободное посещение правительницы, участвовали вместе с нею в некоторых религиозных ритуалах и выступали в роли советников и посредников между Махешваром и Пуной. Это привилегированное положение не

³⁵ В 1761 г. маратхи потерпели сокрушительное поражение от афганцев в сражении при Панипате (так называемая 3-я Панипатская битва индийской истории), что существенно подорвало силы Конфедерации (см. Глушкова 2012). Юный Нана был не участником, но очевидцем этой трагедии, и спасся бегством в одной набедренной повязке, о чем он рассказал в собственном дневничке (Macdonald 1927). Полученной тогда психологической травмой объясняют его нежелание выбираться за пределы Махараштры.

исключало ситуаций, когда «матушка» оставляла свои секреты при себе или напрямую обвиняла пунских агентов в неаккуратности и подрыве ее доверия к ним. Как бы там ни было, эпистолярные предлагают отраженный их глазами и ушами образ Ахилья-баи и ее *modus vivendi*: малоподвижность в перманентном ожидании движения – новостей и их переносчиков.

Бурное продвижение Ост-Индской компании в Центральную Индию и Первая англо-маратхская война осложнялись внутриклановыми распрями среди конфедератов и соглашениями с европейцами различных маратхских фракций. Ахилья-баи хранила лояльность Пуне и отслеживала развитие событий от Калькутты до Дели и от Сурата до Хайдарабада столь же пристально, как и при собственном дворе. Помимо общей уверенности, что «всякие там раджи по всему Хиндустану только и предают друг друга да сходятся в схватке друг с другом» (154, 89³⁶), она не выпускала из глаз и столицу Шинде Удджайн, удаленную от Махешвара на расстояние около 113 км. Наряду с осознанием давнего соперничества Холкаров и Шинде и ожиданием возможных козней со стороны последнего, Ахилья-баи учитывала вес Махаджи Шинде как независимого политического игрока, практически регента (*vakil-i-mutlak*) при могольском императоре (Sardesai 1948. P.145), и самостоятельного переговорщика с англичанами. Каждое письмо из Махешвара в Пуну уточняет его местонахождение и дальнейшее направление следования и изобилует глаголами движения («уйти», «прийти», «выступить», «отправиться», «тронуться», «пересечь» и т.д.), сообщая также о перемещениях европейцев, вероломного Рагхобы (дяди *пешвы*), его перманентно интригующей жены и других военачальников Маратхской конфедерации – Гайквадов из Бароды, Бхосле из Нагпура, Паваров из Дхара, Патвардханов из Мирадза и др. Каждая депеша переполнена топонимами и представляет собой скучное перечисление мест, маршрутов, остановок, способов передвижения и т.д. Поскольку в XVIII в. маратхи обосновались практически повсеместно, то сообщаемые новости находились в диапазоне «со всех сторон» (*chahukadil vartman*). Письма содержат названия сотен деревень и поселков для географической фиксации информанта и передаваемой информации и определения скорости их движения к адресату. Также они сообщают сведения и/или допущения о маршрутах различных сил и предостережения по поводу тех или иных направ-

³⁶ Здесь и далее первая цифра означает страницу, вторая – номер письма из (Parasnis 1910).

лений. Ближайшие области – Немар, Кхандеш и Гуджарат – упоминаются практически в каждом письме, и даже такие регионы, как Конкан или Деш, т.е. маратхиязычный хартленд, попадают в корреспонденции, если о них судачили в Махешваре. Топонимическое изобилие сопровождается переизбытком личных имен, чьи референты, как и их лояльности, не всегда понятны. Широкая географическая осведомленность, цепкое удержание в памяти нюансов путей и переходов и умение соразмерять ментальную карту пространства с временными векторами вызывают изумление и восхищение интеллектуальным потенциалом той, которая пребывала в малоподвижности на фоне постоянно движущихся основных игроков эпохи.

Ахилья-баи в действительности «не выказывала желаний тронуться с места» (65, 28): ее мир, управленческий ресурс и ежедневное администрирование формировались кругооборотом устной и письменной информации, поставляемой письмоносами: профессиональными и случайными курьерами, торговцами, бродячими брахманами, наемниками, родственниками и т.д. Масштаб этой циркуляции можно вообразить хотя бы из того, что ее «собственные послы обитали в Пуне, Хайдарабаде, Серингапатаме, Нагпуре, Лакхнау и Калькутте; при дворах небольших правителей находились другие представители» (Malcolm, 1824. P. 166–167; Тхакур, s.a. P. 110–111); владеющие военным леном от правительницы генералы пребывали в местах сражений (Тхакур, s.a. P. 15–16, 95), сборщики налогов перемещались по деревням, а агенты по религиозным делам курсировали по святым местам индуизма в радиусе от Бадринахта в Гималаях до Рамешварама на берегу Индийского океана. Одно из писем в Пуну свидетельствует: «...сколько бы данников, ездовых и вообще людишек из прежних времен не находилось возле Тукоджи [вдали от Махешвара], все пишут Ахилья-баи и посыльные от каждого добираются до нее» (88, 33). Ожидание писем отовсюду и из конкретных мест, как и сочинение ответов, было не пустым времяпрепровождением, но определяющим фактором государственной политики в соответствии с латинским афоризмом *scientia potential est*, «знание – сила». Обретение, владение и распоряжение информацией всегда составляло важный признак состоявшейся политики, а это, в свою очередь, требовало контроля за движением – не только писем и почтальонов, но и тех, кто мог бы им помешать. Физически оставаясь на месте, мысленно «матушка» находилась *on the move* и *en transit*.

Каждое письмо, отправленное из Махешвара, свидетельствует о крайнем нетерпении, вплоть до болезненного возбуждения, вызванных ожиданием посланий, в особенности из Пуны и с диспозиции Тукоджи Холкара. Вопреки стереотипам о «гармонии» между партнерами дуумвирата, созданным позднее, Ахилья-баи часто и недвусмысленно выражает неприятие действий и распоряжений номинального главы государства Холкаров, особенно если они касались денежных вопросов. Через Виттхала Шамраджа и Кешава Бхикаджи она просит Нану Пхаднавису призвать к порядку Тукоджи, о чьих передвижениях, стоянках и численности войска / вооружения она была прекрасно осведомлена. Ей становились известны все его локомоции, а также преодолеваемое за день расстояние и остаток дистанции до следующего бивуака, о чем писцы тут же сообщали в Пуну, дублируя донесения, получаемые Наной из разных источников. Иногда, в ожидании приказа или совета от Наны, Ахилья-баи откладывала принятие решения или распоряжения. В иных случаях она рассчитывала на получение данных из других источников и поэтому медлила с ответом в Пуну (40–41, 17). Когда она не спешила удовлетворять финансовые запросы из штаб-квартиры Конфедерации, то не отвечала под предлогом ожидания инструкций от Тукоджи (201, 98; 234, 119). *Вакилы* сообщали, что она не верит почти никому, проявляет нерешительность и не показывает, что у нее на уме (58, 25). Вероятно, эти ремарки маскировали их собственные опасения, что кто-то еще воздействует на «матушку», поскольку в других случаях они сообщают: «Ее воля непреклонна. Она никого не слушает, хотя мы рядом, и зачем ей нужно еще чье-то распоряжение? Предпочтения отдаются никчемным людишкам» (162, 71). Они приводят ее речь: «Я уже говорила об этом. Я должна повторять?» (177, 81) и называют ее «твердой» и даже «упрямой» (212, 105; 221, 111), что характеризует Ахилья-баи как правительницу де-факто: она управляла и принимала взвешенные решения, опираясь на кругооборот новостей и убедившись в их полноте и охвате.

Обычно несколько копий одного и того же письма высылались разными okaziyami, и Ахилья-баи и *вакилы* отслеживали их перемещение. Именно поэтому каждое послание начинается ссылкой на ранее ушедшую корреспонденцию с кратким повтором содержания и сопровождается формулой беспокойства – «неизвестно, дошло или нет». Также присутствует уточнение: какое именно письмо осталось без ответа или не было подтверждено. Некоторые корреспонденции и

вовсе не сообщают ничего нового, но только перечисляют – с указанием даты и времени суток – письма, поступившие в Махешвар. Более того, когда речь идет о посланиях на имя Ахилья-баи, то писцы дополнительно уточняют час и минуту, когда они были вручены. Если правительница позволяла им ознакомиться с содержанием, то, помимо ее реакции, они сообщают в Пуну точные сведения о сроках доставки почты в Махешвар. Например, 600 км от Сурата преодолевались за 13 дней, то же расстояние от Гвалиора – за 14 дней, 913 км от Дели – за 15 дней, 882 км из Лакхнау – за 18 дней, а на 700 км из Калпи ушло полтора месяца, поскольку там уже встали лагерь англичане. Корреспонденция из Пуны, расположенной в 550 км от Махешвара, в среднем приходила за 15 дней. Эта арифметика подтверждает логику утверждения «знание – сила», только если «знание» из категории «вообще» переходит в категорию «в частности», т.е. коррелируется с пространством и временем. Это осуществляется за счет перманентных отсылок к соответствующим счетным единицам длины и времени – *косам* и *гхатакам* – в устных и письменных коммуникациях, при признании превосходства последних как более надежных, хотя и более медленных.

В целом, Виттхал Шамрадж и Кешав Бхикаджи без устали, даже навязчиво напоминают Нане Пхаднавису собственные обязанности: передачу любых сведений – сомнительных и достоверных, пустяковых и серьезных, увиденных и услышанных, при дворе и за его пределами (43, 18; 159, 71). Соглядатайство входило в их функции, и они вытягивали информацию из непосредственного окружения Ахилья-баи, а также из тех, кто получал к ней доступ, да и вообще – из любого (174, 79). Корреспонденция, о содержании которой она не распространялась (231, 117), занимала их больше всего, и они испытывали удовлетворение, вызывая подробности у других. Однако в большинстве своем письма как раз и состоят из того, чем Ахилья-баи добровольно делилась с ними, понимая, что этот информационный поток потечет в Пуну. Например, битва в Бенгалии (1781) между англичанами и нагпурскими Бхосле и поражение последних описывается с ее же слов на основе полученной ею депеши из Айодхьи (116, 47). А содержание послания от могольского императора, где он оповещает Ахилья-баи о назначении в Бенгалии нового – «заморского» – *субедара*, пересказывает писцам Харку-баи, бывшая содержанка Малхар-рава Холкара, сохранившая влияние на политику двора и имевшая собственные источники сведений отовсюду и обо всем (48, 21). Будучи обойденными

приглашением на ту или иную аудиенцию, *вакилы* поджидали ее участников и выпытывали у них суть переговоров: например, Виттхал Шамрадж долго пытал посланника из Удджайна о содержании бумаги Ахилья-баи, переданной ею Махаджи Шинде, объясняя это как раз необходимостью донесения в Пуну (58, 25).

Вообще, указание на тот или иной источник также свидетельствовало о степени достоверности информации. Это мог быть кто-либо из холкарских военачальников, обладавших собственной системой коммуникации, или цепочка людей, передававших друг другу содержание письма аудхского *наваба* своему послу в Махешваре (141, 59). Это мог быть незнакомый человек, которого при желании можно было опознать: «Новость сообщил агент индорского купца по имени Нанаджиджи, который отправился отсюда в Бурханпур, а оттуда в Аурангабад» (6, 1) или, по крайней мере, локализовать географически: «Из Нандурбары пришел добрый человек и известил нас об этом» (126, 50).

Другие источники носили более общий характер: «базарные новости / сплетни / слухи», «говорят, что... / слышно, что...». «Новость с языка» стоила меньше, чем «бумажная новость / новость с пера», а к известиям от ростовщиков / купцов / торговцев относились с вниманием, как и к брахманским, поскольку и те, и другие передвигались на большие расстояния (194, 94). Торгово-ростовщическое сословие к тому же было объединено широкой циркуляцией дорожных чеков для финансового обеспечения экспедиций Маратхской конфедерации, охвативших практически весь субконтинент; брахманы – от жрецов до знатоков священных текстов – также спешили в Махешвар, наслышав о меценатстве Ахилья-баи. В целом *вакилы* особенно ценили «общие беседы о том о сем», без наводящих вопросов, как способ – в результате случайной проговорки – добывания важной информации: «Кто ответит честно на прямой вопрос?» (40, 16). Некоторые новости сопровождалась пометкой «зрелые-незрелые», как плод, который приходится пробовать; и почти все письма повторяли словесные формулы: «Бог его знает, правда это или вранье» и «неужели это так?»

Письмо от 1795 г. из Махешвара в Пуну содержит рассказ об обычном дне из жизни тогда уже 70-летней Ахилья-баи: она «заслушала все послания, зачитанные ее придворными. Среди них было и письмо от пешвы с приложенной к нему копией сообщения от посла наваба. Она немного поразмышляла над ответом пешве, а потом на протяжении четырех часов надиктовывала распоряжения своим сборщикам налогов, поставленным у горных

перевалов и границ [чужих владений]...» (Тхакур, s.a. С. 77). Другой метод подразумевал взаимодействие ее секретарей, которые сочиняли черновик и подавали его «матушке» на исправление и утверждение (132, 52).

Построчный анализ 125 писем не оставляет сомнений, что кругооборот новостей, осуществляемый в результате движения почтовой корреспонденции, а следовательно, ее переносчиков, по охваченному столкновениями между тремя магистральными и сонмом локальных культур субконтиненту, лежал в основе отложенного управления правительницы династии Холкаров, одновременно осуществлявшей сюзеренитет над двумя десятками княжеств в Северо-Западной и Центральной Индии. Прерывание этого кругооборота или потеря образующих его звеньев означали утрату контроля над информацией, т.е. профанацию формулы «знание – власть», что ставило под удар дееспособность Махешвара как государственного образования.

В отличие от неплохо изученной организации почтовых служб в более длительные и основательные могольский и британский периоды, устройство кругооборота материальных предметов – писем – в маратхское «лихолетье» известно только в общих чертах. Конечно, маратхи использовали если не структуру, то принципы, заложенные в функционировании имперской почты моголов, перешедшие к последним из эпохи Шер-шаха Сури (XVI в.). Однако маратхи не обладали ни временем, ни ресурсами для создания своей полноценной системы, вернее, переплетающихся систем – как центральной – пунской, так и частных, подчиненных тому или иному князю. Взлет этой амбициозной и динамичной региональной силы оказался дерзким и стремительным, и расширение владений за пределами маратхиязычного хартленда опережало создание в них государственных структур, в том числе обеспечение циркуляции информации.

Работе почтового департамента (*tapalkhate*) посвящены полторы странички в книге «Махараштра времен пешв» (Bhave, 1976. P. 408–409), где упоминаются две различные системы – «государева почта» (*sarkari dak*) и «торговые письмоносыцы» (*savkari jasud*), *дзасуды*. Вслед за ними, без пояснений, называются еще две категории курьеров – *кашиды* (*kashid*) и *харкара* (*harkara / harkarya*). Один из примеров отсылает к письму *пешвы*, отсланному представителю Конфедерации в Дели в начале 1750 годов, т.е. в первый, до-Панипатский, период маратхского взлета. Оно содержит перечень выплат *кашидам* в зависимости от сроков доставки корреспонденции: при преодолении расстоя-

яния между Пуной и Дели (около 750 миль / 1230 км) за 16 дней, ставка составляла 50 рупий, за 17 дней – 40 рупий, за 18 дней – 30 рупий, а дальнейшее увеличение срока не оплачивалось вовсе. По подсчетам В.К. Бхаве, автора книги, наивысшая премия подразумевала скорость в 45 миль в день. Источником приводимого им другого примера являются «Письма, [отправленные] из махраттского лагеря в 1809 г.» (Broughton, 1977), в которых отмечается, что *харкара* были весьма подвижны и смыслены, занимались шпионажем, охраной дорог и доставкой почты за три рупии в день. Помимо упоминания о том, что письмоносцы, или бегуны (*dauria* и *gunners* – так их называют в хинди- и англоязычной литературе), путешествовали парами из-за трудностей и рисков, подстерегающих в пути, Бхаве утверждает, что именно Нана Пхаднавис преуспел в организации наиболее надежной и действенной почтовой циркуляции. Тем самым сюжет настоящей статьи – движение корреспонденции как условие функционирования политики – обретает особое значение: Виттхал Шамрадж и Кешав Бхикаджи писали из Махешвара не кому-нибудь, а именно Нане. От этого мощного политика, в значительной степени потеснившего *пешв*, во многом зависела как судьба всей Конфедерации, так и его отдельного звена – государства Холкаров и его правительницы.

Эпистолярная зависимость Ахилья-баи, явно обостренная в период турбулентных событий 1789–1793 гг., т.е. Первой англо-маратхской войны, а также других военных и политических кампаний с участием маратхов, показывает, что у нее не было собственной налаженной системы почтового сообщения и она вынужденно прибегала к посредникам. Публикация об Аламपुरе (Бунделкханд), месте смерти основателя династии Малхар-рава, упоминает «брахманскую сеть из Джайпура», которой пользовалась Ахилья-баи (Chandel, 1994. P. 24). Брахманские почты как коммерческие предприятия охватывали своей деятельностью определенную территорию, на перегонах которой ставили почтовые пункты для передачи корреспонденции, дорожных чеков и прочих материальных предметов следующей паре бегунов. Вышеупомянутая «джайпурская», услугами которой мог воспользоваться любой, обладавший средствами на оплату, функционировала в пределах Раджпутаны, подконтрольной Холкарам (и отчасти Шинде), и Малвы. Другие направления и отдельные участки обслуживались другими брахманскими сетями, т.е. отправка писем в разные концы Индии подразумевала обращение к многочисленным посредникам и повышала риски конфиденциальности. С этим и был

связан тот факт, что письма дублировались и передавались также через брахманов-странников, которые курсировали небольшими группами между святыми местами с заходом к щедрым патронам и исполняли поручения по передаче устных и письменных сообщений.

Джон Малколм, агент Ост-Индской компании в Малве в период Третьей англо-маратхской войны 1817–1818 гг., создатель концепта «Центральная Индия» и первых версий истории тамошних маратхских династий, в том числе Холкаров и Шинде/Синдия, пользовался опросами поколения, еще помнившего Ахилья-баи. Он подчеркнул, что правительница состояла в переписке с самыми отдаленными уголками Индии и доставку ее корреспонденции осуществляли брахманы, «потребители ее благочестивой щедрости, беспримерной и безграничной» (Malcolm, 1824. С. 186). Это свидетельство расширяет региональный профиль брахманов, как о том же свидетельствуют и авторы махешварских посланий, сообщая о религиозных праздниках, в которых участвует по несколько тысяч брахманов из Махараштры и Южной Индии (163, 72; 213, 105).

Послания из Махешвара содержат несколько лексем, которые подразумевают различные почтовые возможности: «государева почта», а также *дзасуды*, *кашиды* и *худзре* (но не *харкара*) как разные категории письмоносцев. Именно «государева почта» и представляет собой более или менее стабильный институт и важнейший признак состоявшейся государственности, поскольку основывается на замере расстояний, обустройстве в равных интервалах почтовых станций и подответственности администрации территории, по которой проходит маршрут парных бегунов, будь то *дзасуды*, *кашиды* или *худзре*. Подобная структура складывается в результате реальной власти правителя, распространяемой за пределы его двора, что предполагает определенный уровень интеграции территории и ее жителей. Как свидетельствует письмо Виттхала Шамраджа, датированное началом его службы в Махешваре – июнем 1779 г., регулярной связующей линии между Ахилья-баи и Пуной не существовало, поскольку «создание почтовой службы являлось царской / княжеской прерогативой» (Bayly, 1996. С. 60), а номинальным главой государства Холкаров оставался Тукоджи. Писец спрашивает Нану Пхаднависа: «С кем мне отправлять донесения? Как только Холкар тронется с места, почта последует за ним. У меня здесь нет ни одного человека. Если вы вышлете распоряжение о содержании дзасуда или кашида, я этим займусь. Может быть, вы уже предприняли шаги по организации сюда почтовой связи (*dak*) либо дзасуда или кашида?» (164,

72). Еще одно письмо сообщает о наличии у Тукоджи десяти пар *дзасудов* (164, 72).

На следующий год регулярная связь из Пуны – именем *нешвы* – была установлена, как следует из письма, датированного сентябрем 1780 г., но одновременно *вакил* жалуется, что шесть писем, отправленных после этого с *кашидами*, которые к тому же выказывали нежелание принимать почту, остались неподтвержденными (43, 18). Некоторые письма сообщают о длительных перерывах – вплоть до пяти месяцев – в почтовом кругообороте (150, 65); другие упоминают о депешах, посланных с парой *кашидов*, и о денежных требованиях в связи с предстоящим бракосочетанием *нешвы*, пришедших с «государевой почтой» и одновременно с купеческими *дзасудами*. Посланники Наны уведомляют его о том, что и свой ответ, и их донесение Ахилья-баи наказала отправить в Пуну опять же с купеческими *дзасудами* (204–205, 99), передвигавшимися с торговыми караванами под вооруженной охраной. В письмах несколько раз фигурирует имя купца / ростовщика Кхетси, чьи *кашиды* доставляли – «на языке» – весьма важную информацию, в том числе, об осаде войсками Махаджи Шинде крепости в Гвалиоре, и данные о диспозиции основных политических сил (200, 98; 203, 99). Именно высокие дорожные риски предопределяли отсылку любого послания официальной почтой и для страховки с парой *кашидов* или же с парой *дзасудов*, о принадлежности которых той или иной почтовой сети писцы не упоминают. Иногда, впрочем, они сообщают, что «государева почта» оказалась на два дня быстрее *кашидов*, которые, к тому же, торгуются по поводу вознаграждения (238, 121; 164, 86).

К.Э. Бэйли, ссылаясь на источники, предполагает «иерархию агентов – от высокообразованных до самых низких. Некоторые бегуны-соглядатаи официально состояли на службе у княжеских дворов или были напрямую связаны с [обладающими ресурсами] персонами... Другие входили в «осведомительные сообщества» под началом административного чина или купцов-ростовщиков и нанимались любым, кто мог оплатить их услуги. Термин *harkara*... отчасти подразумевает разведывательную деятельность; арабское *kassid* обычно означал бегунов на большие расстояния. *Jasud* было то же, что шпион, и вовсе могло быть не связано с бегуном, хотя значения всех этих слов пересекались» (Bayly, 1996. P. 60). Исследованный мной материал пока не подтверждает это обобщение.

Стиль махешварских посланий монотонен: корреспонденты не задаются поиском синонимов, чтобы избежать повторов, поэтому использование ими разных лексем могло отражать некий спектр

возможностей. Например, к Ахилья-баи, медлившей с выполнением финансовых требований Пуны, периодически прибывали не только *дзасуды*, но и *худзра*, т.е. представители *нешвы* по деликатным поручениям. Они демонстрировали красноречие и власть над слушателями панегириками в честь господина (207, 102) и не трогались с места, не добившись ответа (234, 119), т.е. принуждение было составной частью их миссии.

Прочтение махешварской корреспонденции указывает на то, что почтовая организация была многоуровневым институтом и в рассматриваемый период Ахилья-баи не располагала собственной службой, свидетельствующей о зрелости ее политики. Она полагалась на общедоступные брахманскую и торговую сети, обеспечивавшие циркуляцию ее посланий и ответных писем, а также на «государеву почту», проложенную из Пуны для коммуникации с Наной Пхаднависом. Помимо этого, правительница пребывала в определенной зависимости от почтовой службы Махаджи Шинде, ближайшего соседа-соперника и ключевой фигуры как в Конфедерации, так и в Индии в целом. Письмо, датированное маем 1780 г., рассказывает как Тукоджи Холкар, носитель того же ранга, что и Махаджи, был уведомлен о сепаратных переговорах последнего с англичанами и Рагхойей, постоянно бунтующим дядей *нешвы*. Оба *дзасуда*, распоряжением Тукоджи отправленные с донесениями в Махешвар и Пуну, были задержаны на почтовой станции, принадлежавшей Шинде, и бумаги конфискованы (19, 7). Этот эпизод иллюстрирует не только готовность Махаджи к перехвату холкарской корреспонденции, но и его дальновидность в налаживании собственной структуры получения и передачи информации. Более того, по его приказу его посланник при дворе Ахилья-баи учредил регулярное курьерское сообщение между Махешваром и Удджайном, чтобы иметь ежедневный доступ к делам Холкаров (39, 15). В итоге Ахилья-баи оказалась вынужденной отправлять собственные письма с гонцами, блюдушими интересы Шинде (148, 64). Авторы махешварских писем, понимая важность собственного почтового института, отмечали, что Шинде переписывается с Пуной посредством своих *кашидов* (202–203, 98).

Именно в рассматриваемый период – с 1779 по 1783 г. – Ахилья-баи выказала неготовность вкладываться в организацию почты. Во всяком случае, Виттхал Шамрадж сообщает в одном из писем о том, что он привлек внимание «матушки» к трудностям, которые выпадают на долю бегунов, и посоветовал обустроить для них безопасный ночлег. Он

также подсказал сооружение вдоль дорог – на некотором расстоянии – навесов для защиты от дождя или солнца. В соответствии с общими нормами, курьеры рассчитывали на обеспечение их мукой, топливом и местными проводниками со стороны деревенских общин по маршруту следования. Однако во владениях Холкаров промышляли банды грабителей и полудикие племена бхиллов, поэтому жители деревень не желали идти на лишние риски. Реакцию Ахилья-баи корреспондент описал как «яростную»: «Этим я заниматься не буду. Кашиды получают оплату. Пусть сами и разбираются» (202–203, 98).

В завершающий период своего правления Ахилья-баи все-таки осознала значение государственного контроля за циркуляцией корреспонденции и к концу 1790 г. задумалась о создании собственной почтовой службы, по крайней мере, на важнейших маршрутах (Thakur, s.a. P. 117). Это намерение вызревало еще около двух лет, и только в 1793 г. она возложила не некоего Падамси Ненсе учреждение между Махешваром и Пуной «через каждые 10 косов почтовых станций» и «найм 20 пар бегунов» за ежемесячную выплату в 204 рупии. Дистанцию полагалось преодолевать за пять с половиной – шесть дней, а в случае задержки назначался штраф (Ibid. P. 92–93). Как следует из этого распоряжения, доставка корреспонденции превращалась в эстафету, что сокращало количество дней с 15 до пяти-шести и уменьшало период неопределенности в методике отложенного управления.

Эта мера существенно запоздала и никоим образом не сказалась на фортуна холкарского государства, так как ветер истории уже дул в паруса другой магистральной культуры. Махаджи Шинде, безусловно, перерос этно-региональный характер Маратхской конфедерации и, осознавая себя практически главным лицом в Северной Индии, в значительной степени вышел из-под контроля Пуны. Он умер в 1794 г., ожидая дипломатического рандевю не с внешним врагом, но с внутренним конкурентом – Наной Пхаднависом. В 1795 г. скончалась Ахилья-баи, и Тукоджи стал на два года – до своей смерти в 1797 г. – единоличным главой государства Холкаров. Нана, последний столп Конфедерации, ушел из жизни в 1800 г., но еще до этого, в 1797 г., преемник Махаджи убил одного из сыновей Тукоджи и арестовал Нану, а другой сын Тукоджи напал на Пуну и обратил в бегство *пешву*. Наступили сумерки, но полная ночь над маратхами разверзлась в 1818 г. после их окончательного поражения более мощной магистральной культурой англичан.

Латинская формула *scientia potential est* – «знание – сила» – верна, но поверхностна: знание должно быть своевременным и даже упреждающим. Ценность информации утрачивается, если она поступает с запозданием, и поэтому первостепенным становится контроль за ее движением, что подразумевает и обеспечение соответствующих условий. Холкарская почта – каков бы ни был ее реальный потенциал – как официальный институт в условиях дуумвиратного правления оставалась в распоряжении постоянно кочующего Тукоджи, что позволяло ему сохранять определенную независимость от брахманских и торговых сетей. Однако его собственная подвижность, как и отсутствие необходимых финансовых рычагов, не предполагала его вовлеченности в создание соответствующей инфраструктуры вдоль дорог, где вершилась история Южной Азии, а малоподвижная Ахилья-баи безнадежно поздно разглядела в почтовой службе признак состоявшейся государственности. В динамичной магистральной культуре маратхов она оказалась воплощением локальности, и, в значительной степени оторвавшись от родной почвы Махараштры, превратилась в региональный бренд штата Мадхья-Прадеш, главный финансовый и индустриальный центр которого – Индор – отобрал у Махешвара право называться «городом Ахильи».

В «Мемуаре о Центральной Индии включая Малву и прилегающие провинции», составленном на волне английского триумфа в результате победы над самой мощной южноазиатской экспансионистской политией XVIII в., Малколм писал: «... за исключением Ахилья-баи, не было в Центральной Индии маратхского суверена, которого можно было бы назвать благочестивым» (Malcolm, 1832. P. 124–125). При всем очевидном евроцентризме этого идеалистического представления, возможно, с этой оценки, уже после заката Маратхской конфедерации, начала восходить звезда Ахилья-баи не «матушки», но суверена, государственного деятеля высочайшей пробы. Еще через два десятилетия и переиздания популярного «Мемуара», начитавшись Малколма, восхитилась «историей мудрой и доброй правительницы» (Baillie, 1849. P. iv) шотландская поэтесса Джонна Бэйли. Она посвятила Ахилья-баи восторженную поэму (*Была в иные времена / Нам Брахмой госпожа дана. / Великодушна и умна, / Звалась Ахальею она*) и назвала «тридцатилетний срок ее правления периодом мира и процветания для всей ее страны», которая, к слову, только после подписания в 1818 г. субсидиарного договора с Ост-Индской компанией узнала о том, что она – княжество, а ее «матушка» – княгиня, или *рани*.

Ахилья-баи представляла собой неординарный тип правителя вовсе не потому, что была женщиной, – индийская история знает такие примеры, но потому, что избрала малоподвижность как образ жизни. Она редко и ненадолго покидала скромный дворец, защищенный рекой и крепостными стенами, для посещения близких святынь, и в решающие три десятилетия тотальной неуспокоенности, динамика которой определила дальнейшую судьбу Индии, оставалась островком стабильности. Она лично не участвовала в кровавых боях, грабежах и смене союзников, что периодически раздирало Маратхскую конфедерацию изнутри: ее репутация «великой» сложилась за счет ее религиозности, славу о которой разнесли по субконтиненту десятки тысяч брахманов, которых она щедро привечала и одаряла. Ее имя также связано с капиталовложениями в сохранившиеся до наших дней культовые объекты по всей Индии, именно поэтому Ахилья-баи, постепенно поднимаясь над этнической идентичностью и отрываясь от негативных исторических ассоциаций, связанных с маратхской экспансией, оказалась признанной выдающимся государственным деятелем, внесшей огромный «вклад в формирование общенационального пространства».

Одно из уже современных сравнений уподобляет ее свекра пришельцу Бабуру, который заложил основу Могольской империи, а ее саму – великому императору Акбару, построившему на этой основе мощное государство (Chandel, 1994. P. 21). Во всяком случае, из «века, принадлежащего маратхам», в «пантеон великих» на территории дельийского парламента доступ получила только Ахилья-баи, а Махаджи Шинде, Тукоджи Холкар, Нана Пхаднавис и многие другие, без которых «матушка» вряд ли обрела бы неисчерпаемую эпистолярную тему, оказались прочно забыты. Хранительница «Северных ворот Пуны» стала для меня тем самым «персонажем-гидом», «человеком элиты, субъектом решений и действий» (Головнев, 2009. С. 28), поиск и обнаружение которого оказался необходим для реконструкции научной истории, погребенной под двумя столетиями последующего мифотворчества. «Движущиеся факты», т.е. письма из Махешвара, не только запечатлели ее подлинный образ и сферу компетенции, но и вскрыли особый стиль ее отлаженного управления, диктуемого кругооборотом новостей.

ЛИТЕРАТУРА

Антонова 1958 – Антонова К.А. *Английское завоевание Индии в XVIII в.* М.: Издательство восточной литературы.

Ванина 2013 – Ванина Е.Ю. Индия: на переломе // А.О. Чубарьян (глав. ред.). *Всемирная история в шести томах.* Т. IV. Мир в XVIII веке. М.: Институт всеобщей истории РАН, «Наука».

Глушкова 2008 – Глушкова И.П. *Подвижность и подвижность. Теория и практика тиртха-ятры.* М.: Наталис.

Глушкова 2012 – Глушкова Ирина. Кровавая бойня при Панипате (1761): живые и мертвые // Глушкова И.П. (отв. ред.). *Смерть в Махарастре. Воображение, восприятие, воплощение.* М.: Наталис.

Головнев 2009 – Головнев А.В. *Антропология движения (древности Северной Евразии).* Екатеринбург: УРО РАН, «Волот».

Ali 2003 – Ali Athar M. Recent Theories of Eighteenth-century India // Marshall P.J. (ed.). *The Eighteenth Century in Indian History. Evolution or Revolution?* New Delhi: Oxford University Press.

Baillie 1849 – Baillie Joanna. *Ahalya Bae: a Poem.* London: Printed for Private Circulation.

Bayly 1996 – Bayly C.A. *Empire and Information: Intelligence Gathering and Social Communication in India, 1780–1870.* (Cambridge Studies in Indian History and Society). Cambridge: Cambridge University Press.

Bhave 1976 – Bhave Vasudev Krishna. *Peshvekalin maharashtra.* Navi dilli: Bharatiy itihās anusandhan parishad.

Broughton 1977 – *Letters from a Mahratta Camp during the Year 1809. Descriptive of the Character, Manners, Domestic Habits and Religious Ceremonies of the Mahrattas.* Calcutta: K.P. Bagchi & Company (1813). Reprint: Indian Council of Historical Research (1813).

Chandel 1994 – Virendrasinh Chandel. *Holkar rajvamsh aur alampur.* Alampur: Narendrasinh chandel.

Indore State 1996 – *Indore State (Reprint). Gazetteer of India.* Bhopal: Gazetteer Unit. Directorate of Rajbhasha evam Sanskriti. Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

Macdonald 1927 – Macdonald A. *Memoir of the Life of Late Nana Farnavis. Compiled from Family Records and Extant Works.* L.: Oxford University Press.

Malcolm 1824 – Malcolm John. *A Memoir of Central India, including Malwa, and Adjoining Provinces,* vol. I. London: Printed by S. and R. Bentley.

Malcolm 1832 – Malcolm John. *A Memoir of Central India, including Malwa, and Adjoining Provinces,* vol. II. London: Parbury & Allen, (third ed.).

Marshall 2003 – Marshall P.J. Introduction // Marshall P.J. (ed.). *The Eighteenth Century in Indian History. Evolution or Revolution?* New Delhi: Oxford University Press.

Parasnis 1910 – Parasnis Dattatray Balvant. *Maheshvardarbarci batmipatre [karkird Ahalyabai Holkar].* Bhag 1. Mumbai: Nirnaysagar chapkhana.

Sardesai 1948 – Sardesai G.S. *New History of the Marathas. Sunset over Maharashtra [1772–1848].* Vol. III. Bombay: Phoenix publications.

Thakur s.a. – Thakur V.V. *Life and Life's–Work of Shree Devi Ahilya Bai Holkar.* Indore: Nai Duniya Press.

«ЖИЗНЬ В СЕДЛЕ»: МЕХАНИЗМ ДОМИНИРОВАНИЯ БРИТАНСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ИНДИИ

На протяжении двух столетий, приблизительно с середины XVIII до середины XX в., на территории современной Южной Азии господствовала пришлая культура британских колонизаторов. Добравшись сюда из Европы по морю, они начали продвижение от береговых опорных пунктов (Бомбей, Мадрас, Калькутта) в глубь субконтинента, постепенно смыкая завоеванные и подчиненные земли в относительно единое территориальное образование под названием Британская Индия. Узурпировав рычаги политического управления и контроля в его границах и заметно урезав свободу действий местных правителей в формально независимых княжествах, они стали навязывать свои, удобные им модели внутри- и внешнеполитических, экономических, социокультурных отношений. Это была очередная новая магистральная культура, которая своим массивным вторжением подмяла под себя прежних властителей Индостана в лице Великих Моголов и относительно молодую силу – Маратхскую конфедерацию, так и не успевшую набрать политическую мощь, превратив их в игроков локального уровня³⁷.

В 1830-40-х годах территориальный костяк Британской Индии сложился в общих чертах. И хотя в дальнейшем ее пространственные контуры еще не раз изменялись, но в это время на смену целенаправленной политике земельных приращений пришла кропотливая работа по планомерному, упорядоченному, широкомасштабному освоению приобретенных экономических, природных, человеческих ресурсов, а также укреплению своей власти. Проводником этой «мирной» политики был уже не воин или князь, но чиновник. Именно он, член Индийской гражданской службы (ИГС), в XIX в. превратился в главное действующее лицо на индийской колониальной сцене и стал персонализированным воплощением британского Раджа для сотен тысяч индийцев на местах. Образ жизни чиновника не сильно отличался от того, который вели его служивые коллеги, коротавшие дни и ночи в походах и на маршах. Робер Каст, в 1846 г. назначенный главным уполномоченным дистрикта Хошиярпур (Hoshiarpur), только что присоединенного к Британской Индии в результате Первой англо-сикхской войны, записал в своих мемуарах: «Как описать остаток 1846 года и последующие

1847, 1848 и 1849 годы? Мир, Спокойствие и сверхинтересные Обязанности... Я прокладывал дороги там, где их никогда не бывало; установил земельный налог в денежной форме и собирал его до последней рупии; вешал убийц и заключал в тюрьмы воров; поддерживал дружеские отношения с местными князьями, одновременно давая им понять, что такое покорность. Но главной чертой той жизни, которую я вел, была необходимость быть постоянно в седле и преодолевать огромные расстояния ...» (Каст, 1899. С. 28–29). «Жизнь в седле» – емкая, собирательная характеристика будничной практики осуществления власти колонизаторами в процессе их оседания и обживания новых пространств. Настоящая статья посвящена именно таким будням, перенасыщенным движением, и подвижности как способе рутинного, каждодневного бытования и дальнейшего укоренения магистральной культуры на присвоенных ею землях. Анализ опирается на одно из типичных произведений письменного колониального наследия – мемуары британского чиновника Уильяма Тэйлера «38 лет в Индии: от Джаганнатха до Гималайских гор» (Тэйлер, 1881; 1882). «Моя жизнь в Индии... была разнообразной и полной событий. Я посетил почти все станции в Ориссе и Бенгалии, не только страдал от невыносимой жары равнин, но и наслаждался восхитительными пейзажами и бодрящим климатом Дарджилинга, Симлы и Непала, служил во всех государственных департаментах, в том числе в качестве генерального почтмейстера, я не единожды подвергался опасности. Могу добавить, что я отправился в Индию в 1829 г. совсем юношей, а вернулся через 38 лет дедушкой с огромным количеством внуков». Так начинаются мемуары, автор которых символично вынес в название не вехи своего жизненного пути, а начальный и конечный пункты освоенного им за четыре десятка лет географического пространства.

* * *

Британская Индия была поделена на президентства и провинции, а те в свою очередь на дистрикты, число которых постепенно увеличивалось. К концу XIX в. их насчитывалось уже 250. Дистрикты объединялись в более крупные административные единицы (division). В каждом дистрикте был административный центр (станция) со штатом чиновников, высший должностной состав которого был уком-

³⁷ Подробнее о магистральном и локальном типах культур см. (Головнев, 2009).

плектован британцами, членами ИГС³⁸. Если учесть, что численный состав службы единовременно не превышал в среднем 1200 человек, а территория Британской Индии к 1871 г. составляла около 900 тыс. кв. миль с населением около чуть более 190 млн человек (Уотерфилд, 1875. С. 5), то становится понятным, что эта небольшая группа людей была рассеяна по гигантскому индийскому субконтиненту очень «тонким слоем». Как правило, администрация дистрикта не превышала десятка европейцев: судья, магистрат, коллектор³⁹. У них в подчинении находились заместители из британцев и помощники из числа как британцев, так и местных жителей. Представители низших чинов в состав ИГС не входили. При всей дробности административного деления дистрикт представлял собой довольно большую территорию: в Мадрасском президентстве некоторые дистрикты достигали площади в 12 тыс. кв. миль; в Бенгалии, считавшейся более освоенной территорией, дистрикты составляли от 1,2 до 6 тыс. кв. миль со средним населением около 1 млн чел. Поэтому неременным условием эффективности управления и поддержания порядка, осуществления контроля и, что немаловажно, демонстрации своего присутствия на подчиненных землях была высокая степень мобильности служащих. Известна характеристика идеального дистриктного чиновника, данная главным уполномоченным Панджаба сэром Дж. Лоуренсом в середине века: «Это упорный и активный человек в сапогах и бриджах, который практически живет в седле, работает весь день и почти всю ночь, ест и пьет там и тогда, где и когда это получится, не имеет связывающих его семейных уз и чей скарб составляет походная койка, стол, стул и маленький ящик с одеждой, которые все могут быть погружены на одного верблюда. Идеальный магистрат должен решать все дела, сидя на лошади у деревенских ворот или под деревом у деревенских стен... Жара, солнце, дождь, погодные катаклизмы любого сорта не должны волновать его. В его жизни нет места изяществу, пригодным для гостиной» (цит. по ([Эвинг 1982])). Эти слова и эта история лишь до известной степени являются преувеличением. У. Тэйлер успешно обзавелся в Индии семьей и родил восемь детей, но правда и то, что почти все они появились на свет в разных местах Бенгалии.

Наряду с кружением дистриктных чиновников по вверенным им территориям в связи с выполне-

³⁸ До 1854 г. существовала система патроната для поступления на ИГС. В 1854 г. была введена система экзаменов, в результате чего отбор на службу стал происходить на основе личных результатов претендентов.

³⁹ Подробнее об устройстве дистриктной администрации см. (Чесни, 1870. С. 176–188).

нием на регулярной основе рутинных обязанностей, таких как сбор налогов, судопроизводство, поддержание порядка, организация общественных работ и развитие образования, при центральном правительстве существовали и отраслевые департаменты. Их служащие осуществляли сквозное движение через дистрикты и провинции с целью сбора, учета, переписи данных касательно индийских сельскохозяйственных угодий, систем землепользования и налогообложения, географических и климатических условий, полезных ископаемых, флоры и фауны, населения, делали описания народов, проживающих на территории Британской Индии, их обычаев, религиозных традиций и практик, социальных институтов, исторических памятников.

Общегосударственные задачи и особенности административного управления Индией кроили и формировали личные судьбы людей. Те, кто приезжал в колонию на службу, как правило, планировали сделать карьеру. На это уходили десятки лет. Поэтому заглавия колониальных мемуаров, и тэйлеровские в этом смысле не исключение, воспроизвели одну и ту же превратившуюся в клише формулировку: «21 год в Индии...», «41 год в Индии...», «Мои 30 лет в Индии...». Прибывавшие в Индию юные новобранцы недолго задерживались в столичных городах: получив назначение, они устремлялись в глубь континента. Из-за того, что в дистрикте штат был невелик, а количество должностей ограничено, сделать карьеру в одном месте удавалось редко. Назначение на должность следовало после того, как появлялась вакансия, как правило, в другом месте. Поэтому в колониальной Индии вертикальное движение вверх по служебной лестнице сопровождалось физическим передвижением по горизонтали – в географическом пространстве. Единственное, чем ограничивалась территория профессионального роста, так это языковыми возможностями претендентов: ротация происходила внутри того региона, языками которого владели чиновники. Их жизнь превращалась в нескончаемую череду переездов. Достаточно просмотреть оглавление мемуаров Тейлера и многих других, где каждая глава знаменует прибытие на новое место, чтобы составить представление о затейливых маршрутах передвижений их авторов, а сами эти произведения относить не столько к жанру воспоминаний о жизни, сколько к травелогам, путевым заметкам, полным впечатлений от увиденного и описаний мало знакомого мира. Если составить дайджест 1000-страничных мемуаров Тейлера, то его жизненный, чиновничий путь предстанет в виде следующего перечня населенных пунктов Бенгальского президентства:

1829	Каттак	помощник уполномоченного
1834	Бурдван	магистрат и коллектор
1839	Каттак	магистрат и коллектор
1842	Бакергандж	судья
1843	Ховра	магистрат
1843	Миднапур	судья
1844	Кишнагар	магистрат
1845	Калькутта	главный почтмейстер
1850	Аррах	сессионный судья
1855	Патна	уполномоченный
1858	Майменсингх	судья
1860	Патна	адвокат

Работа в дистрикте представляла собой чередование монотонного сидения в офисе за канцелярской работой, написанием отчетов, отправлением правосудия и т.п. и объездов вверенных территорий. Объезды имели, как правило, какие-либо цели: рутинные, регулярные – сбор налогов, разбирательства по жалобам, поимка преступников, или уникальные, разовые, как, например, порученная Тэйлору в 1834 г. переоценка земель в дистрикте Каттак. Такая переоценка проводилась периодически на территориях, где не была введена система постоянного налогообложения. Ее цель состояла в том, чтобы привести в соответствие доходность земли с уровнем налога. Он на месяц отправился в *моффусил (moffusil)*⁴⁰, где каждое утро выезжал на участки и проводил сверку счетов (Тэйлер, 1881. Т. I, с. 126). В его распоряжении имелись *чанпрасси (chuprassy)* – помощники-посыльные из местного населения, состоявшие на официальной службе⁴¹. Перемещаясь между деревнями, он брал с собой слуг, и некоторая их часть выезжала заранее с вещами для обустройства стоянки, как правило, неподалеку от резервуара с водой. Они устанавливали там вместительную палатку и помещали в нее стол, кровать – *чанрой*⁴² и другую утварь. С собой у чиновника было несколько лошадей, которые сменялись, как правило, каждые 10 миль. Для организации промежуточных ночлегов имелась маленькая

⁴⁰ Местность за пределами дистриктного/столичного центра, сельская глубинка.

⁴¹ Происходит от слова *chapraas* – значок, который крепился к одежде или ремню с названием департамента приписки *чанраси*.

⁴² «Кровати в Индии очень легкие. Таковую кровать в состоянии переносить один человек. Она должна быть у каждого путешественника, слуга несет ее на голове. Кровать имеет четыре ножки, на которых установлены четыре перекладыны, соединенных между собой переплетенными шелковыми или хлопковыми лентами. Когда вы лежите на ней, вам не требуется ничего дополнительного, чтобы придать ей большую эластичность» (цит. по: [Хобсон-Джобсон, 1996. С. 185]).

палатка – *шуддари (shooldarry)* (Тэйлер, 1882. Т. II, с. 22–23).

Четырьмя годами позже, уже в Бурдване, Тэйлор временно занимал должность специального помощника коллектора по установлению прав собственности на освобожденные от арендной платы земельные владения. Еще с добританских времен в Бенгалии существовало большое количество довольно обширных поместий, которые в качестве дарений от императоров и князей были полностью освобождены от налогообложения. В 1836 г. было принято решение разобраться с ними и по возможности ликвидировать синекуру. Так как зона ответственности Тэйлера охватывала несколько дистриктов, приходилось перемещаться из одного в другой. «После нескольких месяцев, в течение которых я решил большинство вопросов в Бурдване, мы стали готовиться к отбытию, расстались с домом и отправились в Хугли... Когда же я и там урегулировал основную массу прецедентов, мы распорядились относительно отъезда в третий дистрикт – Бирбхум» (Тэйлер, 1881. Т. I, с. 201–203).

Параллельно с переоценкой земли и установлением владельческих прав на нее по всей Индии шла глобальная работа по ее описи, которая длилась не один десяток лет. В дистрикте Каттак, куда в 1839 г. Тэйлер вернулся в качестве магистрата и коллектора, этим занимался лейтенант Туильер, состоявший на службе в департаменте государственных сборов (Revenue Survey), которую впоследствии, в 1847 г., он и возглавил. Тэйлер оставил несколько хвалебных слов в адрес Туильера и того крайне полезного дела, которым он занимался: «Результатом деятельности департамента было учреждение земельного дохода в стране и его серьезное увеличение в период, когда этот огромный и разветвленный департамент возглавлял Туильер. Вся Бенгалия, Бихар, Орисса, Северо-Восточные провинции и Пенджаб были детально описаны с точки зрения доходности их угодий... До этого исследования не существовало никакой точной информации относительно бесконечного числа маленьких поместий, подлежащих налогообложению... Разница между суммой, уплачиваемой государству в виде земельного налога теперь и раньше, наглядно демонстрирует важность такой экспертизы» (Тэйлер, 1881. Т. I, с. 278–279). Одновременно с оценкой земли происходил обмер и составление планов участков. Департамент создавал подробные карты с нанесением границ населенных пунктов, деревень, княжеств, поместий и других земельных владений. Все это требовало тщательного прочесывания местности силами множества людей. Тэйлер, описывая ураган, обрушившийся на Каттак, упомянул, что Туи-

льера с группой помощников и множеством обводования стихия застигла где-то в поле. В 1878 г. вторым изданием вышла книга *Memoir of the Indian Surveys*, в которой целая глава посвящена методам и инструментам для топографического исследования территорий (Клементс, 1878. С. 198–206).

Когда в 1845 г. Тэйлера назначили на пост главного почтмейстера, свои, преимущественно судебные, обязанности дистриктного чиновника он сменил на совершенно иные и по содержанию, и по масштабу. Теперь он действовал в рамках всей Бенагалии. Тэйлер должен был не только контролировать и налаживать работу почтальонов, но и отслеживать состояние дорог, мостов, других транспортных магистралей, от которого зависела скорость почтового сообщения. На этой должности он совершил несколько длительных многомесячных транзитных поездок из Калькутты до Бенареса, Катманду, Даржилинга. «Было признано желательным, чтобы я проехал через все Бенгальское президентство, проинспектировал несколько почтовых офисов и оценил состояние Великого Колесного пути⁴³ между Калькуттой и Бенаресом» (Тэйлер, 1881. Т. I, с. 452). Так как для путешествий подходили преимущественно прохладные месяцы, с октября по февраль, то поездку было решено разбить на два этапа: в 1847–48 гг. он добрался до Бенареса, а через год исследовал восточные области Бенгалии. Во время первого тура Тэйлер верхом ежедневно преодолевал расстояние от одного *дак-бунгало*, «почтового дома», до другого. *Дак-бунгало* служили одновременно почтовыми станциями и постоянными дворами для британских путников; они располагались в 13–14 милях друг от друга, что позволяло совершать путешествия без палаток, а их постройка и содержание находилось в ведении почтового департамента. Тэйлера сопровождали английский сержант, клерк, состоявший на службе Ост-Индской компании, несколько *чапраси*, ветеран почтовой службы, бенгалец Гобинд Банорджи и жена с горничной. Помощь Гобинда Банорджи, прослужившего в почтовом департаменте около сорока лет и знавшего все тонкости своего дела, «была неоценима во время тщательной проверки счетов и статистических данных в почтовых офисах *мофуссила*» (Там же. С. 455). На это в каждом *дак-бунгало* уходило по несколько часов. Поездка Тэйлора пришлась на тот период, когда заканчивалась перестройка Великого Колесного пути: «После реконструкции дорога в течение некоторого времени оставалась без мостов... Сэр Генри

⁴³ Тракт, который к моменту прихода британцев тянулся от Калькутты через Дели и Лахор до Хайберского прохода.

Хардинг (генерал-губернатор Индии [1844–1848]. – С.С.), приняв во внимание соображения военно-стратегического характера, приказал ускорить завершение строительства. ...В 1844 г. лейтенант Бидл был назначен ответственным за большую часть дороги и должен был за два с половиной года соединить ее в районе реки Баракур, что предполагало строительство около пятидесяти мостов. ... Недалеко от места переправы через нее, на станции Буркутта, мы встретили лейтенанта Бидла, который со всем рвением контролировал доверенный ему участок. Самой важной работой в тот момент было возведение моста Курумнаса» (Там же. С. 461–462). В Бенаресе, конечной точке маршрута, Тэйлер имел длительные «почтовые консультации» с главным почтмейстером города сэром Дональдом Маклеодом, будущим лейтенант-губернатором Панджаба (Там же. С. 466). После он повернул в обратный путь: «Мы погрузились в удобный шлюп со всем скарбом, рассчитывая добраться до Калькутты по воде (р. Ганга. – С.С.), попутно останавливаясь на день или больше на каждой станции с инспекцией почтовых отделений» (Там же. С. 468). Предполагалось, что на посту главного почтмейстера Тэйлер реформирует эту службу, которая была учреждена сравнительно недавно, в 1837 г. Результатом его исследований и поездок стал целый ряд отчетов и предложений, среди которых, в частности, введение обязательной предоплаты за почтовое отправление, использование марок вместо наличных денег и отмена франкирования (Там же. С. 410–12). Все эти нововведения, однако, были приняты гораздо позже, только в 1854 г.

Описанные выше эпизоды из жизни Уильяма Тэйлера демонстрируют, как мобильность чиновников служила механизмом освоения завоеванной территории, превращения ее в регулируемое пространство⁴⁴ через накапливание знаний и формирование на основе этих сведений различных государственных систем, фискальной, транспортной, судебной, административной и т.д.

* * *

Расстояния между географическими точками, где Тэйлер отправлял свои обязанности, составляли десятки и сотни миль, на преодоление которых самыми разнообразными способами уходили дни, недели и месяцы, сложившиеся в конечном итоге в

⁴⁴ Дж. Мэсселос, ссылаясь на работу Р.А. Доджсона (Доджшон, 1987), пишет: «В терминах политической деятельности ... пространство имеет отношение к доминирующей государственной власти. Будь оно общественным или частным, пространство регулируется государством и находится под его контролем. Это регулируемое пространство» (Мэсселос, 2008. С. 240).

38 лет почти непрерывного странничества. Его карьера – это путешествие не только в пространстве, но и во времени, с течением которого виды и скорость транспорта и коммуникаций изменялись и совершенствовались, и эти изменения сказывались на способах и характере управления колонией.

Решив связать свою профессиональную жизнь с Индией, Тэйлер в июле 1829 г. отправился в путь из Портсмута на парусном судне первого класса «Виктория», одном из так называемых Ист-Индиямен – самых больших по водоизмещению и грузоподъемности кораблей того времени. Трансокеанский рейс вокруг Африки завершился в октябре в Калькутте. Помимо пассажиров и грузов суда, курсировавшие между метрополией и колониальными портами, доставляли почту, как личную, так и государственную. Любой официальный запрос, отправленный из Индии или Англии, попадал к адресатам спустя недели и месяцы. Решение поставленных задач требовало обсуждения, согласований, сбора информации, порой вынесения на обсуждение парламента. В результате ответ возвращался через месяцы и годы. Как пишет К. Дэвей в книге об ИГС, «задержки снижали скорость принятия решений до улиточной, десятилетия прошли, прежде чем разрозненные части аграрного законодательства сложились в единый кодекс» (Дэвей, 1993. С. 4).

В то же время отсутствием технических возможностей для налаживания быстрых средств связи и соответственно недостатком действенных рычагов для контролирования из Лондона индийской администрации в первой половине XIX в. объяснялся высокий уровень независимости и властного потенциала ИГС, которая принимала многие решения по насущным и неотложным проблемам на свое усмотрение и самостоятельно определяла векторы внутренней политики в колонии. И точно так же как Лондон не всегда мог координировать действия Калькутты, так и связь между индийскими центральными властями и чиновниками в *мофуссиле* была непрочной и опосредованной. Работая «в поле», чиновники становились обладателями уникальных знаний, от которых зависели решения вышестоящих должностных лиц. Дэвей обращает внимание на «монополию на информацию индийских гражданских служащих, которые могли поставлять ее в удобном им свете. Они поднимали те вопросы, которые представляли для них ту или иную значимость и прикладывали соответствующие отчеты и рекомендации» (Дэвей, 1993. С. 5). Хотя зачастую имели место и явления обратного порядка, когда решения, принимаемые в центре, не всегда соотносились с реальным положением дел на месте. Вот что пишет Тэйлер о событиях

лета 1857 г., когда он был уполномоченным Патны⁴⁵. На фоне тревожных вестей из прилегающих районов о нарастании сипайского восстания⁴⁶ он предпринял превентивные меры по обеспечению безопасности белого населения в Патне, за что подвергся резкому осуждению со стороны лейтенант-губернатора Бенгалии Ф. Дж. Халидея (1854–1859) за несанкционированные действия и демонстрацию панических настроений. Этот конфликт имел для Тэйлера самые плачевные последствия – снятие с должности с последующим резким понижением в чине, длительные разбирательства и преждевременный выход на пенсию. На протяжении многих десятков страниц, где он описывает суть ситуации и пытается объяснить свою позицию, Тэйлер несколько раз упоминает расстояние между Патной и Калькуттой: «...я и представить себе не мог, что небольшая кучка брюзжащих людей сможет отравить сознание лейтенант-губернатора, который на расстоянии 400 миль, будучи загруженным другими проблемами, не имел ни малейшей возможности установить реальное положение дел»; «господин Халидей находился в 400 милях от Патны; телеграфная связь была нарушена, на кону была жизнь христиан, минуты были слишком драгоценны, чтобы растрчивать их на возражения и увещевания» (Тэйлер, 1882. Т. II, с. 236, 244).

Чтобы составить представление о практике и скорости передвижений чиновников интересно проследить, какими видами транспорта пользовался Тэйлер. Первый год своей индийской жизни он провел в Калькутте. Помимо «скопища кораблей, потрепанных паланкинов, скрипучих арб, поломанных колясок» (Тэйлер, 1881. Т. I, с. 30), которые составляли типичный столичный пейзаж, его неотъемлемым элементом были «допотопные» конные экипажи – *керанчи* (*keranchee*), ироничному описанию которых Тэйлер посвятил несколько начальных страниц своих мемуаров. Это «неописуемое транспортное средство представляет собой смесь обветшалой старинной кареты и бенгальской повозки», причем от последней позаимствована упряжь и пара индийских пони. «Никто никогда не видел *керанчи* новее, чем дохлый осел; кажется, что они сразу производятся полностью ржавыми... Во всем мире колесных экипажей от греческого *дифрос* до ирландской тачки нет ничего подобного: обшитые непрочными, плохо подогнанными друг к другу планками, они трясутся и грохочут под весом

⁴⁵ Очень высокий пост. В табели о рангах – следующий после лейтенант-губернатора Бенгалии.

⁴⁶ В современной историографии – Индийское народное восстание 1857–1859 гг., Первая война Индии за независимость.

четырёх, пяти, а то и шести толстых, лоснящихся бабу⁴⁷; местный кучер пинает и колотит изможденных пони, и весь этот вид и конструкция производят впечатление ненадежности, и, тем не менее, каким-то чудесным и невообразимым образом отдельные части удерживаются вместе...» (Тэйлер, 1881. Т. I, с. 64–66). В течение первых десяти-пятнадцати лет пребывания Тэйлера в Индии, то есть в 1830–40-е годы такие экипажи были очень популярны. Это был городской вид наемного транспорта, пригодный для передвижения на небольшие расстояния.

Особым шиком среди европейцев Калькутты считалось обзавестись арабским скакуном, что незамедлительно сделал и Тэйлер: «Лошадь завоевала мое доверие и снискала одобрение тем спокойствием и покорностью, с которыми позволяла мне гарцевать на очень близком расстоянии от колясок тех людей, с которыми мне хотелось поддерживать разговор» (Там же. С. 81). Променады, часто заканчивавшиеся совместными обедами, разнообразили светскую жизнь калькуттского общества. В городе, который для большинства европейцев был лишь временным пристанищем, и где состав колониального общества постоянно менялся, традиция медленных прогулок пешком, верхом, в экипажах и общения и обмена новостями «на ходу» и «напоказ» – была важным видом социальной практики, способом заявить о своем появлении/присутствии в локальном публичном пространстве, встроиться в местную систему иерархических отношений, успеть обзавестись полезными знакомствами и, может быть, устроить судьбу. Материальным атрибутам этого этикетного ритуала – хорошим лошадям, парадным экипажам, нарядам и другим деталям⁴⁸ – придавалось огромное значение, так как они демонстрировали статус, благосостояние и приверженность моде их владельцев.

Сменив столичные развлечения на жизнь в глухой провинции, Тэйлер расстался с арабской лошадью и пересел на менее породистую. Лошадей в Индии требовалось много для гражданских и в еще большем количестве военных нужд. Лишь незначительное их число обеспечивалось внутренними ресурсами. Например, уже упомянутый Р. Каст писал в мемуарах: «При сикхах⁴⁹ многие представители знати держали земли на условиях предоставления определенного числа всадников, поэтому в моем

⁴⁷ Бабу – в Британской Индии: клерк индийского происхождения.

⁴⁸ В национальном музее Salar Jung (Хайдарабад) целый зал отдан под коллекцию прогулочных тростей британского периода в Индии.

⁴⁹ Сикхи – исповедующие сикхизм (религия) панджабы, жители последней из покоренных британцами индийских политий.

распоряжении всегда имелось 50–100 лошадей, которые паслись неподалеку от дома или палатки... Со временем правительство заменило поставку лошадей денежными выплатами, но к этому моменту нужда в дальних поездках уже отпала» (Каст, 1899. С. 29). Лошадей нужных пород импортировали преимущественно из Австралии⁵⁰, что требовало больших усилий и затрат. Поэтому британцы в Индии еще с конца XVIII в. неустанно занимались выведением новых пород на основе местных, многие из которых «обладали хорошей выносливостью, родословной, но были слишком малы» (Джилбей, 1906. С. 53). Одним из типичных представителей индийского низкорослого непарнокопытного, описанию которого Тэйлер посвятил немало страниц, был индийский пони – *tamy (tattoo)*: «За своими рутинными занятиями *tamy* обычно выглядит чахлым, тощим, иногда упрямым и даже злым животным, тем не менее его неизменно отличают признаки породы, быстрая поступь, хорошая конституция и потрясающая выносливость. Он многофункционален. В Калькутте вы встречаете его на каждом углу, в *мофуссиле* он используется на самых разнообразных, но не тяжелых работах, в Моршедабаде, Патне и других частях Бихара его специализация – *экка* – маленькая однолошадная повозка, используемая местным сельским населением. ...В военных гарнизонах сотни *tamy* приписаны к кавалерии... Он также привлекателен для прапорщиков, которые не могут позволить себе завести лошадь...» (Тэйлер, 1881. Т. I, с. 71–72). Лошади были незаменимы для путешествий на относительно большие дистанции в пределах дистрикта налегке и по тропам; это был самый быстрый способ передвижения.

Из колесных видов транспорта в провинциальных городах, где существовали более или менее сносные дороги, для небольших расстояний вместо *керанчи* использовались более легкие коляски – *багги*, двухколесные экипажи со складным верхом, запряженные одной лошадью. Однако для далеких путешествий со скарбом использовались паланкины. Именно так Тэйлер с семьей, как правило, добирался до мест назначения. Первую поездку в Каттак, находившийся в 300 милях от Калькутты, он описал особенно подробно. Он и жена были в отдельных паланкинах, служанка передвигалась в *тонджоне (tonjohn)*, открытом переносном стуле. Двигались ночью, чтобы избежать дневного зноя, в сопровождении *муссалчи (mussalchee)*, факельщика. Тэйлер включил в мемуары отрывок из книги Джорджа Стоклера, опубликованной в 1857 г. с описанием такого путешествия: «Дак или паланкин – это

⁵⁰ Подробнее о методах транспортировки лошадей см. (Хайс, 1885. Т. 91–96).

надежный, хотя и не быстрый способ передвижения. Его несут четыре носильщика в сопровождении еще четырех или восьми сменщиков со скоростью чуть менее трех миль в час. Вытянувшись на хорошо набитом матрасе, укрывшись пледом из шелка или сафьяновой кожи, подложив подушку, имея перед собой в верхней части паланкина полку, ящик и сетку, в которых лежат книги, телескоп, письменные принадлежности, печенье, бутылка некрепкого бренди и вода, вы преодолеваете много миль с большим удовольствием» (Там же. С. 106).

Паланкин был универсален и использовался как в городах, так и в сельской местности, в условиях бездорожья; этот распространенный способ передвижения по Индии вплоть до начала XX в. не смогли вытеснить никакие другие виды транспорта. В Калькутте, в 1840-х годах его стали снабжать колесами, и в таком виде он довольно быстро заменил устаревшие *керанчи* (Там же. С. 65). А уже в 1848 г. жена Тэйлера с гувернанткой путешествовали по Великому Колесному пути в «*экви-ротале* (*equi-rotal*) – паланкине на четырех одинаковых по размеру колесах (отсюда и название), которые совсем недавно вошли в моду для транзита по этой дороге вместо старых паланкинов» (Там же. С. 453). Это стало возможно после упомянутой реконструкции тракта, в ходе которой он приобрел надежное дорожное покрытие, пригодное для большегрузного колесного транспорта.

Время от времени путешествиям в паланкине предпочитали водные. Так, путь до Джаганнатха (Пури) из Калькутты Тэйлер с семьей преодолел за несколько дней по морю – на шлюпе, небольшом парусном судне, находившемся в ведении департамента таможенных сборов, соли и опиума, и предназначенном для перевозки соли. Часть пути из Бенареса во время первого тура в качестве почтмейстера он проделал на лодке.

Наверное, самой насыщенной по количеству использованных средств транспорта, по дальности и сложности маршрута оказалось одна из его последних поездок в Майменсингх, отдаленный район Бенгалии на расстоянии 600 миль от Патны, откуда он и тронулся в путь. В одном предложении он в концентрированной форме передал все тяготы страннической жизни британского чиновника в Индии в первой половине XIX в.: «... достаточно сказать, что после безотрадного путешествия через Барасет, Джессор, Ферудпур и Дакку по ужасным дорогам и переправам, через илистые зловонные топи и смертоносные джунгли, иногда в паланкинах, иногда в лодках (*dinghee*), в бесхозных *багги* здесь, изредка на слонах там... всегда в жару, ни-

когда в комфорте, но неизменно „бодро“, мы продвигались вперед и, наконец, достигли конца пути» (Тэйлер, 1882. Т. II, с. 313–314).

Большая часть жизни Тэйлера в Индии пришлась на время, когда движение в пространстве обеспечивалось энергией мускулов, ветра и воды и было достаточно медленным. Радикальные изменения, связанные с изобретением двигателя внешнего сгорания (паровой машины) и практическим применением электричества (телеграф) Тэйлер застал уже в конце своего пребывания в колонии. Вспоминая все те же злосчастные 400 миль от Патны до Калькутты, он пишет, что с введением железных дорог это расстояние стало возможным покрыть «за восемнадцать часов вместо восьми дней в *даке* или пятнадцати дней на лодке» (Тэйлер, 1881. Т. I, с. 480). Оказавшись проездом в Бурдване в 1854 г., то есть через двадцать лет после его первого приезда туда в качестве магистрата и коллектора, он стал свидетелем открытия железной дороги и пуска первого пробного поезда. Замечания-сравнения между тем, что он застал в той или иной местности, и что там стало в дальнейшем, разбросаны по всему тексту. Свое пребывание в Ховре в 1843 г. он сопровождает следующей заметкой: «... с тех пор там была построена железнодорожная станция и мост, связавший ее с Калькуттой, и Ховра превратилась в очень важный город» (Там же. С. 300); в Миднапуре: «много лет спустя после нашей остановки там, был сооружен огромный канал в 16 милях от Калькутты, соединивший Миднапур с г. Улуберия по реке Хугли и обеспечивший возможность бесперебойной навигации на дистанции в 55 миль» (Там же. С. 305). При этом по рекам и каналам уже с конца 1840-х годов ходили пароходы. Именно на нем Тэйлер во время второго почтмейстерского тура преодолел часть пути по Гангу от Калькутты до Динапура.

Остается сказать, что Тэйлер покинул Индию в 1867 г. Через два года был открыт Суэцкий канал, путь от Лондона до колонии (Бомбей) стал занимать меньше месяца. Еще через год началось телеграфное сообщение между Лондоном и Калькуттой, прокладка же 4 тыс. миль телеграфных кабелей внутри Индии через Калькутту, Агру, Бомбей, Пешавар и Мадрас завершилась уже к 1856 г.

Благодаря современным средствам коммуникации и резкому увеличению скоростей произошло «сокращение» расстояний и «сужение» территорий: весьма отдаленные географические точки оказались достижимыми за относительно небольшой промежуток времени. Географ Дэвид Харви назвал этот феномен, в полной мере проявившийся уже в XX в., пространственно-временным сжатием

(time-space compression) (Харви, 1992). Следствием произошедшего сжатия стало то, что «бескрайние и разномастные земли Индии уменьшились до поддающихся управлению пропорций» (Арнольд, 2000. С. 113). Достижимость подконтрольных пространств, ускорение обмена информацией привели к укреплению вертикали власти в имперской системе управления, повышению контроля со стороны вышестоящих инстанций, снижению самостоятельности исполнителей на местах и увеличению темпов и интенсивности процесса администрирования или властвования. Как отмечает Дхарма Кумар, один из авторов «Кембриджской экономической истории Индии», после 1850 г. в Индии наблюдался интенсивный процесс централизации управления. Контроль Лондона за Индией и Калькутты за президентствами был очень жестким. Министр по делам Индии имел значительно больше власти, чем в свое время Совет директоров и Контрольный совет Ост-Индской компании (Кумар и др., 1989. С. 907). Эти изменения, уже ставшие заметными к середине XIX в., фиксируются и на страницах мемуаров Тэйлера. Рассказывая о самых первых месяцах на служебном поприще, он признается, что «ленивый, бездельничающий чиновник из 1830 г. представляет собой резкий контраст по сравнению с энергичным и усердным *компетишн-вала*⁵¹ из нынешнего времени (1880. – С.С.)» (Тэйлер, 1881. Т. I, с. 122). И в другом месте: «Может быть, кому-нибудь будет интересно сравнить обширную систему надзора, действовавшую в то время, о котором я пишу (1830. – С.С.), с той, что была учреждена позднее и существует по сей день. Если служащие в младших чинах в наши дни не заступают на должность в том административном центре, куда их направили, в течение месяца после назначения, к ним применяются суровые санкции – выговор, денежный штраф и даже увольнение. В 1830 г. система контроля, по крайней мере, в моем случае не была столь суровой». После первого назначения Тэйлер еще более трех месяцев не покидал Калькутту по причине плохой погоды, «никем не понуждаемый к отъезду» (Там же. С. 100).

* * *

Применительно к британской магистральной культуре идея движения как механизма доминирования воплотилась в равномерной дисперсии власти по территории Индостана через опутывание его бюрократической сетью, в которой чиновник был лишь одним из множества узелков. По

⁵¹ Слово-гибрид широко употреблялось для обозначения служащих ИГС, которые поступили на нее по конкурсу. Конкурсная система была введена в 1854 г.

сравнению с Могольской Индией, где существовала военно-ленная система, при которой вассальная лояльность элиты обеспечивалась раздачей земельных наделов взамен на службу, британские чиновники зависели только от зарплаты (очень большой), не были связаны никакими земельными имущественными отношениями и рассматривали очередное место службы исключительно как временное. Постоянная кадровая ротация в географическом пространстве обезличивала британскую власть, ее воплощением был не конкретный человек, а должностное лицо. Не чиновники, которые постоянно перемещались, а именно должности, определенный набор властных функций были привязаны к территории (дистрикт, провинция, президентство и т.д.). Демонстрация присутствия власти в переделах какой-либо местности осуществлялась не условным г-м Смитом, а коллатором или магистратом, на позиции которого мог быть назначен кто угодно, и осуществлялась она попутно, за исполнением каких-либо других обязанностей. В результате административная нагрузка на подконтрольных землях распределялась равномерно: британцы в одинаковой мере были представлены везде. Со временем административные единицы дробились, исполнительные органы множились, делая бюрократическую сеть все более мелкой. Именно поэтому ситуаций, описанных в нашем проекте применительно к Моголам Е.Ю. Ваниной, когда «долговременное отсутствие монарха и двора в том или ином регионе подавало местным элитам сигнал о том, что территория стала «бесхозной» и можно попытаться оспорить суверенитет Моголов», не возникало (Ванина в наст. издании).

В период Раджа, какие бы сложности ни испытывали британцы, выстраивая отношения с местным населением, подавляя оппозиционные, сепаратистские, антиколониальные настроения и выступления, это не приводило к утрате ими территориальных владений. Поэтому и кончина этой магистральной культуры сопровождалась не медленным угасанием с постепенным сокращением регулируемого ею пространства, а уходом сразу со всей территории. Примечательно, что на протяжении всего периода господства она демонстрировала стремление и потребность к оседлости преимущественно через создание богатого разнообразия материальных объектов и внедрение моделей социально-политической и экономической жизни. На уровне же акторов не происходило ни масштабной ассимиляции с местным населением, ни укоренения на каком-либо месте, британцы по образу жизни оставались странниками, а более приземлено вахтовыми рабочими

(даже если вахта длилась десятилетиями), приходившими на южноазиатские земли, чтобы управлять, работать и использовать их, но не оставаться и жить. Поэтому устранение британцев с политической арены Индии, их физическая элиминация с территорий Индостана были тотальными и молниеносными, что привело не к локализации, а к исчезновению данного типа культуры, оставившей после себя бесчисленное количество следов-маркеров ее некогда повсеместного присутствия.

ЛИТЕРАТУРА

Арнольд 2000 – David Arnold. *Science, Technology and Medicine in Colonial India*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ванина в наст. издании – Ванина Е.Ю. Империя на марше: мобильность и государственность в Могольской Индии (XVI–XVIII вв.).

Головнев 2009 – Головнев А. В. *Антропология движения (древности Северной Евразии)*. Екатеринбург: УРО РАН, «Волот».

Джилбей 1906 – Gilbey W. *Horse-breeding in England and India, and army horses abroad*. L.: Vinton & Co.

Доджшон 1987 – Dodgshon R.A. *The European past: social evolution and spatial order*. Houndmills: Mcmillan Education.

Дэвей 1993 – Dewey C. *Anglo-Indian Attitudes: Mind of the Indian Civil Service*. L.: Hambledon Press.

Каст 1899 – Cust R.N. *Memoirs of past years of a septuagenarian; twenty-one years before India; twenty-five*

years in India; twenty-two years after India. L.: Hertford, Austin.

Клементс 1878 – Clements R. *Memoir of the Indian Survey*. L.: W.H. Allen and Co.

Кумар и др. 1989 – Kumar D., Raychaudhuri T., Dasai M. *Cambridge Economic History of India*. Vol. 2: с. 1757–с.1970. Cambridge: Cambridge University Press.

Мэсселос 2008 – Masselos J. *The Ways of Satyagraha in Bombay, 1930* // Naito M., Shima I., Kotani H. (eds). *Marga. Ways of Liberation, Empowerment, and Social Change in Maharashtra*. New Delhi: Manohar.

Тэйлер 1881 – Tayler W. *Thirty-eight years in India*. Vol. 1. L.: W.H. Allen and Co.

Тэйлер 1882 – Tayler W. *Thirty-eight years in India*. Vol. 2. L.: W.H. Allen and Co.

Уотерфилд 1875 – Waterfield H. *Memorandum on the Census of British India 1871–72*. L.: Eyre and Spottiswoode.

Хайс 1885 – Hayes M.H. *Training and Horse Management in India: With a Hindustanee Stable*. Calcutta: Thacker, Spink.

Харви 1992 – Harvey D. *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. L.: Wiley-Blackwell.

Хобсон-Джобсон 1996 – *Hobson-Jobson. The Anglo-Indian Dictionary*. Great Britain: Mackeys of Chatham.

Чесни 1870 – Chesney G.T. *Indian polity: a view of the system of administration in India*. L.: Longmans, Green & Co.

Эвинг 1982 – Ewing A. *Administering India: The Indian Civil Service* // *History Today*. Vol. 32, iss. 6.

РАЗДЕЛ 4. ТЕКСТЫ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ КУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Салмин А.К. (МАЭ РАН)

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Целью проекта «Тексты традиционной культуры чувашей: Материалы научного архива Чувашского государственного института гуманитарных наук» является проведение изысканий, подготовка к печати и публикация первоисточников по традиционной (народной) культуре чувашей из фондов научного архива названного института (далее – ЧГИГН). Актуальность работы продиктована отсутствием аналогичной работы и необходимостью обеспечения научных, архивных и музейных работников наиболее репрезентативными первоисточниками о чувашах. Острую потребность в этом испытывают исследователи, проживающие вне г. Чебоксары. Из-за нехватки времени и ввиду значительных материальных накладок они не могут часто бывать и долго находиться в ином городе. Тем более, что даже зная название дела, практически невозможно узнать наличие нужного материала в этом томе, пока не ознакомишься с ним полностью.

Основной фонд репрезентативных рукописей по традиционной культуре чувашей – этнографии, языку и культуре – сосредоточен в Чебоксарах, а самым богатым из чебоксарских архивохранилищ как по объему, так и по содержательности по праву считается научный архив ЧГИГН. Чтобы оценка была более объективной, обратимся к рукописному наследию известного всей европейской науке исследователя В.Н. Андерсона. В 1913 г., будучи в Сан-Марино, в письме к академику С.Ф. Ольденбургу он писал об обнаружении им в Казани драгоценнейших рукописей, собранных Н.В. Никольским лично и через своих учеников и студентов. «К каталогизации этих материалов я уже приступил», – сообщал В.Н. Андерсон С.Ф. Ольденбургу (ПФА РАН, ф.208, оп. 3. № 9). В течение всей своей жизни В.Н. Андерсон внимательно следил за этим фондом и активно использовал его. Только в 1914 г. он опубликовал три рецензии на рукописи Н.В. Никольского – одну в Италии и две в Германии (Anderson, 1914; 1914a; 1914b), а также извлечения из текстов (Андерсон, 1914). Приведу выдержки из отзыва В.Н. Андерсона, написанного им в 1925 г. в Дерпте и хранящегося в архиве РАН. Здесь говорится: «Собрание Н.В. Никольского представляет собою ни

больше ни меньше как благоустроенный научный архив, содержащий огромные массы ценнейших научных материалов, относящихся к фольклору, этнографии и истории чувашского народа» (РАН, ф. 208, оп. 3. № 9).

Все материалы архива института подразделены на 10 отделов: 1) общий, куда входят личные архивы известных ученых и собирателей материала по культуре и истории чувашей, 2) история, 3) этнография и фольклор, 4) языкознание, 5) художественная литература и литературоведение, 6) музыка и музыкознание, 7) экономика, 8) иллюстрации, карты и фотокопии, 9) искусство и быт, 10) отдел редких книг и журналов. Всего в 10 отделах насчитывается 14 тысяч томов. Следуя нехорошей традиции, архивные тома подшиваются по несколько сотен (по 300, 400, 500) листов, в связи с чем количество инвентарных номеров резко возрастает. Примерно две тысячи томов еще не обработаны, т.е. не зарегистрированы в книге учета поступивших материалов.

В «Текстах» отражены наиболее важные по теме материалы I отдела научного архива. Остальные 9 отделов пока остались за пределами настоящей публикации. Работа может быть продолжена и завершена мной же или другим исследователем. Главное – есть начало. В каталоге единицы хранения расположены по порядку. К сожалению, не все тома имеют сплошную пагинацию.

Публикация не повторяет Путеводитель по фонду Н.В. Никольского, составленный Г.А. Александровым (Александров, 2005). Если Путеводитель Г.А. Александрова можно назвать предметным указателем отдельно взятого фонда, то «Тексты» содержат сведения о названиях единиц хранения в порядке их нумерации. К тому же в Путеводитель Г.А. Александрова не вошли фонд членкорреспондента АН СССР Н.И. Ашмарина, а также другие единицы хранения. Путеводитель по архиву ЧГИГН, подготовленный Е.И. Батченко, касается лишь отдела языкознания (Батченко, 2009).

Основной массив текстов – на чувашском языке. Исследования представлены на русском и чувашском языках.

Трудность составления «Текстов» состояла в том, что большинство дел на переплете или обложке не имеет единообразных надписей. Иногда указано только название одного инвентарного номера, и все дело получило название по этому номеру, или не учтены некоторые малообъемные, но значительные по содержанию рукописи, или указано «История», но в деле имеются источники и по этнографии, и по фольклору. Поэтому приходится констатировать, что названия архивных дел во многих случаях не отражают содержание хранящихся текстов. Кроме того, в большинстве случаев приходилось определять хронологические рамки дел, знакомясь непосредственно с рукописями. Самый ранний материал, который получил отражение в архиве, относится к 1551 г. (конспекты Н.В. Никольского).

Весьма ценно то, что подавляющее большинство впервые публикуемых текстов зафиксировано священниками, их учениками и окружением. И в этом нет ничего удивительного. Ибо начиная с XVIII в. и вплоть до установления советской власти грамотными людьми в основном были священники, одновременно работавшие и учителями в начальных училищах. В этом плане яркий пример – биография Даниила Филимонова (1855-1938 гг.), оставившего нам свои рукописи и публикации о старинных обрядах и верованиях чувашей. Большинство из них он записал от своей матери. Д.Ф. Филимонов также зафиксировал свои воспоминания о традиционном быте народа. Притом, воспоминания писал уже в преклонном возрасте, будучи архиепископом Чебоксарским. Даже многолетняя служба в Церкви не выветрила из него трепетного отношения к былым традициям. Более того, он выражал сожаление, что ушли в прошлое многие добрые традиции, а их заменили дурные (водка, табак и сквернословие) (ЧГИГН, № 72. Л. 42-95).

«Тексты» составлены автором этих строк исключительно *de visu*. В каталоге отражены фонд, опись, № дела, содержание рукописи, год фиксации источника, количество листов в деле. Иногда дата фиксации рукописи и другие сведения определены автором, в таких случаях они указывается в квадратных скобках. В случаях, когда название дела слишком длинное, дается только начало, а вместо продолжения ставится многоточие. Все приводимые выписки, аннотации, краткое содержание и примечания даются сразу же после описания единицы хранения. Публикуемые тексты сопровождаются паспортными данными (когда, где, от кого, кем записано). Зафиксированные паспортные данные помещены в начале каждого отдельно взятого текста.

Отбор текстов и принцип сокращения их проводился в соответствии с их научной значимостью. В некоторых случаях составитель счел нужным давать тексты почти полностью. Выписки во всех случаях являются точными копиями оригиналов. Сохранены все диалектные особенности речи. Например, отсутствие в низовом диалекте, в отличие от верхового диалекта и литературной нормы, мягкого знака в окончаниях глаголов (*пулат*, *каят* вместо *пулать* «будет», *каять* «пойдет»); *сыкса* вместо *сыкса* «повязав». Конечно, сохранены местный лексический фонд, а также стилистические особенности повествователя. Например, повторы фраз: *Якку минтер сине саламатпа минтер сине хёреслё сапат те, ун сине ларат*. Только в исключительных случаях явные орфографические ошибки и особенности приведены в соответствие с правилами современного русского языка (например, «заблаговременно», «не вступать» вместо «за благовременно», «невступать», буква *ю* вместо букв *йу* в старой орфографии). В архивных источниках часто встречаются случаи, когда записавший текст допускает искажения в правописании слов и стилистике. Это происходило не потому, что так произносил информант и так считал нужным записавший, а в силу недостаточной грамотности автора записи текста. Такие явные ошибки при публикации во многих случаях исправлены без комментариев. Но не везде. Например, пишем *пйтти* вместо *пйти* в оригинале. Ошибка явная, тем более – искажается весь смысл текста. Иначе вместо *пйтти* «его каша» получим *пйти* «его гвоздь». Когда явно пропущена буква, недостающий знак дается в квадратных скобках. Например: *смахсемп[e]*, где автор рукописи допустил механическую ошибку при использовании падежного аффикса *-на (-не)*. Правильность использования падежного окончания информантом проверяется наличием правильной формы в том же тексте. При подготовке к изданию внесены исправления в пунктуацию и орфографию. Например, окончания слов, написанные в соответствии с нормами старой орфографии, заменены на современные («левые руки» вместо «левья руки», «ее» вместо «ея»). Названия божеств и духов даются с прописной буквы. В выписках листы указываются в круглых скобках. Во многих случаях информанты использовали обе стороны архивных листов, а пагинацию вели на каждой стороне последовательно. Поэтому в настоящей публикации они обозначены как страницы, а не как листы оборотные, как это принято в крупных архивохранилищах.

Составитель также выявлял опубликованные в Словаре Н.И. Ашмарина фрагменты текстов из

научного архива ЧГИГН. Полагаю, что эта информация будет полезна для исследования наследия Н.И. Ашмарина, в частности, за счет некоторых уточнений Словаря. Например, заодно вносим некоторые уточнения в Словарь Н.И. Ашмарина. Так, в XIII выпуске на странице 314 пример для иллюстрации слова *Техём* дается со знаком *N*, т.е. год, место записи и информант неизвестны. По архивному же источнику выясняется, что текст записан в 1903 г. Туктием Исаевым (вероятно, в Тетюшском уезде, т.к. данный автор присылал свои записи оттуда). Также в архиве можно обнаружить слова, не зафиксированные в Словаре Н.И. Ашмарина. Например, слово *сухём* «тень, прохлада» отсутствует в Словаре, там есть вариант *сухам*. Также не оказалось в Словаре Н.И. Ашмарина слов *актэк* (ЧГИГН, № 208. Л. 112), *шакла* «шест для хмеля» (ЧГИГН, № 154. Л. 369), *аканёр* «соседей» (человек, с кем вместе сеяли) (ЧГИГН, № 150. Л. 147), *ёнлёнетпёр* (ЧГИГН, № 151. Л. 91), *сәнхәтә*, *кусик*, *песлепех* в значении «совсем» (ЧГИГН, № 150. Л. 466) (например, «совсем пьяный» или «в доску пьяный»), а также словосочетаний *вартан пур* (ЧГИГН, № 204. Л. 161), *майса пәрах*, *шәрчә-тренё* (ЧГИГН, № 150. Л. 149). Не встречается в Словаре слово *картар*. В архивной рукописи оно встречается в контексте моления на *киреметице*: *Хамёр айванлăхне пуç çапса картарма килтём* (ЧГИГН, № 31. Л. 26). Записан текст в 1881 г. в Буинском уезде Симбирской губернии. Предложение в целом можно перевести так: «Свою наивность земным поклоном заглазить (исправить) пришел». В архивном тексте имеется словосочетание *телет-сăмат* в значении «бережливость, урожайность» (ЧГИГН, № 151. Л. 253). Данное словосочетание также не вошло в Словарь Н.И. Ашмарина.

В «Словаре чувашского языка» Н.И. Ашмарина также выявлен ряд искажений при публикации архивных источников. Так, в тексте «*Куйкăрăш*» напечатано *пултартат* вместо *пуйтартат*, а также *пурăнмаст*, *çимест* вместо *пурăнмаст*, *çимест* (ЧГИГН, № 31. Л. 34-36; Ашмарин, т. VI. С. 255-256). Поэтому в отдельных случаях я счел нужным включить такие пассажи в «Тексты».

В архивных текстах имеются замечательные приемы словообразования, так редко используемые в практике. Вот удивительно красивый пример: *Çав улах вăхăтёнче вара тёрлĕ çимĕçсем, тёрлĕ-тёрлĕ пахча çимĕçсем те илсе пыраççĕ, тата сăра та, купăс та илсе пыраççĕ, унта вара ташлуна юрлу та пулать* (ЧГИГН, № 151. Л. 282). Предложение записано в 1905 г. в Тетюшском уезде Казанской губернии. Здесь пу-

тем прибавления суффиксов *-лу* от существительных *ташĕ* «пляска» и *юрĕ* «песня» образованы новые слова. По аналогии при помощи аффикса *-лĕ* можно образовать также другое слово (*ёç + лĕ*). Это не однозначная лексика: в первом случае речь идет о существительных, во втором случае слова уже носят семантику процесса, действия. К сожалению, в Словаре Н.И. Ашмарина этих слов не оказалось. Как видим, архивные тексты значительно точнее и полнее Словаря Н.И. Ашмарина. И в этом нет ничего крамольного. Ведь Словарь, несмотря на свою обширность и полезность, – это всего лишь выписки из архива ЧГИГН. К тому же, при подготовке к печати, тем более при ручном типографском наборе, вкрадывались механические ошибки.

При сокращении пропущенный текст в пределах одной страницы или листа обозначен многоточием. А в тех случаях, когда пропускается фрагмент текста между страницами, многоточие не ставится. Делалось так в целях экономии объема книги.

Тексты сказок в данную книгу не вошли. В 1986-1992 гг. автором впервые была подготовлена к изданию рукопись чувашских сказок о богатырях объемом 25 п.л. на языке оригинала. В настоящее время этот свод готовится к печати Чувашским государственным институтом гуманитарных наук.

Хочется надеяться, что публикация «Текстов» во многом облегчит труд исследователей по поиску первоисточников. Научные работники всех регионов России, СНГ и мира могут, не выезжая на место, изучать нужные им архивные источники. Например, имея под рукой публикуемые «Тексты», исследователь за короткое время может для себя определить, содержится ли здесь интересующий его материал и в каком томе он находится. В случае публикации электронного варианта в PDF нужные исследователю слова (в том числе и диалектные) можно будет выявлять в режиме «Найти». «Тексты» помогут нам также познавать истинные корни традиционной, размеренной жизни и культуры одного из многочисленных народов России.

Примечания составителя, помещенные в тексте, даются в квадратных скобках. В квадратные скобки берутся также места с плохим почерком и не поддающиеся однозначному прочтению.

Образцы текстов

№ 23: Ашмарин Н.И. Этнография, фольклор. 1874-1899 гг. – 397 с.

Улах юррисем
Хранцусски тутӑр виҫ панулми,
Эрне ҫурӑ тӑчӑ арчара.
Хамӑр савнисене кӑтӑ-кӑте
Уйӑх ҫурӑ лартӑм уллахра. [44]
Чупрӑм тухрӑм урама,
Лартӑм пуҫма турама.
Пуҫма ҫусӑр тураймап,
Арсӑр-йышсӑр пурнаймап. [47]

Вӑйӑ юррисем
Кайрӑм-кайрӑм вӑрманна,
Касрӑм-касрӑм пӑрене,
Лартрӑм-лартрӑм шура пӑрт.
Шура пӑртре шура стел,
Шура стел ҫинче шур чашкӑ,
Шура чашкӑ ҫинче шур пулӑ.
Шур пуллӑне касма
Пӑлат ҫӑҫси кирлӑ ӑна,
Пӑлат ҫӑҫсине тытмашкӑн
Матур йӑкӑт кирлӑ ӑна,
Матур йӑкӑтпе выляма
Пике хӑрӑ кирлӑ ӑна,
Пике хӑрне тытмашкӑн
Пурҫӑн нухайка кирлӑ ӑна,
Пурҫӑн нухайка ҫакма
Кӑмӑл пӑта кирлӑ ӑна, [80]
Кӑмӑл пӑтине ҫапмашкӑн
Йӑс пӑрене кирлӑ ӑна,
Йӑс пӑренене мӑклама
Пурҫӑн ука кирлӑ ӑна. [81]

Туй юррисем
Ухха ывтрӑм ҫӑлелле,
Ҫта ӑкнине пӑлмерӑм.
Уртӑк ялне ӑкнӑ-мӑн,
Ӑна инке пуласси тупнӑ-мӑн.
Ыйтрӑм-ыйтрӑм – пamarӑ,
Хамах пырӑп тиейрӑ. [97]
Упа каҫман ҫырмаран
Эпир каҫса килтӑмӑр.
Хир-хир урлӑ килтӑмӑр,
Хӑр вӑрласа килтӑмӑр.
Ака кӑмен тыхана
Кӑрӑ лаши турӑмӑр,
Никам пӑлмен пикене
Хӑта кинӑ (хамӑр инке) турӑмӑр.
Хӑта кинӑ – чипер кин
Пире сӑра ӑҫтертӑр,
Хӑта кинӑ – чипер кин
Пире салма ҫитертӑр. [101]

Речь, произносимая дружкой пред входом в дом свата, отца невесты

– Саламаликӑм, тав сийе! Ӑҫетре, ҫиетре, вы-
лятра, кулатра, эсир пире кӑтетре?

– Пирӑн кӑтни ҫавӑ.

– Асанӑпӑрин ҫичӑ кун, тухӑпӑрин виҫӑ
кун, утсем ырхан пулчӑҫ, ҫулсем хура пулчӑҫ,
ҫитеймерӑмӑр вӑхӑта, айӑп тумӑсаринчӑҫ, хӑтасем?

– Пиртен айӑп ҫук. [119]

– Ҫитнӑ пулӑттӑмӑр вӑхӑта – утмӑл ҫухрӑм
хура вӑрман урлӑ каҫрӑмӑр, ҫитмӑл ҫухрӑм ҫеҫен
хир урлӑ каҫрӑмӑр; утмӑл ҫухрӑм хура вӑрман урлӑ
каҫнӑ чух тӑл пултӑмӑр пӑр пӑлан: тӑрӑшшӑ тӑхӑр
хӑлаҫ, урлӑшӑ ултӑ хӑлаҫ, мӑйраки ҫичӑ хӑлаҫ,
мӑйракипе вӑй вылять, чӑрнӑпеле йӑр тӑватъ, ҫавӑн
йӑрӑпе килтӑмӑр ҫак киле.

Ҫитнӑ пулӑттӑмӑр вӑхӑта – ҫитмӑл ҫухрӑм
ҫеҫен хир урлӑ каҫнӑ чухне тӑл пултӑмӑр ҫавра
кӑлӑ, ҫав кӑль варринче ылттӑн юпа, ылттӑн юпа
тӑрринче ӑмарт кайӑк, ҫуначӑпе вӑй вылять, сас-
сипеле юр юрлатъ, ҫавӑн сассипеле килтӑмӑр ҫак
киле. [120]

Ҫитрӑмӑр ҫак хӑта килне – ҫак хӑтан хапхи
кӑленче, тытки ылттӑн иккен; тӑпси кӑмӑл, юпи
пӑхӑр иккен; уҫӑлатъ, хупӑнатъ ҫилпеле, никам ха-
личчен тытса хупман иккен; ҫак туй хатӑрне уҫса
хунӑ иккен.

Ҫак хӑтан картиш тӑрӑшшӑ тӑхӑр вун тӑхӑр
хӑлаҫ, (урлӑш) сарлакӑш сакӑр вун сакӑр хӑлаҫ;
тӑхӑр вун тӑхӑр хӑлаҫра тӑхӑр вун тӑхӑр юпа,
сакӑр вун сакӑр хӑлаҫра сакӑр вун сакӑр юпа,
сакӑр вун сакӑр юпара сакӑр вун сакӑр ункӑ;
тӑхӑр вун тӑхӑр юпинчен пӑр юпине, сакӑр вун
сакӑр ункинчен пӑр ункине памӑ-ши [121] хӑта
пире ут кӑкарса кантарма?

Эп каламастӑп, кӑрӑ калать.

Ҫак хӑтан пӑрчӑ тултан вун ик кӑтеслӑ, ӑшӑнче
ултӑ кӑтеслӑ; пӑртӑнче тӑхӑр вун тӑхӑр (урай) хӑми
пур, сакӑр вун сакӑр сакки пур, тӑхӑр вунӑ тӑхӑр
хӑминчен пӑр хӑмине, сакӑр вун сакӑр саккинчен
пӑр саккине памӑ-ши пире хӑта выляса кулма?

Эп каламастӑп, кӑрӑ калать.

Ҫак хӑтан вун ик ҫул ҫитернӑ вӑкӑр пур, виҫ
ҫул ҫитернӑ кӑркки пур, никам тытса хӑйса пусай-
ман иккен; ҫак туй хатӑрне пусса кӑрекене кӑртсе
лартнӑ, иккен.

Ҫак хӑтан кӑрекеинче хӑрӑх кӑшӑллӑ [122] пич-
ки пур, пички икӑ пӑкӑллӑ иккен; пӑр пӑккинчен
сим пыл юхатъ, тепӑринчен йӑҫ пыл юхатъ,¹ никам
халиччен ӑҫсе пӑхман, иккен.

Ҫак хӑтан мунчи пур, тултан сакӑр кӑтеслӑ,
ӑшӑнчен тӑватӑ кӑтеслӑ, милӑкӑ пурҫин, ҫыххи ука,
ӑшши шерпет, халиччен никам хутса кӑмен иккен;
ҫак туй хатӑрне хутса хунӑ иккен.

¹ Последняя фраза опубликована: Ашмарин, Сло-
варь XI: 145. Оригинал позволяет уточнить паспорт.

Ҷак хӑтан виҫӗ хӗр пур, виҫӗшӗ те пи́ке иккен; пичӗсем хӗвел, ҫамкисем уйӑх иккен; пӗринчен-пӗри хитре иккен; ӗмӗрлӗх юлташ тума виҫӗшинчен пӗрне памӗ-ши?

Эп каламастап, кӗрӱ калать.

Хӗрин тӱшекӗ мамӑк, чаршавӗ пурҫӑн иккен; тӱмми мерчен, чӱкӗ² (пурҫӑн) ука иккен; кӗрӱ кӗрсе кураc, тет. (Последнее прибавление, говорят, редко произносится).

Йе, тав сана, тантӑш! Ҷӗнӗ хӑта хура́нташ! Пи́ке чура хура́нташ! Татах та пулин тавах!

Атьӑр пурте туя: ваттисем те, вӗттисем те; ура утан урапа утӑр, ура утман кутпа шӑвӑр; хушпу пурри хушпу тӑхӑнӑр, хушпу ҫукки супне тӑхӑнӑр; ача пурри ача ҫӗклӗр, ача ҫукки тукмак ҫӗклӗр; Левентей пуян хӗр парать, Клементей [124] пуян хӗр илет!

Речь дружкой говорится до тех пор, пока его не просят остановиться и не пригласят зайти в избу.

Иногда не скоро приглашают его, тогда дружка начинает говорить насмешку по адресу свата и его деревенцев подобным образом:

– Ҷак ялта улӑм ури ултӑ пус, ултӑ хӗрӗ пӗр пус; ултӑ хӗрин улт ура, ултӑ хӗрин пӗр пуc (т.е. глупы, невежи) и т.п. [125]

[Саламалик]

Записано в 1899 г. в д. Старой Арлановой Буинского уезда Ф.В. Трофимовым

– Саламалик, тав сире; ӗҫетре-ҫиетре, выляттра-кулатра, пире хапӑл тӑватра, авалхи пек тӑратра, ҫӗнӗрен йӑла кӑлармастра; вата – пуc, ҫамрака – тав.

Пирӗн ҫав N пиче ывӑл авлантарать, ҫавӑ хӑта хӗрне парать; атьӑр пирӗнпе туя кассии-камантипе: ут утланан, сӑмсапа сывлан, кутпа тӗртен, хырӑмпа шӑван, ватти-вӗтти туяпа, куcӗ куран, хӑлхи илтен, уксах-чӑлах чуманпа.

Пирӗн пиче хӑтана сумасӑр мулне панӑ, виҫмесӗр пылне панӑ.

Эпир ҫак туя асӑнӑпӑрин ҫичӗ кун, тухӑпӑрин виҫӗ кун; эпир асӑнӑ кун ҫакӑ туя тухаймарӑмӑр, тухнӑ кун ҫитеймерӗмӗр; утсем ырхан, ҫулсем хура, айӑп ан тӑвӑр, ваттисем.

Атьӑр касси-камантипе: арӑм пурри – арӑмпа, арӑм ҫукки – юпапа, юпа та пулин юрӗ; хушпу пурри хушпу тӑхӑнӑр, хушпу ҫукки супне тӑхӑнӑр, супне те юрӗ; ача пурри ача ҫӗклӗр, ача ҫукки тукмак

² Здесь у слова *чӱк* (наряду со значением *чӱк* «жертвоприношение») проявляются другие значения – 1) название шва (например, «подрубить, завернуть край ткани и зашить»: *Тутӑр хӑррине чӱкӗсе тух*), 2) пришивание тесемок к краю ткани. В Словаре Н.И. Ашмарина слова *чӱк* с таким значением нет, дается более распространенный синоним *пӱк*.

та юрӗ; ямшӑк пурри – ямшӑкпа, [156] ямшӑк ҫукки – мӗлкепе, хӱре пурри – хӱрепе, хӱре ҫукки кӑшман ҫакӑр; лаша пурри – лашапа, лаша ҫукки – тройкапа; атьӑр пӗрле туя, тумтир пурри – тумтирпе, тумтир ҫукки ҫынтан шыраӑр.

Туя эпир каяc ҫул ҫинче кут таран куршанак, пилӗк таран пиҫен, мӑй таран мӑян; пире куршанак ҫыпҫӑнминчӗ, пиҫен пире чикминчӗ, мӑй таран мӑян ҫыхланминчӗ, туйра та пире чӑрмав пулминчӗ.

Ҷавӑ пирӗн хӑтанӑн пур пичӗки вун ик кӑшӑллӑ; тӑратса лартсан, пӱ ҫитмест, утланса ларсан, пӗҫӗ ҫитмест; вӑлӑ икӗ пӑкӑллӑ, пӗр пӑккинчен сӗм юхать, тепӗр пӑккинчен [йӱҫ] пыл юхать; атьӑр ҫавна ӗҫмесиме, ватти-хӗтӗ, ҫамрак-кӗрӗм, выляса кулмашкӑн.

Ҷавӑ пирӗн хӑтанӑн ҫичӗ хӗл кӑҫнӑ вӑкри пур, ӑна хӑваласа пынӑ, хапхаран кӱртеймен, хӱме сӱтсе кӱртнӗ; улӑ вӑкӑр чӗрнипеле ҫул тӑвать, мӑйракипе ҫӗр чавать, ӑна пуснӑ пуртӑпа, какайне ҫичӗ витре кӗрекен хуранпа пӗҫернӗ, пуcӗ пулнӑ пӗр пӑт ваттисем валли, ҫамарти пулнӑ пӗр хуран хӗрарӑмсем валли.

Эпир кассии-камантипе ҫитрӗмӗр хӑта хапхи [157] патне; хӑтанӑн хапхи пилӗк юпаллӑ, хапхи хӑми вырӑнне тунӑ кӗленчерен, хӑлӑпӗ йӗсрен; эпир унӑн хапхине сӑран алсапа усрӑмӑр, саламатпа ҫапрӑмӑр.

Пирӗн ҫавӑ хӑтанӑн ҫур вӑрман пек ҫурт ҫи пур, улӑх пек пӱрт ҫи пур, тултан сакаӑр кӗтеслӗ, шалтан тӑватӑ кӗтеслӗ; тӑватӑ кӗтессинчен пӗр кӗтессине памӑн-ши выляса кулмашкӑн; эпӗ ыйтмастап, ача ыйтать.

Тата тӑхӑр вунӑ пӗр хӑми пур, ҫавӑнтан пӗр хӑмине хушмӑн-ши пире ташласа савӑнма, тата сакаӑр вунӑ сакаӑр сакки пур, пире пӗр саккине памӑн-ши ларса канса тӑмашкӑн; эпӗ ыйтмастап, ача ыйтать.

Тата пирӗн ҫак хӑтанӑн картишин урлӑшӑ утмӑл хӑлаc, тӑрӑшшӗ тӑхӑр вунӑ хӑлаc, тӑхӑр вунӑ хӑлаcра тӑхӑр вуннӑ юпа; ҫав тӑхӑр вуннӑ юпаран пӗр юпине памӗ-ши пире ут кӑкарса кантармашкӑн; эпӗ ыйтмастап, ача ыйтать.

Ҷавӑ хӑтанӑн пур мунчи, ӑна хутнӑ чулӗ мерчен, ӑшши шерпет, милӗкӗ пурҫӑн; шыва кӗрӗр те – тасалӑр, сарӑ ҫыхӑр та йӗм тӑхӑнӑр, кӗпине лерен, хӑтаран, калаҫнӑ; мунчаран тухсан ҫав хӑтанӑн пур икӗ витре кӗрекен сӑмаварӗ, [158] ҫав сӑмавар ӗлкӗрнӗ, чейӗ пиҫнӗ, вун икӗ пар чей чашки шалтӑртатса тӑрать; атьӑр ҫавна ӗҫмешкӗн-ҫимешкӗн касси-камантипе.

Пире ҫав N пиче сумасӑр мулне панӑ, виҫмесӗр пылне панӑ; манӑн ытлашши калама сӑмахӑм ҫук, сиртен ытла савнӑ ҫыннӑм ҫук; хӑта, хапӑл-и эсир пире?

– Хапӑл!

– Тайма пуссене хӗҫ витмен, тутӑ чӗлхесене пыл пӗтмен; эфир килтӗмӗр, хӑта, сан патна касси-камантипе йӗм тӑхӑнса, сарӑ ҫыхса, кӗпине кунтан тӑхӑнтӑмӑр; эфир те пырӑр касси-камантипе пирӗн пичче патне тавӑрми лавпа. [159]

Тетрадь для записывания чувашских песен и молитв, употребляемых во время чувашских молений учителя Сунчелеевского земского училища Чистопольского уезда Андрея Прокопьева. [Во] всей тетради помещено 100 чувашских песен и 12 молитв по языческому обряду чуваш. [1899 г.]

Кӗркуннехи чӑваш йӑлипе кӗл тунӑ кӗлӗсем
Ҫырлах, Турӑ! Тутӑ пашалупа, хуран
пӑтӑпалан, ҫунатӑ хурпалан, таса чӗремпе,
лайӑх кӑмӑлпа савса сана паратӑ парне. Амин,
ҫырлах!

Ҫичӗ тӗслӗ тырӑм-пуллӑмпа сан ятупа асӑнса
актӑр; пар пире пӗр пӗрчӗ акса пин пӗрчӗ илмешкӗн,
тӗпне хӑмӑш пак, тӑррине чакан пак, ҫӑмарта
хӗрли пек тутӑхне, кӗлте тусан, кӗлте перекетне
пар, ҫемел тусан, ҫемел перехетне пар, анкартине
кӑртсен, анкарти перехетне пар; авна хур[218]сан,
вут-кӑвартан хӑтар, кӗлете кӑртсен, виҫӗ пайӗнчен
пӗр пайне хурӑнташ-ӑрӑвпа, пӗлӗш-тантӑшпа, ыйт-
калакансемпе те ҫиме пар, Турӑ! Икӗ пайне пӑлмере
тытса тӑма пар, Турӑ! Амин, ҫырлах.

Виҫ тӗрлӗ выльӑх-чӗрлӗхме виҫ карта тытса
тӑма пар, пӗр вӗҫӗ картара, тепӗр вӗҫӗ шывра; кӗсри
хыҫҫӑн тыха яртма пар, ӗне хыҫҫӑн пӑру ертме пар,
сурӑх хыҫҫӑн путек яртма пар, урай тулли путек
пар, сакки тулли ача-пӑча пар, авӑртнӑ кӗрпен пер-
кетне пар, ҫиас чунӑн сывӑх[219]не пар. Амин,
ҫырлах.

Ултӑ уралӑ хуртма парӑсӑнчӗ, тытма йӑваш
тӑвӑсӑнчӗ, пӑхма пыллӑ тӑвӑсӑнчӗ, касмакпала
пыл тытма парӑсӑнчӗ, эй, Турӑ!

Тӑре-шехер умне тӑрасан, тутӑ чӗлхепе, ӑшӑ
питӗмпе лайӑх калаҫма парӑсӑнчӗ, эй, Турӑ!

Хӑрӑк шалчаран, путӑх шывран, тайӑк
кӗпертен, чикес ҫӗҫӗрен, вӑрӑ-хурахран, тискер
кайӑкран, вутран-кӑвартан эсӗ сыхӑсӑнчӗ,
упрӑсӑнчӗ, эй, Турӑ! Амин, ҫырлах. [220]

Кӗркуннехи

Таса Пирӗшти, эсӗ курӑнман ҫунатупа пире
хӑтӗлесе тӗрӗслӗхпе тархасласа кӗл тӑвакансене
сывӑрнӑ чух, шыв урӑ кӑснӑ чух, вӑрманта пӗлми
ҫулпа ҫӑренӗ чух – мӗн пур аташнӑ ӗҫсенчен упраса
сыхла. Эфир, Турӑн мӗскӗн чунӗсем, тархасласа
ыйтатӑр санран сыхла тесе. [223]

Хӗр сӑрӗнчи юрӑсем
Тарӑн ҫырма пуҫӗнче
Хӑмӑш чипер хумханать.
Вӑйҫи маттур каласан,
Тантӑш чипер хумханать.
Ула ӗне пӑрушне
Уҫӑм ҫине ямаҫҫӗ.
Тырӑ вырайман хӗрсене
Хӗр сӑрине ямаҫҫӗ.
Хӗрсе тырӑ выртӑмӑр,
Хӗр сӑрӗне килтӗмӗр. [249]

№ 28: Ашмарин Н.И. Этнография. Фольклор. 1884 г. – 903 с.

Чӑкӑме пӑтти чӑкӑли

Записано в 1884 г. воспитанником Симбирской центральной чувашской школы Григорием Ермолаевым

Эй, Турӑ, ҫырлах, ҫӗн тыр шерпечпе, мӑн ху-
ран пӑттипе, вун икӗ кӑшӑллӑ пичӗкипе асӑнатӑр
сана, Турӑ. Пур хурӑнташӗпеле, ялӗ-йышӗпеле
асӑнатӑр, витӗнетӑр. [274]

Тата ӗнтӗ виҫ тӗслӗ выльӑх-чӗрлӗхшӗн асӑнатӑп,
витӗнетӑп: ултӑ лаша акара пултӑр, виҫӗшӗ сӑрере,
тихисем выляса пычӑр, ҫуратассине ҫураттӑр,
ҫуратнине пит аллупа пар. Пӗр пуҫӗ картара пултӑр,
тепӗр вӗҫӗ шывра пултӑр, тӗкӗнчен тӑлеттер,
кирлӗ марринчен самӑрт.

Ҫичӗ тӗслӗ тырӑшӑн асӑнатӑп, витӗнетӑп, ҫак
тырсене акма вӑрӑх кӑларнӑ чух ырра хирӗс ту,
усалла тӑртӗн ту. Ывӑҫ сапсан, ывӑҫ перекетне
пар, Турӑ. Эпӗ тикӗслеймӗп халӗ ӗнтӗ, эсӗ тикӗсле.
Кӗрхи-ҫурхи калчипеле, Турӑ, савӑнтар. Тӑррине
тутӑ ту, кутне пит ту, чакӑм пуҫӗ пек пуҫне пар,
[275] хӑмӑш пек хӑмӑлне пар. Уя тухӑпӑр – татах
ырра хирӗс, усалла тӑртӗн ту. Касас ҫавӑнтан, касас
ҫурӑнтан, Турӑ, усалла сир.³ Тыр вырӑпӑр, Турӑ,
ывӑҫ перекетне пар; кӗлте тӑвӑпӑр, Турӑ, кӗлте пе-
рекетне пар; тӗм тӑвӑпӑр, Турӑ, тӗм перекетне пар;
ҫемел тӑвӑпӑр, Турӑ, ҫемел перекетне пар; урапа
ҫавӑрса пырӑпӑр ҫемел кутне, Турӑ, урапа пере-
кетне пар; анкартине кӑртсен, мӑн капан тӑвӑпӑр,
Турӑ, мӑн капан перекетне пар; мӑн капана пӑсса
авӑна хурӑпӑр, Турӑ, авӑн перекетне пар; авӑн ӑшне
вут хурӑпӑр, сиксе ӑкес вугӑнтан-хӗмӗнтен, Турӑ,
усалла аякка сир; Турӑ ҫӗкле, Турӑ ҫӑл; [276] авӑн
пӑсӑпӑр, Турӑ, авӑн перекетне пар; сарӑм сарӑпӑр,
Турӑ, сарӑм перекетне пар; кӑшӑллӑпӑр, Турӑ,
кӑшӑл перекетне пар; савӑрса тасатӑпӑр ҫичӗ тӗслӗ
тырра-пулла, Турӑ, ҫичӗ кӗлете хупма пар; пилӗк

³ Предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь III: 297. Оригинал позволяет уточнить паспорт.

пайи хысалта выртгӑр, пӑр пайне ёсме-сима пар, тепӑр пайне Патшан юсалӑхне тӑлеме пар, Турӑ; сутта кайнӑ чух пӑлме пуслӑпӑр, Турӑ, пӑлме перекетне пар; сутас сутта пахана тӑрат, илес тавара йӑнестер; авӑртнӑ ҫанӑха, илнӑ тавара, Турӑ, перекетне пар.

Пуплерӑмӑр капла сӑмахӑсене, тен, малтан калас сӑмах кая юлчӑ пулӑ, кайран калас сӑмах малтан пулчӑ пулӑ, Турӑ, каҫар. [277]

Поверии

Записано в 1884 г. воспитанником Симбирской центральной чувашской школы Филиппом Ивановым

Пӑрт тӑррине ларса ҫӑхан кашкӑрсан, ҫурт хуҫи вилет, тет... [300]

Тыӑ вырса пӑтерсен, ват карчӑксем пур сурлана пӑр ҫӑре тытса пуҫ урлӑ утаҫҫӑ те, сурлисем ӑкиччен чачас мӑлле ӑкнине пӑхма ҫаврӑнса тӑраҫҫӑ; пӑринӑн-пӑринӑн ҫурли катанарах кайса ӑксесӑн, вӑл вилет, теҫҫӑ.

Ҫын халсӑр пулсан, ун пыйтине урайне яраҫҫӑ, пыйтӑ тӑпелелле кайсассӑн, чирлӑ ҫын чӑрӑлет, теҫҫӑ, пыйтӑ алак патнелле кайсассӑн, вилет, теҫҫӑ... [400]

Ача ҫуратсан, ӑна тӑне кӑртсе, тӑр пӑччен ларакан йывӑҫ патне илсе каяҫҫӑ, унта хӑйсем урӑх ят хураҫҫӑ, урӑх ят хумасан, ача пурӑнмаст, теҫҫӑ. [401]

[Ваттисем каланисем]

Записано в 1884 г. воспитанником Симбирской центральной чувашской школы Тихоном Мироновым

Киремете вӑсем Турӑран та аслӑ, теҫҫӑ. Чирлесен, ӑна хур е кӑвакал памалла, теҫҫӑ; хур та, кӑвакал та памасан, вӑл вилет, теҫҫӑ, мӑшӑн тесен ӑна Киремет нуммай вӑхӑт ирттернӑ тесе вӑлерет, теҫҫӑ...

Пӑрт тӑрне ҫӑхан пырса ларсан, ача вилет, теҫҫӑ, тата чӑхӑ автан пек авӑтсан, пысӑк ҫын вилет, теҫҫӑ. [449]

Сӑмса тӑрри кӑҫӑтсен, ҫын вилет, теҫҫӑ. [450]

[Ваттисем каланисем]

Записано в 1884 г. воспитанником 1-го класса Симбирской центральной чувашской школы И. Никандровым

Аслатте Усала ҫапсассӑн, Усалӑн юнӑ аҫта ҫитеччен сирпӑнет, ҫавӑн таран ҫунтарат, теҫҫӑ. [493]

Пушар пулсан, вут чӑлхи вӑртсесӑн, чарӑнать, теҫҫӑ.

Пур тухатмалла чӑлхене вӑренсе ҫитсесӑн, никам та тухатаймаҫт, теҫҫӑ. [494]

Записано в 1884 г. воспитанником Симбирской центральной чувашской школы М. Самсоновым

Пуҫӑм тулли хушпум пур,
Сире халал тӑвас ҫук –
Уйӑх карти пултӑр-и?
Ҫийӑм тулли теветӑм пур,
Сире халал тӑвас ҫук –
Хӑвел карти пултӑр-и?⁴
Ҫийӑм тулли ҫутӑ кӑмӑл,
Сире халал тӑвас ҫук –
Ҫӑлти ҫӑлтӑр пултӑр-и?
Ҫийӑм тулли кӑвак хыс,
Сире халал тӑвас ҫук –
Кӑвак хуппи пултӑр-и? [532]
Аллӑм тулли ачам пур,
Сире халал тӑвас ҫук –
Турӑ чунӑ пултӑр-и? [533]

Мура лайӑх ҫынах каять, тет. Е арҫин, е хӑрарӑм мур пулса каят, тет. Ҫав мура каякан ҫын ҫӑрле ҫын тӑплансан вырӑн ҫинчен тӑрса кӑпи-йӑмне хывса пы[539]тарса хурат тет те, хӑй вара выртса йӑванса хӑп-хӑрлӑ йытӑ пулса мура каят, тет. Вӑл вара выльӑхсем картине кайса миҫе выльӑх вилмеллине карт картаҫҫӑ, тет. Муртан хӑтӑлас тесен, выльӑх картине сӑтсем ҫакса яраҫҫӑ.

Сӑтсене мурсем ҫисен: «Кусем лайӑх пӑхаҫҫӑ, кусене тивес мар», – тесе калаҫҫӑ, тет.

Ҫапла вара ӑнесем вилмесӑр юлаҫҫӑ, тет. Лайӑх пӑхманнине ҫилленсе пӑтӑмпех вӑлерсе пӑтерет, тет. Каҫхине ҫапла ҫӑресен, тул ҫутӑлас ен[540]не кайсан, каллах килне кайса выртат, теҫҫӑ...⁵

Хывнӑ каҫ тӑнӑ виттӑр пӑхсан пӑртелле, сӑтел хушшинче вилнӑ ҫынсем апат ҫисе ларни курӑнать, тет. Ҫав ҫын вара вилет, теҫҫӑ.⁶ [541]

⁴ Предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь XIII: 266. Оригинал позволяет уточнить паспорт.

⁵ Данный отрывок опубликован Н.И. Ашмариным, Словарь VIII: 270-271 с пометкой «Собр.». Оригинал позволяет уточнить паспорт текста. В публикации имеются некоторые изменения. Например, в рукописи, скорее всего, написано *тӑплансан*, а Н.И. Ашмарин прочитал как *шӑплансан*. Естественно, это два разных слова одного и того же действия с нюансами.

⁶ Эти два предложения опубликованы: Ашмарин, Словарь XVI: 83. Опубликовано вместо *ҫынсам* – *ҫынсем*, *виттӑр* – *витӑр*, *теҫҫӑ* – *пулать*. Оригинал позволяет уточнить паспорт.

Чăваш туйĕ

Записано в 1884 г. в [Ядринском или Чебоксарском уездах воспитанницей Симбирской центральной чувашской школы] Аксиньей Степановой

Пирĕн енче туй ак ҫапла тăваҫҫĕ. Пĕр-пĕр яш ачан авланмалла пулсан, вăл пасартан-пасара ҫўресе хĕр пăхать, унтан пĕр-пĕр хĕре юратсан, хĕрин ашшĕпе [887] амăш патне хайĕн ашшĕпе амăшне калаҫма ярать. Вăлсем хĕрĕ патне пырсан, ашшĕсемпе килĕштерсе эреке ёҫеҫҫĕ. Хĕрĕ вара пулас ашшĕпе амăшне кĕпе тăхăнтарать те, вăлсем вара киле тавăрăнаҫҫĕ. Хĕрĕ патне вара арăмсе хĕрсем пулăшма пыраҫҫĕ. Хĕрĕ вара пасар ҫитсен пасара кайса таврашсем илет. Туй пуласси эрне юлсан, хĕрĕ килĕнче те, ача килĕнче те сăра тăваҫҫĕ. Туй пуличчен [888] виҫĕ кун юлсан, ачи килĕнчен пĕр-пĕр ҫын хăмпăлчаллă пырать. Туйĕ чăн виҫĕ кунтан пулассине калама.⁷ Вара хĕрĕ килĕнче туя хатĕрленеҫҫĕ: апатсем пёҫереҫҫĕ, хăнасем чёнеҫҫĕ. Ыран туй пулас тенĕ чухне аякри хурăнташĕсем килеҫҫĕ. Ирхине тăрсан кил карти варринче виҫ хăмаран саксем тăваҫҫĕ, ҫавăн варрине сётел лартаҫҫĕ те, сётел ҫине пĕр витре сăра лартаҫҫĕ тата [889] ҫăккăр хураҫҫĕ, тата сётел умне пĕр йывăҫ касса лартаҫҫĕ, а́на вара шилĕк теҫҫĕ. Унтан вара келетре хĕр пуҫлатма тытăнаҫҫĕ. А́на ак ҫапла пуҫлаҫҫĕ: пĕр-пĕр арăм, инкĕш пулсан – инкĕш, ҫлĕк илет те, хĕрне тăхăнтарать, хĕрĕ ҫелĕкне илсе-илсе пăрахать, вăлсем ҫапла виҫĕ хутчен тăваҫҫĕ; унтан хĕрне пĕркенчĕк пĕркентереҫҫĕ, келетрен тухса пўрте каяҫҫĕ. Пўртрен хĕрĕ ашшĕсене пуҫ ҫапса тухсан, инкĕшĕ [890] тирĕкпе ҫўхўсем илет, тата тепĕр яш ача чёреспе йăтать те (вăл ачана вай пуҫ теҫҫĕ), хĕрне шăппăр каласа, параппан ҫапса ялти хурăнташĕсем патне илсе ҫўреҫҫĕ.⁸ Каччи те, хурăнташĕсене пуҫтарса пичке пуҫласа ёҫеҫҫĕ те, каччине те ҫелĕк виҫĕ хутчен тăхăнтарса виҫĕ хутчен хывса пăрахать. Унтан виҫҫĕшĕ ташлаҫҫĕ: пĕр кёҫĕн кёрў, тепри мăн кёрў, арăмĕ тата тепри яшка пёҫерекен [891] хĕр ташалать. Унтан пўртрен шилĕке тухаҫҫĕ те, ачи ашшĕпе амăшне пуҫ ҫапать, ашшĕсем а́на укҫа параҫҫĕ. Вара шилĕк патне виҫшер лашаллă, икшер лашаллă кўлнĕ кўмесене илсе пыраҫҫĕ те, туй халăхĕсем кўмесем а́шне кёрсе лараҫҫĕ.

⁷ Последние два предложения опубликованы: Ашмарин, Словарь XVI: 333. Оригинал позволяет уточнить паспорт.

⁸ Последнее предложение опубликовано: Ашмарин, Словарь V: 293. Оригинал позволяет установить паспорт.

Каччи виҫĕ лашаллă кўмен ларкăчĕ ҫине ларса сăх сăхсан, килĕнчен тухса туй ўкернĕ ҫёре каяҫҫĕ. Кёрў хĕрĕ патне кайма тухсан, малтан хайсен кўршĕри пĕр-пĕр ҫын патне кёрет, а́на [892] туй ўкет, теҫҫĕ. Унтан тухсан, хĕрĕ патне каяҫҫĕ. Хĕрĕ килĕнчи ҫынсем туй килнине курсасăн хапхине хупса питёреҫҫĕ.

Туй ҫттсссĕн туй ҫыннисем:

Яратри те ямастри,
Ямасассăн, каялла таврăнатпăр;
Эпир ҫаратма килтёмёр,
Хĕрех илме килтёмёр, – тесе юрлаҫҫĕ.

Вара лешсем:

Укҫа парăр,
Памасан – ямастпăр, – теҫҫĕ.

Кёрўшĕ вара мĕн чухлĕ те пулсан укҫа парать те, укҫа кўртеҫҫĕ. Туй кёрсссĕн, чи малтан шилĕк тав[893]ралла ҫаврăнаҫҫĕ, унтан вара сарай патне каяҫҫĕ, кёрў урапи шилĕк умне юлат. Унтан хĕрĕ амăшĕ кёҫҫе илсе пырса урапа умне сарать те, пĕр тенкĕ укҫа хурать, кёрўшĕ вара ҫав укҫа ҫине сиксе анса укҫине илет. Вара хайматлăх тиекенни пĕр чёрес сăра илет, тата кёрўшне кёҫҫе сарса параҫҫĕ те, хайматлăхĕ малтан пырать, кёрўшĕ ун хыҫĕнче кёҫҫе йăтса пырать. Унтан вăлсем сарайне кёреҫҫĕ те, сётел тавралла виҫĕ хут ҫаврăнаҫҫĕ, тă[894]ваттамĕш хутĕнче кёрўшĕ кёҫҫине сак ҫине хурат те, виҫĕ хут ҫапса ларать, хайматлăхĕ те сăрине сётел ҫине лартать.⁹ Пăртак тăрсан, кёрўшне хĕрин инкĕшĕ нўхрепе илсе кайса пичке пуҫлаттарать. Ҫав пуҫласа илнĕ сăрана кёрўшĕ шилĕке илсе пырать те, Турра кёл туса сăра ёҫтерет. Унтан хĕрĕ ашшĕ килне кёрсе ташлаҫҫĕ, юрлаҫҫĕ.

Пăртак тăрсан кёҫĕн [895] кёрў: «Атьăр ёнтĕ, ачасем, киле, каҫ пулать!» – тесе кăҫкăрать те, туй ачисем пўртрен тухса урапасем ҫине ларса келет патне пыраҫҫĕ.

Хĕрĕ те пўртрен тухса келете кёрет те, алăкне хупса тумланать. Тумлансан япалисене тиеҫҫĕ те, туй ачисем тухса каяҫҫĕ. Унтан вара кёрўшĕ те урапа ҫине ларса тухса каять, ун хыҫĕнчен икĕ хĕр пĕр чёрес илсе уй хапхине чупса кайса кёрўшне сăра ёҫтереҫҫĕ. Хĕрĕ те вара келетрен [896] парнесем илсе шилĕке тухать те, ашшĕ-амăшне тата хурăнашĕсене парне парать, вăлсем а́на укҫа параҫҫĕ.

⁹ Последние два предложения опубликованы с пометкой N (неизвестный источник): Ашмарин, Словарь XVII: 21. Оригинал позволяет установить паспорт.

Унтан вара хёрё кашнине пёрер курка сара тыт-
тарать те, ак сапла каласа хўхлет:

Эп те чипер, тантāшām,
Эс те чипер, тантāшām,
Хёвепеле пиҫнё сырла пек,
Епле уйрāлса каяс-ши?

Унтан ашшё-амāшё умёнче:

Ах, аттеҫём-аннеҫём!
Сāпаҫсипе пāхса ўстер[897]нёшён,
Нумай сире тарāхтартām пулё,
Савāнпа уйрāрса яратār пулё, – тесе хўхлет.

Пирён ахаль сāvā ҫук, хāйсем кāларса
юрлаҫҫё. Унтан вара хёрне хёйматлāх ашшё
йātса урапа ҫине лартать те, кил картишёнчен
тухса каяҫҫё. Кёрўшё уй хапхинче хёрё килесси-
не кётсе тāрать. Хёрё ҫитсен, кёрўшё уй хапхине
тутārпа виҫё хутчен ҫапать, хёрне виҫё хутчен
ҫапать. Унтан вара венчете каяҫҫё. Венчет ту-
сан, вара хёрне упāшки [898] патне илсе каяҫҫё.
Хапхи патне ҫитсен, урапине тāратаҫҫё те, хёрин
пуҫне сыраҫҫё. Вара хапхинчен кёрсе пўрт умне
урапине тāратаҫҫё те, упāшкин амāшё кинё патне
йёвенёнчен тытса лаша илсе пырса кинне тыт-
тарать те, туртса илет; вёсем сапла виҫё хутчен
тусасāн, кинне хёйматлāхё пўрте йātса кўртет.
Пāртак тāрсан, пўртрен тухаҫҫё, тухнā чухне ки-
нин урине виҫё хутчен тытса [899] чараҫҫё; кинё
вара хёматлāх амāшпе кёлете парне илме каять.
Парнине хёматлāх амāшё йātать, кинё пёр чёрес
сара илет те, шилёке парне пама каяҫҫё. Ашшёпе
амāшне кёпе парать, хурāнташёсене хāшне
кёпе парать, хāшне сурпан парать; парне парса
пётерсен вара хёматлāх амāшё, кинё парне панā
ҫынсене пуҫ ҫапаҫҫё.

Пуҫ ҫапнā чухне ашшёпе амāшё ак сапла ка-
ласа пиллеҫҫё: «Ватличчен пурāнār, ачār-пāчār
хāйār пек [900] пултār, ватā ҫын сāмахне итлёр,
усал ҫине ан пāхār, ырā ҫине пāхār. Тāрāрах
ёнтё», – теҫҫё.

Лешсем тāрсан парне илнисем кинне укҫа
параҫҫё. Унтан хёматлāх амāшё кинне кёлете
чёнсе кўртсе пуҫне лайāхрах сырать те, пёркенчёк
пёркентермесёрех кил картине илсе тухать. ҫынсем
ҫёнё ҫын курма пухāнсан, вāлсем ҫине яшка
сирпётёҫҫё, āна ҫёнё ҫын яшки, теҫҫё. ҫынсем вара
саланаҫҫё. [901]

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Александров Г.А. 2005. Сост. Рукописный фонд Н.В.
Никольского: Путеводитель. – Чебоксары: ЧГИГН. – 402 с.

Андерсон В.А. 1914. Роман Апулея и народная сказ-
ка. Т. 1. – Казань: Имп. ун-т. – XI, 655 с.

Ашмарин Н.И. 1928. Словарь чувашского язы-
ка. Вып. I. – Казань: Наркомпрос ЧАССР. – 335 с.;
Вып. II. – Казань: Наркомпрос ЧАССР, 1929. – 240
с.: 13 рис., IV с.; Вып. III. – Чебоксары: Наркомпрос
ЧАССР, 1929а. – 364 с.; Вып. IV. – Чебоксары: Нар-
компрос ЧАССР, 1929б. – 352 с.; Вып. V. – Чебокса-
ры: Наркомпрос ЧАССР, 1930. – 420 с.; Вып. VI. –
Чебоксары: Наркомпрос ЧАССР, 1934. – 320 с.; Вып.
VII. – Чебоксары: Чувашгосиздат, 1934а. – 336 с.;
Вып. VIII. – Чебоксары: Чувашгосиздат, 1935. – 355
с.; Вып. IX. – Чебоксары: Чувашгосиздат, 1935а. –
320 с.; Вып. X. – Чебоксары: Чувашгосиздат, 1936. –
296 с.; Вып. XI. – Чебоксары: Чувашгосиздат, 1936а.
– 343 с.; Вып. XII. – Чебоксары: Чувашгосиздат,
1937. – 320 с.; Вып. XIII. – Чебоксары: Чувашгосиз-
дат, 1937а. – 320 с.; Вып. XIV. – Чебоксары: Чуваш-
госиздат, 1937б. – 336 с.; Вып. XV. – Чебоксары: Чу-
вашгосиздат, 1941. – 292 с.; Вып. XVI. – Чебоксары:
Чувашгосиздат, 1941а. – 376 с.; Вып. XVII. – Чебок-
сары: Чувашгосиздат, 1950. – 436 с.

Батченко Е.И. 2009. Сост. Путеводитель аннотиро-
ванный по научному архиву Чувашского государствен-
ного института гуманитарных наук: Отдел языкознания.
– Чебоксары: ЧГИГН. – 280 с.

ПФА РАН (архив РАН, Санкт-Петербургский фи-
лиал), ф. 208, оп. 3. Ед. хр. № 9 – Андерсон В.Н. Письма
к С.Ф. Ольденбургу. 1913-1921 гг. – 7 л.

Салмин А.К. 2011. Энциклопедия традиционных об-
рядов и верований чувашей /Anton Salmin.Encyclopedia
of Chuvash Folk Rites and Beliefs. – Lewiston: Edwin
Mellen Press. – 408 p.

ЧГИ (научный архив Чувашского государствен-
ного института гуманитарных наук, отдел 1, ед. хр. №) 31
– [Петров М.П.]. Чāвашсем (этнографический очерк).
1881 г. – 77 с.

ЧГИ 72 – Этнография, фольклор, переводы. 1926-
1930 гг. – 437 с.

ЧГИ 150 – Никольский Н.В. Этнография. 1895-
1919 гг. – 590 с.

ЧГИ 151 – Никольский Н.В. Этнография. 1887-
1905 гг. – 355 с.

ЧГИ 154 – Никольский Н.В. Этнография, фольклор.
1892-1905 гг. – 405 с.

ЧГИ 204 – Никольский Н.В. Этнография, фольклор.
1909-1911 гг. – 348 с.

ЧГИ 208 – Никольский Н.В. Этнография, фольклор.
1910-1911 гг. – 580 с.

Anderson W.N. //Lares. Vol.III. Fasc. II-III. Roma,
1914: 237-240.

Anderson Walter. Die Meleagrossage bei der
Tschuwaschen //Philologus. Bd.LXXIII. Helf 1. Leipzig,
1914a: 159-160.

Anderson Walter. Tschuwaschische Sagen vom Igel
als Ratgeber //Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. 24.
Berlin, 1914b: 312-315.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЙРАТАХ ИЗ ГЛ. 327 И 328 «МИН ШИ»

В статье публикуются отобранные сведения о средневековых ойратах в главах 327 и 328 текста официальной династийной хроники династии Мин «Мин ши» на русском языке, а также комментарий к событиям описанным в нем, что затрагивает период так называемой «гегемонии ойратов» в Монголии в послеюаньский период (I-ая половина XV в.). Он соответствует «Первому Дурбэн-ойратскому союзу», который остается слабо изученным периодом в исторической науке. Настоящее исследование ставит перед собой задачи: отбор и введение в научный оборот в переводе на русский язык новых данных об ойратах из китайских источников, поскольку значительная часть собственно ойратских и монгольских источников по истории средневековых ойратов в условиях кочевого образа жизни, войн и перенесенных ойратами и калмыками многочисленных потрясений (ликвидация Джунгарского ханства и полное физическое истребление его населения, уход калмыцкого правителя Убаши из пределов Российской империи на территорию бывшего Джунгарского ханства) не сохранилась до настоящего времени¹.

Исследуемый нами источник – официальная династийная история «Мин ши» 明史, которая была создана между 1645 и 1739 гг. «Мин ши» была начата по императорскому указу от 1723 г. комиссией под председательством Чжан Тин-юя 张廷玉 (1672-1755) и была представлена императору Цяньлуну² в законченном виде в 1739 г. «Мин ши» содержит кроме специальной главы, где описываются ойраты и их взаимоотношения с минским двором, также и большую главу 327, посвященную восточным монголам, где есть сведения об ойратах. Следует отметить, что, несмотря на то, что этот источник писался уже совсем в другую эпоху, при династии Цин (1644 – 1911), однако полнота и концентрированная подача фактического материала, который

¹ Хочется отметить, что ойратские источники этот период упоминают кратко и отражают события XVI в.: основные сведения призваны указать состав «Среднего дурбэн-ойратского союза» (1502 – 1637 гг.) и доминирующее положение в нем хошутов, что отмечает события внутри ойратов не XV в., а XVI в. (Санчилов, 2013. С. 7-12).

² Цяньлун 乾隆 – это девиз правления цинского императора, значение которого звучит как «Непоколебимое и Славное». Здесь и далее мы используем девизы правления как эквиваленты личных имен императоров. Личное же имя этого императора – Хунли 弘历 (1711 – 1799), и он находился у власти с 1736 по 1795 г. После смерти было присвоено имя (т.н. посмертное храмовое имя) Гаоцзун-хуанди 高宗皇帝.

нас интересует при исследовании истории ойратов, делают «Мин ши» главным и незаменимым источником для изучения данной темы (Санчилов, 2001. С. 214-215).

Б.Г. Доронин, говоря о китайской историографии исследуемого нами периода, отмечал, что особенности биографий, которые включены в «Мин ши», очень напоминают «житии», т.е. такого жанра русской агиографии, о которых рассказывают в своих трудах В.О. Ключевский, Н.И. Серебрянский, Д.С. Лихачев и другие исследователи. В.О. Ключевский в работе «Древнерусские жития святых как исторический источник» указывал на следующие отличительные особенности житийной литературы: 1. Жития – произведения официальные, создававшиеся под строжайшим контролем властей. 2. Литература эта носила учительный, дидактический характер, ее основным назначением было «создание определенных нравственных парадигм». 3. Работая над материалом жития, биограф думал не столько об описываемых им явлениях, сколько о способе и тоне их изображения, соразмеряя все с идеей, положенной в основу произведения (Доронин, 2002. С. 194).

Особенность данного комментированного перевода на русский язык сведений об ойратах из гл. 327 и 328 официальной династийной истории династии «Мин ши» с китайского и французского языков заключается в том, что: гл. 327 была переведена с французского языка и дается лишь та часть, в которой имеются сведения об ойратах, гл. 328 переведена с китайского языка, и за исключением той части, где речь идет об урянхайских караулах (вэйях), которые не являлись ойратами. Таким образом, цель нашей совместной публикации заключается во введении в научный оборот в переводе на русский язык новых данных об ойратах из китайских источников.

ТАТАРЫ 鞑靼 Гл. 327. (卷327)³.

³ Татары (да-дань) – общее название монголов в минский период. Кроме того, этноним «татар» по-китайски транскрибировался еще как да-да и та-тань. Примечательно, что и некоторые современные китайские историки в прошлом следуя этой давней китайской традиции, именовали монголов «да-дань» («татарь»), что нашло отражение даже в русском переводе их книги (Очерки истории Китая, 1959. С. 414-418). Этноним «монгол» (монгол, где окончание -l, как предполагают, является показателем древней формы множественного числа) первоначально был названием племени группировавшихся вокруг Чингис-хана в конце XII – начале XIII в., «затем стал собирательным, подразумевающим всю монгольскую народность, вместе взятую» (Очерки истории МНР, 1967. С. 102)

У Луи Гамбиса на с. 18-19 (что соответствует «Мин ши» гл. 327 на с. 2312 а) говорится: «В царствование Чэнцзу成祖 [1403 – 1424]...Гуйлинчи 鬼力赤⁴ и ойраты [Wa-la (*Oira[t])] 瓦剌 воевали друг с другом и уходили и приходили под Стену. Император приказал чиновникам (офицерам), ведающим охраной границы держать свои войска готовыми обороняться» (Hambis, 1969. P. 18-19).

У Луи Гамбиса на с. 21 (что соответствует «Мин ши» гл. 327 на с. 2312 а) говорится: «В следующем году (1409)...Бэнь-я-ши-ли (Буньяшири) 本雅失裡⁵ был разбит ойратами и вместе с Аругтаем 阿魯台 перенес свой лагерь на реку Люй-цуй 隴胸河(Liu-k'iu)». (Hambis, 1969. P. 21).

У Луи Гамбиса на с. 22 (что соответствует «Мин ши» гл. 327 на с. 2312 б) говорится: «Спустя два года (1412) Буньяшири 本雅失里 был убит Махмудом 馬哈木 [Ma-ha-mou (*Mahmu[t])] ⁶ и другими <людьми из племени> ойратов. Аругтай уже неоднократно представлял подарки <Императору>; Император всякий раз одаривал ценными дарами; в то же время Император возвратил ему его старшего брата и младшую сестру, рожденных от одной матери, которые ранее были взяты в плен. После этого он подал всеподданнейший доклад Императору, в котором сообщалось, что Махмуд и его люди убили их принца и что они незаконным путем возвели на трон Дэльбека 答裡巴 [Ta-li-ra (*Dalba[q])], и что он сам испрашивает для себя

⁴ Основываясь на данных «Мин ши», Д. Покотиллов в своей книге указал: «В 1402 г. [всемонгольский хан] Гун-Тэмур был смещен неким Гуй-ли-чи, не признававшим его авторитета. Последний захватил власть в свои руки и назвал себя Хаганом, причем упразднил прежнее династическое имя «Юань» и дал своему народу наименование Да-дань. Под этим именем восточные монголы и известны нам за весь период минской династии». (Покотиллов, 1893. С. 32)

⁵ Следующий после Гуйлинчи верховный хан Монголии.

⁶ Махмуд (кит. Ма-ха-му) – первый ойратский правитель, который установил отношения с минским двором. В отличие от его сына Тогона и внука Эсэна, о нем содержится мало сведений в китайских и монгольских источниках. Судя по родословным знатных ойратских родов, приведенным в «Илэтхэл шастир», он принадлежал к аристократическому роду Цорос, из которого вышли все правители позднейших ойратских этно-политических объединений джунгаров и дэрбэтов (Санчилов, 1977. С. 11-18). Примечателен тот факт, что имя этого правителя явно мусульманского происхождения. Мусульманские имена у ойратов появляются в XV веке, что объясняется, вероятно, их близостью к мусульманским областям государства Чагатаидов в Средней Азии и Восточном Туркестане и существовавшими у них в то время торговыми и дипломатическими отношениями с мусульманским миром. (Hambis, 1969. P. XX).

<позволения – В.С.> принести присягу в верности, изъявив покорность, чтобы отомстить за своего прежнего господина. Сын Неба перед таким проявлением его верности возвел его в достоинство князя Хэ-нин-вана 和寧王⁷ (т.е. князя Каракорумского); с этого дня он каждый год присылал дары один или два раза в год. В 12 году (1414) император совершил поход против ойратов». (Hambis, 1969. P. 22).

У Луи Гамбиса на с. 23 (что соответствует «Мин ши» гл. 327 на с. 2312 б) говорится: «Изыявление покорности Аругтаем было вызвано тем, что когда ойраты разгромили и разорили его, он думал <направиться на юг>, чтобы восстановить силы снаружи Стены. Император его принял и пожаловал ему титулы; его мать и его жена стали соответственно Ван тай-фу-жэнь 王太夫人 и Ван фу-жэнь 王夫人»⁸. (Hambis, 1969. P. 23).

У Луи Гамбиса на с. 25 (что соответствует «Мин ши» гл. 327 на с. 2312 б) говорится: «Аругтай был несколько раз разбит ойратами: так как его люди были рассеяны, некоторые его люди, а именно Бади 把的 [Pa-ti (*Badi)] и другие прибыли один за другим изъявить покорность». (Hambis, 1969. P. 25).

У Луи Гамбиса на с. 27 (что соответствует «Мин ши» гл. 327 на с. 2313 а) говорится: «Вскоре Тогон⁹ (после 1434 г. – прим. авт.),

⁷ Хэ-нин – китайское название бывшей столицы Монгольской империи.

⁸ Китайская историческая терминология чиновничьей номенклатуры складывалась и развивалась на протяжении многих веков параллельно с развитием и формированием мощного и разветвленного китайского государственного аппарата. Поэтому для исследователя, а тем более исследователя-некитаиста довольно трудно установить функции всех должностных лиц и правительственных органов, встречающихся в тексте «Мин ши». Сам Л. Гамбис оставляет многие такие термины в тексте «Мин ши» без перевода, хотя для европейского читателя эта транскрипция китайских названий ни о чем не говорит. В отдельных случаях, там, где это было возможно, он попытался подыскать подходящие французские эквиваленты и передать эти названия в привычных для европейского и русского читателя понятиях.

⁹ Тогон (ум. в 1439/1440 г.) являлся сыном и преемником Батула-чинсанга (под таким именем в монгольских источниках фигурирует Махмуд) и монгольской принцессы Самур-гунджин. Он продолжал политику установления гегемонии ойратов над всей Монголией. Верховный хан Монголии Эльбек выдал замуж за старшего сына ойратского сановника Худхай-Тайю Батулу принцессу Самур и отдал ему в управление всех ойратов. После сражения с восточными монголами под командованием Аругтая, в котором ойраты были разбиты, и погиб его отец Махмуд, Богума спасся благодаря тому, что был накрыт котлом. Поэтому он и получил прозвище Тогон (по-монгольски «котел»). В 1430-х годах Тогон смог утвердить свою власть над всеми ойратскими владениями, расправившись с двумя другими

глава ойратов, внезапно напал и убил Аругтая, а также Шинэгэна失捏乾». (Hambis, 1969. P. 27).

У Луи Гамбиса на с. 29-30 (что соответствует «Мин ши» гл. 327 на с. 2313 а) говорится: «После убийства Аругтая Тогон, <правитель> ойратов, полностью собрал <под своей властью> войска и племена Аругтая, присоединив к ним войска и племена Сянь-и вана 賢義王 и Ань-ло вана 安樂王 (т.е. Тайпина и Бату-болота – прим. авт.), чтобы стать хаганом. Перед лицом всеобщего неповиновения Тогтобуха 脫脫不花 был назначен хаганом с предоставлением ему всего того, что принадлежало Аругтаю, а он сам [Тогон] стал чэн-сяном 丞相. Внешне он, казалось получал его приказы, но в действительности он ему не подчинялся. Тогон умер. Его сын Эсэн 也先¹⁰ наследовал ему; (с. 30 – прим. авт.) он под-

соперниками – ойратскими правителями. Он провозгласил верховным ханом Монголии своего ставленника – одного из чингисидов, молодого хана Тогтобуху, который стал править под именем Дайсун-хан. Сам Тогон, не будучи прямым потомком монгольского ханского рода, восходящего к Чингису, должен был довольствоваться влиятельной должностью первого министра (тайши) при дворе нового хана. Он отдал в жены Дайсун-хану свою дочь, старшую сестру Эсэна, и стал фактическим правителем Монголии. Тогон вел успешную войну с другим влиятельным представителем монгольской знати Аругтаем, также претендовавшим на власть над Монголией. С именем Тогона и его сына Эсэна связана первая в послеоаньский период попытка нового объединения Монголии и создания единого государства монголов и ойратов.

¹⁰ Эсэн (ум. в 1455 г.) – сын тайши Тогона, выдающийся ойратский правитель, объединивший Монголию в рамках единого государства и провозгласивший себя к концу жизни верховным ханом Монголии. Эсэн проявил себя искусным военачальником еще при жизни своего отца. В 1420-х годах он предпринял несколько успешных походов на запад против Восточного Могулистана, правитель которого чагатаид Вайс-хан (1418 - 1428) «ополчился на неверие калмаков (т.е. ойратов - прим. авт.) и постоянно вел борьбу с теми кафирами» (Санчилов, 1987. С. 12-13). При нем границы ойратских владений на западе раздвинулись до Бишбалыка. В 1430-х годах он помогал своему отцу в войне с восточными монголами и в разгроме Аругтая. Эсэн после смерти своего отца Тогона в 1439/1440 г. унаследовал титул тайши и Хуай-ван и продолжил политику своего отца в деле объединения Западной и Восточной Монголии и воссоздания Юаньской империи. Поэтому в дальнейшем главной своей задачей Эсэн считал покорение Китая. С этой целью он предпринял большой поход в Китай в 1449 г. и разгромил отправленную против него огромную китайскую армию. Командующий этой армией император Чжу Ци-чжэнь попал в руки Эсэна и провел в ойратском плену больше года. Эсэн полагал, что поскольку китайский император взят в плен, то правительство в Пекине безропотно примет все его требования, но его расчеты не оправдались. При дворе взяла верх патриотическая партия во главе с талантливим полководцем Юй Цянем, которая посадила на трон младшего брата императора и решительно отвергала

чинялся еще меньше и был еще более надменным, чем его отец; все племена оказались под его властью; у Тогтобухи был только титул хагана». (Hambis, 1969. P. 29-30).

У Луи Гамбиса на с. 30-31 (что соответствует «Мин ши» гл. 327 на с. 2313 а) говорится: «В 14-м году, осенью (1449), Эсэн задумал набрать многочисленные войска, чтобы совершить крупное нападение, Тогтобуха пытался отговорить его, говоря ему: «Мы обязаны Великим Минам едой и одеждой, как вы можете быть столь неблагодарными, чтобы поступать таким образом?» Эсэн не хотел ничего слушать и сказал: «Раз уж хаган не желает этого делать, я сделаю это сам!» Тогда, взяв каждому разное направление, он послал Тогтобуху напасть на Ляодун 遼東, в то время как он сам со всеми своими войсками вторгся через Датун. Император лич-

всякие предложения пойти на уступки требованиям Эсэна. Из южных провинций страны в столицу были стянуты войска, а сам город подготовлен к длительной обороне. Когда Эсэн подступил к Пекину, он не смог взять приступом хорошо укрепленный город и вынужден был отступить. В 1450 г. был заключен мирный договор с Китаем, и плененный император возвратился на родину. Отношения Эсэна с минским двором после этого внешне продолжали оставаться дружественными, он регулярно присылал посольства с «данью» в столицу Китая. Но в то же время минское правительство готовилось нанести ему сокрушительный удар: с одной стороны, оно укрепляло оборону северных границ империи, а, с другой, осыпало богатыми и щедрыми подарками хана Тогтобуху и других крупных монгольских и ойратских правителей. Отношения Эсэна с ханом ухудшились из-за того, что тот хотел, чтобы Тогтобуха объявил своим наследником племянником Эсэна, своего сына, рожденного от старшей сестры Эсэна. Отказ хана выполнить это требование грозного тайши вызвал вооруженный конфликт, в котором верховный хан Монголии погиб. Эсэн находился в зените своего могущества и провозгласил себя в 1454 г. всемонгольским ханом, приняв титул «Августейшего и великого хагана великой (династии) Юань». Созданное Эсэнгом единое монголо-ойратское государство занимало обширную территорию от реки Амур на востоке до пределов Средней Азии на западе. Как говорится в монгольских источниках, «Сорок и четыре» (т.е. монголы и ойраты) стали славою одного хана» (цит по кн.: Бүгд, 1969. X. 426). Однако этот шаг ойратского тайши привел к его падению. Против него выступили не только представители монгольской знати, недовольные возвышением Эсэна, но и некоторый ойратские князья. Их недовольство во многом было инспирировано минской дипломатией, натравливавшей одних князей против других. Растущее сопротивление Эсэнгу было вызвано отнюдь не его беспутным поведением и пристрастием к спиртным напиткам, как об этом сообщают авторы «Мин ши», а гораздо более глубокими причинами. В тогдашнем монгольском и ойратском обществе отсутствовали силы, на которые он мог бы опереться, проводя свою централизаторскую политику. В 1455 году Эсэн потерпел поражение в междоусобной войне и погиб. Вместе с ним и закончился период ойратской гегемонии.

но участвовал в кампании; Император¹¹ попал в плен при Туму¹².

В следующем году (1450) император Цзин景皇帝 вззошел на трон, оставив свои функции регента [цзянь-го監國] и передав титул (с. 31 – прим. авт.) Тай-шан хуан-ди太上皇帝 Императору. Осенью бывший Император вернулся от Эсэна; об этом событии рассказывается в справке об ойратах. Тогтобуха после возвращения Тай-шан хуан-ди присылал «дань» с увеличивающимся усердием. Он женился ранее на старшей сестре Эсэна; от этого союза родился сын: Эсэн хотел, чтобы его назначили наследным принцем – Тогтобуха отказал. Эсэн подозревал его в том, что он вступил в сговор с Китаем и хочет его убить. Тогда они вступили в вооруженный конфликт. Эсэн убил Тогтобуху, захватил его жен, детей, подданных, распределив их по всем племенам, находившимся у него в подчинении, и провозгласил себя хаганом. Эти события имели место на втором году Императора Цзина; Двор называл Эсэна ойратски хаганом; спустя некоторое время он был убит одним из своих чиновников Алаком 阿剌[A-la (Ala[q])]. Правитель татарских племен Болай 孛來[Po-lai (*Bolai)] в свою очередь разгромил ойратов». (Hambis, 1969. P. 30-31).

У Луи Гамбиса на с. 34 (что соответствует «Мин ши» гл. 327 на с. 2313 б) говорится: «Болай и другие представляли «дань» каждый год и не-

¹¹ Речь идет о шестом минском императоре Чжу Ци-чжэне (1436 – 1449, храмовое имя Ин-цзун, девиз правления Чжэн-гун, и 1457 – 1464, девиз правления Тянь-шунь). После катастрофического поражения в Тумуском сражении в 1449 г. он попал в плен к ойратам и провел в плену около года, а после возвращения домой еще шесть с половиной лет пробыл в заключении в Пекине, получив титул Тай-шан хуан-ди, который обычно присваивался в Китае правителям, удалившимся от дел на покой, передав при жизни престол сыну. В это время на императорском троне находился его младший брат Чжу Ци-юй (1450-1456), правивший под девизом Цзин-тай.

¹² Туму (букв. «земля и дерево; дерево-земляной») – местность к юго-западу от г. Хуайлай (современная провинция Хэбэй). Здесь в 1449 г. огромная китайская армия (в китайских источниках приводится цифра в 500 тыс. человек) потерпела сокрушительное поражение от войск Эсэна. «Тумуская катастрофа» ознаменовала собой важный рубеж во внешней политике Минской империи: она потребовала сосредоточения всех военных сил Китая на северо-западе и побудила правящие круги Китая отказаться от внешнеполитической экспансии в других направлениях. Она не осталась незамеченной и в китайской историографии. Вот как об этом в свое время писал выдающийся советский китаист и японист Н.И. Конрад: «Об огромном потрясении, которое испытала минская держава, свидетельствует хотя бы очень показательный для китайской историографии факт: он получил в ней особое наименование: туму чжи бянь («катастрофа у земельно-деревянных укреплений»)». (Конрад, 1974. С. 183).

сколько раз совершали набеги, доходя до Стены, под предлогом нападения на ойратов с запада, кроме того, они неоднократно грабили Три вэй¹³». (Hambis, 1969. P. 34).

У Луи Гамбиса на с. 37-38 (что соответствует «Мин ши» гл. 327 на с. 2314 а) говорится: «Именно в этот момент (весна 1470 – прим. авт.) Борунай 孛魯乃 и Алчу 斡羅出, действуя вместе с другими племенами, куда входили Бэг-арслан 朮加思蘭. (с. 38 – прим. авт) и также Болху 孛羅忽, проникли в Излучину Реки с намерением там обосноваться; Ян-тин и Суй-син находились в состоянии тревоги. Император назначил <Чжоу> Юна 永 командующим (цзянь-цзюнь) и Ван Юэ 王越 было поручено помогать ему в военных операциях с тем, чтобы они оказали сопротивление врагу. <Чжу> Юн дошел до их мест и несколько раз присылал победные сводки, и вместе с <Ван> Юэ и другими они получили все награды за свои заслуги. <Чжу> Юн был назначен маркизом, этот титул бы сохранен за его потомками, но враг продолжал оккупировать Излучину Реки, как и прежде». (Hambis, 1969. P. 37-38).

У Луи Гамбиса на с. 39 (что соответствует «Мин ши» гл. 327 на с. 2314 а) говорится: «(в 1471 или 1472 г. – прим. авт.) Мандул 滿都魯[Man-lou-tou (*Mandul?)] вошел на Излучину Реки и провозгласил себя хаганом, а Бэг-арслана¹⁴ – тайши». (Hambis, 1969. P. 39).

У Луи Гамбиса на с. 40 (что соответствует «Мин ши» гл. 327 на с. 2314 а) говорится: «С самого начала Бэг-арслан выдал свою дочь за Мандула и провозгласил его хаганом; позднее он убил Болху и собрал под своей властью всех людей последнего; он делался все более и более деспотичным; Торгэн 脫羅干 и Исмаил 亦思馬因 из племени, подвластного Мандулу, составили

¹³ Вэй (гарнизон) в минскую эпоху представлял собой крупное воинское подразделение численностью 5600 человек. Поскольку подчиненные вэю воинские части, особенно в пограничных областях, были расквартированы на довольно значительной территории, то вэй приобретал также черты административно-территориальной единицы. Возглавляли вэй три старших военачальника: чжихуэй ши – командир вэя, чжихуэй тунчжи – заместитель командира вэя и чжихуэй цяньши – помощник командира вэя; чжэнфу – «следующий по старшинству военный чиновник в вэе либо третий по старшинству чиновник в тысяче» (Свистунова, 1975. С. 230). В тексте идет речь об «урянской трех вэях», которые являлись охранными кочевыми поселениями монголов, находящихся на службе у минского двора.

¹⁴ Бег-Арслан – это ойратский Бэкэрисун-гайджи, который в китайских источниках именуется Цзя-цзя-сыланем 朮加思蘭. Некоторые любители истории из КНР считают его главой племени «ме-кэ-ли» 乜克力, которое являлось в свою очередь одной из частей ойратского подразделения хойтов. (См. Кукеев Д.Г. 2014. с. 111).

заговор и убили его; позднее и Мандул умер в свою очередь. Так как все мало-мальски могущественные вожди исчезли один за другим, люди на границах получили некоторую передышку». (Hambis, 1969. P. 40).

У Луи Гамбиса на с. 92 (что соответствует «Мин ши» гл. 327 на с. 2319 б -2320 а) говорится: «Территория монголов от урянхайцев на востоке простиралась до ойратов на западе». (Hambis, 1969. P. 92).

328 цзюань (卷328)

Ва-ла 瓦剌 Ойраты

Ойраты 瓦剌 – монгольское племя и находятся к западу от татар. После падения династии Юань, юаньский сильный сановник Мэн-кэ-тэ-му-эр 猛哥帖木兒 [Менкэ-тимур]¹⁵ завладел ими. После его смерти народ разделился на 3 части: их вождей звали – Ма-ха-му 馬哈木 [Махмуд]¹⁶, второй – Тайпин 太平, третьей – Ба-ту-бо-ло 把秃孛羅 [Бату-болот].

Когда Чэн-цзу¹⁷ взошел на престол, он послал своих послов с извещением. В начале правления Юн-лэ [китайцы] многократно посылали послов к Чжэньфу¹⁸ Да-ха-тимуру и др., и к тому же пожаловали шелка Махмуду и др. в зависимости от их положения. Зимой 6-го года правления [1408] Махмуд и др. отправили Нуань-да-ши 暖答失 [Нумдаш] и др. для того, чтобы сопровождать И-ла-сы, которые прибыли ко двору с «данью» лошадьми и просили о присвоении звания. Летом следующего года [1409] Махмуду был присвоен титул шунь-нин-вана¹⁹, Тайпину – сянь-и-вана²⁰, а Бату-Болоту титул ань-ло-вана²¹. Кроме того, были пожалованы печати и указы. В соответствии с обычаем Нумдашу был устроен пир и преподнесены подарки.

Весной 8-го года правления [1410] ойраты вновь «прислали дань» лошадьми и благодарили за

¹⁵ Эта личность в монгольских источниках фигурирует под именем Угэчи-хашка, в китайских – Гуйличи. Он являлся потомком керейтов и предком торгутов. Об особенностях проблем, связанных с идентификацией Менкэ-Тимура и ее разрешении в современной восточной историографии - См. Кукеев 2014. с. 103 – 113.

¹⁶ В монгольских источниках он именуется как Батула. (См. Шара-гуджи, 1957).

¹⁷ Т.е. император Чжу Ди 朱棣, храмовое имя Чэн-цзу 成祖, девиз правления Юн-лэ 永乐; 1403-1424.

¹⁸ Чжэньфу – чиновник, ведающий судебными делами.

¹⁹ Шунь-нин-ван 順寧王 – один из княжеских титулов, означающий «покорный и мирный».

²⁰ Сянь-и-ван 賢義王 – один из княжеских титулов, означающий «дружелюбный и справедливый».

²¹ Ань-ло-ван 安樂王 – один из княжеских титулов, означающий «спокойный и радостный».

оказанные милости. С этих пор они ежегодно присылали «дань»²².

В это время в северной части Гоби юаньский государь Бэнь-я-ши-ли 本雅失裡 [Буньяшири] жил вместе со своим вассалом А-лу-таем 阿魯台 [Аругтай], и в это время Махмуд напал и разбил его. На 8-ой год правления [1410] император сам лично возглавил [армию] и разбил войска Буньяшири и Аругтая, Махмуд просил о том, что необходим план уничтожения разбойников. Тогда на 10-й год правления [1412] Махмуд разбил и убил Буньяшири. Он хотел подарить императору старую императорскую печать Юань, но боялся, что Аругтай перехватит по дороге, и просил Китай ликвидировать Аругтая. Сын То-го-бу-хуа 脫脫不花 [Тогтобуха] находился в Китае, и он просил отослать его обратно. Его люди воевали [вместе с китайцами] и были отблагодарены, и он просил увеличить подарки. К тому же ойратские войска становились сильнее, и он просил предоставить воинское снаряжение. Император говорил: «Ойраты горды, но не стоит с ними воевать». Их послам давали жалование и отсылали обратно. На следующий год [1413] Махмуд оставил у себя и не отпустил обратно присланного к нему посла. Он вновь просил вернуть татар Ганьсу и Нинся, которые были подданными Китая. Император разгневался и приказал внуку Хайтуну 海童 объявить ему решительное порицание. Зимой на реке Инь-ма-хэ²³ Махмуд и др. собирали войска, планируя вторжение [в Китай], и [Махмуд] во всеуслышание [ложно] говорил, что будет нападать на Аругтая. Кайпинский²⁴ шоуцзян²⁵ поставил в известность [императора], и император заявил, что лично поведет войска [на Махмуда]. Летом следующего года [1414] император сделал стоянку на Ху-лань-ху-ши-вэнь 忽蘭忽失溫 [Куланкушиун]. Три племени Гуй-цзина 埽境 пришли воевать. Император вручил флаг [знак права войны] ань-юань-хоу²⁶ Люшену и у-ань-хоу²⁷

²² В силу господствовавших во внешней политике императорского Китая китаецентристских догм и представлений, не допускавших равноправных отношений с кочевниками, монголы и ойраты в китайских источниках причислялись к вассалам императора, а проводимая ими торговля на конных рынках записывалась в исторические хроники как «дань» 贡. (New Qing, 2004. P. 94.) Для того, чтобы подчеркнуть нелепость применения этого слова как «дань», мы берем его в кавычки.

²³ Инь-ма-хэ 飲馬河 – китайское наименование р. Керулен.

²⁴ Кайпин 開平 – город в Китае, совр. провинция Хэбэй.

²⁵ Шоуцзян 守將 – начальник пограничного гарнизона.

²⁶ Ань-юань-хоу 安遠侯 – Один из княжеских титулов, означающий «усмиряющий даль».

²⁷ У-ань-хоу 武安侯 – один из княжеских титулов, означающий «храбрый усмиряющий».

Чжэн Хэну и др. с целью испытать их, затем император лично возглавил железную конницу и, быстро проходя расстояния, напал и сильно разбил Махмуда, казнив 10 с лишним сыновей князей, в общем несколько тысяч человек. Император гнал их, пройдя через 2 высокие горы до реки Ту-ла [Тула]. Махмуд и другие отступали, и император отозвал свои войска. Весной следующего года [1415] Махмуд и др. прислали «дань» лошадьми и принесли свои извинения, а также вернули ранее задержанного у себя посла и говорили скромные слова. Император сказал: «Поскольку не стоит состязаться с ойратами, то примите их посла и разместите его, приняв «дань»». На следующий год [1416] у ойратов разгорелась война с Аругтаем, и они проиграли. Через некоторое время умер Махмуд. Хайтун вернулся и доложил, что ойраты были непокорны из-за шуньнин-вана, а теперь шуньнин-ван умер, и сянь-ивана и ань-ло-вана можно подчинить. Император снова отправил Хайтуна благодарить за заслуги к Тайпину и Бату-болоту.

Весной 16-го года правления [1418] Хайтун вернулся вместе с ойратским послом, который принес «дань». Сын Махмуда, То-гуань 脫懽 [Тогон]²⁸ просил о присвоении ему титула, и император присвоил ему титул шуньнин-вана. Хайтун и дуду²⁹ Су-хо-эр-хо 蘇火耳灰 [Сукоркуй] и др. по приказу императора пришли пожаловать Тайпину и Бату-болоту и младшему брату Ань-кэ 昂克 [Анька] рулон шелка, а также императорский двор отдельно послал посла помянуть усопшего шуньнин-вана. С этого момента ойраты вновь присылали «дань».

На 20-й год правления [1422] ойраты напали и разграбили Ха-ми 哈密 [Комул]. Императорский двор осудил их, и ойраты прислали послов с извинениями. Зимой 22-го года правления [1424] ойратский подчиненный Са-ин-да-ли 屬賽因打力 [Саилдари] пришел ко двору, изъявив покорность, и получил титул чжэньфу, а впридачу – шелк, деньги, дорогие одежды, седла и лошадей, чиновникам было приказано дать все, что необходимо. Затем все, кто приходил, с покорностью удостаивались того же.

В начале правления Сюань-дэ³⁰ [1426] умер Тайпин и преемство перешло к его сыну Не-лье-ху 捏烈忽 [Нараху]. В это время Тогон воевал с Аруг-

²⁸ На период царствования у ойратов этого правителя падают знаменательные события: процесс вхождения и возникновения хошутов и торгутов в составе ойратов. (См. Авляев Г.О., Санчилов В.П. 1984. С. 43-58; Кукеев Д.Г. 2008. С. 69-76.).

²⁹ Дуду 都督 – Генерал-губернатор.

³⁰ Император Чжу Чжань-цзи 朱瞻基, храмовое имя Сюань-цзун 宣宗, девиз правления Сюань-дэ 宣德; 1426-1436.

таем, [Тогон] разбил его, и разбитый [Аругтай] бежал в местность между горами Му-на-шань 母納山 [горы Муна] и Ча-хань-но-ла 察罕腦刺 [Цаганнора]. На 9-й год правления [1434] Тогон напал на Аругтая и убил его, затем прислал послов ко двору и просил предоставить яшмовую печать. Император пожаловал указом, и указ о дарении гласил: «Ван убил Аругтая, это значит ван подчинился и теперь устранил вековую вражду, это очень хорошо. Но ван говорит о яшмовой печати, печать долго передавалась из поколения в поколение, вплоть до недавнего времени, но ее нет здесь. [Если] ван получил печать, то Ван может ею пользоваться». Затем император вручил 50 кусков сатина.

В начале правления Чжэн-туна³¹ [1436], зимой, чэн-го-гун³² Чжу Юн 朱勇 докладывал: «Совсем недавно войска ойратского Тогона преследовали татарского До-эр-чжи-бо 朵兒只伯 [Дорджибай], опасаясь, что Тогон насильно присоединит его к себе. Тогон изо дня в день становится сильнее. Я прошу все приграничные департаменты собрать силы и быть готовыми к неожиданности». Император принял и одобрил это письмо. Вскоре Тогон среди ойратов убил своих сянь-ивана и ань-лована и полностью завладел их людьми. Он желал называться хаганом, но народ не одобрил это, и он поставил Тогтобуху, и ему были отданы люди, ранее принадлежавшие Аругтаю. Тогон сделал себя чэн-сяном³³ и находился в северной части Гоби, и ему подчинились также Ха-ла-чжэнь 哈喇噴 [Харачины], и другие племена подчинились ему. После того, как он напал и разбил Дорджибая, он угрозами и соблазнами переманил к себе все дояньские³⁴ караулы [приграничные монголы] для того, чтобы следить за тем, что происходит за заставами.

На 4-й год правления [1434] умер Тогон, и ему наследовал его сын – Е-сянь 也先 (Эсэн)³⁵, который стал тайши 太師 и хуайваном 淮王³⁶. В это время, Эсэну подчинялась вся северная часть, Тогтобуха обладал пустым титулом, и он не контролировал их. Они каждый раз присылали «дань», хан и вассал вместе посылали послов, но император также отвечал им разными указами каждому отдельно. И

³¹ Император Чжу Ци-чжэнь 朱祁鎮, храмовое имя Ин-цзун 英宗, девиз правления Чжэн-тун 正統; 1436-1449.

³² Чэн-го-гун 成國公 – один из княжеских титулов, означающий «основатель государства».

³³ Чэн-сян-сун-цзи – первый визирь.

³⁴ Доянь 朵顏 – округ, состоящий из монгольского населения.

³⁵ При этом правителе окончательно завершился процесс образования торгутов и хошутов в составе ойратов, начавшийся при Тогоне.

³⁶ Хуайван 淮王 – один из княжеских титулов.

двор очень щедро одаривал их жен, детей и глав подчиненных племен. По древним обыкновениям, число членов ойратских посольств не должно было превышать 50 человек. Им [ойратам] было выгодно, что двор давал награды, поэтому каждый год число членов посольств увеличивалось и достигало более 2000 человек. Несмотря на многократные указания, послы не соблюдали предписаний. Посольства на обратном пути занимались грабежами и убийствами, забирали себе чужое имущество, дорогие и редкие китайские предметы. Им этого было мало, и это постоянно служило яблоком раздора. Пожалования ежегодно увеличивались. Эсэн напал на Комул, захватил князя и его мать и позже отпустил их обратно. Затем [Эсэн] женился в Шачжоу 沙州, у Чицзинь 赤斤 [Чигинских] монголов, нанес удар У-лян-ха 兀良哈 [Урянхайцам] и угрожал Северной Корее. Бяньцзяни³⁷ узнали о великом нападении и многократно сообщали об этом, но император всего лишь предписывал им обороняться от ойратов.

Зимой 11-го года правления [1446] Эсэн напал на урянхайцев и направил посла в Датун³⁸ с просьбой о провианте, и к тому же просил встретиться с шоубэем³⁹ евнухом Го Цзинем 郭敬. Император приказал Го Цзиню не встречаться и не давать провиант, и он не дал. На следующий год [1447] [Эсэн] снова послал письмо Сюаньфускому⁴⁰ шоуцзяну Ян Хуну, Ян Хун докладывал [об этом] императору и получил приказ; в соответствии с ритуалом следовало принять послов Эсэна и затем известить императора. Через какое-то время некоторые из его племени пришли [ко двору] и подчинились, и они сказали, что Эсэн собирается вторгнуться с грабежами, Тогтобуха сдерживает его, но Эсэн не слушает и планирует договориться со всеми варварами о том, чтобы вместе повернуться спиной к Китаю. Император спрашивал его, но не получил ответа. В это время двор отправил посла, который прибыл к ойратам спросить Эсэна и др., что они просят, и не было того, что не могло быть разрешено [ойратам]. Прибыли ойратские по-

³⁷ Бяньцзянь 邊將 – должность приграничных генералов.

³⁸ Датун 大同 – область в минском Китае. Находится в северной части нынешней провинции Шаньси. На севере этой области располагалась Великая стена, которая и служила границей, а на западе – река Хуанхэ. При минской династии (1368-1644) эта область стала укрепленным пунктом против монголов.

³⁹ Шоубэй 守備 – командир, военачальник в составе войск в особой местности, исключительно в защитных гарнизонах. Во времена династии Мин – главный военачальник. Номинально назначались только князья, но фактически назначались привилегированные евнухи.

⁴⁰ Сюаньфу 宣府 – область в минском Китае. Местность этой области носит гористый характер и прилегая непосредственно к столице, считалась весьма важной в стратегическом отношении.

слы и снова в большом количестве, доходившем до 3000 человек, и они не указали свое число, поскольку они [ойраты] жадны на казенное добро. Департамент ритуалов предоставил им жалование на основе реального числа человек, и им выдали всего одну пятую часть. Эсэн был пристыжен и пришел в ярость. К 14-му году 7-го месяца правления [1449] Эсэн действовал соблазном и угрозой на всех варваров и энергично осуществлял вторжение по разным дорогам. Тогтобуха заставил урянхайцев взять Ляодун⁴¹, Ала чжиюань 阿剌知院 ограбил Сюаньфу, осадил Чичэн⁴², и, кроме того, отправил отдельный кавалерийский отряд разграбить Ганьчжоу⁴³, Эсэн самолично напал на Датун. Срочный призыв о помощи [дошел до столицы], цань-цзян⁴⁴ У Хао 吳浩 погиб в Маоэрчжуане 貓兒莊. Евнух Ван Чжэн 王振 убедил императора лично идти в поход, министры пали ниц, чтобы помешать [идти в поход], но успеха не имели. Датунский шоуцзян Сун Ин 宋瑛, у-цзинь-бо⁴⁵ Чжу Мянью 朱冕, дуду Ши Хэн 石亨 и др. сразились с Эсэнном в Янхэ⁴⁶, все действия генералов были под контролем евнуха Го Цина, но поскольку не было дисциплины, то армия потерпела неудачу. Все генералы были схвачены Эсэнном, и был беспорядок. Ин и Мянью погибли, Цин спасся и затаился в траве, Хэн бежал и вернулся. Экипаж императора выехал в Датун, а в течение нескольких дней подряд шел сильный дождь, [и дул] ветер, армия находилась в [состоянии] боязни ночью, люди дрожали от страха. Го-цзин секретно предложил Чжэну повернуть войска назад. Император прибыл в Сюаньфу, вражеские войска атаковали армию с тыла. Хунь-шунь-хоу⁴⁷ У Кэ-чжун с верностью давал отпор врагу, но потерпел поражение и умер. Чэн-го-гун Чжу Юн 朱勇, юн-шунь-бо⁴⁸ Сюе Шоу 薛綬 с 40-тысячным войском продолжал движение и прибыл в Яоэрлин 鷓兒嶺, и они попали в засаду и были полностью разбиты. На следующий день [император] прибыл в Туму⁴⁹. Все чиновники склонялись к тому, чтобы зайти [внутрь Великой стены] и охранять Хуайлай 懷來, Чжэн, напротив, опасался за обоз, и по

⁴¹ Ляодун 辽东 – область в минском Китае, находившаяся на северо-востоке страны.

⁴² Чичэн 赤城 – город, основан в 1430 году, находящийся к северу от Пекина.

⁴³ Ганьчжоу 甘州 – область в минском Китае, находящаяся на северо-западной границе страны.

⁴⁴ Цаньцзян 參將 – Старший адъютант.

⁴⁵ У-цзинь-бо 武進伯 – один из княжеских титулов, означающий «храбрый и продвигающий».

⁴⁶ Янхэ 陽和 – местность в области Датун.

⁴⁷ Хунь-шунь-хоу 媿順侯 – один из княжеских титулов.

⁴⁸ Юн-шунь-бо 永順伯 – один из княжеских титулов, означающий «вечный и покорный».

⁴⁹ Туму 土木 – местность, которая находится к юго-западу от г. Хуайлай.

этой причине армия стояла. Эсэн успешно догнал их. Туму находится на возвышенности, колодцы были глубиной в 2 чжэна, но воды не находили. Все дороги, на которых имелась вода, были захвачены врагом. Люди испытывали жажду, и на следующий день враг обнаружил, что императорская армия стоит и не движется, и притворно отступил. Чжэн приказал перевести лагерь к югу. Когда императорская армия двинулась, то Эсэн штурмовал ее со всех 4-х сторон. Весь командный и рядовой состав убежал наперегонки, и ряды армий пришли в большое смятение. Враг напал на позиции и проник внутрь, все шесть армий разбежались, сто тысяч человек было убито и ранено. Ин-го-гун⁵⁰ Чжан Фу張輔, фума дувэй⁵¹ Цзин Юань井源, шаншу⁵² Куан Е 桎, Ван Цзо王佐, чиновники из личной охраны Цзао-най曹鼐, Дин Сюань丁鉉 и еще более 50 человек погибли, также погиб и Чжэн. Император попал в плен, и его сопровождал евнух Си-нин喜寧. Эсэн, когда узнал о прибытии императорского экипажа, был очень изумлен и даже не поверил, но когда они свиделись, [Эсэн] очень вежливо обращался с ним. Захваченного императора он оставил у младшего брата Бо-янь-гэ-му-эра伯顏帖木兒 [Баян-темур], а также прежде захваченного сяовэй⁵³ Юань Лина袁彬, который прислуживал императору. Эсэн имел замысел [лишить жизни императора], но случилась гроза, молния, которая убила лошадь Эсэна, это было предзнаменованием, чтоб Эсэн прекратил задерживать императора. Эсэн принудил императора оказаться в г. Датун, требуя золото и шелк, и дуду Го Дэн郭登 дал 30 тысяч серебра. Дэн снова планировал взять карету императора и вместе въехать в город, но император отговорил его, и Эсэн вынудил императора направиться на север.

На 9-м месяце правления [1449] на престол императора взошел Чэн-ван⁵⁴, который прежде был Цзяньго⁵⁵, и пожаловал предыдущему императору [титул] Тай-шан хуан-ди⁵⁶. Эсэн обманывал, что вернет

⁵⁰ Ин-го-гун英國公 – один из княжеских титулов.

⁵¹ Фу-ма дувэй駙馬都尉 – командир резервных лошадей сопровождающих экипаж.

⁵² Шаншу尚書 – министр, глава высшего административного управления центрального правительства. Напрямую ответственен перед императором.

⁵³ 校尉 – сяовэй – командир. Этот титул присуждался военным офицерам.

⁵⁴ Император Чжу Ци-юй朱祁鈺, храмовое имя Дай-цун代宗, девиз правления Цзин-тай景泰; 1450-1457.

⁵⁵ Цзяньго監國 – используется в качестве Регента, на которого возлагался контроль правительства на тот период времени, пока действительный правитель находился на расстоянии от столицы или когда правитель был слишком мал или не в состоянии выполнять свои обязанности.

⁵⁶ Тай-шан хуан-ди太上皇帝 – обычно использовалось в случае отречения императора от престола, часто при правлении сына.

императора, и пошел через Датунский Янхэ, добрался до прохода Цзыцзингуань⁵⁷ и атаковал его. Затем он напал на столицу. Бинбу шаншу⁵⁸ Юй Цянь 于謙 отдал приказ уцинбо⁵⁹ Ши Хэну石亨, дуду Сунь Тану孫鏜 отразить его. Эсэн приглашал высших чиновников выйти на встречу к прежнему императору, но все было безрезультатно. Хэн и др. завязали бой, но проиграли. Ночью Эсэн ушел и от Лянсяна⁶⁰ до Цзыцзина сильно грабил и уходил. Дуду Ян Хун楊洪 нанес большое поражение остаткам войск Эсэна в местности Цзюй-юн居庸. Эсэн с прежним императором ушли на север. Эсэн часто видел над императорской палаткой красный свет, похожий на дракона, Эсэн был сильно изумлен. Эсэн затем хотел выдать за экс-императора свою младшую сестру, но император отказался. Эсэн относился к нему с искренним уважением, регулярно убивал баранов и лошадей и преподносил вино с пожеланиями долголетия императора, также делал земные поклоны, по обычаю вассала и сюзерена.

В начале правления Цзинь-тая [1450] Эсэн с экс-императором дошел до Датун, но Го Дэн не пропустил, и к тому же Го Дэн хотел завладеть плененным императором, но Эсэн узнал это и ушел. Сначала Эсэн презирал Китай, затем напал на столицу, но, узнав, что силы Китая укрепились, городские стены и ров укреплены, он испугался. В это время Китай привлек к себе и убил шпиона Ян Си-нина. Эсэн потерял его, и Тогтобуха, Ала чжиюань вновь послали своих послов ко двору для переговоров о мире. Они отозвали свои отряды, и Эсэн решил прекратить вражду. Осенью император послал шилана⁶¹ Ли Ши 李實 и шоуцзин⁶² Ло И羅綺 и управляющего войсками [в должности чжи-хуэя] Ма Чжэна馬政, который передал письмо с императорской печатью, адресованное к Тогтобухе и Эсэну. Затем Тогтобуха и Эсэн послали Пи-эр-ма-хэй-ма 皮兒馬黑麻 [Пир-Махмуд] и др. в столицу, а император послал снова к ойратам дуойши⁶³ Ян Шаня楊善, шилана Чжао Жун-лю趙榮率 и посольство, которое состояло из чжихуэев⁶⁴, Цянь Ху⁶⁵ и др. Эсэн сказал истинно, что выгода для двух государств – побыстрее восстановить

⁵⁷ 紫荊關 – Цзыцзингуань – проход, относящийся к особому пограничному округу, который управлялся на основании особого военного режима.

⁵⁸ Глава военного ведомства.

⁵⁹ 武清伯 – уцинбо – один из княжеских титулов, означающий «храбрый и чистый».

⁶⁰ Лянсян良鄉 – небольшой городок, лежащий в нескольких километрах от Пекина.

⁶¹ Шилан侍郎 – вице-министр. Второй административный пост в каждом из ведомств, который быстро стал административной единицей центрального правительства.

⁶² Шоуцзян少荊 – начальник пограничного гарнизона.

⁶³ Дуойши都御史 – старший цензор.

⁶⁴ Чжихуэй指揮 – командир.

⁶⁵ Цяньху千戶 – командир батальона, состоящий из 1000 солдат.

мир. Послы шли всю ночь и к утру прибыли к ставке экс-императора, а утром должны были выехать, но только 1-2 высших чиновника. Ши вернулся, а Шань прибыл для того, чтобы потребовать возвратить прежнего императора. Эсэн спрашивал: «Прежний император возвращается, но как же поставили другого сына неба?» Шань отвечал: «Место императора уже утверждено, и вновь замены не будет». Эсэн провел Шаня на аудиенцию к экс-императору, а затем устроил прощальный банкет в честь прежнего императора. Эсэн сидел на земле и играл на лютне, его жены и наложницы преподносили вино. Ян Шаню было сказано: «Дуюйши, садитесь». Но Шань не осмелился сесть и прежний император сказал: «Поскольку тайши сел, и вы садитесь». Шань получил приказ императора и сел. Затем поочередно вставал и снова садился. Эсэн сказал Шаню, что тот вежлив. Баян и остальные завершили проводы императора. Эсэн возвел земляное возвышение и усадил на него прежнего императора; жены, наложницы и командиры обступали его полдня и подносили оружие и еду. Эсэн, Баян и остальные сошли с лошадей и, распростившись на земле, плакали, и еще говорили: «Император уезжает, когда мы сможем заново встретиться?» Пришло время, и он уехал, и вместе с ним послали 70 своих людей до столицы.

После того как экс-император вернулся, ойраты ежегодно приходили с «данью» также и к экс-императору, и преподносили подарки. Но действующий император хотел порвать отношения с ойратами и не хотел снова отправлять им ответных посольств. Эсэн просил об этом, но шаншу Ван Чжи 王直, Цзин Цзянь 金濂, Ху Ин 胡澹 и др. все время говорили, что необходимо порвать отношения с ойратами и не посылать больше посольств, и [они] собирались возобновить военные столкновения. Император говорил: «Мы посылали послов, но из-за того были только ссоры. [Если] ойраты вторгались с грабежами, то почему надо слать послов?» И тогда он послал письмо Эсэну, в котором говорилось: «Прежде, когда я посылал послов к вам, наши отношения страдали от болтовни маленьких людей, это и привело к концу дружбы. Я [император] не буду сейчас посылать послов, но тайши об этом просит [послать их], но [нам] не выгодно делать это». Эсэн и Тогтобуха [взаимно] не доверяли друг другу. Жена Тогтобухи была старшей сестрой Эсэна. Эсэн хотел назначить сына своей сестры наследником [монгольского] престола, но Тогтобуха не соглашался. Эсэн заподозрил Тогтобуху в связях с Китаем и в том, что [Тогтобуха] собирается строить планы против [Эсэна], и тогда он повел армию и напал на него [Тогтобуху]. Тогтобуха проиграл и бежал, но Эсэн догнал и убил его. Эсэн захватил его жен, сыновей, раздал его людей и скот своим подчиненным. Потом он, воспользовавшись

победой, стал угрожать всем варварам. На востоке [его войска] доходили до Цзяньчжоу, урянхайцев, и на западе – до Чигинских монголов и Комула.

Зимой 3-го года правления [1452] [он] послал посольство с поздравлениями ко двору. В следующем году [1453] в первый день нового года шаншу Ван Чжи и др. снова просили, чтобы двор послал посольство в ответ на ойратское посольство. Это предложение было отправлено в военное ведомство, и военный шаншу Юй Цянь говорил: «Моя должность - сыма⁶⁶, и я всего лишь знаю и разбираюсь в военных делах, но о делах посольств я не могу ничего доложить». Император издал указ не посылать посольство. На следующий год зимой [1454] Эсэн утвердил себя великим хаганом, назвал своего второго сына тайши и прибыл ко двору. В письме ко двору он назвал себя Августейшим и великим хаганом великой (династии) Юань 大元田盛大可汗, и в конце письма было сказано, что это Небесный Юань 添元. Тянь Шэн было подобно словам «Небесный Мудрый». Двор в своем ответном письме называл его ойратским ханом. Вскоре Эсэн переселил племена Досянь 朵顏 в Хуанхэ, местность Му-на-ди [Муна]. Эсэн полагался на свою силу, изо дня в день становился [все более] гордым и погряз в разврате и пьянстве.

На 6-й год правления [1455] Ала чжиюань напал на Эсэна, с тем чтобы убить его⁶⁷. Татарский Бо-лай 孛來 [Болай] убил Ала и захватил мать и жену Эсэна и еще яшмовую печать. Сын Эсэна Хо-эр-Ху-Да 火兒忽答 и др. переселились на реку Гань-гань-хэ 干趕河. Младший брат Бо-ду-ван 伯都王 [Байду] с племянником У-ху-на 兀忽納 [Укуна] и др. нашли приют в Комуле. Байду был младшим братом матери Комульского князя. На 3-й год повторного правления Ин-Цзуна [1459] принц Комула просил о титуле для Бай-

⁶⁶ Сыма 司馬 – военный министр.

⁶⁷ После смерти Эсэна, когда Южная Монголия оказалась под властью восточных монголов, ойраты сошли со сцены истории китайского пограничья. Однако неудача Эсэна не привела к немедленному распаду Дурбэн-ойратской конфедерации в других регионах. Ойраты продолжали удерживать контроль над Северной Монголией, а сын Эсэна даже восполнил некоторые территориальные потери конфедерации, атаковав на западе казахов и установив контроль над стратегически важной долиной реки Или. Отсюда ойраты осуществляли управление городами-оазисами Восточного Туркестана и контролировали торговые пути, проходившие через регион. Как отмечает Томас Барфилд: «эта отдаленная, но удивительно крепкая империя, чье существование продолжалось около столетия, правила Северной Монголией до 1552 г., когда после нескольких поражений от восточных монголов уступила Каракорум Алтан-хану. Это заставило ойратов отойти на Тарбагатай, который являлся их родиной. Отступление ойратских племен привело к распаду конфедерации и в дальнейшем к ее реорганизации». (См. Барфилд, 2009. С. 219).

ду, и император издал указ о присвоении титула дуду цяньши 都督僉事, а Укуне титул чжихуэй цяньши 指揮僉事. С тех пор как Эсэн умер, ойраты ослабели и народ рассеялся, и каков был порядок преемства в поколениях впоследствии, узнать невозможно.

В правление Тянь-шуня [1457-1464] ойратский А-ши-тэ-му-эр 阿失帖木兒 [Аши-тимур] неоднократно посылал послов с «данью», и двор, исходя из того, что он был внуком Эсэна, обильно одаривал его. Кроме того, Чэ-ли-кэ 力克 [Чорика] имел вражду с Болаем и убил его. Он почитал Бай-и-сань-ха 拜亦撒哈 [Бай-исага] и вместе с комульцами приходил ко двору. Их начальника звали Кэ-Шэ 克舍, он очень усилился и стал контролировать татарского сяо ван-цзы 小王子⁶⁸ и совершать грабительские нападения. Кэшэ умер, и Янхань-ван 養罕王 стал называться храбрым и имел в своем распоряжении несколько десятков тысяч отборных войск. Младший брат Кэшэ А-ша 阿沙 [Аша] стал тайши.

На 23-й год правления Чэн-хуа⁶⁹ [1487] Янхань замыслил вторгнуться на границы, и комульский князь Ханьшень 罕慎 прибыл ко двору и доложил об этом. Янхань не добился успеха и вернулся. Янхань возненавидел Комул и его войска грабили и гнали [жителей Комула] до местности Ту-ла 土剌 [Тура].

В начале правления Хун-чжи⁷⁰ [1488] среди ойратов, называвшимся тайши были: Хо-Ер-Ху-Ли 火兒忽力 [Кор-кули], Хо-Эр-Гу-Дао-Вэнь 火兒古倒溫 [Кор-гудавун?], и оба присылали «дань» ко двору. Турфан занял Комул, и дуойши Сюй Цзин 許進 щедро одарил эти два племени шелком и золотом. Он приказал войскам ударить по ним [Комулу]. Их глава князь Булю-ван 卜六王 расквартировался в Ба-сы-ко 把思闊 [Барс-куль?]. В 13-й год правления Чжэн-дэ [1518] Турфан вторгся в Сучжоу. Поскольку чиновник Чэнь Цзюй-чоу 陳九疇 послал к Булю-вану шелк и деньги, то и велел Булю-вану атаковать по слабому месту – трем городам Турфана. Он убил и взял в плен 10 тысяч человек. Турфанский правитель испугался и заключил мир. На 9-й год правления Цзя-цзин⁷¹ [1530] снова при обсуждении брака у них возникла взаимная ненависть друг к другу. Турфан постепенно усиливался, и ойраты много раз оказывались в трудном положении и терпели неудачи. Подчиненные племена пришли в упадок, и многие перешли на сторону Китая. Комул пользовался удобным случаем и осуществлял набеги и грабежи. Булю-ван не удер-

⁶⁸ Сяо ван цзы 小王子 – китайское название главы восточных монголов.

⁶⁹ Император Чжу Цзянь-шэнь 朱見深, храмовое имя – Сяньцзун 憲宗, девиз правления Чэн-хуа 成化; 1465-1487.

⁷⁰ Император Чжу Ючэн 朱祐樞, храмовое имя Сяо-цзун 孝宗, девиз правления Хун-чжи 弘治; 1488-1505.

⁷¹ Император Чжу Хоуцун 朱厚燾, храмовое имя Шицзун 世宗, девиз правления Цзяцзин 嘉靖; 1522-1566.

жался и просил [у минского двора] стать вассалом Китая. Двор не одобрил это и выслал его за Великую Стену, и неизвестно, что с ним стало.

ЛИТЕРАТУРА

Авляев Г.О., Санчиров В.П. 1984. К вопросу о происхождении торгоутов и хошоутов в этническом составе средневековых ойратов Джунгарии // Проблемы этногенеза калмыков. – Элиста. С. 43-58

Барфилд Томас. 2009. Опасная граница: Кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. – 1757 г. н.э.). / Пер. Д.В. Рухлядева, В.Б. Кузнецова; науч. ред. и пред. Д.В. Рухлядева. Санкт-Петербург.

Доронин Б.Г. 2002. Историография императорского Китая XVII-XVIII вв. СПб.

Конрад Н.И. 1974. О работе И.Я. Златкина «История Джунгарского ханства» // Конрад Н.И. Избранные труды. История. М. С. 181-187.

Кукеев Д.Г. 2008. О вхождении торгоутов и хошутов в ойратский союз (XV век) // Письменные памятники Востока. 2(9). С. 69-76.

Кукеев Д.Г. 2014. Об отождествлении исторических персонажей в истории ойратов XV в. в монгольских и китайских источниках // Культурное наследие монголов: рукописные и архивные собрания Санкт-Петербурга и Улан-Батора. Сборник докладов Международной конференции при поддержке Президента Монголии. 19-20 апреля, 2013 г. Улан-Батор – Санкт-Петербург. С. 103-113.

Очерки истории Китая с древности до «опиумных» войн. 1967. Под ред. Шан Юэ. М., 1959, изд. 2-е, перераб. и доп. М.

Покотилов Д.Д. 1893. История восточных монголов в период династии Мин, 1368–1634 (по китайским источникам). СПб.

Санчиров В.П. 1977. Этнический состав ойратов XV – XVIII вв. по данным «Илэтхэл шастир» // Из истории докапиталистических и капиталистических отношений в Калмыкии. Элиста. С. 11-18.

Санчиров В.П. 1987. Малоисследованные источники по истории дореволюционной Калмыкии. Элиста. С. 6-27.

Санчиров В.П. 2001. К характеристике источников по истории ойратов: «Мин ши» и китайские источники минского периода. (1368-1644) // Вестник КИГИ РАН. вып. 16. С. 214-215.

Санчиров В.П. 2013. К вопросу о Дурбэн-ойратском союзе // Вестник КИГИ РАН. № 2. С. 7-12.

Свистунова Н.П. 1975. Установления о соли и чае. М. Шара-туджи. Монгольская летопись XVII века. 1957. Сводный текст, перевод, введение и примечания Н.П. Шастиной. М.

Бугд Найрамдах Монгол Ард Улсын туух. 1968. Тэргүүн боть. У.-Б.

Hambis, L. 1969. Documents sur l'histoire des Mongols a l'epoque des Ming. Paris.

New Qing imperial history: the making of Inner Asian empire at Qing Chengde. 2004. Edited by James Millward, Ruth W. Dunnell, Mark C. Elliott, Philippe Foret. London: Routledge Curzon.

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ БУРЯТ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Устно-поэтическое творчество бурятского народа своими корнями уходит в глубокую древность, обнаруживая связь с давними понятиями и представлениями творцов и носителей фольклора. Историю бурятских родов и племен, их обычаи и обряды невозможно представить без учета специфики устной поэзии, в которой содержится немало фактов, информации о реальной жизни людей на разных этапах развития общества. Знатоки устной поэзии бурят – улигершины, сказочники, певцы, рассказчики легенд, преданий – способствовали сохранению и передаче от поколения к поколению бесценных образцов народного творчества.

В разных жанрах устной поэзии бурят нашли специфическое отражение своеобразие их жизни и быта, нравственно-этические, социально-исторические, эстетические взгляды и представления творцов и носителей фольклора.

В эпоху современности происходят существенные изменения в «судьбе» традиционных жанров фольклора. Многие архаические элементы традиционной устной поэзии бурят в наши дни утрачивают свои прежние позиции. Так, например, из сферы активного бытования постепенно уходят мифологические рассказы, в специфической форме объясняющие происхождение человека и всего его окружения. Такие мифы еще недавно бытовали в разных регионах с бурятским населением.

Однако некоторые мифологические сюжеты сохранились в улигерах и сказках бурят, которые выполняют в повествованиях определенную функцию. Так, например, все варианты и версии улигера «Абай Гэсэр» начинаются с мифологической характеристики функций и деяний небожителей-тэнгриев, посланцем которых был Гэсэр. На всем протяжении земной жизни героя небожители, особенно Манзан Гурмэй-бабушка, покровительствуют, оказывают ему помощь и поддержку.

Хотя в современный период происходит неумолимый процесс трансформации традиционных жанров бурятского фольклора, исследователям-собираателям во время экспедиций все-таки удается записать как развернутые эпические повествования, так и лаконичные рассказы о Гэсэре и других баторах и мэргэнах улигеро-эпосов. Эти записи свидетельствуют о существенных изменениях, происходящих в наши дни в произведениях бурятского героического эпоса, в том числе и сказаниях о Гэсэре. Приведем лишь один характерный пример из улигера «Гэсэр Богдо», исполненного в конце прошлого

века эхиритским сказителем С. Сонтахоновым. В эпизоде, определяющем процесс поединка Гэсэра с многоголовым мангадхаем, сказитель отмечает: «У этого мангадхая было много голов, некоторые из них говорили по-бурятски, а другие разговаривали по-русски». – «Олон толгойтой мангадхайн зарима толгойн бурайдаар хэлэхыема, зарьма толгойн мангадаар хэлэхыема».

Такие эпизоды, встречающиеся в традиционных улигерных и сказочных повествованиях, как бы характеризуют двуязычие, ставшей нормой в жизни современных бурят.

Улигершины – исполнители героического эпоса – раньше в основном пели, а не рассказывали улигеры. В 90-х годах прошлого века улигеры могли петь только единицы – отдельные представители разных сказительских школ. К таковым относились Лхасаран Бальчинов – из Агинска Забайкальского края, Суман Сонтахонов – эхиритский сказитель (Иркутская область), Константин Доржиев – носитель унгинской исполнительской традиции (Нукутский район Иркутской области).

К числу талантливых бурятских сказителей относятся такие улигершины, как Пеохон Петров, Папа Тушемилов – Нукутский район Иркутской области, Маншуд Эмегеев – из – Эхирита, Майсан Алсыев, Ардан Онгорхоев – представители тункинской сказительской школы.

Н.О. Шаракшинова в 60-70-х годах прошлого века писала: «Бурятские героико-эпические сказания, именуемые улигерами, были созданы как особый вид героического эпоса в период XII-XIV вв. Их можно сейчас встретить во многих районах с бурятским населением – как в Забайкалье, так и в Предбайкалье» (Шаракшинова, 1973).

В наши же дни ситуация существенно изменилась. Трудно найти хороших исполнителей, знатоков улигеро-эпосов.

Бурятские героические сказания по стадийному их развитию эпосоведами принято делить на три группы: эхирит-булагатскую, унгинскую и хоринскую. К первой группе относятся улигеры, зафиксированные по современному административному делению в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском районах Усть-Ордынского национального округа Иркутской области. Улигеры этой группы считаются архаичными, отражающими ранний период жизни творцов эпоса, в образе мышления которых превалирующим было мифологическое восприятие явлений действительности. Сюжетную

основу эхирит-булагатской группы улигеров составляют героическое сватовство, борьба эпических баторов с чудовищами, различными многоголовыми мангадхаями.

Герой ранних улигеров не имеет сподвижников-воинов, не возглавляет дружину, как в калмыцком эпосе «Джангар». Поэтому противостоит антиподам-противникам один, вступает с ними в единоборство. В ранних улигерных сюжетах помощниками героя в преодолении различных препятствий, трудностей оказываются его небесные покровители – тэнгрии, а также побратимы – антро- и зооморфные персонажи.

Одной из характерных особенностей эхирит-булагатских улигеров является воспевание богатырских качеств сестры героя, которая вместо своего брата выполняет его функции. Так, сестра Аламжи Мэргэна Агуу Гоохон в одноименном улигере в облике мужчины-богатыря отправляется за девой – воскресительницей. Преодолевая ряд препятствий, она проходит через трудные испытания в борьбе за суженую – воскресительницу. Все-таки сестра героя достигает поставленной цели и привозит домой деву – воскресительницу, которая оживляет ее брата. В некоторых вариантах героических сказаний функцию сестры выполняет богатырский конь героя.

В большинстве эпических сюжетов говорится о преданной любви сестры и брата. Однако некоторые из них построены на антагонизме отношений родных. Таковым является улигер «Хараасгай Мэргэн», в котором сестра способствует гибели брата, чтобы выйти замуж по своему усмотрению. Так, в героическом сказании «Шонходой Мэргэн» к сестре героя сватается мангадхай. Чтобы выйти за него замуж, сестра, сговорившись с чудовищами-мангадхаями, отправляет брата на верную погибель.

Вторую группу героических сказаний бурят представляют улигеры, носителями которых являются в основном булагаты, хонгодоры, компактно проживающие в Нукутском, Аларском, Боханском районах Иркутской области. Эволюция унгинских улигеров идет по линии расширения сюжетной основы, увеличения количества персонажей, мотивов, эпизодов. Герой унгинских улигеров вступает в борьбу не только с чудовищами, но и с ханами. Его выезды из дома в большинстве случаев мотивируются скотоводческими интересами героя. Более сложными становятся отношения улигерного батора с близкими и дальними представителями своего окружения.

В унгинских героических сказаниях, в отличие от эхирит-булагатских улигеров, появляются сподвижники, описываются групповые сцены про-

тивостояния антиподам. Эпическая характеристика действий и поступков героя идет по линии наполнения его образа богатырскими чертами. Идеализация богатырских качеств героини, характерная для эхирит-булагатской группы улигеров, в унгинских героических сказаниях заметно ослабевает. Зато в них более определенно описывается ее мудрость, женское обаяние и мастерство в рукоделии.

Улигеры хори-бурят, проживающих в Забайкалье, представляют третью группу героических сказаний. Хоринские улигеры в большинстве своем невелики по объему, близки к бурятским богатырским сказкам своей лаконичностью, стихотворно-прозаической формой бытования. В сказаниях этой группы тоже присутствуют традиционные эпические мотивы, описывающие походы героя, его подвиги, женитьбу, борьбу с мангадхаями, побратимство, оборотничество. Однако многие звенья развернутых эпических повествований, присущих эхирит-булагатской, унгинской группам улигеров, в трактовке хоринских эпических сюжетов фрагментарны. В них до минимума доведены архаические мотивы, суживается круг мифологических персонажей, их действий. Однако в улигерах хори-бурят появляются более поздние мотивы – борьба героя со злыми ханами-завоевателями, которые, пользуясь его отсутствием, угоняют скот и подданных («Мэньелтэ Мэргэн», «Хэедээр мэргэн», «Девушка Долоолин Лугаа»).

Несмотря на некоторые различия эхирит-булагатской, унгинской и хоринской групп улигеров, в них немало идентичных мотивов в описании жизненных реалий и бытовых характеристик. Близость в трактовке архаических мотивов улигеров всех трех групп объясняется общностью мифологической основы, получившей дальнейшее развитие в рамках местных эпических традиций.

Известно, что эволюция эпоса шла по пути формирования устойчивого эпического мира, перехода к крупным обобщениям на основе опорных мотивов героической эпики, утверждения принципов героической реализации народных идеалов, становления устойчивой системы художественно-образительных средств. Расширяется круг эпических персонажей, раздвигаются рамки героического повествования, переосмысливаются мифологические мотивы, элементы сказочной фантастики в зависимости от эпической тематики.

В богатырских же сказках, наоборот, идет процесс наполнения фонда сюжетов сказочными элементами. В них подчеркивается не только героический, но и чудесный характер действий, поступков баторов. Явственнее выступает сказочный фон. Усиливается тенденция расширения в сюжетах бо-

гатырских сказок идей и образов, присущих сказкам других разновидностей. Дальнейшее развитие богатырской сказки и героического эпоса продолжается в разных жанровых направлениях, творчески трансформируется, художественно переосмысливается фонд архаических эпических повествований. Каждый из названных жанров в процессе эволюции обретает специфические черты, канонизирует типичные для сказок и эпоса признаки, формирует свою структуру, создает комплекс сюжетной, образной системы. «Сюжетно-событийный охват» богатырских сказок по сравнению с героическим эпосом несколько ограничен, более узок эпический фон, хотя в них сохраняется героический пафос. Сюжетный состав эпоса и сказок содержит много общих мотивов, устойчивых словесных комплексов, присущих улигерам и богатырским сказкам.

Следует отметить, что в настоящее время продолжают свое активное бытование и другие разновидности бурятских сказок.

Сказки (онтохонууд), созданные усилиями многих поколений одаренных бурятских сказочников, прошли длительный путь в своем развитии и устном бытовании. Поэтому в них, как и в других традиционных жанрах устно-поэтического творчества бурят, нашли специфическое художественное преломление особенности трудового, жизненного опыта народа-творца и носителя фольклора, его этические и эстетические идеалы, понятия и представления людей разных эпох об окружающей их действительности.

В сказках, как и в других жанрах бурятского фольклора, идейно-тематическую основу составляют различные жизненные ситуации людей, их взаимоотношения на разных этапах развития человеческого общества. Поэтому в общем русле познавательного, идейно-воспитательного направления фольклорных произведений сказки выполняют немаловажную роль.

Сказки занимают одно из ведущих мест в системе жанров бурятского фольклора. Однако в эпоху современности, когда существенно изменились условия бытования традиционных фольклорных жанров, многие сказочные сюжеты, особенно волшебнo-фантастические, постепенно уходят из сферы активного бытования в область классического наследия. Тем не менее, исследователям, собирателям фольклора в разных регионах Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей, бурятских сомонах Монголии удалось записать значительное количество сказок. Определенная часть собранного сказочного материала опубликована в научных изданиях, сборниках на бурятском и русском языках в Улан-Удэ (Бурятские народные

сказки, 1973; Бурятские народные сказки, 1976; Бурятские народные сказки, 1981; Бардаханова, 1997; Бурятские народные сказки, 2008), Новосибирске (Бурятские волшебные сказки, 1993, 2000).

Сказки, записанные участниками трех фольклорных экспедиций (1977, 1983, 1986), проведенных в бурятских сомонах Монголии, опубликованы на бурятском и русском языках автором данной работы в 1997 г. (Сказки бурят Монголии, 1997).

Продолжением ранее опубликованных научных изданий бурятских народных сказок явился сборник текстов «Бурятские народные сказки. Волшебные. Бытовые». (Бурятские народные сказки. Волшебные, 2008. Составители: С.С. Бардаханова, С.Д. Гымпилова). В него включено тридцать восемь образцов сказочного творчества бурят в записи фольклористов и любителей устной поэзии, включая четыре сказки, зафиксированные в 1977 году во время совместной бурятско-монгольской международной фольклорной экспедиции в Хэнтэйском и Восточном аймаках Монголии.

В опубликованные сборники включено немалое количество сказок трех видов (волшебные, бытовые, анималистические). Тем не менее, научные издания сказок, как и других жанров бурятского фольклора, остаются в числе актуальных проблем исследователей.

Сказки, наряду с улигерами, обрядовой поэзией, в современных условиях переживают сложный процесс трансформации. Полевые исследования фольклористов показывают, что архаические элементы традиционных сказочных сюжетов постепенно переосмысливаются, обретают специфические черты, характеризующие понятия и представления современных носителей и исполнителей устной поэзии.

Собранные учеными и любителями фольклора за последние годы образцы сказочного творчества бурят опубликованы в названных выше сборниках. Они представляют для исследователей-сказковедов определенный интерес, так как содержат интересные детали, характеризующие разные периоды в бытовании произведений этого жанра в системе бурятского фольклора. По образцам, опубликованным в научных изданиях, академических сериях, можно проследить эволюцию некоторых традиционных сюжетов и мотивов бурятских сказок, их современное бытование.

По своей форме сказки бурят представляют в основном произведения прозаические, повествующие о различных приключениях героев, их борьбе с антиподами. В богатырских же сказках лаконично описываются подвиги баторов и мэргэнов.

Наряду с необычными, чисто «сказочными», фантастическими элементами, в сюжетах сказок

встречаются вполне реальные картины, которые могли иметь место и в повседневной жизни людей. Выдумка, фантазия подчиняются основной идее сказки, воплощению высоких идеалов народа, поэтизации действий и поступков героев. Сказочный вымысел, волшебство, которые играют определяющую роль в сюжетостроении, возникают на основе реальной жизни и отражают вполне земные дела, встречающиеся в повседневной бытовой практике людей.

Бурятские сказки, особенно волшебные, наряду с общими для сказочного творчества многих народов чертами, имеют свои специфические особенности. Волшебные сказки, фантастически отражающие реальный мир, органически связаны с мифологическими представлениями древних людей. Они по сравнению со сказками бытовыми и анималистическими отличаются сложной структурой, своеобразием художественной формы. В составе бурятских волшебных сказок на оригинальные сюжеты широко представлены произведения, воспевающие подвиги баторов и мэргэнов. К таковым относятся богатырские сказки о Гэсэре, Алтан Шагае, Харасгай-Мэргэне и других героях.

К следующей группе богатого сказочного состава бурят относятся сказки о животных – анималистические. Основными персонажами этих сказок являются звери, домашние животные, птицы. Однако во многих сюжетах вместе с животными действуют и люди. Но животные играют в них наиболее активную роль, и повествование ведется в основном с их позиций. Самыми популярными персонажами сказок о животных являются медведь, лиса и волк. Сюжетная структура сказок о животных по сравнению с бытовыми, и особенно волшебными, отличается своей простотой, лаконичностью. Сказки этой группы строятся зачистую на неоднократных повторах. Развитие действия в сказочных сюжетах начинается обычно со встречи животных друг с другом или с человеком. По основным действующим лицам бурятские сказки о животных можно условно разделить на следующие группы: 1) о диких животных; 2) о диких и домашних животных; 3) о зверях, птицах и насекомых; 4) о людях и животных.

В общем сказочном фонде бурят по количеству выявленных учеными сюжетов доминирующее место занимают бытовые, новеллистические сказки. Бурятские бытовые сказки, по сравнению со сказками о животных и волшебными, являются более поздними по своему происхождению. Формирование этих сказок как самостоятельного жанра, а также активное их бытование связано с периодом классового расслоения общества. Имен-

но это и обусловило отличительные особенности бытовых сказок – острое социальное содержание, ярко выраженная сатирическая направленность, тесная связь с жизненными реалиями. Для многих бытовых сказок характерна социальная направленность. Главные их герои – бедняки, которые противопоставляются в сказочных сюжетах богатой, влиятельной верхушке классового общества. Популярны у бурят сказочные сюжеты о находчивых Будамшу, Балан Сэнгэ, о мудрой невестке хана или богача.

Особую группу в богатом сказочном наследии бурят составляют контаминированные сказки. Контаминация сюжетов является одной из характерных черт современного бытования сказок всех видов – волшебных, бытовых, о животных. В контаминированных сказочных повествованиях значительное место занимают сюжеты, мотивы, персонажи сказок о животных.

В сказках о животных и волшебных нередко перекликаются отдельные мотивы. Однако разработка сюжета каждого вида сказок с реализацией идентичных мотивов подчиняется своей специфике художественно-поэтического отражения действительности.

Наличие волшебных элементов – чудесное происхождение различных животных (волка, собаки, медведя, налива, бурундука, тарбагана и др.), превращение человека в определенных обстоятельствах в зверей и птиц (медведя, орла), отношения животных и «хозяев» тайги, эжинов, – сближает сказки о животных с волшебными. Реалистические же моменты изображения жизненных деталей и подлинных человеческих отношений (особенно людей разных социальных групп) роднят сказки других видов со сказками бытовыми, сатирическими. Вместе с тем, сказки обнаруживают и специфические для каждого вида особенности, которые служат основными ориентирами для их определения.

Своеобразие, национальный колорит бурятских сказок проявляются в конкретной словесно-текстовой реализации общих для многих народов сюжетов и мотивов, в специфике языковой, композиционной материализации идейно-художественных принципов фольклорной традиции, продиктованных исторической жизнью народа, особенностями быта, обычаев и обрядов.

В системе жанров бурятского фольклора определенное место занимают произведения не сказочной прозы, легенды и предания. Они отличаются от сказок лаконичностью, более простой структурой: сюжеты основываются на одном-двух эпизодах, которые не усложняются, как в сказках, повторами. Форма повествования произведений

несказочной прозы произвольная: включение образных выражений, устойчивых формул зависит от индивидуальной манеры исполнителя, его мастерства. Легенды и предания, записанные от сказочников и улигершинов, оказываются наиболее художественно разработанными, чем записи от обычных информантов.

Произвольная форма повествования легенд и преданий не значит, что совершенно отсутствуют закономерности в их композиционной организации. Справедливы в этом плане утверждения ученых, касающиеся преданий: «Предание хотя и имеет «свободную форму», при которой отсутствует определенная модель построения произведения, не лишено внутренней структуры, принципов идейно-художественной организации произведения: скрепления всего повествовательного материала одним сюжетным эпизодом, одним основным героем, созданию образа которого подчинены и сюжет, и выразительные средства» (Кравцов, Лазутин, 1977).

Одна из характерных черт преданий – установка на достоверность. В этом плане они близки к новеллистическим сказкам, в которых в эпоху современности наблюдается тенденция к усилению реалистических элементов.

Если жанровые различия сказок и несказочной прозы очевидны, однако границы между легендами и преданиями провести не очень легко. Трудность их классификации продиктована тем, что они обнаруживают немало родственных признаков, жанровые черты выражены неотчетливо. А.И. Уланов, отмечая их сходства, писал: «Из синкретичных, объединяющих все жанры мифов, выделяются легенды и предания как жанр, как рассказы о хозяевах рек, мест, деревьев и т.д. Процесс выделения легенд происходит очень медленно, по мере развития общественной жизни, идеологии» (Уланов, 1974).

Генетическое родство легенд и преданий проявляется в их тематике, функциональной направленности. Жанровая близость легенд и преданий, по-видимому, дает основание бурятским исследователям рассматривать их вместе. По тематическому принципу легенды можно условно разделить на такие группы:

I. Этиологические легенды: а) о сотворении мира, происхождении земли, неба, звезд, солнца, луны (космогонические); б) о появлении животных, птиц, рыб (зооморфные, зоогенетические); в) о явлениях природы и некоторых особенностях растений.

II. Эсхатологические легенды: легенды о происхождении, формировании человека, о его судьбе и жизни не только на земле, но и в загробном мире.

III. Демонологические (о сверхъестественных существах и нечистых силах).

IV. Генеалогические (о прародителях бурятских родов и племен).

Группируя собранный материал по преданиям, условно делим их на две группы: *предания исторические* и *топонимические*. «К первым относятся рассказы об исторических событиях и лицах, случаях, связанных с ними, а также о лицах, участвовавших в событиях или встречающихся с историческими деталями. Ко вторым относятся рассказы о возникновении поселений (городов и сел) и их названий, о местах, связанных с важными событиями» (Кравцов, Лазутин, 1977: 123).

В отдельную группу выделяем *родословные предания*, которые в живом бытовании близки к генеалогическим легендам.

Исторические предания бурят можно разделить на такие группы: а) об исторических событиях, монголо-бурятских, тунгусо-бурятских, русско-бурятских отношениях, о встрече хори-бурят с правителем России, проведении русско-монгольской границы, присоединении бурятских земель к Российскому государству; б) об исторических личностях – нойонах, богачах, тайшах, служителях культа и других лицах, участвовавших в исторических событиях. Популярны у бурят устные рассказы о Сөөхэр (Шүүхэр)-нойоне, Бабжа Барас-баторе, Шэлдээ Занги, Гунн-Савве, Шоно-баторе, Дамба-нойоне, Бальжан-хатун; в) предания о силачах, которые прославились среди своих сородичей. К таковым относятся силачи разных регионов Бурятии: Шөөбэй, Силач Өөтхэн, Силач Хоринский Мундак из Кижинги; Силач Шобол, Загаша – выходцы из Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Топонимические предания представлены рассказами: а) о происхождении географических названий разных местностей, рек, озер, гор. Особенно популярны в Эхирите устные рассказы об Иркуте, Лене (Зүлхэ), горах Улан, у баргузинских бурят часто упоминается гора Хүнтэй.

В репертуаре современных рассказчиков немало генеалогических легенд и преданий в некоторых образцах слиты черты и признаки обоих жанров. Мифологические мотивы легендарных сюжетов перекликаются с реально-исторической трактовкой расселения бурятских родов и племен: а) о происхождении бурятских племен: эхирит, булагат, хори, хонгодор; б) об отдельных бурятских родах - шарайд, хүрхүүд, олзон, сэгээнэд; в) о расселении бурятских родов и племен – хонгодоры, сонголы, сартулы; о родовых подразделениях тункинских, кабанских, баргузинских (по современным территориальным делениям) бурят.

Процесс возрождения национальной культуры, усилившийся интерес современных людей к своему происхождению, своей родословной, к истории своего народа, края активизируют функционирование легендарных сюжетов, преданий, устных рассказов.

В современный период активно бытуют генеалогические предания, которые по праву можно считать самыми популярными в ряду прозаических повествований. Однако устные рассказы на космогонические и этиологические темы, распространенные в недавнем прошлом, угасают и забываются, поскольку не обладают устойчивостью формы и содержания.

Свободная форма повествования способствовала созданию разных по структуре и звучанию устных рассказов. По тематическому принципу устные рассказы можно условно разделить на следующие группы: а) рассказы дореволюционного периода; б) рассказы советского периода – о событиях, связанных с революцией, о коллективизации, рассказы военного и послевоенного периода – о передовиках-колхозниках, о достижениях страны в науке, технике, о первых космонавтах и др.; в) охотничьи рассказы; г) рассказы о встрече с нечистой силой.

Безусловно, не весь состав устных рассказов, зафиксированный фольклористами и бытующих в современный период, может претендовать на включение их в состав несказочной прозы.

Произведения несказочной прозы, как и другие фольклорные жанры, претерпевают определенные изменения в своем составе.

В настоящее время активно бытуют мифологические рассказы о встречах с «хозяевами» и «духами» локальной местности: с душами умерших людей (*бохолдой*); с духами, враждебными людям (*ада*); о людях с необычными сверхъестественными способностями (*һүнһэ баряаша-забирающие души людей, абтай гахай-перевоплощающиеся в кабана-чародея*).

Особую гибкость, способность быстро откликнуться на происходящие в жизни и быту изменения проявляют песни, которые в жанровом составе бурятского фольклора занимают существенное место.

Песни – это один из активно бытующих фольклорных жанров в современный период. Их условно можно разделить на две большие группы: исторические и лирические.

Своеобразие бурятского материала приводит нас к выводу, что на формирование исторических песен огромное воздействие оказали жанры «исторической прозы», в частности, предания, устные

рассказы, в основе которых лежат конкретные факты общественно-политической жизни народа. Вместе с тем, следует отметить, что реальные факты, исторические события, ставшие содержанием конкретных образцов названных жанров, прошли поэтическую обработку в рамках фольклорной традиции.

Толкование конкретных фактов, событий, общественных явлений с позиций их фольклорного осмысления характерно как для исторических песен, так и для преданий бурят. Однако в песнях сохраняются имена исторических личностей.

Особую популярность у бурят имели циклы песен о Сухэр-ноене, Гэнэн Хутакте, Бабжа Барасбаторе, Гунн-Савве (Савве Рагузинском), Шилдээ Занги, Шудармане, Шоно-Баторе.

Хотя исторические песни появились в относительно поздний период, в новых общественных условиях, эпические принципы изображения действительности в их формировании сыграли существенную роль. Анализ разных вариантов песен о Шоно Баторе показывает существенное влияние улигерной традиции западных бурят на песни этого цикла.

Анализ исторических песен о Шоно Баторе позволяет сделать вывод о том, что они по многим своим признакам тяготеют к жанру сказания: текст прозаический со стихотворными вставками (песни Шоно Батора и его жены), в повествование включены устойчивые эпические, сказочные выражения, поговорки, благопожелания.

Если группа исторических песен ограничивается определенным циклом произведений, то лирические песни составляют наиболее значительную часть песенного фольклора бурят. Лирическим песням посвящены сборники С.П. Балдаева, Д.С. Дугарова, также они исследованы в научных трудах Н.О. Шаракшиновой (Балдаев, 1961; Дугаров, 1964, 1969, 1980; Шаракшинова, 1973).

Многие песни богатейшего фонда, бытующие в современный период, создаются усилиями фольклористов, музыковедов, композиторов. Современные бурятские композиторы активно используют в своем творчестве народные мелодии.

Классифицируя бурятские народные песни по практическому назначению и специфике исполнения, можно условно выделить такие группы: обрядовые, игровые, хороводные (ехорные), застольные, колыбельные. Обрядовые песни по своему составу разнородны. Среди них сохранились архаические песни, генетически восходящие к древним обрядам поклонения тэнгриям-небожителям, стихийным явлениям природы. К таковым относятся песни западных бурят («Зэргэйн дуун», «Хаахир-

гаан дуун»), исполняемые в большинстве случаев стариками. В них упоминаются имена творцов и покровителей людей, скота. Основное содержание этих песен, адресованных тэнгриам, бурхану, перекликается с лейтмотивом призываний счастья и благополучия. Близки к ним по своей смысловой направленности песни, которые сопровождают обряды, совершаемые на месте удара молнии. В народе они известны как *нэрьеэри дуун* – песни, исполняемые после удара молнии.

В обрядовом песенном фольклоре бурят существенное место занимают свадебные песни. Среди них по частоте бытования выделяются циклы песен невесты, сватов, стариков-благословителей, которые нередко посвящают молодым юролы-благопожелания в песенной форме.

К обрядовым песням близки по своей функции и характеру исполнения игровые песни. В обоих случаях назначение песни – сопровождение церемонии. Большой популярностью у бурят ранее пользовалась игра с прятанием кольца, специфика которой позволяла включить в игровые моменты разные песни, которые образовали особый цикл песен кольца.

Игровые песни имеют определенные точки пересечения с ехорными (танцевальными), истоки которых уходят в давнюю историю. Наиболее древними являются такие виды ехора эхиритских бурят, как «Арбагай», «Айдуусай», «Шаралдай». Движения и сопровождающие их песни органически связаны с охотничьим периодом в жизни наших предков. Хотя сам танец «ехор» уходит из сферы активного бытования бурят, но песни еще продолжают жить в памяти старшего поколения исполнителей-певцов.

Если мелодия, ритмика ехорных песен соответствуют хороводным, круговым танцевальным движениям, то иной ритм имеют застольные песни, которые особо популярны у западных бурят. В большинстве своем они представляют собой четверостишия, открывающие большие возможности для импровизаций в зависимости от ситуации. Многие застольные песни в силу своей востребованности продолжают жить в современных условиях полнокровной жизнью, варьируясь, обновляясь. В их составе немало турнирных песен, которых называются «хухалгаан дуун» (песни-состязания). В них состязающиеся стороны своей песней поддевают друг друга, касаясь некоторых их недостатков, семейного положения и т.д.

В современный период, в частности, у монгольских бурят, среди популярных народных песен можно выделить свадебные, лирические песни, песни кольца, застольные, реже поются историче-

ские песни. В их песенный репертуар входят следующие образцы, записанные фольклористами: «Алтаргана», «Эрбэд соохор» (Пестрый Чубарый), «Хэрээтэйхэн хээр» (Гнедой с крестом), «Хингаан голой булжуухай» (Птичка с реки Хинган), «Хуяа шэлэ» (Хребет Хуяа), «Наян Наваа», «Хабтагай Ононой эрье дээр» (На широком берегу Онон реки), «Занданхан бурээтэй ташуураа» (Плетка с сандаловым кнутовищем), «Ангирай дальбираа» (Птенчик турпана), «Тээгэ-тээгэ», «Бар бухэшуул тухай» (О богатырях-силачах), «Аба эжын харюу тухай» (Об ответе отцу и матери), «Аба эжын захяа» (Наказ отца и матери). Отметим, что протяжная песня «Үншэн сагаан ботогон» (Белый верблюжонок-сирота), раньше исполняемая бурятами, практически уходит из современного репертуара исполнителей.

Песни, сформировавшись как жанр фольклора в давние времена, продолжают бытовать в народе на протяжении длительного периода времени, трансформируясь, обновляясь под влиянием конкретных условий жизни их творцов и носителей. Однако такие коррективы полностью не изменяют весь облик ранее бытовавших песен. Поэтому не весь состав репертуара народных исполнителей меняется. Об этом свидетельствуют результаты сравнительного изучения записей бурятских фольклористов разных лет. Следует отметить, что наиболее устойчивыми в современных условиях оказались лирические песни о любви, любимых, о родителях, о разных человеческих чувствах и переживаниях. Тем не менее, многие традиционные песни уходят из репертуара современных певцов.

Устно-поэтическое творчество бурят, как органическая часть их духовной культуры, изменяется в зависимости от исторических условий и социально-общественного переустройства. В современный период происходят особенно заметные перемены в судьбах традиционных фольклорных жанров.

В новых социально-экономических условиях, когда коренным образом пересматриваются древние воззрения людей, многие архаические элементы традиционного фольклора утрачивают свои прежние позиции.

Обрядовая поэзия относится к одному из архаических жанров устно-поэтического творчества бурят. Они с древних времен были неотъемлемой частью различных обрядов. К жанрам обрядовой поэзии относятся заговоры и заклинания, появление и бытований которых обусловлено мифологическим сознанием наших предков.

Обрядовая поэзия как оригинальное явление в фольклорном наследии бурят тесно связана со

всеми жанрами устного народного творчества. В культовой практике она представлена в стихотворной форме в виде гимнов, заклинаний, призываний, клятвенных текстов, развернутых песнопений о духах (заянах). Шаманская поэзия бурят, передававшаяся из поколения в поколение как сакральный текст, без особых изменений сохранила в себе наиболее древние образцы языка, мифологические архетипы и поэтические традиции народа.

Произведения обрядовой поэзии были предметом исследований Ц.Ж. Жамцарано, М.Н. Хангалова, Т.М. Михайлова, Д.С. Дугарова, А.И. Уланова, Н.О. Шаракшиновой, А.Б. Соктоева, С.С. Бардахановой, Л.С. Дампиловой и др.

Символические аспекты шаманской поэзии в бурятоведении достаточно разносторонне привлекались в исследования историко-этнографического характера. Между тем система символов шаманских песнопений, являясь неотъемлемой частью устного народного творчества, еще не становилась объектом изучения в фольклористике со стороны семантики, теоретических изысканий ученых.

Изучение обрядовой поэзии бурят не ограничивается пределами монголоязычных народов, по мере надобности привлекаются образцы устно-поэтического творчества народов Сибири. Широкое привлечение сопоставительного материала позволит выявить специфику обрядовой поэзии бурят.

Наиболее популярными у бурят в прошлом являлись заговоры и заклинания, органически связанные с древними воззрениями людей, которые искренне верили в магическую силу слова, которые произносились по мере необходимости, когда возникала конкретная потребность в них.

Заговоры и заклинания по их тематическому многообразию можно условно разделить на такие группы:

Заговоры, связанные с промысловыми, хозяйственными интересами людей: а) с охотой, б) со скотоводческой деятельностью бурят.

Заклинания лечебно-профилактического характера.

Заговорные формулы, органически связанные с различными бытовыми обрядами.

Заговоры и заклинания, проявляя свою близость к благопожеланиям, по своей адресной направленности и в структурном плане, а также выражая глубокую веру людей в магию слова, отличаются и характером отношения к конкретным проявлениям реальной действительности.

В настоящий период заклинания, проклятия в силу своего противостояния гуманистическим на-

родным ценностям стали редко встречаться, постепенно они уходят из сферы живого бытования.

К жанрам, связанным с обрядовыми церемониями и ритуалами, относятся и благопожелания (юролы), соло, магтаалы-восхваления.

Благопожелания являются обязательным компонентом в свадебных обрядах монгольских народов. Добрые пожелания, слова благополучия выражают при сватании невесты, встрече свадебного кортежа, при обряде застилания постели молодых и др.

В некоторых текстах современных благопожеланий нашли своеобразное освещение коновязь, очаг, огонь, имеющие сакральное значение. Поэтому они непременно присутствуют в образцах устной поэзии:

Унашагуй сэргэтэй боло,

Неразрушимую коновязь имей,

Унтаршагуй гуламтатай боло.

Негасимый очаг имей.

Одним из главных в свадебной церемонии монголов, бурят является обряд поклонения жениха и невесты огню, домашнему очагу, который также сопровождался различными юролами. Например:

Огонь, который мы разожгли,

Пусть десятки тысяч лет горит.

Родные наши дети

Пусть счастливо, спокойно живут!

Разожгли огонь, который не погаснет,

Продолжили род, который не забудется.

Огонь, разведенный вами,

Пусть десять тысяч лет горит,

Пусть ваших детей, родных

Бесчисленное множество будет!

Солнце, проникающее через дымник,

Пусть лучами своими одаривает,

Старцы, входящие в дверь,

Пусть юролами вас благословляют.

Среди современных юролов бурят большую популярность имеют образцы афористической поэзии, воспевающие красоту и величие родных просторов Бурятии, Байкала:

Байгал номин далай шэнги

Будьте, как лазурное озеро Байкал,

Оёорһоо тунгалаг,

Прозрачное до дна,

Бархан ундэр уула шэнги

Как высокая гора Барагхан,

Орьёлһоо тунгалаг,

Светлая, чистая с вершины,

Буряад оронойнгоо гал гуламта

Огонь в очаге родной Бурятии

Бата бэхээр тулээд,

Надежно и верно зажгите.

Как и другие жанры традиционного фольклора монгольских народов, пословицы в современный период утрачивают свои архаичные мотивы. Некоторые из них переосмысливаются, обретают новые черты, современные элементы. Такой процесс, неумолимо изменяющий состав афористической поэзии, вне всякого сомнения, должен изучаться фольклористами.

В современных условиях уходят из сферы активного бытования афористические выражения, связанные с ранее существовавшей облавной охотой бурят, а также архаичные пословицы, в которых отражено разграничение роли женщин и мужчин в обществе.

Современную тематику пословиц бурят, монголов составляют такие основные концепты, как «Человек», «Семья», «Труд», «Родина», которые являются важными жизненными ценностями и актуальны на протяжении всей жизни общества.

В активном современном бытовании фольклористами зафиксированы пословицы, кратко и метко оценивающие человека, определяющие его значение в жизни, место в коллективе и обществе:

Нэрээ хухаранхаар, Чем опозорить имя свое,
Яһаа хухара. Лучше сломать кости свои.
Эртэ бодоходо, үдэр ута.

Рано встанешь – день длинней,
Эршэмтэй хүдэлхэдэ, наһан ута.

Споро работаешь – жизнь длинней.
Бэеэ хүндэлүүлхэ гээ һаа,

Хочешь, чтобы тебя уважали,
Бусадые хүндэлжэ яба.

Уважай и других.

В живом речевом обиходе бурят встречается много пословиц, имеющих философское значение:

Саг сагаараа байхагүй,

Время [прежним] временем не остается,
Сахилза хүхөөрөө байхагүй.

Ирис зеленым не остается;
Өөдэн шэдэһэн шулуун

Брошенный вверх камень
Өөрын тархи дээрэ бууха.

На свою же голову упадет.
Налхинай угыдэ ногоон хүдэлхэгуй.

Без ветра трава не колыхнется.

Известно, что у монголоязычных народов издавна принято: знакомясь, прежде всего спрашивать не имя человека, а его принадлежность к какому-то роду или племени, так как способности человека оценивались по достоинствам и заслугам рода или племени. Например, у бурят Монголии и Внутренней Монголии КНР были зафиксированы такие родовые пословицы:

Шарайдай байгаагүй нютаг үгы,

Нет места, где бы не были шарайцы,
Шаазгайн һүүгаагүй модон үгы.

Нет дерева, где бы не сидела сорока.
Хүүнэй муунь – Хүрхууд,

Плохие из людей – хурхуты.
Мяхянай муунь – хүзүүн.

Плохое мясо – шейное.

Хара морин хиртэй,

Черный конь – упрямый,

Харгана хүн хартай.

Человек из рода Харгана – коварный.

Исследование пословиц, поговорок, бытующих у монголоязычных народов, показало, что одной из их особенностей является динамичность. Каждая новая эпоха вносит свои коррективы в ранее бытовавшие афористические выражения, акцентируя мотивы, созвучные данному времени. Появление новых афористических выражений, оценочных суждений и умозаключений сопровождается переосмыслением содержания традиционных изречений.

По своей специфике пословицы являются демократичной формой устной поэзии, и при любых жизненных обстоятельствах афористическая поэзия, как и фольклор в целом, остаётся не только устойчивой, но и активно продолжает бытовать в эпоху современности.

Анализ специфики пословиц показывает их близость к загадкам. Они, как и аналогичные произведения устно-поэтического творчества других народов, представляют собой «иносказательное описание какого-либо предмета или явления». В глубокой древности загадки были органически связаны с поверьями и обрядами людей, предостерегающими прямо называть некоторые предметы, явления, отдельных зверей, особенно тотемных. Поэтому у различных народов появились иносказательные имена и названия.

Изучение богатого фонда бурятских загадок, непосредственные наблюдения над их современным бытованием показывают, что в произведениях этого жанра нашли своеобразное преломление разные стороны хозяйственной, бытовой жизни их творцов и носителей.

Многообразие природы, растительного и животного мира оказывало благотворное влияние на воображение людей, чему обязаны своим возникновением и бытованием разные по своему содержанию и форме загадки. Создано в народе большое количество загадок, характеризующих различные особенности зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых. Это является результатом непосредственных наблюдений людей в процессе повседневной трудовой деятельности, а также во время охоты.

Одной из особенностей современного бытования загадок является использование их в сказочных сюжетах. Различные типы загадок встречаются в бурятских народных сказках, особенно в бытовых сказочных сюжетах – о мудрой невестке глупого хана или богача. Чтобы узнать мудрость девушки, чтобы сделать ее невесткой своего глупого сына, хан, в некоторых вариантах богач, дает ей трудные задания и задает вопросы, на которые нелегко найти ответы.

На позднейших этапах своего развития загадки утрачивают свое культовое назначение, усиливается в них художественно-эстетическое звучание. Вместе с тем многие бурятские загадки идентичны в своем выражении с загадочно-иносказательной частью аналогичного жанра фольклора других народов.

В практике загадывания и отгадывания загадок у многих народов существовал обычай осмеяния тех людей, которые не смогли их отгадать.

Загадки бурят разнообразны не только по своей тематике, но и по характеру и форме построения. Их можно условно разделить на следующие группы: загадки-сообщения, загадки-рассказы, загадки-вопросы, загадки-диалоги, загадки-монологи, загадки-песни, числовые загадки.

Большинство бурятских загадок представляет собой лаконичные суждения, краткие сообщения аллегорического, метафорического характера. Они построены на художественно-поэтическом сравнении, на уподоблении одного предмета или явления другим.

Например, загадки-вопросы содержат такие суждения, утверждения, одно из которых должен выбрать отгадывающий в качестве ответа:

Адуугаар баян дээрэ гу,
Богатый скотом лучше?

Али ашандаар баян дээрэ гу?
Или богатый внуками лучше?

(Записано от С.Ш. Петрова)

Отгадчик непременно выбирает для ответа одно из утверждений, чаще второе.

Иногда загадки-вопросы требуют совершенно другой разгадки и не связаны с выбором одного из данных суждений, хотя сама форма загадки требует этого. Например:

Харганаа буртэгэноогэй
Карагана, когда распускаясь,
задаржа ургахань найхан гу?
растет, красивее?

Хараасгай шубуунай ниидэжэ
Или когда птичка-ласточка летая, парит
элихэнь найхан гу? красивее?
(ЦВРК ИМБТ СО РАН, инв. № 3064).

Вопросительная форма загадки, ведущая к выбору подсказывающих моментов, не всегда приводит отгадчика к правильному ответу. Чтобы не ошибиться, загадывающий должен учитывать аллегорические элементы, заложенные в загадке-вопросе. В этом и проявляется суть загадки, нарочито усложняющей возможность отгадки.

Загадки-диалоги относятся к наиболее сложным по своей структуре загадкам, так как в ней дается последовательная цепь логически связанных между собой выражений, иносказательно характеризующих непрерывный процесс или явление, предмет. Они отражают некоторые особенности структурного развития бурятских загадок от простой формы выражения загадываемого предмета и явления к наиболее сложной, отмечают постепенный переход от простых кратких вопросов к продуманной диалогической системе.

В загадках-монологиях образ загадываемого предмета передается в форме монологической речи, обращенной к самому себе или к слушателям:

Хээраан адуугаа асархадам,
Из степи пригоню скот,
Хэн баян гэгшааб? Кто назовет богатым?
Хэрмэн дэгэлээ умэдхэдэм
Беличью шубу надену,
Хэн гоё гэгшааб? Кто назовет красивым?
(Хулгана). (Мышь).
(ЦВРК ИМБТ СО РАН, инв. №2877 (3).)

Загадок, построенных в форме монолога, немного в фольклоре бурят. Однако наличие даже немногочисленной группы загадок такого типа свидетельствует о разнообразии приемов построения загадываемого образа в произведениях этого жанра.

Загадки-монологи часто передаются в песенной форме. В загадках-песнях говорится о разных предметах и явлениях в завуалированной, нарочито затемненной форме, рассчитанной на отгадку. По текстовой характеристике, переданной в песенной форме, отыскивается и называется отгадываемый предмет. Иногда песни-загадки требуют ответа в песенной же форме. Например:

Хара далайн дунда
Посередине черного моря
Хабатай хубуун турэбэ.
Дюжий парень родился.
Хамаг зоноо ерэхэдэ
Хорим турэээ бутээбэ.
Когда собрался весь народ,
Хорим турэээ бутээбэ.

Он свадебный пир устроил.
Ответная песня:
Хара далай гээшэшни
Черным морем что называешь

Хабһатай модон һиибуур,
Деревянный, ребристый охладитель,
Хабатай хубуун гээшэшни,
Дюжим парнем называешь
Хара шэрэм танха.

Черный чугунный кувшин.

Хухэ далайн дунда,
Песередине синего моря
Хушэтэй хубуун турэбэ.

Сильный парень родился.

Хэдэн зоной ерэхэдэ
Несколько человек собралось –
Хухёожэ байжа найрлуулба.

Он пир и веселье устроил.

Ответная песня:

Хухэ далай гэнэншни
Синим морем что называешь
Хундээ модон һиибэр лэ,

Полый деревянный охладитель,
Хушэтэй хубуун гэнэншни

Сильным парнем [кого] называешь
Хухэ шэрэм танха.

Синий чугунный кувшин.

(ЦВРК ИМБТ СО РАН, инв. №2868.)

Песенная форма передачи некоторых загадок раскрывает одну из особенностей их современного бытования. Поскольку жанр песен активно бытует в наши дни, загадки, передающиеся в песенной форме, живут полнокровной жизнью, выполняя определенную функцию.

В самостоятельную группу можно выделить числовые загадки. Наиболее многочисленны среди них загадки-триады.

В загадках этой разновидности функциональная нагрузка числительных заключается прежде всего в упорядочении количества ответов – три, четыре и т.д. И в других видах загадок числа определяют количественные признаки загадываемых предметов.

Определенное значение у бурят имели и загадки тетралогического характера, типа четыре далеких, четыре тяжелых и т.д. Например:

Дэлхэйн дурбэн холо:

Четыре далеких на свете:

Хашан мориндо харгы холо. Ленивому коню расстояния
Харуу хундэ нухэр холо. далеки.

Хараха гэхэдэ шэхэн холо. Скупому человеку друзья
Хазаха гэхэдэ альган холо. далеки.

Увидеть хочется – уши
далеки.

Укусить хочется – ладонь
далека.

Разнообразие формы, свойств и признаков загадываемых предметов способствовало созданию богатой системы поэтических, художественных

приемов, определило структурное многообразие загадок. В составе бурятских загадок встречаются прозаические и стихотворные тексты, сложенные по-разному. Одни состоят из одного-двух предложений, другие – из нескольких, нанизанных друг на друга.

По своим художественным особенностям загадки соотносятся с другими жанрами бурятского фольклора, в частности с пословицами и поговорками, и в то же время имеют такие специфические черты, которые присущи только этому жанру. Своеобразие загадки заключается, прежде всего, в двухчастности ее структуры. Она состоит из текста загадки и отгадки, которые представляют собой органически связанную друг с другом систему.

Говоря о традиционных принципах построения современных загадок, невозможно отрицать наличия в них новых деталей и компонентов, расширяющих жанровые возможности этих произведений. Изучение конкретного текстового материала по загадкам раскрывает некоторые закономерности их возникновения и развития, обусловленные изменившейся действительностью.

Несмотря на то, что в наши дни традиционные принципы построения загадок сохраняются, некоторые моменты, относящиеся к сфере их бытования в прошлом, все же забываются. Раньше у бурят, как и у других народов, существовали различные формы наказания (в основном шуточного характера) за неумение отгадать загадки, за неудачные отгадки.

При всей активности бытования загадок в современную эпоху следует отметить тот факт, что все-таки нет массовости в исполнении этих произведений. Наиболее богат загадками репертуар взрослого населения. Среди детей бытуют обычно очень популярные в народе загадки или такие, которые преднамеренно исполняются взрослыми в детской среде в определенных познавательных и воспитательных целях.

Сравнительно-сопоставительный анализ произведений устно-поэтического творчества бурят, проживающих в автономных районах Монголии, Китая, так и бурят России, способствуют выявлению как общих корней фольклора родственных народов, так и специфических их особенностей.

Изучение современного состояния устно-поэтического творчества бурят, определение его места в едином социально-культурном комплексе в настоящий период обретает особую актуальность. В связи с этим становится необходимым конкретно-исторический анализ бытования в наши дни всех жанров устной поэзии системы «бурятский фольклор».

Для изучения заметных процессов, происходящих в «судьбе» отдельных жанров, а также устно-поэтического творчества в целом бурятскими фольклористами проводятся ежегодные экспедиции по районам Бурятии, Иркутской и Читинской областей. Проведено три международных экспедиции по сбору фольклора бурят, проживающих в сомонах Центрального, Хэнтэйского, Дорнодского, Хубсугульского, Булганского аймаков Монголии.

Исследование собранного, систематизированного фольклорного материала подтверждает суждения и выводы наших предшественников об угасании, трансформации героического эпоса, переосмыслении традиционных элементов обрядовой и афористической поэзии. Однако этот сложный и длительный процесс самым непосредственным образом оказывает влияние на репертуар современных сказителей.

Улигершины и сказочники, разные по своим творческим возможностям, имея традиционный фольклорный багаж, учитывая интересы людей настоящей эпохи, вполне осознанно идут на творческий акт обновления, переосмысления архаичных мотивов, создают свой вариант повествования.

Анализ фольклорного материала в определенной мере характеризует современную ситуацию и показывает, что влияние нового времени на устно-поэтическое творчество бурят проявляется как в содержании, так и в форме бытования фольклорных произведений. Непосредственное изучение этих проблем на разножанровом материале позволяет сказать, что лучшие образцы традиционного бурятского фольклора, содержащие непреходящую общечеловеческую ценность, в период роста этнического самосознания, возрождения древних обычаев, обрядов продолжают функционировать, обновляясь, развиваясь, обретая новые художественные черты, отвечающие духовным запросам современных людей.

ЛИТЕРАТУРА

- Балдаев С.П. 1961. Бурятские народные песни. Улан-Удэ, Т.1.
- Балдаев С.П. 1960. Буряад арадай аман зохёолой түүбэри. Бурятское народное устное творчество. Улан-Удэ: Бур. кн. изд. 408 с.
- Будаев Ц.Б. 1988. Онъһон үгэ оншотой. Словарь адекватных пословиц и поговорок разных народов. Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во. 192 с.
- Бардаханова С.С. 1997. Сказки бурят Монголии. Улан-Удэ.
- Бурятские народные сказки. 1973. Волшебно-фантастические. Улан-Удэ.
- Бурятские народные сказки. 1976. Волшебно-фантастические и о животных. Улан-Удэ.
- Бурятские народные сказки. Бытовые. Улан-Удэ, 1981. Составители трех книг: Баранникова Е.В., Бардаханова С.С., Гунгаров В.Ш. Под общей редакцией Баранниковой Е.В.
- Бурятские народные сказки. Волшебные. Бытовые. 2008. / Составители: Бардаханова С.С., Гымпилова С.Д. Улан-Удэ.
- Бурятские волшебные сказки; Бурятские сказки о животных и бытовые / Составители: Баранникова Е.В., Бардаханова С.С., Гунгаров В.Ш., Цыбикова Б-Х.Б.. Отв. ред. Соктоев А.Б. 1993, 2000. Новосибирск: Наука.
- Намсараев Х. 1947. Бурят-Монголой онъһон үгэнүүд. Улан-Удэ: Бургиз. 40 с.
- Буряад арадай онъһон, хошоо үгэнүүд. 1960. Сост. И.Н. Мадасон. Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во. 401 с.
- Дугаров Д.С. 1964, 1969, 1980. Бурятские народные песни. Т.1, 2, 3. Улан-Удэ.
- Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. 1977. Русское устное народное творчество. М. С. 122-123.
- Онъһон үгэ оншотой. Сборник бурятских пословиц. Сост. А.Н. Дугарнимаев и другие. 1979. Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во. 219 с.
- Шаракшинова Н.О. 1973. Лирические песни бурят. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во.
- Уланов А.И. 1974. Древний фольклор бурят. Улан-Удэ. С. 12.
- ЦВРК ИМБТ СО РАН, инв. №3064.
- ЦВРК ИМБТ СО РАН, инв. №2877 (3).
- ЦВРК ИМБТ СО РАН, инв. №2868.

Алиева А.И. (ИМЛИ РАН)

АКАДЕМИК В.Ф. МИЛЛЕР – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ, РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ, ЭТНОГРАФИИ И ЭПИГРАФИКИ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Академик Всеволод Федорович Миллер (1848-1913) – выдающийся российский ученый, автор фундаментальных трудов по славистике, востоковедению, кавказоведению. Его капитальные исследования, посвященные истории, археологии, религии, языкам, этнографии, эпиграфике, фоль-

клору народов Северного Кавказа – осетин, горских евреев-татов и татов-мусульман, чеченцев, кабардинцев, балкарцев и карачаевцев – занимают особое место в истории российского академического кавказоведения. Опубликованные на рубеже XIX-XX вв. в малотиражных научных изданиях,

труды В.Ф. Миллера (в том числе и кавказоведческие) давно стали библиографической редкостью и не всегда доступны исследователям даже в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга. Не случайно на рубеже XX-XXI вв. были переизданы важнейшие осетиноведческие труды ученого. (Миллер 1992, Миллер 1998).

В 2008 г. в серии «Памятники отечественной науки. XX век», издаваемой Российской академией наук, был опубликован том «В.Ф. Миллер. Фольклор народов Северного Кавказа: Тексты, исследования» (Миллер 2008). Первый его раздел составили все записи и публикации произведений фольклора ираноязычных народов Северного Кавказа – осетин, горских евреев-татов и татов-мусульман – на языке оригинала и в русском переводе с подробными комментариями ученого. Все они даются в репринтном воспроизведении, причем фольклорные тексты горских евреев и татов-мусульман переиздаются *впервые* после их публикации более 100 лет назад.

Во второй раздел вошли исследования В.Ф. Миллера, посвященные фольклору народов Северного Кавказа, а также его «путевые очерки» - по сути, научные отчеты об экспедициях ученого в Осетию, Чечню, Кабарду, Балкарию. Они содержат не только переводы / пересказы произведений устной народной поэзии осетин, балкарцев, чеченцев, кабардинцев, но и научные характеристики памятников фольклора этих народов, а также ценнейшие сведения по их истории, археологии, этнографии, религии. За пределами этого издания остались фундаментальные сочинения В.Ф. Миллера, посвященные этим разделам кавказоведения.

В 2014 г. в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» подготовлено издание «В.Ф. Миллер. Труды, посвященные археологии, истории, религиозным верованиям, этнографии и эпиграфике народов Северного Кавказа».

В нем кавказоведческие исследования ученого характеризуются в контексте его работы в Императорском Московском археологическом обществе, действительным членом которого он был избран 30 января 1875 г.

Как неутомимый сотрудник этого Общества, а затем и председатель его Восточной комиссии, В.Ф. Миллер провел все свои фольклорные и археологические экспедиции, создал собственные кавказоведческие труды, готовил будущих кавказоведов, объединял и столичных, и кавказских энтузиастов для изучения истории, археологии, этнографии, языков, фольклора народов Кавказа. В Московском археологическом обществе ученый сосредоточил внимание на организации востоко-

ведческих исследований, во главу которых поставил изучение Кавказа.

Обращение В.Ф. Миллера к кавказоведению не было случайным. В 80-е годы XIX в. в ученых кругах Москвы заметно оживился интерес к Востоку (в том числе и к Кавказу), чему немало способствовали работавшие в эти годы в Московском университете такие блестящие востоковеды, как Ф.Е. Корш, Ф.Ф. Фортунатов, да и сам Миллер, читавший здесь курс по истории Древнего Востока. Знаток санскрита, древне- и новоперсидского языков, он задался целью отыскать на Кавказе следы народов, участвовавших в создании и развитии его истории и культуры. Одним из таких народов оказались ираноязычные осетины. Ученый обратился сначала к изучению языка осетин, а затем к их истории, религиозных верований, этнографии, фольклора.

Совершенно закономерно, что В.Ф. Миллер вел кавказоведческие исследования именно в Московском археологическом обществе: здесь исследованию Кавказа уделялось не просто особое – исключительное внимание. Это общество было создано по инициативе и по ходатайству графа А.С. Уварова в 1864 г.; он был его бессменным председателем до самой своей кончины в 1884 г. (Анучин 1886, с. III-XX; Миллер 1888, с. 2-5; Корсаков 1892, с. 30-35). А.С. Уваров разработал обширную программу работы общества, которое регулярно проводило археологические экспедиции, каждые четыре года, начиная с 1869-го – археологические съезды (последний состоялся в 1911 г.), публичные чтения по разным отделам древней истории России, принимало меры для сохранения памятников старины, вело работу по составлению легенд для русских археологических карт. А.С. Уваров привлек к работе в Московском археологическом обществе ученых разных специальностей. Это были историки А.Н. Афанасьев, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, В.Е. Румянцов, К.К. Гёрц, А.А. Гатцук, Д.И. Иловайский, Н.И. Костомаров, В.М. Истрин, К.Н. Тихонравов, М.М. Ковалевский, Д.Я. Самоквасов и др.; филологи А.А. Потебня, Ф.И. Буслаев, А.А. Котляревский, А.Н. Пыпин, В.В. Латышев, Л.Н. Майков; этнографы Д.Н. Анучин, Е.В. Барсов, В.А. Дашков, П.С. Ефименко, Н.А. Попов, Н.А. Янчук и другие. Многие из этих ученых с равным успехом работали в разных областях гуманитарного знания, но все они вели исследования преимущественно на славянском материале. Прозорливость А.С. Уварова, с самого начала осознававшего перспективу и необходимость изучения исторических памятников, находящихся на поверхности или скрытых в земле на всей территории России, проявилась и в при-

влечении к работе в Московском археологическом обществе востоковедов – преимущественно профессоров и преподавателей Лазаревского института восточных языков – Г.Н. Кананова, Н.О. Эмина, Г.А. Муркоса, Ф.Е. Корша, В.К. Трутовского, М.В. Никольского, а затем и В.Ф. Миллера.

Как востоковед В.Ф. Миллер представлял Московское археологическое общество на съезде ориенталистов, состоявшемся в Петербурге в 1876 г., а 16 февраля 1877 г. прочел на заседании Общества доклад «Миф о Ниобе на Востоке». В основном же в первые годы работы в нем он выступал как славист (Миллер 1876, с. 193-210; Миллер 1877, с. 1-18; Миллер 1880, с. 48-49; Миллер 1881, с. 15), поскольку здесь на протяжении первого десятилетия его деятельности преимущественное внимание уделялось археологическому исследованию памятников русской истории. Публикации работ, посвященных истории и археологии других народов России в неперiodическом (как тогда говорили – «несрочном») издании «Древности. Труды Московского археологического общества», в 1865-1876 гг. немногочисленны.

Неправомoрность такого положения дел осознал председатель Московского археологического общества граф А.С. Уваров (Уваров 1870, с. 377), который и попытался охватить археологическими исследованиями разные регионы Российской империи. Это получило выражение прежде всего в расширении «географии» проведения археологических съездов: вслед за Москвой и Петербургом они состоялись в Тифлисе, Казани, Одессе, Киеве, Харькове, что должно было привлечь к занятиям археологией все новых энтузиастов. А.С. Уваров принимал самое непосредственное и активное участие не только в проведении, но и в подготовке первых пяти съездов.

В контексте данной статьи особый интерес представляет история V Археологического съезда, состоявшегося в сентябре 1881 г. в Тифлисе. В период подготовки к нему начинается изучение В.Ф. Миллером Кавказа, прежде всего его ираноязычных народов – осетин и горских евреев-татов.

По сложившейся в Археологическом обществе традиции, подготовка к Тифлисскому съезду началась заранее. Работу его организаторов значительно облегчило то, что наместник Кавказа выделил на нужды съезда и предварительные работы 15 000 р. «Были составлены инструкции, предприняты поездки, посланы экспедиции, произведены раскопки в разных местностях Кавказа, был издан целый том «Трудов Предварительного комитета». Председатель последнего в Москве, граф А.С. Уваров, сам лично руководил предварительными рас-

копками, и с этой целью провел на Кавказе лето и осень 1879, 1880 и 1881 годов и производил раскопки в горах и ущельях Осетии, в Дагестане, в долине Аракса, в Абаранском и Делижанском ущельях, изучил Эчмиадзинскую библиотеку и своими неутомимыми усилиями дал сильный толчок к дальнейшему изучению края... Г.г. Н.О. Эмин, Л.П. Загурский, В.Ф. Миллер, И.Д. Мансвeтов, Д.З. Бакрадзе, Е.Г. Вейденбаум и др. помогли делу своими филологическими изучениями, указаниями на историю и предания страны, разъяснениями языков, исторических актов и преданий и пр.» (Уварова 1887, с. 1).

Примечательно, что из ряда мест на Кавказе, где граф А.С. Уваров проводил предварительные раскопки, он особо выделил Осетию, и в своем докладе на заседании Московского археологического общества 29 декабря 1879 г. обратил внимание на важное значение Осетии и осетин для первобытной археологии.

Возможно, такое внимание председателя Московского археологического общества к исследованию Осетии еще раз утвердило В.Ф. Миллера во мнении о справедливости его выбора для всесторонних исследований именно этого края, и уже в 1879 г. он отправился в свою первую поездку на Кавказ для изучения осетинского языка. К сожалению, ученый не оставил о ней никаких документальных свидетельств. Зато вторую поездку – в 1880 г. – он подробно описал в очерке «В горах Осетии» (Миллер 1881а, с. 55-105).

Основное место в нем отведено рассказу о его научных занятиях: «Цель моей поездки в Осетию (летом 1880 года) была лингвистическая и этнографическая. Познакомившись теоретически с осетинским языком по грамматике академика Шёгрена и текстам, изданным академиком Шифнером, я поставил себе задачей изучить на месте диалекты осетинского языка и записать в текстах произведения народной словесности, прежде всего так называемые нартские (богатырские) сказания, затем песни, сказки, местные предания и тому подобное» (Миллер 1881, с. 55).

Результат превзошел все ожидания. Миллеру удалось собрать материал не только по осетинскому языку и фольклору, но и по истории, археологии, религии осетин, их этнографии – обрядам (в основном поминальным) и обычаям (гостеприимство, отношения в семье).

Публикуя очерк «В горах Осетии», В.Ф. Миллер предполагал, что собранный им в 1880 г. «материал составит отдельный сборник, в который войдет исследование о языке осетин и его диалектах, тексты нартских сказаний и русский перевод их, ста-

тя об осетинском эпосе, местные легенды и исследование о верованиях осетин» (Миллер 1881, с. 56). Вместо «отдельного сборника» ученый подготовил и издал три книги (он назвал их «части») «Осетинских этюдов», принесших ему европейскую известность. Первая часть увидела свет в 1881 г. (Миллер 1881б). Ее составили «Сказания о нартах», «Сказки, местные предания и песни», опубликованные на дигорском диалекте осетинского языка с параллельным русским переводом, и «Местные предания и сказки, записанные по-русски».

Публикация произведений фольклора в первой части «Осетинских этюдов» стала эталоном для всех последующих научных изданий произведений устной поэзии разных народов Кавказа, начиная со «Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа» и заканчивая современными изданиями нартского эпоса адыгов, осетин, балкарцев и карачаевцев в двуязычной академической серии «Эпос народов СССР» (ныне – «Эпос народов Европы и Азии»).

Не менее важно и то, что уже в первых работах, посвященных фольклору народов Северного Кавказа, В.Ф. Миллер сформулировал ряд важнейших задач, которые предстоит решить нартоведом на разностадиальном и разноязычном материале всех национальных версий сказаний о нартах.

Публикация произведений фольклора в первой части «Осетинских этюдов» стала эталоном для всех последующих научных изданий произведений устной поэзии разных народов Кавказа, начиная со «Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа» и заканчивая современными изданиями нартского эпоса адыгов, осетин, балкарцев и карачаевцев в двуязычной академической серии «Эпос народов СССР» (ныне – «Эпос народов Европы и Азии»).

Не менее важно и то, что уже в первых работах, посвященных фольклору народов Северного Кавказа, В.Ф. Миллер сформулировал ряд важнейших задач, которые предстоит решить нартоведом на разностадиальном и разноязычном материале всех национальных версий сказаний о нартах.

В 1879-1880 гг. В.Ф. Миллер успешно сочетал собирание, публикацию и изучение материалов по языку, истории, религии, фольклору осетин с работой в предварительных комитетах по подготовке Тифлисского съезда в Москве и в Тифлисе (Пятый археологический съезд, 1883, с. 1-104). Он принимал активное участие в работе всех заседаний этих комитетов, выражал готовность провести исследования в Армении и в Осетии, предложил включить в программу съезда ряд вопросов, связанных с изучением религиозных обрядов и языка осетин

и горских евреев (Труды 1887, с. IV-V), кавказских сказаний о прикованных к горам великанах в отношении к классическому мифу о Прометее; одним из первых ученый поставил проблему сопоставительного анализа разных национальных версий нартского эпоса – в частности, осетинской и адыгской. Этим проблемам В.Ф. Миллер либо уже посвятил опубликованные труды, либо занимался их исследованием.

В Археологическом обществе в процессе подготовки к Тифлисскому съезду были заслушаны рефераты А.С. Уварова о результатах археологических экспедиций, проведенных им на Кавказе, профессора Лазаревского института восточных языков Н.О. Эмина о степени достоверности древнейшей «Армянской истории» и у Мар-Абаса, и у Моисея Хоренского, сообщение В.Ф. Миллера о его поездке в Осетию в 1880 г.

С 8 по 21 сентября 1881 г. в Тифлисе во дворце наместника Кавказа работал V Археологический съезд, в подготовке и проведении которого приняли участие ведущие исследователи русской истории, этнографии, фольклора граф А.С. Уваров, Д.Н. Анучин, В.Б. Антонович, Л.К. Ивановский, Д.И. Иловайский, Л.Н. Майков, Д.Я. Самоквасов, В.В. Стасов, Н.С. Трубецкой, И.В. Цветаев, а также московские и кавказские ученые, уже заявившие о себе основательными кавказоведческими трудами. Это Д.З. Бакрадзе, П. Берже, Е.Г. Вейденбаум, В.Н. Вырубов, А.Д. Ерицов, Л.П. Загурский, Н.К. Зейдлиц, А.В. Комаров, Г.И. Радде, А.И. Стоянов, М.Н. Смирнов, В.Г. Тизенгаузен, Н.О. Эмин и, конечно же, В.Ф. Миллер.

На съезде обсуждались доклады, посвященные не только проблемам истории и археологии Кавказа («Памятники первобытные», «Памятники языческие и христианские», «Памятники христианские», «Восточные древности»), но и языков, этнографии, традиционного искусства. В.Ф. Миллер прочитал доклады «Миф о Прометее на Кавказе», «О значении Кавказа для языкознания», «Об осетинском языке и его месте в группе иранских языков» (Труды... 1887, с. XXIX, XL, XLVIII).

Значение Тифлисского археологического съезда для развития кавказоведения на рубеже XIX-XX столетий невозможно переоценить. Подготовка к нему привлекла к изучению Кавказа внимание не только специалистов-кавказоведов; она побудила заняться фиксацией этнографических и археологических сведений тогда еще немногочисленных представителей кавказской интеллигенции, прежде всего учителей (и даже учеников) кавказских школ. Материалы по языкам, фольклору, этнографии народов Кавказа, собранные ими в самых недоступ-

ных его уголках, стали публиковаться в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа», первый выпуск которого увидел свет в 1881 г. – в год открытия Тифлисского археологического съезда (Сборник материалов... 1881).

Активизации кавказоведческих исследований и на Северном Кавказе, и в Закавказье в значительной степени способствовали и подготовленные участниками съезда и опубликованные в его «Трудах» программы исследования археологии, языков, нумизматики, антропологии кавказских горцев. Специальное внимание было отведено «Программе для собирания материала по осетинскому языку», составленной В.Ф. Миллером (Труды... 1887, с. ХСVIII), который принял большое участие в издании «Трудов» съезда и опубликовал о нем подробный отчет (Миллер, 1882, с. 1-20).

В «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» после Тифлисского съезда поступало такое количество материалов, что в течение одного года нередко выходило по два (вып. 7, 8 – в 1889 г.; 9, 10 – в 1890; 11, 12-в 1891; 13, 14 – в 1892; 22, 23-в 1897; 24, 25-в 1898 г.), а иногда (вып. 15-17 – в 1893; 18-20 в 1894 г.) даже по три объемистых выпуска, содержащих поистине бесценные материалы.

Труды по истории, археологии, этнографии, фольклору, эпиграфике Кавказа и через несколько лет после Тифлисского съезда поступали в Московское археологическое общество, где внимательно обсуждались и, как правило, публиковались (Церетели 1890, с. 74), а горцы, помогавшие сотрудникам общества во время их экспедиций на Кавказ, приглашались на его заседания (Древности 1883, с. 101).

Первое десятилетие, прошедшее после Тифлисского съезда, было особенно результативным для В.Ф. Миллера в исследовании Кавказа. Уже в 1882 г. была опубликована вторая часть его «Осетинских этюдов» (Миллер 1882а), включавшая два исследования – «Грамматику осетинского языка» и «Религиозные верования осетин». За пределами этого выпуска остался значительный материал, который, по замыслу автора, должен был войти в третью часть труда.

Для исследователей народов Северного Кавказа – и не только осетин – самостоятельный интерес представляет монографическая работа В.Ф. Миллера, посвященная религиозным верованиям осетин (Миллер 1882б, с. 237-301) и их языческому пантеону. На основании данных, собранных ученым во время его экспедиции в Осетию в 1880 г. и сообщенных ему его постоянными помощниками в изучении осетин С.А. Туккаевым, С.В. Кокиевым и священником

А.Г. Гатуевым, а также опубликованных в разных кавказских изданиях, В.Ф. Миллер подробно характеризует религиозные понятия осетин.

В первой главе «Верования в высших духов» представлены высшее существо у осетин – Хуцау – и «главные высшие духи»: повелитель грома и молнии Уацилла, «покровитель честных людей и домашних животных», бич воров, мошенников и клятвопреступников Уастырджи, покровитель и властитель волков Тутыр, патрон овец Фалвара, покровитель диких животных (прежде всего туров, оленей, коз, кабанов) Авсати, хозяин загробного мира Барастыр, мифический кузнец Курдалагон, покровитель цепи домашнего очага Сафа, властитель подводного мира Донбеттыр, «имеющий власть над повальными болезнями» Рунубардуаг, покровитель оспы Аларды, покровители браков и чадородия Хуцау-дуар и Фуру-дуар, покровительница женщин Мать Мария – Богоматерь, покровитель дома Бунату-хицау (аналог русского домового), дух леса Сау-дуар (аналог русского лешего), а также ряд «местных» языческих покровителей. Самостоятельный интерес представляют поверья, предания, легенды, связанные с этими персонажами.

Вторая глава посвящена рассказу о дзуарах – местах поклонения осетин различным святым, среди которых В.Ф. Миллер различает дзуары, известные только в одном ауле и известные во всей Осетии. Это Реком – древняя часовня, посвященная св. Георгию (по-осетински – Уастырджи), и Мыкалыгабыртэ – «остаток христианской церкви, достроенной некогда во имя Святого Николая Чудотворца». Ученый описывает их внешний вид, внутреннее убранство и содержание, пытается определить время их постройки, приводит связанные с ними предания. Подробно охарактеризован и ряд других дзуаров, расположенных в местах поселения носителей двух основных диалектов осетинского языка – иронцев и дигорцев, посвященные этим дзуарам предания и совершаемые в них обряды.

В третьей главе описаны общественные праздники осетин: «1) ... общеосетинские, календарные, справляющиеся в известные месяцы года и находящиеся в связи с календарем и сельскими работами; 2) ... местные, справляемые в том или другом ауле в память какого-нибудь события; 3) ... семейные, т.е. круг обрядов, сопровождающих известные события домашней жизни, рождение ребенка, свадьбу, похороны» (Миллер 1882б, с. 267). Ученый характеризует каждую группу праздников, связанные с ними обряды, сопровождающие их молитвы и жертвоприношения, исполняемые при этом песни и посвященные им предания.

Заключает исследование религиозных верований осетин русский перевод нескольких осетинских преданий о небесных светилах, сообщенных В.Ф. Миллеру С.А. Туккаевым, – «О нарастании и ущербе луны», «О пятнах на луне и лунном затмении», «О Полярной звезде» и «О Большой Медведице».

Таким образом, на протяжении двух лет – 1881 и 1882 гг. – В.Ф. Миллер подготовил и издал уникальную коллекцию текстов осетинского фольклора, фундаментальные исследования языка и религии осетин.

Первая и вторая части «знаменитых «Осетинских этюдов», которых было бы вполне достаточно, чтобы обеспечить за автором крупное имя в науке» (Максимов 1914, с. 35), получили высокую оценку в России (Загурский 1883, с. 137-143) и за рубежом (Archiv... 1883-1884, с. 138-146), а их автору была присуждена (5 февраля 1883 г.) ученая степень доктора сравнительного языкознания.

Одновременно с изданием второй части «Осетинских этюдов» В.Ф. Миллер опубликовал статью «Черты старины в сказаниях и быте осетин» (Миллер 1882, с. 191-207), в которой сравнивает некоторые обычаи осетин, получившие отражение в осетинском эпосе, и обычаи скифов, засвидетельствованные в «Истории» Геродота (скальпирование и утилизация скальпов для шуб; чудесная чаша, из которой может пить только герой, совершивший подвиги; брачная связь богатырей с водяными нимфами, от которой происходит главный богатырь; отголоски некогда существовавших обычаев заключать браки между близкими родственниками; сходные приемы гадания; похоронные обряды; культ домашнего очага).

Летом 1883 г. В.Ф. Миллер (теперь вместе с М.М. Ковалевским) в четвертый раз отправился в экспедицию на Северный Кавказ – о ней подробно рассказано в двух статьях – В.Ф. Миллера (Миллер 1884-1885, с. 198-204) и В.Ф. Миллера с М.М. Ковалевским (Миллер, Ковалевский 1884, с. 540-588). В первой четко определены научные цели каждого ученого путешественника и кратко сформулированы результаты его работы. Во второй статье экспедиция описана со всеми подробностями не только красот кавказской природы и щедрого горского гостеприимства, но прежде всего хода научных – археологических, исторических, этнографических, фольклористических – разысканий.

В 1886 г. В.Ф. Миллер отправился в свою пятую экспедицию на Северный Кавказ – на этот раз археологическую. Выше говорилось, что подготовка к Тифлисскому съезду началась с ряда археологических экспедиций, результаты которых пробудили всеобщий интерес к археологическому

исследованию Кавказа. Но такое исследование требовало немалых средств. В 1885 г. Московскому археологическому обществу – в ответ на просьбу его председателя графини П.С. Уваровой – были «Высочайше дарованы» 15 тыс. рублей, что позволило «собрать и изучить по возможности все древние памятники христианства, встречаемые на Кавказе, и исследовать влияние, которое имело на русское искусство искусство Востока» (Отчет... 1888, с. 102). На заседании Археологического общества 27 апреля 1885 г. после обсуждения маршрута предстоящих экспедиций «решено было избрать те местности Кавказа, которые представляют наибольший археологический интерес и наименее исследованы» (Там же).

Начиная с 1886 г. члены Московского археологического общества В.Ф. Миллер, М.М. Ковалевский, В.И. Сизов, Н.В. Никитин, М.В. Никольский, А.С. Хаханов, Х.И. Кучук-Иоанесов, А.А. Ивановский, Г. Церетели, В.С. Сысоев, Е.Д. Фелицын, Е.С. Такайшвили провели археологическое обследование обширной территории на Северном Кавказе. В Чечне, Осетии, Горских обществах Кабарды – нынешней Балкарии, в Кубанской области, на восточном побережье Черного моря, на территории нынешних республик Адыгея и Карачаево-Черкесия, в ряде регионов Грузии, Армении, в Абхазии и Аджарии были исследованы христианские памятники, древние могильники, следы древних цивилизаций на Кавказе, выявлены памятники христианской литературы.

Первую из запланированных Московским археологическим обществом экспедиций провел В.Ф. Миллер. Он выбрал для исследования северную часть Кавказа, «именно местность по реке Чегему, Баксану и верховьям Кубани, богатую могильниками и христианскими памятниками».

В капитальном труде «Герская область. Археологические экскурсии» (Миллер 1888) В.Ф. Миллер воссоздал маршрут экспедиции, описал проведенные им пробные раскопки древних могильников, охарактеризовал все интересное в археологическом отношении, что встречалось участникам экспедиции, и при этом, согласно инструкции, тщательно фиксировал местные предания. В Чечне он записал предания об основании чеченских аулов Таргин и Хамхи, о монастыре в ауле Галанчодж и о появлении одноименного озера, о кургане Галмук-барц – «Калмыцкий верх», в основе которого, по мнению ученого, лежали реальные события.

В описании археологического исследования, проведенного В.Ф. Миллером в Куртатинском ущелье и в ущелье реки Гизель-Дон в Осетии, особый интерес представляет рассказ о древних христианских храмах, обратившихся у осетин в священные

места (дзуары), о древних могильниках и могильных наружных усыпальницах (западцы), о многочисленных башнях, сохранившихся почти во всех горных аулах, по которым проходила экспедиция. Приведенные в нем сведения существенно дополняют характеристику религиозных верований осетин как смеси остатков христианства с язычеством, данную во второй части «Осетинских этюдов».

Описание дзуаров в древних осетинских аулах Дзивгисе, Ладза, близ аулов Харискина, Гули, Барзикау и обследованных Миллером могильников также сопровождает пересказ местных преданий.

В.Ф. Миллер существенно дополнил описания В. Пфаффа и П.С. Уваровой знаменитого осетинского святилища Реком пересказом впервые зафиксированных им преданий об этом памятнике. Значительный интерес представляют и приведенные ученым предания о некоторых дигорских храмах.

Во время экспедиции к балкарцам – в «Горские общества Кабарды» – В.Ф. Миллер обследовал многие башни и могильные сооружения – следы древнего христианства в ущельях рек Черек, Чегем и Баксан, что позволило ему охарактеризовать религиозные верования балкарцев, представлявшие, как и у осетин, смешение христианских верований с древними языческими, и записать со слов таубия (горского князя) Хаджи Шаханова ряд фамильных преданий. Эти фольклорные тексты существенно дополняют характеристику «вещественных» памятников (в Чечне, Осетии и Балкарии), обследованных В.Ф. Миллером.

Итак, и в этой экспедиции занятия ученого археологией были тесно связаны с его исследованиями истории, религии, древнейшей культуры, фольклора и этнографии кавказских горцев.

Одновременно с работой в Московском археологическом обществе В.Ф. Миллер принимал активное участие в деятельности его Кавказского отделения, почетным членом которого он был избран в 1906 г. (Известия... 1915).

В 1887 г. ученый завершил «Осетинские этюды» – вышла в свет третья часть этого капитального труда (Миллер 1887). Она включает обширные исследования «Исторические сведения об осетинах и вопрос о происхождении этого народа», «Грамматические экскурсы в области осетинского языка» и публикацию текстов осетинского фольклора.

Третья часть «Осетинских этюдов» примечательна подведением итогов многолетнего планомерного изучения В.Ф. Миллером языка, истории, фольклора осетин, что было справедливо отмечено в рецензии академика К.Г. Залемана (Замман 1888, с. 16-18), высоко оценившего и первые две части этого труда.

Но вернемся к работе ученого в Московском археологическом обществе. На протяжении ряда лет его сотрудники занимались собиранием и изучением «вещественных» памятников на Кавказе, и В.Ф. Миллер принимал в этом активное участие. Вместе с тем, его занятия археологией (как и других его коллег-кавказоведов) были не только тесно связаны, но даже подчинены исследованию истории, религии, древнейшей культуры, этнографии и фольклора народов Кавказа. Все ощутимее в Московском археологическом обществе становилась потребность в консолидации усилий исследователей Кавказа – лингвистов, этнографов, фольклористов.

Общее мнение сотрудников Общества по этому вопросу сформулировал товарищ (т.е. заместитель) секретаря Общества М.В. Никольский. Он представил его председателю графине П.С. Уваровой убедительные доводы о необходимости создать Восточную комиссию, которая, в отличие от Восточного отделения Императорского Русского археологического общества в Петербурге, занималась бы исследованием не «зарубежного», а «российского» Востока, прежде всего Кавказа. Его поддержали ведущие московские востоковеды Ф.Е. Корш, Н.О. Эмин, В.Ф. Миллер, Г.И. Кананов и В.К. Трутовский. 24 апреля 1887 г. на заседании Московского Археологического общества было принято решение «учредить Постоянную комиссию для исследования восточных древностей из членов, занимающихся восточной археологией» (Отчет... 1888, с. 131). 29 сентября того же года состоялось первое распорядительное заседание Восточной комиссии: ее председателем был выбран Ф.Е. Корш, товарищем председателя – В.Ф. Миллер, секретарем – М.В. Никольский. В комиссию вошли ведущие российские востоковеды.

В 1897 г. Ф.Е. Корш сложил с себя полномочия председателя Восточной комиссии. Их принял В.Ф. Миллер. Включение в состав Восточной комиссии целого ряда ведущих российских кавказоведов – сотрудников Лазаревского института восточных языков – помогло ее новому председателю «поставить изучение Кавказа во главе нашего востоковедения» (Никольский 1914, с. 256). «...Восточная комиссия, воодушевляемая в этом отношении личным примером В.Ф. Миллера, начала усердно заниматься древними языками и литературами народностей Кавказа и привлекла к своему составу немало основательных знатоков по этой части... это была дружина, для которой В.Ф. Миллер, универсальный знаток Кавказа, был душою и образцом» (Древности восточные 1889, с. 127).

Исследования членов Восточной комиссии публиковались в специальной серии трудов Московского археологического общества «Древности восточные...», первый том которой вышел в свет в 1889 г. В 1889-1915 гг. было издано пять томов (I и II в трех выпусках, III – в двух, IV и V – в одном). Основное место в «Древностях восточных» заняли кавказоведческие исследования, посвященные истории, языку, фольклору, литературе, эпиграфике Армении, истории Грузии, христианской и классической литературе Востока в грузинских переводах, эпиграфике Грузии.

В центре работ В.Ф. Миллера, напечатанных в «Древностях восточных», были общие проблемы кавказского языкознания, осетинского языка, этнографии, религиозных верований, эпиграфики осетин, а также истории и языка горских евреев-татов и татов-мусульман. Исследования других сотрудников Восточной комиссии языков ираноязычных народов/ Кавказа немногочисленны.

Как в Этнографическом отделе ИОЛЕАиЭ, как в Московском археологическом обществе, так и в Восточной комиссии В.Ф. Миллер собирал вокруг себя исследователей традиционной культуры разных народов страны. Он публиковал в «Древностях восточных» работы, посвященные прежде не изученным проблемам, внимательно рецензировал труды своих коллег-востоковедов, посвященные индоевропейским и неиндоевропейским языкам народов России, подготовке алфавитов для прежде бесписьменных народов Северного Кавказа, разнообразным проблемам востоковедения.

Самое значительное место на заседаниях Восточной комиссии отводилось анализу источников по истории, литературе, культуре народов Ближнего Востока, Северного Кавказа и Закавказья, преимущественно из коллекций, хранящихся в российских учреждениях, у частных лиц или обнаруженных сотрудниками комиссии во время «ученых экскурсий».

Взаимодействие Восточной комиссии с Лазаревским институтом стало еще более активным после того, как в 1897 г. В.Ф. Миллер одновременно принял на себя обязанности и ее председателя, и директора Лазаревского института восточных языков.

Как директор института ученый придавал особое значение *подготовке студентов* к исследованию истории, языков, культуры народов Востока и стремился, «не ослабляя практической подготовки студентов к деятельности на Востоке, придать преподаванию научное направление, отвечая потребностям таких студентов, которые пожелали

бы расширить и углубить свои сведения в изучении Востока.

В годы работы в Лазаревском институте восточных языков В.Ф. Миллер проявил себя не только как талантливый объединитель в общем-то немногочисленных в Москве кадров востоковедов (известно, что центром российского востоковедения на рубеже XIX-XX вв. был Петербург), но и как умелый воспитатель нового поколения исследователей Востока и Кавказа, в частности. Это получило убедительное выражение в том, что в «Трудах по востоковедению...» стали публиковаться работы студентов и выпускников Специальных классов, тщательно подготовленные к изданию их наставниками.

Итак, В.Ф. Миллер являлся руководителем и координатором кавказоведческих исследований в Московском археологическом обществе и его Восточной комиссии, как и во всех организациях, в которых ему довелось работать: в Этнографическом отделе ИОЛЕАиЭ, в Дашковском этнографическом музее, в Московском университете и в Лазаревском институте восточных языков.

* * *

В.Ф. Миллер начал изучение Кавказа с ираноязычного народа – осетин, имея четкую программу. «Мы предполагаем издать, – писал он в предисловии к первой части «Осетинских этюдов», – ряд материалов и исследований, имеющих целью изучение языка осетин, их эпических сказаний, религиозных воззрений и их прошлого... Осетины представляют значительный интерес для лингвиста и этнографа: первый найдет в их языке несомненные черты иранской группы индоевропейской семьи языков; второй заинтересуется ими как народом нашего, индоевропейского рода-племени, сохранившим до наших дней свою особость и древний склад жизни среди горных трущоб Кавказа и среди других народов, чуждых ему по языку и происхождению. Какая судьба загнала осетин в нынешние места их поселения, какое воспоминание сохранили они о своем прошлом, какие сведения сохранились о них в исторических документах, каков склад их жизни, каковы их религиозные воззрения, какое место занимает их язык в группе иранских языков, каков современный его строй, на какие наречия он распадается, каковы произведения осетинской поэзии – вот вопросы, ... на которые мы по возможности старались дать ответ» (Миллер 1881а, с. 3).

Программа оказалась полностью выполненной на самом высоком научном уровне. В процессе изучения осетин она была значительно расширена и

охватила многие стороны жизни их и ближайших соседей. В.Ф. Миллер оставил фундаментальные исследования языков, истории, этнографии, религии, фольклора не только ираноязычных народов Северного Кавказа – осетин, горских евреев-татов, татов-мусульман, но и кабардинцев, балкарцев, чеченцев и ингушей и других народов Северного Кавказа и Закавказья – все они представлены в труде, подготовленном к печати.

ЛИТЕРАТУРА

Анучин Д.Н. 1886. Граф Алексей Сергеевич Уваров: Биогр. очерк // Труды 6-го Археол. съезда в Одессе, 1884. Одесса, 1886. Т. 1. С. III-XX.

Древности. 1883. М., 1883. Т. 9. Вып. 2-3. Протоколы. С. 101.

Древности восточные. 1889. Т. 1. Вып. 1.

Загурский Л. 1883. [Рец.] «Осетинские этюды» В. Миллера. Ч. 1-2. М., 1881-1882 // Изв. КОИРГО. Тифлис. Т. 8. № 1. С. 137-143.

Залеман К.Г. 1888. Отзыв о труде В.Ф. Миллера «Осетинские этюды». Ч. 3 // Отчет ИРГО за 1887 г. Спб. Приложение. С. 16-18.

Известия... 1915 – Известия Кавказского отделения Императорского Московского археологического общества. Вып. 1. 1904; Вып. 2. Тифлис, 1907; Вып. 3. Тифлис, 1913; Вып. 4. Тифлис.

Корсаков Д.А. [А.С. Уваров]. 1892 // Труды 7-го Археол. съезда в Ярославле, 1887. М. Т. 3. С. 30-35, и др.

Максимов А. 1914. Научные методы В.Ф. Миллера в этнографии // ЭО. Кн. 98-99. № 3-4.

Миллер В.Ф. 1876. Значение собаки в мифологических верованиях // Древности. М. Т. 6. Вып. 3. С. 193-210.

Миллер В.Ф. 1877. О лютном звере народных песен // Древности. М. Т. 7. Вып. 1. С. 1-18.

Миллер В.Ф. 1880. Оседлые предания у южных славян // О. Т. 8. Протоколы. С. 48-49.

Миллер В.Ф. 1881. [По поводу одного литовского предания] // Древности. М. Т. 9. Вып. 1. Протоколы. С. 15.

Миллер В.Ф. 1881а. В горах Осетии // Рус. мысль. № 9. С. 55-105.

Миллер В.Ф. 1881б. Осетинские этюды. Ч. 1: (Осетинские тексты) // Уч. зап. Имп. Моск. ун-та. Отдел ист.-филол. Вып. 1. М.

Миллер В.Ф. 1882. Пятый Археологический съезд в Тифлисе // Рус. мысль. № 1. С. 1-20.

Миллер В.Ф. 1882а. Осетинские этюды. Ч. 2 // Уч. зап. Имп. Моск. ун-та. Отдел ист.-филол. Вып. 2. М.

Миллер В.Ф. 1882б. Религиозные верования осетин // Миллер В.Ф. Осетинские этюды. Ч. 2. С. 237-301.

Миллер В.Ф. 1882в. Черты старины в сказаниях и быте осетин // ЖМНП. 1882. Август. С. 191-207.

Миллер В.Ф., Ковалевский М.М. 1884. В Горских обществах Кабарды // ВЕ. № 4. С. 540-588.

Миллер В.Ф. 1884-1885. Сообщение о поездке в Горские общества Кабарды и в Осетию летом 1883 года // Изв. КОИРГО. Тифлис. Т. 8. № 1-2. С. 198-204.

Миллер В.Ф. 1887. Осетинские этюды. Ч. III. Исследования // Уч. зап. Имп. Моск. ун-та. Отдел ист.-филол. Вып. 8. М.

Миллер В.Ф. 1888. Терская область. Археол. экскурсии Всев. Миллера // Материалы по археологии Кавказа: В 14 вып. Под ред. П.С. Уваровой. М. Вып. 1.

Миллер В.Ф. 1888. Граф Алексей Сергеевич Уваров // Изв. ИОЛЕАиЭ. Т. 48. Вып. 2: Труды Этногр. отдела. М. Кн. 8. С. 2-5.

Миллер В.Ф. 1992. Осетинские этюды. Ч. I-III / Северо-Осетинский институт гуманитарных исследований: отв. за вып. С.П. Таболов. Владикавказ, 1992 (репр. воспроизвед. М., 1881-1887) (Учен.филол. Вып. 1, 2, 3).

Миллер В.Ф. 1998. В горах Осетии / Сост., предисл. и коммент. Т.А. Хамицаевой. Владикавказ).

Миллер В.Ф. 2008. Фольклор народов Северного Кавказа. Тексты. Исследования. Сост., вст. ст., комм., библиограф. указ. трудов В.Ф. Миллера А.И. Алиевой. М.: Наука. (Памятники отечественной науки. XX век).

Никольский М.В. 1914. Всеволод Федорович Миллер, как востоковед // Древности. М. Т. 24. С. 256.

Отчет... 1883 – Отчет о состоянии и деятельности Императорского Московского археологического общества с 18 февраля 1881 г. по 12 апреля 1882 г. Прочитан... В.Е. Румянцовым // Древности. М. Т. 9. Вып. 2-3. С. 3-5.

Отчет о состоянии и деятельности Имп. Мос. археол. общества с 14 марта 1886 г. по 27 марта 1887 г. // Древности. М., 1888. Т. 12. Вып. 1. Протоколы. С. 102, 131.

Пятый Археологический съезд, 1883 – Пятый Археологический съезд в Тифлисе: Протоколы Подготовительного комитета // Древности. М. Т. 9. Вып. 2-3. С. 1-104.

Сборник материалов... 1881 – Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. I. Тифлис.

Труды... 1887 – Труды 5-го Археологического съезда в Тифлисе, 1881. М. С. IV-V.

Уваров А.С. 1865. О трудах и ученых занятиях Московского археологического общества в 1865 г. // Древности. М. Т. 2. Протоколы. С. 377.

Уварова П.С. 1887. Предисловие // Труды 5-го Археол. съезда в Тифлисе. 1881. М. С. I.

Церетели Е.Г. 1890. Полное собрание надписей и приписок Гелатского монастыря // Древности. М. Т. 13. Вып. 2. Протоколы. С. 74.

Archiv... 1883-1884 – Archiv für Slavische Philologie / Von V. Jagič. B., 1884. Bd. 7. S. 151; Salemann C. [Рец.] Vsevolod Miller. Osetinskije etjudy. Čast 2. Izledovanija. Moskva. 1881 // Literaturblatt für orientalische Philologie. Leipzig, 1883-1884. T. 1. S. 138-146.

РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ ДАГЕСТАНА

Академик И.Ю. Крачковский писал о двух выдающихся открытиях отечественных востоковедов: открытие «неизвестных раньше арабских диалектов и богатого фольклора в Средней Азии, с одной стороны, и почти неизвестной в науке до последнего времени арабской литературы на Северном Кавказе, с другой стороны. Оба открытия стоят в ряду крупнейших результатов работы наших арабистов за время после Октябрьской революции» (Крачковский. 1960. С. 609).

Выдающийся отечественный востоковед обозначил в своих сочинениях, посвященных арабской литературе на Северном Кавказе, два основополагающих фактора: наличие богатой арабоязычной литературной традиции в Дагестане и создание научной структуры, способной собрать и изучить это богатое художественное наследие.

В 1924 г. в Махачкале был создан Институт национальных культур (в последующем Институт истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР, а ныне Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН), одновременно развернулась работа по выявлению и изучению памятников письменной культуры на восточных языках (арабский, персидский, тюркские) и на языках народов Дагестана (на «аджаме», т.е. с использованием арабской графики). С созданием Рукописного фонда (ныне Фонд восточных рукописей) и сектора (ныне отдел востоковедения) работа по проведению археографических экспедиций приняла систематический характер. Материал этих экспедиций продемонстрировал выдающуюся роль арабской литературы в интеллектуальной жизни Дагестана X – 30-е гг. XX в. и значение многовековых контактов Дагестана и стран арабского мусульманского мира. Этот материал дал возможность утверждать, что Дагестан, хотя и находился на «периферии» исламского мира, выступал в X – начале XX вв., т.е. в течение десяти веков, одним из крупных очагов рукописной книжной культуры, где сформировалась самостоятельная оригинальная литературная традиция. Признание этого положения имеет концептуальное значение. Плодотворные контакты Дагестана и стран Ближнего Востока имели многовековую историю, они отчетливо выявили высокие интеллектуальные возможности малых народов в системе масштабных цивилизаций, обеспечили высокий уровень образования в регионе, знакомство дагестанских ученых и преподавателей медресе и наиболее видными, значительными

сочинениями мусульманского мира (особенно по шафиитскому праву, грамматике арабского языка, суфизму, этике, догматике).

Обнаружено большое число сочинений дагестанских авторов, писавших в X–XX вв. на арабском (в основном), тюркских, персидском, дагестанских языках – это неопровержимое доказательство создания местной, собственно дагестанской литературной традиции. Открытие тысячелетней дагестанской литературы – выдающееся достижение отечественных востоковедов.

В течение XI–XVI вв. в Дагестане возникло большое число медресе, очагов книжного знания, несколько центров (таких как Кумух, Акуша, Ахты, Цудахар, Гапшима, Цахур, Согратль, Эндирей Тпиг, Хунзах, Хучни, Мачада, общество Зерехгеран, Карабудахкент, общество Гидатль, Уркарах, Хуштада, Хнов и др.), в которых было организовано размножение рукописных текстов. Эти центры содействовали формированию и сохранению местной, основанной на арабском языке, литературной традиции.

Неутомимая работа дагестанских востоковедов, прежде всего Отдела востоковедения, дала свои результаты. Было создано хранилище восточных рукописей и дагестанских текстов на арабской графике – одно из самых крупных и ценных на Северном Кавказе (Гамзатов, Саидов, Шихсаидов, 1990. С. 215–233).

В настоящее время осуществляется активная работа по выявлению, спасению, изданию памятников письменной культуры. Долгосрочная программа археографической работы предусматривает фиксацию и сохранение всего рукописного наследия Дагестана, создание Генерального Каталога рукописных коллекций. Создание каталогов всех коллекций (государственные, частные, мечетские) одного региона является беспрецедентным явлением в мировой практике востоковедения. Каталогизация письменных памятников региона (конкретнее: всех арабских книжных коллекций Дагестана) значительно расширит наши представления об интеллектуальном уровне средневекового общества «неарабского» мира, обогатит источниковую базу исследований истории и культуры народов Северного Кавказа (Шихсаидов. 2008. С. 425).

Участие в Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» также предусматривает про-

ведение археографических исследований в районах Дагестана. В частности, выявлены и описаны ещё две важные рукописные коллекции и сборник на арабском языке:

1. Коллекция Хаджжи Ибрагима Урадинского из сел. Урада ныне Шамильского района РД. Урада – одно из древнейших селений Дагестана, оно входило в состав Гидатлинского союза сельских общин, где обнаружены замечательные памятники культуры, самые ранние из которых восходят к V-IV тысячелетиям до н.э.

Хаджжи Ибрагим Урадинский (ум. в 1771 г.) – один из крупнейших ученых Дагестана, блестящий знаток мусульманского права и местных обычаев, правовых норм, грамматики арабского языка, средневековой литературы (логика, догматика, история, хадисы), руководитель урадинского медресе. По всеобщему признанию, он – один из главных организаторов борьбы против полчищ Надир-шаха, воевавшего в середине XVIII в. в Дагестан.

Его отец Хаджжи Мухаммад из Урады также был известным алимом, знатоком мусульманского права и арабской литературы, основателем и руководителем медресе.

Хаджжи Ибрагим получил хорошее образование сначала у своего отца, затем у местных знатоков Дагестана и Ближнего Востока. Автор популярного библиографического справочника о дагестанских ученых X-XX вв. и их сочинениях Назир ад-Дургели (ум. в 1935 г.) писал: «ал-Хаджж Ибрагим – ... учился у известных ученых своего времени, был талантливым ученым и выдающимся факихом. Слава его была широко распространена, дела его пользовались успехом. Шейх факих Мухаммад Али ал-Чухи ал-Авари в своих «Фатава» сказал, что он, т.е. ал-Хаджжи Ибрагим, – один из самых знающих ученых Дагестана.

Он много путешествовал, совершил хаджж и умру, встречался (с многими) выдающимися людьми своего времени, учился у них. Особенно (часто) он встречался в высокочтимой Мекке с почтенным Шейхом Саидом ал-Макки, автором «ал-Фатава», шейхом выдающимся ученым ал-Газзи, шафиитским муфтием в Дамаске и комментатором ал-Бухари, шейхом Абдаллахом ал-Басри и другими. Между ними происходили беседы и дискуссии. Он похоронен в своем селении (Урада) – да будет доволен им Аллах.

Я сказал в хвалу о нем: «Образованный факих. Был наделен всеми достоинствами, давал универсальные, убедительные ответы. Он был неутомимым имамом, муршидом людей. Подлинно, он разъяснял неясные (места) в науках для спрашивающих». (Назир ад-Дургели, 2012. С. 11-12).

Библиотека Хаджжи Ибрагима Урадинского дошла до нас почти в полном объеме – редкий случай в истории дагестанской рукописной книги после усилий воинствующих атеистов в 30-х годах XX в. Потомки ученого во многих поколениях бережно хранили драгоценное наследие, передавая его из поколения в поколение (рис. 1). Ныне перед нами старейшее в Дагестане собрание из числа сохранившихся до наших дней. По числу древних арабских рукописей урадинское хранилище не имеет себе равных в Дагестане, и не только в Дагестане. Оно включает в себя около 150 рукописей в составе более 180 единиц описания. Поражают воображение хронологические рубежи коллекции – от XII в. до второй половины XVIII в. Тематический состав коллекции универсален.

Вся библиотека сформирована только из арабских рукописей. Её состав уникален – мусульманское право, комментарии к Корану, правила чтения Корана, хадисы, суфизм, риторика, грамматика арабского языка, догматика, теория стихосложения, сира – жизнеописание пророка, арифметика, медицина, ритуал и обряды, оккультные науки. Теперь понятно, почему Хаджжи Ибрагима Урадинского называли одним из самых образованных людей своего времени (Шихсаидов, 2004.).

Старейшая рукопись – сира (биография) пророка Мухаммада, переписанная на Ближнем Востоке 17 мухарраме 679/19 мая 1280 г. (рис. 2). Переписчик – Мухаммад ... сын Мухаммада ... ал-Фариси. Текст на плотной кремовой восточной бумаге, черными чернилами (названия разделов выполнены красными чернилами, почерк – старый насх, переплет – старый, темного цвета, с тиснением (Шихсаидов, 2014. С. 27).

Другой древний юридический трактат («Мухаррар») принадлежит перу Абу-л-Касима Абдалкарима ар-Рафии ал-Казвини, выдающегося правоведа, одного из самых авторитетных ученых своего времени. Его сочинение носит название «ал-Мухаррар фи фуру аш-Шафиийа» по основам мусульманского права (рис. 3).

Среди книг коллекции:

Широко распространены в мусульманском мире юридическое сочинение (шафиитский мазхаб): сочинение знаменитого арабского хадисоведа и биографа Абу Закарии Йахии ан-Навави (ум. 1278 г.) под названием «Минхадж ат-талибин» («Путь ищущих»), переписанное в 871/1467 г.; сочинение известного египетского законоведа Ибн Хаджара (ум. 1565 г.) под названием «Тухфат ал-мухтадж шарх ал-Минхадж» («Подарок нуждающимся – комментарии на ал-Минхадж»). Из названия видно, что это – комментарий на упомянутое

сочинение ан-Навави. На это сочинение написал свой, пользующийся огромной популярностью шарх-комментарий, другой известный египетский правовед и комментатор Корана Джалал ад-дин ал-Махалли (ум. в 1459 г.) под названием «Шарх Мин-хадж ат-талибин» (Шихсаидов, Тагирова, Гаджиева. 2001. С. 157-158). Много комментариев было и на сочинение по основам мусульманского права «Джам ал-джавами» Абдалваххаба ас-Субки (ум. в 1369 г.).

В числе грамматических сочинений коллекции – популярное в мусульманских медресе (в том числе и в Дагестане) учебное пособие выдающегося ученого, поэта, суфия Абдурахмана Джами (ум. в 1492 г.). Он представляет собой упрощенный, «адаптированный» вариант трактата по основам синтаксиса арабского языка, написанного ещё в XIII в. египетским ученым Ибн ал-Хаджибом (ум. в 1249 г.). На полях одного из списков Абдурахмана имеется большое число выписок – цитат из грамматического учебника дагестанского ученого Мухаммада ал-Кудуки (1652-1717), основателя и руководителя медресе в селении Кудутль (ныне Гергемильского района Республики Дагестан), где учились муталимы из многих районов Дагестана, из Азербайджана, Поволжья.

Здесь же несколько комментариев к Корану (в частности, «Тафсир» Джалал ад-дина ас-Суйути, писавшего в конце XV в.) и «Анвар» ал-Байдави (ум. в 1286 г.), известного комментатора Корана, правоведа и историка; хадисы представлены в конце к XV в. знаменитым «Хисн ал-хасин» («Укрепленная крепость» ал-Джазари (ум. в 1428 г.) в «медресе Мусы ... ат-Тиди, т.е. из селения Тидиб, Шамильского района РД) в 1722 г.; «Масабих ад-дуджа» – «Светильники в темноте» ал-Багави, переписанное в селении Игали (ныне Гумбетовского района РД). Кстати, на последнее сочинение создал комментарий в четырех томах известный дагестанский ученый Шабан из Ободы в 1656 г.

Сочинения по суфизму, этике, догматике, логике, поэтическому творчеству также представлены старыми экземплярами, переписанными в основном местными, дагестанскими переписчиками.

Представляют большой интерес многочисленные владельческие и вакфные записи, сведения о переписчиках, частная и официальная переписка, несколько арабских текстов, зафиксированных на «аджаме» (рис. 4), генеалогические записи о представителях рода Хаджжи Ибрагима Урадинского, тексты духовного завещания, налоговых обязательств. Почти все они остались вне внимания исследователя – они требуют отдельного, глубокого, самостоятельного изучения.

В числе многочисленных книжных коллекций Дагестана Урадинская библиотека занимает особое место. Эта самая ранняя рукописная коллекция Дагестана, сохранившаяся в полном объеме. Книжные собрания предыдущих или современных Урадинскому представителей дагестанской духовной интеллигенции – Шабана из сел. Обода, Мухаммада из Кудутля, Дамадана из Мегеба, Мухаммада из Убры, Дауда из Усиши – дошли до нас в ущербном виде, или дошли в единичных экземплярах и не могут создать общего представления о рукописном наследии первых дагестанских энциклопедистов.

Коллекция Хаджжи Ибрагима из Урады, сохранившаяся благодаря заботам его потомков, пережившая 20-30-е годы XX в., – уникальное явление местной дагестанской (вернее, общedaгестанской) культурной традиции.

Фактически это прообраз, общий облик частных библиотек, существовавших до Хаджжи Ибрагима и после него, вплоть до середины XIX в. Уникальность её заключается в том, что она сохранила тот объем знаний, ту тематическую структуру, тот состав учебной и научной литературы и те пути, язык и особенности формирования, что были свойственны, как правило, другим рукописным собраниям Дагестана.

Рукописная коллекция сел. Батлук Шамильского района РД.

Эта коллекция сложилась, судя по данным о переписке рукописей, в XVIII-XIX вв., большинство рукописей переписано местными катибами в указанное время в местных медресе под руководством местных учителей арабской литературы. Очевидно, это батлукская коллекция в прошлом была более значительной, сложилась ранее XVIII в., содержала в себе старые рукописные книги, во всяком случае 3-4 из них относятся к XIV-XV вв.

Состав собрания – обычный для Дагестана XVIII-XIX вв., оно сформировано из известных, широко распространенных и популярных ученых пособий по грамматике арабского языка, мусульманскому праву, логике, суфизму, поэтическому творчеству. Старые же экземпляры относятся преимущественно к лексикографии и хадисам, поступили из разных стран Ближнего Востока, они выполнены на плотной красивой кремовой восточной (скорее – самаркандской) бумаге. Местная, дагестанская бумага, производимая в XVII-XVIII вв. встречается редко. Для XIX в. и начала XX в. характерна «фабричная» бумага. Почерк – везде насх («дагестанский насх»), за исключением старых текстов, поступивших из стран Ближнего Востока («старый насх»). Чернила – обычно черные, блестящие, надчеркивания, как правило,

даются красными чернилами. Переплет – характерный для XIX в. (темно-коричневый переплет) с рядом тисненых линий по переплету, с центральным полем круглой или ромбовидной формы при растительном орнаменте.

Батлукская библиотека до сих пор не изучалась. В описании Батлукской мечетской библиотеки принимали участие: А.Р. Наврузов, З.Ш. Закарияев, Д.М. Маламагомедов.

Краткий тематический обзор Батлукского собрания начнем с описания лексикографических трудов арабо-мусульманского мира. Среди старых текстов чаще всего встречаются в Дагестане рукописи знаменитого толкового словаря арабского языка «Тадж ал-луга ва Сихах ал-арабийя» («Корона языка и достоверная книга по арабскому»), широко известный под сокращенным названием «ас-Сихах» Абу Насра ибн Хаммада ал-Фараби ал-Джаухари (ум. между 393 / 1002-02 и 398/1007 гг. В словаре собрано 40 тыс. слов и использован новый, прогрессивный по сравнению с предыдущими словарями, метод расположения материала, когда все корни были распределены по 28 главам в соответствии с обычным порядком букв в алфавитном ориентировании на конечный согласный (Халидов. 1885. С. 196; Шихсаидов, Тагирова, Гаджиева, 2001. С. 196). В Дагестане, в Фонде восточных рукописей Института истории, археологии Дагестанского научного центра РАН, хранится один из самых древних в мире списков знаменитого толкового словаря (конец 510/1117 г. и 519/1125 г.), сверенного с оригиналом (Каталог – 1977. С. 45). В некоторых дагестанских селениях местные переписчики – катибы – «тиражировали» сочинения ал-Джаухари в XVI-XVII вв. Батлукский «ас-Сихах» (26x16,5, 291 л.) написан на плотной бумаге кремового цвета, очевидно, за пределами Дагестана. Палеографически он относится приблизительно к XV в., охватывает часть словаря от буквы (лям) до конца алфавита. Здесь же находится другой экземпляр, первый и третий части словаря, относящиеся приблизительно к XIV в. Текст на 258 листах, формат 25x15,5 см.

Хадисы представлены в коллекции одним экземпляром. Это комментарий на сочинение шафиитского имама Абу Мухаммада ал-Хусайна ал-Багави (ум. в 511/1117 г.) под названием «Мафатих хашийа Масабах». Книга не имеет начальных листов, имя автора и переписчика не указаны, но имеется время переписки – 817/141-15 г.

В коллекции – большое число грамматических сочинений арабских авторов. Среди них – грамматические трактаты:

1. «Унмузадж фи-н-нахв» («Образец» синтаксиса) – знаменитого богослова, законоведа и фило-

лога, основоположника арабской грамматической школы Махмуда аз-Замахшари (ум. в 1144 г.). Это старейший грамматический трактат коллекции, он переписан в 1129/1717 г. Хасаном сыном Мухаммада в селении М . хи(?).

2. Сочинение Сададдина Масуда ат-Тафтазани (ум. в 1390 г.), переписанное в 1142/1730 г. Мухаммадом, сыном Абдаллаха в медресе достойного ученого Мухаммада сына Джамала в сел. Тухи (т.е. в селении Глох – современного Ботлихского района Республики Дагестан). Имеются владельческие записи. «Из книг бедняги Абраллаха. Затем она перешла к Мухаммаду сына Умара Батлукского».

3. Комментарий на сочинение Махмуда аз-Замахшари (ум. в 1144 г.), называемый «ал-Унмузадж» («Образец» синтаксиса), написанный азербайджанским ученым Сададдином Садаллахом ал-Бардаи (середина XIV – начало XV в.) – с владельческими записями и сообщением о чтении рукописи в начале XX в. Владелец рукописи был кадий Батлуха.

4. Сочинение знаменитого ученого суфия, поэта Абдурахмана Джамии (ум. в 1492 г.) под названием «ал-Фаваид ад-Дийаййа» – учебный трактат по синтаксису арабского языка, в книгу вложен листок с текстом из сочинения знаменитого дагестанского ученого Мухаммада ал-Кудуки (ум. в 1717 г.).

5. Сборник рукописей из сочинений по грамматике (лексология) арабского языка, с комментарием ал-Чарпарди (ум. в 1345 г.) с записью о переписи в сел. Ассаб в XVIII в.

6. Среди переписчиков часто встречается имя Йусуфа, сына Умара из Батлуха (1809, 1813 гг.) «при ученом Салмане в мечети сел. Хушдад (сел. Хуштада ныне Цумадинского района Республики Дагестан)». Им же переписано сочинение дагестанского автора Манилава (XVIII в.) под названием «Истиара» («Метафоры»).

После грамматических сочинений по количеству рукописей занимают сочинения по мусульманскому праву:

1) Сочинения известного дагестанского автора, знатока мусульманского права Халила ал-Карахи (или Халил из Тляроша общества Карах) – субкомментарий на грамматический трактат знаменитого ученого Ибн Хаджара (XVI в.).

Это сочинение местного автора XIX в. переписано Хаджжи Абдаррахманом из селения Заната, (ныне Шамильского района Республики Дагестан)

2) Сочинение Ибн Хаджара «Тухфат ал-Мухтадж», или «Тухфат ал-мухтадж би шарх ал-Минхадж» – комментарии сочинения упомянутого выше известного законоведа XIII в. ан-Навави «Минхадж ат-талибин».

Книга скопирована в XIX в. (дата не указана). Особый интерес представляет запись на одной из страниц этой рукописи и перечень книг, переданных в вакф (возможно, в распоряжение мечети). Ниже даем текст этого важного сообщения: «16 муххаррама 1327/ 9 февраля 1909 г. дети Ахам-дибира сына Мухаммада из Нижнего Батлуха следующие книги: упомянутый выше Ибн Хаджар – раздел «Продажа»; «Минхадж ал-абидин»; большая сборная рукопись; комментарий Ибрагима; малый сборник; «Шарх ат-Тасриф»; «Ибн Касим»; «Фараид» – эти книги находятся в руках Хаджжи Саада. «Махалли ал-ала» («Верхний Махалли»); «Талим ал-мутааллим» в одном томе; «Гидайа ал-хидайа»; «Хисн ал-хасин»; книга стихов буквами алфавита», вместе с «Касыдой ал-Бурда» – эти книги на руках Хамзатил Мухаммада; Махалли нижний»; «Джами ас-сагир»; «Хисн ал-хасин»; Изхар, «Хашийат ал-джанай», «Чарпарди»; «Джавалик»; «Нуман» – это книги кади Исхака. [Все это передается в вакф] кади Исхаку, Умарил Мухаммаду, муэдзину Саду, затем детям детей упомянутого Умаха, затем – их потомкам. Свидетелями Мухамма сын Будуна младшего, Хаджжи Мухамма, сын Чеэра Мухамма, сын Кади Исмаилал Мухаммада. Кто нарушает это, то на нем грех».

Этот вакф, т.е. передача имущества на благотворительные цели, составлен по обычному, распространенному в Дагестане трафарету, но представляет, тем не менее, значительный интерес: он документирует один из путей сохранения коллекции в полном составе, а также круг интересов хозяина коллекции. Все названные в тексте вакфодателя книги были популярны в Дагестане и тематически разнообразны (грамматические и правовые трактаты, суфизм, этика, догматика, поэзия, даже пропедевтика – введение в науку, или система наук).

Как известно, в XVII-XX вв. большое распространение получили в Дагестане трактаты по логике, Батлукская коллекция – не исключение.

Здесь несколько экземпляров «Исагуджи» – трактат по логике (вернее – введение в логику) философа и астронома Асираддина ал-Абхари (ум. в 663/1265 г.) представляет собой арабскую версию «Эйсагоге» греческого автора Порфирия (VI в.). Списки относятся к XVIII-XIX вв. К данному трактату имеется субкомментарий под названием «Хашийат шарх Исагуджи», переписанного в 1071/1660-61 г. В коллекции имеется по одному экземпляру «Идах ал-мубхам» («Разъяснение неясного») египетского ученого Ахмада Даманхури (ум. в 1778 г.); «Хашийат Нуман» Нумана Ширвани. Сохранились имена нескольких переписчиков XIX в. (Балачилав, сын Нурмухаммада Батлукский; Йунус

сын Абдаллаха ал-Макухи (из сел. Могох, ныне Шамильского района (или Гергебильского района); Мухаммад, сын Ахмада Батлукский.

В числе названных сочинений в коллекции Батлукской мечети сохранилось несколько тафсиров – комментариев к Корану (XVIII-XIX вв.) и этико-догматическому трактату «Минхадж ал-абидин» Абу Хаида Мухаммада ал-Газали (умер в 1111 г.), переписанный ориентировочно в XVII в.

Батлукская коллекция дает нам представление о продолжающемся в XIX в. интересе к сочинениям арабских авторов Ближнего Востока, писавших в XII-XVI вв. В конце XVII-XIX вв. сел. Батлук становится одним из центров размножения рукописей (особенно учебных трактатов) в Дагестане.

В коллекции известного дагестанского востоковеда М.-С. Саидова хранится сборная рукопись, включающая ряд ценных дагестанских текстов (фотокопия), озаглавленная составителем или владельцем книги «Маджму курудийа» («Кородинский сборник»). Составлен он в 1354/1935-36 гг., переписчик – Шихабдин, сын Хаммата ал-Хунуки (из сел. Гонох, ныне Хунзахского района). Имеется отпечаток печати – собственность Мухаммадсайида ал-Авари.

Собрание включает следующие сочинения дагестанского происхождения (Шихсаидов, Омаров. 2005. С.189-193):

1. Тарих ислам Дагистан («История ислама в Дагестане»). Текст переписан в 1281/1884-85.

2. Тарих ислам Дагистан, отрывок из дагестанского исторического сочинения «Тарих Дагестан». Это копия 1203/1788-801 г., снятая в свою очередь «с текста Ибрагима», «исправленного Иса ал-Куруди».

3. Генеалогия Кайтагского правителя, уцмийа Рустам-хана.

4. Завещание Андуника, сына Ибрагима, амира вилайата Хайдак». Это один из вариантов «Завещания Андуника», правителя (нуцал) Аварии, записанного с 1485 в сел. Анди (ныне Ботлихского района Республики Дагестан. Данный текст – это «хайдакская» редакция завещания. Здесь же ценные дополнения, отсутствующие в остальных копиях.

5. Различные записи о событиях в Дагестане в XIII, XV, XVII-XVIII вв.

6. «Байан фи авлад Мухаммадхан ал-Гумуки». Рассказ посвящен политическим событиям в Газикумухском шамхальстве в XVII в. Время переписки – середина XIX в.

7. Рассказ о «выходе предков Нахчуван», о политических событиях на Северо-Восточном Кавказе. Здесь привлечено несколько исторических преданий.

8. «Тарих» – о событиях второй половины XVII – середины XVIII в. в Кумухе, о деятельности Газикумухского хана Сурхай-хана Первого («Безрукого»).

9. «Тарих Гумик» – отрывок из истории Газикумухских правителей второй половины XVI – первой половины XIX в. К этому тексту добавлены сведения из других хроник, перекликающиеся с содержанием основного текста.

10. «Дербенд-наме» – неизвестный список известной дагестанской исторической хроники, освещающей события в Дагестане в V-X вв.

Теперь переходим к сборнику, опубликованному под названием «Рукопись на арабском языке из Дагестана» (Шихсаидов, Тагирова, 2013. С. 169-198).

1. Хроника событий XVII-XIX вв., родословие князей Турловых.

2. «Тарих Дагестан» – одна из самых распространенных и противоречивых исторических хроник, состоящая из четырех разновременных текстов, объединенных общей идеей: язычество в Аварии, источники доходов правителей – нуцалов; исламизация дагестанских обществ, в частности, Аварии, Южного Дагестана, Кумуха, Кайтага; шамхалы-правители Кумуха, их генеалогия и налоговая политика; краткое сообщение известного арабского историка второй половины IX – первой четверти X в. ат-Табари о деятельности халифа Умара.

3. Завещание Андуник-нуцала – ценный источник по истории Дагестана XV в. Текст завещания требует серьезного внимания, несмотря на определенные успехи в его изучении.

«Сказание об основании селения Аргвани». В тексте нет такого названия, оно дано исследователями или переписчиками.

Отличительная особенность многих дагестанских исторических сочинений заключается в том, что они представляют собой сборники, свод отдельных текстов, синхронных или почти синхронных, а иногда отдаленных друг от друга столетиями. Своды эти, оформившись к определенному хронологическому рубежу, в последующем подвергались изменениям, передавались как цельное историческое сочинение, и в таком нерасчлененном виде воспринимались переписчиками и читателями. Так, дагестанская историческая хроника «Тарих Дагестан» («История Дагестана») представляет собой свод разновременных (в пределах X-XV вв.) самостоятельных исторических рассказов, объединенных одной идеей – обосновать «законность» власти местных феодальных правителей, прежде всего газикумухского шамхала.

В истории дагестанской книжной культуры нередко наблюдается также явление, хорошо изучен-

ное на материале русской книги. «В средневековой письменности, – писал Д.С. Лихачев, – редко можно было найти произведения одного автора, или одно произведение, выделенное в отдельную самостоятельную книгу ... Средневековая русская книга ... была чаще всего сборником» (Повесть. 1996. С. 390). Сборники различных исторических текстов, включавших одновременно собственно своды, представлены и в Дагестане. Положение это можно подтвердить на многих примерах, но мы ограничимся лишь двумя.

1. Хранящаяся в РФ ИИАЭ (Ф.16. Оп.1. Д.493, инв. № 2646) рукопись включает следующие сочинения: а) дагестанская историческая хроника «Тарих Дагестан»; б) «Завещание Андуник-нуцала» – ценный источник по истории Дагестана XV в., самый ранний из дошедших до нас актов политической ориентации, написанный от имени «Андуник-нуцала, правителя дагестанского владения Авария; в «Дербенд-наме» – дагестанская историческая хроника о событиях V-X вв., составленная в конце XVI – начале XVII в.); г) хроникальные записи; д) родословная Мухаммада ал-Гумуки; е) перечень податей газикумухскому шамхалу и его наследнику – Крым-шамхалу (с добавлением сведений, отсутствующих в других списках – о податях, вносимых гидатлинскими селениями; ж) «История выхода предков Нахчави» (так называемая «История селения Аргвани») (Шихсаидов, 2013. С. 170).

Сравнение трех сборников показало, что они сложились в основном в XIX в., при этом дошли отдельные части хроник. Внешнее впечатление – хроники сведены в единый том схоластически, без вмешательства в текст. В некоторых случаях это имеет место, но в основном составитель «работает» по определенной программе, проводя определяющую идею, которой должны быть подчинены отдельные, самостоятельные тексты.

2. Имеется набор отдельных повествований, которые обязательно вводятся в сборник, иногда в отдельный конвюлет («История ислама», «Завещание Андуника», «Тарих Дагестан»).

ЛИТЕРАТУРА

Саидов М.-С., Шихсаидов А.Р., Гамзатов Г.Г. 1990. Арабо-мусульманская литературная традиция в Дагестане // Гамзатов Г.Г. Дагестан: Историко-литературный процесс. Махачкала.

Каталог арабских рукописей Института, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР. 1977. Под редакцией М.-С. Саидова. М.

Крачковский И.Ю. 1960. Арабская литература на Северном Кавказе // Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Т. VI. М.-Л.

Назир из Дургели Услава умов в биографиях дагестанских ученых. 2012. Перевод с арабского, комментарии, факсимильное издание, указатели и библиография подготовлены А.Р. Шихсаидовым, М. Кемпером, А.К. Бустановым, М.

Повесть временных лет. 1960. Подготовка текста, перевод, статьи и комментарии Д.С. Лихачева. Издание второе, СПб.

Халидов А.Б. 1855. Арабская рукописная традиция и рукописная традиция. М.

Шихсаидов А.Р. 2003. Важный этап изучения рукописного наследия народов Дагестана // Шихсаидов А.Р. Очерки истории, источниковедения, археографии средневекового Дагестана, Махачкала.

Шихсаидов А.Р. 2014. Востоковедные исследования в Дагестане // Вестник Института истории, археологии и этнографии. № 4.

Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. 2001. Арабская рукописная книга в Дагестане, Махачкала.

Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А. 2013. Рукопись на арабском языке из Дагестана // Исторический архив, № 2.

Шихсаидов А.Р., Омаров Х.А. 2005. Каталог арабских рукописей. Коллекция М.-С. Саидова. Махачкала.

Маламагомедов Д.М. (ИИАЭ ДНЦ РАН)

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ НА АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ В АРАБОГРАФИЧЕСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Со второй половины XIX века для дагестанских языков функционировали (правда, не в одинаковой степени) два вида письма: а) арабографический («аджам»); б) комбинированный, созданный на основе кириллицы.

Одним из знаковых явлений в истории духовной культуры народов Дагестана является формирование на основе арабской графики местного оригинального письма под названием «аджам». История ее зарождения и становления в Дагестане освещена в некоторых работах сотрудников ИИАЭ ДНЦ РАН (Саидов. 1948. С. 136-142; *Он же*. 1979. С. 121-133; Гамзатов. 1978; Исаев А.А. 1970. С. 173-232; *Он же*. 1972. С. 68-93). По свидетельству, дошедшие до нас арабографические письменные памятники прошлого, в Дагестане еще начиная с XIII-XIV веков, делались попытки по приспособлению арабского алфавита к фонетическим особенностям дагестанских языков. Конечно же, однозначно говорить о появлении письменности на языках народов Дагестана в этот период нельзя. Это была всего лишь попытка изображения определенных звуков дагестанских языков с помощью арабской графики. В этом нововведении дагестанские авторы брали передовой пример с персидского языка, который к этому времени был наиболее развит в этом отношении. Данный процесс в духовной жизни народов Дагестана все более усиливается в последующих столетиях.

Несмотря на несовершенство «аджамской» системы письма, постепенное ее формирование и развитие способствовало созданию на языках народов Дагестана мощного, оригинального по своему содержанию культурного пласта, представляющего

собой совокупность произведений художественной литературы, исторических хроник, медицинских справочников, дву- и многоязычных словарей, различных календарей, учебных пособий и т.д., а также впоследствии становлению и зарождению книгоиздательского дела и периодической печати. Кроме того, наиболее интересные, информативные по своему содержанию тексты – исторические хроники, художественные произведения – были переведены с арабского, персидского, азербайджанского, татарского и других языков на языки народов Дагестана и изданы на «аджаме».

До середины XIX века в Дагестане не было типографий, и рукописи тиражировались путем ручного переписывания. Ручное переписывание книг шло медленно и носило штучный характер. Не всякий житель гор мог позволить себе профессиональное переписывание книги из-за его дороговизны, что, естественно, имело негативные последствия, тормозило и замедляло распространение произведений восточных и дагестанских авторов среди горцев. Кроме того, не все переписанное в этот период дошло до нас. Многие из того уникального было уничтожено в 30-е годы XX века, так как все написанное справа-налево считалось враждебным и антигосударственным.

Тем не менее, оставшееся рукописное наследие народов Дагестана на сегодняшний день в основном сосредоточено в Фонде восточных Рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН. Кроме того, в результате ежегодных археографических экспедиций обнаружено и зафиксировано более 800 частных и мечетских коллекций. И это еще не предел, каждый новый выезд в горные районы Дагестана – это все новые и новые

коллекции, причем зафиксированы рукописи XVI-XVII веков. По признанию известных дагестанских ученых-исследователей арабографической духовной литературы, рукописное наследие «охватывает хронологически около тысячи лет и отличается исключительным разнообразием» (Гамзатов, Саидов, Шихсаидов, 1982. С. 204).

В изучении истории и культуры народов Дагестана, от раннего средневековья до первой четверти XX в. включительно, огромную роль играют восточные источники, прежде всего нарративные тексты и документальный материал в основном на арабском языке, а также на тюркском, персидском и дагестанских языках. На сегодняшний день, когда стоит вопрос о возрождении родных языков, все более ярко обрисовывается роль местных, дагестанских источников, ибо в них содержится огромный пласт фонетической составляющей дагестанских языков, в частности, аварского языка.

Изданные ранее тексты исторических хроник («Дербенд-наме», «История Ширвана и Дербенда», «Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи», «Гюлистан-Ирам» А.-К.Бакиханова, «Асари Дагестан» Хасана Алкадари и др.) (Саидов, Шихсаидов, ВИИД; Минорский, 1963; Крачковский, 1960. Т.6; Бакиханов, 1970; Он же. 1926; Алкадари, 1929) на арабском языке свидетельствуют об огромной роли исторических хроник – в частности, названных крупных исторических полотен – в духовной жизни дагестанского общества. Академик И.Ю. Крачковский писал, что «... арабская литература на Кавказе приобрела общее и широкое значение – не только исторического источника, не только литературоведческого материала, но и живого человеческого документа, настоятельно требующего к себе внимания современности» (Крачковский, 1960. Т.6)

Несмотря на значительную работу российских, в том числе дагестанских, ученых по исследованию памятников арабографической письменной культуры народов Дагестана, по изданию новых текстов или списков ранее известных сочинений, задачей первостепенной важности остается вопрос выявления, научного описания и введения в научный оборот исторических текстов и актов материала, сохранившихся до наших дней и написанных на арабографической основе.

За последние 10 лет в Отделе востоковедения Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН продолжается работа по выявлению, собиранию и археографической обработке и изданию арабских и арабографических нарративных источников на языках народов Дагестана. Опубликован «Каталог рукописей и фрагментарных записей на языках народов Даге-

стана, хранящихся в Рукописном фонде ДНЦ РАН» (Исаев, Маламагомедов, Магдиев, Оразаев, 2008. 204 С.). Изданы и издаются основанные на арабских, тюркских, персидских и местных источниках сборники статей и материалов. Особо хочется отметить пятиязычный сборник «Дербент намэ на языках народов Дагестана», посвященный юбилею одного из древнейших городов России – Дербент (Абдулаев, Исаев, Маламагомедов, Оразаев, 2012. 408 С.).

Проект «Исторические сочинения на аварском языке в арабографической письменной традиции Дагестана» (2012-2014) был ориентирован на изучение одного из важнейших факторов возрождения и сохранения культурного наследия аварцев – локализация, выявление, спасение и издание исторических сочинений, созданных в арабографической письменной традиции Дагестана. В первый очередь проект предусматривал поисковую работу с дальнейшим описанием фиксированием сочинений, транслитерация на современный аварский язык, подготовка текстов сочинений для издания в виде отдельной монографии.

Проведенная работа по проекту показала, что дагестанским исследователям истории и духовной культуры предстоит реализовать долгосрочную программу по выявлению и спасению памятников письменного наследия на аварском языке, написанных в арабографической письменной традиции народов Дагестана, созданных в течение трех последних столетий.

Срочные меры по изучению и спасению памятников арабографической письменной культуры предопределены тем обстоятельством, что Дагестан по существу является единственной территорией в мире, где сосредоточено в таком массовом количестве столь богатое рукописное наследие, еще до конца не изученное и не зафиксированное до настоящего времени. На сегодняшний день существует угроза потери этого богатого наследия. Участились случаи вывоза рукописей за пределы России, и они принимают угрожающие размеры.

В духовной культуре народов дореволюционного Дагестана довольно значительное место занимают исторические хроники, воспоминания, родословные хроники, своды законов, хронографы. Выросшие на местной почве и посвященные истории Дагестана в целом или отдельным населенным пунктам, локальным историческим событиям, эти письменные памятники заложили основу процесса зарождения традиционной исторической науки в Дагестане.

Записи текстов арабографических сочинений на аварском языке в абсолютном большинстве слу-

чаев сделаны на отдельных страницах, а также на полях и между строк арабоязычных рукописей. Подобная работа требует очень внимательного просмотра и тщательной проверки всех страниц каждой арабоязычной рукописи. Такая поисковая работа осложняется еще и тем, что почти все рукописи не имеют пагинацию, то есть страницы не нумерованы. Относительно редко можно встретить рукописи, целиком состоящие из текстов на аварском языке.

Одновременно с поисковой работой велась и научная работа по каталогизации (описанию) выявленных текстов сочинений в арабографической традиции на аварском языке.

Выявление, фиксация и изучение памятников культуры в арабографической письменной традиции Дагестана как национального достояния на сегодняшний день становится важнейшей и актуальной задачей.

За время работы по проекту его руководителем в Фонде восточных рукописей ФГБУН ИИАЭ ДНЦ РАН, в частных коллекциях жителей г. Махачкала и в ряде горных районов Дагестана (Унцукульский, Хунзахский и Шамильский, Чародинский) была проделана большая поисковая работа на предмет выявления, фиксации и описания арабографических сочинений на аварском языке. В ходе поисковой работы были выявлены неизвестные на сегодняшний день исторической науке уникальные сочинения на аварском языке: «Тарих Дагестан», «Дербент наме», «Тарих Аргвани», «Хунзахские предания о Хаджи-Мурате со слов его престарелого сына Гулла и внука Казами» и др. Сочинениям в первую очередь дается археографическая характеристика, т.е. описание. Археографическая характеристика (описание) производится по специальной схеме, состоящей из 20 пунктов и утвержденной в Отделе востоковедения ФГБУН ИИАЭ ДНЦ РАН для описания рукописей на языках народов Дагестана. По согласию владельца коллекции производился оцифровка, фото- и ксерокопия.

I. «Тарих Дагестан»

«Тарих Дагестан» относится к числу наиболее ценных и сложных по своему составу и содержанию исторических сочинений, освещающих историю Дагестана X-XIV вв. Впервые в научный оборот сочинение было введено в 1851 М.А. Казимбеком в качестве приложения к «Дербент наме» на английском языке с обширными комментариями (Mirza A. Kazem-Beg, 1851).

Русский перевод «Тарих Дагестан» впервые был издан П.К. Усларом через 20 лет после публикации М.А. Казимбека. П.К. Услар издал текст со-

чинения, сохранив комментарии М.А. Казимбека, а также частично дополнил их новыми комментариями. В дальнейшем появилось еще много комментированных переводов сочинения. На сегодняшний день известны более 80 списков сочинения на арабском языке. До нашего исследования не было известно о существовании данного сочинения на аварском языке. Благодаря поисковой работе по проекту нам удалось обнаружить три списка арабографических сочинений на аварском языке.

Первый список хранится в коллекции жителя г. Махачкала Муртазалиева Ахмада. Он был передан покойному отцу Ахмада Муртазалиева жителем сел. Заната, Кахибского (ныне Шамильского района) Магомедом Ахмаевым, который в свою очередь обнаружил и переписал его с рукописи ученого-арабиста Мухума Кодоч из сел. Заната вышеуказанного района. Формат – обычная ученическая тетрадь. Объем – 12 листов. Текст написан синими чернилами почерком дагестанский насх. Текст полностью огласован и читается легко. К большому сожалению, нам не удалось сделать цифровую копию данного списка. Рукопись сочинения хранится в личной коллекции Ахмада Муртазалиева. Текст сочинения написан на хунзахском (или центральном) диалекте северного наречия аварского языка с некоторыми примесями батлухского диалекта. Батлухский диалект является типичным переходным диалектом между северным и южным наречием аварского языка и обладает чертами, свойственными южным диалектам, и особенностями, присущими хунзахскому диалекту северного наречия.

Второй список нами был обнаружен, благодаря индивидуальному выезду в Хунзахский район, в коллекции Дибирова Магомеда, жителя сел. Тануси Хунзахского района Р.Д. Коллекция принадлежала отцу Дибирова Магомеда Насруддину, который скончался в 1997 году. Текст сочинения написан на обычной ученической тетради в клетку. Помимо списка нашего сочинения в тетради также имеются разные молитвы, изречения и стихи религиозного содержания. Объем рукописи 15 страниц. Текст переписан большими буквами почерком насх. В конце сочинения имеется запись следующего содержания: «Данная рукопись переписана рукою Насруддина сына Дибирова 5 февраля 1988 года с рукописи ученого Кебедасул Мухаммада из Тануси».

В сочинении представлен свод следующих четырех самостоятельных текстов:

а. Язычество в Аварии и источники доходов аварских правителей – нуцалов.

б. Исламизация дагестанских обществ, в частности, Южного Дагестана, Кумуха, Кайтага, Аварии.

в. Шамхалы, их генеалогия и налоговая политика.

г. Краткое сообщение ат-Табари о деятельности халифа Омара.

Повествование охватывает период в несколько веков – от первых шагов исламизации горных районов Дагестана до XIV в.

Рукопись сочинения хранится в библиотеке Магомеда Дибирова жителя с. Тануси, Хунзахский район РД. (Фото 1, 2).

Третий список сочинения хранится в коллекции центральной мечети города Буйнакска. Автором списка является известный дагестанский ученый, филолог и общественный деятель Абдулатип Шамхалов. По структуре и содержанию текст отличается от других списков. Дело в том, что автор и переписчик Абдулатип Шамхалов проделал определенную работу над текстом и переложил ее на свой манер. Из контекста не совсем понятно, где оригинал текста, а где художественный вымысел. Также в сочинении не указывается, где и у кого хранится оригинал данного списка. Транслитерированный на современный аварский язык текст сочинения издан в ежеквартальном журнале «Истина» на аварском языке научным сотрудником Института ЯЛИ им. Г. Цадаса Шанисат Гаджаловой в 2012 году.

После выхода в свет текста нами была предпринята попытка сделать цифровую копию сочинения, но, к сожалению, в результате реконструкционных работ в здании мечети список был утерян. Также не удалось дать археографическую характеристику (описать) рукописи. Приходится довольствоваться ссылкой на изданный текст.

При сопоставлении тексты двух первых списков сочинения отличаются только по манере изложения фактического материала, а общий смысл, включая действующих лиц, местной топонимики и микропонимики – идентичен. Что же касается третьего списка, то после литературной редакции Абдулатипа Шамхалова он потерял свою оригинальность и практически является художественно переоформленным списком сочинения «Тарих Дагестан». Списки двух первых сочинений в транслитерации на аварский язык (кириллицу) опубликованы в ежеквартальном литературном журнале «Истина» на аварском языке под названием «Хъвай-хъвагIаял – арал гIасрабазул нугIзал» («Письмена – свидетели прошлых столетий») (Маламагомедов, Муртазалиев, 2010. С. 33-38).

II. «Дербент-наме» (История Дербента)

Одним из интересных списков из числа Дагестанских исторических сочинений является «Дербент наме». Исследуемый аварский список сочи-

нения хранится в коллекции жителя г. Махачкала Нурмагомедова М.Г.

Сочинение зафиксировано в составе сборной рукописи. Рукопись написана черными чернилами, карандашом, почерком насх на листах белой фабричной российской бумаги рукою Абдуррахмана-хаджи, сына Думалав из сел. Заната (село Заната находится в составе нынешнего муниципального образования Шамильский район РД), по колофону «в подарок потомку курайшитов» Аликлычу Чупанову (последний служил в качестве царского наиба над селениями Аварского округа, в конце 70-х и в 80-х гг. XIX века. После назначен и начальником участка). Дата перевода или переписки не упомянута. Опираясь на некоторые сведения из биографии автора, можно предположить, что сочинение написано во второй половине XIX века. Формат 17см x 11см. С 1 по 35 страницы сборной рукописи – это дословный перевод с арабского на аварский язык хроники «Дербенд-наме». Арабский текст разделен на отдельные синтагмы и слова, которые поочередно переведены на аварский язык. А на следующих страницах рукописи имеются и другие исторические записи и сведения на арабском языке – родословная дагестанских шамхалов, текст дагестанской хроники «Тарих Мухаммад ар-Рафи» (Тарих Дагестан) на арабском языке, сведения об исламизации Дагестана и другие документы. Это единственный на сегодняшний день известный и зафиксированный нами в переводе на аварский язык арабографический список «Дербенд-наме». Впервые о списке сочинения упоминается в книге «Дагестанские исторические сочинения» (Шихсаидов, Айтберов, Оразаев, 1993. С.180). Полностью текст сочинения с подробными комментариями введен в научный оборот и издан в сборнике «Дербент наме на языках народов Дагестана». (Абдулаев, Исаев, Маламагомедов, Оразаев, 2012. 408 С.). (Фото 3, 4).

III «Тарих Аргвани» (История Аргвани)

На сегодняшний день известны всего восемь списков сочинения «Тарих Аргвани» на арабском языке. В основном эти списки являются результатом многолетних археографических экспедиций по выявлению, фиксации и изучению рукописных частных и мечетских коллекций под руководством известного дагестанского историка и востоковеда, профессора А.Р. Шихсаидова. Первые семь списков сочинения хранятся в личном архиве А.Р. Шихсаидова.

Что касается нашего списка, то он на сегодняшний день является единственным арабографическим экземпляром на аварском языке. Сочинению даны соответствующие археографические харак-

теристики, текст оцифрован, транслитерирован на современный аварский язык, также впервые переведен на русский язык; снабжен соответствующими научными, историческими и филологическими комментариями на аварском и русском языках. Некоторые выдержки из работы использованы в монографии Тахнаевой П.И. «Аргвани мир ушедших столетий» (Тахнаева, 2012. С.15-23).

Исследуемый арабографический список представляет собой интересный и оригинальный по написанию и содержанию экземпляр. Сначала идет арабский вариант сочинения, затем его подстрочный перевод на аварский язык, т.е. текст, по сути, является двуязычным. Сочинение зафиксировано в составе сборной рукописи и занимает всего 24 страницы вместе с арабографическим аварским вариантом перевода. Формат рукописи - 16,5см x 20,5см. На полях и между строк отсутствуют читательские или актовые записи. Кустоды не имеются, пагинация отсутствует. Текст написан каллиграфическим почерком дагестанский насх, синими чернилами (тушь). Текст огласован полностью и читается без особых затруднений. Год написания отсутствует. Текст сочинения, скорее всего, переписан позже на обычной ученической тетради в клетку, возможно, с арабского списка.

Хронологически сочинение нами разделено на четыре части или же периода. Каждая часть охватывает определенный временной отрезок и составлен разными авторами, который указан в конце каждой из частей.

О времени составления списка, об авторе и переписчике в конце рукописи, в колофоне, имеется интересное сообщение: «Все это было перенесено (букв. переписано) с истории Шамхала старшего (Великого) Аргванинского. Подобное сочинение я обнаружил еще и у Хаджиява из Аргвани (да смилостивится над ним Аллах). И написал все это, нуждающийся в милости Аллаха, Абдулжалил сын Гамзата ал-Унсукули». (Фото 5, 6).

IV. Тарих Джара (История Джара).

Текст сочинения на арабском языке составлен в XVIII веке неизвестным автором, который, судя по контексту, проживал на территории Белокано-Закатало-Кахской зоны республики Азербайджан. В нем в форме летописи и в хронологическом порядке излагаются события из истории Восточного Кавказа, а местами и центральной части Закавказья. Все эти события имели определенные отношения к жизни народов, живущих в этом регионе, особенно аварцев, начиная с 1118/1740-41 гг. и до начала XIX века включительно. В хронике содержатся весьма интересные факты из истории и общественно-политической жизни обитателей горного Дагестана, прежде всего

лакцев и аварцев. В хронике довольно подробно описываются взаимоотношения народов Дагестана с другими народами Восточного Кавказа и Турции, Крымским ханством, особое внимание уделено Ирану.

Что касается перевода арабографической хроники на аварский язык, то, как указано в тексте, рукопись переписана Мухаммадов сыном Наккав в 1964 году. Текст переписан на обычной ученической тетради, металлическим пером, синими чернилами. Название сочинения также переведено на аварский язык «История Джара» (Чаральул тарих). Судя по припискам к тексту сочинения, в свое время с рукописью определенную работу провели известные дагестанские историки Алиев Б.Г. и Ичалов Г.

Начинается сочинение с записи о переводе «хроники» Мухаммадом сыном Наккава с арабского языка на джарский диалект аварского языка и довольно длинного генеалогического древа переписчика. Сложностью транслитерации и перевода хроники являлся язык хроники – джарский диалект аварского языка. Особенностью джарского диалекта является присутствие в нем огромного количества заимствованной лексики – тюркизмов, иранизмов, азербайджанизмов и других примесей. Соответственно, понимание текста при транслитерации и переводе текста без привлечения разных специалистов было бы невозможным.

Текст хроники в аварском ее варианте, с научными комментариями впервые был издан Т.М. Айтберовым в виде отдельной брошюры в 1996 году под названием «История войн Джарских аварцев» - «Цоральул аваразул рагъазул тарих» (Айтберов, 1996. С. 158).

Хроника разделена на 48 отдельных глав. В каждой главе описываются в подробностях те или иные события в отдельно взятых районах Кавказа и Закавказья, Передней Азии и Афганистана.

Необходимо отметить, что при подготовке к изданию брошюры вышеуказанным автором были допущены некоторые неточности в переложении дат лунного календаря на григорианский. Местами даты разнятся на несколько лет, соответственно такие же разночтения имеются и в комментариях. Понимая важность хроники как одного из информативных источников, нами была предпринята попытка транслитерации и перевода на русский язык заново, без каких-либо добавлений и редакций. На русский язык хроника переводится впервые. (Фото 7, 8).

V. «Хунзахские предания о Хаджи-Мурате со слов его престарелого сына Гулла и внука Казами».

Текст предания был написан неким Гамзатом Ясуловым, уроженцем с. Хунзах, по поручению

бывшего наркома просвещения Дагестана Алибека Алибековича Тахо-годи еще в 1925 году. Текст сочинения не был переведен на русский язык и не являлся предметом научного исследования. Более того, долгое время рукопись считалась утерянной. Позднее при работе над каталогом «Рукописей и фрагментарных записей на языках народов Дагестана» рукопись предания нами была обнаружена. В дальнейшем благодаря поддержке проекта Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» рукопись предания транслитерирована и переведена на русский язык. Оригинал рукописи хранится в Фонде восточных рукописей ФГБУН ИИАЭ ДНЦ РАН. Ед. хр. Ф.1. Оп.1. Д. № 421 (Исаев, Маламагомедов, Магдиев, Оразаев, 2008. 204 С.).

Арабографический текст предания записан на страницах ученической тетради, металлическим пером, «советским» или же «реформированным» вариантом аджама, хорошим четким почерком насх. Формат 16,5см x 20,5см. Пагинация и кустоды отсутствуют. Текст написан на хунзахском диалекте северного наречия аварского языка, который считается литературным аварским языком. (Фото 9, 10).

В заключение необходимо отметить о большой поисковой и исследовательской работе, которая стала возможной благодаря поддержке проекта Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре». В результате проведенной работы в научный оборот вводятся доселе неизвестные памятники письменной культуры на аварском языке в арабографической письменной традиции народов Дагестана.

До присоединения народов Дагестана к России многие российские и дагестанские ученые-исследователи считали, что дагестанские народы не имели своей письменности и культуры. Благодаря нашему исследованию мы можем с уверенностью говорить, что у дагестанских народов была своя письменность и оригинальная культура, в основном опиравшаяся на арабографическую письменность. Кроме того, все арабографические сочинения сами по себе оригинальны, так как они составлены на различных диалектах и говорах аварского языка. Эти источники могут послужить пищей для дальнейшего исследования не только историков, но и филологов и лингвистов.

В итоге реализация проекта наглядно продемонстрировала роль местного языка в формировании облика больших культурных регионов, обозначила один из этапов интеграции культур

дагестанских народов и народов различных регионов России в системе общероссийских культурных традиций.

ЛИТЕРАТУРА

Абдулаев И.Х., Исаев А.А., Маламагомедов Д.М., Оразаев Г.М.-Р. «Дербент намэ на языках народов Дагестана». Махачкала, Изд. дом «Мавраевъ» 2012 г. 408 С.

Айтберов Т.М. 1996. ЦӀоральӀул аваразул рагъазул тарих (История войн Джарских аварцев) на аварском языке. Махачкала. С.158.

Гамзатов Г.Г., Саидов М.-С., Шихсаидов А.Р. 1982. Сокровищница памятников письменности // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. Тбилиси. Вып. IX. С.204.

Исаев А.А., Магдиев С.Я., Маламагомедов Д.М., Оразаев Г.М.-Р. // Каталог рукописей и фрагментарных записей на языках народов Дагестана, хранящихся в Рукописном фонде ДНЦ РАН.

Крачковский И.Ю. 1960. Арабская литература на Северном Кавказе. Избранные сочинения. Т.6. М.- Л.

Маламагомедов Д.М., Муртазалиев А.М. 2010. «Хъвай-хъвагӀаял – арал гӀасрабазул нугӀзал» (Письмена – свидетели прошлого) на аварском языке // Ежеквартальный литературный журнал «Истина». Январь, февраль, март (№11(41-50(17776-17785)). С.33-38.

Саидов М., Шихсаидов А.Р. «Дербент-наме» (к вопросу об изучении). ВИИД. *Минорский В.Ф.* История Ширвана и Дербента X-XI вв. М., 1963. *Крачковский И.Ю.* Новые рукописи истории Шаги Мухаммеда Тахира аль-Карахи. Избранные сочинения. Т.6. М.- Л., 1960; *Бакиханов А.А.* Гюлистан-Ирам. Баку 1970 (на перс. яз); *Он же.* Гюлистан и Ирам. Баку 1926; *Алкадари Г.-Э.* Асари Дагестан. Перевод и комментарии Али Гасанова. Махачкала, 1929.

Саидов М.-С. Возникновение письменности у аварцев // Языки Дагестана. Махачкала, 1948. Вып. 1. С.136-142; *Он же.* Из истории возникновения письменности у народов Дагестана // Языки Дагестана. Махачкала, 1979. Вып. 3. С. 121-133; *Гамзатов Г.Г.* Формирование многонациональной литературной системы в дореволюционном Дагестане. Махачкала, 1978; *Исаев А.А.* О формировании и развитии письменности народов Дагестана // Социологический сборник. Махачкала, 1970. Вып. 1. С.173-232; *Он же.* К вопросу о письменности народов Дагестана // Сборник статей по вопросам дагестанского и вейнахского языкознания. Махачкала, 1972. С.68-93 и др.

Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. 1993. Дагестанские исторические сочинения. М., Наука. С.180.

Тахнаева П.И. 2012. Аргвани, мир ушедших столетий. М., «Восточная литература». С.15-23.

Derbend-Nameh, of the Histori of Derbend... By Mirza A. Kazem-Beg. SPb., 1851

«КУЛЬТОВАЯ ОСНОВА ОСЕТИНСКОГО ФОЛЬКЛОРА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА МАТЕРИАЛЕ НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЫ»

Осетинская нескказочная проза включает в себя устные рассказы о сакральной сфере духовной жизни осетина, воспитанного в традиционном ключе. В основе сакральной жизни традиционного осетина лежит культ, а именно – особое мировидение, в центре которого находится Хуыцау (Бог). Наряду с главным небесным покровителем, Хуыцау, пантеон осетинской традиционной религии насчитывает десятки небожителей общего и локального значения (Сокаева, 2014-1; Сокаева, 2014-2).

Рефлексия по поводу знаков от главных небесных покровителей осетинского пантеона и локальных, расположенных во всех ущельях Северной и Южной Осетии, а также в равнинной ее части, актуальна на сегодняшний день. Это происходит, несмотря на то, что осетинский народ давно приобщен и к православному христианству, и к исламу. Устные рассказы о небесных покровителях, рассмотренные нами в рамках заявленной темы, демонстрируют глубоко личное отношение рассказчиков к происходящему в сакральной жизни осетинского общества, в частности, в ущельях, в которых они живут. Нами выделены такие аспекты повествований: особенности проявления небесных покровителей (их иконография); помощь, получаемая людьми от них; правила поведения по отношению к ним; атрибутика культов (Сокаева, 2014-4).

По своей сути каждый вариант известного народом фольклорного сюжета того или иного жанра является индивидуальной реализацией, поскольку этот вариант творит один рассказчик, если речь не идет о фольклорных произведениях, которые исполняются большим количеством людей (Бекоев, 2007; Салбиев, 2013).

Небесные покровители осетинской традиционной религии имеют обыкновение видеться и слышаться людям, которые в них верят (Сокаева, 2011; Сокаева, 2012). Мы отдаем себе отчет в том, что это тематика религиоведения и философии, но нас интересует иконография образов небесных покровителей в осетинской традиционной религии в том виде, в котором они представлены в устных рассказах людей, далеких от научной рефлексии и богословия. Нами рассмотрены элементы традиционной религии осетин, зафиксированные в горных селах Куртатинского, Кобанского и Дигорского ущелий Северной Осетии. Иконография образов небесных

покровителей разнообразна. Не всегда высшие силы дают о себе знать в виде субъекта и объекта.

Субъектная форма, в свою очередь, может быть выражена зооморфно, антропоморфно и в виде голоса. Кроме того, факт общения с небесным покровителем выясняется при получении «ответа» от него в виде конкретной помощи человеку, который возносил к нему молитву. Субъектная форма появления небесного покровителя может не быть выражена ни в предметной, ни в зооморфной, ни в антропоморфной форме и даже не в виде голоса. «Общение» с небесным покровителем, по мнению традиционно настроенного осетина, состоялось, если после произнесения просьбы-молитвы возникла обратная связь в виде сна, знака, конкретной помощи, которая может быть выражена в виде наказания обидчика.

Что касается основных аспектов «общения» с небесными покровителями, затрагиваемых в подобного рода текстах, то отметим – как главный аспект мы выделили аспект конкретной помощи, которую люди получают от небесного покровителя в том случае, если исправно молятся (Информационный бюллетень, 2005; Информационный бюллетень, 2007).

Но помимо выделения рассказчиком момента конкретной помощи святым того или иного ущелья мы можем сформулировать еще несколько аспектов отношения к святому/святителю, встречающихся почти в каждом тексте такого рода. На примере проанализированных текстов мы видим также, что рассказчика волнуют такие темы, как:

1. Принадлежность святилища, посвященного святому, одной или нескольким фамилиям.
2. Атрибутика культа святого и его святилища (Цагаева, 1975).

Кроме того, мы затронули проблему определения статуса рассказывающего устный рассказ. Нами выделяется два уровня знания и передачи традиции: рассказчиком и сказителем. Ситуация возникновения сказителя и его «профессии» запечатлена в Нартовском эпосе осетин в цикле о Сырдоне, подарившем нартам двенадцатиструнную арфу. Устные рассказы сравниваются нами со сказанием, имеющим устоявшийся характер в осетинской традиции. Речь идет о сюжете о небожителе Авсати. Определены нюансы иконографии небожителей Уацилла и Авсати. Индивидуальный компонент в осетинских устных рассказах о небо-

жителях структурирует текст и имеет, как правило, эмоциональный характер. Трактовка характера небожителей в устных рассказах может отличаться от «канонической».

К теме святилищ и религиозной жизни традиционного осетинского общества относится тема функционирования «вечных» тем и базовых понятий жизненного цикла человека. Мы рассматриваем в своем исследовании функционирование мифологемы судьбы в осетинской несказочной прозе (легенды, предания, устные рассказы) в сравнении с осетинской волшебной сказкой. В осетинском фольклоре есть «образы судьбы», общие для несказочной и сказочной прозы (кулбадаг ус, голос, сверхъестественные существа – люди с птичьими головами или птицы), и специфические, характерные только для несказочной прозы (ангелы в виде людей) и для сказочной прозы (волк, прядущая старуха, старуха с клыками). Персонификация судьбы в осетинском фольклоре существует наряду с понятием неотвратимого рока, не выраженного в образах, – хъысмат. Наряду с этим образом есть образы, реализующие мифологему судьбы амонд, судьбы, которую можно изменить посредством просьб, пожеланий, проклятий (Сокаева, 2011; Сокаева, 2013).

Мифологический компонент является важной мотивационной составляющей рассматриваемых нами текстов. Одним из направлений наших исследований является рассмотрение многозначных образов легенд, преданий и устных рассказов о святилищах, когда они являются, например, историческими лицами (царица Грузии XII века Тамара, жена осетинского царя Ос-Багатара Давида-Сослана).

По святилищам Северной Осетии нами выявлены особенности образности, которая в них используется, и данная статья – шаг именно в этом направлении. Устные рассказы о святилищах Южной Осетии отличаются по образности от фольклорного материал такого рода, зафиксированного в Северной Осетии. Например, таким оригинальным образом является образ лягушонка, внебрачного сына царицы Тамары, который от пролития на него слезы превращается в златокудрого юношу, а юноша, в свою очередь, становится святым святилища Бурсамдзели. В совокупности мотивов корпус легенд, преданий и устных рассказов цикл о Бурсамдзели представляет собой переплетение топонимического, метеорологического и терриоморфного мифов.

Что касается устных рассказов, то по определению в них в большей степени, чем в других жанрах фольклора, реализуется личное отношение рассказчика к предмету повествования. О внесении индивидуальных изменений в «каноническую» канву

легенд и преданий мы уже писали в наших статьях (Сокаева 2014-3). Они неизбежны и при актуализации рассказчиком устоявшихся сюжетов легенд и преданий, но в меньшей степени. Сама диалоговая форма устного рассказа (имеется в виду диалог спрашивающего и рассказывающего) априори предполагает выражение/ проговаривание личной позиции рассказчика по поводу той или иной темы (Бесолова, 2014; Гацалова, Парсиева, 2011). Таким образом, индивидуальные вкрапления в «канонические» тексты и тексты, рассказанные информантами по «своей» схеме, несомненно, являются результатом развития фольклора и способом его существования как устной традиции (Ермакова, 2008). Другой способ сохранить устную традицию и передать следующему поколению – это заучивание устных текстов наизусть, что практиковалось в некоторых традициях (Огибенин, 1968). Психология фольклорного творчества представляет собой перспективную область научных изысканий, потому что индивидуальная память рассказчика – недооцененный момент в фольклористике, во всяком случае, в осетинской фольклористике (Зиновьева, 2008; Канакина, 2012).

Устные рассказы по определению являются меморатами. В них ярко выражен момент индивидуального переживания рассказчиком событий, произошедших с ним. Осетинские устные рассказы могут быть продолжением уже известных легенд и преданий, а могут развивать совершенно новые темы. Таким образом, с помощью фиксации и исследования устных рассказов мы выясняем все новые и новые смыслы уже известных нам образов (Надель-Червиньска, 2006; Плахова, 2012).

Проблема художественного отражения пространственных параметров, а именно центра и границ художественных систем фольклора разных жанров, является достаточно разработанной для русского фольклора, но не является таковой для осетинского фольклора. Мы задались целью рассмотреть различные жанровые воплощения центра художественного пространства осетинского фольклора. Какие-то аспекты данной проблемы нами уже рассмотрены (Сокаева, 2010). Нами рассмотрены текстовые эпизоды, демонстрирующие организацию пространства в конкретных текстах фольклора. Поскольку нами проанализированы тексты разных жанров фольклора, мы по определению выходим на кросс-жанровый уровень и можем в выводах говорить о мировоззренческих представлениях осетинского народа, выраженных в фольклоре, как об этнопсихологической константе. Важным в данном случае является временной параметр фиксации привлеченных нами текстов, это – последние столетия (Дзищойты, 2000; Миллер, 1927; ПНТО, 1927).

Исследователями замечено, что, как правило, пространство в фольклорном тексте организуется посредством движения героя, например, в осетинском предании «Ахсак-Темур» о жестоком завоевателе Тимуре движением персонажа, в данном случае Тимура-орла, создается образ окружности с возможным центром – башней Георгиевых. Центр обрядового текста, состоящего из слов и действий, – это место, на котором произносится молитва. Но произнесение молитвы является «второй частью» центра сакрального пространства, «первая часть» центра обозначается предметом и действием, связанным с этим предметом. Путь к обрядовому центру в осетинской обрядности может состоять также из цепочки сакральных мест. Помимо сакрализованного центра реального пространства, а также точек по пути к нему, в традиционном осетинском топонимическом пространстве может быть обозначена/поименована вся дорога как особый путь, например: «Дорога, (по которой везли) Алутон» – мифическая дорога в Дзомагском ущелье, идущая якобы по гребню хребта от горы Бурхох в сторону Северной Осетии. Существует предание, согласно которому по этой дороге из Куртатинского ущелья на вершину горы было поселение, жители которого и питались чудесной пищей» (Сокаева, 2014-3).

Следовательно, если мы имеем дело с сказочной прозой, одной из главных особенностей которой является достоверность, то допустим следующий путь мифологизации элементов в ней: первичная мифологизация всего, что окружает человека (миф как способность и инструмент постижения мира) → вторичная мифологизация реального пространства, когда одни объекты мифологизированы, а другие нет → отражение в текстах сказочной прозы вторичной мифологизации, так как обычно описывается не все пространство, а лишь выбранные рассказчиком объекты.

Центр мира в фольклорном тексте может быть обозначен косвенно, как определение особенности персонажа или ситуации (предание, нартское сказание, новеллистическая сказка). Что касается фольклорных текстов, связанных с обрядовой жизнью осетинского народа, в данном случае устных рассказов, то и здесь последнее слово остается за рассказчиком, хотя все обрядовые действия и их пространственная локализация в таких текстах подробно описываются.

Окказиональным центром традиционного осетинского обрядового действия является точка реального пространства, в районе которой помещают ритуальную пищу и произносят молитву. Словесная часть обряда дополняется ритуальными действиями. Считаем, что в сказочной прозе осетин

запечатлена вторичная мифологизация. В таких текстах обычно описывается не все пространство, а лишь выбранные рассказчиком объекты.

ЛИТЕРАТУРА

- Бекоев В.И. 2007. Христианизированное божество Уастырджи в образной системе мифологической поэзии осетин // Известия Российского гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. № 9 (47). С. 67–72.
- Бесолова Е.Б. 2014. О форме восприятия Нартов (на материале сказания «Гибель семьи Сырдона») // Сибирский филологический журнал. Новосибирск. № 1. С. 39–44.
- Волшебные сказки. 2010. Сост. Д.В. Сокаева. Т. 2. Владикавказ. 424 с.
- Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К. 2011. Большой русско-осетинский словарь. Владикавказ: ИПО СОИГСИ. 687 с.
- Дзиццойты Ю.А. 2000. «Золотой век» в осетинской мифологии // Известия ЮОНИИ им. З.Н. Ванеева. Вып. XXXVI. С. 139–159.
- Демиденко Е.Л. 1987. Значение функции общефольклорного образа камня // Русский фольклор. Т. XXIV. Л. С. 85–98.
- Ермакова Е.Е. 2008. Традиционные магико-медицинские знания: вопросник по сбору материала // Вестник археологии, антропологии и этнографии. № 8. С. 174–187.
- Зиновьева И.Н. 2008. Образ пространства в фольклорно-языковой картине мира NURSEPY RHYMES // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Т. 24, № 55. С. 134–139.
- Информационный бюллетень отдела фольклора СОИГСИ (Устные рассказы о святилищах Осетии), №1, сентябрь 2005. Владикавказ. Сост. и автор переводов Сокаева Д.В. 42 с.
- Информационный бюллетень отдела фольклора СОИГСИ (Образ чудесной бусины в осетинском фольклоре), № 3, февраль, 2007. Владикавказ. Сост. и автор переводов Сокаева Д.В. 30 с.
- Канакина Г.И. 2012. Топонимический текст как жанр устного народного творчества, репрезентующий фрагменты провинциальной культуры // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. №27. С. 270–274.
- Миллер В.Ф. 1927. Осетино-русско-немецкий словарь: В 3 т./ Под ред. и с доп. А.А. Фреймана. Т.1. Л. XIII. 618 с.
- Научный архив Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований (НА СОИГСИ).
- Надель-Червиньска М. 2006. Семантика горы в польской народной сказке и лингвокультурологический контекст европейского фольклора // Политическая лингвистика. Вып. 20. С. 229–253.
- Огибин Б.Л. 1968. Структура мифологических текстов «Ригведы» (Ведийская космогония). М.: Наука. 114 с.

Плахова О.А. 2012. Роль названий природно-географических объектов в создании топонимического пространства сказки // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 2 (1). С. 369-371.

Памятники народного творчества осетин (ПНТО). 1927. Вып. 2. Дигорское народное творчество в записи М. Гарданти. Владикавказ. 355 с.

Салбиев Т.К. 2013. В поисках создателя. Мифология и традиционная культура осетин. М.: СЕМ. 240 с.

Сокаева Д.В. 2010. Обозначение сакрального центра в осетинском обряде и несказочной прозе (устные рассказы) // Вестник ЧелГУ. Вып. 44, № 17 (198). С. 114-118.

Сокаева Д.В. 2011. Предания и легенды осетин в историко-функциональном и системном освещении. – Владикавказ: ИПО СОИГСИ. 423 с.

Сказочная и несказочная проза осетин: реалии сакрального мира. 2012. Сост. Сокаева Д.В. Владикавказ: ИПО СОИГСИ. 238 с.

Сокаева Д.В. 2013. Несказочная проза осетин: реализация мифологемы судьбы // Фундаментальные исследования. № 6 (часть 1). С. 203-206; URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10000655 (дата обращения: 25.05.2014).

Сокаева Д.В. 2014. Представления осетин о небесных покровителях: устные рассказы // Фундаментальные исследования. № 5 (часть 3). С. 639-642; URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10003203 (дата обращения: 25.05.2014).

Сокаева Д.В. 2014-2. К вопросу об индивидуальной реализации представлений о небожителе осетинского пантеона: устные рассказы // Современные проблемы науки и образования. URL: www.science-education.ru/117-12996 (дата обращения: 25.05.2014).

Сокаева Д.В. 2014-3. Представления о пространстве в осетинском фольклоре: центр мира // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1; URL: <http://www.science-education.ru/115-12087>.

Сокаева Д.В. 2014-4. Символика камня в осетинской несказочной прозе: устные рассказы о святилище Авзандаг // Современные проблемы науки и образования. № 2; URL: www.science-education.ru/116-12129 (дата обращения: 25.05.2014).

Цагаева А.Дз. 1975. Топонимия Северной Осетии. Часть II. (Словарь географических названий). Орджоникидзе: Ир. 560 с.

Цховребова З.Д., Дзищойты Ю.А. 2013. Топонимия Южной Осетии: В 3 т. Т.1: Дзауский район. М.: Наука. 599 с.

*Гомбожанов А.Г., Кузьмина Е.Н., Сагалаев К.А.,
Сыченко Г.Б., Юша Ж.М. (ИФЛ СО РАН)*

ИСКОННОЕ И НОВОЕ В ТЕКСТЕ И РИТУАЛЕ ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ СИБИРИ

В условиях глобализации, помимо материальной культуры, глубокой трансформации подвергается у народов Сибири и культура духовная, в том числе обрядовая её часть. В ней особое место занимают шаманские традиции. Поэтому основной акцент в статье ставится на изучение специфики шаманских текстов, выявление изменений в соотношении текста и ритуала. Как показывают последние исследования последних лет, шаманская практика – всё ещё бытующее явление, актуальное для ряда сибирских народов.

На материале изучения значительного корпуса шаманских текстов народов Южной Сибири (чалканцев, кумандинцев, шорцев, хакасов-сагайцев, тувинцев-тоджинцев, западных тувинцев и этноса Восточной Сибири – бурят) анализировались вербальная и музыкальная составляющие шаманского текста, их соотношение с обрядовым контекстом. Результатом проделанной работы стал ряд методологических положений, которые следует иметь в виду при изучении шаманских текстов. Так, основное внимание должно быть уделено изучению текстов, транслируемых во время обряда. Ещё В.В. Радлов отмечал, что записать подлинники

шаманские тексты непросто (прим.: Радлов В.В., 1989). Во время обряда до появления возможности аудиозаписи это сделать было невозможно, надиктовывать же тексты вне обряда до сих пор считается недопустимым. Однако исследование даже зафиксированных при помощи технических средств текстов в значительной степени затруднено. Объёмность шаманских текстов, сложность языка и символики, затемнённая смыслом отличают их от многих других устно-поэтических текстов, в том числе обрядово-ритуальных. Наличие громкой (иногда – грохочущей) инструментальной партии в ряде обрядов (бубен и другие фоноинструменты) делает проблематичным саму расшифровку текста, получение же текстов от информантов всегда сопряжено с большими психологическими трудностями и разными культурными запретами.

Несмотря на это, представляется методологически важным осознание того факта, что шаманский ритуал и шаманский текст – это не просто два параллельных способа выражения некоего сакрального смысла, но по сути одно и то же, одно неразрывное целое. Шаманский обряд в его классических вариантах и есть трансляция текста.

Таким образом, в полном смысле шаманским текстом может считаться только текст, транслируемый во время ритуала. При анализе всегда следует проводить различие между (1) текстами, помещёнными в источниках без чёткого указания на их происхождение, (2) текстами, исполненными и записанными вне обряда, и (3) текстами, записанными во время реальных обрядов.

Дальнейшее осмысление шаманских текстов приводит к осознанию ещё одного фундаментального момента – это тексты, поющиеся от начала и до конца. Речь идёт не об отдельных музыкально оформленных вставных произведениях, исполняемых по ходу ритуального действия. Шаманское камлание всегда поётся от первого до последнего слова. В этой связи методологически важно опираться на расшифровку фонозаписей, сделанных во время обрядов, и работать с полной, нередуцированной и неотредактированной вербально-музыкальной версией текста. Изучение различных видов архивных и опубликованных шаманских текстов показало, что адекватное постижение всех особенностей текста возможно лишь на основе подобной записи.

Из такого соотношения текста и ритуала вытекает весьма важное положение об исключительной роли музыки в шаманском обряде (прим.: Сыченко Г.Б., 2006. С. 57–63). Причём музыки не столько инструментальной, сколько вокальной, непосредственно связанной с вербальным текстом. Следует отметить, что если о важности игры на музыкальных инструментах в шаманской традиции написано достаточно много, а сам музыкальный инструментарий шаманизма описан довольно подробно, то роль вокальной музыки стала осознаваться сравнительно недавно.

В качестве фундаментальной модели описания музыкально-речевой деятельности шаманов нами предложена дихотомия «интонирование – текст», где первый из членов представляет собой процесс, а второй – результат (прим.: Сыченко Г.Б., 2011. С. 195–199). Текст, таким образом, возникает только в результате ритуально-исполнительской деятельности шамана, которую мы определяем понятием «шаманское интонирование» (прим.: Сыченко Г.Б. 2004. – С. 174–180).

На современном историческом этапе в целом ряде этнических традиций наблюдаются заметные трансформации музыкальной составляющей. Так, круг используемых инструментов расширяется за счёт включения инструментов, ранее не использовавшихся как шаманские, либо принадлежащих к другим этнокультурным традициям (так, нам приходилось видеть непальские шаманские бубны в обиходе тувинских шаманов, заметно проникно-

вение ламаистского инструментария в бурятской и тувинской традициях). Наиболее существенным представляется сильная трансформация, редуцирование или даже полное исчезновение вокальной составляющей шаманского интонирования. Не получив традиционных шаманских мелодий в процессе обретения шаманского дара, современные шаманы используют в своей деятельности практически любые известные им формы вокального выражения (горловое пение хомей, песенные мелодии с нейтральным интонированием, речитация буддийского типа).

Отсюда вытекает ещё одно методологическое условие для успешного исследования современных процессов трансформации ритуальных текстов. На начальном этапе следует тщательным образом проанализировать все имеющиеся зафиксированные источники аутентичных традиций, на основе чего можно было бы выявить сущностные черты шаманского интонирования. Такого рода источники, хотя и не очень многочисленные, обнаруживаются на протяжении всего XX в. Затем на основе полученных данных можно было бы рассматривать различные инновации, в изобилии встречающиеся исследователю современного шаманизма.

Тесная взаимосвязь шаманского ритуала и шаманского текста, их почти полное тождество приводит к тому, что текст буквально воспроизводит ход обряда. Однако следует отметить, что делается это по-разному, и в ходе сеанса характер этого воспроизведения меняется. В начале, как правило, исполняется призывание духов (подчеркнём, что в шаманском сеансе-камлании и соответствующем тексте, как правило, не выделяются отдельные законченные разделы, части произведения. Поэтому, говоря о призывании, следует иметь в виду, что это некоторая условность, на самом деле текст представляет собой непрерывный поток, отдельные дискретные тексты здесь слиты в единый текст сложной структуры).

Духи призываются в определённом порядке, произносятся их описание и имена. Шаман также представляется духам, исполняя специальные сигналы-позывные и называя себя (всегда в индизаторном ключе). Этот раздел ещё можно считать в некотором роде внешним по отношению к ритуалу, хотя во многих случаях уже здесь начинается стираться грань между ними. Так, текст может приобретать диалогический характер, что означает присутствие божества или духа и, следовательно, событийную развёртку обряда, выраженную посредством текста, транслируемого шаманом.

Далее тождественность текста и ритуала усиливается. В своём пении шаман не столько описывает

совершаемые ритуальные действия, сколько в звуковой форме выражает то, что происходит в данный момент. Это его путешествие по сакральной Вселенной, встречи с патронажными и враждебными персонажами, взаимодействие с ними (в форме диалога / полилога). Последнее обстоятельство объясняет, почему в шаманском тексте происходит частая смена времени, числа и модальности. По всей вероятности, такая смена, совершенно не характерная для других обрядовых жанров, обусловлена постоянным калейдоскопом событий и действий, происходящих во время шаманского ритуала, сменой отдельных персонажей и их категорий.

Почти всё происходящее в ритуале скрыто от глаз стороннего зрителя. Можно предположить, что основные события разворачиваются в мире иной реальности, которая доступна видению только самого шамана и круга посвящённых лиц. Транслируемые при этом тексты представляются подобными верхушке айсберга, основной массив которого непосредственно не наблюдаем. Неудивительно, что подобные тексты могут казаться фрагментарными и нелогичными, обрывочными и бессвязными, однако на самом деле это не так. Все эти особенности объясняются высоким уровнем имплицитности шаманских текстов (термин «имплицитность» предложен А.В. Кудияровым по отношению к некоторым эпическим традициям (см. Кудияров А.В., 2002). Здесь оно означает закодированность информации в фольклорных текстах, их «закрытость». По мнению ученого, дело вовсе не в забывчивости или небрежности исполнителей, а в том, что многие реалии и подробности текста бывают настолько хорошо известны слушателям, что они часто опускаются в ходе сказывания или пропевания текста, и произносятся лишь ключевые слова, содержащие имплицитно гораздо большие объемы содержания, чем это видно поверхностному наблюдателю, не принадлежащему к данной традиции).

Имплицитный характер текстов не имеет ничего общего с бытующим мнением о хаотичном и неупорядоченном шаманском тексте, основанном на звукоподражаниях, восклицаниях и некоей «шаманской зауми» (подобные идеи проникают даже в научные публикации).

Наши наблюдения показывают, что шаманским текстам присущи все признаки поэтической организации. Так, например, сагайские шаманские тексты основаны на гораздо более строгой силлабике, чем, скажем, их песенно-лирическая традиция. Даже шаманская скороговорка, как оказывается при внимательном анализе, основана на строках с упорядоченной стиховой структурой (прим.: Сы-

ченко Г.Б. 2005. С. 119–127). Общее же строение текста, его поэтика и композиция организованы в сложные и подчас весьма совершенные формы (прим.: Сыченко Г.Б. 2004. С. 73–101; Она же. См. Корреляция вербальной и музыкальной структур шорского шаманского текста. 2002. № 4. С. 60–65. Публикация данного текста в полном виде см. Фольклор шорцев). Утрата текстом связности происходит в некоторые моменты шаманского обряда, связанные с экзальтированным состоянием шамана. Это типичное шаманское состояние принято определять как шаманский экстаз, транс, изменённое состояние сознания и т.д. Однако, как показывает анализ, полного распада структуры текста не происходит даже в такие моменты. Фактором, упорядочивающим текст и сохраняющим его цельность, выступает музыкальная структура. Это не просто доказывает важность последней при анализе шаманских текстов, но по существу подтверждает тесную взаимосвязь и комплементарность вербальной и музыкальной структур.

Анализ формальных признаков шаманских текстов показал, что в поющих шаманских текстах помимо строк, в основе которых лежит ординарный вербальный текст, часто и в заметно большем количестве, чем в текстах других жанровых традиций, встречаются строки особого типа (определение «ординарный» используется здесь для обозначения единиц текста, которые основаны на лексиконе основного языкового фонда, вместо часто используемого определения «нормативный». Строго говоря, и ординарные, и периферийные элементы текста являются нормативными для тех традиций, в которых они встречаются). Их вербальный компонент представлен довольно разнообразными элементами, относящимися к разряду таких периферийных элементов языка, как междометия, ономотопеи, дефинитивы (последний термин вводится Г.Б. Сыченко, пока в рабочем порядке). К междометиям можно отнести различного вида возгласы и восклицания (типа «А, эй! О-хо-хо! А, хо!» и др.). Ономотопеи основаны на звукоподражании различным объектам. К дефинитивам мы относим особые слова, не обладающие никакой другой семантикой, кроме конкретной ритуальной.

Все указанные элементы в той или иной степени выполняют символическую функцию. В скотоводческих заговорах теленгитов встречаются элементы, обозначающие разные виды животных и маркирующие различные виды заговоров, которые было предложено называть звуко-символическими словами (см. Н.М. Кондратьева 1996). С точки зрения предлагаемой в данной статье типологии они

являются дефинитивами. Возможно, следует выделить более обширный класс звуко-символических слов, куда войдут все выделенные нами слова. В частности, междометия часто символизируют голос вызываемого божества. Например, в чалканском тексте, записанном от А.К. Кандараковой, ими маркируются голоса вызываемых божеств и духов, голос ведущего с ними диалог шамана, наконец, сама ситуация диалога (прим.: данный текст опубликован в: Г.Б. Сыченко. Поэтика и структура чалканского шаманского текста ...).

Ономатопеи символизируют присутствие того или иного духа, чаще в неантропоморфном облике, различные шумы, производимые участниками шаманского действия. Довольно большое количество таких элементов встречается в шаманских *алгысах* тувинцев (М.Б. Кенин-Лопсан, 1992).

Вопрос о границе между этими двумя категориями звуко-символических слов совершенно не исследован. Возможно, она заключается в следующем. Междометия, выражая, как правило, эмотивную сферу человеческой речевой деятельности, носят субъектный характер. Они могут переноситься и на сакральные объекты, сконструированные по образу и подобию человека, то есть на антропоморфных ритуальных персонажей. Если подобные персонажи вступают в диалог, они начинают функционировать как ритуальные субъекты.

Ономатопеи же в языке обычно отражают внешнюю по отношению к человеку реальность,нося, таким образом, объектный характер. Сюда попадают чаще всего звуки, свойственные фауне и явлениям природы, сопровождающие вещный мир, окружающий человека, и мир ритуальный, и т.п. В камланиях это голоса зоо- и орнитоморфных духов, шум наводнения, грохот преодолеваемых небесных сводов, треск костра и др.

Дефинитивами в данной статье предлагается называть особые слова, которые встречаются только в ритуальных текстах (возможно, подобные слова существуют и в других специальных языках – охотничьем, кузнечном и т.д. Упомянутые выше звуко-символические слова для домашних животных, используемые также в качестве обычных подзваний, можно отнести к дефинитивам, характерным для скотоводческого языка и связанной со скотоводством обрядовой сферы). Они обладают очень узкой специальной семантикой, непонятной не только непосвященным, но зачастую и самим ритуальным специалистам. В силу отсутствия их в основном словарном фонде языка они не поддаются переводу на другие языки. К числу таких слов относятся, например, слова *жүвей*, *жүвей*,

жүвейим в чалканском шаманском тексте (прим.: Сыченко Г.Б. Поэтика и структура ...) Е.П. Кандаракова трактует их как слова-позывные самого шамана, поскольку именно с них начинается шаманский текст. К такому же типу слов можно отнести слова *алас-алас* в обряде очищения огнём, словосочетание *оп* (*/хон, коп*), *курый* (*/хурый, хурай*)! в обрядах ловли души у всех тюрков Южной Сибири, *хури-хури* в призываниях богини Умай у сагайцев и многие другие. Некоторые из них хорошо известны и широко распространены, в том числе за пределами южносибирского ареала. Другие же встречаются в ритуальном репертуаре конкретной шаманской традиции.

Подобные слова вызывают ассоциации с принципиально непереводаемыми элементами мантр – особых ритуальных текстов в индуизме и буддизме. Таковыми можно считать слоги *ом*, *хум* и другие. В некоторых вариантах исполнения широко известной Лotosовой мантры *Ом ма ни пад ме хум* последнее слово может заменяться двусложным словом *хури*⁸¹, вызывающим ассоциации со словами *хури* / *хурай* / *курый* и т.д. в ритуальных текстах тюркских и монгольских народов Сибири. Происхождение и интерпретация таких слов является отдельным вопросом, выходящим за рамки статьи и заслуживающим специального исследования.

Выделенные элементы выполняют различные семантические и конструктивные функции и играют чрезвычайно важную роль в шаманских текстах. Насыщенность текстов такого рода элементами является одним из специфических качеств шаманского текста, поэтому при анализе такие элементы не должны игнорироваться.

Интересная ситуация сложилась у монголоязычного народа Восточной Сибири – бурят. Как и в прошлом, шаманские обряды проводит шаман для группы людей, объединенных родственными связями; посторонние люди не допускаются на обряд. Распорядителем на ритуале выступает шаман, зачастую имеющий помощников из числа учеников; жертвенное животное и все необходимое для обряда предоставляет его «заказчик». Помимо принесенного в жертву животного (чаще всего – барана) духам предлагают в качестве угощения домашние и покупные продукты – т.н. белую пищу: печенье, конфеты, покупной же алкоголь и сигареты. Поэтому иногда в ходе обряда складывается ситуация, когда вселившийся

⁸¹ Записи исполнения таких вариантов имеются в материалах экспедиции 2012 года в Непал с участием Г.Б. Сыченко и аспиранта НГК им. М.И. Глинки А.В. Золотухиной.

в шамана дух (употреблявший при жизни совсем другую пищу, алкоголь и табак) не может понять, чем его угощают, и требует подать ему то, к чему он привык. Задача же остальных участников ритуала – погасить конфликт, любым доступным способом задобрить духа и сделать так, чтобы он остался доволен. Так, на обряде, записанном нами в 2002 г. в Агинском Бурятском автономном округе, вселившийся в шаманку дух старика явно не знал, что такое сигарета и с какого конца ее нужно прикуривать; в конечном итоге угощение им было принято, и ход обряда не нарушился. На посвящении же белого шамана (включаем в эту категорию также костоправов и лекарей) готовят ритуальную молочную водку-*архи*.

Текст шаманских призываний у восточных бурят традиционно содержит развернутое описание призываемых духов, их многочисленные эпитеты и т.д. В настоящее время, как правило, дело ограничивается перечислением их имен. При этом общая структура призываний, как и в прошлом, сохраняется: перечисление имен духов, приглашение им угоститься, сведения о том, кто приносит жертву и его просьбы или вопросы. Как и прежде, призывание имеет поэтическую форму, произносится речитативом и содержит традиционные формулы, правда, уже в упрощенном виде. Объем текстов может достигать 100–250 поэтических строк. Что касается происхождения текстов, то часть их получена шаманами от непосредственных учителей, часть была воспринята во время сна или в состоянии транса и записана либо лично после пробуждения, либо помощниками шамана во время сеанса камлания.

По тем или иным причинам разные сферы семейной обрядности у бурят в неодинаковой степени сохранили баланс между *исконным* и *новым*, но так или иначе перемены не обошли стороной и сакральную (наиболее устойчивую) часть культурной традиции. Попытаемся на основании опубликованных и собственных полевых материалов выявить соотношение традиций и инноваций в некоторых обрядах бурят как на уровне действия, так и на уровне текста.

Традиционный обряд моления на родовой горе восходит к наиболее архаичному пласту народных верований. У агинских бурят в настоящее время этот обряд проводится буддийскими монахами, у западных же эта функция до сих пор принадлежит шаману, или, по крайней мере, знатоку традиции – вспомним, например, категорию «приобщенных» (Харитонов В.И., 2006. С. 45).

У современных агинских бурят в основе данного обряда лежит почитание духов-хозяев мест-

ности. По нашему мнению, «в наше время влияние буддизма отразилось лишь на поверхностном уровне ритуала: цель обряда и его основная структура остались неизменными. Тем не менее, духи-хозяева сейчас рассматриваются бурятами как «подавленные» буддизмом» (Гомбожапов А.Г., 2006. С. 147).

На уровне текста также говорить о каких-либо значительных изменениях не приходится, т.к. для проведения ритуала используются специальные обрядники на тибетском языке, и ламы каждый раз произносят текст в неизменном виде. Инновации в ходе ритуала можно заметить, например, в том, что, по нашим сведениям, место проведения обряда раньше четко делилось на мужскую и женскую половины, нарушать это правило считалось недопустимым. На современном же обряде мужчины и женщины сидят вперемешку – кто где захочет. Также в настоящее время уже не действует запрет на посещение обряда женщинам во время менструации; возможно, и сами женщины уже просто не знают о нем.

Ритуальную пищу (*саламат*, мясо жертвенных животных и т.д.) традиционно готовили прямо на месте проведения обряда, сейчас все привозят с собой в готовом виде. Раньше прямо у подножия горы гнали молочную водку, теперь же все сводится к покупке алкоголя в магазине.

Как свидетельствуют архивные и опубликованные материалы, в завершение моления устраивался праздник, включавший борьбу и скачки. Состязания в стрельбе из лука в этих описаниях не упоминаются, но в настоящее время имеют место. Между тем изначальное их отсутствие имеет объяснение: на праздник приходят духи, а стрелы могут в них попасть, что не сулит ничего хорошего.

По нашим сведениям, в 1990-е годы некоторые шаманы и у восточных бурят проводили этот обряд, но потом это прекратилось. Поскольку такая практика не получила продолжения, можно считать эти немногие случаи инновацией, не перешедшей в традицию. В настоящее время шаманы могут присутствовать на обряде, но лишь в качестве рядовых участников. Моление проводят приглашенные из дацана буддийские ламы, функции распорядителя изначально брал на себя старейшина, теперь они могут передаваться от одного знатока традиции к другому, при этом они могут и не являться старейшинами в общепринятом смысле этого слова.

С возрождением традиции публичного проведения обряда в нем кроме лам и стариков (хранителей традиции) стали участвовать и представители местной власти (главы администрации) и предпри-

ниматели, выступающие спонсорами обряда. Можно также считать это инновацией.

Традиция забирать домой с обряда оставшуюся освященную еду сохраняется и в наши дни, так же как и обычай относить часть этих продуктов тем, кто по какой-то причине (например, из-за болезни) не смог присутствовать на обряде.

Помимо родовых культовых мест, посещавшихся членами одного или нескольких родов, появились места, объединяющие людей на основе уже не родовой, а территориальной общности: их посещают просто те, кто близко живет (не обязательно члены данного рода или группы родов). Причиной этого может быть то, что современные буряты селятся, уже руководствуясь не своей родовой принадлежностью, а жизненными реалиями.

Повсеместно сохраняется почитание «необычных», примечательных мест (гора, дерево, камень). Устойчивых текстов, с которыми верующие обращаются к населяющим их духам, не наблюдается, обращения к ним выражаются в свободной форме, зачастую просто мысленно. Подобные места почитаются как бурятами (представителями разных родов), так и людьми других национальностей.

Традиционный обряд первой стрижки волос ребенка (*милаан*) у бурят к настоящему времени в целом сохранил как свою внешнюю структуру, так и функцию – в первую очередь он направлен на социализацию ребенка, после ритуала последний становится полноправным членом своего рода.

Происходящие изменения продиктованы в основном изменившимися условиями жизни многих бурят: домашний скот, первоначально служивший основным подарком, постепенно утрачивает актуальность в условиях города, да и в деревне у многих поменялся жизненный уклад: уже не все разводят домашних животных. Основной подарок теперь – просто деньги и покупные детские вещи.

Первую прядь волос традиционно отстригает дядя по матери, при его отсутствии – просто кто-то из старших родственников мужского пола. Каждый обязательно произносит благопожелание в адрес ребенка. В основном они высказываются в свободной форме; в дополнение к этому произносящий благопожелание может также исполнить песню. Часть благопожеланий, впрочем, имеет устойчивую форму: как правило, они берутся из газет, издаваемых на бурятском языке («Толон», «Буряад унэн»). В остальном обряд выглядит больше как современный светский праздник наподобие обычного дня рождения. На него не приглашаются и в нем не участвуют ни ламы, ни шаманы (они могут прийти просто как гости), а сам праздник чаще всего ведет профессиональный тамада, нанятый родителями

ребенка. Иногда нанимают профессиональных артистов (танцоров и т.д.); пища на столе – обычная праздничная, а не ритуальная еда.

На семейный обряд, в т.ч. на *милаан*, каждого гостя традиционно приглашали лично. При этом приглашающий должен был вначале, как требует обычай, выпить чаю, поговорить о не относящихся к делу проблемах и новостях и только после этого приступать к делу. Сейчас, как правило, просто рассылаются приглашительные открытки. Очень близких родственников и друзей можно пригласить не лично, а по телефону.

Особой сферой обрядовой традиции восточных бурят является кузнечный культ. Он также подвержен переменам, затрагивающим в основном внешнюю сторону, но не текст. Изменение хозяйственного уклада привело к инновациям: люди, которым положено иметь настоящую кузницу, но которые не могут этого себе позволить, т.к. живут в городе, имеют дома миниатюрную ее модель. Покровителем кузнецов традиционно считается Дамдин Дорлиг, его ездовое животное – козел. Являясь добуддийским божеством, он был включен в список покровителей северного буддизма, поэтому на буддийских танках его изображают верхом на козле. Каждый, имеющий кузнечные корни, должен держать настоящего козла, посвященного Дамдин Дорлиг, но вместо этого люди, как правило, держат дома игрушечного деревянного, что также является нововведением.

Как явную инновацию можно отметить тот факт, что на зафиксированном нами в 2010 г. кузнечном обряде роль помощника шамана выполняла женщина (жена шамана), в то время как даже просто присутствие женщин на подобном обряде традиционно категорически воспрещалось.

В настоящее время люди с кузнечными корнями необязательно должны быть кузнецами, а могут иметь любую работу, связанную с железом: ювелир, слесарь, токарь, сварщик, шофер и т.д. Они же могут изготавливать металлические детали ритуального шаманского костюма (зеркало, металлические привески, шаманская корона и т.д.). При этом они используют современные инструменты (болгарка, дрель, электрическое точило, сварка и т.д.), но символический первый удар молотом по заготовке все равно делает настоящий потомственный кузнец. Это позволяет говорить о трансформации кузнечного культа, но вместе с тем и об осознанном продолжении традиции. Тексты кузнечных призываний в основном находятся в русле общей шаманской традиции, а разница выражается в пантеоне.

Приведенные нами выше наблюдения позволяют сделать вывод, что изменениям подвержена

в большей степени внешняя сторона ритуала, тогда как его семантика (в т.ч. на текстовом уровне) остается в основном прежней. Применительно к обрядовой сфере культуры именно бурят мы, по видимому, можем говорить не об угасании, а о развитии культурной традиции.

Архивные и современные полевые записи обрядов семейного цикла (первая стрижка волос в три года, разные этапы свадебной обрядности), бытующие у тувинцев, наиболее ярко демонстрируют изменения, происходящие в традиционной тувинской обрядовой культуре, показывают роль и семантику обрядового слова в ритуале. Тувинцы, как и некоторые другие тюрко-монгольские народы, в семейной обрядности продолжают сохранять, хотя и в трансформированном виде, особые ритуалы детского цикла, посвященные рождению ребенка (*уруг дою*), закапыванию плаценты (*уруг савазы шыгжаары*), хранению пуповины (*уруг хини шыгжаары*), первому подрезанию волос у трехлетнего ребенка (*уш харлыында баш хылбыктаары*).

В отличие от дореволюционной Тувы в настоящее время принимают роды в родильных домах или фельдшерских пунктах, и вследствие этого из родильного цикла исчез обычай, связанный с последом, который в прошлом не выбрасывали, а «хоронили» в определенном месте. Что касается отпавшей пуповины новорожденного, то по нашим опросам большинство матерей хранят ее как семейную реликвию, завернув пуповину в белую материю.

Как свидетельствуют наши полевые материалы, в современной жизни из перечисленных обрядов детского цикла у тувинцев наиболее устойчивым обрядом является проведение ритуала стрижки волос у трехлетнего ребенка, подтверждающего изменение социального статуса ребенка, его переход на следующую ступень жизни. Данный ритуал соблюдается и сельскими, и городскими жителями, к этому празднику семья готовится заранее. Городские тувинцы для проведения таких мероприятий заказывают рестораны и кафе, куда приглашают своих родственников.

В проведении современного обряда первой стрижки волос в основном сохраняются традиционные элементы, но в то же время прослеживаются и признаки инноваций. Как и было принято по традиции, в настоящее время стрижку волос начинают уважаемые люди преклонного возраста. При этом родители ребенка и собравшиеся гости особое уважение проявляют к дяде по материнской линии, который и начинает первым отрезать прядь волос. К ножницам привязывают ритуальный шелковый платок – *хадак* белого цвета. Каждый, кто отреза-

ет прядь волос, обязательно произносит благопожелание, так как при проведении этого обряда до сих пор основное внимание уделяется вербальному компоненту – благопожеланиям *алгыш-йорээлдер*, произносимым в честь малыша. Можно говорить о том, что основная канва, каноническая структура текстов благопожеланий, сохраняется. Например, девочке, как будущей хозяйке, во время обряда первой стрижки волос посвящали такое благопожелание: *Ужукка ораашпазын, / Ус-куш дег шевер болзун! / Бажын ашкан малдыг, / Эктин ашкан эттиг болзун!* // Нитка в иголке пусть запутывается, / Искусной птичкой-мастерицей будь! / Выше голы пусть будет скота, / Выше плеч пусть будет имущества!

Мальчику – соответственно его статусу: *Улуг уйгаа алыспазын, / Улуг сеткил сеткивезин / Шу-улганга аьды эртер болзун! / Сураа үнген мөге болзун!* // Сонливым не будь, / Высокомерным не будь! / Пусть в состязаниях твой конь побеждает! / Сам знаменитым борцом будь!

Современные благопожелания при стрижке волос отражают представления людей о материальной обеспеченности и благополучии. Так, например, мальчику желают: *Ханазынга хевистиг болзун! / Гаражынга машиназы турзун!* // Ковер на стене пусть висит! // Машину в гараже пусть имеет! Или: *Гаражында джиттиг, / Карманында долларларлыг, / Кайгамчыктыг пацан болзун* Имеющим в гараже джип, / Имеющим в карманах доллары, // Необыкновенным пацаном пусть будет.

Девочке же: *Арга-эзим аразында коттеджтиг, / Коттеджте долдур ажы-толдуг, / Кеткен хеви норка, кожа, / Кедергей бай кадай болзунам!* // Имеющей посередине леса коттедж, / Имеющей полный коттедж детей, / Одежда из норки и кожи, / Очень богатой женщиной пусть будет!

Отрезанные пряди волос ребенка родители также сохраняют в надлежащем месте, подальше от людских глаз. Что касается подарков, то в сельской местности, как и было принято раньше, до сих пор в честь стрижки волос малышу могут дарить живность: ягненка, овцу, корову, так как по народной традиции основными признаками благополучия считаются многодетность семьи и большое поголовье скота.

Нововведением можно считать и то, что в городе и сельской местности для проведения обряда нанимают ведущих, которые нередко имеют свои «сценарии», веселят гостей. В городе обычно в роли тамады выступают именитые тувинские артисты. Это и считается инновацией, поскольку такие семейные празднества раньше проводились только в семейном кругу с родственниками, а чужие не приглашались и не допускались к организации.

Говоря об обрядах детского цикла, необходимо отметить знание обрядовых текстов только старшим поколением, транслирующим преемственность фольклорной традиции. По этому поводу в республиканских газетах бьют тревогу, часто появляются статьи, призывающие ученых-гуманитариев публиковать сборники обрядовых текстов на русском и тувинском языках.

Кроме вышеназванного обряда, в тувинском обществе продолжают сохраняться мифологические представления, связанные с мерами предосторожности, выполняющими охранительные для детей функции. В первую очередь это связано с верой о похищении злыми духами души ребенка (*кут*). Поэтому тувинцы после захода солнца детей на улицу не выводят. В крайнем случае, лоб ребенка мажут черной сажей, веря, что намазанного ребенка не увидят злые духи. Также после захода солнца вещи и игрушки детей не оставляли вне дома (на улице или в городских условиях на балконе). Считается, что в них остается одна из душ ребенка, поэтому ее могут забрать злые духи. По этим же соображениям, детям, как и взрослым, ни в коем случае в вечернее время не стригли ногти и волосы. Вышеперечисленные запреты, связанные с похищением души ребенка, сохранили свою актуальность и сегодня. Таким образом, в условиях современной глобализации тувинцы продолжают сохранять традиционные обряды детского цикла, в основе которых лежат архаические представления. В народной традиции до сих пор бытуют воззрения о том, что волосы и пуповина связаны с жизненной силой ребенка (*кут*). Сохраняется и вера в то, что магия доброго слова в структуре ритуала обеспечивает благополучие адресату, настраивает его на лучшее будущее.

В настоящее время в структуре семейных циклов тувинцев свадебная обрядность занимает особое место. Интересно, что современный обряд сватовства у тувинцев, как и раньше, включает три этапа: знакомство родителей невесты и жениха (*таныжары*); обряд испрашивания согласия у родителей невесты (*уруг айтырары*), определение даты свадьбы ламой или шаманом, в зависимости от приверженности просителя к традиционным верованиям (шаманы) или буддизму (ламы); проведение свадебного пира (*той*).

До 50-х годов XX века в цикле свадебных обрядов тувинцев было много интересных и своеобразных ритуалов – например, обряд благословения новой юрты молодоженов. По народным воззрениям, считалось, что молодожены, как и все новое, неокрепшее и молодое, больше подвержены влияниям злых сил. Поэтому, чтобы огра-

дить их от возможных несчастий, а также чтобы благословить первое жилье молодых, произносились специальные тексты в честь новой юрты. Видимо, по представлениям тувинцев, основным семантическим назначением юрты было обеспечение здоровья и плодovitости, благополучия ее обитателей.

В наши дни этот традиционный обряд благословения новой юрты трансформировался: освящение нового жилища проводят в современных квартирах или домах молодоженов. Исполнителем обряда выступает либо знающий традиции человек из числа родственников молодоженов, либо служители культа – шаман или лама. Тем не менее, можно подчеркнуть, что традиционные обрядовые поэтические тексты при проведении этого ритуала уже не произносятся, в основном люди проговаривают про себя буддийские молитвы.

По традиции в день свадебного пиршества невеста обязательно поклонялась домашнему очагу рода жениха, читала заклинание духу-хозяину огня. Этот обряд символизировал переход под защиту духов-покровителей рода мужа. В настоящее время этот обряд полностью утрачен даже в сельской местности, многие тувинцы молодого поколения не знают о существовании такого ритуала, а тексты заклинаний не сохранились в памяти современных носителей традиции, даже старшего поколения.

Кроме этого, в традиционном свадебном ритуале поэтическое слово играло значительную роль. Так, по ходу свадьбы каждый гость должен был произнести благословение молодым. Того, кто этого не мог сделать, наказывали разными способами. Например, на виду у всех у такого человека подол его халата подвешивали к поясу или его обрызгивали водой, или мазали лицо сажей. Так высмеивали человека, у которого не было в запасе добрых пожеланий, заставляли произносить благопожелания. Подвешивание подола халата к поясу было настолько устойчивым и распространенным наказанием, что обрело свое название *эдек азындырары*. В наши дни оно полностью предано забвению.

Согласно новым полевым материалам, когда жених со своими родственниками приезжает за невестой, ее подруги, сестры часто проводят его испытание, которое носит шуточный характер (разгадать загадки, спеть песню о любимой, сочинить стихи про тещу).

Необходимо отметить, что для того чтобы создать праздничную обстановку, на стенах вывешивают плакаты с традиционными текстами благопожеланий, пословиц и поговорок. В то же время в

городах и даже в моноэтнических селах есть плакаты на русском языке: «Совет да любовь!», «Два сапога – пара», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», что говорит о влиянии советской праздничной культуры.

Можно констатировать, что в настоящее время в свадебной обрядности тувинцев происходят процессы трансформации, но в то же время сохраняются традиционные элементы в самой сути ритуалов. Так, в свадебных обрядах также особая роль отводится благопожеланиям. В них отчетливо проявляется и вариативность – тексты могут быть короткими или длинными в зависимости от мастерства исполнителя.

Кроме этого, в последние годы в структуру семейных обрядов включаются и современные торжества. К ним можно отнести «обмывание» диплома ВУЗа, СУЗа, проведение юбилеев (30, 40, 45, 50, 60, 65, 70), не характерных для традиционной культуры тувинцев. Для «обмывания» диплома в некоторых семьях на празднество приглашают ламу, который во время торжества читает буддийские *тарины*-молитвы, «освящает» диплом имеющейся у него буддийской атрибутикой. Многие участники и гости, пришедшие на праздник, бывают уверены, что с помощью участия ламы и совершенных им ритуальных действий можно найти достойную работу, сделать карьеру.

Раньше у тувинцев не было традиции отмечать дни рождения, по народным воззрениям считалось, что с наступлением Нового года каждый человек становится на год старше. Несмотря на это, в настоящее время отмечается «мода» на празднование юбилеев, которые проходят по стандартному сценарию: пожелания, подарки, чествование юбиляра. В то же время можно отметить и то, что юбиляру посвящаются и традиционные благопожелания-*йорээлдер*. Основной темой благопожеланий является пожелание долголетия, многочисленного потомства, однако эти тексты по объему очень кратки, например: *Бажынын дугу / Агаргыже чурттазын! / Ак салдыг, / Ак баштыг чорзун! // До седых волос / Пусть живет! / Белобородым, / Седоголовым пусть будет!*

Таким образом, как показывает анализ современного состояния обрядового фольклора, ритуал в целом и важнейшая его составляющая – текст – не остаются неизменными, а претерпевают определенные трансформации, различные для каждого жанра и этноса (чаще даже – локальной этнической группы). Как для тюркских (тувинцы, хакасы), так и для монгольских (буряты) народов Сибири можно сделать предварительный вывод о том, что (речь идет не о полностью исчезнувших,

а о сохранившихся до настоящего времени обрядах) эти трансформации затрагивают в основном *внешнюю*, находящуюся на виду, часть традиции. Глубинная же семантика – традиционно наиболее устойчивая – в целом сохраняется; изменения на уровне текста также чаще всего имеют количественный, а не качественный характер, и выражаются в упрощении формул и эпитетов, сокращении количества строк, а не в принципиальной смене структуры текста.

ЛИТЕРАТУРА

Гомбожапов А.Г. 2006. Традиционные семейно-родовые агинских бурят в конце XIX – XX вв.: Истоки и инновации / Отв. ред. д.и.н. Н.А. Алексеев. Новосибирск: Наука. С. 147.

Кенин-Лопсан М.Б. 1992. Тыва хамнарның алгыштары. Кызыл: Тываның ном үндүрер чери. 222 с.

Кондратьева Н.М. 1996. Скотоводческие заговоры теленгитов: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. канд. иск-ведения. Новосибирск: б/и. 20 с.

Кудияров А.В. 2002. Художественно-стилевые традиции эпоса монголоязычных и тюркоязычных народов Сибири. – М.: ИМЛИ РАН. 329 с.

Радлов В.В. 1989. Из Сибири: Страницы дневника / Пер. с нем. К.Д. Цивинной и Б.Е. Чистовой, отв. ред., прим. и послесл. С.И. Вайнштейна. – М.: Глав. ред. вост. литературы. 749 с.

Сыченко Г.Б. 2004. «Шаманское интонирование»: история и феноменология термина // История и теория культуры в вузовском образовании: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. Н.А. Хохлова, Е.М. Тазиевой. Новосибирск: НГУ. Вып. 2. С. 174–180.

Сыченко Г.Б. 2002. Корреляция вербальной и музыкальной структур шорского шаманского текста // Гуманитарные науки в Сибири. № 4. С. 60–65.

Сыченко Г.Б. 2003. Музыкально-поэтическое искусство в системе «шаманских искусств» // Сибирский музыкальный альманах. Новосибирск: Изд-во НГК, 2006. Вып. 4. С. 57–63.

Сыченко Г.Б. 2011. О способе бытования шаманской традиции и инструментах её описания // Проблемы музыкальной науки. Вып. 1 (8). С. 195–199.

Сыченко Г.Б. 2004. Поэтика и структура чалканского шаманского текста // Языки коренных народов Сибири. – Вып. 15. – Чалканский сборник / Отв. ред. Н.Н. Широкова. – Новосибирск: ИФЛ ОИИФФ СО РАН. – С. 73–101.

Сыченко Г.Б. 2005. Стиховая структура чалканского шаманского текста // Языки коренных народов Сибири. Чалканский сборник / Отв. ред. Н.Н. Широкова. Новосибирск: ИФЛ ОИИФФ СО РАН. Вып. 17. С. 119–127.

Фольклор шорцев: В записях 1911, 1925–30, 1959–60, 1974, 1990–2007 годов / Сост. Л.Н. Арбачакова. 2010. Новосибирск. С. 368–383.

Харитонов В.И. 2006. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий. М.: С.45.

БУДДИЙСКИЕ ТЕКСТЫ КИТАЯ, ТИБЕТА, МОНГОЛИИ И БУРЯТИИ В ПЕРСПЕКТИВЕ КУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Буддизму как религиозно-философскому учению, возникшему в стране с высоким уровнем цивилизации, была характерна весьма развитая письменная традиция. Его распространение в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии было тесно связано с проникновением туда его письменного творчества и становлением там собственно буддийской письменной культуры, вошедшей в себя характерные особенности местных традиций.

В своем развитии в ареалах своего распространения он претерпел множество трансформаций, обусловивших формирование там различных школ и направлений, отличающихся друг от друга по сотериологическому, метафизическому и национальному признакам.

По сотериологическому признаку многообразие буддийских школ можно свести к двум направлениям – Хинаяне и Махаяне. Сотериология дальневосточной Махаяны, в свою очередь, включает такие направления, как амидаизм и тантризм. По метафизическому признаку многообразие философских построений буддизма разделяется на два концептуальных направления – Абхидхарму и Праджняпарамиту. По национальному признаку можно выделить три основополагающие модели – индийскую, китайскую и тибетскую. Две последние модели представляют собой адаптацию ряда положений индийского буддизма в Китае и Тибете, определившую качественно новый этап в его развитии. Эти модели, в свою очередь, явились исходными для распространения буддизма в другие страны. Китайская модель – в Японию, Корею и Вьетнам, тибетская – в страны трансгималайского региона, Монголию, Бурятию, Калмыкию и Туву.

Все эти адаптации и трансформации и получили свое отражение в буддийских письменных памятниках, которые, в свою очередь, обусловили качественно новый этап культурного развития стран – ареала распространения буддизма.

Письменные памятники буддизма по сути своей представляют собой первичную данность исследования, понимаемую нами как текст. В этом мы придерживаемся теории замечательного ученого Михаила Михайловича Бахтина, по которой гуманитарный текст (письменный или устный) представляет собой первичную данность «всего гуманитарно-филологического мышления (в том числе даже богословского и философского мыш-

ления в его истоках)». «Текст является, – писал М.М. Бахтин, – той непосредственной действительностью (действительностью мысли и переживаний), из которой только и могут исходить эти дисциплины и это мышление. Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления» (Бахтин, 1979. С. 281). И еще он сформулировал положение, в методологическом отношении важное для всего гуманитарного знания, в том числе буддологии: «Гуманитарная мысль рождается как мысль о чужих мыслях, волеизъявлениях, манифестациях, выражениях, знаках, за которыми стоят проявляющие себя боги (откровение) или люди (законы властителей, заповеди предков, безымянные изречения и загадки и т.п.). Научно точная, так сказать, паспортизация текстов и критика текстов – явления более поздние (это целый переворот в гуманитарном мышлении, рождение недоверия). Первоначально вера, требующая только понимания – истолкования» (Бахтин, 1979. С. 282.). Эти слова в полной мере имеют силу для исследователей буддийских текстов. Следует отметить, что «всякий текст имеет субъекта, автора (говорящего, пишущего)» (Бахтин, 1979. С. 282.). И это налагает особую специфику на гуманитарное исследование, ибо всякий текст, с одной стороны, представляя собой объективное отражение культурных традиций, как особой формы преемственности связей, идей, социально-экономических, географических, исторических условий функционирования идей, уровня теоретического знания эпохи, с другой стороны, есть продукт конкретной личности, обладающей своими способностями теоретического анализа, своеобразием изложения своих взглядов, обусловленными её интеллектом, мировоззренческой позицией, собственным уровнем знания, умом. В этом смысле следует отметить проблему «второго субъекта, воспроизводящего (для той или иной цели, в том числе и исследовательской) текст (чужой) и создающего обрамляющий текст (комментирующий, оценивающий, возражающий и т.п.)» (Бахтин, 1979. С. 282).

Условно можно выделить тексты первичного уровня и вторичного. Тексты первичного уровня – это непосредственный объект исследования. Вторичный уровень – это текст, включающий в себя комментарий к первичному тексту, а также его оценку. Воспроизведенный текст, как вторичный текст, содержит субъективное мнение воспроиз-

водящего, зависит от степени его эрудиции, ума и способностей, а также его мировоззренческих установок. Однако и он может стать первичным текстом, если становится непосредственным объектом исследования.

Буддийские тексты делятся на сутры, шастры, а также оригинальные сочинения буддийских мыслителей в странах распространения буддизма за пределами Индии. Сутры считаются текстами, содержащими высказывания Будды, записанными в разные времена, разными авторами. В этом смысле сутры как изречения самого Будды представляют собой изначальный текст, т.е. текст самого первичного уровня. С другой стороны, записанный другими людьми через много лет после жизни Будды, он не лишен влияния со стороны записывающего. Очевидно, поэтому он породил множество комментариев к нему. Классические индийские комментарии к сутрам называются шастрами. Каждый комментарий – это попытка интерпретации подлинного смысла высказываний Будды. Однако в такой попытке каждый автор вкладывал собственное понимание текста, которое, в свою очередь, определяло новые перспективы развития не только письменного творчества в буддизме, но и его школ и направлений. Так, например, истолкование буддийских сутр великими Учителями Нагарджуной и Васубандху обусловили формирование двух главных направлений развития Махаяны – мадхьямики и йогачары.

Разделение буддизма на Хинаяну и Махаяну обусловило два направления формирования буддийских текстов. Хинаяна создала тексты Винаи, Агамы, Абхидхармы. Махаяна в ранний период своей истории создала тексты сутр Праджняпарамиты, в более поздний – тексты сутр Вайпуля, Саддхармапундарики, Нирваны, Аватамсаки. Амитаизм в рамках дальневосточной махаянской сотеариологии представлен сутрами серии Сукхавати, Ваджраяна – текстами Тантры. Письменные традиции буддизма получили дальнейшее развитие в ареалах его распространения. Яркой особенностью распространения буддизма в других странах явился их перевод на другие языки, в первую очередь на китайский и тибетский. В Китае и Тибете письменная традиция буддизма получила особое развитие в соответствии с цивилизационными особенностями каждой страны и в зависимости от характера менталитета китайцев и тибетцев, распространившись впоследствии в сопредельных странах. Китайская буддийская письменная традиция – в Японии и Корее, тибетская – в Монголии и Бурятии. Популярность тех или иных текстов в каждой из этих стран зависела от особенностей культурного развития и

традиционного мировоззрения населения. В свою очередь, вписавшись в социокультурное пространство этих стран, буддийские тексты оказали значительное влияние на дальнейшее направление их культурной эволюции. При этом сама письменная традиция буддийских текстов под влиянием традиционных культур претерпела определенные трансформации.

Первые переводчики буддийской литературы, как в Китае, так и в Тибете, переводили подряд все сочинения, независимо от их принадлежности к тому или иному сотеариологическому или метафизическому направлению. В результате в каждой из этих стран был оформлен буддийский канон. В Китае – это Сань цзан (三藏 Трипитака), более известный, как «Да цзан цзин» (大藏, а в Тибете – Кангьюр (bka'-'gyur – «Слово Будды») и Тэнгьюр (bstan'gyur – «Шастры») ⁸³.

Китайский канон «Да цзан цзин» включает в себя переводы трех классических разделов индийского канона «Сутра-питаки» (Цзин-цзан, 藏); «Виная-питаки» (Люйцзан, 律藏); «Абхидхарма-питаки» (Лунь цзан, 藏). Помимо этого, он содержит раздел, который включает в себя переводы собственных произведений индийских буддистов, а также сочинения самих китайцев.

Формирование тибетского канона «Слова Будды» (Кангьюра, bka'-'gyur – *Перевод Слова*) началось в VII в. и продолжалось в течение всего периода «раннего распространения» (sngadar), длившегося около 200 лет. В результате почти полного уничтожения буддийской традиции во времена Ландармы последовал долгий перерыв в переводческой деятельности. В X в., с началом периода «позднего распространения» (phyidar – 958–1717 гг.), работа возобновилась и продолжалась 700 лет, в общей сложности в течение девяти столетий. В содержательном отношении все канонические тексты были распределены на два главных свода. Это первичный канон – Кангьюри вторичный канон – Тэнгьюр. В основу Кангьюра была положена Трипитака, а также в него включены сутры Праджняпарамиты и тексты Тантр (Eimer 2002, p. 7). Лишь небольшое число сутр было переведено с китайского языка, хотя в VII в. формирование китайского канона уже подходило к концу. Тэнгьюр также имел два главных раздела – сутр и Тантр, но имел и другие подразделы, в том числе нерелигиозной канонической литературы.

«Сутра-питака» в китайском каноне, включенном в каталог Нандзе, содержит тексты Хинаяны и Махаяны, представленные отдельными блоками,

⁸² В монгольской транскрипции – Ганчжур.

⁸³ В монгольской транскрипции – Данчжур.

а также блок, состоящий из текстов и Хинаяны, и Махаяны, включенных в состав «Да цзан цзин» в позднее время, в эпохи Сун (960- 12790 и Юань (1271–1368). Махаянские тексты состоят из разделов «Праджняпарамиты», «Ратнакуты», «Махасаннипады», «Саддхармапундарики», «Аватамсаки» и «Нирваны». Кроме того, существуют еще два раздела: «У да бувайчжун ши цзин» («Переводы сутр, не включенных в предыдущие пять разделов»); «Чань ши цзин» («Переводы сутр дхьяны») (В. Nanjio, 1883).

В тибетском каноне тексты «Сутра-питаки» не представлены отдельным блоком, следуют за текстами Винаи, состоят из разделов: «Праджняпарамита», «Аватамсака», «Ратнакута» и «Нирвана». Далее следуют еще два раздела: «Сутры», «Тантры». Существует еще одна деталь различия между китайским и тибетским канонами. Китайский канон составлялся из переводов исключительно с санскрита на китайский язык, в то время как тибетский канон, хотя и составлялся преимущественно из переводов с санскрита, но вместе с тем, включал в себя и переводы с китайского, уйгурского, хотанского и др. языков (Введение в изучение Ганчжура и Данчжура, 1989. С. 41,48).

Трудно переоценить значимость переводческой деятельности буддийских миссионеров в Китае и Тибете как для мировой культуры, так и для собственных национальных культур. Достаточно сказать, что ряд санскритских текстов буддизма сумел сохраниться лишь в переводах на китайский и тибетский языки, а сама переводческая деятельность в обеих странах обусловила формирование буддийской письменной традиции, которая, в свою очередь, оказала огромное влияние на развитие их собственных культур, в том числе и письменной, обогатив их словарный, фонетический и грамматический состав. О становлении буддийской письменной традиции в Китае и Тибете мы можем судить по сочинениям местных авторов, вошедших в состав раздела «Цзацзан» китайского канона и «Данчжур» тибетского канона. В этих сочинениях проявилось самостоятельное творчество китайцев и тибетцев в контексте буддийского мирозерцания с примесью национального колорита, отражающего специфические особенности китайского и тибетского буддизма, основные направления развития и содержания их письменного творчества.

Перевод на китайский язык составил одну из самых интересных страниц в истории переводов буддийских текстов на другие языки, а также в истории распространения буддизма в Китае. Первоначальный этап перевода буддийских текстов на китайский язык – это, по сути, этап рождения нового текста, причем текста не только нового, но и

текста совершенно иного порядка. Это не был текст одного автора. Это не был текст одного мировосприятия. Это был текст, включающий в себя синтез двух мировосприятий: индубуддийского и традиционно китайского. При этом следует сказать, что перевод текста с санскрита на китайский язык ни в коем случае не предполагал автоматического синтеза двух мировосприятий. Здесь дело обстояло иначе. В переведенных сутрах сохранялась первоначальная идея, которая дополнялась китайским колоритом. Степень наполнения китайским колоритом зависела, во-первых, от уровня знания переводчиком языков – китайского и санскрита, во-вторых, от уровня развитости методики и техники перевода в каждом конкретном времени, в-третьих, от степени эрудиции переводчика, его знания всех тонкостей буддийского вероучения, и, наконец, от его мировоззрения.

До знакомства с буддизмом китайцы не имели опыта перевода иноземных текстов. Первые переводчики буддийских сутр столкнулись с огромными трудностями, связанными со специфическими особенностями китайского языка. К моменту проникновения буддизма в Китай слова в китайском языке в подавляющем большинстве были односложными. Односложное слово, будучи первичной, исходной лексической единицей, было ограничено в своем составе одной морфемой, лишено аффиксов или каких-либо иных словообразовательных элементов (Горелов, М. 1989. С. 19). Это весьма затрудняло передачу иностранных терминов на китайский язык. Большим препятствием для передачи иностранных терминов была и соответствующая одноморфемному словообразованию многотональная фонетика. Все это естественным образом затрудняло перевод терминов и понятий иностранного языка на китайский. Огромным препятствием для переводов терминов и понятий и адекватного воспроизведения иноземного звукобуквенного письма была иероглифическая письменность.

Вместе с тем, этот язык, характеризующийся скудными средствами передачи чужого письменного опыта, накопил огромный опыт собственной письменной культуры, обладающей богатейшим категориальным аппаратом, который оформлялся в рамках философских традиций. По словам А.И. Кобзева: «Категории китайской философии суть также категории китайской культуры и их следует понимать как символы, заведомо предполагающие различные, в том числе и метафорические, и конкретно-научные, и абстрактно-философские уровни интерпретации. Важнейшие факторы формирования категорий как символов – это их образование: 1) на основе многосмысленных слов род-

ного языка, а не иноязычных терминологических заимствований (как это было в Европе, начиная с римской философии), 2) в рамках иероглифической, искусственной знаковой системы-вэньяня, -насквозь проникнутой полисемантизмом, 3) в недрах классификационной культуры, 4) с помощью «коррелятивного (категориального, ассоциативного) мышления» и 5) общепознавательной, нумерологической (сяншучжи – сюэ) методологии» (Кобзев, М. 2006. С. 71).

Философские воззрения о природе, обществе и человеке возникли в Китае в середине первого тысячелетия до нашей эры. Этому периоду была характерна недифференцированность форм общественного сознания, которая обусловила синкретизм, нерасчлененность форм его теоретического выражения, развивающихся, как правило, в рамках философского мировосприятия. В Китае синкретизм сохранялся на протяжении многих веков вплоть до XIX – XX вв. К моменту проникновения буддизма философские категории использовались в равной степени в области политики, сельского хозяйства, общественных отношений военного дела, астрономии, медицины, литературы, даже боевых искусств (Китайская философия. 1994. С. 5.). При этом категориальному аппарату китайской философии была присуща терминологическая устойчивость, обусловленная привязанностью китайцев ко всему традиционному. Такая высокая традиционность вынуждала средневековых философов, независимо от их принадлежности к какому-либо направлению, выражать свои взгляды, используя традиционные понятия и категории, а точнее, втискивать новое содержание в старые термины и понятия (Китайская философия. 1994. С. 5). Подобная практика передачи новых идей обусловила полисемантизм и взаимосвязанность терминов китайской философии, а в конечном счете их символический характер, доходящий порой «до совмещения противоположных значений» (Кобзев, 1986. С. 57). Все это обусловило развитие философской мысли Китая в рамках ограниченного набора категорий, который к тому же широко использовался практически во всех областях знания (Китайская философия. 1994. С. 7).

Буддизм, обладавший солидной философской аргументацией, с первых же шагов своего распространения в Китае вступил в наиболее тесное соприкосновение с философской традицией Китая. Поэтому неудивительно, что в своем первом опыте перевода чужих текстов китайцы в качестве эквивалентов буддийским понятиям использовали термины китайской философии, представляющей

собой наиболее развитым к тому времени понятийным арсеналом.

Символический характер терминов китайской философии способствовал переводу санскритских терминов на китайский язык через непосредственное использование семантически соответствующих терминов китайской философии, а их устойчивость, дополненная односложностью, ограниченной в своем составе одной морфемой, лишенной аффиксов или каких-либо иных словообразовательных элементов, обеспечила преимущество перевода через калькирование над транскрипцией. Методу калькирования способствовало и определенное сходство традиционно-китайских, в первую очередь даосских, и буддийских, главным образом махаянских, идей. Введение в буддизм терминов китайской философии облегчалось тем, что «лексикон традиционной китайской философии в широком смысле практически совпадает с естественным языком (в его письменно-литературном варианте – вэньяне)» (Кобзев, М. 1988. С. 20). Кроме того, «размытость границ между философией, наукой и литературой в Китае приводила к использованию единой терминологии в самых широких пределах» (Кобзев, 1988, С. 21). Поэтому термины китайской философии были наиболее приспособленными для перевода санскритских понятий и передачи буддийских идей.

Первые переводчики буддийской литературы широко использовали понятия традиционной китайской философии, в первую очередь даосские. Понятия китайской, а именно даосской философии, вводились в буддийские тексты, в них «втискивалось» буддийское содержание. Однако такое использование даосской терминологии не могло отличаться достаточной точностью. В силу своей устойчивости китайские термины сохраняли свое прежнее понятийное содержание, свою специфику. Они воспринимались в своем изначальном значении, но в буддийском контексте. По словам известного китайского ученого ТанЮнгуна, переводы ЧжиЧаня, одного из первых переводчиков буддийской литературы, более всего напоминали трактаты Лао-цзы и Чжуан-цзы (ТанЮнгун. Пекин. 1963. С. 108). Однако первые переводчики сумели передать основную суть буддийских текстов – это их сотериологическое содержание, составляющую основу основ буддийского учения. Вместе с тем, неточность передачи содержания буддийских текстов была очевидной. Первые переводчики буддийской литературы терпеливо, шаг за шагом искали пути и методы высвобождения буддийских текстов от наслоения традиционной мысли и более точной передачи сути изначального текста. Гигантские

усилия первых переводчиков буддийских текстов, их мучительные поиски новых форм и методов более точной передачи содержания буддийских идей, растянувшиеся на два столетия, подготовили благодатную почву для деятельности Кумарадживы и его учеников, сумевших довести усилия первых буддийских переводчиков и комментаторов до их заветной цели. Суть её – дать возможность китайцам познакомиться с буддийской литературой в том виде, в каком она создавалась у себя на родине в Индии. Однако, знакомство с буддийскими текстами в том виде, в каком они создавались у себя на родине, не могло удовлетворить в полной мере китайцев, воспитанных на богатейших культурных традициях. Здесь стали создаваться собственные письменные тексты буддизма. На формирование этих текстов большое влияние оказали сотериологические ориентиры, сформированные на китайской культурной почве.

Главный сотериологический ориентир здесь был сформулирован Дао Шэном, выдвинувшим тезис о внезапном и мгновенном достижении состояния Будды («*悟成佛*, дунь у чэнфо), подразумевающим возможность достижения спасения в настоящей жизни. Проблема достижения спасения в настоящей жизни была весьма актуальной для конфуциански настроенного менталитета китайцев, ориентированного на ценности только настоящей жизни вне контекста перерождений. Поэтому неудивительно, что содержание многих сочинений китайских буддистов было посвящено разработке этой проблемы, а поскольку идея спасения в настоящей жизни была созвучна праджняпарамитским текстам, то закономерным было развитие письменного творчества китайцев в праджняпарамитском направлении. Абхидхармическое направление, содержащее описание потока сознания в контексте его перерождений, не отрицалось китайцами, однако особого успеха как путь к спасению не имело. Вместе с тем, понятия, суждения, способы аргументации Абхидхармы весьма импонировали китайцам, имеющим богатые традиции своей древней философии, поэтому широко использовались как дополнительное средство постижения Праджни.

История перевода буддийских текстов на тибетский язык имела не столь драматический характер, как в Китае, в силу того, что тибетский язык был лишен тех фонетических, грамматических и графических особенностей, которые препятствовали бы переводу иноземных текстов, как в случае с китайским языком. Зато опыт тибетских переводчиков Дхармы – лоцавов – является уникальным с точки зрения аутентичной передачи смысла буддийских теорий и понятий. Тибетскими лоца-

вами был изобретен метод взаимно однозначного морфолого-семантического соответствия и с его помощью сконструирован письменный язык тибето-буддийской традиции. Буддийская терминология, созданная КабаПалцегом (VIII в.), содержит восемь тематических разделов [KabaPaltseg 1992, p.VI].

Система стандартизированной категоризации тем Учения Будды, разработанная КабаПалцегом, легла в основу дальнейшей канонизации буддийских учений и текстов. Ее тщательно разработанная структура свидетельствует о том, что тибетские лоцавы VIII в. были учеными, авторами самостоятельных трудов по буддийской философии. Они были подлинными мастерами Дхармы. Тибетские ученые настолько совершенно переводили санскритские тексты, что сегодня стало возможным реконструировать утерянные санскритские оригиналы с тибетского. Эти проекты осуществляются в Центральном университете высшей тибетологии в Сарнатхе (Индия).

Стандартизация буддийских терминов достигла высшего развития в публикации санскритско-тибетского словаря '*Махавьютпатти*' ('*Bye-brag-turtogs-parbyed-pachen-po*' – '*Большой словарь сущностной терминологии*'). Хотя он не датирован точно, обычно его связывают с правлением ТисронДецена [Pagel 2007, p. 151], хотя имеется также точка зрения, что он появился при короле ТиРалпачене (815–841) (Кычанов. 2005). Будучи фактически первым двуязычным словарем, самым известным и наиболее широко используемым в индо-тибетской филологии, он до сих пор находится в обращении у специалистов в качестве справочного лексикографического труда.

'*Махавьютпатти*' содержит около 10000 словарных единиц, распределенных в 283 семантические рубрики [Ishihama&Fukuda 1989]. Он разбит на три тома – Хинаяны, Махаяны и том индексов. Было сделано три издания, которые хранились в монастырских библиотеках ПодрангДенкар, Пантанг и Чимпу (Keown 2003, p. 167; Vitali 1990, p. 19). Сегодня он доступен в трех изданиях (Sakaki 1962; Ishihama&Fukuda 1989; Sárközi 1995), сделанных по тибетским и монгольским источникам (Pagel 2007, p. 151). Монгольским продолжением словаря '*Махавьютпатти*' считается тибетско-монгольский словарь XIII в. '*Источник мудрецов*' (Dagyigmkhas-pa'i 'byunggnas) – основное лексикографическое пособие, использовавшееся при переводе Кангьюра и Тэнгьюра на монгольский язык.

Наиболее общим методом терминологической стратегии, применявшейся тибетцами, было скорее создание новых тибетских терминов, не-

жели использование заимствованных санскритских слов, например, тибетского термина «chos» для санскритского слова *Дхарма*, обозначающего Учение Будды. Хотя тибетцы очень неохотно заимствовали санскритские слова, им приходилось использовать некоторые из них в транслитерированном и натурализованном виде, но все же, по замечанию М. Капстейна, предпочтение отдавалось изобретению новых тибетских терминов (Kapstein 2003, p. 758).

Помимо *‘Махавьютпатти’* тибетцы пользовались другим билингвным лексиконом – тибетской версией *‘Амаракоши’*, трактата по метрике – индийского автора Аварасимхи. Существовали также лексиконы, составленные самими тибетцами. Н.Д. Болсохоева в качестве примера таковых называет *‘Абхидханавачанакошу’*, автором которой является ученый из Сакья Маньчжугоша, и энциклопедический свод *‘Сакья-камбум’* – собрание сочинений пяти сакьяских лам (Болсохоева 1995, с. 111).

Во время правления короля Садналега (IX в.) были созданы такие систематизированные списки буддийской литературы, как *‘ГарчагПантанма’* и *‘ДонтанДангар’*. Можно выделить следующие характерные признаки тибетской стратегии обеспечения аутентичности буддийских канонических текстов: 1) государственный заказ и непосредственное руководство со стороны тибетского царя – *цэнпо*, коллективной работой по созданию тибетского буддийского канона; 2) создание тибетской письменности, специально предназначенной для аутентичного выражения Учения Будды, – *языка Дхармы*; 3) стремление к исключению влияния специфических тибетских мировоззренческих паттернов при выражении буддийских философских учений, проявлявшееся в отказе от использования традиционной тибетской понятийности и терминологии и в создании новых тибетских терминов для передачи санскритских понятий; 4) принципиальное сотрудничество при создании буддийского канона с индийскими пандитами и ачарьями – носителями аутентичной линии передачи буддийских учений; 5) заимствование индийской традиции общественной и государственной экспертизы буддийских текстов; 6) принципиальная открытость тибетского канона для ревизии и редактирования с целью обеспечения содержательной аутентичности; 7) каноническая литература и устная трансмиссия Учения Будды служили опорой друг для друга, хотя первичную роль играла устная трансмиссия; 8) тексты Тэнгьюра, в особенности сочинения 17 ученых Наланды, служили тибетцам опорой интерпретации текстов Кангьюра.

Огромную роль в становлении классической буддийской письменной традиции Тибета сыграл индийский *пандита* Дипамкара Шриджняна, знаменитый Атиша (982-1054), прибывший в Тибет в 11 веке. Он изложил в концентрированном виде суть индийской традиции «постепенного» пути просветления, обоснованной 17 пандитами индийского монастыря Наланда, в сочинении «Светильник Пути Просветления» (*Bodhipathapradipa*), написанном им специально для тибетцев. Это сочинение положило начало формирования в Тибете письменных текстов класса «Ламрим» (Урбанаева, 2013, с. 106, 107), а переданные им учения легли в основу традиции Кадам (bka’-gdams), от которой появилось все многообразие буддизма в Тибете, представленное как старой школой Ньингма, так и школами «второй волны распространения» – Кагью, Сакья и Гелуг.

Сотериологические принципы «постепенного пути», изложенные в сочинении Атиши, получили дальнейшее развитие и систематизацию в учении выдающегося мыслителя – реформатора ЧжеЦонкапы. Им было дано «наиболее основательное с теоретической и практической точек зрения изложение системы «Ламрим» в контексте классических линий преемственности» (Урбанаева, 2013. С. 107). ЧжеЦонкапа составил в этом русле три сочинения по Ламриму: «Большой Ламрим», «Средний Ламрим» и «Малый Ламрим». Из всех этих сочинений наиболее почитаемым является первый – «Ламримчен-мо». Это сочинение, по словам выдающегося тибетского ламы начала XX в. Пабонгка Ринпоче является «высшей презентацией всего безупречно целостного учения Чжово (Атиши) в качестве глубинных, особенных, несравненных инструкций, позволяющих реализовать Единство на уровне Более-Не-Учения за одну короткую жизнь в эпоху упадка» (Цит. по: Урбанаева, 2013. С. 115).

Тексты, излагающие учение *Ламрим*, стали «в Тибете и в монгольском мире основной формой экспликации и публичной презентации буддийской Дхармы и Пути. Каждая школа тибетского буддизма имеет свои базовые тексты по *Ламриму*». Наибольшее значение учению *Ламрим* придается в традиции Гелуг, получившей распространение в Монголии и Бурятии» (Урбанаева, 2013.). Характерной особенностью формирования письменных текстов Монголии является тот факт, что, развивая линию преемственности письменной традиции Тибета, монголы стали переводить буддийские тексты с тибетского на монгольский (старописьменный) язык, создавать на этом же языке оригинальные сочинения (Гантуя М. Преподавание и исследования

буддизма в Монголии // Вестник Бурятского научного центра. № 2. 2013. С. 134)

На монгольский язык были переведены буддийские каноны Ганчжур и Данчжур. Вместе с тем, перевод Ганчжура и Данчжура на монгольский язык ни в коем случае не означал, что монгольские варианты этих канонов вытесняли тибетские тексты. Тибетские тексты сохраняли свой сакральный смысл. По мнению С.И. Шоболовой, «перевод на монгольский язык Ганчжура и Данчжура был формальным вопросом престижа и не приобрел полноценной практической актуализации» (Шоболова С.И. 2009. С. 131). Большую популярность буддийские тексты на монгольском языке приобрели в авторском исполнении монголов в жанре дидактической литературы, нравоучительной проповеди, а также в религиозной биографии (См.: Шоболова С.И. 2009. С. 131).

Помимо сотериологических ориентиров на формирование буддийской письменности Китая и Тибета оказало влияние и социально-политическое положение, которое занимал буддизм в каждой из стран. В Китае, даже во времена своего наивысшего расцвета, буддизм никогда не претендовал на политическое доминирование, всегда оставался лишь одним из учений, имеющих свою определенную сферу. Рамками этой сферы ограничивалось письменное творчество буддистов. Поэтому, несмотря на свое влияние на литературу, искусство, традиционную философию, буддизм никогда не выходил за рамки религиозной сферы, его тексты всегда оставались сотериологически направленными.

В Тибете буддизм, получивший самый высокий политический статус, сумел заполнить все сферы жизнедеятельности общества, включая и сугубо светские. Поэтому Данчжур – это гораздо большее, чем религиозный канон. Это энциклопедия знаний. Мировоззренческий аспект всегда в ней занимал одно из центральных мест, поэтому буддийская письменность в Тибете не была сотериологически детерминированной.

Социально-политические доминанты определили характер развития буддизма и его письменного творчества и в Монголии. Эти доминанты обусловили формирование концепции «единства двух законов», которые были сформулированы Пагба Ламой в период правления Хубилай-хана.

Концепция единства «двух законов» была изложена в «Белой истории» («Цаган Теуке»). Полное название этого памятника «Белая история о десяти добродетелях» (Ш.Бира. 1979. С. 90). Учение о десяти добродетелях, которым противостоят десять негативных деяний, представляет собой эти-

ческую концепцию буддизма, занимающую одно из центральных мест в буддийской сотериологии. Оно получило детальную разработку в сочинении Цзонкапы «Ламримченмо» («Великий Ламрим») как путь, ведущий последователей буддизма к спасению. Однако в «Белой истории» этот путь был предназначен прежде всего правителям, адресован правящей элите, высшим иерархам ламаистской церкви. По словам Ш. Бира, «Белая история» «являлась кормчей книгой монгольских хаганов, призванной, как говорится в монгольских источниках, внедрять законы десяти добродетелей» (Ш. Бира. 1979. С. 90).

В памятнике получила разработку проблема соотношения светской и духовной власти в виде «двух законов» в управлении государством. При этом, признавался примат светской власти над буддизмом, буддийская церковь использовалась монгольскими правителями в их политических целях. Как считает Ш.Бира, «Белая история явилась отражением попыток монгольских правителей использовать буддизм для создания государственной организации в противовес китайской бюрократии, пытавшейся построить юаньское государство по китайскому образцу» (Ш.Бира. 1979. С. 97).

В деятельности выдающегося монгольского политика, мыслителя и религиозного деятеля Занабазара (1635-1723) и последующих глав монгольской буддийской церкви нашло свое отражение реальное воплощение «единства двух законов» – светского и духовного, были окончательно установлены основные принципы этого единства. Единство двух законов распространялось не только на политическую сферу деятельности глав церкви, оно охватывало собой и повседневную жизнь простых людей, определив тем самым специфические особенности «социального лица» буддизма на монгольской земле. Это «лицо» было привнесено и на территорию Бурятии.

Принцип единства двух законов – светского и духовного, имевший большое значение в политических реалиях Монголии, в Бурятии теряет свою политическую окраску, становится популярным главным образом на социокультурном и бытовом уровне. Этот принцип обусловил синкретизм духовного и светского, явившийся важнейшим фактором становления и развития письменных текстов буддизма, которые способствовали успешному внедрению буддизма в сознание бурят. Выдающиеся бурятские религиозные деятели – писатели Г.-Д. Данжинов, И.-Х. Гальшиев, Г.-Ж. Дылгиров, Г.-Ж. Тугулдууров, Р.Номтоев и др. – свои сочинения, адресованные широким слоям населения,

писали исходя из этого принципа. Бурятские авторы писали свои сочинения на тибетском и старописьменном языках. Как и в Монголии, большой популярностью среди бурят пользовалась дидактическая литература.

Известное сочинение Ирдэни-Хайбзун Гальшиева «Зерцало мудрости», переведенное Ц.А. Дугар-Нимаевым на русский язык, уже в своем названии присягает на верность принципу единства двух законов. Полное название сочинения – «Зерцало мудрости, разъясняющее и отвергаемое по двум законам». Это сочинение представляет собой яркое отражение синкретизма светского и духовного. По сути оно представляло собой свод правил, регламентирующих поведение бурят в их повседневной жизни, затрагивающих практически все стороны их хозяйственной, культурной и социальной жизни. При этом правила светской жизни были строго подчинены буддийской морали, в основе которой лежали известные «десять благих» и «десять негативных деяний», ставшие, как и в Монголии, важнейшими принципами социальной регуляции. Ч.Ц. Цыренов, характеризуя это сочинение, пишет: «В своем сочинении Гальшиев уделил большое внимание проблемам социально-этического и религиозного характера, он в изящной афористической форме подробно рассмотрел проблемы гармоничной социо-культурной коммуникации людей в самых различных статусно-ролевых ситуациях (высший – низший, старший – младший, богатый – бедный, гость – хозяин и т.д.), включая конфликтные выигрышные и конфликтные проигрышные. В различных ситуациях любой человек может быть и выше и ниже кого-либо, и старше и младше кого-либо, и богаче и беднее кого-либо и т.д. Автор подробно рассматривает особенности таких ситуаций и дает читателю свои советы» (Цыренов, 2013. С. 40).

Бурятские ламы сумели разглядеть в проповедях «десяти благих деяний» и отрицании «десяти негативных» широкие возможности распространения своего влияния не только на духовно-нравственную жизнь мирян, но и на все стороны их социального бытия. Изложение «мудрости» в контексте синкретизма духовного и светского характерно творчеству и других бурятских писателей. В своих сочинениях один из самых ярких представителей бурятского духовенства Л-Д. Данжинов дает рекомендации по обустройству своего бытия – от обустройства домашнего очага вплоть до отношений всех членов социума.

В рамках тибетско-монгольской письменной традиции в Бурятии была сформирована собственно бурятская просветительская литература, развивавшаяся в контексте буддийских сотериологических и

этических принципов. Наиболее популярным жанром просветительской литературы стал жанр субхашит, которому был характерен доступный стиль изложения, выгодно отличающий его от сплошных текстов религиозного нравоучения в стиле комментариев на положения Ламрим.

В Бурятии, так же как и в Тибете и Монголии, большое распространение получили работы, посвященные комментариям к текстам Ламрим, в особенности к тексту Цзонкапы «Великий Ламрим» («Ламримчен мо». Согласно исследованиям С.И. Шоболовой «В форме толкований и иллюстрирования определенных аспектов этого сочинения написан целый ряд сочинений Данжинова, Гальшиева и анонимных авторов» (Шоболова, 2013. С. 117).

Повышенный интерес бурятских религиозных деятелей к этому сочинению она объясняет тем, что бурятских авторов «несомненно, привлекала капитальность и системность изложения и расположения материала в этом произведении Цзонкапы, а также его религиозно-практическая направленность».

Говоря о письменной традиции в Тибете, Монголии и Бурятии, необходимо особо обратить внимание на тексты Тантры. Тантрийские тексты, относящиеся к Ваджраяне, пользовались большой популярностью в этих странах, считались сокровенными. Практиковать тантру могли лишь наиболее просвещенные. Она ориентировала людей на достижение спасения при настоящей жизни.

В период первоначального распространения буддизма в Тибете у тибетцев была возможность выбора китайского (чаньского) варианта достижения спасения в настоящей жизни, проникавшего из Китая в Тибет. Однако известная дискуссия между Хэшаном Махаянадэвой и Камалашилой решила этот вопрос не в пользу китайского варианта (Урбанаева, Петонова, 2013).

Сотериологические возможности достижения состояния Будды в настоящей жизни тибетцев были восполнены тантрийской практикой, что обусловило популярность текстов Ваджраяны - тантр в Тибете, а также развитие письменного творчества тибетских буддистов в этом направлении. О значимости текстов Ваджраяны для тибетцев говорит и тот факт, что тантры в «Ганжуре» составляют отдельный, самостоятельный раздел, в Данжуретантрийские шастры представлены в самом большом количестве.

Прохладное отношение китайцев к текстам Тантры, очевидно, было связано с тем, что к моменту проникновения Ваджраяны в Китай там уже прочно пустили свои корни чаньскиесотериологические принципы мгновенного достижения нирва-

ны при настоящей жизни, опирающиеся на хорошо разработанную практику медитации и утонченную метафизику, обнаружившую близкие черты с традиционной философией.

Подводя итоги вышесказанному, еще раз подчеркнем исключительную значимость письменных текстов буддизма как у себя на родине, так и в странах ареала его распространения. Возникнув в стране с высоким уровнем цивилизации, с весьма развитой письменной традицией, буддизм создал собственные тексты в огромном количестве и в большом разнообразии философского, психологического, социологического, этического и эстетического содержания. В этих текстах отразилось все богатство духовных ценностей буддизма. Распространяясь в другие страны – Китай, Тибет, Монголию и Бурятию, буддийские тексты претерпели определенную трансформацию, в результате которой были оформлены три направления развития письменных текстов буддизма. Это китайская, тибетская и тибетско-монгольская. Вобрав в себя весь колорит национальных традиций этих стран, буддийские тексты оказали огромное влияние на дальнейшее направление их культурной эволюции, составив при этом неотъемлемую часть их культурного наследия, его существенный и необходимый компонент.

ЛИТЕРАТУРА

Бахтин М.М. 1979. Проблема текста в лингвистике, филологии и в других гуманитарных науках. Опыт философского анализа // Эстетика словесного творчества. М.: Искусство. 424 с.

Бира. 1978. Монгольская историография (XIII–XУП вв.). – М.: Главная восточная литература. 380 с.

Введение в изучение Ганчжура и Данчжура. 1989. Новосибирск: Наука. 196 с.

Гантуя М. 2013. Преподавание и исследования буддизма в Монголии // Вестник Бурятского научного центра. Улан-Удэ. № 2. С. 130-136

Горелов В.И. 1989. Теоретическая грамматика китайского языка. М. Наука. 318 с.

Кобзев А.И. 2006. Категории и основные понятия // Духовная культура Китая. Т.1. Философия. М.: Восточная литература. С. 66-81.

Кобзев А.И. 1988. Особенности философской и научной методологии в традиционном Китае // Этика и ритуал в традиционном Китае. М.: Наука. С. 17-55

Кобзев А.И. 1986. Методологические особенности классической китайской философии и категория «пять элементов» // История и культура Восточной и Юго-Восточной Азии. М.: Наука. Ч. 1. С. 57-76.

Китайская философия. 1994. Энциклопедический словарь. М.: Мысль. 573 с.

Ламаизм в Бурятии XVIII - нач. XX в. 1983. Улан-Удэ: Наука. 240 с.

Пабонгка Ринпоче. Ламрим: Освобождение в наших руках (Lamrimnamgrolagbcangs) / Пабонгка Ринпоче. 2008а. Изд. тиб. текста: Триджанг Ринпоче; пер. с тиб., вступ. ст. и коммент. И.С. Урбанаевой. Т. I, кн. 1. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН.

Пабонгка Ринпоче. Ламрим: Освобождение в наших руках (Lamrimnamgrolagbcangs) / Пабонгка Ринпоче. 2008б. Изд. тиб. текста: Триджанг Ринпоче; пер. с тиб., коммент. и примеч. И.С. Урбанаевой. Т. I, кн. 2. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН.

Урбанаева И.С. 2013. Труд тибетского мастера Дхармы Пабонгка Ринпоче ‘Lamrimnamgrolagbcangs’ (‘Ламрим: Освобождение в наших руках’) как источник сущности Учения Будды / И.С. Урбанаева // Буддийские тексты Китая, Тибета, Монголии, Бурятии. – Улан-Удэ: изд. БГУ. 107-124 с.

Урбанаева И.С., Петонова Д. 2013. «Великие дебаты в Самье» и вклад Атиши и Цонкапы в утверждение индо-тибетской традиции Ламрим как основы буддийской цивилизации Тибета // Вестник Бурятского научного центра. Улан-Удэ. № 1. С. 136-150.

Цыренов Ч.Ц. 2013. Основные концепции и понятия произведения Э.-Х. Галшиева «Зерцала мудрости» // Вестник Бурятского госуниверситета. Улан-Удэ, № 10. С. 40-44.

Шоболова С.И. 2009. Буддийские письменные тексты в Бурятии // Буддийские тексты Китая, Тибета, Монголии и Бурятии». Улан-Удэ. С. 130-159.

Шоболова С.И. 2013. Особенности содержания и структуры произведений бурятских религиозных авторов на монгольском языке // Буддийские тексты Китая, Тибета, Монголии и Бурятии». Улан-Удэ. 167-179 с.

Янгутов Л.Е. 2012. Письменные тексты буддизма в религиозно-философской традиции Китая и Тибета // Вестник Бурятского госуниверситета. Улан-Удэ. Вып. 14. С.12-14 .

Янгутов Л.Е. Из истории становления письменной традиции Китая // Вестник Бурятского госуниверситета. Улан-Удэ. Вып. 14. С. 48-50.

Янгутов Л.Е. 2007. Традиции Праджняпарамиты в Китае. Улан-Удэ. : Изд. БГУ. 272 с.

23. Eimer H. & Germano D. 2002. & Blezer H. W. A. (eds.). *The Many Canons of Tibetan Buddhism*. – Leiden: Brill.

KabaPaltseg. *Choskyirnamgrangskyibrjedbyang* // Peking Tenjur, No. 5849

KabaPaltseg. *Choskyirnamgrangs* // Peking Tenjur, No. 5850.

KabaPaltseg. 1992. *A Manual of Key Buddhist Terms: A Categorization of Buddhist Terminology with Commentary* / Transl. by Thubten K. Rikye and Andrew Ruskin. – Dharamsala: LTWA.

В. Nanjio. 1883. A Catalogue of the Chinese translation of the buddhist Tripitaka. - Oxford.

Тан Юнтун. 1963. Хань, Вэй, лян Цзинь, Наньбэй-чаофэцзяо ши (История буддизма эпох Хань, Вэй, двух Цзинь, Южных и Северных царств). Пекин. Т. 1.

ОСНОВНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Тибетская медицина является неотъемлемой частью традиционной культуры народов Центральной Азии – большого региона, включающего наряду с другими Индию, Тибет, Монголию и Бурятию (Центральная Азия..., 1987. С. 3). В этом ряду Тибет на протяжении своего более чем тысячелетнего развития всегда оставался открытым для разнообразных контактов с культурой центральноазиатских народов, что в значительной степени было обусловлено его географическим положением, политической историей, буддийской традицией. Более того, для некоторых народов Центральной Азии Тибет становится духовным центром, и тибетский язык начинает играть роль сходную с ролью латыни в средневековой Европе (Востриков, 1962. С. 11). Такое тесное взаимодействие породило известную общность, типологическое сходство их материальной и духовной культуры, литературных традиций.

Важным этапом в изучении общего культурного наследия народов Центральной Азии представляется исследование текстов тибетской медицины, имеющей большой ареал распространения: Монголия, Непал, Бутан, Пакистан, Индия, Китай и Россия. Несмотря на масштаб культурного влияния, многообразная медицинская литература Тибета, насчитывающая тысячи произведений, едва ли широко известна современному научному сообществу. До сих пор в зарубежной и отечественной исследовательской литературе нет ясного представления об объеме, структуре, жанрово-тематическом характере письменных памятников тибетской медицины, бытующих в истории традиционной культуры центральноазиатских народов.

Данная статья представляет собой результат комплексного анализа основных тибетских, монгольских и бурятских медицинских текстов в широком контексте историко-культурных взаимосвязей. Исследование, проведенное в рамках проекта «Традиции и инновации в истории и культуре», показало, что на развитие тибетской медицины, особенно на начальном этапе, большое влияние оказали разные медицинские и мировоззренческие системы, вплоть до греческих традиций (Beckwith, 1979). Но в первую очередь это касается Индии с ее богатейшей письменной культурой, которую восприняли тибетцы наряду с буддийской традицией. Так, после VII века, с приходом буддизма из Индии в Тибет, с обретения письменности и появле-

ния тибетской литературы (Cabezón, 1996) начала складываться и тибетская медицинская доктрина, апеллирующая принципами и понятиями буддийской философии. Именно через буддизм тибетцы познакомились с аюрведической медициной Индии. Аюрведа к тому времени находилась в самом расцвете и уже имела тысячелетнюю историю с высокоразвитой письменной традицией, которая основывалась на еще более ранних устных источниках, уходивших своими корнями к эпохе Вед.

Распространение буддизма в Тибете, а затем и в Монголии, Бурятии, стимулировало развитие уникальной тибетской системы врачевания с ее обширной письменной традицией. Так, в данной статье репрезентативной основой для жанровой характеристики тибетских медицинских сочинений послужили памятники письменности, хранящиеся в тибетском фонде Центра восточных рукописей и ксилографов (далее ЦВРК) Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, шифры хранения которых указаны здесь в скобках. Наряду с ними привлекались и другие важные произведения тибетской медицины, отсутствующие в коллекции ЦВРК.

Прежде чем перейти к описанию, систематизации каждого класса сочинений, следует сразу оговориться, что в самой тибетской медицине не была сформирована какая-то конкретная, жестко установленная схема классификации обширного корпуса медицинских трактатов (*тиб.* sman gzhung). Но в целом в тибетской традиции существовало деление всей научной литературы на две неравнозначные по объему группы: коренной текст (*тиб.* rtsa ba/ *санскр.* mula) и комментарии (*тиб.* 'grel pa/ *санскр.* vṛitti). Подобное разделение было заимствовано тибетцами из индийской традиции комментирования основного текста по какой-либо научной отрасли. В Индии общим правилом написания комментаторских трактатов было наличие «коренного текста», содержащего основные правила, положения или афоризмы, большей частью в форме кратких стихов, рассчитанных для быстрого запоминания наизусть. На эти основные правила впоследствии составлялись подробные комментарии и субкомментарии. Таков был порядок составления трактатов в индийской математике, грамматических трудах, в теории поэзии, в различных философских системах и т.д. Что касается медицины, то трактат Вагбхаты (VI в.) «Аштанга-хридая-самхиту» от-

носят к подобному роду «коренных текстов». В тибетской же медицине «коренным текстом» считался трактат «Чжуд-ши», написанный в стихотворной форме и сжато излагающий основные положения медицинской теории и практики. Поэтому все остальные сочинения, написанные после появления «Чжуд-ши», считались лишь комментариями к нему.

Переходя к характеристике медицинских текстов необходимо отметить, что здесь встречаются отдельные группы сочинений весьма неоднородного содержания, включающие и терминологические, и исторические, и фармакологические и пр. сведения, и иной раз между ними бывает очень трудно провести строгую жанровую дифференциацию. Для примера здесь можно упомянуть «Кунсел-нандзо» – составление лекарственных эликсиров» (ТТМ-192), первые четыре раздела которого посвящены фармакологии, а последний – лечебным процедурам. Между тем, современными исследователями предлагаются определенные классификационные схемы тибетской медицинской литературы, хранящиеся в российских фондах. Основу одной из них составляют 7 групп сочинений (Аникеева, 1983. С. 59-60), а во второй выделяются 3 основные группы текстов (Сыртыпова, 2006. С. 81). На наш взгляд, предпочтительнее всего здесь выглядит схема из 7 групп сочинений, которая более полно отражает специфические особенности данной литературы. Однако в нашей работе, исходя из состава медицинских сочинений коллекции ЦВРК, эта схема жанровой классификации из 7 групп сочинений была расширена до 11.

Предложенная нами систематизация включает следующие главные темы: история медицины; первоисточники; комментарии; рецептурные справочники; сочинения по фармакологии; терминологические медицинские словари; сочинения, содержащие оглавление или перечень глав, тем, освещаемых в различных медицинских трактатах; тексты, содержащие перечень полученных медицинских учений; трактаты медицинского содержания из буддийского канона и обрядовые медицинские тексты.

I. История медицины. Сочинения по истории медицины освещают исторические аспекты тибетской медицины: процесс формирования, функционирования, развития медицинских традиций, преемственность передачи медицинских знаний. Содержат историко-библиографические, биографические сведения и жизнеописания выдающихся древнеиндийских, тибетских ученых и врачей.

В коллекции ЦВРК хранится единственный исторический текст «Кокбук» (ТТМ-215), представляющий собой развернутое повествование

истории индо-тибетской медицины, начиная с самого зарождения и кончая началом XVIII в. Текст составлен в 1703 г. регентом Далай-ламы V (1617-1682) Деси Сангье Гьяцо (1653-1705). Он, опираясь на многочисленные письменные источники, созданные буддийскими деятелями эпохи древности, раннего и среднего средневековья, излагает историю медицинской науки Древней Индии и Тибета. «Кокбук» Деси Сангье Гьяцо, будучи крупнейшим памятником тибетской медицинской исторической литературы, до сих пор привлекает особое внимание как самих тибетских ученых, так и современных исследователей (Жабон, 2002; Деси Сангье Гьяцо, 2013).

Для обозначения данного класса произведений тибетцы используют несколько характерных терминов, которые встречаются в названиях, хотя и не во всех, медицинских исторических сочинений. Из них наиболее употребительным является слово *кокбук* (khog 'bugs), и, по всей видимости, оно представляет собой образец древнего тибетского термина, применяемого для обозначения исторических сочинений по медицине.

Из ранних тибетских исторических произведений жанра *кокбук* на сегодняшний день сохранилось немного. Отдельные экземпляры были редкостью еще в конце XVII в. и, возможно, даже утрачены. В настоящее же время доступны лишь несколько текстов *кокбук*, в числе которых «Кокбук-кьончен-динва» Юток Йонтена Гонпо (1126-1202), «Шеджачи-кокбук» Суркарвы Лодро Гьялло (1509-?) и «Лекше-нгулкар-мелонг» Цоме-кенчена (XVI в.). Из них только последняя работа подробно рассмотрена в специальной литературе (Czaja, 2005-2006. P. 153-172).

Источники жанра *кокбук* заслуживают особого внимания современных исследователей, поскольку позволяют получить наиболее верное представление об объеме, структуре и особенностях тибетской медицинской исторической литературы.

II. Первоисточник. Выше указывалось о разделении всей научной литературы на коренной текст и комментарии. Под первоисточником здесь в первую очередь имеется в виду «коренной текст», или основные медицинские источники, среди которых, как уже упоминалось, центральным является «Чжуд-ши». Появление же самого «Чжуд-ши», датируемое некоторыми исследователями XII в., было обусловлено активным процессом ознакомления с медицинскими традициями сопредельных стран и переводом их текстов, способствовавшими созданию оригинальных тибетских сочинений. Несмотря на отмечаемые современными исследователями многочисленные заимствования из других

традиций, дошедшая до нас версия «Чжуд-ши» представляет собой концептуально целостный, органичный и строго канонизированный медицинский текст (Юток Йонтен Гонпо Младший, 2001).

В коллекции ЦВРК к первоисточнику, несомненно, относится «Чжуд-ши», состоящий из четырех томов или тантр и включающий 156 глав: первый том – «Тантра основ» из 6 глав, второй том – «Тантра объяснений» из 31 главы, третий том – «Тантра наставлений» из 92 глав и четвертый том – «Дополнительная тантра» из 27 глав.

Также к первоисточникам относят и другие сочинения, не опирающиеся на текст «Чжуд-ши», созданные до или после его появления, оказавшие существенное влияние на развитие тибетской медицины. К подобным текстам относят прежде всего «Сомараджу» и некоторые аюрведические тексты, включенные в тибетский буддийский канон «Тенгьюр», такие как «Дживасутра» Нагарджуны (II в.), вышеупомянутая «Аштанга-хридая-самхита» Вагбхаты и т.д.

III. Комментарии. Тексты этой группы содержат подробные толкования «коренных текстов», трудных и неясных мест первоисточников согласно традициям соответствующих тибетских медицинских школ. Также практикуется такой жанр, как субкомментарий или «комментарий на комментарий». По числу текстов и их объему данная группа разъяснительных источников представляет собой самую значительную часть медицинской литературы Тибета. Как правило, в заглавиях подобных сочинений встречаются указания на комментаторский характер текстов: комментарий (тиб. 'grel pa/ санскр. vṛitti, vivṛiti), разъяснение (тиб. bshad pa) и т.д.

Вкратце остановимся на отдельных типах комментариев к «Чжуд-ши» и терминологических обозначениях, которые были разработаны в тибетской медицинской традиции и получили широкое распространение в Монголии и Бурятии.

В медицинской коллекции ЦВРК хранятся две копии текста *деудрем* (rde'u 'grem), переписанные от руки, которые содержат фрагмент «Тантры основ» – первого тома «Чжуд-ши». Один из них называется «Дерево медицины» из «Тантры основ» (ТТМ-200), а второй: «Драгоценное ожерелье» – «дерево медицины» из «Тантры основ» (ТТМ-211).

Спецификой тибетских обучающих текстов *деудрем* или *дондем* (sdong 'grem) является то, что на примере большого дерева, на котором растут 3 корня, 9 стволов, 45 ветвей, 224 листа, 5 цветов, 3 плода и плод лекаря, разъясняют все теоретические и практические положения тибетской медицины (Ванду, 1983. С. 270, 280-281.). Главным образом

они охватывают три последние главы «Тантры основ» и первую главу «Тантры объяснений». Согласно традиции, метод *дондем* – разъяснение медицинских аспектов по «дереву» впервые был показан Ютоку Йонтену Гонпо Старшим. Современный тибетский исследователь Келсанг Тринле, излагая историю возникновения и развития *дондем*, отмечает инновационный характер методики как уникальный подход, разработанный древними тибетскими врачами в преподавании медицины (Келсанг, 1997. С. 445-452).

О существовании в Тибете различных методик *дондем* свидетельствуют сведения колофонов указанных текстов *деудрем* коллекции. Согласно колофону, первый текст (ТТМ-200) написан в соответствии с традицией, принятой в медицинской школе монастыря Лавран в Восточном Тибете. А колофон второго текста (ТТМ-211) сообщает о соответствии данного *деудрем* с медицинскими наставлениями Гедун Друпа – личного врача двух Панчен-лам: Панчен-лама V Лосанг Еше Пел Санпо (1663-1737) и Панчен-лама VI Лосанг Пелден Еше Пел Санпо (1738-1780).

В коллекции ЦВРК хранится редкий трактат под названием «Ньямйик» – практические заметки (ТТМ-181). Он принадлежит перу второго иерарха тибетской медицинской школы Гонмен – Гонмен Гончок Пендара (1511-1577). Обозначение текстов термином *ньямйик* (nyams yig), буквально означающего «записи (yig) из практики (nyams)» или «практические заметки», предполагает, что они отражают знания, полученные в результате экспериментов. По предположению Джанет Гьяцо, именно с XVI в., после выхода этой работы Гонмен Кончок Пендара, начала развиваться тибетская медицинская литература жанра *ньямйик*. Основная цель составления подобного рода текстов, по ее мнению, заключалась в том, чтобы передать следующему поколению особый вид знаний, основанных на личном врачебном опыте (Gyatso, 2004. P. 86).

В одном экземпляре имеется в коллекции сочинение Дармо-менрампа Лосанг Чойдрака (1638-?), краткое название которого «Катренг» (ТТМ-191). Текст составлен в виде комментария *чендел* (mchan 'grel) к четвертому тому «Чжуд-ши», в которых пояснения, комментарии ('grel) даются в виде примечаний (mchan), вставленных в комментируемый текст. Текст состоит из 318 листов. Однако в тексте «Катренг» коллекции ЦВРК отсутствует значительное количество листов.

Следующим типом комментария является так называемый комментарий *друдзел* ('bru 'grel), где дается подробное и последовательное разъяснение ('grel) специально отобранных слов ('bru),

трудных для понимания терминов и выражений «коренного текста». Существует сходный с ним комментарий *цикдел* (tshig 'grel) или «комментарий ('grel) в слово-слово (tshig)», подвергающий разбору все слова.

Перу Деси Сангье Гьяцо принадлежит самый крупный комментарий *друдзел* ко всем четырем томам «Чжуд-ши», известный под кратким названием «Вайдурья-нгонпо» (ТТМ-029). Вместе с тем, к этому своему самому фундаментальному и обширному исследовательскому комментарию Деси Сангье Гьяцо сделал цветные иллюстрации (bris cha), изобразительно отражающие весь текстовой материал «Вайдурья-нгонпо» и композиционно полностью дублирующие «Чжуд-ши». Данные иллюстрации в научной среде получили название «Атласа тибетской медицины» (Атлас, 1994). Один экземпляр этого уникального «Атласа», который в прошлом служил в качестве наглядного пособия на медицинских факультетах бурятских монастырей, до сих пор хранится в Музее истории Бурятии в Улан-Удэ.

В тибетской литературной традиции существует термин *лхантаб* (lhan thabs) – «приложение, дополнение». Для полноты репрезентации некоторые работы требуют дополнительного материала, и к ним делаются «дополнения» *лхантаб*. Они дополняют текст недостающим материалом, восполняют то, что пытались выразить в оригинале, но оставили недосказанным, не реализованным до конца. Однако в тибетской медицинской литературе под *лхантабом* однозначно воспринимается именно трактат «Лхантаб» Деси Сангье Гьяцо.

Тексты, относящиеся к трактату «Лхантаб», самые многочисленные в медицинской коллекции ЦВРК и составляют 280 единиц хранения. Между тем, в зависимости от комплектности, многотомных или однетомных изданий они занимают всего 32 шифра хранения. Эти тексты «Лхантаба» ЦВРК подразделяются на две группы. Первую группу представляет собственно сам текст «Лхантаба» (ТТМ-056) Деси Сангье Гьяцо, полное название которого звучит как: «Камфора *катпура*, устраняющая муки болей, и меч, разрубающий аркан преждевременной смерти» – дополнение «Лхантаб» к «Тантре наставлений». Тем не менее, трактат более известен под своим кратким названием «Лхантаб». В соответствии с заглавием он представляет собой комментарий к третьему тому «Чжуд-ши» – «Тантре наставлений», составленный Деси Сангье Гьяцо в 1691 году. Однако в тибетской традиции «Лхантаб» в определенной степени воспринимается как дополнение к изданному им третьему тому «Вайдурья-нгонпо», упомянутого нами выше. По-

тому, очевидно, «Лхантаб» можно отнести к такому жанру медицинской литературы как «комментарий на комментарий».

Во вторую группу входит так называемый «Лхантаб» из 17 томов или «Ченгьяп-лхантаб» (ТТМ-037), содержащий примечания, которые составил Чойдже Лосанг Вангьял (XVIII в.). Относительно основного текста «Лхантаба» данные примечания идут по ходу текста и вписаны более мелким шрифтом. «Ченгьяп-лхантаб» является классическим примером комментария *чендел*. Хотя «Лхантаб» был специально составлен для комментирования третьего тома «Чжуд-ши», но не столь строго соответствует главам данного тома, а имеет свою собственную нумерацию глав.

Следует отметить, что «Вайдурья-нгонпо», «Атлас тибетской медицины» и «Лхантаб» Деси Сангье Гьяцо остались непревзойденными образцами комментирования «Чжуд-ши», беспристрастно сочетающими весь положительный опыт предшествующих тибетских врачей, и до настоящего времени пользуются большим авторитетом, доверием у многих поколений тибетских, монгольских и бурятских лекарей. В свое время бурятским лекарям, например, разрешалось заниматься врачеванием только после полного и тщательного изучения «Чжуд-ши» наряду с вышеназванными текстами. Потому значение произведений, созданных Деси Сангье Гьяцо, в развитии тибетской, а также монгольской и бурятской медицинских школ, трудно переоценить.

Известный текст монгольского ученого Лунрик Тендара (1842-1915) под названием «Намгьяларуре-трена» (ТТМ-207) также представляет собой комментарий *друдзел* всех 156 глав «Чжуд-ши». Основными источниками комментария Лунрик Тендара послужили «Мейпо-шеллунг» Суркарва Лодро Гьялпо, «Вайдурья-нгонпо» и др. Ввиду большого спроса у лекарей «Намгьяларуре-трена» и по сей день переиздается как в Тибете, так и в Монголии.

IV. Рецептурные справочники – менджор (smap sbyor). Это одна из самых распространенных и популярных групп тибетских медицинских источников. В них даны прописи рецептов, составы лекарственных препаратов и оздоровительных средств, а также методы лечения и профилактики заболеваний, которые составлялись на основе рекомендаций «Чжуд-ши» и комментирующих его текстов.

Интерес бурятских лекарей к сочинениям по рецептуре был вызван тем, что в канонический текст «Чжуд-ши» уже нельзя было вносить никаких изменений и дополнений. Потому все последующее развитие тибетской медицины в Бурятии нашло

свое отражение в этих рецептурных справочниках, свидетельствующих прежде всего об интенсивном процессе адаптации тибетской медицины к местным условиям, к ресурсам местного лекарственного сырья как заменителей классических видов. Причем в разных регионах Бурятии заменители могли быть разными.

Так, почти каждый бурятский лекарь вел собственные *джоры* (sbyor), или точнее *менджоры* – записи, где тщательно фиксировал составы и дозировки, апробированных им лекарственных прописей. Вносил дополнительные сведения о показаниях к применению, технологии изготовления и т.д. Делал свои комментарии на свободных листах рукописных и печатных изданий *менджоров* в виде подстрочных пометок, личных замечаний и особых записей на полях. Кроме того, бурятские монастыри пользовались своими собственными рецептурными справочниками, которые могли быть рукописными или ксилографическими и представляли собой своеобразные настольные книги для лекарей-практиков всего Забайкалья.

Тексты *менджор* по содержанию, структуре весьма стандартны (см., например, ТТМ-210). Отличаются подобного рода тексты *менджор* лишь объемом приведенных тибетских прописей. Они либо очень краткие, либо обширные. Эти прописи могут быть как авторскими, проверенными на личном опыте, так и просто анонимными выписками, сделанными кем-либо из разных аутентичных медицинских текстов.

В коллекции ЦВРК наиболее полным и интересным является рецептурный текст Агинского дацана, который в научном обиходе получил название «Большой Агинский *джор*» (ТТМ-201). Он составлен в начале XX в. на основе цитат *менджоров* – лекарственных прописей из различных тибетских медицинских сочинений. Сумати Праджня, автор этого рецептурного справочника, принадлежал к бурятской школе лекарей, много веков практикующих тибетскую медицину. Текст содержит 1200 прописей с указанием названия, состава, дозировки и показаний к применению. В колофоне автор пишет, что основным побуждением к составлению данной сводной работы явилось желание помочь врачам, которые не располагают ни знанием, ни временем для чтения многочисленных медицинских текстов и быстрого поиска нужных прописей (Сумати, 2008).

V. *Руководства по лечебным процедурам* (dpyad lnga). Тибетская медицинская традиция различает «пять лечебных процедур»: кровопускание, прижигание, компрессы, ванны и массаж. И в текстах этой группы сочинений приводятся описания

и указания по технике проведения данных методов при лечении болезней, показания и противопоказания к их применению. К ним относят также трактаты, посвященные иглотерапии, хирургии и хирургическим инструментам, гидротерапии и целебным источникам.

В коллекции ЦВРК к таким текстам относятся «Тарке-дампа» – руководство по кровопусканию», «Меце-дампа» – руководство по прижиганию» и «О некоторых способах приготовления лечебных масел» – руководство по ваннам и массажу». Из них трактат «Тарке-дампа» (ТТМ-121) написан 9-сложными стихами и содержит теоретические аспекты и практические рекомендации по процедуре кровопускания. Также говорится о квалификации врача, применяющего кровопускание, об инструментах, о показаниях и противопоказаниях и т.д. Что касается «Меце-дампа» (ТТМ-125), то здесь приведены различные монгольские, индийские, китайские и пр. методы и способы прижигания, которые применялись в тибетской медицинской традиции. Автором этих руководств является известный тибетский ученый врач Деумар-*геше* Тензин Пунцок (1672-?). В тексте «О некоторых способах приготовления лечебных масел» (ТТМ-159), составленного монгольским ученым Чахар-*геше* Лосанг Цултимом (1740-1810), даются различные рекомендации по применению мазей, ванн с их показаниями, дается перечень лекарственных средств и указывается лечебный эффект этих процедур.

VI. *Фармакология препаратов* (sbyor ba sman/sman gyi 'khrungs dpe/ sman ngo shes). Сочинения по фармакологии посвящены описанию лекарственных средств, применяемых в тибетской медицине. В них подробно излагаются места произрастания или нахождения лекарственного сырья, указываются возможности замены некоторых видов другими. Приводятся сортовые характеристики, лечебные свойства, эффективность лекарственных препаратов и т.д. Также указываются заболевания, при которых рекомендуется использование тех или иных препаратов. Некоторые из них имеют иллюстрации.

Данный класс сочинений, которых в коллекции 7, наиболее востребован современными учеными-ботаниками и имеет наибольшую ценность для идентификации лекарственного сырья тибетской медицины.

В среде тибетских, монгольских и бурятских врачей наибольшей популярностью и успехом пользовались фармакологические труды Деумар-*геше* Тензин Пунцока. Его авторству принадлежат самые распространенные сочинения этой категории текстов, такие как вышеупомянутый «Кунсел-нандзо»

(Данзин, 1991), «Шелтенг» (ТТМ-222), «Шелгонг» (ТТМ-221). В «Шелтенг» в наиболее развернутой форме даны сведения о 1300 лекарственных средствах тибетской медицины. Его краткой версией является «Шелгонг», специально написанный автором в стихах для своих учеников, испытывающих затруднения в запоминании обширного «Шелтенга». Все ксилографы данных двух текстов коллекции принадлежат монгольскому изданию.

Следующие четыре фармакологических текста коллекции ЦВРК составлены монгольскими учеными. В «Трунпе» – образцы лекарственных средств» отражен графический материал «Шелтенга», который отобрал и издал отдельно Чахар-геше Лосанг Цултим (1740-1810). Текст содержит: иллюстрации «древа медицины» «Тантры основ» – первого тома «Чжуд-ши»; лекарственные средства и инструментарий «Тантры объяснений» – второго тома «Чжуд-ши»; правила проведения линий на теле «Тантры наставлений» – третьего тома «Чжуд-ши»; анатомические рисунки точек кровопускания, прижигания и т.д. «Дополнительной тантры» – четвертого тома «Чжуд-ши».

Чахар-геше Лосанг Цултим также является автором «Мен-нгоше» – идентификация лекарственных средств» (ТТМ-154). Трактат китайского издания и посвящен идентификации различных видов лекарственного сырья минерального, растительного, животного происхождений. Даны описания лекарственных солей, зольных лекарств и т.д.

Сочинение «Ньондуп-меннак» – свод различных наставлений, проверенных на опыте» (ТТМ-127) – написано в 1813 г. Нгаванг Лосанг Тенпе Гьялцен Пел Санпо (1770-1845) и содержит более 80 лечебных рекомендаций. К некоторым прописям даны объем и меры применения лекарственных средств.

Коллекция ЦВРК располагает редким экземпляром трактата Жамбалдордже (1792-1855) «Дзейцар-микгьен» (ТТМ-214). Текст составлен в виде практического справочника по тибетской медицине и представляет собой богато иллюстрированный источник по традиционной тибето-монгольской медицине с приведением около 580 видов лекарственного сырья минерального, растительного, животного происхождения и медицинского инструментария, анатомических диаграмм с указанием точек кровопускания, прижигания и укалывания. Разнообразный информационный материал в сочетании с графическими изображениями придает источнику особую уникальность. (Жамбалдордже, 2001).

VII. *Медицинские словари* (dag yig/ sman gab tshig/ gsang sman gab sbas). Тибетскими, монголь-

скими и бурятскими врачами было создано множество словарей, и этот класс источников весьма разнообразен. Сюда входят словари самых различных по объему и содержанию сведений, включая тексты, разъясняющие трудные разделы основных и комментирующих сочинений, в которых дополнительно указаны синонимы лекарственного сырья и препаратов, обозначены заменители некоторых видов сырья местными материалами и т.д. Создавались и специальные словари по терминологии отдельных медицинских сочинений, как, например, «Лхантаба».

Хотя в коллекции ЦВРК насчитывается 19 единиц хранения медицинских словарей, но, по сути, они сводятся лишь к трем словарям – «Источник мудрецов: Раздел «Медицина» (ТТМ-184), «Словарь «Санг-лхантаб-демик» (ТТМ-135) и «Словарь Дармо-менрампы к «Лхантабу» (ТТМ-131). Большой интерес представляет раздел «Медицина» известного тибето-монгольского терминологического словаря «Источник мудрецов», опубликованного в 1742 г., и содержащего термины десяти классических буддийских наук: «пяти больших» и «пяти малых». В разделе «Медицина», в частности, представлены основные термины «Чжуд-ши», которые расположены по тематическим группам: причины и симптомы основных заболеваний, названия болезней, названия лекарственных средств.

Что касается специальных медицинских и терминологических словарей, то, как показывает анализ источников, они создавались на протяжении всей истории медицины в Тибете и ее распространения в Монголии и Бурятии.

Первый по времени появления тип словаря – словарь синонимов названий лекарственного сырья (*ming brjod*). Восьмое сочинение в тексте «Чалакчопгье» (XII в.) является словарем данного типа. Здесь словарь дает тибетскими литерами санскритские синонимы тибетских или заимствованных названий лекарственного сырья растительного и животного происхождения, а также общих названий многокомпонентных сборов. Другим примером служит словарь бурятского автора «Пояснение синонимов названий лекарственных средств, упоминаемых в медицинских трактатах». Он составлен в 1867 г. настоятелем Агинского дацана (с 1858 по 1873 гг.) Галсан-Жимбой Тугултуровым.

В XIX – начале XX в. появились словари-справочники, или так называемые «отобранные слова» *дуйминг* (тиб. *bsdus ming*, *btus ming*/ монг. *tegübüri neres*, *tügemel neres*), в которых собраны термины из «Чжуд-ши» и других трактатов. В словарях *дуйминг* чаще всего отбирают слова и выражения, которые вызывают затруднения в понимании, приводят соответствующие цитаты из комментари-

ев с толкованиями этих понятий. То есть определения малопонятных выражений и трудных терминов в этих словарях основываются на толкованиях в комментаторской литературе.

VIII. Оглавление – карчак (dkaṅ chag). В тибетской традиции тексты жанра *карчак* содержат в себе лишь оглавление или перечень глав, тем, освещаемых в различных трактатах. Очевидно, их также можно назвать редакционно-издательским каталогом. Так, в коллекции ЦВРК имеются *карчаки* пяти различных медицинских текстов: «*Карчак* «Дополнительной тантры» (ТТМ-199); «*Карчак* «Джеваринсела» (ТТМ-103). «*Карчак* «Чету-ньиннора» (ТТМ-092); «*Карчак* «Каргьямы» (ТТМ-084) и «*Карчак* «Шелтенга» (ТТМ-151).

IX. Тобъйик – перечень, полученных учений (thob yig). В тибетской буддийской традиции тексты жанра *тобъйик* или *санъйик* (gsan yig) представляют собой «систематизированные списки дисциплин, наставлений, руководств и посвящений всякого рода, полученных автором, с указанием, от кого именно то или иное из них получено» (Востриков, 1962. С. 116). Хотя в коллекции ЦВРК есть 2 единицы хранения, которые имеют на титульном листе слово *тобъйик*: «*Тобъйик* «Тантры объяснений» (ТТМ-197) и «*Тобъйик* «Тантры наставлений» (ТТМ-198), однако по содержанию они мало чем отличаются от *карчака*, простого перечня глав.

X. Медицинские тексты из буддийского канона. В данную группу сочинений входят аюрведические трактаты, которые составляют существенный элемент всей истории тибетской медицины на протяжении многих веков ее развития. В самой же Индии формированию медицинских знаний, как отмечают исследователи, «способствовали два фактора: повышение интереса к физиологии под влиянием феноменов йогического и мистического опыта и буддизм» (Бэшем, 2000. С. 525).

Влияние письменной культуры Индии на тибетцев было очень велико. Прежде всего это касается огромного корпуса литературы, ныне входящей в состав тибетского буддийского канона, который охватывает различные памятники письменности неоднородного тематического содержания, переведенные преимущественно с санскрита – языка буддизма *махаяны*. Общеизвестно, что тибетский буддийский канон состоит из двух больших собраний сочинений – «*Кангьюра*» и «*Тенгьюра*», где первый содержит проповеди Будды и именно он признается каноном, а второй – как комментарий к нему – включает сочинения древнеиндийских ученых по древним и средневековым отраслям знаний.

Несмотря на то, что буддизм и медицина представляют собой совершенно отдельные научные

дисциплины в истории культуры Тибета, тем не менее, между ними существует глубокая взаимосвязь. О бытовавших в буддийских монастырях Древней Индии медицинских знаниях в достаточной мере сообщается в разделе Виная «*Кангьюра*», в котором содержатся наставления Будды по монашеской дисциплине. Из раздела сутр особого внимания заслуживает 24-я глава «О полном исцелении всех болезней» сутры «*Суварна-прабхасоттама*», имеющая непосредственное отношение к медицинской теме. Краткий анализ сутры позволяет выявить параллели и аналогии с «*Чжуд-ши*», центральные положения которого, по существу совпадают (Болд, 2005, Жабон 2011). Эти сведения представляют несомненный интерес, поскольку вопрос о происхождении «*Чжуд-ши*» уже на протяжении многих столетий занимает умы исследователей и до сих пор остается дискуссионным.

Буддийские тексты «*Кангьюра*» раздела тантр также способствовали развитию медицинских знаний. Традиции психофизических духовных практик тантры, медитации и йогические упражнения, сформировавшиеся с периода проповедей Будды, сохранились в тибетской традиции до сегодняшнего дня. Из тантрийских текстов «*Кангьюра*» с медицинской тематикой здесь необходимо отметить, например, «*Калачакра-тантру*», где глава «*Внутренняя*», состоящая из 174 *шлок*, описывает эмбриологию, а также многие другие врачебные аспекты (Wallace, 2001).

Буддийский канон «*Тенгьюр*», в отличие от «*Кангьюра*», где тексты с медицинским содержанием разбросаны по всем разделам сутр и тантр, имеет специальный медицинский раздел, состоящий из семи классических индийских трудов по медицине (Tohoku, С. 659-660). Из этих семи текстов самую широкую известность в Тибете получила вышеупомянутая «*Аштанга-хридая-самхита*» Вагбхаты и вызвало появление множества комментариев. Это произведение рассматривалось Е.Е. Обермиллером как непосредственное связующее звено между индийской и тибетской медицинами, поскольку текст его наиболее близок к содержанию «*Чжуд-ши*» (Обермиллер, 1936). Здесь же можно упомянуть и десять аюрведических текстов «*Тенгьюра*», представленные в разделе «*Разное*» (Tohoku, С. 681-683), и посвященные изложению основных понятий индийской медицины, связанных с анатомией, физиологией, диетой, приготовлением лекарств, многокомпонентных составов.

В списке медицинской литературы коллекции ЦВРК имеется лишь один экземпляр трактата Чандраниданы под названием «*Дасер*» – обширный комментарий к «*Аштанга-хридая-самхите*»,

извлеченного из «Тенгьюра» (том *kho*) Нартанского издания. «Дасер» (на санскрите «Падартхачандрика-прабхаса») представляет собой полный комментарий ко всем стихотворным строфам (*карिका*) «Аштанга-хридая-самхиты». В тексте вначале приводится *карিকা* из сочинения Вагбхаты, далее следует подробный комментарий к ее предложениям, словосочетаниям или отдельным словам. «Дасер» по праву относится к числу наиболее известных аюрведических трактатов, и он был очень популярен в тибетской медицинской традиции и часто цитировался как составителями терминологических словарей, так и авторами медицинских сочинений. «Дасер» был переведен на тибетский язык теми же переводчиками, что и «Аштанга-хридая-самхита», примерно между 1013 и 1055 гг. Среди исследователей еще нет единого мнения относительно датирования годов жизни Чандраниданы – наблюдаются расхождения от VIII в. до X в. – и соответственно о времени написания данного комментария.

XI. Обрядовые медицинские тексты (*sman bla'i mdo chog/ sman gyi bla ma'i sgrub thabs/ sman chog/ sman byin rlabs/ rGyud bzhi'i bla rgyud gsol 'debs*). Главной особенностью медицинской традиции Тибета являются детально разработанные ритуалы, духовные практики, которые играют очень важную роль и рассматриваются как ее неотъемлемые части. В мировой практике нет другой подобной медицинской системы, которая бы столь последовательно опиралась на обряды, философию и метафизику. Именно философские принципы буддизма, лежащие в основе тибетской медицинской традиции, позволяют говорить о ней как о самобытной буддийской медицине.

Согласно тибетской традиции, для избавления живых существ от болезней Будда Шакьямуни проявил себя в форме Будды медицины. Более того, в традиции считается, что Будда Шакьямуни именно в аспекте Будды медицины проповедал «Чжудши». Теоретиками тибетского буддизма был разработан культ Будды медицины с его учениями, специальными текстами по обряду получения посвящения, наставлений и их практических реализаций, получивший большое развитие и выделившийся в особую духовную практику. Данный культ главным образом относят к традиции *ваджраяны*, и в соответствии с ней преобладает практика осуществляется через посвящение, наставления и передачу текста. Посвящение получают, прежде всего, с целью практиковать *садхану* (тиб. *sgrub thabs/ санскр. sadhana/ букв. средство для реализации*) Будды медицины (Dalai Lama V, 2009), что, по мнению теоретиков, многократно усиливает реализацию медицинских учений.

Ритуальные тексты медицинской коллекции ЦВРК включают сочинения разнопланового характера: тексты обряда посвящения в Будду медицины, краткие, обширные *садханы* – практики реализации Будды медицины, описания обрядов благословения лекарств, подношений и умиловивлений хранителей медицинского учения и т.д. Все эти тексты указывают на приоритет, предпочтения врачей тибетской медицины в выборе той или иной духовной практики. В общей сложности в коллекции ЦВРК представлены 23 обрядовых текста, которые были сгруппированы, исходя из фактического наличия, по двум основным группам и шести подгруппам (Жабон, 2012).

Если говорить об авторах, то все они принадлежат перу десяти крупных и влиятельных буддийских деятелей – семи тибетских и трех монгольских. Наибольшее количество сочинений коллекции ЦВРК принадлежит Панчен-ламе IV Лосанг Чойкьи Гьялцену (1570-1662). Он является автором четырех небольших по размеру текстов: «Йишин-норбу» – суть практики Будды медицины» (ТТМ-175), «Каншак» Шанлон Дордже Дуддула – практика умиловивления хранителя медицинского учения» (ТТМ-167) и т.д. Автором двух ключевых обрядовых текстов в тибетской медицинской традиции является Далай-лама V Нгаванг Лосанг Гьяцо (1617-1682), а именно «Йишин-вангьял» – практика семи будд медицины» (ТТМ-170, ТТМ-173) и «Паксам-джоншинг» – *садхана* «Юток-ньинтика» (ТТМ-142). Последний текст составлен им специально для реализации цикла медицинских учений «Юток-ньинтика», и в коллекции ЦВРК хранится только лишь переписанная от руки копия текста. Что касается коренного текста «Юток-ньинтика», то он представляет собой учения основоположника тибетской медицины Юток Йонтен Гонпо, который полагал, что духовные практики, йога и медитации должны быть неотъемлемой частью подготовки всех врачей.

Следующие четыре автора представлены по одному произведению. Один из них Чанкья Ролпе Дордже (1717-1786) со своим сочинением «Дополнения к «Йишин-вангьялу» – отдельно о практике Будды медицины». Далее идут Кончок Тенпе Дронме (1762-1823) и его «Джинлап» – благословение лекарственных средств» (ТТМ-082), Кангьюрпа Ринпоче со своей «Практикой подношения священной воды Будде медицины» (ТТМ-176) и Карма Джикме Чойкьи Сенге (XIX в.), который составил текст под названием «Селве-мелонг» – восстановление нарушенных обязательств перед защитниками» (ТТМ-141).

Из трех монгольских авторов данной группы текстов Халха Дамцик Дордже (1781-1855) являет-

ся автором трех чрезвычайно интересных дополнительных текстов по практике цикла медицинских учений «Юток-ньинтика»: «Дудци-ньинпо» – *садхана* всех семейств «Юток-ньинтика», «Чиме-доджо» – *пуджа* долгой жизни «Юток-ньинтика» и «Пендедронме» – *огненная пуджа* умиротворения».

В коллекции имеется небольшая работа Богдогэгэна IV Лосанг Туптен Ванчук Джикме Гьяцо (1775-1813), называемая «Менла-каконг» – дополнение к практике Будды медицины» (ТТМ-174). И, наконец, одно любопытное сочинение под названием «Джангчок» – похоронный обряд, связанный с практикой Будды медицины» Нгаванг Кейдрупа (1779-1838) завершает группу обрядовых текстов коллекции.

В заключение отметим, что анализ тибетских медицинских сочинений указывает на преемственность индийской медицинской традиции в Тибете, Монголии и Бурятии. Аюрведические трактаты, включенные в канон, явились прообразами формирования соответствующих им типов сочинений в тибетской медицинской литературе. Причем традиция получила последующее развитие, так как в тибетских источниках нами установлено три дополнительных типа: сочинения, посвященные истории древнеиндийской и тибетской медицины, специальные обучающие тексты, а также руководства по лечебным процедурам и диагностике, которые, возможно, появились под влиянием другой медицинской традиции. Изучение разновидностей памятников письменности тибетской буддийской медицины позволяет проследить проблему взаимовлияний различных письменных культур, определить региональные, этнокультурные особенности медицинской книжной традиции, понять всю глубину и широту историкокультурных взаимосвязей центральноазиатских народов и разработать новые подходы в области изучения текстов традиционной культуры.

ЛИТЕРАТУРА

Аникеева С.М. 1983. Опыт классификации тибетских медицинских источников (по материалам Тибетского фонда ЛО ИВ АН СССР) // Вестник ЛГУ. Л. № 2. С. 57-61.

Атлас тибетской медицины. М.: Галарт, 1994. 594 с.

Бэшем А. 2000. Чудо, которым была Индия. М.: Восточная литература РАН. С. 525.

Ванду. 1983. Словарь медицинских терминов (Bod gangs can pa'i gso bla rig pa'i dpal ldan rgyud bzhi sogs kyi brda dang dka' gnad 'ga' zhig bkrol ba sngon byon mkhas pa'i gsung rgyun gYu thog dgongs rgyan zhes bya ba bzhugs so). Мирик Педрунканг. 725 с.

Востриков А.И. 1962. Тибетская историческая литература. М.: Издательство Восточной литературы. 427 с.

Данзин Пунцог. Кунсал-нанзод: тибетский медицинский трактат по приготовлению лекарственных элик-

сиров/ Пер. Д.Б. Дашиева. 1991. Улан-Удэ: Ассоциация литераторов Бурятии, Часть 1. 64 с.; Часть 2. 46 с.

Деси Сангье Гьяцо. 2013. Кокбук: история медицинской науки Древней Индии/ Пер. Ю.Ж. Жабон. Улан-Удэ: Издательство БНЦ СО РАН. Ч. I. 238 с.

Жабон Ю.Ж. 2012. Аннотированный каталог медицинской коллекции тибетского фонда ЦВРК ИМБТ СО РАН. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 242 с.

Жабон Ю.Ж. 2002. Кхогбуг – источник по истории тибетской медицины. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского научного центра. 107 с.

Жабон Ю.Ж. 2011. Тексты тибетского буддийского канона о медицине // Мир буддийской культуры. Агинское-Чита. С. 142-147.

Жамбалдорчжэ. Дзэйцхар-мигчжан – монголо-тибетский источник по истории культуры и традиционной медицине XIX в./ Пер. Ю.Ж. Жабон. 2001. Улан-Удэ. 224 с.

Обермиллер Е.Е. 1936. Пути изучения тибетской литературы / Обермиллер Е. Е. // Библиография Востока. М. Вып.8-9. С. 48-60.

Сумати Праджня. Купан-дудзи. Полезный для всех экстракт амриты: Большой рецептурный справочник Агинского дацана/ Пер. Д.Б. Дашиева. 2008. М.: Вост лит. 214 с.

Сыртыпова С.Д., Х.Ж. Гармаева, Д.Б. Дашиев. 2006. Тибетский фонд ЦВРК ИМБТ СО РАН: структура и содержание. Улан-Удэ, Изд-во БНЦ СО РАН. 226 с.

Центральная Азия. Новые памятники письменности и искусства. 1987. М.: Изд-во Наука. 375 с.

Юток Йонтен Гонпо Младший. 2005. Чалак-чопгье (Cha lag bco brgyad. gYu thog gsar ma yon tan mgon po). Пекин: Мирик Педрунканг. Вып. 025: Арура. 244 с.

Юток Йонтен Гонпо Младший. 2001. Чжуд-ши – канон тибетской медицины/ пер. Дашиева Д. Б. М.: Восточная литература. 766 с.

Beckwith C.I. 1979. The Introduction of Greek Medicine into Tibet in the Seventh and Eight Centuries // Journal of the American Oriental Society 99.2. New Haven. P. 297-313.

Cabezón José Ignacio. 1996. Tibetan Literature: Studies in Genre. Ithaka, New York: Snow Lion Publication. 549 p.

Czaja O.A Hitherto Unknown “Medical History” of mTsho smad mkhan chen (b.16th cent.) // Tibet Journal, Winter 2005 & Spring 2006. Vol.XXX and vol.XXXI, no.4 & no.1. P. 153-172.

Dalai Lama V. 2009. Medicine Buddha: The Wish Fulfilling Jewel (translated by John Newman). Portland: FPMT. 69 p.

Gyatso J. 2004. The Authority of Empiricism and the Empiricism of Authority: Tibetan Medicine and Religion on the Eve of Modernity // Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East 24.2. P. 83-96.

Tohoku. 1934. A Catalogue-Index of the Tibetan Buddhist Canons. Sendai: Tohoku Imperial University. 900 p.

Wallace V.A. 2001. The Inner Kālacakrantra: a Buddhist tantric view of the individual. New York: Oxford University Press. 288 p.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Проскурина Е.Н. (ИФЛ СО РАН)

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ПРИТЧА И ЕЕ ЖАНРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ: К ПРОБЛЕМЕ ЭВОЛЮЦИИ ЖАНРОВ

Как известно, в художественной литературе наличествует два рода жанровых структур. Это, во-первых, так называемые «твердые жанровые формы», ярким примером которых служит сонет, и, во-вторых, неканонические формы – «гибкие, открытые всяческим трансформациям, перестройкам, обновлениям» (Хализев, 2000. С. 337). В процессе своей эволюции, по словам Д.С. Лихачева, жанры «вступают во взаимодействие, поддерживают существование друг друга и одновременно конкурируют друг с другом» (Лихачев, 1979. С. 56). Данное положение исследователя в высочайшей мере применимо к современной литературной ситуации, демонстрирующей богатство жанровой палитры, где активизировались процессы варьирования, трансформации, модификации жанровых форм.

В силу невозможности в одной статье охватить всю жанровую картину целиком в ее историко-литературном движении, остановимся на жанре притчи, в процессе эволюции которого, словно в клеточке, отражены свойства целого. Актуальность обращения к данному жанру объясняется еще и тем, что притча относится к так называемым онтологическим жанрам, активное изучение которых в отечественном литературоведении началось лишь недавно, с момента снятия запрета на исследование религиозно-философской проблематики произведения искусства, «где человек соотносится не столько с жизнью общества, сколько с космическими началами, универсальными законами миропорядка и высшими силами бытия» (Хализев, 2000. С. 323).

Восходя к ветхозаветной эпохе, на Руси жанр притчи появился вместе с христианской письменностью. Тогда им обозначались памятники, разнесенные в наше время по разным жанрам: пословицы, афоризмы, загадки, басни, апофегмы и собственно притчи. В текстах Священного Писания притча существует в двух видах: как притча-сентенция (в Книге притч Соломоновых) и притча-наррация (евангельские притчи). Именно второй вид оказал активное влияние на развитие притчевых жанровых форм в художественной литературе.

Выполняя в Евангелии функцию иносказательно-назидательного высказывания в предельно

концентрированной форме, нарративная притча, тем не менее, уже обладала минимальной системой персонажей, сюжетом, повествовательной композицией. Эти изначальные свойства в дальнейшем послужили толчком к разворачиванию притчeveго протонарратива в разного рода нарративные конструкции – через расширение текста, увеличение системы персонажей и пр., получающие различные жанровые оформления, от краткой новеллы до романа-притчи.

В ситуации рассказывания притчи «авторский статус говорящего – это статус носителя и источника авторитетного убеждения, организующего учительный, убеждающий (или переубеждающий) по своей коммуникативной цели дискурс. Именно иллюстрируемое убеждение, а не иллюстрирующий его случай составляет предметно-тематическое содержание притчeveго высказывания» (Тюпа, 2014. С. 38). В соответствии с этим «жанровая картина мира в притче – императивная. Здесь персонажем в акте выбора осуществляется (или преступается) не предначертанность судьбы, а некий нравственный закон, собственно и составляющий морализаторскую “премудрость” притчeveго назидания» (Тюпа, 2014. С. 37). Притча осваивает «те непреложные начала, на которых зиждется спокойное внутреннее счастье человека» (Глинка, 2009. С. 12), иначе говоря – «универсальные, архетипические ситуации общечеловеческой жизни, в которых герой со своей нравственной позицией оказывается лицом к лицу с ценностным абсолютом» (Тюпа, 2014. С. 37). Это обуславливает жанровую форму героя притчи, который представляет собой некий нрав: не индивидуальный характер, а тип жизненной позиции, *этос*. Действующие лица притчи, по суждению С.С. Аверинцева, «не имеют не только внешних черт, но и “характера” в смысле замкнутой комбинации душевных свойств: они предстают перед нами не как объекты художественного наблюдения, но как субъекты этического выбора» (Аверинцев, 1987. С. 305).

При всем разнообразии современных жанровых форм притчи, в них сохранен авторский статус «носителя авторитетного убеждения» и вытекающая отсюда императивность жанровой картины

мира. Разработка характеров персонажей в литературных произведениях притчевого свойства, при всем их разнообразии, удерживается в границах авторского моралистического задания – либо в плане увенчания, либо развенчания героя.

В своей изначальности, будучи важнейшим и недостижимым для простого человека образцом, евангельская притча вплоть до XVII столетия не подвергалась каким-либо переделкам, реминисценциям, редактированию. Ее могли только цитировать и толковать, для чего существовала особая «литература толкований» – учительные и толковые Евангелия, известные на Руси уже в XII–XIII вв. Мало того: евангельская притча никогда не существовала вне евангельского контекста (Ромодановская 2003. С. 193-194). Между тем освоение нового жанра, как правило, начинается с переработки существующих образцов. Эту функцию взяла на себя «Повесть о Варлааме и Иоасафе». Пять притч из нее уже в XII в. были включены в состав древнейшей редакции русского Пролога (РНБ) и стали постоянным элементом сборника. Для этой выборки был использован именно русский перевод «Повести» (Повесть о Варлааме и Иоасафе 1985. С. 85), где все пять притч носят следы обработки русским автором. По наблюдениям И.Н. Лебедевой, в них сокращены тексты и изменены или дописаны толкования (Повесть о Варлааме и Иоасафе 1985. С. 72-85). Отношение к притчам Варлаама было более свободным: почти сразу после своего появления они начинают перерабатываться, появились русские им подражания. Так, уже в XII в. в Прологе под 24 ноября читается «Слово притца ... о еретицах и идолослужителях» (РНБ), надписанное именем Варлаама и не встречающееся ни в одной из разноязычных версий этого текста, что позволяет предположить здесь творчество русского автора (Повесть о Варлааме и Иоасафе 1985. С. 72-85). Надписание русского текста именем Варлаама свидетельствует о его авторитетности – это традиционный для Средневековья прием придания значимости новому сочинению (Аверинцев 1994).

В дальнейшем в названный период притча начинает приобретать особое значение для индивидуального творчества ведущих писателей: Максима Грека, Ивана Пересветова, Ермолая-Еразма. По наблюдениям Н.С. Демковой, понимание притчи как иносказания «приобретает характер приметы времени» (Демкова 1997. С. 88). Одной из самых распространенных евангельских притч в плане использования в литературе становится притча о блудном сыне: «мотив “блудного сына” стал общим местом, литературным топосом... в тех случаях, когда речь заходила об уклонении от общепринятой нравственной, социальной или конфессиональной позиции»

(Демкова 1997. С. 136), в связи с чем сюжетные элементы этой притчи часто использовались в обличительных текстах: полемике и в публицистике. Так, например, в посланиях царя Алексея Михайловича нередко встречается косвенное цитирование притчевого текста, с помощью чего ему удается выразить главную мысль: царь есть помазанник Божий. Именно на царя – «Богодарованного» и «Богоданного» – возложена ответственность быть отцом и пастырем для своих подданных, вести их по пути духовного спасения. Долг подданных быть преданными царю, а значит исполнять волю Бога, поступать по заветам Евангелия, нарушение которых неизменно приводит к заблуждению в своих помыслах и скитанию по миру, потере дома (Шунков, 2014. С. 226).

Обращение к евангельской притче – частый прием в сочинениях патриарха Никона, таких как «Наставление царю» с выписками из Священного Писания (Севастьянова 2003. С. 339-458; Румянцева 2010. С. 153-213), завещание-устав для братии Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря (Севастьянова 2004. С. 138-144), «Слово богополезное о создании монастыря Пресвятыя Богородицы Иверския», вошедшее в состав сборника 1658-го г. «Рай мысленный» (см.: Рай мысленный), «Возражение». Заимствования из иносказательных рассказов, содержащихся в синоптических Евангелиях, включение в авторскую речь слов Иисуса Христа пронизывают полемические высказывания патриарха. Как установлено С.К. Севастьяновой, частотность обращения Никона к Библии усиливается в наиболее тяжелые периоды его жизни – после оставления патриаршей кафедры, удаления в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и в ссылке (Севастьянова 2007 С. 261). Обращаясь к текстам притч, Никон опирался на многовековой опыт византийско-русской книжности, встраивал древнейшие методы и приемы работы с библейскими источниками в русло современной ему культурной традиции.

Первые попытки существенной переработки евангельской притчи встречаются в литературе петровского времени – первой трети XVIII в.: в «Истории о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли» (История... 1970. С. 50-58) и «Истории о храбром российском кавалере Александре и о любительницах его Тире и Элеоноре» (История... 2009. С. 416-460), где традиционная схема притчевого сюжета предстает не просто в трансформированном, а в инверсированном виде. В этом можно увидеть проявление переходности самого исторического времени, вырабатывающего собственный нравственно-моральный кодекс, что заставляет остановиться на сюжетах двух повестей подробнее. В начале обеих повестей сыно-

вья знатного дворянского происхождения покидают родительский дом, получив отцовское благословление. Данная ситуация нарушает логику сюжета евангельской притчи: разрыва связи героя с родом здесь не происходит. Более того, оба героя в новых исторических обстоятельствах поступают как воспитанные отроки своего времени, достойные славы своих отцов. Перед читателями возникает образ идеального молодого человека петровской эпохи, соответствующий секуляризированным моральным заповедям, изложенным в «Завете» эпохи Петра I – «Юности честное зеркало, или Показания к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» (1717 г.). Этот текст по сути замещает собою евангельский, определяя характер мыслей, речей и поступков героев. И Василий, и Александр уже в начале ведут себя согласно новым дидактическим наставлениям, и их желание покинуть дом отца в контексте петровского времени вполне законно и не может быть осуждаемо. Дальнейшее развитие сюжета двух «гисторий» также основано на модели контрапункта по отношению к евангельскому претексту: в иноземье они, в отличие от младшего сына притчи, не испытывают нужды. Наоборот, один из героев, Василий Кариотский, оказавшись в Голландии, поступает на службу к купцу, который замещает собой образ реального отца, оказывает русскому моряку покровительство; другой герой, Александр, долгое время живет «ввеликихъ забавахъ такъ, что живущее воном граде лилле, красоту лица юстроту ума его усмотря, между всеми приезжими ковалерыпервинствомъ почтили» (История ... 2009. С. 417). Таким образом, как пишет исследователь литературы переходного периода А.В. Шунков, «авторы петровской эпохи радикально переосмысливают евангельскую историю о блудном сыне и в художественном повествовании создают новый образ героя своего времени, способного найти в себе силы бросить вызов судьбе и не жалеть о совершенном поступке – бегстве из родительского дома. В этом случае герои повестей петровского времени могут быть названы прототипами исторических персонажей эпохи первой трети XVIII века – сыновей своего времени, совершивших бегство из дома и вернувшихся в него, но уже без покаяния – финального эпизода евангельской притчи» (Шунков, 2014. С. 240).

В целом же для XVIII в. больше характерна ориентация на Ветхий Завет, чем на Евангелие. Это время обращения к псаломным текстам, поэтическое переложение которых встречается в творчестве В.К. Третьяковского, А.П. Сумарокова, М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина. В общем интересе поэтов XVIII в. к ветхозаветным книгам: Книге Иова, но в первую очередь к Псалтири – можно увидеть реакцию на пришедшие в Россию идеи Просвещения, которые

русская литературная мысль пыталась выверить через Слово Божье, совместить с Промыслом. С другой же стороны, это была попытка творчески осмыслить весь процесс Творения, убедиться в вечности, незыблемости онтологических основ бытия.

Возвращение творческого интереса к жанру притчи происходит в литературе XIX в., когда притча начинает интересовать русских писателей в ее назидательно-нравоучительной функции – в соответствии с евангельской. В этот историко-литературный период по-новому активизируется жанр повести-притчи («Повести Белкина» Пушкина, «Петербургские повести» Гоголя и др.), возникают романы-притчи (романы Тургенева, Достоевского, Толстого и др.), оформляется жанр рассказа, по причине своей квазиизустности соединяющего притчевое и анекдотическое начала (рассказы Лескова, Чехова и др.).

В плане жанровой эволюции притчи наибольшую свободу представляет, несомненно, жанр романа-притчи. Однако ориентация на евангельский канонический образец не может не отразиться и на романной структуре, и на характерах и поступках персонажей. Для прояснения ситуации необходимо более подробно остановиться на повествовательных свойствах новозаветной притчи. По типу наррации она в наибольшей степени соответствует «закрытому тексту». Понятия «открытости» и «закрытости» в отношении к роману введены в семиотический словарь У. Эко (Эко 2005). Если Ю.М. Лотман под «закрытой» текстовой структурой понимает в первую очередь структуру сказочного текста по причине ее устойчивости, «предохраненности от контактов» с внехудожественной реальностью (Лотман 1988. С. 326), то У. Эко распространяет этот термин и на роман, понимая под ним тип повествования, нацеленный на то, «чтобы вести читателя по определенной дорожке, рассчитанными эффектами вызывая у него в нужном месте и в нужный момент сострадание или страх, восторг или уныние. Каждый эпизод истории должен возбуждать именно то ожидание, которое будет оправдано дальнейшим ее течением» (Эко 2005. С. 19). Т.е. структура текста в данном случае становится формой выражения его прагматики: «закрытые» тексты «как будто структурированы согласно жестким рамкам некоего проекта» (Эко 2005. С. 20). «Закрытому тексту» У. Эко противопоставляет «открытый», интерпретационные возможности которого можно сравнить с космическим расширяющимся пространством. Такими свойствами безмерной «открытости» обладает, например, роман Дж. Джойса «Улисс».

В отличие от богатства и разнообразия стратегий чтения «открытого» литературного текста, задающих свободу читательской интерпретации, путь

постижения смыслового объема евангельского или иного священного текста ориентирован самим жанром на движение мысли только в одном направлении: по вертикали. При этом притча в структуре Евангелия соотносится с самим евангельским текстом как «закрытость» к «открытости», мера к безмерности. Центрирующаяся на одной главной мысли притча не предполагает принципиальных смысловых разночтений. Это свойство поддерживается и самой структурой притчевого повествования, движущегося от приклада-примера к выкладу-резюме. Но вместе с тем, как отмечает в своей работе «Значение Иисусовых притч: семантический подход к Евангелиям» А. Вежбицкая, притча «может иметь различные правильные интерпретации на разных уровнях» (Вежбицкая 1999. С. 731). Это положение исследователя, оставленное в книге без развития, подразумевает разность читательских presuppositions. Однако правильное понимание притчи зависит все-таки не от интерпретационных возможностей читателя, а от его побуждения увидеть в ней пример для подражания, призыв «поступать так же». «И вот тут, – как пишет митрополит Антоний Сурожский, – перед каждым из нас вопрос стоит во всей остроте <...>. Бог ... говорит нам: Если ты хочешь вырасти в полную меру своего человечества ... вот перед тобой картина того, каким ты должен быть...» (Антоний, митрополит Сурожский 2000. С. 99). Т.е., с ортодоксальной точки зрения, отношение к притче лишь как к возможности взглянуть на ситуацию предложенным в Евангелии образом оказывается недостаточным, так как размывает императивный характер притчевого слова, что больше соотносится с общепhilosophической позицией. В то же время смысловой объем притчи гораздо глубже ее главной мысли и складывается из центрального и периферийных смысловых ответвлений, обнаруживающих себя в отношениях «ядерной» семантической единицы (пропозиции) с пропозициями развития и поддержки темы (Висман Дж., Келлоу Дж. 1994), на чем держится сюжетное движение притчи-параболы.

Остановимся на притче о милосердном самарянине, кажущейся наиболее легкой для понимания, так как значение притчевого сюжета выступает здесь в эксплицированном виде, вплоть до итоговой побудительной максимы: «иди, и ты поступай так же» (Лк 10: 37). Если ограничиться рамками рассказанной Христом истории человека, пострадавшего от разбойников, то смысл притчи может быть вмещен в формулу, предложенную А. Вежбицкой: «когда ты видишь, что нечто плохое происходит с другим человеком, будет хорошо, если ты сделаешь что-то хорошее для этого человека» (Вежбицкая 1999. С. 732), хотя изменение модальности в данном случае приводит к искажению притчевого смыс-

ла: то, что *должно* быть сделано, превращается в одну из обтекаемо-неопределенных возможностей, определяемую свободой воли. Здесь формулировка обозначает принципиальное различие между философским логосом и евангельским Словом. Оставляя человеку право выбора, Христос при этом в Своих речах всегда указывает, что, не сообразуя собственную волю с Волей Божьей, он платит дороговую цену, равную потере Царствия. Если говорить о семантических границах притчи о милосердном самарянине, то они определяются не рассказанной Христом историей, а обращенным к Нему вопросом «законника»: «кто мой ближний?» (Лк 10: 29). Вопрос задан с целью самооправдания после того, как Спаситель направляет его следовать заповеди: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лк 10: 27). Т.е. данная притча важна в первую очередь как ответ на вопрос о «ближнем». Причем ответ носит парадоксальный характер для человека, как знающего, так и исполняющего Закон, так как Спаситель ставит в центр ситуации не его самого, а *другого*. На такой парадоксальности позиции Христа основан ее «новозаветный» смысл по отношению к Закону, что акцентируется в богословском толковании данной притчи (Антоний, митрополит Сурожский. 2000. С. 97-100). После изложения истории «некоторого человека», ограбленного и избитого разбойниками, нашедшего помощь не у священника и не у левита (людей, проповедующих и исполняющих Закон), а у «некоего» самарянина, т.е. человека отверженного, презираемого израильянами (Лк 10: 30-35), Христос спрашивает «законника»: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойникам?», на что его собеседник отвечает: «Оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же» (Лк 10: 36-37). Центральная идея слов Христа – это милосердное отношение ко всем нуждающимся в помощи. Но вместе с тем здесь также предлагается взгляд на ситуацию не только со стороны *я*, но и со стороны *другого*. Как раз он-то и позволяет ответить на вопрос «законника»: «кто мой ближний?», но только через переводение его *я* из «сильной», центральной позиции, в «слабую», страдательную. Само понятие *ближний* задает модель восприятия *другого* в рамках антиномии *ближний/дальний*. *Ближний* в восприятии «сильного» *я* – это *каждый*, кто нуждается в милосердии, тогда как по отношению к «слабому», нуждающемуся *я* – тот из всех *других*, кто оказывает милость. Т.е. для милосердного априори не встает вопрос о праве выбора, тогда как у пострадавшего оно сохраняется как воз-

возможность отношения к проходящим мимо либо как к *ближним*, либо как к *дальним* – в соответствии с характером их поступка. Ни священник, ни левит не являются *ближними* пострадавшему «человеку» из притчи, несмотря на их проповедь Закона, так как не восприняли его *ближним* самим себе, но это в то же время не значит, что в положении пострадавших они должны остаться в позиции *дальних* для этого «некоего человека». Слабая, страдательная позиция *любого другого* всегда должна являться моментом перемоделирования отношений к нему *я* от *дальнего*, постороннего – к *ближнему*. Такой выглядит главная мысль притчи в ее полном смысловом объеме. Т.е. жест милосердия подразумевает необходимость психологического напряжения *я*, заключенного в акте внутренней переориентации: «Для этого, – по словам митрополита Антония, – надо научиться смотреть с целью увидеть, слушать с целью услышать» (Антоний, митрополит Сурожский 2000. С. 97). Включение в интерпретационное поле периферийных смыслов обогащает притчевую историю комплексом значимых нюансов, которые становятся связующим звеном между образцовым примером и реальностью. Так, в притче отчетливо показано, что самая «затратная» позиция – это позиция милосердного самарянина, а значит, поступая «так же», человек должен быть к ней готов, в противном случае оказанное милосердие может обернуться ропотом или досадой на *другого*, как чаще всего и бывает в жизни. И сам притчевый императив «иди, и ты поступай так же» может быть адекватно воспринят только с учетом этих смысловых составляющих. Особую убедительность слова Христа приобретают именно в системе диалога, заданного обрамляющим контекстом, где вопрос «законника» становится побудительным, а вопрос Спасителя: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойникам?» – развивающим притчевый дискурс, уточняющим, углубляющим его значение в рамках центральной идеи о необходимости милосердия¹.

¹ В исследовании А. Вежицкой обрамляющий контекст учитывается лишь на уровне вопроса «законника»: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную», причем, как «откровенно личностного» (Вежицкая 2000. С. 735). Фигура конкретного вопрошающего не раз наличествует в Евангелии. Вспомним богатого юношу или фарисеев и саддукеев, задающих Христу провокационные вопросы. Однако во всех случаях Его ответы выходят за рамки личностной адресации в общечеловеческое пространство, часто приобретая, как и в случае с ответом «законнику» притчевую форму. Поэтому и данный евангельский обрамляющий контекст, представленный в виде искушающего вопроса, не может восприниматься как «откровенно личностный», а соотносится с одной из общих повествовательных моделей Евангелия: *личностный вопрос – универсальный ответ*, что придает новозаветной притче проповеднический характер.

Таким образом, наиболее простой пример притчевого повествования содержит в себе богатство смысловых нюансов, однако все они, как ветви единого дерева, прикреплены к своему стволу – центральной идее. «Образцовая» позиция новозаветной нарративной притчи определяется в первую очередь статусом самого Евангелия как метанарратива, внутри которого толкование аллегорических пассажей притчи предусмотрено принципом иерархической подчиненности смысловых уровней основной максиме.

Именно богатство смысловых нюансов притчи-параболы дает возможность их сюжетного развития в литературном произведении большой формы, организации в отдельные сюжетные линии, истории персонажей, выделение главных героев и второстепенных действующих лиц и пр. При этом моделирование художественного текста по канве евангельской притчи не может не привнести в него те же нарративные параметры, которые характерны для самого исходного жанра. Лежащий в основе его сюжета «образцовый» пример задает восприятие рассказанной истории как завершенной, полностью осуществившейся, либо должной осуществиться с неизбежностью. Не случайно в евангельских притчах все действия субъекта выражены через глагольную форму совершенного вида прошедшего либо будущего времени. Эти жанрообразующие характеристики притчи привносят даже в «открытую» структуру литературного произведения модус «закрытости». Пожалуй, наиболее показательный пример подобного рода в русской классической литературе – роман Достоевского «Преступление и наказание», эпилог которого расставляет все нравственные точки над «і» в судьбе героя, придавая сложному сюжету, смоделированному по «открытому» типу, статус завершенности. Но и в таком объемном тексте, как роман-эпопея «Война и мир» Л. Толстого, а также в «Анне Карениной» наблюдается притчевая стратегия сюжета. В обоих случаях она заявлена авторской «главной мыслью». В «Войне и мире» это «мысль народная», утверждению которой подчинено все сюжетное движение эпопеи; в «Анне Карениной» – «мысль семейная», проводимая, в отличие от «Войны и мира», не катафатически-прямыми приемами художественной аргументации, а апофатическим способом «от противоположного». Притчевая модель лежит и в основе романа «Воскресение», в котором главную мысль можно определить как «мысль покаянную» и где усиление нравоучительного начала достигается объемными цитатами из Четвероевангелия.

В литературе прошлого века в качестве наиболее ярких примеров романа притчи следует назвать романы Г. Газданова «Пилигримы» и «Пробуждение»: сюжет обоих произведений построен как реализация предпосланных им эпитафий нравоучительного характера. Два этих романа относятся к позднему периоду творчества писателя, для которого в это время самым большим литературным авторитетом был Л. Толстой. В «Пилигримах» эпитафией служит старинная испанская молитва: «Боже, дай мне силы перенести то, что я не в силах изменить. Боже, дай мне силы изменить то, что я не в силах перенести. Боже, дай мне мудрости, чтобы не спутать первое со вторым» (Газданов 1996. С. 773), в «Пробуждении» – этико-философская максима Вильгельма Оранского: «Если хочешь достигнуть цели, действуй даже без надежды на успех» (Газданов 1996. С. 435). Оба произведения написаны по канве притчи о милосердном самарянине. Однако в «Пилигримах» аллюзии на данную притчу возникают только в финальной части, что придает тексту свойство «закрытости», а истории героя свойство завершенности, тогда как большая часть сюжета представляет собой аллюзию на притчу о блудном сыне. Название романа объясняется в речи одного из персонажей, ростовщика Лазариса: «мы все похожи на пилигримов, которые в пути забыли о цели их странствия» (Газданов 1996. С. 415). Но в процессе сюжетного движения идея пилигримства как свершения духовного пути оказывается оправданной. Т.е., при всей разветвленности романного сюжета, гетерогенности его сюжетных линий, все они в результате собираются в смысловое единство (подробно см.: Проскурина 2009. С. 291-349). Следует отметить, что две названные евангельские притчи: о блудном сыне и о милосердном самарянине — оказались наиболее востребованными в творческих рецепциях притчевых текстов на протяжении всей истории отечественной литературы.

В отношении текстовой структуры романа-притчи в целом можно сказать, что чем свободнее располагаются в ней притчевые элементы, чем богаче их окружение единицами иного семиотического плана, тем больше семантическая глубина произведения, объемнее его сюжетное пространство, т.е. тем сильнее проявлены в нем признаки открытой смыслообразующей системы, что и обуславливает притчевую историю романский статус. И наоборот, чем ближе к поверхности сюжета находятся кодирующие притчевые элементы, чем отчетливее его дидактика, тем сильнее в нем действуют центростремительные процессы, гасящие семантическую многомерность и ведущие к перемоделированию «открытой» текстовой системы в «закрытую». В качестве наиболее

показательного примера «закрытости» большой текстовой формы можно назвать «Псалом» Ф. Горенштейна. Его жанровый модус *сборника притч* задан в названиях пяти частей: «Притча о потерянном брате», «Притча о муках нечестивцев», «Притча о прелюбодеянии», «Притча о болезни духа», «Притча о разбитой чаше», в чем просматривается претензия на творческий диалог с библейским жанром *машал*, в частности, с «Книгой притчей Соломоновых». В отличие от евангельской нарративной притчи, *машал* представляет собой более простую форму. Это не притча-рассказ, а притча-изречение, афоризм, в котором отсутствует цельный нарративный сюжет. В этой связи ориентация Ф. Горенштейна на данную жанровую разновидность приводит к тому, что сюжетика пяти притч в «Псалме» выполняет придаточную, иллюстративную функцию по отношению к библейским афоризмам, встроенным в текст прямыми цитатами из речей пророков. Это лишает рассказанные истории самоценности, а романский текст — семантической многослойности, превращая его в абсолютно «закрытую» структуру, полностью подчиненную авторской дидактике, на протяжении всего повествования варьирующей одну и ту же тему: обреченности грешного человечества (подробно см.: Проскурина 2010).

Таким образом, можно говорить о вариативности структурной организации романного текста, созданного на основе притчи. При этом стремление к «закрытости» не может не отразиться на угасании романного начала в произведении, переведении его в некую иную жанровую форму, еще ждущую своего определения.

В современной литературной ситуации притча проявляет себя больше на уровне «памяти жанра». Несмотря на особую интенсивность формальных инноваций постклассической литературы, притчевый жанровый код различим во всех многообразных его проявлениях, в том числе и в явлениях жанрового синтеза. Однако в этом следует видеть не столько потребность современного читателя в открытой дидактике и морализме, сколько признаки того явления, которое предчувствовалось еще Сергием Булгаковым на заре прошлого века: «Вся лавина современного многознания ... как будто засыпала единое русло человеческой линии... Для того, чтобы двигаться навстречу единственно достойному человеку идеалу цельного знания, человечество должно идти пока в направлении прямо противоположном, от универсализма к специализации, от единства к дроблению, и путь этот уходит все дальше от желанной цели, сумерки мысли при обилии знаний становятся все гуще» (Булгаков 1993. С. 275, 276). Таким образом, актуальность

притчи в современной не только литературной, но и общественной ситуации связана с потребностью повернуться от жизненного хаоса и информационной раздробленности к целокупному знанию-ведению, которое скрыто в незамысловатых, на первый взгляд, притчевых сюжетах. Можно сказать, что сегодня притча, существующая во множестве контекстов – этим словом буквально пестрят десятки статей, обзоров, дискуссий, исследований, – становится индексом каких-то существенных интенций гуманитарного сознания, нагружена сопутствующими смыслами авторских намерений и читательских ожиданий (подробно см.: Бальбуров, Бологова 2014. С. 142-161).

ЛИТЕРАТУРА

Аверинцев С.С. 1987. Притча // Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. С. 305.

Аверинцев С.С. 1994. Авторство и авторитет // Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы художественного сознания. Сб. статей. М.: Наследие. С. 105-125.

Антоний, митрополит Сурожский. 2000. Человек перед Богом. М.: Паломник. 382 с.

Бальбуров Э.А. Бологова М.А. 2014 Притча в литературно-критическом и философском сознании XX – начала XXI века // Притча в русской словесности: От Средневековья к современности: Коллективная монография / отв. ред. Е.Н. Проскурина, И.В. Силантьев. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. 484 с.

Булгаков С.Н. 1993. Соч.: В 2 т. М.: Наука. Т. 2: Избранные статьи. 750 с.

Вежицкая А. 1999. Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки славянской культуры. 780 с.

Висман Дж., Келлоу Дж. 1994. «Не искажая слова Божия...» (Принципы перевода и семантического анализа Библии). СПб.: Ноах. 449 с.

Газданов Г. 1996. Собр. соч.: В 3 т. М.: Согласие. Т. 2. 797 с.

Гистория о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королеве Ираклии Флоренской земли // Русская литература XVIII века. Сост. Г.П. Макогоненко. Л.: 1970. Наука. С. 50–58.

Глинка Ф.Н. 2009. Опыты аллегорий, или иносказательных описаний, в стихах и в прозе. М.: РГГУ. 267 с.

Демкова Н.С. 1997. Средневековая русская литература: Поэтика, интерпретации, источники. Сб. статей. СПб.: Изд-во СПбГУ. 221 с.

История о российском дворянине Александре // Бухаркин П.Е. 2009. История русской литературы XVIII века. Петровская эпоха: учебник для высших учебных заведений Российской Федерации. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ. С. 416–460.

Лихачев Д.С. 1979. Поэтика древнерусской литературы. Л.: Наука. 372 с.

Лотман Ю.М. 1988. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение. 353 с.

Повесть о Варлааме и Иоасафе: Памятник древнерусской переводной литературы XI–XII веков / Подгот. текста, исслед. и коммент. И.Н. Лебедевой. 1985. - Л.: Наука.

Проскурина Е.Н. 2009. Единство иносказания: О нарративной поэтике романов Гайто Газданова. М.: Новый Хронограф. 391 с.

Проскурина Е.Н. 2010. Особенности притчевого повествования в романе Ф. Горенштейна «Псалом» // Материалы к «Словарию сюжетов и мотивов русской литературы»: Сб. науч. статей. Вып. 9. Новосибирск. С. 206-223.

Рай мысленный: К 340-летию издания / Фонд по изучению истории Православной церкви; Новгородская епархия Русской Православной Церкви. Валдайский монастырь во имя Иверской иконы Божьей матери. Пер. Ю.И. Зинченко; сост. В.С. Белоненко. СПб., 1998 (То же: СПб., 1999).

РНБ, Софийское собр., № 1324, конец XII–XIII в.

Ромодановская Е.К. 2003. Древнерусская притча: самоопределение жанра // ТОДРЛ. Т. 54: Памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин». С. 192-200.

Румянцова В.С. 2010. Патриарх Никон и духовная культура в России XVII века. Из рукописного наследия патриарха Никона: «Правила христианской жизни (“нужнейшиа Заповеди”)». М.: ИРИ РАН. С. 153-213 (текст «Правил христианской жизни»).

Севастьянова С.К. 2003. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности патриарха Никона». СПб.: «Дмитрий Буланин». С. 339-458.

Севастьянова С.К. 2004. Завещание-устав патриарха Никона // Вестник Томского государственного педагогического университета. Томск. Вып. 2 (39). С. 138-144.

Севастьянова С.К. 2007. Эпистолярное наследие патриарха Никона. Переписка с современниками: исследование и тексты / Научн. ред. член-корр. РАН Е.К. Ромодановская. М.: Индрик. 776 с.

Тюпа В.И. 2014. Нарративная стратегия притчи в литературной традиции // Притча в русской словесности: От Средневековья к современности. Коллективная монография / Отв. ред. Е.Н. Проскурина, И.В. Силантьев. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. С. 34-78.

Хализев В.Е. 2000. Теория литературы. М.: Высшая школа. 398 с.

Шунков А.В. 2014. «Блудный сын» в книжной традиции переходного времени (вторая половина XVII – первая треть XVIII вв.): традиция и новизна // Притча в русской словесности: От Средневековья к современности. Коллективная монография / Отв. ред. Е.Н. Проскурина, И.В. Силантьев. Новосибирск РИЦ НГУ, 2014. С. 225-241.

Эко У. 2005. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб.: Symposium; М.: РГГУ. 501 с.

ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИЙСКИХ КАНОНИЧЕСКИХ И УЧИТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ НА СЛАВЯНО-РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРНУЮ ТРАДИЦИЮ

Из византийской традиции – в русскую

Церковные каноны – это те нормы, которые церковь фиксировала как правила, которые должны определять ее существование как общественного института, так и нормы поведения ее членов. В ранний церковный период, представленный такими текстами как Учение 12 апостолов, Апостольские постановления и др., грань между моральными предписаниями и закрепленными нормами (собственно каноническая литература) очень нечеткая. Предписания, касающиеся поведения членов церкви, начатые еще в посланиях апостолов, разумеется, продолжали делаться на протяжении всей истории ее существования. Другая ситуация сложилась с канонами. Выработанные соборами постановления по целому ряду важных вопросов, определяющих церковь как институт, получили особый статус и стали рассматриваться как общеобязательные.

Правила церковных соборов объединялись в сборники, известные не только в греческой, но и в сирийской, армянской, эфиопской, латинской традициях. Состав этих сборников в разных языковых традициях различается даже по объему включенных в них правил «вселенских соборов». Своеобразие церковной ситуации повлияло на состав сборников церковных канонов в разных церквях, а впоследствии это различие и было закреплено церковным законодательством. Для византийской традиции основным стало 2-ое правило 6-го вселенского собора, определившее каноны и правила отцов церкви, обязательные для православных.

Основные собрания канонов в византийской традиции: это Синтагма в 50 титулах (VI в.) (Benešević. 1937), Сборник в XIV титулах (Бенешевич. 1907, 1987). В XI в. правила были снабжены толкованиями, в XIV в. появились новые сокращенные собрания: Алфавитная Синтагма Матфея Властаря и Эпитоми Константина Арменопула. Помимо собственно канонов, в состав сборников входили и многочисленные статьи разного происхождения, до сих пор не систематизированные. Распространенный в Византии Номоканон Иоанна Постника, сопровождающийся разным составом епитимийных правил и исповедных вопросников, сохранившийся во множестве редакций, также изучен недостаточно. Все указанные собрания канонов были переведены на славянский язык и стали достоянием русской литературы.

Наиболее исследованы перевод на славянский Синагоги в 50 титулах, связанный с деятельностью Св. Кирилла и Мефодия (два списка - Устюжский -РГБ. Рум. 230 и Иоасафовский - РГБ. МДА фонд. 54); (изд.: Срезневский, 1897, ММФН 1971) и Сборник 14 титулов без толкований (древнейший список ГИМ XII-XIII вв.. Син. 227 – изд.: Бенешевич, 1907, 1987), хотя вопрос о месте перевода этой редакции вызывает споры. В последние годы появились и издания Сборника 14 титулов с толкованиями Алексея Аристина и Иоанна Зонары – Сербское Законоправило или Святосавский Номоканон (Законоправило, 1991, Законоправило, 2005), получившего широкое распространение в сербской и древнерусской традициях со второй половины XIII в. В настоящее время коллективом, включающим М.В. Корогодину и авторов статьи, ведется работа по подготовке издания созданной на Руси редакции, объединившей Древнеславянскую и Сербскую (Щапов, 1978) – именно она и получила название Кормчая книга. В научной литературе под этим названием понимается сборник, включающий блок правил канонов соборов и отцов (Щапов, 1973. С. 261-263).

Осталось незавершенным издание Тактикона Никона Черногорца, а из текста Пандектов опубликованы лишь отдельные канонические и юридические статьи (Максимович, 1998), хотя в славянской традиции этот памятник получил необычайно широкое распространение: наиболее ранний список относится к XII в., а 9 списков - к XIV в..

С XIV в. в славянской письменности известен и сборник Зинар («Псевдо-Зонара»), который только в последнее время стал привлекать внимание исследователей (Белякова, 2007. Турилов, 2005. Цибранска-Костова, 2011. Найденова, 2011). Особенностью этого сборника является то, что он адресован обществу, где церковь выполняет широкие функции по управлению, в том числе и судебные. Предписания сборника касаются многих бытовых сторон, о которых умалчивают другие источники. Значительную часть сборника составляют правила, относящиеся к епископам и монахам. Они касаются самых различных сторон жизни клириков, которых соборные правила не затрагивают, и содержат предписания мирянам по участию в церковной жизни. В сборнике начала XV в., связанном с Кириллом Белозерским, имеются уже выдержки из Зинара (Энциклопедия русского игумена, 2003). Наиболее

ранний полный восточнославянский список, содержащий Зинар, Кормчая 1493 г. Соловецкого монастыря («Мясниковская редакция»). Зинар входит и в состав сборника, включающего список Кормчей западно-русской редакции (РГБ. Егор. 245). Но наибольшей распространенностью этот сборник пользовался на Руси с начала XVII в. Он переписывался вместе с Алфавитной Синтагмой Матвея Властаря и Номоканон, составляя единый сборник. Как и Алфавитная Синтагма, Зинар получает в начале XVII в. указатель, что сближает его с печатными изданиями.

Что касается названия «Номоканон», то оно применяется как к разному типу канонических сборников, так и к отдельным собраниям правил, например, «*Номоканон святых отец Никейских и Халкидонских*».

К каноническим сборникам примыкает и Изборник Святослава 1073 г. - (далее в нашем обозначении ИСв). Византийский сборник, текст которого был переведен на славянский язык в Преславе при царе Симеоне, имел вероучительный, богословский, канонический и отчасти естественнонаучный характер. Широта рассматриваемых в Изборнике вопросов от богословско-философских, церковно-канонических до исторических и даже поэтико-риторических позволяет исследователям рассматривать его как энциклопедический по своему характеру памятник, введший и знакомивший новообращенных христиан-славян с высокой византийской и отчасти античной культурой. В этом сборнике наряду с разнообразными статьями и выдержками из сочинений отцов Церкви (Василия Великого, Иоанна Златоуста, Евсевия Кесарийского, Климента Александрийского, Кирилла Александрийского, Иоанна Дамаскина, Максима Исповедника, Григория Нисского и других авторов) был представлен философский трактат Феодора Раифского, содержащий толкования основных философских категорий и понятий, статья Георгия Хировоска «О образах», в конце ИСв помещен «Летописец вкратце от Августа даже и до Константина и Зоя цесарь греческих». Статьи из Анастасия Синаита по каноническим вопросам составляют и большую часть Изборника Святослава 1073 г.

Византийские литературные традиции были усвоены и продолжены в творчестве писателей и редакторов при создании произведений древнерусской книжности разной жанровой принадлежности, при этом наименее изученным представляется вопрос о влиянии этих традиций на состав древнерусских сборников.

Перечислим наиболее известные и интересные для рассматриваемой темы сборники. Это Трифо-

новский сборник нач. XV в., РНБ, собр. Софийское № 1262 (роспись его состава см. Алексеев, 2012: С. 100-116), Паисиевский сборник, РНБ, собр. Кирилло-Белозерское, № 4/1081, перв. четв. XV в. (роспись его состава см. Савельева 2014: 505-511), Софийский сборник первой трети XV в., РНБ, собр. Софийское, № 1285 (его издание см. Антология 2013), а также многочисленные сборники, о которых будет сказано ниже.

Длительную историю бытования имел Изборник Святослава 1073 г., сохранившийся в многочисленных списках. К. Куев приводит сведения о его 27-ми списках, в том числе и отрывков из него (Куев 1991: С.34-96), однако в его перечне во многом не учтены сборники со статьями из этого произведения. А между тем именно бытование ИСв в русской рукописной традиции свидетельствует о том влиянии, которое этот византийский по происхождению памятник оказал на древнерусскую книжность.

Вопрос о том, насколько часто использовался Изборник Святослава при составлении древнерусских сборников, остается малоизученным. Впервые на необходимость его разработки указал И.В. Левочкин, который предпринял выборочный анализ некоторых сборников, содержащих статьи из ИСв. (Левочкин 1985: С.373-378).

С разной степенью полноты статьи из Изборника представлены в следующих списках: ГИМ, собр. Барсова, № 619, нач. XV в.; собр. Барсова № 1395, XV в.; собр. Барсова № 311, собр. Барсова № 630, XVI в., Епарх. № 367, XV в.; собр. Черткова, № 346, XVI в., собр. Синодальное № 951, XV в., собр. Синодальное № 561, XVI в., РНБ: собр. Софийское № 1285, XV в. (Син-561 и Соф-1285 перечислены Куевым среди полноценных списков ИСв), Кирилло-Белозерское . собр., № 28/1105, ОСРК Q.I.312, 1422 г., РГБ, собр. Троице-Сергиевой лавры (ТСЛ) № 214 и собр.Юдина, № 2, XV в.; РГАДА, собр. МГА-МИД, ф. 181, № 370 (Баранкова 2007: С. 45-53).

В отдельных случаях состав сборников повторяется, как это можно видеть на примере Кир-Бел 28/1105 и Юд-2 (оба содержат более 40 статей Изборника), а также Син-561 и Черт-346.

Проведенное изучение русских сборников XV-XVI вв. со статьями из ИСв показало, что статьи из этого памятника включаются в состав сборников в определенной последовательности, связанной не столько с порядком их следования в старшем списке, сколько с задачами, которые ставили перед собой составители сборников. Так в состав весьма разнообразного по содержанию сборника Син-951, в который вошли главы из Богословия Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна экзарха Болгарского, Уставы кн. Владимира и Ярослава Мудрого, краткая летопись,

апокрифические (о родословии Богородицы, «Галеново на Гиппократе») и естественнонаучные статьи, толковые тексты, в том числе Толкования на Апокалипсис Андрея Кесарийского, «Толк божественныя литургии», «Толкование неудобь познаваемым в неких писаниях речем» и другие статьи, составитель сборника включил из Изборника статьи, во многом перекликающиеся по своей тематике с содержанием всего сборника. Из Богословия были взяты преимущественно естественнонаучные главы о мироздании («О твари, О здании видимом, О небеси, о свете и огни и свитильници; О вздусе и о ветрех; О водах и о мори о земли и яже от нея, О едемском раи; О самовластном человеце»). Из ИСв составитель выбрал главы о рае («Вспрос чювьственны ли есть раи или разумень, тленен или нетленень»), «Дионисья Александрьскаго от [то]го иже на Орегиона), а также ряд своего рода естественнонаучных статей «Имена великих рек», «Немесия епископа о естестве человеце», толковым текстам близки статьи из Изборника «Что есть ефуд, имъ же впраша святитель (ИСв 2.51), «Златоустаго еже о ризе святительстей» (ИСв 2.52), «Святаго Епифания повесть о камыщех (ИСв 2.53). Если для составителей Син-561 и Черт-346 актуальной являлась антилатинская полемика, в связи с чем большое внимание уделялось теме Троицы, то и статьи на эту тему, а также вероучительные вопросы выходили на первое место при выборке из Изборника.

Довольно распространенным явлением в сборниках со статьями ИСв является их переработка или дополнение. В Бар-1395 существенной переделке подверглась статья ИСв 1.72 («Вопрос: добро ли есть исповедати грехы наши духовным мужем»), к которой составителем сборника сделаны существенные добавления о грехах, за которые христиане должны отлучаться от причастия. Добавления касаются и того, в каких случаях наказаниям должны подвергаться священники и монахи: законы запрещают им «бить верна или неверна», ходить на войну и «куповати оружия воиньская, токмо малыя ноже».

В Син-561 к ряду глав из ИСв сделаны дополнения составителем сборника, приводящие к усилению познавательного или учительного компонента той или иной статьи. Так, например, к статье «Како есть разумети еже рече Соломонъ о древесех и инех» (Ср. ИСв 2.55) добавлена статья «О царствии трех, содержащее сказание о царе Соломоне из текста 3 кн. Царств; к статье От Исхода сделаны дополнения из сочинений Аввы Дорофея и Никиты Стифата (Горский-Невоструев: С.155). При этом сам текст Изборника сохраняется без существенных изменений.

Среди славянских канонических сборников особо нужно отметить «Власфимию» в составе так

называемого Трифоновского сборника (РНБ, Соф. 1262), в котором помещена подборка против симонии. Среди источников этого сборника: Евангелие, Кормчая русской редакции, Тактикон Никона Черногольца. Сборник открывается сочинением Кирилла Туровского «Притча о душе и теле», в псковской редакции памятника. Выбор этого сочинения для заглавной статьи сборника был не случаен. Тенденциозный характер притчи, позволивший считать ее обличительным памфлетом, направленным против епископа Федора и, возможно, самого Андрея Боголюбского, поддерживавшего Федора в его стремлениях на узурпацию церковной власти, дает возможность говорить о церковно-публицистическом характере всего произведения. Ряд статей сборника содержится в особой редакции, отличающейся от редакции Кормчей. Так Истолкование символа веры (лл.6-7) имеет продолжение с выписками из пророков о пришествии Христа (лл.7-8). В сборник входят и Предсловие покаянию, «Поучение ко всем крестьяном». Правило 165 отец на обидящие церкви Божии – один из наиболее ранних списков этого текста. Правило 165 отец вошло в разные сборники: Чуд.21 (преимущественно собрание агиографических произведений), в списки Чудовской редакции Кормчей, в уставную редакцию Скитского устава. Сборник содержит и ряд собраний неизвестного происхождения (л.188 об. «Правило оцькое» Нач. «Аще поп ловить зверь или птица»)

Весьма интересной и показательной для работы древнерусского книжника по освоению византийского наследия является Софийский сборник, представляющий своего рода антологию памятников литературы домонгольского периода. В этот сборник вошли как значительные по величине отрывки из переводных сочинений (Изборника Святослава 1073 года, Богословия в переводе Иоанна экзарха Болгарского, Шестоднева Севериана Гавальского, Андриант Иоанна Златоуста), так и оригинальные древнерусские и южнославянские сочинения, в том числе Послания Феодосия Печерского, разнообразные антиязыческие и полемические сочинения, канонические статьи и ряд др. Примечательно, что протограф сборника относится ко времени не позднее второй половины XII в. - середины XIII в. Первыми в антологии являются главы Изборника Святослава 1073 г. вероучительного и догматического характера: первая глава Изборника «Св. Василия еже на Евномия о св. Духе, Написание о правой вере Михаила Синкелла и Иустина философа, статьи Иоанна Златоустаго и Григория Нисского. Всего же в Соф-1285 представлено 60 статей из ИСв. Статьи ИСв перемежаются с текстами других произведений, но в основном они сосредоточены в

двух частях сборника: 9 статей читается на первых 14 листах, 2 статьи на лл. 47-48, а остальная часть на лл. 65, 67-80 об. Ряд этих статей касается покаяния, прощения грехов и поминовения усопших, а также вопросов милостыни, праведного и неправедного богатства. Однако редактор-составитель не просто копировал тексты Изборника, но и существенно перерабатывал некоторые из них. Так, в Соф-1285 в статью о вселенских соборах вставлены данные о 7 соборе (в ИСв приводятся сведения о 6 соборах). Существенной переработке подверглась в Соф-1285 статья «Отъ исхода» (ИСв 2.114). Редактор переделал не только текст статьи об иудейских праздниках, но и внес существенные добавления, касающиеся трех главных христианских постов.

Как показал анализ Соф-1285, большое значение для его составителя (или составителя его протографа) имело *«Предсловие покаянию»*, являющееся одним из интереснейших канонических памятников раннего периода, которому в древнерусской книжности придавалось особое значение, что нашло отражение не только в этом, но и во многих других сборниках. Как писал один из первых его исследователей В. Изергин, «Предъсловие покаянию» было в числе ранних произведений, «которыми русская церковь начала воспитывать в нравственных, гуманных идеалах древнерусское общество, взывая к совести новопросвещенного народа» (Изергин 1891: С. 184). Основанное на византийском Номоканоне Иоанна Постника, это произведение в простой доходчивой форме объясняло, в каких отношениях должны находиться кающийся мирянин и его духовный отец. В нем порицались основные пороки мирян – пьянство и несправедное обогащение, в том числе ростовщичество и лихоимство, давались советы священнослужителям, как надо принимать кающегося, и разъяснялось, какими качествами должен обладать исповедник. О древности этого произведения свидетельствует его язык, и прежде всего лексические особенности. Ряд из них связан с реалиями древнерусского общества, находящегося на ранней стадии развития, и относится к словам *изгоиство*, *куна*, *накладъ*, *резоимьство*, *челядинь*, *кърчьма*, отмечаемым в исторических словарях по древнейшим восточнославянским памятникам. Среди этих слов особо следует выделить лексему *изгоиство* («сумма, которая вносится при выходе на свободу»), образованную от существительного *изгои* («человек, выбывший по тем или иным причинам из своей социальной среды»), известного уже по Русской Правде, Уставу Ярослава о мостах, Церковному уставу кн. Всеволода, Уставной грамоте смоленского кн. Ростислава (Срезневский: 1,

1052, СДРЯ III, С.495) и квалифицируемого М. Фасмером только как древнерусское слово (Фасмер II: С.121-122). Эта лексема позволяет датировать памятник домонгольским периодом, временем, когда существовало само понятие изгойства.

При выборе статей из ИСв составитель Софийского сборника руководствовался идеями Предсловия, о чем свидетельствует значительная подборка учительных статей из Изборника, тематически связанная с покаянием и обличением неправедного богатства. Этой теме подчинены и принципы переработки составителем протографа Софийского сборника ряда статей ИСв, особенно наглядно это проявляется в статье «Слово иже от Матфея. Добро ли исповедати грехы к духовнымъ отцемъ» (ср. ИСв 1:72), в которую напрямую включены отрывки из Предсловия. Еще одна переделка статьи ИСв «Того же еже о альчьбе» (ИСв 1:27) также демонстрирует связь с Предсловием: здесь среди грехов добавлено резоимство и лихоимство, отсутствующие в Изборнике. Показательна редакторская вставка в завершающей статье из Изборника в Соф-1285 «Иоанна Златоустаго иже от деянии» (ср. ИСв 1:140): всякое же съгрешение раздрушається деломъ творения. а не словомъ исповедания, по научению святыхъ отецъ, якоже есть писано въ предъсловьи покаяния» Соф-1285, л. 80г.

Таким образом, статьи из Изборника Святослава 1073 года, взятые как из первой, так и второй части этого памятника, представленные в Софийском сборнике, группируются тематически и во многом идейно связаны с Предсловием покаянию.

Предсловие покаянию является своего рода программным произведением для сборников дидактической проблематики. Его автор, основываясь на византийском Номоканоне Иоанна Постника (или его славянском переводе), взял за образец его третью часть (по классификации Н.А. Заозерского – см. Заозерский, Хаханов, 1902: С. 34), названную «Наставления отцов», в значительной степени наполнив эту часть реалиями русской жизни.

Предсловие всегда присутствует в сборниках, в которых представлен блок поучений, обращенных к иереям, иногда оно открывает эти сборники. Авторитетность этого произведения подтверждается также ссылкой на него в «Слове Иоанна Златоуста о лживых учителях», древнерусском сочинении, представляющем переработку «Слова о лжепророках и лжеучителях, и об еретиках, и о знамениях кончины века сего» псевдо-Златоуста [СКиКДР: 1987: С. 431, Клибанов 1961: С. 300-312]. Автор Слова видит назначение Предсловия в том, что оно должно стать первоначальным руководством для всякого христианина, вступающего на путь спасения, ведущего в вечную жизнь, и что среди

священных книг оно является первым, которое необходимо изучить и которому надлежит следовать. Этот текст нельзя рассматривать как позднейшую вставку в Слово, так как он является неотъемлемой частью всех списков памятника.

О высоком статусе Предсловия свидетельствует включение его отрывков (в переработанном виде) в Требники. Так, своеобразную выборку из текста Предсловия, осуществляемую с разными целями, можно видеть в Требниках (собр. Кирилло-Белозерское № 528/785, собр.ТСЛ № 233 и собр. Погодина № 314). Сравнения этих текстов из Требников показывает, что из Предсловия одни авторы выбирали то, что касалось непосредственных наставлений духовнику и кающемуся, как это видно из Требника по рукописи Кир-Бел, № 528/785 и ТСЛ-233. В статье из Требника Погод-314, озаглавленной «Поучение пришедшему на покаание» текст из Предсловия переработан таким образом, что из него выбрано конкретное наставление священнослужителю, как принимать кающегося, от каких поступков он должен отказаться и в каких грехах покаяться, чтобы получить прощение. Текст этой статьи явно имеет позднее происхождение, так как в ней нет упоминания ни об изгойстве, ни о кунах. В числе грехов, в которых надлежит покаяться, в этой статье дважды упомянуто употребление в пищу удавленины, которое сравнивается «с блудом и идоложрением», тогда как в Предсловии этот грех не назван. Статья «Поучение пришедшему на покаание» изменена за счет привлечения евангельской цитаты (Лук. 19: 8-9) и цитаты из Слова Иоанна Златоуста, а также расширения концовки, содержащей наставления священникам, кого и как принимать на покаяние. Цитата Лук 19: 8-9 органично вплетена в ткань повествования. Если в Предсловии четко определяется размер возмещения за украденное или «резоимное» (в том случае, если возврат тем, кому нанесен ущерб по каким-либо причинам невозможен, то все следует отдать нищим), то в рассматриваемой статье предлагается в этом случае «загладить» все милостынею, розданной церквям и нищим. Мотив отдачи неправедно нажитого в церковь в Предсловии отсутствует, при этом в Поучение вставлен евангельский эпизод о Закхее, обещавшем половину своего имущества отдать нищим, и воздать вчетверо, если он кого-то обидел. В то же время четкого определения размера возмещения ущерба в Поучении не содержится.

В. Изергин выделил две редакции Предсловия покаянию: краткую, представленную самым ранним списком Соф-1262 (в Трифоновском сборнике), и полную, наилучшим образом сохранившуюся, по его мнению, в Софийском сборнике (Соф-1285).

Дальнейшее текстологическое изучение этого памятника показало, что выявленные нами списки Предсловия можно разделить на три редакции: краткую: Соф-1262, Рм-238 и Кр-45, Ув-482, Вол-523, Вол-560, ОСПК Ф.П.251, Лук-1, Ег-245; полную: Кир-Бел-4, ТСЛ-793 и пространную: Соф-1285, Юд-1, Еп-384, Сол-858/968, СПБДА-129. В процессе бытования текст Предсловия претерпевал существенные изменения.

Впоследствии он включался в качестве дополнительных статей в Кормчие разных редакций: РГБ, собр. Лукашевича, № 1 («Лукашевическая ред., Лук-1), собр. Егорова, № 245 (Ег-245), собр. Румянцевца № 238 (обе «Западно-русские»); РНБ, собр. Соловецкое, № 858/968, («Мясниковская»). Попал он и в рукописные списки Зинар XVII в., а из них – в старообрядческие печатные издания Зинар XVIII в. с характерной пометой: «Поучение иереом zelo красно». В нем Предсловие представлено в краткой редакции памятника с некоторыми изменениями, касающимися устранения пассажа об изгойстве, несомненно, утратившего свое историческое значение ко времени составления Зинар. Значительной переделке и сокращению подвергся самый конец статьи, в котором содержится призыв священнику давать посильное наказание согрешившему.

Существенной переработке подвергся текст краткой редакции в Лук-1, в результате чего он был сокращен вдвое. В начале статьи было устранено рассуждение о пользе чтения священных книг и предостережение не впасть в ересь тем, кто не имеет развитого ума, но читает книги. Далее из текста было полностью исключено описание грехов, связанных с разбоем, грабежом, ростовщичеством и изгойством. Кроме того, в конце была опущена рекомендация священнику не принимать на себя чужие грехи нераскаявшегося человека, скрывающего их от священнослужителя. В заключительной части статьи также было устранено наставление о том, чтобы давать наказание «по силе, а не чрез силу» беднякам, ремесленникам, кормящимся своим трудом.

Редактировался и язык этого произведения. Так, в ряде списков Предсловия было устранено в связи с утратой соответствующего понятия слово изгойство, слова *корчма* (в значении «напиток») было заменено словосочетанием *корчемное питье*, *куна* – словом *сребро* и др.

Большим сходством по составу с Софийским сборником обладает Паисиевский сборник (РНБ, собр. Кирилло-Белозерское № 4/1081. 1-я четв. XVв.), на что неоднократно обращали внимание его исследователи. (О взаимоотношении двух сборников и составе Паисиевского сборника см. статьи Н. В. Савельевой (Антология: 2014, 44-47, 505-511)). В отличие от

Софийского, рассматриваемый сборник не содержит отрывков из переводных памятников, таких как Изборник Святослава 1073 г., Богословие и Шестоднев Севериана Гавальского. Основное содержание этого сборника составляют антиязыческие и канонические статьи, в числе которых Предсловие покаянию, выписки из Пандектов Никона Черногорца, Правила Вселенских соборов, учительные статьи.

Формирование тематических блоков

В составе сборников, как и канонических книг, встречаются устойчивые блоки, имеющие, как правило, тематический характер. В Пандектах Никона Черногорца каждая из 63 глав посвящена теме, к которой дается подборка из Евангелия (в основном, с толкованиями), соборных правил отцов церкви, патериков («от старчества»). Несомненно, что подобная композиция оказала большое воздействие на русскую литературную традицию. Выписками из Никона Черногорца наполнены многочисленные сборники XVI-XVII в. По-видимому, примером Никона Черногорца руководствовался и митрополит Даниил, когда в состав Сводной Кормчей включил не только правила, но и выписки из творений отцов, из житий, и, наконец, из самих произведений Никона Черногорца.

Состав Кормчих задавали в первую очередь соборные правила, помещенные по своему источнику – т.е. объединенные тем собором, который их издал. Впрочем, в славянской (как и в греческой) традиции имелись Кормчие, в которых правила располагались тематически, в порядке указателя 50 титулов (Синагога в 50 титулах – Устюжская Кормчая) и 14 титулов (Мазуринская редакция, западно-русская). Состав Кормчих книг можно разделить на устойчивые блоки: 1) собственно собрание канонов: каноны апостольские, вселенских и поместных соборов; 2) правила отцов церкви; 3) императорское законодательство; 4) сопроводительные канонические статьи – о вселенских соборах, предисловия к собранию правил, указатели канонов; 5) статьи о браках; 6) монашеские статьи; 7) антиеретические (а впоследствии и антилатинские статьи); 8) учительные статьи; 9) литургические; 10) догматические, энциклопедические и хронографические статьи. Почти все эти блоки могут входить и в состав канонических сборников. При этом, как правило, можно отметить тенденцию к значительному сокращению собрания собственно канонов в составе сборников при сохранении и расширении русских правил.

Блок статей о браках встречается и в составе Требников и сборника Зинар. Антилатинский блок, появившийся впервые в составе Кормчих Сербской редакции, значительно разросся и стал источником

и русских антилатинских статей, появившихся в связи с Флорентийским собором, а впоследствии и с Брестской унией (он присутствует и в сборниках, включающих Константинов дар, см. ниже). Монашеские статьи из Кормчей входят в состав многочисленных аскетических сборников, Уставов (скитского устава с монашескими главами). Литургические статьи также встречаются в составе Требников и отдельных сборников. Формирование этого блока рассмотрено в трудах Т. Афанасьевой (Афанасьева, 2012). Требники и Кормчие объединяет и наличие молитв исповеди («Молитва над кающимся» – ГИМ. Син.132. лл. 362 об.-363), а также Чин погребения, вошедший в состав Русской Кормчей (ГИМ. Син.132. лл. 611-613).

Законодательный блок, включавший первоначально только Собрание в 93 главах, был значительно расширен в Сербской редакции. В русской редакции он пополнялся за счет княжеского законодательства о церкви. Законодательный блок почти полностью был включен в состав сборника Мерило Праведное (МП, 1961). Вместе с тем появляется новый тип юридического сборника, включающий Земледельческий закон (РГБ. Муз. ф. 178 № 6634 перв. пол. XVI в. с Судебником 1550 г.; РНБ.ф.550. ФП 251 втор. четв. XVI в.). В эти сборники включен, как правило, и новый для славянской традиции Константинов дар (РГБ. Овчинникова ф. 209 № 156 к. XV – нач. XVI в., БАН.45.10.4. втор. пол. XVI в., ГИМ. Барс. 166 XVI в., РНБ Q XVII в, 1633 г., ГИМ. Ув. 482, втор. пол. XVI в.; ГИМ. Ув. 611 XVII в.

Особый блок составляли статьи догматического, энциклопедического (лексиконы и проч.) и хронографического характера. Догматические статьи по-разному объединяются в редакциях Кормчих. Эти статьи имели наибольшее значение в ранний период истории церкви, так как служили основой догматических сведений. Сюда входили Истолкования символа веры, истолкования молитв, сочинения богословского характера (ГИМ. Син.717 лл. 16-30). Блок этих статей был значительно расширен в Чудовской редакции (Корогодина. 2010). В Софийской редакции (Белякова, 2010. С. 23-50) появляются статьи о крестном знамении, которые впоследствии выделяются в особый блок и встречаются не только в составе Кормчих, но и в составе сборников (ГИМ. Син. 717 XVI в. лл. 1-3 об.).

Значительная часть канонических и учительных статей составляла содержание сборников. Просмотр сборников, содержащих многочисленные поучения, обращенные к священнослужителям, позволил выявить сборники XIV-XVII вв., имеющие устойчивый комплекс статей, обращенных к иереем: Соф-1262, собр. Уварова, № № 589 (Ув-589),

482 (Ув-482), собр. Крылова № 45 (Крыл-45), собр. Иосифо-Волоколамского монастыря №№ 523 (Вол-523), 560 (Вол-560), собрание Лукашевича № 1 (Лук-1), собрание Егорова № 245 (Ег-245), собр. Епархиальное, № 384 (Еп-384), собр. Соловецкое № 858/968 (Сол-858), собр. Санкт-Петербургской Духовной академии № 129 (СПБДА-129), собр. Троице-Сергиевой лавры № 192 (ТСЛ-192). Они составляют своеобразное обязательное ядро, вокруг которого группируются другие статьи. В блок входят следующие статьи, принадлежащие или приписанные отцам Церкви: 1) *Поучение Григория Богослова к попам («О попове, Бога вышняго слуги...»); 2) Слово Григория Богослова к попам («Слышите, что Господь глаголет...»); 3) Слово Иоанна Златоустаго («Иже человек имыи ремество...»); 4) Поучение св. Афанасия («О пастыри, что створим, иже всегда мзды въсприемлем...»); 5) Слово Иоанна Златоустаго («Аще купец на вся дни расчитаеть...»); 6) Слово Иоанна Златоустаго («О прозвитере, помысли, которыи сан приял...»); 7) Поучение Иоанна Златоустаго («Помыслим добре, братие...»); 8) Поучение св. Василия («Поп должен есть боле всего не имети ни гнева ни гордости...»), 9) Иоанна Златоустаго («Паки же ты о прозвитере Христова стада пастуше...»). (О включенных в этот блок статьях и их авторах см. Творогов 2006: С. 380, 383, 399, 401. Н.В. Савельева отмечает тот же блок статей в сборнике РНБ, собр. Погодина № 1615, 1632 г., см. Савельева 2009. С. 187). Этот блок статей в учительных сборниках впоследствии прирастал другими статьями: в одних сборниках к ним прибавлялись канонические статьи, «Заповеди святых отец» и т.п., в других – статьи дидактического характера. Частым конвоем являлись статьи «О церковном приношении», «О книжном почитании», «Правила св. апостоль и св. отец», изредка – «Поучение ко всем крестьяном», «Слово Иоанна Златоустаго о лживых учителях» и др. О связи учительных и канонических статей в сборниках свидетельствует само заглавие этого блока в ряде списков XV–XVII вв.: «Правила святых отец соборных от Манакануна» (это Крыл-45, Вол-560).*

Обычно эти статьи располагаются в определенном порядке, следуя друг за другом, но изредка порядок в них нарушается (как это наблюдается в Трифоновском сборнике) и внутри блока могут вставляться другие статьи. Так, например, в ТСЛ-192 после Поучения Иоанна Златоустаго «Помыслим, братие, что плод приобретает...» вставлена статья «Слово св. отец о рассмотрении».

В этом цикле определяются пастырские обязанности священнослужителей (принимать кающихся, налагать епитимии, быть терпеливым и кротким,

постоянно учить паству заповедям Божиим, искоренять в своем сердце гордость, злобу, зависть, гнев) и содержится обличение основных пороков духовенства – пьянства, невежества, лености в исполнении своих обязанностей. Кроме того, священник должен беречься от мздоимства, объядения, сквернословия и сребролюбия. Поучения изобилуют цитатами из Священного Писания, которые в некоторых случаях следуют одна за другой.

Типологически различаются две редакции цикла поучений: один имеется в Ув-589, где значительная часть статей оформлена как одно Поучение св. Евсевия (пока это единственный из рассмотренных списков). То же, что в других списках представлено как Слова Иоанна Златоуста или Василия Великого, выглядит в Ув-589 как цитаты из него. К другой редакции можно было бы отнести остальные списки с существенными оговорками: несмотря на наличие общих заголовков, одного порядка следования статей и перечисление одних и тех же авторов (за исключением Еп-384), в них имеются текстологические отличия друг от друга.

Сильной переделке подверглась статья, приписываемая Василию Великому, в Вол-560. От нее оставлено лишь самое начало, в котором говорится о том, какими качествами должен обладать священник. При этом священнослужители обличаются в этой статье не за пьянство, как во всех остальных списках, а за поставление по мзде. Попутно здесь порицаются духоборцы, «хуляше Святаго Духа». В то же время значительная часть статьи Василия Великого (а именно та ее часть, которая касается обличения священников за пьянство и была заменена в Поучении обличением симонии) была включена в другую статью Вол-560 «Правило святых апостоль и святыхъ отец о церковном приношении и у кого взяти и у кого не имати церковное приношение».

Следует отметить, что этот цикл статей первоначально не входил в Кормчую, но мог предварять ее. Этот блок помещен перед текстом Кормчей 1493 г. (Сол-858), в Лук-1 и Ег-245 он следует за текстом Кормчей. По определенным, не совсем ясным причинам в соловецком списке этот блок повторен дважды в самом начале. При этом первый раз он значительно расширен за счет идущих после последней его статьи Слово Иоанна Златоустаго («Паки же ты, прозвитер...») разнообразных статей: Слово св. Иоанна Златоустаго о покаянии, Слово св. Ефрема о блаженных и добротворящих, «Поучение попом и всемъ людем правыя веры», Слово Иоанна Златоустаго о милостыни, Наказание и заповедь святых отец о покаянии поучение, Слово святыхъ апостоль и отец о церковномъ приношении и др., тематически сходных со статьями, входящими в блок поуче-

ний, обращенных к иереям. Во второй части тот же блок начинается с Поучения св. Григория Богослова к священскому чину («О попове, Бога вышняго слуги») и заканчивается Поучением великого Василия («Попъ боле всего длъжнъ есть не имети гнева»), своего рода ключевой статьей всего цикла.

Греческий источник цикла этих статей (если он существовал) пока выявить не удалось. Лингвистический анализ этих произведений показал, что некоторые из них имеют явное древнерусское происхождение, а два (3 и 8) имеют определенное лексическое сходство с группой древнерусских толковых переводов XII в., на что указывает введение библейских цитат глаголом *веща*, наличие лексем *ремество*, *сирота*, *нелепыи* и др. (Об этой характерной черте восточнославянских толковых переводов см. Алексеев 1999: 178, 179; Алексеев 2002:48). Стилистически все произведения объединяет доходчивая образная форма, простота и безыскусность изложения, обилие цитат.

Анализ сборников, содержащих сочинения учительного характера, обращенные к мирянам и церковным иерархам, показывает, что, с одной стороны, существовало определенное ядро, вокруг которого складывался состав этих сборников, которое, вероятнее всего, восходит к глубокой древности. С другой стороны, при наличии этого ядра статьи, входящие в сборник, могли варьироваться и были весьма разнообразны. Архетип сборников оставался открытым для дальнейшего расширения. В то же время, как показал анализ рассмотренных сборников, поучения, обращенные к мирянам, лишь эпизодически включались в них и входили в сборники другого состава и типа. Кроме того, статьи, входящие в основной блок поучений иереям, могли меняться по содержанию или использоваться при составлении и расширении аналогичных по тематике статей редактором сборников, как это видно на примере Вол-560. Не исключено, что часть из них, имеющая древнерусское происхождение, для придания авторитетности приписывалась отцам Церкви или иным византийским авторам.

Несомненно, что учительные статьи, обращенные к клирикам и властям, для начального периода христианизации славян имели особое значение. Создание достаточного числа клириков – образованных людей, умеющих совершать общественное и частное богослужение, отвечающих высоким требованиям, предъявляемым соборными правилами к священству, было очень сложной задачей для средневекового общества.

Поучения к священникам другого происхождения входят в состав и Кормчих, и Зонары, и Никола Черногорца.

В древнерусской редакции этот состав поучений значительно увеличен в первую очередь за счет сочинений русского происхождения: Правила Ильи, архиеп. Новгородского, правила митрополита Иоанна (большинство из которых касаются деятельности священства), Правила Кирилла митрополита (постановления собора 1273 г.). К этому блоку примыкает «литургический» блок – статьи, объясняющие значение литургии, а также отдельных предметов облачения и богослужения. Сюда вошло на ту же тему и сочинение Кирилла Туровского «Сказание о черноризском чине». Знание этих текстов было необходимо священнику для понимания основной функции – совершения богослужения. Таким образом, уже в XIII в. сложился значительный блок русских по происхождению сочинений, обращенных к священникам, связанный с совершением литургии и их пастырскими обязанностями. Утратили связь со своим происхождением из новелл Юстиниана, стали восприниматься как русские (или Василия Великого) и статьи «Правило епископом», «Той же Василий преблаженному епископу», «Поучение христоробивым князем». (Белякова, 2011. С. 33-42).

Исключительную важность для русской традиции имело епископское поучение новопоставленному священнику «Егда отстоит новопосвященный поп урок свой» (РИБ 6. № 7). Эта статья впервые известна по списку новгородско-софийской Кормчей (ГИМ. Син.132, л. 583 об.). Хотя текст и неизвестного происхождения, но он вручался священникам на свитке при хиротонии.

В XIV в. происходит нарастание блока, адресованного клирикам: в Варсонофьевском списке – (ГИМ. Чуд. 4) появилось **Епископское поучение собору епархиального духовенства** (РИБ 6 № 8). Оно известно также в составе Номоканона XIV в. (РНБ. Погод. 31, л. 166), сборника Златая цепь (РГБ, ТСЛ, № 11 лл. 94об.-96 об.) и многих сборников.

Иное расширение учительного блока произошло в Мясниковской редакции Кормчей. Сюда вошли статьи, встречающиеся и в ранних южнославянских сборниках. Это приписанные Иоанну Златоусту «Заповеди» (Нач. «Преж поручаю, да собираются людие в едину церковь, яже есть посреде села») (Jagić, 1874.). Это текст от лица епископа, возможно, болгарского происхождения. Он известен в славянской письменности в двух редакциях: со вставкой о богомилах и без нее. Если в Кормчих вставка о богомилах отсутствует, то в сборниках она сохранилась. В таком виде статья читается в сборнике ГИМ. Ув- 482, где имеется также Земледельческий закон, не входящий в состав Кормчих.

Два цикла поучений к священникам соединились в рукописях западно-русской редакции

Кормчей. Можно предположить, что определенный этап формирования цикла отражен в Ег-245. Эта рукопись, судя по многочисленным и очень плохо сохранившимся маргиналиям, возможно, непосредственно использовалась при кафедре Киевских митрополитов для создания этого цикла. В ней сохранились и сведения о кончине митрополита Фотия и уникальное свидетельство о кончине митрополита Герасима, бывшего смоленского епископа (РГБ. Ег-245, л. 452 об.). В рукописях XVI в., описанных и проанализированных Л.В. Мошковой (Мошкова, 2005) РГАДА: ф. 181 № 1596, ф. 181 № 1594 и ф. 196 оп. 1. № 1620 (втор. четверти XVII в.), Святительское поучение новопоставленному священнику было значительно переработано и расширено, соединено с епископским поучением собору епархиального духовенства, и к нему примыкает уже рассмотренный выше древний цикл поучений к священникам и литургические статьи.

Поучения в Кормчих западно-русской редакции являются важным источником, показывающим, как шел процесс образования священников. Раз в год в понедельник второй недели Великого поста епископ собирал клириков и прочитывал им цикл поучений, давая подробные наставления, касающиеся повседневной практики: содержания церкви, подготовки к литургии, совершения исповеди и проч. Священник должен был угодить Богу добросовестным выполнением своих обязанностей и быть примером для своих духовных детей.

Епископское поучение собору епархиального духовенства было использовано и при создании цикла поучений патриарха Иосифа, изданных отдельной книгой на Московском Печатном Дворе в 1642 г. (Макарий, 1996. С. 327-331. Демин 2003. С. 696). Это издание было новаторским для московского печатного двора – это первое издание поучений правящего патриарха. Однако обращение к тексту поучений показывает, что авторского в нем было совсем не много. В сборнике было издано 10 поучений. Все они уже были известны русскому читателю. Первое поучение (Иосиф, 1642, лл. 1-16) – это значительно расширенный текст Епископского поучения собору епархиального духовенства. Читатель легко узнавал текст этого поучения в начале и конце, но оно было здесь в значительно расширенном виде. Вставки были сделаны в средней части, текст пополнялся за счет цитат из Евангелия (в основном, от Матфея) и сборника «Маргарит», собранного из произведений Иоанна Златоустого. «Маргарит» - сравнительно новый сборник - был издан в Остроге в 1595 г., а в 1641 г. – на Московском печатном дворе. Текст епископского поучения подвергся переработке. Здесь можно отметить, что

если в начальном тексте епископ обращался к священникам и говорил о них «вы», в переработанном тексте появилось «мы», объединяющее патриарха и священников. Вставленные в текст цитаты подчеркивали тему особых требований к священнику и усиливали обличительную часть. Так из Евангелия от Матфея были вставлены слова о книжниках, затворяющих царство небесное (Иосиф, 1642. Л. 5об-6), из пророка Иезкииля – угрозы тем, кто не обличает беззаконников. Из Златоуста были вставлены слова об ответственности тех, кто решается сделаться священником: «егда вожделееши священства, противу постави геену» (Иосиф, 1642. Лл. 9 об.). Второй текст – «Почтение христоробивым князем и судиям и всем православным христианом» (Иосиф, 1642, Лл. 16-40 об.). Этот текст дословно воспроизводит поучение, составленное на основе 77 новеллы Юстиниана и появляющееся в русских Кормчих Чудовской редакции (РИБ 6, 1908 № 123, 847-856). Следующие 4 поучения, обличающие неправедных правителей и судей, имеются как в составе МП, так и Кормчей Чудовской редакции, к ним добавлено Слово Иоанна Златоустого «О милостыни, како подобает от правого труда творити милостыню, а не от лихоимства». Последнее слово – «По сем еще паки рцем к чистителем иереом христианского народа» (Иосиф, 1642. Лл. 40-48). В нем даны конкретные предписания, касающиеся исповеди, в том числе вводятся разграничения исповеди монахов и мирских людей. Последнее поучение имеется отдельно в рукописной Кормчей – РГБ. Унд. 29, XVII в. Хотя печатное издание Кормчей было начато при патриархе Иосифе, в основу был положен текст Даниловского извода Русской редакции, в котором отсутствовали указанные сочинения. Но в состав Кормчей редактором было добавлено Поучение к епископам (Кормчая, 1653. Лл. 25-25 об.), Наставление иереям о облачении в священнические ризы (Кормчая, 1653. гл. 57, лл. 595-596) и Поучение епископское новопоставленному священнику (Кормчая. 1653. гл. 60, лл. 601-606). Последнее произведение в Москве печатают в 1650 г. и отдельной брошюрой (Зернова 1958, С. 72).

Рассмотренные примеры позволяют выявить способы сохранения литературной традиции. В древнерусской книжности существует значительное число текстов, которые используются и служат образцами на протяжении всего средневековья и раннего времени и переходят в печатные издания. Они могут составлять ядро сборников, к которому присоединяются тексты, близкие по тематике.

Среди способов поддержания единства традиции можно отметить следующие:

- 1) создание русских произведений по образцу византийских;
- 2) формирование тематических блоков, входящих в сборники разных жанров;
- 3) включение новых произведений в состав блоков при сохранении более ранних;
- 4) переработка византийских текстов, которые начинают восприниматься как русские памятники;
- 5) создание новых редакций известных и широко распространенных текстов с сохранением их узнаваемости для читателя;
- 6) перекомпоновка блоков и создание новых блоков в составе других по жанру сборников;
- 7) сохранение основной тематики произведений.

Система тематических блоков открывала возможность включения и принципиально новых для культуры статей и даже текстов, перешедших из другого культурного пространства (в первую очередь латинской традиции). Так, сборник Зинар пополнился поучениями к священникам из униатских сборников, Кормчая – статьей из Требника Петра Могилы в блоке статей о браке (Кормчая, 1653. Лл.521-552)

ЛИТЕРАТУРА

Алексеев 2012 – Алексеев А.И. Каноническая компиляция «Власфимия» в древнерусской книжности // Религии мира. История и современность 2006-2010. М., 2012. С. 90-124.

Алексеев 1999 – Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. СПб.; Köln; Weimar; Wien, 1999.

Алексеев 2002 – Алексеев А.А. Песнь песней в древней славяно-русской письменности. СПб, 2002.

Антология 2013 – Антология памятников литературы домонгольского периода в рукописи XV в. Изд. подгот. Г. С. Баранкова, Н.В. Савельева, О.С. Сапожникова. М., 2013.

Афанасьева, 2012 - Афанасьева Т.И. Древнеславянские толкования на литургию в рукописной традиции XII-XVI вв. Исследования и тексты. М., 2012.

Баранкова 2007 – Баранкова Г.С. К истории рукописной традиции Изборника Святослава 1073 г. // Кирило-Методиевски студии. София, 2007. Кн. 17. С. 45-53.

Белякова, 2007 – Белякова Е.В. О составе Хлудовского Номоканона (К истории сборника «Зинар») // Старобългарска Литература. Кн. 37-38. / Българска Академия на Науките. Институт за литература. София. 2007. С.114-131.

Белякова, 2010 – Белякова Е.В. О Происхождении Ярославского списка Кормчей книги. Состав новгородско-софийской редакции Кормчих книг // Ярославский список Правды Русской: Законодательство Ярослава Мудрого / Сост. Н.А.Грязнова, Д.К.Морозов. Ярославль, Рыбинск: Изд-во «Рыбинский Дом печати» 2010. С. 23-50.

Белякова, 2011 – Белякова Е.В. К вопросу о судьбе Собрания Новелл Юстиниана в 93 главах в составе славянских Кормчих // *Russica Romana*. Vol. XVII. 2010. Pisa-Roma. 2011. P.33-42.

Бенешевич, 1907 – Бенешевич В.Н. Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. Т. I. СПб., 1907.

Бенешевич, 1987 – Бенешевич В.Н. Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований. Т. II. / Подг. к изд. Бегуновым Ю.К., Чичуровым И.С., Щаповым Я.Н. Под общим руководством Я.Н.Щапова. София, 1987.

Горский-Невоструев 1862 – Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отдел второй. Писания святых отцов. 3. Разные богословские сочинения (Прибавление). М., 1862.

Законоправило, 1991 – Законоправило или Номоканон Светога Саве. Иловички препис 1262. Година. Фототипија. / М. Петровић. Дечје Новине, 1991.

Законоправило, 2005 – Законоправило светога Саве. Приред. М. Петровић, Л.Штавланин-Ђорђевић. Т.1. Београд, 2005.

Заозерский Хаханов 1902 – Заозерский Н.А. и Хаханов А.С. Номоканон Иоанна Постника в его редакциях грузинской, греческой и славянской с предисловиями издателей. М., 1902.

Изергин В. 1891 – «Предъсловие покаянию» (историко-литературный очерк. // ЖМНП. СПб., 1891. Ноябрь. С. 142-184.

Иосиф, 1642 – Иосиф, патриарх. Поучение великого господина святейшего Иосифа патриарха московского т всея великия Руси архиереом и священноиноком и мирским иереом и всему священному чину. Москва, Печатный двор. 1642.

Клибанов 1961 – Клибанов А.И. «Слово о лживых учителях» // Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1961. С. 300-312.

Корогодина, 2010 – Корогодина М.В. Исправление Кормчих книг в XVI в. (по материалам Чудовской редакции) // Очерки феодальной России. М-СПб., 2010. Т.13. С. 263-296.

Кувев 1991 – Кувев К. Поява и распространение на Симеоновия сборник // Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.) София, 1991. Т. 1 (Исследования и текст). С. 34-36.

Левочкин 1985 – Левочкин И.В. Изборник Святослава и русские сборники XI-XVII вв. // ТОДРЛ. Л., 1985. С. 373-378.

Макарий 1996 – Макарий (Булгаков) митр. История Русской церкви. Кн.6. М.: Изд-во Спасо-Преображенского монастыря, 1996.

Максимович К.А. 1998 – Пандекты Никона Черногорца в древнерусском переводе XII в. (юридические тексты) М., 1998.

МП, 1961 – Мерило праведное по рукописи XIV века / Издано под наблюдением и со вступительной статьей академика М.Н.Тихомирова. М., 1961.

Мошкова Л.В. 2005 – Кормчие особого состава (предварительные замечания) // Каталог славяно-

русских рукописных книг. XVI в. РГАДА. Вып. 1. М., 2005. С. 442-455.

Найденова Д. 2011 – О работе над каталогом славянских юридических рукописей из собрания болгарских библиотек // Современные проблемы археографии. Сб. статей по материалам конференции, проходившей в библиотеке РАН. 25-27 мая 2010. СПб., 2011. С. 55-63.

РИБ 6 – Памятники древнерусского канонического права. // Русская историческая библиотека Т. 6. СПб., 1908.

Савельева Н.В. 2009 – Древнерусский сборник Жемчужная матица. Текстология. Типология. Описание списков. // ТОДРЛ. Т. 60. СПб., 2009.

СДРЯ – Словарь древнерусского языка XI-XIV вв. Т. I-IX. М., 1988–2012.

СКИКДР 1987 – Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. М., 1987.

Срезневский, 1987 – Срезневский И.И. Обзорение древних русских списков Кормчей Книги. СПб., 1897 (Сборник ОРЯС. Т. 65. № 2).

Срезневский, 2003 – Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. В 3 т. Т. I-III. М., 2003.

Творогов О.В. 2006 – Древнерусская книжность XI–XIV веков. Каталог памятников. ТОДРЛ. Т. 57. СПб, 2006.

Турилов, 2005. – Турилов А.А. К истории тырновского «царского» скриптория XIV в. // Филологически исследования в чест на Кл.Иванова за иейната 65-годишнина. София, 2005 (Старобългарска литература. Кн. 33-34).

Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В четырех томах. М., 1986.

Цибранска-Костова, 2011 – Цибранска-Костова М. Покаяната книжина на Българското средновековие IX-XVIII век. София, 2011.

Щапов, 1973 – Щапов Я.Н. Некоторые юридические и канонические памятники славянской письменности XII-XV вв. // Методическое пособие по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 1. М, 1973. С. 261-273.

Щапов, 1978 – Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI-XIII вв. М., 1978.

Энциклопедия русского игумена – Энциклопедия русского игумена XIV-XV вв. Сборник преподобного Кирилла Белозерского. Российская Национальная Библиотека, Кирилло-Белозерское собрание № XII / Отв. ред. Г.М.Прохоров. СПб., 2003.

Beneševic 1937 – Beneševic V. Ioannis Scholastici Synagoge L titulorum ceteraque eiusdem opera iuridica. / Abhandlungen der Bayrischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Abteilung. Neue Folge. H. 14. Muenchen, 1937.

Jagić 1874 – Jagić V. Sitna gradja za crkveno pravo // Starine JAZU. Zagreb. 1874. Kn.VI С.112-156.

MMFH 1971 - Magnae Moraviae Fontes Historici . IV. Leges-Textus Iuridici. Supplementa. Magnae Moraviae Fontes Historici. IV. Leges-Textus Iuridici. Supplementa / Curaverunt Dagmar Bartonkova, Karel Haderka, Lubomir Havlik, Jaroslav Ludvikovsky, Josef Vašica, Radoslav Večerka. Brno. 1971.

Белова О.В. (Институт славяноведения РАН, Москва)

ИКОНОГРАФИЯ СВЯТЫХ И НАРОДНЫЕ РАССКАЗЫ О НИХ: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА И ВЕРБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Эта статья подводит некоторые итоги и намечает дальнейшие направления работы по коллективному проекту «История – миф – фольклор: книжные сюжеты в славянской устной традиции», который осуществлялся в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» в 2012–2014 гг.¹ Наиболее пристальное внимание уделялось текстологии фольклорных нарративов и письменных источников, чтобы показать, как в пределах текстов, ориентированных на отражение исторического прошлого (в его фольклорной про-

екции), сочетаются апокрифические, фольклорно-мифологические и квазиисторические образы и мотивы. Тексты «фольклорной истории», безусловно, играют большую роль в формировании национальных и исторических мифов – именно в этой сфере чрезвычайно востребованы традиционные этиологические легенды, повествующие не только о сотворении мира и человека, природы и социума, но и о происхождении народов, языков, государств и конфессий (УИМ. С. 261–269, 434–439). Тексты «народной Библии» (народно-христианских легенд, основанных на сюжетах Ветхого и Нового Заветов и агиографии) зачастую становятся значимыми для местной истории (см., например: БНБ; Шеваренкова 1998), а фольклор «эпохи кризисов»² является своеобразным зеркалом этнических и конфессио-

¹ Основной целью данного проекта было рассмотреть механизмы адаптации и трансформации, динамику и формы бытования книжных по происхождению сюжетов и мотивов (библейско-апокрифических, летописно-хронографических, а также связанных с трактовкой исторических лиц и событий) в фольклорных текстах различных жанров.

² Термин в применении к устной истории и коммуникативным формам текста введен польской исследовательницей Алиной Цалой.

нальных контактов и конфликтов (Белова 2013а, Белова 2015а).

Помимо сюжетно-мотивных комплексов, обеспечивающих адаптацию книжных сюжетов в народной среде и в устной культуре (выбор веры; происхождение государства и власти; фольклорные версии исторических событий; мифологизация (демонизация) исторических персонажей; мифологизация события или историзация мифа), особого внимания в связи с изучением специфики репрезентации «исторической» информации в фольклоре заслуживают визуализация фольклорного текста и вербальный контекст сакральных изображений. Этот аспект интересен и привлекателен для филологического исследования не только в плане материала (тексты живой устной традиции и средневековой книжности, образцы канонического и фольклорно-апокрифического изобразительного искусства), но и по степени его изученности применительно к взаимодействию книжной и устной традиций.

Проблемы соотношения текста и изображения, формирования иконографии отдельных библейских сюжетов и влияния иконографии на письменный (литературный) и устный текст уже становились предметом филологических, искусствоведческих и культурологических исследований (см., например: Попов 1883; Кирпичников 1888; Покровский 2001; Буслаев 1997; Веселова 1996; Бернштам 2002; Косóј 2006; Антонов, Майзульс 2011; Антонов, Майзульс 2013). Тем не менее, есть еще множество более частных (но от этого не менее интересных и значимых) аспектов соотношения текста вербального и текста визуального, которые было бы показательно рассмотреть с привлечением именно фольклорного материала.

Некоторые особенности народной агиографии (взаимосвязь между житиями святых и фольклорными текстами, верованиями и обрядами, отражение народного культа святых в языке, верованиях, обрядах, фольклорных текстах, см.: Мороз 2009) и «агиографический» фольклор как таковой позволяют наглядно проследить совмещение истории, мифа и фольклора в пределах устных текстов, а также показать некоторые механизмы фольклоризации сакральных образов за счет интерпретации их иконографии.

Нами был проведен анализ фольклорных нарративов «библейской» тематики, в которых содержание текста ориентировано (явно или имплицитно) на христианскую иконографию соответствующего события (персонажа). В такого рода текстах отражается, с одной стороны, наивное истолкование иконографического изображения; при этом изображение трактуется как некий «конспект», предполагающий возможность более или менее подробного

пересказа (что зависит от степени знакомства рассказчика с библейским, евангельским или житийным текстом, представленным на изображении). Таким образом, в устном нарративе, представляющем собой (условно говоря) «пересказ» иконы, происходит «визуализация» текста, которая опирается на известный иконографический образец и в то же время включает в себя народно-христианские представления, связанные с изображаемым героем или событием; так нередко формируется «этиология» того или иного сакрального изображения, нацеленная на объяснение его особенностей (православное и католическое распятие, иконография Богородицы с непокрытой головой, изображения бесов и т.п.). С другой стороны, сами изображения (в основном принадлежащие сфере так называемого наивного искусства), отражая народно-христианские представления и этнокультурные стереотипы, становятся стимулом для создания вербальных текстов народной агиографии.

Мы проанализировали несколько комплексов народных легенд о святых, наиболее востребованные устной традицией иконографические сюжеты о святых, различные формы связи фольклорных текстов и иконографии, «обусловленность» (согласно устным нарративам) иконографией некоторых народных обычаев (Белова 2013б; Белова 2015б; Петрухин 2013а; Петрухин 2014).

Показательно, что в ряде случаев с точностью можно установить иконографические образцы, послужившие основой для устных рассказов – такими, например, оказались гравюры Гюстава Доре, детально «пересказанные» в народных легендах о Содоме и Гоморе и о Самсоне (Белова 2014).

Еще один интересный аспект соотношения текста вербального и текста визуального – это отражение на народных иконах локальных или этнических реалий. В первую очередь это относится к внешним атрибутам персонажей (одежда, прическа) и архитектуре изображаемых сооружений. Яркие примеры такого рода дают изображения Богородицы с младенцем, изображения Входа Господня в Иерусалим и др. Отражение этнических стереотипов в визуальных и вербальных текстах наглядно демонстрируют изображения так называемых нечестивых народов на иконах Страшного суда (особый интерес представляют перечни этих «народов» на иконах) и иконы, на которых запечатлены представители иных этносов и конфессий (часто эти изображения становятся своеобразными «портретами» этнических соседей, увиденных глазами наивного художника, и подтверждают влияние этнографической реальности на церковную живопись; подробнее см.: Косóј 2006. S. 303–321; Белова, Петрухин 2010).

В целом эта группа текстов, имеющая непосредственное отношение к фольклорно-мифологической трактовке событий священной и национальной истории, оказывается значимой при анализе народных представлений о месте «своей» традиции в мироустройстве и о формировании «своего» культурно-конфессионального пространства.

В этой публикации на основе фольклорных рассказов о двух наиболее почитаемых русских святых – святом Георгии и святом Николае – мы постараемся проанализировать еще несколько оригинальных мотивов, связанных с проблемой соотношения текста вербального и текста визуального.

Функции персонажа, подкрепленные изображением

Рассказы о явлении святых простым людям (во сне, в видении) – чрезвычайно популярный жанр народной религиозной прозы. При этом стержневым мотивом таких рассказов становится мотив узнавания святого и часто сопутствующий ему мотив чуда (см: Белова 2014). Приведем лишь один пример – о явлении св. Георгия (Юрия) «на сивом коне» и с мечом, «спровоцированном» неверием в то, что это в принципе возможно:

Колісь у гэты дзень людзі нічога не робілі. Празнавалі от худобы. Это осноўны празьнік от худобы. Була одна такая баба, росказывала, шо ой, хто ёго бачыў, того Юр’я. Вот заўтра Юр’я, а вона сёньня кажэ: «Хто ёго бачыў, того Юр’я». Яна легла спаць і нешто бы пуд окном у ее. Она ўстала – аж на красівом коне седзіць такі! Шапка такая, і меч такі дзержыць. Да кажэ: «Ты казала: які Юрэй. Ото я! Побач!» Она каз: «Я ўпала. Лежала-лежала, подымусь, ішчэ стоіць, я ўжэ чловека свойго буджу: “Устань, побач, што пуд окном у нас стоіць”. Пока туды-сюды, нічога туды нема. Такі вусокі на сівум коні» (З. Кузьмич, 1929 г.р., д. Погост Житковичского р-на Гомельской обл.; ТМКБ. Т. 6. Кн. 1. С. 215).

Однако более популярны в народной среде рассказы, акцентирующие внимание на функциях св. Георгия – и в этом случае основными источниками прозаических нарративов становятся житие святого, духовный стих «Егорий и Змей» и иконография святого-змееборца.

Ён быў князь, воин-пабеданосец. Змей сідзеў і праходіць неўзя былó. И вочэрэдъ дашла да царской дачки. Юрий спас яё. А ягó патом замучыли, привязали к сталбу – так на сталбу зацвяли цвяты.

(с. Дубровка Добрушского р-на Гомельской обл., зап. Е. Лебедева; ПА, 1982 г.)

Ягорий быў православный чалавек, ягó мучали враги, у калясе крутили, а ён ни умираў, така крэ-

пасть была, казаў: «Ня больно». Ён спас девушку у моря, ат скарпионаў, царскую дачку. Капъём спас, капъё скарпиону в глотку ваткнуў.

(с. Дубровка Добрушского р-на Гомельской обл., зап. Е. Лебедева; ПА, 1982 г.)

При этом прозаический текст часто «цитируется» и духовный стих, и иконографическое изображение.

У мэнэ есьць ікона така – Юрэй. І зьмея... Яна вылазіла з мора, і вона ела людэй. І дом стоіць, цар... І вона віходзіць ды кажа:

– Хоць сам іды або доч вэды!

Цар кажэ:

– Сам пойду – царство збуду. А доч одам – друга будэ.

А тут Юрэй на коне. І вон ее прыколоў. **І ў мэнэ і ікона таке.**

(О.И. Шимчук, 1935 г.р., д. Старовысокое Ельского р-на Гомельской обл., зап. 2005 г.; ТМКБ. Т. 6. Кн. 2. С. 610)

Ср:

Жылі людзі-крэсьціяне, не верылі Богу,

Толька ж верылі праклятому цмоку.

Да й давалі цмоку кажды дзень аброку,

Кажды дзень аброку, да й па чалавеку.

Вот прышла чарга да самого цара:

Хоць сам, цар, ідзі ілі дочку шлі...

(д. Буда Копаровская Речицкого р-на Гомельской обл., зап. 2005 г.; ТМКБ. Т. 6. Кн. 2. С. 610–611)

Изображение может присутствовать в тексте имплицитно:

Это в честь Георгия Победоносца. Было такое царство. Тут было большое озеро, выходил большой зверь. Царь на каждый год выделял одного человека по очереди. Дошла очередь до его дочери. Она пошла и больно плакала там на берегу. Зверьто вылез, но ее еще не схватил. А Георгий Победоносец на коне прискакал, пика-то у него большая, а он как дал в этого зверя и убил его насмерть. Вот почитается его святость. **Это мне тетенька в церкви сказала. Он грозный – защитник, с пикой.**

(Нижегородская обл., 1997; Шеваренкова 1998. С. 16)

Был какой-то змей и поедал людей. Он ехал на коне, всех пожирал. Осталось мало народу, и тут уж дело дошло до какой-то девушки. Сегодня и её пожрёт, а он спас. **Вот на иконах-то он ёво копиём тычет.**

(Ковернинский р-н Нижегородской обл., 2003; ФКН 2013. С. 54)

Ў канцэ ма́я и нача́ли ию́ня у нас ўстрича́ють пра́зьнік свято́га Яго́рия. А святы́м ягó называ́ють, **то бы́ла́ при́да́ння.** Сабра́лісь пилáты, вы́йгры́вали

чилавéка, шоб съéла змíя. Какúю дéўку праиграúють, идúть к аццú, а атéц далжóн дéўку атдáть. Вóт и éнтат раз праиграли пилаты дéўку. Ана такá красíва былá, а атéц явó пашóл к Ягорíю. А ён гаварíть: «Ступáй туды, и я придú». **Ягóрий éдит на канé с капьём и закалóл змиó капьём, пряма ў пасьць.** И тадá он стáл Ягóрий-Пабиданóсиц. Ў дéн Святóга Ягóрия скóт выганяли на траву, служыли службу, шоб уража́й был.

(с. Доброводье Севского р-на Брянской обл., соб. не указ.; ПА, 1984 г.)

Постепенно образ Георгия Победоносца может отдаляться от конкретного сюжета и основной его функцией становится защита и помощь в ратном деле:

Георгий Пабедоносец, ён ваевал, малились яму, кагда вайна была, штоб пабедили, штоб спасла...

(А.П. Леонова, 1898 г.р., с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл., зап. Т.В. Рождественская; ПА, 1982 г.)

Теперь сравним два текста, записанных в одном и том же селе в черниговском Полесье.

Той самый Георгий Пабэданосэц колыс буў. Жыў цар такы. И булы при том царызме настаў змей, и он пажраў лудэй. Шоб ему на кажной дэнь була лудына зьести. <...> И до таго ўжэ дажылися [уже некого отдавать ему]... Некаго давать ўжэ. Давай тягать жэрэбки. Каго зьести вучэрэдь. Папаў жэрэбок таго цара дачку. Дачку ужэ трэ атдавать... Нарá була такая... [там жил змей] Десть такэ есть Грыгорый Пабэданосца... Стаў искать, шоб вин даў савет, шо робить. Лудей жэ ўсих поисть. А он кажэ: «А я его победжу». И сел на своего каня и паехаў. Паехаў шукать. Даехаў до кубла. Вон жэ чуе. Чуе. Сразу голаву протяг, засычаў, он сразу ў голаву ударыл. Пабэдил. **Про его ишчэ е рассказ.**

(Ф.Д. Галяк, 1907 г.р., с. Дягова Менского р-на Черниговской обл., зап. Е. Какорина; ПА, 1985 г.)

На Григóрия карóв выганяли, пёрвы дэнь. Выхóдили на жыто усé. **Есь такая икона, шо Григорий Пабеданосиц.** У село такэ, у горад забралася змея и кажный день людину ела, а таде да цáровой дочки [дошла очередь], и цар и папрасил яго. [Григорий] сам ужэ на каня, и капьё, и **задавил сюю змею на жыте, ана ж тикала, у рот капье – у кроў палилась на жыта. Выходили у тое жыто и жыто святили. И се харашо, он пабедиў и люди зноў стали размнажаца.**

(В.И. Канюк, 1928 г.р., с. Дягова Менского р-на Черниговской обл., зап. Е. Тростникова; ПА, 1985 г.)

В первом примере отсылка к иконографии отсутствует, рассказчица пересказывает житийный сюжет, относя его ко временам «царизма». Второй текст построен иначе: рассказчица сразу апелли-

рует к изображению святого на иконе, а обычай обходить поля и освящать всходы возводится к «живописной» легенде о победе святого над змеем, кровь которого осквернила землю (о славянских фольклорных особенностях «календарного текста», связанного со св. Егорием/Юрием, и об античных/византийских корнях этого текста подробнее см. Петрухин 2013б).

Этиология обряда освящения посевов в день св. Юрия/Егория прослеживается и в следующем тексте:

Кались жили люди и жыта бýла за вадóю. Змíй там абразавáвся и хадíл на селó и глумíл [душил] людей. Ну и люди рэшíли, шчо трэба вывазíти из кóжнава дварá пó-души на узьижу [съедение] змию, и дайшла очередь да цáревай дачкí (и кáжну душу велí с пратэсам). А уже на Ригория бýла. На цáреву дáчку лезе змей, и взяўся вóин Ригорий и каже цáревай дачкé [чтобы отошла], а йона: «Ой, нейдí, я прападú, а той и тэбэ змíй зьист». А ён сказаў, шчо падавица. А ось лíзе змíй и с трэма галава́ми и от вылáзит з жыта таго и кажет: «Гатовили адна́во, а сейчáс трое – двое и конь третий». Так биўся Ригорий, шчо посбиваў три галавы, **и устроили прáвила велíки – дава́й светить вóду и хадíть в жыто на Ригория.**

(с. Макишин Городнянского р-на Черниговской обл., зап. Е.Л. Чеканова; ПА, 1980 г.)

Именно Егорию/Юрию повсеместно адресованы молитвы о благополучии посевов и скота; иногда его ратная функция напрямую увязывается с защитой от змей:

Как жыто святили, Егорию малились, скот святили.

(А.П. Леонова, 1898 г.р., с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл., зап. Т.В. Рождественская; ПА, 1982 г.)

Богомáтер – вобшчэ, она́ до всюгó. Никóла чудесá творíў. Грыгóрий Победоно́сец – то вóин, от змеíў охраня́ў. [Его просят о скотине]. На Иллиó доўжэн дошть пойтí.

(с. Журба Овручского р-на Житомирской обл., ПА, 1981 г.)

Со змееборческой функцией святого в народной традиции связаны представления о том, что св. Егорий способен защитить от змей жителей конкретного села. Рассказ, являющий собой вариацию широко распространенного фольклорного сюжета (СУС 300 = АА 300А) и построенный на интерпретации изображения на иконе, становится текстом локальной истории (как, например, в д. Труфаново в Каргополье).

[Всадник на иконе] на коне – это Егорий, Егорий Храбрый. <...> В Труфаново змей не было, а на

Масельге были ужи, не змеи, но они всё равно ужи, ужи, а на Труфановой никогда. А от он, от он вот Егорий, от котора на Серёдке стоит церковь Егория, Егорьевска, ну на коне, видали может картинку. **Видали с копьём.** Распространился было сюда змеи и вот он вот этим копьём уничтожил змею вот это и навсегда [одну?] Одну. Одну змею уничтожил, и навсегда. [Здесь в Труфанове?] Нет, на Маселге (село в 15–20 км от Труфанова). Всё, с тех пор змей не видали, ни ужей, никого не было и все люди хрестились. И не приведи Господь вот этих паразитов.

(д. Труфаново Каргопольского р-на Архангельской обл., зап. М.М. Каспина, А.А. Трофимов; КА РГГУ, 1998 г.)

Еще один текст из Каргополя интересен тем, что наглядно демонстрирует возможности вхождения народно-христианских представлений в новый контекст: легенда о герое-всаднике, которому под силу были чудесные подвиги, проецируется на конкретный объект – памятник Петру I в Петербурге, а скульптурное изображение Петра, отсылающее к первоначальному сюжету о святом всаднике, попирающем змия, само становится источником для трактовки образа св. Егория в фольклорном рассказе (Белова, Петрухин 2008. С. 121; Левкиевская 1998. С. 93).

Была икона это всякой старухи, Ягор Храброй сидит на лошаде, кода́ ему на́доть перепрыгнуть-то. Ну, лошадь поднялась на дыбачки, а ён сидит на верховни. И вот в это время, говорят, заветной-то праздник сделали, што **Егор Храброй што уж был храброй, што ладил перескочить Неву, а не удало́си перескочить.** Вот не удало́си. Лошадь не пошла, не прыгнула ли чевó ли, вот рассказывала [тётя информантки].

(Е.Г. Антошина, 1917 г.р., с. Евсино Каргопольского р-на Архангельской обл., зап. Д.Е. Афиногенов, А. Смирнов; КА РГГУ, 1996 г.)

Неудача св. Егория при преодолении Невы объясняется тем, что «лошадь не пошла». В легендах о Петре I неудача объясняется тем, что невесть откуда взявшаяся змея/змеи обвивает ноги коня и предотвращает опасную задумку царя; в память об этом случае и о коне-спасителе установлен памятник; причиной неудачи становятся также самонадеянно сказанные царем слова: «Все мое и Божье!» (подробнее см.: Белова, Петрухин 2008. С. 118–121).

В одном из вариантов в змею оборачивается царица, супруга Петра, чтобы «исправить» неупоминание Петром Божьего имени:

[Памят]ник Петру Великому, который стоит на берегу реки Невы. Петр Великий сел на коня, приехал на берег реки Невы и сказал: «Если я перескочу на коне через реку, то весь мир будет мой». Супруге Петра Великого эти слова не понравились, она

хотела, чтобы было так сказано: «Мир будет мой и Божий». Как только царь хотел перескочить через Неву, она превратилась в змею и ужалила ногу лошади. (Петр Великий и не перепрыгнул.

([начало текста обрезано редактором Бюро кн. Тенишева] с. Ухта Чернослободской вол. Вытегорского у. Олонецкой губ., корр. А.В. Скворцова, 1899–1900 г.; РКЖБН. Т. 6. С. 166).

Еще одна трансформация сюжета о Егории-змееборце связана с тем, что его противником становится не просто змей, а сказочный персонаж – Змей Горыныч. При этом апелляция в «видеоряду» здесь также дается через сакральное изображение. Первый текст такого рода мы записали во время экспедиции на Смоленщину в 2013 г.:

[ЗСЛ] ...Но знаю, что Победоносец.

[ЛЕГ:] ...А он и... **сабля или что... с длинной, и на лошади на белой, картина такая есть.** Ягорий Победоносец. [А змея он какого победил?] М-м? [Что за змей был?] Горыныч [смеется]. Змей Горыныч.

(ЗСЛ: З.С. Лупанова, 1930 г.р.; ЛЕГ: Л.Е. Горыня, 1929 г.р., д. Осиновица Велижского р-на Смоленской обл., зап. О.В. Белова, А.Б. Мороз, Н.В. Петров, Н.С. Петрова, В.А. Комарова; АЛФ РГГУ, 2013 г.)

Упоминание Змея Горыныча можно было бы считать просто шуткой информанта, если бы через год в Могилёвской области мы не записали бы еще один текст:

Ето ж Георгий Победоносец змея побядил. Побядил жа Змея Горыныча етого. Семиглавый или что... Ето Георгий Победоносец. **Икона ёсь яму в церкви, Победоносцу. Ён же Змея Горыныча, ён же людей ето всё... А ён жа Георгий Победоносец яго побядил.** Заколовши яго. [Это история или это стих такой есть? Это поется или рассказывается?] Не, ето рассказывали, што Победоносец побядил змея. [С семью головами?] Угу.

(Т.В. Иванова, 1938 г.р., д. Удога Чериковского р-на Могилёвской обл., зап. О.В. Белова, Е.М. Боганева; АЛФ РГГУ, 2014 г.)

Два текста, в которых фигурирует Горыныч, записанные на территории сопредельных регионов, заставляют задаться вопросом: является ли упоминание Змея Горыныча результатом работы индивидуального «фольклорного мышления» наших современников, или мы имеем дело с неким микролокальным сюжетом, бытующим на русско-белорусском пограничье?

Еще один любопытный трансформированный сюжет о Егории был зафиксирован на Тамбовщине: действия святого мотивированы тем, что он борется не просто со змеем, а со змеем-искусителем, соблазнившим Еву (подробнее см.: Белова 2014).

Святой Николай Мирликийский чудотворец – один из наиболее почитаемых у славян христианских святых (Белова 2004; Агапкина 2004; Валенцова, Узенёва 2004). В восточнославянской традиции особенно культ св. Николая по значимости приближается к почитанию самого Бога (Христа). По народным верованиям, Николай – «старший» среди святых, входит в св. Троицу и даже может сменить на престоле Бога (Белова 2004. С. 398). В легенде из Полесья говорится, что «святые Микола не только старей за ўсіх святых, да мабыць и старшы над ими <...> Святые Миколай божи наследник: як Бог памре, то сьв. Микалай (sic) чудатворец будзе багаваць, да не хто иншы» (Pietkiewicz 1938. S. 144). Он выступает как повелитель стихий, родовой и семейный патрон, «скорый помощник», покровитель животных, земледелия и пчеловодства, покровитель ратников, а также как змеборец (у южных славян), что сближает его с образами св. Михаила и св. Георгия (подробнее см.: Белова 2004). В народных рассказах он называется священником, князем, сыном св. Саввы. Указанием на особый статус святого, согласно народным представлениям, является также и то, что ему отведены два праздника в год (6/19 декабря – усупение и 9/22 мая – перенесение мощей).

Святі Микола, буў йон папóm. Калі йон князем не буў? Никóла хóдить ў Пилипоўку, Никóла хóдить и весно́й. Святі Микола тварил чўды.

(с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл., ПА, 1982 г.)

Микóла хóдить весно́й – 22.05 и óсень – 19.12. Святі чудатворец. Ежели скатина хваре, чи сдахáе, не ведéцца скот ў дварé, дак náда, кáжэ, памóлицца Никóлу.

(с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл., ПА, 1982 г.)

[Два Николы]: Одін угождáл, а вторóй чудесá творил – зимний и вéшний.

(с. Тихманьга Каргопольского р-на Архангельской обл., АА, 1994)

Микóла сказаў: «Не прáзднуйте так, менé, як маего́ бáтьку!» Микóла пападаé 19-го, а як 18-го – Сáвы. Эта его́ ўжэ бáтька – Сáва. Никóлаў бáтька.

(с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл., ПА, 1982 г.)

Никóла Чудатворец перевéз людéй через мóре на себе. Патаму́ прáзднують Никóла Чудатворец спасíтель.

(с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл., ПА, 1982 г.)

Священнический статус св. Николая в народных рассказах – это отголосок житийного эпизода

противостояния св. Николая и Ария. Во время Никейского собора 325 г. св. Николай выступил против еретиков-ариан. Не стерпев богохульства Ария («ставь на Ариево блядословие»), ударил того по щеке, за что лишен был епископского сана и посажен в темницу (см.: Святитель Николай 2006). В фольклорной традиции сюжет трансформируется – обидчиком, нанесшим удар, является «безумный Арий», выступающий против «правильной русской христианской веры».

Были апосталы, Никола там был, Арий, шесть членов склали, на семом заспорили, кто за гэто, падымите руки, атделимся сваей группай, и гэто и есь раскольники, стараабрацы – хто пашёл с Арием с етим.

(А.П. Леонова, 1898 г.р., с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл., зап. Т.В. Рождественская; ПА, 1982 г.)

Було сабрание свяшчэннікаў, узнавали, чья вера правільнейшая. То були разные ерэсы. А Микола слажыў «Верую». Бязумный Арий удариў яго за правільную, рускую, хрестьянскую веру. Микола памагаў бедным – в щéлачку в акне кине грошы. Вдаве беднай кинуў. И на море памагаў, караблям не даваў тапица.

(с. Дубровка Добрушского р-на Гомельской обл., зап. Е. Лебедева; ПА, 1982 г.)

Любопытный текст был записан на Русском Севере. Речь идет о «двух ликах» св. Николая, что, с одной стороны, соотносится с двумя посвященными ему годовыми праздниками, а с другой – может быть и отголоском житийного сюжета:

Никола был хороший старичок, сивенький, небольшой ростом. Он милость людям делал и гордость, **оттого два лика у него: Никола Милостивый и Никола Гордый. Гордость ему дана за то, что он Господа колонул.** Никола Гордый – зимний Никола, 15 декабря, Никола Милостивый – летний Никола, 22 мая. Хороший был старичок, все его просили.

(д. Малые Озерки Архангельского с/с Сокольского р-на Вологодской обл., ТЭ УрГУ, 1998).

Привлекает внимание объяснение названия Никола Гордый тем, что «он Господа колонул» (к сожалению, в записи отсутствуют комментарии собирателей, и мотивировка названия остается непроясненной). Эпизод с Арием в этом контексте кажется довольно натянутой параллелью; можно предположить, что каким-то образом тут отразился еще один житийный эпизод – разрушение св. Николаем языческого «храма скверны», посвященного Артемиде. Так или иначе – и хрононим и связанное с ним представление требуют дальнейшего изучения, дело – за материалом.

Показательно при этом, что рассказчик датирует зимнего («гордого») Николу 15-м декабря, и это не «хронографическая» ошибка – в этот день (2/15 декабря) церковь отмечает память трех священномуче-

ников Николаев (Николай (Виноградский), протоиерей, сщмч.; Николай (Сафонов), протоиерей, сщмч.; Николай (Заболотский), протоиерей, сщмч.).

«Как на иконе...»: тождество персонажа с иконописным изображением

Иконографический образ св. Николая является определяющим при описании его внешности в народных рассказах.

[Кто такой Николай Угодник?] **Старичок такой на иконе**, тоже служил.

(с. Тихманьга Каргопольского р-на Архангельской обл., АА, 1994)

[Кому молились об исцелении?] Всё больше Николаю-то Угоднику. Просили, чтобы он помог. [Что ещё у него просили?] Ну, там кто чего просит, кому чего надо. [Кто он такой?] Святой такой. **[Как он выглядит?] На иконках-то не видали?**

(с. Тихманьга Каргопольского р-на Архангельской обл., АА, 1994)

Он ещё осенью Никола́й-целитель бываёт. В церковь ходят ды, свёчки ставят ды, молятся. **И икона в церкви не одна еще есть Николаю угоднику, большие есть и маленькие. Он всегда с Евангелием, у него в руках открытое Евангелие такое, дак, там всё для спасения души написано. Книжечка на иконе**, дак там не много прочитаешь, славянским языком написано, религиозным осеннему Николе. В начале декабря, 19-го. Дедушка рассказывал, что на осенний Никола́й-угодник ходили неводом ловить в озёре, лёд уже был.

(с. Тихманьга Каргопольского р-на Архангельской обл., АА, 1994).

Дак вот целительные иконы – Никола́й-угодник. Он весной бываёт. Он был около 7-го июня. Лёд на озере ещё до Никола́я-угодника все не шевелится, не уходит из озера. Бабушка еще говорила: «Никола́й-угодник утолкает плитку из озера, так порá лук садить». Никола́я угодника отмечали. В пословице говорится: «Не ивань, не варварь, а пониколь». Это праздник – «пониколь». Во многих волостях празднуют. [Почему – чудотворец?] Чуда какие-то творил, наверно, чудотворец Никола́й.

(с. Тихманьга Каргопольского р-на Архангельской обл., АА, 1994).

В народных рассказах облик св. Николая отличается стереотипностью – это благообразный старик с бородой. Если внешний облик святого не отвечает известным «стандартам», у зрителя возникает сомнение, тот ли святой изображен на иконе:

Раз у Лоеви на ярмалку маладзіцы зайшлі к рускаму, што малое і прадае багі, дай сталі выбіраць сьвятых; адна просіць, штоб даў ёй сьвятого Міколу.

– Вот тебе, – кажа, – святой Никалай чудатворэц.

– Мікола ж, – кажа маладзіца, – стары, з белю барадою, а ета нейкісь бэзбароды блазньок.

– Пабырлса, так и без барады, да впрочэм, чорт с ним, сейчас ему падмажэм борода, а ты не гавары так безбожна пра сьвятова угодника, а то сматры, грешно тебе будет.

Папляваўшы сьвятому ў морду, выцёр нейкаюсь караўкаю [онучей], да, намазаўшы нечымым белым, бы начэ борода, паставіў образ на сонцы, каб сох.

– Тепер, – кажа, – кагда высахнет, будет настаяшчы́й сьвятой чудатворный угодник; тагда палу чай и ташчы дамой (Pietkiewicz 1938. S. 172).

Одним из наиболее распространенных сюжетов народной (фольклорной) агиографии является явление св. Николая людям (сон, видение, встреча) и последовавшие за этим чудеса. В таких историях известное рассказчику и слушателям изображение святого часто служит основным средством верификации чуда.

Так, в одном рассказе, записанном в Нижегородской обл., продавец вспоминает, что он не закрыл магазин, возвращается, на крыльце видит «старичка», который говорит ему, что в магазине ничего не тронуто. Продавец обругал случайного «сторожа», вошел в магазин, проверил – все на месте, вернулся – старичка нет.

Вернувшись домой, он **рассказал своей жене об этом случае, описал ей этого старичка. И она ему сказала, что это был Святой Никола Угодник.**

(Шеваренкова 1998. С. 44)

Здесь мотив иконы присутствует имплицитно. Предполагается, что узнавание святого обусловлено знакомым изображением. В следующем примере апелляция к иконописному изображению выражена прямо:

Легенда о Николае Чудотворце. Однажды мальчик маленький играл во дворе, мать и отец его находились рядом: мать стога сгребала, а отец плетень ставил. Захотелось маленькому на дерево залезть. Не спросил он у родителей разрешения, а полез высоко. Смотрят родители, а чадо их уже на ветвях качается и жалобно плачет. Испугалась мать, испугался отец. Стали они руки протягивать, а сын их уже вот-вот упадет. Только отец стал залезать на дерево, как сын их сорвался и упал на землю. Смотрят родители, а сынок их родимый жив-живехонек, даже не испугался. А дерево то высоко было. Спрашивает мать сынка: «Как же это так, ты упал и совсем не расшибся?» А сынок и говорит: **«Помнишь, мама, у нас в доме дяденька на стене висит. Вот он меня на ручки поймал». Побежала мать домой, берет икону Николая Чудотворца. А сыночек и говорит: «Вот этот дяденька меня поймал».**

(Н.М. Лыжина, 1955 г.р., д. Борисово Нелидовского р-на Тверской обл., зап. С.Ю. Козлова; АМПУ-2003-Р(172), № 64, АМПУ/ГРЦРФ, 2003 г.)

Мы рассмотрели лишь некоторые возможности визуализации фольклорных текстов, основанные на трактовке иконографических изображений. Влияние памятников иконографии на формирование фольклорных текстов представляет собой чрезвычайно интересную сферу исследования: изучения требуют и проблема влияния канонической и «наивной» сакральной живописи на устную традицию, и принципы интерпретации изображения в устных текстах, и механизмы порождения фольклорных нарративов, основанных на трактовке того или иного изображения.

ЛИТЕРАТУРА

Агапкина 2004 – Агапкина Т.А. Никола вешний // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н.И. Толстого. М., 2004. Т. 3. С. 394–396.

Антонов, Майзульс 2011 – Антонов Д.И., Майзульс М.Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: семиотика образа. М., 2011.

Антонов, Майзульс 2013 – Антонов Д., Майзульс М. Анатомия ада. Путеводитель по древнерусской визуальной демонологии. М., 2013.

Белова 2004 – Белова О.В. Николай // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н.И. Толстого. М., 2004. Т. 3. С. 398–401.

Белова 2013а – Белова О.В. Легенды о войне: архетипы в современных фольклорных нарративах // Проблемы истории России. Вып. 10: Исторический источник и исторический контекст / Отв. ред. Д.А. Редин. Екатеринбург, 2013. С. 227–235.

Белова 2013б – Белова О.В. Народные рассказы о библейских персонажах и святых: между словом и иконографией // Визуальное и вербальное в народной культуре. Тезисы и материалы Международной школы-конференции – 2013. Москва – Переславль-Залесский, 26 апреля – 5 мая 2013 года / Сост. А.С. Архипова, С.Ю. Нелюдов, Д.С. Николаев. М., 2013. С. 66–70.

Белова 2014 – Белова О.В. От изображения к тексту: о некоторых особенностях репрезентации библейских сюжетов в фольклорной прозе // Сборник памяти Е.К. Ромодановской / Сост. и отв. ред. В.А. Ромодановская. М., 2014 (в печати).

Белова 2015а – Белова О. Историческая память и современный фольклор (на примере народных рассказов из бывших еврейских местечек польско-украинско-белорусского пограничья) // Historia mówiona w kręgu nauk humanistycznych i społecznych / Pod redakcją Janusza Kłapcia, Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, Joanny Szadury i Mirosława Szumiło. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015 (в печати).

Белова 2015б – Белова О.В. Иконография святых и рассказы о них: Богородица «Троеручица» (принципы взаимодействия образа и текста) // Проблемы на искусствоты. София, 2015 (в печати).

Белова, Петрухин 2008 – Белова О.В., Петрухин В.Я. Фольклор и книжность: Миф и исторические реалии. М., 2008.

Белова, Петрухин 2010 – Белова О., Петрухин В. О «нечестивых народах»: эсхатологический и иконографический мотив // Проблеми на искусствоты. 2010. № 1. С. 31–34.

Бернштам 2002 – Бернштам Т.А. Русские легенды о сотворении мира в аспекте народного богословия // Христианство в регионах мира / Отв. ред. Т.А. Бернштам. СПб., 2002. С. 250–299.

БНБ – Беларуская «народная Біблія» ў сучасных запісах / Уступ. артыкул, уклад. і камент А.М. Боганевай. Мінск, 2010.

Буслаев 1997 – Буслаев Ф. О русской иконе. М., 1997.

Валенцова, Узенёва 2004 – Валенцова М.М., Узенёва Е.С. Никола зимний // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н.И. Толстого. М., 2004. Т. 3. С. 396–398.

Веселова 1996 – Веселова И.С. Чудо св. Георгия о змие: икона и духовный стих // Живая старина. 1996. № 1. С. 21–23.

Кирпичников 1888 – Кирпичников А.И. Успение Богородицы в легенде и в искусстве // Труды VI Археологического съезда в Одессе. 1884. Одесса, 1888. Т. 2. С. 191–235.

Левкиевская 1998 – Левкиевская Е.Е. Православие глазами современного севернорусского крестьянина // Ученые записки Российского Православного университета ап. Иоанна Богослова. М., 1998. Вып. 4. С. 90–110.

Мороз 2009 – Мороз А.Б. Святые Русского Севера: народная агиография. М., 2009.

Петрухин 2013а – Петрухин В.Я. Облик дьявольский в русском средневековье (Антонов Д.И., Майзульс М.Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: семиотика образа. М.: «Индрик», 2011. 375 стр. с илл.) // Живая старина. 2013. № 2. С. 55–56.

Петрухин 2013б – Петрухин В.Я. «Зышлись два Юрьи да абыдва дурни». К истокам календарного сюжета // Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. К юбилею Светланы Михайловны Толстой / Ред. А.В. Гура, О.В. Белова, Е.Л. Березович. М., 2013. С. 258–262.

Петрухин 2014 – Петрухин В.Я. О «смеховых» сюжетах в древнерусском искусстве // В созвездии Льва. Сборник статей по древнерусскому искусству в честь Льва Исааковича Лифшица / Отв. ред. М.А. Орлова. М., 2014. С. 342–349.

Покровский 2001 – Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. М., 2001 (1-е изд. 1892).

Попов 1883 – Попов А. Влияние церковного учения и древнерусской письменности на мирозерцание русского народа и в частности на народную словесность в древний допетровский период. Казань, 1883.

РКЖБН – Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического бюро» князя В.Н. Тенишева. Т. 6: Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. СПб., 2008.

Святитель Николай 2006 – Святитель Николай Мирликийский в памятниках письменности и иконографии / Отв. ред.-сост. Г.С. Клокова, М.С. Крутова. М., 2006.

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ТМКБ – Традыцыйная мастацкая культура беларусаў» / Ідэя і агул. рэдагаванне Т.Б. Варфаламеевай. Т. 6 (кн. 1 і 2): Гомельскае Палессе і Падняпроўе Мінск 2012, 2013.

УИМ – У истоков мира: Русские этиологические сказки и легенды / Сост. и коммент. О.В. Беловой, Г.И. Кабаковой. М., 2014.

ФКН 2013 – Фольклорное наследие Нижегородского края. Т. 2: Фольклор Ковернинского района Нижегородской области. Ч. 2 / Сост. Ю.М. Шеваренкова, К.Е. Корепова, Н.Б. Храмова. Под общей редакцией Ю.М. Шеваренковой. Нижний Новгород, 2013.

Шеваренкова 1998 – Нижегородские христианские легенды / Сост., вступ. статья и ком. Ю.М. Шеваренковой. Нижний Новгород, 1998.

Kocój 2006 – Kocój E. Światyne + postacie + ikony: Malowane cerkwie i monastiry Bukowiny Południowej w wyobrażeniach Rumuńskich. Kraków, 2006.

Pietkiewicz 1938 – Pietkiewicz Cz. Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego. Materiały etnograficzne. Warszawa, 1938.

АА – Архангельский архив Института славяноведения РАН (Москва).

АЛФ РГГУ – Архив Лаборатории фольклористики Российского государственного гуманитарного университета (Москва).

АМПУ/ГРЦРФ – Архив фольклорных материалов, предоставленных Т.В. Зуевой: Фонд МПУ и Литературного института А.М. Горького (хранится в Государственном республиканском центре русского фольклора, Москва).

ПА – Полесский архив Института славяноведения РАН (Москва).

КА РГГУ – Каргопольский архив Лаборатории фольклористики Российского государственного гуманитарного университета (Москва).

ТЭ УрГУ – Картотека Топонимической экспедиции Уральского государственного университета им. А.М. Горького / Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург).

Будагова Л.Н. (Исл РАН)

АНТИТРАДИЦИОНАЛИЗМ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПРОГРАММАХ И ПРАКТИКЕ СЛАВЯНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО АВАНГАРДА

Предложенная в 2012 г. Президиумом РАН проблема изучения «механизмов преемственности в литературе» направлена в глубины литературного процесса, сопряжена с одним из факторов (законов) развития искусства, столь же необходимым для создания художественных ценностей, как и происходящие в нем обновления. Значительная сама по себе, она может стать плодотворным ракурсом в исследовании истории литературы и ее отдельных явлений. Отсюда – актуальность и многогранность связанного с ней проекта Института славяноведения РАН «Антитрадиционализм и преемственность в программах и практике славянского литературного авангарда», реализованного впервые в отечественной и мировой науке.

Отношение к преемственности, степень активности и характер ее механизмов – все это обретает свою специфику в зависимости от исторической эпохи, художественного направления, индивидуальности писателя. Особый интерес представляет рассмотрение механизмов преемственности в авангардных течениях, отрицавших в своих программных документах необходимость преемственных связей с искусством прошлого, но в творческой практике допускавших уступки традициям, а стало быть приводящих в действие искомые «механизмы». Это, быть может, убедитель-

нее, чем литературные направления, не скрывавшие связь с культурным наследием предшественников, покажет, что как бы к этой связи ни относиться, ее можно лишь усложнить, сделать выборочной, но невозможно ее избежать, поскольку она – не прихоть, а один из законов творчества, субъектом которого является не робот, а человек, обладающий памятью, запасом знаний, жизненных и литературных впечатлений, всплывающих в творческом процессе.

Привлечение в качестве материала славянских литератур (с упором на литературы западных и южных славян) объясняется как специализацией участников проекта, так и необходимостью углублять и расширять представления и об этих литературах, и о самом авангарде, о его национальных разновидностях, границах и гранях, преодолевая тем самым тенденции западноевропоцентризма в этой области знаний.

Исходная позиция участников проекта базируется на убеждении в мотивированности авангардных течений, их исторической необходимости и эстетической целесообразности. У многих на памяти время, когда авангард/авангардизм считали казусом искусства, случайной ветвью в его развитии, когда статьи о нем не допускались в советские энциклопедии, а если и допускались, то с его негативной оцен-

кой. Ценности, создаваемые в русле авангарда молодыми талантами (авангард – движение молодых), объяснялись/оправдывались теорией «вопрекизма», означавшей, что авангард здесь ни при чем, и все хорошее возникало в его сфере вопреки субъективным увлечениям начинающих писателей.

Подобное отношение к течениям авангарда не было лишь следствием советской культурной политики, ориентации на соцреализм. Оно сопровождало авангард с момента его рождения. «Крайности» футуризма, как «неумеренное порождение нового сознания», решительно осудил Гийом Аполлинер (Аполлинер, 1978. С. 54), не представлявший, какая ключевая роль будет отведена ему посмертно в утверждении литературного авангарда. Об «уродствах футуризма», порождаемых «судорожным отрывом» от своего культурного прошлого, писал Н.А. Бердяев (Бердяев, 1989. С. 525). Жалкие «маленькие ручейки», не способные заглушить «моря, озера, могучие реки» классической литературы, видел в авангардных течениях словацкий поэт и прозаик Янко Есенский (Есенский, 1957. С. 89).

В нашей стране настороженно-подозрительное отношение к авангарду продолжалось вплоть до массовой перестройки бытия и сознания ее граждан.

«Ошибочно», «претендующий», «дискредитирующий» – вот ключевые слова в его оценках. Их не могли опровергнуть даже такие серьезные исследования творчества больших писателей XX в. связанных с авангардизмом, как работы 1960-х гг. С. Великовского, Н. Павловой, Т. Балашовой, Н. Балашова, И. Фрадкина и др. Авангард – «исторический случай», «культ крайнего художественного субъективизма», «деформировавший таланты... манерностью» (Искандер, 1991. С. 11), «хрен авангардизма... редьки соцреализма не слаще» (Левитанский, 1992. С. 3), – все это из лексикона перестроечной российской прессы девяностых годов XX столетия. Разумеется, о вкусах не спорят, и авангардизм далеко не каждому по душе. Но справедливо и закономерно, что тенденциозное рассмотрение авангардного искусства в конце концов сменилось в нашей стране и странах зарубежья (находившихся под советским влиянием) непредвзятым, объективным.

Рассмотрение механизмов преемственности на материале авангардных течений и авангарда под углом зрения механизмов преемственности в литературе представляет двойной интерес. Первое способно подтвердить на как бы сопротивлявшемся традициям материале неодолимость и плодотворность преемственных связей искусства разных поколений и эпох. Второе, т.е. рассмотрение авангарда в этом ракурсе, проливает свой свет на его место в искусстве.

В ходе работы над проектом достигнуто размежевание таких явлений и понятий, часто сливающихся в литературоведческих работах (и общественном сознании) как модернизм и авангардизм, определены связь и различия между западноевропейским и славянским авангардом, выявлены особенности авангардных течений в литературах западных и южных славян, влияющие на их общую специфику и одновременно предопределенные ею (Будагова, 2012. С. 10-11).

Возникновение школ и течений авангарда (авангардизма), поднявшего бунт против классического наследия, дабы начинать творчество «с чистого листа», – одно из знамений XX столетия. Филиппо Томазо Маринетти, основатель футуризма, лидера авангардного движения, писал в «Первом манифесте футуризма» (1909): «Мы стоим на обрыве столетий!... Так чего же ради оглядываться назад?... Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки...» (Маринетти, 1986. С. 160). Ему вторили русские «будетляне», предлагая сбросить Пушкина «с корабля современности».

Полемика с прошлым, с общепризнанными ценностями – не новость для смены исторических эпох, направлений и стилей, для процессов обновления искусства. Но протекают они по-разному. Назревают моменты/периоды, когда обновительные процессы, происходящие до поры до времени незримо и стихийно, вырываются на поверхность литературной жизни, становятся видимыми, осознанными, программными. Первой, высоко взметнувшейся волной обновления европейских литератур Нового времени, был модернизм, заявивший о себе на Западе во второй половине XIX века, а в славянских литературах чуть позже, на рубеже XIX – XX вв. Вторую волну подняли течения авангарда, чье возникновение и расцвет приходится на первую треть XX в. Эти две волны сопрягает общая функция программного обновления искусства, отличают масштабы и степень обновления, ими инициированного.

Авангардные течения, связанные генетически и функционально с течениями модернизма, выделяются более резким антитрадиционализмом и более радикальным вмешательством в психологию и поэтику творчества. По сути дела авангардизм – это претензия на эстетическую революцию. Стремление к ней, как известно, было вызвано теми сдвигами в жизни человека и человечества, которые принес с собой XX в.: его социальные катаклизмы, научно-технический прогресс, новые мироощущения и ритмы бытия, требующие на фоне примелькавшихся художественных форм интенсивных поисков форм новых. Момент/процесс отрицания устоявшегося, общепризнанного, привычного заложен в механизме любого развития.

Знак авангарда – не в самом факте, а в характере, в высокой степени и резкости этого отрицания, в стремлении привлечь к нему всеобщее внимание с помощью шокирующих манифестов, деклараций, заявлений, раздающих «пощечины общественному вкусу».

Нельзя не учитывать, что антитрадиционализм авангарда порождался как неудовлетворенностью старой культурой, так и ее могучей властью над людьми. Есть парадокс и закономерность в том, что футуризм, дав мощные импульсы к переменам в психологии и стилистике художественного творчества, родился в Италии. Быть может, именно в Италии, сокровищнице античной и ренессансной культуры, где прошлое властвует над человеком, и должна была пробудиться особенно сильная жажда вырваться из его цепких объятий, преодолеть силу могучих традиций, целиком и полностью уйти в мысли о будущем, отыскивая его прообразы в чертах и приметах современной цивилизации. В реформаторском азарте Маринетти призывает изменить сам характер искусства, выхолостить его антропологическую сущность, переориентироваться на «жизнь мотора», на «лирику состояний неживой материи».

Однако подобного кардинального переворота в искусстве авангарда не произошло. Не произошло и полного, как призывал Маринетти, отрыва от пластов национальной и мировой культуры. Заложенные в психологии творчества механизмы преемственности опыта ушедших поколений устояли перед натиском разгромных футуристических манифестов, не вышли из строя. Они продолжали то исподволь и стихийно, то открыто и демонстративно проявлять себя на разных уровнях творческой деятельности представителей западноевропейского и тем более славянского литературного авангарда. Почему «тем более славянского»?

Большинство литератур западных и южных славян, входивших в состав Габсбургской или Османской империй, только с началом эпохи Просвещения, с конца XVIII в. стали переживать национальное возрождение после столетий тягостного иноземного гнета, формировать свои литературные языки и жанры и интенсивно наверстывать упущенное за периоды вынужденного культурного безвременья. (Исключение составляла польская литература, которая несмотря на политические сложности – разделы Польши в XVIII в. между Австрией, Пруссией и Россией – развивалась равномерно, по типу западноевропейских литератур). «Молодые» литературы западных и южных славян не испытывали особых предубеждений против своих относительно недавно сложившихся традиций.

Практически представители всех течений авангарда, кроме итальянского футуризма, стремились

отыскать свои корни и провозвестников в мировой культуре, и уже тем самым наводили мосты между прошлым и настоящим. Некоторые из славных имен прародичей повторялись, входили в родословные разных течений. «Экспрессионизм существовал во все времена», – утверждали его сторонники, находя родственные черты у Кретьена де Труа, Шекспира, Гете (Эдшмит, 1986. С.311). Дадаисты считали своими единомышленниками того же Гете, Стендаля и самого Будду (Балль, 1986. С.317). Андре Бретон находит проявления сюрреализма у Свифта, Шатобриана, Гюго, Эдгара По, Бодлера, Рембо, Малларме и у Данте с Шекспиром (Бретон, 1986. С. 57). Незвал видит истоки сюрреализма не только в творчестве Лотреамона и Аполлинера, но и в произведениях своих соотечественников – выдающегося романтика Карела Гинека Махи (1810-1836), а также мастера патриархальной прозы Божены Немцовой (1820-1862).

Однако это обращение к далеким и недалеким предкам было своеобразным. Фактически речь шла не о продолжении традиций, а о поисках созвучий, переключек, которые облагородили бы авангардное движение, повысили его авторитет. Речь шла скорее о тенденциозном прочтении классиков под углом зрения того или иного – «изма», чем о наследовании их опыта.

Пальма первенства в формировании авангардных течений принадлежит западноевропейским литературам. Однако славянские писатели, улавливая идущие от них импульсы, действовали на свой страх и риск, творчески преломляя зарубежные и выдвигая собственные инициативы. Еще Карел Чапек заметил, что «первородность зависит не столько от происхождения, сколько от самобытности восприятия»: «Неравнодушное, глубокое восприятие – надежное противоядие от чужого и гарантия самобытности» (Чапек, 1977.С. 394).

Большую роль в стимуляции славянского авангарда, запоздалого по сравнению с западноевропейским, сыграл фактор политический: возникновение в 1918 г. независимых славянских государств (Польши, Чехословакии, Югославии). Вступление их народов в новую фазу своей истории усиливало писательское стремление по-новому писать о новом.

Участниками проекта установлено что авангардные течения в славянских литературах возникали не только позже, чем на Западе (за исключением русской, уже в 1911 г. откликнувшейся на идеи итальянского футуризма «Прологом эгофутуризма» Игоря Северянина, а в 1913 г. – сборником кубофутуристов «Пощечина общественному вкусу») но и носили более умеренный характер (здесь и русская литература не была исключением).

Разрыв с прошлым в среде славянского авангарда больше декларировался, чем осуществлялся. Уступки традициям (включение/сохранение механизмов преемственности) проявлялись в разных литературах и течениях по-разному, с разной степенью стихийности или сознательности и на разных уровнях творчества, что конкретизировано участниками проекта.

Иногда, решительно отвергаясь в программных заявлениях, связи с традициями допускались в литературной практике, иногда эти уступки оговаривались уже в декларациях, предоставляя самому писателю право определять свои связи с ними.

Примером резко отрицательного отношения теорий и программ авангарда к искусству традиционному является футуристический «Манифест к польскому народу» (1921) Бруно Ясенского. Молодой поэт обрушился на романтизм, призывая «вывозить на тачках с площадей, улиц и скверов мумии мицкевичей и словацких» (Jasieński, 1978. S. 9). Вслед за Маринетти, воспевающим «гоночный автомобиль», по красоте с которым «не сравнится никакая Ника Самофракийская», Б. Ясенский славит «телеграфный аппарат Морзе», называя его «в 1000 раз более прекрасным произведением искусства, чем „Дон Жуан“ Байрона» (Jasieński, 1978. S.13). Словесная расправа польского авангарда с романтизмом была чем-то вроде «шоковой терапии», которая должна была избавить творческую молодежь от его влияний, помочь ей преодолеть магнетизм А. Мицкевича, Ю. Словацкого, Байрона и в погоне за новизной резко свернуть с проторенного пути на бездорожье, отыскивая никем не истоптанный путь.

Примеры лояльности к бытующим традициям дают программные документы чешского поэтизма и словацкого сюрреализма. Так, поэтизм в лице своего «изобретателя» В. Незвала уже в эссе об искусстве 1920-х годов четко отделяет традиции отжившие, порождавшие штампы и рутину («склеротические явления»), от перспективных, содействующих оживлению лирической непосредственности, задавленной утилитарно-прагматическими подходами к искусству. Поэтому нигилистическое отношение чешского авангарда к традициям схлынуло, едва взметнувшись, перейдя в защиту как новоявленных, так и традиционных начал в творчестве. «Сравним сознание со шкафом в несколько полок, – писал Незвал в эссе “Капля чернил” (1928). – Так называемые традиционалисты застряли где-то на предпоследней полке. Так называемые модернисты, т.е. ортодоксальные представители некоторых новых школ, черпают из самого верхнего ящика, переполненного актуальностями современной жизни. Это, бесспорно, поверхностная

модерность, которая превращает современность, или чьи-то достижения в правила для всех. Истинно творческая личность не скована последним слоем своего сознания... Она умеет опустошать в произвольном порядке его разные слои, смешивая их содержимое и создавая поистине новые и оригинальные комбинации» (Nezval, 1967. S.181).

Словацкие сюрреалисты уже одним названием программного сборника «Да и нет» (1938) ориентируют соратников на дифференцированное отношение к национальным традициям, «все прогрессивное в которых» заслуживало продолжения (что подтвердил культ романтической поэзии Янко Краля), а все реакционное, «порабощающее душу», отрицания.

При анализе программных документов и творческой практики сторонников авангарда в литературах западных и южных славян установлено, что предложенный Маринетти проект «полностью и окончательно освободить литературу от собственного “я” автора, т.е. от психологии» и вместо человека «принять неживую материю» (Маринетти, 1986. С. 165) не нашел там откликов. Правда, сама реальность, научно-технический прогресс, развитие воздухоплавания, машиностроения, киноиндустрии и всего другого, что изменило облик мегаполисов, да и всей планеты, повысило, независимо от итальянского футуризма интерес искусства (и не только авангардного) к «неживой материи», но вытеснить человека из искусства (в том числе авангардного) она была не в силах.

Однако в среде авангарда, особенно среди поэтов, нашли горячий отклик призывы Маринетти реформировать литературный стиль, сделать его с помощью принципа «освобожденных слов» более энергичным, информативным, свободным от описательности. «Технический манифест футуристической литературы» Маринетти стал своеобразным экстрактом инициатив, повлиявших на свершившуюся в поэзии XX в. «семиотическую революцию». Ее сущность – господство алогизмов и свободных ассоциаций: «Синтаксис надо уничтожить, а существительные ставить как попало, как они приходят на ум... Скорость открыла нам новые знания о жизни, поэтому надо распрощаться со всеми этими «похожий на, как, такой как, точно так же как» и т. д... Новый стиль будет создан на основе самых широких ассоциаций... Смелый поэт-освободитель выпустит на волю слова и проникнет в суть явлений... Беспроволочное воображение... Мои произведения... поражают силой ассоциаций, разнообразием образов и отсутствием привычной логики...» (Маринетти, 1986. С.165-167) .

Идею избавить литературу от «буферов логического перехода», лишняя слов, длиннот, подхва-

тывают и экспрессионисты, и сюрреалисты, и поэтисты, и представители других течений. «Самые прекрасные образы те, что самым прямым и быстрым путем соединяют элементы действительности, далеко отстоящие друг от друга» (Голль, 1986, С.322). «Нервное состояние XX в. – предпосылка современной поэзии, обеспечивающая мгновенные ассоциации и свободное сочетание представлений [...]. Говорят: девушки прекрасны, как розы. Фраза. Насколько лучше просто сказать: розы и прекрасные женщины» (Незвал, 1967. С. 12, 78). «Принципиальными чертами субъективной логики каждого считаем: мгновенное соединение вещей, которые по буржуазной логике далеко отстоят друг от друга; для сокращения пути между двумя вершинами — прыжок в пустоту и сальто-мортале» (Jasieński, 1978. С. 19-20). «Художественное произведение строится не по законам логики, а на основе удаленных друг от друга психологических ассоциаций» (Гео Милев. Цит. по: Андреев, 1989. С. 22).

Раскованная, ассоциативная манера письма получила распространение в авангардной лирической и лироэпической поэзии, при этом каждый поэт воплощал ее по-своему, ослабляя, но не отключая механизмов преемственности с гармоничными текстами стихотворной классики. На это настраивала как внутренняя потребность быть понятым, так и законы поэтических жанров. «Вне традиций не бывает искусства, но нет другого вида словесного искусства, в котором традиция была бы столь мощной, упорной, труднопреодолимой, как в лирике» (Гинзбург, 1974. С.10-11).

Освобождение «от пут синтаксиса» в чешском авангарде произошло формально: поэты просто перестали ставить знаки препинания, даже если синтаксические согласования сохранялись. Принцип же «освобожденных слов», «телеграфного стиля», «свободных ассоциаций» нашел широкое применение в творчестве, раскрепостив воображение, сделав более живым и легким язык и более свободной композицию текстов.

Порой необходимость осваивать «телеграфный стиль» толкала авторов на ухищрения. Так, короткие строки поэмы Б. Ясенского «Город» состоят из назывных (иногда в одно слово) предложений. Выделение слова в отдельную синтагму (или сведение синтагмы к одному слову) действительно разрушает в духе футуризма «бескрылый традиционный синтаксис», избавляет текст от всего лишнего, придавая ему искомую интенсивность. Но в строфах этой поэмы проступала вполне традиционная конструкция – распространенное предложение, члены которого хоть и отделяются друг от друга паузами точек, но связаны логикой

смысла – картиной бедного городского предместья в непогоду:

*Холодный дождь.
Синяя река.
Вода.
Стонет. Бурлит. Жалуется.
Прорвала плотину.
Вздулась. Наводит страх.
Мигают дома. Черные. Кривые.
Развалины.
Скалят зубы слепых окон.
У Черной Маньки.
Светло.
Слышна гармонь. Веселье.
Дождь идет...*

(«Город». Пер. подстрочный)

В признании словенского поэта Сречко Косовела – «Мои стихи взрыв, дикая разорванность. Дисгармония» (Kosovel, 1966. S.2) есть перекличка с мыслями К. Эдшмита о «величественных взрывах» экспрессионизма, когда «стих разрывается на части», или вовсе расплавляется плоть стиха, и остаются отдельные слова и стоны (Эдшмит, 1986. С. 314). Однако слова С. Косовела больше характеризуют отражавшееся в стихах душевное состояние поэта, а не формальное состояние его поэзии. У Косовела вся экспрессия уходила в образы, тропы, эпитеты, а не превращалась в орудие разрушения стихотворных конструкций.

*Разбиваю свой Крас, он велик, с мученьем его
разбиваю и думаю про бетховенский лик.
Я пианист, у меня железные руки,
Крас ломается, земля кровоточит, а день не
встает среди этой муки...*

(«Ноктюрн». Пер. Д. Самойлова)

«Наших экспрессионистов нельзя упрекнуть в невразумительности» – писал Ф. Задравец (Zadavec, 1966 S.136), как бы признавая «невразумительность» примечательным свойством авангарда. Но в «невразумительности» было трудно упрекнуть даже славянских сюрреалистов, хотя сюрреализм невразумительность легализует установкой на «чистый психический автоматизм», на глубины подсознания, где таятся «самые темные образы», извлекаемые на поверхность стиха. Незвал, лидер чешских сюрреалистов, «чистый психический автоматизм» как метод творчества очень быстро отверг, трактуя «стихотворение» как порождение не только «грез», но и «сознания», не только «случая», но и «замысла», не только стихийных порывов, но и сознательных устремлений, т. е. ликвидируя сюрреалистический уклон в бесконтрольность творчества. В результате рядом с автоматическими текстами и сюрреалистическими играми, к которым

Незвал проявлял научный интерес, в его сборниках сюрреалистического периода расцвела любовная, пейзажная, патриотическая лирика, где поэт выражал протест против фашизма и войны и свое «упоение» реальностью, расцвеченной буйным воображением, но воспринимаемой ясным, а не затуманенным сознанием. (Будагова, 2010. С. 630-633).

Изучая преемственные связи славянских авангардистов с традициями, участники проекта уделили особое внимание конкретизации этих связей, тому, с какими направлениями и эпохами они возникали и на каком уровне проявлялись. Исследования позволили обнаружить, что наиболее распространенными были связи с романтизмом. Новейшие течения восприняли от него прежде всего идею торжества духа над материей, но не в метафизическом, а в эстетическом смысле, как раскрепощение творческого субъекта, фантазии, не скованной законами объективного мира. Удалось выявить и переклички между творчеством авангардистов и романтиков (как следствие типологических или контактных связей) и прямые влияния поэтики романтизма на представителей разных авангардных течений, обращавшихся к нему не только за опытом, но и за духовной поддержкой.

Отвергая романтизм в манифестах, польские футуристы поддавались ему в своем творчестве. Подобно романтикам они стремились руководствоваться инстинктом, давать волю чувствам. Это проявлялось в открытой эмоциональности поэзии Б. Ясенского, А. Стерна и др., в распространенности силлабо-тонических размеров. Ясенскому еще и жизнь уготовила переживания, вызванные ранней смертью младшей сестры, которые со своей стороны связали его отдельные стихи начала 20-х годов с популярной в романтизме темой жизни и смерти. Дань романтической традиции на уровне идейного наполнения и образности своей прозы отдает польский футурист Александр Ват в процессе расставания с футуристическими принципами (Мочалова, 2012. С.28). За духовной поддержкой к романтизму, а конкретно к творческому наследию Циприана Норвида, польского романтика, заново открытого в начале XX в., обращается Чеслав Милош, один из «наиболее многообещающих поэтов Второго авангарда» – новой волны польского авангардного искусства 1930-х гг., которое отличалось от первой, начала 1920-х гг. пессимистическим мироощущением, предчувствием новых исторических катастроф (Липатов, 2012. С. 23-25.). Примечательно, что выразить это новым авангардистам помогал все тот же романтизм в лице Юлиуша Словацкого, чьи «мумии» наряду с «мумиями» Мицкевича предлагал когда-то вывезти на свалку Бруно Ясенский.

Романтизм был не единственным направлением, на опыт которого оглядывались связанные с авангардом писатели, обладавшие широким культурным кругозором. Это доказывает хотя бы творчество крупнейшего сербского прозаика Милоша Црнянского. Являясь средоточием самых разных идей и принципов, инспирированных прежде всего экспрессионизмом, он, в то же время, «в глубине души не отказался от наследия мистически ориентированного символизма и устремленности романтиков к самопознанию и исповеди (сборник «Лирика Итаки», 1919; романы «Переселения», 1929, «Вторая книга Переселений», 1962)». (Мещеряков, 2012. С. 26-27). Этим его литературные связи не исчерпываются. В ходе работы над проектом выявлена необходимость, исходя из его биографии и характера произведений, исследовать влияние на писателя восточных цивилизаций и традиций барокко.

Существует мнение, что авангардизм нарушал преемственность не столько как таковую, сколько «последовательную, поступательную», обращаясь «через голову ближайших предшественников к традициям отдаленных эпох» (Бушмин, 1986. С. 18). Действительно, авангард (как западно-европейский, так и славянский) стремился оторваться прежде всего от искусства, привычного для среды, где происходило его рождение и становление. Однако участники проекта выявили связи сторонников авангарда и с творчеством его ближайших предшественников или современников. Связь словацкой экспрессионистской прозы не только с романтизмом, но и с тенденциями натурализма, позволила выделить в словацком экспрессионизме его романтическую и натуралистическую разновидности (Пескова, 2012. С. 29). Витезслав Незвал, основатель Группы чешских сюрреалистов (1934-1938), отойдя от сюрреалистического движения, заявил, что в слове «сюрреализм» его больше привлекала не приставка, а его основа «реализм», что подтверждало и его творчество сюрреалистического периода. От реализма не отворачивались и словацкие сюрреалисты. Отклики на Первую мировую войну, мятеж франкистов в Испании, социальную несправедливость, апокалипсические кошмары Второй мировой, а также картины жизни, причудливо сотканые из конкретных ее подробностей, объективно связывали поэзию Р. Фабры, В. Рейсела, Ш. Жары и др. с этим направлением. Они этого и не скрывали. «И мы среди тех, кто пытается раскрыть реальность, – писал Рейсел в 1940 г. – Мы не уходим от нее в сновидения или в иные миры, как упрекала нас критика. Но мы смотрим на нее по-другому, чем смотрели до нас.» (Reisel, 1969. S.199). Опора на далекие и близкие традиции не

давала творчеству словацких надреалистов «повиснуть в воздухе, оторваться от незыблемых основ человеческого бытия» (Шведова, 2012. С. 39).

Уступки традициям в сфере авангардного искусства совершались на разных уровнях творчества. Их диапазон – от общей позиции художника до использования конкретного формального приема – очерчивают исследования об отношении сербского сюрреалиста М. Ристича к религиозной и народной культуре и о реставрации в словацкой авангардной прозе «сюжета», которому объявил войну как элементу отжившего искусства чешский авангард (Широкова, 2012. С.45).

Все это не означает, что славянский авангард избегал экспериментов в поисках новых приемов и в отработке новой техники письма. К экспериментальной линии польского футуризма можно отнести творчество Т. Чижевского, С. Млодоженца; словенского – А. Подбевшека, который ставил своей целью освободить стихи «от всего, что напоминало бы традиционную метрику» (Zdravec, 1966. S.137). Дань экспериментальной поэзии отдали С. Косовел, Марко Ристич, В. Незвал, К. Библ. Но в сфере авангарда рядом с этим испытательным полигоном существовало и более спокойное и обширное творческое пространство, где «новое» не стремилось выступить в чистом виде, а органично взаимодействовало со «старым». Именно в таком контексте отчетливо проступали достоинства и значение новизны.

При сосредоточенности участников проекта на течениях, возникавших и кульминаровавшихся в первой трети XX в. (т.е. на «историческом авангарде»), ими были впервые расширены представления о славянском авангарде за счет писателей-отшельников, не примыкавших к авангардным группировкам, но объективно связанных с ними характером творчества, а также была охвачена вторая половина XX в., когда после распада (или запрета) своих течений авангард не ушел в прошлое, а остался (в виде заложенных им традиций) то скрытым, то явным субъектом литературного процесса. Расширенная база рассмотрения литературного авангарда у славян дала возможность впервые в отечественном литературоведении проанализировать в целом и в ракурсе механизмов преемственности творчество чешских прозаиков Ладислава Климмы (1878-1928) и Рихарда Вайнера (1884-1937). Установлено, что Л. Клима в своей экспрессионистской прозе опирался на традиции готического романа (Герчикова, 2012. С.12-13), а Р. Вайнер, не разделявший концепции авангарда, но стихийно связанный с ним, использовал мотивы, характерные для романтизма (Амелина, 2012. С.3-5). Помимо этих писателей, к которым только в последние годы начинает про-

буждаться читательский и научный интерес, участники проекта исследовали явления неоавангарда второй половины XX века. Это творчество одного из самых ярких польских поэтов своего времени Эдварда Стахуры (1937-1979), соединившего «традиции романтизма, символизма и авангардизма», и «выдающегося словенского поэта, драматурга, переводчика Милана Есиха (род. в 1951), совершившего переход от неоавангарда к постмодернизму». Польский поэт, увлекавшийся словотворчеством, т.е. активизировав механизмы обновления литературного стиля на лексическом уровне, проявил связь с романтизмом на уровне проблематики, концепции героя, конфликтующего уже не с окружающим миром, а с мещанской средой. (Ананьева, 2012. С.6-9). Для словенца М. Есиха эволюция от неоавангарда к постмодернизму стала переходом от «экспериментаторского радикализма» к классическому стихосложению, к модернизированной форме сонета (Старикова., 2012. С. 34-35).

Необходимо отметить, что вторая половина XX в. интересна как период, когда авангард, настроенный против традиций, сам выступает основателем традиций, причем востребованных. Традиции поэтизма и сюрреализма оживают в Чехии, надреализма – в Словакии и Сербии, экспрессионизма – в Хорватии и Словении и т.д. При этом преемственные связи между авангардом и другими течениями меняют свою направленность: авангард становится не потребителем «чужого», а источником своего опыта и влияний, не субъектом, а объектом восприятия, механизмы преемственности авангарда превращаются в механизмы «отдачи» его опыта другим творцам.

Выводы, к которым пришли участники проекта:

1. Вопреки программному антитрадиционализму, творчество сторонников авангардных течений у западных и южных славян охватывала система диахронных и синхронных литературных связей, которую можно сравнить с системой кровообращения для столь сложных и живых организмов, какими являются искусство вообще и литература в частности. Выход из этой системы, отключение от нее – губительно для всего живого.

2. Соотношения преемственных и полемических связей авангарда с искусством традиционным отличалось непостоянством. Полемические связи чаще декларировались в программах, на практике происходили уступки традициям, развивались преемственные связи. В момент рождения и самоопределения авангардных течений акцентировались и преобладали связи полемические. С течением времени крепились связи преемственные, причем до такой степени, что многие писатели, представители как славянских, так и западных литератур уходили от авангарда к более

традиционному искусству – реализму, социальному реализму, соцреализму, обогащая эти направления опытом своих исканий (Б. Ясенский, В. Броневский, М. Крлежа, А. Цесарец, В. Незвал, К.Библ Л., Арагон, П. Элюар, Б. Брехт, Й. Бехер, и др.).

3. Механизмы литературной преемственности в сфере авангарда активно работали на разных уровнях творчества: на уровне взглядов на искусство (стремление сохранить, вопреки призывам Маринетти, гуманистическую направленность творчества), на уровне проблемно-тематическом (обращение, наряду с восприятием новой реальности, к темам и проблемам, издавна волнующих человека); на уровне поэтики, художественных средств, где новые приемы органично взаимодействовали со старыми.

4. Литературная преемственность – не прихоть, а зов природы человека, объекта и субъекта литературного творчества. К работе механизмов преемственности в искусстве авангарда вели не только антропологические, но и эстетические причины. Отказ от традиционных приемов (приемов традиционного искусства) ограничивал диапазон художественных средств писателя, сковывал свободу творчества, к которой всегда стремился авангард.

5. Главная и самая существенная связь авангардных течений с разными – далекими и близкими – пластами мировой культуры, состояла/состоит в естественной, не оговариваемой программами, поддержке сквозной и гуманной, пронизывающей все направления функции искусства – откликаться на жизнь и зов человека.

Завершить статью о результатах работы над проектом «Антитрадиционализм и преемственность в программах и практике славянского литературного авангарда» хотелось бы двумя цитатами. Одна из публицистики немецкого поэта и драматурга Бертольда Брехта, материалиста и соцреалиста, некогда почитаемого за свои политические взгляды, а потом подрастерявшего из-за них же былой авторитет (что не умаляет его таланта). Другая – из Владимира Соловьева, русского философа-идеалиста, когда-то замалчиваемого на родине, но в конце концов занявшего почетное место в родной культуре. Брехт, начинавший в русле авангарда, но с годами сменивший позицию, как-то задумавшись над тем, «что такое национальная литература и литература вообще», пришел к выводу, что это «великая последовательность поколений», это «сражения и связи, ... обновления, которые являются исправлениями, ... традиция, которая облегчает прогресс вместо того, чтобы ему препятствовать» (Брехт, 1988. С. 371-372). Задолго до него в защиту связей с прошлым, дискредитируемым авангардом, выступил В. Соловьев. По его мнению, участие в обновительных про-

цессах означает: «...Идти вперед, взяв на себя всю тяжесть старины... Спасаящий спасется. Вот тайна прогресса – другой нет и не будет» (Соловьев, 1989. С. 621). Люди, разные по мировоззрению и положению, практически сходятся на признании некой объективной истины. Их мнения перекликаются и между собой, и с основным результатом, тем «сухим остатком», который просматривается в итогах работы над проектом Института славяноведения РАН. Участники авангардного движения, каждый по-своему, так или иначе, не только вели «сражения», но и поддерживали «связи» с прошлым, не только сбрасывали, идя вперед, но и взваливали на себя «тяжесть старины». Это позволяло авангарду оставаться явлением искусства и не превратиться в делянку для формальных экспериментов.

По итогам реализации проекта «Антитрадиционализм и преемственность в программах и практике славянского литературного авангарда» подготовлен одноименный сборник, который будет издан в следующем году.

ЛИТЕРАТУРА

Амелина А.В. 2012. Авангардные и традиционные начала в экспрессионистской и сюрреалистической прозе Рихарда Вайнера // Антитрадиционализм и преемственность в программах и практике славянского литературного авангарда. Тезисы научной конференции 13 ноября 2012 г. М.

Ананьева Н.Е. 2012. Традиции романтизма, символизма и авангардизма в творчестве Эдварда Стахуры (1937-1979) // Антитрадиционализм и преемственность ...Тезисы научной конференции... М.

Андреев В.Д. 1989. Исторические судьбы реализма в болгарской литературе на рубеже XIX-XX вв.// Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы первой трети XX в. М.

Аполлинер Гийом. 1978. Новое сознание и поэты // Писатели Франции о литературе. М.

Балль Х. 1986. Манифест к первому вечеру дадаистов в Цюрихе// Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX в. М.

Бердяев Н.А. 1989. Философия свободы. Смысл творчества. М.

Бретон А. 1986. Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами. М.

Брехт Бертольд. 1988. О литературе. М.

Будагова Л.Н. 2010. Чешский авангардизм // Авангард в культуре XX века. Теория. История. Поэтика. Кн. 2. Национальные варианты. Типология. М.

Будагова Л.Н. 2012. К специфике авангардных течений в славянских литературах.// Антитрадиционализм и преемственность в программах и практике славянского литературного авангарда. Тезисы научной конференции. М.

- Бушмин А.С. 1986. Литературные связи и преемственность – закономерность литературного развития // Литературные связи и литературный процесс. М.
- Гинзбург Л. 1974. О лирике. Ленинград.
- Голль И. 1986. Манифест сюрреализма // Называть вещи своими именами. М.
- Грыгар Моймир. 2007. Знако-творчество. Семиотика русского авангарда. Санкт-Петербург.
- Есенский Я. 1957. Демократы. М.
- Ильина Г.Я. 2012. Экспрессионизм в хорватской литературе // Антитрадиционализм и преемственность... Тезисы научной конференции. М.
- Искандер Ф. 1991. Пастернак и этика ясности в искусстве – «Литературная газета» М., № 1. С. 11.
- История литератур западных и южных славян в трех томах. Тт. 1,2. М., 1997; Т. 3. М., 2001.
- Левитанский Ю. 1992. «Черный квадрат» искусству ничего не сулит. – «Литературная газета» М., № 10. С. 3.
- Липатов А.В. 2012. Чеслав Милош: от катастрофизма Второго авангарда к послевоенной «Родной Европе» // Антитрадиционализм и преемственность... Тезисы научной конференции. М.
- Литературный авангард. Особенности развития. М., 1993.
- Маринетти Ф.Т. 1986. Первый манифест футуризма: Технический манифест футуристической литературы // Называть вещи своими именами. М.
- Мещеряков С.Н. 2012. Милош Црнянский: единство авангарда и традиций // Антитрадиционализм и преемственность... Тезисы научной конференции. М.
- Мочалова В.В. 2012. Александр Ват. От футуризма к историософии // Антитрадиционализм и преемственность... Тезисы научной конференции. М.
- От конструктивизма до сюрреализма. М., 1996.
- Пескова А.Ю. 2012. Два лица словацкого литературного экспрессионизма // Антитрадиционализм и преемственность... Тезисы научной конференции. М.
- Соловьев В.С. 1989. Сочинения в 2-х томах. М.
- Том 2: Чтения о богочеловеке: Философская публицистика.
- Старикова Н.Н. 2012. «Вот если б я во цвете лет почил!..» // Антитрадиционализм и преемственность... Тезисы научной конференции. М.
- Широкова Л.Ф. 2012. Поэт сюжета Доминик Татарка (1940-е гг.) // Антитрадиционализм и преемственность... Тезисы научной конференции... М.
- Эдшмит К. 1986. Экспрессионизм в поэзии // Называть вещи своими именами. М.
- Флакер А. 2008. Живописная литература и литературная живопись. М.
- Художественные процессы и направления в искусстве стран Восточной Европы 20-30-х годов XX века. М., 1995.
- Чапек Карел. 1977. Собрание сочинений в 7 томах. М., Т. 7.
- Шведова Н.В. 2012. «Да» и «нет» традиции в поэзии словацкого надреализма // Антитрадиционализм и преемственность... Тезисы научной конференции. М.
- Широкова Л.Ф. 2012. Поэт сюжета Доминик Татарка (1940-е гг.) // Антитрадиционализм и преемственность... Тезисы научной конференции. М.
- Jasieński Bruno. 1978. Do narodu polskiego // Antologia polskiego futurysmu i Novej Sztuki. Wrocław; Kraków; Gdańsk.
- Heslář české avantgardy. Jozef Vojvodík – Jan Wiendl (eds). Praha 2011.
- Kosovel Srečko. 1966. Moja pesem // Pot skozi noc. Izbor iz slovenske futuristične in ekspresionistične lirike. Ljubljana.
- Nezval Vítězslav. 1967. Dílo XXIV. Praha.
- Nezval Vítězslav. 1974. Dílo XXV. Praha.
- Nezval Vítězslav. 1964. Moderní básnické směry. Praha.
- Reisel Vladimír. 1969. Nová poézia a verejnosc // Bakoš M. Avantgarda 38. Bratislava.
- Zadravec F. 1966. Futurizem in ekspresionizem v slovenski poeziji // Pot skozi noc. Izbor iz slovenske futuristične in ekspresionistične lirike. Ljubljana.

Ларионова М.Ч. (ИСЭГИ ЮНЦ РАН)

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНЫХ ОБРАЗОВ В АСПЕКТЕ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ

С точки зрения семиотики культуру определяют «как коллективный интеллект и коллективную память, т. е. наиндивидуальный механизм хранения и передачи некоторых сообщений (текстов) и выработки новых» (Лотман, 2001. С. 673). Пространство культурной памяти представляет собой знаковый, языковой и текстовый универсум (семиосферу), элементы которого взаимно поддерживают и определяют друг друга. В пространстве культурной памяти некоторые общие литературные явления – мотивы, сюжеты, образы – могут сохраняться и быть актуализованы в пределах некоторого смыслового инварианта, позволяющего говорить, что они в

контексте новой эпохи сохраняют, при всей вариативности истолкований, идентичность самим себе.

По всей видимости, можно говорить о коллективной и индивидуальной культурной памяти. Коллективная культурная память накапливает и воспроизводит объекты, которые становятся культурными универсалиями и актуализуются в литературном произведении, как правило, бессознательно, в виде устойчивых традиционных кодов: событийных, персонажных, предметных и т.д. Индивидуальная культурная память имеет сознательный характер и опирается на личный опыт писателя: круг чтения, совокупность прецедентных текстов, явленных в

виде цитат, аллюзий и реминисценций. Таким образом, всякий литературный текст, с одной стороны, приобретает черты модели культуры, а с другой, он имеет собственное, неповторимое лицо.

Единицей культурной памяти является культурная универсалия – сквозной для всей культуры мотив, сюжет, образ, имеющий архетипическую основу, последовательно реализующийся в мифологии, фольклоре и литературе разных периодов. Культурная универсалия, с одной стороны, национально окрашена, является частью национальной картины мира, с другой – обладает универсальной семантикой и устойчивой для разных культур структурой.

Прежде чем сформулировать методику анализа литературного произведения в аспекте культурной памяти, нужно договориться об операционном и понятийном аппарате. Анализ сквозных литературных образов, культурных универсалий, может вестись двумя способами: парадигматически и синтагматически. В первом случае демонстрируется формирование инвариантных для русской культуры структуры и семантики образов и их последующее функционирование в русской литературе. То есть обнаруживается ряд сходных по структуре и семантике образов, в основе которых лежит одно мифологическое явление, восходящее к одному архетипу.

Термины «архетип» и «мифологема» в современной науке многозначны. А.К. Байбурин в словаре «Народные знания. Фольклор. Народное искусство» акцентирует внимание на их терминологической неясности: «Мифологема... – термин с неустоявшимся содержанием. Используется для обозначения единицы мифологического повествования. <...> В отличие от мотива мифологема – менее дробная единица, обладающая более высоким таксонимическим рангом» (Байбурин, 1991. С. 78). Согласно мнению Н.Д. Тамарченко, архетип – «универсальный образ или сюжетный элемент, или их устойчивое сочетание разной природы и разного масштаба, включая авторские архетипы» (Поэтика... 2008. С. 29). В современной «Литературной энциклопедии терминов и понятий» определение термина «мифологема» отсутствует, что свидетельствует о его неустойчивости и многозначности. Согласно «Большому толковому словарю русского языка», мифологема – сходная, повторяющаяся тема в мифах разных народов, составной элемент мифа (Большой толковый словарь... 2000. С. 546), однако такое определение не позволяет отграничить мифологема от близких ей по значению терминов «мотив», «символ», «архетип». У.Б. Далгат в монографии «Этнопоэтика в русской прозе 20х–90х годов XX века» вводит близкий мифологеме термин «этнографизм» как «ре-

презентат культурно-национального выражения», «образно-выразительное средство художественной выразительности многих литературных произведений» (Далгат, 2004. С. 3).

В энциклопедическом справочнике «Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины» мифологема отграничивается от архетипа, так как мифологема «сознательное заимствование автором мифологических мотивов», а архетип «...бессознательная их репродукция» (Современное зарубежное литературоведение... 1996. С. 236-237), что, по нашему мнению, является полемичным, поскольку, во-первых, далеко не всегда трансляция мифологем в культуре является осознанной, во-вторых, в таком случае невозможно применять термины «мифологема» и «архетип» к фольклору и анонимным литературным произведениям. А.Л. Топорков указывает на необходимость разграничения мифологема и мотива с акцентом на семантическом аспекте бытования мифологема: «Мифологема – единица мифологической системы, имеющая самостоятельную семантику, может формально совпадать с мотивом, но в отличие от мотива, который не перестает быть таковым при утрате самостоятельной семантики, мифологема существует только постольку, поскольку ее сохраняет» (Топорков, 1993. С. 154).

Т.Г. Иванова конкретизирует понятие мифологема применительно к фольклору в статье «Мифологема и мотив (к вопросу о фольклористической терминологии)» как семантической целостности, воплощаемой в культуре посредством конкретно-поэтических средств-мотивов: «Мифологема – единица мифологической системы, характеризующаяся категорией “вера”, выраженная вербальным, вербально-музыкальным, акциональным и предметным кодом в народной традиции, выделенная на абстрактном уровне научным сознанием и воплощенная в народной культуре конкретно-образными средствами во множестве мотивов» (Иванова, 2004. С. 5).

Как мы видим, термины «архетип» и «мифологема» не только по-разному понимаются, но часто смешиваются. Мы используем их в следующих значениях. Архетип мы понимаем по-юнгински, как ментальную форму, праформу коллективного бессознательного, как источник мифологии, религии и искусства (Юнг, 1991. С. 15). Архетип – не образ и не мотив, но тенденция, вектор для образа или мотива (Юнг, 1991. С. 65). Архетип может проявлять себя в повседневном поведении человека, в различных нехудожественных явлениях, например, в рекламе или газетной публикации, либо в мифопоэтическом творчестве и его единице – мифологеме.

Но, на наш взгляд, и мифологема – это еще не образ или мотив, а модель, инвариант, структурно-семантическая единица в отвлечении от ее конкретных реализаций, а также жанра, рода, направления и т.д. Сам инвариант материальной оболочки не имеет, поэтому мифологема не существует в «чистом» виде, а только в виде культурного «слова» или сюжета, мотива и художественного образа. Более того, мифологема может реализовываться – рудиментарно – в тропях (см.: Толстая, 1989. С. 220; Ларионова, 2006. С. 25). Термин «культурное слово» в последние годы активно проникает в исследования национальной культуры, благодаря трудам Никиты Ильича и Светланы Михайловны Толстых. Так, они показали, что «культурные слова» принадлежат одновременно языку и культуре, что они отражают мифологические воззрения и что они представляют собой «свернутые тексты» – комплексы сюжетов, мотивов, присущих определенной культурной традиции (Толстой, 1995. С. 10–22; Толстая, 2007). Нетрудно заметить, что смысловые поля терминов «культурное слово» и «мифологема» во многом пересекаются. Неслучайно К. Леви-Стросс назвал мифологеми «словами», точнее, «словами слов», поскольку они одновременно функционируют в языке и в метаязыке (Леви-Стросс, 2000. С. 150). Таким образом, мифологеми являются элементами языка культуры, как слова являются элементами лексической системы языка.

Художественный образ – это единичная и уникальная реализация мифологеми, причем иногда самая радикальная, вплоть до пародии, изменения отдельных элементов мифа, игры с семантикой, но при всех этих действиях понятие инвариантной основы сохраняется, являясь базой для индивидуальных трансформаций. «Художественное развертывание прообраза есть в определенном смысле его перевод на язык современности, после чего каждый получает возможность, так сказать, снова обрести доступ к глубочайшим источникам жизни, которые иначе остались бы для него за семью замками», – утверждал Карл Юнг (Юнг, 1991. С. 284). Художественный образ как вариант мифологеми всегда символичен, поскольку предмет или явление обозначают самих себя, но всегда больше, чем самих себя. Символ, по нашему убеждению, может быть опознан как символ, если к прямому его значению и даже к окказионально-символическому присоединятся традиционные для культуры символические значения, восходящие к мифу (Ларионова, 2006. С. 95). Мы в наших исследованиях употребляем понятия «мифологема» и «образ» как синонимы, поскольку говоря о литературном образе, имеем в виду его фольклорно-мифологическую инвариантную природу, явленную в многочисленных фоль-

клорных и литературных вариантах, образующих единый «текст» русской культуры и литературы.

Все образы, варианты одной мифологеми, обнаруживают структурно-семантический и функциональный изоморфизм. Эти образы формируют класс единиц, объединенных общими признаками, вызывающими одинаковые ассоциации, противопоставленные другому классу единиц, то есть парадигму. На практике все единицы такой парадигмы представляют собой варианты мифологеми-инварианта. Но инвариант может быть реконструирован только при парадигматическом анализе явления. Парадигматический подход не только выделяет класс элементов по наличию общих признаков, но и демонстрирует, какие признаки закрепляются у этих элементов, и всякий новый элемент наделяется такими признаками независимо от воли писателя.

Однако вслед за Клодом Леви-Строссом, впервые применившим парадигматический и синтагматический подход при описании мифа (Леви-Стросс, 1970), мы осознаем, что парадигматический анализ мифологеми грешит схематизмом. В нем на первый план выходит то общее, что объединяет все варианты инварианта. При этом индивидуальный и неповторимый смысл литературных образов может учитываться не в полной мере. Описание структуры и семантики имеет смысл, если за ним следует описание функционирования объекта. Поэтому следующим этапом работы является синтагматический анализ индивидуально-авторского воплощения устойчивой мифологеми. При этом творчество писателя и его произведения получают, по выражению Цветана Тодорова, «статус примера, а не статус высшей реальности» (цит. по: Косиков, 2000. С. 29). Именно так поэтику понимали структуралисты, чьих методов мы во многом придерживаемся. Однако синтагматический подход не может решить задачу анализа «исторических корней» литературных образов. Нам представляется, что только соединение двух подходов дает максимально полный и объективный результат.

Но чтобы начать парадигматический анализ культурных универсалий и продолжить его синтагматическим, необходимо построить «культурную матрицу», то есть выявить и описать массив стереотипизированной культурной информации, закрепленный за «культурным словом», или мифологеми, элементы которого подвергаются систематизации, структурированию и описанию.

Покажем, как работают методология и методика в конкретном случае, на примере островных образов русской литературы (Горницкая, Ларионова, 2013).

Мифологема острова является одной из универсалий мировой культуры – способом фиксации

культурного опыта, выраженного в мифологической и художественной символике. В пространственно-временных представлениях всех континентов и эпох присутствовали острова. В русской культуре мифологема острова занимает важное место. Хронологически она одна из древнейших, поскольку сложилась еще в мифологии, была представлена в дописьменной традиции, а потом последовательно воплощалась в художественных произведениях на всех этапах развития русской литературы.

На протяжении XIX–XXI веков ученые обращались к отдельным островным образам: А.Н. Афанасьев в статье «Языческие предания об острове-Буяне» А.Н. Веселовский в «Народных представлениях славян», в начале XX века Виктор Борисович Шкловский в статье «Об островах отдаленных, летающих, необитаемых и о значении топа, а также о Санча Панса – губернаторе сухопутного острова», Неонила Артемовна Криничная в книге «Русская мифология: Мир образов фольклора», Татьяна Владимировны Цивьян в статье «Остров, островное сознание, островной сюжет», где материалом стали поэмы Гомера). Однако ни одна из названных работ не носит системно-обобщающего характера и не содержит анализа «островного теста» как семантической целостности и текста культуры. Нет статьи «Остров» ни в энциклопедии «Мифы народов мира», ни в издании «Мифология. Большой энциклопедический словарь» под редакцией Е.М. Мелетинского, отсутствует статья «Остров» в III томе современного этнолингвистического словаря «Славянские древности», многие энциклопедии содержат только статьи, посвященные конкретным островам (Буян, острова блаженных, остров проклятых и т.п.), а не фольклорно-мифологическому образу острова как таковому.

Поэтому первый наш шаг – анализ мифологического и фольклорного материала, то есть создание культурной матрицы.

В русском фольклоре остров представлен как метафизический объект. Все острова обладают одинаковыми формально-поэтическими и сюжетообразующими характеристиками. Остров, во-первых, может быть обозначен как реально существующий объект. Такие острова наиболее часто представлены в быличках, легендах, преданиях – жанрах (как прозаических, так и поэтических), где обращение к реальному названию создает эффект достоверности повествования. Указание на конкретное местоположение острова может быть дано как доказательство его действительного существования и может сопровождаться топонимическим пояснением. Так, например, объясняется происхождение названий островов Петуньего и Воротного (Предания земли русской, 1996. С. 410, 510). Однако никакие другие конкрет-

ные характеристики (бытовые, климатические и т. д.) с островами не связаны, и фактически, невзирая на наличие реального географического названия, эти острова предстают как образы абстрактные.

Во-вторых, острову может быть дано вымышленное наименование, если и связанное с реальным локусом, то только опосредованно (Буян, Яост и т.д.). Такая номинация часто обнаруживается в сказках, где не имеющее реальных аналогов название обретает функции «магического» имени. Вымышленный локус может включаться в реальную географическую топику (так, местонахождение Буяна связывается в заговорах с Хвалынским (Каспийским) и Черным морями), а может существовать вне ее – на море-Окияне, за горами – за лесами, не имея соотношенности с реальностью, что задает установку на абсолютную условность.

Наконец, в-третьих, остров может не иметь имени и обозначаться просто как «остров», что представлено во всех абсолютно фольклорных жанрах и демонстрирует метафизическую абстрактность данного образа («Бог находит своих людей на острове среди океана...») (Веселовский, 2006. С. 579) – легенда Елатомского уезда Тамбовской области, «Хожу я, раб божий, кругом острова по крутым берегам» (Русский народ, 1990. С. 383) – среднерусский заговор, «На этом озере есть остров, на это острове кустышек...» (Обрядовая поэзия, 1989. С. 409) – южнорусская свадебная песня и т.п).

Не менее условна природа материальной вещественности (или экзистенции) фольклорных островов. Мы выделяем три базовых модели островов, универсальные для всех фольклорных жанров. Во-первых, остров может представлять собой часть суши. Во-вторых, в роли острова может выступать гора или камень (в заговорах наиболее частотны – камень Алатырь). В-третьих, островом может являться дерево, как в галицкой колядке: «...было синее море //А сред моря зеленый явір /два дубойки/» (Веселовский, 2006. С. 356), или он состоит из деревьев как в сибирской быличке о плавучем острове: «Есть озеро, на нем плавучий остров из деревьев» (Предания земли русской, 1996. С. 373). Идентифицируется с островом и лес: «Лес, как остров поднялся» (Народная проза, 1992. С. 289). Позже в литературной традиции эта модель трансформируется, и остров-дерево замещается островами, поросшими деревьями – т.е. лесом (как в «Повести о Василии Кариотском», «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» Салтыкова-Щедрина и т.д.). Остров-гора и остров-дерево тождественны друг другу на уровне универсальной мифологической символики: гора выступает в качестве наиболее распространенного варианта трансформации дерева

мирового. И так, важна идентификация локуса как острова, а не его вещественная природа. Факультативные же мотивы, связанные с его формой, могут определять различия в сюжетах фольклорных произведений.

Абстрактная мифопоэтическая реальность острова представлена в двух моделях, условно обозначенных нами как макрокосмическая и микрокосмическая: либо весь мир представлен как один большой остров – универсальный макрокосм (чаще всего в повествовательных фольклорных жанрах – быличках, преданиях), либо остров представлен как «другой», чужой мир, локализованный в пространстве островного микрокосма (часто в заговорах, обрядовой поэзии). Макрокосмическая модель острова является частью традиционной славянской фольклорно-мифологической картины мира. Микрокосмическая модель острова как другого мира включает три взаимосвязанных семантических уровня: 1) остров как рай; 2) остров как ад или загробный мир; 3) остров как инициационное пространство. Каждый семантический уровень структурируется комплексом мотивов. Мы рассмотрим лишь ключевые из них, формирующие смысловое ядро.

То, что одному и тому же локусу придаются антиномичные функции рая и ада, связано со спецификой мифологического мышления славян. Как отмечала Н.А. Криничная, загробное пространство в дохристианской народной культуре воспринимается как единое и может служить как раем, так и адом, а «...присущая дохристианскому мировосприятию нерасчлененность царства мертвых дает о себе знать даже в поздней нарративной традиции» (Криничная, 2004. С. 951). Эта закономерность в русской культуре действует не только относительно мира загробного, но более широко – применительно к любому миру, определяемому как «иной», «чужой». Остров, которому придается усиленное значение «иномирности», воплощает этот мировоззренческий пространственный универсализм.

Интерпретация острова как рая включает в структуру мифологемы образы и мотивы сада (как Эдема) изобилия, соборной церкви на острове и камня-алатыря. Образ острова как загробного мира включает в свою мотивную структуру в фольклорных произведениях комплекс inferнальных мотивов, а также мотив «странного строения» с отрицательной семантикой (огненной бани, гробницы, семибашенного дома и т.п.). В структуру образа острова как загробного мира в фольклоре обязательно включаются мотивы смерти, остров приобретает функции последнего приюта героя: например, «Стеньке на роду было девяносто семь лет.

Переправился он через море на зеленый Сиверский остров <...> и кончил Стенька жизнь свою на Сиверском зеленом острове, но дети его не знают, где отец» (Народная проза, 1992. С. 138).

Семантический уровень острова как инициационного пространства включает мотивы смерти-возрождения, промежуточности и испытания. Микрокосмическая модель острова в русском фольклоре как «другого мира» всегда представляет его как лиминальный хронотоп.

Обитатели острова в русском фольклоре могут быть условно поделены на несколько групп:

1) inferнальные – оборотни, ведьмы, колдуны, черти, сам Сатана. В быличках частично inferнальные функции передаются разбойникам;

2) сакральные – святые, богородица, ангелы, сам Иисус: «На море, на Кияне, на острове на Буяне, на бел-горючем камне Алатырь, на храбром коне сидит Егорий Победоносец, Михаил Архангел, Илия Пророк, Николай Чудотворец побеждают змея лютого» (Русский народ, 1990. С. 323);

3) люди в измененных состояниях сознания: сон, транс, галлюцинирование;

4) фантастические персонажи – говорящие животные, заколдованные «царевны» и т.п.;

5) птицы, которые выполняет особую функцию, являясь медиатором между островом и «своим» миром.

Происхождение острова в русском фольклоре сводимо к трем сюжетным линиям:

1) остров либо создается птицей (лули – у сибирских маньзов, гагарой – у самоедов, уткой – у якутов и т.д.), либо божеством в обличье птицы, как в алтайском предании, где бог в обличье черного гуся творит остров – камень (Веселовский, 2006. С. 373);

2) остров создан божеством, антагонистом божества (демоном, шайтаном и т.п.) или обоими одновременно.

3) остров возникает вследствие необъяснимого чуда. Это влечет появление мотивов «невидимости» острова, его заключенности за метафизической оградой, сокровищ (как порождения чуда) и измененного состояния сознания (сна, бреда, обморока, видения, галлюцинации, тяжелой болезни), связанного либо с нахождением на острове, либо с явлением острова. Таким образом, в русском фольклоре для мифологемы острова характерны одновременно цельность и смысловая многоуровневость; структурно-семантический состав обусловлен жанровой принадлежностью фольклорного произведения, причем вариативность компонентов трансформирует только внешнюю атрибутику локуса острова в фольклорных произведениях, не меняя инвариантную символику смыслового ядра.

Второй шаг – наложение культурной матрицы на литературный материал разных эпох. И тут выясняется, что:

1) инвариантная структура и семантика мифологемы острова успешно ассимилируется в древнерусскую литературу, во многом опирающуюся на фольклорные модели. Но, во-первых, отдельные структурные элементы мифологемы приобретают теперь иные способы смыслообразования и целеустановку, отличную от фольклорной. Во-вторых, внутри этих элементов меняются типы связей, что способствует одновременно как сохранению прежней семантики, так и наращиванию принципиально новых смыслов. Меняется природа условности острова. Реальный остров представляется рассказчиками как объект уникальный, а не типичный – акцент переносится со сходств на различия. Конкретный объект соотносится с мифологемой, не теряя при этом ни уникальной внешней атрибутики, ни географии прототипа, но трансформируется в литературном тексте, обретая мифопоэтические черты. Отдельные образы и мотивы редуцируются. Так, например образ «царевны» фактически выведен за пределы культурной матрицы. Только к XVII веку он возвращается в «островной» сюжет. Полуостров или любой иной географический объект, в реальности островом не являющийся, но в тексте выполняющий функции островной мифологемы, объявляется «островом». Формируется сюжет не просто пути к острову, но странствия между разрозненными островами, причем островами измеряется любой путь к важным для рассказчика объектам (Хождение игумена Даниила). Мир представлен в древнерусских текстах как островная система, каждый элемент которой – отдельный микрокосм, и познание всего мира представляет собой путешествие от острова к острову. Ключевым для этого периода становится понимание острова как земного рая, усиливается мотив острова, как зоны спасения, появившийся ранее в обрядовой поэзии и оказавшийся в литературе более продуктивным, чем в фольклоре;

2) к XVIII веку можно говорить не о ряде разрозненных произведений об островах, а о возникновении «островного текста» русской литературы, где островные образы имеют общую семантику и связаны с устоявшимся тематико-сюжетным комплексом, что позволяет рассматривать их как типологическое единство. Причинами этого являются рост уровня образования – книжности, ориентация на утопии и робинзонады, путешествия и освоение мира. В творчестве А.С. Пушкина и «Острове Сахалине» А.П. Чехова мифологема острова становится предпосылкой создания биографического мифа. В

восприятии русского читателя XVIII–XIX веков географические острова имеют неоднозначную культурную семантику. С одной стороны, они связаны с экзотическим контекстом дальних земель, с другой – с негативным контекстом заключения, ссылки. В литературе XVIII–XIX веков пейзаж острова как «иног» мира тяготеет к сочетанию несочетаемого, например, леса и сада. В аллегорической литературе XVIII века созданы предпосылки для интерпретации острова как факта сознания. В «Езде на остров любви» Третьяковского остров – аллегория любви, имеющая при этом географические координаты и материальное воплощение. Как острова теперь идентифицируются не только полуострова и материи, но и абсолютно любые объекты (например, в «Медном всаднике» с островом соотносится дворец императора: «Дворец казался островом печальным»;

3) остров остается раем, Эдемом – как остров любви у Третьяковского, либо Градом Божьим – как в «Сказке о Царе Салтане...» Пушкина/ Однако, у Лермонтова, например, остров – это пространство смерти, но и избавленья, ад-рай («Наполеон», «Воздушный корабль», «Последнее новоселье» – вообще «наполеоновский» цикл). Модель острова как инициационного пространства реализуется, например, в «Острове Сахалине» Чехова;

4) в русской «островной» литературе XVIII–XIX веков окончательно закрепляется тенденция к замещению inferнальных персонажей народной демонологии (ведьм, колдунов и т.п.) демонизированными образами отрицательных героев. Inferнальные функции передаются разбойникам, злодеям, иноземцам, фактически играющим роль ирреальных демонических сил, а сакральные – монахам, отшельникам. Важную роль начинает играть сюжет «царевны» в островном плену, как у Карамзина в Острове Борнгольм. Мотив островного плена «царевны» превращается в генератор развития сюжета, построенного как последовательное описание попыток героя либо освободить «царевну», либо разрешить загадку о причинах ее «плена». Птицы из медиаторов превращаются в основную примету острова;

5) и наконец, островные черты приобретает «городской текст» русской литературы, например «петербургский». Город из островов воплощает в себе уменьшенную копию мироздания, это рай, ад и инициационное пространство. Решение основных онтологических проблем человеческого существования, развязка конфликта реального и ирреального, столкновение символических абстракций добра и зла переносится в Петербург. Любой локальный текст приобретает черты островного.

Мифологема острова и созданные на ее основе литературные образы стали частью языка культуры, залогом сохранения и трансляции культурной памяти. Анализ только одной мифологема позволяет делать выводы о механизмах структуро- и смыслопорождения в фольклоре и литературе, а также о дальнейшем развитии принципов интерпретации художественного текста в культурно-историческом и фольклорно-мифологическом аспектах.

Эта работа может быть продолжена на любом литературном материале и применительно к любой культурной универсалии. Но совершенно очевидно, что развитие культуры основано на сохранении и переосмыслении традиционных ценностей. Устная и письменная традиции представляют собой единое семиотическое пространство. При этом не исчезает понятие о своеобразии индивидуального творчества и эстетических тенденций эпохи. Инвариант оказывается вписан в «текст» русской культурной традиции, и залогом его существования и последующей трансляции становится именно создание вариантов.

ЛИТЕРАТУРА

- Байбурин А.К. 1991. Мифологема // Народные знания. Фольклор. Народное искусство / Отв. ред. Б.Н. Путилов, Г. Штрабах. М.: Наука. С.78.
- Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб. «Норинт», 2000. 1536 с.
- Веселовский А.Н. 2006. Народные представления славян. М: АСТ. 667 с.
- Горницкая Л.И., Ларионова М.Ч. 2013. Место, которого нет... Острова в русской литературе. Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН. 226 с.
- Далгат У.Б. 2004. Этнопоэтика в русской прозе 20-х–90-х гг. XX века (экскурсы). М.: ИМЛИ РАН. 212 с.
- Иванова Т.Г. 2004. Мифологема и мотив (к вопросу о фольклористической терминологии) // Комплексное собрание, систематика, экспериментальная текстология. Выпуск 2: Мат-лы VI Междунар. школы молодого фольклориста (22–24 ноября 2003 года) / Отв. ред. В.М. Гацак, Н.В. Дранникова. Архангельск: АГУ. С. 5–14.
- Косиков Г.К. 2000. «Структура» и/или «текст» (стратегии современной семиотики) // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму;

- Пер. с фр. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Изд. группа «Прогресс». С. 3–48.
- Криничная Н.А. 2004. Русская мифология: Мир образов фольклора. М.: Академический проект; Гаудеамус. 1008 с.
- Ларионова М.Ч. 2006. Миф, сказка и обряд в русской литературе XIX века. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та. 256 с.
- Леви-Стросс К. 1970. Структура мифов // Вопросы философии. № 7. С. 152–164.
- Леви-Стросс К. 2000. Структура и форма. Размышления об одной работе Владимира Проппа // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму; Пер. с фр. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Изд. группа «Прогресс». С. 121–152.
- Лотман Ю.М. 2001. Семиосфера. СПб.: «Искусство – СПб». 704 с.
- Народная проза / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. С.Н. Азбелева. 1992. М.: Русская книга. 608 с.
- Обрядовая поэзия / Сост., предисл, примеч. подгот. текстов В.И. Жекулиной, А.Н. Розова. 1989. М.: Современник. 735 с.
- Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. 2008. М.: Изд-во Кулагиной, Intrada, 358 с.
- Предания земли русской. Ростов н/Д: Феникс, 1996. 608 с.
- Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забылиным. 1990. М.: «Книга принтшоп». 616 с.
- Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник / Отв. ред. А.Е. Махов. 1996. М.: Интрада – ИНИОН. 320 с.
- Толстая С.М. 1989. Терминология обрядов и верований как источник реконструкции древней духовной культуры // Славянский и балканский фольклор: Реконструкция древней славянской духовной культуры: Источники и методы. М.: Наука. С. 215–229.
- Толстая С.М. 2007. К понятию культурных кодов // АБ 60. Сборник статей к 60-летию А.К. Байбурина. СПб, Изд-во Европейского ун-та. С. 23–31.
- Толстой Н.И. 1995. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик. 512 с.
- Топорков А.Л. 1993. Мифологема // Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии. Минск: Наука і тэхніка. С. 154.
- Юнг К.Г. 1991. Архетип и символ / Сост. и вступ. ст. А.М. Руткевича. М.: Ренессанс. 304 с.

Кузнецова Т.Л. (ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН)

ТРАДИЦИИ К.Ф. ЖАКОВА В НОВЕЙШЕЙ КОМИ ПРОЗЕ

В исполненный драматизма переходный период, когда общество решительно отказывается от советского прошлого, весьма актуальным становится вопрос о культурных и художественных традици-

ях, питающих коми литературу конца XX – начала XXI веков. Переживаемое современным обществом время порубежья, сближающее память культуры с периодом конца XIX – начала XX веков, неминуе-

мо приводит к имени К.Ф. Жакова, писателя, которого высоко ценил М. Горький^{1*}, философа^{2*}. Не случайно в первые годы «перестройки» в среде коми интеллигенции вспыхивает интерес к личности и творчеству Жакова. Думается, значимость «возвращённой» литературы, её роль в формировании мировоззренческих установок современного общества еще предстоит осмыслить, но следует отметить, что Жаков занимает особое место в ряду «возвращённых» писателей. В определённом смысле фигура Жакова становится знаковой для периода «перестройки»; так же, как уроженец Коми Пителин Сорокин, изгнанный из советской России в 1922 году и ставший основателем факультета социологии в Гарварде^{3*}, Каллистрат Жаков стал свято чтимым для коми интеллигенции в период очередной «оттепели» – в начальный период «перестройки». В сложный период глубокого переосмысления образ известного коми писателя получает особую семантику: мятежный дух белоэмигранта и националиста^{4*} удивительно созвучен думам и чаяниям общества, ожидающего кардинальных перемен. Романтическая тяга к лучшему, окрыляющая творчество Жакова, также весьма близка умонастроениям общества первых лет «перестройки». Личность Жакова притягательна и тем, что известный писатель и философ был не принят советским государством и Коммунистической партией: в период засилья антисоветских настроений его фигура и творче-

^{1*} В 1912 году в письме к Леониду Андрееву А.М. Горький писал: «Знаешь, в России есть интересный писатель Жаков, зырянин. Любопытнейшая фигура» (Горький, 1965, С.346). В 1914 году в письме к А.Н. Тихонову А.М. Горький отмечал: «Жаков был, оставил книги свои. II и III томы «Сквозь строй» – это, батенька, тоже глубоко интересно, до жути!» // Архив А.М. Горького при ИМЛИ АН СССР, ф.56766, ПГ – рл 44-10-46.

^{2*} Характеризуя особенности духовной атмосферы серебряного века, исследователь русской литературы начала XX века И.Г. Минералова считает нужным отметить: «Это время, когда, подобно пушкинской эпохе, рождается много «синкретических» дарований – творческих личностей, сочетающих в себе поэта и прозаика, писателя и учёного, поэта и живописца и т.д. (А.Белый, Вяч. Иванов, М.Волошин и др.). Примером может послужить и Каллистрат Жаков – профессиональный философ, математик и плодовитый писатель, создавший немало художественных произведений явно «синтетического» облика (различные варианты скрещивания стиха и прозы). В серебряный век он был известен как автор учения о так называемом «лимитизме». Объясняя этот свой термин, К.Жаков пишет, что «познание переменная величина, идущая к своему пределу ... <...> Лимитизм значит философия предела» (Минералова, 2004, С.19)

^{3*} О личности и исследовательской деятельности П.Сорокина: (Зюев, 2005, 320 с.; Зюев, 2000, 158 с.)

^{4*} Такой ореол был создан вокруг имени известного писателя: (Подоров, 1933, С.54 – 56.; Безносиков, 1968, С.49, 104)

ское наследие получают особое значение. Жаков, с чьим именем в начале XX века в Коми связывались национально-возрожденческие идеи, получает особый статус в период «перестройки», когда общественное внимание весьма занимает национальный вопрос. Были опубликованы работы о жизни, деятельности и творениях известного писателя (Жеребцов, 1988, с.2-3; Канев, 1990, 19 с; Латышева, 1988, с.2-3; Петрицкий, 1988, с.3; Шабунин, 1988, с.24), проведена региональная научная конференция «Наследие К.Ф.Жакова и развитие культуры финно-угорских народов», посвящённая 125-летию со дня его рождения (Сыктывкар, 16-18 октября 1991года)^{5*}. Нашли дорогу к читателю и произведения Жакова: были изданы сборник его малой прозы (Жаков, 1990, 464 с), роман «Сквозь строй жизни» (1914) (Жаков, 1996, 384 с.), поэма «Биармия» (1916) (Жаков, 1993, 312 с.); М.Елькиным поэма переведена на коми язык.

Симбиоз данных факторов обусловил то обстоятельство, что и в современной коми прозе обнаружилось мощное поле притяжения к творческому наследию Жакова.^{6*} Обаяние его личности велико: коми проза первых лет «перестройки» развивает-

^{5*} Материалы региональной конференции составили основу сборника статей К.Ф. Жаков. Проблемы творчества. – Сыктывкар, 1993. – 164 с. (Труды Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН; Вып. 55.)

^{6*} На близость новеллистики Жакова с литературой конца XX века и необходимость изучения коми писателями его наследия указывала Лисовская Г.К.: «Новеллистика К.Ф. Жакова – цельная эстетическая система. Она является итогом многолетних философских, социальных, этических и эстетических поисков писателя. Она отражает как экзистенциальный опыт личности с ее поисками Бога, смысла жизни, устремленностью к запредельному, так и исторический опыт народа с его чувством космической гармонии, чувственно-пластическим, поэтическим мироощущением. Художественное мышление, сформированное сочетанием этих начал, – это, по сути, художественное мышление конца XX века. Современным коми писателям, чтобы сделать новый шаг в своем росте и подняться до уровня культурно-духовных требований времени, необходимо освоить художественные достижения своего великого предшественника Каллистрата Жакова.» (Лисовская, 1993, С.63)

Л.В. Лыткиной отмечен опыт осмысления творчества коми писателей начала XX века современной коми прозой: «Понимание того, что К. Жаков, Д. Попов, А. Чеусов, А. Истомина, А. Старцев, В. Чисталев и др. ввели в коми литературу особую тему, связанную с размышлениями о национальном характере, своими вновь для нас обретенными произведениями подвели сегодняшнее поколение писателей к осмыслению его сути, существует в границах публицистики. Но вместе с тем влияние традиции, может быть, не до конца осознанное, уже проявляется на ином уровне. Художественные открытия коми-зырянских писателей начала XX века начинают постигаться современными прозаиками и находят своё выражение в поисках формальных» (Лыткина, 1997, С.3-4)

ся под сенью идей опального писателя и философа (следует отметить, не только проза, но и поэзия ощутила воздействие его творчества: в циклах стихотворений Г. Юшкова «Коми руыс мед эськё оз кус» – Пусть не угаснет коми дух; «Би моз перья коми гажсё» – Подобно огню, высеку коми веселье, 1997, стихотворениях В.Тимина «1386 –öd во» (1386 год, 1992), «Илля Вась ордын» (У Илля Вася, 1992), «Эз, пöль –пöчьяс эз мунны мясянь ылö» (Нет, предки не ушли от меня далеко, 1995), «Коми му! Мейн тэ чужан лунсянь и кувтöдз» (Земля коми! Во мне ты с рождения и до смерти, 1995) и др., несомненно, жив художественный опыт Жакова). И было бы несправедливо утверждение, что современные прозаики заимствовали мотивы творчества «возвращённого», ставшего популярным писателя (или стали его эпигонами): скорее, имеет место глубинная связь, соединяющая творчество К.Ф. Жакова и коми прозу конца XX – начала XXI веков, основанная на близости в ощущении времени (драматичное переходное время, освещённое пафосом переосмысления, нашло выразительное воплощение как в творчестве известного писателя, так и в коми прозе грани тысячелетий). Думается, мы вправе вести речь о родственности художественной сферы, что характеризует отношения героя с миром, которым в сложный период кардинальных перемен свойственна дисгармония особого рода. Видимо, социально-эстетические факторы, характеризующие столь драматичное время, связаны с весьма своеобразными ощущениями. «Мы люди переходного времени, и, как всякое переходное время, наше время представляет собой много хаотического, противоречивого, много крайних увлечений, безудержных порывов, ярко болезненных моментов и переживаний», – писал Жаков (Жаков, 1929, С.6). Неспроста исследователи ведут речь о «дебютном» мировоззрении – ощущении эпохи и «финальном», особом типе умонастроения и мировоззрения: *debut de siecle* (франц.) – прото – «начало века» и *fin de siecle* – пост – «конец века» (Эпштейн, 2001, С.180-181). Особое духовное состояние, порождаемое порубежной эпохой (несущее меты и глубокого, всестороннего кризиса, переживаемого в этот период страной) и запечатлевшееся в художественном сознании, во многом сблизило творения Жакова с произведениями современных коми прозаиков (хотя первые художественные опыты Жакова вышли к читателю в самом начале XX века, в целом его творчество, безусловно, отражает духовные искания эпохи порубежья). Утверждение литературоведов о том, что «историко-литературная ситуация рубежа веков способствовала появлению особого типа художников, «ножниц между столетиями»,

которые создавали принципиально новые художественные системы, эстетическая расшифровка которых оказывается возможной только при учёте фактора сближённости «концов» и «начал»» (Химич, 2005, С.50), во многом объясняет родственность художественной природы творчества К.Жакова и коми прозы стыка тысячелетий. Определение «поисковая»^{7*}, применённое по отношению к русской литературе начала XX века известным литературоведом Ю.Б.Орлицким (Жаков, создававший свои творения в начале прошлого столетия, когда ещё не было развитой литературы на языке коми – поэзия И.Куратова была не известна читателю – и пишущий на русском языке, несомненно, включён в контекст русской литературы), в полной мере можно отнести и к коми прозе конца XX – начала XXI в.^{8*} Отражая дух эпохи, мятущейся в поисках, литература обретает подлинность документа.

«Серебряный век» отличался крайним субъективизмом восприятия мира ... Литература перестаёт быть правдивым отражением реальности и выражает, скорее, внутренние переживания художников», – справедливо отмечают исследователи (Басинский, Федякин, 2000, С.10-11). Художественное творчество Жакова – это исповедь человека, идущего трудной дорогой жизни, постигшего все тяготы драматичного времени. «Цветов душистых я желал найти близ гор великих, но скалу гранитную встретил там и поранил тело моё об острия камней, взбираясь бесполезно на гору ...», – горькими словами завершает он повествование о своей жизни (автобиографический роман «Сквозь строй жизни»). Его пером движет не столько стремление познать изменчивые законы жизни, сколько тяготение к тому, чтобы осмыслить очень непростые отношения с миром. «Гараморт! ... все твои писания художественные – раскрытие личности твоей, как она нашла себя в пестрой действительности при всех трудных условиях», – обращается к автобиографическому герою автор романа «Сквозь строй жизни». Именно это качество свойственно и современной коми прозе. Мироощущение Жакова, отравленное глубоким чувством одиночества, неразрешимыми противоречиями, во многом сродни мироотношению героя коми прозы рубежа XX-XXI веков. Общность духовной атмосферы

⁷ * «... в творчестве Каллистрата Жакова мы находим практически весь спектр «пограничных» явлений, характерных для «поисковой» литературы его времени: от верлибра до стихотворения в прозе, лирической, графической, строфической, метрической прозы», – отмечено Орлицким Ю.Б. (Орлицкий, 1993, С.33).

⁸ * Проза этого периода нами была охарактеризована как переживающая состояние художественных поисков: (Кузнецова, 2011, С.577-580)

обусловила мировоззренческую близость; видимо, в драматичный переходный период, когда происходят кардинальные социально-политические изменения и социально-культурное окружение повержено разрушительными силами, обостряются экзистенциальные ощущения отдельной личности: каждому дано переосмыслить основные ценности, понять, что есть жизнь, смерть, какие факторы и обстоятельства формируют судьбу. Напряжённые поиски Жакова, его глубокие раздумья нашли органичное выражение в автобиографическом романе «Сквозь строй жизни», тяготеющем к исповедальному монологу («Но людям нет дела до этой, в глубинах души моей находящейся, великой книги внутренней жизни», – с горечью осознаёт автобиографический герой романа). Последовательность автобиографического повествовательного сюжета, изображающего картины жизни героя, нарушается произвольным течением лирических, интеллектуально-философских раздумий: композиция романа запечатлела естественное движение мысли с её ассоциативными ходами и произвольными поворотами^{9*}. Во многом близки к жаковским искания Ю. Екишева (киноповесть «Рёдвуж андел»), А. Лужикова (повесть «Измём синва»), которых на стыке тысячелетий также привлекают онтологически значимые проблемы: в чём предназначение человека, для чего ему дана жизнь. Характер Гараморта, автобиографического героя романа Жакова, преодолевающего сложный путь к самому себе, угадывается и в автобиографических произведениях А. Некрасова «Быть человеком», «Как стать великим», и в миниатюрах И. Белых, и в малой прозе А. Ульянова. Думается, весьма близки особенности характерообразования автобиографического героя великого соотечественника А. Некрасову. Свообразие мышления автобиографического героя Жакова, объёмлющего общие законы жизни, являющего житейскую мудрость зрелого человека, словно воссоздано в автобиографической прозе А. Некрасова: потребность в переосмыслении, что переживает общество на изломе истории, находит выражение в частном опыте индивидуальной судьбы. В драматичный переходный период особое значение получает биографический опыт. В период глубокого социального, политического, экономического кризиса, что переживает общество, разрушения социальных связей, значимость обретает отдельная личность: как в романе и рассказах К.Ф. Жакова, так и в современной комической прозе звучит голос, тяготеющий к осмыслению личного опыта, индивидуальной судьбы (мини-

^{9*} Подробнее об этом: (Кузнецова, 1991, С. 23-32; Кузнецова, 1996, С. 139-143)

туры И. Белых, А. Ульянова, В. Лодыгина, А. Попова). Потребность в переосмыслении опыта прошлого связана и с необходимостью исповедаться, снять с души тень порой несуществующей вины. Исповедальное начало, разрушающее течение событийной канвы романа Жакова, звучит и в малой прозе И. Белых, А. Ульянова, и в автобиографических произведениях А. Некрасова. Думается, повесть А. Лужикова «Измём синва», столь ярко запечатлевшая потерявшую целостность картину современного мира, также содержит стремление исповедаться, выяснить, насколько ответственен каждый. На изломе истории проза размышляет о возможностях личности.

Так же, как когда-то его великий соотечественник, наш современник – россиянин рубежа веков, ощущает острую необходимость в осмыслении духовного опыта, самопознании. Стремление к самопознанию, связанное с процессами переосмысления, характерными для порубежной эпохи, нашло в романе К. Жакова формы болезненной рефлексии, интроспекции, борения противоречивых мыслей и чувств. Монолог автобиографического героя произведений А. Некрасова также насыщен тяготением к познанию основ, на которых зиждется и формируется характер: автобиографическая канва сюжета обнажает стремление автора понять самого себя. Герой малой прозы А. Полугрудова (рассказы «Медводдза лым», «Ру», «Вёт», «Ми», «Йёюк») постижение причин вечной внутренней дисгармонии которым порой камуфлирует и ирония, также во многом близок погружённому в горестные размышления герою автобиографического романа Жакова: чувства неприкаянности, некоей неустроенности порождены противоречиями драматичной эпохи порубежья. Терзающий автобиографического героя романа Жакова вопрос: прав ли он был, когда в тяге к знаниям, образованию, культуре оставил родную землю и изменил родовому ремеслу своих предков, занимает и современных прозаиков. «Я всю жизнь между молотом и наковальней...», – с горечью признаёт автобиографический герой романа Жакова. С одной стороны – тяга к культуре, что заставила пятнадцатилетнего героя пешком уйти из родной деревни и исколесить всю страну, с другой – её неприятие, запечатлённое в признании зрелого писателя: «...чтобы яды культуры не отравили моей души...». «...Отошёл я от берегов первобытной жизни и не дошёл до ворот истинной культуры. Всю жизнь плыву посредине», – размышляет он. Приглушённое, но глубокое чувство тоски по оставленной когда-то родной деревне, сомнения в справедливости принятого решения, желание окунуться в сладостные воспоминания о детстве вдох-

новляют и перо И. Белых^{10*} (миниатюры «Овлісны тані востер йёз»; «Ас муысь, ас грездысь он ум»; «Важыс уськөдчылö вөтөн» и др.), А. Ульянова (миниатюры «Изья чой – менам дой»; «Иван лун бөрын»; «Сьёлөмөй бөрдö и сьылö»). Если в картинах изобразительного характера, принадлежащих Ульянову, терзания, чувство грусти не находят чёткости в словесном выражении, в миниатюрах И. Белых звучит эмоциональный монолог автора, обнажающий саднящую душу боль: «Карад олігөн пыр ёнджыка йиджтысьö юр вежөрö мөвп, быттьö мыйкö зэв ыджыдтор вошті аслам олөмысь. Öд чужлі-быдмылі ме войыввса вөр-ва пөвстын. Тайö вөр-ваыс сетіс меным тшөтш асьыс вын-эбөссö, велөдіс. Мый колö донъявны, пыдди пуктыны да мыйысь öтдортчыны. А ме сійöс быттьö сэсса эновті. Сетчи мөд олан туйö. Но ёна-ö лөсялö меным вылысь, öнөдз сьөкыд шуны. И пыр ёнджыка куті кывны, быттьö сьёлөмөн мудзны заводиті уна сикас, уна рöма карса шумысь, помтöг котралөм-пессьöмысь, коді кутшөмакө личкө ме вылö, зільö шөри песовтны ас көсйöм сёртыыс. А ме ог көсйы сетчыны сылы. Тайö шумыслы, колана и ковтөм пессьöм – вийсьöмыслы. Öд песся быттьö и водзö олысь йөзыслы пөльза вылö. Но бара жö, ыджыд-ö лоас пөльзаыс, абу кокни висьтавны. И таысь бара жö абу лөсьыд сьёлөм вылын. Эг-ö весь ов. Эг-ö төв йыв лэдз асьсым олөмөс. Сідз, мый сэсса и казтыштны лоас немтор (Живя в городе, всё сильнее укореняется в сознание мысль о том, что нечто очень значительное в своей жизни потерял. Ведь родился и вырос я среди северных лесов и рек. И эта природа дала мне свою силу – энергию, научила тому, что надо ценить, уважать и чего сторониться. А я её затем словно покинул, оставил. Пошёл другой жизненной дорогой. Но до сих пор затрудняюсь ответить, подходит ли мне новое. И всё сильнее стал ощущать, будто сердцем стал уставать от разных, многоцветных городских шумов, бесконечно-го бега-напряжения, что каким-то образом давит на меня, старается согнуть меня по своему желанию. А я не хочу поддаваться ему. Этому шуму, нужному и ненужному напряжению. Ведь стараюсь вроде на пользу людям, будущему. Но опять же, непросто определить, велика ли будет польза. И от этого тоже нехорошо на сердце. Не зря ли я прожил свою жизнь. Не пустил ли я по ветру свою жизнь. Так, что потом и вспомнить будет нечего.) (Миниатюра «Гажтөмтча тайö чөвлунсьыс»). Признание автобиографического героя романа Жакова в том, что его « ... крестьянская душа не может превратиться в интеллигентскую», достаточно выразительно передает и ощущения современных коми прозаиков. Драма, которую переживает автобиографический

герой Каллистрата Жакова, выражает непростой, полный открытий и трагических разочарований, процесс ломки крестьянского мировоззрения под воздействием цивилизации и культуры; видимо, это глубинное свойство художественного сознания народа живо и сейчас.

Очень непростые отношения героя с миром в драматичный период переосмысления порой находят схожие формы выражения (отметим, весьма неровные, когда герой или возвышенно воспекает прошлое, или не принимает настоящее). Думается, следует указать и на конкретные художественные формы, в коих находит выражение близость. Так, герой в период кардинальных социально-политических изменений, которые переживает общество, особенно остро ощущает одиночество, дисгармонию в связях с миром и испытывает необходимость в признании живительной силы, что излучает малая родина, родные места, где прошли детские годы. Сюжетная канва, представляющая путешествие по родным местам, предпринятое после долгих лет разлуки героем романа И. Торопова «Вошөм гортö мунан туйыс» напоминает описание Жаковым родных мест, деревень, встреч с давними знакомыми, от которых он был оторван многие годы (рассказы «Придаш» (1907), «Ипатьдор» (1905), «Эжол» (1905) и др.) (в данном случае сюжет, включающий факты личной жизни и повороты судьбы известного писателя, наполняется глубинным смыслом и получает особое значение, красноречиво выражая ощущения, формируемые драматичной эпохой порубежья). «Эжол! Эжол!

Может быть, у тебя найду я потерянную юность?

Да, в Эжолé найду я утраченный покой души!» – восклицает герой рассказа Жакова «Эжол». «У самого дремучего леса, на высокой горе деревенька! Но где же большой камень, который лежал в начале деревни? Я помню его с детства ... Вот и камень, только разбился он на четыре части. Вот дом Порсьюрова, вон избушка солдата Егора у старого камня, разбитого временем», – ведёт повествование герой. Художественная ткань романа И. Торопова также насыщена чувствами, глубокими переживаниями: «Хохол Йёра Саш, коссö личөдігмоз, веськөдчис, видзөдліс гөгөр и нимкодьысла ымөстіс и окөстіс. Син водзас вощысьыс ывла пастасьыс да мичлунсьыс! Öтарын и мөдарын гөгрөса кыпөдчалісны – чурвидзисны джуджыд веж мылькьяс, вөйөм – сьөдасьөм керкаяс, койт вылын тарьяс моз, сэні мыгөрасисны, а мылькьясыс торьявлісны öта – мөдсьыныс паськыд веж лайковьясөн. А горулын сөстөма – лөня визувтіс, яра лөсталіс лыбөмнин шонді водзын Сыктыв ю – дона – муса Сык-

тыл! – и кӧнкӧ на и ылын, ӧтилаын и мӧдлаын, веж вӧръяс – видзьяс пӧвстын, сӧйӧ жӧ дзирдышталӧс, ӧд быд ногыс кытшлалӧ да гӧгралӧ сӧйӧ танӧ, и мӧдлапӧвса помтӧм парма, кытчӧдз синмыд судзӧ, синтӧ пӧртана лӧзалис да вералис да быттӧ вочасӧн вывлань жӧ кыпӧдчис» (Хохол Йӧра Саш, расправляя поясницу, выпрямился, посмотрел вокруг и от радости застонал и заохал. От раскрывшейся пред глазами широты и красоты! С той и другой стороны округло поднимались – выступали высокие зелёные холмы, осевшие в землю, почерневшие дома, словно тетерева на току там вырисовывались, а холмы отделялись один от другого широкими зелёными ложбинами. А в подгории чисто – спокойно протекала, ярко сверкала пред поднявшимся уже солнцем река Сысола – дорогая, милая сердцу Сысола, и где –то и далеко и здесь, и там, между зелёными лесами – полями она же блестела, ведь по-разному она кружила – обходила здесь, и на том берегу реки бесконечная тайга, откуда глаза достают, синела, завораживала глаза, и зыбилась и словно постепенно тоже вверх поднималась).

Неразрешимые противоречия порубежной эпохи, вызывающие ощущение катастрофичности, вырабатывают особое отношение к прошлому – не только к оставленной в далёкой юности деревне, но и к истории народа. Во многом созвучно жаковскому романтическому, возвышенно-приподнятое видение истории народа современной коми прозой (роман Г. Юшкова «Бива», повесть В.Тимина «Эжва Перымса зонка» (следует отметить, современные прозаики, познавшие опыт разочарований и потерь, что принёс России XX век, всё же не в состоянии выработать аналитический взгляд на историю народа). Думается, природа национального субстрата, во многом определяющего сознание современника, своими корнями уходит и в творчество Жакова, она во многом связана с его идеями. «Национальные государства поглощаются ненасытным интернационалом. Так опустошаются земля и душа человека», – писал он (Жаков, 1926, С.97). И к этим категоричным утверждениям исходит мысль о самобытности культуры коми, о национальной государственности, обеспечивающей гармоничное развитие народа, принимающей концептуальный характер в современной коми прозе; так же, как и раздумья Жакова, поиски современных коми прозаиков одухотворяет незамутнённая вера в чистоту нравственных идеалов народа, формирующих его духовный опыт. Возвышенный пафос, освещающий борьбу древних пермян за свою независимость, когда, как пишет автор, «крепкие вожди Перми положили свои головы за страну Коми» в рассказе Жакова «Царь Кор» (1911), нашёл органичное развитие в повести В.Тимина

«Эжва Перымса зонка», освещающей драматичный период присоединения Коми края к Русскому государству. Поэтические строки Жакова:

Раздавались песнопенья

О минувшей славе Коми;

О делах великих, страшных,

Для потомков непонятных,

– завершающие повествование, вполне могли бы послужить эпиграфом к произведению В.Тимина. В.Тимин словно продолжает возвышенные строки Жакова: как и Биармия Жакова, избражённое им царство древних зырян – мир добра, справедливости и благополучия.

Свойственный Жакову возвышенный пафос живописания реанимируют современные коми писатели. Поэтичные, красочные эпитеты, характеризующие героев «Биармии» и играющую особую художественную роль в создании картины мира, словно находят своё продолжение в романе Г.Юшкова «Бива».

В этой книге заповедной

Было сказано давно уж:

Яур, князь рыжебородый,

Тот хозяин синей Эжвы,

Сысолы той красногорной,

Будет мужем он когда-то

Биармии девы чудной –

Райды белой, синеглазой, – ведёт повествование автор поэмы. “Еджыд и, ыджыд и, вежора и (и белый, и высокого роста, и толковый)”, — славит главного героя романа Бияра один из хантов (семантика ритма, образуемого при перечислении определений, соединяемых повторяющимся союзом, имеющим и усилительное значение, также способствует тому, чтобы превознести героя).

Жаковский пафос переплавляется и в сферу авторского отношения повести В.Тимина «Эжва Перымса зонка»: бесконечное любование автором родиной, традициями, обычаями коми, трогательное, любовное, очень личностное к ним отношение – также одна из форм их возвеличения, и в этом, несомненно, влияние традиций Жакова.^{11*}

Принципы, на которых строится художественный мир романа Г. Юшкова «Бива», во многом родственны концепции Жакова, нашедшей воплощение и в его поэме «Биармия». Как и великий Жаков, Юшков создал в своем произведении возвышенный образ народа. И в романе Юшкова, и в поэме Жакова властно заявлено очень личное отношение. Возвышенный, оваянный романтическим пафосом образ коми, основанный на акцентации исключительно

^{11*} Подробнее о художественных особенностях поэмы Жакова: (Демин, 1991. – С.35 – 42; Кузнецова, 2013, С.3-6.).

положительных аспектов и портретов, и характеров героев, проявляет ярко выраженное субъективное отношение авторов: получившие актуальность в годы «перестройки» национально – возрожденческие идеи сродни жгучему желанию великого Жакова, на долгие годы оторванного от родины, родного народа, сослужить ему службу. «Увы! Увы! Мне не суждено было быть священником среди народа моего, как не удалось мне быть и учителем народным, ни писарем волостным! Невидимое средостение отделяло меня от народа», – горестно отмечает автобиографический герой романа К.Ф. Жакова. Смятенное сердце Жакова, который, оставив родину в поисках знаний, чувствовал настоятельную потребность вернуть своему народу накопленное духовное богатство, сослужить ему службу, они точили постоянно; в творчестве Юшкова эти чувства приняли наиболее выразительную форму в данной социально-культурной ситуации. То обстоятельство, что в осмыслении истории коми, его судьбы Жаков обращается к легендарной Биармии, а Юшков – к чуди – фольклорному образу предков-язычников, сообщает художественному решению романтический пафос.^{12*}

Дисгармония в отношениях с миром, когда современник создаёт возвышенный образ прошлого, находит выражение и в ритмической организации текста; ритмизация прозы, связанная с особенностями интонации, также содействует созданию романтически осенённого образа народа. Так, ритмизован один из диалогов Пама^{13**} и Бияра в романе Г. Юшкова «Бива»: « — Эн лӧгав! — сувтӧс Бияр дӧнӧ да шуис Пама.

— Ог, Вежа Айка!

— А ен югыдсӧ миянлысь некод на оз мырдды!

— Оз!

И востымасьны и кутам Коми му весьтас!

— Кутам!

(Не гневайся! – встал рядом с Бияром и произнес Пама.

— Нет, Святой Отец!

— А белый свет у нас никто не отнимет!

— Нет!

— И светиться, и полахать будем над Коми землей!

— Будем!))»

Ритм, формируемый волнами повторов, придаёт диалогу лирическую тональность и привносит возвышенный пафос. «Мойдын кодъ мича да эскана

¹² * Об этом подробнее: (Кузнецова, 2007, С. 411- 418).

¹³ ** «Под именем Пама в «Житии Св. Стефана ...», древнерусском памятнике агиографической литературы, выступает главный противник Стефана Пермского в его миссионерской деятельности в Коми крае верховный жрец древних пермлян»: (Конаков, 1999, С.280).

артмис Памаыскӧд сёрниыс (Словно в сказке, красивый и впечатляющий, убедительный, получился разговор с Памой)», – характеризует автор ритмизованный диалог, что сложился, словно совместная песня, у Бияра и Памы. Выделенный ритмом диалог наполняется особой семантикой: романтический образ полыхающих зарниц утверждает вечность идей Пама о суверенности коми, их высокий характер. Поэтичный, романтический диалог, ярко символизирующий духовное единение Бияра, главного героя романа, с Памом, безусловно, наделён специфической художественной функцией; ритм, сопряжённый с возвышенной интонацией, придаёт диалогу гимнические черты и подчёркивает его значимость. Фрагменты художественного текста с упорядоченностью ритма сближают роман Юшкова с его поэтическими произведениями.^{14*} Думается, в данном случае имеет место проявление влияния поэтики Жакова на творчество Юшкова: творчество «возвращённого» писателя включено в культурный контекст эпохи. Ю.Б. Орлицким вполне справедливо отмечено, что проза Жакова «... не только сказочно-художественная, но и автобиографичная, и даже научная несёт на себе отпечаток несомненного влияния поэтической, стихотворной традиции» (Орлицкий, 1993, С.33). На наш взгляд, имеет смысл привести и высказывание самого Жакова, освещающее его взгляд на данную проблему: «Ведь главное содержание искусства есть внутренний мир человека в его движении к лучшему будущему ... причём пластические искусства изображают движение его чувств, страстей и инстинктов в связи с изменениями его тела, а тонические (музыка) передают нам язык души без телесной оболочки. Поэзия же захватывает все виды искусства, она – синтез форм творчества» (Жаков, 1912, С.119).

Устойчивый интерес Жакова к этнографии коми и родственных финно-угорских народов^{15**} (Жаков, 1912, С.119), нашедший яркое выражение в его научных трудах и художественном творчестве, также сближает Каллистрата Жакова с поисками современной коми прозы, которая в очень непростой период, переживаемый обществом, обратилась к народной культуре. Так, тяготение писателя к описанию особенностей быта и культуры народа близко к подобным устремлениям Г. Юшкова, В. Тимина и др. В частности, подробное опи-

¹⁴ * Рассматривая подобные явления, исследователи ведут речь о едином идиостиле автора, более того, — об автоинтертекстуальной связи: (Кожевникова, Петрова, Бакина, Виноградова, Фатеева, 1995, С. 206).

¹⁵ ** Известно, что талантливый писатель и философ внёс немалый вклад в изучение материальной и духовной культуры финно-угорских народов. Об этом: (Микшев, 1993, С. 80).

сание коми свадьбы, предпринятое К. Жаковым в очерке «Пильвань» (1906), находит отзвук в повести А. Панюкова «Рекрутё нуёны туй сувтігөн», где автор скрупулезно, с точностью исследователя воссоздаёт свадебный обряд коми.

Романтический вызов повседневности, тяготение к возвышенному, свойственное литературе порубежья, коррелируют и с созданием характеров людей ярких, незаурядных, одарённых. Так, подобные ощущения находят форму выражения в характерах героев поэмы «Биармия», рассказов Жакова («Парма Степан» 1910, «Василий Кудряш», 1910 и др.), в некоторых персонажах, прообразом для создания которых послужили реально существовавшие лица. Так, образ Нялая, при пагубном пристрастии к спиртному обладающего недюжинной физической силой, талантом, по-своему великого в различных проявлениях, основывается на характере дяди К. Жакова, родном брате его матери – Нялае (рассказ «Нялай», 1911). «Пламя – его характер, горячий ураган – жизнь его», – пишет о Нялае автор. Современные коми прозаики также ощущают необходимость в создании ярких, выразительных характеров героев, которые пренебрегают житейской логикой, ориентируются на иные нормы и требования. Как для А. Попова, так и для А. Полугрудова становится притягательным образ Йиркапа (повесть А. Попова «Йиркап», рассказ А. Полугрудова «Йиркап». «А комияс ёні кералёны вёр, и виччысьёны, мый кутшёмкё чакгёд письтас вир, кодї и ликтас налы ас пусё, медым позис вёчны сыысь лямба да мёвпьяс моз лэбавны. Кодлыкё колё медмича нылыс, кодлыкё уман выйя яйыс, а кодї косйё и Йиркапёс венны. (А коми сейчас рубят лес и ждут, что с какой-то щепкой покажется кровь, которая и укажет им на собственное, своё дерево, чтоб можно изготовить из него лампы и летать подобно мыслям. Кому-то нужна самая красивая девушка, кому-то – мясо, чтоб им пресытиться, а кто-то хочет и Йиркапа победить)», – насыщает текст метафорическим значением А. Полугрудов (рассказ «Йиркап»). В образе главного героя рассказа А. Полугрудова «Пакула» также воплощено стремление литературы сложного, кризисного времени видеть незаурядную силу, духовную мощь, которая соседствует с повседневностью, будничностью жизни.

Интерес к необычному, экстраординарному, во многом характеризующий сознание общества кризисного времени порубежья, находит отражение и в событийной сфере, что зачастую приводит к новеллистически напряжённому сюжету. Явления подобной художественной природы, распространённые в малой прозе К. Жакова (произведения «Старик Матвей», 1913, «Из иньвельских былей», 1912 и др.) имеют место и в современной коми прозе (рассказы А. Попова

«Висьтасьём» (Исповедь, 1997), О. Уляшева «Пышьялысь» (Беглый, 2002) и др.). Думается, в художественном мышлении писателей драматичной эпохи порубежья находит выражение пронизательность особого рода, усматривающая в неожиданных метаморфозах горькую правду жизни. Возможно, сама атмосфера эпохи кардинальных перемен обуславливает тяготение авторов к воплощению в сюжете столь характерных для новеллы внезапных, неожиданных изменений, открывающих истину. Симптоматичное значение принимают слова, вынесенные в эпиграф рассказа К. Жакова «Из иньвельских былей»:

Жизнь – тайна,

Человек – загадка.

В «новеллистичном», неожиданном финале выразилась и парадоксальность связей, характеризующая мышление, во многом также сформированное обстоятельствами, когда переосмысление ценностных установок протекает крайне драматично. Совмещение несовместимого, неожиданное сочетание несочетаемого, вызывающее эффект парадокса, выражает и глубокую иронию, определяющую мировоззрение современника. Парадоксальное смещение связей составляет картину мира. Так, в рассказе О. Уляшева «Пышьялысь» вызывающая иронический эффект парадоксальность близка художественному мышлению, свойственному новелле; в парадоксальности находит выражение взгляд автора на мир, исполненный глубокой, грустной иронии, которая порой драматична. Разгневанный тем, что ограблена его охотничья избушка и будучи уверен в том, что это совершил скрывающийся от правосудия Вирсов, главный герой рассказа Миколай, связав сонного беглеца, приводит его к сотрудникам милиции. Неожиданно он узнает, что погром в избушке учинен стражами порядка, что искали Вирсова: «...концентрированность, примат действия и важность композиционного «поворота» способствуют появлению в рамках новеллы элементов драматизма» (Мелетинский, 1990, С.5). «Парадокс ... в своей основе оказывается диалогичным», – утверждают исследователи (Сибирцева, 2009, С.40). В данном случае диалог развертывается внутри текста – между ожиданиями героя и развитием событий. В динамичности и драматизме сюжета нашла воплощение вечная тяга к метаморфозам, что составляет суть жизни. Очень непросто постигает её горький вкус герой рассказа: «Гётыр видзёдліс мужикыслён син гёгөрся лёзьяс вылас, но нинём эз юась: письтас коркё да, ачыс висьтасяс. Комын во ётлаад олїгөн сёрни оз ков, сїдз гёгөрвоан. Вась Миколай матё кызь вит во прёмисловикён. Вёрад быдторйис

овлѳ. Тшѳкыдджыка воыывлѳ мудз да пывсян бѳрын варовмылѳ, небзыывлѳ. Волѳ и скѳрѳн, кор мыйкѳ эз артмывлы. Но татшѳмнас гежѳда Миколайсѳ бабаыс адззывлѳ. (Жена посмотрела на синеву вокруг глаз мужа, но ничего не спросила: прорвѳт когда-нибудь, да сам расскажет. А разговоры и не нужны, всѳ так понятно: тридцать лет вместе. Скоро будет двадцати пять лет, как Вась Миколай промысловик. В лесу всякое случается. Чаше приходил уставший да после бани, помягчев, становился разговорчивым. Приходил и сердитым, когда что-то не получалось. Но таким жена редко видывала Миколая.)» «В новелле обычно существование двух планов, связанных именно с двумя взглядами на мир, причем поворотный пункт в новелле состоит в открытии утверждаемой фактической реальности, до того как таковой скрытой», – утверждают исследователи (Михайлов, 2003. С. 245). Словно заимствованные из жизни, неожиданные, динамичные движения сюжета рассказа принимают ироническое значение: сама жизнь, обнаружив тайный смысл, смеется над героем (даѳт о себе знать формирующийся в современной прозе, что освобождается от апокалиптических ощущений, взгляд на жизнь как на противоречивый, неровный процесс). И горестным эхом звучит в финале рассказа смех героя: «А Вирсов пукалѳ нар вылын, пыдѳ пельѳсын да вак-вакѳн сералѳ. А мый ещѳ колис сылы вѳчны? (А Вирсов сидел на нарах, в углу и хохотал. А что оставалось ему делать?)».

Насыщенность необычными событиями сопряжена с психологической напряжѳнностью и в рассказе Жакова «Старик Матвей». Ошеломляющее признание героя рассказа открывает жизнь с неожиданной стороны; в серьёзных испытаниях находит разрешение вечное противоречие между тяготением к греховному и естественным его неприятием. «И всѳ так жили: и плачем, и тоскуем, а отстать не можем», – безрадостно произносит Матвей. Инцессуальная связь, став тайной, истязющей героев рассказа, оставила трагические меты на их судьбах: придавленная тяжестью греха, чахнет и преждевременно умирает Елена, проживая в одиночестве в далѳкой лесной избушке, глубоко переживает моральное падение Матвей, ждѳт, по его словам, смерти.^{16*} Исповедь героини

^{16*} Думается, имеет смысл привести замечание В.П. Налимова о том, что «у зырян имелась (и частично продолжает существовать) своя собственная сексуальная мораль, которая в значительной степени регулирует и раньше регулировала взаимоотношения полов» (Налимов, 1991, С. 5).

ни рассказа А. Попова «Висьтасьѳм», формирующая близкий к новеллистическому, напряжѳнный, сконцентрированный на исключительном, сюжет, также обнажает борение сложных чувств и бурю негативных эмоций. «Эскѳ кѳтъ энѳй, но менѳ тайѳ рытнас пыр кынтѳ йирмѳгысла» (Верьте хоть нет, но меня в этот вечер бил озноб), – делится своими ощущениями внучка, выслушав предсмертное признание бабушки, героини рассказа. Весьма своеобразное явление, имевшее место в жизни героини, окружено тайной; оставшись неразгаданным, до конца не понятным, оно вызывает сомнения, вопросы, раздумья. «Со и майшася на ѳнѳдз: кодкѳд ме война бѳрас збыльысьсѳ олѳ? Василейкѳд али бара Ѳлексейкѳд? (До сих пор мучают меня сомнения: с кем я на самом деле жила после войны? С Василием или снова с Алексеем?)» – признается она внучке, не в силах понять, вернулся с фронта живым еѳ муж или назвавшийся именем еѳ мужа его брат-близнец. Напряжѳнность сюжета достигается и тем, что мотив нераскрытой тайны сопряжѳн с цепью смертей: смерть на фронте одного из братьев-близнецов влечѳт за собой тайну, умирая, мать близнецов приподнимает завесу над неизвестным, кончина одного из близнецов усугубляет атмосферу недосказанности, героиня рассказа в необъяснимом предчувствии смерти открывает некоторые обстоятельства, проливая свет на тайну. Особую роль в развитии сюжета, нагнетая состояние беспокойного ожидания, играет эпизод, когда в жаркий летний день молнией срезало верхушку одной из берѳз, посаженных в честь рождения близнецов-братьев. Автору удалось воссоздать особую атмосферу, подчѳркивающую необычность происходящих событий. Этому способствует загадочная, не поддающаяся объяснению связь героев с природой, активное обращение автора к различного рода намѳкам, недосказанности. «Кутшѳм, Нина, вѳрыс талун. Регыд, тыдалѳ, ме кула (Какой, Нина, лес сегодня. Скоро, видно, я умру), – незадолго до смерти посетили особые ощущения героиню рассказа.

Думается, концептуально важная мысль о значимости природных факторов, обуславливающих нравственный опыт и судьбу личности, к которой пришла современная коми проза в глубоких, драматичных раздумьях^{17*}, также близка устремлениям Жакова, оформившимся в очень непростой период. Мироотношение К.Ф. Жакова определяется тягой к естественно-природному. Его мировидение зиждется на признании вечных основ жизни, естественного развития еѳ закономерностей. «Жизнь будет упрощена, она приблизится к природе, а система наук превратится

^{17*} Об этом подробнее: (Кузнецова Т.Л., 2011, С. 577-580).

в мудрый обычай, в мудрую мифологию ... », – утверждал великий писатель. Для Жакова представляется естественным единство человека и природы. Всё надприродное воспринимается им как второстепенное, суетное, и он выключает себя из этой системы, открыв законы высшие. «Больше скромности и больше дела, больше справедливости, трудолюбия, беспорочности, меньше мешанства, расчёта, мелкой выгоды, побольше душевного величия». В этих словах, звучащих тривиально-назидательно, внешний и кажущийся простым итог мучительных, долгих поисков (следует отметить, наблюдается близость признания автобиографического героя романа К. Жакова с раздумьями героя повести А. Некрасова «Как стать великим», итожащими его очень непростой жизненный опыт: «Ты никогда не должен забывать, что ты – царь природы. Царь во всём. С тебя должны брать пример.

А царём ты будешь в том случае, если: будешь честным, трудолюбивым, умным, физически здоровым, не падким на соблазны, с душой большой, как море; если сможешь найти настоящую любовь, не будешь рабом денег, свысока будешь смотреть на всех политиканов, легко и с мужеством переносить болезни и травмы, не будешь бояться смерти, злоупотреблять алкоголем и табаком и будешь жить с чистой совестью, всегда внимательный к обездоленным).

И всё же, пожалуй, основной фактор, который роднит творчество К. Жакова с коми прозой конца XX – начала XXI веков, связан с тем обстоятельством, что в драматичный период глубокого переосмысления, переоценки основных жизненных ценностей, преобладания эсхатологических взглядов писатели задают вопрос о самодостаточности личности (киноповесть Ю. Екишева «Рёдвуж андел», повесть Е. Рочева «Кузь вёт» и др.). Их искания согреты верой в человека, в его неиссякаемую духовную мощь: очень непростые отношения героя с миром открывают глубины сознания, под сенью апокалипсиса обретающего цельность. Над обломками разрушившегося мира возникает образ человека, сильного в живительных связях с жизнью: очертания картины мира восстанавливаются. Роман Жакова не замыкается на личных воспоминаниях, ориентируясь на решение более глубоких и общезначимых проблем: автобиографический материал насыщается аналитическими размышлениями о возможностях личности. Как и великий Жаков, современные прозаики творят в период, когда каждому дано ощутить поступь истории, постичь величие времени, познать слабость, силу и возможности лич-

ности. Так же, как и в произведениях Каллистрата Жакова, в современной коми прозе звучит голос человека, в сложный период грандиозных перемен в полной мере познавшего ужас одиночества, горечь разочарований и при засильи апокалиптических настроений нашедшего мужество, чтоб придти к утверждению неисчерпаемости собственной силы, красоты и гармонии сущего^{18*}. Так, героиня рассказа Н. Куратовой «Шондiыс ломалö на» в горестных раздумьях о времени, о судьбе заключает: «Мый нö водзö вылö виччысьны? Бурсö али лёксö? Век тай бур вылö надейтчам. Со и олам, норасям да кевмам, виччысям да эскам. ... Вежань тай шуö: тшына керкаын моз пö оламö. Виччысям, кор тшыныс разалас да югыд лоö. Шондi – матушкаыс öд ломалö на» (Что ждать в будущем? Хорошее или плохое? Всегда ведь на хорошее надемся. Вот и живём, жалуемся и молимся, ждём и верим ... Крёстная говорит: словно в дымном доме живём. Ждём, когда дым рассеется и будет светло. Солнце – матушка ещё сверкает). «Величие характера состоит не только в том, чтобы победить, но также и в том, чтобы не быть побеждённым», – пишет К.Ф. Жаков в автобиографическом произведении, и в немногословном признании, выражающем ключевую мысль романа, скрыты как его мировоззренческие установки, так и воззрения современных коми писателей.

Итак, в сложный период, когда общество решительно разрушает связи с советским прошлым, бывшее в забвении творческое наследие Каллистрата Жакова становится духовно близкой средой, что питает традиции культуры и во многом определяет своеобразие художественного осмысления драматичного времени современной коми прозой. Как в творчестве известного писателя и философа, так и в коми прозе грани тысячелетий нашёл воплощение дух эпохи порубежья, когда художнику весьма непросто воссоздать реальную картину мира: эсхатологические ощущения соединяются со стремлением переосмыслить прошлое, выразить возвышенно-романтическое видение истории народа. В отношениях героя с миром открывается духовное состояние эпохи, что составляет особую художественную сферу и характеризует сознание общества непростого периода порубежья. Время обретений, время потерь – период поисков, когда неузнаваемо осложнились отношения современника с миром, запечатлелось и в творчестве коми писателя, получившего известность в России начала XX века, и в коми прозе стыка XX и XXI веков. Сложный период по-

^{18*} Об этом подробнее: (Кузнецова, 2008. С. 36-37).

рубежья, обнаживший многие глубинные аспекты жизни, насытил творения К. Жакова и произведения современных коми писателей силой обобщающей мысли. Родство типологического характера органично порождает и связи реминисцентные. Близость с бесценным художественным опытом великого Жакова позволяет утвердиться в мысли о том, что коми проза конца XX – начала XXI веков в непростых художественных поисках переживает вечный путь к истине.

ЛИТЕРАТУРА:

Басинский П.В., Федякин С.Р. 2000. Русская литература конца XIX – XX века и первой эмиграции. – М.: Издат -ий центр «Академия». – С. 10-11.

Безносиков Я.Н. 1968. Культурная революция в Коми АССР. – М.: Наука. – 295 с.

Горький и Леонид Андреев. 1965. Неизданная переписка. – Литературное наследство. – М.: Наука. – Т.72. – 630 с.

Демин В.Н. 1991. Поэзия К.Ф. Жакова // КНЦ УрО Серия препринтов «Научные доклады. Творчество К.Ф.Жакова, Вып. 269, Сыктывкар. – С. 35 – 42.

Жаков К.Ф. 1993. Биармия: Коми литературный эпос / Сост., предисл., комментарии А.К. Микушева. Перевод на коми М.В. Елькина. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во. – 312 с.

Жаков К.Ф. 1929. Лимитизм. Единство наук, философий, религий. – Рига. – 226 с.

Жаков К.Ф. 1912. Основы эволюционной теории познания (Лимитизм). – СПб. – 176 с.

Жаков К.Ф. 1990. Под шум северного ветра. Рассказы, очерки, сказки и предания. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во. – 464 с.

Жаков К.Ф. 1996. Сквозь строй жизни. Роман. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во. – 384 с.

Жеребцов И.Л. 1988. Каллистрат Жаков, «зырянский Фауст» // Молодёжь Севера. – 27 марта. – с.2-3.

Зюев Н.Ф. 2000. Философия любви Питирима Сорокина. – Сыктывкар: Эскём. – 158 с.

Зюев Н.Ф. 2005. Философия Питирима Сорокина. – Сыктывкар: Эскём. – 320 с.

Канев С. 1990. Каллистрат Жаков: жизнь и судьба. – Сыктывкар: Изд-во Коми обкома КПСС. – 19 с.

Кожевникова Н.А., Петрова З.Ю., Бакина М.А., Виноградова В.Н., Фатеева Н.А. 1995. Очерки истории языка русской поэзии XX века. Образные средства поэтического языка и их трансформация. – М.: Наука. – 263 с.

Кузнецова Т.Л. 2008. Коми повесть конца XX – начала XXI в.: опыт художественных поисков. – 44 с. (Научные доклады / Коми научный центр УрО РАН; Вып. 502. Сыктывкар).

Кузнецова Т.Л. 1996. «Из первобытной жизни к царству идей Платона» // Север. – №8-9. – С.139-143.

Кузнецова Т.Л. 1991. Автобиографический роман «Сквозь строй жизни» // КНЦ УрО Серия препринтов

«Научные доклады. Творчество К.Ф. Жакова, Вып.269, Сыктывкар. – С.23-32

Кузнецова Т.Л. 2011. Коми литература вт. пол. XX века – начала XXI в. // История Коми с древнейших времён до конца XX века. – Сыктывкар: ООО Анбур. – Т.2. – С.577-580

Кузнецова Т.Л. 2013. Поэма Севера // Жаков К.Ф. Биармия. – Сыктывкар: Союз писателей Республики Коми. – С.3-6.

Кузнецова Т.Л. 2007. Современный коми роман: противоречия времени // Литература Урала: история и современность: Материалы III Всерос. науч. конф. «Литература Урала: автор как творческая индивидуальность (национальный и региональные аспекты), Екатеринбург, 11-13 окт. 2007 г. – Екатеринбург: УрО РАН; ИД «Союз писателей». – Вып. 3. – Т.2. – С.411-418.

Латышева В.А. 1988. К. Жаков да политссылнойяс? // Югыд туй. – 27 февраля. – С.2-3.

Лисовская Г.К. 2004. Коми рассказ 90-х гг. XX в. // Современная коми литература: проблематика, герой, стиль. – Сыктывкар. – С.21-32 (Тр. Ин-та языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН; Вып. 64).

Лисовская Г.К. Новеллистика К.Ф. Жакова // К.Ф. Жаков. 1993. Проблемы творчества. – Сыктывкар. – С. 57-64 (Труды Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН; Вып. 55).

Лыткина Л.В. 1997. Современная коми – зырянская проза // Чужан кыв. – №1. – С.3-5.

Мелетинский Е.М. 1990. Историческая поэтика новеллы. – М.: Наука. – 376 с.

Минералова И.Г. 2004. Русская литература серебряного века. Поэтика символизма: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука. – 269 с.

Налимов В.П. 1991. К вопросу о первоначальных отношениях полов у зырян // Семья и социальная организация финно-угорских народов. – Сыктывкар. – С.5-23 (Тр. Ин-та языка, литературы и истории Коми научного центра УрО АН СССР; Вып.49).

Орлицкий Ю.Б. 1993. Стихи и проза К.Ф.Жакова в контексте художественных поисков русской культуры начала XX века // К.Ф.Жаков. Проблемы творчества. – Сыктывкар. – С. 28-34 (Труды Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН; Вып. 55).

Петрицкий В. 1988. Зырянский подвижник науки // Красное знамя. – 20 августа. – С.3.

Подоров В.М. 1933. Очерки по истории коми (зырян и пермяков). – Сыктывкар: Коми ГИЗ. Т.2. – 276 с.

Химич В.В. 2005. О художественной системе А.П. Чехова // Русская литература XX века: закономерности исторического развития. Книга 1. Новые художественные стратегии. – Екатеринбург: УрО РАН, УрО РАО. – С.50-70.

Шабунин А. 1988. «Любопытнейшая фигура!...» // Литературная Россия. – 1 июля. – С.24.

Эпштейн М. 2001. Debut de siecle, или От пост – к просто – // Знамя. – №5. – С.178-186.

РАЗДЕЛ 6. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ НАУКАХ И В НАУЧНОЙ ПОЛИТИКЕ (КОНЕЦ XX – НАЧАЛО XXI В.)

Аллахвердян А.Г. (ИИЕТ РАН)

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВЕТСКОЙ НАУКИ В РОССИЙСКУЮ: ЭВОЛЮЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАУЧНЫХ КАДРОВ

Аннотация. Численность научных кадров – один из важнейших показателей, характеризующих развитие не только научной сферы, но и экономики страны в целом. В статье анализируется показатель численности научных кадров в Советском союзе и постсоветской России в сравнительно-исторической динамике.

Ключевые слова: наука, научные кадры, научная политика, причины роста числа ученых в СССР, этапы кадрового спада в России.

Результативность научной деятельности обусловлена, помимо логико-когнитивных, также совокупностью социально-организационных (инфраструктурных) факторов, главными из которых являются научные кадры, научная аппаратура, научная информация, финансирование науки. От каждого из этих факторов в той или иной степени зависит эффективность труда отдельного ученого, конкретной научно-исследовательской организации, научного сообщества страны в целом. Однако в системе этих факторов решающее значение принадлежит научным кадрам. *Научные кадры*, согласно определению, – это «профессионально подготовленные работники, занимающие определенное место в системе общественного разделения научного труда, непосредственно участвующие в производстве научных знаний и в подготовке научных результатов для практического использования. Научные работники представляют особую социально-профессиональную общность. В нее включается целая группа профессий и родов занятий, классифицируемых по предмету исследования, роду деятельности в соответствии с разделением труда и специализацией в науке» [1, с. 97]. Численность научных кадров – один из важнейших показателей, характеризующий не только развитие научной сферы страны, но и всей экономики в целом [2, с. 39].

Динамика роста численности кадров советской науки

В послевоенном СССР активный рост научных кадров начался с 1950-х годов. Так, численность

занятых в учреждениях науки и научного обслуживания за пять лет (1955-1960) увеличилась в 2,5 раза (с 247,6 до 635,7 тыс.) [3, с. 87]. Таких темпов роста численности работников сферы науки в истории отечественной науки не было ни «до» ни «после». Этот рост обеспечивался в немалой степени вследствие массового приема выпускников институтов и аспирантов в НИИ и ВУЗы, привлечения научно-вспомогательного персонала (НВП) в связи с необходимостью реализации двух важнейших государственных мегапроектов («ядерного» и «космического»). В тот исторический период отличительной особенностью послевоенной науки являлся государственный приоритет в ее развитии и, как следствие, последовательный рост численности научных работников в СССР. В самой крупной из советской республик (РСФСР), согласно статистическим данным, за период с 1950 по 1989 год численность собственно научных работников (без НВП) возросла в 9,2 раза. Однако за четыре десятилетия темпы роста численности научных работников менялись существенно: периоды активного роста сменялись периодами его резкого замедления (табл. 1).

Таблица 1. Динамика роста численности научных работников РСФСР за период с 1950 по 1989 гг. (в тыс.)

1950	1952	1954	1956	1958	1959	Средне-годовой рост
111,7	123,0	—	—	194,8	212,7	21%
1960	1962	1964	1966	1968	1969	
242,9	362,5	419,5	488,7	533,9	603,2	24%
1970	1972	1974	1976	1978	1979	
631,1	724,4	804,4	863,4	901,5	918,1	16%
1980	1982	1984	1986	1988	1989	
937,7	975,7	1002,8	1025,1	1032,	1031,7	1%

Как видно из таблицы, темпы роста численности ученых за четыре десятилетия были весьма неравномерными. Если в 1950-е годы темпы сред-

негодового роста числа ученых составили 21%, в 1960-е – 24%, в 1970-е – 16%, то в 1980-е – всего лишь 1 %, т.е. темпы среднегодового роста в 1980-х уменьшились (в сравнении с 1960-и гг.) более чем в 20 раз.

Возникает вопрос: каковы причины резкого спада темпов роста численности ученых в 1980-х годах в сопоставлении с темпами роста трех предыдущих десятилетий (1950 – 1970 гг.)? Ответ на этот вопрос кроется в проводимой государственной научной политике того периода. В середине 1940-х гг. две страны, СССР и США, вышли из войны в состоянии гонки за военно-ядерное превосходство. Его достижение и стремление сохранить на паритетном уровне требовало крупных государственно-финансовых вложений, поддержки новых направлений фундаментальных исследований, формирования мощного военно-научно-промышленного комплекса. «В 1950–1960-е годы, невзирая на предшествующие масштабные бедствия, наша страна успешно включилась в первую волну НТР, что было обеспечено ускоренными вложениями интеллектуально-людских и материально-организационных средств в базовые для того периода научно-технические направления: ядерную энергетику, космическую технику, квантовую электронику. Большой оборонный потенциал этих направлений в условиях военной конфронтации обеспечил им приоритетный режим развития, в том числе формирование новых направлений фундаментальных исследований и своевременное потребление их результатов. Тогда для советской фундаментальной науки счастливо совпали во времени три фактора – начало первой волны НТР, государственные приоритеты научно-технического развития и большие ресурсные возможности экстенсивного этапа развития народного хозяйства. Именно науки, связанные с оборонным комплексом, прежде всего физика, дали обществу обильный урожай фундаментальных результатов за счет формирования и ускоренной разработки новых направлений исследований» [4, с. 44].

Общественный интерес к науке и престижность профессии ученого в 1950–1960-х годах были на небывало высоком уровне, труд ученых оплачивался сравнительно высоко. Научная интеллигенция «стала одной из наиболее обеспеченных социально-профессиональных групп советского общества» [5, с. 20-27]. Об этом свидетельствует сравнительная оплата труда представителей разных категорий интеллигенции. К примеру, зарплата доктора наук почти в 5 раз превышала зарплату врача терапевта (табл. 2).

Таблица 2. Должностные оклады представителей разных категорий советской интеллигенции в 1950-х гг. (в руб.)

Старший научный сотрудник АН СССР		Младший научный сотрудник АН СССР		Инженер	Врач-терапевт
Доктор наук	Кандидат наук	Кандидат наук	Ученый без степени	1000-1100	805
4000	3000	2000	1050-1350		

Повышенный интерес общественности к научно-технической деятельности был тесно связан с целенаправленной и широкой пропагандой успехов советской науки, особенно в освоении космоса (запуск первого спутника Земли, первого человека в космос и др.). Однако научно-технологические прорывы давались СССР нелегко, за мощным космическим стартом экономическая система страны поспешила с большим трудом. В ходе борьбы за научно-технический паритет, а тем более превосходство, советская экономика не была готова к длительной конкуренции с экономикой США. Уже «в начале 1960-х годов можно было видеть «усталость» экономической системы, в первую очередь таких ее звеньев, как наукоемкие производства» [3, с. 184]. Занимавшийся подготовкой советских космонавтов Н.П. Каманин в своем дневнике от 9 февраля 1962 года писал: «Надо признать, что уже сейчас мы лишь формально впереди благодаря полетам Гагарина и Титова, а по существу уже отстаем. Соотношение космических пусков – 20 к 120 – не в нашу пользу.

Только начинавшееся в 1960-е гг. отставание от США в части наукоемкого производства касалось не столько военно-космической, сколько гражданской науки. Последняя, в особенности новые научные области, прямо не связанные с военными нуждами, оставалась «золушкой» в научной политике советской партийно-административной номенклатуры. В целом советская наука имела две явно неравнозначные составляющие – оборонную, лучшая часть которой могла рассматриваться по своему уровню как мировой центр, и гражданскую, которая по большинству показателей затрат и результатов была неконкурентоспособна. В ведомственном разрезе к оборонному сектору относились не только НИИ и КБ закрытых министерств, но и большая часть академического сектора, выполнявшая заказы по спецтематике» [6, с. 31].

По мнению академика Юрия Рыжова, гражданская «наука выживала у нас на проценты с бомб и ракет. Если удавалось доказать партий-

ным бонзам, что данное направление нужно для обороны страны, оно выживало. Так вернулись генетика с кибернетикой после разгрома. Но, начиная со второй половины 60-х годов, в Политбюро начало формироваться мнение, что наука свое сделала. Бомба есть, сверхзвуковые самолеты летают, баллистические ракеты достигают сердца Соединенных Штатов, какая еще наука!.. Резко упали деньги на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. А мировое научное приборостроение сделало в мире гигантский скачок именно за последние 30 лет. Множество сложнейших процессов диагностировалось изощренными датчиками, и результаты моментально обрабатывались на машинах. Наши делали то же самое, всячески изошрялись, буквально «на коленке». Я тоже столкнулся с этим еще в 1964-м году, когда на дурной вычислительной машине смоделировал с помощью изощренной программы некий процесс, который на самом деле требовал гораздо большего объема операций, чем могла выполнить эта машина. Одновременно появилась статья американца, который на гораздо более мощной машине без труда вогнал данные, нажал на кнопку и получил то же самое. Сила есть – ума не надо, говорят. Но это плохое и ложное утешение» [7].

В порядке «компенсации» технического отставания в сферу науки вовлекалось – не всегда соотносясь с оптимальными расчетами – все больше людских ресурсов. «В условиях административной системы управления наукой и низкой технической оснащенности быстрый рост кадров стал непременным условием относительно эффективного развития науки. В конце 1950-х – начале 1960-х годов, в период действительно бурного роста численности научных кадров, сформировался стереотип «чем больше, тем лучше». За два десятилетия (1950 – 1970) численность научных работников увеличилась более чем в 5,7 раза.

Однако в последующие годы наблюдалось значительное замедление темпов роста численности ученых, что во многом было связано с «ограничительной» политикой государства. И вот по какой причине. Дело в том, что основная часть конечной продукции науки (образцы новой техники, технологических систем, потребительских товаров) обретает практическую ценность, только будучи освоенной в производстве. Но такое освоение, как показывает мировой опыт, требует во много крат больших затрат, в том числе трудовых, чем само создание образца нововведения. Следовательно, доля занятых научными исследованиями и разработками, в принципе, не

может сколь угодно расти без ущерба для общественной роли науки. Говоря конкретнее, в 60-е годы на фоне быстрого роста научных кадров усилилась и стала далее совершенно нетерпимой диспропорция между масштабами создания научных нововведений и их практического использования производством. За 1966–1970 гг. производством было освоено в 2,5 раза меньше образцов новой промышленной продукции, чем создано за тот же период. Дальнейший столь же быстрый, как прежде, экстенсивный рост кадрового потенциала науки становился неоправданным [8, с. 42]. Иначе говоря, «скорость» освоения советской промышленностью нововведений (или как сейчас бы сказали – инноваций) оказалась значительно ниже темпов и масштабов их создания. Как показывает история отечественной науки, «внедрение результатов научно-исследовательской деятельности в практику не относится к сильным сторонам дореволюционной, советской и постсоветской отечественной науки. В традициях российских ученых занятие «чистой» наукой считалось более престижным, чем решение прикладных задач; амбиции многих российских ученых не простирались дальше того, чтобы оформить свое авторство нового научного знания в форме публикаций и авторских свидетельств. Да и путь от идей до претворения в «материю» был столь долог, тяжел и бюрократизирован, что немногие ученые находили время и силы, чтобы пройти его полностью. Отметим, что термин «внедрение» предполагает сопротивление со стороны той среды, для которой предназначен результат НИОКР» [9, с. 112].

При последующем развитии СССР «социально-экономический потенциал первой волны НТР, начавшийся еще в 60-х гг., оказался к концу 80-х практически исчерпанным. Ее место на исторической арене заняла вторая волна НТР, взлет которой в развитых странах капитализма пришелся на 80-е годы. Базовыми направлениями теперь стали микроэлектроника, информатика, биотехнология, оборонный потенциал которых не был так ярко выражен, как для направлений первой волны. К тому же возможности экстенсивного роста научно-технического потенциала резко сократились, что сузило социальное пространство для обновления научных направлений. Ресурсные ограничения не были компенсированы новыми возможностями социально-экономического механизма развития науки. Ее невостребованность практикой стала важнейшим фактором стабилизации когнитивных и социальных сложившихся структур» [10, с. 44].

Начавшиеся в середине 1980-х гг. перестроечные процессы, распад СССР и первый опыт рыночных преобразований существенно отразились на развитии как отечественной науки в целом, так и ее кадровой составляющей. В 1992 г. российская наука впервые за послевоенную историю очутилась на периферии государственных интересов и перестала рассматриваться властью в качестве приоритетной отрасли деятельности. Это проявилось, в частности, в резком сокращении бюджетного финансирования науки, которая еще годом раньше была на почти полном (95%) государственном «довольствии». Надежды на быстрое действие рыночных механизмов привлечения внебюджетных средств оказались иллюзорными. В результате существенное снижение информационного и технического обеспечения научных исследований, ухудшение материального положения ученых стимулировали интенсивный отток работников из научной сферы.

Однако, объективности ради, необходимо отметить, что рыночная «шокотерапия» начала 1990-х годов лишь ускорила этот процесс, который начался задолго до нее. Если во все послевоенные годы среднегодовая численность научных работников росла, то в 1987 г. она впервые стала падать и к 1992 г. сократилась на 656 тыс. работников [11, с. 29]. 1987 год стал в определенном смысле переломным: с него впервые, за весь послевоенный период, начался отсчет сокращения численности работников научной сферы. Примечательно, что во второй половине 1980-х сокращение численности кадров науки наблюдалось на фоне существенного повышения расходов на науку [12, с. 42] и роста среднемесячной зарплаты ученых. Другими словами, отток кадров не во всех ситуациях находится в прямой зависимости от масштабов ассигнований на науку. Он также связан с комплексом других факторов, обуславливающих уход работников из научной в иные отрасли хозяйственной деятельности (перестроечный период характеризуется специфической кадровой ситуацией, где анализ причин оттока работников требует отдельного рассмотрения).

Кроме того, следует отметить, что рассматриваемый кадровый показатель в последние два перестроечных года существенно превосходил аналогичный показатель в первые два года «рыночной шокотерапии». Об этом свидетельствует сравнительный анализ численности персонала, занятого исследованиями и разработками (ИР) в 1990–1991 гг. и в 1992–1993 гг. (табл. 3).

Таблица 3. Сокращение персонала, занятого ИР за два года до (1990–1991) и после (1992–1993) начала рыночных реформ в России (тыс.).

	Годы	Величина сокращения персонала, занятого исследованиями и разработками
Российская наука в целом	1990–1991	537,8
	1992–1993	362,8

Как видно из таблицы, до начала рыночных преобразований убыль работников из российской науки в целом была в 1.5 раза больше. Таким образом, весьма распространенная точка зрения, согласно которой массовый исход из научной отрасли начался в 1992 г., не имеет оснований. Более того, статистический анализ сокращения научного персонала в рамках четырехлетнего периода (1990–1993 гг.) показывает, что пик приходился как раз на первых два года (1990–1991 гг.), т.е. до начала «рыночной шокотерапии».

Краткий анализ особенностей изменения численности персонала, занятого исследованиями и разработками показывает, что на протяжении 1990-х годов эти изменения, согласно статистическим данным, носили **весьма неравномерный** характер. Так, в начале 1990-х, возник суперактивный отток работников из сферы науки, в середине же 1990-х гг. темпы спада численности персонала существенно сократились, затем спад прекратился совсем и даже наблюдался некоторый мини-рост числа работников, и, наконец, в начале 2000-х начался новый спад численности кадров. Это позволило вычленив 4 различающихся этапа изменения численности персонала, занятого исследованиями и разработками (на начало года) за период с 1990 по 2010 гг.:

- 1) Этап «радикального кадрового спада» (1990–1995)
- 2) Этап «замедления кадрового спада» (1995–1999)
- 3) Этап «стабилизации и мини-роста кадров» (1999–2001)
- 4) Этап «продолжения кадрового спада» (2000–2010).

*Эволюция численности научных кадров за 60 лет
(1950–2010)*

Если для советской науки (1950–1988 гг.) характерной тенденцией являлся неуклонный рост численности ученых, то в последующий период наблюдалась прямо противоположная тенденция – сокращение числа исследователей в 3 раза за

период с 1989 по 2010 гг. [12, с. 28]. Такие темпы сокращения численности научных кадров оказались весьма «чувствительными» для российской науки. Даже если полностью согласиться со сторонниками идеи «кадровой избыточности» советской науки и неизбежностью сокращения кадров в условиях начавшихся рыночных отношений, все же этот процесс оказался слишком радикальным, не имеющим аналогов по темпам и масштабам сокращения, в истории не только российской, но и мировой науки. Наглядное графическое выражение кадровой динамики в период 1950 – 2010 гг. годов нашло отражение на следующем рисунке 1.

Изображенная на рисунке кадровая кривая – наглядное подтверждение радикальной смены государственных приоритетов (от советской к российской науке) в научно-кадровой политике, обернувшейся резким спадом численности российских ученых в постсоветский период. Впечатление, к сожалению, становится особенно удручающим от осознания того факта, что в 1990-х гг. США и другие страны “Большой семерки”, а также страны БРИКС продолжали наращивать численность научных и инженерных кадров в режиме благоприятного финансирования науки, что обеспечило им еще больший научно-технологический и социально-экономический отрыв от России, все еще не пробудившейся от затянувшейся «спячки» – традиционной «сырьевой стратегии» развития.

ЛИТЕРАТУРА

- Кугель С.А., Шелищ П.Б. 1990. Научные кадры // Отдельные отрасли социологического знания (словарь-справочник). – М.
- Шокорева Т.А. 1992. Кадровый потенциал // Наука в СССР: анализ и статистика. – М.
- Безбородов А.Б. 1997. Власть и научно-техническая политика в СССР (сер. 50-х – сер.70-х). – М.
- Составлена по источникам: Народное хозяйство РСФСР (статистические сборники за соответствующие годы).
- Зенина М.Р. 1997. Материальное стимулирование научного труда в СССР (1945-1985) // Вестник Российской академии наук. – Т. 67. № 1.
- Несветайлов Г.А. 1995. Центр-периферийные отношения и трансформация постсоветской науки // Социологические исследования, № 7. – С. 31.
- Интервью с академиком Рыжовым Ю. А. 1999. // Общая газета. № 8.
- Кугель С.А., Шелищ П.Б. 1991. Демографическая структура научных кадров: вчера, сегодня, завтра // Научные кадры СССР: динамика и структура / Под ред. Келле В.Ж., Кугеля С.А. – М.
- Бедный Б.И., Шейнфельд И.В., Балабашев С.С., Козлов Е.В. 2004. Маркетинговая подготовка молодых ученых // Социологические исследования. – №1.
- Несветайлов Г.А. 1990. Больная наука в больном обществе // Социологические исследования. – № 11.
- Рассчитано по источнику: Наука России в цифрах. Крат. стат. сбор. – М., 1994.
- Индикаторы науки. Статистический сборник. – М., 2008.

Комарова Г.А. (ИЭА РАН)

АНТРОПОЛОГИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Постановка проблемы

Западные антропологи уже давно сделали «антропологическую мысль предметом этнографического описания и этнологического понимания» (Aunger 1995; Sangren 2007). Основу их исследовательского подхода составляет конструктивистская идеология, которая последовательно реализуется в наблюдении за тем, как ученые конструируют мир природы, и за тем, как сами исследователи конструируют мир научного сообщества. Такой поворот к двойной рефлексии, по мнению зарубежных ученых, способен постепенно подготовить переход мировой антропологии на новый уровень развития. Подобный подход разрабатывается в их работах с конца 1960-х годов. Происхождение и развитие этого подхода

связано с рядом разных, хотя и близких друг к другу, генеалогических цепочек (подробнее см. Комарова 2011).

Российская социально-культурная антропология в последние 20 лет также все чаще изучает самые различные социальные и культурные группы. И в этой связи, кажется, ей было бы естественно обратить внимание на исследование себя самой - на изучение сообщества ученых, академического сообщества своими собственными методами, тем более что для этнографов/этнологов/антропологов именно антропологическое академическое сообщество, в первую очередь, и должно представлять научный интерес, т.к. генезис данного жанра в антропологии, безусловно, связан с антропологическим знанием. Однако, несмотря на всю естественность такой постанов-

ки вопроса, антропология академической жизни в отечественной науке до сих пор не институционализована.

Конечно же, определенные попытки самоосознания профессии в научном этнографическом сообществе (далее – НЭС) можно обнаружить и в прошлом. В частности, традиционно существовали отдельные научные курсы, помогающие студентам овладеть ремеслом: историография, источниковедение, методика полевой работы и т.п. Но в своем большинстве они подавались как догма в ортодоксальном советском стиле, а не в рефлекторной форме. В результате многим нашим коллегам и по сей день не достает не только двойной рефлексии, но и саморефлексии. И хотя отдельные оптимисты и отмечают определенное «повышение уровня рефлексии научного сообщества», более верным представляется мнение об отсутствии саморефлексии у большинства членов НЭС и о «чрезвычайной неспешности освобождения исследовательского сознания от тоталитарных стереотипов» (АФ 2005). Так, один из участников проекта «Антропология академической жизни» С.Н. Абашин утверждает, что «ученые всегда испытывали потребность размышлять о своей профессии, о себе как исследователях, о своих отношениях с объектами, которые приходится изучать, тем более, если это – люди. Однако эта саморефлексия вытеснялась в сноски, во введения или заключения, пряталась в скобки или же получала права в жанре воспоминаний. В российской науке, которая поднимала «нагора» кубометры «объективного» знания, у саморефлексии не было своего легального статуса, она считалась чем-то субъективным, посторонним, чем-то, что может только помешать познанию, поставить под сомнение «профессиональный суверенитет исследователя». Впрочем, иногда стыдливое отношение к «полно» объяснялось нежеланием выносить наружу, показывать порой очень сомнительную изнанку повседневного исследования, подрывать этим авторитет полученных результатов, закрепленных потом в высоком социальном статусе самих ученых» (Абашин 2010:164).

Сегодня необходим такой вид знания, которое, с одной стороны, имеет статус профессионального дискурса, поскольку производят его профессионалы в процессе своей деятельности, и вместе с тем, это знание о профессии, о реальных практиках ее осуществления; а с другой стороны, оно (это знание) может быть предметом исследования антропологическими методами, т.е. допускает власть интерпретации. Именно это позволит ученому перейти от анализа метода как части индивидуаль-

ной исследовательской практики к видению его в контексте существования «воображаемого сообщества» социальных исследователей; рассматривать исследовательскую практику как коллективный процесс, протекающий среди этнологов (в нашем случае, интервьюеров и их информантов), т.е. как особого рода социальное взаимодействие. К сожалению, в отечественных социогуманитарных науках практически нет подобных исследований. Исключение из этого правила составляют лишь отдельные работы С.Н. Абашина, Г.С. Батыгина, Н.В. Богатырь, Б.В. Дубина, А.Л. Елфимова, Л.А. Козловой, Г.А. Комаровой, А.Г. Левинсона, А.А. Никищенкова, Д.Б. Писаревская, А.А. Пригарина, П.В. Романова, С.И. Рыжаковой, М.М. Соколова, С.В. Соколовского, В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана, Т.Б. Щепанской, А.В. Юревича, О.Н. Яницкого, Е.Р. Ярской-Смирновой и некоторых других ученых, представляющих различные направления социогуманитарного знания. Однако подобные публикации крайне редки и малоизвестны на фоне господствующих научных традиций. Возможность и, что особенно важно, необходимость антропологического взгляда на антропологию как научную дисциплину, социально и культурно обусловленную практику, в отечественной науке практически еще не осознана.

И все же новое для отечественной науки исследовательское направление – антропология академической жизни – в последние годы не только заявило о своем существовании, но и успешно развивается на постсоветском научном пространстве, даже не будучи четко институционально обозначенным. Свое название оно получило не случайно. В научной литературе этнография профессий в узком смысле воспринимается как метод сбора эмпирических данных и жанр описания культур, а в широком смысле – это синоним антропологии, когда исследователь выходит на уровень обобщений и построения теории (Романов, Ярская-Смирнова 2000). Использование термина «антропология» в нашем случае обозначает конкретный методологический подход к исследованию различных аспектов повседневной жизни ученых и научных сообществ и предполагает не только и не столько изучение человека вообще, но изучение конкретного способа существования «академического» человека, человека академического образа жизни, а также соционормативной культуры, совокупности ритуалов и повседневных практик, сформированных сообществом «академических» людей, т.е. академическим сообществом, и используемых ими в сфере академической жизни.

Любому профессиональному сообществу присуща не только своя соционормативная культура, но, более того, собственная профессиональная субкультура, особая субкультура профессии. Вслед за отечественной исследовательницей Т.Б. Щепанской под субкультурой профессии условимся понимать совокупность стереотипов и норм поведения, форм дискурса, сложившихся в профессиональной среде, пронизывающих все аспекты жизни членов профессионального сообщества, функционирующих, в том числе, на уровне повседневности и транслируемых посредством механизмов традиции в рамках повседневных практик, специальных ритуализированных действий, профессионального фольклора. Носителем профессиональной субкультуры является профессиональная среда, профессиональное сообщество (в данном случае – это академическое научное сообщество), «включающее (по умолчанию) обладателей данной профессии, имеющих соответствующее образование, работающих по специальности, а также разделяющих большую часть символическо-нормативного комплекса, в первую очередь, – совокупность культурных кодов, опосредствующих его понимание» (Щепанская 2005:51).

В отличие от многих других профессиональных сообществ, академическое сообщество представляет собою совокупность индивидов или коллективов, связанных обменом результатами научной деятельности по производству, накоплению или использованию научного знания. При этом поддержание устойчивых межличностных или межгрупповых отношений внутри научного сообщества обеспечивается использованием единого профессионального языка и научного аппарата (понятий, инструментов, процедур наблюдения или вывода) и каналов получения или передачи информации (научных изданий, записей на носители, научных симпозиумов, конференций и т.д.), а также достаточно развитыми формами оценки научного труда.

Современное состояние антропологии академической жизни

В 2007 году в рамках VII Конгресса этнографов и антропологов России (далее - КЭАР) впервые в истории научного этнологического сообщества состоялась научная секция «Антропология академической жизни» (организатор и руководитель - Г.А. Комарова). Рабочая схема секции с самого начала целенаправленно строилась с учётом участия в ней ученых, предметом исследований которых является профессиональное сообщество

отечественных этнографов, этнологов, антропологов и представителей других ассоциированных наук различными, прежде всего, этнографическими методами, т.е. ситуация, когда «объект этнографии сам становится её аудиторией» (Geertz 1983). Идея проведения секции ААЖ вызвала большой интерес у представителей различных научных направлений, в чьих докладах обозначился очень широкий круг тем, освещающих прошлое, настоящее и будущее не только российского этнологического сообщества, но и сравнительный анализ деятельности других отечественных и зарубежных академических сообществ. В успешной и плодотворной работе секции приняли участие не только этнографы, этнологи и антропологи, но и историки, филологи, психологи, археологи, востоковеды, философы, музееведы, представители других наук.

На секционных заседаниях прошло обсуждение не только заявленных докладчиками проблем, но обозначились и новые темы и направления ААЖ: роль интеллектуалов и дискурсивных практик в переходных обществах; положение российской научной элиты в социальных науках, культурном производстве и системе распределения власти; философские, мировоззренческие и культурные ценности, доминирующие в академическом сообществе современной России; изменения в дисциплинарной организации и тематическом репертуаре социальных наук после коллапса официального марксизма; включенность НЭС в глобальное виртуальное пространство; проблемы замены статусно-распределительной системы поддержки российского академического сообщества системой грантов и рынком интеллектуальных услуг; соотношение установки на интеграцию с западной интеллектуальной традицией и установки на изоляционизм и конфронтацию с западом; рецепции западных научных идей в современной российской науке; тематическая картография науки; вопросы внутренней экспертизы ученого; нормы научного этоса; социальный тип современного российского ученого-гуманитария: наиболее значимые элементы личностной идентичности; формирование и развитие научных идей и проектов в современном российском социокультурном контексте; провинциализм и защитный изоляционизм в науке; тема репатриации ученого из одной научной сферы в другую и т. д.

В 2008 году по итогам работы саранской секции был выпущен коллективный сборник «Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии» (ААЖ 2008). Первый раздел сборника посвящен проблемати-

ке «Общественные трансформации и «кризис» науки». В нем представлены статьи С.В. Соколовского, Э.Г. Александренкова, В.А. Шнирельмана, Л.Б. Четырковой. Одним из основных лейтмотивов статей этого блока стало мнение о том, что сегодня пришло время для активного и заинтересованного диалога между людьми науки и обществом. По мнению В.А. Шнирельмана, «сегодня становится как никогда ясно, что наука не отделена от общества непроходимой стеной и что научные концепции, затрагивающие актуальные общественные проблемы, тут же становятся частью напряженного социального дискурса, влияющего не только на состояние общественного сознания, но и на политические решения. Это накладывает на ученых особую ответственность, и позиция отстраненности, утверждающая, что ученый якобы не несет ответственности за то или иное использование своих идей, является неприемлемой».

В специальный раздел «Феномен научных экспедиций и неформальный экспедиционный дискурс» выделены статьи Т.Б. Щепанской, А.А. Пригарина, С.И. Рыжаковой, О.С. Свешниковой, А.А. Чубур и Ю.Б. Чубур, посвященные экспедиционному дискурсу, экспедиционной повседневности, этике и прагматике полевой работы, размышлениям над тем, как сохранить баланс между этическими принципами и прагматическими целями исследования в ходе преодоления трудностей, с которыми исследователь сталкивается в «поле». Как пишет А.А. Пригарин: «Стремительно меняются акценты и технические приемы этнографической работы, но абстрактно-загадочное поле было и остается неким арбитром корпоративной стратегии. «Этнографическое поле», – обоснованно утверждает один из современных авторов, – это тот фундамент, на который нерушимо опираются исследовательские методы и приемы, это та стена, о которую крушатся кабинетные конструкции теоретиков, тот горн, сквозь который должны пройти любой претендент или любая идея раньше, чем они получают статус профессиональности» (Соколовский 1993: 41). Эпистемология науки прошла значительный путь эволюции – от эволюционизма и структурализма до культурного релятивизма или постмодерного плюрализма (Романов, Ярская-Смирнова: 2005). Многообразие дисциплинарного опыта породило маргинальные жанры, многие из которых со временем оформились в отдельные академические «цеха». При этом «поле» – неизбежно воспринимается источником корпорации и всех антропологов».

Третий раздел сборника составили статьи Х.М. Турьинской и А.А. Кузнецова, рассказываю-

щие о проблемах музейной повседневности, которая, по мнению последнего автора, также «находится в русле такого направления этнографических исследований как антропология науки (в том числе академической), «исследование лабораторий» и тесно смыкается с социологией научного знания». Исследователей интересует социальная среда и, прежде всего, её культурный контекст, в котором формируется личность ученого и который оказывает влияние на его жизнь и творчество. В целом тема влияния среды и внеучебных факторов на науку и научную деятельность исследователя присутствует и в других статьях сборника. Последний раздел содержит один из ярких образцов фольклорного творчества представителей казанской этнографической школы.

Появление первого тома «ААЖ» вызвало большой резонанс как среди этнографов/этнологов/антропологов, так и в других научных сообществах не только России, но и ближнего зарубежья (Абашин 2010; АФ 2009; Борьяк 2009; Корякин 2009; Романов, Ярская-Смирнова 2009:33). Например, украинская исследовательница Е. Борьяк написала: «Включение в программу VII Конгресса этнографов и антропологов России (Саранск, 2007) секции “Антропология академической жизни” вызвало мою искреннюю радость за российских коллег. Подобная тематика выносилась на обсуждение научным сообществом впервые <...>. То же можно сказать и о вышедшем в кратчайшие сроки специальном сборнике под таким же названием, куда была включена часть научных докладов, подготовленных для участия в упомянутой секции. Подобная новация в сфере выбора тем для исследования является, скорее всего, результатом частной инициативы отдельных российских этнологов. Тем весомее появление сборника – на мой взгляд, оно стало незаурядным событием не только для российской этнологии <...>. В заключение лишь отмечу – идея разработки направления “антропология академической жизни” оказалась и продуктивной, и заразной. Среди моих украинских коллег-этнологов наметился интерес к личным архивам. Похоже, ищем “академический фольклор” (Борьяк 2009:453). Как полагает социолог Кирилл Корякин, «публикация сборника статей «Антропология академической жизни» является важным шагом на пути популяризации идеи саморефлексии в общественных науках, резюмирует первую попытку вынести этот вопрос за пределы отдельных статей на широкое обсуждение в научном мире <...>. Авторы попытались указать на новый путь в развитии науки, суть которого – в изменении отношения научного сообщ-

щества к своей деятельности, к выходу на новый уровень самосознания благодаря саморефлексии» (Корякин 2009).

Все известные авторскому коллективу рецензии на сборник носили серьезный научный характер и позитивно оценивали работу авторского коллектива (Абашин 2010; Боряк 2009; Корякин 2009). Особенно важным для участников проекта «ААЖ» стало известие о том, что по итогам мониторинга научной жизни антропологического сообщества за 2008 год, проведенного журналом «Антропологический Форум», сборник «Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии» не только попал в итоговый список опроса, но и занял в нем одно из ведущих мест в номинации «Сборник научных статей». Устами редколлегии журнала было сказано: «Нельзя не отметить, что в числе выделенных участниками опроса сборников оказался коллективный труд, посвященный антропологии академической жизни, — большая удача коллектива авторов, возглавляемого Галиной Комаровой. До сих пор эта сфера не была объектом пристального внимания российских антропологов, и вполне закономерно, что первый опыт вызвал такой интерес» (АФ 2009:487). Помимо этого, в ходе мониторинга также высоко были отмечены опубликованные в сборнике «ААЖ» статьи В.А. Шнирельмана, С.И. Рыжаковой, Т.Б. Щепанской, С.В. Соколовского.

Реакция коллег на выход в свет первого тома «ААЖ» показала, что многие восприняли наш коллективный труд, прежде всего, как проект санации. В этом, безусловно, есть своя определенная закономерность: санация на первом исследовательском этапе возникновения и развития саморефлексии не просто нужна, а необходима ученому для того, чтобы почувствовать наукоцентричное пространство и ощутить свою профессиональную принадлежность. Однако этот этап не может быть долгосрочным и должен быть конструктивным. Вот почему основополагающей идеей подготовки и проведения следующего заседания секции «Антропология академической жизни» в рамках VIII КЭАР (Оренбург, 2009) была выбрана научная междисциплинарность в исследованиях ААЖ. Кстати, именно она изначально была отражена и в расширенном названии секции: «антропология академической жизни», а не «этнография этнографии», например.

Результатом работы оренбургской секции и, в целом, дальнейшей разработки нового для отечественной науки исследовательского направления стал коллективный сборник «Антрополо-

гия академической жизни: междисциплинарные исследования» (ААЖ 2010). Его авторы – представители различных научных дисциплин и традиций из разных научных центров России, Украины, США (антропологи, этнографы, социологи, востоковеды, археологи, философы, историки, филологи, музееведы) – исследовали проблемы, наиболее актуальные для собственных научных направлений, но находящиеся в поле ААЖ. Широкая междисциплинарная постановка проблемы позволила авторскому коллективу охватить достаточно разноплановые аспекты этого направления. Все разнообразие научных подходов представлено авторским коллективом в двух десятках текстов, различных в жанрово-стилевом отношении (научная статья, обзор, эссе, автобиографические заметки, интервью, рецензии), сгруппированных в четыре раздела, охватывающих ключевые вопросы академической жизни.

Первый раздел сборника посвящен историко-культурологическим аспектам антропологии академической жизни. Он открывается статьей С.В. Соколовского «Автоэтнография и антропологические исследования науки». В статье дается обзор современного состояния исследований антропологии науки, связанных с «рефлексивным поворотом» науки о «Других» к собственному сообществу, выразившийся в появлении такого нового жанра в постмодернистской антропологии как автоэтнография, который сочетается в этой относительно новой для нас области исследований с вниманием к профессиональным субкультурам. Автор характеризует специфику российской ситуации в связи с особенностями антропологических исследований в нашей стране. Работа С.В. Соколовского во многом перекликается со всеми остальными текстами, входящими в первый раздел. Ключевые слова его публикации: автоэтнография, рефлексивность, память, репрезентация, объективность, этика исследований – также характеризуют работы и других авторов. Прежде всего, это касается историографического обзора Г.А. Комаровой «Антропология академической жизни в системе наук о человеке» и Е.И. Гаповой «Гендерные исследования в «постсоветской академии». Оба текста рассматривают ситуации, когда объект – изучаемое сообщество практически полностью совпадает с его субъектом – сообществом экспертов. В итоге выясняется, что такое соотношение обнажает множество проблем, о которых и говорят авторы в своих статьях, подтверждая вывод о том, что автоэтнографическое исследование в этом случае становится плодотворным контекстом для

обсуждения этнографического метода в целом, поскольку высвечивает те его аспекты, которые при исследовании «иног» (дистанцированного) объекта выводятся из зоны видимости и легко остаются в зоне умолчания.

Статья Е.И. Гаповой является знаменательной и оригинальной, прежде всего, потому, что в отечественных социогуманитарных науках, к сожалению, крайне мало подобных исследований. Такие тексты содержат именно тот вид знания, которое, с одной стороны, имеет статус профессионального дискурса, поскольку производят его профессионалы в процессе своей деятельности, и вместе с тем, это знание о профессии, о реальных практиках ее осуществления; а, с другой стороны, оно (это знание) может быть предметом исследования антропологическими методами, т.е. допускает власть интерпретации. Все это позволяет перейти от анализа метода как части индивидуальной исследовательской практики к видению его в контексте существования «воображаемого сообщества» социальных исследователей и рассматривать исследовательскую практику как коллективный процесс, протекающий среди ученых (в данном случае, гендеристов), т.е. как особого рода социальное взаимодействие.

Своеобразная переключка, пересечение, определенная общность, обнаруженные между темами разных текстов первого раздела сборника, заставляют задуматься о влиянии друг на друга вопросов историографии, методологии и организации академического сообщества. С другой стороны, если обзор С.В. Соколовского представляет собою глубокий антропологический взгляд на современное состояние науки о «Других», то автор следующей статьи первого раздела «Зачем нам изучать этнографию других стран и народов» Э.Г. Александренков, отвечая на свой же вопрос, дает исторический срез этой проблемы. Цель его работы - рассмотреть, как и под влиянием каких факторов складывались представления о других странах в отечественном этнографическом сообществе. Эта статья в определенной мере продолжает тематику других авторских публикаций: «Кому служить? Этнограф на российском распутье» и «Что интересовало российских этнографов в Латинской Америке?» По мнению Э.Г. Александренкова, два основных фактора определяли зарубежные этнографические поиски отечественных ученых. Во-первых, это – интерес отдельного исследователя, вызванный любопытством к синхронному «Другому» и желанием увидеть иные стадии и формы развития человечества; во-вторых, – политические инициативы властных структур. В

советской науке, как правило, превалировало второе обстоятельство. Однако, академическому сообществу известны и такие яркие ученые, кто изучал зарубежные культуры без указаний «сверху». Прекрасный пример тому – Ю.В. Кнорозов, для которого наука была образом жизни, а его жизнь в науке – образцом для коллег.

Статья С.В. Соколовского также переключается с текстом Е.А. Здравомысловой. Основу ее эссе «Земной свой путь пройдя до половины...» составляет биографическое интервью, взятое у коллеги – социолога Эдуарда Фомина (1939-2002). Выпускник юридического факультета ЛГУ, один из основателей Центра независимых социологических исследований (ЦНСИ), член Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС), поздний шестидесятник Э. Фомин многое сделал для того, чтобы первое несоветское поколение социологов стало естественной составной частью мирового социологического сообщества. На основе анализа интервью, данного Эдуардом Фоминим в канун его шестидесятилетия, Е.А. Здравомыслова не только мастерски показывает черты целого поколения российских ученых, но на примере одной биографии рельефно реконструирует поколенческую биографию отечественных социологов-шестидесятников, научная биография которых развивалась «фактически в неформальной сфере, где абсолютно доминировала “устная социология”». Разговоры в коридорах института, на наших “интеллигентских кухнях”, домашние семинары сформировали среду, готовую к радикальным переменам в обществе и ускорившую эти перемены» (Невидимые грани 2001:4). Е.А. Здравомысловой удалось очертить социологические рамки анализа феномена, сформулировать проблемы и обосновать ряд важных гипотез, существенных для понимания функционирования советской и постсоветской социологии; показать, как повседневность (в том числе, и академическая), окружающая ученого, формирует его научный багаж; как биография самого исследователя «работает» в качестве фактора его научной деятельности и влияет на ее результаты.

Второй раздел сборника «Современный ученый и исследовательское поле» открывает статья В.А. Шнирельмана «Археолог в эпоху перемен: казус Аркаима». Автор статьи рассматривает весьма показательный и неоднозначный пример взаимодействия археологов с общественностью на археологическом комплексе Аркаим (Южный Урал), где результатом столкновения самых разнообразных интересов (рекламных, финансовых, туристических, религиозных, патриотических, национали-

стических) стало возникновение своеобразного религиозного культа, с одной стороны, обеспечивающего музейный и туристический центр массой посетителей (а, следовательно, и финансами), но, с другой, бросающего вызов археологической и музейной деятельности. Анализируются стратегия поведения археологов в этой ситуации и особенности их обратной связи с общественностью. На примере возникновения культа Аркаима обсуждается роль археологии и музейного дела в современном обществе. Подобная работа очень значима для исследовательского поля ААЖ, прежде всего, потому, что «казус Аркаима» обнажает ряд актуальных проблем, реально существующих в академической жизни, но при этом практически не обсуждаемых в отечественном социогуманитарном научном сообществе. Во-первых, это – проблемы совпадения (зачастую противоречивого и нередко конфликтного) идентичностей исследователя как субъекта, изучающего среду – и как человека, принадлежащего этой среде, но имеющего в ней определенные интересы (преследующего свои внеакадемические цели и тем самым ставящего под угрозу свой престиж в научной среде). Во-вторых, это – этические проблемы, возникающие, когда в научном сообществе обсуждаются темы, открытые «своим» и табуированные для «чужаков»; или более широко – ситуации, когда этика познания вступает в противоречие с этикой принадлежности к псевдонаучному дискурсу.

Важно отметить, что исследовательское поле – главный герой всех без исключения текстов, входящих во второй раздел сборника. Все они посвящены феномену научных экспедиций и неформальному экспедиционному дискурсу, экспедиционной повседневности, этике и прагматике полевой работы, размышлениям над тем, как сохранить баланс между этическими принципами и прагматическими целями исследования в ходе преодоления трудностей, с которыми исследователь сталкивается в «поле». При этом исследовательское «поле» в сборнике рассматривается во всех его ипостасях: «поле» – этнографическое, археологическое, социологическое и т.д., отечественное и зарубежное, экспедиционное и стационарное, городское и сельское, традиционное и виртуальное и др. Но главное то, что «поле» всегда всеми исследователями воспринимается как особая методологическая (эпистемологическая) проблема возможностей и пределов познания, как цель и средство исследования. В этом плане наибольший интерес, на мой взгляд, представляют тексты патриархов этнографического сообщества, исследователей с огромным экспедиционным

опытом Сергея Александровича Арутюнова и Наталии Львовны Жуковской.

Эссе С.А. Арутюнова «Когда гора рождает мышь» насыщено интересными и актуальными материалами, экспедиционными наблюдениями, авторскими и исследовательскими впечатлениями, воспоминаниями, размышлениями, личным авторским опытом, практикой и всем тем, что характеризует все публикации раздела «Современный ученый и исследовательское поле». Однако автор эссе «Когда гора рождает мышь» не просто привлекает читательское внимание к основным, самым актуальным темам отечественной этнографии/антропологии – методике, методологии исследований, организации научной и экспедиционной жизни. Самое важное для развития нашего научного направления заключается в том, что работа С.А. Арутюнова является уникальной на фоне типичной отечественной научной литературы, в которой, в отличие от мировой научной практики, не принято публично и подробно обсуждать то, что составляет предмет размышлений крупнейшего отечественного исследователя: пути преодоления научного субъективизма, проблемы отношений в исследовательском коллективе, различного рода технические и моральные стороны экспедиционно-полевой практики, вопросы взаимоотношений с информантами, многообразные и порой непростые ситуации, в которые нередко попадает ученый-исследователь, ученый-полевик.

О подобных непростых ситуациях, интересных, а порой даже судьбоносных случаях из своей богатой экспедиционной практики ярко повествует Н.Л. Жуковская. В автобиографических заметках «Этнограф и поле: Господин Случай и его возможности» она предстает не только как исследователь, но и как режиссер, сценарист, актер, стратег своих многолетних, долгосрочных, интереснейших и очень сложных экспедиционных проектов. Н.Л. Жуковская показывает, как длительное и регулярное пребывание этнографа в поле почти всегда сопровождается формированием разнообразных, в том числе и личных, связей с людьми исследуемого сообщества. Дружеские эмоциональные контакты исследовательницы с информаторами создают ситуацию эмпатии, которая способствует постижению самых тонких и скрытых механизмов культуры, дает ключ к пониманию ее нормативной, эстетической, когнитивной и других систем. Наблюдая за ее рассказами, невольно отмечаешь то обстоятельство, что научные открытия возможны не только благодаря исследовательским технологиям или научным институциям, а скорее, благодаря экзи-

стенциальному накалу того или иного вопроса, который возникает в жизни исследователя в связи с его биографией. Обычно это происходит рефлексивно, но рано или поздно обязательно фиксируется тем фактом, что исследователь ощущает начало нового этапа своей научной биографии. По опыту известно, что с представителями нашего этнографо/этнолого/антропологического научного цеха описанная выше ситуация чаще всего возникает в экспедиционных условиях в процессе общения с людьми.

Возможно, что именно в результате подобного экзистенциального накала тех или иных вопросов, возникших в жизни (в связи с личной биографией) наших постоянных авторов Д.Б. Писаревской и А.А. Кузнецова, и проявился их уникальный научный интерес к разработке достаточно оригинальных, пока еще не привычных для отечественной науки тем. Так, А.А. Кузнецов выбрал в качестве исследовательского объекта андропарки. В своей статье «Андропарки» как объект антропологического изучения (опыт исследовательской саморефлексии) он отмечает: «Новое направление в современной российской этнографии – антропология академической жизни – позволяет посредством этнографического описания и этнологического понимания изучить «производственную кухню» сообщества научных работников, постигнуть свойственную им профессиональную «ментальность», определить их взаимосвязь с окружающей средой и объектами исследования. Особое место в рамках формирующейся дисциплины, безусловно, занимают размышления самих авторов научных текстов, направленные на осмысление и интерпретацию собственных исследовательских практик». Статья А.А. Кузнецова представляет собою «результат подобного авторского «самоосознания» при рассмотрении возможности и продуктивности изучения методами антропологии и этнографии такого явления современной масс-медийной культуры как «андропарки». Речь идет об особой разновидности телевизионных программ, называемых *реалити-шоу* (reality show), участники которых – простые люди – добровольно помещаются в ограниченное пространство и «живут» длительное время под наблюдением множества видеокамер на глазах у миллионов телезрителей и интернет-пользователей».

Д.Б. Писаревская – автор статьи «Исследование субкультуры ролевых игр: соучастие vs ролевых игр» – несколько лет изучала весьма распространенное в молодежной среде, но мало изученное в отечественной антропологии явление. Описание опыта исследования субкультуры

ролевых игр Д.Б. Писаревская наполняет авторской саморефлексией, авторскими и исследовательскими впечатлениями, наблюдениями, размышлениями, всем тем, что сопровождало ее в ходе работы и служило фактором, мешавшим или помогавшим в исследовании, и в итоге, повлиявшим на научные результаты. Все это позволило Д.Б. Писаревской, как и другим авторам сборника, обратить внимание читателей на очень актуальную для научного сообщества проблему «Современный ученый в исследовательском поле: активное соучастие или холодная отстраненность». Как остаться «независимым» исследователем, отстраненным при изучении тех или иных, особенно острых, социальных проблем? Что и как можно и должно изучать в современной публичной сфере? Как повседневность (в том числе и академическая), окружающая ученого, формирует его научный багаж? Как биография самого исследователя «работает» в качестве фактора его научной деятельности и влияет на ее результаты? Читатель вряд ли сразу найдет готовые универсальные ответы на эти и другие вопросы. Но даже их постановка уже самоценна: истинная наука, как известно, начинается с вопросов. Следующий раздел сборника, посвященный академической повседневности, открывается статьей В.П. Корзун и Д.М. Колеватова «Профессорская семья: стиль жизни, ролевые функции в поле научной повседневности». Предметом исследовательского интереса омских историков Валентины Корзун и Дмитрия Колеватова стала профессорская семья как социокультурный феномен. Богатый источниковый материал, оказавшийся в поле их внимания – научная повседневность отца и сына Лаппо-Данилевских, великого историка и известного математика, классиков мировой науки – позволил авторам рассмотреть проблему преемственности интеллектуальных ритуалов и ценностей, в том числе в пространстве такого микросоциума, как семья; определить, каким образом социокультурный контекст являет себя через такую форму человеческой общности как семья ученого, через присущие этой общности стилевые и нормативно-ролевые (функциональные) особенности. Обращение к теме «ученый и его семья», к варианту социальных контактов, по мнению В.П. Корзун и Д.М. Колеватова, «важен в плане характеристики особенностей рефлексивного взаимодействия ученого и мира («миросозерцания» ученого, если пользоваться классической терминологией XIX века). Особенности эти проявляются «на семейном поле» как на уровне элементарной житейской рефлексии – рассмо-

трение и анализ «дел семейных и политических», так и на уровне рефлексии научной – критического анализа научного знания, его значения и границ. И, наконец, в межличностных контактах родных, близких и друзей проступает рефлексия философская – осмысление общих принципов и предельных оснований бытия и мышления». Авторы этой стимулирующей, выполненной в лучших академических традициях, статьи, ссылаясь на И.В. Нарского, приходят к выводу, что интересующий современных исследователей вопрос: «что делают, когда занимаются наукой», безусловно, актуален, ибо наука есть часть жизненного мира ученого, его личностной рефлексии, один из способов познать собственные границы» [Нарский 2008: 15].

Основная цель статьи О.А. Волковой и С.В. Шишкиной «Академическая составляющая интеллектуальной миграции малого российского города» – описание результатов теоретико-эмпирического исследования интеллектуальных миграций вне столичных и областных центров, на примере малого российского города Балашова Саратовской области. Авторы рассматривают интеллектуальную миграцию в контексте стратификационной характеристики малого российского города; характеризуют гендерную специфику интеллектуальной миграции; дают социологический портрет академического мигранта; приводят факты, касающиеся не только профессиональной, но и повседневной жизни ученых-мигрантов. В постсоветской научной литературе уже сложилась традиция изучения проблем интеллектуальной эмиграции из бывшего СССР. В данном случае ценность и актуальность обсуждения проблемы внутренней интеллектуальной миграции в том, что она связана, прежде всего, с необходимостью исследовать и прогнозировать долгосрочный выбор ученых в пользу профессиональной миграции внутри страны. Это обстоятельство чрезвычайно важно, в частности, и для формирования стратегий национальной научной политики государства на постсоветском пространстве. Разумеется, при условии, что таковые появятся в обозримой перспективе.

Третий раздел сборника завершает яркий и пока еще не традиционный для российского научного сообщества текст А. Золотовой «Корпоративная этика и дух еды: заметки о повседневности научного коллектива». Ее заметки (а скорее, эссе или «еще менее жесткий жанр») были подготовлены к юбилею В. Воронкова, бессменного директора ЦНСИ (Центра независимых социологических исследований) и, по словам автора, содержат «праздничные мысли праздного

человека». Между тем, автор, обладая глубокими знаниями, высоким профессионализмом, разнообразными научными подходами в исследованиях социологии потребления еды, тонко чувствует и занимательно описывает повседневность своего научного коллектива: «практику потребления съестного в конкретном месте (ЦНСИ) среди конкретной группы людей (сотрудники ЦНСИ) и показывает, каким образом съедобное и съдаемое в ЦНСИ вписано в структуру повседневного взаимодействия его сотрудников». Литературный стиль автора, ироничный и вместе с тем глубокий взгляд, исследовательская «симпатия к рефлексии в отношении рефлексии рефлектирующих» характеризуют этот текст. И в целом все статьи третьего раздела «Академическая повседневность» вносят свой вклад в практически не занятый сегмент этнографического изучения быта профессионального научного сообщества, в анализ историко-культурного своеобразия жизни и быта ученых, в исследование деталей житейской повседневности ученых как социальной группы.

Четвертый раздел сборника, посвященный научным центрам России, знакомит читателя с Омским этнологическим сообществом. Несколько лет назад, отвечая на вопрос «ЖССА» «Существуют ли в России самостоятельные научные школы в этнологии и социальной антропологии», В.А. Тишков назвал среди «наиболее ярких и имеющих свое лицо омскую этнографию» (Тишков 2001 № 4: 21). «Лицо омской этнографии» в разделе «Научные центры России» представлено двумя совершенно разными по жанру, но одинаково интересными и информационно насыщенными текстами, вместе создающими яркий и многогранный портрет омского этнологического сообщества. Статья родоначальника омской этнографической школы Николая Аркадьевича Томилова и одной из его учениц М.А. Жигуновой «Омский научный этнографический центр: штрихи к портрету» подробно рассказывает об одном из самых ранних этнографических научных центров Западной Сибири, где этнографические исследования проводятся более 150 лет. Авторы повествуют о современных научных достижениях омского этнологического сообщества, об академической и экспедиционной повседневности, о богатом фольклоре представителей ОНС. Фольклорное творчество омских коллег представлено в статье «Записки этнографички» д.и.н. Т.Б. Смирновой.

Междисциплинарный характер коллективного научного сборника показал, насколько важна саморефлексия для всех смежных с этнологией

гуманитарных и общественных наук и сколь многогранной может быть ее трактовка в различных специальностях и направлениях. И, тем не менее, его авторов объединяет главное – стремление осмыслить собственный социальный и духовный опыт, понять, как он преломляется в профессиональной деятельности, а также развивать новый подход в научном постижении реальности человеческого бытия.

Третье заседание секции «Антропология академической жизни» в рамках IX Конгресса этнографов и антропологов России состоялось в 2011 г. в Петрозаводске. Работа секции характеризовалась широким междисциплинарным составом участников, высоким профессиональным уровнем докладов, активностью многочисленной аудитории (согласно списку присутствующих, в секции участвовало 97 человек). Все разнообразие тем и научных подходов было представлено в докладах, сгруппированных в четыре тематических блока, которые охватили различные стороны академической жизни. Так, в актуальных и новаторских докладах А.А. Пригарина (Одесса) и С.П. Тюхтеновой (Горно-Алтайск) особое внимание уделялось этике и прагматике полевой работы, размышлениям над тем, как сохранить баланс между этическими принципами и прагматическими целями исследования в ходе преодоления трудностей, с которыми исследователь сталкивается в экспедиционном «поле». Тема «Этос науки» получила непривычное развитие и неординарное решение в докладах В.А. Шнирельмана (Москва), А.Н. Еремеевой (Краснодар), С.Н. Филимончик (Петрозаводск). Важно, что доклады историков, философов, культурологов, этнологов, археологов, психологов и др. выступавших в разных тематических блоках, постоянно перекликались между собой. Например, Л.П. Пискунова (Екатеринбург), А.Н. Еремеева (Краснодар), И.П. Кулакова (Москва), С.Н. Филимончик (Петрозаводск), рассматривая различные исторические эпохи и экзистенциальные ситуации, когда происходят разрывы в повседневном опыте существования, когда перестают действовать выработанные десятилетиями социальные механизмы, показали, как в каждом случае возникает научное сообщество и как его повседневность создается из хаоса социальной материи, конструируется индивидами в ходе практических взаимодействий. Все изученное – повседневность, традиции, различные практики, совокупность адаптивных средств, всю жизнедеятельность сообщества предстоит описать как субкультуру. Тема секционного заседания «Теория и практика репрезентации науки», представленная докла-

дами И.А. Гринько (Москва), Н.П. Мироновой, Т.П. Филипповой, Н.Г. Лисевич (Сыктывкар), вызвала особый интерес аудитории. (Подробнее см. <<http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/15online/>>). Итоги работы петрозаводской секции составили основу научного сборника «Антропология академической жизни: «традиции и инновации», который неслучайно получил свое расширительное название. Понятие «традиция» используется в нем в онтологическом смысле. Это не сохранение или изменение, а нечто постоянное внутри перемен, константное в развитии, абсолютное в относительном, вечное во временном. Это тот фундамент, на котором возникает инновация: новые идеи, подходы, методы, направления, все то, что содержит прогрессивное начало, позволяющее в изменившихся условиях и ситуациях достаточно эффективно исследовать проблемы и решать те или иные научные задачи. Вместе с тем, третий сборник «ААЖ» стал результатом работы не только участников секции «ААЖ» в рамках IX КЭАР, но и представителей различных научных дисциплин и традиций из разных научных центров постсоветского пространства. Авторы издания – антропологи, этнографы, социологи, востоковеды, археологи, философы, историки, филологи, культурологи, музеологи из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Омска, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Краснодара, Таганрога и т.д. Все они разрабатывают темы, наиболее актуальные для собственных научных направлений, но при этом находящиеся в едином исследовательском поле ААЖ. Широкая междисциплинарная постановка научной проблематики позволяет авторскому коллективу охватить достаточно разноплановые аспекты нового научного направления. Все статьи сборника сгруппированы в тематические блоки и представлены в четырех разделах.

Тексты первого раздела сборника «Этос науки: риторика и повседневность» обсуждают целый круг ключевых методологических проблем сферы «Science studies»: наука как социальный институт и возможности работы «научного сообщества»; традиции и вариации этоса науки; изучение способов производства научного знания в различных социокультурных средах (проблемы «экологии науки»); роль истории науки для понимания природы науки; ученый и наука; значение опыта «Science studies» для постановки и обсуждения проблем специфики социально-гуманитарного познания и др.

Раздел открывает статья «Культурная медиация, традиции и инновации: о поэтике заимствования в истории советской этнографии». Ее автор

С.В. Соколовский утверждает, что «история российской этнографии практически на всех ее этапах, и даже тогда, когда заимствования совсем не поощрялись, а, наоборот, преследовались как низкопоклонство перед Западом – состоит из длинной их череды, иногда тщательно маскируемой, а иногда с гордостью демонстрируемой как безусловно прогрессивная и необходимая мера борьбы с местной заскорузлостью». Некоторые эпизоды этой истории и их оценки современниками стали основным предметом его анализа. Автор статьи делится интересным наблюдением о том, что «при всей нашей заботе о традициях, конкретные научные проекты, как и науку в целом, вряд ли можно адекватно понять вне их устремленности к новому. Рассмотрение динамики и механизмов заимствования – и в этом ирония всякой деконструкции, по видимости отказывающейся от нового или отказывающей новому в его привилегированном статусе – позволяет сделать небольшой вклад в эту погоню за новизной и осветить саму технологию заимствования как механизм порождения нового».

Тема «Этос науки: риторика и повседневность» получила новое развитие и неординарное решение также в статьях В.П. Макаренко «Властно-политические технологии и право ученого на сопротивление», Н.В. Серова «Феномен групповой динамики в научном сообществе и интересы науки», В.А. Шнирельмана «Археолог, общество и политика: Е.И. Крупнов и аланы», С.Н. Филимончик «Ученый и власть: гуманитарии Карелии в сталинскую эпоху», А.Н. Еремеевой «Ученый в условиях гражданского противостояния». Виктор Павлович Макаренко считает, что «современная наука есть воплощение колониально-имперских, революционно-бюрократических (техно-якобинских) и самодержавно-бюрократических интересов и амбиций власти и ученых». Отвечая на вопрос, свободны ли современные ученые, если они до сих пор используют указанные модели или их комбинации в своем поведении, автор анализирует, как они взаимодействовали в социальной истории науки XX в. и советской науки – в особенности. Цель исследования Н.В. Серова – анализ проблемы «запретов» в дискуссии с академическими стереотипами «научного должествования» на примере социальной истории создания теории хроматизма. А.Н. Еремеева рассматривает особенности научной деятельности и научной коммуникации в регионах бывшей Российской империи, ставших в 1917–1920 гг. центрами противоборства различных политических режимов и массовой миграции столичной интеллигенции. С.Н. Филимончик представляет новую для Карелии 1930-х годов

социокультурную группу профессиональных ученых, работающих в области истории, этнографии, фольклора, характеризуя их путь в науку, уровень образования, профессиональную деятельность, научную и бытовую повседневность, а также взаимоотношения ученого-гуманитария с властью и т. д. Все авторы тематического блока «Этос науки: риторика и повседневность» – известные ученые, представляющие различные научные дисциплины, ставят перед собой актуальные и важные для любого гуманитария вопросы: Как остаться «независимым» исследователем, отстраненным при изучении острых социальных проблем? Что и как можно и должно изучать в современной публичной сфере? Как повседневность (в том числе и академическая), окружающая ученого, формирует его научный багаж? Как биография самого исследователя «работает» в качестве фактора его научной деятельности и влияет на ее результаты? По мнению постоянного автора всех выпусков «ААЖ» В.А. Шнирельмана, «сегодня, когда в стране нет уже единой гегемонистской идеологии и идет становление гражданского общества, общественные науки потеряли свою былую «невинность». Это означает, что, какой бы проблематикой ни занимался этнолог, социолог или даже археолог, полученные им данные и выводы всегда могут использоваться для тех или иных политических проектов <...>. В этих условиях использование соответствующих понятий и терминов накладывает на ученого особую ответственность и заставляет тщательно обдумывать формулировки своих идей, чтобы они не стали легкой добычей радикалов. Следовательно, специалист должен тонко чувствовать нюансы сложившегося вокруг политического ландшафта. Мало того, сегодня ученый, чьи исследования касаются острых политических проблем, не может оставаться вне политики, хочет он того или нет. А к актуальным проблемам сегодня относятся все, начиная от современных массовых миграций населения и кончая антропогенезом. Поэтому нам нельзя обходить вопрос о научной этике, и ученый должен не только интересоваться тем, как воспринимаются его идеи в обществе, но и активно стремиться к тому, чтобы эти идеи воспринимались адекватно, без искажений. Иными словами, пришло время для активного и заинтересованного диалога между людьми науки и обществом».

Изучение социального контекста развития науки, научного сообщества, и, в частности, научной и политической миссии ученого, нужны не для того, чтобы привлечь общественное внимание и политизировать роль науки в обществе. В нашем случае исследователю научного поля «ААЖ» важ-

но с позиций социально-культурной антропологии изучить эти проблемы и понять, как они решаются и/или не решаются в современной научной среде. И это, на мой взгляд, важное и полноправное направление антропологии академического сообщества. К сожалению, в российском научном сообществе подобные исследования редки, экзотичны, непривычны, и зачастую воспринимаются неадекватно, что негативно отражается как на развитии отечественной науки, так и современного российского общества. Тематический блок статей «Этос науки» традиционно присутствует в научных сборниках «ААЖ», что важно по ряду причин, в том числе и методико-методологического плана. И в частности, потому что всем известная модель «правильного» этоса науки, предложенная Мертоном и представляющая собой некий идеальный тип, достаточно абстрактное построение, результат логической дедукции, дает немало поводов для дальнейшего исследования постоянно возникающей перед исследователем дилеммы теории и практики, риторики и повседневности. Думается, что представители ААЖ, ведущие кропотливую работу по сближению теоретических и эмпирических изысканий, по поиску реальной конфигурации этических норм, единой метрики научного сообщества, способны в чем-то дополнить, исправить мертоновские аксиомы, а возможно, и предложить свою модель этоса науки.

В отличие от первого раздела сборника, следующий тематический блок статей «Институционализация в научном сообществе» представляет собой пример инновации в истории развития «ААЖ». Как показывают авторы статей этого раздела, значимость ритуалов перехода, «обрядов институционализации» в контексте формирования и поддержания корпоративной идентичности научного сообщества традиционна и по сей день неопределима. Ритуалы как символы действия являются способом донесения до «академического» человека, человека «академического» образа жизни, представителей «академического» мира ценностей и моделей поведения, отражающих корпоративную культуру научного сообщества. Именно ритуалы как устойчивая система ценностей, накопленных и воспроизводимых в коллективной памяти, дают научному сообществу ощущение устойчивости, столь необходимое в непрерывно изменяющемся мире.

Отечественные традиции процесса «вхождения в науку» в рамках профессорской культуры составляют предмет исследования Т.А. Сидорякиной. Ее статья посвящена формализованным и неформализованным правилам вхождения в научное сообще-

ство историков рубежа XIX – XX вв. и характеризуется особым интересом к личности ученого на ранних этапах его становления, вниманием к процессу «вхождения в мир науки и высшего образования», к сопряженным с ним «ритуалам перехода» и «адаптации молодого ученого» в научном сообществе. Автор справедливо отмечает, что понятие «профессорская культура» существенно расширяет проблемное поле современных исследователей, изучающих проблемы научных сообществ, сформированных на основе устойчивого ядра «корпоративной культуры», в качестве самостоятельной задачи и актуализирующих субъективный фактор в науке.

Статья В.Ю. Лебедева «Профессор» как социально-культурный миф» во многом продолжает и развивает тематику предыдущего текста. В ней анализируется трансформация расхожих представлений о профессуре и результатах причисления к этому сообществу от традиции к инновации, от старой версии к новой. «Старая – восходит к академическим традициям дореволюционной России и их отзвукам в довоенной советской культуре. Новая – формируется представлениями о социальном статусе профессуры послевоенного Советского Союза». В.Ю. Лебедев определяет актуальность рассмотрения выбранного объекта не только его временным положением самим по себе, но и тем, что мифологические установки оказываются напрямую определяющими и представления, и поведение большого числа людей (включая и неверный профессиональный выбор). По мнению автора статьи, «мифологическое осмысление профессуры наблюдается как в повседневном поведении, фиксируемом этнографией, так и в осмыслении средствами искусства, где стандартно воспроизводятся все обиходные стереотипы. Можно говорить, что элементы мифологической картины принадлежат здесь к двум областям, мифологическим парадигмам: мифологии науки и мифологии быта». В.Ю. Лебедев делает вывод о том, что дальнейшие трансформации расхожих представлений о «профессоре» во многом будут зависеть от специфики реальности социальной, однако в виду мифологического генеза этих представлений можно предвидеть устойчивость и живучесть традиционных форм.

В статьях Н.В. Деминой «Защита диссертации как обряд перехода» и К.Л. Банникова «Вход как выход: социально-антропологические рефлексии на тему [в]хождения в науку» исследуется современный процесс пересечения границы мира Науки – инициация в сообществе российских ученых через аспирантуру и защиту кандидатской диссер-

тации. Текст Н.В. Деминой наглядно демонстрирует, что понятия обряда перехода (А. ван Геннеп, В. Тернер) и обряда институционализации (П. Бурдьё) дают возможность рассмотреть проблемы качества научной аттестации и состояния научной экспертизы в России под новым углом зрения. Автор отмечает, что «при вступлении в мир науки – прохождении обряда перехода, или институционализации – неподготовленными и непроникнутыми его истинным сакральным смыслом чужаками, происходит «загрязнение» сообщества ученых, влекущее десакрализацию и размывание существующих границ».

Исследование М.В. Пулькина «Рецензируемые журналы и научное сообщество: проблемы взаимоотношений» также посвящена вопросам качества научной аттестации и состояния научной экспертизы в современной России, которые рассматриваются, однако, не в фокусе традиций, а в русле нововведений последних лет. Автор видит серьезную и очень актуальную проблему в том, что «сегодня публикации в рецензируемом журнале считаются одним из важнейших показателей оценки работы как научного работника (преимущественно Академии наук), так и учреждения, в котором он состоит. Согласно новым критериям, появление книг, в том числе и фундаментальных работ, объявлено второстепенным успехом по сравнению со сравнительно небольшой статьей, опубликованной в издании, входящем в ВАКовский список. По мнению М.В. Пулькина, «система, в которой Списку отведена главенствующая роль, довольно быстро поглощает поток всех прочих публикаций, упраздняя многочисленные внезапно появляющиеся и быстро исчезающие из поля зрения ученых сборники научных работ на разные темы». Автор статьи считает, что это серьезная практическая проблема, связанная с выживанием научных организаций, и важный теоретический вопрос из области антропологии академической жизни. И действительно, «несмотря на широкое и интенсивное кулуарное обсуждение этой новой для научного сообщества проблемы, она еще не удостоилась тщательного, в полном смысле слова научного исследования». Задача статьи М.В. Пулькина – заложить фундамент для изучения этого нового явления российской академической жизни. Третий раздел сборника «Современный ученый и этнографическое поле» является традиционным и концептуально необходимым для разработки «ААЖ». Тексты этого раздела наглядно подтверждают общеизвестную истину о том, что специфика исследовательской этнографической работы состоит, в частности, в том, что ученый в поле является основным «при-

бором», фиксирующим состояние изучаемого объекта. В связи с этим подробно обсуждаются различные техники анализа научной практики, взятой в ее исторической динамике.

С.Н. Абашин – автор статьи «Всматриваясь в поле после боя», – разворачивая, по его словам, «вслед за Тишковым и Соколовским, свой взгляд с поля на себя в поле», делится опытом полевой работы в таджикском селении в 1995 и 2010 гг. Он размышляет о тех обстоятельствах и ограничениях, которые сопровождали полевое исследование и могли существенно повлиять на представления об изучаемом сообществе. По мнению С.Н. Абашина, «парадокс в том, что в силу своей роли этнограф обречён идти в поле, чтобы искать там материал для своих реконструкций, обречён ссылаться на поле как на точку отсчёта в своей деятельности – именно полем по-прежнему испытываются и утверждаются в этнографическом сообществе его компетенция и авторитет. Точно так же этнограф обречён на то, чтобы его реконструкции были поставлены под сомнение (им же самим или кем-то другим), чтобы поле оказалось в итоге всего лишь недостижимым идеалом, на практике же – мучительной и неблагодарной работой, а нередко – средством вольных или невольных манипуляций и подтасовок. Вырваться из этого замкнутого круга, оставаясь в научном и дисциплинарном пространстве, нельзя; можно лишь осознать задачи и ограничения и попытаться действовать в имеющихся обстоятельствах».

Автор статьи «Особенности полевого исследования в мегаполисе: от этнической общности к стилю жизни» Д.Б. Писаревская считает, что «при проведении полевого исследования в городе проживания важно не только грамотно расставить акценты между перспективой “инсайдера” и “аутсайдера”. Может получиться и так, что теоретические посылки применительно к объекту изучения изменяются, и исследователь начинает смотреть на проблему с иного ракурса». На примере полевого исследования еврейской молодежи в Москве и последующей обработки и анализа его материалов она рассматривает, как в теории, практике и рефлексии исследователя отображаются особенности изучения сообществ в мегаполисе. В данном конкретном случае и теория, и практика исследования заставили ученого сделать поворот от изучения этической общности к изучению конкретного стиля жизни.

Завершает третий раздел очерк, повествующий о двух этнографических экспедициях отечественных исследователей на острова Океании. Его автор – известный ученый, крупнейший специа-

лист по этнографии народов Океании, старейшина нашего этнографического цеха Д.Д.Тумаркин. В своем тексте «За морем телушка – полушка, да рубль перевоз» он рассказывает о предыстории этих экспедиций и о своем жизненном пути, приведшем его на борт научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев», совершавшего экспедиционные рейсы на острова Южных морей. По мнению автора, «отечественные этнографы обычно собирают научные материалы либо в своем городе (в архивах, библиотеках, проводя опросы, наблюдения и т. д.), либо совершая экспедиции и кратковременные выезды в другие районы России и в зарубежные страны. Но вся эта деятельность происходит на суше, на “твердой земле”. Работа в океанских научных экспедициях имеет свою специфику».

Авторы всех текстов раздела «Современный ученый и этнографическое поле» предпринимают попытку саморефлексии в рамках экспедиционно-полевой практики, уделяя при этом особое внимание этике и прагматике полевой работы, размышляя над тем, как сохранить баланс между этическими принципами и прагматическими целями исследования в ходе преодоления трудностей, с которыми ученый сталкивается в экспедиционном поле. Цель всех исследователей ярко и точно обозначил С.Н. Абашин. Она состоит в том, чтобы «добавить в копилку публичных обсуждений полевых впечатлений собственные наблюдения и оценки, поставить личный эксперимент рассказа о прошедшем поле и анализа тех или иных его особенностей, задуматься и научиться говорить о поле как о проблеме».

Заключительный раздел сборника, по сути своей, новаторский в исследовательском поле «ААЖ», посвящен проблеме репрезентации науки в целом, и этнологии – в особенности. В статье «Репрезентация этнологии в отечественной художественной литературе: опыт и проблемы» говорится о том, что «одной из основ стабильного развития зарубежной этнологии по праву можно считать удачную репрезентацию в литературе, которая началась еще с Редьярда Киплинга. Западная литература культурных антропологов ценит и любит за богатство сюжетов и изначально заложенный в этнологии конфликт столкновения двух культур, двух мировоззрений, двух систем ценностей». Наряду с этим, по мнению автора статьи И.А. Гринько, «самые значимые проблемы российской этнологии коренятся в коммуникации между академическим и реальным миром. Как правило, основное внимание научного сообщества уделяется научной литературе, изред-

ка – научно-популярной, однако о таком важном инструменте репрезентации науки, как художественная литература и кинематограф, часто забывают, хотя это один из кратчайших путей до общественного сознания». И.А. Гринько делает попытку (на мой взгляд, весьма удачную), проанализировать опыт подобных репрезентаций отечественной этнологии в художественных произведениях, полагая, что это «необходимо для четкого понимания образа науки в массовом сознании и поиска возможных путей его изменения». Авторы статьи «Некоторые практики репрезентации научного работника» Н.П. Миронова, Т.П. Филиппова, Н.Г. Лисевич на примере комплекса фотодокументов Коми НЦ УрО РАН выделяют и рассматривают с позиций антропологии академической жизни некоторые репрезентативные практики, в которых отражаются особенности профессиональной среды научного сообщества. Они приходят к выводу о том, что «фотодокументы являются самостоятельным источником с широкими информационными возможностями и обладают значительным научным потенциалом, в том числе и для визуально-антропологических исследований в поле антропологии академической жизни».

В статье М.А. Жигуновой «Праздничные будни омской этнографии» рассматриваются не только научные традиции и инновации, но и ключевые моменты академической повседневности Омского этнологического сообщества. На материалах включенного наблюдения, воспоминаний, «корпоративного» фольклора, бесед, интервью, автобиографических заметок автор анализирует универсальные механизмы формирования и поддержания корпоративной идентичности как осознания принадлежности к научному сообществу. Особый интерес для исследовательского поля «ААЖ» представляет описание М.А. Жигуновой символов и ритуалов, пронизывающих весь процесс внутриорганизационной коммуникации этнологического сообщества.

Рассматриваемые в сборнике проблемы носят междисциплинарный характер и актуальны для всех, кто занимается или просто интересуется различными аспектами современного гуманитарного познания. При этом одни темы стали уже традиционным предметом изучения, а другие обсуждаются в отечественной науке впервые и являются инновацией в исследовательском поле «ААЖ». Хотелось бы надеяться, что любая актуальная научная новация и, прежде всего, сама антропология академической жизни как постсоветское новаторское научное направление в

отечественной социогуманитаристике «обречена стать традицией». Остается лишь присоединиться к словам Р. Рахимова, который заканчивает свою рецензию на третий том «Антропологии академической жизни» словами: «В заключение хотелось бы пожелать, чтобы антропология академической жизни в постсоветских государствах стала регулярным предметом дискуссий и новых публикаций» (Рахимов 2012).

Заключение

Безусловно, успех применения антропологического метода в исследовании академической жизни зависит от уровня рефлексии/осознания, способности сохранения интеллектуальной дистанции при взгляде на самих себя. Как тот или иной аспект академической жизни, ее культура и интеллектуальная традиция влияют на производство знания? В чем специфика антропологического метода анализа (с его стремлением во всем находить целостность и искать взаимосвязи)? Насколько сложившаяся эпистемологическая традиция влияет на современные процессы наукотворчества и насколько эффективно она способна отражать современные реалии? И наконец, как можно усовершенствовать функционирование академических институтов, повлиять на поведенческие установки исследователей, а также семантические (культурные) коды для того, чтобы более творчески и продуктивно подходить к задачам науки?

Развитие такого научного направления, как антропология академической жизни, является важным шагом на пути популяризации идеи саморефлексии в отечественных общественных науках и позволяет вынести эту проблему на широкое обсуждение в научном мире, указать на новый путь в развитии науки, суть которого – в изменении отношения научного сообщества к своей деятельности, к выходу на новый уровень самоосознания благодаря саморефлексии. Подобный подход, на мой взгляд, позволит приблизить академическое сообщество к решению ключевых проблем – обеспечения самосохранения, обновления круга исследовательских тем, возможность успешного развития в дальнейшем. Речь идет не столько о поиске некоего идеального начала, абсолютной идеи культуры (ААЖ 2008), сколько о понимании – как это идеальное начало и идеальная идея зарождается, конструируется, накапливается, становится достоянием научного сообщества, им осмысливается, формулируется и в дальнейшем продуцируется. Ставится вопрос о критериях объективности и способах контроля со стороны исследователя

над собственной творческой деятельностью, т.е. решается проблема безусловной необходимости саморефлексии в рамках собственной дисциплины. Ведь именно ученые сами для себя являются главными и самыми жесткими критиками. Это особенно важно сегодня в условиях глубоких внутренних трансформаций гуманитарных знаний, “изменений интеллектуального ландшафта”, которые проявляют себя на фоне смены поколений ученых, интеллектуальных ориентаций в профессиональном сообществе, исследовательских парадигм, языка науки.

Для членов научного этнологического сообщества по-прежнему актуальной и приоритетной остается задача разработки стратегии упрочения идентичности антропологии/этнологии как науки. Важной составляющей этой программы должно стать осмысление в контексте постсоветского академического пространства прошлого, настоящего и будущего этнологического сообщества, саморефлексия в рамках собственной дисциплины. Успешный поиск в общественных науках требует особенно осмысленного подхода в применении методологии и исследовательских методов, но, прежде всего, критичного отношения к личности самого исследователя. Анализ истории науки показал, что в основе развития научного знания лежит не только накопление информации, но смена парадигм – методологических подходов, которые позволяют эту информацию получать. Пример тому – международное антропологическое сообщество, в котором исследование того, как происходит исследование, довольно давно превратилось не просто в популярное научное направление, но и в очень влиятельное, во многом определяющее моды на концепции, структуру научной работы, ее язык и даже стиль.

Важную роль в развитии обсуждаемого исследовательского направления имеет также ставка на междисциплинарный научный подход. Бесспорно, что исследование многих современных проблем требует систематической междисциплинарной кооперации всех наук о человеке и обществе и сравнительно-исторического их изучения. Для того, чтобы наша наука соответствовала реалиям времени и была востребована современным обществом, круг её исследовательских проблем может и должен обновляться. Вместе с тем, именно грамотное использование междисциплинарного подхода способно даже в многократно клонированной тематике высветить и исследовать новые, актуальные проблемы. Расширение границ традиционной этнографии и сближение ее со смежными науками – тенденция современ-

ного познания мира. Совершенно очевидно, что междисциплинарный подход к исследованию многих научных проблем, в том числе и в области антропологии академической жизни, весьма перспективен, и на сегодняшний день в этнографических/этнологических исследованиях он приобретает особую актуальность.

ЛИТЕРАТУРА

ААЖ 2008 – Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии. Т.1. Отв. ред. и сост.- Г.А. Комарова. М., ИЭА РАН, 2008. 300 с.

ААЖ 2010 – Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования. Т.2. Отв. ред. и сост. - Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2010. 333 с.

ААЖ 2013 - Антропология академической жизни: традиции и инновации. Т. 3. Отв. ред. и сост. - Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2013. 380 с.

Абашин 2010 – Абашин С.Н. Рец. на: Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии/ Отв.ред. и сост.- Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008// Этнографическое обозрение. № 2: 163-166.

АФ 2005 - Антропологический форум. Специальный выпуск к VI КЭАР. СПб., С. 225. Антропологический форум. СПб., № 10:9-178.

АФ 2011 – IX КЭАР: впечатления участников // Антропологический форум 2011. № 15: 475–597. <(http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/15online/>)

Боряк 2009 – Боряк Е.А. Рец. на: Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / Отв. ред. - Г. А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2008. 300 с.// Антропологический Форум. 2009. № 11:453-459.

Елфимов 2008 – Елфимов А.Л. О дисциплине, авторитете и прочем// АФ.2008. № 9:90).

Кон 1993 – Кон И.С. Несвоевременные размышления на актуальные темы // Этнографическое обозрение, № 1: 3-8.

Корякин 2009 – Корякин К.В. Рец. на: Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / Отв. ред. и сост. - Г.А. Комарова. М., ИЭА РАН, 2008// Неприкосновенный запас. 2009. № 6 (68).

Комарова 2008 - Комарова Г.А. Антропология академической жизни в постсоветском контексте/ Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии. М.: ИЭА РАН, 2008: 5-25.

Комарова 2011 – Комарова Г.А. Антропология академической жизни как практика этнографического описания и этнологического понимания // Антропология социальных перемен. Отв. ред.- Г.А.Комарова, Э.-Б. Гучинова. М., Росспэн. 2011. С.11-34.

Комарова 2012 – Комарова Г.А. Опыт интеграции: междисциплинарное взаимодействие этнографии и этносоциологии. М.: ИЭА РАН, 2012.

Комарова 2012 – Комарова Г.А. Академическая жизнь: поле междисциплинарных исследований. М.: ИЭА РАН. 2012.

Кузнецов 2010 – Кузнецов А.А. «Андропарки» как объект антропологического изучения (опыт исследовательской саморефлексии) /ААЖ: междисциплинарные исследования. М., ИЭА РАН. 2010:186-214.

Мамонтова 2013 - Мамонтова М. Рец. на: Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования. Т. 2 / Отв. ред. и сост. - Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2010. 333 с.// Антропологический форум. 2013. № 15.

Рахимов 2013 – Рахимов Р. Рец. на: Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования. Т. 2 / Отв. ред. и сост. - Г.А. Комарова. М.: ИЭА РАН, 2010. 333 с.// Ab Imperio. 2013. № 2: 354-359.

Романов, Ярская-Смирнова 2000 - Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Этнографическое воображение в социологии//ЭО, № 2:18-26.

Щепанская 2005 – Щепанская Т.Б. Конструкции гендера в неформальном дискурсе профессий/Антропология профессий. Под ред. П.В.Романова и Е.Р.Ярской – Смирновой. Саратов: Центр социальной политики и гендерных исследований. Научная книга.

Aunger 1995 – Aunger R. On Ethnography. Storytelling or Science? //Current Anthropology. Vol.36. No.1. 1995: 97-130.

Geertz 1983 - Geertz Clifford. Local Knowledge. : Further Essays in Interpretive anthropology. New York: Basic Books.

Sangren 2007 – Sangren P.S. Anthropology of anthropology: Further reflections on reflexivity //Anthropology Today, v.23, № 4.

Соколовский С.В.

РОССИЙСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: субдисциплины и междисциплинарные связи

Целью этой статьи является краткая характеристика современного положения и структуры российской этнологии/антропологии (наличия в ней специализаций, полуавтономных исследовательских областей и субдисциплин), с одной стороны, и междисциплинарных связей, выделяемых на основе

распределения плотности цитирований, – с другой. Решение этих несложных в методическом отношении задач позволяет увидеть как новые и развивающиеся направления исследований, так и существующие проблемы в развитии дисциплинарного знания и наметить некоторые пути их разрешения.

С появлением российской электронной библиотеки e-library и ростом объема коллекции ее публикаций, превысившим к моменту написания этого текста 19,8 млн единиц (включая статьи, монографии, рукописи диссертаций, доклады на конференциях и научные отчеты), появилась возможность количественной оценки развития различных исследовательских направлений в рамках российской антропологии и ее сравнения с соседними гуманитарными и социальными дисциплинами. Поскольку анализ ландшафта цитирований в отношении дисциплины в целом уже был осуществлен в другой работе (Соколовский 2014), здесь я лишь кратко представлю его результаты и попытаюсь сделать следующий шаг, анализируя менее сильные связи цитирований и влияния как между отдельными направлениями или школами, так и на уровне отдельных центров или исследовательских сетей.

Рассматриваемая журнальная база относительно молода и непрерывно растет, в силу чего абсолютные показатели цитирований и ранговые показатели в пределах небольшого “диаметра соседства” (соседние 5-7 человек или организаций в соответствующих таблицах) также быстро меняются, однако уже накопленный в базе объем данных делает ранговые изменения в пределах, например, первой сотни авторов, организаций или публикаций (или второй сотни и т.д.) незначительными и позволяет с известной степенью надежности охарактеризовать основные тенденции и структуры (наличие специализаций, составы групп лидеров и аутсайдеров и т.п.). Известно, что сравнение уровней цитирования лучше всего производить в рамках одной дисциплины или среди таких дисциплин, профиль которых близок по таким критериям как манера цитирования (наличие у “средней статьи” многих или относительно небольшого числа соавторов и большого или небольшого размера библиографии), величина дисциплинарного сообщества, количество профильных журналов и их объем и периодичность и проч. В этом отношении сравнивать положение субдисциплин в рамках одной гуманитарной дисциплины или социальной науки в методологическом отношении правильнее, нежели сравнения соседних дисциплин, а сравнение соседних наук правильнее, нежели далеких и мало связанных предметом или методов исследования.

Предварительный анализ цитирований и сравнение их частот с уровнями цитирования антропологических работ в международных базах данных позволил разграничить весь массив публикаций на такие подклассы, как *влиятельные* (20-50 и более цитирований для статей; 50-100 и более – для монографий), *средне-успешные* (10-19 цит.) и просто

цитируемые (1-9 цит.). Эти классы не произвольны – их границы определены в результате сравнения уровней цитируемости не только у российских антропологов, но и в международных журнальных базах¹, что позволяет утверждать, что уровень в 50 цитирований, если речь идет о журнальных публикациях, является признаком успеха для антропологической статьи в мире в целом, и если и перекрывается, то по причинам не столько собственно научного влияния конкретной работы, сколько из-за внешних обстоятельств, например, благодаря включению статьи в список обязательного чтения в университетских вводных курсах по антропологии. Такого рода дополнительные факторы успеха сравнительно легко устанавливаются при рассмотрении веера цитирований конкретной статьи в любой базе журнальных статей или специализированной поисковой Интернет-службе, подобной Google Scholar.

Выделенные классы цитирований антропологических исследований могут быть представлены в случае любой конкретной национальной традиции или мирового антропологического сообщества в целом в виде картосхем, связывающих цитирующих и цитируемых авторов внутри каждого из этих классов и между ними.² Результат построения серии отдельных картосхем для каждого из классов цитирований можно затем представить в виде 3D-схемы (планарного графа с трансверсалиями, отображающими связи между каждой из карт, построенных для 3-4 заданных диапазонов цитирований). Такая схема в принципе способна отразить все значимые связи и влияния в рамках отдельной дисциплины или нескольких граничащих дисциплин, определить на основе оценки плотности этих связей границы конкретных направлений и текущей научной проблематики и визуализировать структуру дисциплины в таких ее аспектах, как число и содержание

¹ Известно, что в журналах, входящих в Web of Science, более 50 цитирований набрали лишь 180 работ под рубрикой “Антропология”. Следует помнить, что по американской традиции в антропологию включены археология, биоантропология и этнолингвистика, и преобладающая часть этих работ пришлось как раз на биомедицинскую антропологию и археологию, а число исследований по социально-культурной антропологии среди наиболее цитируемых публикаций едва превышает десяток.

² Попытка отразить все связи на единой схеме, размещаемой на стандартной странице, привела бы к снижению ее полезности как средства визуализации данных из-за плотности и недифференцируемости отображаемых связей при размере сообщества более сотни членов, так что картографу все равно пришлось бы прибегнуть к процедуре отбора наиболее влиятельных публикаций или авторов, устанавливая и выбирая те или иные критерии влияния из семейства наиболее используемых индексов цитируемости.

наиболее влиятельных направлений, фокусов исследований и т.п. Однако реализация такого картографического проекта не только требует значительных временных и программных ресурсов, но и сложна для представления на плоскости, во всяком случае, если иметь в виду книжную страницу наиболее распространенного формата. Более простым способом визуализации является построение серии картосхем для каждой из предварительно выделенных и относительно самостоятельных областей исследований или проблемных полей, охватывающих, например, большинство ныне работающих российских антропологов (в случае «малолюдных» субдисциплин и направлений возможно также совмещение картограмм нескольких связанных взаимными цитированиями субдисциплин в одной картограмме).

Отражение динамики исследовательских интересов в зеркале цитирований, разумеется, имеет специфику и ряд присущих ему искажений и странностей, замеченных многими критиками этих индексов как инструмента измерения научной продуктивности. Цитирование само по себе отражает существенно разные отношения и аспекты психо(пато)логии академической жизни: от верности учителю – до желания услужить администрации, от скрупулезного отслеживания истории идеи – до школярского воспроизведения плохо переваренных чужих высказываний, наконец, от полного приятия и поддержки конкретного тезиса – до его полного отрицания и сокрушительной критики. Индекс цитирования таким образом отражает лишь сам факт цитирования, нередко даже – не факт прочтения оригинального текста от начала до конца или вообще знакомства с ним. Тем не менее, он полюбился чиновникам от науки за простоту и возможности, так сказать, арифметического сравнения: цитируют больше, значит, и авторитет, и влияние выше. Необходимо отметить, что на заре использования индексов цитирования в библиометрии Гарфилд и Шер продемонстрировали высокую корреляцию между цитируемостью работ и их влиятельностью (Garfield, Sher 1963), подтвердив первоначально полученные результаты ретроспективными исследованиями влияния публикаций нобелевских лауреатов. В 1960 г. Гарфилд основал Институт научной информации, который спустя тридцать лет был приобретен корпорацией Thomson Scientific (слившейся впоследствии с международным агентством новостей Reuters), поставившей, среди прочего, библиографические услуги: институт, еще до его поглощения международными корпорациями, публиковал ежегодные отчеты цитируемости научных журналов, на основе которых был создан сначала международный научный рейтинг

(Science Citation Index – SCI; в интернет-версии – Web of Science, WoS), а затем и отдельные инструменты для оценки работ по социальным наукам и гуманитарным дисциплинам (Social Sciences Citation Index – SSCI; Arts & Humanities Citation Index – A&HCI, или Arts & Humanities Search). SSCI на сегодняшний день охватывает около 2 500 журналов по социальным наукам, позволяя сравнивать по индексам цитируемости статьи, авторов, журналы, издательства и целые направления исследований или страны. Международные базы, подобные SCI и SSCI или Scopus (база издательства Elsevier), обладают, однако, недостатками. Главным из них является ориентация на англоязычные публикации, из-за чего в отдельных случаях до 80-90% научной продукции неанглоязычных стран оказываются за рамками того массива, на основе которого сравниваются и оцениваются их научные уровни или степень развития отдельных направлений. Вторым из отмеченных критиками недостатков являются сами критерии отбора журналов как “ведущих” и “научных”. Применяемые сегодня критерии маргинализуют как новые журналы, не успевшие стать частью академического истеблишмента, так и журналы прикладные (стало быть, по суждению неизвестных судей – “недостаточно академические”). Третьим, и как мы скоро убедимся, весьма существенным недостатком, к тому же, в отличие от двух первых носящим не столько социологический, сколько методологический характер, является ориентация при учете научной продуктивности исключительно на журнальные статьи, что приводит к парадоксальным показателям, когда автор одной статьи может иметь более высокий показатель цитируемости, чем автор десятка широко цитируемых книг, просто потому, что последние в международных базах не учитываются. Четвертым ограничением является невозможность на основе исключительно этих показателей оценить качество исследования, хотя бюрократы склонны использовать эти показатели из-за их доступности, относительной дешевизны и удобства. Критики упоминают также незаинтересованность чисто коммерческих организаций, каковыми являются и Thomson Reuters, и Elsevier и российская e-library, в развитии строго научных методов и стандартов оценки качества научных работ (Ramsden 2009), возможность недобросовестного манипулирования цитированиями (картельные сговоры между авторами и коллективами, нецитирование по личным мотивам), недоучет в ряде показателей соавторства и самоцитирования и проч. Некоторые национальные организации, учтя недостатки показателей цитирования, избрали иной путь для оценки эффективности научных

центров, создавая авторитетные международные комиссии (ср.: International Benchmarking Review 2006; Symposium 2011).

Ограничения использования показателей цитируемости для наукометрических исследований не столь драматичны: очевидно, что они не позволяют выстроить корректное кросс-дисциплинарное сравнение в рамках науки в целом, в особенности если речь идет о дисциплинах с разными традициями и стилями цитирования (например, физики и литературоведения) или о сообществах с существенно различающимися размерами. Тем не менее, сравнительные исследования показателей цитируемости (например, индекса Хирша) с опросами членов дисциплинарных сообществ об уровне и влиянии конкретных работ демонстрируют высокую положительную корреляцию результирующих оценок (Bornmann, Daniel 2005; Bornmann L. et al. 2008, Lovegrove, Johnson 2008; Moed 2005). Именно поэтому в библио- и наукометрии использование таких показателей при учете указанных оговорок представляется вполне допустимым.

Ссылочный ландшафт российской антропологии здесь будет использоваться в качестве лишь одного из возможных источников для уяснения положения дисциплины, не наделяемых особым авторитетом или исключительным значением. Чтобы корректнее сравнивать положение даже соседних дисциплин, необходимо учесть стили и манеры цитирования, сложившиеся в разных дисциплинарных сообществах. Первое же, что бросается в глаза при их сравнении, – это разделение всех гуманитариев и представителей социальных наук на, условно говоря, “монографистов” и “журналистов”. В силу многих и очень разных причин (числа специализированных периодических изданий, размера сообщества, его демографической структуры и идеологических предпочтений) в памяти и на полках домашних библиотек представителей гуманитарных областей предпочтительное место занимают именно монографии³ (публикации в сборнике статей или материалов конференции относятся к наименее цитируемому жанру: ни одна из таких статей российских гуманитариев не достигла порога в 100 цитирований (некоторым исключением являются статьи, опубликованные до 1991 г., однако и они никогда не достигают по-

³ К “монографистам”, судя по индексам цитирования в РИНЦ, относятся российские философы, психологи, филологи, историки, часть археологов (главным образом московские) и этнологи/антропологи; на цитирование журнальных публикаций ориентированы экономисты и социологи и часть археологов (Петербурга и Новосибирска).

казателей цитируемости монографий⁴). Более подробные сведения о высокоцитируемых антропологических публикациях приведены ниже в *Табл. 1*. Представленный в ней перечень публикаций российских антропологов с порогом цитируемости выше 200 состоит исключительно из монографий (ни одна из журнальных публикаций не сумела набрать сравнимого количества цитирований). Одного этого обстоятельства достаточно, чтобы утверждать, что в случае дисциплинарных сооб-

⁴ В мировой литературе ситуация с цитированием антропологических статей отличается мало: по данным WoS лишь около 80 статей, опубликованных в период с 1900 по 2013 гг., достигли порога в 100 цит. Сравнение уровней цитируемости в российских гуманитарных дисциплинах позволяет утверждать, что малочисленные сообщества (психологи, археологи, этнологи/антропологи) довольно успешно конкурируют с более многочисленными (экономистами, филологами), несколько отставая при этом от историков, и весьма существенно – от лингвистов. Однако если по отношению к другим гуманитарным дисциплинам российская антропология занимает “срединное положение”, то в отношении естественных и технических наук, на которые расходуется львиная доля ресурсов, выделяемых на научные исследования в стране, так и в отношении к глобальному рынку научных знаний, вклад и влияние российских антропологов (как и российских обществоведов вообще) остаются маргинальными (ср.: Гельман 2008, Vakhshayn 2012). Авторы обзоров в смежных дисциплинах полагают, что ситуацию в них можно охарактеризовать либо как стагнацию, либо как недостаточно быстрое «догоняющее» развитие, что обуславливает периферийное положение этих дисциплин при сравнении с их аналогами в Европе и США. Ср., например, такие высказывания: отечественная социология погружена в «пережевывание тем трансформации, стратификации, “постсоветского” человека и советского наследия» (Вахштайн 2011); «социология в поисках своего теоретического основания, объяснительных схем и моделей вынуждена сегодня обращаться либо к философии, либо к таким смежным дисциплинам, как теория литературы, лингвистика и другие» (Вахштайн 2010); «политологическое сообщество в России пребывает примерно в том же состоянии, что культурологическое, то есть – в ... деградации ... на уровне нормальной, настоящей научной теории в политологии не делается совсем или почти совсем ничего; количество квалифицированных политологов исчисляется на пальцах, ... сообщество крайне разобщено ...» (Кузьмин 2009). Сокращение государственных расходов на «неприбыльный сектор» образования и науки, произведенное в России в начале 1990-х гг., привело к падению качества образования и потере целого поколения удовлетворительно подготовленных студентов, которое могло бы пополнить исследовательские центры. Преодоление периферийного характера наших дисциплин, по мнению экспертов, возможно лишь за счет более масштабного финансирования (Соколов 2008) и коренной перестройки институциональной среды научного сообщества; ограничение косметическими изменениями повлечет лишь дальнейшую стагнацию (Гельман 2008).

ществ, ориентированных на цитирование монографий, импакт-фактор, рассчитанный лишь на основе цитируемости статей, будет серьезно искажать существующие в сообществе влияния.

Таблица 1. Высокоцитируемые работы российских антропологов по данным e-library*

Автор	Работа	Цит.
Тишков В.А.	Реквием по этносу. М., 2003	606
Байбурин А.К.	Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993	579
Тишков В.А.	Очерки теории и политики этничности. М., 1997	456
Тишков В.А.	Этнология и политика. М., 2005	258
Байбурин А.К.	Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983	235
Бабич И.Л.	Эволюция правовой культуры адыгов. М., 1999	228
Бобровников В. О.	Мусульмане Северного Кавказа. М., 2002	224
Тишков В.А.	Общество в вооруженном конфликте. М., 2001	205

* В перечень включены только работы с > 200 цитированиями (по состоянию на ноябрь 2014 г.) действующих сотрудников научных коллективов.

Сравнение уровней цитируемости в российских гуманитарных дисциплинах позволяет также утверждать, что относительно малочисленные сообщества (психологи, археологи, этнологи/антропологи) довольно успешно конкурируют со своими более крупными соседями – экономистами, филологами, несколько отставая при этом от историков, и весьма существенно – от лингвистов.

Картографирование связей цитирования в антропологических дисциплинах. Идея картографировать влияния внутри дисциплины и между дисциплинами на основе визуализации цитирований не нова. В научной библиометрии она используется, по меньшей мере, с середины 1970-х гг. (Small, Griffith 1974). Сегодня крупные журнальные базы данных обычно располагают автоматизированными средствами анализа цитирований и визуализации результатов такого анализа (например, в системе WoS существует сервис Web of Knowledge с соответствующими возможностями).

Относительно небольшой размер сообщества российских антропологов и в большинстве случаев невысокие уровни цитирования их работ позволили избежать применения сложных алгоритмов. В основу анализа сильных связей цитирования и картографирования влияний в российской антро-

пологии, трактуемой институционально (антропологами считались все те, кто работает в институтах, центрах и на кафедрах этнографии/этнологии/социально-культурной антропологии) была положена концептуализация М.А. Розова (Розов 2008) и идеи Г. Гарда о волнах подражания. Алгоритм построения картосхемы заключался в следующем: 1) отбор наиболее цитируемых работ, с показателями выше заданного порога цитируемости по данным РИНЦ (по состоянию на ноябрь 2014 г. – т.е. времени анализа соответствующих материалов и написания этой статьи), каковых оказалось не очень много; 2) анализ частоты цитирований тех статей и монографий, которые ссылаются на вошедшую в первую выборку часто цитируемые труды и, в свою очередь, набирают определенное число цитирований. Метафора волны здесь становится очевидной – брошенная идея или концепция либо, как камень, тонет без всплеска, либо порождает волну цитирований, а скорость угасания этой волны напрямую зависит от того, цитируются ли в свою очередь те работы, которые процитировали исходную, и чем короче эта эстафета, тем, стало быть, короче и период влияния исходной работы. Из второго круга работ, цитирующих исходные, были отобраны только те публикации, которые в свою очередь цитировались не менее 10 раз. Авторов, которые столь успешно распространяли какие-то утверждения из часто цитируемых работ, можно отнести к т.н. мультипликаторам, а связи между ними и авторами наиболее высоко цитируемых работ – сильными связями. Остается положить эти связи на схему и проанализировать полученную картосхему сообщества. У какой-то части часто цитируемых авторов, несмотря на общее высокое число цитирований, мультипликаторов практически не оказалось; вместо этого их работы цитируются широкой массой исследователей разных специализаций, статьи которых либо не цитируются вовсе, либо не набирают цитирований выше заданного в схеме порога (т.е. > 10 цит.). Понятно, что при этом значительная часть цитирований (ниже заданных порогов) не нашла отражения на схеме. Однако логика социальных эстафет поддерживает избранный здесь метод – быстро угасающие эстафеты обычно интерпретируются как эфемерные и краткосрочные.

Картографирование позволяет также визуализировать междисциплинарные связи и тяготение конкретных авторов к проблематике соседних дисциплин. Здесь логика такова: если автора часто цитируют именно коллеги из соседней дисциплины, значит, его идеи им близки, и, стало быть, он сам работает в близкой им проблематике. Полученная

в результате описанных выше процедур схема позволяет представить общую ситуацию в дисциплине и некоторые тенденции ее развития (см. Рис. 1). Плотность связей цитирования (или их практически полное отсутствие между некоторыми областями) с очевидностью демонстрируют, что на сегодняшний день, если пока не вдаваться в частности, большинство российских антропологов специализируется на исследованиях в двух слабо связанных между собой проблемных полях. Одно из них представляет собой исследования национальной политики (включая ее правовое регулирование) со всеми сюжетами и специализациями, существующими в этом поле, в том числе изучение т.н. межэтнических отношений, национализма и нациестроительства, этнической категоризации, конфликтов, толерантности и т.п. Другая часть занята более традиционными для этнографии сюжетами – обычаями и обрядами, исследованием мифологии и традиционных представлений, современных и классических жанров фольклора. При этом еще едва ли не половина из наиболее часто цитируемых сегодня авторов, являющихся сотрудниками антропологических институтов и кафедр, работает в смежных областях – социологии, истории и гендерных исследованиях, социальной психологии, биоантропологии, то есть за границами той проблематики, которую мы привыкли относить к собственно этнологической или социально-антропологической.

Если рассматривать дисциплину как единое эпистемическое сообщество, то полученная карта цитирований позволяет выдвинуть, по меньшей мере, две интерпретации современного состояния дисциплинарного знания в российской антропологии. В соответствии с первой можно постулировать глубокий раскол сообщества и его распадение на по сути две самостоятельные дисциплины – *прикладную политическую этнологию* (Рис. 2), с одной стороны, и *этнографическую фольклористику* (Рис. 3) – с другой. В соответствии со второй гипотезой мы сталкиваемся здесь с ситуацией перехода дисциплинарного знания в новую конфигурацию знания проблемно-ориентированного (с соответствующей специализацией его носителей, все меньше обращающих внимание на дисциплинарные перегородки). Некоторые дополнительные аргументы в пользу той или иной интерпретации мы сможем получить, рассмотрев другие аспекты публикационной практики, например, политику журналов. Однако прежде чем обратиться к анализу периодических изданий, публикующих работы по этнологии/антропологии, рассмотрим внутреннюю структуру каждой из этих двух крупных областей.

Помимо названных выше двух крупных специализаций российское антропологическое сообщество распадается на несколько независимых сетей, фокусирующихся на отдельных, хотя и связанных между собой, предметных полях и опирающихся на различные методы исследований. Число таких субдисциплин или проблемно-тематических специализаций в рамках российской антропологии в целом (если не учитывать малочисленные сообщества с 10-15 исследователями, изучающими узкие проблемы), вряд ли превышает полтора десятка. Ниже будут приведены краткие описания современного состояния исследований в соответствующих субдисциплинах⁵.

Среди более многочисленных и традиционных для российского случая направлений антропологических исследований или субдисциплин выделяются следующие: этнографическая фольклористика, этнографическое регионоведение, физическая или биоантропология, исследования этнической истории и этногенеза (включая т.н. этноархеологию) и история науки (этнографии, этнологии, антропологии). Все эти направления плюс юридическая антропология (субдисциплина, которая имеет своим истокам дореволюционные исследования в области антропологии права, но почти не развивавшаяся в период 1930-70-х гг.) можно отнести к первой волне дифференциации и специализации антропологического знания. В 1970-80-е гг. к ним присоединились этнодемография, этносоциология, этногеография, этнопсихология и этнопедагогика, этнополитология и городская антропология. На третьем этапе, в конце 1980-х – начале 1990-х гг., свое институциональное воплощение в виде исследовательских специализаций и центров получили этнополитология, этноконфликтология, этногендерные исследования, медицинская, экономическая и визуальная антропология. Сегодня мы становимся свидетелями и участниками четвертой волны в развитии структуры антропологического знания, хотя вести речь об институциональном оформле-

⁵ Объем статьи не позволяет сколько-нибудь подробно остановиться на всех выделенных специализациях, но поскольку для отдельных направлений исследований и этапов развития науки соответствующие обзорные работы уже существуют, представляется достаточным в этих случаях лишь отослать читателя к соответствующей литературе (ср. например: Мартынова 2014; Тишков 1992, 2002, 2003; Тишков, Пивнева 2010) и остановиться чуть подробнее лишь на тех субдисциплинах, где таких обзоров нет или они устарели, поскольку не отражают сегодняшних изменений.

нии таких новых для России направлений, как антропология организаций, бизнеса, спорта, медиа, технологий и науки, моды, досуга, пока еще рано (на сегодняшний день в отношении этих областей исследований можно говорить лишь о появлении диссертационных работ, авторских коллективов и первых публикаций). Ниже будут кратко охарактеризованы наиболее влиятельные и развивающиеся направления из перечисленных выше.

Политическая антропология и этнополитология, охватывающие исследования национальной политики, национализма, государственного устройства (главным образом различных форм этнофедерализма и мультикультурализма), политики идентичности, языковой и культурной политики, этнических конфликтов и т.п.). Это наиболее многочисленная, хотя и слабо координированная междисциплинарная область исследований, в которой работают, помимо этнологов/антропологов, также философы, политологи, социологи, историки, конфликтологи, социальные психологи, географы, демографы и представители еще десятка дисциплин и специализаций, которые используют концептуальный аппарат и методы всех перечисленных областей социогуманитарного знания. Поскольку координация и попытки синтеза конкурирующих в этой области описаний и фрагментов тезаурусов различных дисциплин практически отсутствуют, эта гетерогенная смесь знаний разных типов в российском случае пока не привела к теоретически убедительным обобщениям и скорее обслуживает интересы государства (включая гео- и внутреннюю политику) и местных национальных элит, нежели представляет собой самостоятельный локус производства знаний об обществе. Помимо обслуживания интересов политических элит исследователи, специализирующиеся на политико-антропологической проблематике, выполняют весьма важную роль адаптации новых концепций, разрабатываемых в мировой политической антропологии и философии политики. Чрезвычайно важный для нормального функционирования национальной традиции исследований трансфер знаний порождает, однако, не только положительные следствия. Его нормальное функционирование требует значительных и регулярно обеспечиваемых интеллектуальных и финансовых ресурсов, и хотя сегодня интернет облегчает доступ к знаниям в любой из перечисленных областей, растущие цены на бумажные издания и доступ к электронным журнальным базам, как и сохраняющийся языковой барьер между русско- и иноязычными исследователями, регулярно воспроизводят ситуацию гетерохронности знания, при которой устаревшие концепции регулярно ис-

пользуются вместе со значительно пересмотренными и обновленными подходами. Заимствования из других национальных традиций с их собственными концептуализациями, методами и тезаурусами, кроме вполне очевидной полезности, воспроизводят ситуацию отставания, при которой российская антропология в целом (и рассматриваемая здесь область этнополитических исследований – в частности) оказывается в положении, зависимом от внешних для нее референтных центров. Исключением в рассматриваемой здесь области исследований является лишь сугубо прикладное знание (медиация конфликтов, технологии переговорных процессов, исследования электоральных стратегий с учетом этнической идентичности электората и т.п.), которое быстро проверяется на практике, обеспечивающей отбор эффективных моделей и методов и отбраковку неэффективных. Связи цитирования в этой мозаичной и междисциплинарной области вполне ожидаемым образом объединяют членов антропологического сообщества с представителями перечисленных выше смежных наук.

Несмотря на конкретность и прикладной во многих случаях характер проводимых в данной области исследований, удельный вес обобщений, построенных на полевых материалах и наблюдениях в ней, остается невысоким по сравнению с анализом статистических сведений, прессы, архивов и прочих источников непрямого наблюдения. По этой причине многие из делаемых в ней обобщений носят схоластический и кабинетный характер. Развитие этой субдисциплины сегодня зависит не столько от обобщений высокого уровня и макротеорий, сколько от скрупулезного изучения низовой политики идентичности и микрополитических ситуаций, в которых происходят не только изменения социальных идентичностей, но и их наложения, взаимодействия, переключения регистров, взаимодействие местных, региональных и глобальных факторов, влияющих на эту политику. Документирование такого рода изменений требует новых методов наблюдения и способностей регистрировать подробности, прежде ускользавшие от регистрации наблюдателем/участником подобных процессов и событий. Полевые исследования микрофизики власти и функционирования ее различных видов в специфических институциональных средах также могли бы способствовать развитию политической антропологии. Эту субдисциплину обогатил бы также более решительный поворот к современным концепциям политического членства и действия и их изучению.

Развитие **традиционной этнографии, фольклористики и этнографического религиоведения** (исследования традиционной культуры и фоль-

кultura народов России и сопредельных государств, традиционных и современных ритуалов и обычаев, культурного наследия, исследования субкультур, в том числе профессиональных и конфессиональных и т.д.) уже достаточно подробно проанализировано в ряде обзоров и дискуссий (см., например, дискуссии в «Антропологическом форуме» – «Этнографические музеи сегодня» в №6, 2007, а также материалы форумов в № 1 и № 20 этого журнала), поэтому здесь рассматриваться не будет. Проблемы этих тесно связанных между собой областей хорошо известны: кризис традиции и традиционной культуры как основных объектов этих субдисциплин заставил исследователей обратить особое внимание на динамику культуры, ее трансформации, появление новых фольклорных форм и жанров, изобретение новых ритуалов и культов, включение в орбиту внимания не только сельского, но и городского населения (см. ниже раздел о городской антропологии). Однако, если семиотическое направление в рамках этой обширной области исследований успешно развивалось, российские исследования материальной культуры, вопреки настоящей революции, произошедшей в этой сфере благодаря работам Б. Латура и его коллег, остались на прежнем описательном уровне (см. материалы дискуссии в АФ № 24, 2015, специально посвященной этой проблеме).

Исследования в областях *этнической истории, этноархеологии* и проблем *этногенеза* также традиционно относились к ядру этнологического знания, однако с критикой и кризисом советских вариантов концепции этноса они были оттеснены на его периферию и сегодня разрабатываются в основном при поддержке региональных национальных элит, подпитывая идеологию различных местных национализмов с их стремлением удревнить происхождение народа (см. критику этногенетических построений и этнической атрибуции в археологии в сборнике «Этничность в археологии или археология этничности?» Челябинск, 2013).

Этнографическое регионоведение и компаративистика, включая этнографическое востоковедение, африканистику, сибиреведение, исследования Поволжья, Средней Азии и Кавказа и др. регионов мира, также относятся к старейшим специализациям в рамках этнографии/этнологии/антропологии. Обзоры по истории дисциплины, одно перечисление которых заняло бы все оставшееся место, традиционно уделяют этому разделу основное внимание именно потому, что этнографическая компаративистика и региональные специализации составляли историческое ядро этнографии как научной дисциплины, а также в силу того очевидного обстоятельства, что представления об этнографи-

ческих исследованиях неразрывно связаны с идеей исследований в поле. Этнографическое полевое исследование, разворачиваясь в пространстве, всегда имеет пространственно-географические координаты, и поэтому, даже когда не замышляется как региональное, оказывается источником важных сведений о региональной специфике. В силу этого все ведущие российские академические центры, в которых работают сколь-нибудь значительные коллективы антропологов (Институт востоковедения, Институт этнологии и антропологии РАН, Кунсткамера), имеют в своем составе научные подразделения, специализирующиеся на исследованиях в конкретных регионах мира. Помимо традиционных для этой субдисциплины дискуссий о смысле и содержании понятия этнографический регион (см. последнюю дискуссию на эту тему применительно к этнографическому районированию и границам Кавказа в журнале «Этнографическое обозрение», №5, 2013), это направление сохраняет богатый потенциал для инноваций за счет документирования, анализа и соответствующего осмысления бурных перемен в культурах и обществах, происходящих сегодня в различных регионах мира.

Юридическая антропология или антропология права (исследования национальной политики с позиций ее правового регулирования, положения с правами коренных народов и меньшинств, законодательства в области языка и культуры, обычного права, традиционной культуры) также относится к числу немногих антропологических дисциплин, основы которой были заложены еще в XIX веке, однако в советское время число исследований в этой области драматически сократилось, и эта субдисциплина, если говорить об истории российской юридической антропологии, стала восстанавливаться лишь с 1990-х гг. Основным предметом изучения в ней остается обычное право, хотя регулярное участие российских антропологов в законодательном процессе позволяет отметить специфику ее роли и положения в рамках мировой антропологии права или по сравнению с другими национальными традициями (материалы всемирных конгрессов по прикладной антропологии свидетельствуют, что практически нигде более антропологи не оказывают столь тесно вовлеченными в деятельность законодателей на разных уровнях законодательной власти, ограничиваясь консультированием местных сообществ и критикой).

Еще одной из старейших специализаций является *биологическая* или *физическая антропология*, в которую сегодня в силу близости некоторых из методов исследования и, отчасти, проблематики входит и *медицинская антропология*. Поскольку

проблематика этих областей остается чрезвычайно широкой (она включает исследования происхождения человека, этнологию человека, генетико-антропологические исследования, соматологию, краниологию, дерматоглифику, эволюционную антропологию и ряд других специализаций), постольку в ее разработке участвуют не только антропологи, но и генетики, физиологи, биологи и медики. Институционально оформившаяся в середине 1990-х гг. медицинская антропология не является, строго говоря, абсолютно новой дисциплиной для отечественной традиции исследований. Речь в этом случае нужно вести о новом, или, скорее, обновленном разделении труда: этнографы и прежде уделяли внимание т.н. народной медицине, целительству и ритуалам врачевания, а медики, в особенности специализирующиеся в области социальной гигиены и эпидемиологии, вели исследования практически по всему спектру проблем, входящих в современную медицинскую антропологию. Появление среди этих специалистов антропологов в российском случае пока не изменило характер исследований сколько-нибудь существенно, поскольку для полноценного синтеза всего корпуса этнографических знаний об обычаях разных народов, существенных для охраны здоровья, с одной стороны, и соответствующих медицинских знаний, с другой, требуется время.

Этносоциология – пограничная между этнологией и социологией дисциплина, оформившаяся у нас в 1970-е-1980-е гг., оставаясь пока относительно многочисленной (главным образом за счет социологов, организующих опросы по различным аспектам т.н. межэтнических отношений и социальной структуре этнических сообществ) в последнее время и институционально и идеологически все больше сближается с социологией и, отчасти, политическими науками и социальной психологией. Основным и до сих пор неизжитым ее недостатком остается не всегда оправданная этнизация самого предмета исследований, аналитическое наделение этнических сообществ функциями, которые в сущности, являющимися как экономическими, так и политическими. Поскольку обзоры с оценкой современного состояния этой субдисциплины опубликованы сравнительно недавно (см.: Этносоциология в России: научный потенциал в процессе интеграции полиэтнического общества. Казань, 2009; форум «Антропология и социология в АФ, №16, 2012), здесь нет необходимости рассматривать его подробно.

Слабая институализация **городской антропологии** в ее российском варианте вполне очевидна: в России пока нет исследовательских центров, журналов, или университетских кафедр, специализи-

рующихся исключительно на исследованиях и публикациях в этой области. Тем не менее, начальные шаги сделаны уже давно: появляются специальные выпуски академических журналов (ср., например, дискуссию в АФ «Исследования города», опубликованную в №12), вышло в свет немало монографий, посвященных городской антропологии, учреждены специальные книжные серии («Городская антропология» под ред. Ю.П. Шабаева), разработаны и читаются университетские спецкурсы, защищаются диссертации и, наконец, проводятся конференции, посвященные городской антропологии (ей был, например, целиком посвящен один из конгрессов российских антропологов). Все это свидетельствует о быстром развитии этой субдисциплины в России. Это развитие стимулируется по меньшей мере тремя факторами: нарастающей урбанизацией населения страны, как, впрочем, и планеты в целом, сокращением финансирования полевых исследований, вполне очевидно проявившим себя в 1990-е и 2000-е гг. и затруднившей доступ к далеким и экзотическим местам полевой работы в пользу более близких и, так сказать, сподручных, и, наконец, прогрессирующим демографическим старением академии, что обуславливает сокращение мобильности ее представителей и выбор поля, не требующего таких временных затрат и физических усилий, которых требует дальнейшее путешествие или продолжительная жизнь вне дома. Становлению городской антропологии как относительно самостоятельной области исследований помогла также, разумеется, т.н. «балканизация» социально-культурной антропологии, происходившая в 1960-80-е гг., когда не только в США, но и в России возникли десятки обособившихся от материнского мейнстрима направлений антропологических исследований, стремительно институализированных в качестве самостоятельных дисциплин, включая гендерную, когнитивную, медицинскую, прикладную, психологическую, символическую, экономическую, экологическую, юридическую антропологию, а также антропологию образования, развития, религии, старения и проч. Нужно, видимо, добавить, что в США среди университетских кафедр, имевших перечисленные выше специализации, городская антропология в начале 1980-х гг. была в числе наименее влиятельных субдисциплин, вопреки почти полувековому влиянию чикагской школы и двадцатилетнему развитию этой субдисциплины в качестве относительно самостоятельной области исследований. Этнография города советского периода весьма постепенно осваивала проблемное поле, разрабатываемое специалистами других наук, обнаруживая в новом для нее контексте уже знако-

мые по внегородскому полю объекты, отношения, практики, которые не требовали дополнительной концептуализации или принципиально новых теоретических объяснений. Основное внимание советских этнографов было приковано к детальному описанию бытовой культуры в ее этническом проявлении и каталогизации элементов культуры. Изучение города в 1950-60-е гг. было сосредоточено по преимуществу на изучении быта рабочих, считавшегося важным потому, что изменения в культуре рабочих рассматривались как своего рода мотор культурных преобразований общества в целом, а для понимания динамики культуры, на следующем этапе развития этнографии города (во второй половине 1960-х гг.) – для уяснения сущности этнических процессов – роль этого класса в соответствии с марксистской догмой считалась ключевой. Уместно также отметить, что объектами изучения чаще оказывались не добровольные ассоциации среди рабочих, как в случае американской антропологии с ее вниманием к политическим процессам, а рабочие коллективы конкретных предприятий или отраслей промышленности (соответствующая библиография приведена в: Будина, Шмелева 1989).

Города, воспринимаемые как “этноконтактные зоны”, были признаны в качестве очага «наиболее активных этнических процессов» (Покшишевский 1969). Такой методологический поворот существенно сблизил интересы этнографов и социологов, и уже в начале 1970-х гг. появились как социологические работы о быте горожан вообще (а не только горожан определенной национальности). Именно в этот период институционально оформилась этносоциология, ставившая на первых порах своей основной задачей «изучение этнических изменений в конкретных социальных группах и особенностей социальных процессов в различных этнических средах» (Дробижева 1976: 67-68; см. также: Комарова 2012). Поскольку естественным контекстом для наблюдения и изучения как социальных групп, так и социальных процессов считался именно город, то подавляющее большинство этносоциологических исследований осуществлялось именно в городах и среди городского населения.

Другим направлением, сближающим советскую этнографию города с некоторыми западными версиями развития городской антропологии, была эволюционистская и ориенталистская ориентация на изучение “неевропейских городов”. В случае советской этнографии это были древние городские центры Закавказья и Средней Азии (ср. работы О.А. Сухаревой о Бухаре – Сухарева 1958, 1962, 1976); в случае британской и американской антропологии – города и городское население в Африке,

Индии, Центральной и Южной Америке и в Индонезии (Southall 1973). Если еще в начале 1960-х гг. можно было, вслед за Ф. Бенетом утверждать, что большинство антропологов страдало агарофобией и были выраженными антиурбанистами (Benet 1963: 212), то именно в этом десятилетии происходил рост урбанизации в странах Третьего мира (Hannerz 1980: 1). В Европе в этот же период растущая трудовая миграция и феномен беженцев заставили антропологов и социологов заняться проблемами интеграции мигрантов. И поскольку основной поток миграции шел в города, именно это проблематика оказалась в центре внимания становящейся городской антропологии. В это же время в США растет популярность и происходит своего рода новое открытие со стороны антропологов тем этничности и нищеты, рассматривавшихся по преимуществу как городские феномены. У нас тема нищеты, как известно, была в советское время запретной: нищие могли существовать где угодно, но не в СССР. Все что могли этнографы – это обращать внимание в служебных записках, адресованных в правительственные органы и в отдел науки ЦК КПСС, на так называемые “социальные проблемы” (алкоголизм, нехватку определенных товаров и оборудования и т.п.), однако в таких случаях речь обычно шла о сельском коренном населении, а аналогичных проблем в городах этнографы не касались. Первые работы российских антропологов по этой проблеме появились в начале 2000-х гг. (Бутовская и др. 2001), а специализированная подборка о городских нищих была опубликована в журнале «Этнографическое обозрение» только в 2007 г., в ней, однако, исследовались не столько социальные истоки нищеты, сколько ее этнологический (ср.: Бутовская, Ванчатова 2007) и фольклорный аспекты (в скобках замечу, что российские социологи обратились к этой теме несколько раньше; ср., например: Голосенко 1996, Кудрявцева 2001).

Рассматривая особенности становления городской антропологии в ее американской версии, У. Ханнерз отмечает, что сосредоточенность на этнических анклавах и гетто автоматически означала фокусирование на социальных проблемах и превращение антропологии в прикладную дисциплину, помогающую решать проблемы социального обеспечения, здоровья населения, его трудовой занятости, образования, правовой защиты и т.п. (Hannerz 1980: 3; ср.: Нитобург 1968). Понятно, что от прикладного знания ожидать теоретических открытий не приходилось. В отличие от этого, в случае советской этнографии от этнографии города ожидалось если не новые теоретические открытия, то, во всяком случае, междисциплинарный синтез,

предоставляющий принципиально новый взгляд на динамику культуры. Эти ожидания не сбылись отчасти из-за внешних обстоятельств (политический кризис и распад СССР), отчасти из-за распространившегося скепсиса по отношению к большим теориям в социальных науках. Американская антропология города также не преодолела присущих ей изначально ограничений и недостатков и не смогла развить теоретический потенциал, обычно присутствующий при применении хорошо отработанных методов к новым для дисциплины объектам. Видимо, именно такое отсутствие новых теоретических результатов, несмотря на наличие значительного числа крепких профессиональных работ, привело к разочарованию в используемых в 1960-70-х гг. подходах, позволивших Р. Санджеку констатировать, что антропология города в версии того периода мертва (Sanjek 1990:154) – никто не желает исправлять ее ошибок и заполнять оставшиеся лакуны. Как и в случае американской субдисциплины (ср.: Sanjek 1990:152), в начальный период развития отечественной городской этнографии практически отсутствовала гендерная проблематика, не привлекали особого внимания особенности функционирования религии в городах или т.н. поп-культуры, миграция не рассматривалась в контексте изменений в национальной или глобальной экономике. Зато такое из отмечаемых Санджеком упущений как сосредоточенность на жизни в местных сообществах, в кварталах и гетто в ущерб исследованию рабочих мест и отношений на работе, в нашем случае благодаря развитию исследований культуры рабочих было отчасти восполнено (отчасти потому, что другим городским слоям и группам, или нерабочим специальностям практически не уделялось внимания; лишь в 2000-е гг. появилась серия работ по антропологии профессий, в числе которых видное место занимали исследования городских профессий; ср.: Профессии.doc 2007).

Вообще, можно отметить, что вплоть до середины 1980-х гг. этнография города в ее советской версии в методологическом и теоретическом отношении практически не отставала от городской антропологии в ее американском варианте, с естественной оговоркой, что у нас эта субдисциплина считалась инновационной, а в США рассматриваемый период – прикладной, без ожидания от нее особых теоретических обобщений. Отставание началось со второй половины 1980-х – начала 1990-х гг., когда налаженный международный информационный обмен стал давать сбои, в результате чего исследования Бирмингемского Центра современных культурных исследований (в частности, работы Пола Уиллиса, Дика Хебдиджа

и Анджелы МакРобби (см., например, Willis 1978, Hebdige 1979, McRobbie 1980) или Манчестерского Института популярной культуры, как и бурное развитие т.н. *cultural studies* в США долгое время оставались у нас плохо освоенными. Лишь сегодня исследование субкультур стало разворачиваться у нас в полную силу и оказалось едва ли не главным направлением развития российской городской антропологии и социологии города. Время, однако, оказалось отчасти упущенным, поскольку сегодня пришедший им на смену аппарат постсубкультурных исследований и критика понятия субкультура⁶ остаются среди российских антропологов слабо известными. Постсубкультурные объяснения очевидно “транссубкультурных” феноменов и событий коммуникации потребовали новых концептуальных ресурсов для объяснения эфемерных и постоянно меняющихся альянсов, мод, вкусов, пристрастий, хитов и всего того, что считается «прикольным» или «крутым» в нынешней культуре хэппенинга и флэш-моба. В поисках подходящего теоретического инструментария исследователи молодежи обратились к работам Пьера Бурдьё (с его концепциями вкуса и стиля как форм символического капитала; ср.: Bourdieu 1994), Джудит Батлер, которая творчески использовала идею перформативности для понимания динамики формирования субкультурных идентичностей (Butler 1990, 1993) и Мишеля Маффесоли с его концепциями нового номадизма и неоплемен (Maffesoli 1996). Критики, впрочем, отмечают, что попытки использовать новый инструментарий, не претендующие на описание тотальности субкультурного опыта и игнорирующие экономические неравенства среди молодежных группировок (Shildrick, MacDonald 2006) или придающие излишнее значение роли культурной индустрии

⁶ В начале 2000-х гг. некоторые из британских исследователей молодежи, главным образом среди антропологов и социологов, стали утверждать, что исследования молодежных субкультур более не соответствуют политическим, экономическим и культурным реалиям, поскольку потенциал политического радикализма, связываемый с ними так и не был реализован (Muggleton, Weinzierl 2003: 4-5; Blackman 2005: 1). Остается вопрос: продолжают ли они соответствовать российским реалиям? Этот вопрос внутренне связан с дискуссией об аналитической ценности понятия “субкультура”, поскольку разочарование в романтическом образе рабочей молодежи, якобы создающей свою контркультуру для (символического) сопротивления истеблишменту, явно теряет свою привлекательность и объяснительную силу на фоне расцвета откровенных тусовок и клубных культур, объединяющих представителей разных “субкультур” (мы наблюдаем это не только на Западе, но и в России), что и ставит под сомнение силу солидарности и прочность межличностных связей, необходимых для воспроизводства субкультуры и идентичности ее членов.

стрии в производстве молодежных стилей жизни и идентичностей (Bennett 2011), оказались лишь ограниченно полезными для концептуализации новых аспектов постсовременных молодежных феноменов, например, перемен в жизненных стилях, музыкальных и танцевальных поветриях и т.п.

Являются ли, однако, исследования молодежи в городе городской этнографией? И можем ли мы автоматически считать всякую этнографию в городе этнографией города? Можно также задать вопрос: почему исследования субкультур сосредоточены преимущественно на молодежи? У нас практически отсутствуют исследования детей в городе (за исключением работ по детскому фольклору); мало работ о стариках в городе и проблемах старости (за исключением нескольких исследований домов престарелых); явно не хватает исследований о мужчинах и женщинах в городах, о городских матерях и отцах, городских отношениях родства. Если это происходит только потому, что по умолчанию предполагается, что в других (т.е. “немолодежных”) возрастных стратах деление на субкультуры выражено слабее, то необходимо осмыслить и концептуализировать следствия такого предположения. Допустив, что музыкальные увлечения, следование определенной моде в одежде и соблюдение узкогрупповых норм поведения слабеют с возрастом или перестают быть основой для групповых солидарностей, мы сталкиваемся с необходимостью пересмотра, помимо прочего, используемых нами концепций идентичности, в том числе и политики идентичности, поскольку в используемых сегодня концепциях не учитываются возрастные изменения. Помимо этого, вполне вероятно, что в этом случае мы сталкиваемся со скрытым функционированием нормы. Если бы речь шла о США, то в качестве воплощения этой нормы мы бы вообразили взрослого белого мужчину среднего класса. В случае России это фактически то же самое, а все остальные сообщества и идентичности оказываются девиантными, то есть представляют собой отклонения от этого негласного стереотипа. Именно по причине существования этого не вполне отрефлексированного стереотипа молодежь может выступать в качестве этнографического Другого или, как однажды выразился (имея в виду, впрочем, городскую антропологию в целом, а не исследования молодежных субкультур) Робин Фокс, – как «суррогат дикарей в трущобах» (Фокс 1973: 20). Иными словами, здесь срабатывает тот же троп экзотизации, который работает и при фокусировании взгляда антропологов исключительно на “традиционной культуре” и “коренном населении”. Поскольку взрослые при такого рода рассмотрении

оказываются более “нормальными”, постольку они же становятся и менее пригодными для антропологического изучения с естественным при таких обстоятельствах результатом, так что молодежные субкультуры чаще оказываются объектами исследования. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов медийность и эпатажность таких молодежных и музыкальных субкультур, как хиппи, рокеры, скинхеды, панки, растафари, байкеры и проч., хорошо вписывающихся в образ если не новых дикарей, то экзальтированных носителей антикультуры.

Этнопсихология (исследования межэтнических отношений с позиций социальной психологии, конфликтов, толерантности, нетерпимости, ксенофобии), впоследствии интегрировавшаяся с **кросскультурной психологией** (проблемы аккультурации и ассимиляции, адаптации и интеграции мигрантов, культурно-специфичные поведение и телесные практики), поначалу (в 1980-е гг.) оформленная институционально как часть этнологии, сегодня представляет собой скорее специфическую часть социальной психологии, в центре внимания которой находятся процессы этнической идентификации, включая исследования этнических стереотипов и культурно-обусловленные паттерны поведения. В современной российской науке курсы и центры кросскультурной психологии практически повсеместно интегрированы в системы образования психологов, и сегодня практически нет антропологов, специализирующихся в этой области, хотя антропологи тоже занимаются изучением этнической идентичности и иногда используют методы социальных психологов.

Еще одной из областей второй волны дифференциации антропологического знания в России являются тесно между собой связанные субдисциплины **этнодемографии**, **этногеографии** и **этноэкологии**, сегодня больше интегрированные с такими специализациями у географов, как география населения, география культуры и физическая география, нежели, собственно, с социально-культурной антропологией. Однако вовлеченность российских антропологов в серию прикладных проектов (разработка инструментария переписей населения, подготовка атласов и карт расселения этнических и конфессиональных сообществ, этнологическая экспертиза проектов промышленного развития и положения коренного населения) заставляет их активно пользоваться демографическими и географическими подходами и концепциями (ср.: Этнология – обществу: прикладные исследования в этнологии. М., 2006).

Экономическая антропология (изучение традиционных форм обмена, дарения, потребления,

распределения, экономического поведения, экономики традиционных обществ, исторической динамики экономических укладов и систем) – традиционная, но чрезвычайно малочисленная специализация в рамках российской антропологии (а прежде – советской этнографии), вопреки высокой потребности в соответствующих знаниях у экономистов и общества в целом. Как в дореволюционный период и первые годы советской власти, так и сегодня она развивается скорее экономистами (в том числе в лице таких выдающихся представителей нашей науки, как А.В. Чаянов) и теоретиками, исследовавшими конкретные экономические уклады в разных странах и группах населения, нежели антропологами, которые включают в свои исследования сюжеты о хозяйстве как один из аспектов холистского описания культуры и крайне редко делают эту область исследований своей исключительной специализацией. Позиции этой субдисциплины могут, однако, существенно укрепиться в будущем за счет становления и развития антропологии организаций и более тесного взаимодействия с экономистами, занимающимися полевыми исследованиями. Существующие курсы, учебники и программы экономической антропологии читаются главным образом для будущих экономистов и практически отсутствуют на факультетах этнологии и антропологии.

Т.н. *этногендерные исследования* (гендерные аспекты традиционной культуры, история гендерных отношений, гендерные права, межгендерные отношения и распределения ролей в различных этнических сообществах) также относятся к немногочисленным (если иметь в виду именно антропологов) специализациям, с моей точки зрения, недостаточно интегрированным в отечественную антропологию. Работающие в этой области специалисты сконцентрированы либо на истории гендерных отношений, то есть выступают, скорее, как историки, а не антропологи, либо, когда они исследуют и пишут о современности, – как социальные критики и правозащитники, отстаивающие принципы равенства и справедливости в отношениях полов. Такая повестка вряд ли позволяет совершенствовать теорию и методы исследований, которые были бы характерны и специфичны именно для данной субдисциплины, и, стало быть, препятствуют ее становлению как полноценной и автономной специализации.

Визуальная антропология относится к наиболее ресурсоемким и высокотехнологичным специализациям среди всех антропологических субдисциплин. Несмотря на то, что рисунок и фотография входили в инструментарий антрополога фактически с момента рождения полевой этнографии, свое настоящее рождение и расцвет эта область получила

лишь с распространением кинодокументалистики и этнографического фильма. Помимо собственно этнографических знаний специалисту в этой области требуются совокупные умения оператора, сценариста и режиссера, а нередко еще и кинокритика, в силу чего, несмотря на регулярное появление новых этнографических фильмов и проведение фестивалей, число российских антропологов, освоивших эту специализацию, остается небольшим. Спрос на фильмы стимулирует быстрое развитие этой субдисциплины, и мы становимся свидетелями появления все новых исследовательских центров по всей стране с включением визуальной этнографии в качестве ведущей специализации или метода, помимо нескольких центров в Москве и Петербурге, исследовательские центры по визуальной антропологии возникли в Екатеринбурге, Саратове и ряде других российских городов (подробнее см. материалы дискуссии в “Антропологическом форуме” – «Визуальная антропология» №7, 2007).

Перечень существующих в рамках российской антропологии специализаций замыкает *история науки (история этнографии/этнологии/антропологии)*, существовавшая во все периоды развития дисциплины и обеспечивающая столь важную для любой науки функцию как самооценка и саморефлексия, без которой невозможно ее развитие. Можно отметить, что в историографии российской антропологии реализованы практически все известные жанры: интервью, автобиография и биография ученого, институциональная история, история идей и развития конкретных субдисциплин и т.д. В последнее время эта область дополнена новыми идеями и подходами, развивающимися в рамках антропологии науки (см. серию работ под ред. Г.А. Комаровой). Ее аппарат мог бы существенно обогатиться за счет освоения методов и подходов, реализуемых в STS (исследованиях науки и технологий).

Из изложенного выше очевидно, что между некоторыми из выделенных специализаций существуют значительные области пересечения (как, например, между этнополитологией и регионоведческими специализациями; между этногеографией и регионоведением; традиционной этнографией и специализациями по регионам и т.п.), тем не менее, даже при обширных областях пересечения выделенные специализации являются относительно автономными и предполагают наличие особых компетенций и опыта у фокусирующихся на них исследователей, а главное – организуют сообщества со специфической исследовательской и социальной (преподавательской и политической) деятельностью.

Каждое из этих направлений, в свою очередь, подразделяется на более узкие подобласти и ин-

тересы с собственным набором исследовательских проблем и междисциплинарных альянсов, обычно связанных с характером исследуемых объектов и сюжетов. Например, исследования этнической идентичности в случае российской этнологии реализуются в таких ее субдисциплинах, как “этнополитика”⁷, этносоциология, этнопсихология и этнодемография, что, в свою очередь, дало возможность конституирования такой специфической и существующей практически только у нас области исследований, как этноконфликтология, сформировавшейся на границах всех выше перечисленных субдисциплин. Мы можем сомневаться в научной ценности и продуктивности такого рода концептуализаций и подходов, однако само наличие конкретных исследовательских сетей и коллективов, публикаций и даже научных подразделений, содержащих в своих названиях перечисленные выше обозначения (как и исследователей, определяющих себя, например, как этносоциологов и этнопсихологов) вряд ли можно отрицать, поскольку их наличие подтверждается распределениями плотности цитирований (более высокой внутри конкретной области и низкой, либо иногда вообще отсутствующей – между конкретными областями исследовательских интересов).

Наличие областей пересечения у конкретных дисциплинарных и субдисциплинарных сообществ, разумеется, придает известную долю условности самим выделяемым предметным областям и дисциплинарным границам. Дисциплинарное знание, как известно, носит проблемно-ориентированный характер и, в зависимости от сути исследуемых проблем, может не вписываться или вписываться с большим трудом в границы конкретной дисциплины. Приводимые ниже схемы связей цитирования в этой связи следует рассматривать с учетом этой условности деления на дисциплины и субдисциплины. В конкретной работе, озаглавленной, например, «Конфликт в N-ске», могут рассматриваться и этнический состав населения, и динамика идентичности, и электоральное поведение в зависимости от идентичности, а сам ее автор может затрудняться в отнесении его работы к рубрикам демографии, социологии, политологии или этнологии (этноконфликтологии). Неизбежная нечеткость такой рубрикации, связанная с характером самих изучаемых проблем, лишь отчасти преодолевается при попыт-

⁷ Метонимическое перенесение термина “этнополитика” с обозначения объекта исследования на наименование субдисциплины (которую корректнее было бы называть этнополитологией или исследованиями этнополитики и национальной политики), довольно распространенное в 1990-е гг., все еще встречается в отечественных работах.

ках выделения пограничных и гибридных субдисциплин (политической демографии, этнополитики, этнодемографии и т.п.). Связи цитирования как раз демонстрируют степень автономности отдельных специализаций: их отсутствие между некоторыми областями является надежным свидетельством взаимной независимости этих областей в контексте социологии конкретной научной дисциплины.

Утверждение, что каждая из т.н. социальных наук имеет свой предмет или, иначе говоря, центральную категорию, вокруг которой фокусируются все ее концепции и наблюдения, относится к трюизмам. Менее банальным будет утверждение, что без регулярного возвращения к этой категории дисциплина начинает дробиться на серию полуавтономных исследовательских областей с потенцией образования самостоятельных дисциплин. Еще менее банальным можно считать гипотезу, в соответствии с которой сама такая фокусировка дисциплинарного знания вокруг своих центральных категорий ведет к гипостазированию предмета и реификации наиболее значимых для каждой из дисциплин понятий. Похоже, что междисциплинарное знание имеет те же характеристики, причем, чем больше звеньев между центральными для такого знания категориями и специализированными предметами отдельных дисциплин, тем абстрактнее становится понятийный аппарат таких дисциплин и тем изолированнее и специализированнее выглядит соответствующий корпус знаний.

Центральной категорией для социальных наук является общество; для гуманитарных аналогичную роль выполняет категория культуры. Экспликация центральных категорий разворачивается в соответствующих теориях общества и культуры, однако из-за важности центральных понятий и в теоретическом и в научно-политическом отношениях вместо единой теории общества, культуры или хозяйства мы имеем множество конкурирующих, а в результате – множество социологий (включая социальную антропологию и т.н. обществоведение, например, в версии исторического материализма), культурологий или *cultural studies*, экономик (включая экономическую антропологию) и т.д. Антропология с человеком в качестве центральной категории могла бы претендовать на центральное место среди всех социальных и гуманитарных исследований, но прагматически явно проигрывает экономике, социологии и политическим наукам. Суть, однако, в другом. Все дисциплины пытаются противостоять дезинтеграции на автономные и независимые от мейнстрима области за счет рекурсивного возвращения к цен-

тральной категории и эксплицирующей ее теории, так что охрана границ осуществляется не только в результате приграничных размежеваний и конфликтов с соседями, но и постоянного слежения за соответствием предмету дисциплины (в политике дисциплинарных академических журналов и диссертационных советов эта полицейская функция весьма заметна). Случающиеся сбои в возвращении к “главному” или отсутствие строгой разметки на “свое” и “чужое” завершаются автономизацией отдельных исследовательских полей, их замыканием на собственных центрах кристаллизации (новых центральных категориях рождающихся субдисциплин) и углубляющейся фрагментацией общего социально-гуманитарного знания, его распадом на серию слабо связанных дисциплинарных полей.

Антропология сохраняет способность оставаться собой, а не мутировать в исследованиях культуры, общества, знака, текста, действия, традиции или чего-либо еще только при условии регулярного возвращения к своей центральной категории – человеку. “Забывая” о необходимости такого регулярного и рекурсивного возвращения, антропологи не только вступают в конкурентные отношения с политологами, экономистами, психологами, историками, культурологами, литературоведами и представителями еще десятка дисциплин, но и делают уязвимой саму *raison d'être* дисциплины и постоянно, как футболисты на чужом поле, играют слабее (то есть теоретически менее убедительно, чем «хозяева поля»). Начавшаяся далеко не сегодня и все углубляющаяся специализация и фрагментация антропологического знания с ее новой картой размежеваний и все более узкими концепциями, неизбежным следствием, если не параллельно развивающимся процессом, имеет утрату интереса к «чужому знанию» (в суженной перспективе с ее все более специализированными понятиями, претендующими на статус центральных, все труднее усмотреть релевантность знания, полученного даже в сопредельных дисциплинах, не говоря уже о «соседях соседей»). Таким образом охрана границ собственных крохотных королевств и разметка знания на свое и чужое приводят к неосведомленности относительно занятий соседей.

Антропологическое знание в научной периодике

Профессиональные журналы собирают вокруг себя собственные читательские аудитории, консолидируют пулы авторов и рецензентов, и за счет этой деятельности активно участвуют в производстве самого профессионального со-

общества. И хотя роль бумажных изданий в эпоху электронных медиа постепенно снижается, за счет того, что журналы продолжают выполнять функцию отбора статей для публикации, тем самым формируя и активно влияя на научный статус их авторов, академическая периодика (даже если в обозримом будущем ее бумажные варианты и отомрут) с ее институтом рецензирования будет оставаться важнейшим каналом научной коммуникации.

Несмотря на то, что, как мы выяснили выше, антропологическое сообщество в России в плане цитирования больше ориентировано на монографии, журнальные статьи – как более оперативный жанр – лучше отражают быстрые изменения в дисциплине. Публикуемые в монографиях концепции к тому же весьма часто проходят предварительную обкатку и проверку именно в журнальных публикациях. В 1990-е и в первой половине 2000-х гг. российские антропологи вместо пары-тройки журналов, в которых они имели возможность опубликовать свои статьи в советское время, получили два десятка новых, из которых по сию пору издаются 18 журналов, имеющих либо постоянные рубрики для публикации статей по этнографии, этнологии, этносоциологии, социальной и культурной антропологии, либо целиком посвященные антропологическим публикациям. Помимо этого, антропологи имеют возможность публиковать результаты своих исследований в исторических, социологических, психологических, политических, экономических, культурологических и философских журналах и широко пользуются этими возможностями. Специалисты по этнической истории нередко публикуются в таких журналах, как “Вопросы истории”, “Российская история”, “Исторический вестник”, “Исторические записки”, “Древнейшие государства Восточной Европы”, “Вестник древней истории”; религиоведы – в журналах “Религиоведение”, “Россия и мусульманский мир”; востоковеды – в журналах “Письменные памятники Востока”, “Проблемы востоковедения” (Уфа), “Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов” (Элиста), “Центральная Азия и Кавказ”, “Вестник Института истории, антропологии и этнографии” (Махачкала); исследователи национальной политики и межэтнических отношений чаще всего обращаются в редакции журналов “Федерализм”, “Вестник российской нации”, “Жизнь национальностей”, “Казанский федералист”, “Этнодиалоги”, “Этносфера”, “Родина”, “Россия XXI”, “Полис”, “Свободная мысль”, “Pro et Contra”; этносоциологи размещают свои статьи на страницах журналов

“Социс”, “Социология города”, а культурологи – в “Вопросах культурологии”, “Культурологии”, “Культурологическом журнале”, “Культурологических исследованиях в Сибири”, “Обсерватории культуры”; специалисты по гендерной политике – в журнале “Гендерные исследования”. Свои журналы есть у финноугроведов («Финноугроведение», «Финно-угорский мир»), монголоведов («Монголоведение») и тюркологов («Российская тюркология», «Вопросы тюркологии»). Помимо рассматриваемых в этом разделе основных журналов, фольклористы публикуют свои работы в журнале “Мировое древо = Arbor mundi”, а биоантропологи – в “Вестнике антропологии”. Кроме этого, заслуживают упоминания многочисленные альманахи и серийные издания: “Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий”, “Древняя Русь: вопросы медиевистики”, “Одиссей: человек в истории”, “Славянский альманах”, “Тюркологический сборник”, “Расы и народы”, “Религии мира”, “Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий”, “Полевые исследования Института этнографии”, целиком посвященные нашей тематике, или регулярно публикующие статьи этнологов и антропологов. Все эти издания перечислены здесь не просто в качестве существующих в России специализированных периодических изданий, перечень которых на порядок длиннее, но именно как издания, в которых чаще всего публикуются представители перечисленных специализаций.

Ниже в Табл. 2 представлена возможность сравнения рейтингов журналов и сведений о ведущих российских журналах социогуманитарного профиля.

Таблица 2. Уровни цитирования и импакт-факторов (РИНЦ) журналов по социально-антропологическим дисциплинам (ноябрь 2014 г.)*

Журналы (год основания)	N	N _{cit}	IF ₂	t	%	H
Мир России: Социология, этнология (1992)	403	4245	1,491	6,7	11,0	269
Человек (1990)	1451	4847	0,430	9,1	7,0	210
Вестник археологии, антропологии и этнографии (1997)	505	1033	0,382	4,1	53,4	2991
Федерализм	647	3552	0,382	3,8	7,3	180
Антропологический форум (2004)	474	566	0,356	2,9	9,7	482
Археология, этнография и антропология Евразии (2000)	627	2196	0,341	12,6	25,5	431
Журнал социологии и социальной антропологии (1998)	1058	3111	0,302	7,5	5,6	181

Ab Imperio (2000)	1340	1524	0,217	6,0	25,0	5556
Личность. Культура. Общество (1999)	2020	1729	0,191	4,3	22,0	380
Этнографическое обозрение (1926)	1743	17190	0,190	16,9	18,4	415
Восток (1955)	2343	2680	0,174	6,5	25,8	720
Традиционная культура (2000)	771	669	0,121	3,5	17,6	1250
Гуманитарные науки в Сибири (1994)	1274	1322	0,108	4,9	30,4	2580
Живая старина (1992)	1168	3119	0,084	13,6	15,4	1072
Славяноведение (1965)	1215	1102	0,083	9,5	6,5	468
Вестник Евразии (1995)	429	787	--	11,2	--	10000
Дiasпоры (1999)	6	112	--	--	--	10000
Восточная коллекция (1999)	55	103	--	--	--	10000
Этнопанорама (2002)	56	447	--	--	--	--

* Число статей в РИНЦ (N), общее число цитирований (N_{cit}), двухлетний импакт-фактор (IF₂ – среднее число цитирований на “среднюю” статью), медианный возраст цит. статей в годах (t), процент самоцитирований журнала за последние 2 года (%) и пятилетний индекс Херфиндаля (H) приведены по данным e-library на ноябрь 2014 г. Медианный возраст статьи в журнале отражает изменения в его формате. Индекс Херфиндаля (чем он ниже – тем лучше) позволяет выявлять журнальные картели и монополии, искусственно завышающие импакт-фактор журнала (индекс в 10000 означает, что журнал цитирует исключительно свои опубликованные ранее материалы).

Хотя все включенные в Табл.2 журналы регулярно публикуют статьи по антропологии, исключительно этнографическим публикациям посвящено только два из них – “Этнографическое обозрение” и “Антропологический форум”, и еще два – “Живая старина” и “Традиционная культура” – публикуют работы по фольклористике. “Журнал социологии и социальной антропологии”, вопреки своему названию, размещает сравнительно немного работ по социальной антропологии. С момента своего основания до 2010 г. в нем было опубликовано лишь четыре статьи, которые можно было бы отнести к этой дисциплине – по две в 2001 и в 2008 г.г., еще три – по истории этнологии/ антропологии, зато почти четыре десятка статей по этносоциологии, что дает основания считать, что редколлегия журнала, по всей вероятности, склонна отождествлять социальную антропологию с этнологией и отбирает статьи из той проблемной области, которая находится на стыках этнологии и социологии или на границах этнологии, социологии и экономики (этнические сюжеты в экономической социологии). Здесь не рассматриваются многочисленные университетские вестники, периодически или эпизодически размещающие статьи по этнографии, главным образом по той причине, что, по крайней мере, в части из них за публикацию взы-

маются деньги (см., например: Алос и Фонт 2013) и не используется процедура двойного анонимного рецензирования, что не может не сказываться на критериях отбора публикаций и оценке их качества.

Некоторую информацию к размышлению дает рассмотрение вееров цитирования у журналов, позволяющее увидеть какие журналы/статьи цитируются в конкретно взятом антропологическом журнале. Именно здесь выясняется, что некоторые из журналов, традиционно относимые к перечню этнологических/антропологических, оказываются слабо интегрированными в дисциплину в отношении цитирования, и следовательно, антропологи либо их не читают, либо по каким-то причинам не ссылаются на прочитанные в них статьи. Так, например, вопреки тому, что члены сообщества иногда публикуют статьи в таких журналах, как “Человек”, “Личность. Культура. Общество” или “Мир России”, эти журналы цитируются, скорее, филологами и социологами, нежели антропологами.

Российская антропология и “мировой стандарт”. В то время как философия, вне всякого сомнения, может быть европейской, китайской или индийской, а современные физика или математика – нет, поскольку мыслятся как науки универалистские, случай антропологии оказывается гибридным между этими двумя идеальными типами. Сопоставить положение российской антропологии с ее аналогами, опирающимися на иные национально-культурные традиции, представляет собой методологически сложную задачу. Если говорить о сопоставлении манер цитирования, то здесь есть трудности технического порядка: в международных базах российская антропология представлена слабо, а доступ к ним для российских исследователей осложнен из-за высокой стоимости подписки. Однако для сопоставления российской этнологии/антропологии с положением ее аналогов в иных национальных традициях существуют и значительно более существенные трудности, которые можно считать методологическими. Что с чем здесь сравнивать? Формальный путь сравнения разных национальных традиций по названию одной и той же дисциплины представляется малопродуктивным, поскольку, к примеру, сюжетами, доминирующими в российской этнологии, «там» занимаются историки (история национализма и национальных движений), политологи (т.н. межэтнические отношения и конфликты) и социологи (социология этнических групп). Именно поэтому для наших этнологов интересны исследования Бенедикта Андерсона, Роджерса Брубейкера, Пола Верта, Роберта Джераса, Жюльет Кадью, Марлен Ларюэль, Терри Мартина, Энтони Смита, Юрия Слезкина, Рональ-

да Суни, Фрэнсин Хирш или Эрика Хобсбаума и их коллег, но среди этих авторов нет антропологов, и их имена практически не появляются в обзорах по состоянию антропологии соответствующих национальных традиций. Российским же исследователям традиционной культуры – тем, кто выше был условно назван “классическими этнографами” или “этнофольклористами”, ближе их зарубежные коллеги из числа славистов и представителей т.н. cultural studies (культурологией это направление при переводе на русский назвать нельзя, опять же по причинам несовпадения проблемных полей и интересов у российских культурологов с их западными “тезками”). Словом, и эти исследователи также ориентируются на литературу, авторы которой работают за пределами кафедр антропологии.

Казалось бы, уж исследования наших регионалистов (у американских антропологов есть близкий аналог – area studies) можно сравнивать с исследованиями их зарубежных коллег, но и здесь дело осложняют различия в проблематике: обретающиеся на российском поле иноземные антропологи обращаются к проблемам и сюжетам, недостаточно в нашей этнологии/этнографии легитимным – их интересуют не традиционная культура или межэтнические отношения, но занимают такие, по здешним представлениям, совсем не этнографические, сюжеты, как сибирские дома культуры, бизнес-элита Чукотки, московское метро и театр “Ромэн”, сети социальной поддержки у горожан или их дачи, якутская поп-музыка, отношение к телесериалам на Камчатке и проч. (Donahoe, Habeck 2011; Thompson 2005; Lemon 1998, 2000; Ventsel 2006; Caldwell 2004, 2011). Написанные по результатам этих исследований статьи и книги редко попадают в поле зрения российских этнографических регионоведов (их не читают, поскольку «это – не этнология»). Все эти обстоятельства заставляют меня уклониться от аргументированного сопоставления и анализа разных национальных традиций и ограничиться несколькими соображениями, лишь “по касательной” сравнивающими положение нашей дисциплины с ситуациями (если ограничиться перечислением ведущих школ) у наших британских, американских, французских или бразильских коллег. Интересующегося подробностями читателя я отсылаю к соответствующей литературе (International Benchmarking Review 2006; Barth et al. 2005; Kuper 1983; Parkin, de Sales 2010; Patterson 2001; Poole 2008).

Впрочем, несколько цифр будут все же уместны. На декабрь 2013 г. в соответствии со статистикой Web of Knowledge всего 179 статей из области антропологии, опубликованные за последние сто лет, набрали больше 50 цитирований (из них, одна-

ко, только 46 статей больше 100 цит.). Из этих 179 статей и книг (с недавних пор их также стали индексировать в Web of Science) в силу того известного обстоятельства, что в под рубрику “Антропология” в этой базе (в соответствии с тетрадой Боаса) включают публикации по биоантропологии, археологии и этнолингвистике, абсолютное большинство оказалось статьями по биологической и медицинской антропологии (104 статьи и книги; еще 21 статья – по археологии, но и среди оставшихся 58 часть является статьями по экологии человека, эволюционной психологии и антропологии или этнолингвистике, так что на долю социальной и культурной антропологии остается немного – не более десятка). Из 46 статей и книг, набравших более 100 цитирований, лишь восемь можно условно отнести к социокультурной антропологии, что еще раз подтверждает наблюдение о невозможности *кроссдисциплинарного сравнения* по уровню цитирований, в особенности, когда речь идет о биологах и медиках, с одной стороны, и историках или социальных антропологах – с другой (у первых оно всегда будет заведомо выше из-за размеров сообщества, характера соавторства и числа профильных журналов).

В отношении рейтинга журналов – картина приблизительно такая же: на первом месте по уровню 5-летнего импакт-фактора оказался журнал по эволюционной антропологии (*Evolutionary Anthropology*, IF=4.643). За ним следует *Journal of Human Evolution* (IF=4.530), а затем – *Social Networks* (IF=4.059) и *Journal of Peasant Studies* (IF=3.636), и лишь на пятом месте появляется один из журналов по социокультурной антропологии – *Cultural Anthropology* (IF=3.045). Российским антропологическим журналам, видимо, невозможно будет достичь такого уровня цитирований (по крайней мере, если они останутся русскоязычными), однако многие из них уже сегодня опережают по этому уровню неанглоязычные журналы других стран (например, 5-летний IF у журнала *L'Homme* по данным WoS равен 0.095, а *Anthropos* – 0.113, а нидерландского *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* – 0.270).

Проделанный на основе анализа распределения цитирований обзор позволяет не только охватить одним взглядом большинство существующих специализаций в рамках российской антропологии, но и наметить пути их развития и увидеть лакуны в наличном знании. В частности, как уже отмечалось выше, будущее нашей дисциплины сегодня связано не только с развитием традиционных для нее областей исследования, но и со становлением новых направлений, таких как антропология организаций, антропология бизнеса, спортивная антропология, антропология медиа, антропология технологий и

науки (STS), антропология моды и антропология досуга. В стране уже появились исследовательские центры, включившие данные направления в свои программы исследований, и научная периодика, предоставляющая свои страницы для публикаций в этих пока еще мало освоенных российскими антропологами субдисциплинах.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Алос и Фонт Э. 2013. (Alòs i Font, Nèctor). Истоки влияния на чувашских исследователей-гуманитариев: статистический анализ статей Вестника чувашского университета // Чувашский гуманитарный вестник. № 8. (https://www.academia.edu/2203584/_)
- Арутюнов С.А. 1993. Преодоление какого кризиса? // Этнографическое обозрение. № 1. С. 8-14.
- Басилов В.Н. 1992. Этнография: есть ли у нее будущее? // Этнографическое обозрение. № 4. С. 3-17.
- Вахитайн В.С. 2010. Выступление на круглом столе «Новые тенденции в развитии социологической теории». М.: Институт гуманитарных историко-теоретических исследований ГУ-ВШЭ.
- Вахитайн В.С. 2011. Коварный вопрос о границах в науке // Культиватор. № 2. Границы научности. (<http://intelros.ru/pdf/Kultivator/2/4.pdf>).
- Будина О.Р., Шмелева М.Н. 1989. Город и народные традиции русских. По материалам Центрального района РСФСР. М.
- Гельман В. 2008. Ресурсы и репутации на периферийных рынках: постсоветские социальные науки // Антропологический форум. № 9. С. 41-47.
- Дробижева Л.М. 1976. Этносоциологическое изучение современности // Расы и народы. М. Вып. 6. С. 64-73.
- Комарова Г.А. 2012. «Сила антропологического подхода» // АФ. № 17 Online (<http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/017online/komarova.pdf>).
- Кон И.С. 1993. Несвоевременные размышления на актуальные темы // Этнографическое обозрение. № 1. С. 3-8.
- Кузьмин Алексей. 2009. Академическая политология в состоянии заброшенности // Русский журнал. (<http://russ.ru/pole/Akademicheskaya-politologiya-v-sostoyanii-zabroshennosti>).
- Мартынова М.Ю. 2014. Прикладная роль фундаментальной науки: исследования Института этнологии и антропологии РАН последнего десятилетия // Вестник антропологии. № 1. С. 147-170.
- Никитин Е.П. 1981. Природа обоснования (субстратный анализ). М.: Наука. 176 с.
- Отчет о научно-исследовательской работе (промежуточный) по теме «Разработка системы статистического анализа российской науки на основе данных российского индекса цитирования» (этап № 2 гос. контракта от 31 мая 2005 г. № 02.447.11.7001; головной исполнитель ООО Научная электронная библиотека). М., 2005. 91 с.
- Покшишевский В.В. 1969. Этнические процессы в городах СССР и некоторые проблемы их изучения // Советская этнография. № 5. С. 3-15.

- Профессии.doc. Социальные трансформации профессионализма. М., 2007. 407 с.
- Розов М.А.* 2008. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. М.: Новый хронограф. 344 с.
- Соколов Михаил.* 2008. Проблема консолидации академического авторитета в постсоветской науке: случай социологии // Антропологический форум. № 9. С. 8-31.
- Соколовский С.В.* 2003. Четверть века российской антропологии: 1975-2000 // Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. Вып. 9. М. С.136-159.
- Соколовский С.В.* 2009. Российская антропология: иллюзия благополучия/Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. № 1. С. 45-64.
- Соколовский С.* 2011. В цейтноте: заметки о состоянии российской антропологии // Laboratorium. Журнал социальных исследований. № 2. С. 70-89.
- Соколовский С.В.* 2012. Культурная медиация, традиции и инновации: о поэтике заимствования в истории советской этнографии // Антропология академической жизни. Вып. 3. М. С. 18-46.
- Тишков В.А.* 1992. Советская этнография: преодоление кризиса // Этнографическое обозрение. №1. С. 5-20.
- Тишков В.А.* 2002. Горизонты российской этнологии. К 70-летию Института этнологии и антропологии РАН // Новая и новейшая история. №5. С. 3–18.
- Тишков В.А.* 2003. Российская этнология: статус дисциплины, состояние теории, направления и результаты исследований // Этнографическое обозрение. №5. С. 3–23.
- Тишков В.А., Пивнева Е.А.* 2010. Этнологические и антропологические исследования в российской академической науке // Новая и новейшая история. №2. С. 3–21.
- Alòs i Font, Hector.* 2013. Истоки влияния на чувашских исследователей-гуманитариев: статистический анализ статей Вестника Чувашского университета // Чувашский гуманитарный вестник. №8. (https://www.academia.edu/2203584/_-).
- Barth F., Gingrich A., Parkin R., Silverman S.* 2005. One discipline, four ways : British, German, French, and American anthropology / Fredrik Barth . . . [et al.] ; with a foreword by Chris Hann. Chicago: Chicago Univ. Press. ix, 406 pp.
- Bornmann L., Daniel H.-D.* 2005. Does the h-index for ranking of scientists really work? // Scientometrics. Vol. 65. P. 391–392.
- Bornmann L., Wallon G., Ledin A.* 2008. Is the h index related to (standard) bibliometric measures and to the assessments by peers? An investigation of the h index by using molecular life sciences data // Research Evaluation. Vol. 17. P. 149–156.
- Caldwell, Melissa L.* 2004. Not by Bread Alone: Social Support in the New Russia. Berkeley: University of California Press. xv, 242 pp.
- Caldwell, Melissa L.* 2011. Dacha Idylls: Living Organically in Russia's Countryside. Berkeley: University of California Press. xxi, 200 pp.
- Donahoe, Brian; Habeck, Joachim Otto* (eds). 2011. Reconstructing the House of Culture: Community, Self, and the Makings of Culture in Russia and Beyond. Oxford: Berghahn. 348 p.
- Garfield E., Sher I.H.* 1963. New factors in the evaluation of scientific literature through citation indexing // American Documentation. Vol. 14, No .3. P.195-201.
- International Benchmarking Review of UK Social Anthropology: An International Assessment of UK Social Anthropology Research. L.: Economic and Social Research Council, 2006. 34 pp.
- Kuper, Adam.* 1983. Anthropology and Anthropologists. The modern British school. L.: Routledge and Kegan Paul. x, 228 pp.
- Lemon, Alaina.* 2000. Talking Transit and Spectating Transition: The Moscow Metro // *Berdahl D., Bunzl M., Lampland M.* (eds). Altering States: Ethnographies of Transition in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press. P. 14-39.
- Lemon, Alaina.* 1998. Roma (Gypsies) in the USSR and the Moscow Teatr 'Romen' // Tong D. (ed.). Gypsies: A Book of Interdisciplinary Readings. N.Y.: Routledge. P. 147-165.
- Lovegrove B.G., Johnson S.D.* 2008. Assessment of research performance in biology: how well do peer review and bibliometry correlate? // Bioscience. Vol. 58. P. 160–164.
- Moed H.F.* 2005. Citation Analysis in Research Evaluation. Dordrecht: Springer.
- Parkin, Robert; de Sales, Anne* (eds). 2010. Out of the study and into the field : ethnographic theory and practice in French anthropology. Oxford: Berghahn Books. xii, 294 p.
- Patterson, Thomas C.A.* 2001. Social History of Anthropology in the United States. Oxford: Berg. x, 212 p.
- Poole, Deborah* (ed). 2008. A Companion to Latin American Anthropology. Oxford: Blackwell. xv, 544 p.
- Ramsden J.J.* 2009. Impact Factors – a Critique // Journal of Biological Physics and Chemistry. Vol. 9. P. 139-140.
- Small H., Griffith B.C.* 1974. The Structure of Scientific literatures. Pt. 1. Identifying and Graphing Specialties// Science Studies. Vol. 4. P. 17-40.
- Sokolovskiy, Sergey.* 2012. Writing the History of Russian Anthropology // Baiburin, Albert; Kelly, Catriona; Vakhtin, Nikolai (eds). Russian Cultural Anthropology after the Collapse of Communism. N.Y.: Routledge. P. 25-49.
- Symposium on the ESRC, BSA, and HAPS International Benchmarking Review of UK Sociology // Sociological Review. 2011. Vol. 59, No. 1 P. 149-164.
- Tishkov V.* 1992. The Crisis in Soviet Anthropology // Current Anthropology. Vol. 33, No.4. P. 371-382.
- Tishkov V.A.* 1994-95. Post-Soviet Ethnography: Not a Crisis but Something More Serious // Anthropology & Archeology of Eurasia. Winter. Vol. 33, No. 3. P. 87-92.
- Thompson, Niobe.* 2005. The Nativeness of Settlers: Construction of Belonging in Soviet and Contemporary Chukotka: PhD Dissertation. Cambridge: University of Cambridge.
- Vakhshayn, Victor.* 2012. The Lamentable State of Post-Soviet Sociology // Global Dialogue. Newsletter for the International Sociological Association. No. 2 (3) (<http://isa-global-dialogue.net/volume-2-issue-3/>).
- Ventsel, Aimar.* 2006. Sakha Pop Music-A Celebration of Consuming. The Anthropology of East Europe Review. Vol. 24, No. 2. P. 35-43.